

X
A
T
P
D
A
B
O
F
E

Sacconi Sacconi

A
E
O

Василий Гроссман

За правое дело

ЗА ПРАВОЕ ДЕЛО

Часть первая

1

[[1]Двадцать девятого апреля 1942 года к Зальцбургскому вокзалу, украшенному итальянскими и немецкими флагами, подошел поезд диктатора фашистской Италии — Бенито Муссолини.

После обычной церемонии на вокзале Муссолини и люди, сопровождавшие его, отправились в старинный замок зальцбургских князей-епископов Клессгейм.

Здесь в больших, холодных залах, недавно обставленных вывезенной из Франции мебелью, должно было состояться очередное свидание Гитлера и Муссолини, беседы Риббентропа, Кейтеля, Йодля и других приближенных Гитлера с министрами — Чиано, генералом Кавалеро, итальянским послом в Берлине Альфиери, сопровождавшими Муссолини.

Эти два человека, считавшие себя хозяевами Европы, встречались каждый раз, когда Гитлером подготавливалась новая катастрофа в жизни народов. Их уединенные беседы на границе австрийских и итальянских Альп знаменовали обычные военные вторжения, континентальные диверсии, удары многомиллионных моторизованных армий. Краткие газетные сообщения о встречах диктаторов наполняли тревожным ожиданием человеческие сердца.

Семилетнее наступление фашизма в Европе и Африке шло успешно, и, вероятно, обоим диктаторам трудно было бы перечислить длинный список больших и малых побед, приведших их к власти над огромными пространствами и сотнями миллионов людей. После бескровных захватов Рейнской области, Австрии и Чехословакии Гитлер в августе 1939 года вторгся в Польшу и разбил армии Рыдз Смиглы. Он сокрушил в 1940 году одну из победительниц Германии в первой мировой войне — Францию, попутно захватил Люксембург, Бельгию, Голландию, подмял Данию, Норвегию. Он сбросил Англию с европейского материка, изгнав ее войско из Норвегии и Франции. Он сокрушил на рубеже 1940 и 1941 годов армии Балканских государств — Греции и Югославии. Абиссинский и албанский разбой Муссолини казался провинциальным по сравнению с огромным всеевропейским масштабом гитлеровских захватов.

Фашистские империи распространили свою власть над пространствами Северной Африки, захватили Абиссинию, Алжир, Тунис, порты Западного берега, грозили Александрии и Каиру.

В военном союзе с Германией и Италией состояли Япония, Венгрия, Румыния и Финляндия. В разбойничьей дружбе с Германией находились фашистские круги Испании, Португалии, Турции и Болгарии.

За десять месяцев, прошедших с начала вторжения в СССР, армии Гитлера захватили Литву, Эстонию, Латвию, Украину, Белоруссию, Молдавию, оккупировали Псковскую, Смоленскую, Орловскую, Курскую и часть Ленинградской, Калининской, Тульской, Воронежской областей.

Созданная Гитлером военно-экономическая машина поглотила большие богатства: французские сталелитейные, машиностроительные и автомобильные заводы, железные рудники Лотарингии, бельгийскую металлургию и угольные шахты, голландскую точную механику и радиозаводы, австрийские металлообрабатывающие предприятия, военные заводы «Шкода» в Чехословакии, нефтяные промыслы и нефтеперерабатывающие заводы Румынии, железные руды Норвегии, вольфрамовые и ртутные рудники Испании, текстильные фабрики Лодзи. Одновременно длинный приводной ремень «нового порядка» заставил вертеться колеса и работать станки сотен тысяч менее крупных предприятий во всех городах оккупированной Европы.

Плуги двадцати государств пахали землю, а мельничные жернова мололи ячмень и пшеницу для оккупантов. Рыбачьи сети в трех океанах и пяти морях вылавливали рыбу для фашистских метрополий. Гидравлические прессы выжимали виноградный сок и оливковое, льняное, подсолнечное масло на плантациях Африки и Европы. На ветвях миллионов яблонь, сливовых, апельсиновых и лимонных деревьев вызревал богатый урожай, и в деревянные ящики, проштемпелеванные знаком черного одноглавого орла, упаковывались созревшие плоды. Железные пальцы доили датских, голландских и польских коров, стригли овец на Балканах и в Венгрии.

Власть над захваченными пространствами Европы и Африки, казалось, с каждым годом, с каждым днем и часом множила силы фашизма.

Предатели свободы, добра и правды в своем холуйском раболепии перед торжествующим насилием пророчили гибель всем сопротивлявшимся, называя гитлеризм истинно новым, высшим порядком.

В «новом порядке», установленном Гитлером в завоеванной им Европе, обновились все виды, все формы, все способы насилия, которые возникали на протяжении тысячелетий истории господства немногих над многими.

Зальцбургское свидание в конце апреля 1942 года предшествовало большому наступлению на юге России.

2

В первые минуты встречи Гитлер и Муссолини, как обычно широко и приветливо улыбаясь всей эмалью и золотом своих искусственных зубов, выразили удовольствие, что обстоятельства позволили им свидеться.

Муссолини подумал, что зима и жестокое поражение под Москвой не дали Гитлеру даром — в волосах его, не только на висках, было много седины, отеки под глазами стали больше, цвет лица казался особенно бледным и нездоровым; неизменно свежим оставался лишь френч фюрера. Зато угрюмое и жестокое выражение еще резче проступало на лице Гитлера.

Гитлер, поглядев на дуче, подумал, что через пять-шесть лет тот окончательно одряхлеет, толстый старческий живот станет еще толще, ноги еще короче, тяжелые челюсти еще тяжелей. Ужасающая диспропорция между телом карлика и огромным подбородком, лицом и лбом великана... Правда, темные умные глаза дуче сохраняли жестокую зоркость.

Фюрер, все еще улыбаясь, порадовался за дуче: он выглядит помолодевшим. Дуче был рад за фюрера: его наружность — свидетель здоровья и бодрости духа.

Они заговорили о прошедшей зиме. Муссолини, потирая ладони, точно они у него мерзли от одной мысли о московской стуже, поздравил Гитлера с победой над русскими льдами, над тремя генералами России: декабрем, январем и февралем. Голос его звучал торжественно,— видимо, слова поздравления, как и широкая неподвижная улыбка, были заготовлены заранее.

Они согласились, что, несмотря на большие людские и материальные потери в эту небывало холодную, убийственно жестокую даже для русских зиму, у отступивших немецких дивизий не было Березины. Это, видимо, свидетельствовало о превосходстве того, кто вел войну с Россией в 1941 году, над тем, кто вел войну с Россией в 1812 году. Потом они обсудили общие перспективы.

Теперь, когда зима позади, ничто уж не может спасти Россию — последнего врага «нового порядка» на континенте, и предстоящее наступление поставит на колени Советы. Наступление лишит наземные и воздушные моторы Красной Армии горючего, лишит нефти промышленность Урала, лишит горючего механизированное сельское хозяйство, определит падение Москвы. После разгрома России Британия капитулирует. Англичан быстро поставит на колени воздушная и подводная война — Восточного фронта тогда не будет, операции приобретут всеокрушающую силу. «Дженерал моторс», Стальной трест, «Стандарт ойл», все фирмы, определяющие производство американских военных моторов, самолетов, стали, синтетического каучука, магния, совершенно не заинтересованы в росте производства, а искусственно сдерживают его ради вздутия монопольных прибылей. Что касается Британии, то Черчилль ненавидит своего русского союзника больше, чем немецкого противника, и в его склеротическом мозгу все смешалось: с кем он, против кого он. Обоим не хотелось говорить о «нелепом паралитике» Рузвельте. Их взгляды на положение во Франции совпадали. Несмотря на проведенную Гитлером две недели назад реорганизацию вишийского кабинета, антинемецкие настроения усиливались, во Франции зрела измена. Но это не имело особого значения и не вызывало тревоги: едва на востоке руки будут развязаны, во всей Европе установится спокойствие и мир.

Гитлер, усмехнувшись, сказал, что пришлет наводить порядок во Франции Гейдриха из Чехословакии, и перешел к африканским делам. Он не высказал ни одного упрека, перечисляя африканские силы Роммеля, посланные в помощь итальянцам; Муссолини понял, что Гитлер нарочно перед разговором о главном и основном предмете совещания выразил желание поддержать итальянское наступление в Африке.

И действительно, вскоре Гитлер заговорил о России. Гитлер не видел и не хотел видеть того, что тяжелые бои на Восточном фронте, жестокие зимние потери лишили германскую армию возможности вести наступление одновременно на юге, на севере, в центре. Ему казалось, что план новой летней кампании рожден лишь его свободной волей, что лишь его воля и мысль определяют движение военных событий.

Он сказал Муссолини о том, что потери Советов огромны, они лишились украинской пшеницы. Ленинград обстреливается артиллерией. Прибалтика навеки отторгнута от России. Днепр находится в глубоком тылу германских армий. Уголь, химия, руда, металлургия Донбасса в руках Фатерлянда, немецкие истребители летают на Москву, Советский Союз потерял Белоруссию, большую часть Крыма, тысячелетние земли Центральной России, русские изгнаны из своих старинных городов — Смоленска, Пскова, Орла, Курска, Вязьмы, Ржева. Остается нанести последний удар, но, для того чтобы наступление действительно оказалось последним, сила его должна быть фантастически велика. Генералы оперативного управления штаба считают, что не нужно одновременно двигаться к Сталинграду и на Кавказ. Но он сомневается в их правоте: если у него хватило в прошлом году сил вести войну в Африке, потрясать Британию с воздуха, парализовать подводным флотом усилия Америки и одновременно стремительно двигаться в глубь России фронтом протяжением в три тысячи километров, почему же колебаться сегодня, пока полная пассивность Америки и Англии,

совершенно не связывающая вооруженные силы Германии, позволяет собрать всю мощь удара лишь на одном участке одного Восточного фронта. Масштаб ужасного и сокрушительного наступления на Россию должен быть огромен. С запада на восток вновь будут переброшены большие силы; во Франции, Бельгии, Голландии останутся лишь дивизии, патрулирующие побережье. Войска, оттянутые на восток, будут перегруппированы, и северной, северо-западной, западной группам предстоит пассивная задача — вся живая сила удара сгустится на юго-востоке.

Никогда, пожалуй, не концентрировалось столько артиллерии, танковых дивизий, пехоты, бомбардировочной и истребительной авиации на одном участке фронта. Это частное наступление в существе своем имеет все элементы мировой всеобщности. Это последний и окончательный этап наступления национал-социализма. Здесь навсегда определится судьба Европы и судьба мира. В этом наступлении должна достойно участвовать итальянская армия. В нем должна участвовать не только армия, но итальянская промышленность, итальянское земледелие, весь итальянский народ.

Муссолини знал заранее о низменной прозе, сопутствовавшей дружеским встречам с Гитлером. Последние слова Гитлера означали погрузку в восточные эшелоны сотен тысяч итальянских солдат, резкое повышение поставок сельскохозяйственного сырья и продовольствия, внеочередной принудительный набор рабочих для германских предприятий.

После окончания беседы Гитлер вышел следом за Муссолини из кабинета и проводил его через приемный зал. Быстрым, ревнивым взором Муссолини оглядывал немецких часовых. Казалось, их мундиры и плечи были отлиты из стали, лишь в глазах было выражение иступленного напряжения, когда мимо них проходил фюрер. В этой монотонной серой окраске солдатского мундира и гитлеровского френча, близкой по тону борту линкора и железу сухопутной войны, было нечто превосходящее пышную окраску итальянской военной формы, нечто выражавшее силу германской армии. Неужели вот этот самоуверенный главнокомандующий восемь лет назад, во время первой их встречи, в белом дождевике, черной мятой шляпе и рыжих ботинках, похожий на провинциального актера либо живописца, вызывая смех и улыбки венецианской толпы, спотыкаясь шел на параде карабинеров и гвардии рядом с дуче, одетым в генеральский плащ, каску с высоким плюмажем и шитый серебром мундир римского генерала?

Дуче постоянно удивлялся успеху и власти Гитлера. Нечто иррациональное было в торжестве этого богемского психопата, и в глубине души Муссолини считал его успех курьезом и недоразумением мировой истории.

Вечером Муссолини несколько минут разговаривал со своим зятем Чиано. Они разговаривали во время короткой прогулки по прелестному весеннему саду — имелась опасность, что в комнатах князей-епископов дру?гом и союзником установлены замаскированные сименсовские диктофоны. Муссолини был раздражен: конечно, ему снова пришлось согласиться, и снова вопрос создания «Великой Итальянской империи» будет решаться не на Средиземном море, не в Африке, а где-то в чертовых донских и калмыцких степях. Чиано спросил о самочувствии фюрера. Муссолини ответил: крепок, но несколько утомлен и, как всегда, невероятно болтлив.

Чиано сказал, что Риббентроп был с ним очень любезен, настолько, что даже показался не совсем уверенным. Муссолини ответил, что это лето решит все судьбы и подведет итог всем итогам.

— Я думаю,— сказал Чиано,— любая неудача фюрера будет и нашей неудачей, но с некоторых пор я не уверен, будет ли его конечная удача и нашей удачей.

Его скептицизм не был поддержан — тесть отправился спать.

Тридцатого апреля после завтрака состоялась вторая встреча Гитлера и Муссолини — при ней присутствовали оба министра иностранных дел, фельдмаршалы и генералы.

Гитлер был в это утро очень возбужден. Не заглядывая в лежащие перед ним бумаги, он называл номера дивизий и цифры, выражавшие мощь промышленных предприятий. Он говорил час сорок минут без передышки, лишь облизывая губы своим большим языком, точно говорение вызывало у него во рту ощущение сладости. В своей речи он коснулся самых различных вопросов: Krieg, Friede, Weltgeschichte, Religion, Politik, Philosophie, Deutsche Seele... [2] Он говорил быстро, напористо, но спокойно, редко повышая голос. Лишь однажды он усмехнулся, по лицу его прошла судорога. «Вскоре еврейский смех замолкнет навсегда», — он приподнял кулак, но тотчас разжал его, мягко опустил руку. Итальянский партнер поморщился: темперамент фюрера пугал его.

Гитлер переходил несколько раз от вопросов войны к послевоенному устройству. Было ясно, что мысль его, опережая предстоящий успех летнего наступления в России и близкий конец войны на континенте, теперь часто бывает занята грядущим мирным временем — отношением к религии, социальными законами, национал-социалистическими науками, искусством, которые наконец смогут успешно развиваться в очищенной, освобожденной от коммунистов, демократов и евреев новой послевоенной Европе.

И в самом деле, пора подумать обо всем этом — в сентябре, в октябре, когда военный крах Советской России ознаменует начало мирного периода, когда угаснут пожары и уляжется пыль последнего в истории русского народа сражения, во всем объеме встанут сотни вопросов: нормальная организация немецкой жизни, хозяйственно-политический статус и административное деление побежденных стран, ограничительные нормы права и образования для неполноценных народов, селекция и регулирование размножения, перемещение крупных человеческих масс из бывшего Советского Союза для восстановительных и реконструктивных работ в Германии и организации для них долгосрочных лагерей мирного времени, ликвидация и демонтаж промышленных узлов в Москве, Ленинграде, на Урале и даже такие мелкие, но неизбежные дела, как переименование русских и французских городов.

В его манере говорить была одна особенность — казалось, он почти что равнодушен к тому, слушают ли его. Он говорил плотоядно, с наслаждением шевеля большими губами, глядя поверх голов, куда-то между потолком и тем местом, где начинались атласные белые портьеры над темными дубовыми дверями. Иногда он произносил пышные фразы: «Ариец — Прометей человечества»... «Я возвратил насилью его значение, как источнику всего великого и матери порядка»... «Мы осуществили путь вечного господства арийского Прометея над всеми человеческими и земными существами»...

И когда он произносил эти слова, его лицо улыбалось и он, волнуясь, судорожно глотал воздух.

Муссолини поморщил брови, быстро повернул голову и скосил глаза, словно хотел разглядеть свое ухо, дважды он нервно посмотрел на ручные часы — он сам любил говорить. В этих встречах, где младший годами, последователь, всегда оказывался первым, дуче находил утешение лишь в превосходстве своего ума, и потому долгое молчание было особенно тяжело ему. Он все время чувствовал на себе почтительный, приветливый и пристальный взгляд Риббентропа, сидевшего рядом с Чиано. Тот слушал, удобно сидя в кресле и глядя на большие губы фюрера, — не будет ли что-нибудь сказано о североафриканских колониях и будущей франко-итальянской границе. Но фюрер на этот раз не касался прозы. Альфиери, слышавший Гитлера чаще других итальянцев, смотрел вверх, в ту же точку, что и фюрер, — туда, где начинались портьеры, с выражением спокойной покорности. Йодль, сидевший на отдаленном диване, дремал, сохраняя на лице выражение внимания и деликатности. Кейтель, боявшийся уснуть — он сидел напротив Гитлера в

кресле,— то и дело вскидывал массивную голову, поправлял монокль и, ни на кого не оглядываясь, угрюмо хмурился. Генерал Кавалеро с выражением счастья и грубой подбострастности, вытянув шею и склонив набок голову, слушал, упиваясь каждым словом Гитлера, и изредка коротко быстро кивал.

Для немецких и итальянских министров и вельмож, генералов и всех, кто не первый раз видел и наблюдал эти встречи, зальцбургское свидание ничем не отличалось от предыдущих.

Так же, как и обычно, предметом разговора была континентальная политика и мировая война. Так же, как и обычно, вели себя при встрече фюрер и дуче: приближенные люди хорошо понимали отстоявшееся, выкристаллизовавшееся чувство одного к другому. Они знали тайное ощущение неравенства, не покидавшее Муссолини, знали, что он всегда раздражен инициативой, исходящей не из Рима, решениями, рождающимися в Берлине, совместными декларациями, которые его почтительно и торжественно просят подписывать, но не приглашают разрабатывать, ночными побудками, так как Гитлер имел обыкновение без церемоний вызывать патриарха фашизма для разговоров перед рассветом, в час крепкого сна.

А Чиано знал и постоянное утешение Муссолини, считавшего в глубине души Гитлера дураком; это утешение было в том, что сила фюрера лишь в статистическом, цифровом превосходстве немецкой армии, промышленности и населения над итальянцами; сила Муссолини была в самом Муссолини. Дуче даже любил высмеивать слабодушие итальянцев, это оттеняло личную силу человека, пытавшегося сделать молот из народа, который шестнадцать веков был наковальней. И при этом свидании приближенные люди, ловившие каждый жест и каждый взгляд своих хозяев, как и на предыдущих, отметили: отношения фюрера и дуче, и внешне и тайно-внутренне, были такими, как обычно. И такой же, как обычно, была внешняя суровость обстановки, подчеркивавшей военное величие и всеилие встречающихся. Возможно, некоторое отличие было в том, что речь в Зальцбурге шла о решающем, видимо последнем, военном усилии, так как на всем европейском массиве уже не оставалось вооруженного противника, кроме отступивших далеко на восток советских армий. Может быть, эту особенность Зальцбурга отметил бы будущий национал-социалистический историк. Возможно, что некоторое отличие от предыдущих их встреч было в особо уверенном, чрезвычайно уверенном настроении Гитлера.

Но все же было одно действительное отличие зальцбургской встречи от всех предыдущих встреч Гитлера с Муссолини. Оно заключалось в том, что вождь фашистской Германии, жаждавший войны, упивавшийся войной, безгранично самоуверенно и настойчиво заговорил о мире, высказав в этом свой бессознательный страх перед порожденной им войной. Шесть лет он неизменно побеждал — сатанинским насилием и военным блефом. Он был уверен, что в мире есть лишь одна действительная сила — это сила его армии и его империи; все, что противостояло ему, было мнимым, условным, нереальным и невесомым. Действительным и весомым был его кулак. Этот кулак разрывал, как паутину, одну за другой военные, политические и государственные комбинации Европы. Он искренне верил, что, возродив первобытные зверства и вернувшись к дубине человеческого прапращура, он открыл новые пути истории. Он доказал бессилие Версальского договора и порвал его, истоптал, а затем по-своему переписал на глазах президента Америки, премьеров Франции и Британии.

Он восстановил в Германии воинскую повинность, начал создавать запрещенные Версальским договором флот, армию, воздушные силы. Он ремилитаризовал Рейнскую область, введя туда тридцать тысяч солдат. Оказалось, эти силы достаточны, чтобы изменить решающий результат Первой мировой войны; для этого не нужны были миллионные армии и громады тяжелого вооружения. Удар за ударом, одно за другим он уничтожил государства послеверсальской Европы — Австрию, Чехословакию, Польшу,

Югославию.

Но чем больше был его успех, тем темней становилось в его голове. Он не мог ни понять, ни представить себе, что в мире существуют не одни лишь мнимые силы, не только политическая игра, не только категории пропаганды, не только правительства, заражающие своим бессилием солдат и матросов,— все то, с чем счастливо расправлялась его дубина.

Двадцать второго июня 1941 года германские армии вторглись в Советскую Россию. Первоначальный успех скрыл от Гитлера природу того гранита, тех духовных и материальных сил, против которых он ополчился. То были не мнимые силы, то были силы великого народа, заложившего фундамент будущего мира. Летнее наступление 1941 года, опустошительные зимние потери обескровили германскую армию, вызвали перенапряжение военной промышленности. Гитлер уж не мог, как в прошлом году, одновременно наступать на юге, на севере, в центре. Война сразу потеряла наиболее привлекавшие его свойства — она стала медленной, тяжелой. Но он не мог не наступать — в этом таилась его обреченность, а не его сила. Он начал тяготиться войной, стал бояться ее, а она все разрасталась и разрасталась, эта зажженная им десять месяцев назад война с Россией, он уже не был властен над ней, ее нельзя было потушить, она ширилась, как степной пожар, ее размах, ее ярость, ее сила, ее продолжительность росли и росли, и ему нужно было во что бы то ни стало закончить ее, но оказалось, что успешно начать войну легче, чем успешно закончить ее.

Вот в этом-то, пока неприметном, отличии и был признак действительного, а не ложного и мнимого хода исторических сил, впоследствии приведшего к гибели почти всех участников того зальцбургского совещания, на котором фашистский диктатор объявил о своем последнем, решающем наступлении на Советский Союз.]

3

Петру Семёновичу Вавилову принесли повестку [в самое неподходящее время: подождал бы военкомат еще месяца полтора-два, обязательно оставил бы семью на год с дровами и хлебом].

Что-то сжалось в душе у него, когда он увидел, как Маша Балашова шла через улицу прямо к его двору, держа в руке белый листок. Она прошла под окном, не заглянув в дом, и на секунду показалось, что она пройдет мимо, но тут Вавилов вспомнил, что в соседних домах молодых мужчин не осталось, не старикам же носят повестки. И действительно, не старикам: тотчас загремело в сенях,— видимо, Маша в полутьме споткнулась, и коромысло, падая, загремело по ведру.

Маша Балашова иногда заходила по вечерам к Вавиловым, еще недавно она училась в одном классе с вавиловской Настей, и у них были свои дела. Звала она Вавилова «дядя Пётр», но на этот раз она сказала:

— Распишитесь в получении повестки,— и не стала говорить с подругой.

Вавилов сел за стол и расписался.

— Ну все,— сказал он, поднявшись.

И это «все» относилось не к подписи в разносной книжке, а к кончившейся домашней, семейной жизни, оборвавшейся для него в этот миг. И дом, который он собирался покинуть, предстал перед ним добрым и хорошим. Печь, дымившая в сырые мартовские дни, печь с обнажившимся из-под побелки кирпичом, с выпуклым от старости боком показалась ему славной, как живое, всю жизнь прожившее рядом существо. Зимой он, входя в дом и растопырив перед ней сведенные морозом пальцы, вдыхал ее тепло, а ночью отогревался на овчинном полушубке, зная, где печь погорячей, и где попрохладней. В темноте, собираясь на

работу, он вставал с постели, подходил к печи, привычно нашаривал коробок спичек, высушенные за ночь портянки. И все, все: стол с черными полумесяцами от горячей сковороды, и маленькая скамеечка у двери, сидя на которой жена чистила картошку, и щель между половицами у порога, куда заглядывали дети, чтобы подсмотреть мышиную подпольную жизнь, и белые занавески на окнах, и чугунок, настолько черный от копоти, что утром его не различишь в теплом мраке печи, и подоконник, где стоял в банке красненький комнатный цветок, и полотенце на гвоздике,— все это стало по-особому мило и дорого ему, так мило, так дорого, как могут быть милы и дороги лишь живые существа. Из троих его детей старший сын Алексей ушел на войну, а дома жила его дочь Настя и четырехлетний, одновременно разумный и глупенький, сыночек Ваня, которого Вавилов прозвал «самоваром». И правда, он был похож на самовар: краснощекий, пузатенький, с маленьким крантиком, всегда видимым из раскрытых штанишек, деловито и важно сопящий.

Шестнадцатилетняя Настя уже работала в колхозе и на собственные деньги купила себе платье, ботинки и суконный красный беретик, казавшийся ей очень нарядным. [Она надевала беретик и смотрелась в зеркало с наполовину облупившейся амальгамой — одновременно видела и беретик и пальцы, которые держали зеркало, но лицо свое и беретик она видела отраженными в зеркале, а на пальцы смотрела, как через окошечко.] Вавилов, глядя, как дочь, возбужденная и веселая, в знаменитом берете, выходила гулять, шла по улице среди подруг, обычно с грустью думал, что после войны девушек будет больше, чем женихов.

Да, здесь шла его жизнь. За этим столом сидел ночами Алексей, готовившийся в агрономический техникум, вместе с товарищами решал задачи. За этим столом Настя читала с подругами хрестоматию «Родная литература». За этим столом сидели сыновья соседей, приехавшие гостить из Москвы и Горького, рассказывали о своей жизни, работе, и жена Вавилова, Марья Николаевна, говорила:

— Что ж, наши тоже в город поедут учиться на профессоров да на инженеров.

Вавилов достал из сундука красный платок, в котором были завернуты справки и метрики, вынул свой воинский билет. Когда он вновь положил сверточек со справками жены и дочери и свидетельством о рождении Вани в сундук, а свои документы переложил в карман пиджака, он почувствовал, что как бы отделился от своего семейства. А дочь смотрела на него новым, пытливым взглядом. В эти мгновения он стал для нее каким-то иным, словно невидимая пелена легла между ним и ею. Жена должна была вернуться поздно, ее послали с другими женщинами ровнять дорогу к станции — по этой дороге возили военные грузовики сено и зерно к эшелонам.

— Вот, дочка, и мое время пришло,— сказал он.

Она тихо ответила ему:

— Вы о нас с мамой не беспокойтесь. Мы работать будем. Только бы вы здоровый вернулись.— И, поглядев на него снизу вверх, прибавила: — Может, Алешу нашего встретите, вам вдвоем там тоже веселей будет.

О том, что ждало его впереди, Вавилов еще не думал, мысли были заняты домом и незаконченными колхозными делами, но эти мысли стали новые, иные, чем несколько минут назад. С утра он собирался положить лату на валенок, запаять дырявое ведро, потом подправить и развести пилу, потом зашить тулуп, подбить каблуки на жениных сапогах. Но сейчас нужно было сделать то, с чем жене самой не справиться. Начал он с самого легкого: насадил топор на готовое, лежавшее в запасе топорнице. Потом заменил худую перекладину в лестнице и полез чинить крышу. Он захватил туда с собой несколько новых тесин, топор, ножовку, сумочку с гвоздями. На минутку ему показалось, что он не сорокапятилетний человек, отец семейства, а мальчишка, взобравшийся ради озорной игры на крышу, сейчас

выйдет из избы мать и, заслоня ладонью глаза от солнца, поглядит вверх, крикнет:

— Петька, чтоб тебя, слазь! — и топнет в нетерпении ногой, досадуя, что нельзя схватить его за ухо.— Слазь, тебе говорят!

И он невольно поглядел на поросший бузиной и рябиной холм за деревней, где виднелись редкие, ушедшие в землю кресты. На миг показалось ему, он кругом виноват: и перед детьми, и перед покойной матерью — теперь уж не успеет он поправить крест на ее могиле, и перед землей, которую ему не пахать в эту осень, и перед женой — ей на плечи он переложит тяжесть, которую нес. Он оглядел деревню, широкую улицу, избы и дворики, темневший вдаль лес, высокое ясное небо — вот тут шла его жизнь. Белым пятном выделялась новая школа, солнце блестело в ее просторных стеклах, белела длинная стена колхозного скотного двора.

[Как он работал, отпуска у него не было! И ведь он не ленился, четырех лет от роду он, переваливаясь на кривых, гнутых ножках, пас гусей, маленьким пальчиком выискивал незамеченные картофелины в ямах, когда мать копала картошку на огороде, и нес их к общей куче, потом, став старше, он пас скотину, потом он копал землю на огороде, носил воду, запрягал лошадь, колол дрова, потом стал пахарем, научился косить, работать на комбайне.

Он плотничал, и стекла вставлял, и точил инструмент, и слесарил, и валял валенки, и чинил сапоги, и сдирал шкуры с зарезанных овец и павших лошадей, и дубил эти шкуры, и шил овчины, и табак сеял, и печь складывал. А сколько сделал он общественной работы. Это он в холодной сентябрьской воде складывал плотину, строил мельницу, мостил дорогу, копал канавы, месил глину, бил камень при постройке колхозного амбара и скотного двора и копал ямы для колхозной картошки. Сколько он вспахал колхозной земли, накопил для колхоза сена, намолотил зерна, сколько мешков перенес на плечах, сколько леса возил для новой школы, сколько дубовых стволов свалил в лесу и обтесал, сколько вбил гвоздей, и много он бил молотом и рубил топором, копал лопатой. Два сезона проработал он на торфе, по три тысячи торфяных кирпичин выбрасывал за день, а пищи было — яичко разомнут на троих, ведро кваса да по кило хлеба, а от комаров на болоте такое гудение, что дизеля не слышно. А сколько он наформовал кирпича. Из этого кирпича и больница, и школа, и клуб, и сельсовет, и колхозное правление, и даже в район его кирпичи возили. Два лета проработал он лодочником, возил грузы для фабрики; течение такое, что пловец не осилит его, а лодка поднимала пятьсот пудов, жилами выгребали.] {1}

Он все оглядывал: дома, огороды, улицу, тропинки, оглядывал деревню, как оглядывают жизнь. Вот прошли к правлению колхоза два старика — сердитый спорщик Пухов и сосед Вавилова Козлов, его за глаза звали Козликом. Вышла из избы соседка Наталья Дегтярева, подошла к воротам, поглядела направо, налево, замахнулась на соседских кур и вернулась обратно в дом.

Нет, останутся следы его труда.

Он видел, как в деревню, где отец его знал лишь соху да цеп, косу да серп, вторглись трактор и комбайн, сенокосилки, молотилки. Он видел, как уходили из деревни учиться молодые ребята и девушки и возвращались агрономами, учителями, механиками, зоотехниками. Он знал, что сын кузнеца Пачкина стал генералом, что перед войной приезжали гостить к родным деревенские парни, ставшие инженерами, директорами заводов, областными партийными работниками.

[Иногда по вечерам они собирались поговорить о жизни. Старик Пухов считал нынешнюю жизнь хуже прежней. Он высчитывал, что? стоило зерно при царе, что? можно было купить в лавке, сколько стоила пара сапог, какие щи варились, и получалось, что жилось тогда легче. Вавилов спорил с ним, он считал, что чем больше народ помогает государству, тем больше

сможет государство помочь народу.

Пожилые женщины говорили: мы теперь людьми стали, теперь наши дети в большие люди выходят; а при царе, может, сапоги и дешевле стоили, а нас и детей наших за людей не считали.

Пухов отвечал: на крестьянине всегда государство стоит, а государство, оно тяжелое, и при царе бывал голод — и теперь случается, и при старом режиме с мужика брали — и теперь есть на него налог, были и есть лапотники... Пухов обычно кончал так: а вообще все бы хорошо, только бы не колхозы.]

Вавилов еще раз посмотрел вокруг.

Ему всегда хотелось, чтобы жизнь человека была просторна, светла, как это небо, и он работал, поднимая жизнь. И ведь не зря работал он и миллионы таких, как он. Жизнь шла в гору.

Закончив работу, Вавилов слез с крыши, пошел к воротам. Ему вдруг вспомнилась последняя мирная ночь, под воскресенье 22 июня: вся огромная, молодая рабочая и колхозная Россия пела, играла на баянах в городских садах, на танцевальных площадках, на сельских улицах, в рощах, в перелесках, на лугах, у родных речек...

И вдруг стало тихо, не доиграли баяны.

Вот уж год стоит над советской землей суровая, без улыбки тишина.

4

Вавилов пошел в правление колхоза. По дороге он опять увидел Наталью Дегтяреву.

Обычно она смотрела на Вавилова угрюмо, с упреком — у нее на войне были и муж и сыновья. Но сейчас, по тому, как она поглядела на него внимательно и жалостливо, Вавилов понял: Дегтярева уже знает, что и к нему пришла повестка.

— Идешь, Пётр Семёнович? — спросила она.— Марья-то еще не знает?

— Узнает,— ответил он.

— Ой, узнает, узнает,— сказала Наталья и пошла от ворот в избу.

В правлении председателя не оказалось: уехал на два дня в район. <...> [3] {2}

Вавилов сдал однорукому счетоводу Шепунову колхозные деньги, полученные им накануне в районной конторе Госбанка, получил расписку, сложил вчетверо и положил в карман.

— Ну все, до копеечки,— сказал он,— перед колхозом я не виноват ни в чем.

Шепунов, позванивая медалью «За боевые заслуги» о металлическую пуговицу на гимнастерке, подвинул в сторону Вавилова лежавшую на столе районную газету и спросил:

— Читал, товарищ Вавилов, «В последний час»? От Советского Информбюро?

— Нет,— ответил Вавилов. Шепунов стал читать:

— «Двадцатого мая наши войска, перейдя в наступление на харьковском направлении, прорвали оборону немецких войск и, отразив контратаки крупных танковых соединений и мотопехоты, продвигаются на запад.— Он поднял палец, подмигнул Вавилову: — ...продвинулись на глубину двадцать — шестьдесят километров и освободили свыше трехсот

населенных пунктов...» Вот и пишут: «Захвачено орудий триста шестьдесят пять, танков двадцать пять, а патронов около миллиона штук...»

Он посмотрел на Вавилова с дружелюбием старого солдата к новичку и спросил:

— Понял теперь?

Вавилов показал ему повестку из военкомата.

— Понял, отчего ж я не понял... Я и другое понял: это пока так, только начало, а к самому делу как раз и я поспею,— и он разгладил повестку на ладони.

— Может, передать что-нибудь Ивану Михайловичу? — спросил счетовод.

— Что ж ему передавать, он и сам все знает.

Они заговорили о колхозных делах, и Вавилов, забыв о том, что председатель «сам все знает», стал наказывать Шепунову:

— Ты передай Ивану Михайловичу: доски, что я с лесопильного завода привез, пусть на ремонт не пускает. Так и скажи. Потом насчет мешков наших, что в районе остались. Надо человека послать, а то пропадут либо заменят их нам. Потом насчет оформления ссуды... так и скажи — Вавилов передал...

[Он не любил председателя. Тот гнул свой личный интерес во всех делах, отошел от земли, хитрил. Он составлял отчеты, по которым получалось перевыполнение плана, и все знали, что нету перевыполнения. Он ездил в район и даже область, возил подарки — то меду, то яблок.

Видимо, он не докладывал [4] к своему председательству — привез из города диван, большую лампу, швейную машину. Когда было награждение области, его наградили медалью «За трудовое отличие». Он носил ее летом на пиджаке, а зимой приколотой к шубе, и, когда он заходил с мороза в натопленное помещение, медаль покрывалась каплями росы.

Он считал, что главное в жизни не работа, а умение обращаться с людьми, говорил одно, а делал другое. К войне он относился просто — понял, что районный военный комиссар во время войны есть одно из главных лиц. И действительно, его сын Володька укрылся за броню, стал работать на военном заводе и иногда приезжал домой за салом и самогоном для нужных людей.

И председатель не любил Вавилова, боялся его, говорил: «Слишком ты для меня поперечный человек, нет в тебе обращения». А председатель обращался только с нужными людьми, с теми, что могли и взять и дать. В колхозе Вавилова многие побаивались — очень он был угрюм и молчалив. Но ему верили и всегда при артельной работе ему поручали получать и хранить деньги, во всех общественных делах и складчинах его выбирали казначеем. Всю свою жизнь не знал он ни судов, ни допросов, и только за год до войны пришлось ему по глупому случаю впервые побывать в милиции.

Как-то вечером в окно его избы постучался пожилой человек, попросился переночевать. Вавилов молча оглядел заросшее черной бородой лицо путника и отвел его в сарай с сеном, постелил ему тулуп, принес молока и кусок хлеба.

Ночью приехали из района на машине ребята в желтых кожаных пальто и пошли прямо в сарай к Вавилову. На обратном пути они прихватили и Вавилова, посадили его в машину, повезли в район. Там начальник спросил, зачем он пустил в сарай этого человека, заросшего бородой.

Вавилов подумал и ответил:

— Пожалел.

— А кто он такой, ты спрашивал его? — спросил начальник.

— А чего спрашивать, я сам вижу — человек,— ответил Вавилов.

Начальник долго, показалось, что очень долго, смотрел в глаза Вавилову и молчал. Потом сказал:

— Ну ладно, иди домой.

После деревенские все смеялись, спрашивали, хорошо ли Вавилова прокатили на легковой.]
<...> {3}

...Он шел обратно к дому по пустой улице и все ускорял шаги. Его нестерпимо тянуло вновь увидеть детей, дом, казалось — всем телом, не только умом ощутил он тоску близкого расставания.

Он вошел в дом, и все в доме было знакомо и известно, и все знакомое и известное показалось новым, волновало и трогало душу: и комод, покрытый вязаной скатертью, и подшитые валенки с черными заплатами, и ходики, висевшие над широкой кроватью, [и деревянные ложки с краями, обгрызенными нетерпеливыми детскими зубами,] и фотографии родных в застекленной раме, и большая легкая кружка из тонкой белой жести, и маленькая тяжелая кружка из темной меди, и стиранные, вылинявшие серые штанишки Ванюши, отливающие какой-то грустной, неясной голубизной. И сама изба внутри имела удивительное свойство, присущее русским избам,— была одновременно тесна и просторна[. Была она обжита, согрета дыханием хозяев, родителей хозяев, до того уж обжита, что дальше некуда, казалось, и обживать жилье, а с другой стороны, точно люди не собирались в ней долго жить, пришли, положили вещи и вот-вот поднимутся и опять уйдут, оставят двери не заперты]... Как в этой избе хороши были дети! С утра, топоча босыми ножками, пробежит Ваня по полу, светлоголовый, точно живой теплый цветочек...

Вавилов помог Ване влезть на высокий стул, и сквозь шершавую мозолистую ладонь дошло до него тепло родного детского тела, а веселые ясные глаза одарили его доверчивым и чистым взором, и голос крошечного человека, ни разу не сказавшего грубого слова, не выкурившего ни одной папироски, не выпившего и капли вина, спросил:

— Папаня, правда ты завтра на войну идешь?

Вавилов усмехнулся, и глаза его стали влажными.

5

Ночью Вавилов при лунном свете рубил сложенные под навесом за сараем пеньки. Эти пеньки в течение многих лет собирались во дворе, были они ободраны и оббиты: остались в них лишь перекрученные в узлы связанные волокна, которые ни расколоть, ни рассечь, а лишь можно разодрать.

Марья Николаевна, высокая, плечистая, такая же, как и Вавилов, темнолицая, стояла возле него и время от времени нагибалась, подбирала отлетевшие далеко в сторону куски дерева, искоса поглядывая на мужа. И он оглядывался, то взмахивая топором, то наклоняясь. Он видел ее ноги, край платья, то вдруг, распрямившись, смотрел на ее большой тонкогубый рот, пристальные и темные глаза, высокий, выпуклый, без морщин, ясный лоб. А иногда, распрямившись, они стояли рядом и казались братом и сестрой, так одинаково отковала их жизнь; трудный труд не согнул их, а расправил. Они оба молчали, это было их прощание. Он

бил топором по упругому, одновременно мягкому и неподатливому дереву, и от удара охала земля, охало в груди у Вавилова; яркое лезвие топора при свете луны было синим, оно то вспыхивало, занесенное высоко вверх, то гасло, устремляясь к земле.

Тихо было кругом. Лунный свет, словно мягкое, льняное масло, покрывал землю, траву, широкие поля молодой ржи, крыши изб, расплывался в окошечках и в лужах.

Вавилов обтер тыльной частью ладони вспотевший лоб и поглядел на небо. Казалось, припекло его летним горячим солнцем, но высоко в небе стояло бескровное, ночное светило.

— Хватит,— сказала ему жена,— на всю войну все равно не напасешь.

Он оглянулся на гору нарубленных дров.

— Ладно, придем с Алексеем с войны, еще дров тебе наколем.— И он обтер ладонью лезвие топора так же, как только что обтер свой вспотевший лоб.

Вавилов вынул кيسет и свернул папиросу, закурил; махорочный дым медленно расплывался в неподвижном воздухе.

Они зашли в дом. Тепло дохнуло в лицо, слышалось дыхание спавших детей. Этот спокойный сумрак, этот воздух, головы детей, белевшие в полутьме,— это была его жизнь, его любовь, его счастливая судьба. Ему вспомнилось, как он жил здесь холостым парнем — ходил в синих галифе, в буденовке со звездой, курил трубочку с крышечкой, которую старший брат привез с германской войны. Этой трубочкой он гордился, она придавала ему лихой вид, и люди брали ее в руки и говорили: «Хорошая вещь, интересная вещь». Он потерял ее перед женитьбой.

Он увидел лицо спавшей Насти и оглянулся на жену, и лучшим счастьем в мире показалось ему быть в этой избе, не уходить из нее. Этот именно миг стал самым горьким в его жизни — миг, когда не умом, не мыслью, а глазами, кожей, костями ощутил он в этой сонной предрассветной тишине злую силу врага, которому нет дела ни до Вавилова, ни до того, что он любил и чего хотел. И с острой мукой и тревогой смешалось чувство любви к детям и жене. На минуту он забыл, что его судьба, судьба спавших на постели детей слилась с судьбой страны и жившего в ней народа, что судьба колхоза, в котором он жил, и судьба огромных каменных городов с миллионами горожан были едины. В горький час сердце его сжалось той болью, которая не знает и не хочет ни утешения, ни понимания. Ему лишь одного хотелось: жить в тех дровах, которые жена будет зимой класть в печь, в той соли, которой она будет солить картошку и хлеб, в том зерне, что привезет она за его трудодни. И он знал, что жить ему в их мыслях и воспоминаниях и в пору обилия, и в дни нехватки, в час нужды.

Жена заговорила быстро, тихо о детях и доме и словно упрекала мужа, точно он уходил по своему легкомыслию.

Ему стало обидно, но он понимал, что ей тяжело и она говорит все это, чтобы не прорвались из души тяжесть и боль.

Он не стал спорить с ней, а потом, когда она замолчала, спросил:

— Собрала мне, что говорил?

Она положила на стол мешок и сказала:

— В мешке весу больше, чем в вещах твоих.

— Ничего, легче идти будет,— примирительно сказал он.

И действительно, весу в мешке было не много: хлеб, скрипящие ржаные сухари, кусок сала,

немного сахара, кружка, иголка с моточком ниток, фуфайка, две пары белья, две пары стиранных портянок.

— Рукавицы положить? — спросила она.

— Нет. И фуфайку оставлю, пусть Насте будет, мне выдадут,— сказал Вавилов.

Марья Николаевна молча согласилась, отложила фуфайку в сторону.

— Папаня,— сказала сонным голосом Настя,— а папаня, да вы бы фуфайку свою взяли, мне зачем она?

— Спи, спи,— сказала мать, передразнивая ее сонный голос: — Фуфайку, фуфайку... А сама в чем ходить будешь? Вот пошлют зимой окопы копать, будешь знать тогда.

Вавилов сказал дочке:

— Ты не думай — строгий, я тебя жалею, я тебя люблю, глупенькую.

И девочка заплакала, припала щекой к его руке, сказала:

— Папенька.

— А то возьми фуфайку,— сказала жена.

— Вы хоть письма нам пишите,— всхлипнула Настя.

Ему многое хотелось сказать, десятки незначительных и важных вещей, в них он выразил бы свою любовь, а не только заботу о хозяйстве: про то, что надо получше укрыть зимой от мороза молодое сливовое дерево, про то, чтобы не забыли перебрать картошку — она начала преть, про то, чтобы попросить председателя насчет ремонта печки. Хотелось сказать про эту войну, на которую пошел весь народ, и сын их пошел, и вот отцу пришлось время пойти.

Но столько было мелкого и важного, значительного и пустякового, что он не стал говорить, все равно всего не высказать.

— Так, Марья,— сказал он,— давай я вам напоследок воды наношу.

Он взял ведра и пошел к колодцу. Ведро, погромыхивая об осклизлые стенки сруба, шло вниз. Вавилов наклонился над колодцем, и на него пахнуло холодной влагой, и черный мрак ударил по глазам. В этот миг он подумал о смерти.

Ведро хлебнуло воды сразу по самый край. Оно шло вверх, и Вавилов слушал, как вода падала на воду, и чем выше поднималось ведро, тем звонче становился этот звук. Ведро выплыло из тьмы, и быстрые струи сбегали с него, торопливо и жадно устремлялись обратно во тьму.

Входя в сени, он увидел жену, сидевшую на лавке. В полутьме он не мог ее хорошо разглядеть, но угадывал выражение ее лица.

Она подняла голову и сказала:

— Посиди, отдохни, поешь.

— Ничего, успею,— сказал он.

Уже светало. Он сел за стол. На столе лежала в миске картошка, белел засахарившийся мед

на блюде, лежал нарезанный хлеб, стояла кружка молока. Он ел неторопливо. Щеки у него горели, как от зимнего ветра[, и в голове дым стоял. Он думал, говорил, двигался, жевал, и казалось, вот сдует этот дым и тогда он рассудит обо всем].

Жена подвинула ему миску и проговорила:

— Съешь яичек, я полтора десятка тебе в мешок положу, сварила.

Он улыбнулся этой заботе такой застенчивой и ясной улыбкой, что Марью Николаевну словно обожгло. Так улыбался он ей, когда она восемнадцатилетней вошла в эту избу. И женщина почувствовала то, что чувствуют тысячи тысяч таких, как она. Сердце сжалось, и одно оставалось — закричать, чтобы криком выразить и оглушить свое горе.

Но она только проговорила:

— Надо бы пирогов напечь, вина купить, да где — война.

А он встал, обтер рот и сказал:

— Ну! — и стал собираться.

Они обнялись.

— Пётр,— медленно проговорила она, как бы убеждая его опомниться, одуматься.

— Надо,— сказал он.

Движения его были медленны, но он старался не смотреть в сторону жены.

— Надо детей разбудить, а то Настя снова заснула,— рассуждая сама с собой, проговорила Марья Николаевна. Разбудить детей ей хотелось в помощь себе, чтобы поделить с ними тяжесть этой минуты.

— Чего будить, я с вечера с ними простился,— сказал он и прислушался к сонному дыханию дочери.

Он поправил мешок, взял шапку, шагнул к двери, быстро поглядел на жену.

Она вместе с ним обвела глазами стены, но как по-разному видели они эту избу, когда в последнюю минуту стояли рядом на пороге! Она заранее знала, что все ее одиночество увидят эти стены, и они казались ей угрюмы, пусты. А ему хотелось унести в памяти самый добрый для него дом на земле.

Он шел по дороге, а она, выйдя к воротам, смотрела ему вслед, и ей казалось, что она снесет все, все переживет, лишь бы вернулся и хоть час побыл, хоть раз еще посмотреть на него.

— Пётр, Петя,— шептала она.

Но он не оглянулся, не остановился, все шел навстречу красной заре, поднявшейся над краем вспаханной им земли. А холодный ветер бил в лицо, выдувая из его одежды тепло, дух жилья.

6

В семейном празднике, устроенном в военные дни 1942 года в доме Александры Владимировны Шапошниковой, вдовы известного инженера-мостостроителя, не было легкомыслия.

В коротком сборе родных, усаживающихся вокруг стола, чтобы поглядеть в лицо готового уйти в далекий путь близкого человека, есть внутренний, трогательный смысл. Недаром обычай этот существовал в различных слоях общества и сохранился, когда исчезли многие обычаи прошлого.

Родные и друзья понимали: это, быть может, последний сбор семьи, кто знает, удастся ли встретиться когда-нибудь.

Было решено позвать Мостовского и старинного знакомого Андреева. Андреев знал покойного мужа Александры Владимировны с очень давних времен, когда тот, еще студентом-политехником, приезжал на Волгу практиковать машинистом на буксирном пароходе. Андреев служил на этом пароходе кочегаром, и девятнадцатилетний студент Шапошников много раз беседовал с ним на паровой палубе. После у него с семьей Шапошниковых завязалось устойчивое знакомство, и когда Александра Владимировна, вдовой, приехала с детьми в Сталинград, Андреев постоянно навещал ее.

Женя, младшая дочь Александры Владимировны, смеясь говорила:

— Судя по всему, мамин поклонник.

Была позвана также недавняя знакомая Шапошниковых, Тамара Березкина. Тамаре так круто пришлось во время войны, столько на ее долю и долю ее детей выпало скитаний, бомбежек, пожаров, что ее в семье Шапошниковых обычно называли «бедняга Тамара» и говорили: «Что же это не приходит бедняга Тамара?»

Трехкомнатная квартира Шапошниковых, казавшаяся всем просторной — в ней Александра Владимировна жила вдвоем с внуком Серёжей, — ныне стала тесной. К Александре Владимировне вскоре после начала летнего немецкого наступления перебралась со СталГРЭСа семья средней дочери, Маруси. До этого Маруся с мужем и дочерью Верой жила в доме, примыкавшем к зданию электростанции. Большинство инженеров, имевших родственников в Сталинграде, опасаясь ночных налетов, переселили свои семьи в город.

Степан Фёдорович, муж Маруси, перевез к теще пианино и часть мебели. Вскоре после переезда Маруси и Веры приехала в Сталинград младшая дочь Александры Владимировны, Женя.

В свободное от дежурств время ночевала у Шапошниковых старинная приятельница Александры Владимировны, доктор Софья Осиповна Левинтон, работавшая хирургом в одном из сталинградских госпиталей.

Накануне внезапно приехал Толя — сын Людмилы, старшей дочери Александры Владимировны, он ехал из военной школы с назначением в армию. Приехал он не один, а со своим дорожным товарищем, лейтенантом, возвращающимся из госпиталя в часть. Когда они вошли в дом, бабушка не сразу узнала Толю в военной форме и строго спросила:

— Вам кого нужно, товарищи? — И вдруг вскрикнула: — Толенька!..

Женя объявила, что необходимо торжественно отметить сбор семьи.

Степан Фёдорович привез белой муки, и с вечера было расчищено [5] тесто на пироги. Женя добыла три бутылки сладкого вина; Маруся пожертвовала для пира часть неприкосновенного, обменного фонда — пол-литровую бутылку водки.

В то время было принято ходить в гости со своими продуктами — «единоличным» хозяевам трудно было устроить многолюдное пиршество.

Женя с влажными от кухонного жара висками и лицом, в халатике, наброшенном поверх

нарядного летнего платья, повязав косынку, из-под которой выбивались темные завитки волос, стояла посреди кухни — в одной руке ее был нож, в другой кухонное полотенце.

— Господи, неужели мама еще не пришла с работы до сих пор? — спросила она у сестры.— Нужно ли его уже поворачивать, а вдруг сгорит, я вашей духовки не знаю.

Она была увлечена печением пирога и думала только о пироге. Маруся, посмеиваясь над хозяйственным пылом младшей сестры, проговорила:

— Я ведь тоже этой духовки не знаю, ты не волнуйся, ведь мама уже дома, там уже пришел кто-то из гостей.

— Маруся, зачем ты носишь этот ужасный коричневый жакет? — спросила Женя.— Ты и так сутулишься, а в нем кажешься совсем горбатой. А темный платочек только подчеркивает седину. Тебе при твоей худобе надо носить светлое.

— Где мне об этом думать,— сказала Маруся,— я скоро бабушкой стану, Вере моей восемнадцать лет, шутка ли?

Она прислушалась к звукам пианино, доносившимся из комнаты, и, нахмутив лоб, посмотрела на Женю сердитым взглядом своих больших темных глаз.

— Только тебе могло прийти в голову устраивать все это,— сказала она,— перед соседями неловко. Не вовремя, не вовремя ты пировать затеяла.

Женя часто принимала внезапные решения, порой причинявшие ей и близким ее немало огорчений. В школьные годы она то в ущерб занятиям увлекалась танцами, то вдруг воображала себя художником. Ее привязанность к подругам была непостоянна: то она объявляла одну из своих подруг замечательной, благородной, то с горячностью обличала ее грехи. Она поступила на факультет живописи Московского художественного института и кончила его. Иногда Жене казалось, что она отличный мастер,— и она восхищалась своими работами и своими замыслами, то вдруг вспоминала чьи-то равнодушные глаза, чье-то насмешливое замечание — и решала: «Я бездарная корова», и жалела, что не училась прикладным искусствам, раскрашиванию тканей. Двадцати двух лет Женя, студенткой последнего курса, вышла замуж за работника Коминтерна Крымова. Он был старше ее на тринадцать лет. Ей все нравилось в муже: его равнодушие к мещанским удобствам и к красивым вещам, романтическое прошлое участника гражданской войны, его работа в Китае, его коминтерновские друзья. Но вот, хотя Женя и восхищалась мужем, а Крымов, казалось, искренне и сильно любил ее, супружество их не было прочным.

И кончилась их совместная жизнь тем, что в один декабрьский день Евгения Николаевна уложила вещи в чемодан и уехала к матери. Это случилось в 1940 году. Женя так путано объяснила родным причину своего разрыва с мужем, что никто ничего не понял. Маруся назвала ее неврастеничкой, мать спрашивала, не полюбила ли Женя кого-нибудь. Вера спорила с пятнадцатилетним Серёжей, которому поступок Жени казался правильным.

— Как ты не понимаешь,— говорил он,— разлюбила — и все, как ты не понимаешь!

— Ну вот, расфилософствовался: полюбила, разлюбила. Что ты в этом смыслишь, минога,— говорила ему двоюродная сестра, учившаяся тогда в девятом классе и считавшая себя искушенной в сердечных делах.

[Соседи и некоторые знакомые объяснили событие, происшедшее в Жениной жизни, просто. Одни говорили, будто Женя осторожна и практична, а муж ее не из тех, кто сейчас идет в гору, многие его друзья и знакомые оказались в тяжелом положении, кое-кто оказался не у дел, а некоторые даже подверглись репрессиям, и Женя решила уйти заранее, чтобы не

делить с мужем беды. Другие, романтические сплетницы, передавали, что она имела любовника и будто бы муж ее уехал на Урал, но с дороги был вызван телеграммой, застал Женю с возлюбленным.

Есть люди, склонные предполагать лишь низменные причины человеческих действий, и вовсе не потому, что сами плохи, наоборот, часто хулители не сделали бы того, в чем подозревают других. Считается, что такие объяснения человеческих поступков свидетельствуют о житейском опыте, объяснения же, предполагающие благородные побуждения, так кажется этим людям, делаются существами наивными и недалевидными.

Женя, узнав, что говорят по поводу ее развода, ужаснулась...]

Но все это было до войны и в этот приезд Жени не вспоминалось.

7

Молодое поколение собралось в маленькой Серёжиной комнатке, в которую Степан Фёдорович ухитрился втиснуть пианино, привезенное со СталГРЭСа.

Шел шуточный разговор о том, кто на кого похож и кто не похож. Худой, бледнолицый, темноглазый Серёжа походил на мать. От матери были у него черные волосы и смуглая кожа, нервные движения и быстрый, робкий и дерзкий взгляд темных больших глаз. Толя, высокий и плечистый, с широким лицом и широким носом, то и дело поправлявший перед зеркалом светло-соломенные волосы, вынул из кармана гимнастерки фотографию, на которой он был снят рядом с сестрой Надей, худенькой девочкой с длинными тонкими косичками, жившей сейчас с родителями в казанской эвакуации, и все рассмеялись, настолько были не похожи брат и сестра. А Вера, высокая, румяная, с маленьким прямым носиком, не имела никакого сходства с двоюродными братьями и двоюродной сестрой, только живыми и сердитыми карими глазами она походила на свою молодую тетку Женю. [Такое совершенное несходство внешности среди составлявших одну семью происходило особенно резко в поколении, рожденном после революции, когда браки между людьми заключались независимо от любых различий и любовь соединяла людей совершенно разных по общественному положению, по крови, нации, языку и происхождению. Внутренние различия между людьми, естественно, тоже были велики, характеры обогащались необычными соединениями.]

Утром Толя вместе с попутчиком, лейтенантом Ковалевым, сходили в штаб округа. Ковалев узнал, что его дивизия по-прежнему стоит в резерве где-то между Камышином и Саратовом. Толя тоже имел предписание явиться в одну из резервных дивизий. Молодые лейтенанты решили остаться в Сталинграде на лишние сутки. «Войны на нас хватит,— рассудительно сказал Ковалев,— не опоздаем». Было условлено не выходить на улицу, чтобы не попасться комендантскому патрулю.

Всю трудную дорогу до Сталинграда Ковалев помогал Толе, у него имелся котелок, а у Толи котелок [украли] {4} в день выхода из школы. Ковалев заранее знал, на какой станции будет кипяток, на каких продпунктах по аттестату дают копченого рыба и баранью колбасу, а на каких лишь гороховый и пшеничный концентрат.

В Батраках он раздобыл фляжку самогона, и они распили ее с Толей. Ковалев рассказал ему о своей любви к девушке-землячке, на которой он женится, как только кончится война.

[Он рассказывал ему о войне то сокровенное, что не найдешь в уставах и книгах и что нужно и важно только тем людям, которые воюют, не имея много вероятий дожить до конца войны, а не тем, кто после войны хочет узнать, какова она была.]

Дружеское расположение фронтового лейтенанта льстило Толе. В поезде он старался казаться бывалым парнем, а когда речь заходила о девушках, с утомленной усмешкой

говорил: «Да, брат, всяко бывает».

Сейчас Толе хотелось поболтать, как никогда, с Серёжей и Верой, но он почему-то стыдился их перед Ковалевым, почему — сам не мог понять. Уйди Ковалев, он бы заговорил о том, о чем всегда говорил с двоюродными братом и сестрой. Минутами Ковалев тяготил Толю, и ему становилось стыдно оттого, что возникало такое чувство к верному дорожному товарищу.

Вся жизнь его была связана с миром, где жили Серёжа, Вера и бабушка, но встреча с близкими людьми казалась сейчас случайной и мимолетной.

В мире военной службы, где были лейтенанты, политруки, старшины и ефрейторы, треугольники, кубики, «шпалы» и ромбы, продовольственные аттестаты и проездные литеры, ему суждено было отныне жить. В этом мире встретились ему новые люди, новые друзья и новые недруги, в этом мире все было по-новому.

Толя не сказал Ковалеву, что он хотел поступить на физико-математический факультет и собирался произвести переворот в естественных науках. Он не рассказывал Ковалеву о том, что незадолго до войны начал конструировать телевизор.

По внешности Толя был плечистый, рослый: «тяжеловес» — называли его в семье, а душа у него оказалась робкая и деликатная.

Разговор не вязался. Ковалев выстукивал на пианино одним пальцем «Любимый город может спать спокойно».

— А это кто? — зевая, спросил он и указал на портрет, висевший над пианино.

— Это я,— сказала Вера,— тетя Женя рисовала.

— Не похоже,— сказал Ковалев.

Главную неловкость вносил Серёжа, он смотрел на гостей насмешливыми, наблюдающими глазами, хотя ему полагалось бы, как всякому нормальному отроку, восхищаться военными, да еще таким, как Ковалев, с двумя медалями «За отвагу», со шрамом на виске. Он не расспрашивал о военной школе, и это обижало Толю, ему обязательно хотелось рассказать о старшине, о стрельбе на полигоне, о том, как ребята ухитрились без увольнительной записки ходить в кино.

Вера, знаменитая в семье тем, что могла смеяться без всякого повода, просто оттого, что смех был постоянно в ней самой, сегодня была неразговорчива и угрюма. Она присматривалась к гостю, а Серёжа, точно нарочно, затевал самые неподходящие разговоры, со злорадной прозорливостью находил особенно бестактные слова.

— Вера, а ты что молчишь? — раздраженно спросил Толя.

— Я не молчу.

— Ее ранил амур,— сказал Серёжа.

— Дурак,— ответила Вера.

— Факт, сразу покраснела,— сказал Ковалев и плутовски подмигнул Вере: — Точно, влюблена! В майора, верно? Теперь девушки говорят: «Нам лейтенанты на нервы действуют».

— А мне лейтенанты не действуют на нервы,— сказала Вера и посмотрела Ковалеву в глаза.

— Во, значит, в лейтенанта,— сказал Ковалев и немного расстроился, так как лейтенанту всегда неприятно видеть девушку, отдавшую сердце другому лейтенанту.— Знаете что,— сказал он,— давайте выпьем по сто грамм, раз такое дело, у меня во фляжке есть.

— Давайте,— внезапно оживился Серёжа,— давайте, обязательно.

Вера сперва стала отказываться, но выпила лихо и закусила солдатским сухариком, добытым из зеленого мешка.

— Вы будете настоящая фронтовая подруга,— сказал Ковалев.

И Вера стала смеяться, как маленькая, морща нос, притопывая ногой и трясая русой гривой волос.

Серёжа сразу захмелел, сперва пустился в критику военных действий, а потом стал читать стихи. Толя искоса поглядывал на Ковалева, не смеется ли он над семейством, где взрослый малый, размахивая руками, читает наизусть Есенина, но Ковалев слушал внимательно, стал похож на деревенского мальчика, потом вдруг раскрыл полевую сумку и сказал:

— Стой, дай я спишу!

Вера нахмурилась, задумалась и, погладив Толю по щеке, сказала:

— Ой, Толя, Толенька, ничего ты не знаешь! — таким голосом, точно ей было не восемнадцать лет, а по крайней мере пятьдесят восемь.

8

Александра Владимировна Шапошникова, высокая, статная старуха, задолго до революции кончила по естественному отделению Высшие женские курсы. После смерти мужа она одно время была учительницей, затем работала химиком в бактериологическом институте, а в последние годы заведовала лабораторией по охране труда. Штат в лаборатории был невелик, а во время войны и вовсе уменьшился, и ей приходилось самой ездить на заводы, в железнодорожные депо, на элеватор, на швейные и обувные фабрики, брать пробы при исследовании воздуха и промышленной пыли. Эти поездки утомляли, но Александре Владимировне они были приятны и интересны. Она любила работу химика и в своей маленькой лаборатории сконструировала аппаратуру для количественного анализа воздуха промышленных предприятий, производила анализы металлической пыли, технической и питьевой воды, определяла вредоносные окись углерода, сероуглерод, окислы азота, анализировала различные сплавы и свинцовые соединения, определяла пары ртути и мышьяка. Она любила людей и при поездках на предприятия заводила дружбу с токарями, швеями, мукомолами, кузнецами, монтерами, кочегарами, кондукторами трамваев, железнодорожными машинистами.

[За год до войны она взялась вечерами работать в технической библиотеке, делала переводы для себя и для инженеров сталинградских заводов. Она знала иностранные языки — английский и французский, которым учили ее в детстве, а немецкий она изучила, живя с мужем в эмиграции, в немецкой Швейцарии: в Берне и Цюрихе.]

Вернувшись с работы, она, подойдя к зеркалу, долго поправляла свои белые волосы, приколола к воротничку блузки брошечку — две эмалевые фиалки. Она задумалась на мгновение, глядя на себя в зеркало, и решительно открепилла брошку, положила ее на столик. Дверь приоткрылась, и Вера громким смешливым и испуганным шепотом сказала:

— Бабушка, скорей, пришел этот самый грозный старик Мостовской!

Александра Владимировна на секунду замешкалась, вновь приколола брошку и торопливо

пошла к двери.

Она встретила Мостовского в маленькой передней, заставленной корзинами, старыми чемоданами и мешками с картошкой.

Михаил Сидорович Мостовской принадлежал к людям той неисчерпаемой жизненной силы, о которых принято говорить: «Это человек особой породы».

Мостовской жил до войны в Ленинграде. Его вывезли из блокады самолетом в феврале 1942 года. Мостовской сохранил легкость походки, хорошее зрение и слух, сохранил память и силу мысли, а главное — сохранил живой, незапыленный интерес к жизни, науке и людям. Он обладал всем этим, несмотря на то что прожил жизнь, которой бы хватило на много людей: столько пришлось на него одного царской каторги, ссылки, бессонных трудовых ночей, лишений, ненависти врагов, разочарований, горечи, радости, печали. Александра Владимировна познакомилась с Мостовским до революции. Это было в ту пору, когда покойный муж ее служил в Нижнем Новгороде, и Мостовской, приехавший туда по конспиративным делам, около месяца прожил у Шапошниковых на квартире. Потом уж, после революции, она, приезжая в Ленинград, навещала его, а ныне, в пору войны, судьба столкнула их в Сталинграде.

Он вошел в комнату и оглядел прищуренными глазами стулья и табуретки, стоящие вокруг накрытого белой скатертью, ожидавшего гостей стола, стенные часы, платяной шкаф, китайскую складную ширму с вытканной шелком фигурой крадущегося тигра среди зеленовато-желтого бамбука.

— Эти некрашенные книжные полки напоминают мою ленинградскую квартиру,— проговорил Мостовской,— да и не только полки напоминают, но и то, что на полках: вот «Капитал», и Ленинские сборники, и Гегель — по-немецки, а на стене портреты Некрасова и Добролюбова.

Мостовской поднял палец:

— О! Судя по количеству приборов — у вас званый обед. Напрасно вы мне не сказали, я бы надел свой лучший галстук.

Александра Владимировна всегда испытывала перед Мостовским несвойственное ей чувство робости. И сейчас ей показалось, что Мостовской осуждает ее, и она покраснела. Печальна и трогательна краска смущения на старческом лице.

— Подчинилась требованиям дочерей и внуков,— сказала Александра Владимировна,— после ленинградской зимы вам это, вероятно, кажется лишним и странным.

— Наоборот, совсем наоборот, далеко не лишним,— сказал он и, сев к столу, принялся набивать самосадом трубку.— Пожалуйста, вы ведь курите,— протянул он ей кисет.— Попробуйте моего.

Мостовской вынул из кармана кремь, пухлый белый шнур и кусок стального напильника.

— «Катюша» {5},— сказал он,— не ладится она у меня.

Они переглянулись и улыбнулись друг другу.

«Катюша» действительно не ладилась, не давала огня.

— Я сейчас принесу спички,— предложила Александра Владимировна, но Мостовской замахал рукой:

— Что вы, спички, кто их теперь тратит зря.

— Да, теперь держат спички на случай ночных неожиданностей военного времени.

Она пошла к шкафу и, вернувшись к столу, с шутливой торжественностью сказала:

— Михаил Сидорович, разрешите вам преподнести от всей души,— и протянула непечатый коробок спичек.

Мостовской принял подарок. Они закурили, одновременно затянулись и выпустили дым, он смешался в воздухе, пополз лениво к открытому окну.

— Думаете об отъезде? — спросил Мостовской.

— Как все, но пока еще никаких разговоров нет.

— А куда думаете, если не военная тайна?

— В Казань, туда эвакуирована часть Академии наук, а муж моей старшей дочери, Людмилы, он профессор, собственно, член-корреспондент, получил квартиру, то есть не квартиру — две комнатки, зовет к себе. Но вам-то беспокоиться нечего, за вас подумают.

Мостовской посмотрел на нее и кивнул.

— Неужели их не остановят? — спросила Александра Владимировна, и в голосе ее было отчаяние, как-то не вязавшееся с уверенным и даже надменным выражением ее красивого лица. Она заговорила медленно, с усилием: — Фашизм действительно так силен? Я не верю этому! Объясните мне, ради бога. Что это? И эта карта на стене, мне иногда хочется ее снять, спрятать. Серёжа каждый день переставляет флажки. Как прошлым летом — возникают все новые направления: харьковское, потом вдруг курское, потом волчанское и белгородское. Пал Севастополь. Я спрашиваю у военных, выпытываю — что это? [Что с нашими людьми?]

Она помолчала и, движением руки как бы отталкивая страшную для себя мысль, продолжала:

— Я подхожу к книжным полкам, вот о которых вы говорили, где Пушкин, Чернышевский, Толстой, Ленин, беру в руки книги, листаю их,— нет, нет, мы остановим фашистов, конечно, конечно, остановим!

— Что же вам отвечают военные? — спросил Мостовской. В это время из-за двери послышался сердитый и смеющийся молодой женский голос:

— Мама, Маруся, где же вы? Ведь пирог сгорит!

Мостовской сказал:

— О, дело, оказывается, нешуточное, пирог!

Александра Владимировна, указав в сторону двери, объяснила:

— Собственно, из-за нее все и устроили, это моя младшая, Женя, вы ее знаете. Неделю назад вдруг приехала. Теперь близкие все разлучаются, а тут такая неожиданная встреча. А тут еще внук, сын Людмилы, проездом на фронт остановился. Вот мы и решили одновременно отметить и встречу, и расставание.

— Да,— сказал Мостовской,— жизнь ведь идет...

Шапошникова тихо произнесла:

— Если бы вы знали, как тяжело, и общее горе я воспринимаю не как молодые, а

по-стариковски.

Мостовской погладил ее по руке.

— Идите, идите, а то и в самом деле пирог сгорит. * * *

— Наступает решающий момент,— сказала Женя, наклоняясь вместе с Александрой Владимировной над полуоткрытой дверцей духовки. Она сбоку глянула на мать и, приблизив губы к ее уху, произнесла скороговоркой: — Я утром получила письмо, помнишь, я тебе рассказывала, давно еще, до войны... военный, мой знакомый, Новиков, в поезде встретился... Какое удивительное совпадение и тогда, и теперь. Представь, сегодня проснулась и именно его вспомнила, подумала: вот уж кого, наверно, давно нет на свете, а через час письмо... И та наша встреча в поезде, после моего ухода из Москвы, ведь тоже странное совпадение?

Женя обняла мать за шею и стала целовать ее в щеку, в седые волосы, спускавшиеся на виски.

Когда Женя училась в Художественном институте, ей как-то пришлось быть на торжественном вечере в Военной академии. Там она познакомилась с высоким, медленно и тяжело ступавшим военным, старшиной курса. Он проводил ее до трамвая, затем несколько раз был у нее дома. Весной он кончил академию, уехал, написал ей два или три письма, и в этих письмах он не объяснялся в чувствах, однако просил прислать фотографию. Она послала ему маленькую карточку, снятую в пятиминутке для паспорта. Потом он перестал писать ей, она уже к этому времени кончила Художественный институт, вышла замуж.

Когда она после разрыва с мужем ехала к матери, в Воронеже в ее купе вошел плечистый светловолосый военный.

— Вы не узнаете меня? — спросил он, протягивая ей большую белую руку.

— Товарищ Новиков,— сказала она,— конечно, я вас узнала. Почему вы тогда перестали мне писать?

Он усмехнулся и, молча вынув маленькую, вложенную в конвертик фотографию, показал ей.

Это был снимок, посланный ему когда-то.

— Я вас узнал, когда ваше лицо мелькнуло в окне,— сказал он.

Соседи по купе, две пожилые врачихи, прислушивались к каждому их слову. Эта встреча была для них развлечением. Разговор шел общий, одна врачиха, с футляром от очков, торчавшим из карманчика жакетки, говорила без умолку, вспоминала все неожиданные встречи, бывшие в ее жизни, в жизни ее родных и знакомых. Женя была благодарна болтливой докторше — Новиков, видимо, ждал сердечного, важного разговора, считал, что встреча эта не случайная, а Жене хотелось лишь одного — молчать. Он сошел в Лисках {6}, обещав написать ей, но не написал. И вот от этого Новикова вдруг пришло письмо, напомнившее Жене ее тогдашние «предвоенные» мысли и чувства, казалось навсегда ушедшие.

Александра Владимировна, глядя на дочь, хлопотавшую у плиты, подумала, что к белой шее Жени очень идет эта тоненькая золотая цепочка, а темные волосы отливают золотом оттого, что она удачно подобрала гребень. Но и цепочка на шее, и гребень в волосах были хороши лишь оттого, что живая красота молодой женщины коснулась их. Александре Владимировне казалось, что тепло идет не от раскрасневшихся щек дочери, ее белых рук и полураскрытых губ, а откуда-то из глубины ее ярких карих глаз, таких повзрослевших и так много видевших и

таких неизменно детских, какими были они двадцать лет назад.

9

За стол уселись к пяти часам.

Для почетного гостя поставили плетеное кресло, но Мостовской отказался от почета и сел рядом с Верой на табуретке; слева от него сидел молодой светлоглазый военный с двумя вишневыми кубиками на углах отложного воротника. В кресло посадили Степана Фёдоровича.

— Вы, Степан, должны сидеть здесь как глава семьи,— сказала Александра Владимировна.

— Папа — главный источник света, тепла и соленых помидоров,— сказала Вера.

— Дядя — начальник семейного ремонтного треста,— добавил Серёжа.

Действительно, Степан Фёдорович заготовил теще на зиму соленые помидоры и обеспечил ее топливом. Он умел все чинить: электрические утюги, чайники, водопроводные краны, ножки стульев.

Усевшись, он искоса поглядывал на дочку. Русыми волосами, высоким ростом, румяными щеками Вера походила на него. Иногда он вслух сожалел, что дочь не похожа на Марусю. Но в душе он радовался тому, что узнавал в ней черты своих деревенских сестер и братьев.

Степан Фёдорович Спиридонов вместе с десятками и сотнями тысяч людей прошел простой путь, который стал настолько обычен, что никто не видел в нем ничего удивительного. <...> {7}

Степан Фёдорович, главный инженер, а затем управляющий СталГРЭСа, тридцать лет назад пас коз за фабричным поселком под Наро-Фоминском {8}. И теперь, когда немцы пошли от Харькова на юг, прямо к Волге, он задумался о своей жизненной судьбе, оглянулся на свои прошедшие годы и подивился тому, кем был и кем стал. Он был известен как инженер, наделенный смелым умом. Ему принадлежало несколько изобретений и нововведений в производстве электрической энергии, и даже в толстом руководстве по электротехнике упоминалась его фамилия. Он был руководителем большой ГРЭС, кое-кто считал его слабым администратором — заберется в цех и сидит там целый день, а в это время секретарь отбивается от телефонных звонков. Однажды он сам просил, чтобы его перевели с административной работы, но в глубине души обрадовался, когда нарком не внял его ходатайству. Степан Фёдорович и в административной работе находил много интересного и приятного для себя. Ему нравилось напряжение директорской работы, он не боялся ответственности. Рабочие относились к нему хорошо, хотя он бывал шумлив, а иногда и крут. Он любил выпить под хорошую закуску, любил ходить в ресторан и обычно тайно от жены хранил сотни две-три рублей, он их называл «подкожные». Но он был хорошим семьянином, очень любил жену, гордился ее ученостью и был готов на любой труд ради своей Маруси, дочери и всех близких.

За столом рядом со Спиридоновым сидела Софья Осиповна, пожилая женщина с толстыми плечами, с мясистыми красными щеками, с двумя майорскими «шпалами» на гимнастерке. Софья Осиповна говорила отрывисто, хмуря брови, и, по рассказам подруг Веры, работавших в том госпитале, где Софья Осиповна заведовала хирургическим отделением, ее побаивались не только санитары и сестры, но и врачи. Она и до войны работала хирургом — может быть, вообще характер ее подходил для этой профессии, а профессия в свою очередь наложила некоторую печать на характер. Она участвовала в качестве врача во многих экспедициях академии: то на Камчатке, то в Киргизии, два года прожила на Памире.

Софья Осиповна вставляла в разговор киргизские и казахские слова, и Вера и Серёжа за те

несколько недель, что она жила у Шапошниковых, переняли у нее эту манеру и вместо «ладно» говорили «хоп», вместо «хорошо» — «джахши».

Она любила музыку и стихи и обычно, придя с суточного дежурства, ложилась на диван, заставляла Серёжу читать Пушкина и Маяковского. Когда она, полузакрыв глаза и дирижируя рукой, тоненько напевала «В храм я вошла смиренно» {9}, лицо ее становилось таким смешным, что у Веры надувались щеки от смеха и она выбегала на кухню.

Софья Осиповна любила карточные игры; раза два она играла со Степаном Фёдоровичем в очко, а большей частью — для отдыха, как она говорила, с Верой и Серёжей в подкидного дурака. Во время игры она сердилась, шумела, а потом, вдруг смешав карты, говорила:

— Ох, дети мои, видно, мне в эту ночь не спать, пойду-ка я снова в госпиталь.

Рядом с ней села худая женщина с милovidным, поблекшим и утомленным лицом — Тамара Дмитриевна Березкина, жена командира, пропавшего в самом начале войны. Глядя на такие тонкие и измученные женские лица с прекрасными, печальными глазами, всякому думается, что для суровой, жестокой жизни такие существа не приспособлены.

Тамара Дмитриевна жила перед войной с мужем на границе. В день объявления войны она выбежала из горящего дома в халате и туфлях на босу ногу, держа на руках маленькую дочь, больную корью; рядом, уцепившись за ее халат, бежал сын Слава.

Так, с больной девочкой на руках и с босым мальчуганом, ее посадили на грузовик, и она пустилась в тяжкий, долгий путь, добралась до Сталинграда, кое-как устроилась — помог военкомат. Она в горсовете случайно познакомилась с Марией Николаевной, работавшей старшим инспектором отдела народного образования, затем с Александрой Владимировной.

Александра Владимировна отдала Тамаре свое пальто и боты, настояла на том, чтобы Маруся устроила Славу в интернат.

Рядом с Тамарой сидел старик Андреев, важный и хмурый. Это был человек лет шестидесяти пяти, но в его черных густых волосах почти не было седины. Худое, длинное лицо старого рабочего казалось замкнутым и холодным.

Александра Владимировна задумчиво сказала, погладив по плечу Тамару Дмитриевну:

— Вот, может быть, и нам суждена эвакуационная горькая чаша. Кто мог только думать, такой глубокий тыл! — Она вдруг ударила по столу ладонью и сказала: — Вот что, Тамара, в случае чего вы поедете с нами. Устроимся у Людмилы в Казани. Что с нами будет, то и с вами.

Тамара сказала:

— Спасибо большое, но для вас ведь обуза ужасная.

— Пустяки,— решительно сказала Александра Владимировна,— не время думать об удобствах.

Маруся шепнула мужу:

— Пусть меня простит бог, но мама определенно живет вне времени и пространства. У Людмилы в Казани две крошечные комнатки.

Степан Фёдорович добродушно махнул рукой:

— Мамаша — она по себе меряет. Вот мы к ней все ворвались и все себя у нее как дома чувствуем. И кровать свою она тебе уступила, ты и не подумала отказаться.

Степана Фёдоровича всегда восхищало практическое неразумие тещи. Она обычно вела знакомство с людьми, душевно ей приятными, но в большинстве с такими, которые не только не могли оказаться полезными, но и сами нуждались в помощи. Степану Фёдоровичу нравилась эта черта — и он не гнался за высокими знакомствами, но он понимал практическую ценность людей и, когда нужно было, умел отличить полезного и нужного человека, а Александра Владимировна была в этом отношении как слепая.

Степан Фёдорович несколько раз заходил на работу к Александре Владимировне, он любил наблюдать уверенность ее движений, легкость и умелость, с какой обращалась она со сложной химической аппаратурой для титровального и газового анализа. Он, сам мастер на все руки, сердился и раздражался, когда племянник Серёжа не мог сменить перегоревшие пробки либо когда Вера медленно и неловко шила и штопала. Степан Фёдорович не только столярничал, слесарил, мог сложить печь, до?ма, в часы отдыха, он придумал смешное приспособление, с помощью которого можно было, сидя в кресле, зажигать и тушить свечи на новогодней елке, и сконструировал такой занятный звонок к двери, что с Тракторного завода приезжал инженер посмотреть его устройство. Ему ничего не давалось в жизни даром, и он презирал растяп и бездельников.

— Ну как, товарищ лейтенант, не подпустите немцев к Сталинграду? — спросил Степан Фёдорович.

— Наше дело такое,— снисходительно ответил светлоглазый Ковалев, чувствуя свое превосходство над людьми тыла,— прикажут — будем драться!

— Приказ давно есть, с первого дня войны,— сказал, посмеиваясь, Степан Фёдорович.

Лейтенант принял слова Степана Фёдоровича на свой счет.

— В тылу легче рассуждать,— сказал он,— а вот на переднем крае, когда минометы бьют, сверху пикирует авиация, там другое рассуждение. Да, Толя?

— Да уж точно,— неопределенно сказал Толя.

— Вот теперь я вам скажу,— повышая голос, сказал Степан Фёдорович,— за Дон немцы не пройдут. На Дону совершенно неприступная оборона.

— Ну если вы так уверены, Степан Фёдорович,— сказала Софья Осиповна,— то не надо вам заниматься перевозкой и упаковкой вещей.

— Вы уже забыли, видно! — вскрикнул Серёжа тонким голосом.— Вспомните, как в прошлом году все говорили: «Вот дойдет до старой границы и там остановится».

— Внимание! Воздушная тревога,— закричала Вера,— внимание, внимание! — и указала в сторону кухонной двери.

Женя, сопровождаемая Тамарой Дмитриевной, раскрасневшейся и потому похорошевшей, внесла бледно-голубое блюдо. Тамара Дмитриевна торопливо поправляла на ходу белое полотенце, прикрывавшее пирог.

— Краешек сгорел,— объявила Женя,— я прозевала все-таки.

— Сгоревший краешек я съем, не беспокойся,— сказала Вера.

— А я вам говорю, что через Дон он не перейдет, на Дону ему крышка! — проговорил Степан Фёдорович и встал, взмахнув длинным ножом: ему всегда за столом поручались такие ответственные операции, как дележ арбуза или разрезание пирога. Боясь раскрошить пирог и не оправдать доверия, Степан Фёдорович прибавил: — Вообще-то говоря, пирог должен

остыть, а потом уж его режут.

— А как вы думаете? — спросил Серёжа, уставившись на Мостовского. Но Мостовской молчал.

— На Дон идет, Украину всю прошел, пол-России прошел,— угрюмо сказал Андреев.

— Что ж вы считаете? — спросил Мостовской.

— Считать не полагается,— сказал Андреев,— что вижу, то и говорю, а считают другие люди, может быть, поумней меня.

— А почему вы уверены, что на Дону ему крышка? — снова с волнением спросил Серёжа.— Где же этот рубеж? Вот и Березина была, и Днепр, а вот Дон, вот Волга, где же рубеж? Иртыш, Амударья? Где же эта река?

Александра Владимировна внимательно глядела на внука: его обычная молчаливость и застенчивость исчезли. Александра Владимировна объяснила это тем, что Серёжа был взбудоражен присутствием лейтенантов.

Александра Владимировна была права, но тут имелось еще одно, более простое обстоятельство, ей неизвестное: перед обедом Серёжа хлебнул из фляжки Ковалева. Голова у него затуманилась, и он сам себе стал казаться необычайно умным, строгим, справедливым, но он не был уверен, ясно ли видят его многочисленные достоинства Мостовской и лейтенанты. Вера наклонилась к нему и спросила:

— Серёжка, ты пьяный?

— Ничего подобного,— сердито ответил он.

— Видите ли, милый мой,— сказал Мостовской, повернувшись к Серёже, и за столом стало тихо, так как всем хотелось услышать, что он скажет.— Вы, конечно, помните <...> {10} миф об Антее: с каждым шагом по земле Антей становится сильнее. К этому следует сегодня добавить рассказ об анти-Антее, о фальшивом, противоположном Антею, мнимом богатыре. Когда этот фальшивый богатырь начинает шагать по земле, которую он завоевывает, то каждый шаг не прибавляет ему силы, как Антею, а убавляет ее. Не он питается силами земли, а враждебная ему земля забирает его силы, и он кончает тем, что падает, его валят. В этом различие между истинным богатырем истории Антеем и мнимым, фальшивым лжебогатырем, возникающим, как плесень. А советская сила — огромная сила. И есть у нас партия, чья воля собирает, организует спокойно и разумно всю мощь народа.

Серёжа, наморщив лоб, смотрел на Мостовского блестящими темными глазами, и тот, рассмеявшись, погладил его по голове.

Мария Николаевна поднялась, взяла со стола бокал с вином и сказала:

— Товарищи, выпьем за нашу Красную Армию!

Все потянулись чокаться с Толей и Ковалевым, наперебой желать им успехов и здоровья.

Затем началась церемония разрезания пирога. Этот пышный, румяный пирог мирных времен всех умилил и обрадовал, но одновременно вызвал грусть и воспоминания о прошедшем, всегда кажущемся людям таким хорошим.

Степан Фёдорович сказал жене:

— Помнишь, Маруся, наше студенческое житье? Вера кричит не своим голосом, тут же

пеленки висят, а мы с тобой гостей принимаем да еще пирогом угощаем?

— Помню, конечно, помню,— сказала она, улыбаясь.

Александра Владимировна, растягивая задумчиво слова, сказала:

— Да, пироги я пекла в Сибири, когда мужа выслали за участие в студенческих волнениях. Напеку пирогов с брусникой либо из нельмы, придут товарищи... Ах, боже мой, как далеко это время!

— Хороши пироги с фазанами, я их ела в долине Иссык-Куля,— сказала Софья Осиповна.

— Джахши, джахши,— в один голос сказали Серёжа и Вера.

[— Боже мой,— сказала Маруся,— неужели Гитлер у нас все хочет отнять: нашу жизнь, дом, близких, даже воспоминания наши?]

— Давайте условимся сегодня не говорить о войне,— проговорила Женя,— только о пирогах.

В это время маленькая Люба подошла к Тамаре Дмитриевне и, указывая на Софью Осиповну, сказала восторженно:

— Мама, тетя мне дала во какой ком сахару! — И, разжав пальчики, с торжеством показала кусок пиленого сахара, увлажненный теплом ее одновременно беленького и грязного кулачка.— Видишь, видишь,— сказала она громким шепотом,— не надо уходить домой, может быть, еще дадут что-нибудь.

Люба оглянулась на лица, обращенные к ней, потом увидела растерянные глаза матери, спрятала голову у нее в коленях и заплакала.

Софья Осиповна погладила девочку по голове и шумно вздохнула.

Вновь заговорили о том, что терзало всех: об отступлении, о том, что, может быть, придется ехать на Урал либо в Сибирь.

— А если со стороны Сибири японцы на нас пойдут, что тогда? — спросила Женя.

Степан Фёдорович заговорил о «бывших» людях, которые не собираются уезжать, ждут немцев.

— А вот я слышал о парне,— сказал Серёжа,— которого когда-то не хотели принимать по социальному происхождению в летную школу, а он все же добился, окончил школу и вот, рассказывают, погиб, как Гастелло!

— Погляди на детей,— проговорила Александра Владимировна, обращаясь к Софье Осиповне.— Толя, комсомолец, стал взрослый человек, наш защитник, а ведь до войны приезжал к нам совершенно ребенок. И голос другой, и манеры, и глаза какие-то...

— Ты обрати внимание, как его приятель все на нашу Женю поглядывает,— тихим басом сказала Софья Осиповна.

— А позапрошлым летом, когда Людмила с Толей гостили у нас, Толя гулять пошел, а в это время дождь... Людмила схватила плащ, калоши и кинулась к Волге его искать: «Мальчик простудится, расположен к ангине...»

А на другом конце стола начался спор.

[— Это драп, бегство,— говорил Серёжа.]

— Ничего не драп,— сердито отвечал Ковалев.— Мы бои вели от самой Касторной {11}.

— Так почему же так стремительно отступали?

— Вот ты повоевал бы, так не спрашивал. Я за всех отвечать не могу, а наш полк дрался! Да как дрался!

— А некоторые раненые у нас в госпитале,— сказала Вера,— считают, что все опять как в сорок первом.

— Вот на переправах, там тяжело,— сказал Ковалев,— бомбит день и ночь. Там побежишь. Моего друга убило, а меня подранило. Ночью навесит ракеты и бомбит, как зверь.

— Он и нам тут даст,— сказала Вера.— Боюсь бомбежки!

— Это как раз не страшно,— вмешалась в разговор Мария Николаевна,— мы пока в глубоком тылу, у нас кольцо зенитной обороны, говорят, не слабее московской. Если прорвутся, то единичные только!

— Ну это вы бросьте, знаем мы эти единичные,— снисходительно усмехнулся лейтенант.— Верно, Толька? Он не хочет пока! [Если он на земле, гражданка, прорывается через водные рубежи, то с воздуха даст прикурить, будьте спокойны!] У него тактика — удар с воздуха, подготовочка и сразу удар танками.

Этот юноша был здесь самым опытным, уверенным и больше других знал о войне. Говорил он усмехаясь, снисходя к наивности своих собеседников.

Вере Ковалев напоминал тех лейтенантов, что лежали в госпитале. Они с разгоряченными лицами яростно спорили между собой о том, что было понятно лишь им одним, насмешливо поглядывали на сестер. Этот Ковалев был, однако, похож и на тех довоенных ребят, что, приходя в гости, играли с ней в подкидного и в домино, участвовали в школьных кружках и брали у нее на два вечера «Как закалялась сталь».

[— А по-моему, дело плохо,— сказала Софья Осиповна,— зло сильнее добра.

Молчание наступило за столом.]

— Пожалуй, пора затемнять окна,— сказала Мария Николаевна и, прижав кулаки к вискам, точно превозмогая боль, пробормотала: — Война, война...

— Теперь бы самое время еще стопочку выпить,— проговорил Степан Фёдорович.

— После сладкого, Степан? — спросила Маруся.

Лейтенант снял с пояса фляжку.

— Хотел на дорогу оставить, но ради таких людей... Ну, Анатолий, будь здоров. Я решил не ночевать, сейчас пойду.

Ковалев разлил желтоватую водку Анатолию, Степану Фёдоровичу, себе и потряс пустой флягой перед Серёжей, в ней постучала пробка.

— Вся.

В полутемной передней Ковалев втолковывал Жене:

— Рассуждать можно так и этак. А вот я через пять дней снова буду на передовой. Понятно?

Он смотрел на нее пристальными, одновременно злыми и ласковыми глазами. Да, она понимала — он просил ее любви и сочувствия. И сердце сжалось у нее, так ясно видела она простую и суровую судьбу этого юноши.

Степан Фёдорович обнял за плечи лейтенанта, словно собрался уйти вместе с ним. Он выпил лишнего, и Мария Николаевна смотрела на него с таким упреком, точно эта лишняя стопка водки имеет не меньше значения, чем все трагические события войны.

Стоя в дверях, Ковалев с внезапным бешенством сказал:

— Рассуждение происходит, почему отступаем? Хорошо рассуждать! Все вы родину защищаете, а наше дело маленькое, мы воюем. А тут — как бывает? Ляжешь отдохнуть в обороне, а он за ночь сорок километров прошел строго на восток. Что тогда скажешь, а? Я видел бюрократов, в тыл драпают, только ветер свистит. [Тот, кто на передовой, у того душа живет! Я правильной правды хочу! Голодные бойцы, командиры из окружения через фронт прорываются, а бюрократы на них пальцами тычут! А сами пошли бы в полицию служить!] {12}

Лицо Ковалева побледнело, он хлопнул дверью и на лестнице выругался.

Вера сказала:

— Вот думала сегодня от госпиталя отдохнуть...

Мостовской, когда Женя вернулась из передней в столовую, спросил у нее:

— Вы от Крымова ничего не получаете?

— Нет,— сказала она.— Но я знаю, что он в армии.

— Да, я и забыл,— сказал Мостовской и развел руками,— я и забыл, что вы расстались... Но должен доложить вам, человек он хороший, я ведь его давно знаю, еще юношей, мальчиком.

10

В доме Шапошниковых, едва ушли гости, воцарился дух покоя и мира. Толя вдруг вызвался мыть посуду. Такими милыми казались ему семейные чашки, блюдца, чайные ложечки после казенной посуды. Вера, смеясь, повязала ему платочком голову, надела на него фартук.

— Как чудно пахнет домом, теплом, совсем как в мирное время,— сказал Толя.

Мария Николаевна уложила Степана Фёдоровича спать и то и дело подходила к нему пощупать пульс — ей казалось, что он всхрипывает из-за сердечных перебоев.

Заглянув в кухню, она сказала:

— Толя, посуду и без тебя вымоют, ты лучше напиши маме письмо. Не жалеете вы тех, кто вас любит.

Но Толе не хотелось писать письмо, он расшалился как маленький, подзывал кота, подражая голосу Марии Николаевны.

[Потом он стал на колени, пытался боднуть кота в лоб, подманивал его:

— Ну, ну, давай, давай, баран, баран, буц!]

— Будь мирное время,— сказала мечтательно Вера,— мы завтра с самого утра на пляж бы пошли, лодку бы взяли, правда? А теперь даже купаться не хочется, я в этом году на пляже

ни разу не была.

Толя ответил:

— Будь мирное время, я бы с утра поехал с дядей Степаном на электростанцию. Мне хочется ее посмотреть, хоть и война, а хочется.

Вера наклонилась к нему и тихо сказала:

— Толя, я все хочу рассказать тебе одну вещь.

Но в это время пришла Александра Владимировна, и Вера, плутовски подмигнув, замотала головой.

Александра Владимировна стала расспрашивать Толю, трудно ли ему было в военной школе, бывает ли у него одышка при быстрой ходьбе, научился ли он хорошо стрелять, не жмут ли сапоги, есть ли у него фотографии родных, нитки, иголки, носовые платки, нужны ли ему деньги, часто ли получает письма от матери, думает ли о физике.

Толя чувствовал тепло родной семьи, оно было сладостно и одновременно тревожило и расслабляло, делало особо тяжелой мысль о завтрашнем расставании; в огрубении душа легче переносит невзгоды. Евгения Николаевна вошла в кухню, на ней было надето синее платье, в котором она приезжала на дачу к Толиной матери.

— Давайте на кухне чай пить. Толе это будет приятно! — объявила она.

Вера пошла звать Серёжку и, вернувшись, сказала:

— Он лежит и плачет, уткнулся в подушку.

— Ох, Серёжа, Серёжа, это по моей части,— сказала Александра Владимировна и пошла к внуку.

11

Выйдя из дома Шапошниковых, Мостовской предложил Андрееву погулять.

— Погулять? — усмехнулся Андреев.— Разве старики гуляют?

— Пройтись,— поправился Мостовской.— Давайте походим, вечер прекрасный.

— Что ж, можно, я завтра с двух работаю,— сказал Андреев.

— Устаете сильно? — спросил Мостовской.

— Бывает, конечно.

Этот небольшого роста старик, с лысой головой, с маленькими внимательными глазами, понравился Андрееву.

Некоторое время они шли молча. Очарование летнего вечера стояло над Сталинградом. Город чувствовал Волгу, невидимую в лунных сумерках, каждая улица, переулок — все жило, дышало ее жизнью и дыханием. Направление улиц и покатошь городских холмов и спусков — все в городе подчинялось Волге, ее изгибам, крутизне ее берега. И огромные, тяжелые заводы, и маленькие окраинные домики, и многоэтажные новые дома, оконные стекла которых расплывчато отражали летнюю луну, сады и скверы, памятники — все было обращено к Волге, принакало к ней. В этот душный летний вечер, когда война бушевала в степи в своем неукротимом стремлении на восток, все в городе казалось особенно

торжественным, полным значения и смысла: и громкий шаг патрулей, и глухой шум завода, и голоса волжских пароходов, и короткая тишина.

Они сели на свободную скамейку. С соседней скамейки, где сидели две парочки, поднялся военный, подошел к ним по скрипящей гальке, посмотрел, потом вернулся на место, что-то негромко сказал, послышался девичий смех. Старики смутились и покашлиали.

— Молодежь,— сказал Андреев голосом, в котором одновременно чувствовались и осуждение и похвала.

— Мне говорили, что на заводе работают эвакуированные ленинградцы, рабочие с Обуховского завода {13},— сказал Мостовской.— Хочу к ним съездить: земляки.

— Это у нас, на «Октябре» {14},— ответил Андреев.— Я слышал, их немного. А вы приезжайте, приезжайте.

— Вам пришлось участвовать, товарищ Андреев, в революционном движении при царском режиме? — спросил Мостовской.

— Какое мое участие — листовки читал, конечно, две недели посидел в участке за забастовку. Ну и с мужем Александры Владимировны беседовал. На пароходе я кочегаром был, а он студентом практику отбывал. Выходили мы с ним на палубу и вели беседу.

Андреев вынул кисет. Они зашуршали бумагой, стали свертывать самокрутки. Тяжелые искры щедро и легко скользнули вниз, но шнур не хотел принять искру.

Сидевший на соседней скамейке военный весело и громко сказал:

— Старики жизни дают, «катюшу» в ход пустили.

Девушка рассмеялась.

— Ах, черт побери, забыл я драгоценность, коробок спичек, Шапошникова мне подарила,— сказал Мостовской.

— А вы как считаете,— сказал Андреев,— положение все-таки трудное? Антей Антеем, а немец прет. А?

— Положение трудное, а войну Германия все-таки проиграет,— ответил Мостовской.— Я думаю, что и внутри Германии немало врагов у Гитлера. [Ведь в Германии есть революционные рабочие, интернационалисты.

— Кто их знает,— сказал Андреев.— Рассказывали танкисты, пленных брали и рабочих всяких — одинаковые, говорят, все.

— Да-а-а,— задумчиво и негромко проговорил Мостовской,— нехорошо, если вы, старый рабочий, не видите ясно разницы между гитлеровским правительством и немецким рабочим классом...

Андреев повернулся к Мостовскому и живо сказал:

— Я понимаю, вы хотите, чтобы народ против Гитлера воевал и помнил: пролетарии всех стран, соединяйтесь! Хорошо бы, да немец всю землю сегодня нашей русской кровью залил...]

Мостовской сидел сгорбившись, казалось, дремал. А в мозгу его вдруг возникла картина пережитого почти два десятилетия назад: огромный зал конгресса, разгоряченные,

счастливые, возбужденные глаза, сотни родных, милых русских лиц и рядом лица братьев коммунистов, друзей молодой Советской республики — французов, англичан, японцев, негров, индусов, бельгийцев, немцев, китайцев, болгар, итальянцев, венгров, латышей. Весь зал вдруг замер, казалось, это замерло сердце человечества, и Ленин, подняв руку, сказал конгрессу Коминтерна ясным, уверенным голосом: «Грядет основание международной Советской республики...»

Андреев, видимо, охваченный доверием и дружелюбием к старику, сидевшему рядом с ним, тихо пожаловался:

— Сын мой на фронте, а у невестки все гулянки да в кино, а со свекровью — как кошка с собакой... Понимаешь, какое дело...

12

Мостовской жил одиноко, жена его умерла задолго до войны. Одинокая жизнь приучила Михаила Сидоровича к заботе о порядке. Просторная комната его была чисто прибрана, на письменном столе аккуратно лежали бумаги, журналы, газеты, а книги на полках стояли на отведенных им по чину местах. Работал Михаил Сидорович обычно по утрам. Последние годы он читал лекции по политэкономии и философии и писал статьи для энциклопедии и философского словаря.

Знакомств у него в городе завелось немного. Изредка к нему приезжали за консультацией преподаватели философии и политической экономии. Они его побаивались, так как он отличался резким характером и был нетерпим в спорах.

Весной Мостовской заболел крупозным воспалением легких, и эта болезнь еще не оправившегося от ленинградской блокады старика казалась врачам смертельной. Мостовской превозмог болезнь, стал поправляться. Доктор оставил Михаилу Сидоровичу длинную программу постепенного перехода от постельного режима к обычному образу жизни. Михаил Сидорович внимательно прочел программу, пометил отдельные пункты красными и синими птучками и на третий день после того, как встал с постели, принял холодный душ и натер паркет в комнате.

В нем сидел упрямый задор, он не хотел благоразумия и покоя.

Иногда ему снилось прошедшее время, и в ушах его звучали голоса давно ушедших друзей, ему казалось, он говорит речь и из маленького лондонского зальца на него глядят живые глаза, он узнавал бородатые лица, высокие крахмальные воротнички, черные галстуки друзей. Он просыпался среди ночи и долго не засыпал; возникали видения далекого прошлого: студенческие сходки, споры в университетском парке, прямоугольная плита над могилой Маркса, пароходик, плывущий по Женевскому озеру; зимнее бушующее Черное море, Севастополь; душный арестантский вагон, стук колес, хоровое пение и грохот приклада в дверь; ранние сибирские сумерки, скрип снега под ногами и далекий желтый огонь в окне избы, огонь, на который он шел ежевечерне в течение шести лет своей сибирской ссылки.

Те тяжелые, темные дни были днями его молодости, днями суровой борьбы и ожидания того великого, ради чего жил он на свете.

Ему вспоминалась бессонная работа в годы создания Советской республики, губернский комиссариат просвещения, армейский политпросвет, работа по теории и практике планирования, участие в разработке плана электрификации, работа в Главнауке.

Он вздыхал. О чем печалился он, о чем вздыхал? Или просто вздыхало усталое, больное сердце, которому трудно день и ночь гнать кровь по обызвествленным, суженным артериям и венам?

Иногда он шел до рассвета к Волге, уходил далеко по пустому берегу, под глинистый обрыв, садился на холодные камни и смотрел на приход света, на пепельные ночные облака, вдруг взбухавшие розовым теплом жизни, на знойный ночной дым над заводом, терявший при лучах солнца свою кровь и становящийся серым, скучным, пепельным.

Он сидел на камнях, глядел на молодевшую при косом свете черную воду, на крошечную, вершковую волну, тихо, робко всползавшую по плотному, плоскому песочку, и на то, как тысячи тысяч песчинок, блистая, втягивали воду.

Грозное видение ленинградской зимы вставало перед ним: улицы в снежных и ледяных холмах, тишина смерти и грохот смерти, кусочек хлеба на столе, саночки, саночки, саночки, на которых везли воду, дрова, мертвецов, прикрытых белыми простынями, ледяные тропинки, ведущие к Неве, заиндевевшие стены домов, поездки в воинские части и на заводы, выступление на митинге ополченцев, серое небо, рассеченное прожекторами, розовые пятна ночных пожаров на стеклах, вой сирен, памятник Петру, обложенный мешками с {15} песком, и всюду живая память о первом биении молодого сердца революции — Финляндский вокзал, пустынная красота Марсова поля, Смольный,— и над всем этим мертвенно-бледные, с живыми, страдающими глазами лица детей, упрямое и терпеливое героичество женщин, рабочих и солдат. И сердце его наполнялось такой режущей болью, что казалось, оно не выдержит страшной тяжести. «Зачем, зачем я уехал?» — думал он с тоской.

Михаилу Сидоровичу хотелось написать книгу о своей жизни, и ему представлялись отдельные части ее: детство, деревня, отец-дьячок, учение в четырехклассном училище, подполье, годы советского строительства...

Он не любил переписываться с теми из старых друзей, что писали много о болезнях, о санаториях, о кровяном давлении, о склерозе.

Мостовской видел, чувствовал, знал: никогда за тысячелетнюю историю России не было такого стремительного, напряженного движения событий, такой уплотненной смены пластов жизни, как за последнюю четверть века. Да, и в прежние, дореволюционные годы все текло и изменялось, и тогда человек не мог дважды вступить в одну реку. Но так медленно текла эта река, что современники видели все одни и те же берега, и откровение Гераклита {16} казалось им странным и темным.

Но кого из тех, кто жил в России в советское время, удивляла истина, озарившая грека? Она ныне из области философского мышления возведена в ощущение действительности, общее академикам и рабочим, колхозникам и школьникам.

Михаил Сидорович много думал об этом. Стремительное, неукротимое движение! Все напоминало, твердило о нем. Движение было во всем: в почти реологическом {17} [6] изменении пейзажа, в огромности охватившего страну просвещения, в новых городах, появляющихся на географической карте, в новых кварталах и улицах, в новых домах и в новых, все новых жильцах этих домов. Это движение вызывало из неизвестности, из туманных дальних деревень, из сибирских пространств сотни новых, гремевших по всей стране имен, и оно же безжалостно погружало в неизвестность бывших недавно известными и знаменитыми. Газеты, вышедшие десять лет назад, походили на пожелтевшие свитки — такая толща событий лежала между временами. За короткие годы материальные отношения совершили могучий скачок. Новая, Советская Россия прынула на столетие вперед, прынула всей огромной тяжестью своей, триллионами тонн своих земель, лесов, она меняла то, что от века казалось неизменным — свое земледелие, свои дороги, русла рек. Исчезли тысячи русских кабаков, трактиров, кафешантанов, исчезли епархиальные училища, институты благородных девиц, исчезли монастырские угодья, помещичьи экономии и усадьбы, особняки капиталистов, биржи. Исчезли, разбитые и развеянные революцией, истаяли огромные слои людей, составлявших костяк эксплуататорских классов, и тех, кто обслуживал их, людей,

бытие которых казалось вечно прочным, людей, о которых народ слагал песни гнева, людей, чьи характеры описывали великие писатели: помещики, купцы, фабриканты, биржевые маклеры, кавалергарды, ростовщики, полицмейстеры и жандармские унтеры; исчезли сенаторы, статские, действительные статские и тайные советники, коллежские асессоры — весь пестрый и огромный, громоздкий, разделенный на семнадцать классов мир русского чиновничества; исчезли шарманщики, шансонетки, лакеи, дворецкие... Из обихода исчезли понятия и слова: паныч, барыня, господин, милостивый государь, ваше благородие и многие другие. <...> {18}

Рабочий и крестьянин стали управителями жизни. Родился новый мир невиданных профессий и характеров: фабричные и сельские плановики, ученые крестьяне-полеводы, ученые пасечники, животноводы, огородники, колхозные механики, радисты, трактористы, электрики. Родилось невиданное в России народное просвещение, которое можно сравнить лишь со взрывом солнечного света астрономической силы; если б свет народного просвещения, вспыхнувший в России, мог иметь эквивалент в электромагнитных волнах, астрономы иных миров зарегистрировали бы в 1917 году вспышку новой звезды, свет которой все разгорался. Простые люди, «четвертое сословие», рабочие и крестьяне, внесли свой простой, сильный и своеобразный характер в мир высших государственных отношений — стали маршалами, генералами, областными и районными руководителями, отцами гигантских городов, управителями рудников, заводов и земельных угодий. Сотни новых промышленных производств породили тысячи новых профессий, выявили, сгруппировали и сформировали новые характеры. Пилоты, бортмеханики, воздушные штурманы, радисты, водители автомашин и тягачей, рабочие и инженеры промышленности синтетической химии, электрохимии, электроэнергетики высоких напряжений, высокочастотники, фотохимики, термохимики, геологи, авиа- и автоконструкторы представляли собой характеры людей нового, советского общества. <...> {19}

И теперь, в самую тяжелую пору войны, Мостовской ясно видел, что мощь советской державы во много раз больше силы старой России, что миллионы трудовых людей, составляющих главную основу нового общества, сильны своей верой, грамотностью, знаниями, любовью к советскому отечеству.

Он верил в победу. И одного лишь хотелось ему: несмотря на свои годы, забыв о них, стать непосредственным участником военной борьбы за свободу и достоинство народа.

13

Быстрая, поворотливая старуха Агриппина Петровна, носившая Мостовскому обед из обкомовской столовой, готовившая ему утренний чай и стиравшая белье, по многим признакам отлично видела своими прищуренными глазами, как сильно переживал Михаил Сидорович события войны.

Часто, когда она заходила утром в комнату, постеленная с вечера кровать оставалась несмятой, Мостовской сидел в кресле у окна, и подле на подоконнике стояла пепельница, полная окурков.

Агриппина Петровна знала лучшие времена: при царизме покойный муж ее держал лодочную переправу через Волгу.

Вечером Агриппина Петровна обычно выпивала у себя в комнатке стопочку и выходила на двор посидеть на скамеечке, поговорить с людьми. Этим она удовлетворяла потребность в беседе, возникающую после выпивки почти у всякого. Хотя собеседники были трезвы, зато у старухи приятно туманилась голова, и бойко, весело шел разговор. Говорила она, обычно прикрывая рот краешком платка и стараясь не дышать в сторону своих всегдашних собеседниц: дворничихи — суровой Марковны и вдовы сапожника Анны Спиридоновны.

Агриппина Петровна сплетен не любила, но потребность поговорить с людьми была в ней действительно сильна.

— Вот, бабы, какое дело,— сказала она, подходя к скамейке и сметая фартуком пыль, прежде чем сесть,— вот, бабы, раньше старухи думали — коммунисты церкви закрывают...— Она поглядела на открытые окна первого этажа, громко, чтобы слышно было, произнесла: — Ох же и антихрист Гитлер этот проклятый, ох же и антихрист, чтоб ему на том свете добра не было. Говорят люди, в Саратове митрополит служит, во всех соборах молебствия идут. И народу, народу, и старые, и какие хотите. Все, как есть, все против него, против Гитлера этого рогатого, все поднялось! — Тут она вдруг понизила голос.— Да, женщины, и в нашем доме вещи паковать стали, на базар люди ходят, чемоданы, веревки покупают, мешки шьют. А Михаил Сидорович ох и переживает, с лица даже потемнел, сегодня пошел к старухе Шапошниковой, про отъезд договариваться. И обедать не стал.

— А что ему? — недоверчиво спросила Марковна.— Одинокий, старый.

— Что ты говоришь, ей-богу, что ты, ей-богу, говоришь. Он первым должен уехать. Его со света немцы сотрут. Все ходит, узнает. Вот и сегодня сорвался. Партийный ведь, ленинградский старый большевик, шутишь? Я вижу, сохнет прямо. Ночи не спит. Курит! [Пенсия тысячу рублей. Карточки все литерные. Так жить — умирать не надо. А тут Гитлер его аннулирует.]

Женщины беседовали в темноте. О чем только не говорили они! Потом Марковна, оглянув окна, произнесла:

— Опять на третьем этаже у этой Мельниковой свет видно. Не соблюдает маскировки.

Грозным сильным басом Марковна крикнула:

— Эй, на третьем этаже, слышишь тама, что ли?

Старухи поднялись со скамейки, и Агриппина Петровна пошла к дому.

Спиридоновна и Марковна на минуту задержались, чтобы осудить Агриппину Петровну.

— И опять от нее винный дух,— сказала Спиридоновна.— И где берет вино, деньги откуда?

— Где берет? Она Михаила Сидоровича обкрадывает. Господи, господа,— вдруг пугаясь, произнесла Марковна,— за какие грехи на нас этот сатана немецкий послан!

14

В сумерках провожали к вечернему поезду Толю. Он, точно впервые поняв, что ждет его, был весь напряжен, но старался казаться безразличным и спокойным; он видел расстроенное лицо бабушки, понимал, что Александра Владимировна чувствует его тревогу, и это его сердило и волновало.

— Ты написал домой? — спросила она.

— Ах, боже мой,— раздражаясь, ответил он,— что вы от меня хотите? Я маме все время писал, не написал сегодня — напишу завтра.

— Не надо сердиться, прости меня, пожалуйста,— поспешно сказала Александра Владимировна.

Но и эти слова его раздосадовали.

— Что вы, ей-богу, со мной как с шизофреником разговариваете.

Но тут рассердилась бабушка.

— Милый мой,— сказала она,— возьми-ка себя в руки.

За полчаса до расставания Толя позвал двоюродного брата:

— Серёжа, зайди сюда на минутку.

Он вынул из вещевого мешка тетрадь, обернутую в газетную бумагу.

— Вот что. Эта тетрадка — мои записки, тут конспекты книг, мои собственные мысли. Тут я записал план моей жизни до шестидесяти лет, я ведь решил посвятить себя науке, работать, не теряя ни дня, ни часа. Ну, в общем, понимаешь... Если я... Словом, ты понимаешь, храни ее в память обо мне. Ну, в общем... и все такое.

Несколько мгновений они, потрясенные, смотрели друг на друга, не находя слов. Толя сжал Серёже руку, крепко, судорожно, так, что у того побелели пальцы.

Дома были лишь бабушка и Серёжа. Толя прощался с ними торопливо, видимо боясь раскиснуть.

— Пусть Серёжа не идет на вокзал, я не люблю, когда на вокзале провожают.— И, уже стоя в коридоре, он сказал Александре Владимировне поспешно, скороговоркой: — Я жалею, что заехал, отвык от близких, как-то загрубел, а тут сразу оттаял, если б знал, что так будет, лучше бы проехал мимо, я и маме оттого не написал...

Александра Владимировна сжала меж ладоней его большие, горячие от волнения уши и, притянув его к себе, сдвинула пилотку и долгим поцелуем поцеловала в лоб. Он замер, внезапно озаренный воспоминанием самой ранней поры детства — воспоминанием о чувстве счастливого покоя, испытанного им на руках у бабушки.

И ныне, когда она была стара и немощна, а он, воин, силен, вдруг все смешалось — и сила, и беспомощность его; он прижался к ней всем телом, замер, проговорил «бабуля», «бабуся» — и, пригнув голову, бросился к двери.

15

Вера осталась в госпитале на ночное дежурство. После вечернего обхода она вышла в коридор.

В коридоре горела синяя лампочка. Вера открыла окно и облокотилась на подоконник.

С четвертого этажа хорошо был виден город, освещенный луной, белый блеск реки. Замаскированные окна домов сияли голубым слюдяным светом. В этом недобром свете не было жизни, в его ледяной голубизне уже не содержалось тепла — то был свет, отраженный от мертвой поверхности луны и вновь, еще раз отраженный от пыльных стекол и холодной ночной воды. Он был хрупок, неверен, и стоило немного повернуть голову, как свет исчезал, оконные стекла и волжская вода становились черными, неживыми.

По левому берегу Волги шла машина с зажженными фарами. Высоко в небе скрестились лучи двух прожекторов, и казалось, что кто-то бесшумно работал голубыми ножницами, стриг в небе курчавые облака. Внизу, в садике, вспыхивали красные огоньки и слышались негромкие голоса: очевидно, раненые из палаты выздоравливающих ускользнули через кухонные двери и тайно курили. Ветер доносил с Волги свежесть воды, и ее чистый, прохладный запах то побеждал тяжелый госпитальный дух, то отступал перед ним, и тогда казалось, что не только

госпиталь, но и весь город, луна и Волга пахнут эфиром и карболовой кислотой и что по небу ползут не облака, а пыльные хлопья ваты.

Со стороны изолятора, где умирали трое безнадежных, раздавались неясные стоны.

Вера знала этот монотонный стон умирающих, которые ничего не просили: ни еды, ни воды, ни морфия.

Открылась дверь изолятора, и оттуда вынесли носилки. Впереди шел низкорослый рябой Никифоров, сзади — высокий худой Шулепин, делая неестественно маленькие шажки, чтобы попасть в одну скорость с Никифоровым.

Никифоров, не оборачиваясь, говорил:

— Реже шаг, нажимаешь.

На носилках лежало тело, покрытое одеялом.

Казалось, сам мертвец натянул на голову одеяло, чтобы не видеть этих стен, этих палат и коридоров, где выпало ему столько страданий.

— Кто это? — спросила Вера.— Соколов?

— Нет, это новый,— ответил Шулепин.

Вера вообразила: «Вот я, генерал медицинской службы, прилетаю из Москвы, главный хирург вводит меня в изолятор, говорит: „Этот безнадежен“.— „Нет, вы не правы, подготовьте его немедленно к операции, я сама буду оперировать“».

Из командирской палаты на третьем этаже послышался смех и негромкое пение:

Таня, Татьяна, Танюша моя,

Помнишь ли знойное лето это...

Разве мы можем с тобою забыть

Все, что пришлось пережить...

Пел выздоравливающий Ситников. Потом кто-то стал подпевать, видимо техник-интендант 3-го ранга Квасюк с переломом ноги: он вез в полutorке арбузы для столовой, и на него налетела трехтонка с боеприпасами.

Ситников несколько дней приставал к Вере, просил принести ему спирту из аптеки.

— Хоть пятьдесят грамм,— говорил он.— Девушка, неужели жалко для солдата!

Вера отказывала ему, но, с тех пор как Ситников познакомился с Квасюком, от них нередко пахло спиртным духом, должно быть, нашли сочувствие у дежурной по аптеке.

Здесь, стоя у окна, она ощущала два мира, что жили, казалось, не соприкасаясь: один с бестелесным, голубым светом, то вспыхивающим, то исчезающим в окнах, мир освещенной ночной воды, прохлады, звезд, неясный, ни на что не похожий, рожденный из героических романов, из ночных мечтаний, мир, без которого, казалось ей, и не стоило жить. Ах, какая

сладкая чушь приходила ей в голову!

А второй был рядом, он подступал к ней отовсюду, шевелил ее волосы, входил в ее ноздри, шуршал в ее халате, пропахшем лекарствами, стучал сапогами, стонал, дымил махоркой. Он был во всем: в скучных учетных карточках, которые она заполняла, в сердитых замечаниях врачей, в пшенной каше с постным маслом, в нотациях комиссара госпиталя, в уличной пыли, в завывании сирены, в нравоучениях мамы, в разговорах о ценах, в очередях, в ссорах с Серёжей, в семейных обсуждениях достоинств и слабостей родственников и знакомых, в туфлях на резиновой подошве, в пальто, перешитом из старого папиного пальто.

Вера различила за спиной негромкий стук костылей. Она оперлась локтями на подоконник и, вытянув шею, стала смотреть в небо. Она заставляла себя смотреть на облака, на звезды, на игру лунного света в стеклах, но ее ухо напряженно ловило стук костылей, шедших из тьмы коридора. Такой звук был лишь у одной пары госпитальных костылей.

— О чем мечтаете? — спросил юношеский голос.

Она молчала, будто не слыша, потом вздохнула, будто внезапно возвращенная от мечтаний к действительности, удивленно оглянулась, тряхнула головой и медленно, будто все еще не придя в себя, произнесла:

— Это вы, Викторов? Я и не слышала, как вы подошли.

Ей стало тут же смешно от своего притворства и неестественного голоса, и она рассмеялась.

— Чего вы? — спросил он и сам рассмеялся, выражая покорную готовность делить с ней ее настроение, будь то веселье, будь то грусть, потому лишь только, что это ее настроение. Но Вера сказала:

— Нет, все пустое, я прекрасно слышала, что вы идете сюда, и нарочно сделала вид, будто впала в мечтания.

Но эта правда тоже не была правдой, а лишь игрой в правду: она чувствовала — эти слова выгодны для ее любви, нужны, чтобы показаться ему совсем особенной, странной, не похожей на других. <...> {20} Учиться игре этой было невозможно и не нужно — невозможно, потому что она была слишком сложна и трудна, не нужно, потому что она с необычайной простотой сама рождалась в душе.

— Ну, что вы,— искренне и живо сказала Вера, услыша те слова, что хотела слышать,— я совершенно обыкновенная, таких в нашем городе пятьдесят тысяч, скучная, неинтересная.

Викторова привезли месяц назад из степи, где упал его самолет, расстрелянный «мессерами». Он лежал, склонив голову на длинной тонкой шее, побледневшее лицо его казалось грязным, пыльным, а глаза смотрели с каким-то странным, тронувшим ее выражением тоски и детского испуга.

Когда летчика раздевали, он посмотрел на Веру, потом перевел глаза на свое заношенное белье и отвернулся. Вера внезапно смутилась, и слезы выступили у нее на глазах.

К ней иногда приставали с ухаживаниями выздоравливающие, в коридорах некоторые прямо-таки нахально пытались ее обнять. Один политрук объяснил ей в любви в письменной форме, предлагал пожениться и, выписавшись из госпиталя, просил, чтобы она дала ему свою фотографию.

Старшина Викторов с ней никогда не разговаривал, но когда она входила в палату, она чувствовала его внимательный взгляд.

Она сама заговорила с ним.

— Ведь ваша часть недалеко, почему к вам никто из товарищей не приезжает?

Он объяснил:

— Я был переведен в новый полк, а в прежнем полку летный состав почти весь новый.

— Страшно? — спросила она.

Он поколебался, не сразу ответил, и она поняла, что он подавил желание ответить ей так, как обычно молодые летчики отвечают девушкам на подобные вопросы. Глянув исподлобья на ее руки, он серьезно сказал:

— Страшно.

Они оба смутились: он и она почувствовали — им хотелось особенных, не случайных, не пустых отношений, и эти особенные отношения вдруг возникли, точно колокол торжественным ударом дал им обоим знать об этом.

Оказалось, что он сталинградец, работал когда-то на СталГРЭСе слесарем и знал Степана Фёдоровича — тот нередко приходил шуметь в механическую мастерскую.

Но общих знакомых у них не было. Викторов жил в шести километрах от станции и после работы сразу шел домой, не оставался на сеансы в клубе и не участвовал в спортивных командах.

— Я не люблю спорта,— сказал он,— я люблю читать.

Вера заметила, что ему нравились те книги, которые читал Серёжа и которые были ей не очень интересны.

— Я больше всего любил исторические читать, только доставать их хуже нет, в клубной библиотеке их маловато, я в город ездил по воскресеньям и из Москвы выписывал.

Относились к нему раненые хорошо. Вера однажды слышала, как один политракторник сказал о нем:

— Хороший парень, серьезный.

Она покраснела, словно при матери посторонние хвалили сына.

Он много курил. Она приносила ему табак и папиросы и видела, что вся палата дымила, когда у него было курево.

На руке у Викторова был вытатуирован якорь с куском каната.

— Это когда я в фабричной школе учился,— объяснил он и добавил: — О, я тогда бедовый был, меня даже исключить раз хотели, хулиганил.

Ей нравилась его скромность, он не хвастался рассказами о своих боевых полетах, и когда говорил о них, то всегда о товарищах, самолете, моторе, погоде, взлетных условиях, а не о самом себе. Ему больше нравилось разговаривать о мирном времени. Когда затевался в палате разговор о фронтовых случаях, он обычно молчал, хотя, видимо, мог рассказать больше, чем главный оратор Ситников, служивший в артснабжении.

Он не был красив: худой, узкие плечи, нос широкий, большой, глаза маленькие. Но Вере казалось, что и его движения, и улыбка, и манера сворачивать папиросу, и смотреть на часы

очень хороши.

Она знала, что он некрасив, но так как он нравился ей, то и в этой некрасивости она видела достоинство Викторова, а не недостаток. Он тем и был особенным, что не все могли увидеть и понять, какой он, и только она могла видеть и понять это.

Когда Вере было двенадцать лет, она собиралась выйти замуж за Толю, а в восьмом классе она влюбилась в комсорга, ходила с ним в кино и ездила на пляж. Ей казалось, что она уже все знает, и, снисходительно улыбаясь, слушала, когда дома заходил разговор о любви и романах. В десятом классе были девушки, говорившие: «Замуж надо выходить за тех, кто старше лет на десять, у кого есть положение в жизни...»

Но оказалось все не так...

Окно в коридоре стало местом их встреч, и часто, стоило ей, урвав свободную минуту, подойти к этому окну и подумать о Викторове, как слышался стук его костылей, словно к нему доходила телеграмма от нее.

А случалось, они стояли рядом, и Викторов, задумавшись, глядел в окно, она молча смотрела на него, и он резко поворачивался и говорил:

— Что?

— Отчего это? — спрашивала она.

Часто они говорили о войне, порой этот разговор меньше способствовал их внутренней беседе, чем случайные, ребячьи слова.

— Мне смешно, что вы старшина. Старшина — старый, какой же вы старшина в двадцать лет!

В этот вечер он подошел к ней, и они стали рядом, их плечи касались, и хотя они все время говорили, но слушали друг друга невнимательно, и главным в их разговоре было то, что ее плечо вдруг отклонялось, и он замирал, ожидая нового прикосновения, а она доверчиво поворачивалась к нему, и он вновь ощущал это казавшееся ему случайным прикосновение и искоса глядел на ее шею, на ухо, щеку, на прядку волос. Лицо юноши при свете синей лампочки казалось темным и печальным. Она посмотрела на него, и ею овладело ожидание беды.

— Я не понимаю, вначале казалось, что я вас просто жалею, как раненого, а теперь мне жалко становится самое себя,— сказала она.

Ему хотелось обнять ее, и он подумал, что и она этого хочет и ждет, снисходительно наблюдая его нерешительность.

— Почему жалко? — спросил он.

— Я не знаю почему,— ответила она и посмотрела на него снизу вверх, как дети смотрят на взрослых.

Он задохнулся от волнения и потянулся к ней. Костыли упали на пол, и он тихонько вскрикнул — не оттого, что ступил на больную ногу, а от одной мысли, что может ступить на больную ногу.

— Что с вами, голова закружилась?

— Да,— сказал он,— голова закружилась,— и он обнял ее за плечи.

— Я сейчас подниму костыли, а вы держитесь за подоконник.

— Зачем, так лучше,— сказал он.

Они стояли обнявшись, и ему казалось, что не она поддерживает его, беспомощного и неловкого, а он ее защищает, прикрывает от огромного, враждебного, вещающего недоброе ночного неба.

Он выздоровеет и будет барражировать на своем «Яке» над госпиталем и над СталГРЭСом. Вот он снова слышит рев мотора, он идет стремительно в хвосте «юнкерса», и он опять ощутил то понятное лишь летчику стремление к сближению с несущим смерть врагом; мерцающая сиреневая трасса бесшумно мелькнула перед глазами, и он увидел злое, белое лицо немецкого стрелка-радиста таким, каким однажды увидел его в бою над Чугуевом.

Он отпахнул полу своего больничного халата и прикрыл им Веру, и она прижалась к нему.

Так стоял он несколько мгновений молча, опустив глаза, ощущая тепло ее дыхания и прелесть ее груди, прижавшейся к нему, и подумал, что готов год простоять так на одной ноге, обнимая эту девушку в пустом темном коридоре.

— Ничего не нужно,— внезапно сказала она.— Я сейчас подниму костыли.

Она помогла ему сесть на подоконник.

— Почему? За что это нам? Так бы все могло быть хорошо... Мой двоюродный брат сегодня на фронт уехал. Утром хирург сказал: у вас необычайно скоро идет заживление, через десять дней вас выпишут.

— Ну и пусть,— проговорил он с беспечностью мужчины, не думающего о будущем в любви,— ну и пусть будет что будет, зато сейчас нам хорошо.

Он усмехнулся:

— А знаете, то есть... отчего я так быстро поправляюсь? Оттого, что я вас люблю...

Ночью она лежала в дежурке на маленьком деревянном диванчике, крашенном белой масляной краской, и думала.

В этом огромном пятиэтажном доме, полном стонов, страданий, крови, могла ли выжить родившаяся любовь?

Ей вспомнились носилки, мертвое тело, прикрытое одеялом, и острая, режущая жалость к человеку, которого санитары понесли в могилу, человеку, чье имени она не знала и чье лицо забыла, охватила ее с такой силой, что она вскрикнула и поджала ноги, точно укрываясь от удара.

Но вот именно теперь она знала, что этот безрадостный мир дороже ей небесных дворцов ее детских мечтаний.

16

Утром Александра Владимировна в своем неизменном темном платье с белым кружевным воротничком, накинув на плечи пальто, вышла из дому. У подъезда ее ожидала лаборантка Кротова — они вместе должны были на грузовике поехать исследовать воздух в цехах химического завода.

Александра Владимировна села в кабину, а Кротова, коренастая молодая женщина, лихо,

по-мужски ухватилась за борт и влезла в кузов.

— Товарищ Кротова, следите за аппаратурой на ухабах,— сказала Александра Владимировна, выглянув из окошечка кабины.

Водитель машины, щупленькая молодая женщина в лыжных штанах, с головой, повязанной красным платочком, положила на сиденье вязанье и включила мотор.

— Дорога — асфальт, ухабов нет,— сказала она и, с любопытством оглядев старую женщину, добавила: — Вот выедем на шоссе — нажмем на железку.

— Вам сколько лет? — спросила Александра Владимировна.

— О, я пожилая, двадцать четыре.

— Мне ровесница,— усмехнулась Шапошникова.— Замужем?

— Была, теперь опять девка.

— Убит муж?

— Нет, в Свердловске, на Уралмаше, другую жену взял.

— И дети есть?

— Есть девочка, полтора года.

Они выехали на шоссе, и водительница, скосив веселый светлый глазок, стала расспрашивать Александру Владимировну о ее дочерях, внуках, о том, для чего она везет в кузове пустые стеклянные баллоны, резиновые шланги и изогнутые трубки; стала рассказывать о своей жизни.

Муж прожил с ней полгода и уехал на Урал, все писал: «вот-вот дадут квартиру», а потом началась война, на фронт его не взяли, имел броню. Он писал все реже, сообщал, что живет в общежитии для холостых, никак не получит комнаты, а зимой вдруг прислал письмо, что женился, спрашивал, отдаст ли она ему дочку. Дочку она ему не отдала и на письмо не ответила, но до суда дело не дошло, он ежемесячно высылает ей на ребенка двести рублей.

— Пусть хоть тысячу посылает, я ему никогда не прощу, а пусть и не посылает — я дочку сама прокормлю, зарабатываю ничего,— сказала молодая женщина.

Машина бежала по шоссе — мимо садов, мимо маленьких домиков с серыми, обшитыми тесом стенами, мимо заводиков и заводов, и голубые пятна волжской воды то появлялись в просвете между деревьями, то исчезали за стенами домов, заборами, холмиками.

Александра Владимировна, приехав на завод и получив пропуск, прошла в главную контору: она хотела попросить прикомандировать к ней техника или лаборанта, чтобы подробнее ознакомиться с расположением аппаратов и устройством вентиляции. Кроме того, Александра Владимировна хотела попросить хоть на час чернорабочего: Кротовой трудно было переносить на руках двадцатилитровые бутылки-аспираторы.

Директор завода Мещеряков жил в одном доме с Шапошниковыми, и Александра Владимировна иногда видела, как он утром садился в автомобиль, размашисто захлопывал дверцу и все махал рукой, посылал воздушные поцелуи жене, стоявшей у окна.

Она хотела поговорить с Мещеряковым шутливым тоном, сказать ему: «Вы уж пойдите мне навстречу, помогите, соседка, закончить обследование и сделать предложения об

улучшении вентиляции».

Но разговор не состоялся. Александра Владимировна слышала через полуприкрытую дверь директорского кабинета, как Мещеряков сказал секретарше:

— Принять я ее сегодня не могу. И вообще передайте ей: теперь не время для разговоров о вредности и здоровье, теперь люди не только здоровьем, а жизнью жертвуют на фронте.

Александра Владимировна подошла к директорской двери, и если б кто-либо из близких, знавших ее характер, увидел ее плотно сжатые губы и злую морщину, легшую от переносья, он бы подумал, что Мещерякову сейчас придется пережить несколько неприятных минут. Но Александра Владимировна не вошла в директорский кабинет, а, постояв мгновение, быстро, не дождавшись появления секретарши, ушла в цех.

В большом жарком цехе рабочие сперва насмешливо наблюдали, как женщины устанавливали стеклянные баллоны-аспираторы, набирали пробы воздуха через шланги в разных местах цеха, зажимали винтовыми зажимами резиновые трубки, выпускали воду из зегеровских пипеток то у того места, где стоял аппаратчик, то у главного вентиля, то над баками с пахучим полуфабрикатом. Худой небритый рабочий в синем халате, прорванном на локтях, сказал протяжно, по-украински выговаривая:

— Що дурни робять, воду миряють...

Молодой мастер, а может быть и химик, с дерзкими, недобрыми глазами, сказал Кротовой:

— Вот налетят немцы, они нам вентиляцию без вас наладят.

А старик с маленькими красными щечками в синих жилках, поглядывая на молодую, статную Кротову, произнес несколько слов, которых Александра Владимировна не расслышала, но слова, видимо, были крепкие, — Кротова покраснела, обиженно отвернулась.

В обеденный перерыв Александра Владимировна села на ящик у двери — она устала, тяжелый воздух расслаблял. К ней подошел паренек-ремесленник и спросил:

— Тетенька, а чего вы это делаете? — и указал пальцем на стеклянные аспираторы.

Она стала объяснять ему устройство аспиратора, рассказала о газах, вредящих здоровью рабочих, о дегазации, о вентиляции.

К ним подошли рабочие послушать, и тот украинец, который грубо пошутил насчет дурней, меряющих воду, глядя, как Александра Владимировна сворачивает махорочную папиросу, сказал:

— А ну, может, мой корешок крепче, — и протянул ей красный мешочек, завязанный тесемкой.

Разговор пошел общий. Сперва поговорили о вредности работы на разных производствах. У рабочих-химиков было горькое чувство гордости — их работа считалась самой вредной, вредней, чем у забойщиков в шахте и у горновых и сталеваров на металлургических заводах.

[Рассказали про несколько случаев отравления и удушья, происшедших при порче вентиляции. Поговорили о подлой силе «химии» — она ест подошвы сапог и металлические портсигары травит, поговорили о кашле с мокротой, который душит стариков, посмеялись над каким-то Панченко, работавшим без спецовки и сжегшим кислотой брюки галифе.]

Потом заговорили о войне. С горечью, тревогой, волнением рабочие говорили о разорении врагом больших заводов, шахт, сахарной промышленности, железных дорог, донецкого

паровозостроения.

Старик, вогнавший Кротову в краску, подошел к Александре Владимировне и сказал:

— Мамаша, может, вы завтра у нас работать будете, вам надо талончики в столовую взять.

— Спасибо, сынок,— ответила она,— завтра мы со своей едой приедем.

Она рассмеялась, назвав старика сынком, и он, поняв это, сказал:

— А что ж, я, может, месяц как женился.

Разговор вдруг стал такой дружеский, живой, хороший, словно в этом цехе она провела не несколько часов, а долгие дни жизни.

Когда кончился обеденный перерыв, рабочие подвели шланг, чтобы Кротовой не пришлось носить воду ведрами из дальнего конца цеха, помогли перенести аппаратуру и установить ее в тех местах, где подозревалась загазованность воздуха.

Несколько раз Александра Владимировна вспоминала слова Мещерякова и чувствовала, как кровь прилиwała к щекам,— ей хотелось пойти в контору и отчитать его, но она сдерживала себя.

«Раньше кончу работу, сделаю предложения,— думала она,— а потом уж намну ему бока, демагогу».

Многие директора и главные инженеры знали напористость и резкость Шапошниковой и закаялись отмахиваться от ее предложений по охране труда. Опытный глаз и обоняние Александры Владимировны {21} — она часто говорила, что нос — важнейший прибор химика,— сразу же определили неблагополучие санитарных условий. И действительно, индикаторные бумажки тотчас же меняли окраску, поглотительные растворы мутнели — видимо, в воздухе цеха содержалось много вредных примесей. Она почувствовала, как маслянистый, тяжелый воздух расслабляюще действовал на нее, раздражал ноздри, вызывал перхоту и кашель.

В обратный путь ехали уже с другой машиной; по дороге испортился мотор; водитель долго копался в нем, потом подошел к кабине, задумчиво, медленно обтирая руки ветошью, и объявил:

— Дальше не поедет, буду буксир из гаража вызывать, заклинил поршня.

— Девушка довезла, а мужчина не смог до города довезти,— сказала Кротова.— Я еще хотела в магазин поспеть сегодня.

— На попутной за десятку довезут,— посоветовал водитель.

— С аппаратурой что делать, вот вопрос,— задумалась Александра Владимировна и затем решительно проговорила: — Вот что, тут недалеко до СталГРЭСа, я схожу и возьму у них машину, а вы, товарищ Кротова, постерегите аппаратуру.

— Не дадут вам со СталГРЭСа машину,— сказал водитель,— там мне шоферы говорили: сам Спиридонов лично наряды подписывает, у него не выпросите, у жмота.

— У него как раз я и выпрошу,— сказала Александра Владимировна,— хотите, пари заключим.

Но водитель почему-то обиделся:

— Зачем мне ваше пари, подумаешь! — И, подмигнув, предложил Кротовой: — Оставайтесь, заночуем под брезентом, как на курорте, холодно не будет, а карточку завтра отоварим.

Шапошникова пошла по обочине шоссе. Вечернее солнце освещало дома и деревья, на подъеме ослепительно вспыхивали смотровые стекла проносившихся к городу грузовиков, на восточных уклонах шоссе было холодным, синевато-пепельным, а там, где его освещало солнце, оно казалось голубоватым, все в светлых завитках пыли, поднятой проезжающими машинами. Она увидела высокие строения СталГРЭСа. Здание конторы и многоэтажные жилые дома розовели в вечернем свете, пар и дым светились над цехами. Вдоль шоссе, мимо домиков, садилов, огородов, к СталГРЭСу шли рабочие в спецовках, девушки в шароварах, одни в сапогах, другие в туфельках на каблучках, все с кошелками, сумками,— видимо, смена...

А вечер был тихий, ясный, и листва на деревьях светилась в лучах заходящего солнца.

И, как всегда при взгляде на тихую прелесть природы, Александра Владимировна вспомнила о сыне.

[Сын Дмитрий мальчиком шестнадцати лет ушел воевать против Колчака, потом учился в Свердловском университете и, несмотря на молодые годы, стал управляющим одной из важных областей промышленности. В 1937 году его обвинили в связи с заговорщиками, врагами народа, и арестовали. Вскоре арестовали и его жену. Александра Владимировна поехала в Москву и привезла в Сталинград внука, двенадцатилетнего Серёжу... Дважды после этого она ездила в Москву хлопотать о Дмитрие. Бывшие друзья его, люди, которые в свое время зависели от него, отказали ей в приеме и не отвечали на письма.

Ей удалось добиться приема у очень высокопоставленного человека, хорошо помнившего ее покойного мужа. Он выхлопотал ей разрешение на свидание с сыном и обнадежил ее, что дело Дмитрия будет пересмотрено.

Единственный раз в жизни близкие видели Александру Владимировну плачущей — во время рассказа о свидании с сыном. Она долго ждала на пристани, катер должен был привезти сына. Увидя Дмитрия, она пошла ему навстречу, и они молча смотрели друг на друга, стояли, взявшись за руки, как дети, на берегу холодного моря. После она ходила по пустынному берегу, и волны с белой пеной накатывали на камни, и чайки кричали над ее белой головой... С осени 1939 года сын перестал отвечать на письма. Она писала запросы, снова ездила в Москву. Ей вновь обещали все выяснить, пересмотреть дело. Время шло, началась война.]
{22}

Александра Владимировна шла торопливо, голова слегка кружилась. Она знала, что головокружение это не только от мелькавших машин и пятен света, оно от старости, от переутомления, оттого, что весь день она дышала тяжелым воздухом, от постоянного нервного напряжения: вот и ноги стали у нее отекавать к вечеру, обувь становится тесной,— видимо, сердце не справляется с нагрузкой.

Зять встретился ей в проходной, он шел, окруженный людьми, размахивая пачкой бумаг, казалось, он отмахивался этой пачкой от упорно наседавшего на него военного с интендантскими петлицами.

— Ничего не выйдет,— говорил Степан Фёдорович,— пожгу трансформаторы, оставлю город без света, если подключу вас. Ясно?

— Степан Фёдорович,— негромко окликнула его Александра Владимировна.

Спиридонов резко остановился, услышав знакомый голос, и удивленно развел руками.

— Дома случилось что-нибудь? — быстро спросил он и отвел Александру Владимировну в сторону.

— Нет, все здоровы. Толю вчера вечером проводили.— И она рассказала об аварии с машиной.

— Ох и хозяин Мещеряков, ни одной машины в порядке у него нет,— с удовольствием сказал Степан Фёдорович,— сейчас мы это дело наладим.— Он поглядел на Александру Владимировну и шепотом проговорил: — Вы такая бледная, ах ты, ей-богу.

— Голова кружится.

— Ну конечно, с утра не ели, день на ногах провели — безобразия,— сердито выговаривал он, и Александра Владимировна заметила, что здесь, где он был хозяином, Степан Фёдорович, обычно робевший перед ней, говорит с новой для него снисходительно-заботливой интонацией.— Я вас так не пущу,— сказал он и, прищурившись, на мгновение задумался.— Вот что, аппаратуру с лаборанткой мы сейчас отправим, а вы отдохнете у меня в кабинете. Через час мне ехать в обком, я вас прямо домой на легковой отвезу. И покушать обязательно нужно.— Она не успела ответить, как Степан Фёдорович крикнул: — Сотников, скажи завгару, пусть полторку отправит на шоссе, километр отсюда в сторону Красноармейска, там грузовик застрял, возьмет там аппаратуру, женщину и свезет в город. Ясно? Быстро только. Ох и Мещеряков, хозяин...— Он окликнул пожилую женщину, по-видимому уборщицу: — Ольга Петровна, проводите гражданку ко мне, скажите Анне Ивановне, пусть кабинет откроет, а я тут людей отпускаю, минут через пятнадцать приду.

В кабинете Степана Фёдоровича Александра Владимировна села на стул и оглядела стены в больших листах синей кальки, диваны и кресла под крахмальными, несмятыми чехлами (видимо, на них никто не садился), запыленный графин на тарелке с желтыми пятнами, из которого, видимо, не часто пили воду, криво повешенную картину, изображавшую митинг при пуске электростанции,— и на картину, должно быть, редко кто глядел. На письменном столе лежали бумаги, чертежи, куски кабеля, фарфоровый изолятор, горка угля на газете, набор чертежных карандашей, вольтметр, логарифмическая линейка, стояли телефоны со стертыми до белого металла цифрами на дисках, пепельница, полная окурков,— за столом этим работали день и ночь, без сна.

Александра Владимировна подумала, что, может быть, она первый человек, пришедший сюда отдохнуть, до нее в этом кабинете никто никогда в течение десяти лет не отдыхал, в нем только работали. И правда, едва вошел Степан Фёдорович, как в дверь постучались, и молодой человек в синей тужурке, положив на стол длинную рапортничку, сказал:

— Это за ночную смену,— и вышел.

И тотчас вошел старик в круглых очках, с черными нарукавниками, передал Степану Фёдоровичу папку:

— Заявка от Тракторного,— и тоже вышел.

Позвонил телефон, Степан Фёдорович взял трубку.

— Как же, узнаю... сказал — не дам, значит, не дам. Почему? Потому что «Красный Октябрь» важнее, знаешь сам, что он выпускает. Ну? Дальше что? Ну знаешь что...— Он, видимо, хотел выругаться, глаза у него стали узкие, злые, Александра Владимировна никогда не видела у него такого выражения. Быстро оглянувшись на тещу, он облизнул губы и проговорил в трубку: — Начальством ты меня не стращай, я сам у начальства буду сегодня. Меня просишь и на меня же пишешь... Сказал — не дам!

Вошла секретарша, женщина лет тридцати, с очень красивыми сердитыми глазами.

Она наклонилась к уху Степана Фёдоровича и негромко сказала что-то. Александра Владимировна разглядывала ее темные волосы, красивые темные брови, большую мужскую ладонь со следами чернил.

— Конечно, сюда пусть несет,— сказал Степан Фёдорович, и секретарша, подойдя к двери, позвала:

— Надя, сюда несите.

Стуча каблуками, девушка в белом халате внесла поднос, прикрытый полотенцем.

Степан Фёдорович открыл ящик письменного стола и вынул половину белого батона, завернутого в газету, пододвинул Александре Владимировне.

— Хотите,— сказал он и похлопал рукой по ящику,— могу угостить кое-чем покрепче, только Марусе не говорите, вы ведь знаете, съест,— и сразу стал похож на домашнего, обычного Степана.

Александра Владимировна пригубила водки и, улыбнувшись, сказала:

— Дамы у вас тут интересные, а девушка просто прелесть, и в ящике не одни чертежи. А я-то думала, вы здесь работаете круглосуточно...

— Изредка и работать приходится,— сказал он.— Ох, девицы, девицы. Ведь Вера представляете что задумала... Я вам расскажу, когда поедем.

«Как-то странно здесь звучат семейные разговоры»,— подумала Александра Владимировна.

Степан Фёдорович посмотрел на часы.

— Вы меня немного подождите, через полчаса поедем, мне нужно на станцию пойти, а вы отдохните пока.

— Можно с вами пойти? Я ведь никогда не была здесь.

— Что вы, мне ведь на второй и на третий этаж, лучше отдохните,— но видно было, что он обрадовался. Ему хотелось показать ей станцию.

Они шли в сумерках по двору, и Степан Фёдорович объяснял:

— Вот масляные трансформаторы... котельная, градирни... здесь мы КП строим, подземное, на всякий случай, как говорится...

Он поглядел на небо и сказал:

— Жутковато, вдруг налетят... Ведь такое оборудование, такие турбины!

Они вошли в ярко освещенный зал, и то скрытое сверхнапряжение, которое ощущается на больших электрических станциях, коснулось их и незаметно нежно, но крепко оплело своим очарованием. Нигде — ни в доменных цехах, ни в мартенах, ни в горячем прокате — не возникает такого волнующего ощущения... В металлургии огромность совершаемой человеком работы выражается открыто и прямо: в жаре жидкого чугуна, в грохоте, в огромных, слепящих глаз глыбах металла... Здесь же все было иное — яркий, ровный свет электрических ламп, чисто подметенный пол, белый мрамор распределительных щитов, размеренные, неторопливые движения и внимательные спокойные глаза рабочих, неподвижность стальных и чугунных кожухов, мудрая кривизна турбин и штурвалов. В

негромком, густом и низком жужжании, в едва заметной дрожи света, меди, стали, в теплом сдержанном ветре ощущалось не явное, прямое, как в металлургии, а тайное сверхнапряжение силы, бесшумная сверхскорость турбинных лопаток, тугая упругость пара, рождавшего энергию более высокую и благородную, чем простое тепло. И как-то по-особенному волновало тусклое сверкание бесшумных динамо, обманывавших своей кажущейся неподвижностью.

Александра Владимировна вдохнула теплый ветерок, отделявшийся от маховика; маховик казался застывшим, так бесшумно и легко вращался он, но спицы его словно были затканы серенькой паутинкой, сливались, мерцали, и это выдавало напористость движения. Воздух был теплый, с едва заметной горьковатой примесью озона, с чесночинкой, так пахнет воздух в поле после грозы, и Александра Владимировна мысленно сравнила его с масляным воздухом химических заводов, с угарным жаром кузниц, с пыльным туманом мельниц, с сухой духотой фабрик и швейных мастерских...

И опять совершенно по-новому увидела она человека, которого, казалось, так хорошо и подробно узнала за долгие годы его супружества с Марусей.

Не только движения его, и улыбка, и выражение лица, и голос стали здесь иными, но и внутренне он был совершенно иным. Когда она слышала его разговор с цеховыми инженерами и рабочими, наблюдала его лицо и их лица, она видела, что Степана Фёдоровича объединяет с ними нечто важное и большое, без чего ни он, ни они не могли бы существовать. Когда он шел по пролетам, говорил с монтерами и машинистами, склонялся над штурвалами и приборами, слушал, призадумавшись, звук моторов, в его лице было одно и то же выражение сосредоточенности и мягкой тревоги. То было выражение, породить которое могла лишь любовь, и казалось — в эти минуты ни для Степана Фёдоровича, ни для тех, что шли с ним и говорили с ним, не было обычных тревог и волнений, обыденных мыслей и домашних радостей и огорчений <...> {23}. Замедлив шаги, Степан Фёдорович сказал:

— Вот наша святая святых,— и они прошли к главному щиту.

На высоком мраморе — среди рубильников, реостатов, переключателей, среди жирной меди и полированной пластмассы — пестрели голубые и красные желуди сигнальных лампочек.

Неподалеку от щита рабочие устанавливали высокий, в полтора человеческих роста, толстостенный стальной футляр с узкой смотровой щелью.

— В этой штуке при бомбежке будет стоять дежурный на главном щите,— сказал Спиридонов.— Надежная броня, как на линкоре.

— Человек в футляре,— проговорила Александра Владимировна.— Смысл совсем не чеховский у этих слов.

Степан Фёдорович подошел к щиту. Огни голубых и красных сигнальных лампочек падали на его лицо и пиджак.

— Включаю город! — сказал он и коснулся рукой массивной ручки.— Включаю «Баррикады»... {24} включаю Тракторный... включаю Красноармейск... {25}

Голос его дрогнул от волнения, лицо в странном пестром свете было взволнованным, счастливым... Рабочие молча и серьезно смотрели на него.

...В машине Степан Фёдорович наклонился к уху Александры Владимировны и шепотом, чтобы не слышал водитель, сказал:

— Вы помните уборщицу, которая вас провожала ко мне в кабинет?

— Ольга Петровна, кажется?

— Вот-вот, вдова она, Савельева ее фамилия. У нее на квартире жил парнишка, работал у меня в слесарной мастерской, потом пошел в летнюю школу, и оказывается, он тут лежит в госпитале, прислал ей письмо, что дочка Спиридонова, наша Вера, работает в этом госпитале и будто все у них решено. Объяснились. Представляете, какое дело? И узнаю-то не от Веры, а от своего секретаря Анны Ивановны. А ей уборщица Савельева сказала... Представляете?

— Ну и что ж,— сказала Александра Владимировна.— Очень хорошо, лишь бы честный и хороший парень.

— Да не время, боже мой, да и девчонка... Вот станете прабабушкой, тогда не скажете: «Очень хорошо!»

Она плохо видела в полутьме его лицо, но голос его был обычный, долгие годы знакомый ей, и, вероятно, выражение лица было таким же обычным, знакомым.

— А насчет фляжки договорились, Марусе ни слова, ладно? — смеющимся шепотом сказал он.

Материнская, грустная нежность к Степану охватила ее.

— И вы, Степан, станете дедом,— тихо сказала Александра Владимировна и погладила его по плечу.

17

Степан Фёдорович заехал по делу в Тракторозаводский районный комитет партии и узнал неожиданную новость — давно знакомый ему Иван Павлович Пряхин был выдвинут на руководящую работу в обком партии.

Пряхин когда-то работал в партийной организации Тракторного завода, потом поехал на учебу в Москву, вернулся в Сталинград незадолго до начала войны, снова стал работать в райкоме, был одно время парторгом ЦК на Тракторном заводе.

Степан Фёдорович знал Пряхина давно, но встречался с ним мало и сам удивился, почему новость эта, не имевшая к нему прямого отношения, взволновала его.

Он зашел в комнату к Пряхину, который в этот момент надевал плащ, собираясь уходить, и громко сказал:

— Приветствую, товарищ Пряхин, поздравляю с переходом на работу в областной комитет.

Пряхин, большой, неторопливый, широколобый, медленно посмотрел на Степана Фёдоровича и проговорил:

— Что ж, товарищ Спиридонов, будем встречаться по-прежнему, наверно, чаще даже.

Они вместе вышли на улицу.

— Давайте подвезу, я сейчас через город еду к себе на СталГРЭС,— сказал Спиридонов.

— Нет, я пойду пешком,— сказал Пряхин.

— Пешком? — удивился Спиридонов.— Это вам часа три ходу.

Пряхин посмотрел на Спиридонова и усмехнулся, промолчал. Спиридонов посмотрел на

Пряхина, усмехнулся и тоже промолчал. Он понял, что неразговорчивому, суровому человеку Пряхину захотелось вот в этот военный день пройти по улицам родного города, пройти мимо завода, который при нем строили, пройти мимо садов, которые при нем сажали, мимо школы, в строительстве которой он принимал участие, мимо новых домов, которые при нем заселялись. <...> {26}

Спиридонов стоял у дверей райкома, поджидая отлучившегося водителя машины, поглядывал вслед идущему по дороге Пряхину.

«Теперь он моим начальством в обкоме будет!» — подумал Спиридонов с усмешкой, но усмешка не получилась: он был растроган. Ему вспомнились встречи с Пряхиным. Вспомнилось, как открывали в заводском поселке школу-десятилетку для детей рабочих и служащих. Пряхин, озабоченный, сердитый, нарушающий своим сварливым голосом торжественность обстановки, выговаривал прорабу за то, что тот скверно отциклевал паркет в некоторых школьных комнатах. Вспомнилось, как когда-то, задолго еще до войны, во время пожара в жилом поселке, увидя сквозь сизый дым шагающего Пряхина, Спиридонов подумал с облегчением: «Ну вот, райком здесь, сразу на душе легче». Вспомнилось ему, как не спал он три ночи перед пуском нового цеха и как в самое неожиданное время появлялся в цехе Пряхин — и казалось, ни с кем он особенно не говорил, никого особенно не расспрашивал, а когда обращался к Степану Фёдоровичу, вопрос его был всегда именно тем вопросом, который особенно тревожил в эту минуту Спиридонова. <...> {27} И теперь, когда в грозные сталинградские дни послали Пряхина на работу в обком, Спиридонов ощутил такое же чувство, как во время пожара: «Ну вот, и райком здесь, на душе верней, спокойней». <...> {28}

[Как-то по-новому увидел этого человека растроганный Степан Фёдорович и подумал: «Вот он какой, оказывается, Пряхин, душа у него болит, ведь вся жизнь тут вложена, все хочется посмотреть, ведь это и есть наша жизнь, и его и моя жизнь».

И видимо, Пряхин, прощаясь, понял и догадку, и чувство Степана Фёдоровича, крепко пожал ему руку, словно молчаливо благодарил и за догадку эту, и за сдержанность, за то, что Спиридонов не стал объяснять: «Ага, волнение охватило, хочется вам посмотреть те места, где всю свою жизнь проработали».

Ведь бывает такая плохая манера у некоторых людей: без спросу залезть в чужую душу и громогласно объяснить все, что видно в чужой душе.]

Приехав на СталГРЭС, Степан Фёдорович погрузился в каждодневные свои дела, но мысли, возникшие по поводу случайной встречи, не растворились в шумном потоке. <...> {29}

18

Вечером Женя замаскировала окна, соединяя платки, старые одеяла и кофты шпильками и булавками.

Воздух в комнате сразу сделался душным, лбы и виски сидевших за столом покрылись маленькими каплями пота, казалось, что желтая соль в солонке стала мокрой, вспотела от жары, но зато в комнате с замаскированными окнами не было видно томящее душу ночное, прифронтное небо.

— Ну, товарищи девицы и дамы,— сказала, отдуваясь, Софья Осиповна,— что нового во славном во городе Сталинграде?

Но девицы и дамы не отвечали, так как были голодны и, дуя на пальцы, вынимали из кастрюли горячие картошки.

Только Степан Фёдорович, обедавший и ужинавший в литерной обкомовской столовой, не

стал есть картошку.

— С будущей недели ночевать буду на работе, есть решение обкома,— сказал он. Степан Фёдорович покашлял и добавил неторопливо: — А Пряхин-то, знаете, в обкоме секретарем работает теперь.

Но никто не обратил внимания на эти слова.

Мария Николаевна, ездившая днем на завод на общегородской субботник работников народного просвещения, стала рассказывать, какое приподнятое у рабочих настроение.

Мария Николаевна считалась самым ученым человеком в семье. Уже девочкой-школьницей она удивляла всех своей работоспособностью, умением заполнять день работой. Она одновременно закончила два вуза — педагогический и заочный философский факультет. До войны областное книгоиздательство напечатало написанную ею брошюру «Женщина и социалистическое хозяйство». Степан Фёдорович переплел один экземпляр в желтую кожу с вытисненным серебром заглавием, и эта книга, предмет семейной гордости, всегда лежала на его столе. Слово жены было для него решающим в спорах о людях, в оценках знакомых и друзей.

— Переступишь порог цеха — и сразу же забываешь обо всех тревогах и сомнениях,— сказала Мария Николаевна, беря картошку, но, взволновавшись, вновь положила ее.— Нет, невозможно нас победить, такой мы самоотверженный, такой трудолюбивый народ. Вот только в цехах этих по-настоящему поймешь, как народ борется с врагом. Нужно всем нам оставить свои дела и переключиться, пойти работать на оборонные заводы, в колхозы. А Толя-то наш уехал!

— Пожилым теперь лучше, теперь мо?лодежь переживает,— сказала Вера.

— Не мо?лодежь, а молодёжь,— поправила Мария Николаевна.

Она всегда поправляла ударения в речи Веры.

— Ох и запылится твой жакет, надо его почистить,— сказал Степан Фёдорович.

— Это заводская, святая пыль,— проговорила Мария Николаевна.

— Да ты, Маруся, ешь,— сказал Степан Фёдорович, тревожась, чтобы жена, любившая возвышенные разговоры, не увлеклась и не пренебрегла своей долей жареной осетрины, принесенной им из столовой.

Александра Владимировна сказала:

— Все это так, но бедный Толя, как он волновался!

— Что же делать — война,— сказала Мария Николаевна,— родина требует великих жертв.

Евгения Николаевна, прищурившись, поглядела на старшую сестру.

— Ох, ох, дорогая моя, все это хорошо, когда однажды поработаешь на субботнике, а вот каждый день по утрам в зимнем мраке пробираться под страхом бомбежки к заводу, а затем в том же мраке после дня работы бежать домой... Добавь к этому, кстати, брынзу и камсу.

— Почему ты так авторитетно рассуждаешь, словно сама двадцать лет на заводе работаешь? А главное, ты органически не можешь понять, что работа в огромном коллективе — источник постоянной моральной зарядки. Рабочие шутят, уверенно настроены, а когда из цеха, вы бы все посмотрели, выкатили орудие и командир пожал старому мастеру руку и тот

его обнял и сказал: «Дай тебе бог живым вернуться с войны»,— такой подъем меня охватил патриотический, что я не шесть, а, кажется, сто шесть часов проработала бы.

— О господи,— сказала Женя со вздохом,— да разве я собираюсь спорить с тобой по существу; все, что ты говоришь, верно, благородно, и я всей душой понимаю это. Но ты о людях говоришь, словно их не бабы рожали, а редактора газет. Есть там на заводе все это, знаю, но зачем говорить таким тоном. И невольно кажется выдумкой... Все люди у тебя как на плакате, а мне вот не хочется рисовать плакаты.

Маруся прервала ее:

— Нет, нет, тебе именно и следует рисовать плакаты, а не заниматься таинственной живописью, которую никто не понимает. Пей, Женя, чай, пока он пылкий.

Женя рассердилась:

— Не говори «чай пылкий», я это уж где-то читала. Горячий, а не пылкий!

Ее раздражала Марусина манера употреблять в разговоре народные слова: «по грибочки», «прошла задами», «подмочь» и вместе с ними слова вроде: «сенсительный», «абсентеизм», «комплекс неполноценности».

— Да-а,— протяжно сказала Вера,— сегодня привезли раненых, они рассказывали жуткие дела. [Драп идет полным ходом.]

— Вера, не повторяй слухов! Нет, я не такой была в твои годы,— сказала высоким от волнения голосом Мария Николаевна.

— А ну тебя, мама! Раненые ведь рассказывают! Я-то тут при чем? И при чем тут мои годы?
— проговорила Вера.

Мария Николаевна посмотрела на дочь и ничего не ответила.

В последнее время споры с Марией Николаевной происходили все чаще, обычно их начинал Серёжа, иногда Вера принималась ей возражать, говорила: «Ах, мама, ты не знаешь, а споришь!» Это было непривычно Марии Николаевне, волновало и огорчало ее.

В это время в комнату поспешно вошел Серёжа.

— Наконец, а я-то волнуюсь ужасно,— радостно сказала Александра Владимировна.— Где ты был?

— Бабуля, готовьте мне вещевого мешок, я послезавтра ухожу с рабочим батальоном на рытье окопов! — громко, задыхаясь, объявил Серёжа, вынул из ученического билета бумажку и положил ее на стол, подобно игроку, выбрасывающему перед опешившими партнерами козырного туза.

Степан Фёдорович развернул бумажку и, как человек опытный и знающий «бумажное дело», внимательно, начав от штампа с номером и числом, стал рассматривать ее.

Серёжа, снисходительно улыбаясь, уверенный в полновесной ценности документа, сверху вниз глядел на сощуренные глаза и наморщенный лоб Степана Фёдоровича.

Маруся и Женя в это время забыли о ссоре и понимающе переглянулись, тайком наблюдая за матерью.

Серёжа был главной привязанностью Александры Владимировны: его глаза, тревожный,

по-взрослому сильный и по-детски непосредственный, прямой ум, его застенчивость, соединенную со страстностью, детскую доверчивость, соединенную со скептицизмом, доброту и вспыльчивость — все это боготворила в нем Александра Владимировна. Как-то она сказала Софье Осиповне: «Знаешь, Соня, вот мы подошли к старости, покидаем жизнь, не мирный сад, а жизнь в огне, война бушует, но я, старуха, по-прежнему так же верю в силу революции, верю в победу над фашизмом, верю в силу тех, кто держит знамя народного счастья и свободы. И мне кажется, что Серёжа из этой породы. <...> {30} Вот за это я как-то особенно люблю его».

Но дело в том, что любовь Александры Владимировны к внуку была прежде всего безотчетной, нерассуждающей, а следовательно, и настоящей любовью.

Эту любовь знали все близкие ее, она трогала их, но и сердила; она вызывала бережное и в то же время ревнивое чувство, как это часто бывает в больших семьях. Иногда дочери говорили с тревогой: «Если с Серёжей что-нибудь приключится, мама не переживет».

Иногда говорили с сердцем: «О господи, нельзя все-таки так дрожать над этим мальчишкой!»

Порой осуждали с насмешкой: «Когда мама старается быть одинаковой и к Людмилиному Толе и к Серёже, у нее ничего не получается».

Степан Фёдорович передал бумажку Серёже и небрежно сказал:

— Филимонов подписал, ничего; я завтра поговорю с Петровым, и мы тебя устроим на СталГРЭС.

— Зачем? — спросил Серёжа.— Я ведь сам пошел, меня не брали, нам сказали, что дадут не только лопаты, но и винтовки и переведут здоровых в строй.

— Так ты что это, сам, что ли, записался? — спросил Степан Фёдорович.

— Ну конечно.

— Да ты с ума сошел,— сердито сказала Мария Николаевна.— Да ты подумал о бабушке, да ты знаешь, что она не переживет, если, не дай бог, случится что-нибудь с тобой?

— Ведь у тебя паспорта еще нет. Да вы видели дурака? — сказала Софья Осиповна.

— А Толя?

— Ну и что Толя? Толя на три года старше тебя. Толя взрослый человек. Толя призван <...> {31} исполнять свой гражданский долг. Вот и Вера: да разве я ей слово сказала? Придет время, кончишь десятый класс, тебя призовут, никто слова тебе не скажет. Я поражаюсь, как записали его. Надрали бы уши...

— Там был один меньше меня ростом,— перебил Серёжа.

Степан Фёдорович подмигнул Жене:

— Видали мужчину?

— Мама, а ты что молчишь? — спросила Женя.

Серёжа посмотрел на Александру Владимировну и негромко окликнул ее:

— А, бабка?

Он один говорил с ней насмешливо и просто и часто с какой-то смешной, трогательной

снисходительностью спорил с ней. Даже старшая его тетка Людмила редко спорила с Александрой Владимировной, несмотря на властность характера и искреннюю уверенность в своей всегдашней правоте во всех семейных делах.

Александра Владимировна быстро вскинула голову, точно за столом сидели ее судьи, и произнесла:

— Делай, Серёжа, так, как ты... я... — Она запнулась, поднялась быстро из-за стола и пошла из комнаты.

На мгновение стало тихо, и растроганная Вера, чье сердце в этот день открылось для доброго сочувствия, сердито нахмурилась, чтобы сдержать слезы.

19

Ночью улицы города наполнились шумом. Слышались гудки, пыхтение автомобильных моторов, громкие окрики.

Шум этот был не только велик, но и тревожен. Все проснулись, лежали молча, прислушиваясь и стараясь понять, что происходит.

Вопрос, волновавший сердца разбуженных ночным шумом людей, был в ту грозную пору один: не прорвались ли где-нибудь немцы, не ухудшилось ли внезапно положение, не уходят ли наши и не пришло ли время среди ночи одеться, торопливо схватить узел с вещами и уйти из дому? А иногда леденящая тревога сжимала сердце: «А что, собственно, за шум, что за невнятные голоса, а вдруг воздушный десант?»

Женя, спавшая в одной комнате с матерью, Софьей Осиповной и Верой, приподнялась на локте и негромко сказала:

— Вот так в Ельце с нашей бригадой художников было: проснулись — а на окраине немцы! И никто нас не предупредил.

— Мрачная ассоциация,— сказала Софья Осиповна.

Они слышали, как Маруся, оставившая дверь открытой, чтобы в случае бомбежки легче было всех разбудить, сказала:

— Степан, что за скифское спокойствие, ты спишь, ведь надо узнать!

— Да не сплю я, тише, слушай! — шепотом сказал Степан Фёдорович.

Под самым окном зарокотала машина, потом вдруг мотор заглох, и чей-то голос, столь явственно слышный, точно он раздавался в комнате, произнес:

— Заводи, заснул, что ли! — и добавил несколько слов, которые заставили женщин на мгновение потупить, но не оставили никаких сомнений в том, что произносил эти слова раздосадованный русский человек.

— Звук благодатный,— сказала Софья Осиповна.

И все вдруг облегченно заговорили.

— Это все Женя со своим Ельцом,— слабым голосом сказала Маруся.— У меня и сейчас еще боль в сердце и под лопаткой...

Степан Фёдорович, смущенный тем, как он только что взволнованно шептался с женой, многословно и громко стал объяснять:

— Да откуда? Нелепо же, ерунда ведь! От Калача до нас сплошная железобетонная оборона. Да и в случае чего мне бы немедленно позвонили. Что ж вы думали, так это делается? Ой, бабы вы, бабы, одно слово — бабы!

— Да, конечно, хорошо, и все пустяки, но я подумала: вот так именно это бывает,— тихо сказала Александра Владимировна.

— Да, мамочка, именно так,— отозвалась Женя.

Степан Фёдорович накинул на плечи плащ и, пройдя по комнате, сдернул маскировку и распахнул окно.

— Открывается первая рама, и в комнату шум ворвался,— сказала Софья Осиповна и, прислушавшись к пестрому гулу машин и голосов, заключила: — И благовест ближнего храма, и голос народа, и шум колеса {32}.

— Не шум колеса, а стук колеса,— поправила Мария Николаевна.

— Нехай [7] будет стук,— сказала Софья Осиповна и всех рассмешила этими словами.

— Много легковых, «эмки», есть «ЗИСы-101»,— говорил Степан Фёдорович, вглядываясь в улицу, освещенную неясным светом луны.

— Наверно, подкрепления на фронт идут,— сказала Мария Николаевна.

— Нет, пожалуй, наоборот, не похоже, что к фронту,— ответил Степан Фёдорович. Он вдруг предостерегающе поднял палец и сказал: — А ну, тише!

На углу стоял регулировщик, и к нему то и дело обращались проезжавшие. Говорили они негромко, и слов разобрать было нельзя. На все вопросы регулировщик отвечал взмахом флажка, указывая маршрут легковым машинам и грузовикам, на которых громоздились столы, ящики, табуретки и складные кровати. На грузовиках сонно покачивались в такт движению закутанные в шинели и плащ-палатки люди. Возле регулировщика остановился «ЗИС-101», и разговор вдруг стал явственно слышен Степану Фёдоровичу.

— Где комендант? — спросил густой медленный голос.

— Вам коменданта города?

— На что мне твоего коменданта города, мне нужно знать, где разместился комендант штаба фронта?

Степан Фёдорович не стал дольше слушать. Он прикрыл окно и, выйдя на середину комнаты, объявил:

— Ну, товарищи, Сталинград стал фронтовым городом, к нам пришел штаб Юго-Западного фронта.

— От войны нельзя уйти, она идет за нами,— сказала Софья Осиповна.— Давайте спать! В шесть утра я должна быть в госпитале.

Но едва она сказала эти слова, как послышался звонок.

— Я открою,— сказал Степан Фёдорович и, надев свой коверкотовый плащ, пошел к двери. Плащ этот ночью обычно лежал на спинке кровати, чтобы находиться под рукой на случай бомбежки. На спинке кровати лежал также новый костюм Спиридонова, а возле шкафа стоял в боевой готовности чемодан с Марусиной шубой и платьями.

Вскоре Степан Фёдорович вернулся и смеющимся шепотом сказал:

— Женя, вас там кавалер спрашивает, красавец мужчина, я его пока в передней оставил!

— Меня? — удивилась Евгения Николаевна. — Не понимаю, какая чепуха! — Но по всему чувствовалось, что она взволнована и смущена.

— Джашши,— весело сказала Вера.— Вот вам и тетя Женя.

— Выйдите, Степан, я оденусь,— быстро сказала Евгения Николаевна и легко, по-девичьи вскочила, задернула маскировку и зажгла свет.

Надеть платье и туфли заняло несколько секунд, но движения ее сразу же стали медленны, когда она, прищурив глаза, подкрашивала карандашиком губы.

— Да ты с ума сошла,— сердито сказала ей Александра Владимировна.— Красишься среди ночи, ведь человек ждет.

— Да притом еще невымытое, заспанное лицо и спутанные, как у ведьмы, волосы,— добавила Мария Николаевна.

— Вы не беспокойтесь,— сказала Софья Осиповна.— Женечка отлично знает, что она ведьма молодая и красивая.

Ей, седой и толстой пятидесятивосьмилетней девушке, может быть, ни разу в жизни не приходилось вот так, сдерживая сердцебиение, прихорашиваться, готовясь к неожиданной встрече.

Эта мужеподобная женщина, обладавшая воловьей работоспособностью, объездившая полсвета с географическими экспедициями, любившая в разговоре грубое словцо, читавшая математиков, поэтов и философов, казалось, должна была к красивой Жене относиться с неодобрительной насмешкой, а не с нежным восхищением и смешной, трогательной завистью.

Женя все с тем же недоумевающим, сердитым выражением лица пошла к двери.

— Не узнаете? — спросили из-за двери.

— И да, и нет,— ответила Женя.

— Новиков,— назвалса пришелец.

Идя к двери, она была почти уверена, что именно он и пришел, но ответила так потому, что не знала, нужно ли ей сердиться на бесцеремонность ночного вторжения.

И вдруг, точно со стороны, она увидела всю поэзию этой ночной встречи — увидела себя, сонную, только что покинувшую тепло домашней, материнской постели, и стоящего у двери человека, пришедшего из грозной военной тьмы, несущего с собой запах пыли, степной свежести, бензина, кожи.

— Простите меня, глупо являться среди ночи,— сказал он и склонил голову.

Она сказала:

— Вот теперь я вас узнала, товарищ Новиков. Очень рада.

Он проговорил:

— Война привела. Вы извините, лучше я днем зайду.

— Куда же вы сейчас пойдете, среди ночи? Оставайтесь у нас.

Он отнекивался. Кончилось тем, что она стала сердиться не на то, что Новиков вторгся ночью в дом, а на то, что он не хочет в нем остаться. Тогда Новиков, обращаясь в тьму лестничной клетки, сказал негромко, тоном человека, привыкшего приказывать и знающего, что приказ его всегда услышат:

— Кореньков, принесите мой чемодан и постель.

Женя сказала:

— Рада вас видеть живым и здоровым. Но я расспрашивать вас сейчас ни о чем не буду: вы устали, вам надо помыться, попить чаю, поесть. А утром поговорим подробно, расскажете мне о себе. Познакомлю вас с мамой, сестрой, племянницей.

Она вдруг взяла его за руку и, разглядывая его лицо, произнесла:

— А вы очень изменились, прежде всего брови посветлели.

— Это от пыли,— сказал он.— Очень пыльная дорога.

— От пыли и от солнца. И глаза от этого кажутся темней.

Женя почувствовала, как большая рука его, которую она держала, чуть-чуть дрогнула в ее руке, и, рассмеявшись, сказала:

— Ну вот, пока поручу вас нашим мужчинам, а завтра будете введены в женский мир.

Гостю устроили постель в комнате Серёжи.

Серёжа провел его в ванную, и Новиков спросил:

— О, неужели и душ действует?

— Пока действует,— ответил Серёжа, следя, как гость снимает портупею, револьвер, гимнастерку с четырьмя малиновыми «шпалами», выкладывает из чемоданчика бритвенный прибор и мыльницу.

Высокий, плечистый, он казался человеком, рожденным для ношения военной формы и оружия.

Серёжа казался себе таким слабым и маленьким рядом с этим суровым сыном войны. А ведь завтра и он станет ее сыном.

— Вы брат Евгении Николаевны? — спросил Новиков.

Серёже казалось неловким называться Жениным племянником, она слишком молода, чтобы быть теткой взрослого парня, поступившего добровольцем в рабочий батальон. Новиков подумает: либо Женя пожилая, либо племянник совершенный молокосос.

— Вытирайтесь мохнатой простыней,— сказал Серёжа, точно не расслышал вопроса.

Ему не понравилось, как Новиков разговаривал с водителем машины, сутулым красноармейцем лет сорока.

Серёжа, кипятивший на керосинке чай, сказал:

— Товарищу шоферу мы постелим здесь постель.

Новиков возразил:

— Нет, он будет спать в машине, ее нельзя оставлять без охраны.

Красноармеец усмехнулся:

— До Волги доехали, товарищ полковник, по воде машину не уведут.

Но Новиков сказал:

— Идите, Кореньков.

Чай Новиков пил в Серёжиной комнате. Степан Фёдорович, почесывая грудь и позевывая, сел напротив него и тоже стал пить чай; его взволновал ночной приход штаба.

Из-за двери слышался голос Жени:

— Ну как там у вас, все в порядке?

Новиков поспешно поднялся и стоя, точно разговаривал с высоким начальником, ответил:

— Благодарю вас, Евгения Николаевна, и еще раз простите.

Когда он говорил с Женей, глаза его приняли виноватое выражение, и это не шло к его властному лицу с широким лбом, прямым носом и плотно складывающимися губами.

— Ну, до завтра, спокойной ночи,— сказала Женя, и Серёжа заметил, что Новиков слушал стук удалявшихся каблучков.

Степан Фёдорович, прихлебывая чай, угощал гостя и оглядывал его глазами человека, смыслящего в деле подбора кадров. Он прикидывал в уме, какая гражданская работа подошла бы Новикову. Такого в промкооперации, пожалуй, не встретишь. Ему бы подошло быть начальником какого-нибудь крупного строительства союзного значения.

— Значит, штаб фронта теперь в Сталинграде будет? — спросил Степан Фёдорович.

Новиков искоса посмотрел на него, и Степан Фёдорович заметил в глазах гостя неудовольствие.

— Э, военная тайна,— немного обиженно сказал Спиридонов и, не удержавшись, прихвостнул: — Мне такие вещи по должности известны: снабжаю энергией три завода-гиганта, а они снабжают фронты.

Но, как и всегда, хвостовство в основе своей имело слабость и неуверенность: военный смутил его своим спокойным, холодным взглядом. Видимо, полковник подумал так: «Если и сообщены тебе такие сведения, то вовсе не следует без нужды повторять их, да еще в присутствии этого паренька, он-то никого не снабжает энергией».

Степан Фёдорович рассмеялся.

— Знаете, по правде говоря, как это мне было объявлено?

И он рассказал о разговоре зисовского пассажира с регулировщиком.

Новиков пожал плечами.

Серёжа неожиданно спросил:

— А вы нашу Женю и до войны встречали?

Новиков торопливо ответил:

— Да, в общем, да.

Степан Фёдорович подмигнул:

— Военная тайна.— И подумал: «Э, полковник!»

Новиков, разглядывая висевшую на стене картину, изображавшую старика в зеленых штанах и с зеленой бородкой, спросил:

— Что ж, это старичок от старости позеленел?

Серёжа ответил:

— Это Женя рисовала, она считает старого странника одной из лучших своих работ.

Степан Фёдорович решил, что у Евгении Николаевны с полковником давнишний роман, а все эти церемонии, вскакивания и обращения на «вы» — чистая декорация. И это почему-то сердило его: «Уж больно она хороша для тебя, солдат»,— думал он.

Новиков помолчал и негромко сказал:

— Знаете, странный у вас город. Разыскивал долго ночью вашу улицу, и оказалось, улицы названы по всем городам Советского Союза — и Севастопольская, и Курская, и Винницкая, и Черниговская, и Слуцкая, и Тульская, и Киевская, и Харьковская, и Московская, и Ржевская есть...— Он усмехнулся.— А я под многими городами этими в боях участвовал, в некоторых до войны служил. Да. И все они, выходит, здесь оказались...

Серёжа слушал — казалось, другой человек, не чужой, непонятный, вызвавший чувство недоброежелательства, сидит перед ним. И он подумал: «Нет, нет, я правильно решил — иду!»

— Да, улицы, эх, да улицы, советские наши города,— тяжело вздохнул Степан Фёдорович.— Ложитесь-ка спать, вы с дороги.

20

Новиков был родом из Донбасса. Из всей семьи к началу войны в живых остался лишь старший брат Новикова — Иван, работавший на Смоляниновском руднике, недалеко от Сталино {33}. Отец Новикова погиб во время пожара в подземной выработке, мать вскоре после этого умерла от воспаления легких.

Иван редко переписывался с братом — за время войны Новиков получил от него лишь два письма. Последнее письмо брат прислал в феврале на Юго-Западный фронт с далекого рудника, куда попал в эвакуацию вместе с женой и дочерью. Иван жаловался на тяжесть жизни в эвакуации. Новиков послал ему из Воронежа денег и продовольственную посылку, но ответа от Ивана не было, и Новиков не знал, получил ли он посланное, переменял ли снова адрес.

Последний раз виделись они перед войной. Новиков в 1940 году приехал погостить на неделю к брату. Странно было ему ходить по тем местам, где когда-то он жил мальчишкой. Но, видно, так сильна в человеке любовь к своей родной земле, к своей детской поре, поре

материнской ласки, что угрюмый и суровый рудничный поселок казался ему милым, уютным, красивым и он не замечал ни колючего ветра, ни тошного едкого дыма, идущего от коксобензолного завода, ни мрачных, похожих на могильные курганы, терриконов... И лицо Ивана, с ресницами, подчеркнутыми угольной пылью, и лица приятелей детской поры, пришедших выпить с ним водки, были ему такими родными, близкими, что он сам удивился, как это он столько лет прожил вдали от родного поселка.

Новиков был из тех людей, которые не знают в жизни легких успехов и побед.

Он полагал, что это происходит от неумения легко завязывать дружбу, от тяжеловесной прямоты характера. Но он считал себя человеком отзывчивым, добродушным и доброжелательным, как раз не таким, каким представлялся людям.

И хотя обычно люди думают о себе не то, что они представляют собой на самом деле, но в этой оценке своих свойств Новиков был отчасти прав. Он казался людям более хмурым и сухим, чем был в действительности.

Таким казался он товарищам, когда, погнав голубей, стал учиться в городском училище; таким казался он, когда поступил на работу в слесарную мастерскую, когда пришел служить в Красную Армию,— так было на протяжении всей его жизни.

Он любил охоту, рыбную ловлю. Ему хотелось растить фруктовые деревья, ему нравились красиво обставленные комнаты, но в жизни его было столько работы и кочевий, что он никогда не охотился, не занимался садоводством и ловлей рыбы и не жил в уютных, по-домашнему обставленных комнатах с картинами и коврами. А людям казалось, что он ничем этим не интересуется и думает только о работе,— и действительно, работал он много.

Он рано, двадцати трех лет, женился и рано овдовел.

На войне ему выпало немало тяжелого, и хотя все время он служил в больших штабах, удаленных от передовой, он попадал то под жестокие бомбежки, то в окружения, а однажды ему пришлось вести в атаку сводный отряд, состоявший из командиров штаба армии,— это было в районе Мозыря в августе 1941 года.

Служебное продвижение Новикова шло хорошо, но блестящим его назвать было нельзя. За год войны он получил четвертую, полковничью «шпалу», был награжден орденом Красной Звезды.

Его считали превосходным штабным работником: образованным, с широким кругозором, со спокойным, сильным и методическим мышлением, человеком, способным легко и быстро проанализировать сложную и запутанную обстановку.

Но сам он полагал, что штабная работа для него дело временное. Ему казалось, что все свойства его характера и душевного склада отвечают другому. Он считал себя боевым командиром, прирожденным танкистом, чьи способности полностью проявятся в прямой схватке с врагом, натурой, склонной не только к логике и анализу, но и к быстрым волевым ударам, к решениям, в которых аналитические способности и точная разработка деталей дружат со страстью и риском.

Его считали человеком рассудочным и даже холодным, а он чувствовал в себе совсем иную силу. Правда, он понимал, что люди не виноваты, расходясь с Новиковым в оценке Новикова.

В спорах он был спокоен и сдержан, в быту отличался большой аккуратностью, бывал недоволен, когда хоть немного нарушался заведенный им порядок, и соблюдал этот порядок. Во время бомбежки он мог сделать картографу замечание, почему плохо отточен карандаш,

либо сказать машинистке: «Я ведь просил вас не печатать на машинке, которая плохо выбивает букву „Т“».

Чувство к Шапошниковой стало странной нелогичностью его жизни. В тот вечер, когда он познакомился с ней на концерте в Военной академии, он был необычайно взбудоражен и взволнован этим случайным знакомством. Он ревновал ее, узнав, что она замужем. Он радовался, узнав, что она рассталась с мужем. Увидев ее случайно в окне вагона, он сел в ее поезд и ехал три с половиной часа на юг, когда ему нужно было ехать на север, но так и не сказал того, ради чего решил сесть в поезд.

В первый час войны он думал о ней, хотя ему, в сущности, нечего было помнить, как нечего было забывать.

Лишь теперь, в комнате, где ему была приготовлена постель, Новиков удивился тому, что произошло. Ночью, не имея на то никакого права, он пришел к Евгении Николаевне, всполошил всех ее родных. Возможно, он поставил ее в неловкое положение, нет, наверное, даже в глупейшее и ложное положение. Как она объяснит все это матери, родным? Но вот она объяснила им, сердясь, пожимая плечами, и тогда все они начинают смеяться над ним: «Что за нелепый человек — в два часа ночи стал ломиться в дверь... Чего он хочет? Пьян он, что ли? Ворвался, стал бриться, попил чаю и завалился спать». Ему почудились за стеной насмешливые голоса. «Ох-ох-ох», — проговорил он. Нужно оставить на столе записку, извиниться и тихо выйти на улицу, разбудить водителя: «Заводи, заводи...»

И едва он решил это, как совершенно внезапная мысль осветила все по-иному. Она улыбалась ему, она своими милыми руками устроила ему постель, утром он вновь увидит ее. И наверное, приди он сюда через день-два, она сказала бы: «Ах, как жалко, что вы сразу не заехали к нам, а теперь комната уже занята». Но что он предложит ей и вправе ли он даже мечтать о личном счастье в такое время? Нет, не вправе! Он знал это, конечно, знал, а где-то в глубине жило другое знание, более мудрое, утверждавшее, что все волнения его сердца законны, имеют оправдание и смысл.

Он вынул из портфеля тетрадь в клеенчатой обложке и, сидя на постели, стал перелистывать ее. Усталость, соединенная с непроходившим волнением, не звала сон, а гнала сон. <...> {34}

Новиков глядел на полустертую карандашную запись: «22 июня 1941 года. Ночь. Шоссе Брест—Кобрин».

Он посмотрел на часы — было четыре часа утра. Те ставшие привычными волнения и боль души, с которыми он свыкся в этот год и при которых продолжал есть, спать, бриться, дышать, как-то странно соединились с радостным волнением, заставившим сегодня быстро биться его сердце. Нелепой казалась ему мысль о сне, когда он вошел в эту комнату, такой же нелепой она казалась на рассвете 22 июня в прошлом году.

Он стал вспоминать свой разговор со Степаном Фёдоровичем и Серёжей. Оба они ему не понравились, особенно Спиридонов. Он вновь представил себе тот миг, когда позвонил у двери, стоял в передней и вдруг услышал быстрые, легкие, милые шаги.

И все же он заснул.

21

Всегда с немеркнущей ясностью вспоминалась Новикову первая ночь войны — она застала его на Буге во время поездки с инспекторскими поручениями штаба округа. Попутно он собирал данные у командиров частей, участвовавших в финской войне: ему хотелось написать работу о прорыве линии Маннергейма.

Спокойно поглядывал он на западный берег Буга, на плешины песка, на луга, на сады и домики, на темневшие вдаль сосны и лиственные рощи; он слушал, как немецкие самолеты, словно сонные мухи, ноют в безоблачном небе немецкого губернаторства.

Когда он видел за Бугом на горизонте дымки, он говорил: «немцы кашу варят», словно ничего, кроме каши, немцы не могли сварить. Он читал газеты, обсуждал военные события в Европе, и ему казалось, что ураган, бушевавший в Норвегии, Бельгии, Голландии и Франции, уходит все дальше и дальше, переключивается из Белграда в Афины, из Афин на остров Крит, с Крита уйдет в Африку и где-то там, в африканских песках, заглохнет. Но все же душой он и тогда уже понимал, что эта тишина — не просто тишина мирного летнего дня, а ужасная, томящая, душная тишина перед назревшей бурей. И в своей памяти Новиков нащупывал острые, неизгладимые воспоминания, ставшие постоянными спутниками его лишь оттого, что пришел день 22 июня, день войны, день, оборвавший мирную пору. Так об ушедшем из жизни человеке близкие его вспоминают все подробности: и мелькнувшую улыбку, и случайное движение, и вздох, и слово — и все это кажется не случайным, не мелочью, а глубоким и полным значения признаком надвигавшейся беды.

Как-то за неделю до начала войны Новиков переходил широкую, мощенную булыжником улицу Бреста; ему встретился немецкий военный, очевидно сотрудник комиссии по репатриации. Новиков вспомнил его нарядную фуражку с окованным металлом козырьком, и эсэсовский мундир цвета стали, и перевязь на руке с черным знаком свастики в белом круге, и худое, надменное лицо, и портфель светло-кремовой кожи, и черное зеркало сапог, на которое не решалась садиться уличная пыль. Он шел странной походкой, печатая шаг, мимо одноэтажных домиков.

Новиков, перейдя улицу, подошел к киоску с сельтерской водой, и пока пожилая еврейка наливала ему стакан фруктового напитка, он подумал и много раз потом вспоминал эту мысль: «Шут!» И тотчас себя поправил: «Сумасшедший!» И вновь себя исправил: «Бандит!»

И он помнил — в эту минуту у него появилось томящее чувство злобы и раздражения.

Новиков помнил, что крестьянин, проезжавший в это время по улице, и женщина, поившая его водой, оба с каким-то одинаковым напряженным выражением следили за нацистским военным чиновником. Может быть, они уже предчувствовали, что вещал этот одинокий вестник зла среди широкой пыльной улицы пограничного советского города.

За три дня до начала войны Новиков обедал с начальником одной погранзаставы. Было необычайно жарко, и марлевые занавески на открытых окнах не шевелились. И вдруг в тишине из-за реки раздался утробный низкий оружейный выстрел, и начальник погранзаставы сердито сказал:

— Соседушка заклятый голос пробует!

Потом, уже в Воронеже, весной 1942 года, Новиков случайно узнал, что спустя пять дней после их совместного обеда этот начальник заставы задержал немцев на шестнадцать часов силой одного лишь пулеметного огня и погиб вместе с женой и двенадцатилетним сыном.

Немцы после вторжения в Грецию проводили воздушно-десантные операции на Крите. Вспоминался ему доклад об этом, слышанный им в штабе. Во многих вопросах после доклада чувствовалась тревога: «Расскажите подробнее о потерях германской армии», «Скажите, заметно ли ослабление германской армии?» Одна записка спрашивала прямо: «Товарищ докладчик, успеем ли мы получить от немцев оборудование, если в ближайшее время нарушится торговый договор?»

Он помнил, как ночью после этого доклада сердце его на миг сжалось и ему подумалось: если Россия избегнет военной грозы — это будет чудо, да ведь чудес не бывает! {...} {35}

Последняя ночь мира, первая ночь войны!

В эту ночь Новикову нужно было встретиться с командиром бригады тяжелых танков. Новиков находился в танковом полку, дежурный никак не мог соединить его со штабом бригады: связи не было.

Они вдвоем ругали бестолковость телефонистов, недоумевали — обычно телефоны работали отлично.

Новиков поехал на полевой аэродром: у летчиков имелась связь с высшим штабом, и он решил воспользоваться их проводом. Но и у летчиков ни прямой, ни окольной связи не было — произошел множественный порыв на линии. Эти непонятные порывы проводов в тихий летний вечер стали понятны лишь через несколько часов: немцы уже вели войну...

Командир истребительного полка пригласил Новикова в городской театр смотреть постановку «Платон Кречет» {36}. Ехали летчики с женами, некоторые с гостившими отцами и матерями, в автобусе имелись свободные места. Но Новиков отказался, он решил поехать в бригаду.

Ночь была лунная, теплая, пустынное шоссе казалось белым среди темных приземистых лип. Когда Новиков сел в машину, из ярко освещенного, широко открытого окна раздался голос дежурного:

— Товарищ подполковник, связь есть!

Слышно было плохо, но Новикову удалось поговорить — командир бригады уехал на техническую базу, куда ушли танки для осмотра и смены моторов, и вернется лишь на следующий день вечером. Новиков решил ночевать у летчиков. Он попросил устроить ему ночлег, и дежурный улыбнулся: «Места хватит!» — штаб стоял в большом помещицьем доме.

Дежурный провел его в огромную комнату, освещенную яркой трехсотсвечевой лампочкой. У отделанной резной панелью стены стояли железная кровать, табурет и тумбочка.

Не вязались с роскошью отделанных дубом стен и лепного потолка эта узенькая солдатская кровать и фанерная казарменная тумбочка. Он обратил внимание, что в хрустальной люстре не было ламп и рядом с люстрой спускался шнур с патроном.

Новиков пошел поужинать в столовую — просторный, высокий зал. В столовой было пусто, и лишь за крайним столиком два политработника ели сметану. Ужин оказался очень обильным, но Новиков, который не был равнодушен к соблазнам кухни, едва съел половину того, что принесла ему официантка, девушка с окающей нижегородской речью. Котлеты с жареной картошкой она принесла в эмалированной миске, а налистник со сметаной — в фарфоровой тарелке с золоченым ободком, с изображением пастушки в розовом платье, окруженной белыми овечками. Квас ему подали в голубом бокале, а чай в новенькой алюминиевой кружке, обжигавшей губы.

— Что это у вас пусто в столовой? — спросил он у официантки.

— А у нас тут многие семейные; у всех жены и ребята,— сказала девушка.— Одни сами готовят, другие домой берут.

Она подняла палец и с милой улыбкой чистого и наивного существа вдруг сказала:

— Некоторые девушки-официантки говорят: «Нам это не нравится — молодые семью и детей имеют», а я считаю: хорошо! И нам тут прямо как дома, у отца с мамой.

Она произнесла эту фразу запальчиво, горячо, видимо желая сочувствия своим мыслям,

может быть, она вела об этом спор с подругой на кухне. Потом она снова подошла к Новикову и испуганно сказала:

— Что ж вы ничего не кушали, невкусно у нас? — И, наклонясь, доверительно прибавила: — Вы к нам, товарищ подполковник, надолго? Завтра, смотрите, не уезжайте, у нас в воскресенье обед будет ой! Мороженое, и на первое щи кислые, из Слуцка сегодня бочку кислой капусты привезли. А то летчики обижались, что щей давно нет.

Она дышала ему в щеку, и глаза ее блестели. Не будь в них доверчивого, ребячьего выражения, Новикова бы не растрогал доверительный шепот волжской девушки — он бы его принял за заигрывание.

Спать не хотелось, и он пошел в сад.

Широкие каменные ступени казались ему при лунном свете мраморно-белыми. Тишина стояла совершенная, необычайная какая-то. Деревья словно погрузились в прозрачный пруд — таким неподвижным был светлый воздух.

Станный, смешанный свет луны и зари самого долгого дня года стоял в небе. На востоке угадывалось мутное светлое пятно, а запад едва розовел. Небо было беловатое, мутное, с синевой.

Каждый лист на ветвях был резко очерчен, казался вырубленным из черного камня, а вся громада кленов и лип представлялась плоским черным узором на светлом небе. Красота мира переступила в эту ночь свой высший предел, и люди уже не могли не замечать ее и не думать о ней. Это торжество красоты наступает, когда не только праздный человек останавливается, пораженный открывшейся ему картиной, но и отработавший смену рабочий, путник со сбитыми ногами вдруг, забывая усталость, медленным взором охватывают небо и землю.

В такие минуты человек не ощущает по отдельности света, простора, шороха, тишины, тепла, сладких запахов, касания травы и листьев — всех сотен, а может быть, тысяч и миллионов частей, слагающих красоту мира.

Такая красота — истинная красота и лишь об одном говорит человеку: жизнь — благо.

И Новиков все ходил по саду, останавливался, оглядывался, присаживался, вновь ходил, ни о чем не думая, ничего не вспоминая, охваченный бессознательной печалью о том, что красота этого мира живет, не делясь своей долговечностью с людьми.

Придя в комнату, он разделся и в носках подошел к лампочке, стал вывинчивать ее из патрона — лампочка нагрелась, жгла пальцы, — и он взял со стола газету, чтобы обернуть ею лампу.

К нему вернулись обычные мысли о завтрашнем дне, об отчете, который он почти закончил и вскоре повезет в штаб округа, о том, что следует сменить перед отъездом аккумулятор у машины и что удобнее всего сделать это на рембазе танкового корпуса.

Уже в темноте он снова подошел к окну и мельком, рассеянно поглядел на сад, на небо — им уже владели обычные житейские мысли. Он не раз вспоминал потом именно об этом уже безразличном, сонном и рассеянном настроении, с которым оглядел тихий, ночной сад, — последний взгляд на мирное время.

Он проснулся с точным сознанием происшедшего несчастья, но совершенно не представляя себе, в чем оно.

Он увидел паркет в алебастровой крошке и сверкавшие оранжевыми отблесками

хрустальные подвески люстры.

Он увидел грязно-красное небо в черных клочьях дыма.

Он услышал женский плач, вопль ворон и галок, грохот, колебавший стены, и одновременно услышал слабый, ноющий звук в небе, и хотя этот ноющий звук был самым мелодичным и тихим из всех звуков, наполняющих воздух, именно он заставил Новикова инстинктивно содрогнуться, вскочить с кровати.

И все это он увидел и услышал в течение одной лишь доли секунды. Он кинулся, как был, в нижнем белье, к двери и вдруг сам себе сказал: «Спокойствие!» — вернулся и стал одеваться.

Он заставил себя застегнуть все пуговицы на гимнастерке, поправил ремень, одернул кобуру и размеренным шагом пошел вниз.

Впоследствии ему приходилось часто встречать в газетах выражение «внезапное нападение», но представляли ли себе люди, не видевшие первых минут войны, всю силу этих слов?

По коридору бежали одетые и полуодетые люди.

Все спрашивали, но никто не отвечал на вопросы.

— Загорелись бензобаки?

— Авиабомба?

— Маневры?

— Диверсанты?

На ступенях стояли летчики.

Один из них, в гимнастерке без пояса, сказал, указывая в сторону города:

— Товарищи, смотрите!

Над вокзалами и железнодорожной насыпью вздувались, пузырились, рвались к небу кровяно-черные пожары, плоско над землей вспыхивали взрывы, и в светлом, смертном воздухе мелькали, кружились черные комарики-самолеты.

— Это провокация! — крикнул кто-то.

И чей-то негромкий, но всеми услышанный голос, уже не спрашивающий, а уверенно вещая суровую правду, внятно произнес:

— Товарищи, Германия напала на Советский Союз, все на аэродром!

С какой-то особой остротой и точностью запомнил Новиков ту минуту, когда, кинувшись следом за всеми к аэродрому, он остановился среди сада, по которому гулял несколько часов назад. Был миг тишины, и могло показаться, что ничего не произошло. Земля, трава, скамейки, плетеный столик под деревьями, на котором лежала картонная шахматная доска и рассыпанное, не собранное после игры домино...

Именно в этот миг тишины, когда стена листвы закрыла от него пламя и дым, он ощутил режущее, почти невыносимое для души человека чувство исторической перемены.

[Это было чувство стремительного движения, подобное тому, которое испытывал бы человек, внезапно ощутивший кожей, зрением, протоплазмой каждой клетки ужасное стремление земли среди мировой бесконечности.]

И это пришедшее изменение было неотвратимым, и хотя лишь один крошечный миллиметр отделял еще жизнь Новикова от привычного берега, не было уже силы, способной уничтожить этот зазор, он рос, ширился, превращался в метры, километры... Жизнь и время, которые Новиков еще физически ощущал как свое настоящее время и свою настоящую жизнь, в нем, внутри его сознания, превращались в прошлое, в историю, в то, о чем станут говорить: «О, так жили и думали люди до войны». А новое внезапно, из смутно угадываемого будущего, превратилось в настоящее, в его новую жизнь и в его новое время. В этот миг он подумал о Евгении Николаевне, и ему показалось — мысли о ней будут сопутствовать ему в том новом, что пришло...

Желая сократить путь к аэродрому, он перелез через забор и бежал меж ровного строя молодых елок. Возле маленького домика — вероятно, там жил бывший садовник помещика — стояли поляки, мужчины и женщины, и когда он пробежал мимо них, женский голос жадно, с придыханием спросил:

— Кто то, Стасю?

И звонкий детский голос ответил:

— То москаль, русский, мамо,— и прибавил объясняюще: — Жовнеж [8].

Он бежал и, задыхаясь от бега, повторял застрявшее в его потрясенном сознании слово:

— Русский солдат, русский, русский солдат...

И в этом слове было для него какое-то горькое и гордое, радостное и новое звучание.

[На второй день войны поляки только и говорили:

— Русские убитые... русские ехали... русские ночевали...

В первые месяцы войны произносилось с горечью: эх, только мы, русские... русские порядочки... наше русское везение... русское авось... русские дороги... Но это горькое определение, которое с болью большого отступления вращало в душу Новикова, с горечью, с тоской становилось частью его судьбы, жизни, наполнялось соками, связывалось множеством связей с душой и сознанием его, ждало дня военного праздника для перехода в свою положительную противоположность.]

Едва Новиков подбежал к аэродрому, как от вершины ближайшего леса оторвались самолеты — один, два, тройка и еще тройка... Что-то хлестнуло, екнуло, и земля задымилась, вскипела, как вскипает вода, он невольно зажмурился — пулеметная очередь пронеслась в нескольких шагах от него, и тотчас его оглушило ревом мотора, и он успел увидеть кресты на крыльях, свастику на хвосте самолета и голову пилота в летном шлеме, мельком оглядывающего содеянное. И тотчас вновь стал нарастать гул, рев идущего на бреющем полете второго штурмовика... И за ним третьего...

На аэродроме пылали три самолета, и люди бежали, падали, вскакивали и вновь бежали...

Летчик, бледный юноша, с выражением решительной и мстительной злобы, влезал в кабину истребителя, махнув мотористу рукой: «от винта», повел подрагивающий самолет на взлетную дорожку; и едва самолет, приглаживая струей воздуха седую от росы траву, разбежался, подпрыгнул, стал взбираться по небу, завертелся винт еще одного истребителя, и он, ободряя себя ревом мотора, подпрыгнул, точно пробуя силу мускулистых ног, побежал,

оторвался от земли и потянул вверх. То были первые воздушные солдаты, пытавшиеся заслонить своим телом тело народа...

...На первый советский самолет навалились четыре «мессершмитта». Присвистывая и подвывая, они шли за ним, выпуская короткие пулеметные очереди. «МиГ» с простреленными плоскостями, задымившись, кашляя, выжимал скорость, стремясь оторваться от противника. Он взмыл над лесом, потом внезапно исчез и так же внезапно появился вновь, потянул обратно к аэродрому, а за ним полз черный траурный дым.

В это мгновение гибнущий человек и гибнущий самолет слились, стали едины, и все, что чувствовал там, в высоте, юноша пилот, передавали крылья его самолета. Самолет метался, дрожал, охваченный судорогой, той, что передавали ему охваченные судорогой пальцы летчика, терял надежду и вновь боролся, уже не имея надежды. Солнце летнего рассвета освещало его, и все, что испытывало сознание юноши: ненависть, страдание, жажду победить смерть, и все, что испытывали его сердце, его глаза,— все передал стоявшим внизу гибнущий самолет. И то, чего страстно хотели люди на земле, вдруг свершилось. Вторая машина, о которой все забыли, стремительно зашла в хвост «мессершмитту», добивавшему советский истребитель. Удар был внезапен — желтый огонь смешался с желтизной окраски, и немецкая машина, секунду назад казавшаяся неотвратимо мощным, стремительным демоном, расщепилась, рассыпалась и грудой повалилась на вершины деревьев. Одновременно, развернув в утреннем небе черный гофрированный дым, рухнул растерзанный советский истребитель. Три «мессершмитта» ушли на запад, а оставшийся в воздухе советский самолет сделал круг и, карабкаясь по невидимым воздушным ступеням, ушел в сторону города.

Голубое небо стало пусто, и только два черных столба дыма, наливаясь, густея, подрагивая, поднимались над лесом.

А через несколько минут на аэродроме тяжело, устало опустился самолет, из него вылез человек и хрипло крикнул:

— Товарищ командир полка, во славу Советской Родины — двоих сбил!

И в глазах его Новиков увидел все счастье, всю ярость, все безумие и весь разум того, что происходило в небе, того, что летчики никогда не могут рассказать словами, но что вдруг, не успев еще погаснуть, мелькнет в их расширенных ярких глазах в миг приземления.

В полдень Новиков в штабе полка слышал по радио речь Молотова. Он подошел к командиру полка, вдруг обнял его, и они поцеловались.

«Наше дело правое, победа будет за нами!»

Днем Новиков был в штабе стрелковой дивизии...

В Брест уже нельзя было проехать, говорили, что в город ворвались немецкие танки и что форты, стоявшие западнее города, обойдены ими.

Беспрерывный тяжелый грохот крепостной артиллерии потрясал маленький домик, в котором размещался штаб дивизии.

Как по-разному вели себя люди! Одни становились каменно-спокойными, у других голоса срывались, дрожали руки.

Начальник штаба, пожилой, сухощавый полковник с пятнами седины — казалось, она внезапно выступила в его волосах — знал Новикова по разбору прошлогодних маневров. Когда Новиков вошел, он, видимо вспомнив прошлогоднюю встречу, швырнул глухонемую

телефонную трубку и сказал:

— А-а, похоже, «красные» и «синие»! В полчаса батальон списан! Нету! Весь! — И, ударив кулаком по столу, крикнул: — Бандиты!

Новиков сказал ему, указывая на окно:

— В ста метрах от вас какая-то диверсанта сволочь вон из этих кустов пустила две пули по моей машине, надо бы послать красноармейцев.

Начальник штаба пренебрежительно отмахнулся рукой:

— Всех не переловишь!

Подмаргивая глазом, точно выгоняя из него соринку, мешавшую правильно и спокойно смотреть, он заговорил:

— Только началось, комдив кинулся в полки... А я здесь. Мне звонит командир полка, голос спокойный: «Веду бой с пехотой и танками, отразил артогнем две атаки». Второй докладывает: «Немецкая танковая колонна раздавила пограничную заставу, поток танков движется по шоссе. Веду огонь!»

Начальник штаба ткнул пальцем в карту:

— Вдоль нашего крайне левого прошли танки... А пограничники не оглядываются, дерутся до последнего. А тут жены, дети, ясли, каким маршрутом их эвакуировать? Так их посадили в грузовики и увезли, а куда — может быть, под эти самые танки, что мимо нас прошли. А боеприпасы? Оттягивать, подвозить? Задача! — Он выругался и, понизив голос, сказал: — На рассвете позвонил в штаб корпуса, и умник один дал указание: «Не поддавайтесь на провокацию!» А? Дурак!

— А здесь что? — спросил Новиков, указывая на карте участок, прилегающий к шоссе.

— Тут-то батальон и погиб, и комдив здесь погиб!.. Золотой мужик! — крикнул начальник штаба. Он потер ладонями лицо, точно умывался, и указал на стоящие в углу бамбуковые удилища, бредень, подсак: — Сегодня в шесть часов утра с ним собирались... Линь, говорит, здесь в прошлое воскресенье хорошо клевал. А? Золотой мужик, нету, как не жил на свете! А зам по строевой из Кисловодска едет, с первого я должен был ехать. Уже литер выписал. А?

— Какие вы даете приказания полкам? — спросил Новиков.

— Единственно возможные. Помогаю выполнять долг: командир полка говорит: «Веду огонь». Веди! «Люди окапываются». Окапывайся... Все хотят одного: отбить! остановить! — И его внимательные, умные глаза спокойно и прямо поглядели на Новикова.

Небо, казалось, уже далеко на восток было захвачено немцами. Все вокруг содрогалось от дальних и ближних взрывов. Земля вдруг начинала дрожать, словно в смертной икоте, солнце тонуло в дымной пелене. Со всех сторон доносилось хлопанье скорострельных пушек и уже ставший знакомым хрип крупнокалиберных пулеметов. В этом хаосе движения и звуков как-то особенно болезненно и щемяще угадывался общий смысл смертоносной работы немецких летчиков. Одни спешили, не обращая внимания на происходящее под ними, на восток, видимо заранее и точно зная свою злодейскую задачу, другие по-разбойничьи рыскали над пограничными участками, третьи деловито уходили за Буг на свои аэродромы.

Лица командиров выглядели в этот день по-новому — побледневшие, осунувшиеся, с большими серьезными глазами, то уже были лица не просто сослуживцев, а братьев. В этот день Новиков не видел ни одной улыбки, не слышал ни одного веселого, легкого слова.

Никогда, пожалуй, как в этот день, не заглядывал он так глубоко в истинные и скрытые глубины человеческих характеров, открытые лишь в самые грозные и тяжелые минуты жизни. Сколько увидел он в эти часы людей неколебимой воли, суровой сосредоточенности. Вдруг открылась чудная сила души у молчаливых, тихих, незаметных, у тех, что считались иногда второстепенными работниками, малоспособными. Вдруг пустота открылась в глазах некоторых из тех, кто так шумно, энергично и самоуверенно вел себя вчера: они оказались подавленными, жалкими, растерянными.

Минутами представлялось, что все происходящее — мираж, вот дунет ветер, вернется тихая вчерашняя ночь, вечер, вернутся мирные дни, недели, месяцы. То, наоборот, казалось, что сад, залитый луной, ужин в полупустой столовой, милая девушка-подавальщица и все бывшее неделю, месяц назад — все это снилось, а истинная, подлинная действительность — вот этот грохот, дым, огонь.

Под вечер он был в стрелковом батальоне, а затем в расположенном рядом артиллерийском полку. К этому времени он сделал выводы из того, что видел. Ему казалось, что главной бедой первых часов войны было отсутствие связи. Если бы связь была безукоризненна, считал он, все бы пошло иначе. Он решил при докладе привести в пример стрелковую дивизию, которую посетил днем: начальник штаба поддерживал связь с полками, и полки дрались хорошо, дивизия сохранила боеспособность, а полк, потерявший в самом начале связь со штабом, был смят и уничтожен. И он действительно потом привел этот пример, но, конечно, полк не имел связи с дивизией оттого, что был смят, а вовсе не потому был смят, что не имел связи. Обобщения, возникшие из немногих отрывочных наблюдений, мало помогают пониманию сути огромных и сложных явлений.

Простая истина первых часов войны была в том, что с пользой для Советской России и с ущербом для врага выполняли свой долг те, кто имел силу, мужество, веру и спокойствие драться с сильнейшим врагом, нашел эту силу в своей собственной душе, в своем чувстве долга, в опыте, знаниях, воле и разуме, в своей верности и любви к родине, народу, свободе.

Через час Новиков побывал в тяжелом гаубичном полку. Командир полка был в отпуске, командовал полком заместитель по строевой части молодой майор Самсонов. Длинное, худое лицо его было бледно.

— Какова обстановка? — спросил Новиков.

Майор только махнул рукой:

— Сами видите.

— Какое вы приняли решение?

— Да, собственно, что ж, — сказал майор, — они стали наводить переправу, у реки скопилось много войск, я открыл огонь, веду огонь орудиями всего полка, — и, словно оправдываясь в неразумном поступке, добавил: — Хорошо получается, я смотрел в стереотрубу: такие фонтаны, столько их наворотили — мы ведь вышли на первое место в округе по стрельбе.

— А дальнейшее, — строго спросил Новиков, — вам поручены техника, люди?

— Что ж, буду стрелять, пока могу, — сказал майор.

— Снарядов много?

— Хватит, — сказал Самсонов и добавил: — Радист мой поймал: Финляндия, Румыния, Италия — все на нас, а я вот стреляю, не хочу отступить!

Новиков прошел на огневые позиции ближней батареи. Орудия ревели, лица людей были

суровы и напряженны, но возле орудий не было суеты. Полк всей страшной и стройной мощью своей обрушился на наведенную немцами переправу, крушил танки и мотопехоту, скопившиеся на подходе к реке.

Те же слова, что произнес бледный длиннолицый майор, Новиков услышал и от красноармейца-заряжающего; повернув к нему потное загорелое лицо, красноармеец сказал с угрюмым спокойствием:

— Вот расстреляем все снаряды, а там видно будет,— словно это именно он, обдумав положение, решил не оттягиваться в тыл, выдвинуться вперед и вести огонь по немцам до последнего снаряда.

Странно, но именно тут, в этом обреченном полку, Новиков единственный раз за весь день почувствовал себя спокойно. Началась битва: русский огонь встретил немцев.

Артиллеристы работали с молчаливым спокойствием.

— Вот и началось, товарищ подполковник,— сказал Новикову светлоглазый наводчик орудия, словно он и вчера ожидал того, что началось сегодня.

— Ну как с непривычки? — спросил Новиков.

Наводчик усмехнулся:

— Разве к ней привыкнешь? Что в первый день, что через год. Самолет у н е г о отвратительный.

Новиков, покидая артиллеристов, невольно подумал, что никогда уже не увидит никого из них <...> {37}.

А зимой на Северном Донце [9], под Протопоповкой, он встретил своего знакомого начальника армейского штаба артиллерии, и тот рассказал ему, что полк Самсонова с боями шел до Березины и почти не понес потерь. 22 июня на Буге Самсонов так и не дал немцам переправиться, уничтожил массу немецкой техники и живой силы. Самсонов погиб лишь на Днепре осенью.

Да, у войны была своя логика.

Многое пришлось ему видеть в этот день. И хоть немало горького и печального пережил он, этот самый тяжелый день в истории народа наполнил сердце его гордостью и верой. И над всеми впечатлениями дня воцарилось одно — спокойные и суровые глаза красноармейцев-артиллеристов, в них жил титанический дух народной силы и терпения. В ушах его остался рев советской артиллерии, далекий тяжелый гул крепостных орудий брестских фортов — там, в огромных бетонных дотах, люди вели свой рыцарский бой и тогда, когда лавина немецкого нашествия уже подкатывала к Днепру.

К вечеру, после долгого петляния по проселочным дорогам, Новиков выехал на шоссе. И только тут он понял по-настоящему огромность происшедшего народного бедствия.

Он видел тысячи людей, идущих на восток. По дорогам шли грузовики, полные женщин, мужчин, детей, часто полуодетых, все они одинаково оглядывались и смотрели на небо. Мчались цистерны, крытые грузовики и легковые машины. А по полю, вдоль обочин, шли сотни людей, некоторые, обессилев, садились на землю, вновь вставали и шли дальше. Вскоре глаза Новикова перестали различать выражение молодых и старых лиц женщин и мужчин, толкавших колясочки и тележки, несущих узлы и чемоданы... В памяти оставались лишь отдельные необычайные картины. Седобородый старик, державший на руках ребенка, сидел опустив ноги в кювет, с кротким бессилием следил за движением машин. Длинной

цепочкой вдоль обочины шли слепые, связанные друг с другом полотенцами, за своим поводырем, пожилой женщиной в круглых очках с растрепавшимися седыми волосами. Идущие парами мальчики и девочки в матросках, с красными галстуками,— видимо, летний пионерский лагерь.

Когда водитель остановил машину, чтобы залить бензин в бак, Новиков за несколько минут остановки услышал много рассказов: и о том, что Слуцк занят воздушным десантом, и о том, какую исступленную и лживую речь произнес на рассвете Гитлер, и нелепые слухи о том, что Москва разрушена воздушной бомбардировкой на рассвете 22 июня. <...> {38}

Новиков заехал в штаб танковой части, в которой служил до осени 1940 года,— штаб стоял неподалеку от Кобрина.

— Неужели вы только что оттуда? — спрашивали его знакомые.— Могут ли вырваться на шоссе немцы?

В Кобрине его уже не поражали толпы людей с узлами, плачущие женщины, потерявшие в суматохе детей, измученные глаза старух. В Кобрине его поражали чистенькие домики под красной черепицей, гардины на окнах, газоны, цветники, и он понял, что начал смотреть на мир глазами войны...

Чем дальше уходила в тыл машина, тем туманней становились его воспоминания о новых впечатлениях, событиях и лица сливались, и он не помнил, где ночевал и где едва не сгорел во время ночной бомбежки, где он видел в часовне зарезанных диверсантами во время сна двух красноармейцев — в Кобрине или в Берёзе-Картузской {39}.

Но вот отчетливо запомнилась ему ночевка в маленьком городишке, недалеко от Минска. Он приехал туда ночью. Городок был забит машинами. Новиков устал и, отпустив водителя, заснул в машине посреди шумной, гудящей площади. Он проснулся ночью и увидел, что машина его стоит одна среди широкой и совершенно пустынной площади, а вокруг бесшумно пылают дома, пылает весь онемевший, охваченный огнем городок. За эти дни он так устал и так привык к оглушающему грохоту войны, что его не разбудила ночная бомбежка. Он проснулся от тишины.

В те дни в мозгу его просто и прочно сложился один образ. Он видел сотни пожаров: в красном, дымном огне горели многоэтажные здания белорусской столицы, горели школы и заводы, белым, легким огнем пылали деревенские избы под соломенной крышей, сараи и овины, в голубом и синем тумане горели сосновые леса, горела земля, покрытая сухой еловой иглой.

И все эти пожары слились в его мозгу в один пожар.

Родная страна представлялась ему огромным домом, и все было безмерно близко и дорого в этом доме: и деревенские комнатки, мазанные крейдой [10], и городские, с цветными абажурами, и тихие читальни, и светлые залы, и красные уголки в военных казармах...

Все дорогое и близкое ему пылало. Русская земля была в огне. Русское небо заволкло дымом. И казалось, никогда он не любил так нежно, так страстно, всей кровью своей, всеми силами души и сердца эту землю и леса, это небо, эти тысячи тысяч милых и родных ему человеческих лиц.

Утром Евгения Николаевна познакомила Новикова со своей матерью, сестрой и племянницей.

Степан Фёдорович уехал в шесть часов утра, а Софья Осиповна еще до света ушла в госпиталь.

Знакомство состоялось просто, и Новикову очень понравились женщины, сидевшие за столом: и смуглая, седеющая Маруся, и ее румяная дочь, сердито и весело смотревшая на него круглыми ясными глазами, и особенно Александра Владимировна — Женя была похожа на нее. Он глядел на белый широкий лоб Жени, на ее серьезные, внимательные глаза, на розовые губы, на небрежно, по-утреннему, уложенные косы и вдруг впервые в жизни понял по-особенному, по-новому, обычное, сотни раз произносимое слово «жена». И, как никогда, он почувствовал свое одиночество, понял, что ей одной он должен рассказать то, что пережил, о чем думал в этот тяжелый год, и что искал он ее, и думал о ней, и вспоминал ее в трудные минуты потому, что хотел этой, разбивающей одиночество, близости. У него все время было одновременно приятное и неловкое чувство, словно он посватался и ему устроили смотрины, пристально приглядываются к человеку, собиравшемуся войти в семью.

— Семейю война не могла разрушить и расшатать,— сказал он Александре Владимировне.

Та вздохнула:

— Расшатать, может быть, и не смогла, а убить семейю, и не одну, война может.

На стене комнаты висели картины, и Мария Николаевна, заметив, что Новиков поглядывает на них, сказала:

— Вон эта, возле зеркала, с розовой землей, рассвет в сгоревшей деревне — творчество Евгении Николаевны. Вам нравится?

Он смутился:

— Тут трудно разобраться неспециалисту.

— Ночью, говорят, вы судили смелей,— сказала Евгения Николаевна.

Новиков понял, что Серёжа уже доложил кому надо о зеленом старике.

А Маруся сказала:

— Чтобы любоваться Репиным и Суриковым, не надо быть специалистом. Лучше бы рисовала плакаты для цехов, красных уголков, госпиталей; я ей все время твержу об этом.

— А мне нравятся Женины картины,— сказала Александра Владимировна,— хотя я, старуха, вероятно, меньше вашего во всем этом понимаю.

Новиков попросил разрешения вернуться вечером, но не приехал ни вечером, ни на следующий день.

23

Штаб Юго-Западного фронта в летние месяцы 1942 года находился в непрерывном бессонном возбуждении, пришедшем на смену относительно спокойной воронежской зиме 1941 года. Войска фронта в боях, нанося потери противнику и неся потери, отходили на восток.

Штаб Юго-Западного фронта начал войну в Тарнополе {40}. Бои за Львов, Ровно, Новоград-Волынская танковая битва, Житомир, Коростень, бои в окрестностях Киева, в Святошине, в Голосеевском лесу, на Ирпене {41}, в Броварах, Пирятине, Борисове, Прилуках, Полтаве и жестокие октябрьские бои под Штеповкой, сдача Харькова — все эти города,

местности, события {42} стали навсегда памятны сотням тысяч людей, прошедших от Тарнополя до Волги.

С ноября 1941 года штаб фронта стоял в Воронеже. Среди командиров и сотрудников штаба немало было киевлян, харьковчан, днепропетровцев. И войска, стоя в курских и воронежских снегах, в Ельце и в Ливнах, под Щиграми, хранили в душе своей память об оставленных ими украинских селах, реках, городах, тоску по покинутым близким, женам, ребятам, матерям, память о родных домах, полях и садах...

Зимой наступление немецких армий было приостановлено на всех фронтах. Первым из зимних успехов Красной Армии было освобождение Ростова войсками Ремизова, Харитоновой и Лопатина. Вскоре после этого войсками Мерецкова был освобожден Тихвин. В середине декабря мир узнал о грандиозном разгроме немцев на Западном фронте и провале немецкого наступления на Москву. Сотни населенных пунктов и десятки городов были отбиты у немцев войсками Жукова, Лелюшенко, Говорова, Болдина, Рокоссовского, Голикова. Войсками Масленникова и Юшкевича были освобождены Клин и Калинин. В Крыму немцы были выбиты из Керчи и Феодосии. Совинформбюро сообщало о разгроме танковой армии Гудериана северо-восточнее Тулы и об освобождении Калуги. В конце января войска Северо-Западного и Калининского фронтов под командованием Ерёменко и Пуркаева прорвали немецкую оборону и заняли Холм, Торопец, Селижарово, Оленино, Старую Торопу. Да и у Юго-Западного фронта были немалые успехи. Дивизии Костенко осуществили удачный прорыв на Северном Донце и заняли важный узел железных дорог — Лозовую. Всю зиму шли тяжелые бои за опорные пункты — на северном крыле фронта в районе Ельца, в центре у Щигров, на юге под Чугуевом и Балаклеей. <...> {43}

В конце зимы на фронт начали прибывать резервы <...> {44}.

Началось харьковское наступление. Войска армии Городнянского форсировали Северный Донец, устремились на Протопоповку, Чепель, Лозовую, в узкие ворота между Изюмом, Барвенковым, Балаклеей.

[Но немцы, сконцентрировав большие силы, ударили по флангам без оглядки вошедших в прорыв войск, сомкнули кольцо окружения. Захлопнулись ворота, распахнутые наступавшими на Харьков войсками маршала Тимошенко. Армия Городнянского погибла в окружении.] {45} И вновь в пыли, в дыму, в пламени отступали войска и штабы. И новые названия местностей, городов вошли в память людей, присоединились к прошлогодним: Валуйки, Купянск, Россошь, Миллерово. И к той, прошлогодней, боли о потерянной Украине добавилась новая, режущая — штаб Юго-Западного фронта пришел на Волгу, за спиной его были степи Казахстана.

Еще квартирьеры размещали сотрудников отделов {46} штаба, а в оперативном отделе уже звонили телефоны, карты лежали на столах, стучали пишущие машинки.

В оперативном отделе работа шла так, словно штаб стоял уже месяцы в Сталинграде. Люди, бледные от бессонницы, равнодушно и поспешно проходили по улицам, зная лишь то, что было неизменной реальностью их жизни, как бы и где бы ни располагался штаб: в лесу, где с сосновых бревен блиндажного наката капала на стол янтарная смола; в деревенской ли избе, где гуси робко, ища хозяйку, входили вслед за делегатами связи из сеней; в домике районного городка, где на окнах стоят фикусы и воздух пахнет нафталином и пшеничной сдобой. Всюду и везде реальность жизни штабных тружеников была одна: десяток телефонных номеров, связные летчики и мотоциклисты, узел связи, аппарат Бодо, пункт сбора донесений, радиопередатчик, а на столе — исчерченная красным и синим карандашами карта войны.

Работа «операторов» в эти летние месяцы 1942 года была напряженней, чем когда бы то ни

было. Обстановка менялась с часу на час. В избе, где два дня назад заседал Военный совет армии, где степенный розоволицый секретарь Военного совета, сидя за крытым красным сукном столом, записывал по пунктам в протокол решения командования,— в этой самой избе спустя сорок часов командир батальона кричал в телефонную трубку: «Товарищ первый, противник просачивается через меня», и разведчики в полосатых маскировочных комбинезонах, прислушиваясь к пулеметным очередям, медлительно доедали консервы и торопливо перезаряжали диски автоматов.

Новикову часто приходилось докладывать начальнику штаба. Иногда его вызывали на заседания Военного совета, и картина отступления, известная большинству частично и по догадкам, была ясна ему во всей полноте. Он хорошо знал разведывательную карту советско-германского фронта, перед глазами его стояли тяжелые утюги немецких армейских группировок. Зловеще звучали фамилии гитлеровских генералов и фельдмаршалов, возглавлявших армейские группы: Буш, Лееб, Рундштедт, Клюге, Бок, Лист. Эти чуждые слуху немецкие имена связывались с близкими, дорогими ему названиями городов: Ленинград, Москва, Ростов...

Дивизии «литерных», ударных фронтов Бока и Листа перешли в наступление.

Фронт армии Юго-Западного направления был расколот, и к Дону устремились две германские подвижные армии — 4-я танковая и 6-я пехотная, все расширяя прорыв. В пыли, в дыму и в огне степного сражения возникла фамилия командующего 6-й германской пехотной армией генерал-полковника Паулюса.

На карте мелькали черные номера германских танковых дивизий: девятой, одиннадцатой, третьей, двадцать третьей, двадцать второй, двадцать четвертой. Девятая и одиннадцатая дивизии оперировали на минском и смоленском направлениях летом прошлого года и, видимо, перед сталинградским наступлением были переброшены на юг из-под Вязьмы.

Иногда казалось, что продолжается летнее наступление начала войны: те же номера немецких дивизий, что возникали на картах в прошлом году. Но эти немецкие дивизии после прошлогодних боев сохранили лишь номера и названия, состав их был полностью новый, пришедший из резерва, взамен выбывших, убитых.

А в воздухе действовал четвертый флот «африканца» Рихтгоффена {47}: массированные налеты и разбойничий террор «мессершмиттов» на дорогах, преследование колонн, легковых машин, отдельных пешеходов и всадников.

И все движение огромных масс войск, кровавые бои, перемещение штабов, аэродромов, технических и материальных баз, прорывы немецких подвижных соединений, пожар, пылающий от Белгорода и Оскола до подступов к Дону, весь путь Юго-Западного фронта через курские, воронежские, донские земли к сталинградским степям — вся эта грозная картина, во всех своих подробностях, по числам календаря, ложилась на карту, которую вел Новиков.

В его уме шло напряженное сравнение событий прошлого лета с событиями нынешнего. Тогда он смутно, больше чувством, чем умом, угадывал в грохоте первого дня войны, в движении немецких самолетов план немецкого штаба. Зимние размышления, казалось ему, помогли понять этот план. Разглядывая на картах путь прошлогоднего немецкого наступления, Новиков видел, что немцы летом 1941 года избегали операций с открытым флангом. Южную армейскую группу Рундштедта прикрывал слева Бок, шедший с главными силами к Москве; левое плечо Бока все время защищал шедший к северу на Ленинград Лееб, а левый фланг Лееба был прикрыт балтийской водой.

Нынешним летом немцы явно изменили характер своих действий, они рвались на юго-восток, хотя над их левым флангом нависла с севера вся громада Советской России. В чем была

разгадка этого?

Новиков не знал и не мог понять: почему наступали лишь южные фронты? Слабость? Сила? Авантюра?

Новиков не мог ответить на этот вопрос, тут нужно было знать то, чего не прочтешь на оперативной карте.

Он еще не осознал, что при вклинении на юго-востоке пассивность противника на московском направлении, в центре и на севере является вынужденной, что немцы уже не в силах одновременно наступать по всему фронту и что левый фланг их обнажен «не от хорошей жизни». Он еще не мог знать того, что и это единственно возможное теперь для немцев наступление не будет иметь нужных резервов — они будут скованы активностью советских армий в центре и на северо-западе — и что даже в самые напряженные дни Сталинградского сражения немецкое командование не решится перебрасывать на юг дивизии из-под Москвы и Ленинграда.

Новиков мечтал о том, чтобы уйти со штабной работы. Он считал, что сумел бы, командуя частью, с наибольшей пользой применить свой опыт, накопленный за год напряженных размышлений, тщательного разбора военных операций, в осуществлении которых он принимал участие.

Он подал начальнику штаба докладную записку и своему начальнику отдела рапорт с просьбой освободить его от работы в штабе. Рапорт был отклонен, а о судьбе докладной он не знал — его не вызывали.

Читал ли докладную Новикова командующий?

Это волновало Новикова — в докладную вложил он, казалось ему, столько силы души и ума! У него имелся свой план построения и эшелонирования обороны полка, дивизии, корпуса...

Степь открывала широту маневра для наступающих, она позволяла молниеносные концентрации ударных войск прорыва; пока шли перегруппировки, пока стягивались по рокадным дорогам резервы, противник прорывался, выходил на оперативный простор, захватывал важные узлы, перерезал коммуникации. Укрепрайоны, как бы сильны они ни были, при широком маневре превращались в острова среди широкого разлива. Противотанковые рвы не имели в степи значения. Подвижность обороны! Маневр!

Новиков разрабатывал в деталях примерные планы обороны степных районов. Он учитывал десятки особенностей, связанных с ведением войны в широкой степи, при разветвленных, хорошо проходимых в сухие летние месяцы проселочных дорогах. В его сложных планах учитывались скорости разных видов моторизованного оружия и наземного транспорта, скорости истребителей, штурмовиков, бомбардировщиков, коэффициенты, соотношения скоростей с соответствующими видами оружия противника. Он разрабатывал планы быстрейших перебросок войск, молниеносных концентраций, дающих возможность не только остановить прорвавшегося противника, но и организовывать фланговые контрудары, прорывы в тех местах, где меньше всего мог их ожидать противник. Возможности маневра и подвижность обороны даже в период отступления, думал он, не исчерпывались быстрыми концентрациями живой силы и оружия на направлениях немецких прорывов. Возможности маневра и подвижной степной обороны были шире. Маневр позволял не только создавать заслоны, мешающие противнику прорываться и осуществлять операции на окружение, захватывать советскую технику и живую силу. Маневр, подвижность обороны позволяли советским войскам и в период отступления прорываться в тылы наступающего противника — рвать его коммуникации, окружать его.

Вот о наиболее полном и широком использовании всех возможностей подвижной степной

обороны и думал Новиков.

Иногда, казалось ему, выводы его были особенно ясны, особенно важны, и сердце его вздрагивало от счастливого волнения.

В ту тяжелую пору десятки командиров, подобно Новикову, измышляли свои планы ведения боевых операций.

Новиков еще не знал о тех подвижных полках, которые были подготовлены в тылу. Истребительные противотанковые полки, обладавшие высшей подвижностью, сверхподвижностью, готовились вступить в сражение на дальних подступах к Сталинграду. Новейшие, модернизированные противотанковые пушки были сведены в дивизионы и полки «иптап». Грузовики, развивавшие большую скорость, способны были стремительно перебрасывать эти полки по широкому простору степной войны. Эти противотанковые полки могли наносить сокрушающие удары по разгаданным направлениям прорыва немецких танков. Эти летучие полки способны были на немецкий танковый маневр отвечать смелым и стремительным маневром.

Новиков не знал, да и не мог знать, что маневренная оборона, развития которой жаждал он, будет предшествовать невиданной жесткой обороне пехоты на ближних подступах к Сталинграду, на волжском обрыве, на сталинградских улицах и заводах. И уж конечно, не мог знать Новиков о том, что именно оборона Сталинграда в свою очередь будет лишь предшествовать наступательному удару подвижных войск.

Новиков составил себе ясные и прочные практические представления о многих вещах, которые до войны были знакомы ему лишь теоретически... Ночные действия пехоты и танков, взаимодействие пехоты, артиллерии, танков и авиации, кавалерийские рейды, планирование операций. Он знал сильные стороны и слабости тяжелых и легких пушек, тяжелых и легких минометов, оценивал разнообразные качества «ЯКов», «ЛАГов», «ИЛов», тяжелых, легких, пикирующих бомбардировщиков. Больше всего он интересовался танками; ему казалось, он знает все, что можно знать обо всех мыслимых вариантах их боевых действий — днем, ночью, в лесу, в степи, в населенных пунктах, при прорывах обороны, в засадах, при массированных атаках...

Главным увлечением его была сверхподвижная, активная танковая, артиллерийская и воздушная огневая оборона. Но Новиков знал и помнил замечательные примеры обороны Севастополя и Ленинграда, где не часами и не днями, а неделями и месяцами огромные немецкие силы уничтожались в борьбе за клочок земли, за отдельную высоту, за каждый дот, за каждый окоп.

В его сознании шла постоянная работа, он не связал еще, но испытывал потребность осмыслить, связать, свести к единству ту массу событий, которые происходили на огромном протяжении советско-германского фронта. Эти события совершались и на степных, и на лесисто-болотистых театрах, на малой земле Хакко и Ханко {48}, и на огромных просторах донских степей. Тут были и тысячекилометровые прорывы по равнинным и степным землям, и позиционная борьба на болотах, в лесах, в карельских скалах, где за год продвижение исчислялось сотнями, а иногда десятками метров.

В эти летние дни 1942 года Новиков сосредоточил силы своего ума на решении вопросов, связанных с активной подвижной обороной. Но война не могла в своей огромной многосложности переплетенных связей и зависимостей уложиться в решения, рожденные ценным, но все же ограниченным частным опытом.

И живой ум Новикова все напряженней и глубже обращался ко всей совокупности совершавшихся событий, к великому потоку действительности — источнику познания и мышления, главному контролеру формул и теорий.

Новиков торопливо шел по улице. Он, не спрашивая, видел, где расположены отделы штаба: в окнах он узнавал знакомые лица, у подъездов и парадных дверей знакомых часовых.

В коридоре ему встретился комендант штаба подполковник Усов. Краснолицый, с небольшими, узкими глазами и сиплым голосом, Усов не был тонкой натурой, да и должность коменданта штаба не располагала к чувствительности. Опечаленное, расстроенное выражение казалось необычным для его неизменно спокойного лица. Взволнованным голосом он стал рассказывать Новикову:

— Летал, товарищ полковник, на «У-2» за Волгу, на Эльтон {49}, там часть моего хозяйства стоит... солончак, степь, хлеб не растет, верблюды. Я уже подумал: если там стоять придется... куда размещать штаб артиллерии, инженерную часть, разведчиков, политуправление, второй эшелон — я даже не знаю.— Он сокрушенно вздохнул.— Вот только дынь там много, я их столько взял, что «кукурузник» еле поднялся, вечером пришлю вам парочку. Как сахарные...

В отделе Новикова встретили так, словно он год проблуждал в окружении. Оказалось, дважды в течение ночи его спрашивал заместитель начальника штаба, а под утро звонил секретарь Военного совета, батальонный комиссар Чепрак.

Он прошел через просторную комнату, где уже были расставлены знакомые ему столы, пишущие машинки, телефонные аппараты. Полногрудая, с крашеными волосами, Ангелина Тарасовна, считавшаяся лучшей машинисткой штаба фронта, отложив махорочную папиросу, спросила:

— Не правда ли, чудный город, товарищ полковник? Чем-то напоминает Новороссийск.

Желтолицый, страдавший нервной экземой майор-картограф, поздоровавшись, сказал:

— Спал сегодня по-тыловому, на пружинном матраце.

Младшие лейтенанты — чертежники и завитые девушки бодистики быстро поднялись и звонким хором сказали:

— Здравствуйте, товарищ полковник!

А любимец Новикова — кудрявый, всегда улыбающийся Гусаров, — зная расположение к себе начальника, спросил:

— Товарищ полковник, я ночь дежурил, вы не разрешите мне после обеда в баню сходить помыться?

Он попросился в баню, зная, что начальники отпускают в баню охотнее, чем повидаться с родными или в кино, либо выспаться после дежурства.

Новиков внимательно оглядел комнату, где стоял его стол, его телефон, запертый железный ящик с бумагами.

Лысый лейтенант, топограф Бобров, в мирное время учитель географии, принес новые листы карты и сказал:

— Вот бы, товарищ полковник, во время наступления так часто менять листы.

— Пошлите посыльного в разведотдел, а ко мне никого не пускайте, — сказал Новиков, разворачивая на столе карты.

— Тут подполковник Даренский два раза вас по телефону спрашивал.

— После двух пусть зайдет ко мне.

Новиков начал работать.

Стрелковые части, поддержанные артиллерией и танками, заслонили дальние подступы к Сталинграду и на время приостановили движение противника к Дону. Но в последние дни начали поступать тревожные донесения. Армейские разведотделы сообщали о крупном сосредоточении немецких танков, моторизованных и пехотных дивизий.

Чрезвычайно усложнились вопросы снабжения. <...> {50}

Новиков обсуждал эти тревожные сведения с начальником отдела генералом Быковым.

Быков, со всегдашней недоверчивостью оперативщика к разведчикам, сказал:

— Откуда понакопали они эти новые номера немецких дивизий, где они их выискали? Разведчики любят пофантазировать.

— Но ведь не только разведчики — сообщают и командиры дивизий, и командармы о сильном давлении и новых частях противника.

— Командиры частей тоже не прочь преувеличить силы противника, а о своих скромно помолчать,— сказал Быков.— У них одна мысль: просить у командующего резервы.

Фронт был растянут на сотни километров, и плотность боевых порядков была слишком невелика для того, чтобы сдержать подвижные войска противника, который мог быстро сосредоточить в любом месте большие силы. Новиков понимал это, но в глубине души надеялся, что фронт стабилизируется. Он верил, надеялся — и боялся верить и надеяться. Ведь на подходе к фронту войск больше не было.

Вскоре начали поступать тревожные сведения, стало очевидно, что противник решительно атакует.

Удар немецких дивизий прорвал линию обороны.

Немцы бросили в прорыв танки. Новиков читал донесения, сличал их, наносил на карту новые данные. Ночные и вечерние сообщения не утешали.

Немецкий прорыв с юга расширялся, намечалось движение на северо-восток. На карте обозначались новые немецкие клещи; нескольким дивизиям угрожало окружение.

Как хорошо знал Новиков эти загнутые синие клыки, быстро растущие на карте! Он видел их на Днепре, на Северном Донце, и вот они вновь возникли здесь.

Но сегодня тоска и беспокойство по-новому овладели им.

На мгновение чувство бешенства охватило его, он сжал кулак, хотелось крикнуть, ударить изо всей силы по синим клыкам, ощерившимся на извилистую голубую и нежную линию Дона.

«Что это за счастье,— вдруг подумал он,— если увидел я Евгению Николаевну лишь потому, что армия отступила до Волги. Нету радости в такой встрече».

Он курил папиросу за папиросой, писал, читал, задумывался, снова склонялся над картой.

Кто-то негромко постучался.

— Да,— крикнул сердито Новиков и, поглядев на часы, потом на открывшуюся дверь, сказал:
— А, Даренский, заходите.

Худощавый подполковник, со смуглым худым лицом и зачесанными назад волосами, быстро подошел к Новикову и пожал ему руку.

— Садитесь, Виталий Алексеевич,— сказал Новиков,— здравствуйте в новой хате.

Подполковник сел в кресло у окна, закурил предложенную Новиковым папиросу, затянулся; казалось, он удобно и надолго устроился в кресле, но, сделав еще одну затяжку, он вдруг поднялся, зашагал по комнате, поскрипывая ладными сапожками, потом внезапно остановился, сел на подоконник.

— Как дела? — спросил Новиков.

— Дела? Фронтовые вы лучше меня знаете, а мои личные — никак.

— Все же?

— Отчислен в резерв. Своими глазами видел распоряжение Быкова. И, представляете, настолько безнадежно отчислен, что сам начальник кадров мне сказал: «Вы страдаете язвой желудка, я вас пошлю на полтора месяца полечиться». — «Да не хочу я лечиться, я хочу работать!» Посоветуйте, товарищ полковник, что делать? — Говорил он быстро, негромко, но слова произносил четко, отдельно. — Как пришли сюда, знаете, предаюсь воспоминаниям, представляется все первый день войны,— вдруг сказал он.

— Ну? — сказал Новиков.— И мне вспомнилось недавно.

— Обстановка сходная.

Новиков покачал головой:

— Нет, не сходная.

— Не знаю, а я смотрю и вспоминаю: дороги забиты... потоки машин... Начальство нервничает, все спрашивают, как проехать, где меньше бомбят. И вдруг навстречу, с востока на запад, полк с артиллерией, по всем законам, как на маневрах, впереди разведка, боевое охранение, люди идут четко, в ногу. Останавливаю машину: «Чей полк?» Лейтенант отвечает: «Командир полка майор Березкин. Полк движется на сближение с противником». Вот это да! Тысячи тянутся на восток, а Березкин наступает. Как на них смотрели женщины! Самого Березкина я не видел, он вперед проехал. Вот я думаю: почему я этого Березкина никак забыть не могу? Все хочется встретить его, руку пожать. А почему же со мной так получилось, что я в резерве? Нехорошо, нехорошо ведь, товарищ полковник?

С месяц назад Даренский не поладил с начальником отдела Быковым. Как-то перед началом наступления советских войск на одном из участков фронта он высказал и обосновал мнение, что несколько южнее места предполагаемого прорыва противник концентрирует силы и готовит удар.

Начальник отдела назвал его доклад чепухой. Даренский вспылил. Быков, как выражаются, «поставил его по команде „смирно“», но Даренский продолжал утверждать свое. Быков обругал его и тут же дал приказ о его увольнении во фронтовой резерв.

— Вы знаете, я работников строго сужу,— сказал Новиков,— но определенно: если б мне дали командную должность, я бы взял вас к себе в начальники штаба. У вас нюх, интуиция хорошая, а это важно, когда глядишь на карту. Правда, вот насчет женского пола у вас слабость, но кто без слабостей.

Даренский быстро оглядел его живыми, весело блеснувшими карими глазами и усмехнулся, сверкнув золотым зубом:

— Одна беда, не дают вам дивизии.

Новиков подошел к окну, сел рядом с Даренским и сказал:

— Вот что, я сегодня с Быковым обязательно поговорю.

Даренский сказал:

— Спасибо большое.

— Ну это вы бросьте — «спасибо».

Когда Даренский выходил из комнаты, Новиков вдруг спросил его:

— Виталий Алексеевич, вам новая живопись нравится?

Даренский оторопело посмотрел на него, потом рассмеялся и сказал:

— Новая живопись? Отнюдь нет.

— Но ведь как ни говори — новая.

— Ну и что же,— пожал плечами Даренский.— Вот о Рембрандте никто не скажет: старое, новое. О нем скажут: вечное. Разрешите идти?

— Да, пожалуйста,— протяжно сказал Новиков и наклонился над картой.

А через несколько минут вошла старшая машинистка Ангелина Тарасовна и, вытирая заплаканные глаза, спросила:

— Это верно, товарищ полковник, что Даренского отчислили?

Новиков резко сказал:

— Занимайтесь, пожалуйста, своими служебными делами.

В пять часов Новиков докладывал обстановку генерал-майору Быкову.

— Что там у вас? — спросил Быков и сердито посмотрел на стоявшую перед ним чернильницу. Он невольно раздражался, когда видел Новикова, словно тот, принося ежедневно тяжелые известия, именно и был виновником всех перипетий отступления.

Летнее солнце ярко освещало долины, реки и степи на карте, белые руки генерала.

Новиков размеренным голосом называл населенные пункты, начальник отдела отмечал их на своей карте карандашом, кивая головой, повторял:

— Так, так...

Новиков кончил перечисление, и генеральская рука, державшая карандаш, пропутешествовав с севера на юг, до устья Дона, остановилась.

Быков поднял голову и спросил:

— У вас все?

— Все,— ответил Новиков.

Быков составлял доклад о событиях, уже происшедших в начале месяца, и Новиков видел, что он встревожен обстоятельствами отчетной работы больше, чем событиями сегодняшней живой и грозной действительности.

Он стал объяснять Новикову движение армий, напирая на слова «ось» и «темп». Все это касалось прошедшего времени.

— Видите,— говорил он, водя тупым концом карандаша по карте,— ось движения тридцать восьмой проходит по совершенно точной прямой — темп отхода двадцать первой все замедляется.

И он, взяв линейку, стал прикладывать ее к карте. Новиков сказал:

— Разрешите, товарищ генерал. Беда в том, что с такой осью да с такими темпами мы и на Дону не удержимся, а на подходе к нам никого нет.

Быков потер резиночкой солнечное пятно, переползавшее на красную ось движения одного из соединений, и сказал слова, которые Новиков часто слышал от него:

— Это не наше дело, над нами тоже есть начальство, резервами располагает Ставка, а не фронт.

После этого Быков посмотрел внимательно на ногти своей левой руки и недовольным голосом сказал:

— Сегодня генерал-лейтенант докладывает маршалу, вы, товарищ полковник, находитесь неотлучно в отделе: вас вызовут. А сейчас можете быть свободны.

Новиков понял недовольство Быкова. Начальник отдела относился к нему холодно. Когда стоял вопрос о выдвигании Новикова на старшую должность первого заместителя, Быков сказал: «Да, собственно, работник хороший, в этом ошибочного нет ничего, но, знаете, все-таки он неуживчивый, с самомнением, не сумеет организовать в работе людей».

Когда Новикова хотели представить к Красному Знамени, Быков сказал: «Хватит с него и звездочки», и он, действительно, получил Красную Звезду. Но когда Новикова зимой хотели забрать в штаб направления, Быков всполошился, стал хлопотать, писал объяснительную записку о том, что без Новикова он никак не может обойтись, и так же категорически отказался поддержать Новикова, когда тот подал рапорт о своем желании перейти на строевую должность.

Когда кого-либо из сотрудников отдела спрашивали, где получить те или другие сложные сведения либо кто может осветить запутанный вопрос, сотрудник убежденно говорил: «Лучше прямо к Новикову идите, а то Быков вас еще в приемной поманежит часика полтора, он либо заседает, либо доклад принимает, либо отдыхает, а потом скажет: „Спросите Новикова, я ему это дело поручал“».

Комендант из уважения, а не по рангу давал Новикову на каждом новом положении хорошую квартиру; начальник АХО [11], человек без иллюзий, выдавал ему лучший габардин на костюм и лучшие папиросы, и даже официантки в столовой подавали ему обед вне очереди и говорили:

— У полковника минуты свободной нет, ему ждать нельзя!

Секретарь Военного совета, батальонный комиссар Чепрак рассказывал однажды Новикову, как заместитель командующего, просматривая список вызванных на важное совещание,

сказал:

— Быков есть Быков. Вызовите полковника Новикова.

И видимо, Быков знал о таких вещах и не любил, когда Новикова вызывали на совещания. В последнее время он обижался и сердился на Новикова — тот подал начальнику штаба докладную записку, в которой излагал свои мысли и предложения, критически разобрал важную операцию. Быков знал от адъютанта, что докладная записка заинтересовала командующего. Его обижало, что Новиков подал записку, минуя своего непосредственного начальника, и даже не посоветовался с ним.

Он считал себя опытным и ценным работником, знатоком всех уставных положений, правил и норм, организатором сложной, многоэтажной документации — все дела и архивы находились у него в идеальном порядке, дисциплина среди сотрудников была на большой высоте. Он считал, что вести войну легче и проще, чем преподавать правила войны.

Иногда он задавал странные вопросы:

— То есть как это не было боеприпасов?

— Да ведь склад был взорван, а на ДОП {51} не подвезли,— отвечали ему.

— Не знаю, не знаю, это никуда не годится, они обязаны были иметь полтора боекомплекта,— говорил он и пожимал плечами.

Новиков, глядя на хмурое лицо Быкова, подумал, что в личных делах начальник отдела умеет проявлять гибкость и изобретательность, умело поддерживает свой авторитет; здесь-то он быстро применяется к обстоятельствам, умеет отпихнуть кого следует, умеет показать товар лицом, то, что называется — ударить так, чтобы зазвенело, хотя такое поведение ни в каких правилах, уставах и нормах не обозначено.

Новиков, присмотревшись, заключил, что и знания Быкова сомнительны.

Он сказал:

— Афанасий Георгиевич, разрешите поговорить по одному вопросу.

Он назвал Быкова по имени и отчеству, намекая этим, что служебный разговор кончился и он просит разговора по личному поводу. Быков, поняв это, указал ему на стул:

— Пожалуйста, слушаю вас.

— Афанасий Георгиевич, я о Даренском,— сказал Новиков.

— То есть? — спросил Быков и поднял брови.— О чем, собственно?

По недоуменному выражению его лица Новиков понял, что разговор обречен на неудачу, и рассердился.

— Да вы знаете о чем: он работник ценный, зачем ему мотаться в резерве, мог бы дело делать.

Быков покачал головой:

— Мне он не нужен, думаю, и вы без него обойдетесь.

— Но ведь по существу в том споре он прав оказался.

— Тут дело не в существе, вернее, не в этом существе.

— В этом и существе. У него замечательное умение по небольшому количеству данных быстро разгадать обстановку, намерения противника.

— Мне в отделе гадалки не нужны, пусть идет в разведотдел.

Новиков вздохнул:

— Право же, странно, человек создан, можно сказать, природой для штабной работы, а вы его не хотите использовать. А я, танкист, не штабной работник, подаю рапорт — вы меня не отпускаете...

Быков закричал, вынул карманные золотые часы, удивленно наморщил лоб и приложил часы к уху.

«Обедать собрался», — подумал Новиков.

— Вот, у меня все, — сказал Быков. — Можете быть свободны.

25

[Новикова вызвали к одиннадцати часам вечера. Рослый автоматчик одновременно почтительно и фамильярно спросил вполголоса:

— Вам куда, товарищ полковник?

Ощущение, возникавшее у Новикова в приемной командующего, всегда было одинаково, где бы ни расположился штаб — в сумрачных высоких залах старинного дворца или в маленькой мазанке с веселым палисадником. Всегда в приемной на окнах висели занавески и стоял полумрак, а люди говорили шепотом, то и дело оглядываясь на дверь; всегда генералы, ожидавшие приема, казались взволнованными, и даже телефоны звонили приглушенно, боясь потревожить торжественную обстановку.

В приемной ожидавших не было, Новиков пришел первым. За письменным столом сидел секретарь Военного совета Чепрак, с желто-серым лицом человека, спящего днем и работающего ночью. Чепрак, нахмурившись, читал книгу.

Ординарец в медалях ужинал, поставив на подоконник тарелку. Увидя Новикова, он со вздохом поднялся и, лениво ступая, грустно позвякивая медалями, ушел с тарелкой в соседнюю комнату.

— Нету? — спросил вполголоса Новиков и кивнул на дверь.

— Есть, у себя, — ответил Чепрак не тем голосом, которым он обычно разговаривал в приемной, а самым обычным, которым говорил в столовой, и, похлопав ладонью по книге, сказал: — Вот жили мирные люди!

Чепрак встал и прошелся по комнате, потом подошел к подоконнику, у которого только что ел ординарец, и знаком пригласил Новикова. И когда Новиков подошел к нему, Чепрак, вдруг перейдя на украинский язык, которого Новиков от него ни разу не слышал, сказал:

— Чи вы чулы?

Новиков вопросительно глядел на него, и Чепрак, заглянув ему прямо в глаза своими умными, всегда насмешливыми, прищуренными глазами, сказал:

— Вы, мабуть, знаете, хто зараз Южним фронтом командує?

— Знаю.

— Ни, мабуть, знали, а зараз не знаєте, бо вже не командує,— и, откинув голову, оглядел Новикова, поражен ли он новостью. Новикова известие не потрясло, но он видел волнение секретаря Военного совета и понял, чем вызвано это волнение.

Он видел, что Чепрак ждет от него вопросов или хотя бы вопросительного движения. Но Новиков не задал вопроса и не кивнул вопросительно.

— Все теперь может быть, мало ли что,— и Чепрак развел руками.— Был один такой разговор: слишком привыкли отступать от Тарнополя до Волги, психология стала такая — отступать да отступать,— говорил он, видимо повторяя слова, ставшие ему известными.— Вот и штаб наш двенадцатого числа переименован из Юго-Западного в Сталинградский. Теперь и нет такого направления, Юго-Западного.

— Это кто сказал? — спросил Новиков.

Чепрак улыбнулся и, не отвечая на вопрос, сказал:

— Могут наше управление вывести в резерв, отведут, поставят где-нибудь за Волгу, а Дон поручат новому фронту. Сформируют новый штаб, а?

— Это ваше предположение?

Чепрак сказал:

— Словом, был один разговор по ВЧ, а кто, что — это я не скажу.— Он огляделся по сторонам и задумчиво, видимо чувствуя перемены и в личной своей судьбе, сказал: — Помните, в Валуйках вы вышли из аппаратной, веселый, и сказали мне: «Битва за Харьков выиграна», а в этот час противник как раз и ударил с Изюм—Барвенкова на Балаклею.

Новиков сердито спросил:

— Что ж вы именно сейчас это вспомнили, так не полагается, война есть война. Да уж если вспоминать, не я один так говорил, а кое-кто повыше меня.

Чепрак пожал плечами:

— Просто вспомнил... Какие там люди были: Городнянский, и сам командующий фронтом генерал-лейтенант Костенко, и командиры дивизий Бобкин, и Степанов, и Куклин, а корреспондент какой славный, Розенфельд, сутки мог рассказывать, до сих пор за них душа болит. Все погибли!

Заседание началось с опозданием.

В приемной собралось начальство столь высокое, что и генерал-майоры не решались сидеть на стульях и на диванах, а, стоя у окон, негромко беседовали, оглядываясь на закрытую дверь кабинета командующего. Быстрыми шагами вошел член Военного совета фронта Иванчин, кивая приветствовавшим его подчиненным. Озабоченное лицо его казалось утомленным, а движения были быстрые, резкие.

Он громко спросил у секретаря:

— У себя?

Чепрак торопливо ответил:

— У себя, но просил несколько минут подождать.

Он произнес эту фразу с тем виноватым и почтительным выражением, с которым подчиненные иногда передают слова начальника, как бы сожалея, что не в их власти что-либо изменить здесь: зависело бы от него — с радостью бы раскрыл дверь перед Иванчиным.

Иванчин оглянулся на ожидавших, окликнул командующего артиллерией:

— Как на городской квартире, малярня не тревожит?

Командующий артиллерией единственный в приемной говорил в полный голос; он в этот момент смеялся тому, что шепотом рассказывал толстоплечий и полногрудый генерал, приехавший на днях из Москвы.

— Нет, пока благополучно,— сказал командующий артиллерией и указал Иванчину на своего собеседника.— Вот, представьте, приятеля встретил, вместе в Средней Азии служили.

Он подошел к Иванчину, и они заговорили короткими словами, которые бывают понятны людям, каждодневно встречающимся на общей работе.

— Ну а с этим, вчерашним, как? — услышал Новиков вопрос командующего артиллерией.

— Окончание в следующем номере, как говорится,— ответил Иванчин, и командующий артиллерией рассмеялся, прикрыв рот толстой, широкой ладонью.

На лицах людей, прислушивающихся к разговору старших начальников, видно было желание разгадать, к чему относятся эти слова, но разгадать их было трудно — к чему только они не могли относиться! Как почти всегда бывает, люди, собравшиеся для важного дела, старались до поры не говорить о тревожившем и мучившем их, а вели посторонние разговоры. Новиков слышал басистый генеральский голос:

— Представляешь — гостеприимство: приходят мои люди и докладывают: «Столовые наши еще не развернулись, сотрудники пошли в столовую здешнего военного округа, а там проверяют талоны, по фронтовым не пускают, а местных тыловиков — пожалуйста».

— Безобразия,— сказал второй.— Я позвонил Иванчину: оказывается, есть договоренность с командующим округом Герасименко, а местные головотяпы изменили: изволь видеть, в столовой переполнение, и сотрудники штаба округа опаздывают на работу, не укладываются в обеденный перерыв.

— Ну и что, чем же кончилось? — спросил невысокий румяный генерал из разведотдела, час назад вернувшийся из армии и не знавший этой истории.

— А кончилось просто,— и второй собеседник незаметно указал на члена Военного совета,— снял трубку, сказал командующему округом два словца, так после этого интендант с хлебом-солью всех фронтовых в дверях встречал.

Начальник разведотдела спросил у Быкова:

— Как квартира на новом положении, хорошая?

— Хорошая, с ванной, окна на юг,— ответил Быков.

— Я уже отвык от городских квартир, даже странно как-то показалось. А ванна — бог с ней, приехал — и прямо в баню, это по-нашему.

Генерал, начавший разговор о столовой, спросил у разведчика:

— Благополучно доехали, товарищ генерал?

— Ох,— ответил тот,— днем закаялся ездить.

— Пришлось в канаву пикировать, как мой водитель говорит?

— Не спрашивайте,— рассмеялся генерал-разведчик,— особенно, когда к Дону подъезжал, бреют прямо, три раза из машины выскакивал, думал, уж не доеду.

В эту минуту приоткрылась дверь и негромкий, сипловатый голос сказал:

— Прошу, товарищи, ко мне.

И сразу стало тихо, все лица сделались серьезными и хмурыми, и сразу забылся легкий смешливый разговор: этим разговором люди хоть на минуту, да отгораживались от суровой действительности. Да, есть такое свойство у нашего человека, солдат ли он, генерал ли — посмеяться и пошутить, когда уж очень плохо на сердце, когда свинцом лежит на душе горькая беда.

Голова командующего была тщательно выбрита, и даже при ярком свете электричества нельзя было отличить границу между лысиной и побритой частью головы.

Он прошелся по комнате, мельком и в то же время пытливо заглядывая в лица вытянувшихся перед ним генералов, кивал головой, потрогал пальцами маскировку окна, помедлил немного и сел за стол, положил свои большие крестьянские руки на карту и несколько мгновений, при общем молчании, размышлял, потом тряхнул головой и нетерпеливо, точно не его ждали, а заставляли его ждать, сказал:

— Что же, пора, начнем!

Докладывал заместитель начальника штаба.

— Был бы Баграмян, он бы доложил,— шепотом сказал сидевший рядом с Новиковым начальник разведотдела.

Докладчик начал с вопросов снабжения. Степные железные дороги находились под воздействием авиации, в последние дни немецкие самолеты начали минировать Волгу. Имелось уже сообщение о гибели грузового парохода на участке между Камышином и Сталинградом. Стоял вопрос о подвозе подкреплений и грузов по заволжской железной дороге Саратов—Астрахань. Но и эта дорога уже находилась в радиусе действия немецких бомбардировщиков; да, кроме того, доставка грузов из-за Волги была сопряжена с тремя перевалками: от железной дороги к Волге, через Волгу в Сталинград и от Сталинграда к фронту. Авиация противника энергично бомбит донские переправы. Докладчик дальше сказал, что паралич волжской транспортной артерии становится реальностью сегодняшнего и завтрашнего дней.

Иванчин при этих словах вздохнул и тихо сказал:

— Верно!

Докладчик говорил о тяжелом положении советской земли не общими словами газетных статей, а своим особым, точным языком военного человека. Он говорил обо всем этом не «вообще», а конкретно — потому что грозное и тяжелое положение страны, народа, государства непосредственно было соединено и связано именно с Юго-Западным, ныне Сталинградским фронтом.

Положение на фронте! Докладчик говорил подробно, с той откровенной резкостью, которую

определяла и которую требовала война. Перед жестокой действительностью могла жить лишь одна правда, такая же жестокая, как действительность.

Новиков, уважавший заместителя начальника штаба, часто восхищавшийся его живым умом и знаниями, на этот раз хмурился: «Нет, нет, и все же не о самом основном говорит он...»

— Когда в тылу соединения появились к исходу позавчерашнего дня подвижные части противника, командующий армией принял решение о занятии обороны по берегу водного рубежа,— говорил спокойным баском докладчик, и его белый, с коротко остриженным ногтем палец быстро и небрежно очертил по карте район боев.— Однако штаб в течение суток находился под интенсивным воздействием авиации противника, проволочная связь была нарушена, а радиопередатчик на четыре часа вышел из строя, вследствие этого приказ командующего не был доведен до командира левофланговой дивизии, а посылка делегатов связи также не имела успеха. Единственная коммуникационная линия была оседлана не только танковыми средствами, но и пехотой противника, видимо переброшенной на грузовиках.

Командующий фронтом спросил:

— Это все? Новых данных у вас нет?

— Есть, товарищ командующий,— сказал генерал и мельком поглядел на Новикова, докладывавшего ему час назад.— Разрешите, товарищ командующий?

Командующий кивнул.

— Штаб дивизии потерял управление полками вчера утром: танки ворвались на КП, командира дивизии тяжело контузило, и его удалось эвакуировать санитарным самолетом. Начальнику штаба раздавило ноги, он умер тут же на КП. С этого момента никакой связи ни со штабом, ни с полками не было.

— Естественно, штаб был уничтожен,— сказал Иванчин.

— Как фамилия начальника штаба? — спросил командующий, обращаясь к Быкову.

— Товарищ командующий,— сказал Быков,— он у нас недавно, переведен с Дальнего Востока.

Командующий ожидающе смотрел на Быкова.

Быков, прищурившись, с выражением страдания, которое испытывает человек, вот-вот готовый вспомнить нужное слово, помахал ладонью, пристукнул легонько ногой. Но эти действия не помогли ему.

— Полковник... полковник... прямо на языке... дивизия новая.

— И дивизия разбита, и людей уже нет, а для вас они все новые,— сказал, усмехнувшись, командующий и с усталым раздражением прибавил: — Я же говорил: знать фамилии! Вы, полковник, знаете?

Новиков назвал погибшего:

— Подполковник Алферов.

— Вечная ему память,— сказал командующий.

Несколько мгновений длилось молчание, и докладчик откашлялся и спросил:

— Разрешите продолжать?

— Давайте,— сказал командующий.

— Таким образом, подтверждается, что дивизия потеряла управление и боевые порядки ее были расчленены,— говорил генерал,— в результате армия лишилась локтевой связи с соседом на левом фланге,— этим деликатным выражением заместитель начальника штаба выразил то, что фронт был разорван и в образовавшуюся брешь устремились немецкие пехотные и танковые части.— Однако спустя сутки,— несколько повысив голос, сказал он,— линия фронта вновь приобрела целостность благодаря умелым и энергичным контратакам стрелковой дивизии полковника,— он посмотрел на командующего и отдельно произнес фамилию: — Савченко,— видимо желая оправдать свое незнание фамилии погибшего начальника штаба новой дивизии. Он показал на карте начертание линии фронта и проговорил: — Такова была конфигурация фронта к шестнадцати часам.

— Конфигурация? — насмешливо переспросил командующий.

— Расположение частей армии,— поправился генерал, видя, что слово «конфигурация» раздражало командующего.— Однако в это время противник стал оказывать давление на участке соседней армии и в двух местах достиг тактического успеха, угрожая охватом правого крыла армии. В связи с этим Чистяков приказал отойти на новый рубеж и этим вынудил отход нашей армии.

— Не противник вынудил, а Чистяков? — спросил, усмехнувшись, командующий.— А я думал, что противник. Что на юге?

— На юге удалось стабилизировать фронт, но, судя по всему, противник, встретив сильное сопротивление и понеся чувствительные потери, концентрирует войска северней.— И докладчик стал подробно перечислять даты и рубежи боев, населенные пункты.

То, что говорил докладчик, свидетельствовало о его военной образованности и опыте, о знании противника, о знании обстановки, свидетельствовало о налаженной информации, и все же то, что он говорил, не удовлетворяло участников заседания. В новой, исключительной по тяжести военной обстановке, казалось, должно было возникнуть нечто чрезвычайное, качественно отличное от того, о чем докладывал генерал. Новикову казалось, что именно сегодня должно говорить о смелой русской маневренной войне. В ней вся суть.

«Читал он мою докладную?» — спрашивал себя Новиков, поглядывая на командующего.

После доклада командующий стал задавать вопросы.

Некоторые генералы говорили о своих ошибках. Говорили о том, как развернутся события на новых рубежах обороны, на подступах к Дону.

Заседавшие думали о своей ответственности перед командующим, об ответственности за отступление с оборонительного рубежа, за невзорванную, оставленную противнику переправу, за потерянную технику. Об этой ответственности начальника перед начальником говорили люди, сидевшие на заседании. Но все они чувствовали в душе, что настало иное время и речь шла об ответственности бесконечно более суровой: об ответственности сына перед матерью, об ответственности солдата перед своей совестью и перед народом.

— Вот она, жесткая оборона, подвела! — сказал артиллерийский генерал, и все сидевшие поглядели на него, потом на председательствовавшего.

Командующий повернулся к нему и спросил:

— Что же?

Лицо генерала покрылось краской.

— Маневр, маневр! А предполье, жесткая оборона — это все... — Он махнул рукой. — Цельной линии фронта сегодня нет фактически.

— Маневр от Чугуева до Калача, — сказал, сердито усмехаясь, заместитель начальника штаба.

— Да, маневр, — ответил командующий, повторяя слова заместителя начальника штаба. — От Донца до Дона... Кто станет спорить, нынешняя война — это война маневра.

Руки Новикова похолодели от волнения. Артиллерийский генерал высказал его заветную мысль. Но ни командующий, ни Новиков, ни другие участники заседания не знали того, что зрело, скрыто развивалось и должно было родиться в эти дни.

Здесь, в Сталинграде, где даже наиболее консервативные люди готовы были признать полное торжество идеи маневра, именно здесь вызревала и должна была родиться жесткая оборона, подобной {52} которой не знал мир ни во времена битвы за Трою, ни в сражении у Фермопил.

Командующий недовольным голосом сказал:

— Много говорим о тактике, спорим... вопрос в инициативе... У кого в руках инициатива, для того и тактика хороша.

Новиков подумал, что, быть может, он со своей докладной похож на шахматного игрока, наблюдающего игру другого, более опытного — все волнуется и хочет подать совет. Ему кажется, вот он видит ход, который решит всю партию, и он не понимает: играющий уже давно видел этот ход и знает его невозможность, ибо есть десятки других сложных и опасных комбинаций, они парализуют выгоду этого хода.

Инициатива!

— Вопрос один, товарищи, — сказал командующий, — до конца выполнять свой долг на том посту, на который ставит нас высшее командование.

Стало тихо, командующий, прервавший этими словами начальника автомобильного управления, сказал:

— Продолжайте.

— Я хотел дать справку о ремонте грузовых машин и наличии запасных частей, — сказал генерал, смущенный несоответствием своей будничной справки со значительностью того, что было сказано.

— Слушаю, — сказал командующий и внимательно склонил голову в сторону инженерного генерала.

В другое время, когда подчиненные осуществляли его замысел, он мог быть и нетерпим, и суров, видя леность разума, неумение, многословие вместо быстрого дела. Все это, может быть, он видел и сейчас, но в эти дни инициатива была у противника, и в этой главной, высшей беде он не хотел обвинить своих помощников, он не желал в их несовершенстве искать объяснения жесткого отступления.

Когда заседание окончилось и все, собрав бумаги и закрывая папки, поднялись с мест, командующий начал обходить участников заседания, пожимая руку каждому. Спокойное, широкое лицо его дрогнуло, глаза сощурились, словно он боролся с чем-то тревожным и

острым, вдруг обжегшим его изнутри.

Дремавшие водители генеральских машин встrepенулись, поспешно заводили моторы, гулко, как выстрелы, хлопали автомобильные дверцы. Пустынная темная улица наполнилась гудением, шумом, засветились синие фары, и сразу же вновь стало тихо и темно. От мостовой и стен домов отделялось тепло нагретого за день камня, но то и дело лица касалась прохлада — ветер нес ее с Волги. Новиков шел к штабу, громко стуча сапогами, чтобы комендантские патрули, слыша уверенный шаг, не задерживали его.

Внезапно он подумал о Евгении Николаевне. В душе, вопреки тому, что он знал и слышал, возникло ожидание счастливого, хорошего. И он не понимал, откуда эта уверенность в счастье, вдруг, вопреки разуму, охватившая его, откуда это упрямое и задорное чувство.

Казалось, душное тепло исходит не от городского нагретого камня, а трудно и жарко дышать от напряженных, тревожных и противоречивых мыслей.

Утром в столовой Чепрак негромко сказал Новикову:

— То, что вчера вам говорил, фактом стало: создан новый фронт, командующий сегодня на рассвете на своем «Дугласе» улетел в Москву.

— Вот как? — сказал Новиков.— Я снова буду просить строевую должность. На передовую.

— Что ж, решение хорошее,— спокойно и серьезно сказал Чепрак. И вдруг спросил: — Вы, я слышал, одинокий?

— Ну что ж,— ответил Новиков,— я еще жениться собираюсь.

И неожиданно, услышав им же в шутку произнесенные слова, смутился и покраснел.]

26

Тяжелый путь штаба и войск Юго-Западного фронта от Валук до Сталинграда свершился.

[Противник делал все возможное, чтобы превратить отступление в бегство. Линия фронта то и дело взламывалась, теряла целостность, дробилась, подвижные танковые войска немцев стремились глубоко в тыл советским войскам. Бывали случаи, когда по двум параллельно идущим дорогам, в клубах пыли, мчались молча, без выстрелов, на виду друг у друга советские колонны грузовиков с людьми, оружием, боеприпасами и немецкие танковые колонны.

Такие случаи были в июне 1941 года на шоссе в районе Кобрин, Березы-Картузской, Слуцка. Такие случаи были в июле 1941 года на Львовском шоссе, когда немецкие танки шли от Ровно на Новоград-Волынь, Житомир, Коростышев, обгоняя колонны советских войск, отступавших к Днепру.]

Некоторые части, понесшие особо большие потери людьми и техникой, были выведены из боев и отведены в тыл, к Волге.

Красноармейцы спускались по обрыву, садились на песок, поблескивающий крупинками кварца и перламутровой крошкой речных ракушек. Морщась, ступали люди по колючим глыбам песчаника, оползавшего к воде. Дыхание воды касалось их воспаленных век. Люди медленно разувались. Сбитые, натертые ноги у некоторых солдат, прошедших от Донца до Волги <...> {53}, мучительно болели, даже ветер причинял им боль. Бойцы осторожно разматывали портянки, словно бинт перевязки.

[Богатые мысли обмылочками, те, кто победней, скребли тело ногтями и песком.

Пыль и грязь черными и синими клубами заполнили воду, люди стонали от наслаждения, сдирали наждачную, острую, сухую пыль, наросшую на теле.] {54}

Вымытое белье и гимнастерки сохли на берегу, прижатые желтыми камнями, чтобы их не снесло в воду веселым волжским ветром.

Помывшись, солдаты садились на бережку, под высокий обрыв, и смотрели на угрюмую, песчаную заволжскую степь. Глаза, были ли то глаза пожилого ездового или глаза лихого, молодого наводчика пушки, наполнялись печалью. [Тут, под этим обрывом, был край русской земли, там, на том берегу, начинались казахские степи.] Если историки будущего захотят понять дни {55} перелома, пусть приедут на этот берег и на миг представят себе солдата, сидевшего под волжским обрывом, постараются представить, о чем он думал.

27

Людмила Николаевна, старшая дочь Александры Владимировны Шапошниковой, не причисляла себя к молодому поколению, и посторонний человек, послушав ее разговоры с матерью о сестрах Марусе и Жене, вероятно, подумал бы, что разговаривают две подруги или сестры, а не мать с дочерью.

Людмила Николаевна была в отца: плечистая, тяжеловесная, с широко расставленными светло-голубыми глазами, светловолосая, эгоистичная, но одновременно и чувствительная, она соединяла в себе упрямство и практический разум с беспечной щедростью, житейскую безалаберность с трудолюбием.

Людмила вышла замуж восемнадцати лет, но с первым мужем прожила недолго — они разошлись вскоре после того, как родился Толя. С Виктором Павловичем Штрумом она познакомилась, учась на физико-математическом факультете, вышла за него замуж за год до окончания университета. Она окончила химическое отделение и готовилась защищать кандидатскую работу. Однако семейная жизнь постепенно затянула ее, и она оставила работу. Она винила в этом семью, тяжесть забот и бытовое неустройство. Но, пожалуй, причина была обратная — Людмила Николаевна оставила свои занятия в университетской лаборатории как раз в ту пору, когда научные успехи мужа совпали с семейным материальным благополучием.

Они получили в новом доме на Калужской улице просторную квартиру, а в Отдыхе {56} дачу с большим участком земли. Именно в эту пору Людмила Николаевна оставила работу, ее увлекло хозяйство. Она путешествовала по магазинам, покупала посуду и мебель, а весной начинала работу в саду: сажала мичуринские яблони, разводила розы, затевала выгонку тюльпанов, растила ананасные помидоры.

О начале войны она узнала на улице, на углу Охотного ряда и Театральной площади. Она стояла в толпе, у репродуктора, она видела слезы на глазах у женщин и чувствовала, как слезы бегут по ее щекам...

Первую бомбежку Москвы, случившуюся вечером 22 июля, ровно через месяц после начала войны, Людмила Николаевна провела на крыше дома вместе с сыном. Она потушила в эту ночь зажигательную бомбу — и в розовом рассвете стояла рядом с Толей на плоской крыше дома, приспособленной под солярий, вся в чердачной пыли, бледная, потрясенная, но упрямая и гордая. На востоке, в безоблачном летнем небе всходило солнце, а с запада стеной поднимался черный, тяжелый и обильный дым: то горел толевый завод в Дорогомилове и склады у Белорусского вокзала. Людмила Николаевна без страха смотрела на зловещий пожар, лишь мысль о стоящем рядом сыне наполняла ее тревогой, и она обняла Толю за плечи, прижала его к себе.

Она постоянно дежурила на чердаке и стала буквально живым укором для тех, кто уходил

ночевать к родственникам и знакомым, жившим недалеко от метро, чтобы избежать дежурства на крыше.

Ее друзьями в эти летние месяцы были управдомы, пожарники и не боявшиеся смерти школьники, ребята-ремесленники. Во второй половине августа Людмила Николаевна вместе с сыном и дочерью уехала в Казань. Когда муж посоветовал ей перед отъездом взять с собой наиболее ценные вещи, она, оглядев купленный в комиссионном магазине старинный фарфоровый сервиз, сказала:

— Зачем мне все это барахло? Я только удивляюсь, к чему я столько времени тратила на все это.

Муж поглядел на нее, потом на посуду, стоявшую в буфете, вспомнил, сколько волнений было при покупке всех этих тарелок, чашечек, вазочек, рассмеялся и сказал:

— Ну и чудесно, раз тебе все это не нужно, то мне и подавно.

В Казани Людмилу Николаевну с детьми поселили недалеко от университета в маленькой двухкомнатной квартирке. Через месяц приехал Штрум, но не застал жены. Она уехала в Лаишевский район работать в татарском колхозе. Муж написал ей, просил вернуться, напоминал обо всех ее болезнях — миокардите, неправильном обмене, головокружениях.

Вернулась она в октябре, загоревшая, исхудавшая. Видимо, работа в колхозе помогла ее здоровью больше, чем советы знаменитых профессоров, диеты и поездки в Кисловодск.

Она решила поступить на службу, и муж взялся устроить ее в Институте неорганической химии, но Людмила Николаевна сказала ему:

— Пойду работать без скидок, на завод, цеховым химиком.

Так она и сделала. По-видимому, и в колхозе она работала без скидок — в конце декабря к дому подъехали сани, и старик татарин с помощью мальчика снес в сени два мешка пшеницы, причитавшиеся Людмиле Николаевне за ее колхозные трудодни. Зима была тяжелой. В начале зимы Толю мобилизовали, и он уехал в Куйбышев, в военную школу. Людмила Николаевна заболела воспалением легких, ее продуло в цехе, и она больше месяца пролежала в постели, а после выздоровления уже не вернулась в цех. Она занялась организацией артели вязальщиц, снабжавшей выписывавшихся из госпиталей раненых шерстяными фуфайками, варежками и носками. Комиссар одного из госпиталей определил ее в женский актив при госпитале. Людмила Николаевна читала раненым книги, газеты, и так как большинство эвакуированных из Москвы ученых было ей хорошо знакомо, она устраивала для выздоравливающих лекции академиков и профессоров по различным научным вопросам.

Но она часто вспоминала свою бурную деятельность в московской команде ПВО и говорила мужу:

— Ох, если б не заботы о тебе и Наде, дня бы тут не прожила, уехала бы снова в Москву.

28

[Фамилия первого мужа Людмилы Николаевны, отца Толи, была Абарчук. Людмила Николаевна вышла замуж за него, учась на первом курсе, а разошлись, когда переходила на третий. Он был членом курсовых и факультетских комиссий по чистке и по зачислению в третью, нэпманскую категорию по плате за правоучение студентов непролетарского происхождения.

Когда он, сухощавый, с тонкими губами, факультетский Робеспьер {57}, проходил в своей

потертой кожаной куртке, восторженный шепот поднимался среди студенток. Абарчук говорил Людмиле, что пролетарскому студенту жениться на девушке буржуазного происхождения немисливо, преступно.

Он обладал необычайной работоспособностью. С утра до поздней ночи занимался он студенческими делами — читал доклады, тщательно готовился к ним, устанавливал и множил связь между университетом и рабфаковцами, боролся с последними приверженцами Татьянина дня. При этом он умудрялся без отставания отрабатывать практикумы по качественному и количественному анализу и сдавал зачеты с хорошими отметками. Спал он не больше четырех-пяти часов в сутки. Родом он был из Ростова-на-Дону, там жила замужняя сестра его — муж ее работал конторщиком на заводе. Отец его, фельдшер, погиб в дни боев за Ростов, был убит снарядом, когда деникинцы вели артиллерийский обстрел города, мать умерла до революции.

Когда Людмила спрашивала Абарчука о его детстве, он, морщась, говорил: «Да о чем рассказывать, хорошего в детстве моем было мало, жил в условиях обеспеченных, довольно-таки буржуазных».

Он посещал по воскресеньям больных товарищей-студентов, лежавших в больнице, привозил им книги и газеты. Почти всю свою стипендию он отдавал в ячейку МОПР [12] для помощи зарубежным коммунистам, узникам капитала.

Но он был суров и неумолим, едва дело касалось нарушения законов пролетарского студенчества. Он настаивал на исключении из комсомола девушки, надушившейся перед всемирным пролетарским праздником Первого мая. Он требовал исключения студента «нэпача», подкатившего на извозчике к ресторану «Ливорно» в пиджаке, с галстуком. Им была выявлена в общежитии студентка, носившая на груди крестик. Люди буржуазного происхождения внушали ему чувство физической брезгливости, и, если ему случалось при встрече в узком коридоре коснуться подозреваемой в буржуазности хорошенькой и нарядной студентки, он невольно отряхивал рукав своего военного кителя.

Женился он на Людмиле в 1922 году, через год после смерти ее отца. Комендант в общежитии поселил их в комнатке площадью в шесть квадратных метров. Людмила забеременела. Она по вечерам стала шить пеленки, купила чайник, две кастрюльки, глубокие тарелки. Все эти приобретения огорчали и раздражали Абарчука. Он считал, что современная семья должна полностью освободиться от кухонной кабалы. Питаться мужу и жене следует в общественной столовой, детям же надлежит получать пищу в яслях, детских садах и школьных интернатах. Идеальная обстановка комнаты представлялась ему таким образом: два письменных стола, один для мужа, второй для жены, книжные полки, две кровати, которые на день поднимаются и уходят в стену; в стене скрыт небольшой шкаф. В ту пору у него начался туберкулезный процесс. Товарищи выхлопотали ему двухмесячную путевку в ялтинский санаторий, но он отказался ехать, а путевку передал больному рабфаковцу.

То был он добр и великодушен, то становился упрям и жесток, едва дело касалось его принципов. Он был очень честен на работе, презирал жизненные удобства, презирал деньги, но ему случалось взять у товарища книгу и не вернуть ее, прочесть чужое письмо, заглянуть в Людмилин дневник, спрятанный под подушкой.

Людмиле казалось, что второго человека, подобного ее мужу, не было и не будет. До рождения ребенка она во всем подчинялась ему. Но едва родилось живое создание, человек, отношения их стали портиться. Абарчук все реже вспоминал о революционных заслугах Людмилиного отца и все чаще корил ее непролетарским дедом со стороны матери. Он видел: мещанские инстинкты, таившиеся в ней, вдруг пробудились, и толчком к тому послужило рождение ребенка. Абарчук мрачно, с печалью наблюдал, как жена надевала

белый передник и, обвязав косынкой голову, варила в кастрюльке кашу, как ловко и быстро вышивала она меточки и каемочки на детском белье, сощурившись, разглядывала расшитый коврик над детской кроваткой. Целый поток чуждых, враждебных предметов врывается в комнату, и чем невинней казались они, тем трудней была борьба с ними.

Планы Абарчука о яслях, о воспитании сына в рабочей коммуне на металлургическом заводе были попорчены.

Однажды Людмила объявила свое решение перебраться летом на дачу к брату Дмитрию — у него просторно, приедут мать и младшие сестры, помогут Людмиле ухаживать за ребенком. Ее переезд к брату совпал с конфликтом — Людмила отказалась назвать сына Октябрем.

В первую же одинокую ночь Абарчук ободрал стены, привел комнату в прежний, не мещанский вид. До утра просидел он за столом, с которого снял скатерть с кистями, писал жене письмо. В этом письме, на шести страницах, он мотивированно изложил свое решение разойтись с ней. Он с восходящим классом, он раздавит в себе все личное и эгоистичное, она же, он убедился в этом, всей своей психикой и идеологией связана с классом, уходящим с исторической сцены, инстинкты личного господствуют в ней над началом общественным, им не только не по пути, они идут в разные стороны. Он отказался дать сыну свою фамилию — ему заранее ясно, что психика ребенка будет буржуазной. Это место письма обидело Людмилу до слез, а затем, когда она перечла его, привело ее в исцеляющие душевные раны бешенство. К концу лета Александра Владимировна увезла Толю в Сталинград, а Людмила продолжала учиться в университете.

Осенью Абарчук подошел к ней после лекции и, протянув руку, сказал:

— Здравствуй, товарищ Шапошникова.

Она молча покачала головой и спрятала руку за спину.

В 1924 году была чистка студенчества по социальному происхождению. От приятельницы Людмила узнала, что Абарчук настаивал на ее исключении. Он рассказал комиссии историю своей женитьбы и причины развода. При этой чистке были исключены два товарища: Пётр Князев и Виктор Штрум, их называли «неразлучниками», оба они до поступления в университет нигде не работали и даже не были в профсоюзе. За обоих исключенных стали хлопотать профессора: студенты проявляли большие способности. Лишь через три месяца Центральная комиссия отменила решение факультетской — студентов восстановили. Но Князев заболел и после выздоровления не стал продолжать занятия, уехал в провинцию — к родителям.

Людмилу во время чистки вызвали для дополнительных объяснений, и она несколько раз встречалась со Штрумом. Когда он в середине третьего семестра вновь пришел в университет, Людмила обрадовалась и поздравила его.

Они долго разговаривали в полутемной прихожей деканата, потом ели варенец в буфете, затем вышли в университетский садик и сидели на скамейке.

Штрум вовсе не был ученым сухарем, как казалось раньше Людмиле, — глаза его почти всегда смеялись и становились серьезными, когда он рассказывал смешное; он любил беллетристику, ходил в театры и не пропускал ни одного концерта. Он часто ходил в пивные, слушал цыган и был поклонником цирка.

Оказалось, что родные их были знакомы когда-то.

Зимой Людмила и Виктор Штрум ходили вместе в театры и кино «Гигант» в здании консерватории, весной ездили на Воробьевы горы и в Кунцево, катались на лодках по

Москве-реке. За год до окончания университета они поженились.

Александру Владимировну поразило, что ее старинное знакомство с Анной Семёновной Штрум вдруг обновилось и закрепились в встрече молодых. Шапошникова и Анна Штрум долгое время в письмах удивлялись и радовались этому. Но молодым это старинное знакомство родителей казалось пустой, незначительной случайностью.

Со Штрумом у Людмилы Николаевны отношения сложились по-иному, чем с первым мужем. До поступления в университет он нигде не работал, да и учась в университете не зарабатывал средств к жизни, мать посылала ему ежемесячно восемьдесят рублей, а раза три в год посылки. По этим посылкам видно было, что мать относится к сыну, как к маленькому мальчику. В фанерном ящике лежал обычно сладкий пирог с яблоками — «струдель», носки с вышитыми красными метками, белье с теми же метками, яблоки и конфеты. Людмила, казавшаяся перед первым мужем девчонкой, вдруг ощутила себя многоопытной, снисходительной. Виктор писал раз в неделю матери, и если случался пропуск, на имя Людмилы получалась телеграмма: здоров ли Виктор?

Когда Виктор просил сделать приписку к его письму, она сердилась и говорила:

— Господи, да я своей родной матери по месяцу не пишу.

Абарчук кончил университет на год позже, его отвлекала общественная работа. Людмила постепенно забыла о своей обиде и часто интересовалась судьбой первого мужа. Он успешно работал — писал статьи, читал доклады и даже одно время занимал важный пост в Главнауке.

В начале первой пятилетки Абарчук перешел на хозяйственную работу и уехал в Западную Сибирь. Его имя иногда встречалось в газетах в связи с одним крупным строительством. Он никогда не писал ей и не спрашивал о сыне. Потом о нем ничего не стало слышно, и когда в газетах описывался пуск промышленного комбината, строительством которого он руководил, фамилия его уже не упоминалась. А спустя год Людмила узнала, что ее бывший муж арестован как враг народа.

В 1936 году Виктор Павлович был избран членом-корреспондентом Академии наук. Вечером после избрания его поздравляли — Штрум был самым молодым из баллотировавшихся. Когда гости разошлись, остались лишь сестра Женя и ее муж Крымов. Слова, сказанные Крымовым в этот вечер, запомнились и Людмиле, и Виктору Павловичу. Виктор Павлович, который ревновал Людмилу к ее первому мужу, хвастливо сказал:

— А ведь интересно проследить. Были два студента. Первый решал судьбу второго, объявил, что тот не имеет права учиться на физмате, а кончилось тем, что второй сегодня избран в академию. Спрашивается, что сделал в мире первый? Просто?

— Нет,— сказал Крымов,— напрасно вам сия история кажется такой простой. Этого первого студента мне пришлось видеть несколько раз в жизни. Однажды, в Петербурге, он вел взвод в атаку на Зимний дворец, он был полон великого огня и веры. А второй раз я видел его на Урале — его расстреливали колчаковцы, и он выполз из ямы, ночью, окровавленный, пришел к нам в ревком. И тогда он был полон великого огня и веры. Закономерность не так уж проста. Над ней стоит подумать. Этот студент, номер первый, честно вышел на работу, когда решалось революционное будущее России, а может быть, и мира. И работа ему стоила страданий и горячей крови.

— Возможно,— сказал смутившийся Штрум,— но меня он едва не съел.

— Мало ли что,— сказал Крымов.]

Казанская квартира Штрумов была обычным эвакуационным обиталищем. В первой комнате стояли сложенные горой у стены чемоданы, туфли и ботинки выстроились в ряд под кроватью, как бы в знак того, что живут здесь странники. Из-под скатерти виднелись сосновые, плохо оструганные ножки стола. Ущелье между кроватью и столом было забито пачками книг... В комнате Виктора Павловича у окна стоял большой письменный стол, пустой, как взлетная дорожка для тяжелого бомбардировщика,— Штрум не любил безделушек на рабочем столе.

Людмила Николаевна написала родным, что если придется им эвакуироваться из Сталинграда, пусть едут все «скопом» к ней. Она заранее наметила, где расставить раскладушки. Лишь один угол она оставила свободным. Ей казалось, что сын однажды ночью вернется с фронта и она поставит в этот угол хранящуюся в сарае Толину кровать. В ее чемодане лежали Толино нижнее белье, коробка любимых Толей шпрот. В этом же чемодане хранились перевязанные ленточкой письма Толи. Первой в связке лежала страничка детской тетради, на которой еле умещалось четыре слова: «Здравствуй мама приезжай скорей».

Ночью Людмила Николаевна часто просыпалась и лежала, охваченная мыслями о детях, страстным желанием быть с сыном рядом, прикрыть его от опасности своим телом, копать для него день и ночь глубокие окопы в камне, в глине; но она знала — это невозможно.

[Ее чувство к сыну было особенным, так казалось ей, и ни одна из матерей не могла иметь такого чувства, какое имеет она. Она любила сына за то, что он не был красив, за то, что у него большие уши, неловкая походка и косолапые движения, любила за его застенчивость. Она любила его за то, что он стеснялся учиться танцам, за то, что он сопя мог съесть одну за другой двадцать конфет. Она испытывала к нему больше нежности, когда он, угрюмо опустив глаза, говорил о плохих отметках по литературе, чем в те минуты, когда он, по ее настоянию, смущенно морщась и бормоча «ерунда», показывал работы по физике и тригонометрии с неизменной высшей оценкой.]

В довоенную пору муж сердился, что она освобождала сына от домашних поручений, позволяла ежедневно ходить в кино.

— Я не так воспитывался, я не знал тепличных условий,— говорил он, искренне забывая, что и его в детстве мать баловала и оберегала не меньше, чем Людмила баловала Толю.

Хотя в сердитые минуты Людмила Николаевна говорила, что Толя не любит отчима, она видела, что это не так.

Интерес Толи к точным наукам определился резко и сразу; он не любил беллетристики, был равнодушен к театру. Как-то незадолго до начала войны Штрум застал Толю танцующим перед зеркалом. В шляпе, галстук и пиджаке отчима он танцевал и снисходительно кому-то улыбался, милостиво кланялся.

— Мало я его знаю,— сказал Людмиле Виктор Павлович.

Надя, худая, высокая, сутулая девочка, была очень привязана к отцу. Когда-то она, десяти лет, зашла с матерью и отцом в магазин. Людмила Николаевна выбрала плюш для портьер и попросила Виктора Павловича сосчитать, сколько ей нужно взять метров. Штрум стал множить длину на ширину и на число портьер и тотчас же запутался. Продавщица, снисходительно улыбнувшись, в несколько секунд произвела расчет и сказала ужасно смутившейся за отца Наде:

— Твой папа, видно, плохой математик.

С тех пор Надя в глубине души подозревала, что отцу не легко дается его математическая работа, и однажды, глядя на листы рукописи, исписанные сверху донизу значками и формулами, часто перечеркнутыми и исправленными, с состраданием сказала: «Бедный наш папа».

Людмила Николаевна иногда видела, как Надя заходила к отцу в кабинет и на цыпочках подкрадывалась к его креслу, легонько прикрывала его глаза ладонями; он сидел несколько мгновений неподвижно, потом обнимал дочь и целовал ее. По вечерам, когда бывали гости, Виктор Павлович внезапно оглядывался на наблюдавших за ним два больших внимательных и грустных глаза. Читала Надя много и очень быстро, но невнимательно. Иногда она становилась странно рассеянна, задумывалась, отвечала невпопад; однажды, идя в школу, она надела носки разного цвета, и после этого случая домашняя работница говорила: «Наша Надя немного малахольная».

Когда Людмила спрашивала Надю: «Кем ты хочешь быть?» — она отвечала: «Не знаю. Никем».

С братом она была очень не сходна, и в детстве они постоянно ссорились. Надя знала, что Толю легко дразнить, и всячески терзала его; он, сердясь, таскал ее за косы, она после этого ходила злая, надутая, но мужественно, сквозь слезы, продолжала дразнить его то «любимчиком», то странным, приводившим его в бешенство прозвищем «поросятник».

Но незадолго до войны Людмила Николаевна заметила: наступил мир между детьми. Она как-то рассказала знакомым, двум пожилым женщинам, об этом изменении, и обе в один голос сказали: «Возраст» — и многозначительно, грустно улыбнулись.

Как-то Надя, возвращаясь из распределителя, встретила у дверей почтальона, принесшего треугольное письмо, адресованное Людмиле Николаевне. Толя писал, что наконец-то сбылось его желание, он окончил военную школу и едет, по-видимому, в сторону того города, где живет бабушка.

Людмила Николаевна не спала полночи, лежала, держа письмо в руке, зажигала свечу, медленно перечитывала, слово за словом, будто в коротких торопливых строчках можно было разгадать судьбу сына.

30

Профессора Штрума вызвали из Казани в Москву. Одновременно получил вызов живший в казанской эвакуации знакомый Штрума, академик Постоев.

Виктор Павлович, прочитав телеграмму, взволновался: не совсем было ясно, по какому поводу и кто именно приглашает его, но он решил, что речь идет о его плане работ, до сих пор не получившем утверждения.

План был обширный, и разработка некоторых названных в нем отвлеченных проблем требовала больших средств.

Утром Штрум встретился со своим другом и советчиком Петром Лаврентьевичем Соколовым, показал ему телеграмму. Они сидели в маленьком кабинете рядом с учебной университетской аудиторией и обсуждали все «за» и «против» в разработанном зимой плане.

Пётр Лаврентьевич был моложе Штрума на восемь лет. Незадолго перед войной он получил докторскую степень, первые же его работы вызвали интерес в Советском Союзе и за границей.

В одном французском журнале были помещены его фотография и небольшая биографическая статья. Автора статьи удивляло, что молодой волжский кочегар окончил колледж, затем столичную высшую школу и занимается теоретическими обоснованиями одной из самых сложных областей физики.

Небольшого роста, белокурый, лобастый, с большой, массивной головой и с широкими плечами, Соколов внешне казался полной противоположностью узкоплечему темноволосому Штруму.

— А планы вряд ли утвердят полностью,— сказал Соколов,— вы ведь помните разговор с Иваном Дмитриевичем Суховым. Да и мыслимо ли теперь изыскивать сорт стали, пригодный для нашей аппаратуры, когда металлургия качественных сталей с таким напряжением выполняет оборонные заказы. Все это требует опытных плавов, а в печах варят сталь для танков и орудий. Кто же нам утвердит такую работу, кто будет вести плавки ради нескольких сотен килограммов металла?

— Я это прекрасно понимаю,— сказал Штрум,— но ведь Иван Дмитриевич уже два месяца назад покинул директорское кресло. А насчет нужной нам стали вы правы, конечно, но это ведь общие рассуждения. Да и, кроме того, ведь академик Чепыжин одобрил общее направление работы. Ведь я читал вам его письмо. Вы, Пётр Лаврентьевич, часто пренебрегаете конкретными обстоятельствами.

— Нет уж, простите, Виктор Павлович, не я, а вы ими пренебрегаете,— сказал Соколов,— уже конкретней не скажешь: война!

Оба были взволнованы и спорили о том, что следует говорить Штруму, если план работы будет оспариваться в Москве.

— Я не собираюсь вас учить, Виктор Павлович,— говорил Соколов,— но в Москве много дверей, а вы не знаете, в какую именно надо постучать.

— Уж ваша опытность известна,— сказал Штрум,— вы до сих пор ухитрились не получить лимита и прикреплены к худшему в Казани распределителю научных работников.

Они всегда обвиняли друг друга в житейской непрактичности, когда хотели сказать приятное.

Соколов подумал, что дирекции института следовало позаботиться о лимите для него — сам он из гордости никогда не будет об этом просить. Но он, конечно, не сказал об этом и пренебрежительно качнул головой:

— Вы ведь знаете, насколько такие вещи для меня безразличны.

Разговор перешел на то, как будет вестись работа в отсутствие Штрума.

Днем сотрудник хозяйственной части горсовета, рябой мужчина в синих галифе, удивленно и недоверчиво оглядел Штрума, вручил ему пропуск и билет на завтрашний скорый поезд. Штрум, сутулый, худой, с такой взъерошенной шевелюрой, словно он не занимался сложными вопросами физики, а писал музыку для цыганских романсов, совсем не походил на профессора. Штрум сунул билет в карман и, не спросив, когда идет поезд, стал прощаться с сотрудниками.

Он обещал передать общий привет и отдельные приветствия старшей лаборантке Анне Степановне, оставшейся в Москве с частью институтского оборудования, выслушал женские восклицания: «Ах, Виктор Павлович, как я вам завидую — послезавтра вы будете в Москве» — и под общий шум: «Счастливого пути, ни пуха ни пера, возвращайтесь скорей» — отправился домой обедать.

По дороге домой Штрум все думал о неутвержденном плане, вспоминал свою зимнюю встречу с директором Иваном Дмитриевичем Суховым, приехавшим в декабре из Куйбышева в Казань.

Сухов при этой встрече был необычайно любезен, тряс Штруму обе руки, расспрашивал о здоровье, о родных, о бытовых условиях. Но тон у него был такой, словно он приехал не из Куйбышева, а из окопов переднего края и разговаривает со слабым и робким гражданским лицом.

К плану работ, предложенному Штрумом, он отнесся отрицательно.

Ивана Дмитриевича обычно мало интересовала суть дела, но его горячо занимали многие побочные обстоятельства. Он обладал узким практическим жизненным опытом, помогавшим угадывать, что? ближайшие его начальники, от которых зависят успехи и положение Сухова, считают важным и нужным. Ему случилось жестоко обрушиваться сегодня на то, к чему вчера относился он с горячей симпатией.

Когда люди начинали невпопад, совершенно не зная дипломатической ситуации, кипятиться и спорить, они ему казались наивными и совершенно не понимающими, что к чему.

Он в разговорах подчеркивал, что в его отношении к делам и к людям нет ничего личного, для него важен лишь интерес общий. Но он никогда не задумывался над одной странностью — он всегда гармонично соединял свои взгляды и их внезапное изменение с успехами своей частной жизни.

[— Иван Дмитриевич,— сказал ему Виктор Павлович, когда они заспорили о плане работ,— откуда мы грешные, вы да я, можем знать, что в научных изысканиях важно народу? Вся история науки... и я вообще не властен над теми чувствами, которыми живу с детских лет. Я вам расскажу, когда мне купили в детстве аквариум...

Он оглянулся на сострадательное, улыбающееся лицо Сухова, запнулся и проговорил:

— Это не имеет отношения к делу, простите, впрочем, именно это и имеет отношение к делу, как это ни странно.

— Я прекрасно вас понимаю,— сказал Иван Дмитриевич,— но поймите и вы: аквариум тут ни при чем, речь идет о вещах более важных, чем аквариум. Сейчас не время заниматься теоретическими вопросами.

Штрум обиделся и почувствовал, что через минуту вспылит и не сможет контролировать свои слова.

И действительно, он вспылит и не смог контролировать свои слова.

— Физикой, плохо ли, хорошо, занимаюсь я,— резко сказал он,— почему же вы, чиновник, поучаете меня? Это, согласитесь, трудно понять.

Он увидел, как покраснел Иван Дмитриевич, как неодобрительно нахмурились все присутствующие. Он подумал: «Теперь уже не попрошу, чтобы он ходатайствовал в Татсовнарком о лучшей квартире...» Его удивило, что Иван Дмитриевич не возмутился, а, наоборот, глаза его стали виноватыми, ресницы заморгали, как у собравшегося плакать мальчика. Но это длилось секунду, затем Иван Дмитриевич сказал:

— Вам, по-видимому, надо отдохнуть, у вас нервы не в порядке,— а затем добавил: — Что касается вашего плана, могу повторить лишь то, что сказал вам: мне кажется, он не отвечает современным запросам, я буду возражать против него.]

Из Казани Сухов поехал обратно в Куйбышев, а затем в Москву. Там он прожил полтора месяца и сообщил телеграммой, что скоро приедет в Казань.

Но в Казань он не приехал — Сухова вызвали в Центральный Комитет, жестоко раскритиковали методы его работы, сняли с должности и послали преподавать в Барнаульский институт сельскохозяйственного машиностроения. Временно Сухова замещал молодой кандидат наук Пименов, когда-то работавший у Штрума аспирантом. Вот о предстоящей в Москве встрече с ним и думал Штрум, шагая по казанской улице.

31

Людмила Николаевна встретила мужа в передней и, снимая щеткой с его плеч казанскую пыль, стала расспрашивать о тех обстоятельствах поездки, которые всегда интересуют жен, стоящих на страже величия своих мужей.

Она спросила, кто прислал телеграмму, обещана ли машина для поездки на вокзал, в какой вагон даны билеты — мягкий, международный или в жесткий плацкартный. Усмехнувшись, она сказала, что профессору Подкопаеву, с чьей женой она была в плохих отношениях, телеграммы не прислали. Потом она, сердито махнув рукой, добавила: «Все это такие пустяки, а в голове молот день и ночь стучит: „Толя, Толя, Толя...“»

Надя вернулась домой поздно, она была в гостях у своей подруги Аллы Постоевой.

Штрум слышал по звуку легких и осторожных шагов, что в комнату вошла дочь, и подумал: «Какая она худенькая, села на скрипучий диван — и пружина не скрипнула».

Не поворачивая головы, он сказал:

— Добрый вечер, дочка,— и продолжал быстро писать. Она не ответила.

Прошло довольно много времени в молчании, и Штрум, снова не поворачиваясь, спросил:

— Ну, как там Постоев, пакует чемодан?

И опять Надя не ответила ему. Штрум постучал пальцем по столу, словно призывал кого-то к тишине. Ему хотелось закончить до отъезда одно математическое рассуждение, так как он знал, что, незаконченное и непроверенное, оно будет его тревожить в дороге,— в Москве же вряд ли будет время сосредоточиться. Казалось, он совсем забыл о дочери, но вдруг повернулся к ней и сказал:

— Ты чего сопишь, сопуха?

Она, глядя на него сердитыми глазами, быстро проговорила:

— Не хочется мне в колхоз на полевые работы ехать на август. Алка Постоева никуда не едет, а мама без меня меня женила, была в школе и записала и даже меня не спросила. Приеду к сентябрю — и сразу занятия, а девочки говорят, кормят-то в колхозе не очень, а работы столько, что и купаться в речке редко успевали.

— Ладно, ладно, иди спать, ничего нет страшного,— сказал Штрум.

— Конечно, страшного ничего,— сказала Надя и пожала сперва одним плечом, потом другим,— но ты-то небось в колхоз сам не поедешь.— И насмешливым голосом добавила: — Ох уж этот мне сознательный папа, сам-то он в Москву едет.

Она поднялась и, уже стоя в дверях, сказала:

— Да, Ольга Яковлевна рассказывала, она возила вечером подарки раненым на вокзал, и вдруг в одном санитарном поезде оказался Максимов; он был два раза ранен и теперь едет в Свердловск, выйдет из госпиталя — и снова займет кафедру в МГУ.

— Какой Максимов? Обществовед? — спросил Штрум.

— Да нет же, боже мой, наш дачный сосед, биохимик, ну вот что чай у нас пил на даче перед самой войной, понял? — сказала Надя.

Штрум взволновался.

— Может быть, поезд еще на станции? Мы немедленно поедem с мамой.

— Нет, ушел,— сказала Надя.— Постоиха зашла к нему в вагон — уже звонок был. Он и рассказать ничего не успел.

А поздно ночью перед сном Штрум поссорился с женой.

Показывая на худые, загорелые руки спящей Нади, он сказал, что напрасно Людмила настаивает на Надиной поездке в колхоз, пусть лучше перед трудной зимой отдохнет.

Людмила Николаевна ответила, что в Надином возрасте все девочки худые, и она была худее Нади, и что есть тысячи семей, где школьники летом работают на производстве, а в деревнях участвуют в тяжелых работах.

Виктор Павлович сказал:

— Я говорю о том, что девочка худеет, а ты начинаешь мне рассказывать бог весть о чем. Ты посмотри, какие у нее ключицы, и губы бледные, малокровные. Настаиваешь ты по каким-то для меня совершенно непонятым соображениям. Приятней тебе, что ли, когда тяжело приходится обоим детям. Мне это непонятно.

Людмила Николаевна посмотрела на него ставшими молодыми и светлыми от горя глазами и сказала холодно:

— Толина судьба тебя мало волнует.

— Не надо, не надо, прости,— сказал Штрум.

Они часто спорили, а иногда и ссорились, но ссоры их не были продолжительны.

Виктор Павлович не задумывался о своих отношениях с женой. Они вступили в ту полосу, когда долготелная привычка друг к другу как бы стирает значительность и важность этих отношений, якобы тускнеющих в повседневности. Их отношения вступили в ту полосу, когда лишь жизненные потрясения вдруг делают понятным, что долготелная и повседневная близость и привычка, собственно, и являются тем значительным и в истинном, высоком смысле поэтичным, что связывает двух людей, рядом идущих от молодости до седых волос. И Виктор Павлович никогда не замечал того, над чем обычно посмеивались его домашние. Приходя домой, он первым делом спрашивал у детей:

— Мама дома?.. Как, нет дома?.. Где она?.. Скоро придет?

Когда же Людмила Николаевна опаздывала, он бросал работу, охал, бродил по квартире, собирался искать ее, снова спрашивал:

— Куда же она пошла, какой дорогой, как себя чувствовала, уходя? И зачем ходить в те часы, когда столько машин и троллейбусов!

Но как только Людмила Николаевна приходила домой, Штрум сразу же успокаивался, садился за стол работать и на все ее вопросы рассеянно говорил:

— А? Что? Не мешай мне, пожалуйста, я работаю...

Все это умела очень смешно показывать на кухне Толе и домашней работнице Варе Надя, у которой, как у большинства склонных к задумчивости и молчаливых людей, бывали минуты особенной, всех заражающей веселости. Толя хохотал, а Варя вскрикивала: «Ой, не могу, ну точно, точно Виктор Павлович».

Виктор Павлович знал еще одно неизменное чувство. Оно освещало внутренний мир его. Где-то в глубине души постоянно ощущал он спокойный, грустный свет, сопутствующий ему всю жизнь,— любовь матери.

32

[Людмила Николаевна не любила родственников Виктора Павловича и неохотно с ними встречалась. Родственники Виктора Павловича делились на преуспевающих — их было мало — и на таких, о которых говорилось в прошедшем времени: «Он был знаменитым присяжным поверенным, жена его считалась первой красавицей в городе», «Он когда-то гремел на юге, чудесно пел». Виктор Павлович встречал своих родичей ласково и с интересом разговаривал о всяких семейных событиях, причем эти старые люди, вспоминая прошлое, говорили с ним даже не о своей давно прошедшей молодости, а о каких-то совершенно мистических временах, когда были молоды родственники еще более старого поколения.

Людмила Николаевна никак не могла разобраться в этой сложной родне: кузины, двоюродные кузины, старые тетки и дядьки...

Муж говорил ей:

— Ну как же ты не можешь понять, чего проще: Мария Борисовна — вторая жена Осипа Семёновича, а Осип Семёнович — сын покойного дяди Ильи, я ведь говорил тебе о нем, он был страстный картежник, родной брат покойного отца. А Вероника Григорьевна — племянница Марии Борисовны, то есть дочь родной сестры ее, Анны Борисовны. Она теперь замужем за Петром Григорьевичем Мотылевым. Вот и все.

Людмила Николаевна отвечала:

— Нет, уж прости, такие вещи можешь понять ты да немного Эйнштейн, а я дура, я этого не разбираю.]

Виктор Павлович был единственным сыном Анны Семёновны Штрум: она овдовела, когда сыну было пять лет.

Окончив университет, она жила в Киеве, работала в клинике у известного профессора, специалиста по глазным болезням.

В Киеве Анна Семёновна одно время встречалась с Ольгой Игнатьевной Бибиковой, вдовой капитана дальнего плавания. Капитан навез Ольге Игнатьевне множество подарков из дальних стран: коллекции бабочек, ракушек, точенные из кости и высеченные из камня фигурки. Анна Семёновна, вероятно, не знала, что для ее сына эти вечерние хождения к Ольге Игнатьевне значат больше, чем занятия в школе и с учительницами языков и музыки.

Особенно привлекала Витю коллекция мелких ракушек, собранных на побережье Японского моря: золотистых и оранжевых — закаты маленького солнца; голубоватых, зеленых, молочно-розовых — рассвет на маленьком море. Их формы были необычайны — тонкие шпаги, кружевные шапочки, лепестки вишневого цвета, известковые звездочки и снежинки. А

рядом стоял застекленный ящик с тропическими бабочками, еще более яркими — клубы фиолетового дыма, языки красного пламени застыли на их огромных резных крыльях. Мальчику казалось тогда, что ракушки подобны бабочкам, они летают под водой, среди водорослей, при свете то зеленого, то голубого подводного солнца.

Он увлекся гербариями, коллекциями насекомых, ящики его стола и карманы всегда были полны образцами минералов и металлов.

Кроме коллекций, у Ольги Игнатьевны имелись два больших аквариума. Среди подводных роиц и лесов паслись рыбки, по красоте своей равные бабочкам и океанским раковинам: сиреневые, перламутровые, с кружевными плавниками — гурами; макроподы с лукавыми кошачьими мордочками, в красных, зеленых и оранжевых полосах; стеклянные окуни — сквозь прозрачные, слюдяные тельца их просвечивались темные пищеводы и скелетики; пучеглазые телескопы, розовые вуалехвосты — живые картофелины, заворачивающиеся в длинные, тончайшие, как папиросный дым, хвосты.

[Анне Семёновне хотелось баловать сына и одновременно привить ему суровую привычку к обязательному, длительному каждодневному труду. Иногда он казался испорченным, избалованным, ленивым. «Taugenichts!» («Бездельник!») — кричала ему мать, когда он приносил дурные отметки. Он любил читать, но иногда не было силы, которая могла бы его заставить раскрыть книгу. Пообедав, он убежал во двор и возвращался вечером возбужденный, тяжело дыша, точно за ним гнались до самых дверей волки. Жадно и быстро он съедал ужин и ложился в постель, мгновенно засыпал. А однажды она, стоя у окна, слышала, как ее застенчивый слабенький сын кричал во дворе: «Скотина, я тебя кирпичом по сопатке стукну», и произносил он по-боссячки — «кэрпич», а не «кирпич».

Однажды мать ударила его: он обманул ее, сказав, что идет к товарищу готовить уроки, и, взяв из ее сумки деньги, отправился в кинематограф. Ночью мальчик проснулся, точно суровый, долгий материнский взгляд толкнул его, приподнявшись на колени, обнял ее за шею. Она отстранила его.]

Мальчик вырослел, менялся внешне, менялась его одежда. И вместе с его внешностью, толщиной костей, голосом, одеждой менялся его внутренний мир, привязанности, менялась любовь к природе.

К пятнадцати годам он увлекся астрономией, добывал увеличительные стекла — из них он комбинировал небесную трубу.

В нем постоянно шла борьба между жадной жизненной практики и интересом к абстракции, к чистой теории. По-видимому, в ту пору он бессознательно старался примирить эти два мира — интерес к астрономии был связан с мечтами об устройстве обсерватории в горах, открытие новых звезд связывалось в его мечтах с опасными и трудными путешествиями. Противоречие между жадной жизненной практикой и абстрактным складом его ума сидело в нем где-то очень глубоко; с годами лишь он нащупал, понял это.

В детстве было жадное любованье предметами: он раскалывал молотком камни, гладил гладкие грани кристаллов, изумлялся, ощущая тяжесть ртути и свинца. Ему недостаточно было наблюдать рыбку в аквариуме, и он, засучив рукав, ловил ее, осторожно держал ее, не вынимая из воды. Ему хотелось уловить чудный, яркий мир предметов в сети осязания, зрения, обоняния.

А в семнадцать лет он волновался, читая книги по математической физике, где на страницу текста приходилось десять—пятнадцать бледных связующих слов: «и следовательно», «и далее», «таким образом» — и где весь пафос и мощь мышления выражались дифференциальными уравнениями и преобразованиями, необходимыми и в то же время неожиданными.

В эту пору у Штрума завязалась дружба со школьным товарищем Петей Лебедевым, увлекавшимся математикой и физикой; он был на полтора года старше Штрума. Они вместе читали книги по физике, мечтали совместно произвести открытия в области строения вещества. Но Лебедев, выдержав приемные испытания в университет, ушел с комсомольским отрядом на фронт и вскоре был убит в бою где-то под Дарницей {58}. Судьба Лебедева потрясла Штрума: он неотступно думал о своем друге, который предпочел путь солдата революции работе ученого.

Спустя год Штрум поступил на физико-математический факультет Московского университета. Его увлекли работы, посвященные ядерным и электронным энергетическим законам.

Поэзия самой глубокой тайны природы была велика. На темном экране вспыхивали фиолетовые огоньки-звездочки; невидимые частицы, проносясь, оставляли после себя туманные кометные хвосты сгустившегося пара; стройная стрелка тончайшего электрометра вздрагивала, отмечая потрясение, которое вызывали невидимые дьяволы, наделенные безумной скоростью и силой. Великие силы бурлили под поверхностью материи. Эти вспышки на темном экране, показания масс-спектрографа, разгадывающего заряд атомного ядра, потемнение фотографической пластинки — все это были первые разведчики гигантских сил, ворочающихся во сне и вновь притихающих... Страстно хотелось пробудить эти силы, заставить их взреветь, выйти из тьмы берлоги.

Обратимый переход через грань, отделяющую и связывающую вещество с квантами энергии, в рамках одного математического преобразования! Сказочная по сложности и по грубой простоте принципа опытная аппаратура — мост между высоким каменистым берегом обычных представлений и ощущений и скрытой в глухоманном тумане областью ядерных сил.

Но удивительно, но странно! Именно в этом глухоманном царстве квантов и протонов была высокая материальная сущность мира.

Учась в университете, Штрум вдруг объявил матери, что научные занятия его не удовлетворяют, и поступил рабочим на Бутырский химический завод, в самый тяжелый краскотерочный цех. Зимой он учился и работал, а летом не поехал на каникулы, продолжая работать на заводе.

Казалось, он совершенно и весь изменился. Но чувство, которое испытывал в детстве Штрум, наблюдая и преследуя возникавших, подобно чуду, в густой зеленой воде рыбешек, вновь и вновь приходило каждый раз, когда среди противоречивых рассуждений, среди неточных опытов, толкающих иногда к верным выводам, среди тончайших опытов, ставивших иногда исследователя в тупик перед стеной нелепости, он вдруг ощущал догадку, подобную сверкнувшему и схваченному рукой чуду.

Ныне материя не осязалась, не была видима, но реальность бытия ее, реальность атомов, нейтронов, протонов была не менее яркой, чем реальность бытия земли и океанов.

Казалось, он достиг того, о чем мечтал в юности. И все же его не оставляла душевная неудовлетворенность. Минутами ему представлялось, что главный поток жизни идет мимо него, и ему хотелось слить воедино, соединить свою кабинетную работу с тем делом, которое творилось на заводах, в шахтах, на стройках страны, создать тот мост, который соединил бы разрабатываемую им физическую теорию с благородным и тяжелым трудом миллионов рабочих. Он вспоминал друга далеких детских лет в красноармейском шлеме, с винтовкой за плечом — и воспоминание это обжигало его, будоражило.

Ученый с мировым именем, один из выдающихся русских физиков, широкоплечий, большерукий, широколобый, он напоминал пожилого кузнеца-молотобойца.

Пятидесяти лет он с помощью двух своих сыновей-студентов срубил бревенчатый загородный дом, сам обтесывал тяжелые бревна, сам выкопал колодец возле дома, построил баню, проложил дорогу в лесу.

Он любил рассказывать об одном деревенском старике — Фоме неверующем, который все сомневался в его плотничьих способностях. Однажды этот старик будто бы хлопнул его по плечу, признав в нем своего брата, умелого труженика, и, перейдя на «ты», лукаво сказал:

— Слышь, Петрович, приходи ко мне — сарай мне поставишь, рассчитаемся с тобой без обиды.

Жить в летние месяцы в этом загородном доме Чепыжин не любил и обычно вместе со своей женой Надеждой Фёдоровной отправлялся в далекие двухмесячные путешествия. Они побывали в дальневосточной тайге и на тянь-шаньских высотах возле Нарына {59}, и на берегу Телецкого озера возле Ойрот-Туры {60}, и на Байкале, и спускались на весельной лодке до Астрахани по Москве-реке, Оке и Волге, исходили Брянские леса от Карачева до Новгород-Северского и Мещерские леса за Рязанью. Обычай этот завели они со студенческих времен и сохранили неизменно и в ту пору, когда людям, кажется, уж более подходит отдыхать в санаториях и на дачах, а не шагать лесными и горными дорогами с зелеными мешками за плечами. Во время этих путешествий Дмитрий Петрович вел подробный дневник.

В этом дневнике был специальный раздел — «лирический», посвященный красоте природы, закатам и восходам солнца, летним грозам в горах, ночным лесным бурям, звездным и лунным ночам. Но описания эти Дмитрий Петрович читал только жене. Охоты и рыбной ловли Чепыжин не любил.

Когда осенью, вернувшись из путешествия, он председательствовал на заседаниях в Институте физики либо сидел в президиуме на сессии Академии наук, странно выглядело его лицо среди лиц седовласых коллег и сидящих учеников, побывавших летом в Барвихе, в Узком либо на своих подмосковных, лужских и сестрорецких дачах {61}. Темноволосый, почти без седины, он сидел, насупив суровые брови, подпирая большую голову жилистым, коричневым кулаком, поглаживая ладонью другой руки свой широкий подбородок и худые щеки с въевшимся в них загаром. Такой жестокий загар метит обычно лицо, шею, затылок людей тяжелой жизни, тяжелого труда: рабочих на торфоразработках, солдат, землекопов. Это загар людей, редко спящих под крышей, загар не только от солнца, но и ночной загар, рожденный палящим ночным ветром, заморозками, предрассветным холодным туманом. В сравнении с Чепыжиным болезненные старики с мягкими седыми волосами, с молочно-розовой кожей, прочерченной синими жилками, казались старыми голубоглазыми барашками и ангелочками рядом с широколобым бурым медведем.

Штрум помнил свои юношеские разговоры с покойным Лебедевым о Чепыжине.

Лебедев мечтал встретиться с Чепыжиным. Ему хотелось работать под его руководством и в то же время спорить с ним о философских выводах физической науки.

Но Лебедеву не пришлось учиться физике у Чепыжина, не пришлось с ним поспорить.

Удивляло людей, знавших Дмитрия Петровича, не то, что он любил бродить по лесам, работать топором и лопатой, что он писал стихи и увлекался живописью. Удивляло и восхищало то, что при широчайшем круге жизненных интересов, при множестве своих увлечений Дмитрий Петрович был человеком, одержимым одной страстью. Люди, хорошо знавшие его — жена, близкие друзья,— понимали, что все его увлечения имели единую

основу. Эта единая основа состояла в том, что любовь к русским лесам и полям, и собирание картин Левитана и Саврасова, и дружба со стариками крестьянами, приезжавшими к нему в гости в Москву, и огромные усилия, положенные им в свое время на организацию московских рабфаков, и интерес к старинным народным песням, и постоянный интерес к работе новых отраслей промышленности, и страстная любовь к Пушкину и Толстому, и даже трогательная, смешившая некоторых, забота о живших в его доме обитателях родных лесов и полей — еже, синицах, снегирях,— все, все это было единой основой, на которой единственно и могло существовать казавшееся надземным здание его науки.

Весь мир человеческой абстрактной мысли, поднявшийся на огромную высоту, откуда, казалось, не только нельзя было различить моря и континенты, но и самый шар земли, весь этот мир прочно, корнями, ушел в родную землю, от нее питался живыми соками и, вероятно, без нее не мог бы жить.

В людях, подобных Чепыжину, живет простое и сильное чувство, пришедшее в самые ранние годы отрочества. Это чувство, сознание единой жизненной цели, чувство, сознание, с которым человек проходит через жизнь до седых волос, до последнего дня. Это то чувство, что описал Некрасов в своих стихах «На Волге», вспоминая о мальчике, увидевшем бурлаков: «...какие клятвы я давал...» {62}; это чувство, которое потрясло на Воробьевых горах подростков Герцена и Огарёва {63}.

Но некоторым людям главное чувство цели кажется наивным пережитком, случайно и ненужно сохранившимся. Ощущения и мысли, связанные с каждодневной мелочной суетой, заполняют их духовный мир; такие люди не склонны к душевным преобразованиям, которые, подобно математическим, сокращают случайные величины, усложняющие, но не определяющие сущность явлений, они не склонны сокращать, отбрасывать, пренебрегать тем, чем можно и должно пренебречь. Многие люди подчинены поверхностной пестроте жизни. Они не ощущают единства в этой пестроте. Эти люди лишь в роковой час судьбы, лишь под самый конец жизни вдруг ощущают незначительность быстро вянущей, изменчивой и случайной суеты, вновь видят то самое простое и самое важное, что им представлялось наивным либо недостижимым. Это то, что люди называют: «подойдя к концу жизни, он вдруг понял», «оглянувшись назад, увидел и тогда понял...» Такие люди часто пожидают малые, но сытные успехи. Но такие люди никогда не могут выиграть большую битву с жизнью, как не может победить полководец, не имеющий плана, не воодушевленный любовью к народу, не имеющий благородной и простой цели в войне, которую он ведет,— его боевая суета может отбить у врага город, опрокинуть полк, дивизию, но не ведет к стратегической победе. Часто позднее понимание различия важного и пустого уже не служит руководством к жизненному действию. Оно приходит в пору, когда человек подводит итог своих случайных жизненных обстоятельств и действий и произносит горькие, но не имеющие значения для дальнейшего его существования слова: «О, если б я снова начал жизнь».

Есть натуры и характеры, для которых это простое, юношески ясное, лежащее в глубине души и сознания чувство и представление о смысле и цели жизни является руководством к действию, определяет поступки, решения, планы, всю жизнь человека. Такие натуры и характеры сравнительно часто оставляют по себе след в человеческом обществе, их труд, их мысль направлены на творчество и борьбу, а не на мелкие дела, не на молекулярные движения, подчиненные сегодня только интересам сегодняшнего, а завтра, когда исчезнут сегодняшние интересы,— интересам завтрашнего дня.

Простое чувство: «я хочу, чтобы людям труда жилось свободно, счастливо, богато, чтобы общество было устроено свободно и справедливо» — лежало в основе многих замечательных жизней революционных борцов и мыслителей.

Число примеров можно расширить, охватить ими деятелей точной науки, путешественников, садоводов, строителей, оросителей пустынь. Этим ясным, юношески чистым чувством и

знанием великой цели наделены многие и многие советские люди, строители нового мира — рабочие, колхозники, инженеры, ученые, учителя, врачи... Они сохраняют его до седых волос.

Штрум навсегда запомнил первую лекцию Чепыжина, его густой, чуть-чуть сипловатый голос, то учительски снисходительный и неторопливый, то вдруг быстрый и страстный; голос, точно принадлежащий политическому агитатору, а не профессору, излагающему физическую теорию студентам университета. Формулы, которые он писал на доске, тоже не были бесстрастными выражениями новой механики невидимого мира сверхэнергий и сверхскоростей, а казались призывами и лозунгами — мел скрипел и сыпался, иногда он постреливал, когда рука профессора, привыкшая не только к перу и тонким кварцевым и платиновым приборам, но и к топору и лопате, с размаху, как гвоздь, вбивала точку либо выводила лебединую шею интеграла. Эти формулы напоминали фразы, полные человеческого содержания, фразы, говорящие о сомнении, вере, любви. И Чепыжин подчеркивал это чувство, расставляя, точно в листовке либо в страстном личном письме, знаки вопроса, многоточия, победные восклицательные знаки. Больно стало, когда после лекции дежурный начал стирать с доски все эти радикалы, интегралы, дифференциалы, тригонометрические обозначения, греческие альфы, дельты, эpsilonны, кси, объединенные умом и волей человека в боевую дружину. Казалось, эту доску надо сохранить, как сохраняют ценные рукописи.

И хоть много лет прошло с тех пор, и самого Штрума уже слушали студенты, и он сам писал мелом на черной доске, чувство, которое он испытывал, слушая первую лекцию своего учителя, неизменно жило в нем.

Каждый раз, входя в кабинет к Чепыжину, Штрум волновался, а вернувшись из института, по-ребячьи хвастливо докладывал домашним либо друзьям: «Сегодня гуляли с Чепыжиным, дошли до Шаболовской радиостанции...», «Чепыжин пригласил нас с Людмилой на встречу Нового года...», «Дмитрий Петрович считает, что моя лаборатория работает в правильном направлении...»

Штруму запомнился один разговор с Крымовым по поводу Чепыжина. Это было за несколько лет до войны. Крымов приехал с Женей на дачу после многодневной, напряженной работы.

Людмила уговорила его снять суконную гимнастерку, надеть пижаму Виктора Павловича {64}. Крымов сидел в тени цветущей липы с блаженным выражением лица, которое всегда приходит к людям, приехавшим за город и после долгих часов, проведенных в жарких, прокуренных комнатах, вдруг испытавшим простое и полное физическое счастье оттого, что в мире есть душистый, свежий воздух, холодная колодезная вода, шум ветра в ветвях сосен.

Штруму запомнилось это выражение счастья на утомленном лице Крымова, — казалось, ничто не могло заставить его выйти из состояния покоя. И должно быть, именно поэтому поразила Штрума внезапная перемена, происшедшая с Крымовым, едва разговор о прелестях клубники с сахарным песком и холодным молоком перешел на «городские» темы.

Штрум сказал о том, что накануне видел Чепыжина и тот рассказывал ему о задачах новой лаборатории, организованной в Институте физики.

— Да, грандиозный ученый, — сказал Крымов, — но там, где он отходит от своих работ по физике и пытается философствовать, он, случается, противоречит самому себе как физику, не разбирается в марксистской диалектике.

Людмила Николаевна сразу вспыхнула и набросилась на Крымова:

— Да как вы можете в таком тоне говорить о Чепыжине?

А Крымов, словно не он только что благодумствовал под цветущей липой, нахмурился и сказал:

— Уважаемый товарищ Люда, в подобном случае разговор у революционного марксиста один — будь то отец родной, Чепыжин либо сам Ньютон.

Штрум знал, что Крымов прав, не раз и покойный Лебедев говорил о том же.

Но и его рассердил резкий тон Крымова.

— Знаете, Николай Григорьевич,— сказал он,— в своей правоте вам следует все же задуматься, почему такие люди, столь несовершенные в теории познания, так сильны в самом познании.

Крымов сердито посмотрел на него и проговорил:

— Это не довод в философском споре. Вы отлично понимаете, что история науки знает примеры, когда ученые в своих лабораториях являются стихийными проповедниками диалектического материализма, его последователями, его сыновьями, они беспомощны и бессильны при малейшем отступлении от него... Но едва эти же люди начинают вырабатывать свою доморощенную философию, они этой кустарной философией не могут объяснить явлений жизни, сами того не понимая, борются против своих собственных замечательных научных достижений. Я непримирим потому, что люди, подобные вашему Чепыжину, их замечательные труды дороги мне не меньше, чем вам.

Проходили годы, а связи Чепыжина со своими учениками, переходившими к самостоятельной научной работе, не ослабевали. Это была рабочая, живая, свободная, демократическая связь, объединявшая учителя с учениками крепче, сильнее, чем любые другие скрепы и связи, придуманные и созданные человеком.

34

В день отъезда в Москву утро выдалось прохладное и ясное.

Виктор Павлович, поглядывая в раскрытое окно, слушал последние наставления Людмилы.

Людмила Николаевна втолковывала мужу, в каком порядке разложены вещи в чемодане, куда положены пакетики яичного порошка, перетрум {65}, стрептоцид, старые газеты на завертку папирос из самосада, какие продукты следует есть в первую очередь, какие оставить под конец путешествия, просила привезти обратно пустые баночки и бутылки — в казанской эвакуации добыть все это представляло много хлопот.

— Так не забудь же,— говорила она,— список вещей, которые необходимо привезти с дачи и из квартиры, в твоём бумажнике, рядом с паспортом.

Прощаясь, она обняла мужа и сказала:

— Не переутомляйся, дай мне слово, что в случае воздушной тревоги обязательно будешь спускаться в подвал.

Виктор Павлович сказал:

— Помню свою первую самостоятельную поездку поездом во время гражданской войны. Мама положила деньги в специальный мешочек и пришила его с внутренней стороны рубахи. Тогда главными опасностями были сыпняк и бандиты...

Но когда автомобиль отъехал от дома, Штрум забыл о волнении, охватившем его при

прощании. Утреннее солнце красило городские деревья, поблескивающую, увлажненную росой мостовую, запыленные стекла, лупящуюся штукатурку и кирпич стен.

Постоев, полный, высокий, бородатый, уже ждал у ворот, возвышаясь на голову среди своего семейства: жены, дочери Алочки и худого, бледнолицего сына-студента.

Сидя в автомобиле, Постоев, привалившись к Виктору Павловичу, сказал, косясь на оттопыренные уши седого шофера:

— Вы говорите, реэвакуироваться... Некоторые осмотрительные люди уже вывезли семьи из Казани в Свердловск либо в Новосибирск.

Шофер повернулся к ним вполоборота и сказал:

— Вчера, говорят, немецкий разведчик летал.

— Ну и что ж, и наши разведчики над Берлином летают,— сказал Постоев.

Даже яркое утреннее солнце было бессильно скрасить суровый вид военного вокзала: дети, спящие на узлах и ящиках, старики, медленно жующие хлеб, женщины, одуревшие от усталости, от детского крика, призывники с большими мешками за плечами, бледнолицые раненые и едущие на переформирование красноармейцы...

В мирные времена среди едущих в поездах не только деловые люди и командированные: едут веселые курортники, студенты-отпускники и практиканты, едут разговорчивые, умные старухи поглядеть вышедших в большие люди сыновей, едут дети оказать почет старикам, а главное, много народу едет домой, на побывку в родные места.

Но в ту пору войны сурово и печально выглядели люди в поездах и на вокзалах.

Виктор Павлович пробирался следом за носильщиком по станционному залу. Вдруг послышался крик: оказалось, в суতোлке у колхозницы украли документы и деньги. Мальчик в штанишках, сшитых из плащ-палатки, жался к ней, ища защиты и утешения и стараясь утешить, а мать, держа на руках грудного ребенка, кричала отчаянным голосом — что было ей делать без билета, без денег, без справки из колхоза?

Когда Штрум проходил мимо, женщина, взглянув на него, на мгновение замолчала; страдающие, напряженные глаза ее встретились с его глазами, может быть, ей показалось, что этот человек [в белом плаще и шляпе] хочет помочь ей, выдаст документы, билет.

Тяжело подошел к платформе разгоряченный паровоз, поплыли запыленные вагоны. Проводник, недоверчивый к пассажирам, садящимся на промежуточных станциях, стал разглядывать билеты. «Свои» пассажиры, офицеры, едущие из госпиталей, и командированные в Москву инженеры уральских заводов выскакивали на перрон, спрашивали: «Где базар — далеко?.. Кипяток где?.. Сводку слушали, что в сводке?.. Почему тут яблоки?..» — и бежали к зданию вокзала.

Постоев и Штрум вошли в вагон, и ощущение спокойствия коснулось их, едва они увидели ковровую дорожку, пыльные зеркальные стекла, голубоватые чехлы на диванах. Шум вокзала не был слышен, но чувство покоя и удобства смешалось с тревогой и грустью: все в вагоне напоминало о мирном времени, а все вокруг дышало пронзительной бедой и горем. Поезд стоял недолго, вскоре грохотнуло негромко — подцепили к составу паровоз, к вагонам побежали офицеры и уральские инженеры, одни держа на весу чайники и кружки, другие прижимая к груди помидоры, огурцы, газетины с лепешками и рыбой.

Пришло томительное мгновение, когда все едущие ждут рывка паровоза, и даже те, кто покидает дом и близких, жаждут движения, словно оно приблизит их к дому, а не оторвет от

него. В коридоре какая-то женщина, сразу потеряв интерес к Казани, озабоченно сказала:

— Проводники обещают, что в Муроме мы будем днем, там, говорят, лук дешевый!

Мужской голос произнес:

— Сводку читал? Этак немцы и к Волге подойдут, я ведь все те места знаю.

Постоев надел пижаму, прикрыл лысину тубетейкой, полил одеколону из граненого флакона с никелированной крышечкой на руки, расчесал гребнем седую плотную бороду, помахал клетчатым платком на щеки и, прислонившись к спинке дивана, сказал:

— Ну-с, как будто едем.

Штруму хотелось скорей избавиться от тягостного чувства тревоги, и он, чтобы развлечься, то глядел в окно, то наблюдал за румяным жизнелюбом Постоевым. У Постоева было больше ученых заслуг, чем у его молодого коллеги. Его манеры, раскатистый голос, снисходительные шутки, рассказы о великих ученых, которых он называл по имени и отчеству, всегда импонировали людям. По роду работы ему часто, чаще, чем другим, приходилось встречать крупных деятелей, руководивших хозяйством страны, наркомов, директоров знаменитых заводов. Его имя знали тысячи инженеров, его знаменитый учебник был принят во многих вузах. На конференциях и на широких заседаниях Штруму были приятны дружеские чувства Постоева, и он охотно сидел с ним рядом либо гулял с ним в перерывах. И когда он ловил себя на этом, он сердился за свое мелкое тщеславие, но так как на себя долго сердиться трудно, то он начинал сердиться на Постоева.

— Вы помните ту женщину с детьми на вокзале? — вдруг спросил Штрум.

— Жалко ее, так и стоит перед глазами,— сказал Постоев, снимая с полки чемодан, и тоном серьезности и искренности, которым говорит человек, понявший душевное состояние собеседника, добавил: — Да, тяжело, тяжело, дорогой мой... — Нахмурившись, он проговорил: — Как вы относитесь к тому, чтобы закусить? Вот жареная курица.

— Отношусь вполне одобрительно,— ответил Штрум.

Поезд подошел к мосту через Волгу, загрохотал, как телега, выехавшая с проселка на булыжную мостовую.

Внизу лежала Волга, рябая от ветра, в песчаных отмелях; непонятно было, в какую сторону она течет. Сверху река казалась некрасивой, серой, мутной. На холмиках и в лощинах стояли длинноствольные зенитные пушки, среди окопчиков шли два красноармейца с котелками, не оборачиваясь в сторону поезда.

— По теории вероятности, немецкому летчику угодить бомбой в наш мост с летящего на большой высоте и на большой скорости самолета да еще при порывистом, переменном ветре — безнадежное дело. Поэтому безопасней всего во время бомбежки на стратегических мостах,— сказал Постоев.— Но вот как бы нам не попасть под бомбежку в Москве; откровенно говоря, не хочется даже думать об этом.— Постоев поглядел на реку, задумался и проговорил: — Немцы приближаются к Дону. Неужели они вот так будут смотреть на Волгу, как мы с вами на нее смотрим? Кровь леденеет...

В купе у соседей баян заиграл «Из-за острова на стрежень...». Видимо, там тоже после переезда через мост говорили о Волге. [Потом лады ухнули и послышалось: «Сама садик я садила...» Постоев подмигнул в сторону соседнего купе и сказал:

— Умом Россию не понять!]

Поговорив о детях и казанских событиях, Постоев сказал:

— Я обычно наблюдал своих спутников в дороге и заметил: от Казани до Мурома говорят о домашних, казанских делах. В Муроме происходит перелом, и уже разговор идет о том, что будет в Москве, а не о том, что осталось в Казани. Человек в поездке, как тело, движущееся в пространстве, сперва испытывает притяжение одной системы, потом переходит в сферу притяжения другой. Вы сможете это на мне проверить. Похоже, что я сейчас усну, а когда проснусь, буду, наверное, говорить о московских делах.

И он действительно уснул. Штрума удивило, что спал он, как ребенок, совершенно беззвучно,— казалось, что человек такого богатырского телосложения должен мощно храпеть во сне.

Штрум смотрел в окно, и волнение все больше охватывало его. Это была первая поездка Штрума после того, как он в сентябре 1941 года уехал из Москвы. И событие, такое ординарное в мирное время, потрясло: он ехал в Москву!

И оттого, что в поезде как-то поблекли казанские житейские волнения и тревоги, оттого, что вдруг разрядилось постоянное рабочее напряжение мысли, не оставлявшее его ни дома, ни на улице, Штрум не успокоился, как обычно это случалось в долгой и удобной дороге. Другие чувства и другие мысли, те, что вытеснялись в каждодневной работе, в семейных и житейских заботах, поднялись в нем.

И он даже растерялся — такими сильными и властными оказались эти недодуманные мысли и недочувствованные чувства. Каким застала его война, ждал ли он ее? Он думал об академике Чепыжине, вспомнил о профессоре Максимове, о котором вечером рассказывала Надя, с ним были связаны воспоминания последних мирных недель.

Вот прошел год, самый длинный год в его жизни, он снова едет в Москву! Но ведь на сердце по-прежнему тревожно, и по-прежнему мрачные сводки, и война уже подходит к Дону.

Потом Штрум думал о матери. Ведь всегда, когда он говорил себе, что мать погибла, то говорил это так, не из души, а так... Он закрыл глаза и старался представить себе ее лицо. Странно, но лица самых близких людей труднее представить себе, чем лица отдаленных знакомых. Поезд идет в Москву. Он едет в Москву! И с внезапной радостной уверенностью Штрум подумал, что мать жива, что они непременно увидятся.

35

Анна Семёновна жила до войны в зеленом, тихом городке на Украине. Она работала в поликлинике, принимала больных глазными болезнями. В письмах сыну она писала о родственниках, о своих больных, писала о прочитанных книгах... Под окном у нее росла старая груша, и Анна Семёновна сообщала сыну все обстоятельства жизни дерева — о сломанных зимой ветвях, о появившихся почках, листьях. Осенью она писала ему: «Увижу ли снова мою старую подругу в цвету — листья желтеют и опадают».

В марте 1941 года она писала: «Стало не по времени тепло, прилетели аисты, множество их всегда жило в этих краях. В день их прилета резко испортилась погода, и на ночлег они, точно чуя недоброе, сбились все вместе, в парке на окраине города. В ночь началась метель, и аисты десятками гибли, многие, полумертвые, обезумевшие, шатаясь, выходили на шоссе, видимо ища помощи у людей. Молочница рассказывает, что вдоль шоссе лежат окоченевшие птицы».

Письмо матери было странным, полным тревоги. В том же письме мать писала, что хочет летом обязательно приехать, ей все кажется, что война неминуема, каждый раз она со страхом включает радио. «Я лежу ночью в постели, смотрю в темноту и думаю, думаю...»

Вскоре она написала ему, что пришло настоящее тепло. Письмо было спокойное, шутливое.

Штрум ждал мать к себе на дачу в начале июля, но война помешала ее приезду. Последняя открытка, полученная им, была послана Анной Семёновной 30 июня. В этой открытке мать писала лишь несколько строк, видимо, намекала на воздушную бомбардировку: «По несколько раз в день сильно волнуемся. Но что будет со всеми, то будет и со мной». В приписке, сделанной дрожащими буквами, она просила передать привет Людмиле и Толе, спрашивала о Наде, просила поцеловать «ее милые, грустные глаза». И снова мысли Штрума возвращались к тому времени, когда втайне вызревала война, и ему хотелось соединить, связать огромные события мировой истории со своей жизнью, со своими волнениями, привязанностями, болью.

36

Тогда, в предвоенные дни, уже было очевидно, что победа над десятью западноевропейскими государствами далась Гитлеру почти даром, сила его войск не была растрачена. Огромные сухопутные армии концентрировались на востоке Европы. Рождались версии все новых политических и военных комбинаций. В эфире передавались слова Гитлера о том, что судьба Германии и мира ныне решается на тысячу лет.

В семейном кругу, в домах отдыха, в учреждениях люди говорили о политике и войне. Пришла грозная пора, когда мировые события слились с личной судьбой людей, ворвались в жизнь, и даже такие вопросы, как летняя поездка на морское побережье, покупка мебели либо зимнего пальто, решались в зависимости от военных сводок и опубликованных в газетах речей и договоров. Люди часто ссорились, переоценивали сложившиеся отношения. Особенно много споров происходило по поводу силы Германии и отношения к этой силе.

В ту пору вернулся из научной командировки Максимов — профессор-биохимик. Он побывал в Чехословакии, Австрии. Штрум относился к нему без особой симпатии. Румяный и седой Максимов с округлыми движениями, тихой речью казался робким, безвольным, прекраснородным. «С его улыбкой можно чай пить внакладку, — говорил Штрум, — две улыбки на стакан».

Максимов делал доклад на небольшом собрании профессуры. Он почти ничего не сказал о научной стороне своей поездки, больше говорил о впечатлениях, о беседах с учеными, описывал жизнь в городах, оккупированных немцами.

Когда он заговорил о положении науки в Чехословакии, голос его задрожал, и он вдруг крикнул:

— Это нельзя рассказать, это надо видеть! Люди боятся своей собственной тени, товарищей по работе, профессора боятся студентов. Мысли, душевная жизнь, семейные и дружеские узы — все под контролем фашизма. Мой товарищ, с которым я когда-то учился, — мы вместе за одним столом отработывали восемнадцать синтезов по органической химии, нас связывает тридцать лет дружбы, — умолял меня ни о чем не расспрашивать его. Его охватывал ужас при одном предположении о том, что я буду ссылаться на его рассказы и гестапо разгадает, о ком идет речь, если я даже и не буду называть ни фамилии его, ни города, ни университета. В науке царствует фашизм. Его теории ужасны, а завтра они станут практикой. Да они уже стали практикой. Ведь там серьезно говорят о селекции, о стерилизации, мне один врач рассказывал об убийстве душевнобольных и туберкулезных. Это полное помрачение душ и умов. Слова «свобода», «совесть», «сострадание» преследуются, их запрещено говорить детям, писать в частных письмах. Таковы фашисты. Будь они прокляты!

Последние слова он прокричал и, взмахнув рукой, ударил с силой кулаком по столу, ударил так, как может ударить взбешенный волжский матрос, а не тихоголосый профессор с седой

головой и приятной улыбкой.

Выступление его произвело большое впечатление.

Штрум сказал:

— Вы, Иван Иванович, обязаны, это ваш долг, записать все ваши впечатления и опубликовать их...

Кто-то тихо сказал тоном, каким говорят взрослые с детьми:

— Все это не ново, и такие воспоминания вряд ли сейчас следует печатать, в наших интересах укреплять политику мира, а не расшатывать ее.

В воскресенье 15 июня 1941 года Штрум с семьей поехал на дачу.

После обеда Штрум с Надей и Толей сидели на скамейке в саду.

Надя, прислушавшись к скрипу калитки, радостно крикнула:

— Кто-то пришел! А, Максимов!

Максимов видел, что Штрум рад ему, но с тревогой спросил:

— Не помешал ли я? Может быть, вы собирались отдохнуть?

Затем он пытался выяснить, не нарушил ли его приход прогулки, не собирался ли Штрум в гости.

Наконец, Максимов сказал:

— Помните ваше пожелание, высказанное после моего сообщения? Мне хочется посоветоваться с вами, почему бы действительно не написать?

Но в это время в сад вошла Людмила Николаевна, и Иван Иванович стал длинно здороваться, снова извинялся за вторжение и отказывался пить чай, боясь утруждать хозяйку.

После чая Людмила Николаевна повела Ивана Ивановича смотреть на яблоньку, приносящую ежегодно до пятисот яблок, она ездила за этим деревцем в Юхнов, к одному старику мичуринцу.

Разговор, видимо, увлек их обоих. Так и не состоялась беседа о фашизме. Иван Иванович обещал прийти в следующее воскресенье.

— Вот, ребята,— сказал Виктор Павлович детям, когда Максимов ушел,— куда этому доброму и деликатному дяде деваться теперь, в «штурм унд дранг периоде»? {66}

Но в следующее воскресенье Виктор Павлович в поднявшемся вихре уже не помнил о Максимове.

Через месяц после начала войны кто-то из знакомых сказал ему, что Иван Иванович в свои пятьдесят четыре года оставил кафедру и записался в дивизию московского ополчения, ушел рядовым на фронт.

Забудутся ли те июньские и июльские дни? Бумажный пепел носился над улицами: то сжигались старые архивы наркоматов и трестов.

[По ночам грохотали грузовики, и утром угрюмым шепотом люди говорили: еще один наркомат получил приказ выехать в Омск. Лавина еще была далеко, подкатывала к Киеву, Днепропетровску, Смоленску, Новгороду, а уж в Москве сердца сжимались перед неотвратимостью бедствия.] Вечернее небо было загадочно и тихо, томительно шли ночные часы в ожидании утреннего света... И первая шестичасовая, утренняя сводка была полна тяжелых сообщений.

Теперь, спустя год, в вагоне, везущем его в Москву, Штрум вспоминал навсегда вошедшие в память слова первой сводки Главного командования Красной Армии.

«С рассветом 22 июня 1941 года регулярные войска германской армии атаковали наши пограничные части на фронте от Балтийского до Черного моря...»

А 23 июня в сводке сообщалось о боях от Балтийского до Черного моря — на шауляйском, каунасском, гродненско-волковысском, кобринском, владимир-волынском, бродском направлениях...

А потом каждый день в сводке появлялось новое направление, и дома, и на улице, и в институте люди говорили: «Сегодня опять новое направление». Штрум, сопоставляя, мучительно думал: «Как понять, что бои идут в районе Вильно — восточнее ли, западнее ли Вильно?» Он вглядывался в карту, в газетную страницу...

В сводке сообщалось, что за три дня советская авиация потеряла 374 самолета, а противник потерял 381 самолет... И он снова вчитывался в эти цифры, пытался выжать из них разгадку грядущего хода войны.

В Финском заливе потоплена подводная лодка... ага! Пленный летчик заявил: «Война надоела, за что деремся, не знаем...» Немецкий солдат добровольно сдался в плен и написал листовку с призывом свергнуть режим Гитлера... Пленные немецкие солдаты заявили: «Перед самым боем нам дают водку...»

Лихорадочная радость охватывала его; казалось, еще день, еще два — и движение немцев замедлится, остановится, их отбросят...

Двадцать шестого июня в сводке вдруг появилось новое — минское направление. На этом направлении просочились танки противника. А 28 июня сообщалось, что на луцком направлении развернулись крупные танковые бои, в которых участвуют с обеих сторон до 4000 тысяч танков... А 29-го Штрум прочел, что противник пытается прорваться на новоград-волынском и шепетовском направлениях, прочел о боях на двинском направлении... Прошел слух, что Минск занят и немцы идут по Минской автострате на Смоленск.

Штрум затосковал. Он уже не подсчитывал сбитые за день самолеты и уничтоженные танки, не объяснял своим домашним и сотрудникам, что немцев остановят на старой границе, не подсчитывал количество горючего, потребляемого немецкими танками за день, и не делил на эту цифру предполагаемые запасы бензина и нефти, бывшие у немцев.

Он напряженно ждал: вот-вот появится в сводке смоленское направление, а за ним вяземское. Он смотрел на лица жены, детей, своих товарищей по работе, на лица незнакомых людей на улице и думал: «Что же с нами всеми будет?»

Вечером в среду 2 июля Виктор Павлович с женой поехали на дачу — Людмила Николаевна решила привезти в город нужные вещи.

Они молча сидели в саду, воздух был прохладен, в сумерках светлели цветы. Казалось, не две недели, а вечность лежала между тем мирным воскресеньем и этим вечером.

Штрум сказал жене:

— Странно, но я то и дело думаю о своем масс-спектрометре и об исследованиях позитронов... Почему и для чего это? Ведь дико... Инерция? Или я одержим манией?

Она ничего не ответила, и они снова молча смотрели в темноту.

— Ты о чем думаешь? — спросил Штрум.

— Я думаю все об одном,— сказала она,— о Толе, его скоро призовут.

Он нашел в темноте руку жены и пожал ее.

Ночью ему приснилось, что он вошел в какую-то комнату, заваленную подушками, сброшенными на пол простынями, подошел к креслу, еще, казалось, хранившему тепло сидевшего в нем недавно человека. Комната была пустой, видимо, жильцы внезапно ушли из нее среди ночи. Он долго смотрел на полусвесившийся с кресла платок — и вдруг понял, что в этом кресле спала его мать. Сейчас оно стояло пустым, в пустой комнате...

Рано утром Виктор Павлович спустился на первый этаж, снял маскировку, открыл окно и включил репродуктор.

[Штрум услышал медленный голос. Говорил Сталин.

— Войну с фашистской Германией,— сказал он,— нельзя считать войной обычной. Она является не только войной между двумя армиями. Она является вместе с тем великой войной всего советского народа против немецко-фашистских войск...

Он назвал эту войну всенародной Отечественной войной...] <...> {67} * * *

[В середине сентября 1941 года Виктор Павлович должен был выехать в поезде Академии наук из Москвы в Казань.

В день, назначенный для отъезда, была жестокая бомбежка, и поезд не ушел, пассажиров перевели в метро. Расстелив газеты на рельсы и запачканные маслом камни, они просидели под землей до рассвета.

Утром, в липком поту, сморенные духотой, молча выходили бледные люди из метро. В тот миг, когда они переступили порог подземелья, каждый из них на краткую секунду ощутил взрыв счастья, того счастья, что не ощущается и не ценится живыми существами, привыкшими быть живыми: они увидели свет, дышали воздухом, чувствовали теплое утреннее солнце...

Весь день поезд простоял на запасных путях. К вечеру нервы у всех напряглись.

Уже в воздух поднялись аэростаты воздушного заграждения, голубизна неба поблекла, а облака порозовели — и эти мирные краски заката наполнили сердца томлением и тревогой.

В восемь часов эшелон, скрежеща, медленно, точно вагоны не верили в возможность движения, отошел от раскаленного перрона в прохладу полей.

Виктор Павлович стоял на площадке вагона, смотрел — быстрее и быстрее уплывали нити проводов, розово-дымное небо, московские дома и улицы, последние трамваи пригородных линий. Тоска все сильнее охватывала его. Он расстался с Москвой, может быть, навечно! Немыслимым казалось это расставание.

Через сорок минут в Москве была объявлена воздушная тревога. Эшелон остановился в

лесу. Пассажиры вышли из вагонов. Над Москвой вырос голубоватый, тревожно дышащий, колышущийся шатер прожекторов, трассы зенитных снарядов, цветные нити, влекомые невидимой стальной иглой, расшили небо живыми красными и зелеными узорами. Заискрились разрывы зенитных снарядов, загрели залпы мощных зенитных орудий. Время от времени с земли поднимались взмахи желтых, тяжелых крыльев и доносился медленный, угрюмый, глухой гул — то на московских улицах рвались тяжелые фугасные бомбы.

В лесу стало прохладно, скользкая, колючая хвоя пахла осенней грустью, стволы сосен, по-стариковски тихие, добрые, стояли в вечернем безветрии. Душа не вмещала сложного и противоречивого чувства: покой и напряжение, ощущение безопасности, вечерней прохлады, сосуществующих с пламенем и дымом, с бушующей в Москве смертью, ощущение в одном пространстве тишины и грохота, телесное инстинктивное желание движения на восток и томительный, зудящий стыд, вызванный этим телесным ощущением.

Это была тяжелая дорога — медленное движение эшелона, духота, долгие стоянки в Муроме, Канаше...

Сотни людей, московских служащих, ученых, писателей, композиторов, бродящих во время этих долгих стоянок по путям, разговоры о кипятке, картошке... Штрум поражался, наблюдая некоторых людей, которых он встречал на концертах в консерватории, на выставках, во время летнего отдыха в Гаспре и Теберде.

Поклонник Моцарта, ездивший специально в Ленинград, когда там исполнялся «Реквием», оказался сварливым и черствым человеком — он захватил верхнюю полку и отказался уступить ее женщине с ребенком.

Второй, хорошо знакомый Штруму человек, милый и услужливый компаньон во время крымских экскурсий на интуристских «линкольнах» в Бахчисарай и Чуфут-Кале, скрывал сейчас от спутников в дороге свои запасы провизии и ночью, лежа на верхней полке, шуршал бумагой и монотонно жевал; как-то утром Штрум обнаружил в своем ботинке сырную корку, — очевидно, ее уронил во время одинокого ночного пира верхний коллега.

И наряду с мелочностью, черствостью одних другие люди трогали своей добротой, неизменной чистотой и благородством мыслей и поступков.

И над всеми этими переживаниями все растущая тоска, темное и туманное будущее...

Как-то, глядя в окно на медленно проходивший товарный состав, Штрум, указывая Соколову на вагон с надписью «Моск. Киев. Ворон. ж. д.», сказал: «Perfectum». Соколов кивнул и, показав на проходивший в это время вагон с надписью «Средне-Азиат. ж. д.», сказал: «Futurum».

Толпы на вокзалах, знакомые, шагающие меж рядов товарных вагонов, среди груд нечистот и неубранного мусора, один с вареной картошкой, другой держащий обеими руками большую обглоданную кость.

И он, вспоминая эти тоскливые дни, понял, что люди, которые ему представлялись той осенью беспомощной, слабой толпой, не были слабы, что он не понимал силы, объединившей миллионы людей, их знания, их трудолюбие, их любовь к свободе... Их трудом, их борьбой горит грозное пламя освободительной войны.

И вопреки волнению и горечи, искорка счастья мелькнула где-то в глубине его сознания, и он снова подумал: «То прошлогоднее предчувствие неверно, мать жива, я ее увижу».]

Они приехали в Москву перед вечером. Город в этот час был полон печальной и тревожной прелести. Москва не боролась с приходом тьмы, не зажигала в окнах огней, не освещала фонарями свои площади и улицы. Город плавно переходил от сумерек ко тьме, так отходят к ночи долины и горы. Уж никто в пору мира не увидит, если не видел этого в те летние вечера, каким было вечернее небо над затемненной Москвой, как спокойно и уверенно ложился сумрак на стены домов и становились невидимы тротуары и асфальт площадей. Мирно блестела при луне вода у обтесанных камней Кремлевской набережной, совершенно так же, как блестит при луне поросшая камышом робкая сельская речушка. Бульвары, городские сады и скверы казались ночью дремучими, без тропинок и дорог. Ни один даже слабый луч городского света не нарушал неторопливую работу вечера. А в пепельно-синем небе тихо белели аэростаты, и минутами казалось, что это серебристые ночные облака.

— Какое странное небо,— сказал Штрум, шагая по платформе Казанского вокзала.

— Да, небо странное,— сказал Постоев,— но более странно будет, если за нами пришлют, как обещали, машину.

Публика расходилась быстро и молча, это пришел в Москву поезд военной поры — на перрон не вышли встречающие, а среди приехавших не видно было детей и женщин. В большинстве из вагонов выходили военные в плащах и шинелях, с заплечными зелеными мешками. Торопливо и молча шагали они, поглядывая на небо.

В гостинице «Москва» Постоев попросил у дежурной комнату не выше четвертого этажа.

— Теперь все хотят не выше четвертого,— улыбаясь, проговорила дежурная,— все не любят бомбежки.

Постоев шутливо сказал:

— Что вы, я-то как раз очень люблю бомбежки.

В коридоре встретилось им много военных, несколько красивых женщин. Все оглядывали седого богатыря Постоева.

Из полуоткрытых дверей слышались громкие голоса, иногда звуки баяна. Седые официанты носили подносы с незатейливой едой сорок второго года: каша и картофель; скромность еды подчеркивалась блеском массивных никелированных судков.

[Войдя в номер, они сняли плащи, и Постоев осмотрел постели, пощупал маскировку на окнах и потянулся к телефону.

— Придется вызвать директора,— сказал он,— и по поводу улучшенных обедов поговорить, и комната мне не нравится.

— Леонид Сергеевич, вряд ли директор придет к нам на восьмой этаж, лучше узнать по телефону, когда он в конторе, и зайти к нему,— сказал Штрум.

Но Постоев только пожал плечами и снял трубку.

И действительно, едва они успели помыться, в дверь постучали и вошел смуглолицый и представительный человек.

— Леонид Сергеевич? — спросил он.

— Да, да, я,— сказал Постоев, идя навстречу вошедшему,— знакомьтесь, Виктор Павлович Штрум,— но директор лишь кивнул, видимо сразу очарованный Постоевым.

Постоев с первых слов договорился об обедах и объяснил директору, что хотелось бы получить двойной номер, не выше третьего этажа.

Директор кивнул головой, сделал пометку в книжечке и сказал:

— Завтра смогу вам предложить то, что вас устроит, я к вам зайду.

Постоевская житейская уверенность была связана с общей уверенностью в важности и нужности его работы, уверенностью в драгоценных и счастливых качествах его образованности, научного и технического опыта.

Он был ментором отечественной промышленности качественных сталей. И ведь действительно уверенность его зиждилась на прочном фундаменте.

Директор называл корифеев науки, академиков, останавливавшихся в «Москве»: он с удивительной четкостью помнил номера комнат, в которых останавливались Вавилов, Ферсман, Веденеев, Александров, но, видимо, не совсем ясно представлял себе, кто из них был геолог, кто физик, а кто металлург. Директор привык иметь дело с большими людьми и обладал спокойной, уверенной манерой разговора, позволявшей ему держаться на острие, где сходились приветливая почтительность и утомленная деловитость. Постоева он, по всему судя, зачислил в самый почетный ряд, это ясно чувствовалось — в разговоре его было много приветливой почтительности и почти отсутствовала утомленная деловитость.

Когда он ушел, Штрум, подняв руки к потолку, воскликнул:

— Леонид Сергеевич, мне казалось, еще минута — и директор приведет к нам хор дев в белых хитонах, с гирляндами роз.

Постоев захохотал, его тяжелые плечи, борода заколебались, кресло затряслось, и стакан возле графина с водой зазвенел, подчиняясь могучим колебаниям большого, хохочущего тела.]

— Ох,— сказал, отдуваясь, Постоев,— а ведь, знаете, в воздухе гостиницы всегда содержится какой-то микроб студенческого легкомыслия, черт знает что в голову лезет.

Ночью, несмотря на усталость, они долго не могли уснуть, но разговаривать не хотелось — оба читали. [По смешному совпадению оказалось, оба они захватили в дорогу одну и ту же книгу: «Приключения Шерлока Холмса».] Постоев вставал, ходил по комнате, принимал лекарства.

— Вы не спите? — спросил он тихо.— Что-то мне на сердце тяжело, ведь я в Москве родился, на Воронцовом поле, в Москве вся моя жизнь, все близкое и дорогое. И отец и мать на Ваганьковском похоронены, и я бы хотел с ними рядом... я ведь старик... а гитлеровцы все прут, проклятые.

Утром Штрум раздумал ехать вместе с Постоевым в комитет, решил пешком пройти к себе домой и оттуда в институт.

— К двум часам я буду в комитете, позвоните мне, а сейчас поеду в наркоматы,— сказал Постоев.

Он был оживлен, с веселыми глазами, радовался предстоящим деловым встречам; казалось, не он ночью говорил о войне и смерти, о старости.

Горького, мимо забитых досками и заложенных мешками витрин, по просторному пустынному тротуару.

Отправив телеграмму, он снова спустился к Охотному ряду, решив пешком пройти через Каменный мост, по Якиманке, к Калужской площади.

По Красной площади проходила красноармейская часть.

Мгновенное чувство заставило Штрума связать воедино громаду Красной площади, Ленинский мавзолей, стены и башни Кремля, ту прошлогоднюю осень, когда он, казалось, навеки прощался с Москвой, стоя на площадке вагона, и это сегодняшнее небо, и лица солдат, утомленные и строгие.

Часы на башне пробили десять.

Он шел по улицам, и каждая мелочь, каждая новая подробность волновали его. Он смотрел на окна с наклеенными синими бумажными полосами, на разрушенный бомбежкой дом, обнесенный деревянным забором, на баррикады из сосновых бревен и мешков с землей, со щелями для орудий и пулеметов, смотрел на высокие, блестящие стеклами новые дома, на старые дома с облупившейся местами штукатуркой, на надписи, подчеркнутые яркой белой стрелой,— «бомбоубежище»...

Он смотрел на поредевшую толпу прифронтовой Москвы — много военных, много женщин в сапогах и гимнастерках, смотрел на полупустые трамвайные вагоны, на быстрые военные грузовики с красноармейцами, на легковые машины в зеленых, черных пятнах и запятых — у некоторых стекла были пробиты пулями.

Он смотрел на молчаливых женщин в очередях, на детей, играющих в сквериках и во дворах, и ему казалось — все знают, что он лишь вчера приехал из Казани и не провел вместе с ними жестокую холодную московскую зиму...

Пока он возился с замком, приоткрылась дверь соседней квартиры, выглянуло оживленное лицо молодой женщины, смеющийся и одновременно строгий голос спросил:

— Вы кто?

— Я? Хозяин, должно быть,— ответил Штрум.

Он вошел в переднюю и вдохнул затхлый, душный воздух. Все в квартире осталось таким, как в день отъезда. Только кусок хлеба, оставленный на обеденном столе, порос пушистой бело-зеленой плесенью, а рояль стал серым, седым от пыли, и книжные полки поседели, запылились. Надины белые летние туфельки выглядывали из-под кровати, в углу лежали Толины гимнастические гири.

Да, все вызывало грусть: и то, что оставалось неизменным, и то, что изменилось.

Штрум открыл буфет и в темном углу нащупал бутылку вина, взял со стола стакан, отыскал пробочник. Он обтер платком пыль с бутылки и стакана, выпил вина, закурил папиросу.

Он редко пил, и вино сильно на него подействовало, комната показалась светлой и нарядной, сразу перестала чувствоваться пыльная духота воздуха.

Он сел за рояль и осторожно, раздумывая, попробовал клавиатуру, прислушался к звуку...

Кружилась голова, и ему было одновременно весело и грустно от возвращения в свой дом — необычайное чувство возвращения и заброшенности, чувство семьи и одиночества, связанности и свободы...

Все было прежним, привычным, знакомым, и все было новым, непривычным, незнакомым. И он себе самому казался другим, не таким, каким он знал и понимал себя.

Штрум подумал: «Слышит ли соседка музыку? Кто она такая, молодая женщина с веселыми глазами, выглянувшая из двери квартиры профессора Меньшова? Ведь Меньшovy эвакуировались еще в июле 1941 года».

Но когда Штрум перестал играть, он почувствовал беспокойство — тишина угнетала его. Он забеспокоился, обошел все комнаты, вышел на кухню, стал собираться.

На улице он встретил управдома, поговорил с ним о прошедшей холодной зиме, о лопнувших трубах отопления, об оплате жировок, о пустующих квартирах и спросил:

— Кстати, кто это у Меньшовых живет? Ведь они все в Омске?

Управдом ответил ему:

— Вы не беспокойтесь, это их знакомая из Омска по делам приехала в Москву, я ее на две недели временно прописал, на днях она уедет.— И внезапно, повернув к Штруму свое морщинистое лицо, плутовски подмигнул и сказал: — А ведь красавица, ей-богу, а, Виктор Павлович? — Потом он рассмеялся: — Жаль, Людмила Николаевна не приехала. Мы тут часто с дворниками вспоминаем, как вместе с ней зажигалки тушили.

Штрум шел в сторону института и вдруг подумал: «Эх, перевезу-ка я чемодан домой, поживу дома».

39

Но едва он подошел к институту, едва увидел знакомый газон, скамейку, тополи и липы во дворе, окна своего кабинета и своей лаборатории, он забыл обо всем.

Он знал, что институт не пострадал от бомб.

Все хозяйство «главного» второго этажа, где находилась лаборатория Штрума, оставалось на попечении старшего лаборанта Анны Степановны.

Это была пожилая женщина, единственный старший лаборант, не имевший специального образования. Незадолго до войны, при рассмотрении штатов, встал вопрос о замене ее работником с высшим образованием. Но и Штрум и Соколов возражали против замены — и Анну Степановну оставили.

Сторож сказал Штруму, что Анна Степановна держит ключи от комнат второго этажа при себе, но дверь в лабораторию оказалась незапертой.

Летнее солнце освещало лабораторный зал. Стекла в огромных, широких окнах сверкали, и вся лаборатория сияла никелем, стеклом, медью; не сразу замечалось отсутствие наиболее ценной аппаратуры, вывезенной прошлой осенью в Казань и Свердловск. Штрум стоял у двери, прислонившись к стене, и разглядывал оконные стекла без единой пылинки, начищенный паркет, благородный нежный металл аппаратуры, дышавший здоровьем и опрятностью. Он увидел на стене вычерченную контрольную кривую годовой температуры, ни разу не упавшую в зимние месяцы ниже 10 °С.

Он увидел свой вакуум-насос под колоколом и измерительную аппаратуру, боявшуюся влажности, в стеклянном шкафу, со свеженасыпанным гранулированным хлористым кальцием. Увидел, что электромотор на массивной станине смонтирован именно там, где Штрум собирался его установить перед войной.

Он услышал негромкие, быстрые шаги и оглянулся.

— Виктор Павлович! — крикнула бежавшая к нему женщина.

Штрум посмотрел на Анну Степановну, и его поразило, как изменилась она! И тут же он подумал — как неизменно осталось все то, что доверили ей хранить.

Волнуясь, Штрум зажег спичку, стал раскуривать непотухшую папиросу. Она сильно поседела, ранее полное, розовое лицо ее осунулось, и цвет кожи у нее стал серый, а большой, ясный лоб ее был накрест пересечен двумя морщинами.

Без слов понятно было то, что сделала Анна Степановна в эту зиму, какие же слова мог сказать он ей — поблагодарить от имени института, профессуры или даже от имени президента академии?

Он молча поцеловал ей руку.

Она обняла его и поцеловала в губы.

Потом они об руку ходили по залу, говорили, смеялись, а в дверях стоял старик сторож и, глядя на них, улыбался.

Они прошли в кабинет Штрума.

— Как вам удалось перенести станину с первого этажа, ведь для этого нужно по крайней мере шесть-восемь сильных мужчин? — спросил он.

— Это-то проще всего,— сказала Анна Степановна,— у нас в сквере артиллерийская батарея зимой стояла, зенитчики мне помогли. Вот шесть тонн угля на салазках перевезти через двор — это действительно трудно было.

Потом старик Александр Матвеевич, институтский ночной сторож, принес чайник кипятку, а Анна Степановна вынула из сумки маленький бумажный пакетик со слипшимися в ком красными карамельками, нарезала на газетном листе квадратными тонкими ломтиками хлеб, и они втроем в кабинете Штрума пили чай из мерных химических стаканов и беседовали.

Анна Степановна угощала Штрума и говорила:

— Виктор Павлович, вы не стесняйтесь, кушайте конфеты. Как раз утром по энеровским карточкам {68} отоварили сахарный талон.

А старик Александр Матвеевич, собрав своими прокуренными, темными и в то же время бескровными, бледными пальцами хлебные крошки с газетного листа, медленно, вдумчиво сжевал их и сказал:

— Да-а, знаешь, Виктор Павлович, старому человеку в эту зиму трудно пришлось, хорошо еще — бойцы поддержали.— Потом, спохватившись, что Штрум может принять за намек этот разговор о трудностях и постесняется кушать хлеб и конфеты, он добавил: — Теперь-то ничего, легче, и мне в этом месяце по служащей карточке сахар дадут.

Штрум наблюдал, как Анна Степановна и Александр Матвеевич бережно брали в руки хлебные квадратики, какие у них при этом были тихие движения и как серьезно и важно жевали они, по одному этому понимал, какую трудную зиму пережили они в Москве.

Попив чаю, Штрум с Анной Степановной вновь обходили лаборатории и кабинеты и разговаривали о работе.

Анна Степановна стала рассуждать о плане работ, с которым она познакомилась зимой, когда директором еще был Сухов.

— О, Сухов, Сухов, мы с Петром Лаврентьевичем перед моим отъездом из Казани вспоминали, как Сухов приезжал беседовать по поводу плана,— сказал Штрум.

Анна Степановна стала рассказывать о зимних встречах с Суховым.

— Зимой я в комитет пришла, просить угля. Как он меня сердечно, мило встретил! Было, конечно, очень приятно, но в нем какое-то чувствовалось административное уныние, я даже подумала — плохо наше дело. А весной я столкнулась с ним у входа в главный корпус, подошла и сразу вижу — уж не тот, зимний, взор скользит, движения плавные, холодок, но, представьте, я обрадовалась, подумала — дела выправляются.

— Нет, у самого Ивана Дмитриевича дела уже не выправятся,— сказал Штрум.— А телефон у нас, кстати, работает?

— Конечно, работает.

— Ну, господи благослови,— и Штрум стал набирать номер телефона. Он все откладывал разговор с вызвавшим его начальством, хотя еще в поезде несколько раз открывал записную книжку и глядел на цифры телефонного номера. И сейчас, когда в трубке загудело, он снова заволновался, и ему захотелось, чтобы трубку сняла секретарша и сказала: «Пименов уехал, вернется через три дня».

Но в эту минуту он услышал голос Пименова.

Анна Степановна сразу поняла это по серьезному и напряженному лицу Штрума.

Пименов обрадовался, стал расспрашивать, как ехал Штрум и удобно ли ему в гостинице, сказал, что сам бы приехал к Штруму, но не хочет нарушить его первое свидание с лабораторией. И наконец произнес те слова, которые Штрум с волнением ждал и не надеялся услышать.

— Средства для работы академией отпущены полностью,— сказал Пименов,— это относится ко всем нашим институтам, в частности и к вашей лаборатории, Виктор Павлович... Ваши темы одобрены... Ваш научный план одобрил также академик Чепыжин. Кстати, мы ждем его приезда из Свердловска. Вот только по одному вопросу возникло сомнение — удастся ли добиться нужных вам сортов металла для экспериментальной аппаратуры?

Окончив разговор, Штрум подошел к Анне Степановне и, взяв ее за руки, сказал:

— Москва, великая Москва...

И она, смеясь, сказала ему:

— Вот как мы вас встретили.

40

Летом 1942 года Москва жила особенной жизнью. [Только в самые тяжелые времена иноземных нашествий границы государства были так тесны: гонец мог за ночь доскакать от Кремля до края Московского государства, с княжьим приказом воеводе, и с пригорка видеть желтолицых татар в пропотевших боевых халатах и рваных меховых шапках, беспечно скачущих по вытоптаным русским полям.

В полные мрачной тревоги августовские дни 1812 года мог за ночь доскакать курьер от

московского главнокомандующего Ростопчина за известиями к штабу Кутузова и, передохнув, закусив, поскакать обратно, к вечеру привезти пакет в Москву и, сидя в губернаторском доме на Тверской, рассказывать приятелю, что утром на аванпостах он видел красные французские мундиры: «Вот так же ясно, как тебя сейчас вижу!»

И ныне, в грозные летние дни 1942 года, посыльный утром выезжал на броневике из Генштаба с пакетом командирующему Западным фронтом, мог, сдав пакет, добыть у приятеля, армейского делегата связи, талончик в фронтовую столовую Военторга, пообедать, а вечером рассказывать в Москве, в автобате связи Генерального штаба, как полтора часа назад слушал грохот немецкой полевой артиллерии.

Летчик-истребитель, поднявшись с Московского центрального аэродрома, мог через двенадцать—четырнадцать минут дойти до линии фронта, дать очередь по серым немецким мундирам, пятнавшим осиновые и березовые можайские и вяземские перелески, и, круто развернувшись над штабом немецкого полка, через пятнадцать минут вернуться в Москву, на трамвае поехать мимо Белорусского вокзала к памятнику Пушкину, где ждала его назначившая накануне свидание знакомая. Тесны стали московские границы летом 1942 года.]

Мценск на юге от Москвы, Вязьма на западе, а Ржев на северо-западе были в руках у немцев. Курская, Орловская, Смоленская области лежали в тылу центральной группы войск генерал-фельдмаршала Клюге. Четыре пехотные и две танковые немецкие армии со всеми тылами, обозами, службами находились на расстоянии пятидневного пешего марша от Красной площади, Кремля, от Института Ленина, от Большого и Художественного театров, от московских школ, родильных домов, от Разгуляя, Черемушек, Садовников, памятников Пушкину и Тимирязеву {69}.

Но получилось так: чем глубже вклинивались немецкие армии на юго-востоке, тем дальше уходила война от Москвы, тем тише, неподвижней становился фронт под Москвой.

Многие дни и недели над Москвой не появлялись немецкие бомбардировщики, жители перестали обращать внимание на гудящие в небе истребители, привыкли к ним настолько, что при короткой тишине в небесах поглядывали наверх: отчего исчез привычный шум...

В трамваях и метро было свободно. На Театральной площади и у Ильинских ворот люди не толкали друг друга даже в самые горячие часы. Девушки — бойцы ПВО по вечерам деловито и привычно запускали в небо серебристые азростаты воздушного заграждения на Тверском, Никитском и Гоголевском бульварах и на Чистых прудах.

Но, хотя осенью 1941 года эвакуировались сотни московских учреждений, предприятий, вузов, школ, Москва не опустела. <...> {70}

[Жители Москвы постепенно привыкли к близости фронта, занялись своими делами и заботами, запасали на зиму дрова, картофель.

Успокоение сердец и умов произошло по нескольким причинам. Первая причина была ложной: обманчивое физическое ощущение удалившейся опасности от Москвы, ощущение действительно совершенно ложное.

Вторая причина успокоения заключалась в том, что человек не может долгий срок находиться в противоестественном для жизни состоянии чрезвычайного напряжения.

Человек привыкает к такому состоянию и даже успокаивается не оттого, что вовне меняется что-либо к лучшему, а оттого, что внутри самого человека растворяется напряженное ожидание, размытое течением его каждодневных забот и трудов. Так больные успокаиваются не оттого, что выздоравливают, а оттого, что привыкают к болезни.

И наконец, третья, истинная и действительная причина успокоения происходила оттого, что в людях торжествовала бессознательно и сознательно вера в то, что Москва никогда не будет сдана немцам. Эта вера окрепла в ноябре 1941 года, когда немцев, подошедших к предместьям Москвы, захлестнувших петлю окружения до Рязани, отогнали к Можайску, выгнали из Клина и Калинина, эта вера крепла оттого, что Ленинград, сдавленный голодом, огнем, льдом, в течение трехсот дней не сдавался. Эта вера все ширилась и крепла и сменила то тяжелое чувство, которое жители Москвы испытывали в сентябре и октябре 1941 года.

Летом 1942 года жителям Москвы казалось, что тон газет и сводок излишне суров, излишне встревожен. В мыслях людей под влиянием менявшихся обстоятельств происходили удивительные изменения. Поступки людей получали новое освещение и по-новому объяснялись людьми.

В октябре 1941 года некоторые москвичи, обывательски настроенные, отводили глаза, когда их спрашивали, почему они не садятся в эшелоны и не уезжают на восток.

В ту пору считали, что человек, бросивший на произвол судьбы все свое имущество, оставивший квартиру и уезжавший с заводом или учреждением в Башкирию или на Урал, поступает патриотично. Человек, отказывающийся от эвакуации в связи с тем, что теща его нездорова, или потому, что в эшелон нельзя погрузить пианино и трельяж, считался обывателем, а то и похуже.

Теперь, летом 1942 года, кое-какие люди, забыв о подлинных мелких мотивах своих прошлогодних решений, объявили уехавших в эвакуацию беглецами. Обыватели забыли, какая пропасть лежала между ними и теми истинными защитниками столицы — дружинниками ПВО, бойцами истребительных отрядов, работниками, красноармейцами, рабочими ополченцами,— что остались кровью своей оборонять Москву.

Обыватели чувствовали себя в Москве просторно и говорили — хорошо бы, правительство запретило обратный въезд в столицу всем эвакуированным в 1941 году.

Изменились обстоятельства, и сами собой изменились взгляды людей на произведенные ими поступки, на мотивы этих поступков. Ведь текучесть взглядов и мнений в зависимости от мелких выгод сегодняшнего и завтрашнего дня и есть духовная основа всякого обывателя.

А те, кто уезжал в октябрьские дни, захватив с собой немного белья, валенки, несколько буханок хлеба, люди, говорившие: «Стоит ли запирать квартиры, пусть бойцы, что будут драться за Москву, пользуются всем моим добром, и бельем и вещами»,— эти люди сейчас писали соседям, управдомам, дворникам — просили следить за вещами, жаловались прокурорам и начальникам районных отделений милиции. И сложилось так, что обыватели корили уехавших, дивились их мелочности. Но этот любопытный случай — одна из малых частных московской жизни. Главное было в другом.

Сильные, самоотверженные рабочие люди, защитники Москвы, с энергией продолжали работу. Те, кто остался защищать Москву, строить баррикады, рыть окопы, вновь вернулись на фабрики и заводы.

Уехавшим казалось, что они увезли с собой жизнь и тепло Москвы. Они представляли себе засыпанные снегом заводские цехи, холодные котельные, опустошенные, без станков, пролеты, дома, стоящие как мертвые глыбы. Им казалось, что вся энергия жизни ушла с ними из Москвы и ожила в новых военных стройках Урала, Башкирии, Узбекистана, Сибири. Но они не оценили всей жизненной силы великого советского города. Сила Москвы оказалась неисчерпаемой, и вновь задымили заводские трубы, ожили заводские цехи. Рабочая сила москвичей словно удвоилась, ее хватило на то, чтобы пустить новые корни на суровой земле новостроек, и на то, чтобы из корней, оставшихся на московской земле, поднялась и

зашумела вторая заводская жизнь. И это породило новую любопытную частность.

Уехавшие стали тревожиться. Москва жила без них, и они снова захотели быть в Москве. Они хлопотали о том, чтобы им разрешили вернуться, называли оставшихся в Москве мудрецами, забыв о том, какого труда стоило им в октябре сесть на поезд. И те из них, кто уехал в Саратов, в Астрахань, говорили: «Да ведь в Москве куда спокойней, чем на Волге» — и словно не понимали, что судьба Москвы неотделима от судьбы Волги, от судьбы России.]

Москва, дымившая зимой железными трубами, выставленными в отдушины и форточки, Москва баррикад и дневных воздушных налетов, Москва, чье свинцовое небо освещалось пожарами и зарницами бомбовых взрывов, Москва, хоронившая по ночам трупы убитых во время налетов женщин и детей,— эта Москва летом вдруг стала нарядной, красивой, и на Тверском бульваре, под самый комендантский час, на скамейках сидели парочки, и цветущие липы после теплого дождя пахли так славно, так сладко, как никогда, кажется, не пахли в мирное время.

41

На третий день после приезда в Москву Штрум сложил вещи и чемодан и ушел из гостиницы, где имелась в ванной горячая вода и где каждый день желающие могли получить вино и водку.

Дома он раскрыл окна и пошел на кухню, чтобы развести водой высохшие в чернильнице чернила,— из крана лениво потекла рыжая жидкость, и он долго ждал, пока струя очистится.

После этого он сел писать открытку жене, потом принялся за письмо Соколову — подробно описывал свои разговоры с Пименовым. По-видимому, через неделю-полторы все довольно многочисленные формальности, связанные с утверждением плана работ, будут закончены.

Штрум надписал адрес на конверте и задумался. Странное чувство возникло у него. В Москве он собирался горячо спорить, доказывать, как важны работы, задуманные им, а оказалось, что спорить не пришлось, все его предложения были приняты.

Он запечатал конверт и стал ходить по комнате. «Хорошо дома,— подумал он,— правильно, что перебрался сюда». Вскоре он уже сидел за письменным столом и работал.

Время от времени он поднимал голову и прислушивался — какая тишина! И неожиданно Штрум понял — он не тишину слушал, а ждал, не раздастся ли звонок, мало ли что, вдруг соседка, живущая у Меньшова, позвонит, и он скажет: «Посидите со мной, очень уж грустно одному».

А когда работа увлекла его и он, забыв о недавних своих мыслях, быстро писал, склонившись над столом, постучалась соседка и спросила, не сможет ли он одолжить ей две спички, зажечь газ: одну на вечер, вторую на утро.

— Одолжить две спички не могу, но безвозвратно дам вам коробок... Да вы зайдите, зачем стоять в коридоре,— проговорил он.

— Какой вы добрый,— смеясь, сказала соседка,— спички теперь — дефицит,— и вошла в комнату. Она подняла с пола смятый мужской воротничок, положила его на край стола и проговорила: — Сколько пыли, какой беспорядок.

Когда она нагибалась и мельком, снизу вверх, посмотрела на Штрума, лицо ее было особенно милостивым.

— Боже мой, у вас рояль,— сказала она,— вы умеете играть? — Она задавала шутливые вопросы, ей хотелось посмеяться над ним.— Играете, но немного, наверно чижика? —

спросила она.

Он развел руками.

Штрум был неловок и робок с женщинами.

И сейчас ему, как многим застенчивым людям, казалось, что он холодный, житейски опытный, а женщине с ясными глазами в голову не приходит, что она нравится соседу, владельцу спичек, что он смотрит на ее тонкие пальцы и на ее загорелые ноги в сандалетах на красных каблуках, на ее плечи, маленькие ноздри, грудь, волосы.

Он все не решался спросить, как ее имя.

Потом она попросила его поиграть на рояле, и он играл сперва вещи, которые ей должны были быть известны: вальс Шопена, мазурку Венявского, затем засопел, затряс головой, заиграл Скрябина, искоса поглядывая на нее. Она слушала внимательно, хмуря брови.

— Где вы учились играть? — спросила она, когда он закрыл крышку рояля, обтер платком виски и ладони.

Он не ответил на вопрос своей новой знакомой и сам спросил ее:

— Как вас зовут?

— Нина,— сказала она,— а вы Виктор,— и указала на лежавшую на столике большую фотографию с надписью: «Виктору Павловичу Штруму — аспиранты Института механики и физики».

— А отчество? — спросил он.

— Просто Нина, без отчества.

Штрум предложил ей выпить чаю и поужинать с ним.

Нина согласилась и посмеивалась, глядя, как неумело хозяйничает Штрум.

— Кто же так хлеб режет? — спрашивала она.— Давайте уж я. Да к чему открывать консервы, и так всего хватает на столе... Пойдите, пойдите, надо стряхнуть пыль со скатерти.

Какая-то особая трогательная прелесть была в милом хозяйничанье этой молодой женщины в большой, пустой квартире.

За ужином Нина рассказала ему, что она живет с мужем в Омске, он работает в райпотребсоюзе. Она приехала в Москву с партией белья для госпиталей из омского швейкомбината, ее тут задержали с оформлением и сдачей, через несколько дней она поедет в Калинин,— материалы, которые полагались Омску, по ошибке заслали в Калинин.

— А после этого придется домой ехать,— сказала Нина.

— Почему же «придется»? — спросил Штрум.

— Почему? — переспросила она и вздохнула: — Вот потому.

Штрум предложил ей выпить вина.

Нина выпила полстакана мадеры, той, которую Людмила Николаевна велела привезти в Казань, и над верхней губой у нее заблестели капельки пота, она стала обмахивать платочком шею и щеки.

— Вы не боитесь, что окно открыто? — спросил Штрум.— Почему все же вы сказали: «придется ехать домой», ведь обычно говорят: «придется уехать из дому».

Она засмеялась и легонько покачала головой.

— Что это за цепочка? — спросил он.

— Это медальон, тут фотография моей покойной мамы.— Она сняла цепочку с шеи, протянула ему.— Хотите посмотреть?

Он посмотрел на маленькую пожелтевшую фотографию пожилой женщины, с головой, по-деревенски повязанной белым платочком, и бережно вернул гостю медальон.

Потом она прошлась по комнате и сказала:

— Боже мой, какая огромная площадь, заблудиться можно.

— Я бы хотел, чтобы вы заблудились здесь,— проговорил он и смутился от своих слишком смело сказанных слов.

Но она, видимо, не поняла его.

— Знаете что,— сказала она,— давайте я вам помогу пыль в комнате вытереть, посуду убрать.

— Что вы, что вы! — испуганно сказал Штрум.

— А что же тут такого? — удивленно спросила она.

Она вытерла клеенку, стала перемывать стаканы и рассказывать.

А Штрум стоял у окна и слушал ее.

Какая странная женщина, как не походила она на всех знакомых ему женщин. И как красива! Как это она, не колеблясь, с поразившей Штрума режущей душу откровенностью, рассказывала о себе, рассказала о своей покойной матери, о том, какой у нее недобрый муж и как он виноват перед ней.

В ее словах необъяснимо соединялись ребячество и житейская опытность.

Она рассказала ему, что ее любил один «замечательный парень», техник по монтажу, она работала тогда наладчицей в цехе, и теперь сама не понимает, почему не вышла за него замуж, а незадолго до войны пошла за красивого соседа по квартире, уполномоченного Омского райпищепромсоюза, он сейчас на броню («прижался к броню»,— сказала она).

Нина посмотрела на ручные часики:

— Ну, пора. Спасибо за угощение.

— Вам спасибо, я даже не знаю, как благодарить вас.

— Война, все друг другу помогать должны,— сказала она.

— Нет, не только за это спасибо. А за чудесный, замечательный вечер. И за ваше доверие ко мне. Поверьте, я очень взволнован тем, что вы так рассказали о себе,— говорил он, приложив руку к груди.

— Вы странный,— сказала она и с любопытством посмотрела на него.

— О, я, к сожалению, не странный,— сказал он,— я самый обыкновенный человек. Необыкновенная вы. Разрешите, я провожу вас? — и он почтительно склонился перед ней.

Она несколько мгновений смотрела ему прямо в глаза, и ресницы ее на этот раз не моргали, а глаза стали пристальными, удивленными и широкими...

— Какой вы...— сказала она и вздохнула, словно собираясь плакать.

Да, мог ли он подумать, что эта молодая красивая женщина так много пережила. «Но как доверчива и чиста она»,— подумал он.

Утром, проходя мимо старухи лифтерши, сидевшей в дачном плетеном кресле, Штрум спросил:

— Как дела, Александра Петровна?

— Дела у всех одни,— ответила она.— Дочка болеет; хотела детей в деревню к сыну отправить, а в четверг письмо от невестки — забрали его в армию. Куда теперь их отправить, у той в деревне у самой двое, девочка постарше и мальчишка совсем мелкий.

42

В этот день в комитете Штрум узнал о приезде Чепыжина. Секретарша Пименова, шестидесятилетняя, полнотелая старая дева, смотревшая на мужчин, независимо от того, были ли они седыми профессорами или студентами первого курса, осуждающими глазами, сказала Штруму:

— Виктор Павлович, академик Чепыжин просил вас ждать его — он будет здесь к шести часам вечера.

Она посмотрела на Штрума и строго произнесла:

— Ждать вам надо обязательно, так как он завтра уезжает в Свердловск.— После этого она, усмехнувшись, негромко добавила: — И ждать вам придется долго, так как убеждена, что Дмитрий Петрович опоздает.

Этим она хотела сказать, что и знаменитый академик не лишен слабостей, которые присущи ветреному трудновоспитуемому полу.

Но она действительно оказалась права — Чепыжин приехал в начале восьмого, когда кабинеты и комнаты уже опустели и вахтер сурово оглядывал нервно шагавшего по коридору Штрума, а оставшийся на ночное дежурство секретарь пристраивал к письменному столу кресло своего начальника, готовясь без лишней маеты скоротать ночь.

В тот момент, когда Штрум услышал шаги Чепыжина и затем, оглянувшись, увидел в глубине коридора знакомую плотную фигуру, он испытал чувство радости и волнения.

Чепыжин, заметив Штрума, протянул руку и, быстро идя ему навстречу, громко произнес:

— Виктор Павлович, вот мы и встретились... в Москве!

Вопросы его были неожиданные, быстрые...

— Как в эвакуации живете? Трудновато? Обо мне вспоминаете? Как вы тут с Пименовым договорились? Бомбежек боитесь? Людмила Николаевна этим летом в колхозе не работала?

Слушая ответы Штрума, он слегка склонял голову набок, и под его широкими бровями блестели внимательные, одновременно веселые и серьезные глаза.

— План ваш читал,— сказал он,— действуете вы, мне кажется, в правильном направлении.— Задумавшись, он проговорил негромко: — Сыновья мои в армии, Ванюша ранен был. Ваш-то ведь тоже в армии? Бросим-ка мы с вами науки и пойдем на фронт добровольцами? А? — Он вдруг оглядел комнату и сказал: — Душно, пыльно, накурено. Знаете что? Мы до моего дома пешком пройдем. Недалеко. Километра четыре. А там вас автомобиль подвезет домой. Согласны?

— Конечно, согласен,— ответил Штрум.

В тихом вечернем сумраке загорелое, обветренное лицо Чепыжина казалось коричнево-темным, а светлые большие глаза глядели зорко и пристально. Верно, такими были это лицо и глаза, когда Чепыжин по лесной, теряющейся во тьме тропинке спешил во время своих походов к месту ночевки.

Когда они переходили Трубную площадь, он остановился и внимательно, медленно осмотрел пепельно-голубое вечернее небо. Удивительным был этот долгий, внимательный, хмурый взгляд. Вот оно — небо детских мечтаний, располагавшее к грустному созерцанию, к бездумной печали... Но нет! Небо — вселенская лаборатория, где прилагался труд его разума, небо, на которое он смотрел глазами крестьянина, оглядывающего поле, где немало пролито им пота.

Эти первые замерцавшие звезды, быть может, порождали в его мозгу мысли о протоновых взрывах, о фазах и циклах развития, о сверхплотной материи, о космических ливнях и ураганах варитронов, о различных космогонических теориях, о собственной его теории, о приборах, регистрирующих невидимые потоки звездной энергии...

А быть может, совсем другие мысли возникали в мозгу Чепыжина, когда долгим, хмурым взглядом смотрел он на первые звезды, мерцавшие в небе.

Быть может, вспомнился ему ночной костер, потрескивание сучьев, закоптелый котелок, в котором тихонечко вздыхает распаренное пшено, резная черная листва над головой?

Или вспомнил он, как ребенком сидел в тихий вечерний час на коленях у матери и, чувствуя тепло материнского дыхания, тепло материнских ладоней, гладивших его по голове, смотрел, смотрел на звезды, дивясь и зевая.

А среди редких звезд и хрупких оловянных облачков поднялись аэростаты воздушного заграждения, мелькали широкие лучи прожекторов. Война, война вторгалась в города и на поля русских хлебопашцев, война шла в русском небе...

Они медленно шли и молчали. Штруму хотелось спрашивать, но он не задавал вопросов ни о войне, ни о работах Чепыжина, ни об успехах профессора Степанова, который недавно приезжал к Чепыжину советоваться, ни о том, как Чепыжин относится к работе Штрума, ни о том важном разговоре, который имел Чепыжин в Москве и о котором сегодня днем намекнул Штруму Пименов.

Он понимал, что был еще один какой-то вопрос, разговор, касавшийся одновременно и войны, и работы, и тоски, жившей в сердце.

Чепыжин вдруг посмотрел на Штрума и сказал:

— Фашизм! А? Что с немцами стало? Когда узнаешь о средневековом озверении немецких фашистов, оторопь берет, леденеешь. Выжигают деревни, строят лагеря смерти, организуют массовые убийства военнопленных, невиданные с первобытных времен расправы над мирными людьми! Кажется, все хорошее исчезло. Кажется, нет там ни честных, ни благородных, ни добрых. А? Возможно ли это? Ведь мы знаем их. И их удивительную науку, и

литературу, и музыку, и философию! А их рабочее движение? Откуда столько набралось злодеев? Вот, говорят, переродились, вернее, выродились. Говорят, Гитлер, гитлеризм сделал их такими.

Штрум сказал:

— Да, приходит такая мысль. И Магомет пошел к горе, и гора пошла к Магомету. Но ведь гитлеризм возник не на пустом месте. <...> {71} «Deutschland, Deutschland ?ber alles!» [13] — это не Гитлер первым придумал. Я недавно перечитывал письма Гейне, «Лютеция», — сто лет назад писано об отвратительном, фальшивом немецком национализме, оружии, воющем, о его идиотской неприязни к соседям и чужеземным народам {72}. А через полстолетия Ницше стал проповедовать сверхчеловека, белокурого зверя, которому все дозволено. А в четырнадцатом году цвет немецкой науки приветствовал кайзера, войну, вторжение в Бельгию; Оствальд {73}, да что там Оствальд, там были люди и побольше. И теперь <...> {74} Гитлер, идя к власти, знал, что предлагает товар, который не залежится: у него родня и среди промышленников, и в прусском дворянстве, и в офицерстве, и в мещанстве. Потребитель нашелся! Кто марширует в полках СС? Кто всю Европу превратил в огромный концлагерь? Кто загнал в душегубки сотни тысяч людей? Фашизм в родстве со всей прошлой германской реакцией, но он особый ее вид, он ужасней всего, что было.

Чепыжин отмахнулся рукой:

— Фашизм силен, но есть предел его власти. Это надо понять. Не беспредельна власть фашизма над людьми! В основном, в общем Гитлер изменил [не столько соотношение, сколько положение] {75} частей в германской жизненной квашне. Весь осадок в народной жизни, неизбежный при капитализме, мусор, дрянь всякая, все, что таилось и скрывалось, все это фашизм поднял на поверхность, все это полезло вверх, в глаза, а доброе, разумное, народное — хлеб жизни — стало уходить вглубь, сделалось невидимым, но продолжает жить, продолжает существовать. Многих, конечно, фашизм душевно исковеркал, испакостил, но народ остается. Народ останется.

Он оживленно поглядел на Штрума, взял его за руку и продолжал говорить:

— Вот представьте себе, в каком-нибудь городке имеются люди, известные своей честностью, человечностью, любовью к народу, ученостью, добротой. И уж они были известны каждому старику и ребенку. Они окрашивали жизнь города, наполняли ее — они учили в школах, в университетах, они писали книги, писали в рабочих газетах, в научных журналах, они трудились и боролись за свободу труда. Ясно, их видели с утра до позднего вечера. Они появлялись всюду: на заводах, в лекционных залах, их видели на улицах, в школах, на площадях. Но когда приходила ночь, на улицы выходили другие люди, о них мало кто знал в городе, их жизнь и дела были грязны и тайны, они боялись света, ходили крадучись, во тьме, в тени построек. Но пришло время — и грубая, темная сила Гитлера ворвалась в жизнь. Людей, освещавших жизнь, стали бросать в лагеря, в тюрьмы. Иные погибали в борьбе, иные затаились. Их уже не видели днем на улицах, на заводах, в школах, на рабочих митингах. Запылали написанные ими книги. Конечно, были и такие, которые изменили, пошли за Гитлером, перекрасившись в коричневый цвет. А те, что таились ночью, вышли на свет, зашумели, заполнили собой и своими ужасными делами мир. И показалось: разум, наука, человечность, честь умерли, исчезли, уничтожились, показалось — народ переродился, стал народом бесчестия и злодейства. Но это, видите, не так! Понимаете, не так! Сила народного разума, народной морали, народного добра в главном, в основном, в целом будет вечно жить, что бы ни делал фашизм для ее уничтожения.

И, не дожидаясь ответа, он продолжал:

— И так же отдельные люди. Ведь в человеке намешано всякой всячины, многое в нем под

спудом, скрытое, неверное, примитивное, грубое. Часто человек, живущий в нормальных общественных условиях, сам не знает погребов и подвалов своего духа. Но случилась социальная катастрофа, и полезла из подвала всякая нечисть, зашуршала, забегала по чистым светлым комнатам!

Штрум проговорил:

— Дмитрий Петрович, вы говорите — в человеке намешано всякой всячины. Вы сами, своим существованием на этом свете опровергаете эти самые свои слова,— все в вас чисто, ясно, и нет у вас никаких подвалов и погребов. Да, о присутствующих не говорят, но чтобы с вами поспорить, не нужно тревожить память Джордано Бруно и Чернышевского, достаточно оглядеться вокруг. Нет, таким способом нельзя объяснить того, что произошло в Германии! Вы говорите, кучка злодеев во главе с Гитлером ворвалась в немецкую жизнь. Но ведь в истории Германии в решающий час сколько уже раз правила реакция — то Фридрих, то Вильгельм-Фридрих, то Вильгельм.

Значит, тут дело не только в кучке злодеев с Гитлером во главе, тут дело в особенностях юнкерства, пруссачества <...> {76}, которые выдвигают этих злодеев и обер-злодеев.

Один мой близко знакомый человек, коммунист, он теперь комиссаром на фронте, Крымов привел мне как-то слова Маркса о роли реакционных сил в германской истории, я их запомнил: «С нашими пастырями во главе, мы всегда находились в обществе свободы только в одном случае — в день ее погребения». И вот реакция в эпоху империализма породила сверхчудовище — Гитлера, и вот тринадцать миллионов немцев сказали ему на выборах: «Да!»

— Сегодня это так, Гитлер победил в Германии. Я понимаю вашу мысль! — сказал Чепыжин.— Но бесспорно и то, что народная мораль, народное добро неистребимы, сильнее, чем Гитлер и его топор. Фашизм будет убит, а человек останется человеком. Всюду — и не только в оккупированной фашистами Европе, но и в самой Германии! Народная мораль! Ее мера в свободном, полезном, творческом труде, ее существо в утверждении своего равенства в труде, чести, свободе, основанное на уверенности в праве на свободный труд, на равенство, на свободу всех трудовых людей, живущих на земле. Народная мораль проста: святость моего права — в святости права других трудовых людей, живущих на земле. А фашизм, а Гитлер с особой яростью и грубостью — наоборот: мое право во всеобщем бесправию людей и народов, в бесправию всего мира.

— Дмитрий Петрович, да, да, да, вы правы, человек останется человеком, фашизм будет убит, без понимания этого, без веры в это жить нельзя. Я верю в прекрасную народную силу вместе с вами, вы один из тех, кто научил меня верить в нее. И я так же, как и вы, знаю, что источник этой силы прежде всего в людях труда, в передовых, прогрессивных, гуманных людях, воспитанных на идеях Маркса, Энгельса, Бебеля <...> {77}. Но где же, где она, эта сила, в сегодняшней жизни Германии, в практике жизни? — спросил Штрум.— В практике жизни, когда полчища немцев выжигают нашу страну, деревни, города, поля? Вот о чем душа болит!

— Виктор Павлович,— с укором сказал Чепыжин,— практика жизни и научная теория никогда не должны расходиться и существовать порознь. Вся история нашей физической науки может быть в общем принципе сведена к движению от внешнего кольца электронов до сферы ядерных протонов и нейтронов. За миллион лет от физики камня к химии и снова к физике, но уже не каменной, а ядерной, за миллион лет путь в ничтожную долю миллимикрона. И вот может показаться, что для науки нет мира, полного труда, горя, крови, рабства, насилия, а есть лишь деяния абстрактного разума, проникающего от внешнего кольца электронов к ядру, а весь горький мир бытия, как дым, приходит и уходит, не оставляя по себе ни следа, ни памяти. Вот если ученому так покажется, то грош цена ему, всей его науке, всей его работе.

Наука стоит на пороге открытия гигантских источников энергии. Ими должен владеть народ, иначе истребительная сила, созданная современной наукой, попав в руки фашизма, обратит мир в развалины. Как же можно понимать сегодняшнюю действительность, не вглядываясь вперед, не стараясь прочесть завтрашнего дня. <...> {78} Но война есть война! И именно поэтому надо понимать, что неправы люди, видящие во временном торжестве фашистского злодейства приход вечного царства гитлеровской тьмы и уж конечно вечную гибель германского народа.

Он обвел рукой вокруг головы широкий круг и медленно, торжественно сказал:

— Энергия вечна, что бы ни делали для ее уничтожения. Энергия солнца, излученная в пространство, проходит через пустыни мглы, оживает в листе тополя, в живом соке березы, она затаилась во внутримолекулярном напряжении кристаллов, в каменном угле. Она замешивает опару жизни. И вот такова же духовная энергия народа. И она переходит в скрытое состояние, но уничтожить ее нельзя. Из скрытого состояния она вновь и вновь собирается в массивные сгустки, излучающие свет и тепло, осмысливает человеческую жизнь. И знаете что? Ведь неистребимость этой силы видна в том, что сами вожди фашистского злодейства и насилия всегда убеждают народы, что они будто бы поборники общественного добра и справедливости. Главные преступления свои они творят втайне, на опыте знают, что зло рождает не только зло, что оно может не только подавить добро, но и вызвать его. Они бессильны утвердить главную идею фашистского аморализма, утверждающую свою личную, свою расовую, свою государственную свободу путем кровавого отрицания личной, расовой, народной свободы других. Они способны временно затемнить, обмануть, опьянить, но они не способны переделать, убедить народную душу.

Штрум, усмехнувшись, сказал:

— Что же, Дмитрий Петрович, без тьмы немислимо ощущение света? Вечность борющегося добра мыслима лишь в вечности зла? Так ли я понял вашу мысль?

Штруму припомнился довоенный разговор с Крымовым, и он сказал:

— Но, Дмитрий Петрович, снова я возражаю вам: общественные отношения требуют такого же научного исследования, как и мир природы. В законы термодинамики нельзя ведь вводить <...> {79} субъективные представления. Ведь в физике вы всегда проводник принципов причинности, объективных закономерностей. А приняв вашу сегодняшнюю схему, невольно станешь не оптимистом, а пессимистом: эта ваша схема с квашней ведь отрицает по существу прогресс, движение вперед! Я понимаю, конечно: вам кажется, что она ограничивает возможность фашизма менять общественную структуру, калечить человека. А вот <...> {80} приложите эту схему не к фашизму, который сгинет, а к прогрессивным явлениям, к освободительным революциям, и вы увидите, что она сулит застой: ведь по такой схеме и революционная борьба рабочего класса не может изменить общество, не может поднять человека на высшую ступень: лишь изменится положение частей в квашне. Но ведь это не так! Вот за советские годы и страна, и хозяйство, и общество, и люди стали иными. Как ни поворачивай, а уж обратно не повернешь! А по вашему рассуждению общество — что-то вроде клавиатуры: один играет на этой клавиатуре одну музыку, другой играет другую музыку, а клавиатура остается неизменной. Я <...> {81} разделяю ваш оптимизм, вашу веру в человека, в победу над фашизмом. Но <...> {82} дело не только в том, чтобы после победы над фашизмом механически вернуть прежнее, дофашистское положение общественных частей в немецком обществе. Дело в том, чтобы изменить германское общество, оздоровить почву, которая рождала войны, жестокости, наконец, родила кошмары гитлеризма.

— Ох, однако, и накинулись вы на меня,— сказал Чепыжин,— но не я ли учил вас спорить, вот и научил!

— Дмитрий Петрович,— сказал Штрум,— вы мне простите эту горячность. Но ведь вы знаете лучше меня, что физики вас любят не только за то, что вы авторитет, но и за то, что вы никого не стремитесь подавить авторитетом, что не в начетничестве, а в живом, горячем споре радость совместной работы с вами. Когда я увидел вас, я был бесконечно рад прежде всего оттого, что люблю вас, я обрадовался оттого, что могу поговорить с вами о самом важном. Но я знал заранее, что не с каменными скрижалями вы придете ко мне! Я знал заранее, что мы с вами едины в главном, но я знал, что, может быть, и поспорю с вами, что ни с кем, как с вами, учителем, другом моим, могу так горячо спорить.

— Ладно, ладно, поспорили и еще поспорим,— проговорил Чепыжин.— То, что вы говорили,— серьезно, а о серьезном надо всерьез подумать.

Чепыжин взял его под руку, и они, оба взволнованные, зашагали быстрым, широким шагом.

43

Комиссар противотанковой бригады Николай Григорьевич Крымов не спал несколько ночей подряд. Выйдя из боя, бригада получила приказ передвинуться вдоль фронта на участок, где вновь прорвались подвижные войска противника.

Едва бригада успела занять отведенный участок обороны, как танковая колонна немцев обрушилась на ее позиции.

Бой длился четыре часа, после чего немецкие танки изменили направление движения.

Бригада, получив приказ об отходе в район восточной излучины Дона, была внезапно атакована на марше новой немецкой танковой частью и приняла бой в невыгодных условиях.

В этом бою бригада понесла большие потери, и командующий армией приказал ей переправиться через Дон, выйти из района боев, отремонтировать машины, привести в порядок технику и быть готовой вновь занять оборону на танкоопасном направлении.

Командующий предупредил, что отдых будет предельно коротким, не более двух суток, но даже и половина этого срока не успела пройти, как командир бригады получил новый приказ — немедленно выступить: танковые войска противника прорвались по проселочным дорогам и устремились на северо-восток.

Это были раскаленные дни начала второй десятидневки июля 1942 года, пожалуй, самые тяжелые дни в эту тяжелую пору Отечественной войны.

Ординарец начальника штаба бригады вошел в просторный и светлый дом председателя станичного Совета, где остановился комиссар. Крымов спал на широкой постели, прикрыв лицо от яркого солнца газетой.

Ординарец, собираясь будить Крымова, нерешительно глядел на мерно колышущийся от дыхания комиссара газетный лист и машинально читал строки из сообщения Совинформбюро: «После ожесточенных боев в районе Кантемировки...» {83}

Пожилая женщина, хозяйка дома, сказала вполголоса:

— Да не буди ты его, только-только заснул.

Ординарец сокрушенно покачал головой и жалобным шепотом, жалея Крымова, произнес:

— Товарищ комиссар, а товарищ комиссар, вас в штаб просят.

Ординарцу казалось, что комиссар начнет кряхтеть, отмахиваться и будить его придется

долго. Но едва ординарец коснулся плеча спящего, Крымов быстро приподнялся, откинул в сторону газету, посмотрел вокруг воспаленными, налитыми кровью глазами и стал натягивать сапоги.

В штабе Крымов узнал о приказе вновь переправиться через Дон и занять оборону. Командир бригады уже уехал к артиллеристам, стоявшим в соседней станице, и сообщил по телефону, что вместе с ними двинется к переправе, а оттуда поедет в штаб армии уточнить обстановку и получить боевую задачу. Минометный дивизион старшего лейтенанта Саркисьяна получил маршрут движения и через три часа должен был выступить. Следом за ним собирался и штаб.

— Да, вот и не удалось нам, товарищ комиссар, отдышаться по-настоящему на восточной стороне Дона,— сказал начальник штаба и, поглядев на воспаленные глаза Крымова, добавил: — Может быть, отдохнете часик, мы с подполковником поспали немного, а вы до утра в подразделениях были.

— Нет, не придется,— сказал Крымов.— Я поеду вперед, сориентируюсь в обстановке. Дайте-ка мне маршрут, там уже встретимся.

Через час, проверив готовность подразделений к маршу, он сказал ординарцу:

— Водитель пусть заедет на квартиру, возьмет вещи и подгонит машину к штабу.

Начальник штаба с грустью заметил:

— Эх, а я-то думал вечерком для всех нас баньку устроить, а после баньки чарочку выпить. Видно, не может немец без нашей бригады и сутки обойтись!

Крымов посмотрел на полное, добродушное лицо начальника штаба.

— А вы, майор, за эти дни нисколько не похудели.

— Много для немцев чести заставить меня похудеть.

Крымов улыбнулся.

— Действительно, где уж им. Пожалуй, даже наоборот, прибавили немного.

— Никак нет. У меня стабилизация наступила в тридцать шестом году.— Начальник штаба пододвинул Крымову лежащую на столе карту.— Вы посмотрите, где наш рубеж намечен,— сказал он,— это почти на девяносто километров восточней того места, где мы позавчера бой давали. Сильно прут! Я вот худеть не хужею, а мысль меня день и ночь гложет: где же их остановят, где наши резервы? Измоталась бригада — и люди, и техника.

В это время вошел ординарец и доложил, что машина готова.

— Вечером увидимся, я тоже начну через часок хозяйство собирать,— сказал начальник штаба. Он проводил Крымова до машины, держа в руке лист карты; когда Крымов уселся рядом с шофером, начальник штаба стал объяснять: — Только я советую, на главную переправу не езжайте, долбит ее немец день и ночь. Вот тут, по понтонной, безопасней, по-моему, сюда езжайте. Я этим маршрутом и штабное хозяйство поведу.

— Поехали,— сказал Крымов.

Воздух, небо, дома, окруженные деревьями,— все в этой станице, стоящей в стороне от главных путей войны, выглядело мирным и спокойным. Но когда Крымов выехал с проселка, картина тихого, ясного дня стала меркнуть в пыли и шуме большой военной дороги.

Крымов закурил и протянул портсигар шоферу. Тот, продолжая глядеть на дорогу, взял правой рукой папиросу так, как делал это сотни раз, днем, ночью, по ту и по эту сторону Днепра, Донца и Дона.

Крымов, рассеянно глядя на знакомую, всегда одну и ту же и на Украине, и под Орлом, и за Донцом, примелькавшуюся ему фронтную дорогу, уже не мешавшую сосредоточиться, размышлял о вновь предстоящих боях, гадал, какую задачу получит бригада от командарма.

44

Все ближе к Дону подъезжали они.

— Зря мы днем поехали, товарищ комиссар, лучше бы ночью,— проговорил водитель.— Налетят «мессера», а кругом степь, никуда не денешься, а легковые они особенно любят, им Гитлер премию за легковые дает.

— Война не ждет, товарищ Семёнов,— сказал Крымов.

Водитель открыл дверцу, придерживая ее рукой, оглянулся и произнес:

— Все!.. Спустил задний скат, вот вам и не ждет,— и стал притормаживать, выкручивать машину в сторону от дороги, к пыльным деревцам.

— Ничего,— утешил его Крымов.— Лучше здесь, хуже, если на переправе.

Семёнов поглядел на вырытую кем-то неглубокую щель и улыбнулся. <...> {84}

[— Наши шофера никогда не пропадут,— сказал Семёнов.— В дивизионе у одного конденсатор вышел из строя, а запасной потерял, так он до рембазы вместо конденсатора на лягушке ехал, наловил лягушек — и километров на пять ее хватит, а другой, говорят, на полевом мышке.— Он восхищенно рассмеялся.— Вот народ, нигде русский шофер не пропадет!]

Деревца, у которых они остановились, были еще молоды, а листья на них стали совершенно белыми от пыли, седыми. Очевидно, многое пришлось им повидать за последнее время — они стояли вблизи развилки дороги.

Колонны машин, конные обозы тянулись на восток. Раненые шли в запыленных бинтах, некоторые в гимнастерках без пояса, ремни у них были перекинuty через шею и поддерживали забинтованные руки. Одни шли опираясь на палочку, другие несли в руке кружечку или пустую консервную баночку. На этой дороге не нужны были личные вещи, даже самые ценные и дорогие; человек нуждался в хлебе, кружке воды, табаке и спичках, а все остальное, будь то даже новые хромовые сапоги, не годилось.

Раненые шли, лишь изредка поглядывая по сторонам, где бы, не сворачивая далеко с дороги, черпнуть кружечкой воды. Шагали они молча, не разговаривая друг с другом, не окликая тех, кто их обгонял, ни тех, кого они обгоняли...

В стороне от дороги велись оборонные работы. Под большим степным небом женщины в белых платочках копали окопы. Они то и дело поглядывали вверх: «не летит ли паразит».

Солдаты, уходившие с запада на восток, смотрели на противотанковые рвы, на проволоку, на огневые точки, окопы, блиндажи — и шли мимо.

На восток шли штабы, их легко было отличить: в грузовиках среди столов, пестрых матрацев и черных футляров пишущих машинок сидели озиравшие небо, припудренные пылью писаря и грустные девочки в пилотках, державшие в руках папки с документами и керосиновые

лампы.

Ехали моторизованные походные мастерские, рембазы, военоторговские полуторки с обмундированием и обеденной посудой, тяжелые машины батальонов аэродромного обслуживания: рации, движки, трехтонные грузовики с авиационными бомбами в тесовых футлярах, бензозаправщики; тягач тащил груженный на прицеп подбитый истребитель, крылья самолета подрагивали — казалось, что черный деловитый жук волочит полумертвую стрекозу.

На восток шла артиллерия. Красноармейцы сидели на пушках, обнимая на ухабах пыльные зеленые стволы. Тягачи тащили автоплатформы с металлическими бочками. [На восток шла пехота. Никто не шел в этот день на запад.] {85}

[Крымов глядел на степь, на жизнь, уходившую с запада на восток. Все это он видел под Киевом, Прилуками, Штеповкой, под Балаклеей, под Валуйками и Россошью.]

Казалось, эта степь уже никогда не узнает покоя...

«Но ведь придет день,— подумал Крымов,— и пыль, поднятая войной, вновь ляжет на землю, вновь настанет тишина, погаснут пожары, осядет пепел, рассеется дым, и весь мир войны, в дыму, в пламени, в грохоте, в слезах, станет прошлым — историей...»

Минувшей зимой в избе где-то за Корочей его ординарец Рогов, погибший впоследствии при бомбежке, сказал с удивлением:

— Товарищ комиссар, посмотрите, стены обклеены чем — газеты мирного времени!

Крымов ему ответил:

— Ну что же, Рогов, а потом хозяин обклеит стены сегодняшними газетами, мы приедем после войны, и вы скажете: «Комиссар, посмотрите,— сводки Информбюро, газеты военного времени...»

Рогов с сомнением покачал головой, и правда — для него мир не пришел. И все же все это станет прошлым, и люди будут вспоминать, писатели станут описывать великую войну.

Семёнов уложил под пыльное сиденье домкрат, ключ, черную, в красных заплатах камеру и прислушался к раскатистому грохоту, шедшему не от неба к земле, а от охваченной грозой земли в безоблачное небо.

Семёнов, сожалея, посмотрел на тихие, поседевшие деревца — он уже успел привыкнуть к месту, где за долгие двадцать минут ничего худого с ним не случилось.

— Переправу долбают,— сказал он,— подождать — спокойней бы проехали.— И, не дожидаясь ответа комиссара, заранее ему известного, включил мотор.

Все напряженной становилось вокруг.

— Горят на переправе машины, товарищ комиссар,— сказал Семёнов и, указывая пальцем, стал считать немецкие самолеты.— Вот они: один, два, три!

Блеснула вода, освещенная солнцем, и сверкание ее было как недобрый, серый блеск ножа. Прошедшие через переправу машины, буксуя, въезжали на песчаный восточный берег. Люди подталкивали их руками, плечами, грудью, вкладывая в эту работу все свое желание жить. Шоферы, переключив скорость, с остановившимися, напряженными глазами, вытянув шеи, прислушивались к звуку мотора: возьмет или не возьмет, ведь застрять на выезде — значило вновь отдать только что выигранный у судьбы шанс.

Саперы с темными лицами подкладывали под колеса выезжающих машин доски и зеленые ветки, и когда грузовик, взяв песчаный подъем, выходил на дорогу, хмурые лица саперов светлели, точно им самим предстояло на этом грузовике уехать от переправы.

Грузовики, выехав на дорогу, набирали скорость. Пассажиры, те, что половчей, цеплялись за борта и, болтая ногами, подтягивались, переваливали в кузов, другие бежали, тяжело вихляя сапогами по песку, и кричали: «Давай, давай!» — точно в самом деле водитель собирался ради них тормозить, а они его уговаривали не делать этого.

Потом уже, добежав до остановившейся далеко за переправой машины, они, задыхаясь, лезли на свои места в кузове, смеялись, оглядываясь на реку, рассыпая табак, сворачивали сигарки и говорили:

— Ну, теперь все, поехали...

А спустя недолгое время радостное возбуждение исчезало, потому что на левом, вожделенном берегу реки были та же степь, те же сумрачные лица, светлело голубоватое крыло разбитого самолета среди пыльного ковыля, стояли разбитые машины.

Крымов остановил машину и, неловко шаркая длинными ногами, побрел к переправе. Он шел медленно, спотыкаясь: грубые, крепкие, как шпагат, стебли степной травы цеплялись за ноги. Он шел, не ускоряя шага, не глядя вверх и по сторонам, все смотрел на серые от пыли носки своих сапог.

Тараторила зенитная пушка, высоко в небе подвывал немецкий мотор. Вдруг в воздухе заскрипело, завыло, невысказанно пронзительно, невысказанно громко — это «Юнкерс-87», включив пищуху, перешел в пике. Ухнула земля, огромный колун ударил по сырому полену, ударил раз, и два, и три.

А Крымов все шел и смотрел на серую землю под ногами.

Желтая медленная пыль и черный быстрый дым закрыли толпу, грузовики, подводы на правом берегу, и по ставшему вдруг пустым мосту, согнувшись, пробежал человек без пилотки.

Когда Крымов подошел к мосту, щупленький юноша лейтенант, комендант переправы, с красной перевязью на рукаве, держа в руке пистолет, бежал к машинам и кричал:

— Вот видишь это, кто без моего приказа выедет на мост! Все назад!

Судя по голосу, кричал он так не первый день.

Водители, не отряхивая песка и пыли, вылезали из щелей, садились в кабины, торопливо заводили моторы, и машины, стоя на месте с заведенными моторами, дрожали.

Водители оглядывались на коменданта, который мог и в самом деле пристрелить, поглядывали, не летят ли обратно немцы, и, едва комендант отворачивался, тихонько нажимали, продвигались к мосту — деревянные кладки через реку гипнотизировали, притягивали их.

Когда какая-нибудь машина выезжала на полметра вперед, то и соседняя тотчас рывком подавала вперед. И за второй третья, за третьей четвертая, за четвертой пятая... Это напоминало игру: захоти первый подать назад, он не смог бы — задние подпирали впритирку.

— Пока не подадите назад, ни одного не пущу,— в бешенстве крикнул комендант и в знак святости своих слов поднял вверх пистолет.

Крымов взошел на мост, ноги после песка зашагали по доскам легко и свободно, сырая свежесть реки коснулась его лица.

Крымов медленно шел по мосту, и спешившие навстречу пехотинцы, глядя на него, сдерживали шаг, оправляли гимнастерки и отдавали ему честь. Отдача приветствия по форме в такие минуты значила немало. Крымов хорошо понимал это. Он видел, как на такой же переправе два дня назад генерал, открыв дверцу легковой машины, крикнул в толпу, шагавшую по мосту:

— Куда вы? Посторонитесь! Дайте проехать!

И пожилой красноармеец {86}, положив руку на крыло машины, сказал необычайно добродушно, лишь с легкой укоризной, как крестьянин говорит крестьянину:

— Куда, куда, сами ведь видите, туда, куда и вы,— жить-то всем хочется.

И в этом солдатском простодушии было нечто такое, что заставило генерала молча и поспешно захлопнуть дверцу.

Здесь, на переправе, Крымов сразу же ощутил свою силу, силу человека, который медленно шел по мосту на запад, навстречу уходившим на восток.

Крымов подошел к коменданту переправы. Лицо лейтенанта выражало ту крайнюю усталость, когда измучившийся человек знает: осталось лишь доводить дело до конца, а отдохнуть не придется.

[В таком состоянии уже не мечтают о хорошем, а думают: «От долга своего не отступлюсь, но хоть бы скорей голову оторвало».]

Он посмотрел на Крымова с недобрим выражением, уже готовый ответить отказом на все его просьбы, заранее зная, о чем поведет речь батальонный комиссар: как бы пропустить машину без очереди, то ли в ней раненый полковник, то ли нужно доставить в тыл необычайно важный документ, то ли сам командующий фронтом генерал-полковник ждет батальонного комиссара, часа не может без него обойтись.

— Мне туда,— сказал Крымов и указал рукой на запад,— как бы проехать?

Лейтенант вложил пистолет в кобуру и сказал:

— Туда — это я сейчас сделаю, пропустим.

Через минуту два регулировщика, махая флажками, стали расчищать проход для машины, водители грузовиков, выглядывая из кабин, передавали друг другу:

— Подай немного назад, тогда я подам назад, надо пропустить, на передовую командир спешит.

Крымов, глядя на быстро, вмиг расшитую пробку, подумал, что жажда наступления живет в отступающей армии; сейчас это проявилось в мелочи, в том, как охотно и легко охрипший, осатаневший от грохота, крика, усталости мальчик-комендант, регулировщики и шоферы устраивали проход для одинокой легковушки, пробирающейся к фронту.

Крымов вышел на мост и, замахав рукой, протяжно позвал:

— Семёнов, давай сюда!

В это время послышался крик: «Воздух!» — и тотчас несколько голосов поддержало:

— Летят, летят, обратно идут! Прямо на переправу!

Крымов, не оглядываясь, злобно кричал:

— Давай сюда!

Но вот за машиной поднялось облачко пыли, очевидно, Семёнов, в душе ругая своего комиссара, включил мотор и ехал к мосту.

— Давай скорей! — крикнул Крымов и топнул ногой.

На плоских понтонах, упершись грудью в настил моста, стояли два красноармейца. Их службу на понтонах считали тяжелой даже саперы и регулировщики, обслуживающие переправу, им доставалось больше огня и осколков, чем тем, кто работал на берегу. Да и нельзя было уберечься от этих осколков посреди реки в тонкобортных понтонах.

Когда Крымов нетерпеливо звал водителя, один понтонер сказал второму:

— Легкари!

Этим словом они, видимо, обозначали не только едущих на легковых машинах, но и тех, что хотели легко отделаться от войны и долго жить на свете.

Второй спокойно, без осуждения, подтвердил:

— Легкарик, торопится жить.

Крымов слышал этот разговор и понял его. Когда машина въехала на мост, он не стал вскакивать на ходу, а загородил дорогу, поднял руку — машину занесло, она стала боком.

И вдруг над Доном послышался злой бабий голос. На беженской подводе стояла молодая плечистая крестьянка и, размахивая кулаком, гневно кричала:

— Эх, вы... это же журавли летят!

И засевшие в щелях люди увидели, как на переправу высоко в синем небе плавно, клином, летели птицы: одна из них медленно замахала крыльями, за ней вторая, третья, затем снова они перешли на парящий полет.

— Не в свое время журавли перебазировались или война их потревожила?.. — сказал Крымову комендант переправы, с детским любопытством глядя на небо.

Крымов, идя рядом с машиной, пробирался среди подвод и грузовиков, а на дороге, в степи, в камышах, смеялись смущенные люди. Они смеялись друг над другом, над женщиной, ругавшей их с подводы, над потревоженными войной журавлями.

Когда Крымов сел в машину и отъехал на километр-полтора от реки, Семёнов тронул его за рукав и показал пальцем вверх: в воздухе появилось несколько черных точек, но то не были журавли, на переправу шла эскадрилья пикирующих бомбардировщиков.

45

Уже вечерело. В это лето степные закаты были особенно торжественны и пышны. Пыль, поднятая миллионами ног, колес, гусениц, пыль, поднятая бомбовыми разрывами, стояла над степью, тонкою взвесью поднялась в высокие, кристально ясные слои воздуха, где уже дышал холод мирового простора.

Вечерние лучи света, дробясь об эту тончайшую пыль, доходили до земли множеством

красок. Степь огромна. И как небо и море окрашиваются в часы заката, так жесткая, сухая степная земля, днем сизая и желто-серая, вечером, подобно небу и морю, способна менять цвета.

Таково удивительное свойство степной земли, сближающее ее с морем. Вечером степь то розовеет, то становится синей, то фиолетово-черной.

Чудные запахи идут от нее; пахучие эфирные масла, включенные в соки трав, цветов и кустарников, выкипяченные летним солнцем, прикипают облаком к остывающей вечером земле, не смешиваясь, медленными струями ползут в воздухе.

И над теплой землей то запахнет полынью, то едва начавшим просыхать сеном, то в котловине вдруг ударит тяжелым запахом меда. А дальше в степи из глубокой балки пахнет сыростью молодого многотравья, то сухой, пыльной, прокаленной солнцем соломой, то вдруг запахнет уже не травой, не дымом, не полынью, не арбузом, не горьким листом дикой степной вишни, а самой плотью земли: таинственное дыхание, включающее в себя и легкость земного праха, и тяжесть неподвижных, окаменевших во тьме пластов, и режущий холод глубоких подземных ключей и рек.

Вечерами степь не только окрашивается, не только пахнет, она и поет. Звуки степи не доходят каждый в отдельности до слуха человека, их и не нужно слушать порознь. Они, едва коснувшись уха, доходят до самого сердца, наполняют его не только покоем и миром, но и печалью и тревогой.

Усталый, нерешительный скрип кузнечиков, точно спрашивающих, стоит ли шуметь в сумерках, переключка серых степных куропаток перед приходом тьмы, дальний скрип колеса, примиренный шепот отходящей ко сну травы, колеблемой прохладным ветром, возня сусликов и мышей, скрип жесткокрылых жуков... И рядом с этими примиренными звуками отходящей на покой жизни — другие: полный разбойничьего волнения крик совушек, угрюмое гудение ночных бражников, шорох желтопузых полозов, шорох охоты и охотников, выходящих из нор, дыр, балок, трещин в сухой земле. А над степью встает вечернее небо, земля ли отражается в нем, или небо отражается в земле, либо и земля и небо, как два огромных зеркала, обогащают друг друга чудом борьбы света и тьмы.

В небе, сами собой, в страшной высоте, в равнодушной астрономической тишине, без грохота и взрывов, без дыма, вспыхивают один за другим пожары. Вот занялся край спокойного, высокого, пепельно-серого облака, а через минуту оно все пылает, как многоэтажный, блещущий стеклами, кирпично-красный дом, а вслед за ним огонь охватывает все новые облака. Огромные и малые, кучевые и плоские, как серые плиты сланца, они вспыхивают, наваливаются друг на друга, рушатся.

Велика сила природы. Мокрая земля, поросшая худым осинником, покрытая щепой недавних порубок; болото, все заросшее режущей пальцы яркой осокой; пригородные лески и полянки, иссеченные дорогами и тропинками, полысевшие от сотен прошедших по ним ног; речушка, теряющаяся среди кочковатого болотца; солнце, вдруг глянувшее из облаков на сжатое, мокрое поле; туманные снеговые горы, к которым не дойти ни за день, ни за пять,— все это говорит человеку о его радости, дружбе, одиночестве, о его судьбе, счастье и печали...

Чтобы сократить путь, Крымов свернул с накатанного большака и ехал по едва намеченному, поросшему травой проселку. Этот проселок, тянувшийся с севера на юг, пересекал те дороги, что шли к Дону с запада.

Стебли сизого и приземистого ковыля и серебристо-стальной полыни били по бортам машины, сбивая с нее пыль и сами выколачивая из себя облачка пыльцы. Тихий проселок, избранный Крымовым для ускорения пути, минуя небольшую лощину, вновь сливался с большой дорогой. К этой дороге сходились большаки, грейдеры, проселки, ведущие от

городов и станиц. По этой дороге двигались те, кто шел из-под Чугуева, Балаклеи, из Валуек и Россоши.

Семёнов уверенно проговорил:

— Ну, тут не пробиться,— и затормозил.

— Давайте, давайте вперед. Нам ведь только пересечь дорогу,— сказал Крымов.

Степью тянулись пестрые длинные стада утомленных, мотающих тяжелыми головами, спотыкающихся коров и слитых в одно живое, серое, текучее и плотное пятно овец.

Скрипели конные колхозные обозы, медленно ползли подводы беженцев с будками, крытыми цветными украинскими ряднами, фанерой либо сорванной с домов крашенной в зеленый, красный цвет кровельной жостью. Дальше врассыпную, с выражением спокойной, привычной усталости на лицах шли пешеходы: с мешочками, узлами, зелеными деревянными чемоданами.

Из-под разноцветных навесов-будок видны были белые, соломенно-золотистые, черные детские головы, лица стариков и женщин. Все — и старики, и женщины, и девушки, и дети — были спокойны и молчаливы. В их ушах стоял скрип, скрежет, гудение, и они не могли отделиться от общего потока, отдохнуть, выкупаться, развести костер. Они растворялись в огромности медленного движения среди серо-желтых облаков пыли, по сизой, горячей степи. Люди привычно ощущали движущуюся впереди телегу, тяжелое дыхание волов, напор шедших сзади, но и самих себя они ощущали частью великого народного целого, медленно и тяжело движущегося с запада на восток.

Передние пылили, пыль садилась на задних, и задние говорили и думали: «Вот передние пылят да пылят!» А передние думали и говорили: «Задние все напирают да напирают».

Боль сжала сердце Крымова.

Сила фашизма хотела подчинить жизнь человека правилам, своей бездушной, бессмысленно-жестоким однообразием подобным тем, что управляют мертвой, неживой природой, напластованием осадков на морском дне, разрушением горных массивов водой и тепловыми колебаниями. Эти силы хотели поработить разум, душу, труд, волю, поступки минерализованного ими человека, хотели, чтобы покорная жестокость раба, лишённого свободы и счастья, уподоблялась жестокости кирпича, рушащегося с крыши на голову ребенка.

Крымову показалось: он охватил сердцем всю огромную картину. Тысячи людей, стариков, женщин, непримиримо ненавидя силу фашистского зла, уходили на восток под широкой бронзой и медью лучей заходящего солнца.

46

Они пересекли дорогу и поехали дальше, все круче забирая на запад.

Машина въехала на невысокий холм, откуда открывался широкий обзор.

— Товарищ комиссар, смотрите, от главной мостовой переправы машины к фронту идут, должно быть, наша бригада подтягивается! — воскликнул Семёнов.

— Нет, это не наша бригада,— ответил Крымов и велел Семёнову остановиться. Они вышли из машины.

Заходящее солнце на миг выглянуло из-за синих и темно-красных туч, громоздившихся на

западе, лучи, расширяясь, шли от неба к потемневшей вечерней земле.

По равнине от мостовой переправы с востока на запад мчался стремительный поток машин.

Длинноствольные пушки, казалось, стлались по земле, буксируемые мощными трехосными грузовиками. Следом неслись грузовики с белыми снарядами ящиками, машины, вооруженные счетверенными зенитными пулеметами.

А над переправой клубилась стена пыли — на запад шли войска.

— Резервы к фронту идут, товарищ комиссар,— проговорил Семёнов.— Вся степь с востока как в дыму.

Вскоре сумерки сгустились, земля покрылась черно-серой холодной золой. И только на западе, упрямо нарушая мрак, вспыхивали длинные белые зарницы артиллерийских залпов да высоко в небе появились редкие звезды, белые-белые, словно вырезанные из свежей молодой бересты.

Ночью бригада заняла рубеж обороны.

Крымов встретился с командиром бригады подполковником Гореликом. Горелик, потирая руки и поживаясь от ночной сырости, рассказал Крымову, почему бригаду вновь подняли, не дав ей отдохнуть и привести себя в порядок.

По приказу Ставки <...> {87} выдвигались из резерва две армии, усиленные танками, тяжелой артиллерией, вновь сформированными иптаповскими полками.

Бригаде было приказано прикрыть в танкоопасном направлении движущиеся к фронту стрелковые части.

— Как из-под земли поднялись,— рассказывал командир бригады.— Я ехал не той дорогой, что вы, а от Калача. Машины местами в восемь рядов идут, пехота прямо степью движется. Много молодых ребят. Вооружение новое — автоматы, очень много противотанковых ружей, полнокровные части идут. В одном месте танковую бригаду встретили...— Он задумался на мгновение и спросил: — А вы так и не успели выспаться?

— Нет, не успел.

— Ничего, ничего, мне замкомандующего сказал: «Скоро вашу бригаду выведем на переформирование в Сталинград». Вот тогда мы с вами выспимся... А артиллеристы в штабе армии смеются, дразнят меня: «Теперь уж вы со своей бригадой устарели, теперь иптап последнее слово».

— Значит, новый фронт, Сталинградский? — спросил Крымов.

— Новый, новый, в чем же дело, повоюем на Сталинградском,— ответил Горелик.

До самого рассвета слышен был шум машин, далекий гул танковых моторов: то растекались вдоль фронта вышедшие из резерва части — новая, горячая сила, оживляя застывшую ночную степь, прилиwała к обороне донских подступов.

Под утро штаб бригады имел уже связь с дивизией, занявшей ночью позиции в степи, а через дивизию со штабом армии.

Крымова вызвал по телефону член Военного совета армии.

Дежурный по штабу передал трубку Крымову и сказал:

— Бригадный комиссар просил подождать у телефона, не класть трубку — его срочно вызвали по другому аппарату.

Крымов долго держал трубку у уха. Он любил слушать эту шумевшую по бесконечному полевому проводу бессонную фронтовую жизнь. Перекликались телефонистки, шумели начальники. Кто-то говорил: «Вперед, вперед давай, слышишь, первый велел, пока не дойдешь до места, никаких отдыхов не устраивать». Чей-то голос, видимо фронтового новичка, наивно конспирируя, спрашивал: «Как там, коробочки пришли? Водички и огурцов вам хватит?» Бас докладывал: «Занял рубеж, свой участок обороны принял по акту». Четвертый четко произнес: «Товарищ Утвенко, разрешите доложить, орудия заняли огневые позиции». Пятый грозно спрашивал: «Где вы там замешкались, спите, что ли? Приказ понятен? Дошло по фитилю? Тогда выполняйте немедленно». Сиплый голос спрашивал: «Любочка, Любочка, что ж вы мне обещали штаб снабжения горючим, а не даете, нельзя обманывать. Как же не вы обещали, я хоть вас в лицо не знаю, а по голосу среди тысячи узнаю». Командир летчик говорил: «Штаб воздушной, штаб воздушной — бомбы двухсотки прибыли... бомбардировщики прошли надо мной, примите заявку на штурмовку в шесть ноль-ноль». «Карта перед вами? Вам ясно, где противник? Уточните разведданные», — быстро, скороговоркой произнес пехотинец.

Начальник штаба Костюков, поглядев на улыбающееся лицо Крымова, спросил:

— Вы чему, товарищ комиссар, улыбаетесь?

Крымов, прикрывая ладонью трубку, сказал:

— Разговор про бомбы, танки, уточняют, где противник, и вдруг по линии плач грудного ребенка слышен — видно, проснулся где-то в избе, где телефон стоит, и заливается, кушать хочет.

— Природа и люди, — сказал дежурный телефонист.

Вскоре вызвали Крымова. Разговор был недолгий. Крымов кратко ответил на вопросы:

— Боеприпасами и горючим бригада обеспечена, противник на участке обороны не появлялся.

Член Военного совета спросил, какие нужды у командования бригады. Крымов сказал об изношенности автопокрышек, машины по дороге на огневые несколько раз из-за этого останавливались в пути. Член Военного совета велел снарядить полуторку в Сталинград на тыловую базу — он отдаст по телефону распоряжение.

— У меня все, — сказал он.

Положив трубку, Крымов проговорил, обращаясь к начальнику штаба:

— Вот мы утром говорили с вами, где резервы, послушаешь, как шумят сейчас по линии, и видно: новый фронт рождается.

— Да, пришла сила, — сказал Костюков.

Когда взошло солнце, командир бригады и Крымов поехали смотреть огневые позиции.

Стволы орудий, замаскированные пыльными прядями ковыля, сосредоточенно смотрели на запад. Лица людей казались нахмуренными в свете молодого солнца, а степь блистала росой, благоухала свежестью, чистотой и прохладой. Ни пылинки не было в ясном воздухе. Небо от края до края наполнилось той спокойной и чистой голубизной, которая бывает лишь ранним летним утром. Редкие облачка розовели, отогретые утренним солнцем.

Пока командир бригады разговаривал с командирами батарей, Крымов подошел к красноармейцам-артиллеристам.

Завидя его, красноармейцы вытянулись, глаза их улыбались, глядя на комиссара.

— Вольно, вольно,— проговорил Крымов и оперся локтем о ствол пушки. Красноармейцы окружили его.— Ну как, Селидов, ночью не пришлось спать? — спросил Крымов наводчика.— Опять мы с вами на переднем крае.

— Да, товарищ комиссар,— ответил Селидов,— всю ночь шумели: много наших войск подошло. А мы ждали, вот-вот немец ударит. Покуривали, да, по правде, под утро из табачка выбились.

— Ночь спокойно прошла, и на рассвете не появлялся,— сказал Крымов,— а утро-то какое!

— Воевать, товарищ комиссар, утрецом пораньше лучше всего. Он бьет, а ты видишь, откуда он бьет,— сказал молодой артиллерист.

— Это верно,— подтвердил Селидов,— особенно на рассвете. Темненько, а все видать, особенно если трассирующими бьет.

— Дадим ему? — спросил Крымов.

— Наши бойцы, товарищ комиссар, от орудий никуда. Три дня назад, когда бой был, немецкие автоматчики за стволы хватают, уж наша пехота ушла, а мы огонь ведем.

— Да что толку,— сказал молодой,— все отходим, он нас за Волгу загонит.

— Тяжело свою землю сдавать! — проговорил Крымов.— Но вот новый фронт, Сталинградский, образовался. Много замечательной техники, танки, артиллерийские истребительные полки. Сила огромная! Сомнений ни у кого не должно быть — остановим, завернем его! И не только остановим, назад погоним! Беспощадно погоним! Хватит нам отступать. Шутка, что ли,— за плечами у нас Сталинград!

Красноармейцы слушали молча, глядя, как небольшая пестрая птичка кружит над стволом крайнего орудия.

Вот-вот, казалось, сядет на согретую утренним солнцем орудийную сталь. Но вдруг, испугавшись, она полетела в сторону.

— Не любит она артиллерии,— сказал наводчик Селидов.— К минометчикам полетела, к старшему лейтенанту Саркисьяну.

— Гляди, гляди! — крикнул кто-то.

Во всю ширь неба шли на запад эскадрильи советских пикирующих бомбардировщиков.

А спустя час померкло утреннее солнце, красноармейцы с потными запыленными лицами подтаскивали снаряды, заряжали орудия, наводили их жерла на мчащиеся в клубах пыли немецкие танки. И где-то высоко-высоко в голубом небе, куда не доходила поднятая танками пыль, перекатывался грохот наземного сражения.

Десятого июля 1942 года 62-я армия была включена в состав действующих на юго-востоке советско-германского фронта соединений и получила задание занять оборону в большой излучине Дона, чтобы преградить движение наступавшим на восток немецким войскам.

Одновременно Верховное Главнокомандование Красной Армии выдвинуло из своего резерва еще одно крупное соединение, сомкнув его с левым флангом 62-й армии. Таким образом, создавалась новая линия обороны на путях прорывавшихся к Дону немецких дивизий.

Первые выстрелы, прозвучавшие 17 июля, ознаменовали начало оборонительного сражения на дальних подступах к Сталинграду.

В течение нескольких дней шли незначительные столкновения между высланными далеко вперед разведывательными пехотными и танковыми подразделениями и немецкими авангардами. В стычках обычно участвовали усиленные роты и батальоны. В этих малых, но ожесточенных боях новые, вышедшие из резерва части испытывали силу своего оружия, примеривались к силе врага. Одновременно шли круглосуточные работы по укреплению рубежей, занятых основными силами.

Двадцатого июля немецкие войска перешли в наступление. {88}

Крупные силы немецких танковых и пехотных соединений имели своей задачей выйти к Дону, с ходу форсировать его и, преодолев пространство между Доном и Волгой, которое немецкие штабные офицеры называли «горлышко бутылки», к 25 июля ворваться в Сталинград.

Такова была задача, поставленная Гитлером перед перешедшими в наступление немецкими войсками.

Однако вскоре немецкое командование поняло, что «вакуум» существует не на подступах к Дону, а в представлении тех, кто ставил задачу с ходу захватить город и определял сроки ее выполнения. <...> {89}

Бои стали ожесточенными, шли день и ночь. Советская противотанковая оборона была мощной и подвижной. Советская штурмовая и бомбардировочная авиация наносила удары по наступающим немецким войскам. Пехотные подразделения, вооруженные противотанковыми ружьями, дрались с чрезвычайным упорством.

Советская оборона была активна, внезапные контратаки на отдельных участках мешали сосредоточению немецких сил.

Немецкие танки и мотопехота, прорвавшись в районе Верхнебузиновки, были задержаны сильным контрударом {90}.

Эти более трех недель длившиеся бои не смогли все же остановить немцев, сконцентрировавших на дальних подступах к Волге всю ударную силу своих танковых и пехотных войск. Но значение этих боев было велико — темп немецкого наступления чрезвычайно замедлился. В боях было перемолото много немецкой живой силы и техники. Немецкий план — захватить Сталинград с ходу — провалился. <...> {91}

48

Война застала Крымова в тяжелые дни его жизни. Зимой Евгения Николаевна уехала от него. Она жила то у матери, то у старшей сестры Людмилы, то у подруги в Ленинграде. Она в письмах сообщала ему о своих планах, о своей работе, о встречах со знакомыми. Письма были спокойные и дружеские, словно она уехала погостить и скоро вернется домой.

Однажды она попросила его выслать две тысячи рублей, и он с радостью послал ей эти деньги. Но его огорчило, когда спустя месяц она вернула долг телеграфным переводом.

Крымову было бы легче, если б она, порвав с ним, прекратила переписку. Эти изредка, раз в полтора-два месяца, приходившие письма мучили его, он ждал их, а получив, испытывал боль: дружеский, спокойный тон их не доставлял ему радости. Когда она писала Крымову о

театре, его не интересовали ее рассуждения о спектакле, декорациях и актерах — ему хотелось вычитать, угадать, кто был ее спутником, кто сидел с ней рядом, кто провожал ее из театра домой... Но об этом она никогда не писала ему.

Работа не приносила Крымову удовлетворения, хотя он работал усердно и служба занимала у него весь день до поздней ночи. Он руководил отделом в социально-экономическом издательстве и много читал, редактировал, заседал.

С уходом Жени все реже приходили знакомые в его ставшие неуютными, пропахшие табаком комнаты. Некоторые люди, связанные раньше с Крымовым общностью работы и приходившие делиться своими новостями, волнениями, искавшие у него совета либо поддержки, после того как Крымов перешел в издательство, все реже навещали его, реже звонили по телефону. В воскресные дни он поглядывал на телефон и все ждал, не позвонит ли кто-нибудь. Но случалось, что весь день телефон ни разу не звонил, а если он, обрадованный звонку, снимал трубку, оказывалось, что это говорил по делу сослуживец или переводчик книги утомительно многословно рассказывал о своей рукописи.

Крымов написал младшему брату Семёну на Урал, чтобы тот с женой и дочерью переезжали в Москву; он им уступит одну из своих комнат. Семён был инженер-металлург и несколько лет после окончания института служил в Москве. Семён никак не мог получить в Москве комнату, жил то в Покровском-Стрешневе, то в Вешняках, то в Лосинке, и ему приходилось вставать в половине шестого утра, чтобы попасть на завод.

Летом, когда многие москвичи переезжали на дачи, Семён снимал на три месяца комнату в городе, и Люся, жена его, наслаждалась прелестями удобной городской квартиры — электричеством, газом, ванной. Они отдыхали в эти месяцы от дымных печей, замерзавших в январе колодцев, снежных сугробов, по которым приходилось пробираться к станции в предрассветной темноте.

— Семён из той знати,— шутя говорил Крымов,— которая зимой живет на даче, а летом в городе.

Семён с женой иногда приходили в гости к Крымову, и по лицам их было видно, что жизнь, которой живет Николай Григорьевич, кажется им необычайно значительной и интересной.

Крымов спрашивал:

— Как же вы живете, расскажите?

Люся, смущенно улыбаясь и опуская глаза, говорила:

— Ну что вы, мы живем совсем неинтересно.

А Семён добавлял:

— Что рассказывать — работа моя в цехе инженерская, обыкновенная... Я слышал, ты куда-то ездил на съезд тихоокеанских профсоюзов?

В 1936 году, когда Люся должна была родить, Семён решил уехать из Москвы в Челябинск. Он часто писал Николаю Григорьевичу, и в письмах этих по-прежнему чувствовалась любовь и преклонение перед старшим братом. О своей работе он почти не писал, но когда Крымов предложил ему переехать в Москву, Семён ответил, что не может, да и не хочет: он ведь теперь заместитель главного инженера на огромном заводе. Он просил Николая хоть на несколько дней приехать повидаться, посмотреть племянницу. «Условия для твоего отдыха есть,— писал он,— у нас дом-коттедж, стоит в сосновом лесу; возле дома Люся развела славный садик».

Письма об успехах брата порадовали Крымова, но он понял, что Семён не вернется в Москву, а ему уже представлялась семейная коммуна — он, вернувшись с работы, возит четырехлетнюю племянницу на плечах, а по воскресеньям с утра отправляется с ней в Зоологический сад.

Через несколько дней после начала войны Крымов подал заявление в Центральный Комитет партии — просил отправить его на фронт. Крымова зачислили в кадры, послали в Политуправление Юго-Западного фронта.

В день, когда он запер на ключ свою квартиру и с зеленым мешком за плечами и маленьким чемоданчиком в руке поехал трамваем на Киевский вокзал, он почувствовал душевный покой и уверенность. Ему подумалось, что он запер в доме свое одиночество, освободился от него, и чем ближе поезд подходил к фронту, тем спокойней и уверенней он чувствовал себя.

Из окна вагона он увидел Брянск-Товарный, разрушенный налетами немецких бомбардировщиков, мятый, рваный металл и расщепленный камень были смешаны с истерзанной землей. На путях стояли ажурные черно-красные скелеты товарных вагонов. Над пустым перроном гулко раздавались слова радиорупора, Москва опровергала измышления германского агентства Трансоцеан.

Поезд шел мимо станций, хорошо известных Крымову по временам гражданской войны,— Терещенковская, хутор Михайловский, Кролевец, Конотоп...

Казалось, луга, и дубовые рощи, и сосновые леса, и пшеничные поля, и гречиха, и высокие тополи, и белые хаты, в сумерках похожие на смертельно-бледные лица,— все на земле и на небе было охвачено тревогой и печалью.

В Бахмаче поезд попал под жестокую бомбежку, два вагона были разбиты. Паровозы гудели, их железные голоса были полны живого отчаяния.

На одном перегоне поезд дважды останавливался: летал на бреющем полете двухмоторный «Мессершмитт-110», стрелял из пушки и крупнокалиберного пулемета. Пассажиры бежали в поле, потом, озираясь, возвращались в вагоны.

Днепр переезжали перед рассветом. Казалось, поезд страшится гулкого звука, разносившегося над темной рекой с белыми отмелями.

В Москве Крымов предполагал, что бои идут где-то в районе Житомира, там, где в 1920 году он был ранен в бою с белополяками. Оказалось, что немцы — под самым Киевом, недалеко от Святошино, что, пытаясь прорваться на Демиевку {92}, они вели бой с воздушно-десантной бригадой Родимцева. В штабе Юго-Западного фронта он узнал о нависших с тыла танках Гудериана, шедших с северо-востока от Рославля к Гомелю, о группе Клейста, распространявшейся с юга по левому берегу Днепра.

Начальник Политуправления, дивизионный комиссар, оказался человеком спокойным, методичным, с медленной, негромкой речью. Крымову понравилось, что дивизионный комиссар откровенно говорил о тяжести положения на фронте, сохраняя при этом начальническую уверенность <...> {93}.

Крымова проинструктировали и приказали выехать для чтения докладов в одну из правофланговых армий. Правофланговая дивизия этой армии стояла на белорусской земле, среди лесов и болот.

На участке фронта, занятом этой армией, царило затишье. Многие стратеги из армейского политотдела были настроены чрезвычайно уверенно и благодушно.

— Выдохся окончательно... У них нет самолетов, нет бензина, нет танков, нет снарядов... Видите, уже две недели ни одного самолета в воздухе.

Потом Крымов не раз встречал людей необычайно оптимистичных, оптимистичных до глупости. Он знал, что именно эти «оптимисты», попадая в тяжелое положение, начинают паниковать и растерянно бормочут: «Ах, кто бы мог думать».

Многие красноармейцы в одной из стрелковых дивизий были черниговцами, и по случайному совпадению они оказались вблизи своих родных сел, занятых немцами. Немцы, очевидно, узнали об этом через пленных. По ночам, лежа в окопах, в тихих дубравах, в высокой конопле и в кукурузе, глядя на звезды, бойцы слушали передававшийся громкоговорительной установкой громовой бабий голос, коварный и властный: «И-ва-ан! Иды до до-му! Иван! Иды до дому!» Казалось, железный женский голос шел с самого неба, и тотчас следом за ним раздавалась деловитая четкая речь с нерусским выговором — «братьям черниговцам» предлагали расходиться по домам, иначе через день-два им суждено быть сожженными огнеметами, растерзанными гусеницами танков...

И снова слышался электромагнитный бабий голос: «Иван! Иван! Иды до дому!» Потом рупоры передавали угрюмое урчание моторов — красноармейцы говорили, что у немцев имелась специальная деревянная трещотка, имитировавшая гудение танков.

Через две недели Крымов попутной машиной возвращался из тихой армии в штаб фронта.

Водитель остановил машину у въезда в город, и Крымов пошел пешком. Он прошел мимо глубокого и длинного оврага с глинистыми осыпями и остановился, невольно радуясь тишине и прелести раннего утра. Желтые листья устилали землю, раннее солнце освещало осеннюю листву. Воздух в это утро был необычайно легкий. Крик птиц, казалось, только рябил глубокую и ясную поверхность прозрачной тишины. Солнце осветило глинистые склоны оврага. Сумрак и свет, тишина и крик птиц, тепло солнца и прохлада воздуха создавали удивительное ощущение — вот, казалось, поднимутся по откосу тихой поступью добрые старики из детской сказки.

Крымов свернул с дороги и пошел меж деревьев. Он увидел пожилую женщину в темно-синем пальто, с белым, сшитым из холста мешком за плечами, поднимающуюся в гору.

Она вскрикнула, увидев Крымова.

— Что это вы? — спросил он.

Она провела ладонью по глазам и, устало улыбнувшись, сказала:

— О господи, мне показалось — немец.

Крымов спросил дорогу к Крещатику, и женщина сказала ему:

— Вы неправильно пошли, вам надо было от оврага, Бабьего яра, влево, а вы пошли к Подолу. Вернитесь к оврагу и идите мимо еврейского кладбища, по улице Мельника, потом по Львовской... {94}

Прошли недолгие дни, войска покидали столицу Украины... Медленно двигались во всю ширину Крещатика пехота, обозы, кавалерия, пушки...

Машины и орудия были замаскированы ветвями березы, клена, осины, орешника, и миллионы осенних листьев трепетали в воздухе, напоминая об оставленных полях и лесах...

И вся пестрота и разнообразие оружия, знаков различия, военной формы, все различие лиц и возраста идущих было стерто одним общим выражением печали: оно было в глазах солдат, в

склоненных головах командиров, в знаменах, одетых в зеленые чехлы, в медленном шаге лошадей, в приглушенном рокотании моторов, в тархтении колес...

Ужасен был плач женщин, безмолвный вопрос в глазах стариков, отчаяние на лицах сотен людей.

А войска, покидавшие Киев, шли, окованные молчанием.

[В эти минуты все ощущали с телесной очевидностью, что с каждым шагом на восток уходивших советских войск приближаются еще невидимые немецкие колонны. Каждый шаг уходивших к Днепру приближал к Киеву дивизии Гитлера.

И, словно вызванные надвигающейся черной силой, в переулках, во дворах появились люди, чьи быстрые, недобрые глаза усмехались, а шепот становился громче; они, прищурившись, смотрели на уходивших, готовились к встрече. И здесь, проходя переулком, Крымов впервые услышал потом несколько раз слышанные им слова: «Шо було, то бачили, шо буде — побачимо».]

Едва Крымов перебрался на левый берег, как немцы произвели массированный налет на Бровары. Им удалось подавить советскую противовоздушную оборону. Девяносто самолетов в течение двух часов сбрасывали бомбы на сосновую рощу. В эти часы Крымов понял все грозное значение слов «господство в воздухе».

Немецкие танковые войска Гудериана, продвигаясь с севера, от Рославля, на Гомель и Чернигов, выходили по левобережью Днепра в тыл Киеву,— они стремились соединиться с южной группой Клейста, прорвавшейся у Днепропетровска.

Через неделю стали смыкаться клещи окружения, и Крымов оказался за линией фронта[, на занятой немцами территории.]

Крымов однажды видел, как десятки фашистских танков вырвались на равнину, по которой шли киевские беженцы с женами и детьми. На головном танке сидел немецкий офицер и размахивал букетом оранжевых осенних листьев. Часть танков на большой скорости врезалась в толпу идущих по дороге женщин и детей.

В десяти метрах от Крымова медленно прошел немецкий танк, похожий на разъяренного охотой зверя с окровавленной пастью. То было господство на земле.

Днем и ночью шел Крымов на восток. Он слышал в пути о гибели генерал-полковника Кирпоноса {95}, он читал немецкие листовки о падении Москвы и Ленинграда, он видел стальную верность, измену, отчаяние и непоколебимую веру.

Он вел на восток двести человек красноармейцев и командиров, встретившихся ему в дороге. Это был пестрый отряд. В его составе были красноармейцы, моряки Днепровской флотилии, сельские милиционеры, работники райкомов партии, несколько пожилых киевских рабочих, летчики, потерявшие самолеты, спешенные кавалеристы.

Иногда Крымову казалось, что путь отряда виделся ему во сне — столько необычайного произошло за эти дни. Ему вспоминались ночные костры в лесу, переправы вплавь под холодным ливнем через мутные осенние реки, долгий голод, короткие привалы в деревнях, откуда они выбивали немецкие отряды; вспоминалась старуха, сжегшая в осеннюю ночь свой дом, когда в нем спали пьяные полицаи,— один из них был ее зятем. И особо вспоминалось ему то чувство духовной общности, которое установилось между людьми. Люди словно собрали, раскрыли свое прошедшее от самых далеких детских лет, и судьба каждого казалась очевидной, простой: характеры, моральная сущность, вся немощь и вся сила человека проявлялись в поступках и словах с предельной ясностью.

Порой Крымов в душе недоумевал, не понимая, откуда он и его товарищи берут силы, чтобы выносить длящиеся десятки дней голод, лишения.

Как тяжела оказалась земля! Огромного труда стоило вытащить сапог из грязи, поднять ногу, сделать шаг, вновь поднять... И все, все было тяжелым в эти дни осеннего ненастья 1941 года. День и ночь моросил холодный, тяжелый, как ртуть, дождь. Пилотка, пропитавшись этим ртутным холодным дождем, казалась тяжелей металлической каски; шинель набрякала, тянула к земле; гимнастерка, рваная рубаха облепляли тело, делались тесны, мешали дышать. Все было тяжелым в дни осенних дождей!

Сучья, собранные для костра, казались каменными, и густой, мокрый дым, смешавшийся с таким же густым, серым туманом, тяжело ложился на землю...

День и ночь люди ощущали тяжесть в ноющих плечах, ощущали отвратительную, холодную грязь, проникающую в рваные сапоги. Люди засыпали на мокрой земле, под тяжелыми от дождя шершавыми лапами орешника. На рассвете они просыпались под дождем, неотдохнувшие, источенные холодом и сыростью. <...> {96}

В районах сосредоточения гитлеровских войск непрерывно двигались по дорогам автомобильные колонны, артиллерия, груженная на грузовики пехота, почти в каждом селе размещались немецкие части, днем и ночью перекликались часовые. В этих районах отряд двигался лишь ночью.

Они шли по своей земле, хоронясь в лесах, торопливо пересекая железнодорожное полотно, минуя звенящую асфальтовую дорогу. Мимо них в дождевом тумане проносились черные немецкие машины, тянулась моторизованная артиллерия, железными голосами гарпий сигналили танки. Иногда из крытых брезентом грузовиков ветер приносил дикие для русского слуха обрывки немецких песен, звуки гармошки. Они видели яркие фары и слышали покорное, трудовое дыхание паровозов, тащивших на восток воинские эшелоны. Они видели мирный огонь, горевший в окнах домов, приветливый дым, шедший из труб, и хоронились в безлюдье лесных оврагов.

Да, это было трудное время. Самым дорогим в эту пору была вера в правоту народного дела, вера в будущее. И потому так тяжелы были враждебные слухи, серые, неясные, как осенний туман.

Каким-то странным образом рядом с изнеможением в Крымове жило совсем другое — горячее, сильное и уверенное чувство. Это чувство страсти, революционной веры, сознание своей ответственности за людей, шагавших рядом с ним, за их жизнь и душевную силу, сознание ответственности за все, что происходило на холодной, осенней земле.

Наверно, не было в мире ответственности тяжелей, чем эта, но именно это сознание ответственности придавало Крымову силы.

Десятки, сотни раз на день Крымов слышал обращение:

— Товарищ комиссар!

Он ощущал в этом обращении какое-то особое, сердечное тепло. Те, кто шел с ним рядом, знали о приказе Гитлера истреблять комиссаров и политработников. И в этом, полном доверия <...> {97}, обращении «товарищ комиссар» к человеку, объявленному немецкими фашистами вне закона, было много хорошего, настоящего, чистого.

Крымков как-то естественно и просто стал играть ведущую роль в жизни отряда.

— Товарищ комиссар,— говорил майор авиации Светильников,— какой будет маршрут

движения на завтрашний день?

— Товарищ комиссар, укажите, в каком направлении разведку выслать!

Крымов раскрывал карту, выцветшую и пожелтевшую от солнца и дождя, трепанную ветром, стертую от тысяч прикосновений красноармейских и командирских рук. Крымов знал, что это завтрашнее движение может многое определить в судьбе двухсот людей. И Светильников, начальник штаба отряда, знал это: его желто-карие глаза, обычно веселые и лукавые, становились серьезными, а рыжие брови хмуро сходились.

Чтобы выбрать направление, нужно было не только смотреть на карту и помнить рассказы разведчиков, здесь все имело значение: след подвод и автомобилей на развилке дороги, и случайное слово повстречавшегося в лесу старика, и высота кустарника, росшего на склоне холма, и легла ли несжатая пшеница или стоит густой стеной.

— Товарищ комиссар, немцы! — слегка задыхаясь, произносил длиннолицый, не знавший страха смерти начальник разведки отряда Сизов.— До роты, в пешем строю, вот за тем лесочком, направлением на северо-запад движутся.

И Сизов, видевший смерть чаще всех в отряде, старался заглянуть в глаза комиссару, прочесть в них приказ: «Ударить по немцам». Он знал, что Крымов всегда стремился напасть на противника, едва к тому была возможность.

В жестоких, коротких боях вдруг преображались люди. Казалось, эти бои не утомляли, не выматывали до конца людей, а придавали им силу, они распрямлялись.

— Товарищ комиссар, какое будет у нас завтра питание? — спрашивал завхоз отряда Скоропад. Он знал, что Крымов, в зависимости от многих обстоятельств, каждый раз по-разному отвечает на этот вопрос: то прикажет выдать одной лишь сырой, пахнувшей керосином горелой пшеницы, то вдруг, предвидя особо трудный переход, скажет: «Дайте гусятины и по баночке мясных консервов на четверых».

— Товарищ комиссар, как быть с тяжелоранеными, их на сегодня восемь человек? — спрашивал бескровными губами всегда охрипший, страдающий астматическим бронхитом военный врач Петров и, жадно ожидая ответа, смотрел воспаленными глазами на Крымова. Он знал, что Крымов не соглашался оставлять раненых в селах даже у самых надежных, верных людей, но каждый раз, слыша ответ Крымова, радовался, и бледные щеки его розовели.

Дело тут было не в том, что Крымов знал карту лучше начальника штаба, лучше кадровых военных руководил боями с немцами. Дело было не в том, что Крымов понимал в вопросах снабжения больше мудрого Скоропада или определял судьбу раненых лучше, чем военный врач Петров. Люди, ждавшие слова Крымова, знали себе цену, цену своим военным знаниям, своему боевому и жизненному опыту. Они знали, что Крымов мог ошибиться, мог и не знать того, о чем его спрашивали. Но все понимали и чувствовали, что в борьбе за самое дорогое и необходимое человеку, в сохранении его в страшную пору, когда человек мог потерять не только жизнь, но и совесть и честь, Крымов не ошибался.

В эти дни Крымов привык отвечать на самые неожиданные вопросы. То ночью, во время лесного марша, вдруг спросит его спешенный механик-водитель танка, в прошлом тракторист: «Товарищ комиссар, а как вы считаете, на звездах тоже есть чернозем?» То вдруг разгорится у костра жаркий спор — будут ли при коммунизме выдавать бесплатно хлеб и сапоги, и, слегка запыхавшись, делегированный спорщиками красноармеец подходил к Крымову и говорил: «Товарищ комиссар, вы не спите? Тут ребята кое в чем запутались, просят вас объяснить». То, случалось, хмурый и молчаливый сидящий человек выкладывал Крымову свою душу, рассказывая о жене, детях, о том, в чем он чувствует себя правым перед

близкими и дальними людьми, и о том, в чем виноват он перед ними.

Бывало, Крымову приходилось судить людей за тяжкие преступления,— так, однажды двое участников отряда решили остаться в «зятях»: один притворился больным, а второй прострелил себе мякоть на ноге. Приходилось судить в селах изменников и предателей. Короток был суд. А бывали даже и в этом тяжелом пути комические случаи, над которыми дружно смеялись все, даже раненые и больные: как-то красноармеец на ночевке положил, не согласовав с хозяйкой, в шапку пяток яиц, а затем по рассеянности уселся на эту шапку; старуха бабка пронзительно выговаривала бойцу и тут же помогала ему с помощью тряпки и горячей воды вновь принять воинский вид.

Крымов замечал, что люди любили рассказывать ему смешные случаи: пусть и комиссар на минутку посмеется, развеселится. Крымову казалось, что в эти осенние дни в его жизни как бы соединились все тяжелые этапы работы русского революционера-большевика. Ему казалось, что он вновь держит революционный экзамен, как некогда в подполье, в пору гражданской войны. Ветром революционной молодости пахнуло ему в лицо, и он был так прекрасен, что Крымов не терял душевной силы в самые трудные, мучительные дни. Люди чувствовали его силу.

Так же, как шли передовые рабочие за революционными борцами во времена царизма, невзирая на тюрьмы и каторгу, невзирая на казачьи плети, так и теперь шли по полям и лесам сотни людей, воспитанных революцией, шли вместе со своим комиссаром, преодолевая муки, голод и опасность смерти.

Эти идущие на восток люди были в большинстве молоды,— учили грамоту по советским букварям, их учили в семилетках и десятилетках советские учителя, они работали до войны на советских фабриках, в колхозах и совхозах, они читали советские книги, они отдыхали в советских домах отдыха; молодые, их было большинство, не видели ни разу в жизни частных владельцев земель и фабрик, не могли даже представить себе, что можно покупать хлеб в частной булочной, лечиться в частной больнице, работать у станка, который принадлежит частному дельцу, пахать помещичью землю.

Крымов видел, что для молодежи собственные, дореволюционные представления кажутся дикими, невысказанными. И вот молодые красноармейцы шли по земле, захваченной немецкими оккупантами, и эти оккупанты собирались установить на советской земле те дореволюционные, невысказанные, невообразимые порядки...

Крымов с первых дней войны понял, что немецкие фашисты в своем надменном ослеплении относятся к советским людям не только с невероятной жестокостью, но и с презрением, с насмешкой, свысока.

Сознание деревенских старух и стариков, девушек-школьниц, сельских мальчишек было потрясено этим наглым, колонизаторским, надменным отношением. Люди, которые жили и воспитывались в вере в интернациональное равенство трудящихся, вдруг ощутили на себе высокомерие и презрение завоевателей.

Потребность в душевной уверенности, желание побороть всякие сомнения были так велики, что люди часто в короткие, драгоценные часы отдыха предпочитали беседу сну.

Однажды их окружил в лесу немецкий пехотный полк, и положение казалось безвыходным. «Надо рассыпаться и пробираться поодиночке,— говорили Крымову даже самые смелые люди,— иначе нас истребят».

Крымов собрал отряд на лесной поляне, влез на поваленную сосну и сказал:

— Сила наша в том, чтобы быть вместе: главная цель немцев — разъединить нас. Мы не

оторванная частица, забытая в лесу в тылу фашистов. Двести миллионов сердец с нами, двести миллионов наших братьев и сестер за нас. Мы пробьемся, товарищи! — Он вынул партийный билет, поднял его над головой.— Товарищи,— крикнул он,— клянусь вам, мы пробьемся!

И они пробились и снова пошли на восток.

Так шли они — опухшие, оборванные, больные кровавой дизентерией, но с оружием в руках, с гранатами, волоча за собой четыре станковых пулемета.

В звездную осеннюю ночь они с боем перешли линию фронта. Когда Крымов поглядел на свое шатающееся от слабости, но грозное войско, чувство гордости и счастья овладело им. Сотни верст шли эти люди с ним, он любил их с такой нежностью, какую не выразить на языке человека. <...> {98}

49

Они перешли линию фронта на Десне северней Брянска, недалеко от большого поселка Жуковки. Крымов простился с товарищами, их тут же зачислили в полки.

Из штаба дивизии он на лошади поехал на лесной хуторок, где находился командующий армией.

Здесь Крымов узнал о том, что произошло за дни его блужданий.

Фронт был прорван, немцы устремились вперед, но перед ними вырос новый, Брянский фронт, новые армии, новые дивизии, а за дивизиями Брянского фронта поднимались и росли новые полки, новые армии: то поднималась, росла оборона Советского Союза, построенная на глубину сотен верст.

Крымова вызвал член Военного совета армии бригадный комиссар Шляпин {99}, полный, медленный в движениях мужчина огромного роста. Он принял Крымова в деревянном сарае, где стояли маленький столик и два стула, а у стены было сложено сено.

Шляпин взбил сено, усадил Крымова и сам, кряхтя, лег рядом. Оказалось, он в июле был в окружении и с боями, вместе с генералом Болдиным, взломав немецкий фронт {100}, прорвался к войскам генерала Конева.

От неторопливой речи Шляпина, от его насмешливого и доброго взгляда, от милой улыбки веяло спокойной и простой силой. Повар в белом фартуке принес им две тарелки [баранины с картошкой] {101} и горячий ржаной хлеб. Уловив взволнованный взгляд Крымова, Шляпин, улыбнувшись, сказал:

— Здесь русский дух, здесь Русью пахнет.

Казалось, что запах сена и горячего хлеба связан с этим огромным неторопливым человеком.

Вскоре вошел в сарай командующий армией генерал-майор Петров, маленький, рыжий, начавший лысеть человек, с Золотой Звездой на потертом генеральском кителе {102}.

— Ничего, ничего,— сказал он,— не вставайте, лучше я к вам присосежусь, устал, только из дивизии приехал...

Его выпуклые голубые глаза смотрели остро, пронзительно, разговор был отрывистый, быстрый.

Едва он вошел, как в спокойный, пахнувший сеном полумрак сарая ворвалось напряжение войны: то и дело входили порученцы, дважды приносил донесения немолодой майор, молчавший телефон вдруг ожил.

[Вошел адъютант и доложил, что приехал из штаба председатель армейского трибунала утвердить в Военном совете приговоры, и Петров велел позвать председателя. Когда тот вошел, командующий отрывисто спросил:

— Много?

— Три,— ответил юрист и развернул папку.

Петров и Шляпин слушали доклад о делах трех изменников, и Петров детским зеленым карандашом крупными буквами писал «утверждаю» и передавал карандаш Шляпину.

— А это что? — спросил Петров и поднял рыжие брови.

Председатель объяснил дело — пожилая женщина, жительница города Почепа, вела агитацию среди войск и населения в пользу немцев.

— Между прочим, старая дева, монахиня,— сказал он.

Петров пожевал губами и серьезно переспросил:

— Старая дева? Ну, заменим ей...— И стал писать.

— Не мягко ли? — спросил добрый Шляпин.

Петров передал папку председателю и сказал:

— Можешь быть свободен, товарищ, ко мне тут приехали для разговора, поэтому не приглашаю тебя к ужину. Будешь в штабе, передай, пожалуйста, чтобы нам варенья вишневого прислали.]

Петров сказал Крымову:

— А ведь я вас знаю, товарищ Крымов, и вы меня, может быть, помните.

— Не припомню, товарищ командующий армией,— сказал Крымов.

— А вы не помните, товарищ батальонный комиссар, командира кавалерийского взвода, которого вы в партию принимали, когда приезжали в десятый кавполк из Реввоенсовета фронта, в двадцатом году?

— Не помню,— сказал Крымов и, посмотрев на зеленые генеральские звезды Петрова, добавил: — Бежит время.

Шляпин рассмеялся:

— Да, батальонный комиссар, с временем наперегонки трудно бегать.

— Танков у них мало? — спросил Петров.

— Танков у них много,— сказал Крымов.— Мне рассказывали два дня назад крестьяне, что в район Глухова приходят эшелоны с танками, всего до пятисот машин.

Петров сказал, что в двух местах части его армии форсировали Десну, заняли восемь деревень и вышли на Рославльское шоссе {103}. Говорил Петров быстро, рублеными,

короткими словами.

— Суворов,— сказал Шляпин, насмешливо улыбаясь в сторону Петрова. Видимо, они дружно жили и им хорошо работалось вместе.

Под утро за Крымовым прислали машину из штаба фронта. [С ним хотел говорить командующий фронтом генерал-полковник Ерёменко.] {104} Крымов уехал, сохраняя в душе тепло этого блаженного дня. <...> {105}

Штаб фронта стоял в лесу между Брянском и Карачевом. Все отделы штаба находились в просторных, обшитых свежими, сырыми досками блиндажах. Командующий жил в домике, на лесной полянке.

Рослый румяный майор встретил Крымова на крыльце.

— Я знаю о вас, только вам придется обождать, командующий всю ночь работал, лег спать с час назад. Вот на той скамеечке обождите.

Вскоре к умывальнику, висевшему на дереве, подошли два плотных, ширококостных и упитанных человека. Оба были лысы, оба в подтяжках, оба в белоснежных рубахах, оба в синих галифе, но один был в сапогах, а у второго, обутого в чупяки, носки обтягивали толстые икры.

Они, фыркая и урча, терли широкие затылки и шеи мохнатыми полотенцами. Потом ординарцы протянули им гимнастерки и желтые ремни; оказалось, что один из них генерал-майор, второй — дивизионный комиссар {106}. Дивизионный комиссар быстрыми шагами пошел к дому.

Генерал-майор посмотрел на Крымова.

Адъютант, стоявший на террасе, сказал:

— Это тот батальонный комиссар с Юго-Западного фронта, по вызову командующего, товарищ генерал, о котором Петров сообщил.

— А, киевский окруженец,— сказал генерал и [брезгливо усмехнулся, поднялся на террасу.] {107}

[Серые рваные облака шли низко над землей, и куски синего неба казались холодными, недобрыми, как зимняя вода.

Стал накрапывать дождь, Крымов укрылся под навесом. Адъютант вышел и торжественно сказал:

— Вас просит командующий, товарищ батальонный комиссар.

Ерёменко, большой, полный, в очках, с морщинистым, широким лбом и скуластым широким лицом, быстро, но внимательно осмотрел Крымова и сказал:

— Садись, садись, видимо, не весело тебе было, похудел очень,— словно он видел Крымова и до окружения.

Крымов заметил, что три генеральские звезды на отложном воротничке гимнастерки командующего тусклей, чем четвертая: очевидно, четвертая недавно была прикреплена.

— Молодец, киевлянин,— сказал Ерёменко,— привел двести человек с оружием, мне Петров говорил.]

И сразу перешел к вопросу, который, видимо, интересовал его и волновал в эти минуты больше всех вопросов в мире.

— Ну что,— спросил он,— Гудериана встречал? Танки его видел? {108}

Он усмехнулся, точно стесняясь своего нетерпеливого интереса, и провел рукой по густому ежику волос[, серых от проступившей седины.]

Крымов стал подробно докладывать, Ерёменко, навалившись грудью на стол, слушал. Торопливо вошел адъютант и сказал:

— Товарищ генерал-полковник, начальник штаба, со срочным донесением.

Тотчас вслед за ним зашел генерал-майор, спрашивавший утром о Крымове. Он, слегка задыхаясь, подошел к столу, и Ерёменко быстро спросил:

— Что, Захаров?

— Андрей Иванович, противник перешел в наступление, танки прорвались со стороны Кром к Орлу, а на правом крыле сорок минут назад [прорвали фронт у Петрова.] {109}

Командующий выругался тоскливым солдатским словом и грузно поднялся, пошел к двери, не оглянувшись на Крымова.

В Политуправлении фронта Крымову выдали шинель и снабдили талончиками в столовую, но не стали ни о чем расспрашивать — грозные события заслонили интерес ко всему тому, что видел и пережил Крымов.

Столовая находилась на лесной поляне. Под открытым небом стояли длинные столы и скамьи на чурбаках, врытых в землю. Темные рваные облака стремительно неслись по небу; казалось, их истерзали колючие вершины сосен. Дружный стук ложек смешивался с угрюмым голосом леса.

В воздухе слышалось гуденье, заглушившее и шум леса и стук ложек: высоко в небе, среди облаков и над облаками, плыли к Брянску немецкие двухмоторные бомбардировщики.

Несколько человек вскочили, побежали под деревья, и Крымов, забыв, что он уже не командир отряда, зычно, властно крикнул:

— Не бегать!

Через некоторое время земля стала дрожать от взрывов.

Ночью Крымов увидел обстановку, нанесенную на оперативную карту. Передовые отряды немецких танковых частей стремились прорваться в сторону Болхова и Белёва. На правом фланге немцы, оставляя левее себя Орджоникидзеград {110} и Брянск, прорывались на северо-восток, к Жиздре, Козельску, Сухиничам.

Молодой штабной командир, показавший Крымову карту, был рассудительный и спокойный человек. Он сказал, что армия Крейзера начала отход, ведя упорные бои, что армия Петрова попала под самый тяжелый удар; по обстановке, полученной днем, видно, что одновременно немцы начали наступать на Западном фронте от Вязьмы, стремясь к Можайску.

Было ясно: у октябрьского немецкого наступления одна цель — Москва. Это слово возникло в тысячах голов и сердец.

[Так на разных этапах войны в миллионах голов рабочих, крестьян, солдат, в головах

самоуверенных генералов, слабых стариков и женщин возникает слово, вокруг которого объединяются мысли и чувства, замыслы и надежды. Такими словами в июне были: «старая граница», в июле: «Смоленск», в августе: «Днепр», в октябре возникло слово «Москва».]

Штаб был объят тревогой. Крымов видел, как связисты снимают шестовку, красноармейцы наваливают на грузовики табуреты, столы, услышал отрывистые разговоры:

— Ты с каким отделом? Кто старший на машине?.. Запишите маршрут; говорят, тяжелая лесная дорога.

На рассвете Крымов на одной из грузовых машин штаба Брянского фронта выехал в сторону Белёва. И снова Крымов увидел дорогу отступления, широкую, как поле, и снова среди серых солдатских шинелей замелькали бабьи платки, худые детские ноги, седые головы стариков.

Он видел в эти тяжелые месяцы белорусов на границе Полесья, украинцев на Черниговщине, Киевщине и в Сумской области, а ныне видел он орловских и тульских русских людей, идущих от немцев по осенним дорогам с узлами и деревянными чемоданами.

В белорусском лесу запомнились ему тихий блеск лесных озер, улыбки нешумливых детей, застенчивая нежность матерей и отцов, выраженная тревожным и долгим взором, обращенным к детям.

В поэтическом облике белорусских деревень словно отражались двенадцать месяцев года, несущие метели и оттепели, зной песчаной равнины, гудение мошкеры и пение птиц, дым лесных пожаров и шелест осенних листьев. За двадцать пять лет в жизнь белорусов вошла новая сила,— и Крымов видел в селах, в лесах, в городах белорусских большевиков, солдат, мастеров, рабочих, инженеров, учителей, агрономов, колхозных бригадиров, которые повели за собой лесное партизанское войско народной свободы.

Спустя недолгое время Крымов шел по селам Украины.

Ночи были полны гудением немецких бомбовозов, дымным светом ночных пожаров. Днем люди шли мимо садов, мимо огородов, где жирно белела капуста, зрели пудовые тыквы, красные помидоры казались живыми и теплыми, а в палисадниках у белых стен хат под самую соломенную крышу поднимались шапки георгинов и подсолнухов... Мир радовался богатству, возвращенному руками советского человека, но он сам, человек, создатель земного изобилия, был в эту пору чужд богатству и покою мира.

В одном из сел видел Крымов проводы старика, служившего сорок лет назад в морской артиллерии и решившего бросить семью, богатый фруктовый сад и уйти с винтовкой в лес. Он видел неутешных, но верящих в то, что солнце всегда будет светить над землей, видел, как плачущая старуха, провожая мужа-партизана, говорила о гибели мира, о последнем дне жизни и лепила вареники, пекла коржики с маком так хлопотливо, словно покой по-прежнему стоял на земле.

Он видел людей сильных, трудолюбивых и талантливых, знающих великую цену жизни на богатой земле, готовых кровью, упорством отстоять добытое в мирном труде. <...> {111}

В октябре он проезжал по холодным полям Тульской области, по земле, то звенящей от мороза, то потной, среди обнаженных берез, среди приземистых деревенских домов, построенных из красного кирпича.

И чудная красота края, в котором он родился и вырос, с каждым шагом вновь открывалась ему — в холмистых сжатых полях, гроздьях рябины над замшелым срубом колодца, в дымно-красной огромной луне, с тяжелым усилием поднимавшей свое холодное, каменное тело над ночным голым полем. Здесь все было величаво и огромно: земля и небо,

вмещавшее в себя весь холодный свинец осени, и идущая от горизонта к горизонту еще более темная, чем чернозем, дорога. Много раз видел Крымов деревенскую русскую осень, и рождала она в нем чувство грусти и покоя, воспринималась через знакомые с детских лет стихи: «Скучная картина, тучи без конца... чахлая рябина...» {112} То были спокойные чувства людей, спящих в теплом, обжитом доме, глядящих в окна на знакомые с детства садовые деревца. И вдруг он увидел все по-иному. Не скучной, не бедной показалась ему осенняя земля; не грязь, не лужи, не мокрые крыши и покосившиеся заборы увидел он.

Грозная красота, дивное величие было в пустом осеннем просторе. Огромность земель чувствовалась во всем своем нерушимом единстве. Пронзительный осенний ветер брал разгон на десятки тысяч верст, он бежал над тульскими полями, над московской землей и пермскими лесами, над Уральским хребтом и Барабинской степью {113}, над тайгой и тундрой и над угрюмой Колымой. Крымов, казалось ему, всем существом ощутил единство десятков миллионов своих братьев, друзей, сестер, поднятых на борьбу за народную свободу. Фронт был всюду — и куда бы ни прорывался враг, его встречали живой плотиной выходившие из резерва полки Красной Армии. Новые, пришедшие с Урала танки выходили из засад, новые артиллерийские полки встречали врага своим огнем. И те, что отступали по шоссе и проселочным дорогам, прорывались из окружений, пробирались на восток, — не распылялись, не исчезали для войны и труда, а опять становились в строй боевых и трудовых армий, вновь живой плотиной преграждали путь орде захватчиков и поработителей.

Из Белёва Крымов выехал на том же грузовике.

Старший по машине — младший лейтенант — уступал ему место в кабине, но Крымов отказался от чести, полез в кузов. В кузове сидели штабные командиры, сотрудники Политуправления, красноармейцы. Ночевали они в деревне под Одоевом.

Старуха, хозяйка холодной и просторной избы, встретила ночевщиков весело, радушно.

Она рассказала, что в начале войны ее дочь, фабричная московская работница, привезла ее в деревню к сыну, а сама уехала в Москву.

Сноха не захотела жить со свекровью, сын поселил мать в эту избу, [тайно от жены помогает ей,] приносит понемногу то пшена, то картофеля.

Младший сын ее, Ваня, рабочий Тульского завода, пошел на фронт добровольцем, воюет под Смоленском.

Крымов спросил ее:

— Что ж, вы так и живете одна[, ночью в темноте, в холоде]?

Она ответила:

— И что ж, сижу в темноте, песни пою или сама себе сказки рассказываю.

Красноармейцы сварили чугунок картошки, поели, старуха стала у двери и сказала:

— Теперь вам песни петь буду.

И запела грубым, сиплым голосом, голосом не старухи, а старика. Потом она сказала:

— Ох и здорова я была — конь.— И, помолчав, сообщила: — А позавчера Ваня мой приходил во сне ко мне. Сел на стол и в окно смотрит. Я — «Ваня, Ваня», а он все молчит, молчит и в окно смотрит.

Она предложила ночевщикам все без остатка свои запасы: дрова, горсть соли к картошке, а Крымов знал, как бабы в деревнях теперь скупы на соль; отдала подушку, тюфяк, набитый соломой, отдала свое одеяло.

Затем она поставила на стол лампочку без стекла, принесла пузырек, где хранился у нее, видимо, заветный запас керосина, и вылила его в лампу.

Все это она сделала с веселой щедростью, добрая хозяйка жизни и великой земли, и ушла за перегородку на холодную половину своего дома, как мать, одарив всех любовью, теплом, пищей, светом.

Ночью Крымов лежал на соломе. Вот так же в белорусской деревне, на границе Черниговщины, он лежал в хате, и из темноты вышла высокая, худая старуха с взлохмаченными седыми волосами, заботливо поправила сползшее с него одеяло и стала крестить его...

Он вспомнил, как сентябрьской ночью на Украине раненный в грудь боец-чуваш приполз в село. Две пожилые женщины втащили его в хату, где ночевал Крымов. Бинты, перевязанные вокруг груди раненого, пропитались кровью, набухли, набрякли, а затем ссохлись и стянули его, как железными обручами.

Раненый стал хрипеть, задыхаться. Женщины разрезали бинты, посадили раненого — сидя он легче дышал.

Так просидели они с ним до утра — раненый бредил, выкрикивал по-чувашски, и две крестьянки всю ночь поддерживали его руками, голосили, плакали: «Дытына ты моя ридна, сердце ты мое!»

Крымов закрыл глаза — и вдруг вспомнил детство, умершую мать. Он подумал о тяжелом одиночестве, в котором жил после ухода жены, и подивился тому, что теперь, в пору грозы и сиротства, в лесах, в полях он ни разу не чувствовал себя одиноким.

Редко в жизни он ощущал с такой простой силой самое сердце идеи советского единства, как в эти месяцы. Он подумал, что фашисты решили разбить советское единство расовой рознью — глубине моря противопоставили мутный, зловонный поток расизма. В его душе жило сверлящее его день и ночь воспоминание о забрызганной кровью, волочащей ключья женской одежды тупой лобовой части немецкого танка. Ведь штурвал этого танка был в руках простого солдата, механика-водителя, ведь никто не приказывал ему, никто не стоял над ним в тот миг, когда он направил свой танк, на опушке леса под Прилуками, на беззащитных женщин и детей!

Жизнь Крымова сложилась в мире коммунистических представлений, да, собственно, в них и была его жизнь. Долгие годы дружбы и работы соединили его с коммунистами многих национальностей Европы, Америки, Азии.

Какой путь! Какой труд! Какая дружба!

Когда-то они встречались в Москве на Сапожковской площади, против Александровского сада и Кремлевской стены {114}. Добродушная старческая улыбка и милые морщины кареглазого Катаяма, Коларов, Торез, Тельман... {115}

И ясно вспомнилось — однажды, выйдя из гостиницы «Люкс», шагали по Тверской, взявшись под руки, итальянцы, англичане, немцы, французы, индусы, болгары и пели русскую песню. Погода была октябрьская: сумрак, туман, холодный дождь, готовый обратиться в мокрый, серый снежок. Прохожие шли, подняв воротники, дребезжали пролетки извозчиков.

А они шли широкой цепью мимо неярких фонарей, окруженных туманным сиянием, и так странно выглядели черные с синевой глаза индуса у белой церквушки в Охотном ряду.

Кто из них помнит эту песню и кто жив из певших в тот вечер? Где они, кто из них участвует в битве с фашистами? <...> {116}

Он видел и понимал, что мучившие его противоречия не выдуманы им, а бушуют в обезумевшем мире. И он, стиснув зубы, повторял про себя ленинские слова о том, что учение Маркса непобедимо потому, что оно верно.

50

По дороге в Тулу Крымов заехал в Ясную Поляну. В яснополянском доме царила предотъездная лихорадка: со стен были сняты картины, со столов убраны скатерти, посуда, книги. В прихожей стояли ящики, уже забитые, готовые к отправке.

Крымов был здесь уже однажды с экскурсией иностранных товарищей, в тихие, мирные времена. В ту пору работники музея старались создать в Ясной Поляне иллюзию жилого дома. Стол в столовой был накрыт, перед каждым прибором лежали ножи и вилки, на столах стояли свежие цветы. И все же, когда, войдя в дом, Крымов надел на ноги матерчатые туфли и услышал постный голос экскурсовода, он почувствовал, что хозяин и хозяйка умерли, что это не жилье, а музей.

Но сейчас, вновь входя в этот дом, Крымов ощутил, что вьюга, распахнувшая все двери в России, выгоняющая людей из обжитых домов на черные осенние дороги, не щадящая ни мирной городской квартиры, ни деревенской избы, ни заброшенного лесного хуторка, не помиловала и дом Толстого, что и он готовится в путь, под дождем и снегом, вместе со всей страной, со всем народом. И яснополянский дом показался ему живым, страждущим среди сотен и тысяч живых, страждущих русских домов. Он с поразительной ясностью представил себе: вот они, Лысые Горы, вот выезжает старый больной князь — и все как бы слилось: то, что происходит сейчас, сегодня, и то, что описано Толстым в книге с такой силой и правдой, что стало высшей реальностью прошедшей сто тридцать лет назад войны.

Наверное, Толстой волновался, страдал, описывая горькое отступление той далекой войны, может быть, он даже заплакал, описывая смерть старого Болконского, которого лишь одна дочь смогла понять, когда бормотал он: «Душа болит».

[И когда из дому вышла внучка Толстого, Софья Андреевна, накинув на плечи пальто, вышла, пожившись от холода, спокойная и удрученная, то Крымов снова не мог различить, кто она — княжна ли Марья, в последний раз идущая перед приходом французов по саду в Лысых Горах, внучка ли старого графа Толстого, которой судьба определила всем сердцем и всей душой проверить, уходя из Ясной Поляны, всю ту правду, что сказал ее дед о Маше Болконской.]

Потом Крымов пошел на могилу Толстого. Сырая, вязкая земля, сырой, недобрый воздух, шуршание под ногами осенних листьев. Странное, тяжелое чувство! Одиночество, забытость этого засыпанного сухими кленовыми листьями холмика земли и живая, жгучая связь Толстого со всей сегодняшней жизнью. Он глядел на маленький холмик земли и с болью представлял себе, что через несколько дней к этой могиле подойдут немецкие офицеры, будут курить, громко разговаривать, смеяться...

Вдруг воздух наполнился воем, гудением, свистом — над могилой шли на бомбежку Тулы «юнкерсы» в сопровождении «мессеров». А через минуту с севера послышался гул, десятки зенитных пушек били по немцам, и земля задрожала, колеблемая разрывами немецких бомб.

И Крымову подумалось, что дрожь земли передается мертвому телу Толстого в могиле...

Вечером он попал в охваченную тревогой Тулу. С неба валил густой, мокрый снег, внезапно сменяемый холодным дождем. Улицы то белели, то вновь чернели от грязи и темных луж.

На окраине города, у красных кирпичных корпусов спиртового завода, красноармейцы и рабочие копали окопы и рвы, строили баррикады, устанавливали вдоль Орловского шоссе длинноствольные зенитные пушки, очевидно предполагая бить не по самолетам, а по танкам, которые могли прийти со стороны Ясной Поляны и Косой Горы.

[Крымов зашел в столовую Военторга. У каждого стола стояли три-четыре человека, с молчаливым интересом следили за движениями сидящих.

Вокруг заведующего стояли военные и просили талоны на обед, он требовал от всех записки от коменданта. Какой-то капитан говорил:

— Да поймите вы, к коменданту не пробиться, я сутки не ел, дайте мне тарелку щей!

Капитан оглянулся, ища поддержки, а стоявший рядом с ним майор сказал:

— Эх, товарищ капитан, нас много, а начальник столовой один, мы ему так нервы истрепали,— и, искательно улыбаясь, сказал заведующему столовой: — Правда, товарищ начальник?

Заведующий подтвердил:

— Ведь русским языком говоришь,— и тут же выдал майору талончик.

Столы были залиты борщом, на клеенке лежали горелые корки хлеба, стояли блюда со следами высохшей горчицы, пустые перечницы и солонки.

Пожилой подполковник, сидя за столом, говорил официантке:

— Позвольте, что же вы мне первое подали в плоской миске, а кашу даете в глубокой, так не годится.

А стоявшие за его спиной уговаривали:

— Да ничего, товарищ подполковник, вы уж ешьте как-нибудь, люди ведь ждут.

На окнах столовой висели белые занавесочки, на стенах картинки, украшенные бумажными розочками, от общего зала гардинами было отделено помещение с плакатом «Для генералов», в это помещение вошли два молоденьких интенданта третьего ранга.

Стоявший рядом с Крымовым старший политрук вслух объяснял самому себе:

— Занавесочки, фестончики, и сердятся на нас, что мы им чистоту и порядочек нарушили, они не понимают еще, что война — это не бумажные розочки.

Ожидая очереди, командиры разговаривали вполголоса.]

В этот день Крымов узнал, что генерал Петров и бригадный комиссар Шляпин убиты в рукопашном бою с немецкими автоматчиками.

Услышал он о том, что наступление немцев от Орла на Мценск и Чернь приостановлено ударом танкового соединения полковника Катуква {117}, выдвинутого Ставкой из резерва.

Темным утром он пошел к начальнику гарнизона разузнать, где находится штаб

Юго-Западного фронта. Пожилой майор сказал усталым голосом:

— Товарищ батальонный комиссар, кто вам в Туле скажет про Юго-Западный? Это вы только в Москве узнать сможете.

51

Крымов приехал в Москву ночью. Едва он вышел на площадь перед Курским вокзалом, как сверхнапряжение прошедших месяцев вдруг прошло — он был телесно измучен и снова одинок. Он вышел на пустынную площадь. Валил тяжелый, мокрый снег. Крымов пошел было в сторону дома, но потом раздумал и вернулся в помещение вокзала. Здесь, в дыму махорки, среди негромких разговоров он почувствовал себя легче.

Утром Крымов зашел на квартиру к Штруму. Дворничиха сказала ему, что Штрумы уехали в Казань.

— А сестра Людмилы Николаевны, не знаете, с ними или с матерью живет? — спросил Крымов.

— Этого мы не знаем,— сказала дворничиха.— У меня тоже сын на фронте — не пишет он ничего.

Не много раз за свои восемьсот лет переживала Москва такое тяжелое время, как в октябрьские дни 1941 года. День и ночь <...> {118} шли бои у Малоярославца и Можайска.

В Главном политическом управлении Крымова долго расспрашивали о положении под Тулой и обещали перебросить его на Юго-Западный фронт транспортным самолетом, который повезет газеты и листовки. Ему предложили подождать несколько дней — самолеты летали не часто.

На третий день после приезда Крымов, выйдя на улицу, увидел толпы людей, идущих по пышному снегу к вокзалам.

Какой-то человек, тяжело дыша, поставил на землю чемодан и, вытащив из кармана смятый номер «Правды», спросил у Крымова:

— Читали, товарищ военный, сводку? Первый раз с начала войны такая формулировка,— и он прочел вслух: — «В течение ночи с 14 на 15 октября положение на Западном направлении фронта ухудшилось. Немецко-фашистские войска бросили против наших частей большое количество танков, мотопехоты и на одном участке прорвали нашу оборону...»

Он свернул дрожащими пальцами папиросу, затянулся и тотчас бросил ее, подхватил чемодан и сказал:

— Иду пешком на Загорск...

На площади Маяковского Крымов встретил знакомого редактора, тот сказал ему, что многие правительственные учреждения выехали из Москвы в Куйбышев, что на Каланчёвской площади {119} толпы людей ждут посадки в эшелоны, что метро остановлено и что час назад он видел человека, приехавшего с фронта,— бои идут на подступах к Москве.

Крымов ходил по городу. У него горело лицо, то и дело внезапное головокружение заставляло его прислоняться к стене, чтобы не упасть. Но он не понимал, что заболел.

Он позвонил по телефону знакомому полковнику, преподававшему в Военно-политической академии имени Ленина,— ему ответили, что он вместе со слушателями академии ушел на фронт. Он позвонил в Главное политическое управление, спросил начальника отдела,

обещавшего устроить его на самолет. Дежурный сказал ему:

— Выбыл со всем отделом этим утром.

Когда Крымов спросил, не оставил ли начальник отдела распоряжения по его поводу, дежурный просил подождать и надолго ушел. Крымов, слушая потрескивание в телефонной трубке, успел решить, что никаких распоряжений в предотъездной суете начальник отдела на его счет не оставлял, и он сейчас отправится в Московский комитет партии или к начальнику гарнизона, попросится на Московский фронт — защищать город. Какие уж там самолеты... Но дежурный сообщил ему, что по поводу него есть распоряжение — явиться с вещами в наркомат.

Уже стемнело, когда Крымов пришел в бюро пропусков Наркомата обороны. Ощущение жара сменилось сильным ознобом — он спросил у дежурного, есть ли медпункт в наркомате, и тот взял за руку стучащего зубами Крымова и повел по пустому темному коридору.

Сестра, посмотрев на него, покачала головой, и по тому, каким ледяным показалось ему стекло градусника, он понял, что у него сильный жар. Сестра сказала в телефон:

— Пришлите машину, температура сорок и две десятых.

Он пролежал в госпитале около трех недель. У него оказалось крупозное воспаление легких. Сиделки рассказывали ему, что первые дни он бредил и кричал: «Не увозите {120} меня из Москвы... Где я?.. Я хочу в Москву...» — и вскакивал с койки, а его держали за руки, втолковывали ему, что он в Москве.

Крымов вышел из госпиталя в первых числах ноября.

За те дни, что он пролежал в госпитале, казалось, город преобразился. Черты грозной суровости определили новый облик военной Москвы. Не было суеты[, страха, лихорадки] октябрьских дней, людей, волокущих тележки, санки с багажом в сторону вокзалов, не было толчеи в магазинах, набитых трамваев, тревожного гула голосов.

В этот час, когда беда нависла над советскими землями, когда откованное в Руре оружие бряцало и гремело в Подмосковье, когда черные крупковские танки ломали лбами осины и елочки в рощах под Малоярославцем, когда ракетчики освещали зимнее небо, нависшее над Кремлем, зловещими анилиновыми огнями, сработанными в Баден-Сода-Хемише Фабрик, когда картавые окрики боевых немецких команд глухо и покорно повторялись эхом на лесных полянках, а эфир был прошит жестокими коротковолновыми приказами: «Folgen... freiweg... richt, Feuer... direct richt» [14], произносимыми на прусский, баварский, саксонский и бранденбургский манер,— именно в этот час спокойная и суровая Москва была грозным военным вождем русских городов, сел и земель.

По пустынным улицам, мимо витрин, заложенных мешками с песком, проезжали грузовики с войсками и окрашенные в цвет снега танки и броневики, шагали красноармейские патрули. Улицы покрылись баррикадами, построенными из толстых рыжих сосновых бревен и мешков с песком, противотанковые ежи, опутанные колючей проволокой, преграждали подъезды к заставам. На перекрестках стояли военные регулировщики, милиционеры с винтовками... И всюду, куда ни шел Крымов, строилась оборона. Москва готовилась принять бой.

Это был нахмуренный город-солдат, город-ополченец, и Крымов подумал: вот лицо Москвы, столица Советского государства. <...> {121}

Седьмого ноября Крымов попал на Красную площадь — ему дали пропуск в Московском комитете партии.

Туманным, мгlistым утром он шел на Красную площадь <...> {122}.

Была ли в мире картина величественней и суровой этой? Спасская башня, одновременно тяжелая и стройная, закрывала своей мощной узорной каменной грудью западную часть неба, купола Василия Блаженного были подернуты туманом, и казалось, небесный легкий туман, а не земля, родил эти ни с чем не сравнимые, всегда новые, всегда неожиданные, сколько бы ни смотрел на них глаз, формы — не то голуби, не то облака, не то мечта человека, обращенная в камень, не то камень, обращенный в живую мысль и мечту человека...

Ели вокруг Мавзолея были неподвижны. В каменной печали их тяжелых ветвей едва-едва проступала голубизна жизни, высоко над ними поднимался узор Кремлевской стены, его чеканная резкость была смягчена белизной изморози. Снег то переставал, то валил мягкими хлопьями, и безжалостный камень Лобного места вдруг растворялся в снегу, и Минин и Пожарский уходили в мутную мглу.

А Красная площадь перед Мавзолеем казалась Крымову широкой дышащей грудью России — выпуклая, живая грудь, над которой поднимался теплый пар дыхания. И то широкое небо, что видел он в осенних Брянских лесах, русское небо, впитавшее в себя холод военного ненастья, низко опустилось над Кремлем. <...> {123}

В шинелях, в мятых шапках-ушанках, в больших кирзовых сапогах стояли в строю красноармейцы. Они собрались сюда не после долгой казарменной учебы, а пришли из боевых частей, из боевого резерва, с огневых артиллерийских позиций.

То стояло войско народной войны. Красноармейцы украдкой утирали лица от тающего снега, кто брезентовой потемневшей от влаги варежкой, кто платочком, кто ладонью.

[Они стояли в плохо пригнанных шинелях, чинно подпоясанные ремнями, и Крымов подумал, что, наверное, те, кто стоит в задних шеренгах, незаметно посасывают потихоньку добытый из кармана сухарик.]

На трибунах рядом с Крымовым толпились люди в кожанках и шинелях, женщины в платках и ватниках, военные с зелеными фронтовыми «шпалами» и ромбами в петлицах.

— Денек сегодня не летный,— сказала стоящая возле Крымова женщина,— погода очень хорошая,— и стерла платочком капли со лба.

Крымову было трудно стоять после болезни, и он присел на барьер... <...> {124}

Над площадью протяжно разнеслась воинская команда. Принимавший парад маршал Будённый стал объезжать войска и здороваться с ними. Окончив объезд войск, Будённый быстрой походкой поднялся на Мавзолей.

[Сталин приблизился к микрофону, заговорил. Крымов не мог разглядеть его лицо — туман и утренняя мгла мешали смотреть. Но слова Сталина отлично доходили до Крымова.

— Смерть немецким оккупантам! — сказал он и поднял руку.— Вперед к победе!

Началось парадное прохождение боевых частей мимо Мавзолея Ленина. Этот суровый и торжественный марш боевого народного войска происходил в день, когда гитлеровские полчища стояли под Москвой.] {125}

Двенадцатого ноября 1941 года Крымов попал в штаб Юго-Западного фронта. Вскоре он был назначен комиссаром моторизованного полка и познал счастье победы — его полк

участвовал в освобождении Ельца. Он видел, как над снежным полем ветер нес ворох розовой, голубой, синей бумаги — документы разгромленного штаба дивизии генерала Сикст фон Армин {126}. Он видел пленных с головами, обвязанными полотенцами и бабьими платками, с ногами, обвязанными мешками, с ватными одеялами, накинутыми на плечи. Он видел, как разбитые машины, черные крупновские пушки, мертвые тела врагов в серых бумажных фуфайках, в худых шинелишках пятнали белый покров воронежских зимних полей.

Словно торжественный удар колокола, прошла от Карельского до Южного фронта весть о разгроме немцев под Москвой.

В ночь, когда Крымов узнал о победе под Москвой, его охватило чувство такого счастья, какого, казалось, он не испытывал никогда. Он вышел из землянки, где ночевал с командиром полка, жестокий мороз охолодил ему ноздри, прижег скулы. Покрытая снегом холмистая долина светлела смутным, неземным светом под ясным, звездным небом. Мерцание звезд создавало ощущение быстрого множественного движения, и ему казалось, что весть идет от звезды к звезде и небо охвачено радостным волнением. Он снял шапку и стоял, не чувствуя мороза.

Вновь и вновь перечитывал он записанное радистом сообщение о том, как войска генералов Лелюшенко, Кузнецова, Рокоссовского, Говорова, Болдина, Голикова гонят от Москвы разбитые фланговые группировки немцев, бросающих технику и вооружение.

Названия освобожденных подмосковных городов: Рогачёва, Клина, Яхромы, Солнечногорска, Истры, Венёва, Сталиногорска {127}, Михайлова, Епифани — звучали для него как-то по-весеннему радостно и молодо. Они точно воскресли, вновь родились, вырванные из-под черной пелены, прикрывшей их.

Сколько раз во время отступления думал он, мечтал о часе возмездия — и вот этот час наконец пришел!

Он представлял себе хорошо знакомые ему подмосковные леса, разбитые немецкие блиндажи, захваченные тяжелые пушки на высоких массивных колесах, танки, семитонные грузовики, сваленные в кучу винтовки, черные автоматы, искореженные пулеметы.

Крымов всегда подолгу разговаривал с красноармейцами, и в эти дни он проводил часы в беседах в минометных и артиллерийских расчетах, в стрелковых отделениях. Он видел, что лишним было разъяснять людям все огромное значение московской победы — народ понимал ее во всей глубине. Каждый красноармеец нес в душе своей постоянную тревогу о судьбе Москвы; во время немецкого наступления на Москву боль и тревога эти росли, становились горше, острее. И в тот день, когда армия узнала о разгроме немцев под Москвой, вздох облегчения вырвался из миллионов грудей. Крымов в своей работе ясно ощутил всенародную глубину этого события.

Именно в эти дни к чувству ненависти к насильникам, окрашенному в трагические тона, к чувству всенародной беды прибавился новый оттенок — злой насмешки, презрения, народной издевки.

В эти дни немцев перестали называть «он», а во всех блиндажах, окопах, в танковых экипажах, в минометных и орудийных расчетах стали именовать их насмешливо: «фриц», «карлуша», «ганс».

Именно в эти дни стали стихийно рождаться десятки и сотни облетевших все фронты, зашедших в глубокий тыл солдатских юмористических рассказов, сказок, анекдотов о глупости Гитлера, о чванливости и трусости его генералов.

Именно в эту пору особенно широко пошли клички немецких самолетов: «горбач», «верблюд», «гитара», «костыль», «скрипун».

Именно в эту пору стали говорить: «Автомат у фрица дурак».

Появление этих блиндажных, эшелонных, аэродромных рассказов и кличек знаменовало окончательную кристаллизацию чувства душевного народного превосходства над противником.

В мае Крымов был назначен комиссаром противотанковой бригады.

Германская армия вновь начала наступать. [Немцы нанесли керченский удар. Манштейн отрезал наступавшего на Харьков командарма Городнянского, замкнул фронт под Изюм—Барвенковым и Балаклеей.

В эти жестокие дни погиб командующий Юго-Западным фронтом Костенко, погиб генерал Городнянский. Член Военного совета Юго-Западного фронта Гуров, знакомый Крымову по Москве, спасся, вырвавшись из окружения на танке.] Вновь воздух был полон гудения немецких бомбардировщиков, горели деревни, необрушенный хлеб стоял в полях, рушились элеваторы и железнодорожные мосты...

Не к Бугу, не к Днепру отходили теперь войска Советской Армии, за их спиной были Дон, Волга, а за Волгой — степи Казахстана.

53

В чем причины отступления [и тяжелых, трагических неудач] Красной Армии в первые месяцы войны? Они <...> {128} в том, что германские войска к моменту начала войны были уже целиком отмобилизованы, и 170 дивизий, придвинутые Гитлером к границам СССР, находились в состоянии полной готовности, ожидая лишь сигнала для удара, тогда как советские войска не были достаточно оснащены совершенной техникой, не были подготовлены к идее неминуемого, очевидного нападения со стороны фашистской Германии и им нужно было еще отмобилизоваться и придвинуться к границам. <...> {129} Одна из причин неудач Красной Армии состояла еще в отсутствии второго фронта в Европе против немецко-фашистских войск. Немцы, считая свой тыл на западе обеспеченным, имели возможность двинуть все свои войска и войска своих союзников против нашей страны. Наконец, причина неудач Красной Армии в первый период войны состояла в недостатке танков <...> {130}, авиации[, артиллерии]. <...> {131}

[Доктрина оборонительной войны на чужой территории, доктрина, диктовавшая переход к наступательным действиям тотчас после того, как враг нарушит нашу границу, в этой войне не состоялась.

В то время как жители столицы передавали друг другу мифические рассказы о том, что наши войска подходят к Кенигсбергу, что из Москвы выезжают бригады железнодорожников для перешивки колеи на Бухарест и будто бы Варшава занята мощным ударом наших воздушно-десантных войск,— в это самое время сотни тысяч людей, живших в деревнях, местечках, городках и городах Украины и Белоруссии, начали сниматься с насиженных родных мест и двигаться на восток — кто в товарных вагонах, кто на грузовых автомобилях, кто на тракторах, кто подводами, кто пешком, взвалив на плечи мешок. Люди поняли: закон начавшейся войны диктуется не той действительностью романов, статей, брошюр, кинокартин, которые они читали и смотрели, а действительностью необычайно суровой и жестокой.]

В сопоставлении стремительно наступавших немцев с отступавшими русскими не все понимали истину подлинно народной войны; в искусственно вызревшей демонстративной и

механической силе гитлеровских войск таилось бессилие, а слабость Советской Армии, проявленная в первые месяцы войны, готовилась обратиться в силу.

Бои 1941 года, бои поры отступления, были самыми тяжелыми и самыми трудными боями войны. В этих боях постепенно изменялось соотношение сил борющихся сторон в пользу Советской Армии.

В трагических тяжелых боях отступления созревала грядущая победа.

Народный характер многогранен. Военская доблесть тоже многогранна, имеет десятки, а может быть, сотни своих частных проявлений. Мир увидел людей, мужественно шедших вперед и, значит, на смерть, когда за спиной еще были огромные русские пространства, людей, которые дрались с особенным ожесточением, потому что видели силу врага, превосходящую их силу; то были люди, чьи мертвые тела не были преданы торжественному погребению, безвестные герои первого периода войны. Им Россия во многом обязана своим спасением.

Первый год войны показал, как богата Советская Россия такими людьми. Весь год шли сотни и тысячи боев, то быстротечных, то упорных, на безыменных высотах, на околицах малых деревень, в лесах, на поросших травой проселках, на болотах, на нескошенных полях, на склонах балок, яров, у паромных переправ.

Эти бои шли у стен городов-героев — Ленинграда, Одессы, Севастополя, у стен Москвы и Тулы, на берегах рек.

[Партия, ее Центральный Комитет, комиссары дивизий и полков, политруки рот и взводов, рядовые коммунисты в этих боях ковали дисциплину, организовывали боевую и моральную силу Красной Армии.] {132}

Эти бои разрушили главные основы гитлеровской стратегии молниеносной войны.

Стратегия блицкрига была построена на том, что пространства России от западных ее границ до Уральского хребта будут пройдены за восемь недель. Этот срок Гитлер исчислил, разделив протяженность советской земли на средний дневной пробег немецких танков, моторизованной артиллерии и моторизованной пехоты. Расчет этот был перечеркнут, он оказался ни к черту не годен. А ведь из этого расчета вытекали все остальные предпосылки гитлеровской стратегии: уничтожение советской тяжелой промышленности, развал советского тыла, невозможность для командования Красной Армии мобилизовать резервы.

За год Россия отступила на тысячу километров. Тянулись на восток эшелоны, везущие станки, машины, котлы, моторы, балетные декорации, библиотеки, собрания редких рукописей, картины Репина и Рафаэля, микроскопы, рефлекторы астрономических обсерваторий, миллионы подушек, одеял, домашние вещи, миллионы фотографий отцов и дедов, прабабок, спящих вечным сном на Украине, в Белоруссии, в Крыму, в Молдавии.

Но только ослепленным пламенем и дымом военных пожаров людям могло казаться, что этот год был лишь годом страданий и отступления, годом разрухи. Централизованная мощь государства — Комитет Оборона организовал перемещение миллионов людей и масс промышленного оборудования из западных районов на восток, где планирующий разум Советского государства создал мощную угольную и металлургическую промышленность Урала и Сибири.

Члены Центрального Комитета партии, руководители обкомов партии, работники райкомов, низовые партийные организации, десятки тысяч коммунистов возглавили работу по созданию новых заводов, по закладке новых шахт и рудников, по строительству жилья для рабочих, эвакуированных на восток, повели рабочие батальоны на трудный подвиг сквозь мрак

сибирских ночей, под вой метелей, среди сугробов снега.

За этот год среди снегов Сибири и Урала выросли сотни новых заводов. На них в бессонном тяжком труде рабочие, мастера, инженеры множили военную мощь Советского государства. И одновременно энергия миллионов людей, работавших на посудных, картонажных, карандашных, мебельных, обувных, чулочных, кондитерских фабриках, в тысячах мастерских и артелей, была переключена на дело обороны: эти тысячи и десятки тысяч малых предприятий стали солдатами так же, как стали солдатами тысячи тысяч крестьян, агрономов, учителей, счетоводов, не помышлявших год назад о военной службе. Эта огромная работа многим тогда казалась незначительной, ибо часто самое огромное кажется незаметным.

Гнев, боль, страдания народа обращались в сталь, во взрывчатку и броню, в орудийные стволы, в моторы бомбардировщиков.

Вера народа в правду, любовь народа к свободе обращались в оружие, в прочную связь солдат и командиров Красной Армии между собой.

За год произошел переворот в соотношении борющихся сил.

Со все нарастающим размахом работали в глубоком тылу советские танковые, авиационные и орудийные заводы; непрерывно идущая вверх кривая военного производства сулила победу советским рабочим и инженерам в битве за количество и качество военных моторов.

Этот год работы на оборону, эти оборонительные бои, эти версты отступления явились той суровой школой, где народ и армия изживали ошибки, изживали робость, учились, где познавался враг.

Часто в течение этого года советские люди в минуты наивысшего напряжения сил думали о втором фронте, ожидали его открытия. <...> {133}

В кампании 1942 года Гитлер, пользуясь отсутствием второго фронта, сконцентрировал на советско-германском фронте 179 немецких дивизий из общего количества 256, имевшихся в ту пору у Германии. Кроме того, германское командование перебросило сюда 61 дивизию своих союзников. Всего против Красной Армии в кампании 1942 года выступило 240 дивизий, более 3 миллионов человек, то есть вдвое больше войск, чем было выставлено Германией, Австро-Венгрией и Турцией в войне против России в 1914 году. Гитлеровское командование сосредоточило главную массу этих войск между Орлом и Лозовой на 500-километровом участке фронта. В конце мая немцы начали наступать на харьковском направлении. В конце июня немцы стали наступать на курском направлении. 2 июля немецкие танки и пехота перешли в наступление на белгородском и волчанском направлениях. 3 июля пал Севастополь.

Гитлер предпринял это наступление, продолжая, как ему казалось, войну, начатую 22 июня 1941 года. Но это только казалось ему. Действительность изменилась, неизменной осталась лишь стратегия Гитлера.

Но фронт был вновь прорван. Вновь был занят Ростов, немцы прорвались на Кавказ. И некоторым людям, захваченным вихрем событий, находившимся в дымном и чадном чреве войны, казалось, что продолжается то, чем началась война, что идет победоносный гитлеровский блицкриг. Но время не прошло даром. То, что казалось немецкой победой, не было победой.

Владимировна много работала, обследовала предприятия, готовящие смесь для противотанковых бутылок. Возвращалась Александра Владимировна поздно, завод стоял далеко от центра города, автобусы туда не ходили, случалось подолгу дожидаться попутной машины, а несколько раз она шла пешком от завода до дома.

Однажды Александра Владимировна была настолько утомлена, что решила позвонить Софье Осиповне в госпиталь, и та послала за ней грузовую полуторку. Александра Владимировна по дороге домой заехала в Бекетовку, в казармы, где находился Серёжа.

Но казарма оказалась пустой, накануне рабочие отряды ушли в степь. Когда она сказала об этом дома, дочери тревожно поглядели на нее, но она была спокойна и, даже улыбаясь, рассказала, как водитель грузовика на ее вопрос о Софье Осиповне ответил:

— Товарищ Левинтон — человек справедливый и хирург знаменитый, только характер тяжеленек.

Действительно, Софья Осиповна в последние дни стала нервна, приходила к Шапошниковым не часто, очень уж много было раненых. Их везли из-за Дона. На подступах к Дону день и ночь шло огромное сражение.

Как-то она сказала:

— Тяжело мне. Все почему-то думают, что я железная баба...

А однажды, придя из госпиталя, она расплакалась:

— Какой мальчик умер час назад на операционном столе! Какие глаза, какая трогательная, милая улыбка...

В последние недели все чаще объявляли воздушные тревоги.

Днем самолеты летали очень высоко, оставляя в небе длинные пушистые спирали, и все уже знали, что летит разведчик — фотографирует заводы, порт, Волгу. А затем почти каждую ночь стали прилетать одиночные самолеты и сбрасывать бомбы — гул разрывов раздавался над замершим городом.

Степан Фёдорович с семьей почти не виделся — электростанцию перевели на военное положение. После взрывов он звонил по телефону и спрашивал:

— Как у вас, все благополучно?

[Вера, приходя из госпиталя, была угрюма и раздражительна, разговаривала с матерью так сердито, что Мария Николаевна растерянно оглядывалась, ища сочувствия.

Мария Николаевна как-то пожаловалась Софье Осиповне:

— Ведь глупая ее натура именно в том, что с матерью она эгоистична, отказывается помочь по дому, а с посторонними может быть необычайно добра и услужлива.

Софья Осиповна, рассердившись, сказала:

— Если у меня на работе завелась бы такая девица, я бы ее, угрюмую и недоброежелательную, клянусь тебе честью, выгнала бы на второй день.

Но так как Мария Николаевна считала, что Веру критиковать может только одна она, и не позволяла это делать никому, даже мужу, она тут же вступилась за дочь:

— Видишь ли, с одной стороны, наследственность, отец Степана был грубый, некультурный

человек, а с другой — приходится ей искать привязанности на стороне, ведь и дома я говорю и думаю только о работе. По существу она девочка трудолюбивая, чистая. Найдёт стих — не допросишься, чтобы за хлебом сходила, а то возьмётся и во всех комнатах полы помоеет и целую ночь стирает груды белья.

Софья Осиповна рассмеялась:

— Ох, мамыши, вы все на один лад.]

В конце июля и в первых числах августа в сводках Совинформбюро появились знакомые всем сталинградцам названия: Цимлянская, Клетская, Котельниково — места, прилегающие к Сталинграду и слитые с ним {134}.

Но ещё до того, как эти места были объявлены в сводках, из Котельникова, Клетской, из Зимовников {135} стали прибывать беженцы — знакомые, родичи, земляки, в чьих ушах уже стоял грохот надвигавшейся немецкой лавины. А Софья Осиповна и Вера ежедневно видели все новых раненых. Эти люди два-три дня назад участвовали в боях за Доном, и их рассказы наполняли сердце тревогой — война день и ночь, не ведая отдыха, приближалась к Волге.

Все семейные разговоры были связаны с войной: если начинали говорить о работе Виктора Павловича, то тотчас вспоминали его мать, Анну Семёновну, ее трагическую, одинокую судьбу; заговаривали о Людмиле — и сразу же разговор переходил на Толю, жив ли он. Горе подошло вплотную, вот-вот распахнет двери дома.

И получилось так, что единственным поводом для шуток и смеха был разговор о приезде Новикова. [Александра Владимировна сказала:

— Он все время склоняет: «Русский дух... русская душа...»,— на меня пахнуло настроениями девятьсот четырнадцатого года...

— Нет, тут вы, мама, как раз, мне кажется, неправы,— сказала Мария Николаевна,— в такие понятия революция влила совершенно новое содержание.]

Как-то вечером Софья Осиповна устроила за чаепитием «генеральский [15] разбор» Новикова.

Александра Владимировна сказала:

— Напряженный он какой-то, в его присутствии я чувствую себя неловко, не то, кажется, вот-вот он обидится, не то он тебя обидит. Я все думаю: хорошо бы нашему Серёже иметь такого начальника или плохо?

— Ах, женщины, женщины,— проговорила Софья Осиповна, точно сама не была женщиной и женские слабости ее не касались,— в чем разгадка его успеха? Он герой своего времени. А женщины любят героев времени. Но шутка ли, исчез на целую неделю.

— Ты, тетенька Женя, не беспокойся, он не удрал,— сказала Вера,— обязательно вернется, ты его приворожила.

— Конечно, конечно,— под общий смех прибавила Софья Осиповна,— он чемодан здесь оставил...

Женя, слушая эти разговоры, то начинала сердиться, то смеялась.

— Знаешь, Софья Осиповна,— сказала она,— мне кажется, ты о Новикове говоришь больше всех, и уж во всяком случае больше меня.— Но и она не замечала, что слушала насмешки очень уж терпеливо, и это объяснялось не чем иным, как удовольствием, которое ей

доставляли такие шуточные разговоры.

Она не обладала самонадеянностью, спокойной рассудительностью, обычно свойственной очень красивым женщинам, уверенным в своем всегдашнем успехе <...> {136}. Она мало следила за своей внешностью, причесывалась не так, как следовало ей причесываться, могла надеть туфли на стоптанных каблуках, старое мешковатое пальто. Сестры считали, что это Крымов плохо повлиял на Женю. «Конь и трепетная лань»,— смеялась когда-то Людмила. «Причем конь — это я»,— сказала Женя. Когда в нее влюблялись, а это случалось часто, она огорчалась и говорила: «Вот я еще одного хорошего товарища потеряла».

Она испытывала перед своими «ухажерами» какое-то странное чувство вины, и сейчас она словно была виновата перед Новиковым. Сильный, суровый человек, весь поглощенный трудным, ответственным делом,— и вдруг в глазах его появляется выражение растерянности.

Последние дни ей вспоминалась совместная жизнь с Крымовым. Она все жалела его, но не понимала, что жалость эта не вызывает в ней желания вернуться к нему, а наоборот, именно теперь она до конца ощутила непоправимость разрыва.

Когда Крымов приезжал к старшей сестре на дачу и гулял по дорожкам, Людмила для предосторожности шла с ним рядом, зная по опыту, что он обязательно вытопчет «копытами» флоксы и другие драгоценности подмосковной дачи.

Во время чаепития Крымов обычно впадал в разговорный пыл, и Людмила под общий смех стелила перед ним на вышитую скатерть салфеточку и убирала свои любимые чехонинские чашки {137}.

Он находил папиросы слишком слабыми и курил крепкий табак, сворачивая огромные самокрутки. Когда он размахивал руками, искры сыпались из этих папирос, прожигали скатерть.

Крымов не любил музыку, был совершенно равнодушен к красивым и изящным предметам, но природу он чувствовал глубоко и хорошо рассказывал о ней. Крым, Кавказское побережье он не любил и как-то в Мисхоре во время отпуска почти весь месяц пролежал в комнате на диване, опустив от солнца занавески, и, посыпая паркет серым пеплом, читал с утра до вечера. Но когда ветер поднял большую волну, Крымов пошел к морю и, вернувшись поздно ночью, сказал Евгении Николаевне:

— Хорошо, похоже на революцию.

В еде у него были странные вкусы. Однажды, когда у них должен был обедать товарищ, приехавший из Вены, Крымов сказал Евгении Николаевне:

— Надо бы к обеду что-нибудь повкуснее.

— Что, например, ты посоветуй! — сказала Женя.

— Ну, я не знаю, но хорошо бы гороховый суп, а на второе печенку с луком...

Крымов был сильным человеком, однажды она слушала его доклад в Октябрьскую годовщину на большом московском заводе, и когда его спокойный голос повышался и кулак, поднятый точно молот, опускался вниз, по огромному залу проходил ветерок волнения, а Женя чувствовала, что у нее холодеют кончики пальцев.

И все же ей теперь до слез было жалко его. Весь день ей хотелось плакать, и вечером, после шуточного разговора, затеянного Софьей Осиповной, Женя пошла в ванную комнату и заперлась там, сказала, что будет мыть голову.

Но горячая вода остывала в кастрюле, а Женя сидела на краешке ванны и думала: «Какими чужими могут быть иногда близкие люди, как они ничего не могут понять, даже мама...»

Им все кажется, что этот случайный Новиков ее занимает, а она неотступно думала совсем, совсем о другом... Все, что было связано с Крымовым, когда-то казалось ей мудростью и романтикой. Его странности, его прошлое, друзья — все восхищало ее. Он в то время работал в журналах, освещающих международное рабочее движение, участвовал в съездах, много писал о революционном движении в Европе.

К ним иногда приезжали в гости иностранные товарищи, участники съездов. Все они пробовали с ней говорить по-русски и все коверкали русские слова.

С Крымовым иностранные друзья разговаривали горячо, подолгу, иногда беседы у них длились до двух-трех часов ночи. Когда разговор шел на французском языке, знакомом Жене с детства, она внимательно вслушивалась, но эти оживленные рассказы и споры ее никогда не захватывали. Назывались люди, о которых она не знала, спорили о статьях, которых она не читала.

Как-то она сказала мужу:

— Знаешь, у меня такое ощущение, словно я аккомпанирую людям, не имеющим музыкального слуха. Они отличают тона, а полтона и четверть тона не различают. Кажется, дело не только в языке, пожалуй, мы разные люди.

Он внезапно рассердился:

— При чем тут они, себя вини в этом. Круг твоих интересов ограничен. Может быть, у тебя именно и нет музыкального слуха.

Она хотела наговорить ему резкостей, но с внезапным смирением тихо сказала:

— У нас и с тобой не много общего.

Однажды к ним пришла большая компания, ватага, как говорил Крымов. Две полные и низкорослые круглолицые ученые женщины из Института мирового хозяйства, индус, которого прозвали Николаем Ивановичем, испанец, англичанин, немец, француз.

Настроение у всех было веселое, стали просить Николая Ивановича спеть. Голос его звучал странно — высокий, резкий, и тут же печальные, певучие звуки.

Этот человек в золотых очках, окончивший два университета, автор толстой книги, лежавшей на столе у Крымова, человек с вежливой и холодной улыбкой, привыкший выступать на европейских конгрессах, словно преобразился.

Женя, вслушиваясь в странные, непривычные звуки, искоса поглядывала на индуса — он сидел на диване в позе, которую запечатлели учебники географии: поджав под себя ноги.

Индус, видимо взволнованный, снял дрожащими тонкими, костяными пальцами очки, стал протирать их белоснежным платком, и близорукие глаза его были полны влаги, стали грустными и милыми.

Решили, что каждый споет на своем родном языке.

Запел Шарль, журналист, друг Барбюса {138}, в неряшливом, помятом пиджаке, со спутанными волосами, падающими на лоб. Он пел тоненьким, дрожащим голосом песенку фабричных работниц. Его песенка с нарочито простыми, детски наивными словами трогала своей недоуменной грустью.

Потом запел Фриц Гаккен, просидевший полжизни в тюрьмах, профессор-экономист, высокий, с сухим длинным лицом. Он пел, положив на стол сжатые кулаки, известную по исполнению Эрнеста Буша {139} песню «Wir sind die Moorsoldaten» [16]. Песенка без надежды — песенка обреченных на смерть. И чем дольше он пел, тем угрюмей становилось выражение его лица. Он, видимо, считал, что поет песню о себе самом, о своей судьбе.

Генри, красивый юноша, приехавший по приглашению ВЦСПС от союза торговых моряков, пел стоя, заложив руки в карманы. Казалось, он поет веселую, задорную песню, но слова звучали тревожно: моряк думал, что ждет его впереди, загадывал о тех, кого оставил на берегу...

Когда предложили спеть испанцу, он закашлялся, а потом встал руки по швам и запел «Интернационал».

Все поднялись и стоя запели, каждый на своем языке.

Женя <...> {140} увидела, как по щекам Крымова сбежали две слезы.

Они простились с учеными женщинами, не пожелавшими идти в ресторан, пообедали в шашлычной и пошли гулять по Тверскому бульвару.

Крымов предложил пойти по Малой Никитской на новую территорию Зоосада.

Генри, не любивший бесцельных прогулок, — он совершал по плану экскурсии по примечательным местам в Москве, — с удовольствием поддержал Крымова. В Зоологическом саду среди посетителей им всем понравилась одна пара — человек лет сорока, с утомленным, спокойным лицом, судя по темным большим рукам, заводской рабочий, вел под руку старуху в коричневом деревенском жакете с белым парадным платочком на седой голове.

Видимо, старуха приехала из деревни гостить. Морщинистое лицо ее казалось безжизненным, а глаза весело блестели. Глядя на лося, она сказала:

— Ох, гладкий шут, на таком пахать — трактор!

Она была полна интереса ко всему, оглядывалась, гордясь перед людьми сыном.

Они некоторое время ходили следом за этой парой. Потом они направились к площадке молодняка, но набежала тень, и хлынул дождь. Англичанин снял пиджак, поднял его над Жениной головой. В канаве зашумела мутная вода и залила всем ноги. И от этих милых неудобств стало весело, легко, безопасно, как бывало лишь в детстве.

Стремительно вышло {141} солнце, и серая вода в лужах заблестела, деревья, облитые дождем, вспыхнули зеленью. Среди травы на площадке молодняка росли ромашки, и на каждой из них блестели дрожащие капли воды.

— Парадиз, — сказал немец.

Медвежонок, подтягивая тяжелое тельце, полез на дерево, и блестящие капли воды упали с ветвей. А в траве затеялась игра — жилистые рыжие щенки динго, с закрученными хвостами, тормозили ставшего на задние лапы медвежонок, волчата, шевеля лопатками, как колесами, тербели его, и он поворачивался к ним, ловчась отпустить оплеуху своей пухлой, детской лапой. С дерева свалился второй медвежонок, и все смешалось в веселый, пестрый, шерстяной ком, катящийся по траве. В это время из кустарника вышел лисенок. Он, вытягивая мордочку, тревожно мел хвостом и волновался: глаза блестели, а худые, облившиеся бока часто и высоко поднимались. Ему страстно хотелось принять участие в игре, он делал несколько крадущихся шагов, но, охваченный страхом, прижимался брюшком к

земле и замирал. Внезапно он подпрыгнул и кинулся в свалку со смешным, веселым и жалким писком. Жилистые щенки динго тотчас повалили его, и он лежал на боку, блестя глазком, подставив животик — выражение наибольшего доверия со стороны зверя. Один из щенков динго, видимо, слишком сильно хватил его зубами — лисенок пронзительно крикнул, укоряя, зовя на помощь. Этот молящий крик его погубил: щенки динго стали рвать его за горло, и игра превратилась в убийство. Сторож, подбежав, выхватил лисенка из свалки, понес на ладони, и с ладони свешивалась мертвая худая мордочка с открытым глазом и мертвый худенький хвост. Рыжие щенки, совершившие убийство, шли за сторожем, и закрученные хвосты их дрожали от несказанного волнения.

И вдруг черные глаза испанца налились бешенством, сжав кулаки, он закричал:

— Гитлерюгенд!

Тут заговорили все сразу. Женя слышала, как индус, четко выговаривая по-немецки, с безгливой усмешкой произнес: «Es ist eine alte Geschichte, doch bleibt sie immer neu» [17] {142}.

А Крымов, перейдя на русский язык, заглушал всех:

— Бросьте, братцы, никакого рокового инстинкта не было и нет!

Собственно, этот день был одним из самых приятных: трогательное пение, веселый обед, и запах лип, и короткий дождь, и милая пара — мать с сыном — все это вместе создало простое ощущение, выражаемое словом «хорошо». Но из всего дня Жене теперь особенно остро запомнилось: жалкий лисенок и полные бешенства и страдания глаза испанца. Где они, эти люди, тогдашние знакомые Крымова, где они в эти дни, когда страшная битва идет на русских полях и в русских степях? Кто из них жив, кто погиб в борьбе? [Кто изменил?]

В последние месяцы в ее жизни с Крымовым хороших дней было не много.

Порой он каждый вечер уходил в гости к своим друзьям, возвращался поздно ночью. Порой ему не хотелось видиться со знакомыми, и он, приходя с работы, выключал телефон либо говорил Жене: «Если позвонит Павел, скажи, что меня дома нет». Иногда становился он угрюм и неразговорчив, а иногда, наоборот, его охватывала веселость, он много рассказывал, вспоминая прошлое, чудачил, смеялся.

Но дело было, конечно, не в том, что Крымов часто не бывал дома либо случалась у него пора дурного настроения. Дело было в том, что Женя постепенно стала замечать: она не тяготилась одиночеством, когда Крымова не было дома; ей не становилось весело в те вечера, когда он был разговорчив, рассказывал и вспоминал прошлые годы. Возможно, что раздражение, возникшее в ней против мужа, она невольно переносила на его друзей.

Все, что ей нравилось в нем, перестало нравиться, романтическое стало казаться неестественным. Конечно, его суждения о живописи, о ее работе всегда, с первых дней их знакомства, казались ей пресными, сердили ее. Как трудно ответить на самые простые вопросы. Почему она разлюбила его? Он ли изменился, она ли? Поняла ли она его как-то по-новому, перестала ли понимать? «Привыкнув, разлюблю тотчас»? {143} Нет, не то. Раньше она считала его всезнающим, а теперь говорила:

— Ах, ты ничего не понимаешь!

Жене совершенно безразличны были его жизненные успехи. Правда, она, конечно, замечала, что те, кто звонил ему часто и запросто, звонили все реже, и когда он им звонил — секретари иногда отказывались его соединить. [Ему перестали присылать приглашения на премьеры в Малый и Художественный театры, и когда он позвонил в дирекцию консерватории, просил

билеты на концерт знаменитого пианиста, секретарша директора его спросила: «Простите, какой Крымов?» — и спустя минуту ответила: «К сожалению, нет ни одного билета».] Ей это было безразлично, так же, как было безразлично, носит ли она наряды, сшитые у известных московских портних-художниц либо купленные по ордеру в Москвошвее. Ей как-то рассказали, что на одном ответственном совещании Крымов делал доклад и его резко критиковали, говорили, что он «застыл», «не растет». Но в конце концов дело было не в том: она его разлюбила, вот и все, а от этого уж пошло все остальное. Она старалась отогнать мысль, что раньше пришло «все остальное», а потом именно за это «остальное» она его разлюбила. Его перевели на издательскую работу, и он добрым [18] голосом сказал ей:

— Ну, теперь больше свободного времени, займись по-настоящему своей книгой, а то в этом водовороте совещаний не мог урвать минуты.

Видимо, и он тогда чувствовал, что отношения их изменились, и как-то сказал:

— Вот когда-нибудь приду к тебе в драной кожаной куртке, в обмотках, а муж твой, знаменитый академик или нарком, спросит: «Кто это там?» — а ты вздохнешь: «Пустое, ошибка молодости, скажите ему, что я сегодня занята».

Она и сейчас помнила, как грустны были его глаза, когда произносил он эту шутку.

И ей захотелось увидеть его и снова объяснить ему, что виновато во всем глупое ее сердце, разлюбила она его «так вот, просто так» и никогда, ни одну секунду он не должен думать о ней плохо.

Видимо, все это сильно волновало ее, если даже теперь, в тяжелые военные дни, она продолжала неотступно думать о Крымове.

Ночью, уже лежа в постели, когда ей казалось, все уснули, она заплакала, охваченная жалостью к той невозвратно ушедшей жизни. Она плакала и глядела на свои руки, едва белевшие во мраке затемненной комнаты, руки, которые он целовал когда-то, и вся ее жизнь казалась ей непонятной, как этот тревожный, душный мрак, царивший в комнате.

— Не плачь, Женечка,— тихо сказала Александра Владимировна,— придет твой рыцарь и высушит твои слезы.

— Ах, боже мой! — крикнула Женя, с отчаянием всплеснув руками, забыв о том, что она может разбудить спящих.— Ах, боже мой, да не о том, не о том, почему никто ничего не хочет понять, даже вы, мамочка, даже вы?

Мать тихо сказала ей:

— Женя, Женя, поверь, не первый день я живу на свете, мне кажется, я понимаю тебя, быть может, лучше, чем ты сегодня сама себя понимаешь.

55

Вера удивила Евгению Николаевну тем, что, придя домой, отказалась от обеда и стала заводить патефон. Обычно она еще в передней спрашивала:

— Скоро обед?

Евгения Николаевна видела, что Вера слушает музыку, сидя за столом, подперев скулы кулаками, следя за движением пластинки тем упорным и сосредоточенным взглядом, которым смотрят опечаленные люди на случайные предметы, в то время как мысль их занята другим. Евгения Николаевна сказала:

— Все придут с работы поздно, мой руки и садись обедать.

Вера молчала, глядя в упор на Евгению Николаевну.

Выходя из комнаты, Евгения Николаевна оглянулась и заметила, что Вера слушает музыку, плотно закрыв уши ладонями.

— Ты что, задуррила? — спросила она, вернувшись в комнату.

Вера сказала:

— Потрудитесь оставить меня в покое!

— Вера, перестань, не нужно... — сказала Евгения Николаевна.

— Да ты оставишь меня? Разрядилась, ждет своего Новикова.

— Что с тобой, как тебе не стыдно! — сказала Евгения Николаевна, удивившись выражению ненависти и страдания в глазах племянницы.

Вера почему-то невзлюбила Новикова, в его присутствии она либо молчала, либо задавала ему ядовитые вопросы.

— Вы много раз были ранены? — как-то спросила она и, получив ответ, который заранее предполагала, сделала удивленное лицо и протяжно воскликнула: — Да что вы говорите, как же это так, за всю войну ни разу?

Новиков не обращал на ее колкости внимания, это еще больше сердило девушку.

— Мне стыдно? — сказала Вера. — Мне стыдно? Это тебе должно быть стыдно, не смей меня стыдить! — Схватив со стола патефонную пластинку, она швырнула ее на пол, быстро побежала к двери и, обернувшись, крикнула: — Я не приду домой, я уйду ночевать к Зине Мельниковой.

«Что это с ней происходит?» — подумала Евгения Николаевна, пораженная злым и жалким выражением Вериного лица, ее непонятной грубостью.

Утром Женя решила работать весь день и не выходить из дому. Но сейчас, после происшествия с Верой, работать не хотелось.

Тяжелый характер у Веры, и он у нее не по отцовской линии, как считает Маруся, а именно от самой Маруси. Глупо ведет себя Маруся, подойдет к незаконченной картине и насмешливо, снисходительно скажет: «Тэк-с» — да с таким видом, словно она боевой танкист, а Женя занимается детской игрой... Все уж давно знают, что не только хлеб и сапоги, но и картины нужны людям. А вчера Маруся сказала: «Ты бы еще села городские видики рисовать: вид на Волгу, скверики, дети с няньками; ты художествуешь, а мимо тебя будут идти войска, рабочие и усмехаться...» И глупо — ведь и это надо. Конечно, интересно! Сталинград в дни войны — солнце, блеск Волги, канны с огромными листьями, дети, играющие в песке, белые здания, а через все это, над этим, в этом — война, война!.. Суровые, сумрачные лица, пароходы с маскировкой, темный дым над заводами, танки, идущие на фронт, зарево. И все это слито, все не только в противоположности, а в единстве — прелесть жизни и горесть жизни, надвигающийся мрак и торжествующий над ним бессмертный свет.

И Женя решила отложить работу, выйти на улицу, зрительно ощутить возникшую в воображении картину.

Когда она надела шляпу, послышался звонок. Женя открыла дверь и увидела Новикова.

— Это вы? — сказала она и рассмеялась.

— Чему вы?

— Куда вы пропали?

— Война,— он развел руками.

— А мы уже хотели устроить распродажу ваших вещей.

— Вы, кажется, собрались уходить?

— Да, мне обязательно нужно, хотите проводить меня?

— С удовольствием,— сказал он.

— Но, может быть, вы устали?

— Что вы, совершенно нет,— искренне сказал он, хотя за трое суток спал не больше пяти часов. Широко улыбнувшись, он добавил: — А я сегодня от брата письмо получил.

На углу Новиков спросил:

— Вам в какую сторону нужно?

Она оглянулась:

— Ни в какую, я решила отложить свое дело, оно не к спеху. Пойдемте на набережную.

Они прошли мимо театра, к памятнику летчику Хользунову {144}, и гуляли по набережной, смотрели на реку, каждый раз возвращались к бронзовому летчику, точно он ждал их.

Начало темнеть, а они продолжали ходить и разговаривать.

Новиков пришел в то возбужденное, восторженное состояние, в какое иногда впадают сдержанные люди. Слова Новикова были не тем, что называют откровенным разговором, они были еще значительнее и важнее: слова молчаливого и сдержанного человека, поверившего, что его жизнь интересна другому.

— ...Говорят, что я по натуре штабист, а я ведь строевик-танкист! Вот ведь и опыт, знания есть, а какой-то тормоз... И с вами у меня так; говоря по правде, толком вам ничего сказать не могу...

— Поглядите, какое странное облако,— поспешно сказала Женя, опасаясь, что Новиков начнет объясняться ей в любви.

Они уселись на широкий каменный барьер над Волгой. Шершавый камень был еще горячим от недавнего солнца, и на луговом берегу кое-где поблескивали в свете заката стекла, а с Волги и от ледяной молодой луны уже шла прохлада. На скамейке военный шептался с девушкой. Девушка смеялась, и по тому, как она смеялась, как медленно и неохотно отталкивала от себя кавалера, чувствовалось, что в эти минуты для нее не существовало ничего в мире, кроме этого вечера, лета, молодости, любви.

— Как хорошо и как тревожно,— сказала Женя, вспоминая свои недавние размышления.

В павильоне, где помещалась военная столовая, широко открылась дверь, вышла женщина в белом халате с ведром в руке, и яркий свет быстро осветил тротуар и мостовую, и Жене показалось, что молодая женщина выплеснула ведро света и этот свет, легкий, шипучий,

побежал по гладкому широкому асфальту. Следом вышла группа военных. Один из них, видимо пародируя кого-то, дурашливо запел:

Белая ночь, дивная ночь... {145}

Новиков молчал, и Женя с тоскливым беспокойством почувствовала: вот он соберет решимость, откашляется, повернется к ней, скажет потерянном голосом: «Я вас люблю», и она уже готовилась положить руку ему на плечо и проговорить увещеваяще, грустно: «Не нужно, право же, не нужно об этом говорить».

Новиков сказал:

— Получил сегодня письмо от старшего брата. Работает в шахте, далеко за Уралом. Зарабатывает, пишет, много, да вот дочь у него все болеет, не может к климату привыкнуть. Малярия, что ли?

Женя вздохнула, искоса, настороженно поглядела на Новикова.

И он действительно покашлял, резко повернулся к ней и сказал:

— У меня сейчас острое положение сложилось, я подал рапорт и после этого поссорился с начальником. Он мне сказал: «Я вас не откомандирую и назначу заведовать архивом», а я ему ответил: «Я не подчинюсь такому приказанию».

Эти слова неожиданно обидели и рассердили Женю. Оказывается, его волновали служебные дела.

Она насмешливо прищурилась.

— Знаете, о чем я вдруг подумала? Прошли, должно быть, времена великой романтической любви. Такой любви, как у Тристана и Изольды {146}. Вы читали? Вот он бросил для нее все: и дружбу великого короля, и собственное королевство, и ушел в лес, спал на ветвях и был счастлив. И она, королева, бросив королевство, была счастлива в лесу с ним. Верно ведь? И всякая литература прошлых веков прославляла тех, кто ради любви пренебрегал славой, да, боже мой, небесным и земным блаженством. А теперь все это кажется смешным, непонятым, я уже не говорю о Тристане, да перечтите «Тамань» Лермонтова, и вы скажете: «Как же так, ехал офицер по делу и, утерев бдительность, увлекся, влюбился, стал кататься на лодке с контрабандисткой, так нельзя». Я думаю, либо люди потеряли способность любить, как когда-то, либо им новые страсти заменили те, прежние!

Она говорила быстро и горячо, словно заранее подготовила целую речь, и сама удивлялась, откуда у нее такая сердитая горячность. Но она, уже не останавливаясь, продолжала говорить:

— Да где там? Что вы! Ну вот вы хотя бы могли бы ради любимой женщины уйти на день со службы, рассердить этим свое генеральское начальство, да какое там — опоздать ради нее на два часа, на двадцать минут? Раньше царство бросали к ее ногам!

— Тут не страх рассердить начальство,— сказал он,— тут дело в долге.

— Да вы мне не объясняйте, я все знаю: чувство общественного долга выше всего, святее всего. Все это верно.— Она снисходительно посмотрела на него.— И все же... скажу вам по секрету... все верно, но любить безумно, слепо, забывая обо всем, люди разучились,

заменяли эту любовь чем-то иным, новым, может быть, и хорошим, но уж слишком разумным.

— Нет, это неверно. Есть любовь,— сказал Новиков.

— А, ну конечно,— сказала она сердито,— любовь теперь перестала быть роком, вихрем. Ну конечно, знаю, как... любовь хороша, конечно,— сказала она, передразнивая чей-то учительский, рассудительный голос,— супружество, содружество, влюбляться же в неслужебные часы, правда? Что-то вроде оперного театра,— ведь никто из любителей пения и музыки не вздумает бросить службу и в рабочие часы пойти слушать музыку.

Новиков тревожно наморщил лоб и, сведя брови, смотрел на нее, потом вдруг улыбнулся доверчиво и сказал:

— Если б вы на меня сердились, что я все эти дни не приходил, вот хорошо бы!

— Что вы, как вы могли подумать — это ведь вообще. Я-то не гожусь для таких чувств.

— Я понимаю, понимаю, это вообще,— с поспешной покорностью сказал он.

Она подняла голову, прислушалась к далеким заунывным гудкам, вдруг послышавшимся со стороны заводов и вокзала.

— Вот и началась проза жизни, пойдите домой.

56

Подруга Веры Зина Мельникова жила в доме, в котором поселили Мостовского. Это был один из самых благоустроенных домов в городе.

Верины родные были недовольны ее дружбой с Зиной. Но Вере было безразлично, что говорят домашние о ее подруге. Ей нравилось, что Зина не гнушалась черной работой, мыла полы, стирала, могла сидеть недели на одном хлебе и чае, а на выгаданные деньги купить лайковые перчатки или чулки-паутинку.

И одновременно с расчетливостью в ней была широта, она могла подарить подруге любимую брошку либо устроить вечеринку с таким богатым угощением, что после ей недели две приходилось есть лишь картошку с постным маслом.

Вере нравилось, что Зина не обращается с ней как с не смыслящей в жизни девочкой, а рассказывает о сложностях своих отношений с мужем и спрашивает у нее советов.

По складу своей души она была чужда всему, чем жила Зина. Но почему-то ясная и чистая простота Верининой натуры не мешала ей проявлять интерес к Зининым житейским и сердечным страстям. Зина была старше Веры всего на три года, но казалась всезнающей по сравнению с подругой. Она уже два года была замужем, побывала несколько раз в Москве, жила в Средней Азии, в Ростове. Ее муж теперь работал уполномоченным по заготовкам и часто ездил по области, уезжал по вызовам наркомата в Куйбышев.

Вера взбежала на третий этаж и позвонила.

Зина, оглядев ее, вскрикнула:

— Верочка, у тебя такое расстроенное лицо, случилось что-нибудь?

— Я хочу у тебя ночевать, можно?

— Господи, что за вопрос, конечно. Муж ведь опять уехал в Куйбышев. Ты есть хочешь?

— Хочу.

Зина усадила подругу на диван.

Вера наблюдала, как она быстро и легко двигалась по комнате, накрывая на стол. Каждый раз, проходя мимо зеркального шкафа, она мельком поглядывала на себя в зеркало.

— А я все полнею,— сказала она,— можешь себе представить, все буквально во время войны похудели, а я одна несчастная.

— Зиночка,— сказала Вера тихим голосом и расплакалась.

— Что, что? — испуганно спросила Зина.

Вера, перестав плакать, рассказала о том, о чем не могла и не хотела рассказать дома.

Вечером начальник госпиталя передал ей список выздоровевших на выписку из госпиталя, она понесла список в канцелярию, нужно было подготовить документы и обмундирование — всех выписанных отправляли пароходом в Саратов, откуда обычно после комиссии их посылали в части. Утром, когда она уже кончила дежурство, ей снова попался этот перепечатанный на машинке список из двенадцати фамилий, и она вдруг увидела, что в нем была приписана от руки фамилия Викторова. Ей даже не удалось поговорить с ним наедине, она кинулась в палату, а он уже спускался по лестнице вместе со всеми к ожидавшему внизу госпитальному автобусу.

— Нехорошо, что тринадцатый он,— сказала Зина.

— Он не тринадцатый, а впереди первого.

Зина подсела к ней, стала растирать ладонями Верины пальцы, точно отогревая их от мороза, и сказала тоном опытного врача, решившего не скрывать правды от больного:

— Я по себе знаю, как это тяжело, и не жди, что будет легче.

— Меня все время мучит: теперь никогда его не увижу! А мама мне на днях сказала: «Не могу тебя поздравить, узнала о твоём знакомом: серенький, мало развитой паренек»,— ей нужно, чтобы вундеркинд какой-нибудь. Презираю их, этих вундеркиндов и красавцев полковников, и женщин презираю, которые идут за них по расчету, из соображений.

— Любовь безрассудна и ни с чем не должна считаться,— сказала Зина.

Вера протяжно произнесла:

— Ой, Зиночка, неужели не увижу его?

Зина задумалась, потом неожиданно сказала:

— Вот кого не могу понять, это твою Евгению Николаевну. Почему она так одевается? Ведь с ее фигурой и лицом, да и волосы у нее чудные, она могла бы, ты понимаешь, как выглядеть!

— Она собирается, кажется, за полковника замуж,— поморщившись, проговорила Вера.

Но Зина не поняла Веру и, забыв свои недавние слова о безрассудстве влюбленных, сказала:

— Ну еще бы — полковник даст ей аттестат, и будет она где-нибудь в Челябинске стоять в очереди за молоком для ребенка.

— Ну и что ж,— проговорила Вера,— я бы хотела стоять в очереди за молоком для ребенка.

Ее ожгло желание стать матерью, родить от Викторова ребенка, с его глазами, медленной улыбкой, с такой же тонкой, худой шеей, и сберець его в нужде, лишениях, как огонек среди ночи. Никогда в ее голову не приходили подобные мысли, и чистая мысль эта стыдила, радовала, была одновременно горестна и сладка. Разве есть закон, запрещающий девушке быть счастливой и любить? Нет! Такого закона нет! Она ни о чем не жалеет и никогда не пожалеет, и поступила она так, как нужно было поступить. И Зина, словно почувствовав, о чем думала подруга, вдруг спросила:

— Ты ждешь ребенка?

— Не спрашивай меня об этом,— поспешно сказала Вера.

— Нет, нет, я только на правах старшей просто хотела тебе сказать... это не шутка, сегодня летчик жив, завтра его нет, а ты вдруг с ребенком на руках, ведь это ужасно!

Вера зажала уши руками и затрясла головой:

— Глупости, глупости, не хочу слушать!

До полуночи они разговаривали, потом Зина постелила Вере на диване.

— Ложись, Верочка, надо тебе отдохнуть,— сказала она.

Вскоре Зина потушила свет.

Утром, придя в госпиталь, Вера заглянула в палату Викторова — на его койке лежал черноглазый, смуглый человек с впалыми щеками, видимо армянин. Вере сделалось нестерпимо тоскливо, и она поспешно вышла в коридор и подошла к окну, где обычно встречалась с Викторовым. Ослепительно блестела на солнце чешуйчатая вода на Волге... «Пароход уж, наверное, прошел Камышин...» Небо было спокойным, синим, река беспечной, яркие облачка казались такими белыми, легкими, безразличными ко всему на свете...

Ей вдруг вспомнились Женя и Новиков, показалось, что они живут такой же размеренной, спокойной и бесстрастной жизнью, чуждые ее горечи и смятению. Это чувство раздражения против Жени и Новикова не оставляло ее до вечера. Она пришла домой и даже обрадовалась, увидев Женю и полковника. Вот они-то ей и нужны. Они сидели за столом, видимо, полковник недавно пришел — он держал в руке фуражку.

Вера поглядела в упор на оживленное лицо Евгении Николаевны. Пусть знает, что есть любовь, презирающая рассудок, расчет, выгоды.

Она стала рассказывать какую-то довоенную историю, слышанную ею ночью от Зины, про молодую женщину-инженера, влюбившуюся в актера, участника концертной бригады; она уехала с этим актером, оставив мужа, уехала, несмотря на то что ей вскоре предстояло защитить диссертацию и стать кандидатом технических наук, несмотря на то что пришлось пережить много тяжелого, так как муж был в отчаянии и со службы ее не хотели отпускать.

Евгения Николаевна, выслушав эту историю, стала смеяться и сказала:

— Пошловато!

— Не пошловато, а настоящая любовь! — запальчиво сказала Вера.

Женя, внезапно рассердившись, ударила ложечкой по краю стакана, и звенящий звук стекла передал ее волнение.

— Бульварщина! Мелкая страстишка, а ты называешь это любовью. Чушь!

Она видела глаза Веры, упрямо и угрюмо глядевшие на нее, Верин по-ребячьи удивленно раскрытый рот, какой бывает у совсем маленьких девочек.

— Не кори меня, тетенька. Тебе все это не понять,— сказала Вера.

— Не болтай вздор,— проговорила Женя холодно.

Вера молча вышла из комнаты.

Оставшись вдвоем, Женя и Новиков молчали. Потом Женя сказала:

— Вера думает, что я рассердилась только на нее, а в действительности я отчитала не только ее, а и себя... Помните тот наш разговор на набережной?

Новиков примирительно сказал:

— Зря, Евгения Николаевна, вы на нее рассердились — дитя ведь по существу.— И вдруг не к месту добавил: — Знаете, должен доложить вам: убываю в Москву, в Главное управление кадров Красной Армии. Внезапно командирован.

— Когда вы едете?

— Самолетом, в ближайšie дни.

— Что ж это вы вдруг доложили мне об убытии?

— Робел, помня тот наш разговор. А после вашей проработки Веры решил сказать вам.

— Странно,— сказала она,— а у меня, наоборот, поездка в Куйбышев откладывается. Сейчас нет смысла ехать.

— Знаете, Евгения Николаевна, обстановка на фронте такая, что разумней и вам и всей вашей семье уехать отсюда...— сказал он, ловя ее взгляд.— Вы знаете, если я, вернувшись, застаю вас, то обрадуюсь. И все же уезжайте, уезжайте! Брат Иван пишет — получил квартиру; поезжайте к нему, он с радостью примет вас. Он хороший человек — шахтер. И жена у него славная, простая. Ей-богу, езжайте!

— Мы, кажется, с вами скоро обменяемся ролями,— проговорила она,— вы станете проповедовать то, что я вам говорила на набережной, а я уж, видите, сегодня говорю то, за что ругала вас.

— По правде, я и до набережной,— сказал он,— совершил кое-что по этой линии. Помните, когда я с вами проехал от Воронежа до Лисок? Ведь я должен был ехать на север, в Каширу, увидел ваше лицо в окне и поехал на юг, точнее на юго-восток, потом в Лисках до полуночи ждал обратного поезда.

Евгения Николаевна внимательно на него посмотрела и ничего не сказала.

57

Проснувшись, Михаил Сидорович Мостовской поднял маскировочную штору, раскрыл окно, вдохнул свежесть ясного прохладного утра. После этого он пошел в ванную, побрился, с неудовольствием подумав, что борода у него совершенно седая, в мыльной пене не видно сбритого волоса.

— Сводку не слышали? — спросил он у Агриппины Петровны, принесшей чай.— Мой

репродуктор испорчен.

— Как же, хорошая сводка,— ответила Агриппина Петровна,— восемьдесят два танка уничтожили, два батальона пехоты, семь цистерн сожгли.

— А про Ростов ничего не передавали?

— Нет, вроде ничего.

Михаил Сидорович выпил чаю и сел за письменный стол работать.

Но вскоре в дверь вновь постучалась Агриппина Петровна.

— Михаил Сидорович, этот Гагаров пришел, если заняты, он говорит, вечером зайдет.

Михаил Сидорович обрадовался приходу гостя, хотя его одновременно раздосадовал утренний визит в часы работы.

Гагаров, высокий старик с длинным, узким лицом, с длинными худыми руками и необычайно белыми тонкими пальцами, с длинными ногами, худоба которых угадывалась под болтавшимися брюками, входя в комнату, спросил:

— Конечно, сводку слыхали? Ростов сдан, Новочеркасск сдан.

— Вот как,— сказал Михаил Сидорович и провел ладонью по глазам,— а мне Агриппина Петровна сообщила, что сводка хороша: уничтожено восемьдесят два танка и два батальона пехоты, пленных взяли.

— О господи, вот уж дура старуха,— сказал Гагаров и нервно, быстро передернул плечами.— Я к вам пришел искать утешения, как больной идет к врачу. Да, кроме того, у меня к вам и дело есть.

В это время воющий звук мотора заполнил воздух, покрыл все шумы города — это самолет-истребитель делал в небе свечу.

Когда звук мотора затих, Мостовской сказал:

— Я не утешитель, но вот какая вещь: мой оптимизм как раз в том, что говорила бесхитростная Агриппина Петровна. Оптимизм сводки в том, что кажется незначительным. Ростов — печаль, горе, но не в этом решение войны. Мелкий шрифт сводок за нас каждый день, каждый час. Три тысячи километров фронт — каждый час война, вот уже год. Вот чего не пишут даже мелким шрифтом... При движении фашисты теряют не только кровь! Продвинулись, сожгли тысячи тонн бензина, амортизировали на некий процент моторы, стерли резину на колесах, да еще тысячи прорешек... Для главного итога войны эти кажущиеся пустяковины важнее сенсаций.

Гагаров с сомнением покачал головой:

— Вы посмотрите, как они идут! Ясно ведь, по продуманному плану.

Михаил Сидорович махнул рукой:

— Чушь! План был, как вам известно, в шесть недель разбить Советскую Россию. Вот уже прошло пятьдесят шесть недель. Я спрашиваю вас: вы понимаете значение этого главного просчета? Война должна была парализовать нашу промышленность, должна была вытоптать нашу пшеницу, да так, чтобы век не собрать урожая! Смотрите! Урал, Сибирь, весь наш Восток работает день и ночь. Колхозный хлеб для тыла и для фронта есть и будет. Где же, к

черту, стройный план Гитлера, спрашиваю я вас? Вот в этом вторжении фашистской орды в глубины России? Вы думаете, они становятся сильнее с каждым днем злодейства? Ничуть... В этом залог их краха. Вот и права Агриппина Петровна со своим здравым смыслом простой души... А вы глупости говорите.

Мостовской встречался с Гагаровым до революции в Нижнем Новгороде, где бывал наездами, занимался архивными изысканиями по истории края, изредка сотрудничал в либеральных газетах. Война столкнула их в Сталинграде — Гагаров уж несколько лет не работал, жил на пенсии. В свое время он был известен остротой ума, и по сей день многие забытые старые люди вспоминали его острые мысли, хранили его письма.

Он обладал сильной, прямо-таки могучей памятью, знал историю России с таким количеством важных и мелких подробностей, какое, казалось, не могло вместиться в одну голову. Для Гагарова не составляло труда поименно перечислить несколько десятков людей, присутствовавших при погребении Петра Первого, либо назвать день и час прибытия Чаадаева к тетушке в деревню, сказать, сколько лошадей было запряжено в его коляску и какой масти были эти лошади.

Когда с Гагаровым заговаривали о материальных невзгодах жизни, он, скучая, делал рукой отстраняющий жест. Зато он мог, не утомляясь, говорить о материях высоких.

— Михаил Сидорович,— сказал Гагаров,— вы все говорите — фашисты, фашисты и ни разу не сказали — немцы, точно вы строго разделяете их. Теперь-то, мне думается, это одно.

— Нет, это далеко не одно. Вы это отлично знаете,— ответил Мостовской.— Посмотрите в прошлую войну: мы, большевики, отделяли вильгельмовский империализм, прусский национализм от германского революционного пролетариата.

— Помню, помню, как не помнить,— смеясь, проговорил Гагаров.— Теперь не все склонны этим заниматься.— Он посмотрел на насупившегося Мостовского и поспешно добавил: — Послушайте, не надо нам ссориться.

— Отчего ж,— возразил Мостовской,— можно и поссориться.

— Нет, не надо,— возразил Гагаров.— Помните, Гегель в философии истории сказал о хитрости мирового разума — он всегда уходит за сцену, когда бушуют выпущенные им страсти, он появляется на сцене, когда страсти, свершив свою службу, уходят, тогда только появляется разум, истинный хозяин истории. Старики должны быть с разумом истории, а не со страстями истории.

Михаила Сидоровича эти слова раздосадовали. Ноздри его мясистого носа зашевелились, он насупился и, перестав глядеть на собеседника, сказал сварливо:

— Я хотя старше вас на пять лет, уважаемый объективист, не собираюсь, пока дышу, выходить из борьбы. Я могу еще тридцать пять верст прошагать в строю, могу драться и штыком, и прикладом.

— С вами не сговоришься. Рассуждаете вы, точно собираетесь стать партизаном,— посмеиваясь, проговорил Гагаров.— Помните, я вам рассказывал об одном моем знакомце — Иванникове?

— Помню, помню.

— Вот Иванников просил вас передать Шапошниковой для мужа ее дочери, профессора Штрума, этот конверт, он его пронес через линию фронта.

И он протянул Мостовскому пакет, завернутый в грязную, в бурых пятнах, истрепанную

бумагу.

— Не лучше ли ему самому передать? У Шапошниковых, вероятно, будут к нему вопросы.

— Вопросы будут,— сказал Гагаров,— но Дмитрий Иванович Иванников мне сказал, что бумаги попали к нему совершенно случайно. Ему передала их одна женщина на Украине, он не знает, как они попали к ней, не знает ни ее адреса, ни фамилии. А Иванников не хочет к Шапошниковым ходить.

— Ну что ж, давайте,— пожав плечами, сказал Мостовской.

— Большое спасибо,— сказал Гагаров, глядя, как Мостовской кладет пакет в карман.— Этот Иванников довольно странный человек, надо вам сказать. Учился в Лесном институте, потом на филологическом, много ходил пешком по приволжским губерниям, вот тогда мы и познакомились, он захаживал ко мне в Нижний. В сороковом году он обследовал горные лесничества на Западной Украине. Там его в горах и застала война. Жил с лесником, не слушал радио, не читал газет, вернулся из леса — а во Львове уже немцы. Вот тут его история поистине удивительная. Укрылся он в монастырском подвале, настоятель ему предложил разбирать лежавшие там старинные рукописи. А он без ведома монахов спрятал в этом подвале раненого полковника, двух красноармейцев, какую-то старуху еврейку с внучонком. На него донесли, но он успел вывести всех, кто скрывался, и сам ушел в лес. Полковник решил пройти через линию фронта, Иванников пошел с ним. Так они шли тысячу верст, а при переходе линии фронта полковника ранило, Иванников его на руках вынес.

Гагаров встал и сказал торжественным тоном:

— На прощанье хочу сообщить важную, хоть и личную новость. Ведь я уезжаю, представляете себе, и уезжаю не как частное лицо...

— Аккредитованы в качестве посла?

— Вы не смейтесь. Событие удивительное! Вдруг получил официальный вызов в Куйбышев. Только подумайте! Предлагают мне консультировать капитальную работу о русских полководцах. Ведь вспомнили о моем существовании. Я по году писем не получал, а тут, знаете, до того дошло, что слышал, соседки разговаривают: «Кому это телеграмму... да опять Гагарову, кому же еще». Михаил Сидорович, меня это, как мальчишку, тешит — до слез, говорю вам! Ведь какое одиночество — и вдруг в такое время вспомнили, понадобился. Вот видите, нашлось место и для мнимой величины...

Мостовской проводил Гагарова до двери и вдруг спросил:

— А сколько лет этому вашему Иванникову?

— Я вижу, вас интересует, может ли старик стать партизаном?

— Меня многое интересует,— усмехнувшись, сказал Мостовской...

Вечером, после работы, Михаил Сидорович захватил принесенный Гагаровым пакет и вышел на прогулку. Шагал он быстро и легко, без одышки, по-солдатски размахивая руками.

Пройдя свой обычный круг, он зашел в городской сад и сел на скамейку, поглядывая на двух военных, сидевших неподалеку.

Их лица от ветра, дождя, солнца вобрали в себя густую краску, стали темными, цвета прокаленного в печи хлеба, а их гимнастерки от ветра, дождя и солнца потеряли окраску, были белые, едва тронутые зеленью. Красноармейцев, видимо, занимал вид спокойно живущего города. Один из них снял сапог и, развернув портянку, с озабоченным вниманием

рассматривал ногу. Второй сел на газон и, раскрыв зеленый мешок, вынул из него хлеб, сало, флягу.

Подошел сторож с метлой и сокрушенно сказал:

— Что ж это вы, товарищ, а?

Военный удивился.

— Не видишь,— сказал он,— люди покушать хотят.

Сторож покачал головой и пошел по дорожке.

— Эх ты, мирный житель,— со вздохом сказал красноармеец.

Второй, не надевая сапога, а поставив его на скамейку, опустился на траву и поучающе объяснил:

— Пока народ не пробомбят и не растряснут все барахло, ничего не понимает.— И сразу же, меняя голос, он обратился к Михаилу Сидоровичу: — Папаша, садись, закуси с нами, выпей грамм пятьдесят.

Мостовской сел на скамейку рядом с сапогом, и красноармеец поднес ему чарочку, кусок хлеба и сала.

— Кушай, батя, в тылу, наверно, отощал,— сказал он.

Михаил Сидорович спросил, давно ли они с фронта.

— Вчера в это время еще там были, а завтра снова там будем — на базу приехали за крышками.

— Ну как там? — спросил Михаил Сидорович.

Тот, что был без сапога, сказал:

— Бой идет в степи, страшное дело! Ох дает он нам жизни! <...> {147}

— Чудно тут,— сказал тот, что был в сапогах,— тихо как, народ спокойный. Не плачут, не бегают.

— Непуганый совсем еще житель,— пояснил второй.

Он поглядел на двух босых мальчиков, они бесшумно подошли, в молчаливом размышлении глядя на хлеб и сало.

— Что, пацаны, пожевать захотели? Вот берите. Жара с утра, есть неохота...— сказал красноармеец, как бы стыдясь своей щедрости.

Мостовской простился с бойцами и пошел к Шапошниковым.

Дверь ему открыла Тамара Березкина, гостеприимно просившая зайти и обождать — хозяев дома не было, а она пришла работать на швейной машине Александры Владимировны. Мостовской передал ей пакет для профессора Штрума и сказал, что ждать ему незачем, люди придут с работы усталые, не время принимать гостей. Березкина стала объяснять, как удачно получается: почта ходит неверно, а завтра на рассвете в Москву улетает полковник Новиков. Мостовской впервые слышал эту фамилию, но Березкина говорила так, словно Мостовской знал Новикова с детских лет; полковник, возможно, остановится на квартире

Штрума.

Она взяла конверт двумя пальцами и ужаснулась:

— Боже, какая грязная бумага, словно в погребе два года пролежала.

Она тут же в коридоре завернула конверт в толстую розовую бумагу, из которой вырезывались рождественские елочные цепи.

58

Виктор Павлович поехал к Постоеву в гостиницу «Москва». У Постоева в комнате собрались инженеры. Сам Постоев среди табачного дыма, в зеленой спецовке с большими оттопыренными карманами, походил на огромного прораба, окруженного техниками, десятниками и бригадирами. Мешали такому впечатлению его домашние туфли с меховой опушкой.

Он был возбужден, много спорил и очень понравился Виктору Павловичу — никогда он не видел Леонида Сергеевича таким взволнованным и разговорчивым.

Низкорослый человек с бледным скуластым лицом и курчавыми светлыми волосами, сидевший в кресле за столом, был большим начальством, по-видимому членом коллегии наркомата, а быть может, даже заместителем народного комиссара. Его звали по имени и отчеству: Андрей Трофимович.

Подле Андрея Трофимовича сидели двое — оба худощавые, один с прямым коротким носом, другой длиннолицый, с сединой в висках.

Того, что сидел справа, звали Чепченко — это был директор металлургического завода, переведенного во время войны на Урал с юга. Говорил он мягко, по-украински певуче, но эта мягкая певучесть не уменьшала, а даже, казалось, подчеркивала и усиливала необычайное упрямство украинского директора. Когда с ним спорили, на губах его появлялась виноватая улыбка, он точно говорил: «Я бы рад с вами согласиться, но уж извините, такая у меня натура, сам с ней ничего не могу поделать».

Второй, седоватый, которого звали Сверчков, с окающей речью, видимо коренной уралец, был директор знаменитого завода; об этом заводе писали в газетах в связи с приездами фронтовых делегаций артиллеристов и танкистов.

Он, чувствовалось, был большим патриотом Урала, так как часто говорил:

— Мы на Урале уж так привыкли.

Он иронически относился к Чепченко, и когда украинец говорил, тонкая верхняя губа Сверчкова приподнималась и обнажались его желтые, обкуренные зубы, а светлые голубые глаза насмешливо щурились.

Рядом с Постоевым сидел маленький плотный человек в генеральском кителе, с медленным взором желтовато-серых глаз; его все называли генералом.

— А ну, что генерал скажет,— говорил кто-нибудь.

У окна сидел с независимым видом, раскачиваясь на стуле, опершись подбородком на спинку, совершенно лысый румяный молодой человек — его все звали «смежник», и Штрум так и не услышал ни разу его фамилии и имени-отчества. На груди у «смежника» было три ордена.

А на длинном диване сидели инженеры — «главинжи» и заводские энергетики, начальники экспериментальных цехов — все сосредоточенные, нахмуренные, с печатью бессменного и бессонного заводского труда.

Один, пожилой, был, видимо, практик из рабочих — голубоглазый, с веселой, любопытствующей улыбкой, на его темном пиджаке блестели два ордена Ленина; рядом с ним сидел молодой человек в очках, напоминавший Штруму одного замученного экзаменами знакомого аспиранта.

Все это были «тузы» советского качественного металла.

В момент, когда Штрум вошел в комнату, Андрей Трофимович громко проговорил:

— Кто сказал, что на твоём заводе бронеплиты нельзя выпускать, тебе ведь дали больше, чем всем, почему же твой завод не дает того, что ты обещал Комитету Обороны?

Тот, кого упрекали, сказал:

— Но, Андрей Трофимович, вы помните...

Андрей Трофимович сердито перебил:

— «Но» я в программу не поставлю, из твоего «но» в немца не выстрелишь, мне «но» не надо — дали тебе металл, дали тебе кокс, дали и мясо, и махорку, и подсолнечное масло, а ты мне «но»...

Штрум, увидя незнакомых людей и услышав такой нешуточный разговор, попятился и хотел уйти, но Постоев задержал его.

Приход Штрума прервал разговор на несколько минут.

— Виктор Павлович, прошу, подождите, у нас уж к концу... Это профессор Штрум,— сказал Постоев.

Штрум удивился тому, что присутствующие знали его. Ему казалось, что его знают лишь профессора, аспиранты да московские студенты старших курсов.

Постоев вполголоса стал объяснять Штруму: утром его просили в наркомат на заседание, он прихворнул — сердце защемило, и вот Андрей Трофимович, человек решительный, не желая терять времени, приехал к нему в гостиницу с участниками совещания. Теперь они разбирают последний вопрос — применение токов высокой частоты при обработке качественной стали.

Постоев сказал заседавшим:

— Виктор Павлович разрабатывал ряд теоретических положений, важных для современной электротехники. Вот случаю угодно привести его в эту комнату как раз к решению вопросов, имеющих отношение к его работе.

Андрей Трофимович сказал:

— Присаживайтесь, мы из вас сейчас извлечем бесплатную консультацию.

А человек в очках, чье лицо, казалось, напоминало знакомого Штруму аспиранта, сказал:

— Профессор Штрум не подозревает, сколько хлопот мне стоило достать копию его последней работы — специальный человек летал у меня самолетом в Свердловск.

— И пригодилась вам моя работа? — спросил Штрум.

— То есть как? — удивился инженер. Ему и в мысль не пришло, что Штрум задал вопрос, сомневаясь в полезности своей работы для практиков.— Конечно, я попотел над ней,— сказал он и уж совсем стал похож на аспиранта,— но не зря, кое в чем я ошибся и понял, почему ошибся.

— Вот вы и сейчас, когда говорили о программе, ошибались,— сказал без всякой шутовщины генерал, совершенно желтыми глазами глядя на уральского инженера.— Но я уж не знаю, в какую академию вам полететь, чтобы осознать свою ошибку.

И все занявшиеся было разговором с вновь пришедшим забыли о Штруме, словно он и не входил в комнату.

Говорили инженеры о металле, часто вставляя технические заводские слова, непонятные Штруму.

Инженер в очках увлекся и с такими подробностями стал рассказывать о результатах своих исследований, что Андрей Трофимович молящим голосом сказал ему:

— Побойтесь бога, вы нам тут целый годовой курс прочтете, а у нас на всю повестку сорок минут осталось.

Вскоре спор о технических вопросах закончился, и разговор перешел на практические дела — о программе, рабочей силе, об отношениях заводов с объединением и народным комиссариатом. И этот разговор показался Штруму особенно интересным.

Андрей Трофимович спорил очень резко, и Штрум заметил, что он часто произносил:

— Без объективности... вы все получили... тебе лично все дали... тебе ГОКО {148} все дал... ты кокса получил больше всех... смотри, почет дали, почет и отнять можно...

Сперва казалось странным, что общность дела, тесно связавшая этих людей, была источником споров, резких реплик, недоброжелательности, а подчас жестоких слов и совсем не добрых насмешек.

Но в этом сердитом споре чувствовалась объединявшая людей страсть, влюбленность в дело, которое было для них всех главным в жизни.

Они были совершенно различны — одни из них жаждали новшеств, другие чуждались их; генерал гордился тем, что перевыполнил задание Государственного Комитета Оборона, работая на старинных дедовских печах, построенных мастерами-самоучками; Сверчков прочел телеграмму, полученную им месяц назад: Москва одобряла смелые новшества — ему удалось на новых агрегатах, построенных с парадоксальной смелостью, добиться выдающегося успеха.

Генерал ссылался на мнение старых мастеров, а Чепченко — на свой личный опыт, «смежник» — на решение директивных органов. Одни были осторожны, другие дерзки, смелы и говорили:

— Мне безразлично, что принято за границей, мое конструкторское бюро своим путем пошло и выше забралось по всем показателям.

Третьи казались основательными до медлительности, четвертые резки и быстры. Уралец все задирает Андрея Трофимовича и, видимо, не искал его одобрения. «Смежник» после каждого слова оглядывался и говорил:

— Как полагает Андрей Трофимович?

Когда он сказал, что добился успеха и перевыполнил программу, тонкогубый Сверчков проговорил:

— У меня был твой парторг, рассказывал, я знаю, рабочие у тебя зимой мерзли в шалашах да в бараках. [У тебя опухшие были, и был случай — нацмен помер цинготный в цеху.] Ты не перегибай, ты-то, я вижу, ты-то румяный,— и Сверчков ткнул своим длинным костлявым пальцем в сторону «смежника».

Но «смежник» сказал ему:

— Я знаю, ты у себя построил молочную детскую кухню, с белыми кафельными стенами и с мраморными столами, а в феврале чуть тебе голову не оторвали — не дал фронту металла.

— Неверно, врешь,— крикнул Сверчков,— в феврале мне голову отрывали, я еще только стены клал в кухне, а в июне я получил благодарность ГОКО. Тогда кухня действовала. [Ты что, считаешь, сто восемнадцать процентов можно дать, только когда у рабочих дети рахитом больны?]

Но больше всего занимал Штрума Андрей Трофимович.

— Пожалуйста, рискуй, вместе будем отвечать! — несколько раз повторил он.— А ты попробуй, не бойся, чего бояться,— сказал он одному директору,— ты с директивой считайся, но жизнь ведь тоже директива, директива сегодня одна, а завтра она устареет, вот от тебя и ждут сигнала, ты ведь сталь варишь — вот тебе главная директива! — Он вдруг оглянулся на Штрума и, усмехнувшись, спросил: — Как, товарищ Штрум, по-вашему, верно я говорю?

— Верно говорите,— сказал Штрум.

Андрей Трофимович посмотрел на часы, сокрушенно покачал головой и обратился к Постоеву:

— Леонид Сергеевич, сформулируйте техническую сторону.

Послушав Постоева, Штрум с восхищением подумал: «Ах, какой молодец, какой молодец», и ему показался законным и понятным уверенный, хозяйский жизненный стиль Постоева.

Он говорил легко, просто и в то же время обдуманно; видно было, что ему не стоило труда несколькими словами выразить сложную идею, резко и ясно подчеркнуть пользу богатой технической перспективы и бесплодность меры, приносящей шумный, но пустой, однодневный эффект.

Потом заговорил Андрей Трофимович.

— Чего же тут сомневаться в реальности квартального плана,— сказал он,— помните, в ноябре прошлого года, в самые, можно сказать, тяжелые дни, когда немец подошел к Москве, когда вся промышленность западных районов перестала давать продукцию, находилась на колесах либо, сгруженная, лежала под снегом, многим из нас казалось, что все силы и средства можно вкладывать лишь в то, что завтра, через неделю может дать качественный прокат. А ГОКО предложил именно в эту пору строить новые мощности черной металлургии. А вот сегодня, когда введены в строй на Урале, в Сибири, в Казахстане десятки тысяч новых станков, когда производство качественного проката поднялось втрое, чем бы мы загрузили все эти блюминги, станки, прокатные станы, молоты, не будь у нас новых домен и новых мартенов? Вот как надо руководить! Сегодня думать о завтрашнем дне своего завода — это недостаточно. Надо думать о том, что будет через год.— И видимо, нарочно, чтобы собравшиеся здесь могли поверх забот сегодняшнего дня увидеть всю огромность сделанного ими, Андрей Трофимович сказал: — Да вы вспомните, вспомните октябрь,

ноябрь, декабрь прошлого года! Ведь был период — выпускали меньше трех процентов довоенного цветного проката, около пяти процентов шарикоподшипников. А сегодня?

Он встал, поднял руку. Лицо его потемнело от прилившей крови, и весь он стал вдруг похож на оратора-массовика, выступающего на большом рабочем митинге, а не на председателя технического совещания.

— Вы только подумайте, что мы подняли из-под сибирских, уральских, поволжских снегов. Да ведь это дивизии станков, прессов, молотов, печей! Ведь это армии поднялись! Армии металлорежущих станков, мартены, электропечи, прокат на блюминге броневых листов, новые домны встали — это же линкоры нашей металлургии! Один Урал пустил четыреста новых заводов! Знаете, как говорят: из-под снега цветы вышли, ожили, пробились. Понимаете, какое дело?

Штрум напряженно слушал Андрея Трофимовича.

Все прочитанное им в журналах, книгах, стихах, все кадры хроникальных фильмов о строительстве соединялись в живом воспоминании, словно виденное и пережитое лично им.

Он рисовал себе картину — задымленные цехи, белые от жара, похожие на пламя вольтовой дуги, разверстые печи, серый, застывший броневой металл и рабочие в облаках дыма, среди бьющих молотов, среди треска и свиста длинных электрических искр. Ему казалось, в эти минуты он ощущал огромность металлической мощи, слившейся с огромностью советского пространства. Эта металлическая мощь осязалась в словах людей, говоривших о миллионах тонн стали и чугуна, о тысячах и десятках тысяч тонн качественного проката, о миллиардах киловатт-часов.

Но, видимо, Андрей Трофимович, хотя и говорил так поэтически о выбившихся из-под снега цветах, не был легким, склонным к мечтаниям человеком. Когда один из главных инженеров попросил его обосновать директиву, полученную заводом, он властно оборвал его и угрюмым голосом сказал:

— Обоснования уже были даны, теперь я приказываю! — И при этом приложил ладонь к столу, словно поставил большую государственную печать.

Когда заседание окончилось и все стали прощаться с Постоевым, худой инженер в очках подошел к Штруму и спросил:

— Вы ничего не слышали о Николае Григорьевиче Крымове?

— О Крымове? — удивленно спросил Штрум и, сразу поняв, почему длинное, худое лицо инженера показалось ему знакомым, быстро спросил: — Вы родственник?

— Я Семён, младший брат его.

Они пожали друг другу руки.

— Я часто вспоминаю Николая Григорьевича, я его люблю,— сказал Штрум и с горячностью добавил: — Ох уж эта Женя самая, я на нее очень зол.

— А она здорова?

— Здорова, конечно, здорова,— сердито ответил Штрум, точно это было неприятно ему.

Они вместе вышли в коридор и некоторое время прохаживались, вспоминая Крымова и довоенную жизнь.

— А ведь мне о вас Женя говорила,— сказал Штрум,— вы на Урале быстро выдвинулись, стали заместителем главного инженера.

Семён Крымов ответил:

— Теперь я главный инженер.

Штрум стал расспрашивать его, возможно ли на уральском заводе наладить опытную плавку и выпустить некоторое количество стали, нужной ему для специальной аппаратуры.

Крымов задумался и ответил:

— Сложно, очень сложно, но надо поразмыслить,— и, лукаво улыбнувшись, добавил: — Ведь не только наука помогает производству, бывает наоборот, производство помогает науке.

Штрум пригласил Крымова к себе, но тот замотал головой:

— Что вы, где там, жена просила заехать к родным в Фили, у них телефона нет, и то, видно, не успею. Через час в наркомат, в половине двенадцатого назначен прием в ГОКО, а на рассвете снова вылетаю в Свердловск. Но телефон ваш на всякий случай запишу.

Они простились.

— Приезжайте на Урал, обязательно приезжайте,— сказал Крымов.

Он во многом походил на старшего брата — длинные руки, шаркающая походка, сутулость, только ростом был меньше.

Штрум снова зашел к Постоеву. Постоева очень утомило заседание, но он был доволен.

— Интересный народ,— сказал он.— Вам повезло всех вместе увидеть, главные тузы, их вызвали в ГОКО.

Он сидел за столом, с салфеткой на коленях; официант убрал окурки и, раскрыв окна, накрывал на стол.

— Обедать будете? — спросил Постоев.— Не отощали на домашних харчах?

— Спасибо, я обедал,— сказал Штрум.

— Упрашивать не стану, не такое нынче время,— сказал Постоев.

Официант усмехнулся и вышел из комнаты. Постоев стал рассказывать:

— По всему судя, многие москвичи как будто не отдают себе отчета в серьезности положения. В Казани, хотя она и на тысячу километров восточнее, настроение более нервное. Но там, где я вчера был,— он показал рукой в сторону потолка,— наверху, там охватывают всю ситуацию, общий взгляд на карту главных событий. И должен вам сказать, чувствуется по всему большое напряжение. Я прямо спросил: «Как положение на Дону, тяжелое?», а мне ответили: «Что Дон, возможен прорыв к Волге». — Он посмотрел на Штрума и отдельно произнес: — Вы понимаете, Виктор Павлович, это уж не обывательские разговоры... — Потом он вдруг сказал: — Хороший народ наши инженеры, а? Замечательный народ!

— Да,— сказал Штрум.— У меня вчера спрашивали: какой способ реэвакуации я считаю более целесообразным — постепенное перетаскивание или единовременный переезд? Без точных сроков, но вот вопрос этот задавался, как вы это свяжете с тем, что сейчас говорили?

Они помолчали.

— По-видимому, разгадка в том,— проговорил Постоев,— что вы сегодня от инженеров моих слышали. Помните: современная война есть война моторов. Вот наверху и подсчитали, кто их больше сегодня производит — мы или немцы. Знаете, на одного токаря в дореволюционной промышленности — наших целых шесть, на одного инструментальщика — у нас теперь двенадцать, у царя — один механик, а у нас — в девять раз больше. И так всюду.

— Леонид Сергеевич,— сказал Штрум,— я никогда никому не завидовал. Никогда! А вот сегодня, слушая вас всех, я, кажется, все бы отдал, чтобы работать там, где рабочие делают танковую сталь, где строят моторы.

Постоев полушутя ответил ему:

— Но-но-но, я вас знаю, вы одержимый, вас оторвешь на месяц от электронной и квантовой премудрости, вы и захиреете, как дерево без солнца.

[Он задумался, потом вдруг улыбнулся:

— Как же вы решили проблему питания, великий семьянин и домосед?]

59

Штрум жил в Москве в хлопотах и напряженных делах.

Но, несмотря на занятость, он почти каждый вечер встречался с Ниной. Они гуляли по Калужской улице, заходили в Нескучный сад, однажды смотрели кинофильм «Леди Гамильтон» {149}. Во время этих прогулок большей частью говорила она, а он шел рядом и слушал, изредка задавая вопросы. Штрум уже знал множество обстоятельств и подробностей ее жизни — и о том, как она работала в швейкомбинате, и о том, как, выйдя замуж, уехала в Омск, и о старшей сестре, которая замужем за начальником цеха на одном из уральских заводов. Она рассказала ему о старшем брате, капитане, командире зенитного дивизиона, и о том, что она, Нина, и ее сестра и брат сердиты на отца за то, что он женился после смерти матери.

Все то, о чем простодушно и доверчиво рассказывала Нина, почему-то не было безразлично Штруму, он помнил имена Нининых подруг и родственников, спрашивал:

— Простите, я забыл, как зовут мужа Клавы?

Но особенно волновали его рассказы о Нининой семейной жизни, муж ее был плохим человеком. Штрум заподозрил в нем множество пороков, считал его грубым, пьяницей, себялюбцем, невеждой и карьеристом.

Иногда Нина заходила к Штруму и помогала ему готовить ужин. Его трогало и волновало, когда она спрашивала:

— Может быть, вы любите перец, я принесу, у меня есть.

А однажды она сказала ему:

— Вы знаете, как хорошо, что мы с вами познакомились. И так жалко, что скоро уезжаю.

— Я к вам в гости непременно приеду,— сказал он.

— Ну, это только говорится так.

— Нет, нет, совершенно серьезно. Остановлюсь в гостинице.

— Куда там. Даже открытки мне не напишете.

Как-то он вернулся домой очень поздно, задержался на совещании, и, проходя мимо Нининой двери, с печалью подумал:

«Сегодня ее не увижу, а мне уж скоро уезжать».

На следующий день Штрум с утра поехал к Пименову, и тот весело сказал:

— Вот уже все формальности закончены. Вчера провели ваш план через грозную инстанцию товарища Зверева. Можете давать телеграмму домашним, предупредите о скором приезде.

В этот день Штрум условился встретиться с Постоевым, но позвонил ему по телефону и сказал, что приехать не сможет — возникло непредвиденное дело, и тотчас же поехал домой.

На лестничной площадке он увидел Нину, и сердце его забилось быстро и горячо, даже дышать стало трудно.

«Что это, почему это?» — спросил он себя, но, конечно, не было нужды отвечать на этот вопрос.

Он увидел, что и она обрадовалась ему, вскрикнула:

— Боже, как хорошо, что вы пришли сегодня раньше обычного, а я уж вам записку написала,— и она протянула ему сложенную треугольником записку.

Он развернул записку, прочел ее и спрятал в карман.

— Неужели вы сейчас в Калинин уезжаете? — спросил Штрум.— А я думал, мы пойдем гулять.

Нина сказала:

— Мне самой в Калинин не хочется, но надо.— Она посмотрела на огорченное лицо Штрума и добавила: — Я во вторник утром непременно вернусь и до конца недели пробуду в Москве.

— Я поеду провожать вас на вокзал,— сказал он.

— Ой, нет, это неудобно. Ведь со мной поедет одна наша омская сотрудница.

— Тогда зайдемте ко мне на минутку, выпьем вина за ваше скорое возвращение.

Войдя в коридор, она сказала:

— Да, совершенно забыла! Вчера приходил какой-то военный и спрашивал вас, обещал сегодня зайти.

Они выпили вина.

— У вас не кружится голова? — спросила Нина.

— Кружится, не от вина,— ответил он и [стал целовать ей руки] {150}.

В это время позвонили.

— Это, верно, тот военный,— сказала Нина.

— Я с ним поговорю в передней,— решительно объявил Штрум.

Через несколько минут он ввел в столовую высокого военного.

— Прошу вас, знакомьтесь,— проговорил Штрум и, как бы извиняясь перед Ниной, объяснил:
— Это полковник Новиков, он на днях прилетел из Сталинграда, привез привет от родных.

Новиков поклонился с той незрячей, безразличной вежливостью, которую выработала война у человека, в любое время — ночью и на рассвете — в силу обстоятельств вынужденного врывать в частную жизнь других людей. Его равнодушные глаза говорили, что ему нет дела до частной жизни Штрума, что его не интересует, кем профессору приходится эта красивая молодая женщина...

Но под незрячим и равнодушным выражением он скрывал лукавую мысль:

«Э, вот вы какие, мужи науки! Оказывается, и здесь водятся походные полевые жены».

— Я привез вам сверточек,— сказал он, раскрывая сумку,— письма не дали, просили на словах передать сердечные приветы: Александра Владимировна, Мария Николаевна, Степан Фёдорович, Вера Степановна.

Он не назвал почему-то Евгении Николаевны.

Новиков, перечисляя имена, стал похож не на полковника, а на солдата, передававшего из землянки поклонны родным.

Виктор Павлович рассеянно положил пакет в раскрытый портфель, лежавший на столе.

— Спасибо, спасибо, как они все там поживают? — И, испугавшись, что Новиков станет пространно и долго рассказывать, продолжал задавать вопросы: — Вы надолго сюда? Совсем в Москву или в командировку?

В этот момент Нина сказала:

— Ах, боже мой, я забыла, ко мне попутчица должна прийти, ведь мне к поезду пора.

Штрум пошел проводить Нину, и Новиков слышал, что профессор следом за ней вышел на площадку.

Штрум вернулся и, не зная, с чего начать разговор, спросил:

— Вы не упомянули о Жене, разве Евгения Николаевна не в Сталинграде?

Полковник явно смутился и ответил с внезапным «командирским» раскатом:

— Евгения Николаевна просила вам кланяться, я запомнил, не передал.

Именно в этот миг произошло между ними то, что происходит между двумя концами электрического провода, когда колючие, ершистые сердитые проволоки, наконец соединившись, пропускают через себя ток,— зажигается лампочка, и все, что в сумраке казалось угрюмым, чужим и враждебным, вдруг становится приветливым и милым.

Они быстро переглянулись и улыбнулись друг другу.

— Вы оставайтесь, переночуйте,— сказал Штрум.

Новиков поблагодарил: он уже оставил в НКО другой адрес на тот случай, если его вызовут, поэтому ночевать у Штрума он не сможет.

— Каково положение под Сталинградом? — спросил Штрум.

Новиков ответил не сразу.

— Плохо,— негромко сказал он.

— Вы полагаете, остановим?

— Должны остановить! Значит, остановим.

— Почему должны?

— Если не остановим — погибнем.

— Это увесистый довод. А в Москве, должен вам сказать, спокойно и уверенно настроены, даже говорят о эвакуации. Некоторые считают, что положение выправляется.

— Нет, это неверно.

— Что неверно?

— Положение не выправилось: немцы идут вперед.

— А наши резервы, велики они, где они?

Новиков ответил:

— Об этом не положено знать не только вам, но и мне, об этом знает Ставка.

— Да-а,— протяжно сказал Штрум и стал закуривать. Потом он спросил, застал ли Новиков Толу во время Толиного двухдневного пребывания у родных, спросил о Софье Осиповне, осведомился, как настроена Александра Владимировна.

И в этом разговоре — не столько в коротких ответах, сколько в улыбке или в серьезном выражении глаз Новикова — Штрум почувствовал, что Новиков понимает людей, которых Виктор Павлович знал долгие годы и отношения которых изучил во многих подробностях.

Новиков, посмеиваясь, рассказывал, что Мария Николаевна воспитывает всех детей области, и Веру и Степана Фёдоровича заодно, что Александра Владимировна за всех волнуется, но больше всего, видимо, за Серёжу и работает за двух молодых... А о Софье Осиповне он сказал:

— Она стихи читала мне, но характер, по правде говоря, такой, что и с нашим комендантом штаба справится.

Он не сказал ничего о Жене, и Штрум не стал о ней спрашивать — и в этом их молчании словно установился неписанный договор.

Постепенно беседа снова пошла о войне, в ту пору война была морем, в которое вливались все реки и из которого рождались все реки.

Новиков заговорил об инициативных фронтовых и штабных командирах и внезапно стал ругать какого-то перестраховщика и бюрократа. По тому, как он менял интонацию голоса, передавая чьи-то слова об «оси движения» и «темпе движения», и по его жестам Штруму показалось, что Новиков имеет в виду Ивана Дмитриевича Сухова.

Чувство доброжелательства к Новикову, приход которого полчаса назад вызывал в нем неприязнь, растрогало Штрума.

Его по-новому заняла не новая для него мысль, что внешне резкие различия советских

людей, наружность, профессия, сфера интересов часто поверхностны и мешают определить единство. В самом деле, что, казалось бы, общего между ним, Штрумом, исследователем математических теорий физики, и фронтовым полковником, говорившим: «Мне, как кадровому военному».

А оказалось, их любовь, их боль, многие их мысли — все было общим, братским.

— Все необычайно просто,— сказал он, охваченный тем стремительным и кажущимся счастливым озарением, которое обычно содержит в себе больше заблуждения, чем истины. И он стал рассказывать Новикову о совещании у Постоева, излагать свой взгляд на дальнейший ход военных событий.

Когда Новиков собрался уходить, Штрум сказал ему:

— Я провожу вас, мне нужно отправить телеграмму.

Они простились на Калужской площади. Штрум зашел на почту и послал телеграмму в Казань — в телеграмме он сообщал, что здоров, что дела его успешно завершаются и он, вероятно, сумеет выехать в конце будущей недели.

60

В субботний вечер Штрум собрался на дачу. Сидя в вагоне дачного поезда, Виктор Павлович думал о событиях прошедших дней. Как жалко, что уехал Чепыжин.

Этот приходивший вчера полковник Новиков очень милый человек. Виктор Павлович был доволен, что познакомился с ним. Но лучше, если б это знакомство состоялось на полчаса позже и не помешало бы проститься с Ниной... Но ничего. Вот она вернется во вторник. И он вновь увидит это милое, молодое и красивое существо.

И так же много и упорно, как о Нине, он думал о жене. Он представил себе ее одиночество, тревогу о сыне, вспоминал долгие годы, прожитые с ней.

Людмила расчесывала утром волосы и говорила:

— Вот мы и стареем, Витя.

Сколько живых связей, сколько разделенного с ней успеха, тревог, огорчений, разочарований, труда.

Такими простыми всегда казались ему отношения людей, такими ясными и несложными. Он так уверенно объяснял Толе и Наде законы человеческих отношений, но вот он не может разобраться в своих чувствах. Логика мышления, ей он верил! Его лабораторная работа всегда была дружна с его кабинетной, книжной теорией, лишь изредка они сталкивались, недоуменно топтались, но это обычно кончалось примирением; они дружно двигались дальше, порознь бессильные: неутомимый ходок, практика, несущая на плечах крылатую теорию с острыми глазами.

Но в личной жизни Штрума ныне все смешалось...

Он вышел на дачную платформу и прошел знакомой, сейчас пустынной дорогой.

Открыв калитку, Штрум вошел в сад. Заходящее солнце отражалось в окнах застекленной террасы.

Сад был полон колокольцев и флоксов — они пестрели среди высокой сорной травы, густо и жадно разросшейся там, где обычно не разрешала ей расти Людмила Николаевна,— на

клубничных грядках, на клумбах, под окнами дома. Трава пятнала дорожки, пробивалась сквозь песок и утрамбованную землю, выглядывала из-под первой и второй ступенек крыльца.

Забор покосился, доски во многих местах были сорваны, и малина с соседнего участка заглядывала через проломы. На полу террасы были видны следы костра, который разводили на листе кровельного железа. В комнатах первого этажа тоже, видимо, в зимнюю пору жили — на полу лежала солома, истерзанный ватник, старые изодранные портянки, смятая сумка от противогаза, желтые обрывки газет, несколько сморщенных картофелин. Дверцы шкафов были открыты.

Виктор Павлович поднялся на второй этаж: и там побывали посетители, двери комнат оказались распахнутыми.

Лишь его комната была заперта; уезжая, Людмила Николаевна завалила узенький коридор поломанными стульями, старыми ведрами, а дверь замаскировала листами фанеры.

Он долго разбирал баррикаду, чтобы расчистить вход, шумел, грохотал и, наконец, открыл дверь ключом: вид нетронутой комнаты удивил его больше, чем разор, царивший вокруг; показалось, прошла всего неделя с того последнего предвоенного воскресенья.

На столе лежали рассыпанные шахматы. Высохшие цветы лежали вокруг вазы ровным кругом голубовато-серого праха, а шершавые стебли торчали пыльным веником из сухого синего стекла...

Сидя у стола в то далекое, последнее предвоенное воскресенье, Штрум обдумывал перед сном тревожившую его тогда проблему. Проблема была решена и не волновала его, эту работу он написал и напечатал в Казани, и авторские экземпляры были подарены коллегам... А воспоминание об этом ушедшем мирном воскресенье стало тревожно, невыносимо печально...

Он снял пиджак, положил портфель на стол и спустился вниз. Деревянная лестница скрипела под ногами, обычно Людмила слышала этот скрип и спрашивала из своей комнаты:

— Ты куда, Витя?

Но теперь никто не слышал его шагов — дом был пуст.

Вдруг зашумел дождь, в безветренном воздухе щедро и густо падали крупные капли воды, а заходившее солнце продолжало светить, и, проносясь сквозь полосу косых лучей, капли вспыхивали и вновь гасли. Туча была невелика, она шла над домом, и виден был дымный край дождя, плавно уходивший в сторону леса. Звук падающих капель еще не успел утомить ухо и потому не сливался в монотонный шум, а гремел многоголосо, словно каждая капля была старательным, страстным музыкантом, которому суждено сыграть в жизни одну-единственную ноту. И капли шуршали, падали на землю, дробясь меж шелковистых еловых игл, звонко ударяли по тугим листьям лопуха, глухо стучали о деревянные ступени крыльца, били в тысячи барабанов по березовым и липовым листьям, гремели железным бубном крыши...

Дождь прошел, и чудная тишина встала над землей. Штрум вышел в сад — влажный воздух был тепел и чист, и каждый лист дерева, каждый лист клубники украсился водяной каплей, и каждая водяная капля, словно икринка, готовая выпустить малька, таила свет солнца, и ему казалось, что где-то в самой глубине его груди вызрела и заблестела такая же полновесная дождевая капля, живой, блестящий малек, и он стал ходить по саду, поражаясь и радуясь великому благу, которое выпало ему, — жить на земле человеком.

Солнце уже садилось, сумрак лег на деревья, а сверкающая капля в груди не хотела гаснуть вместе с дневным светом, все разгоралась...

Он поднялся наверх, раскрыл портфель, стал искать в нем свечу, нащупал бумажный пакет и вспомнил, что этот пакет передал ему вчера Новиков. Штрум забыл о нем, так пакет и пролежал нераскрытым в портфеле.

Штрум нашел свечу, завесил окно одеялом. При свете свечи в комнате стало особенно спокойно.

Он разделся и лег в постель, раскрыл пакет, присланный из Сталинграда. На запачканном листе было написано твердым, четким почерком: «Виктору Павловичу Штруму» и адрес.

Он узнал почерк матери, отбросил одеяло и начал одеваться, точно его из темноты позвал спокойный, внятный голос.

Штрум сел за стол и перелистал письмо — это были записи, которые вела Анна Семёновна с первых дней войны до дня нависшей над ней неминуемой гибели за проволокой еврейского гетто, устроенного гитлеровцами. Это было ее прощание с сыном...

Исчезло ощущение времени. Он даже не спросил себя, как эта тетрадь попала в Сталинград, через линию фронта... * * *

Он встал из-за стола, сбросил маскировку и раскрыл окно. Белое утреннее солнце стояло над елкой у забора, весь сад был в росе, казалось, что листья, цветы, трава густо осыпаны колючим толченым стеклом. Деревья в саду то поочередно, то все залпом взрывались от птичьего крика.

Виктор Павлович подошел к зеркалу, висевшему на стене,— он думал, что увидит осунувшееся лицо с трясущимися губами, но лицо его было совершенно таким же, каким оно было вчера.

Он вслух сказал:

— Вот и все.

Ему захотелось есть, и он отломил кусок хлеба, медленно, тяжело стал его жевать, сосредоточенно глядя на крученую розовую нитку, дрожавшую над краем одеяла.

«Ее точно раскачивает солнечный свет»,— подумал он.

61

В понедельник ночью Штрум сидел в темноте на диване в своей московской квартире и смотрел в открытое, незатемненное окно. Внезапно завывали сирены, и небо осветилось светом прожекторов.

Вскоре сирены затихли, и стало слышно, как немногочисленные жильцы дома, неторопливо шаркая в темноте ногами, спускались по лестнице. С улицы доносился сердитый голос:

— Зачем стоять во дворе, гражданки, в бомбоубежище культурно, все приготовлено: и вода кипяченая, и койки, и скамьи.

Но, видимо, опытные жильцы не хотели душной ночью уходить в подвал, не убедившись, что действительно начался налет.

Перекликались дети, чей-то недовольный голос проговорил:

— Опять ложная тревога, спать людям не дают!

Издали послышался грохот орудий зенитной обороны.

И вдруг явственно стал слышен негромкий, нудный звук авиационного мотора. Пронзительно загудели в небе ночные советские истребители. Во дворе зашумели сразу, где-то гулко ударило, снова началась зенитная стрельба. Но в промежутках между выстрелами уже не слышались голоса людей.

Жизнь втекла в бомбоубежище; в домах, во дворах не осталось людей, а наверху голубые метлы — прожектора усердно и бесшумно мели ночное облачное небо.

«Вот и хорошо, я совсем один», — подумал Штрум.

Прошел час, и Штрум все сидел и глядел в окно, напряженно наморщив брови, не меняя позы, как во сне, слушал грохот орудий, гул бомбежки.

Наступила тишина, видимо налет кончился, опять зашумели люди, выходявшие из бомбоубежища, стало темно, погасли прожектора.

Вдруг послышался продолжительный и резкий телефонный звонок. Не зажигая света, Штрум подошел к телефону — телефонистка предупредила, что будет говорить Челябинск. Он сперва подумал, что произошло недоразумение, и хотел повесить трубку. Но оказалось не так, говорил инженер Крымов, с которым он виделся у Постоева. Слышимость была отличная. Крымов сперва извинился, что потревожил Штрума ночью.

— Я не сплю, — сказал Штрум.

Дело было в том, что на заводе устанавливается совершенно новая контрольная электронная аппаратура, — возникли большие трудности с введением ее в действие, это замедляет производственный процесс. Крымов просил Штрума прислать одного из своих научных сотрудников — ведь лаборатория Штрума разрабатывала принципы, определяющие работу этой аппаратуры. На рассвете товарищ может вылететь заводским самолетом — правда, полет предстоит тяжелый, машина не пассажирская, будет завалена грузами. Уполномоченный завода предупрежден. Если Штрум согласится, то за товарищем, который полетит, заедут на автомобиле, нужно только предупредить представителя завода по телефону.

Штрум ответил, что все научные сотрудники его находятся в Казани, в Москве никого нет. Крымов стал просить Штрума послать телеграмму в Казань, дело срочное, сложное; проконсультировать его может лишь человек, хорошо знакомый с теорией вопроса.

Штрум на мгновение задумался.

— Алло, Виктор Павлович, вы слышите меня? — спросил Крымов.

— Дайте мне телефон вашего представителя, — сказал Штрум, — я сам полечу, вечером увидимся с вами.

Он позвонил представителю завода, сказал ему свой адрес, предупредил, что возьмет с собой в самолет два чемодана, так как из Челябинска будет возвращаться не в Москву, а в Казань.

Они условились о встрече, машина заедет за Штрумом в пять часов утра.

Штрум подошел к окну, посмотрел на часы — было без четверти четыре.

Во тьме мелькнул луч прожектора, и Штрум следил за ним — исчезнет ли он так же внезапно, как появился среди черного мрака. Луч задрожал, метнулся вправо, влево и замер вертикальным голубым столбом между тьмой земли и тьмой неба.

62

Около трех недель длилось сражение на западном берегу Дона. На первом этапе этих боев немцы пытались вырваться к Дону и окружить дивизии, оборонявшиеся на фронте Клетская, Суровикино, Суворовская.

В случае успеха немецкое наступление должно было развиваться на восток от Дона, непосредственно на Сталинград. Несмотря на превосходство сил, несмотря на отдельные вклинения в нашу оборону, противнику операция не удалась. Бои, завязавшиеся 23 июля, приняли затяжной характер, в них втянулись большие силы немцев. Советские атаки парализовали продвижение немецких танков и мотопехоты.

Тогда немцы нанесли удар с юго-запада. Но и это наступление не имело успеха. <...> {151}

Тогда немецкое командование решило нанести одновременные концентрические удары с севера и с юга.

В новом наступлении немцы создали двойное численное превосходство в живой силе и несколько большее в танках, артиллерии и минометах. Это помогло им достичь успеха.

Начав наступать 7 августа, войска Паулюса 9 августа широким фронтом вышли на правый берег Дона, окружая советские части. На западном Донском плацдарме создавалась чрезвычайно напряженная обстановка.

Войска Красной Армии начали отход на восточный берег Дона.

В начале августа 1942 года противотанковая бригада, где служил Крымов, понесла в боях большие потери, была по приказу высшего командования снята с фронта и отправлена в Сталинград на переформирование.

Пятого августа штаб и основные подразделения бригады переправились через Дон в район станицы Качалинской и двинулись к указанному командованием месту сосредоточения — на северной окраине Тракторного завода.

Крымов, проводив бригаду до переправы и простившись с комбригом, поехал в штаб правого фланга армии — он должен был встретиться там с командиром минометного дивизиона Саркисяном и сопровождать дивизион на марше.

Тяжелый минометный дивизион задержался из-за того, что ночью немецкая бомба разбила бензоцистерну и машины, готовые к отправке, остались без горючего. Саркисян должен был заехать в штаб за нарядом на бензин.

Желая сократить путь, Крымов поехал проселком, но, зная по опыту, как трудно ориентироваться в степи, он то и дело останавливал машину и зорко всматривался, чтобы не запутаться в паутине степных дорог и дорожек. Немцы могли быть близко!

Это происходило именно в те дни, когда войска Сталинградского фронта по приказу командования отходили на восточный берег Дона: прорывавшиеся на флангах немецкие танки вышли в двух местах к переправам и пытались отрезать оставшиеся на западном Донском плацдарме дивизии.

По некоторым признакам Крымов понял, что штаб недалеко — вдоль дороги тянулась шестовка, проехал связной броневик, обгоняя его, промчался «ЗИС-101» в желтых яблоках и

запятых на мятых боках, а следом за ним зеленая «эмка» с простреленным боковым стеклом.

Крымов велел Семёнову ехать следом, и тот то въезжал в пыльное облако, поднятое передними машинами, то отставал немного. Они видели, как поднялся шлагбаум, пропуская машины. Крымов предъявил часовому удостоверение и, пока тот медленно переворачивал странички, спросил:

— Не здесь ли штаб армии?

— Точно, штаб армии,— ответил часовой, возвращая удостоверение, и улыбнулся Крымову, зная, какое удовольствие испытывают люди, находя в суматохе войны то, что ищут.

Крымов оставил машину у шлагбаума, сделанного из осинового жерди, и, ступая по глубокому, греющему через сапог горячему песку, пошел в деревню.

Он направился к столовой, зная, что в обеденный час здесь легче всего встретить нужных людей. Он уже давно заметил, что за год на войне четко сложился штабной быт, схожий во многих армиях, в которых пришлось ему побывать.

Он шутя говорил, что штаб фронта живет как столица союзной республики, штаб армии имеет свой сложившийся областной уклад, штаб дивизии — районный, полка — сельский, а батальоны и роты живут по закону полевых станов, в бессонной лихорадке рабочей страды.

В столовой шли сборы в дорогу. Официантки укладывали в соломку тарелки и чашки, а писарь АХО сложил в железный ящик талоны обеденных карточек и корешки продовольственных аттестатов.

В дверях столовой, помещавшейся в школе, стояли несколько штабных командиров и политработников, ожидавших сухого пайка, Парты, вынесенные из классов, занимали почти половину двора, за одной партией сидел рябой капитан и сворачивал папиросу. Напротив него стояла классная доска, и так как в Донской степи уже долго не было дождя, арифметические вычисления школьников были довольно ясно видны на доске. Собравшиеся у столовой командиры, не обращая внимания на вновь подошедшего, [продолжали свой разговор. И по походке Крымова, и по тому, что он направился к столовой, и по пыли, покрывавшей одежду его и лицо, видно было, что это свой брат армеец.

— Так тебе и не пошили гимнастерку, Степченко? — спросил один.

— Ты на чьей машине — с разведчиками или с оперативным?

— А завстоловой опять заменил колбасу концентратом,— сказал третий.

— Зиночка идет, погляди только, не посмотрит даже, и сапожки новые, по мерке сшиты.

— А зачем ты ей? Теперь она на легковой передислоцируется, а ты вот, капитан, мотаешь на полуторке, как простой смертный.

— Давай на новом месте у меня остановись, мне комендант обещал квартирку поближе к столовой.

— Я, дорогой, предпочитаю на окраине, а то как даст фриц по столовой, где скопление народа. Помнишь, как нас на Донце пробомбил, эта деревня, забыл как...

— Что на Донце, ты вспомни, как нам дали в Чернигове прошлой осенью, когда шесть человек и майора Бодридзе убило.

— Это когда у тебя шинель сгорела?

— Не говори, мне ее во Львове шили, генеральского сукна.

Несколько человек] слушали рассказ молодого черноволосого политрука. Он, судя по всему, только что вернулся из поездки на передовую, ибо все существо его, как всегда это бывает с людьми, вышедшими в безопасное место из-под огня, выражало сдержанное счастье. Он говорил возбужденным, радостным голосом, противоречащим своим выражением печальным вещам, о которых шел разговор:

— Над боевыми порядками «мессера» на бреющем ходят, колесами цепляют по голове. Есть подразделения — дерутся замечательно, например, в одной противотанковой батарее все расчеты погибли до последнего человека, и никто не ушел, да что, когда [кругом] прорыв...

— Факты героизма привезли? — строго спросил батальонный комиссар, видимо заведовавший отделом информации.

— Конечно,— ответил политрук и похлопал рукой по полевой сумке.— Самого чуть не убило, когда лазил к командиру батареи. Хорошо, что застал вас. А мешок мой в машину никто не положил, забыли, конечно. И сухой паек на меня не выписали. Товарищи, эх!

— Ну а вообще? — спросил небритый в интендантской зеленой фуражке.

— Вообще? — политрук махнул рукой.

Крымов облизнул губы и, зевнув от злого волнения, сказал:

— Вы, старший политрук, так рассказываете о гибели артиллерийских расчетов и об отступлении, словно вы турист с Марса, прилетели посмотреть и обратно на Марс улетите.

Политрук не вспылал, как ожидал Крымов, а заморгал глазами и пробормотал:

— Да, собственно, я понимаю, я просто радовался, что наших политотдельцев застал, а не на попутных добираться... А мне, какое же мне веселье?

Крымов, ожидавший грубости и готовый произнести безжалостное, резкое слово, смутился и миролюбиво сказал:

— Я понимаю, что значит на попутных добираться...

Он знал законы армейской жизни, знал, что мелкие интересы военного быта часто искупаются жертвой жизни, жертвой, совершаемой людьми со спокойной простотой, теми людьми, которые, покидая пылающий город, волнуясь, вспоминают о брошенной пачке табаку либо о мыльнице, оставшейся на кухонном окне.

И все же Крымову казалось, что естественное, привычное теперь стало невыносимо. Наступали решающие, роковые недели, быть может, дни.

Он видел — отступление для многих стало привычкой. У отступления появился свой быт, к отступлению приспособились армейские пошивочные мастерские, хлебопекарни, военторги, столовые.

Воздух вдруг заполнился гудением. Несколько голосов одновременно произнесли:

— Наши, наши «ИЛы» на штурмовку идут!

К Крымову бежал, размахивая руками, командир дивизиона тяжелых минометов, малорослый, с массивными плечами старший лейтенант Саркисьян.

— Товарищ комиссар, товарищ комиссар! — кричал он, хотя уж находился рядом с Крымовым.

На лице Саркисяна было выражение радости, которую испытывают дети, потерявшиеся в толпе и вдруг увидевшие обрадованное и рассерженное лицо матери.

— Сердце мне предсказывало,— говорил он, улыбаясь всем своим темным широким лицом с толстыми черными бровями,— крутился все время возле столовой!

Саркисян с утра приехал в штаб армии к начальнику отдела снабжения горючим, но тот неожиданно отказал ему в горючем.

— Часть выведена во фронтовой резерв,— сказал он,— вы от нас получили заправку и в армейских списках больше не числитесь, обращайтесь в ОСГ [19] фронта.

Саркисян воспроизводил свой разговор с майором, начальником ОСГ,— округлял глаза, выражал на лице ужас, просьбу, гнев.

Но майор не внял просьбе...

— Тогда я посмотрел на него вот так,— сказал Саркисян и показал, как он смотрел на начальника.

В этом страстном, долгим, молчаливым взоре была вся история претензий человека переднего края к человеку армейского тыла.

Они вместе пошли к начальнику ОСГ, и по дороге Саркисян рассказал о своих злоключениях.

Когда бригада ушла, он с вечера занял оборону, хотя дивизион и находился далеко от линии фронта. И ему действительно пришлось ввязаться в бой — наша пехота оставила свой рубеж, и немецкий подвижной отряд натолкнулся на боевое охранение Саркисяна. Он легко отразил атаку, так как располагал двумя «БК» [20] мин для стопятимиллиметровых минометов.

Немцы потеряли две танкетки, бронетранспортер и отошли. Только к двум часам ночи наша стрелковая часть заняла рубеж, и, не оставаясь там Саркисян, к подходу пехоты рубеж был бы в руках противника.

Ночью немцы опять атаковали, и Саркисян помог пехоте отбить противника и попросил у командира полка сто пятьдесят литров бензина. Но командир, на го?ре, оказался прижимистым товарищем — дал Саркисяну семьдесят литров. На этом бензине Саркисян со своими восемью машинами добрался до штаба армии, остановил дивизион в степи, в пяти километрах от восточной окраины станицы, занял оборону, а сам приехал в штаб хлопотать о горючем.

— Ну вот, пришли,— сказал он, указывая на белый домик, перед которым стояла обшарпанная полуторка, и, прижав кулаки к груди, молящим голосом произнес: — Я робею, товарищ комиссар. Я его только раздражать буду. Лучше уж вы сами, я возле столовой подожду.

Он, видимо, действительно оробел, и Крымова рассмешили растерянные глаза Саркисяна, чьей специальностью была стрельба из тяжелых минометов по немецким танкам и мотопехоте.

Начальник армейского ОСГ собирался в дорогу и наблюдал, как писарь обертывал соломой керосиновую лампу, обвязывал бечевкой розовые и желтые папки, набитые документами. На

все доводы Крымова начальник отвечал вежливо, но непоколебимо твердо:

— Не могу, товарищ комиссар, я понимаю ваше положение, поймите меня, имею строгий приказ, за каждую каплю отвечаю вот этой головой.

И похлопывал себя по лбу.

Крымов, поняв, что начальника ОСГ ему не уговорить, сказал:

— Хотя бы посоветуйте!

Начальник ОСГ обрадовался, чувствуя, что настойчивый посетитель его сейчас оставит в покое.

— Обратитесь к генералу, начальнику тыла. Он тут над всем хозяин. В тридцати километрах база армейского значения — ему только сказать нужно. Вот я вам покажу, как пройти, в конце улочки домик с голубыми ставнями, автоматчик стоит, сразу увидите.

Провожая Крымова в сени, он сказал:

— Я бы с удовольствием выписал, но приказ есть приказ, даю только по квартальному лимиту, а вы у нас сняты, перешли на фронтное обеспечение, как вышедшие в резерв, а талонов у вас тоже нет.

— Резерв, резерв. Дивизион на переднем крае держал ночью бой,— сказал Крымов, которому показалось, что начальник ОСГ в последнюю минуту готов смягчиться и выпишет наряд.

Но начальник ОСГ, считая, что с посетителем покончено, сказал писарю:

— И недели не прожили в человеческих условиях, а комендант на новом месте квартиры нам не даст, в блиндаже будем сидеть. Как последние люди во всем штабе.

— В блиндаже, товарищ майор, спокойней от бомбежки,— утешая начальника, сказал писарь.

Крымов пошел к генералу. Автоматчик вызвал к дверям адъютанта, юношу в габардиновой гимнастерке. Он выслушал Крымова, тряхнул русыми кудрями и сказал, что генерал сейчас отдыхает, всю ночь работал, лучше бы Крымову прийти, когда уже разместятся на новом положении.

— Видите сами,— сказал он,— мы уже упаковываемся, остается только телефон, на случай, если командующий с ВПУ [21] позвонит.

Крымов объяснил, что дело срочное — техника осталась без горючего, и адъютант, вздохнув, повел Крымова в дом.

Глядя, как вестовой сворачивает ковер, снимает с окон занавески, а завитая девушка укладывает посуду в чемодан, Крымов снова вернулся к печальным мыслям.

Белые занавесочки, ковер, серебряный подстаканник, красная скатерть гостевали и в Тарнополе, и в Коростышеве, и в Каневе на Днестре, чтобы вновь и вновь путешествовать в ящиках и чемоданах.

— Ковер у вас хороший,— сказал Крымов и усмехнулся тому, насколько слова, сказанные им, не соответствовали его мыслям.

Адъютант показал на фанерную перегородку, за которой отдыхал начальник тыла.

Завитая девушка, единственная в комнате говорившая полным голосом, сказала красноармейцу, паковавшему вещи:

— Не кладите самовар под низ, помнется, чайник в ящик надо класть, сколько раз говорилось, генерал уже замечания делал.

Красноармеец посмотрел на нее тем особым, укоризненным и кротким взором, которым глядят пожилые крестьяне на городских красавиц, живущих нетрудной жизнью, и вздохнул.

— Коля,— сказала девушка адъютанту,— насчет парикмахера не забудь, генерал перед дорогой бриться хотел.

Крымов глядел на девушку, щеки ее были румяны, плечи развиты, как у взрослой женщины, а круглые, по-апрельски синие глаза, маленький нос, пухлые губы казались совершенно детскими. Руки у нее были большие, трудовые, с красным маникюром на ногтях. Ей не шла щеголеватая суконная пилотка и завитые волосы, куда больше красил бы ее ситцевый платочек, накинутый на светлые косы.

В комнату вошел, попыхивая трубкой, новый посетитель, капитан.

— Ну как? — участливым шепотом, точно справляясь о больном, спросил он.

— Я вам сказал, товарищ корреспондент, не раньше чем в четырнадцать ноль-ноль,— ответил адъютант.

Вновь пришедший, внимательно и пристально вглядываясь в лицо Крымова, произнес:

— Товарищ Крымов?

— Я.

— Смотрю, как будто вы,— отрывисто, скороговоркой произнес он.— Меня вы, конечно, не помните, моя фамилия Болохин, вы просто меня и не знали никогда. Помните, как на высших курсах профдвижения вы прочли две лекции «Версальский мир и рабочий класс Германии»?

— В тридцать первом году, помню, конечно.

— Потом в Институте журналистики вы делали доклад, стойте, минуточку: не то о революционных силах в Китае, не то о движении в Индии.

— Верно, было,— смеясь от удовольствия, ответил Крымов.

Болохин подмигнул и приложил палец к губам:

— И, между нами говоря, вы тогда утверждали, что в Германии не будет фашизма, доказывали, как говорится, с цифрами в руках.

Он рассмеялся и посмотрел на Крымова большими серо-голубыми глазами. Движения у него были быстрые, резкие, и голос у него был резкий.

— Товарищ, вы бы потише,— сказал адъютант.

— Выйдем во двор,— сказал Болохин,— тут скамеечка есть. Позовете нас, товарищ лейтенант, когда генерал проснется?

— Обязательно,— сказал лейтенант,— только проснется, позову. Вот скамеечка под деревом.

[Крымов сказал со вздохом:

— Удивительная вещь, приезжают люди из частей в штаб, и всем они мешают работать. А штаб ведь ради них и существует.

Болохин махнул рукой:

— Кто для чего существует! Был бы бензин.]

Болохин работал в военной печати, знал многое.

Он рассказал, что часа три назад был в штабе соседней армии.

— Ну, как шестьдесят вторая? — спросил Крымов.

— Отступает за Дон,— сказал Болохин,— дрались хорошо, держали, но фронт уж очень широк... Ну и отходит, с той только разницей, что отступить не научились, неловко, с нервами.

— Вот, вот, это хорошо, что не научились, а здесь мы уж очень хорошо научились, спокойно, без нервов,— сердито сказал Крымов.

— Да,— сказал Болохин,— а были в шестьдесят второй дни, когда стояли, а немцы, как волна о камень, разбивались.

Он некоторое время разглядывал Крымова, рассмеялся, пожал плечами, сказал:

— Странно, ей-богу, странно!

И Крымов понял, что Болохин вспомнил то время, когда совсем непохожий на сидевшего рядом с ним батальонного комиссара в запыленных сапогах и выцветшей пилотке человек приезжал делать студентам доклады о классовой борьбе в Индии, и афиша об этих докладах висела у входа в Политехнический музей.

На крыльце появился адъютант.

— Проходите, товарищ батальонный комиссар, я доложил генералу.

Начальник тыла, немолодой широколицый человек, принял Крымова, готовясь бриться; подтяжки, точно врезанные в белое полотно сорочки, лежали на его широких плечах.

— Слушаю вас, батальонный комиссар,— сказал он и стал рассматривать бумаги на столе.

Крымов начал докладывать свое дело, и, так как начальник тыла все продолжал рассматривать бумаги, Крымов не знал, услышан ли его доклад, нужно ли закругляться или, наоборот, начинать сначала... Он в нерешительности замолчал, но начальник тыла сказал ему:

— Ну, дальше что?

Так как генерал без френча казался человеком совсем домашнего вида, Крымов, глядя на его спину в подтяжках, забыл воинский порядок и сел на табурет. По-видимому, генерал, наклонившийся над столом, услышал это по скрипу табурета и, не дав досказать Крымову последних слов, перебил его вопросом:

— Давно в армии, батальонный комиссар?

Крымов, не сообразив, чем вызван вопрос генерала, подумал, что дело его идет на лад.

— Я участник гражданской войны, товарищ генерал.

В это время адъютант внес зеркало. Генерал, наклонившись, стал рассматривать свой подбородок.

— Как там парикмахер? — спросил он.— Или его тоже упаковали, паникеры?

— Мастер ждет, товарищ генерал,— ответил адъютант,— и вода горячая есть.

— Так чего ж, пусть идет.

Продолжая глядеть в зеркало, он загадочно, зло и шутливо сказал:

— Не видно, что вы в армии давно, я думал, вы из запаса: садитесь, а разрешения не просите. Невежливо!

Таким голосом произнесенные слова оставляют подчиненных в смятении — они не знают, последует ли за этим грозный окрик: «Встать, кругом марш!», либо же ничего плохого не последует.

Крымов поспешно встал и, стоя «каблуки вместе, носки врозь», ответил с тем упрямым, тяжелым спокойствием, которое он знал в себе:

— Виноват, товарищ генерал, но принимать командира, у которого седая голова, вот этак, повернувшись к нему спиной, тоже ведь невежливо.

Начальник тыла быстро поднял голову и пристально несколько мгновений смотрел на Крымова.

«Ну, пропал мой бензин»,— подумал Крымов.

Генерал ударил кулаком по столу и раскатисто крикнул:

— Сомов!

Парикмахер, входивший со своими инструментами, попятился, увидя красное от прилившей крови лицо начальника тыла...

— Явился по вашему приказанию,— звонко произнес адъютант и замер у двери — он тоже учуял бурю.

Начальник тыла, пристально глядя на Крымова, сказал тем негромким голосом, которым отдают беспощадные приказания:

— Немедленно вызови Малинина и передай ему, [сукиному сыну,] пусть зальет батальонному комиссару баки во всех машинах. Нет бензина — пусть из своих машин боевой части перельет, а сам со своим бухгалтерским талмудом пешком идет. Пока не выполнит, чтоб не смел уезжать на новое место. Живо, выполняй!

Его суженные светло-серые глаза заглянули в самую глубину глаз Крымова, и много в этом взгляде было ума, души и лукавой хитрости.

— Ладно, ладно,— усмехаясь, сказал он, протягивая на прощание руку.— Сердитый на сердитого попал...— И вдруг тихо, с тоской проговорил: — Все отходим, отходим, батальонный комиссар.

Случается, что сперва долго не везет человеку и даже самый малый пустяк не дается ему, а затем наступает перелом: раз повезет — то уж повезет, и все складывается само собой, словно судьба заранее подготавливает этому человеку удобные, быстрые и легкие решения всех его забот.

Вот и Крымов, едва выйдя от генерала, встретил бежавшего к нему навстречу посыльного от начальника ОСГ. А едва он вышел от начальника ОСГ, держа в руке подписанную и оформленную в несколько минут накладную, и задумался, где же ему искать Саркисьяна, как увидел Саркисьяна. Старший лейтенант бежал к нему навстречу и спрашивал, блестя выпуклыми карими глазами:

— Ну как, товарищ комиссар?

Крымов передал ему наряд. Бензин за эти дни стал для Саркисьяна предметом мучения. Ему казалось, что, учи он в свое время старательней математику, ему бы удалось решить неразрешимую задачу. Вместе со старшиной он исписал всю имевшуюся у него бумагу круглыми, большими цифрами, делил, множил, складывал килограммы, километры, бензобаки, вздыхая, утирая пот и морща лоб.

— Ну, теперь живем,— хохоча, повторял он, рассматривая накладную.

И самого Крымова на миг охватило «возбуждение отступления», чувство, которое он сразу же подмечал и не любил в других. Он знал лица людей, отходивших по приказу с линии огня, знал оживленные глаза легкораненых, бредущих на законном основании из окопного пекла.

Он отлично понимал деловитую суету людей, собиравшихся уходить по восточной дороге; тяжелое чувство в сердце вдруг сменялось ощущением безопасности.

Но от войны нельзя было уйти, она шла следом черной тенью, и чем быстрее уходили от нее, тем быстрее настигала она уходивших. Отступавшие вели за собой войну.

Отступавшие войска приходили в тихие сады и села, радовались тишине и покою, а через час или через сутки черная пыль, пламя и грохот войны врывались следом за ними, война была прикована к войскам тяжелой цепью, и отступление не могло порвать эту цепь — чем длинней, тем крепче и туже становилась она.

Крымов поехал с Саркисьяном на западную окраину деревни, к балке, где остановился дивизион. Машины рассредоточились, стояли под склоном балки, замаскированные ветвями деревьев. Люди, казалось, бездеятельны и угрюмы, не видно было обычной деловитости солдат, умело и уверенно создающих на новом месте свой простой быт — соломенную постель, обед, занимающихся стиркой, бритьем, просмотром оружия.

Крымов после недолгого разговора с минометчиками понял, что люди подавлены и хмуры. При приближении комиссара они вставали медленно, неохотно. На шутки они отвечали невеселыми вопросами либо угрюмо молчали, на серьезный разговор пытались отвечать шуткой. Внутренняя связь его с людьми словно нарушилась. Крымов сразу ощутил это. Один из минометчиков, Генералов, человек, известный своей смелостью и веселостью, спросил у Крымова:

— Правда, товарищ комиссар, что вся бригада наша в городе отдыхать будет, а вы приехали с нашим дивизионом бой принимать? Так ребята сказывали, будто говорили вы: «Приказ об отходе для нас отмененный».

Вопрос этот рассердил Крымова невысказанным упреком.

— Да, правильно, а вы, Генералов, видно, раздумали Советскую Родину защищать, словно

недовольны?

Генералов поправил ремень.

— Я ничего такого не говорю, товарищ комиссар, зачем мне такие слова пришивать, вам командир дивизиона скажет, мой расчет позавчера последним снялся, уже все уходили, а я огонь вел.

Молодой парень, подносчик мин, со злым и насмешливым лицом сказал:

— А что последним, первым — толк один. Вот всю Россию измерили...

— Вы откуда родом? — спросил Крымов.

И подносчик мин, видимо подумав, что комиссар будет его агитировать, сказал:

— Я омский, товарищ комиссар, до моей местности немец не дошел еще.

Из-за машины чей-то голос спросил:

— Правда, товарищ комиссар, говорят, он на Сибирь и на Урал стал летать, бомбит уж?

— А как насчет горючего, товарищ комиссар? Тут уж пехота по большакам отходила.

Крымов заговорил сердито, резко, минометчики молча слушали. Когда он кончил, голос из-за машины печально сказал:

— Выходит, не немец наступает, а мы отступаем, обратно мы виноваты.

— Кто это там? — спросил Крымов и пошел к машине. Но там уже никого не было.

64

Крымов приказал Саркисьяну поехать зарядиться горючим всем дивизионом, так как не хватало тары.

Саркисьян рассчитывал, что вернется к вечеру, и Крымов решил ждать его в станице.

Но сроки, назначенные Саркисьяну на поездку, были нарушены. Он долго провозился, пока армейская заправочная отпустила горючее, необходимое, чтобы добраться до склада. Затем он поехал не той дорогой, потом оказалось, что до склада не тридцать километров, как ему сказали, а сорок два.

Он приехал на склад засветло, но отпуск горючего производился только ночью. Склад был расположен недалеко от шоссе, и до темноты в воздухе находилась немецкая авиация.

Едва в районе склада появлялись машины, немец налетал, кидал мелкие бомбочки и «тыркал» из пулемета.

Кладовщик сосчитал, что за один день немец налетал одиннадцать раз.

Начальник склада со своей командой весь день хоронился в блиндаже, и если кто-нибудь выходил наружу, ему кричали:

— Ну как там?

— Летает, кружит, собака, одиночный, дежурный.

Иногда наблюдатель кричал:

— Прямо на нас разворачивается, гад! Пикирует!

Раздавался удар бомбы — и все в блиндаже валились на землю, ругались, а затем кто-нибудь кричал наблюдателям:

— Лезь назад, чего там красуешься, обратно приманиваешь его. Заметит — как даст бронебойно-зажигательным!

В этот день складским даже обеда не пришлось варить, чтобы не привлечь немца дымком, и сухой паек съели сухим.

Саркисьяна часовые остановили за километр от склада:

— Отсюда пешком, товарищ старший лейтенант,— машину днем не велено пускать.

Начальник склада, с будяками на одежде, посоветовал Саркисьяну получше заметить при свете дорогу, а едва стемнеет — гнать машины на заправку.

— Только предупредите водителей, чтоб свет и на секунду не зажигали, а то мы по фарам огонь открываем.

Начальник посоветовал приезжать к двадцати трем часам, не позже и не раньше.

— Он, собака, должно быть, ужинает в это время и не летает,— сказал начальник склада, показав на пыльное голубое небо.— Перед двадцатью четырьмя ноль-ноль понасаживает ракет, как бабы горшков на заборе.

По всему было видно, что начальник склада серьезно относился к авиации противника.

65

Крымов знал по опыту, что на войне условленные сроки встречи легко нарушаются, и велел Семёнову найти дом для ночлега.

Семёнов не отличался практической расторопностью.

В деревнях он стеснялся просить у хозяек не то что молока, но и воды, спал в машине, скрючившись неудобнейшим образом, так как из застенчивости не шел спать в хату. Единственный человек, которого он не боялся и не стеснялся, был суровый комиссар Крымов, с ним он постоянно спорил и ворчал на него. Крымов шуточно говорил:

— Вот переведут меня, всегда будете ездить некормленным!

И в этих словах заключалась не только шутка. Крымов был по-настоящему привязан к Семёнову и с чувством отеческой нежности тревожился о его судьбе.

На этот раз Семёнов внезапно проявил необычайную расторопность: найденный им для ночлега дом был хорош — просторные комнаты, высокие потолки. В доме прежде располагалась выехавшая перед вечером канцелярия начальника тыла.

Хозяева дома — старики и молодая, рослая, статная женщина, за которой неотступно вперевалку ковылял белоголовый, темноглазый мальчик,— с утра наблюдали за сборами канцелярии, стоя под навесом летней кухни.

После обеда ушли последние штабные учреждения, снялся и ушел батальон охраны — станция опустела. Пришел вечер. Снова плоская степь окрасилась влажными красками

заката. Снова на небе шла бесшумная битва света и тьмы. И снова печалью и тревогой дышали вечерние запахи, приглушенные звуки обреченной на тьму земли.

Есть такие хмельные и горькие часы и дни, когда села остаются без власти, в тишине, в ожидании. Штаб поднялся, ушел, опустели хаты, покинутые постояльцами.

Остались лишь аккуратно вырытые опытными руками узкие щели с краями, обложенными увядшей полынью, следы машин, гора очистков у школы, где была столовая, консервные банки за хатами, обрывки газет да поднятый шлагбаум — открыта дорога, езжай кто хочет!

Чувство свободы и сиротства приходит к людям. Дети рыщут, не забыли ли стоявшие целенькую банку консервов, не дожженную до конца свечу, проволоку, штык... [Старухи зорко оглядывают — не увезли ли коротенькие постояльцы лампового стекла, ножниц, банки с керосином, веревку. Старик обычно идет поглядеть, сколько потратили ему дровишек, не пожгли ли припасенных сухих досок, сколько яблок оборвали в саду. Оглядевшись, недовольно и добродушно бормочет:

— Эт, черти...

А тут зайдет старуха и скажет:

— Увез-таки тот дьявол, повар, кадушку.]

А молодая баба задумается, поглядит на опустевшую дорогу, и свекровь, неотступно наблюдая за ней, сердито вполголоса ругнется:

— Ага, соскучилась!

Стало в станице без войска просторно, тихо, удобно, но так тревожно и грустно, словно не день, не два, а всю жизнь стояли здесь военные постояльцы.

И жители вспоминают про уехавших штабных командиров, кто каким был: один тихий, старательный, все писал бумаги, второй самолетов боялся и в столовую раньше всех шел, позже всех возвращался, третий простой, со стариками курил, четвертый с молодыми бабами любил посмеяться, пятый гордый очень был, слова не скажет, но играл красиво на гитаре, пел очень хорошо. [А уж от вестовых, посыльных, автоматчиков, шоферов, сохранившихся в памяти по именам — Ванька, Гришка, Митька, было все известно о командирах: кто, откуда, многосемейный ли, какая привычка.]

Но проходил час, ветер застилал пылью след уехавших, и в тишине замершей станицы появлялся обычно путник или путница, шедшие с запада, и новая весть потрясала умы и сердца: дорога пустая, войск никого, а немец — вот он.

Семёнов сообщил шепотом, что хозяйева — люди неважные, но зато квартира у них очень хорошая. Старуха была самогонщицей. Соседка сказала, что до коллективизации занимались они не только хозяйством, но и торговлей, но это бог с ними, не год у них жить, а молодая... он лишь рукой махнул: хороша...

На впалых щеках Семёнова проступил румянец, ему, видимо, нравилась молодая рослая женщина, с высокой грудью и с бронзовыми сильными руками, с быстрыми и сильными ногами и с тем пристальным и ясным взглядом, от которого холодеет мужское сердце.

Семёнов и про нее узнал — она вдова. Была женой покойного сына хозяев. Сын поссорился с родителями, жил в другой станице — работал механиком в МТС {152}. Молодая приехала на несколько дней — забрать кое-какие вещи — и собиралась обратно.

В доме уже испарился дух постояльцев, свежеевымытый пол был посыпан для ликвидации

блех пахучей полынью. Ярко и радостно пылавшая печь втянула в себя дух легкого табака, городской еды, хромовой кожи, да и старик перешиб этот дух крепким деревенским самосадам.

Возле печи стояла кадушка с тестом, прикрытая от сквозняков одеяльцем.

В комнате встал смешанный запах полыни, влажной прохлады вымытого пола, сухого огня, сельского табака.

Старик надел очки и, оглядываясь на дверь, читал вполголоса немецкую листовку, подобранную в поле. Подле, касаясь подбородком стола, стоял белоголовый внук, сурово сдвинув брови, слушал.

— Дедушка,— спросил он серьезно и протяжно,— почему нас все освобождают: и румыны освобождают, и немцы вот эти освободить будут?

Старик сердито махнул рукой:

— Тихо! — и продолжал чтение.

Сложение букв в слова ему давалось с трудом, и он боялся остановиться, как боится остановиться лошадь, тянущая на обледеневшую гору подводку: станешь на секунду — и уж не сдвинешь груза.

— Дедушка, а жида кто? — спросил суровый и внимательный четырехлетний слушатель.

Когда Крымов и Семёнов вошли в дом, старик отложил листовку на край стола, снял очки и, оглядев вошедших, строго спросил:

— Вы кем же были, почему не уехали?

У него к ним было такое отношение, словно они уж не являются фигурами материальными, действительными, а мнимыми, не имеющими веса. Он и говорил о них в прошедшем времени.

— Кем были, теми и остались,— усмехнулся Крымов,— а раз не уехали, значит, не велено ехать.

— Чего спрашивать? Когда надо будет — поедут,— сказала старуха.— Садитесь уж, покушайте.

— Нет, спасибо,— ответил Крымов.— Вы кушайте, мы уж поели.

Молодая, войдя в комнату, окинула взором новых постояльцев, утерла губы и засмеялась. Она прошла мимо Крымова, глянула ему в глаза, и он не понял, чем обожгло его — теплом и запахом тела или пристальным взором.

— Соседку звала корову доить,— объяснила она Крымову чуть-чуть сипловатым голосом,— свекровь корову вдвоем с соседкой держит, а корова меня до титек не допустила, только своим дается доить! — Она рассмеялась.— Бабу теперь легче, чем корову, уговорить!

Старуха поставила на стол зеленую бутылку с самогоном.

— Покушайте, товарищ начальник, чего там,— сказал хозяин, пододвигая к столу табуретки.

Он вкладывал в слово «начальник» беспечную насмешку, и тонкая суть этой насмешки была такова: мне, мол, уж нет смысла и нужды разбираться, какой ты там начальник — большой или совсем малый, а по правде, уж никакой, и от твоего начальствования ничто уж не

зависит, и нет мне никакой от тебя ни пользы, ни убытка[, в жизни есть только один начальник, один хозяин — мужик]... Но, пожалуйста, я и сейчас могу тебя звать таким именем, ты ведь любишь его, привык к нему, пожалуйста, мне не жалко.

Крымов, как большинство людей, всегда возбужденных избытком внутренней силы, пил не часто, для встряски, как он говорил. Увидев бутылку, он покачал головой.

— Не бураковый, сахарный,— сказал старик,— первачок, горит не хуже спирта.

Старуха быстро и бесшумно расставила стаканчики, поставила тарелку с горой помидоров и огурцов, нарезала хлеб, бережливо отсыпала горстку соли, кинула ножик с тоненьким источенным лезвием, вилки — одна из них была с черной, жирной деревянной ручкой, другая посеребренная.

Все это проделала она за несколько секунд, с той быстротой и легкостью, которая кажется недостижимой,— стаканчики она не расставила, а словно разбросала, и каждый из них стал точно, как назначено; помидоры, вилки, нож — все это только сверкнуло и разбежалось по столу, вдруг замерло, остановилось.

Хозяева, быстро пробормотав «здоровье», выпили, молча, деловито закусили, тотчас старуха разлила по второму.

По всему в доме чувствовалась большая сноровка в закуском и питейном деле.

Напиток был действительно хорош, без сивушного запаха, ошеломительно крепкий и жгучий.

Старуха, прищурившись, оглядела Крымова и, словно поняв его душевную смуту, пододвинув ему вилку, сказала:

— Ты закуси, закуси, табаком не закусывают.

А молодая смотрела на него то сердитыми девичьими, то добрыми бабьими, ласковыми глазами.

Старик неожиданно сказал:

— В тридцатом году народ у нас две недели пил, всех свиней порезали, двое с ума походили, старик один <...> {153} выпил два литра, пошел в степь, лег в снег и заснул; утром его нашли, и бутылка лопнутая возле него, самогон в ней был, а мороз такой, что самогон даже замерз.

— Мой самогон не замерзнет, он — как спирт,— сказала старуха.

Хозяин слегка охмелел.

— Не о том речь, тебе непонятно,— и постучал пальцем по немецкой листовке.

Крымов взял листовку со стола, порвал ее на куски и швырнул на пол.

Он пошел к двери и, выходя в сени, сказал Семёнову:

— Не хочу я этого чертова вина, пойду на дворе посижу.

— Я сейчас приду, товарищ комиссар, только докушаю,— поспешно ответил Семёнов.

— Он партийный, а? — подмигнув, спросил старик у Семёнова, когда тот, встав из-за стола, надел пилотку.

— Да,— отвечал Семёнов.— А ты, старик, был кулак и остался кулаком.

— А что вы мне можете сделать, товарищи? — задорно спросил хозяин, переходя на «вы».

— Кое-что можем,— сказал Семёнов и пошел на улицу.

— Это правильно,— ответил старик, глядя ему вслед.

Выпитый спирт побуждал его высказываться о тайном, возникало желание пронзительно жестокого разговора вчистую. Старик не объяснял отступление случайными и проходящими невзгодами войны, он считал поражение свершившимся.

— Подумаешь, партийные,— говорил он жене.— Я им могу все, как думаю, выложить. Вот зайдут в дом — и скажу.

Он сам дивился, откуда у него в памяти чеканно и ясно возникали старые, давно забытые слова, и он умилялся, произнося их.

— Виноградники Удельного ведомства... тут земли генерал-адъютанта Салтыковского, а завод игристых вин принадлежал члену Государственной думы...

Выходило по его словам: в старое время жили спокойно, удобно, не знали нужды.

А от нынешней жизни, от всех этих тракторов да комбайнов, от Магнитогорсков и Днепростроев, от председателей да бригадиров, от учения на агрономов, докторов, учителей, инженеров добра нет. Работают как полоумные, сколько знаменитых богатых хозяев пропало, сколько угнали в тридцатом году...

Слушая мужа, старуха даже раскраснелась, так душевно говорил он [против колхозов]. Она хотела помочь ему, напомнила:

— Ты им еще скажи, как Любка, военная, в огород ходила, горох оборвала, сливы в саду пожрала, разве ей слово скажешь? Начальник уснет, она с адъютантом в дурака режется... Еще скажи, как председатель уезжал, лучших лошадей забрал, четыре пуда колхозного меда смылил... В магазин ситцу, соли, керосину пришлют, разве мы его видели, а председателева баба пройдет в новом платье, прошумит только...

Старик и старуха особенно сердито говорили о тяжелой колхозной работе, и молодая сказала:

— Вы-то что плачете? Те, кто работал, те не плачут. А вы разве работали? Вы вино варили и продавали. От вас сын родной ушел — не стал у вас жить.— И, с шумом отодвинув табурет, она подошла к окну и стала всматриваться в сумерки.

66

— Что же наш Саркисян не едет? — спросил Крымов у подошедшего Семёнова.— Давно ему время.

Семёнов, нагнувшись к уху Крымова, сказал:

— Боец недавно шел тут, говорит, впереди никого нет, товарищ комиссар, пусто, нам бы откатиться километров на двадцать.

— Нет, надо ждать Саркисяна,— ответил Крымов,— только у этих самогонщиков мы ночевать не будем. Вы пойдите посмотрите, вон там сарай — на сене постелите.

Семёнов хотел было что-то сказать, но, поглядев на угрюмое лицо Крымова, молча пошел к

калитке.

Стало темно. Пустынная, тихая улица была спокойна. Небо осветилось заревом дальнего пожара, и вся станица со своими садами, домами, амбарами, колодцами стояла в злом, колеблющемся свете.

Несмело завывали собаки, со стороны восточной окраины послышался детский плач, сердитый женский голос.

В небе зажужжало, заныло, ночные «хейнкели» торопились покружить над горящей землей.

Крымов почувствовал, что кто-то бесшумно подошел, глядит на него. То была молодая. Должно быть, он, сам того не сознавая, не думая о ней, ждал ее, и он не удивился, увидев ее рядом с собой. Она села на ступеньку крыльца, обхватив колени руками.

Глаза ее, освещенные далеким заревом, блестели, и вся она в мерцающем то мягком, то зловещем свете казалась прекрасной. Она, должно быть, чувствовала, чужла не умом и даже не сердцем, а кожей, руками, шеей, что он смотрит на две гладкие, скользкие косы, сбежавшие вдоль шеи и свернувшиеся на коленях, на ее голые выше локтя руки, на ее освещенные огнем ноги. Она молчала, зная, что нет слов для выражения того, что возникает и завязывается между ними.

Этот высокий человек с нахмуренным лбом и спокойными темными глазами никак не походил на армейских ребят-шоферов.

В ней не было робости, застенчивой покорности. Она теперь боролась за жизнь грубо, как мужчина. Случалось, старики и мальчишки выполняли бабью работу — вскапывали огород, пасли скотину, стерегли младенцев, а ей приходилось делать главное, мужское дело.

Она и пахала, и в район ездила сдавать хлеб, и к военной власти ходила уговариваться о работе мельницы и помоле зерна. Она умела обвести вокруг пальца, а если кто-либо хотел ее обмануть, то и она могла перехитрить, обмануть обманщика. И обман этот был не бабий, а мужской, одновременно дерзкий и тонкий, конторский обман.

А рассердившись, она ругалась не по-бабьи, пронзительной скороговоркой, а медленно, с выражением.

И в эти дни войны и отступлений, в пыли и грохоте, при зареве ночных пожаров, под гудение «хейнкелей» и «юнкерсов», странно ей было вспоминать свою молодую, застенчивую и тихую пору.

Седеющий человек молча смотрел на нее, от него пахло вином, но глаза его были трудными, не блудили...

И ему рядом с ней стало легче на душе. Вот так бы сидел, рядом с красивой и молодой, долго-долго, и сегодня и завтра... Утром бы пошел в сад, потом на луг, вечером при коптилке сидел бы за столом и глядел, как ее сильные, загорелые руки стелют постель, а красивые глаза глядят на него доверчиво, мило...

Женщина молча встала, пошла по светлому песку. В ней соединялись сила и миловидность.

Он смотрел ей вслед и знал, что она вернется. И она действительно вернулась, сказала:

— Пойдемте, чего одному сидеть. Вон в том доме народ собрался.

Он кликнул Семёнова, велел не отходить от машины, проверить автомат.

— Немец близко? — спросила она.

Он не ответил.

Крымов вошел за ней в просторный дом, и на него пахнуло духотой надышанного воздуха и жаром протопленной летом печи.

[За столом собралось много женщин, несколько стариков и небритых парней в пиджаках.]

У окна сидела молодая миловидная женщина, положив руки на колени.

Когда Крымов заговорил с ней, женщина наклонила голову и ладонью очистила невидимые крошки с колен. Потом она посмотрела на него, и в глазах ее было выражение ясной чистоты, ее не могут запылить и закоптить ни тяжесть труда, ни угрюмая тьма нужды.

— Она мужа из Красной Армии ждет, не замай ее, она как монашка у нас,— засмеялись женщины,— ее позвали песни петь, голос у нее хороший.

[Чернобородый широколобый человек, видимо хозяин, с необычайно широким размахом длинных рук, сипло кричал:

— Давай гуляй, последний нонешний денечек гуляю с вами я, друзья!

Он был пьян, и пьян необычайно сильно, на лице его было выражение безумия, со лба на глаза набегал пот, он его снимал то платком, то ладонью. Ходил он тяжело, и при каждом шаге его вздрагивали все предметы в комнате и дребезжала посуда на столе, как в станционных буфетах, когда проходит товарный поезд. При каждом шаге его женщины вскрикивали: казалось, чернобородый рухнет. Но он не падал, даже пробовал танцевать.

Были еще старики, румяные и потные от вина и духоты.

Парни казались тихими и бледными в сравнении со стариками, то ли их мутило от непривычки много пить, то ли вино не заглушало тревожных мыслей,— пожилым ведь во время войны все же беззаботней.

Когда Крымов смотрел на этих парней, они отводили глаза, видимо, не все чисто было у них по военной части.

А старики, наоборот, шли к нему и сами заводили разговоры. Чернобородый говорил Крымову:

— Э, ребята, что же вы не удержались, не смогли, э, ей-богу,— и он сокрушенно отмахивался рукой, икая с такой силой, что даже привычные старухи качали головами.

Угощение было богатое, видимо в складчину, никто ничего не жалел в эту ночь, и женщины, оглядывая стол, говорили:

— Лучше самим погулять, все равно завтра немец все сожрет.

На столе стояли огромные, как солнца, сковороды с яичницами, сало, пироги, ветчина, миски вареников с каймаком {154}, банки варенья, бутылки с виноградным вином, с сахарным самогоном.

Хозяин, размахивая длинными руками,— казалось, они достигали от стола до стены,— кричал:

— Гуляй, гуляй, наше время короткое, одна ночь, завтра немец придет. Гуляй, вот она, воля!

Подходя к Крымову, он трезвел и, угощая его, говорил:

— Кушай, товарищ начальник, чего там, у меня самого старший сын лейтенант.

Крымов заметил, что, угощая молчаливого мужчину, сидевшего в креслице у дубового буфетика, чернобородый сказал:

— Кушай, кушай, дорогой, пей, не жалея ничего, и мы ничего не жалеем...— И без видимой связи добавил: — У меня старший брат в личной охране государя императора до последнего дня состоял, на станции Дно {155} самолично и безотступно...

Видимо, бородач хоть был пьян, но знал, кому как нужно сказать: одному про сына лейтенанта, другому про брата из охраны царя.

Крымов поглядел на молчаливого человека и подумал: «Откуда выплыл, морда рыжая какая-то, волчья, а глаза лисьи, стеклянные». Ощувив тревогу и неприязнь, пристально глядя на молчаливого, он спросил:

— А вы кто такой?

— Казак, здешний, пришел погулять с людьми,— медленно и лениво ответил рыжий.

— Как гулять? — прищурившись, спросил Крымов.— Свадьба, рождение, тезоименитство государя?

Человек был весь одноцветный — и кожа, и волосы, и глаза, и даже зубы были у него пыльные, желтые. Когда он смотрел и произносил слова, в нем было какое-то подчеркнутое, сонное спокойствие, и Крымов подумал, что это спокойствие напоминает размеренные и тихие движения гимнаста, совершающего привычный и все же смертельно опасный путь под высоким куполом цирка.

Рыжий, ухмыляясь, медленно встал из-за стола, пошатываясь вышел в сени и больше не вернулся. Он казался пьяным, но, видимо, не был пьян, и пока спокойной, сонной походкой шел к двери, стало тихо, и два старика переглянулись.

Чувствовалось, что Крымов случайно коснулся чего-то тайного, что знали эти политичные, хитрые, но одновременно и простодушные румяные старики.

А молодая, приведшая Крымова, все смотрела на него, и он то и дело замечал ее печальный и суровый, спрашивающий взгляд.

Потом сразу с разных сторон стали просить сидевшую у окна женщину петь. Она улыбнулась, поправила волосы, кофточку, положила руки на стол, посмотрела на завешенное окно и запела. Все стали негромко, хором помогать ей и пели с серьезными лицами, бережно, внимательно, словно пьяных не было...

Заглушавший всех в разговоре чернобородый едва слышно подпевал, старательно, по-школьному, кося глазами на запевавшую женщину. Она вся вытянулась, белая шея ее стала словно тоньше, а на лице появилось выражение изумительное — радости и милого, доброго торжества.] {156}

Это пение, вероятно, единственное могло выразить ту смуту, ту тоску, то тяжелое чувство, что легло на душу людям.

А смута была велика, и тяжесть была велика... Была одна песня, Крымову казалось, что он слышал ее когда-то очень давно...

Звук ее коснулся чего-то такого глубокого и сокровенного — он и не знал, что это сокровенное продолжало существовать в нем. Человек очень редко, лишь в немногие мгновения своего существования, способен вдруг связать воедино всю свою жизнь, пору милого младенчества, годы труда, надежд, страстей и горя, борьбы, старости,— словно с огромной высоты увидеть Волгу во всем ее течении от сокровенных ручьев Селигера {157} до каспийского соленого устья.

Крымов увидел, что слезы полились по щекам хозяина.

А молодая смотрела на него.

— Невеселое наше веселье! — сказала она.

Можно привести слова песни и подробно рассказать про певицу, про мелодию и слова и про выражение глаз слушателей — их печаль, тоску, вопрос, тревогу, но родится ли из такого описания песня, заставившая людей плакать? Зазвучит ли она? Нет, не родится песня и не зазвучит...

— Да, невеселое у нас веселье,— несколько раз повторил Крымов.

Он вышел на улицу, подошел к машине, прижавшейся к забору.

— Спите, Семёнов?

— Нет, не сплю,— ответил Семёнов, и его грустные глаза смотрели из темноты на Крымова, по-детски обрадованные.— Тихо уж очень, страшно, и пожар прогорел, совсем темно стало... Я вам в сарае сено постелил...

— Я пойду отдохну,— сказал Крымов.

Крымов запомнил полутьму летнего рассвета, шорох, запах сена и то ли звезды на побледневшем, утреннем небе, то ли глаза молодой на побледневшем лице.

Он говорил ей о своем горе, о том, как обидела его женщина, говорил ей, чего самому себе не говорил...

А она шептала быстро, страстно; она звала его к себе. В стороне от станицы Цимлянской у нее дом и сад — там вино, и сливки, и свежая рыба, и мед, и она божилась только его любить,— всю жизнь проживет с ним, а захочет бросить, пусть бросит ее.

Она ведь сама не понимает, что случилось с ней, гуляла с мужчинами, гуляла и забывала... Приворожил он ее, что ли,— руки и ноги стынют, дышать трудно, никогда она не думала, что такое может быть.

Ее теплое дыхание шло прямо в его сердце, и он сказал ей:

— Я солдат. Не надо мне сегодня счастья.

Крымов вышел в сад. Нагибая голову, прошел под низкими ветвями яблонь.

Со двора раздался голос Семёнова:

— Товарищ комиссар, наши машины едут, дивизион!

И в той радости, какой был полон его голос, он высказал, как тревожна была для него эта ночь, когда он всматривался, прислушивался к ноющему гудению «хейнкелей» и к гулу советских ночных бомбардировщиков, глядел на немое зарево пожара...

К вечеру они проезжали через переправу. Крымов сказал, облизывая губы, пересохшие от жары и пыли:

— В понтонах новые бойцы стоят, те два сапера, может, убиты уже...

Семёнов не ответил, вертел баранку, а когда благополучно проскочили по мосту и отъехали от переправы, усмехнувшись, сказал:

— Ох и казачка эта видная была, товарищ комиссар, я думал, вы на день останетесь... <...> {158}

67

Лейтенант Ковалев, командир стрелковой роты, получил письмо от своего дорожного спутника Анатолия Шапошникова.

Анатолий писал, что служит в артиллерийском дивизионе. Письмо было веселое, бодрое. Анатолий сообщал, что на учебных стрельбах его батарея заняла первое место. Дальше Анатолий писал, что есть много дынь и арбузов и раза два ездил на рыбалку с командиром дивизиона, ловил рыбу. Ковалев понял, что дивизион, в котором служит приятель, стоит в резерве и расположен где-то неподалеку от тех мест, где стоит его часть. Он тоже ездил на Волгу рыбачить и вволю ел арбузы и дыни на совхозных бахчах.

Ковалев несколько раз начинал письмо Шапошникову, но все не получалось, как надо. Его сердила последняя строчка в письме Анатолия: «Часть моя гвардейская, и, значит, привет тебе от гвардии лейтенанта Анатолия Шапошникова».

Ковалев представлял себе, как Анатолий пишет в Сталинград бабушке, красавице тетке, двоюродному брату, двоюродной сестре и на каждом письме подписывается: «Остаюсь с горячим приветом гвардии лейтенант Шапошников». И в письме Ковалеву не удавалось выразить своего снисходительного и насмешливого, но добродушного и покровительственного отношения к Тольке, который, не понюхав порошу, вдруг взял да и стал гвардейцем. Это обстоятельство почему-то волновало Ковалева.

Рота Ковалева входила в состав батальона, которым командовал гвардии старший лейтенант Филяшкин. Батальон этот входил в состав полка, которым командовал боевой гвардии подполковник. Полк входил в состав дивизии, которой командовал знаменитый гвардии генерал-майор. Дивизия была гвардейской, все служившие в ней люди были гвардейцами. Ковалеву казалось неправильным: человек, не видевший войны, с пересыльного пункта зачислялся в один из полков дивизии и тотчас становился гвардейцем. Ведь ветераны-фундатеры участвовали в боях за Киев летом 1941 года, когда немцы прорвались к окраине Киева — Демиевке и Голосеевскому лесу; дивизия дралась всю зиму 1941/42 года на Юго-Западном фронте, южнее Курска, вела бои в снегах, в лютые морозы. Дивизия отступала в боях к Дону, дралась, теряла свою кровь, выходила на отдых и снова дралась, завоевывала свое гвардейское звание. А тут в тылу, за здорово живешь, люди становятся гвардейцами.

Это ревнивое чувство часто испытывали друг к другу люди на войне. Такое чувство вызывается сознанием большой опытности, сознанием больших страданий, связью людей, бывших свидетелями и участниками первых часов и дней войны, ощущением того, что уж никто никогда не переживет вновь. Но на войне, как нигде, с особой силой и ясностью действует простой жизненный закон: для дела важны не прошлые заслуги, для дела неважно, многими или немногими прошлыми подвигами может гордиться человек; лишь одно важно — кто сегодня с большим умением, силой, смелостью и умом справляется с тяжелой работой войны.

Однако Ковалев считал по-иному. Ковалев был особенно строг и придирчив с новым

пополнением, он не давал ни покоя, ни отдыха людям, пришедшим в дивизию из тыла. Его придрчивость стала знаменита. Он заставлял людей проделывать десятки и сотни приемов, которым научился на фронте. Но именно в этой тяжелой, сложной учебе и был главный смысл происходившего в резервных и запасных частях,— тысячи тысяч людей, пришедших из тыла, толково, быстро, жадно усваивали добытый в муках и тяжких боевых трудах опыт войны.

Кого только не было в этом пополнении: и впервые взявший в руки винтовку парнишка-слесарь, и снятые с брони тыловики, и молодые колхозники, и городские парни, окончившие десятилетку, и счетные работники, и эвакуированные из западных районов Советского Союза, и добровольцы, считавшие, что нет выше звания, чем звание бойца. [А рядом люди, посланные на фронт взамен отбытия лагерного срока.]

Был среди пополнения, пришедшего с пересыльного пункта, сорокапятилетний колхозник — Пётр Семёнович Вавилов.

68

В роте Ковалева, расположенной в Заволжье, в скучной степи, недалеко от Николаевки {159}, существовали, как и в каждом человеческом объединении, будь то деревня, будь то завод или малая мастерская, свои внутренние, со стороны мало заметные отношения, мораль, судившая людей, их поступки и характеры и все события жизни. Существовали общие любимцы, люди, сильные духом, прямые, верные, смелые, а наряду с ними имелись и осужденные совестью ротного народа ловкачи и счастливцы. Таким был желтоглазый Усуров — задира, обжора и грубиян. Таким был вредный старший сержант Додонов, любитель красноармейского приварка и табачку, сладкий с начальством и грубый с подчиненными, кляузный малый. К балагуру и рассказчику Резчикову относились хорошо, опекали его, но в то же время посмеивались, уважали, но с усмешечкой, словом, так, как часто в народе относятся к своим деревенским и заводским поэтам, к домашним философам и рассказчикам. Были и такие, которых мало кто знал по имени, люди безликие, молчаливые даже в тех случаях, когда грешно не сказать слова. [Их знали в лицо, не по имени, и окликали: «Э, ты, рыжий» или: «Слышь, Пантюха...»] Таким был всегда попадавший в беду Мулярчук: если обследовали на вшивость, то единственным показательным по вшивости оказывался Мулярчук; если случалась проверка обмундирования, то обязательно плохая заправка, оборванные пуговицы и пилотка без звезды оказывались у Мулярчука. Был в роте десантник, участник двадцати атак, удалец Рысьев, ладно сложенный, поворотливый, сухопарый. О нем всегда говорилось с улыбкой гордости: «Наш Рысьев всех обвел». В пути, когда везли эшелон, Рысьев соскакивал с ведром на ходу поезда и бежал к кубу, первым брался за медный кран, стоял, упершись рукой в стену кубовой, чтобы не сбили набегавшие сзади. И когда он легким, мягким шагом несясь впереди громыхающей ведрами и котелками толпы, из ротной теплушки, хохоча, кричали: «Наш-то, наш опять ведет, в голове!»

Смекалистый человек, поглядев мельком на роту Ковалева, присмотревшись, пошагав с этой ротой, послушавши разговор, похлебав из солдатского котла, понял бы, что в роте есть свой закон и люди живут по этому закону. Человек бы смекнул, что горластый и хитрый сумеет вовремя снискать бедную, но необычайно важную выгоду: подъехать на обозной подводе во время марша, получить увольнительную в нужную для жизни минуту[, оторвать пару сапог по ноге]. Но этот «смекалистый» человек ничего не понял, не понял главного закона, связывающего людей во взводах и ротах, закона, в котором часто можно найти разгадку победы и поражения, силы и бессилия армий.

Закон этот существовал естественно и просто, как биение сердца, и выражался постоянно. [Присущую людям меру морали, убежденности в человеческом праве на трудовое и национальное равенство] {160} не уменьшили жестокости войны, раны, кровь, дым и пламя. В годы гитлеровского владычества фашистская «философия», как потаскуха, служившая

дьяволу гитлеризма, бралась доказывать дозволенность рабства народов, убийств детей и стариков. Но в это время убежденность в трудовом и человеческом равенстве народов, любовь к советской земле шагала в рядах красноармейцев, она витала над кострами ночных красноармейских привалов, [жила в сердцах бойцов,] звучала [в их ночных беседах,] в речах комиссаров и коммунистов... Во фронтовой грязи, в мокром, тающем снеге, в сугробах, в пыли, в темных, наполовину налитых водой окопах трудовое советское братство дышало, жило в стрелковых ротах, батальонах, полках. Вот этот-то закон и объединял красноармейцев, правил стрелковой ротой, и обыкновенные люди, объединенные этим законом, создавшие его и подчинявшиеся ему, порой и не думая о нем, только в нем видели истинную меру человека, человеческих поступков и дел.

Вавилов всю свою жизнь работал. В нем наряду с чувством тяжести труда жило другое чувство — радость и волнение труда.

[Выгребая против тугого течения быстрой реки, оглядываясь на вспаханное поле, глядя на гору выброшенного из траншеи торфа, слушая звенящий треск лопнувшего под давлением вогнанного клина суковатого плечистого бревна, меряя глазом глубину ямы, прямую высоту возведенной стены,— всегда испытывал он одновременно спокойное и стыдливое чувство своей силы. Труд был одновременно и тяжестью и радостью его жизни. Этот постоянный труд щедро и каждодневно вознаграждал его тем, чем богаты ученые, художники, реформаторы жизни,— напряжением борьбы, удовлетворением победы.

В годы колхозной жизни ощущение своей личной силы, своего умения слилось с ощущением единства силы народа и той доброй цели, которую ставил себе всенародный труд. В дни общей колхозной пахоты, в дни жатвы и молотьбы Вавилов чувствовал то новое, что было внесено в жизнь размахом колхозной работы. От края до края широкого поля трудились десятки и сотни людей. Гул автомобилей, рев тракторов, мерное движение комбайна, усилия трактористов, шоферов, бригадиров — все сливалось в направленном к одной цели общем труде. Все эти десятки и сотни рук — девичьих, мужских, старушечьих, одни темные от загара, другие темные от машинного масла, вместе поднимали пласты земли, скашивали, обмолачивали колхозное поле. И всякий работающий чувствовал свою силу в трудовой связи, объединявшей волю, умение, сноровку каждого отдельного колхозника в общей сноровке труда.] {161}

Он видел и знал, чем могут гордиться советские крестьяне перед светом: тракторы и комбайны, и моторы для насоса, качавшего воду на свиноферму и в коровник, на опытное поле, и дизели, и движки, и кое-где гидростанция на речке. Он видел, что в деревне кое-кто покатыл на велосипеде, появились грузовики, росли МТС, где работали умелые механики, появились ученые полеводы, пасечники, мичуринские сады, появились птицефермы, колхозные конюшни и хлева? с каменным полом, асфальт на многих дорогах. Казалось бы, еще лет десять—пятнадцать, и трудовая, дружная сила народа могла бы вспахать, засеять отборным, невиданным в мире зерном весь простор огромных земель. Но фашисты не стали ждать этой поры, пошли сразу.

На первом политзанятии, происходившем на вольном воздухе, лысый, большелобый политрук Котлов спросил у Вавилова:

— Вы кто, товарищ?

Тот ответил:

— Колхозный активист.

— Гвардии колхозный активист,— вполголоса подсказал Резчиков.

Ответ Вавилова насмешил всех, особенно Рысьева. Надо было ответить: «Красноармеец

третьей роты, такого-то полка, такой-то краснознаменной гвардейской дивизии».

Но Котлов не стал поправлять Вавилова, а сказал:

— Очень хорошо.

Оказалось, что на политчase деревенский Вавилов забил многих. Он знал и про Румынию, и про Венгрию, помнил, в каком году была пущена Магнитка и кто командовал Севастопольской обороной в 1855 году; рассказал о войне 1812 года; удивил всех, когда, поправив бухгалтера Зайченкова, сказал: «Гинденбург не военный министр был, а фельдмаршал у Вильгельма».

Котлов отметил Вавилова, и, когда случилась неясность и кто-то задал вопрос, политрук, усмехаясь, проговорил:

— Ну, а вы как бы ответили, товарищ Вавилов?

Вечером толстоносый лукавый Резчиков развеселил всех — встал перед Вавиловым навтыяжку и скороговоркой произнес:

— Разрешите обратиться, товарищ колхозный активист. Вам комиссар дивизии полковой комиссар Вавилов не родственником ли приходится?

— Нет, не родственник, должно быть, однофамилец,— ответил Вавилов.

На рассвете командир роты лейтенант Ковалев, о котором было известно, что он сохнет по санинструктору Елене Гнатюк и потому плохо спит, поднял роту по тревоге, устроил учебную стрельбу. Но тут уж Вавилов ничем не отличился — не имел попаданий.

В первые дни занятий его подавили сложность и многообразие оружия — винтовки, автоматы, гранаты, ротные минометы, ручные и станковые пулеметы, противотанковые ружья... Он прошел в соседние подразделения и осмотрел полковые и дивизионные пушки, зенитные пулеметы и противотанковые орудия, тяжелые полковые минометы, противопехотные и противотанковые мины, издали оглядел рацию, гусеничные тягачи...

Это было огромное и богатое хозяйство одной лишь стрелковой дивизии, и Вавилов сказал своему соседу по нарам Зайченкову:

— Я по старой армии помню — такого оружия никогда в России не было... Это ж тысячи заводов нужны!

— А если бы царь купил его, все равно никто бы им не овладел. Тогда мужик только и знал: запрячь лошадку, распрячь лошадку. А теперь в армию идет народ технический: трактористы да мотористы, слесаря, шоферы... Вот Усуров наш: был шофером в Средней Азии, пришел в армию — и сразу стал водителем на гусеничном тягаче.

— Чего же он с нами в пехоте? — спросил Вавилов.

— Это уж частность,— ответил Зайченков,— он сменял разика два керосин на вино [у населения], и его комиссар полка в стрелковую роту перевел.

Вавилов, усмехнувшись, сказал:

— Это частность порядочная.

Они уже выяснили, кто какого года, сколько у кого детей, и Зайченков, узнав, что Вавилов ездил в район в отделение банка по колхозным денежным делам, почувствовал к нему снисходительное дружелюбие старшего бухгалтера лесосклада к сельскому счетному

работнику.

На первых занятиях он помогал Вавилову и даже выписал ему на бумажке названия частей автомата и гранаты.

В этих занятиях имелось нечто чрезвычайно важное — в них был огромный смысл, значение настолько важное, что люди даже не охватывали его. И командиры, и сотни старшин, сержантов и красноармейцев были людьми, прошедшими через долгие месяцы войны. Они испытали и поняли то, о чем нельзя прочесть в военном учебнике. Они знали бой не только опытом своего ума, но и опытом своих чувств, своих страстей.

В наставлениях и руководствах нельзя узнать того, что чувствует, думает, как ведет себя человек, прижавшийся лицом ко дну окопа, в то время, как в восьми вершках над его хрупкой, присыпанной землей головой скрежещет гусеница вражеского танка и в ноздри входит смешанный с сухим земным прахом горячий и маслянистый угарный дух отработанных газов. В наставлениях нельзя прочесть, что выражают глаза людей во время внезапной ночной тревоги, когда слышны взрывы гранат, очереди автоматов и в ночное небо поднимаются немецкие сигнальные ракеты.

Этот опыт и эти знания и касаются сотен и тысяч вещей — это знание противника, его оружия, знание войны на рассвете, в тумане, днем, на закате, в лесу, на дороге, в степи, в деревне, на берегу реки, это знание звуков и шорохов войны и, что особенно значительно и важно,— познание себя, своей силы, своей стойкости, выносливости, опыта, хитрости.

Новое пополнение в полевых учениях, ночных тревогах, в жестокой и страшной обкатке танками предметно, объемно впитывало и усваивало этот опыт.

Командир дивизии и командиры рот учили не школьников, которым предстоит покинуть стены школы и вернуться в мирный дом,— они учили солдат, с которыми вместе предстояло драться, они учили одному — войне.

И эта наука происходила десятками, а может быть, сотнями способов. <...> {162} Эту науку новое пополнение воспринимало в интонациях боевых команд, в походке, в жестах, в движениях, в выражении глаз командиров и обстрелянных боевых красноармейцев. Эта наука была в ночных рассказах Рысьева, в его насмешливых словах: «Фриц знаешь как любит?» Эта наука была и в самоуверенных окриках Ковалева: «Беги, беги вперед, не падай, тут он тебя не достанет... Зачем ты ложишься, так от миномета не спрячешься... Что ты выставился, логом беги, эта долина минометом простреливается... Где ты машину оставил, хочешь, чтобы тебя авиация раздолбала?»

Эта наука была и в балагурстве Резчикова, в его рассказах, как кто кого перехитрил, в его веселом панибратстве с войной, в его чувстве насмешки и презрения к противнику, которое так важно солдату и которого не было у солдат летом 1941 года. <...> {163}

В час начала войны с фашистской Германией всюду — в больших и малых городах, на заводах, в деревнях, на реках и морях — люди поняли: пришло время тяжелых и горьких трудов, потому что в народе немцев считали сильным, воинственным народом, а Германию — сильной и богатой страной.

Война с французами не имела живых воспоминателей, она осталась в книгах, война с немцами жила не в книгах, а в живой памяти, в горьком опыте народа.

Весь народ сразу понял, что война с немцами будет великой войной, что принесет она большую кровь и большие слезы.

Когда летом 1941 года гитлеровцы напали на Россию, Вавилов сказал жене:

— Гитлер хочет забрать всю нашу землю, он весь земляной шар для себя пахать хочет.

Вавилов называл землю не земным, а земляным шаром, потому что вся земля была для него полем, которое народу надлежит вспахать и засеять.

На советскую народную землю, на крестьян и рабочих пошел войной Гитлер.

Дивизия, пока шло учение и пополнение, стояла за городом, и все время приходилось копать землянки, прокладывать дороги, рубить лес, тесать бревна.

Во время работы забывалась война, и Вавилов расспрашивал людей о довоенной мирной жизни: «Ну как земля у вас, как родит пшеница? Как насчет засухи? А просо вы сеете? Картошки хватает?» Много пришлось видеть ему народа, бежавшего от немцев: стариков, девушек, перегонявших скот на восток, трактористов, вывозивших имущество колхозов с Украины и Белоруссии. Попадались люди, бывшие под немцем и сумевшие уйти к своим через линию фронта, их он особенно выпытывал о том, как живут на оккупированной территории.

Он сразу понял нехитрый фашистский бандитский прием в деревне: из машин ввозили немцы только молотилки, из товаров — камешки для зажигалок: на камешки Гитлер хотел обменять всю русскую землю; Вавилов понял, к чему приводил фашистский порядок — пятихатки, десятихатки, объединенные нагайкой гебитскомиссара {164}. Дело было не в желании немцев вспахать весь «земляной» шар, дело было простое — обмолотить чужую пшеницу.

Вначале все подмечавший ротный народ посмеивался над Вавиловым.

— Гляди,— говорили красноармейцы,— наш колхозный активист опять мужика задержал, опрос снимает.

— Эй, Вавилов,— кричали ему,— тут бабы орловские, может, проведешь среди них беседу?

Но вскоре увидели, что смеяться нечему: Вавилов расспрашивал людей о самом главном и важном, от чего зависела жизнь.

В роте стали дружно оглядываться на Вавилова после двух случаев. Однажды, когда пришел приказ передвинуться поближе к фронту, Усуров потребовал с погоревшей старухи литр самогона за то, что пустит ее в блиндаж и обошьет его досками. «А не дашь,— сказал он,— сам его срю и доски попаляю». Старуха самогона не имела и отдала Усурову после того, как он выполнил условленную работу, полушерстяную шаль.

К случаю этому отнеслись неодобрительно, и когда Усуров смеялся, показывая шаль, все хмурились и молчали. Тогда Вавилов подошел к Усурову и сказал негромко, голосом, который сразу заставляет примолкнуть и оглянуться каждого, кто слышит такой голос:

— Отдай, сволочь, женщине ее вещь.

Все, кто слышал этот разговор, увидя, что Вавилов схватил одной рукой шаль, а другую, сжав в огромный кулак, поднес к лицу Усурова, ожидали неминуемой драки. Скандальный нрав и сила Усурова были известны.

Но Усуров внезапно выпустил из рук шаль и сказал:

— Чего, ну тебя к черту, снеси ей, на, подумаешь!

Вавилов бросил шаль на землю и сказал:

— Сам снесешь, я, что ли, брал.

Старуха, ругавшая про себя Усурова идолом проклятым, «прицем», жалевшая, что хороших сразу немецкая пуля достигает, а таким паразитам от войны никакого урона, даже растерялась, когда Усуров вернул ей шаль.

А расстроенный и смущенный Усуров произнес перед товарищами, понимавшими его смущение, речь:

— Знаешь, как шофера в Средней Азии жили? Будь уверен — не терялись! Нужна мне ее шаль — тоже защитник нашелся! Я ведь не так взял, а за работу. Тоже цаца — платок старый! Три костюма имел, суконце такое, коверкот, будь здоров, в выходной наденешь галстук, плащ, полуботинки желтые — никто не скажет, что шофером на трехтонке; идешь в кино, в ресторан, сразу шашлык, полкило водки, пиво. Жил что надо. Нужен мне этот платок!

Второй случай, запомнившийся в роте, произошел при бомбежке эшелона на большой узловой станции. Эшелон стоял на запасных путях, ждал отправки. Налетели самолеты перед вечером и бомбили сильно и жестоко, полутонными, даже тонными бомбами, видимо, хотели разбить элеватор. Бомбежка началась внезапно, люди повалились на землю кто где стоял, многие даже не успели выскочить из вагонов. Десятки людей были убиты и покалечены, занялись пожары, потом стали рваться снаряды в стоявшем поодаль эшелоне с боеприпасами. В дыму, в грохоте, среди воплей паровозных гудков смерть казалась неминуемой. Даже лихой Рысьев стал бледен, стушевался. Едва отливала на несколько секунд волна бомбежки — люди перебежали, переползали с места на место, искали ямок и углублений в недоброй, лоснящейся маслом черной земле. И всем запомнился в эти страшные минуты Вавилов. Он сидел на земле у вагона и кричал:

— Чего мечетесь, поспокойнее надо, лежи, где лежишь!

А утрамбованная черная земля дрожала, трещала и рвалась, как гнилой ситец.

После бомбежки Рысьев с восхищением сказал Вавилову:

— Ну и крепок ты, отец!

Политрук Котлов сразу отличил Вавилова. Он подолгу разговаривал с Вавиловым, расспрашивал, все чаще давал ему поручения, вовлекал в беседы во время политзанятий, читок газет. Котлов был умен и увидел в Вавилове ту ясную, простую и душевную чистую силу, на которую должно ему опираться в своей работе.

И незаметно для красноармейцев и более всего для самого Вавилова случилось так, что ко времени получения приказа о выходе из резерва на фронт именно он, Вавилов, и был тем человеком, вокруг которого сами собой завязались в роте внутренние духовные связи между людьми, связи, объединявшие молодых и пожилых, разбронированных и ветеранов — десантника Рысьева, бухгалтера Зайченкова и рябого Мулярчука, узбека Усманова и ярославца Резчикова.

И как-то само собой получилось, что эту связь чувствовали и командир роты юный Ковалев, и старшина.

Рысьев, кадровый, служивший действительную до войны, десантник воздушно-десантной бригады, участник первых боев на границе и жестоких битв на окраине Киева, почему-то совершенно спокойно отнесся к возникшему старшинству Вавилова.

И только Усуров, глядя на Вавилова, недовольно хмурился, а когда Вавилов заговаривал с ним, отвечал неохотно, а иногда и вовсе не отвечал.

В полках стало известно, что началась боевая подготовка резервных частей и что сам

маршал Ворошилов руководит боевыми учениями дивизий.

В этом известии было нечто взволновавшее всех, от генералов до рядовых бойцов.

Ворошилов, руководивший шахтерскими дивизиями, оборонявшими Царицын в годы гражданской войны, был послан на Волгу делать смотр народному войску.

Вскоре начались боевые учения, и тысячи людей, вышедших в поле со своим могучим тяжелым и легким оружием, увидели седую голову маршала.

После полевых тактических учений состоялось совещание, созванное маршалом. Потом в одном из классов сельской школы Ворошилов долго беседовал с командирами дивизий, полков и начальниками штабов. Всех обрадовала хорошая оценка, данная маршалом боевой подготовке дивизии.

Все поняли — близился час боя.

Часть вторая

1

[В начале августа 1942 года генерал-полковник Ерёменко приехал в Сталинград. Накануне его приезда приказом Ставки были образованы два новых фронта — Юго-Восточный и Сталинградский. Юго-Восточный фронт заслонял от немецкого нашествия низовья Волги, калмыцкие и межозерные степи и южные подступы к Сталинграду.

Сталинградский фронт прикрывал северо-западные и западные подступы к городу.

Положение на обоих фронтах в начале августа было тяжелым. Сил у немцев было много: их полторастотысячная ударная армия располагала семьюстами танков, тысячью шестьюстами орудий и поддерживалась мощной авиацией Четвертого воздушного флота.

Эти силы намного превышали силы Юго-Восточного и Сталинградского фронтов.

Наступление, о котором Гитлер говорил с Муссолини во время зальцбургского свидания, по всем признакам близилось к успешному завершению. Огромные пространства были пройдены германской армией. Танковый немецкий таран рассек Юго-Западный фронт, правое крыло его отошло к Дону в районе Клетской, левое отходило на Ростов и дальше к Кавказу. Главные силы немцев устремились к Сталинграду. Расстояние от Волги до передовых линий исчислялось несколькими десятками километров.

В последних числах июля немцы, перегруппировав силы, начали решающее наступление — целью его был захват Сталинграда, выход к Волге.

Верховное Главнокомандование подчинило Сталинградский фронт генералу Ерёменко. Членом Военного совета этого фронта был назначен Хрущёв.] {165}

В те дни народ и армия воспринимали главным образом лишь трагическую сторону обороны на волжском обрыве. Среди дыма и пламени донского и волжского сражений люди еще не видели тех решающих, глубоких перемен, что произошли в течение года. Верховное Главнокомандование знало об этих переменах, знало о не осознанном людьми, но уже реально существующем превосходстве советской силы над фашистским насилием. Близился час, когда это превосходство, завоеванное в течение года борьбы, труда и страданий, должно было стать очевидным для сознания советских народов и народов мира.

И именно в этом заключалось пока скрытое, но истинное существо происходивших событий.

Летом 1942 года Гитлер продолжал наступать, но он не понимал, что наступление, несмотря на успех, уже не имеет для него решающих выгод. Единственный шанс его на победу был в молниеносности войны, но расчет на молниеносную войну был безумным расчетом, его перечеркнула Красная Армия.

Оборонительная битва на Сталинградской малой земле была особой битвой. Она завязывалась именно в тот час, когда производство советских орудийных стволов и военных моторов превысило немецкое, когда год работы рабочего класса, год войны перечеркнул преимущество гитлеровцев в вооружении и в военном опыте. Здесь во всей своей мощи родился советский маневр, и здесь немцы с ужасом ощутили за спиной манящее пространство, по которому можно отступить, и стали бояться окружения — жестокой хвори солдатских, а также генеральских умов, сердец и ног. <...> {166}

В тяжелую пору оборонительного сражения Верховное Главнокомандование, принимая все меры к тому, чтобы усилить оборону города, разрабатывало детали еще скрытого от взоров и сознания мира сталинградского наступления.

И люди, готовившие сталинградский удар, уже видели сквозь титанические трудности обороны те красные молнии, которые обрушатся на фланги немецкой группировки из района среднего течения Дона и из межозерного дефила на юге от Сталинграда.

Наступила пора, когда резервы — скрытая энергия народа и армии — получили приказ Верховного Главнокомандования участвовать в оборонительном сражении и одновременно готовиться к контрнаступлению.

Железная река разделилась на два русла — одно питало оборону, другое готовило наступление. Втайне ковалось наступление! Люди, готовившие его, прозревая будущее, видели тот день, тот час, когда соединится, сомкнется вокруг армии Паулюса тугое кольцо, отлитое из нержавеющей стали артиллерийских дивизий, танковых корпусов, дивизионов и полков гвардейских минометов, насыщенных огневой техникой пехотных и кавалерийских соединений. <...> {167}

Бескрайняя река людского гнева и горя не ушла в песок, не впиталась в землю, а волей народа, партии и государства перевоплотилась в труд и потекла обратно с востока на запад, чтобы страшной тяжестью своей поколебать чаши весов, превысив мощью русского оружия силу врага.

2

Когда человек читает надуманные книги, когда слушает надуманную, сложную музыку и смотрит на пугающую своей загадочностью надуманную живопись, он с беспокойством и тоской представляет себе: это все особенное, сложное, трудное и непонятное — и чувства, и мысли, и речи героев, и звуки симфоний, и краски живописи. Все это не такое, как у меня и тех, кто живет вокруг меня. Это иной, особенный мир — и человек, робея своей живой и естественной простоты, без волнения и радости читает эти книги, слушает такую музыку, смотрит такие картины. Надуманное искусство втиснуто между человеком и миром, как тяжелый и непреодолимый, сложный узор, как шершавая чугунная решетка.

Но есть книги, читая которые человек радостно говорит себе: «Ведь и я так думал, чувствовал и чувствую, ведь и я это пережил».

Это искусство не отделяет человека от мира, это искусство соединяет человека с жизнью, с миром, с людьми. Оно не рассматривает жизнь человека через особенное, «затейливое», цветное стеклышко.

Человек, читая такие страницы, словно растворяет жизнь в себе, впускает огромность и сложность человеческого бытия в свою кровь, в свою мысль, в свое дыхание.

Но эта простота — высшая простота белого дневного света, рожденного из трудной сложности цветных волн.

В этой ясной, спокойной и глубокой простоте есть истина подлинного искусства. Оно подобно ключевой воде, глядя на нее, человек видит дно глубокого ключа, травинки, камешки; но ключ не только прозрачность — он и зеркало: человек видит в нем себя и весь мир, в котором он трудится, борется, живет. Искусство объединяет в себе прозрачность стекла и мощь совершенного вселенского зеркала.

Это есть не только в искусстве — это есть на вершинах науки, в политике.

И стратегия народной войны, войны народа за свою жизнь и свободу, бывает такова.

3

[Прибывший в Сталинград новый командующий генерал-полковник Ерёменко был грузный пятидесятилетний человек, с круглым коротконосым лицом, с волосами, зачесанными ежиком над широким морщинистым лбом, с живыми глазами, скрытыми за очками в простой металлической оправе, какие носят вошедшие в возраст сельские учителя. Ходил Ерёменко прихрамывая, припадая на раненую ногу.

Во время войны 1914 года Ерёменко был в чине ефрейтора и теперь часто любил вспоминать свою солдатскую жизнь — его адъютанты сравнительно точно предсказывали ту минуту разговора, когда генерал напомнит собеседникам о штыковых атаках, в которых он участвовал.

Ерёменко знал работу войны от трудных и простых солдатских основ ее до высот полководчества. Для него война не была чрезвычайным происшествием.

В нем соединялись черты многоопытного генерала и черты простого, народного человека. Он хорошо понимал солдат.

Летом 1941 года Ерёменко командовал войсками на одном из участков Западного фронта, и с его именем была связана боевая операция, остановившая немецкое наступление на Смоленском плацдарме.

В августе он был назначен командующим Брянским фронтом, под его командованием армии фронта вели жестокие и тяжелые, неудачные бои с танковыми частями Гудериана, прорвавшимися к Орлу. Зимой 1941 года Ерёменко, командуя Северо-Западным фронтом, осуществил глубокий прорыв немецкой обороны.

Он приехал в Сталинград в самые тяжелые дни степного отступления, и могло показаться, что «лесисто-болотистый» Ерёменко, прошедший почти всю войну на устойчивых фронтах, не знает новых условий. Очень уж резко отличается, казалось, обстановка Юго-Западного фронта, штаб которого за год переместился от Тарнополя до Волги, а войска вели сражения в особо невыгодных условиях на равнинах и в степях, пересеченных множеством шоссейных и грейдерных дорог, от обстановки Северо-Западного фронта. Северо-Западный фронт был устойчив, его оборона залегла в болотах, в дремучих лесах, в жестоком бездорожье. Месяцами линия Северо-Западного фронта сохраняла прочную неподвижность. Эти условия, как день от ночи, отличались от условий военного театра Юго-Западного фронта, где немцы с особой силой и особым размахом применяли тактику обходного маневра, где главной силой войны были немецкие танковые клещи и вторгающиеся в прорыв массы мотопехоты и моторизованной артиллерии. Некоторые штабные работники, сомневавшиеся в опыте

Ерёменко, со смешной удовлетворенностью вспоминали те многочисленные окружения и стремительные отходы, которые им пришлось пережить.

Они не понимали что если Ерёменко был чужд их печального опыта отступления, не хотел знать науки степного отхода, то в этом как раз была его сила, а не слабость.

Они еще не понимали, что приближалась новая пора войны, пора, где в вождении войск нужен и полезен окажется весь бесценный, огромный опыт прошедшего года и не нужен, бесполезен будет опыт ночных эвакуаций, срочных перебазирований и штабных кочевий.]

Командующий фронтом разместил штаб в глубоком и душном подземелье. Многим это казалось чудачеством. Генерал пренебрег удобствами городских зданий и забрался в душную штольню, откуда командиры вылезали запыхавшись и долго щурились от яркого дневного света.

Этот зарывшийся в землю штаб странно противоречил прелести нарядного южного города, которую Сталинград сохранял наряду с чертами военной заботы и напряженного оборонного труда. Днем у голубых киосков с газированной водой толпились мальчишки, в павильоне-столовой над Волгой торговали холодным пивом, и волжский ветер шевелил скатерти на столиках и белые фартуки подавальщиц. В кино шла картина «Светлый путь» {168}, и на улицах стояли рекламные фанерные щиты, изображавшие улыбающуюся девушку в нарядном платье. В зверинце школьники и красноармейцы смотрели на похудевшего во время эвакуационных мытарств слона из Московского зоопарка. Книжные магазины торговали романами, где описывались работящие, смелые люди, чья мирная жизнь шла хорошо и разумно[, а студенты и школьники покупали учебники, где все было ясно — даже мнимые величины математики]. А ночью над заводами, заслоняя звезды, стлался тревожный, текучий, светящийся дым.

Город был полон людей, его распирало от приезжих, эвакуировавшихся из Гомеля, Днепропетровска, Полтавы, Харькова, Ленинграда, вывезенных с Украины вузов, детских домов, госпиталей...

Фронтальной штаб жил своей особой, отдельной от города жизнью. Черные провода полевых телефонов цеплялись за подстриженные садовниками ветви деревьев. Из покрытых засохшей грязью «эмок», с лучеобразными трещинами на стеклах, вылезали запыленные командиры и оглядывали улицы и дома тем особым, одновременно рассеянным и острым взглядом, каким несколько часов назад осматривали они высокий берег Дона; связные, нарушая все правила уличного движения и приводя в отчаяние милиционеров, проносились по улицам на мотоциклах, и за ними, как невидимый туман, тянулась тревога войны. Бойцы батальона охраны штаба бежали к кухням, стоявшим во дворах, громыхая котелками так же, как делали это в Брянском лесу и в селах Харьковщины...

Когда войска стоят в лесах, то кажется, они несут с собой машинное дыхание города в царство птиц, зверей, жуков, листьев, ягод, трав. Когда войска и штабы стоят в городах, то кажется, они вносят в город ощущение простора полей, лесов, степной вольной жизни. Приходит час, когда сосновые леса, от века знающие свой закон, и огромные, столетиями существующие города ломают свой строй и уклад, и война бушует среди пестрых лесных полян и площадей и улиц старинных городов.

Город уже чуял близкое дыхание войны. Днем в заоблачной высоте летали разведчики, ночью гудели одиночки бомбардировщики. По вечерам на улицах не было света, окна завешивались темной бумагой, одеялами, платками, во дворах и скверах были открыты щели на случай бомбежки, в подъездах и на лестничных площадках установлены бочки с водой и ящики с волжским песком. Ночью прожекторы шарили среди облаков, и с запада слышалась далекая пушечная стрельба. Некоторые люди уже готовили чемоданы, шили рюкзаки.

Жители окраинных деревянных домов рыли ямы и укладывали в них сундуки, швейные машины, обшитые рогожами, никелированные кровати. Некоторые сушили сухари, запасали муку. Одни готовились к немецким бомбежкам, беспокойно и плохо спали, мучились предчувствиями, другие считали зенитную оборону необычайно сильной и думали, что немецким самолетам никогда не прорваться к городу. Но все же жизнь шла по-прежнему, по-городскому, скрепленная обручами общественных, трудовых и семейных отношений, привычек.

4

В тесной подземной приемной командующего Сталинградским фронтом генерала Ерёмко {169} собрались журналисты, представители московских газет, телеграфного агентства и радиокомитета. Журналисты явились в назначенный час, но адъютант сообщил, что придется ждать. Генерал-полковник Ерёмко, который обещал рассказать журналистам о положении на фронтах, был занят на заседании Военного совета. <...> {170}

Разговор начался с шуток по поводу неурядицы между теми корреспондентами, которые ездили в части и бывали на передовой, и теми, что, не выезжая, сидели в штабах, давали по проводу информацию. Те, кто ездил в части, обычно запаздывали, застревали в пути, попадали в окружение, не имели связи, теряя общую ориентировку, зачастую писали не о том, что интересовало редакции. Те, кто сидел в штабах, передавали общую информацию всегда в срок и философски созерцали невзгоды и злоключения корреспондентов переднего края. Естественно, что те, кто действительно был свидетелем боев, сердились на штабных.

Взял слово Збавский, корреспондент «Последних известий по радио».

Збавский начал рассказывать, как он встречался с командующим на Брянском фронте и как генерал не отпустил его, угощал обедом, оставил ночевать.

Но корреспонденты не захотели слушать Збавского. Капитан Болохин, корреспондент «Красной звезды», резко изменил направление разговора. Этот капитан возил в чемодане с фронта на фронт книги любимых поэтов. Поэзия лежала вперемешку с военными картами, газетными вырезками, бельем, носками, портянками.

Он был щепетилен до утомительности, радовался чужим успехам — вещь среди пишущих сравнительно редкая. Его уважали за то, что он работал не покладая рук, не зная отдыха. Товарищи привыкли, проснувшись ночью в деревенской избе, видеть его большую голову, освещенную коптилкой, склоненную над военной картой.

Разговор перешел на главную тему. Завязался спор.

Один фотокорреспондент выражал свои мрачные мысли юмористически, говорил, что запас для себя надутую автомобильную камеру: через несколько дней придется вплавь добираться до восточного берега.

Но большинство спорящих считало, что город сдан не будет.

— Сталинград! — сказал корреспондент «Известий» и заговорил о том, что в городе построен первенец пятилетки, что оборона Царицына в девятнадцатом году — одна из самых героических страниц нашей истории.

— Помните, ребята,— сказал Болохин,— военный совет в Филях, как он описан у Толстого?

— Конечно, помню, гениально,— поспешил ответить Збавский, не помнивший этих страниц.

— Помните, как говорили на военном совете в Филях: «Неужели сдадим Москву, священную и древнюю столицу России?» А Кутузов ответил: «Правильно, верно, священная, но я ставлю

вопрос военный: можно ли защищать населенный пункт Москву вот с таких-то и таких-то позиций?» И сам ответил: «Нет, нельзя». Понятно?

Он указал рукой на дверь — и все невольно подумали: может быть, в это время происходит заседание военного совета, такое же, как происходило осенью 1812 года в Филях?

Все находившиеся в приемной поднялись, когда из кабинета командующего стали выходить генералы, участники заседания. <...> {171}

Командующий пригласил журналистов в маленькую душную комнату, ярко освещенную электричеством. Корреспонденты, шумно усаживаясь, стали вынимать из планшетов и полевых сумок бумагу и блокноты.

[— Вы меня помните, товарищ генерал-полковник? — спросил Збавский.

— Постой, постой, где это я вас видел? — морща лоб, проговорил Ерёменко.

— Ну как же, я у вас обедал в Брянском лесу.

— Кто только у меня не обедал,— сокрушенно покачав головой, сказал Ерёменко.— Не вспоминаю.

Збавский смутился, поняв, что товарищи сживут его со света,— он тотчас услышал их пофыркивание и увидел полные лукавого веселья глаза.

Ерёменко, прихрамывая, подошел к столу. Усаживаясь, он неловко повернулся и закричал. Видимо, полученная зимой под Андрианополем {172} рана причиняла ему боль.

— Как ваше ранение, товарищ командующий? — спросил корреспондент «Правды».

— Осколок мины попал, седьмое ранение, пора привыкнуть. Погоды плохой не любит. Вот я сюда перебрался, тут климат для меня подходящий, сухой,— усмехнувшись, ответил командующий, разглядывая лица корреспондентов.

— А вы не считаете, что придется изменить климат? — спросил Болохин.

Ерёменко поверх очков сердито посмотрел на него и ответил:

— Зачем? Я из Сталинграда уходить не собираюсь.]

Ударив большой ладонью по столу, генерал строго, коротко сказал:

— Давайте спрашивайте! Времени у меня мало.

Ему стали задавать вопросы о положении на фронте. Короткими словами он обрисовал напряженную фронтовую обстановку. Хаос атак и контратак, ударов и контрударов, в котором, казалось, так трудно было разобраться, вдруг упрощался, едва генерал быстрым движением обрисовывал на карте район немецкого наступления. То, что представлялось особо важным сторонним наблюдателям, оказывалось пустой, отвлекающей демонстрацией, а иногда то, что выглядело как успех немецкого командования, в действительности являлось неудачей, срывом его замысла.

Болохин ощутил, насколько ошибочны были его представления о начавшемся утром 23 июля крупном наступлении северо-восточной и юго-западной немецких армий. Ему казалось, что концентрические удары немцев, приведшие к окружению нескольких частей, входивших в 62-ю армию, представляют собой крупнейший успех немецкого командования. А в штабе совсем по-иному оценили результат этих почти двухнедельных ожесточенных боев на всех

семидесяти тысячах квадратных километров Донского поля войны, позволивших немцам прорваться к Дону,— здесь считали, что немцы своей главной цели не достигли и втянулись в затяжное сражение, которого не ждали и не хотели. Пятьсот немецких танков, сокрушительный удар которых должен был привести к достижению главной цели, растрачивали свою мощь в жестоких битвах на берегах Дона, и хотя немцам удавалось, используя численное превосходство, прорывать советскую оборону, теснить, окружать некоторые советские полки и дивизии, успех их приводил лишь к частным тактическим результатам.

Произвольно построенная Болохиным схема кутузовского отношения к предстоящему Сталинградскому сражению рушилась.

В первые минуты разговора генерал ощутил невысказанный, тайный спор, завязавшийся между ним и Болохиным. В голосе его послышалось раздражение, на лбу появились длинные морщины, и лицо от этого стало недоброе.

[Командующий не предполагал переводить штаб за Волгу, он вообще не собирался отступать. Здесь, в городе, многие помышляли об упаковке вещей, о лодках, о понтонной переправе, о плотках, о досках, о надувных камерах, о катерах,— словом, о многообразных способах сменить правый берег на левый.

Голос его минутами звучал раздраженно, видимо, он уже не первый раз втолковывал людям, что не собирается уходить за Волгу.

Тонким голосом, не соответствующим его массивной фигуре, Ерёменко говорил совсем не о том, о чем говорил Кутузов на совете в Филях.] Но когда корреспондент спросил о настроении войск, Ерёменко улыбнулся и оживленно заговорил о боях, шедших на юге.

— Хорошо шестьдесят четвертая дерется! Вы знаете о бое на семьдесят четвертом километре {173}, кое-кто из ваших побывал там. Образцово, зло дерутся. Вот, чем со мной разговаривать, поезжайте в армию, заезжайте в бригаду тяжелых танков к полковнику Бубнову {174}, о его танкистах романы писать, не то что статьи... А полковник Утвенко! {175} Пехота, какие молодцы! Сто пятьдесят танков пустил немец — не дрогнули, стоят, шутка ли!

— Я был у Бубнова,— сказал один из корреспондентов,— замечательный народ, товарищ генерал, на смерть как на праздник идут.

Генерал, прищурившись, посмотрел на говорившего.

— Это вы бросьте,— сказал он,— на смерть как на праздник... Кому особенно хочется умирать? — И, подумав несколько мгновений, тихо сам себе ответил: — Никому умирать не хочется, и вам не хочется, товарищ писатель, и мне, и красноармейцу не хочется.— И уж сердито, совсем убежденный в неправильности сказанных корреспондентом слов, тонким голосом повторил: — Нет, никому умирать не хочется. Немца бить — это другое дело.

[Болохин, желая замять оплошные, не понравившиеся командующему слова товарища, сказал:

— Танкисты ведь, товарищ генерал-полковник, народ молодой, горячий, юноши, они уже ни о чем не думают, когда в бой идут! Молодые — лучшие солдаты.

— Вот вы и ошиблись, товарищ корреспондент. Лучше молодые? Молодые очень горячи. Думаете, старики? И тоже нет. У пожилого уж мысли больше насчет дома, насчет семьи, насчет жены, насчет хозяйства, ему лучше в обозе быть. Лучший солдат — средних лет...] Война — это работа. Как в работе, так и на войне. Надо опыт жизненный иметь, рабочий

опыт, жизнь чтобы намяла бока, подумать обо всем. А вы думаете, солдату только «ура» кричать и на смерть бежать как на праздник? Воевать не просто. Работа солдата сложная, тяжелая работа. Солдат, когда долг велит, говорит: тяжело умирать, а надо!

Он поглядел Болохину в глаза и, точно заканчивая спор с ним, сказал:

— Вот, товарищ писатель, умирать мы не хотим, и смерть для нас не праздник, а Сталинград не сдадим. Стыдно нам было бы перед всем народом.

И, опершись ладонями на стол, привстал, искоса поглядев на ручные часы, и качнул головой.

Выходя из кабинета, Болохин шепотом сказал товарищам:

— По-видимому, сегодня история не хочет повторяться.

Збавский взял Болохина под руку.

— Кстати, слушай, Болохин, у тебя есть лишние талоны на бензин, дай мне, а получим лимит на следующий месяц,— честное слово, в тот же час отдам.

— Ладно, ладно, дам,— торопливо сказал Болохин.

Волнение охватило его. Понимание своей ошибки радовало, а не печалило корреспондента... Он ощутил, что вопрос, который представлялся ему ясным, не только военный, оперативный, тактический.

Чьи взгляды выражал генерал?

Не тех ли, что в побелевших от соленого пота гимнастерках выходили к берегу Волги и оглядывались, точно спрашивая себя: «Вот она, Волга. Неужто дальше отступить?»

5

Старик Павел Андреевич Андреев считался одним из лучших сталеваров на заводе. Инженеры советовались с ним и побаивались спорить. Он редко пользовался данными экспресс-лаборатории, делавшей при каждой плавке несколько подробных и точных анализов, лишь изредка заглядывал в листочек с основными определениями составных частей шихты. Да и заглядывал он в этот листочек из вежливости, чтобы не обидеть химика, полного человека, страдавшего одышкой. Химик торопливо поднимался по крутым ступенькам в цеховую контору и говорил:

— Вот и анализ, надеюсь, я не опоздал?

Ему, должно быть, казалось, что Андреев волнуется, успеет ли анализ к загрузке либо к выпуску плавки.

Химик окончил Институт стали, после работы он преподавал в техникуме и на вечерних курсах, а однажды в большом зале Дома культуры читал публичную лекцию: «Химия в металлургии». Об этой лекции извещали афиши, вывешенные возле проходной, у входа в завком, продовольственный магазин, библиотеку и цеховую столовую. Павел Андреевич усмехнулся, глядя на эту афишу. Он бы не смог прочесть лекцию о термоэлектрических способах измерения температур, о газовых термометрах, экспресс-методах спектрального и микрохимического анализа.

Павел Андреевич всю жизнь уважал образованных людей, гордился знакомством с учеными людьми и считал, что только ученые люди могут распутать сложные дела жизни.

Заводская библиотекарша относилась к самым почетным читателям и даже давала ему на дом книги, имеющиеся в библиотеке в одном экземпляре.

Однако она не заметила одного обстоятельства: среди прочитанных стариком рабочим книг не было ни одной по металлургии и сталеварению, ни одной популярной брошюры о химических, физико-химических процессах варки стали. Но это не означало неуважения старого Андреева к науке, объяснявшей его работу. Поэтам не нужны учебники поэзии. Они сами определяют рождение стиха и законы слова.

Андреев уважал науку варки стали и не шел противоположным науке путем; собственно, он шел в работе тем же путем, что и ученые-инженеры. Он не был самоуверен и в работе никогда не «шаманил», что делали некоторые старые мастера. Физико-химическая экспертиза была как бы включена в хрусталик его глаза, в осязающие нервы его пальцев и ладоней, в его слух, память, хранившую опыт нескольких десятилетий работы.

Андреев искал в книгах объяснения того, что было ему непонятно. Когда невестка не поладила с Варварой Александровной, жизнь дома стала тяжела: женщины все время ссорились. Павел Андреевич пробовал помирить их, но от этого произошел еще больший шум. Именно в эту пору он взял в библиотеке книгу Бебеля «Женщина и социализм», надеясь, что она поможет ему разобраться семейную путаницу — название выглядело подходящим. Но оказалось, книга написана была не по тому поводу.

На заводе работали молодые инженеры и мастера-сталевары, окончившие техникумы и специальные курсы. Они действовали не так, как Андреев: постоянно ходили в лаборатории, посылали пробы на анализы, то и дело глядели в утвержденную схему процесса, сверяли температуру, подачу газа, вечно носили с собой стандарты, инструкции, ездили на консультации. Дело у них шло неплохо, не хуже, чем у Андреева.

Среди них один человек особенно восхищал Андреева — сталевар четвертой печи Володи Коротеев. Это был широконосый, толстогубый парень лет двадцати пяти, с вьющимися волосами; когда он задумывался, толстые губы его надувались и во всю ширь лба, от виска к виску, образовывались три морщины.

У него работа шла без аварий и брака, он работал, словно шутил,— легко, весело, просто. Когда во время войны Андреев вновь вернулся в цех, Володя Коротеев был уже мастером, а на его печи в дневной смене работала сталевар-девушка, суровая, неразговорчивая Оля Ковалева, и у нее работа шла не хуже, чем у стариков. Как-то в печь загрузили материал по новой рецептуре. Ковалева подошла к Андрееву и спросила, как вести плавку. Андреев долго молчал, прежде чем ответить, и сказал: «Не знаю. Надо Коротеева спросить. Он парень ученый». Этот ответ восхитил всех в цехе. «Вот настоящий рабочий,— говорили об Андрееве,— вот человек!»

Он любил труд страстной и одновременно спокойной любовью. Для него весь труд человеческий был равно почтенен, и он одинаково относился к сталеварам, электрикам, машинистам — рабочей знати завода — и к землекопам, подсобным рабочим в цехах и во дворе, к тем, кто делал самую простую работу, ту, что мог делать всякий имеющий две руки. Конечно, он посмеивался над людьми иной рабочей профессии, но насмешка эта была лишь добродушным выражением приязни, а не враждебности. Для него труд был мерилем людей и отношений с людьми.

Его отношение к людям было дружелюбно, его рабочий интернационализм был так же просто присущ ему, как любовь к труду и вера в то, что люди живут на земле, чтобы работать.

Когда во время войны он вернулся в горячий цех и секретарь партийной организации на одном из собраний упомянул о нем: «Вот рабочий, пожертвовавший и здоровьем и силами ради общего дела», Андрееву стало неловко. Ему казалось, что никакой жертвы он не принес

— наоборот, он чувствовал себя хорошо. Записываясь на работу, он уменьшил себе возраст на три года и все боялся, как бы это не выяснилось.

— Я вроде воскрес из мертвых,— сказал он своему приятелю Полякову.

Покойного Шапошникова, беседовавшего когда-то с ним на пароходе, он помнил несколько десятилетий и перенес свое уважение на семью его: тот правильно подсказал ему, что владыкой мира станет труд.

Но вот началась война — шли фашисты, и цели их были смертельно враждебны тому, во что верил и чем жил старик Андреев, и, хотя дела их были подлыми, сила пока была у них.

6

Павел Андреевич ужинал на кухне перед тем, как уходить в ночную смену. Ел он молча, не глядя на жену, стоявшую возле стола и ожидавшую, пока он попросит добавки — обычно перед уходом на завод он съедал две тарелки жареной картошки.

Когда-то Варвара Александровна считалась самой красивой девушкой в Сарепте {176}, и все ее подруги жалели, что она пошла замуж за Андреева. Он в ту пору работал старшим кочегаром на пароходе, а она была дочерью механика; считалось, что с ее красотой она могла пойти и за капитана, и за владельца царицынского пристанского буфета, и за купца.

Прошло сорок лет — они оба состарились, и все еще ясно было видно, что Андреев — некрасивый, сутулый, с угрюмым лицом и жесткими волосами — не пара высокой, ясноглазой и белолицей старухе со спокойными, величавыми движениями.

— Господи,— проговорила Варвара Александровна, вытирая полотенцем клеенку.— Наташка в детдоме дежурит, только утром придет, ты в ночную смену уходишь, и я с Володей опять одна остаюсь, а если налетит — что мы вдвоем делать будем?

— Не налетит,— ответил Андреев,— а если налетит и я дома буду — что я ему сделаю, у меня зенитки нет.

Варвара Александровна сказала:

— Вот ты всегда так. Нет уж, решила, уеду к Анюте, не могу я так.

Варвара Александровна боялась бомбежек. Она наслушалась в очередях историй о воющих бомбах, падающих с небес на землю, о женщинах и детях, погребенных под развалинами домов. Ей рассказывали о домиках, поднятых силой взрыва и брошенных на десятки саженей от того места, где они стояли.

По ночам она не спала, все ждала налета.

Она сама не понимала, отчего так велик ее страх. Ведь и другие женщины боялись, но все они ели, спали, многие, храбрясь, с задором говорили: «Э, будь что будет!» А Варвара Александровна не могла ни на минуту отделаться от давящей тяжести.

В бессонные ночи ее мучила тоска о сыне Анатолии, пропавшем без вести в начале войны. И невыносимо было Варваре Александровне глядеть на невестку — той, казалось, все было нипочем. Она после работы ходила в кино, а дома так шумно ступала и хлопала дверями, что у Варвары Александровны внутри все холодело; казалось, прилетел, проклятый, кидает...

Никто, думалось ей, не любил так преданно свой дом, как она. Ни у кого из соседок не было такой чистоты в комнатах — ни соринки, ни таракана на кухне; ни у кого не было такого славного фруктового садика и богатого огорода. Она сама красила полы оранжевой краской и

оклеивала обоями комнаты. Она копила деньги на красивую посуду, на мебель, на картинки, висевшие на стенах, на занавески, на кружевные накидочки для подушек. И ныне на этот маленький трехкомнатный домик — «картиночка» — говорили соседи,— которым она так гордилась и который так любила, надвинулась испепеляющая гроза; и беспомощность и страх объяли ее...

Терзания ее были велики, и она поняла: дольше сердцу не выдержать, и приняла решение — забить мебель в ящики, закопать их в саду и в погребе, уехать за Волгу, в Николаевку, где жила ее младшая сестра. Через Волгу, считала она, немец не перелетит.

Но тут-то произошел спор с Павлом Андреевичем. Он не захотел ехать. За год до войны врачебная комиссия запретила ему работать в горячем цехе. Он перевелся в отдел технического контроля, однако и там работа оказалась тяжела для него, два раза у него были приступы сердечного удушья. Но в декабре сорок первого года он снова пошел работать в цех.

Стоило ему сказать слово, и директор отпустил бы его, дал бы грузовик, чтобы подвезти к переправе вещи. Но Павел Андреевич сказал, что из цеха не уйдет.

Сперва Варвара Александровна отказалась ехать без мужа, потом на семейном совете все же решили, что она с невесткой и внуком поедет за Волгу, а он пока останется.

И в этот вечер она снова завела разговор об отъезде. Говорила она, обращаясь не к мужу, а попеременно то к внуку, черноглазому Володе, то к кошке, а большей частью к воображаемому собеседнику, очевидно человеку разумному, рассудительному и достойному доверия.

— Ну вот, посмотрите на него, пожалуйста,— говорила она, обращаясь к печке, возле которой, по-видимому, в этот момент стоял ее воображаемый собеседник,— остается один, кто же за всем присмотрит? Вещи все в саду и в погребе будут закопаны. Сами понимаете, теперь такое время, что в доме ничего держать нельзя. Человек старый, больной: хоть волос у него черный, но он полную инвалидность по второй группе имеет. Разве можно больному человеку оставаться на такой работе? Бомбить немцы что будут? Ясно, завод первым делом. Это разве место для инвалида? Да завод и с ним и без него станет.

Воображаемый собеседник ничего не отвечал, внук вышел во двор посмотреть, как светят прожекторы, муж, по обычаю своему, молчал. Варвара Александровна вздохнула и продолжала свои доводы:

— Вот некоторые женщины говорят: «Не отойдем от своих вещей: где имущество закопано, там и люди должны находиться». Разве это правильно? Вот смотрите: шкаф зеркальный, комод, посуды сколько — и то не жалко, все оставляем. Ведь вот-вот налетит, проклятый. Но если уж ты остаешься, ты хоть присмотри за вещами. Вещи — дело наживное, а оторвет ногу или голову — новых не наживешь. Но раз уж остается человек...

Андреев сказал:

— Твои рассуждения не поймешь. То ли ты меня жалеешь, то ли хочешь, чтобы я дом стерег.

Варвара Александровна жалобно проговорила:

— Я сама себя не пойму, растерялась я совсем.

Володя вошел в кухню и сказал мечтательно:

— Может быть, сегодня налет будет, уж очень много прожекторов.— Блестя веселыми глазами, он спросил: — Дедушка, а кошка за Волгу поедет или с вами останется?

Варвара Александровна даже поперхнулась от удовольствия и сказала тонко и певуче:

— Ну как же, ну как же, кошка хозяйство ему будет вести, вместе с ним в заводе будет работать, карточки отоваривать.

Андреев, рассердившись, сказал:

— А ну-ка молчи.

Варвара Александровна гневно крикнула длинной скуластой кошке, вскочившей на стол:

— Марш со стола, змея, я еще здесь хозяйка!

Андреев поглядел на стенные часы и, усмехаясь, сказал:

— А Мишка Поляков в ополчение записался, в минометную роту, думаю и я записаться.

Варвара Александровна сняла с гвоздика брезентовую куртку мужа и попробовала пуговицы, крепко ли пришиты.

— Только тебе за Поляковым, тоже воин, песок с него сыплется!

— Нет, отчего, Мишка парень еще крепкий.

— Ну, ясное дело — Гитлер сразу побежит, когда Мишку Полякова увидит...

Она принялась высмеивать Полякова, зная, что мужу неприятно, когда ругают его старого друга, с которым он вместе воевал еще в восемнадцатом году под Бекетовкой {177}. Ее всегда раздражала непонятная дружба солидного, серьезного Павла, молчаливого, взвешивающего каждое слово, с балагуром Поляковым.

— И первая жена от него ушла еще тридцать лет назад, когда он совсем молодой был. У него одно дело было: за девками гонять,— говорила она.— А вторая только потому держится, что дети и внуки при них... И плотник он никуда, одно звание плотник. А Марья его, подумать только, нахальства набралась, говорит: «Моему Мише доктор не велел табаку курить и водки пить, а он пьет только через вашего Павла Андреевича. Я, говорит, уж знаю, если в выходной к вам пойдет, обязательно домой пьяный приходит». Господи, я ей прямо в глаза засмеялась: «Ваш Михаил Иванович знаменитый на этот счет, его не то что в Рынке, в Сарепте знают».

В эти тревожные дни Варвара Александровна иногда удивлялась, откуда у нее берется смелость спорить с мужем, он бывал дома очень сердит. Но теперь Павел Андреевич не сердился, а молчал. Он понимал, что вся руготня ее идет от беспокойства, от мыслей об отъезде, о расставании с мужем, домом.

В семье он бывал крут, нетерпим, а чужим людям умел прощать слабости. Какое-то равнодушие было у него к дому: купит она новую вещь — хорошо, разобьется какой-нибудь дорогой предмет — ничего, словно не его это касается. Как-то давно попросила Варвара Александровна принести с завода несколько медных шурупов.

— Ты что, обалдела? — грубо сказал Павел Андреевич.

И в тот же день она вдруг заметила, что из комода исчезли суконные лоскуты, которые она хранила для починки зимнего пальто. Когда она сказала о пропаже мужу, он объяснил:

— Это я взял, компрессор обтирать.— И пояснил: — Беда с ветошью, нечем масло обтирать, а компрессор новый, нежный.

Долгие годы она помнила об этом случае. Да и в последнее время — такой же он. Зайдет

соседка, скажет: «Ваш не приносил с завода муки? Мой два кило получил. У них в цеху давали». Варвара Александровна спросит:

— Почему же ты не взял, вот на прошлой неделе масло давали подсолнечное, тоже не принес.

А он отмахнется:

— Думал подойти, когда очереди не будет, а мне не хватило.

Ночью Варвара Александровна долго не спала, прислушивалась, потом встала с постели, бесшумно, босыми ногами ходила по комнатам, приподняв маскировку с окна, всматривалась в загадочное, светлое небо. Она подошла к спящему Володе и долго смотрела на его крутой смуглый лобик, полуоткрытые губы. Он был похож на деда: некрасивый, жестковолосый, коренастый. Она поправила на нем сползшие с живота на бедра трусики, поцеловала его в теплое худое плечико, перекрестила, снова легла.

Много передумала она за эти бессонные ночные часы.

Сколько лет она прожила с Павлом Андреевичем... Да что там годы считать — жизнь с ним прожила! Не поймешь, хорошо ли, плохо. Варвара Александровна ни одному, самому близкому человеку никогда не говорила об этом, но в первые годы замужества она была несчастна. Не о том она мечтала девушкой... Подруги говорили: «Ты и за офицера пойдешь, капитаншей будешь». И она мечтала жить в Саратове или Самаре, ездить в театр на извозчике, ходить с мужем на танцы в Благородное собрание. А вот взяла да и вышла за Андреева — он говорил, что в Волге утонится, если она не пойдет за него. Она все смеялась и вдруг сказала ему: «Я согласна, пойду за тебя, Павел».

Сказала слово — и вот вся жизнь.

Человек он хороший, но характер у него тяжелый, странный. Такие молчаливые домоседы обычно бывают людьми хозяйственными, любят дома вникать во все мелочи, копят деньги, вещи. А он не такой.

Как-то он ей сказал:

— Вот бы, Варя, сесть в лодку и поехать до Каспия, а там еще и еще, в далекие края. Так я ничего уж до смерти не увижу.

А ее всегда жгло честолюбие, ей всегда хотелось гордиться перед людьми. И ей было чем гордиться. Ни у кого из соседей не было такой красивой обстановки, такой беседки в саду, таких фруктовых деревьев, таких цветов на окнах.

Она знала, каков ее Андреев в работе, и готова была со всяким поспорить, что нет лучше и умней рабочего, чем он, на всех трех заводах, нет ни в Донбассе, ни на Урале, ни в Москве.

Она гордилась его дружбой с Шапошниковыми и любила рассказывать соседкам, как хорошо и с каким уважением принимают они Андреева, и показывала письма с поздравлениями, которые Александра Владимировна присылает им на Новый год.

Как-то на Первое мая к ним приехали в гости директор и главный инженер. У ворот стояли две машины. Соседки, млея от любопытства, выглядывали из калиток, льнули к стеклам. У Варвары Александровны руки холодели от радости, гордость жгла ее огнем. А Павел встретил гостей спокойно, словно не директор приехал, а старый плотник Поляков зашел под выходной, после бани, выпить стопочку белого.

Она была дочерью механика, прожила всю жизнь при большом заводе и знала, какое великое

дело быть первым рабочим в огромном рабочем городе. О, теперь-то она знала, что это почетней, чем владеть буфетом на пристани.

Так прожили они жизнь, но спроси ее кто-нибудь, любила ли она его, любит ли,— Варвара Александровна пожалала бы плечами: она давно уже не думала об этом.

Потом ей стал мерещиться Анатолий, она видела его детские глаза, слышала тихий голос. И так почти каждую ночь — вспоминалось прошлое, мучила тоска о сыне, потом приходили злые мысли о невестке.

Наталья была женщиной шумной, обидчивой, своевольной.

Варвара Александровна считала, что Наталья женила на себе Анатолия хитростью, она ему не жена ни по уму, ни по красоте, ни по родне, которая занималась до революции мелкой торговлей. У Варвары Александровны имелась своя особенная логика, и по этой логике получалось, что дизентерией в 1934 году Анатолий болел из-за Натальи, и строгий выговор за прогул после праздника Первого мая, совпавшего с пасхой, он получил из-за Натальи. Когда Наталья ходила с мужем в кино или на стадион, свекровь сердилась, что невестка совсем забывает о ребенке; когда Наталья шила сыну костюмчик, Варвара Александровна осуждала ее: Анатолий ходит с продранными локтями и в нештопаном белье, а невестка думает лишь о мальчишке.

Но и Наталья не была женщиной кроткого нрава. В сражении с нею Варваре Александровне приходилось нелегко. Наталья тоже осуждала и винила свекровь чуть не за каждый поступок.

Наталья поступила на работу в детский дом, проводила там время с утра до вечера, часто после работы она заходила к знакомым. Варвара Александровна замечала все: и когда, придя домой, она отказывается ужинать, и какое на ней платье, и когда она сделала перманент, и как она бормочет во сне, и как она иногда с Володей разговаривает рассеянно, с виноватой нежностью. И по всем этим признакам Варвара Александровна обличала Наташу.

Павел Андреевич пробовал уговорить их, объяснял, что жить нужно по-справедливому и доброму; как-то раз он вышел из себя, замахнулся кулаком, разбил розовое блюдо и чашку, из которой восемнадцать лет пил чай, грозил выгнать и грозил сам уйти. Но, видимо, ему стало ясно, что он лишь себя изведет, а делу не поможет — ни силой, ни добром.

Вначале Варвара Александровна говорила, что не его забота вмешиваться в бабьи свары, но когда он перестал вмешиваться, она то и дело корила его:

— Ты что ж, не видишь, что ли, ты что ж не скажешь ей!

— Уйди,— говорил он.

Вот с этой Наташей ей предстояло совершить тяжелый путь. Но о будущем ей трудно было думать — таким безрадостным казалось оно.

7

Смена работала восемнадцать часов. От грохота и гула содрогалась высокая железная коробка мартеновского цеха. Этот грохот шел из соседних цехов и с заводского двора. Его рождал прокат, где застывающие мерцающие сизые плиты и листы теряли немоту, присущую жидкой стали, гремели и звенели молодыми, вдруг обретенными голосами. Грохот рождали тяжкие пневматические молоты, сминавшие прыщущие искрами, сочные, помидорно-красные слитки металла. Этот грохот рождался стальными чушками, падавшими на товарные платформы, выложенные рельсами, чтобы предохранить дерево от еще горячего, неостывшего металла. И рядом с железным грохотом рождался гул моторов и вентиляторов,

скрежет и звон цепей, волочивших сталь...

В цехе стоял сухой жар. В нем не было ни молекулы влаги, белая сухая метелица бесшумно мерцала в каменном ранжире печей, стоявших в высоком полусумраке цеха. Колючая пыль, поднятая внезапным, врывающимся с Волги сквозняком, ударяла в лицо рабочим. Сталь лилась в изложницы, и вдруг сумеречный воздух наполнялся облаком стремительных искр, в краткую секунду своей прекрасной и бесполезной жизни подобных то безумной белой мошкаре, то опадающим лепесткам цветущей вишни. Иногда искры садились на плечи и руки рабочих и, казалось, не гасли, а, наоборот, рождались на этих разгоряченных работой людях.

Некоторые рабочие, собираясь передохнуть, подкладывали под голову кепку, а ватник стлали на кирпичи либо на чушку металла: в этом железном цехе не было мягкого дерева и земли, а лишь сталь, чугун и камень.

Отдыхавших людей клонило ко сну от постоянного грохота. Потревожить, поднять их мог внезапный приход тишины. Тишина в этом цехе могла быть лишь тишиной смерти либо тревоги и бури. В грохоте жил покой завода.

Работавшие подошли к границе человеческой выносливости. Лица их потемнели, щеки ввалились, глаза воспалились. Состояние многих рабочих можно было, несмотря на все это, назвать счастливым <...> {178},— в эти часы непрерывного ночного и дневного тяжелого труда они переживали чувство свободы и вдохновения борьбы.

В заводской конторе жгли архивы — отчеты о выработке прошлых лет, жгли планы. Подобно солдату, вступившему в свой смертный бой и не думающему ни о том, что ждет его через год, ни о прошлых волнениях своей жизни, огромный металлургический завод жил жизнью сегодняшнего дня.

Сталь, выплавленная сталеварами на «Красном Октябре», тут же рядом, на Тракторном и «Баррикадах», рождала броневые плиты танков, стволы пушек и тяжелых минометов. День и ночь уходили танки своим ходом на фронт, день и ночь пылили грузовики и тягачи, тянувшие к Дону орудия. Прочная связь объединяла тех артиллеристов, башенных стрелков, которые огнем орудий, гусеницами тяжелых танков отбивали натиск прущего на Сталинград противника, с теми сотнями и тысячами рабочих, мужчин и женщин, стариков и молодых, которые в нескольких десятках километров от линии фронта трудились на заводах. Это было простое и ясное единство, единая, глубоко эшелонированная оборона.

Под утро в цех пришел директор завода, полнотелый человек в синей длинной гимнастерке, в мягких шевровых сапогах.

Рабочие, шутя, говорили, что директор бреется дважды в день, а сапоги начищает перед каждой сменой, три раза в сутки. Но теперь, видимо, он сапог не чистил и не брился, его щеки поросли темной щетиной.

Директор знал, каким будет завод через пять лет, он знал, какого качества придет сырье, какие заказы придут осенью, а какие к весне. Он знал, как будет обстоять дело со снабжением электроэнергией, откуда придет лом и что будут завозить в промтоварные и продовольственные распределители. Он ездил в Москву, Москва звонила ему по телефону, с ним совещался первый секретарь обкома. От него зависело хорошее и плохое: квартиры, денежные премии, продвижение по службе, выговоры, увольнения.

Заводские инженеры, главный бухгалтер, главный технолог, начальники цехов говорили: «Обещаю попросить директора»; «Доложу вашу просьбу директору»; «Надеюсь, директор поможет», либо, наоборот, грозили директорским гневом: «Представлю директору на увольнение».

Он прошел по цеху и остановился возле Андреева.

Их окружили рабочие.

И тот вопрос, который обычно задавал директор, приходя в цех, на этот раз строго задал рабочий:

— Как работа? Как дело?

— Положение тяжелей с каждым часом,— ответил директор.

Он сказал, что металл, обращенный в танки, уходя с заводского двора, через 14—16 часов уже воюет с немцами, что крупная воинская часть, получившая ответственное задание, потеряла технику во время авиационного налета и от сверхплановой выдачи металла зависит многое — солдаты ждут. Сказал, что людей не хватает, некого ставить на работу. Коммунисты, сотни лучших людей уходят в армию.

— Устали, товарищ? — спросил он, поглядев прямо в глаза Андрееву.

— Кто теперь отдыхает,— ответил Андреев и тут же спросил: — Остаться на вторую смену?

— Надо остаться,— ответил директор.

Он не приказывал, он в эту минуту был не только директором завода. Сила его была не в том, что он может дать премию, прославить, представить к награждению медалью либо, наоборот, взыскать, перевести на низший разряд,— разве в такие дни все это имело значение?

И он понимал это, оглядывая лица людей, стоявших возле него. Он знал, что на заводе работают не только идеальные, влюбленные в труд люди. Среди рабочих имелись люди, работавшие без души, по необходимости. [Имелись равнодушные и безразличные, имелись люди, решившие, что у завода нет и не будет завтрашнего дня, имелись такие, которые умение ладить с начальством ставили выше умения работать.]

Он поглядел на Андреева.

Белое пламя освещало нахмуренный лоб, и лицо его поблескивало так же, как поблескивали покрытые копотью балки перекрытий.

Андреев словно нес в себе главное правило жизни и работы. Нечто более важное и сильное, чем личные интересы и тревоги, торжествовало в жизни в эти дни — главное естественно и просто брало верх в решающий час народной судьбы.

Андреев сказал:

— Какой же может быть разговор, останемся, уж коли так, останемся.

Пожилая женщина в брезентовой куртке, с головой, повязанной красной замасленной косынкой, сверкнув белыми зубами, сказала:

— Ничего, сынок, раз надо, проработаем и две смены.

Смена осталась в цехе.

Люди работали в молчании, не было обычных приказаний, сердитых объяснений, которые толковые делали бестолковым.

Минутами Андрееву казалось, что рабочие молча говорят между собой. Он поворачивал голову в сторону узкоплечего парня в полосатой тельняшке, Слесарева. Тот оглядывался и

бежал к воротам цеха, подгоняя вагонетки с порожними изложницами, а ведь именно об этом думал Андреев, глянув на Слесарева.

Легкость движений непонятно существовала рядом с изнурением и усталостью.

Все работавшие в цехе, не только кадровые, сознательные передовики, коммунисты и комсомольцы, но и озорные девушки с подбритыми бровями, в брезентовых штанах и сапогах, поглядывавшие временами в круглые зеркальца, и угрюмые эвакуированные мужчины, не умевшие работать, и семейные женщины, часто бегавшие смотреть, не дают ли чего в распределителе,— все они теперь были охвачены бескорыстным вдохновением общего труда.

В обеденный перерыв к Андрееву подошел человек с худым лицом, одетый в зеленую солдатскую гимнастерку. Андреев рассеянно посмотрел на него, сразу не узнал. Это был секретарь заводского комитета.

— Павел Андреевич, зайдите сегодня в четыре часа в кабинет к директору.

— Это для чего? — сердито спросил Андреев, ему подумалось, что директор станет его уговаривать эвакуироваться.

Секретарь несколько мгновений смотрел на него и сказал:

— Получено утром указание подготовить завод к взрыву, мне поручили подобрать людей,— и взволновался, полез в карман за кисетом.

— Нет, этому не бывать,— сказал Андреев.

8

Мостовской позвонил своему знакомому, работнику обкома Журавлеву, и просил помочь ему добраться до завода.

— Вам хорошо бы на «Красный Октябрь»,— сказал Журавлев,— там ведь ленинградцы есть, эвакуированные с Обуховского завода,— земляки ваши.

Он позвонил по телефону секретарю заводского партийного комитета и в Тракторозаводский райком партии, предупредил о поездке Мостовского. Он послал Мостовскому свою машину, наказав шоферу ждать, сколько ни понадобится Михаилу Сидоровичу. Но через полтора часа шофер явился — Мостовской отпустил его, сказал, что после собрания пойдет к знакомому рабочему, а домой доберется сам.

Вечером в обком приехал вызванный на совещание инструктор Тракторозаводского райкома и успел подробно, пока ждали секретаря, рассказать, как прошла встреча с Мостовским.

— Это вы предложили правильно: встреча рабочих со старым революционным бойцом,— сказал он.— Замечательно все прошло, многие даже плакали, когда он про Ленина сказал, про последнюю встречу свою с ним, когда Владимир Ильич уже болен был.

— Он и теоретически исключительно подкован,— сказал Журавлев.

— Это верно, он очень просто говорил. Ремесленники-парнишки и те рты пооткрывали, так ясно, понятно говорил. Я как раз на заводе был, когда он приехал, как раз ко второй смене: парторги объявили, что желающие пусть пойдут в клуб для встречи. Все остались, никто почти домой не пошел, только уж самые несознательные. И встреча очень хорошая получилась. Потом перешли в зал, он говорил недолго, с того и начал: «вы устали после работы», но голос ясный, сильный. Как-то он необычайно говорил.— Инструктор подумал и

добавил: — У всех, и я по себе чувствовал, вдруг как-то сердце забилося.

— А вопросы были?

— Вопросов много, ну, конечно, все про войну: почему отступаем, про второй фронт, про эвакуацию, про поддержку иностранных рабочих, конечно, кое-кто интересовался насчет «получаловки», как рабочие говорят, и по продовольствию; но хорошо, замечательно слушали и старые кадры, и молодежь.

Инструктор, понизив голос, сказал:

— Правда, насчет одного вопроса не совсем получилось. Он про эвакуацию говорил, что заводы никуда не уйдут, что работа не прервется и не будет прерываться, приводил в пример «Красный путиловец» и Обуховский. Это когда о задачах рабочего класса говорил, а мы в этот день как раз проводили совещание закрытое о подготовке заводов к спецмероприятиям в связи с положением на фронте.

— Ну, это понятно,— сказал, улыбнувшись, Журавлев,— он ведь на вашем совещании не был и не по тезисам говорил... Да, еще хотел спросить, почему он машину отпустил?

— Вот как раз я хотел сказать вам. После доклада мы предложили отдохнуть у директора в кабинете, диетпитание организовали, а он говорит: я хочу тут к знакомому рабочему пойти на квартиру, к Андрееву, и машину отпустил. Простился и пошел, быстрый, ну не дашь больше пятидесяти лет по походке. Я в окно видел, его рабочие во дворе окружили, так он с ними к поселку и пошел...

9

Утром Варвара Александровна напоила чаем Володю, стала собираться в баню.

Она шла, предвкушая душевное успокоение. В теплом спокойном банном полумраке приятно поговорить со знакомыми. В бане всегда хорошо и легко вспоминалось прошлое, грустно и приятно было, глядя на молоденьких, беленьких дочерей и внучек знакомых, вспоминать свою молодую пору. Варваре Александровне казалось, что она забудет в бане хоть на полчаса про предстоящий отъезд, про все свои печали.

Но и в бане все напоминало о войне, и сердечная тревога ни на минуту не утихала. Мылись военные девушки, в раздевалке висели их зеленые юбки, гимнастерки с треугольниками на воротниках, стояли солдатские сапоги, да еще мылись две молодые, сытые женщины, приезжие, как поняла из их разговора Варвара Александровна. Никого знакомых в бане не оказалось.

Баня, в которую Варвара Александровна ходила долгие годы, для военных девушек была случайной и неинтересной. Они вспоминали бани, где им приходилось мыться,— в Воронеже, в Лисках, в Балашове, а через несколько дней где-нибудь в Саратове или в Энгельсе будут вспоминать они сталинградскую баню. Хохотали они так громко, что голова заболела. А гражданские, не стесняясь, говорили о всяких неприличиях, обсуждали свои дела. Варвара Александровна подумала, что с этими женщинами не так помоешься, сколько наберешься всякой дряни.

— Эх, война спишет,— кричала одна и трясла завитой в перманент мокрой головой.

А вторая, поглядев на Варвару Александровну, с усмешкой спросила:

— Что ты, бабка, смотришь на меня [глазами гепею]? {179}

— Ох, я бы посмотрела так, чтобы звания от тебя не осталось, спекулянтка,— сказала

Варвара Александровна. Она не стала мыть волосы, как предполагала, обвязала голову полотенцем, чтобы не замочить их, торопливо помылась, лишь бы скорее уйти.

Когда она пошла в сторону дома, объявили воздушную тревогу. Варвара Александровна проходила в это время мимо пустыря, где стояли зенитные пушки. Пушки страшно ударили, ушам стало больно, Варвара Александровна кинулась бежать, повалилась на землю в пыль. А так как после бани она была вся влажная, потная,— пыли налипло много, она пришла домой перепачканная.

Невестка, вернувшаяся с дежурства, стоя на крыльце, ела хлеб с огурцом.

— Что с вами, упали? — спросила она.

— Сил моих нет,— проговорила Варвара Александровна.

Но Наталья ее не стала утешать, повернулась и пошла на кухню.

Наташе казалось, что дома никто ее не понимает. Она ходила к знакомым и в кино, старалась забыть оттого, что была несчастна, а была несчастна оттого, что день и ночь тосковала по мужу. Она и курить стала, и бралась за тяжелую работу, однажды почти двое суток подряд стирала, перестирала в детдоме двести восемьдесят штук детского белья, наволок и простынь — лишь бы развеять свое горе. Будь ей легко и хорошо, она не стала бы курить и ходить к знакомым. Но только новая ее знакомая Клавдия, нянька в детском доме, понимала и жалела ее.

А Варвара Александровна особенно корила невестку за дружбу с Клавдией. Да, не могли они со свекровью понять друг друга и не хотели понять, хотя обе любили Анатолия. Варвара Александровна ходила к гадалке и в церкви молилась. Но ни цыганка, ни Бог не могли ей помочь распутать клубок, запутанный еще в далекую-далекую, древнюю пору. Мать, давшая сыну жизнь, и жена, давшая жизнь ребенку этого сына,— обе имели право на первенство в доме. В этом совместном их праве было и бесправие, и они поняли, а может быть, им казалось, что они поняли, простую и грубую истину: чья сила возьмет, того сила и будет.

Варвара Александровна, стоя в передней, очистилась от пыли, обтерла туфли тряпкой и прошла в комнату. Спросила у внука:

— Дедушка не приходил?

Володя нечленораздельно замычал; сощутив глаза, он смотрел из открытого окна на небо, где жужжал невидимый в огромной высоте самолет, выжимавший из себя белый пушистый след.

— Разведчик,— сказал он,— фотосъемку делает.— Так объяснили ему зенитчики.

Она подумала: «Господи, что спрашивать, пришел бы — кепка бы на гвоздике висела; видно, остался с утренней сменой».

Ей представился горестный круг ее нынешней жизни, и она пошла на огород поплакать среди веселых красных помидоров, чтобы Наталья не видела ее слез. Но когда она пришла на огород, то увидела, что место уже занято: на земле сидела невестка и плакала.

После обеда в дверь постучался какой-то странный старичок. Варвара Александровна сперва подумала, что это эвакуированный ищет квартиру. Но оказалось, старик пришел к Павлу Андреевичу.

— Здравствуйте, матушка,— сказал он,— могу ли я видеть товарища Андреева?

«Какая я тебе матушка,— с раздражением подумала она, подозрительно оглядывая старика,— я тебе, старому хрычу, в дочки гожусь».

Ее внимательный глаз сразу же отличил преклонные годы Мостовского, ее не обманули быстрые движения и сильный голос старика. Она пустила его в комнату и сердито подумала, что старик пришел к Павлу Андреевичу по выпивательному делу.

Но спустя несколько минут, когда оставшийся ожидать мужа старик стал расспрашивать ее про жизнь, про детей, она разговорилась. Этот пришелец, возбуждавший вначале ее подозрения, показался ей спустя недолгий срок человеком, которому она давно хотела рассказать о своих заботах. Перед тем как войти в комнату, он долго вытирал ноги о половик в прихожей, потом спросил у нее разрешения закурить в комнате и сказал, что, если ей неприятен табачный дым, он может выйти покурить на крыльцо; потом он сказал «простите» и попросил у нее пепельницу, и она поставила на стол красивую пепельницу, служившую хранилищем пуговиц, наперстков и крючков, а не жестяную крышечку, в которую сбрасывал табачный пепел и клал «бычки» Павел Андреевич.

Старик оглядел комнату и сказал:

— Как у вас хорошо.— Подумал и добавил: — Чудесно!

Одет он был просто и сам с виду был простой носатый мужичок, но, присмотревшись, она поняла, что он не прост: не то бухгалтер или инженер с завода, не то доктор из заводской больницы. Так она и не понимала, кто он. Вдруг ее осенило, что это не заводской, а городской знакомый мужа — родственник Шапошниковых.

— Вы Александру Владимировну знаете? — спросила она.

— Знаю, знаю, как же,— ответил он и быстро глянул, удивившись ее догадливости.

Разговор с гостем снова разволновал Варвару Александровну. Рассказала она о муже: он неправильно ведет себя, не думает, как спасти жизнь, дом и вещи. Рассказала о сыне. Все матери считают, что их дети наилучшие, она-то не из таких, видит недостатки своих детей. Вот у нее две дочери замужние, живут на Дальнем Востоке, она все их недостатки знает; но про Анатолия действительно ничего не скажешь, он и в детстве был спокойный, тихий, а когда был грудным, она с вечера покормит — и вот он спит до утра, ни разу не заплачет, не позовет, а проснется — тоже не плачет, лежит спокойно, глазки открытые — и смотрит.

Она стала рассказывать о невестке сразу же после того, как рассказала о младенчестве сына, словно между той порой, когда Анатолий лежал спеленатый, и временем его женитьбы прошел месяц или два.

Вероятно, в этом и была вечная особенность отношения матери к детям: в мыслях матери ее бородатые сыны бытуют рядом с младенцами, и до самого конца жизни в сердце старухи матери воедино слиты, неразличимы — светловолосый младенец и морщинистый, с седыми висками, сорокапятилетний сын.

Но вот уж невестку она представляла себе совсем по-иному, в ней она не видела ничего доброго и ничего хорошего.

Михаил Сидорович из рассказа Варвары Александровны узнал много для себя нового о женском коварстве, чего не вычитал он и у Шекспира. Его поразила сила страстей в этой маленькой, казавшейся ему тихой и дружной рабочей семье.

Не утешаться, а утешать пришлось Михаилу Сидоровичу в этом доме.

Андреев вошел в комнату, поздоровался с гостем, сел за стол и заплакал. Варвара

Александровна до того растерялась, увидев впервые в жизни слезы на глазах мужа, что выбежала на кухню: ей показалось — вот и пришел последний час.

Мостовской остался ночевать у Андреевых. Полночи просидели за столом старики.

Утром, когда Мостовской приехал к себе домой, Агриппина Петровна передала ему записку от Крымова. Крымов писал, что часть его некоторое время простоит в Сталинграде, но он должен с утра снова уехать на фронт и, как только вернется в Сталинград, зайдет к Мостовскому. В конце записки было приписано: «Михаил Сидорович, вы даже не представляете себе, как хочется вас видеть».

10

В воскресенье утром пришло письмо, адресованное Серёже. Евгения Николаевна, вертя конверт в руке, смеясь, спросила:

— Вскрыть или не вскрыть? Почерк явно женский. Военная цензура просмотрела, очередь за домашней. Судя по всему, от Дульцинеи. Прочесть, мама?

Она раскрыла конверт и, вынув маленький листок бумаги, стала читать. Вдруг она вскрикнула.

— Ах, боже мой, умерла Ида Семёновна!

— От чего? — быстро спросила Мария Николаевна. Она боялась умереть от рака и всегда находила у себя признаки этой болезни. Когда она слышала о смерти женщины своих лет, она первым делом спрашивала, не от рака ли та умерла. Степан Фёдорович ей говорил: «У тебя их столько, раков этих, что хоть пивную открывай».

— От воспаления легких,— ответила Женя.— Как же быть, переслать письмо Серёже?

Иду Семёновну, мать Серёжи, не любили в семье Шапошниковых.

Еще живя с мужем в Москве, она охотно отсылала Серёжу к бабушке на долгие сроки; до поступления в школу он иногда гостит у Александры Владимировны по четыре-пять месяцев.

[Ида Семёновна жила в ссылке, в Казахстане, под Карагандой, а Серёжа поселился у бабушки.] {180} Письма сыну Ида Семёновна писала не часто.

Скрытный и молчаливый, он никогда не говорил о матери и на вопросы бабушки односложно отвечал:

— Ничего, спасибо, мама пишет, что она здорова, читает лекции по сангигиене и работает в клубе.

Но когда однажды в его присутствии тетя Маруся сказала, что Ида Семёновна в свое время мало уделяла внимания сыну и слишком часто ездила на курорты, он вскрикнул каким-то странным, высоким голосом, нельзя было разобрать, какое слово он произнес, и выбежал из комнаты, хлопнув изо всех сил дверью.

Александра Владимировна долго молча читала коротенькое письмо, его написала медицинская сестра в больнице, и задумчиво сказала:

— Последние дни она все вспоминала Серёжу.— Потом медленно вложила письмо в конверт и проговорила: — Мне кажется, не нужно письмо сейчас передавать Серёже.

— Ни в коем случае,— сказала Маруся.— Ни в коем случае, это бессмысленно и жестоко.—

Она спросила: — А ты как думаешь, Женя?

— Не знаю, не знаю,— сказала Женя.

— Сколько же ей было лет? — спросила Маруся.

— Столько, сколько тебе,— ответила Женя, глядя на сестру сердитыми глазами.

11

Спиридонова вызвали в обком, к Пряжину. Причин для вызова могло быть много. Мог быть разговор в связи с общим положением: вопросы обороны и воздушной защиты станции, новые задания, выдвинутые новой обстановкой...

Но мог предстоять другой разговор, разнос — может быть, случай с аварией турбины либо случай, когда хлебозавод на два часа остался без энергии и сорвал своевременную выпечку хлеба, а может быть, жалоба судоверфи, которой Степан Фёдорович отказал дать добавочный ток от подстанции, а может быть, неготовность аварийного кабеля либо спор по поводу рекламации на недоброкачественное топливо.

Степану Фёдоровичу шли на ум объяснения и оправдания: многие квалифицированные рабочие сейчас в ополчении, износ оборудования, на линии мало монтеров, на заводских подстанциях плохо поставлено дело. Он ведь просил энергетиков Тракторного, «Баррикад», «Красного Октября» дать ему план, договориться и не создавать перегрузки в одни часы и недогрузки в другие, но они пальцем не ударили, наваливаются все вместе, а виноват он. Шутка ли — накормить энергией таких три гиганта. Они вдруг, в один час, втроем могут сожрать больше киловатт, чем пять городов.

Но Степан Фёдорович знал, что в обкоме не любят ссылок на объективные причины, скажут: «Что ж, попросим войну подождать, пока Спиридонов свои дела устроит?»

Степан Фёдорович хотел заехать домой, время позволяло, а он скучал по родным, если не видел их день-два, тревожился об их делах и здоровье. Но дома в рабочее время, вероятно, никого не застанешь, и Степан Фёдорович велел водителю ехать прямо в обком.

Возле здания обкома стояли часовые-ополченцы в пиджаках, перетянутых поясами, с винтовками на брезентовых ремнях. Они напоминали петроградских красногвардейцев, рабочих-бойцов времени первой обороны Царицына. Особенно один, с большими сидящими усами, словно сошел с картины.

Степана Фёдоровича взволновал вид вооруженных рабочих. Отец его погиб в Красной гвардии, защищая революцию, да и он мальчишкой стоял с берданкой на посту возле здания уездного ревкома.

Часовой у входа оказался знакомым, он до последнего времени работал помощником монтера на СталГРЭСе в машинном зале.

— А, здоро?во, рабочий класс,— сказал Степан Фёдорович и хотел пройти в дверь. Но помощник монтера спросил:

— Вам куда?

— К Пряжину,— ответил Степан Фёдорович.— Загордился, не узнаешь бывшее начальство?

— Но лицо парня осталось серьезно. Преграждая Спиридонову дорогу, он сказал:

— Предъявите документы.

Он долго всматривался в партийный билет, дважды переводил глаза с фотографии на живую личность Степана Фёдоровича.

— Э, друг, ты совсем забюрократился,— сказал Степан Фёдорович, начиная сердиться.

— Можете проходить,— ответил часовой с тем же серьезным каменным лицом, и лишь в глубине его глаз мелькнул озорной огонек.

Степан Фёдорович, поднимаясь по лестнице, несколько раз насмешливо и сердито повторил про себя: «В войну играть затеяли».

Помощник секретаря, глубокомысленно молчаливый Барулин, носивший обычно галстук и кофейного цвета пиджак, был одет в защитного цвета галифе и гимнастерку, с ремнем через плечо, на боку у него висел наган в кобуре; сотрудники обкома, входившие в приемную, тоже надели гимнастерки. Почти у всех появились планшеты и полевые сумки.

В коридорах и приемной было много военных. Поскрипывая ладными блестящими сапогами и снимая кожаную коричневую перчатку с руки, прошел через приемную в кабинет сухощавый, статный полковник — командир стоявшей в городе дивизии. Все военные в приемной встали, вытянулись. И Барулин тоже встал, хотя он не был военным. Полковник узнал Степана Фёдоровича, улыбнулся ему, и Степан Фёдорович встал и поздоровался почти по-военному. Они познакомились в обкомовском доме отдыха, и воспоминание об этом знакомстве, совсем не военном, было связано с веселыми и приятными днями — прогулками в пижамах, купаньем, рыбной ловлей.

Полковник в своем безукоризненно сшитом кителе и лайковых перчатках походил на потомственного кадрового офицера, но как-то на ночной рыбалке в доме отдыха он, приятно окая, рассказывал Спиридонову о своей жизни: он был сыном вологодского плотника и в молодости работал по отцовской линии.

В приемную вошел председатель городского совета Осоавиахима {181}, желчный человек, постоянно обиженный тем, что к нему и его работе областные работники относятся без должного почтения и интереса; сегодня, казалось, даже обычная сутулость его как будто исчезла, голос, движения стали уверенны и деловиты. Два парня несли за ним плакаты: «Устройство гранаты», «Винтовка», «Ручной пулемет».

— Журавлев уже утвердил,— сказал осоавиахимовец, показывая плакаты Барулину.

— Тогда их прямо в типографию,— ответил Барулин.— Я сейчас дам команду директору типографии.

— Только срочно, для полков ополчения, пока в поле не вышли,— сказал осоавиахимовец,— а то в прошлом году я месяц бился, пока напечатали сто плакатов, учебники печатали.

— Не задержит типография,— сказал Барулин,— вне всяких очередей, по законам военного времени.

Председатель Осоавиахима, сворачивая плакаты, пошел со своей свитой, оглядел рассеянным взором Степана Фёдоровича: «Знаешь, брат, хоть я тебя помню, но не до тебя мне сейчас».

А телефоны звонили непрерывно.

То к Сталинграду подошла война! Звонили из Политуправления штаба фронта, звонил начальник зенитной обороны города, звонил начальник штаба бригад, работавших по подготовке укреплений, звонил командир ополченского полка, звонили из управления госпиталей, из управления снабжения горючим, звонил военный корреспондент газеты

«Известия», звонили директора, приятели Степана Фёдоровича, один производил тяжелые минометы, второй — бутылки с горючей жидкостью; звонил начальник военизированной пожарной охраны завода. Да, вот здесь, в этой давно знакомой приемной, Степан Фёдорович ощутил, что война подходила к Волге.

Сейчас приемная в обкоме напоминала заводскую контору. Такой шум бывал всегда у дверей спиридоновского кабинета: волновались снабженцы, цеховые начальники, мастера, звонили из котельной, шумел представитель треста, толкался всегда чем-то недовольный шофер директорской легковушки. То и дело входили возбужденные люди: пар падает, напряжение упало, скандалит раздосадованный абонент, машинист зазевался, контролер просмотрел — и все это с утра до ночи, с шумом, звоном внутренних и городских телефонов.

Спиридонов знал примеры другого стиля в работе. В Москве его несколько раз принимал нарком. Его удивляла после отрывочных разговоров в учрежденческих комнатах, перебиваемых телефонными звонками и шепотом сотрудниц о последних событиях в буфете, спокойная обстановка наркомовской приемной и кабинета.

Нарком долго расспрашивал, разговаривал с ним подробно и неторопливо, словно у него не было важнее забот, чем обстоятельства работы СталГРЭСа. Спокойной и немногочисленной обычно была приемная секретаря обкома. А он ведь отвечал перед партией и государством за десятки сталинградских предприятий, за урожай, за речной транспорт... Но в этот день Степан Фёдорович видел, как вихрь войны ворвался в строгие, спокойные комнаты. События войны толпой входили в двери обкома. В тех районах, где прошлой весной по мирному плану осваивались новые земли, закладывались электростанции, строились школы, мельницы, где составлялись сводки ремонта тракторов и сводки пахоты, где с размеренной точностью готовились для обкома данные о ходе сева,— сегодня рушились дома и мосты, горел заскирдованный хлеб, ревел, метался скот, исполосованный очередями «мессершмиттов».

Тут, в эти минуты, Степан Фёдорович всем существом чувствовал, что волновавшие и мучившие его события войны становятся событиями сегодняшней судьбы его семьи, жены, дочери, близких товарищей, улиц и домов его города, его турбин и моторов. Они, эти события, уже не в сводках, не в газетных статьях, не в рассказах приехавших о т т у д а, они сегодня — жизнь и смерть.

К нему подошел заместитель председателя облисполкома Филиппов. Он, как и все, надел военную гимнастерку, на боку у него был револьвер.

Филиппов полтора года сердился на Степана Фёдоровича за то, что тот отказался дать ток для одного опекаемого Филипповым строительства. При встречах они обычно едва здоровались, а на пленумах Филиппов неодобрительно отзывался о руководстве СталГРЭСа: «Все крохоборством занимаются». Степан Фёдорович говорил среди товарищей:

— Да, имею я в лице Филиппова постоянную поддержку, чуть через него не получил строгача.

Сейчас Филиппов, подойдя к нему, сказал:

— А, Степа, здоро?во, как живешь? — и стал трясти ему руку. И они оба взволновались и растрогались, поняв, как мала была их пустая вражда перед лицом великой беды. Какие пустяки мешали иногда людям!

Филиппов кивнул в сторону двери и спросил:

— Скоро тебе? А то пошли в буфет, пиво Жилкин хорошее привез, и осетрина хорошая.

— С удовольствием,— сказал Степан Фёдорович,— я раньше назначенного часа приехал.

Они зашли в буфет для сотрудников обкома.

— Да, брат,— сказал Филиппов,— такое дело, сегодня в сводке немцы заняли Верхне-Курмоярскую, моя родная станица, там родился, там в комсомол вступил — и вот, понимаешь... Ты родом не сталинградец, кажется, ярославский?

— Сегодня мы все сталинградские,— сказал Степан Фёдорович.

— Это правильно,— согласился Филиппов и повторил понравившиеся ему слова: — Да, сегодня мы все сталинградские. Сводка плохая сегодня.

Какими близкими казались Степану Фёдоровичу люди. Вокруг — товарищи его, все свои, свой круг. Через буфет прошел заведующий военным отделом, лысый пятидесятилетний человек. Филиппов спросил его:

— Михайлов, пивка?

В мирное время Михайлов не был отягощен работой. О нем бессонные люди, кряхтевшие от напряжения во время выполнения производственных, посевных и уборочных планов, с усмешкой говорили:

— Да, Михайлов первым идет обедать.

Но сегодня Михайлов сказал:

— Какое там, вторую ночь не сплю, только что из Карповки, через сорок минут на заводы еду, в два часа ночи докладывать буду.

Степан Фёдорович сказал:

— Вот и Михайлову аврал пришел.

— Майором стал, две шпалы нацепил,— сказал Филиппов.— Вчера только присвоили звание. [Пряхин вопрос ставил.]

Как Степану Фёдоровичу были близки все люди вокруг, близки с достоинствами и с недостатками,— близки, понятны, дороги! Он всегда был сердечным и компанейским человеком, любил и помнил всех своих прежних товарищей и земляков — и парнишек-слесарей, и рабфаковцев, и студентов-практикантов, всегда осуждал зазнаек-карьеристов, гнушавшихся встреч с друзьями и сверстниками прошедшей скромной поры и искавших высоких знакомств.

И сейчас он чувствовал нежность ко всему миру своему: и к вышедшим в большие люди, и к тем, чья жизнь сложилась скромно...

А рядом возникло другое чувство — надвинувшейся чужой, враждебной силы, ненавидевшей тяжелой ненавистью весь мир, который он так любил,— и заводы, и города, и друзей его, и сверстников, и родных, и старуху буфетчицу, заботливо подносящую ему в эту минуту розовую бумажную салфетку.

Но у него не было слов и не было времени рассказать об этих чувствах Филиппову.

— Эх, Филиппов, Филиппов,— сказал он,— давай пойдем, время.

Они вернулись в приемную, и Спиридонов спросил у Барулина:

— Как там моя очередь к Пряхину, будто подходит?

— Придется подождать, товарищ Спиридонов, перед вами Марк Семёнович пройдет.

— Почему так? — спросил Степан Фёдорович.

— Я тут ни при чем, товарищ Спиридонов.

Голос у Барулина был безразличный, и назвал он Степана Фёдоровича не по имени-отчеству, как обычно, а по фамилии.

Спиридонов знал тонкую способность Барулина отличать самых важных посетителей от просто важных, просто важных от обычных, а обычных делить на срочно нужных, нужных, но не срочно, и могущих посидеть. Соответственно этому, Барулин одного провожал прямо в кабинет, о втором докладывал сразу, третьего просил подождать, и уж с ожидающими был разный разговор: одного спросит о школьных отметках детей, другого — о делах, третьему улыбнется и подмигнет, четвертого ни о чем не спросит, углубившись в бумаги, а пятому скажет с укоризной:

— Здесь, товарищ, курить не следует.

Степан Фёдорович понял, что из важных он попал сегодня в обыкновенные, но он не рассердился, а, наоборот, подумал: «Хороший Барулин парень, и ведь день и ночь, день и ночь!»

12

Когда Степан Фёдорович вошел в комнату Пряхина, то с первых же секунд почувствовал, что Пряхин остался таким же, каким и был.

Вся внешность его, и кивок головы, и одновременно рассеянный и внимательный взгляд, брошенный на Спиридонова, и то, как он положил карандаш на чернильный прибор, готовясь слушать,— все было неизменно. Его голос и движения выражали уверенность и спокойствие.

Он часто напоминал людям о государстве, и когда директора заводов или директора совхозов жаловались ему на трудности, на сложность выполнения к сроку программы, он говорил:

— Государству нужен металл, государство не спросит, легко или трудно.

Людям, глядящим на его сутулящиеся большие плечи, широкий упрямый лоб, внимательные, умные глаза, казалось — так вот оно и говорит его устами, наше государство. Десятки людей, начальники и директора, чувствовали его руку, порой она была жестка и тяжела, а крепка она была неизменно.

Он знал не только работу, которую делали люди, но знал и жизнь этих людей и, бывало, во время заседания, где речь шла о планах, цифрах, тоннах, процентах, усмехаясь, спрашивал: «Ну как, снова ездил рыбу ловить?» или «Что, все еще с женой ссоришься?»

Когда Спиридонов входил в кабинет, ему на мгновение подумалось, что Пряхин, расстроенный и взволнованный, подойдет к нему, обнимет за плечи и скажет:

— Да, брат ты мой, пришло тяжелое время... А помнишь, как было, когда я в райкоме...

Но Пряхин был по-обычному деловит и суров, и оказалось, это не огорчило, а утешило и успокоило Спиридонова: государство по-прежнему было спокойно, уверенно и совершенно не склонно к лирическим слабостям.

На стенах кабинета, где обычно висели таблицы, диаграммы выпуска тракторов и стали, ныне была повешена большая карта войны. На этой карте обширное пространство

Сталинградской области не напоминало о пшенице, садах, огородах, мельницах — все оно было иссечено линиями дальних и ближних оборонительных обводов, противотанковых рвов, бетонных и дерево-земляных оборонительных сооружений.

На длинном, накрытом красным сукном столе, где обычно размещались слитки стали, банки с пшеницей, титанические огурцы и помидоры, возвращенные на огородах Ахтубинской поймы, ныне лежали рубашки гранат, запалы, ударники, саперная лопатка, автомат, щипцы, нужные при тушении зажигательных бомб; все это была новая продукция местной промышленности.

Степан Фёдорович коротко рассказал о работе станции. Он сказал, что, если продолжать пользоваться низкокачественным топливом, придется месяца через три остановить часть хозяйства на ремонт. Он говорил вещи совершенно справедливые с инженерской точки зрения.

Он знал, как восхищали Пряхина турбины СталГРЭСа; приезжая на станцию, он подолгу осматривал машинный зал, расспрашивал машинистов и старших монтеров, любовался особо сложными и совершенными агрегатами. Однажды, стоя перед мраморными досками щитов, среди красных и голубых огоньков, откуда устремлялись молниеносные реки электричества в город, к Тракторному, «Баррикадам», «Красному Октябрю», судоверфи, он сказал Степану Фёдоровичу:

— Шапку снять тянет. Величавое дело!

Степан Фёдорович сказал, что запасы высококачественного топлива находятся в Светлом Яре и он берется, если будет разрешение, перебросить его на СталГРЭС своими средствами. Это топливо предназначалось для Котельникова и Зимовников, но теперь... Ему казалось, что Пряхин поддержит эту мысль. Но Пряхин, слушая его, отрицательно покачал головой:

— Хозяйственный человек Спиридонов собрался из сложившейся военной обстановки извлечь выгоду для станции. У государства своя линия, у Спиридонова — своя.

Он сказал эти слова с осуждением и мгновение молча смотрел на край стола.

Спиридонов понял, что сейчас он узнает, для чего его вызвали, — новая будет задача.

— Так, — сказал Пряхин. — Наркомат представил известный вам план демонтажа СталГРЭСа. Городской комитет обороны просил меня поставить вас в известность вот о чем: котлы и турбины практически невозможно демонтировать. Работать вы будете до последней возможности, но нужно параллельно подготовить к взрыву турбины, котельную, масляный трансформатор. Понятно?

Степан Фёдорович почувствовал тоску. Мысли об эвакуации он считал непатриотическими, и разговоры о том, что семья должна уехать, он вел на службе лишь с самыми близкими людьми, вполголоса, чтобы не распространять тревожных слухов. У него имелся в сейфе утвержденный план эвакуации СталГРЭСа, но этот документ казался ему «теоретическим». Когда инженеры заводили с ним разговор об эвакуации, он сердито говорил:

— Бросьте наводить панику, занимайтесь своим делом.

Всю свою жизнь он был оптимистом. Когда началась война, он не верил, что отступление будет длительным: вот-вот остановят, казалось ему.

Последнее время ему представлялось, что в Сталинграде дело сложится лучше, чем в Ленинграде, где немцы кольцом окружили город; здесь, он считал, их остановят на ближних обводах. Конечно, налеты будут, будет даже обстрел из дальнобойных орудий. После разговоров с военными и беженцами его охватывали сомнения, но он раздражался, когда в

семье начинались тревожные разговоры. Но сейчас речь шла не об эвакуации, не о боях на подступах к городу — надо было подготовиться к взрыву СталГРЭС! Это говорили ему в обкоме!

И, потрясенный, он спросил:

— Иван Павлович, неужто так плохо?

Их глаза встретились, и Степану Фёдоровичу показалось, что лицо, которое он видел всегда спокойным и уверенным, вдруг исказилось волнением и мукой.

Пряхин взял с чернильного прибора карандаш и сделал пометку на листке настольного календаря.

— Вот что, товарищ Спиридонов,— сказал он,— для нас с вами взрывать — дело новое, мы двадцать пять лет строили, а не взрывали. Сегодня по такому же делу был дан инструктаж заводам. Вы сюда на своей машине приехали?

— На своей.

— Поезжайте на Тракторный, там будет совещание по этому вопросу, и захватите двух военных товарищей — саперов и, пожалуй, Михайлова захватите.

— Трех не смогу, рессоры не держат,— ответил Степан Фёдорович и подумал, что сейчас из обкома позвонит на службу жене; она уже несколько дней просила у него машину, чтобы поехать на Тракторный, в детский дом. Он подвезет ее и по дороге поговорит с ней о серьезности обстановки.

— Ладно, Михайлов на обкомовской поедет,— сказал Пряхин, приподнимаясь.— Помните, что работать вы должны так, как никогда не работали, а этот вот разговор и это дело есть государственная тайна, и к вашей текущей работе оно никакого отношения не имеет.

Мгновение Степан Фёдорович колебался, ему хотелось спросить об эвакуации семей.

Оба встали.

— Вот видите, товарищ Спиридонов, вы в райкоме со мной прощаться вздумали, а мы продолжаем с вами встречаться,— сказал Пряхин и улыбнулся.

Потом обычным голосом он произнес:

— Есть вопросы?

— Нет, как будто все понятно,— ответил Спиридонов.

— Подготовьте получше свой подземный командный пункт, бомбить вас крепко будут, в этом сомневаться не приходится,— сказал ему вслед Пряхин.

13

Когда машина остановилась у подъезда детского дома, Степан Фёдорович сказал жене:

— Вот и подбросил тебя, часика через два, после заседания, заеду.— И, оглянувшись на своих спутников, понизив голос, добавил: — Нужно поговорить об исключительно важном деле.

Мария Николаевна вышла из машины раскрасневшаяся, с веселыми глазами, ее развлекала быстрая езда, а ехавшие с мужем на заседание военные все шутили, и их шутки смешили ее.

Но когда она подошла к двери детдома и услышала гул детских голосов, лицо ее стало озабоченно и серьезно.

В работе заведующей детским домом Токаревой имелись упущения и неполадки. Дом был большой и, как говорили в гороно [22], «тяжелый» — пестрый возрастной состав ребят, пестротой отличался и национальный состав: некоторые дети плохо знали русский язык — две девочки-казашки знали лишь несколько русских слов, еврейский мальчик из сельской артели говорил по-еврейски и по-украински, девочка-полька из Кобринина совсем не знала по-русски. Многие дети попали в дом во время войны, потеряв родителей, пережив ужасы бомбежек; они были очень нервны, а одного ребенка врач признал психически ненормальным. Токаревой предлагали отправить его в психиатрическую лечебницу, но она отказалась.

В гороно поступали жалобы или, как говорилось, «конкретные сигналы» по поводу того, что персонал не всегда справляется со своей работой, замечены были нарушения трудовой дисциплины.

Когда Мария Николаевна, уже уложив бумаги в портфель, выходила из своего кабинета, чтобы сесть в машину, ее в коридоре нагнал заместитель заведующего гороно и передал ей только что полученное им письмо: заявление двух сотрудников детдома о недостойном поведении одной из няnek и о том, что заведующая Елизавета Савельевна Токарева, вопреки сигналам общественности, отказалась уволить ее. Эта нянька, Соколова, однажды была нетрезвой и в этом состоянии пела и плакала, а дважды в ее комнате ночевал водитель автомашины, приехавший к ней на трехтонном грузовике.

Во всех этих делах предстояло разобраться Марии Николаевне, и она заранее вздыхала и хмурилась, готовя себя к тяжелому, неприятному не только для Токаревой, но и для нее самой разговору.

Она вошла в просторную комнату, украшенную рисунками детей, и попросила дежурную няню позвать Токареву. Дежурная, девушка лет двадцати, поспешно пошла к двери, и Мария Николаевна, оглядев ее, неодобрительно покачала головой, ей не понравилась прическа девушки с челкой на лбу.

Она медленно прошлась вдоль стены, разглядывая детские рисунки. На одном был изображен воздушный бой: черные немецкие самолеты сыпались с неба, охваченные черным дымом и черным пламенем; среди них плыли огромные советские машины: на красных крыльях и красных фюзеляжах выделялись нарисованные особо густой красной краской пятиконечные звезды. Лица советских летчиков тоже были прочерчены красным карандашом.

На другом рисунке происходило сухопутное сражение: огромные красные пушки, изрыгая красное пламя, выбрасывали красные снаряды; среди взрывов, поднимавшихся иногда выше летевших в небе самолетов, гибли фашистские солдаты, в небе парили головы, руки, каски и большое количество немецких сапог. На третьем рисунке шли в атаку великаны красноармейцы, в могучих руках они держали наганы, размерами превышавшие черные немецкие пушечки.

Отдельно в раме висела большая картина, писанная акварельными красками: молодые партизаны в лесу. Художник, очевидно из группы старших детей, бесспорно обладал дарованием. Пушистые березки, освещенные солнцем, нарисованы были превосходно. У девушек-партизанок, шедших по лесу, были стройные фигуры, загорелые колени, чувствовалось, что живописец уже хорошо знал свой предмет. Мария Николаевна подумала о дочери: ведь и она становится взрослой, и на нее парни смотрят вот такими глазами, как этот молодой художник. Парни-партизаны были румяные, ладные, с голубыми глазами. И у

девушек были миндалевидные глаза, чистые и прозрачные, как небо над их головой. У одной девушки волосы волнами падали по плечам, у другой сложенные косы лежали вокруг головы, у третьей был венок из белых цветов. Хотя картина понравилась Марусе, она заметила в ней один недостаток: у некоторых юношей и у девушек были уж очень схожи лица, нарисованные в профиль, с одним и тем же поворотом; очевидно, художник пририсовывал пленившее его лицо с прекрасными, устремленными ввысь глазами то к девичьему, то к юношескому телу, а затем уж украшал его косами или кудрями. Но все же, несмотря на этот серьезный недостаток, картина волновала и восхищала — в ней очень хорошо было выражено идеальное и чистое, благородное и ясное чувство.

Глядя на этот рисунок, Мария Николаевна вспомнила свои споры с Женей; конечно, она, а не Женя, права в этих спорах. Женя ведь рисует то, что нужно и интересно ей, а здесь нарисовано то, что нужно и важно всем.

Вошла заведующая Елизавета Савельевна — толстая, седая женщина с сердитым лицом. Она много лет была работницей на хлебозаводе, потом выдвинулась как общественница, работала в райкоме. Ей предложили работать заместителем директора на том заводе, где она когда-то была хлебомесом. Дело у нее не пошло, она не умела проявлять директорскую власть. Через месяц ее сняли и назначили заведовать детским домом, и, хотя она перед этим окончила специальные курсы и работа эта ей нравилась, кое-что у нее и здесь не клеилось. Постоянно к ней приезжали инспектора, однажды ей вынесли выговор, а с месяц назад ее вызывали в райком ко второму секретарю.

Мария Николаевна пожала руку Токаревой и сказала, что приехала по кляузным делам.

Они прошли по недавно вымытому прохладному коридору, пахнущему приятной сыростью.

Из-за закрытой двери слышалось хоровое пение. Токарева, искоса поглядев на Марию Николаевну, объяснила:

— Это самая младшая группа, грамоте их учить рано, мы их пением занимаем.

Мария Николаевна приоткрыла дверь и увидела стоявших полукругом девочек.

В другой комнате сидел за столом курносый краснощекий мальчик лет пяти и рисовал в тетрадке цветным карандашом. Он хмуро посмотрел на Токареву и отвернулся от нее, продолжая рисовать, сердито выпятив губы.

— Почему он тут один? — спросила Мария Николаевна.

— Озорничал, — ответила Токарева и громко, серьезно добавила: — Это Валентин Кузин. Он нарисовал себе чернильным карандашом на голом животе свастику.

— Какой ужас, — сказала Мария Николаевна. И, выйдя в коридор, рассмеялась.

У Токаревой, видимо, была слабость к занавесочкам и накидочкам. Они белели в ее комнате и на окне, и на столе, и на кровати, и возле рукомойника. Над кроватью веером были повешены семейные фотографии — пожилые женщины в платочках, мужчины в черных рубашках с светлыми пуговицами. Тут же висели групповые снимки: видимо, курсы партактива, стахановцы хлебозавода.

Сев за стол, Мария Николаевна раскрыла портфель, вынула пачку бумаг. Первый вопрос касался помощницы кладовщика Сухоноговой. Одна из воспитательниц случайно проходила мимо дома Сухоноговой и увидела, что мальчишка этой Сухоноговой щеголяет в детдомовских ботинках.

— Почему вы до сих пор не приняли мер? — спросила Мария Николаевна. — Ведь заявление

об этом давно сделано.

Токарева, не глядя на Марию Николаевну, ответила:

— Я расследовала подробно и к ней на дом ходила. Это не кража, действительно ее мальчишка развалил сапоги и в конце зимы не мог в школу ходить... Она сдала сапоги в починку, а ботинки взяла на два дня только, она эти ботинки обратно сдала, без износу, когда из ремонта сапоги вернули. А она говорит — то коньки, то лыжи, не заставишь дома сидеть. Ну и развалил сапоги. А ордеров в это время у меня не было. И ведь война... и мужа с первых дней в армию взяли.

Мария Николаевна отлично понимала доводы Токаревой.

— Ох,— сказала она,— милый друг, я не спорю, что Сухоногова нуждается, но ведь это не повод, чтобы заимообразно брать ботинки из кладовой. Вы говорите — война, да, вот именно война: теперь, как никогда, свята каждая государственная копейка, каждый кусок угля, каждый гвоздь...— Она на мгновение запнулась и тотчас, рассердившись сама на себя, продолжала: — Подумайте, какие страдания переносит народ, какие реки крови льются в борьбе за советскую землю. Неужели вы не понимаете: нет места для рассусоливания в эти дни. Да я родную дочь покарала бы суровейшим образом, соверши она малейший проступок. Сделайте из нашей беседы соответствующий вывод, не тяните волынку.

— Я сделаю, конечно, сделаю,— сказала со вздохом Токарева и вдруг спросила: — А как же насчет эвакуации?

Вопрос этот не понравился Марии Николаевне.

— Об этом,— сказала она,— вас известят.

— А дети сами говорят,— извиняющимся тоном проговорила Токарева.— Ведь пережили сколько, одних бойцы подобрали, на машинах привезли, других беженцы подхватили, третьи сами кое-как приплелись. Ночью, когда самолеты летают, они лучше взрослых различают, какие немецкие, какие наши.

— Да, кстати,— сказала Мария Николаевна,— как Слава Березкин, которого я к вам определила? Мать просила узнать о нем.

— Не очень хорошо, он последние дни простужен. Вы сами с ним поговорите, пройдемте в стационар.

— Попозже, когда кончим дела.

Мария Николаевна стала расспрашивать о чрезвычайных происшествиях в детском доме; их оказалось немного.

[Один четырнадцатилетний паренек ночью забрался на склад, похитил восемь полотенец и скрылся.] {182} Второй, хорошо успевавший в занятиях, был встречен воспитательницей на толкучке, где он выпрашивал деньги на кино. Когда его стали расспрашивать, оказалось, что он деньги не тратил на кино, а копил их на черный день.

— А если детский дом разбомбят немцы, куда я тогда денусь? — сказал он.

Елизавета Савельевна к событиям такого рода относилась спокойно.

— Дети хорошие,— сказала она решительно.— В проступках раскаиваются, если пристыдить и объяснить. Подавляющее большинство честные, славные. Советские дети! Тут, между прочим, наций у меня с войны целый интернационал, раньше были только русские, а теперь

стали прибывать с Украины и Белоруссии, и цыгане, и молдаване, и кто только хотите; и я даже сама удивилась, как дружно живут, никакого различия между собой не делают. А если иногда и подерутся, то на то они и ребята. На футболе это и не с детьми случается. Даже сплочение у них какое-то получилось: и русские, и украинцы, и армяне, и белорусы, а хор один...

— Это чудесно,— убежденно сказала Мария Николаевна и вдруг взволновалась,— просто замечательно то, что вы рассказываете...

Она знала в себе это счастливое волнение — оно приходило каждый раз, когда жизнь сливалась с ее представлением об идеале, с ее верой. Слезы выступали у нее на глазах, дыхание становилось быстрым и горячим. Большого счастья она, казалось ей, не знала. Ни в семье, ни в своей любви к дочери и мужу она не испытывала большего счастья, чем в такие минуты. Поэтому она сердилась и оскорблялась, когда Женя, ничего не понимая, рассуждала о сухости ее характера.

Она ехала в детский дом, предвидя неприятные, тяжелые разговоры, ей было нелегко требовать чьего-то увольнения, выносить выговоры. Этого требовали долг, необходимость, целесообразность. Она потому и бывала в таких случаях так непреклонна, казалась прокурорски суровой и сухой, что усилием воли подавляла в самой себе нелюбовь к суровости...

Но она совершенно не предполагала, отправляясь в эту неприятную ей инспекторскую поездку, что несколько раз радостное чувство охватит ее: и при взгляде на работу мальчика-художника, и от рассказа заведующей о детях...

Деловой разговор подходил к концу. Марии Николаевне стало очевидно, что греха семейственности, который в Токаревой подозревали, совершенно не было. Наоборот, Токарева недавно уволила сестру-хозяйку, родственницу одного работника райсовета. Эта сестра-хозяйка велела готовить для себя особый обед, используя диетические продукты, которые берегли для больных детей.

Елизавета Савельевна сделала ей предупреждение, но та решила, что заведующая сердится, почему и ей не готовят такого улучшенного обеда, и велела готовить обед на двоих. Токарева уволила ее.

Заканчивая деловую часть разговора, Мария Николаевна перебирала в уме все то положительное, что она видела: чистоту помещений и постельного белья, любовное отношение к детям, высокую калорийность пищи, превышавшую среднюю калорийность по другим детским домам города...

«Надо ей подыскать заместителя покрепче, снимать не нужно»,— думала она, делая пометки в общей тетрадке и представляя свой разговор с заведующим облоно.

— Да, кто это у вас нарисовал партизан? Художественно одаренный ребенок,— сказала она.— Эту картину следует показать товарищам, в Куйбышев в Наркомпрос послать.

Токарева покраснела, точно похвала эта относилась к ней самой. Она так и говорила обычно: «У меня снова неприятность случилась», «А у меня сегодня веселый случай был...» — и относила «я», «меня», «со мной» к хорошим или, наоборот, дурным поступкам, болезням и выздоровлениям детей.

— Этот рисунок сделала одна девочка,— сказала она,— Шура Бушуева.

— Эвакуированная?

— Нет, она местная, камышинская. Просто так, из головы. А те, из фронтовой полосы, тоже рисуют, но я их рисунки не велела вывешивать: очень уж тяжелое — все убитые да пожары; поверите, просто невозможно смотреть.

Они прошли по коридору и вышли на внутренний двор. Мария Николаевна зажмурилась от яркого солнца и прикрыла на мгновение уши руками — такой звенящий и разноголосый веселый шум стоял в воздухе. Двенадцатилетние футболисты в майках, с отчаянными лицами, поднимая облака пыли, гоняли мяч. Вихрастый вратарь в синих лыжных штанах, пригнувшись, упершись ладонями в колени, следил за движением мяча, и не только лицо, полуоткрытый рот, глаза его, но и руки, плечи, ноги, шея выражали, что в эти минуты в мире нет ничего более важного, чем игра в мяч.

Ребята поменьше, вооруженные деревянными ружьями и фанерными мечами, бежали вдоль забора, а навстречу им мерным строем шел отряд в треуголках, сделанных из газетной бумаги.

Девочка, быстро и легко перебирая ногами, прыгала через веревочку, которую крутили две ее подруги, а ожидавшие очереди жадно следили за прыгающей и беззвучно шевелили губами, отсчитывая, сколько раз ей удалось прыгнуть.

— За них-то и идет война,— сказала Мария Николаевна.

— Наши дети, я думаю, самые лучшие в мире,— убежденно проговорила Токарева.— Тут у меня есть мальчики, героями были: вот этот, видите, в воротах стоит, футболист — Котов Семён, он в военной части разведчиком был, немцы его поймали, били, ни слова не сказал, все рвется опять на фронт... Или вот эти, посмотрите.

По двору шли две девочки в синих платьицах, одна светлая, другая загорелая, с живыми, темными глазами, держа в руках матерчатую куклу; склонив к кукле голову, девочка слушала, что говорила подруга. Та говорила быстро, решительно, и, хотя слов ее разобрать нельзя было, казалось, она сердилась.

— Вот с утра и до вечера не разлучаются, их в один день привезли из приемника,— сказала Токарева.— Светленькая — сирота, еврейка из Польши, у нее всех родных Гитлер вырезал, а эта, что куклу держит, немцев-колонистов дочка.

Они вошли во флигель, где находились мастерские и стационар. Токарева показала Марии Николаевне мастерскую, большую полутемную комнату с той прохладной сыростью воздуха, которая бывает так приятна душным летним днем в старинных зданиях с толстыми каменными стенами. В мастерской было пусто, только у крайнего стола мальчик лет тринадцати глядел в полу латунную трубку и сердито оглянулся на вошедших.

— Зинюк,— спросила Токарева,— что же ты один остался, а футбол?

— А я не хочу, у меня праці [23] багато, на що мени гулянки,— ответил он и снова заглянул в трубку.

— Моя академия,— сказала Токарева,— вот Зинюк, все просится на завод работать, тут у меня и конструкторы, и механики, и самолеты строят, и стихи пишут, и картины рисуют...— И совершенно некстати тихо закончила: — Жуткое дело...

Пройдя через мастерскую, они вышли в коридор.

— Вот сюда, здесь стационар,— сказала Токарева.— Тут, кроме Березкина, лежит мальчик-украинец, которого мы немой считали, молчит и молчит, что ни спросишь, молчит. Мы решили, он немой, а одна наша нянька, верней уборщица, взяла его к себе, подход у нее

есть, он вдруг и стал говорить.

14

В маленькой комнатке пятна солнечного света ползли по стене, теплой белизной своей выделяясь на шершавой побелке; на столике в пузатой банке стояли степные летние цветы, а пятно развернутого стеклом спектра дрожало на скатерке, воздушной чистотой красок затмевая зелень трав, желтизну и синеву цветов, выросших на пыльной степной земле.

— Ты узнаешь меня, детка? — спросила Мария Николаевна, подходя к кровати Славы Березкина. Он походил на мать лицом и цветом глаз. И выражение его грустных глаз напоминало ее глаза.

Мальчик внимательно поглядел и сказал:

— Здравствуйте, тетя, я вас узнал.

Мария Николаевна не умела разговаривать с маленькими, никак не находила нужного тона — то с шестилетними говорила, как с трехлетними, то, наоборот, уж слишком серьезно. Дети иногда сами поправляли ее, объясняли: «Мы уж не маленькие», либо начинали зевать и переспрашивать, когда она с маленькими говорила, как со взрослыми, произносила непонятные слова. Сейчас, в присутствии Токаревой, после тяжелых разговоров, ей хотелось быть особенно сердечной, чтобы заведующая не считала ее черствым человеком. Улыбаясь, она спросила:

— Ну, как тут, ласточки к вам не залетают в окошко?

Мальчик покачал головой и спросил:

— От папы нет писем?

Мария Николаевна, поняв свой неверный тон, поспешно ответила:

— Нет, пока еще нет, никто не знает его адреса, а мама очень скучает по тебе, она просила тебе кланяться.

— Спасибо, а Люба что? — Он подумал и добавил: — Мне тут хорошо, пусть мама не беспокоится.

— У тебя есть товарищи?

Он кивнул и, не ожидая утешения от взрослых, а сам желая их успокоить, сказал:

— Я не серьезно болен, сестра обещала через два дня меня выписать.

Он не просил взять его из детского дома, так как знал, что матери тяжело живется; не просил мать приехать к нему, так как знал, что она работает и не может потерять целый день на такую поездку; он не спросил, прислала ли ему мать в подарок сладенького, так как знал, что у нее нет ничего сладенького.

— Что же передать маме? — спросила Маруся.

— Скажите, что мне хорошо,— сурово сказал он.

Маруся, прощаясь с ним, погладила его по мягким волосам, по худому теплomu затылку.

— Тетя! — вдруг вскрикнул он.— Пусть мама возьмет меня домой! — И его глаза наполнились слезами.— Тетя, скажите, я буду ей во всем помогать, и кушать буду совсем,

совсем немножко, и в очередь ходить...

— Даю тебе честное слово, деточка, при первой возможности мама возьмет тебя, поверь мне,— волнуясь, сказала она.

Токарева позвала ее за перегородку, подвела к стоявшей у окна кровати: черноглазая молодая женщина в белом халате кормила с ложечки стриженного под машинку мальчика. Когда она подносила ложечку ко рту мальчика, ее смуглая красивая рука обнажалась выше локтя.

— Это и есть Гриша Серпокрыл,— сказала Токарева.

Маруся посмотрела на мальчика, он был некрасив, с большими мясистыми ушами, с шишковатым черепом, с синевато-серыми губами. Он с усилием, покорно заглатывал кашу, комок судорожно перекатывался у него в горле. Болезненно неестественным казалось несоответствие между его серой, бледной кожей и блестящими, горячими глазами. Такие лихорадочные глаза бывают у раненых.

У отца Гриши Серпокрыла на глазу было бельмо, и поэтому его не взяли на войну. Как-то в начале войны заезжий командир хотел переночевать у них, оглядел хату, покачал головой и сказал: «Ну нет, пойду поищу попросторней», но для Гриши эта хата была лучше всех дворцов и храмов земли. В этой хате его, большеухого, застенчивого, любили. Прихрамывающая мать подходила, припадая на короткую ногу, к печке и прикрывала его кожухом, отец утирал ему нос своей шершавой ладонью. В год войны, на пасху, мать испекла ему в консервной баночке куличик и дала крашенку [24], а отец перед Майским праздником привез ему из райцентра желтый ремешок с белой пряжкой.

Он знал, что над хромотой матери посмеиваются деревенские ребята, и поэтому чувство к ней было особенно сильно. На Первое мая отец и мать нарядились, пошли в гости и его взяли с собой; он шел, гордясь ими и собой, своим новым ремешком. Отец казался ему важным, сильным, мать нарядной и красивой. Он сказал: «Ой, мамо, ой, тату, яки вы га?рни, яки чепурни? [25]» — и вдруг увидел, как переглянулись отец с матерью, как мило и смущенно улыбнулись ему.

Кто знал в мире, как неистово нежно любил он их. Он видел их после воздушного налета: они лежали прикрытые обгоревшим рядом, острый нос отца, белая сережка в ухе матери, прядь ее реденьких светлых волос — и навсегда в его мозгу соединились мать и отец, то лежащие рядом, мертвые, то мило и смущенно переглянувшиеся, когда он восхитился отцом в новых сапогах и в новом пиджаке, матью в коричневом накрахмаленном платье с белым платочком, с ниточкой намиста... [26]

Он не мог никому высказать свою боль, да и сам он не мог понять ее, но она была нестерпима: эти мертвые тела и эти смущенные, милые лица в день прошлогоднего Майского праздника, связанные в его маленьком сердце одним узлом. В мозгу его помутилось. Ему начало казаться — именно оттого и жжет боль, что он двигается, произносит слова, жует, глотает, и он замер, скованный помутившим его ум страданием. Он бы, наверно, и умер так, молча, отказываясь от еды, убитый ужасом, который стали ему внушать свет, беготня и разговоры детей, крик птиц, ветер. Воспитательницы и педагоги, когда его привезли в детский дом, ничего не могли с ним поделать: не помогали ни книжки, ни картинки, ни рисовая каша с абрикосовым джемом, ни щегол в клетке. Докторша велела везти его в лечебницу, где его бы начали искусственно питать.

Вечером, накануне отправки в лечебницу, в изолятор зашла няня, ей надо было помыть пол, она долго молча смотрела на мальчика — и вдруг опустила на колени и, прижав его стриженую голову к груди, запричитала по-деревенски:

— Дитяtko мое, никто тебя не жалеет, никому ты не нужен.

И он закричал, забился...

Она на руках отнесла его в свою комнатку, посадила на койку и полночи просидела возле него, он говорил с ней и поел хлеба с чаем.

Мария Николаевна спросила:

— Как ты, Гриша? Привыкаешь понемногу?

Он не ответил, перестал есть, и пристальный, неподвижный взор его терпеливо уставился на белую стену.

Няня отложила ложку и погладила его по голове, точно успокаивая: «Потерпи, потерпи, сейчас эта тетка уйдет...»

И действительно, Мария Николаевна, поняв их напряженное ожидание, торопливо сказала Токаревой:

— Пойдемте, не будем мешать.

Они снова прошли по двору, и Мария Николаевна, волнуясь, проговорила:

— Вот, поглядев на таких ребят, начинаешь осознавать весь ужас войны.

Зайдя в кабинет Токаревой, она, желая успокоиться и избавиться от тоски, которую только что испытала, строго сказала:

— Итак, давайте суммировать: дисциплина и еще раз дисциплина. Вы сами видите: война. Никакой расхлябанности, время тяжелое!

— Я знаю,— сказала Токарева,— но трудно работать мне, не справляюсь. Не охватываю, и знаний у меня мало. Может, лучше мне обратно хлеб пойти печь, я так иногда думаю, по правде вам скажу.

— Нет, это неверно, состояние дома мне кажется хорошим... Вот эта нянюшка, что кормила Серпокрыла, меня это глубоко тронуло. Я буду докладывать, прямо скажу, о положительных, здоровых элементах, о здоровой атмосфере, а эти все недостатки вы ведь исправите...

Ей хотелось сказать Токаревой на прощание особенно хорошие, ободряющие слова. Но ее немного раздражало выражение лица Токаревой, полуоткрытый рот, точно готовый зевнуть. Мария Николаевна стала собирать документы в портфель и вынула бумагу, которую дал ей заместитель заведующего перед отъездом. Покачав головой, она сказала:

— Да, вот видите, никак мы не закончим о ваших кадрах. Соколову эту самую нужно все-таки освободить: в нетрезвом виде пела песни, кто-то к ней тут ходит по ночам. Куда же вы смотрели? Коллектив крепкий, здоровый, надо же вам понять самые элементарные вещи...

Токарева сказала:

— Правильно, но это ведь та самая, вы ее видели, она Серпокрыла этого кормит, он только ее признает.

— Эта самая? — переспросила Мария Николаевна, не поняв, о ком идет разговор.— Эта самая? Ну и что ж? Я ведь...

Но внезапно поглядев на Токареву, она на полуслове замолчала.

Токарева быстро шагнула к Марии Николаевне и положила ей руку на плечо:

— Не волнуйтесь, это ничего,— тихо сказала она и погладила старшего инспектора по руке.

15

Иван Павлович Пряхин утром августовского дня 1942 года вошел к себе в кабинет и прошелся несколько раз от окна к двери. Он распахнул окно — и кабинет сразу наполнился шумом. То не был обычный уличный шум, очевидно, мимо проходила воинская часть: хрипел мотор, слышался топот многих ног, грохот колес, ржание лошадей, сердитые голоса ездовых, лязганье танков, и время от времени пронзительный вой истребителя, делавшего в высоте свечу, покрывал всю пестроту земных звуков.

Пряхин, постояв несколько времени у окна, отошел и остановился перед несгораемым шкафом в углу кабинета. Он вынул из шкафа пачку бумаг и сел к столу, нажал звонок, и тотчас же вошел его помощник.

— Ну, как доехали? — спросил Пряхин.

— Хорошо, Иван Павлович. Как переправился через Волгу, поехал правой дорогой, можно сказать, благополучно, только разок въехал в кювет, уже возле самого места, дифером машина села, без фар ведь.

— Жилкин обеспечил все?

— Да. И место, я скажу, замечательное {183} — вдали от железной дороги. Жилкин говорит, немец даже ни разу не летал.

[— А природа как?

— Природы там до черта, извините, то есть много природы. Конечно, Заволжье, до Волги шестьдесят километров, но пруд. Жилкин говорит — чистенький и садик фруктовый. Я навел справку — урожай яблок выше среднего. Конечно, там стоял запасный батальон, кое-что оборвали. Когда подадите команду, перевезем всех.]

— Народ собирается на совещание?

— Начали, собираются.

В это время в дверь кабинета послышался стук и голос за дверью произнес:

— Открывай, хозяин, открывай, солдат пришел.

Пряхин прислушался, стараясь припомнить по голосу, кто это так уверенно ведет себя.

[А дверь уже открылась, и в комнату, хромя, вошел генерал Ерёменко.] {184} Он поздоровался с Пряхиным, [взъерошил ладонью ежик волос надо лбом, поправил очки и спросил:

— Как Москва — вызывала?

— Командующему фронтом мой привет! Нет, жду с минуты на минуту. Прошу садиться.

Ерёменко] сел в кресло и стал оглядывать кабинет, взял со стола чернильницу и, взвесив ее на руке, покачал с уважением головой, осторожно поставив ее на место, произнес:

[— Предмет, я тоже хотел такую до войны достать. В Москве видел, у Ворошилова.]

— Товарищ генерал, через четверть часа начнется совещание партийных работников и директоров предприятий, мы просим вас сказать товарищам несколько слов о положении на фронте.

Командующий посмотрел на часы.

— Это можно, но веселого мало.

— Есть ухудшения за ночь?

— У Трехостровской противник форсировал Дон. Донесли, будто отдельные автоматчики просочились и будто их уже уничтожили. Но, думаю, не уничтожили. И с юга он крепко нажал. Полагаю, кое о чем отдельные товарищи привирают в донесениях; я их понимаю: и немцев боятся, и начальства боятся.

— То есть обвод прорвали?

— Да какой там у нас обвод!

— Оборону строили с первых месяцев войны, весь город, вся область строила, вынули четверть миллиона кубометров грунта. Оборона, думается, хороша, но вот войска не сумели полностью ею воспользоваться.

— Мы держим противника в степи исключительно огнем и живой силой,— сказал генерал.— Одно хорошо: склады боеприпасов сохранили. Огнем артиллерии, вот чем мы его держим. Счастье, что боеприпасы есть.— И он снова взял чернильницу со стола, взвешивая ее на руках.— Ну и махина. Оптическая вещь. Хрусталь?

— Хрусталь. Кажется, с Урала.

Генерал, наклонившись к Пряжину, мечтательно произнес:

— Урал, осень... Охота там богатая — гуси, лебеди. А наше солдатское дело — в крови да в грязи. Эх, мне бы две дивизии пехотных, полнокровных!

— Я понимаю, но надо начать вывозить заводы, пока не поздно: «Баррикады» за сутки полк артиллерийский выпускают. Тракторный — сотни танков в месяц. Это гиганты наши. Успеем?

Генерал пожал плечами:

— Если ко мне приходит командарм и говорит: «Рубеж оборонять буду, но разрешите оттянуть мой командный пункт подальше от переднего края»,— значит, этот человек не верит в успех, а все командиры дивизий сразу кумекают: «Ну, ясно, отходим», а от дивизий это переходит в полки, в батальоны, в роты — и все уже душой чувствуют: отходить будем. Так вот и здесь. Хочешь стоять, так ты стой. Пусть ни одна машина в тыл не идет. Не оглядывайся, иначе не устоишь. За самовольную переправу через Волгу на левый берег — расстрел!

Пряжин быстро и громко произнес:

— Видите, там вы при неудаче рискуете потерять рубеж, высоту, сотню машин, а здесь мы имеем промышленность союзного значения. Это не обычный рубеж обороны.

— Это...— и Ерёменко встал,— это... Россию мы обороняем на волжском рубеже, а не промышленность союзного значения!

Пряжин некоторое время молчал, а затем ответил:

— Для нас, большевиков, пока мы живы, нет последних рубежей. Последний наш рубеж, когда сердце перестает биться. Как ни тяжело, но считаться с положением мы обязаны. Враг перешел Дон.

— Я об этом официального заявления не делал, сведения проверяются.— И тут же генерал наклонился к Пряхину, спросил: — Семью вывезли из Сталинграда?

— Обком готовится отправить за Волгу многие семьи, в том числе и мою.

— Очень правильно. Это не для них. Солдаты не выносят, тяжело, а дети, женщины куда уж. На Урал! Туда он не долетит, сукин сын... Вот если пущу его до Волги, он и на Урал станет летать.

Дверь приоткрылась, и секретарь сказал:

— Директора и начальники цехов, вызванные на совещание.

И руководители хозяйственной жизни города, начальники цехов и директора заводов, парторги стали входить в кабинет, рассаживаться на стульях, диванах, креслах. Здороваясь с Пряхиным, некоторые говорили: «Спустил в цеха указания Комитета Оборона», «Вашу команду выполнил».

Пряхин поглядел на вошедшего последним директором электростанции Спиридонова и сказал ему:

— Товарищ Спиридонов, после заседания останьтесь, мне нужно вам несколько слов сказать по частному поводу.

Спиридонов быстро, по-военному ответил:

— Есть остаться после совещания.

Кто-то с добродушной насмешливостью проговорил:

— Наш-то, Спиридонов,— по-гвардейски отвечает.

Когда затих шум отодвигаемых кресел и стульев и все расселись, Пряхин сказал:

— Как будто все? Давайте начнем. Что ж, товарищи, Сталинград становится фронтовым городом. Давайте сегодня проверим, как каждый из нас подготовил свой участок работы, своих людей к новым условиям, к военным условиям. Какова готовность наших людей, наших предприятий, наших цехов? Что проделано нами по линии перехода к работе в новых условиях, по линии эвакуации наших предприятий? Здесь сейчас присутствует командующий фронтом. Обком просил его рассказать о положении на фронте. Прошу вас, товарищ командующий.

Ерёменко усмехнулся.

— Фронт — вот он, сел на попутную полуполторку — и поехал, познакомился.— Он отыскал глазами своего адъютанта, стоявшего у двери, и сказал: — Дайте мне карту, не рабочую, а ту, что корреспондентам показывали.

— Она за Волгой, разрешите слетать за ней на «У-2».

— Куда уж вам летать, вас «кукурузник» не подымет.

— Я летаю как бог, товарищ командующий,— поддерживая шутливый тон начальника, ответил адъютант.

Но Ерёменко нетерпеливо и раздраженно махнул в его сторону рукой.

— Пойдемте, товарищи, вон к этой карте на стене, она для нас тоже годится.

И, как учитель географии, окруженный учениками, водя то пальцем, то карандашом по карте, он начал рассказывать: <...> {185}

— Что ж, вы народ крепкий, я вас не собираюсь ни пугать, ни утешать. Правда еще никому вреда не принесла. Положение примерно такое. Северная группировка противника выходит на правый берег реки Дон, вот по этому рубежу. Это шестая армия, у нее в составе три армейских корпуса, двенадцать пехотных дивизий и танковые соединения. Тут и семьдесят девятая, и сотая, и двести девяносто пятая, мои старые знакомые... Это пехотные. Кроме того, в шестой армии две танковые дивизии и две мотодивизии. Командует этим всем делом генерал-полковник Паулюс. Успехов у него на сегодняшний день больше, чем у меня,— это вы сами понимаете. Это с севера и с запада. Теперь — с юго-запада группировка рвется от Котельникова. Это уж не пехотная, а танковая армия, ну, ее поддерживает четвертый армейский корпус и румыны, тоже, по-видимому, до корпуса. У этой группировки, видимо, главная цель — вырваться к Красноармейску, к Сарепте. Вот они тянут сюда, на этот рубеж. По этой вот речушке Аксай удар наносят, по линии железной дороги от Плодовитое. И цель у противника простая — сосредоточиться на этих рубежах, подготовиться и ударить: эти с севера и запада, а те, что от Котельникова,— с юга и юго-запада, ударить прямо на город. Будто бы Гитлер объявил, что двадцать пятого августа он в Сталинграде будет.

— А сколько у нас сил против всей этой махины? — спросил чей-то голос.

Ерёменко рассмеялся.

— Это вам знать не полагается. Силы есть, боеприпасов хватит. Сталинград не сдадим.— И вдруг, повернувшись к адъютанту, произнес сдавленным голосом: — Кто смел за Волгу мои вещи отправить? Чтобы нитки к вечеру за Волгой не было! Чтобы все до последней нитки в городе было. Ясно? Невзирая на лица беспощадно расправляюсь!

Адъютант вытянулся перед Ерёменко. Стоявшие подле люди пытливо всматривались в лицо генерала. В это время торопливо подошел к столу Барулин и громким, слышным всем шепотом произнес:

— Вас зовут к телефону.

Пряхин торопливо поднялся, проговорил:

— Товарищ командующий, Москва вызывает, давайте вместе пойдем.

Ерёменко пошел следом за Пряхиным к маленькой двери.

16

Едва обитая черной клеенкой дверь закрылась за ними, в кабинете поднялся вначале сдержанный, а затем все более живой шум. Несколько человек подошли к карте и стали пристально рассматривать ее, точно ища след, оставленный на ней пальцем генерала. Они покачивали головами и переговаривались между собой: «Да, силенки у немца много», «Удержат ли наши левый берег Дона, и вечная беда: немцы, оказывается, на высоком берегу, а наши на луговом», «Вот и на Волге так будет»,

«А я уж слышал, что они имеют плацдарм на левом берегу Дона», «Если б так, тут знаете бы что делалось», «Ох, как стал он эти немецкие дивизии перечислять, у меня прямо в сердце закололо», «Правду надо знать, не дети».

Инструктор райкома партии Марфин, маленький ростом, худой, со впалыми щеками, быстро и оживленно сказал:

— Ты, я вижу, Степан Фёдорович, в обком аккуратно приходишь, а в райкоме не любишь бывать, пряником не заманишь.

— Есть грех, товарищ Марфин. Да и дело какое тяжелое — эвакуация. Тебе проще, товарищ Марфин: сложил учетные карточки, снял красную и зеленую материю со столов, уложил в грузовик — и поехал. А мне? Турбины со СталГРЭСа на грузовике не вывезешь.

К ним подошли двое: начальник одного из главных цехов Тракторного завода и директор консервного завода.

— Вот он, главный воротила, мильонщик тракторный, массовый потребитель электроэнергии,— сказал Спиридонов.

— Что ж ты, Спиридонов, не прислал ко мне монтеров? Завод-то работает день и ночь. Заплачу им по высшему разряду.

Директор консервного завода сказал вполголоса:

— Вы, товарищ мильонщик, лучше бы платили не по разряду, а местами на катере, который на тот берег перевозит.

— Ты, я вижу, консервщик, об одном думаешь — как бы переплыть,— сказал Марфин,— заболел ты, видно.

Начальник цеха покачал головой и сказал:

— Днем и ночью у меня душа болит. Цех программу перевыполняет. А вывезем за Волгу — рассыплется коллектив. Поди собирай его, налаживай в степи. Рабочие из цеха не выходят, а я уж списки составляю. И спецмероприятия подготавливаю, страшно подумать! Хуже смерти об этой эвакуации говорить, думать не хочу. Вот и Спиридонов без отказа дает электроэнергию. А то ведь все были объективные причины.

Он вдруг повернулся к Спиридонову и сердито спросил:

— Но ведь заразная штука эта эвакуационная лихорадка?.. Верно, Спиридонов?

— Конечно. Вот начальник урюка и маринованных огурцов свое семейство вывез, а меня уж гложет мысль, сознаюсь откровенно. Ты как считаешь, Марфин, есть лекарство от этой эвакуационной заразной болезни?

— Есть, простое: только не пилюли, а хирургическое средство.

— Ох ты... консервный король, видел, как Марфин на тебя поглядел. Берегись. Вмиг вылечит.

— Что ж, могу вылечить. Запаникует — шуток не будет. Время не такое.

Но в этот момент все замолчали и оглянулись на двери: в комнату вошли Пряхин и командующий фронтом.

Они уселись на свои места, и Пряхин, несколько раз прокашлявшись и выждав тишину, заговорил суровым голосом:

— Товарищи! В последние дни в связи с обострением положения на фронте у нас наметилась вреднейшая тенденция — слишком много готовимся к эвакуации, мало, недостаточно думаем

о работе наших заводов на оборону. Мы словно молчаливо согласились на том, что уйдем за Волгу.— Он оглядел всех, помолчал, покашлял и продолжал: — Это грубейшая политическая ошибка, товарищи.

Он встал, оперся руками о стол и медленно, с особым значением, словно отпечатывая каждое слово самым крупным выпуклым шрифтом, произнес:

— [Пустых городов не обороняют.] С эвакуаторами, паникерами, шкурниками будем расправляться беспощадно.— Произнеся эти слова, он сел и уже обычным, несколько глуховатым голосом закончил: — Таково веление нашей Родины, товарищи, в самые грозные часы борьбы. Работа всех заводов, предприятий продолжается. Никаких разговоров о спецмероприятиях и эвакуации. Ясно? Всем ясно? Поэтому никаких разговоров вести по этой линии мы не должны. А раз не должны, то и не будем. Надо работать, работать. Нельзя терять ни минуты, потому что и минута дорога.

Он повернулся к командующему.

Ерёменко, отрицательно покачав головой, сказал:

— Теперь не время лекции читать. Я одно скажу: Ставка прямо указала командованию: Сталинград удержать любой ценой. Вот и все. Вся моя лекция.

Несколько мгновений в комнате стояла тишина. Страшный, угрюмый и зловещий грохот нарушил ее, окна распахнулись, в соседней комнате со звоном посыпались стекла, бумаги, лежавшие на столе, подхваченные ветром, полетели на пол. Кто-то вскрикнул: «Бомбит!»

Пряхин властно произнес:

— Товарищи, спокойствие, работа предприятий продолжается без минуты перерыва!

А грохот, то стихая, то вновь усиливаясь, потрясал стены. Директор консервного завода, стоя в дверях, произнес:

— В Красноармейске склады боеприпасов взорвались!

И тотчас пронзительно злым и властным голосом закричал Ерёменко:

— Пархоменко, машину!

— Есть, товарищ генерал-полковник,— ответил адъютант и стремительно выбежал из кабинета.

Генерал поспешно пошел к двери, все расступились перед ним.

Когда последние посетители выходили из кабинета, Спиридонов, оглянувшись на Пряхина, пошел следом: видимо, теперь было не до разговора по частному вопросу. Но Пряхин окликнул его:

— Куда вы, товарищ Спиридонов, я ведь просил вас остаться.— Он улыбнулся, и на лице его появилось выражение лукавства и доброты.— Один товарищ с фронта, мой старинный знакомый, вчера спрашивал, не встречал ли я в Сталинграде семейство Шапошниковых. Оказалось, его особенно интересует сестра вашей жены.

— Кто же это? — спросил Спиридонов.

— Вы, может быть, знаете его фамилию — Крымов?

— Ну конечно, знаю,— сказал Степан Фёдорович и оглянулся на окно: не ударит ли еще

взрыв?

— Он у меня будет сегодня вечером. Он ничего такого не говорил, но мне думается, следовало бы ей с ним повидаться.

— Я обязательно передам, обязательно,— сказал Спиридонов.

Пряхин надел плащ военного покроя, фуражку и, не глядя на Спиридонова и, видимо, уже не думая о нем, пошел скорым шагом к двери.

17

Вечером в большой комнате, в квартире Пряхина, Крымов и Пряхин пили чай. На столе, рядом с чашками, чайником, стояла бутылка вина, лежали газеты. В комнате был беспорядок — мягкая мебель сдвинута с места, дверцы книжных шкафов открыты, на полу валялись газеты, брошюры, возле буфета стояли детская колясочка и деревянная лошадь. В одном из кресел сидела румяная большая кукла с всклокоченной русой головой, перед ней стоял столик с игрушечным самоваром и чашками. К столику был прислонен автомат ППШ, на спинке кресла лежала солдатская шинель, а рядом — летнее пестрое женское платье.

И странно на фоне этого предотъездного беспорядка выглядели два больших, рослых человека со спокойными движениями и мерными голосами. Пряхин, утирая пот со лба, рассказывал Крымову:

— Потеря очень тяжелая — склады боеприпасов! Но я тебе о другом говорю. Ясно — город явится аренной боя, на кой ляд тут детские дома, ясли. А? Ну вот дал обком команду их вывозить, а работа предприятий и учреждений продолжается без минуты перерыва! Вот и своих вывез — сам дома хозяин... — Он поглядел вокруг, потом в лицо Крымова и покачал головой: — Подумай, сколько лет не виделись.

Он оглядел комнату и проговорил:

— Жена у меня строгая насчет чистоты, пылинку, окурок заметит, а сейчас, после отъезда,— смотри! Нет, ты погляди! — И он показал рукой: — Разорение! Это ведь масштаб семьи, квартира! А ты подумай в масштабе города! А наша сталь — какие печи, есть такие мастера, в Академию наук можно избрать! Пушки! Немцев спроси, они скажут, как наша дивизионная артиллерия работает. Да, хотел я тебе сказать о Мостовском. Бедовый старик. Был я у него, уговаривал уехать. Слушать не хочет! Говорит: «Мне ехать незачем, я свою эвакуацию закончил, ни на вершок не сдвинусь. А в случае чего, говорит, я в подполье пригожусь, у меня такой опыт конспиративной работы перед революцией накоплен, что я вас всех поучить могу». И такая в нем силища, что не я его уговорил, а он меня... Связал его кое с кем и адреса кое-какие ему дал. Ты подумай, старик какой!

Крымов кивнул головой.

— И я теперь прожитое вспоминаю. И Мостовского вспоминаю. Он ведь в нашем городишке одно время жил, в ссылке. Ну и встречался с молодежью. Мальчишкой я был еще. Ушли мы с ним как-то за город, читал он мне вслух «Коммунистический манифест» — сидели на холмике, там беседка была, в летнее время в эту беседку влюбленные ходили. А тут осень, дождик мелкий, ветром брызги заносит в беседку, листья летят, ну и он мне читает. И охватил меня такой трепет, такое волнение... Обрато мы шли, темно стало. Он меня за руку взял и сказал: «Запомните эти слова: „Пусть господствующие классы содрогаются перед Коммунистической Революцией. Пролетариям нечего в ней терять, кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир“». А сам хлюпает рваными калошами по воде. И у меня слезы хлынули.

Пряхин встал, подошел к стене и, показав на карту, сказал:

— И верно, завоевали. Посмотри, посмотри. Вот он — Сталинград. Заводы — видишь? Красавцы, силачи! СталГРЭС, он в ноябре празднует десятилетие. Центр города, рабочие поселки — новые дома, асфальтированные площади, улицы. Вот пригородная полоса озеленения — сады!

— По этим садам немцы утром вели арминогонь,— сказал Крымов.

— Ведь к этому не по маслу и не по рельсам шли! Стройку жилами вытаскивали. Работали привычные люди, колхозники-землекопы, и с ними рядом, рука об руку,— комсомольцы-школяры, пареньки, девочки. [А тут же рядом работают раскулаченные.] А мороз для всех один. А ветер при сорокаградусном морозе сшибает с ног. Зайдешь ночью в барак — духота, дым, у печей портянки сушатся. Сидит какой-нибудь, кашляет, ноги с нар свесил, и глаза в полутьме блестят. Трудно людям было. Как трудно! Вот я тебе говорю: трудно. Это большое слово. Кажется, чего уж приятней сады фруктовые сажать? Пригласили мы старичка ученого. Зажегся он страшно. Шутка ли, на песке, на глине, вокруг города пыли и песчаных бурь — нежнейшие сады. Стали мы с ним проекты строить. Ну вот, приступили к работе. Съездил он на место работ — раз, и два, и три, и, вижу, скис, трудностей действительно много. В суровых условиях труд шел. Уехал! А в прошлом году весной пригласили этого профессора, посадили его в машину и повезли. А сады цветут, из города тысячи людей ходили туда. Старик посмотрел и шапку снял, так без шапки и ходил. А ведь были овраги, пыль, бараки, проволока ржавая. Так. Очень хорошо. Старичок удивился. Да что старичок — мир удивился! За это время Тракторный увеличил свою мощь до пятидесяти тысяч машин, три новых завода вошли в строй <...> {186}, осушили несколько тысяч гектаров болот. Ахтубинская пойма перегнала Нильскую дельту по плодородию. А как работали — ты знаешь? <...> {187} Это через много лет во всем масштабе увидят и измерят — что большевики сделали, какой сдвиг совершили! И я вот думаю: что фашисты топчут, что жгут? Нашу кровь, наш пот соленый, громадный наш труд, подвиг рабочего и крестьянина, который на все пошел, чтобы попать нищету. И на все это Гитлер замахнулся. Такой войны не было на свете! <...> {188}

Крымов долго молчал, глядя на Пряхина, потом сказал:

— Знаешь, я сейчас подумал — до чего ты изменился! Помню тебя молодым парнем в шинельке, а теперь государственный человек. Вот ты сейчас рассказывал: строил, строил. И все шел в гору. А мне как рассказать? Был я работник международного рабочего движения, и всюду друзья, рабочие-коммунисты. А сегодня фашистские банды немцев, румын, итальянцев подходят к Волге, к той Волге, где был я комиссаром двадцать два года назад. Вот ты говоришь — понастроил заводов, сады сажал, вот у тебя семья, дети. А почему меня жена бросила? Почему? Не знаешь? Нет, брат, я что-то не то говорю... А ты изменился! Удивительно!

Пряхин сказал:

— Люди растут, меняются, чему же удивляться? А знаешь, тебя я сразу узнал, вот вижу тебя таким же, каким знал. Вот такой ты был двадцать пять лет назад, когда на фронт {189} ездил царскую армию взрывать.

— Ну что ж! Такой был, таким и остался. Времена меняются, а я нет. Не умею я меняться. Меня ругали за это. Ты скажи, это хорошо или плохо? Как это мне, приплюсовать нужно или, наоборот, вычесть?

— Все ты на философию сводишь. И в этом ты не изменился.

— Ты не шути. Времена меняются, но человек ведь не патефон[— то одну пластинку играет,

то другую. Не получится у меня].

— Большевик должен делать то, что нужно партии, а значит — народу. Раз он по-партийному понял время, следовательно, линия его правильная.

— Я из окружения шел — двести человек с собой вывел. А почему, как я их вел? Верили! В душе чувствовал — революционная вера, а голова седая. Шли за мной! Ничего мы не знали в немецком тылу, а немцы в деревнях говорили: «Ленинград пал, Москва сдана, армии нет, фронта нет — все кончено». А я двести человек вел на восток, опухших, оборванных, дизентерийных, но шли с гранатами, пулеметами, ни одного безоружного не было. За человеком, у которого патефон внутри заведен, в страшный час не пойдут. Да он и не повел бы. Ты не всякого пошлешь к немцу в тыл? Верно ведь?

— Это правильно.

Крымов встал и прошелся по комнате.

— Вот то-то, что правильно, дорогой мой.

— Сядь, Николай. Послушай! Надо жизнь любить, всю — и землю, и леса, и Волгу, и людей наших, и сады наши. Жизнь просто любить надо. Ты ведь разрушитель старого, а вот строитель ли ты? Но, как говорится, давай перейдем с общего на частное. Собственная жизнь твоя разве построена? Сижу на работе — и вдруг вспомню: вот приеду домой, подойду к детям, наклонюсь, поцелую — хорошо ведь! А женщине, жене много нужно, и дети ей нужны! Нет! Меня бешенство охватывает! Вот к этому городу, где вся сила вложена, разбойники подошли. Лапать все станут руками? Не будет этого!

Дверь приоткрылась, в комнату вошел Барулин. Он молча ждал, внимательно слушая, пока Пряхин закончит свою речь, потом кашлянул и сказал:

— Иван Павлович, пора вам на Тракторный ехать!

— Ладно, еду,— сказал Пряхин и, посмотрев на часы, поднялся.— Товарищ Крымов. Николай, ты посиди, не спеши, словом, послушай меня, отдохни. А захочешь уйти, можешь. Тут подежурят, пока я съезжу.

— Я тоже поеду. Как там машина моя, не пришла?

— Пришла, я только что внизу был,— сказал Барулин.

Пряхин, улыбаясь, подошел к Крымову и сказал:

— Знаешь, я тебе искренне советую остаться, посиди!

— Что так, почему советуешь?

— Видишь ли, твою натуру я знаю — к Шапошниковым ты ни за что не пойдешь, гордый! А ведь поговорить вам следует. Право же, следует.— Он наклонился к уху Крымова и сказал: — Ты ведь любишь ее, чего уж там.

— Постой, постой,— сказал Крымов.— Зачем мне тут сидеть?

— Она придет сюда, поговорите, чего тебе. Я передал Шапошниковым, что ты здесь у меня будешь. Вот спорить готов, придет.

— Что ты, зачем? Я не хочу ее видеть.

— Врешь.

— Вру — хочу ее видеть. Но это не нужно. Что она мне скажет, зачем придет — утешать меня? Не хочу, чтоб меня утешали.

Пряхин покачал головой:

— Я советую поговорить, встретиться. Должен воевать за свое счастье, если любишь.

— Нет, не хочу. Да и не время. Если жив останусь, может быть, и встретимся.

— Смотри, а я думал, помогу тебе личную жизнь наладить.

Крымов подошел к Пряхину, положил ему руки на плечи и сказал:

— Спасибо, дорогой мой.— Он улыбнулся и добавил негромко: — Но знаешь, мое личное счастье уж, видно, не наладить, даже с помощью секретаря обкома.

— Что ж, тогда давай поехали,— проговорил Пряхин.

Он позвал Барулина и сказал ему:

— Если тут придет один молодой, красивый товарищ женского пола, будет спрашивать товарища Крымова, передайте, что просил извинить, по срочному делу вызван в свою часть.

— Нет, товарищ Барулин, не надо извиняться, скажите: уехал и ничего не просил передать.

— О, брат, тебя, видно, крепко припекло,— сказал Пряхин, идя к двери.

— Ой, крепко,— сказал Крымов и пошел за ним следом.

18

Перед вечером, 20 августа, к Александре Владимировне пришел после работы старик Андреев. Александра Владимировна хотела угостить его витаминным чаем из шиповника, но он очень спешил, отказался даже сесть.

— Уезжать надо вам,— проговорил Андреев и рассказал Александре Владимировне, что утром на завод пришли ремонтировать танки и лейтенант, командир танка, сказал, что немцы перешли через Дон.

— А вы собираетесь ехать? — спросила Александра Владимировна.

— Нет, я не поеду.

— А семья?

— Семья послезавтра поедет.

— А если немцы придут и вы окажетесь отрезанным от семьи?

— Что ж делать, окажусь отрезанным. Вот и товарищ Мостовской остается, а он меня постарше,— отвечал Андреев и повторил: — А вы уезжайте, Александра Владимировна. Я понял, дело не на шутку пошло.

После ухода Андреева Александра Владимировна стала вынимать из шкафов белье, обувь, раскрыла сундук, в котором лежали пересыпанные нафталином зимние вещи. Потом она сложила вещи обратно в шкафы и принялась отбирать в чемодан письма, книги, фотографии. Она разволновалась и все время завертывала самокрутки из крупного зеленого самосада. Самосад горел в папиросах, как горят в печи сырые сосновые дрова — со стрельбой,

искрами, шипением.

Когда Мария Николаевна вернулась с работы, вся комната была полна табачного дыма.

Александра Владимировна спросила ее:

— Нового ничего? Что в городе слышно? — И озабоченно сказала: — Я решила понемногу начать укладываться. Никак не могу найти письмо о смерти Иды Семёновны. Просто несчастье, Серёжа спросит с нас.

Мария Николаевна стала успокаивать мать:

— Да ничего особенного нет. Вас, вероятно, эти взрывы напугали. Степан был в обкоме — все остаются, работа идет полным ходом. Отправляют только детские дома, больницы, ясли. Я послезавтра поеду в Камышин с тракторозаводским детдомом, договорюсь в райкоме о помещениях и через два дня вернусь машиной домой, тогда мы и обсудим, как и что, но, уверяю вас, нет никаких оснований так торопиться.

— Да помоги ты мне это письмо разыскать, куда оно делось, просто несчастье,— что я Серёже скажу?

Они стали перебирать бумаги, письма, открывать ящики столов.

— Не у Жени ли оно? Вот, кстати, она пришла.

Евгения Николаевна, войдя в комнату, вдохнула дымный воздух и, сделав страдальческое лицо, показала сестре, что дышать в комнате нечем, развела руками. Вслух делать замечание матери она боялась.

— Ты не брала письма о смерти Иды Семёновны? — спросила Александра Владимировна.

— Брала,— ответила Женя.

— О господи, я весь дом перевернула, дай его мне.

— Я его отослала Серёже,— громко, сердясь на то, что по-ребячьи смутилась, ответила Женя.

— Почтой? Ведь оно может пропасть,— сказала Александра Владимировна.— Как же ты могла, да и вообще ведь мы решили не посылать ему пока. Вот ему выпало в семнадцать лет одному пережить такой удар, да сидя в окопах, среди чужих...

— Я послала не почтой, а с оказией, ему передадут письмо прямо в руки,— сказала Женя.

— То есть как это в руки? — крикнула Маруся.— Ведь мы, кажется, решили не сообщать ему... Это было наше общее решение! Что за анархизм такой, что за дурость!

— Я поступила так, как нужно,— сказала Женя.— Он на смерть пошел, а мы с ним в бирюльки играем.

Маруся на миг почувствовала такую злость к Жене, что ей больно стало смотреть на нее от желания сказать сестре грубое и жестокое слово.

— Хватит, девочки,— сказала Александра Владимировна,— хватит, вы мне обе надоели: и партийная, и беспартийная. Маруся, так, значит, ты в городе и на заводе не слышала ничего тревожного?

— Нет, абсолютно. Я ведь говорила вам, как все настроены.

— Странно. Приходил час назад Андреев. Какой-то военный чинил на заводе танк и сказал: «Кто может, пусть скорей уезжает за Волгу. Немцы вчера переправились через Дон...»

— Не понимаю, это, по-видимому, глупости, в городе относительно спокойно,— повторила Мария Николаевна.

— Нет, это, по-видимому, не глупости,— сказала Женя.— Веры до сих пор нет? Действительно, странно!

— Может быть, началась спешная эвакуация госпиталей? — спросила Александра Владимировна и тут же вспомнила: — Да, ведь у Веры сегодня дежурство.

Александра Владимировна вышла на кухню, там не горел свет и потому не было маскировки. Она раскрыла окно и долго прислушивалась. Со стороны вокзала, погромыхая, шли составы, в темном небе вспыхивали зарницы. Вернувшись в комнату, Александра Владимировна сказала:

— Стрельба ясно слышна, гораздо ясней, чем в прошлые ночи. Ох, Серёжа, Серёжа!

— Неразумная спешка,— сказала Маруся.— Тем более что послезавтра воскресенье,— добавила она таким тоном, словно по воскресеньям война отдыхала.

Поздно ночью приехал Степан Фёдорович.

— Дело плохо,— проговорил он и зажег спичку, стал прикуривать,— надо вам срочно всем уезжать.

— Тогда предупредите Людмилу телеграммой,— сказала Александра Владимировна.

— Бросьте вы эти интеллигентские фанаберии,— раздраженно сказал Степан Фёдорович.

— Степан, что с тобой? — удивленно спросила Мария Николаевна.

В разговорах с мужем она часто обвиняла мать в интеллигентских фанабериях, но едва Степан Фёдорович повторил ее же собственные слова, она обиделась за мать.

У Степана Фёдоровича даже выражение лица изменилось, стало простецким, растерянным.

— А ну вас,— сказал он.— Немцы, оказывается, вот они. Эх, как вы одни поедете, пропадете без меня в пути.

Он потребовал, чтобы домашние немедленно приступили к укладке вещей.

— Нужно уговорить Мостовского, он забастовал, решил остаться, надо ему объяснить положение и обязательно предупредить Березкину,— сказала Александра Владимировна.— У вас ночной пропуск, вы и сходите. Спокойней, спокойней, Степан.

— Вы меня не учите, я ради вас ночью прискакал. Приехал на машине, не имеющей ночного пропуска,— сердито крикнул он.— Приехал не для того, чтобы вы меня учили.

— Не устраивайте истерик,— проговорила Александра Владимировна, поправляя рукава своего платья, и, словно Степана Фёдоровича не было в комнате, сердито прибавила: — Удивительная вещь, я всегда думала, что у пролетарского Степана железные нервы, а вот, пожалуйста...— Повернувшись к Степану Фёдоровичу, она грубо спросила: — Может быть, накапать вам в рюмочку валерьянки?

Маруся тихо сказала сестре:

— Гляди-ка, мама, кажется, обозлилась всерьез.

Дочери с детства знали приступы материнского гнева, когда все в доме затихало и ждали конца грозы.

Степан Фёдорович, сердито бормоча и отмахиваясь рукой, пошел в комнату к жене.

Женя раздельно и громко сказала:

— Знаете, у кого я сегодня вечером была? У Николая Григорьевича Крымова.

Мать и сестра одновременно, с одинаковой интонацией спросили:

— У Николая Григорьевича? И что же?

Женя рассмеялась и скороговоркой произнесла:

— Все хорошо, все замечательно. Не была принята.

Мать и Маруся молча переглянулись.

В это время вернулся Степан Фёдорович и, подойдя к теще, сказал:

— Разрешите прикурить,— выпустил клуб дыма и благодушно прибавил: — Я, видно, ударился в излишнюю спешку, но вы не сердитесь. Лучше ложитесь спать, а утром посмотрим. Меня с утра в обком вызвали: последнюю информацию получим, телеграмму Людмиле я дам, и с Тamarой поговорим, и с Мостовским. Вы что ж, думаете, я не понимаю.

Маруся сразу заподозрила причину такого быстрого перехода к благодушию. Она зашла к себе в комнату и открыла шкаф, и оказалось, действительно, Степан Фёдорович хлебнул довольно основательно из бутылки, водку он называл теперь «антибомбином».

Маруся вздохнула, раскрыла дверцы домашней аптечки и, бесшумно шевеля тонкими губами, стала отсчитывать в рюмку капли строфанта {190}. Она теперь принимала лекарства тайно от родных — с тех пор как шла война, ей казалось мешчанской слабостью пить строфант и ландыш.

Из столовой донесся голос Жени:

— Решено, я в дорогу надену лыжный костюм.— И тут же, без связи с только что сказанными словами, Женя проговорила: — Э, помирать так помирать!

Степан Фёдорович, посмеиваясь, произнес, поглядев на Женю:

— Что вы, Женечка, с вашей неопикуемой красотой — и помирать? Никогда я вам этого не позволю.

Марусю раздражало, когда он начинал игриво разговаривать с Женей. Но на этот раз она не испытала привычного раздражения.

«Хорошие мои, родные мои»,— подумала она, и слезы быстро потекли у нее из глаз. Мир был полон горя, близкие люди со всеми их слабостями стали ей дороги и милы, как никогда.

Во второй половине августа некоторые части сталинградского народного ополчения, состоявшие из служащих учреждений, заводских рабочих, грузчиков и матросов волжского пароходства, вышли из города и заняли оборону на ближних подступах к городу. Вскоре

получила приказ привести свои части в готовность дивизия внутренних войск.

Эта мощная дивизия полнокровного состава не имела боевого опыта, но была хорошо обучена и вооружена и состояла из кадровых солдат и командиров.

В то время как сталинградские ополченские полки выходили на западные окраины города, к ним навстречу двигались теснимые немцами, обескровленные фронтовые части, главным образом принадлежавшие к двум стрелковым армиям — 62-й, отходившей с запада, и 64-й — с юга. Эти малочисленные, потрепанные армейские части состояли из измученных долгими боями и тяжким отступлением людей. Отступающие дивизии оседали на левом берегу Дона, в укреплениях оборонительного обвода, построенных горожанами.

Части, отделенные друг от друга в степи пространством в несколько километров и растянутые в жиденькие цепочки, сейчас уплотнялись вокруг Сталинграда, держа между собой локтевую связь.

Однако одновременно концентрировались, приближаясь к городу, и немецкие войска, и поэтому по-прежнему оставалось неизменным достигнутое немецким командованием численное и техническое превосходство в воздухе и на земле.

Серёжа Шапошников проходил в течение месяца военное обучение в одном из батальонов сталинградского народного ополчения, расположенном в Бекетовке. Во второй половине августа рота, в которую его зачислили, была поднята на рассвете и вышла из города, замыкая полковую колонну. К полудню колонна ополченцев подошла к степной балке западной заводского поселка Рынок. Блиндажи и окопы, в которых они разместились, находились в степной низменности, из нее город не был виден. Вдали виднелись серые домики и серые заборы деревни Окатовки, желтела малонаезженная проселочная дорога, тянувшаяся к Волге.

После тридцати километров марша под жарким степным солнцем, среди пыльной и крепкой травы, которая, как проволока, жестоко цеплялась за ноги, изнеможение охватило непривычных к походной жизни ополченцев. Кажется, нет конца пути по горячей степи, когда каждый шаг тяжел и человек загадывает, хватит ли сил у него дойти до очередного телеграфного столба, а степной простор огромен, неизмерим тысячами таких столбов.

Но наконец полк пришел к месту, где надлежало ему стать в обороне. Люди с блаженным кряхтением залезали в вырытые много месяцев назад блиндажи, разувались и ложились на земляной пол в золотом, пыльном полусумраке, скрывающем их от солнца.

Серёжа Шапошников лежал у бревенчатой стены, закрыв глаза, полный сладостного чувства изнеможения и покоя. Мыслей не было, слишком остры и многочисленны оказались телесные ощущения. Ломило спину, жарко жгло ступни, кровь сильно била в виски, а щеки горели, нажженные солнцем. Все тело казалось тяжелым, налитым и одновременно легким, почти невесомым — странная смесь противоположных ощущений, соединимых лишь в минуты высшей усталости. А из этого острого чувства изнеможения возникала гордость и мальчишеское уважение к самому себе за то, что не отстал, не попросился на повозку, не захромал, не пожаловался. На марше он шел в конце колонны, рядом с пожилым ополченцем — плотником Поляковым. Женщины, когда они проходили заводским районом через Скульптурный садик, качали головами и говорили:

— Они и не дойдут до фронту — дед да малый мальчик.

И верно, рядом с морщинистым, заросшим седой щетиной Поляковым худой, узкоплечий и остроносый Серёжа казался совершенным птенцом.

Но именно они двое шагали особенно терпеливо и упрямо и дошли до места благополучней

многих — без потертости ног.

Поляков нашел силу в упрямой кичливости старика, желающего доказать другим и себе, что он еще молод. Мальчик эту силу и упорство нашел в вечном стремлении неопытных и юных казаться зрелыми и сильными.

В блиндаже было спокойно и тихо, лишь тяжело дышали лежавшие на полу люди. Время от времени слышался шорох — видимо, сухая земля, осыпаясь, шуршала по доске.

Вдруг издали послышался хорошо знакомый бойцам голос командира роты Крякина. Раскаты его приближались.

— Опять народ точит,— с изумлением сказал лежавший у входа боец Градусов.— Шел ведь с нами пехом, я думал, он хоть на полсутки свалится, отстанет.

Градусов плачущим голосом проговорил:

— Пусть хоть расстреливает, все равно не встану!

— Встанешь,— злорадно сказал аспирант Ченцов, словно ему самому не придется встать вместе с Градусовым.

Градусов сел и, оглядывая лежащих, проговорил:

— Ох, солнцем палимые мы {191}.

Его пухлая шея и веснушчатые руки совершенно не поддавались загару, а лишь побагровели, словно ошпаренные. Большое потное веснушчатое лицо тоже было ярко-красно и выражало страдание.

Рядом с блиндажом внятно проговорил Крякин:

— Надеть сапоги, строиться!

Поляков, который, казалось, спал, быстро привстал и принялся наворачивать портянку. Ченцов и Градусов, охая от прикосновения заскорузлых портянок к растертым ступням, стали натягивать сапоги.

И Сергей — ему минуту назад казалось, что нет в мире силы, которая могла бы заставить его пошевелиться («умру от жажды, но не пойду искать воду»),— тоже молча, быстро стал наворачивать портянки, натягивать на ноги сапоги.

Вскоре рота выстроилась, и Крякин прошел перед строем, начал перекличку. Это был скуластый человек небольшого роста, с широким ртом, увесистым носом и бронзовыми глазами. До войны он работал районным инспектором противопожарной охраны, и некоторым из ополченцев приходилось с ним встречаться на работе. В мирную пору помнили его человеком тихим, даже робким, услужливым, постоянно улыбающимся; ходил он в зеленой гимнастерке, подпоясанной тонким ремнем, и в черных брюках, заправленных в сапоги. Но вот его назначили командиром роты — и все его житейские взгляды, свойства характера, до которых раньше мало кому было дела, вдруг стали необычайно важны для десятков молодых и пожилых людей. Видимо, он давно уж считал себя способным управлять людьми, но так как он был слаб и не уверен в себе, управлять людьми мог лишь жестокими, строгими средствами. Серёжа Шапошников слышал однажды, как Крякин говорил Брюшкову, командиру взвода:

— Разговаривать надо уметь. Я вот слышал, как ты бойцу сказал: «Почему у вас пуговица не пришита?» Хуже нет говорить — «почему». Он сразу же тебе скажет: иголку потерял, нитки

нет, я докладывал старшине,— заговорит тебя. А надо с ним вот...— Он коротко, быстро и хрипло произнес: — Пришить пуговицу!

И действительно, казалось, он не слова произнес, а толкнул человека в грудь.

И сейчас, хотя сам Крякин едва стоял на ногах, он заставил людей построиться, отчитывал за неправильное равнение, нечеткий голос при переключке и лишь после этого устроил проверку оружия и обнаружил, что у ополченца Илюшкина не оказалось штыка при винтовке.

Илюшкин, высокий угрюмый малый, нерешительно шагнул из рядов, и Крякин спросил его:

— Что я отвечу, если высшее командование меня спросит: «Командир третьей роты, где вверенный вам командованием штык от винтовки номер шестьсот двенадцать тысяч сто девяносто два?»

Илюшкин покосился на стоявших за его спиной ополченцев и молчал, ответить на вопрос высшего командования было трудно. Крякин стал расспрашивать командира взвода и выяснил, что во время короткого отдыха комвзвода видел, как Илюшкин рубил штыком ветки, чтобы укрыться от солнца, да и сам Илюшкин вспомнил об этом,— очевидно, при команде подъема он забыл захватить штык.

Крякин велел ему вернуться к месту стоянки и разыскать штык. Илюшкин, медленно шагая, пошел в сторону города, и Крякин негромко и веско крикнул ему вслед:

— Веселей, Илюшкин, веселей!

И все время, пока он держал утомленных людей на солнечном припеке, в глазах его было выражение суровой одухотворенности, ему казалось, что и он и они в эти минуты становятся лучше.

— Градусов,— сказал Крякин и, раскрыв оранжевый планшет, достал сложенный вчетверо лист бумаги,— снесите донесение в батальон, вот в ту балочку, четыреста пятьдесят метров отсюда.

Вернулся Градусов бодрым шагом и, забравшись в блиндаж, рассказал, что командир батальона, прочтя рапорт, сказал начальнику штаба: «Что этот Митрофан устраивает смотры среди открытой степи, авиацию хочет навлечь? Я ему напишу словцо — последнее предупреждение».

Вот это словцо в сером конвертике и принес Градусов, шагая от батальонного командного пункта торопливой, бойкой походкой.

В первый день горожанам-ополченцам показалось, что в степи стоять невозможно: не было ни воды, ни кухонь, ни застекленных окон, ни улиц, ни тротуаров... Было много суеты, тайного уныния, шумных распоряжений. Казалось, что об ополченских частях никто не помнит, так они и останутся стоять в степи, всеми забытые. Но в первый же вечер из Окатовки пришли босые мальчишки и девушки в белых платочках, послышалось пение, смех, заиграла гармонь, среди ковыля забелела лузга тыквенных семечек. И сразу степь обжилась. Оказалось, что в балке, среди кустарников, есть богатый и чистый родник, появились ведра, и откуда-то даже прикатили бочку из-под бензина. На цепких колючках шиповника, на кривых шершавых лапах низкорослых степных груш и вишен, росших по крутому склону балки, затрепетала желтая бязь стиранных солдатских портянок и рубах. Откуда-то стали появляться арбузы, помидоры, огурцы. Потянулся среди травы в сторону города черный телефонный провод. На вторую ночь пришли трехтонные грузовики с завода, привезли новые, только что выпущенные из цехов минометы, патроны, мины, пулеметы, бутылки с горючей жидкостью, пришли полевые кухни, через час прибыли две артиллерийские батареи. В этом появлении в ночной степи

оружия, сделанного на сталинградских заводах, хлеба, выпеченного хлебозаводом, было что-то непередаваемо трогательное и волнующее. Ополченцы — рабочие Тракторного завода, «Баррикад», «Октября» — щупали стволы пушек, и казалось, пушечная сталь, полная дружелюбия, передает привет от жены, соседей, товарищей, от цехов, улиц, садиков и огородов, от всей жизни, что осталась за плечами. А хлеб, прикрытый плащ-палатками, был теплый, как живое тело.

Ночью политруки стали раздавать ополченцам «Сталинградскую правду».

Через два дня люди обжились в блиндажах, окопах, протоптали тропинки к роднику, определили, что в степи хорошо, что дурно. Стало минутами забываться, что враг подходит; казалось, так и будет идти жизнь в тихой степи, серой, седой и пыльной днем, синей в вечернюю пору. Но ночью мерцали в небе два зарева — одно от пожаров, второе над заводами, да сливался в ушах рабочий грохот, доносившийся с Волги, и гул артиллерии и бомбовых ударов с Дона.

20

Серёжа из привычных, домашних условий попал в среду чужих людей, в обстановку чуждых ему отношений и подчас жестоких физических лишений.

Даже взрослые, житейски опытные люди, попадая в тяжелый переплет, замечают, как нарушаются многие их представления, как недостаточен их опыт жизни и знание людей в новых, особо суровых и необычных условиях. И Серёжа с первых же дней почувствовал, насколько непохожа жизнь на то, что он знал о ней из школьного и домашнего опыта, книг и собственных маленьких наблюдений. Однако удивительным оказалось не это, удивительным оказалось другое: постепенно, с течением времени, немного привыкнув к огромному вороху новых поразительных и неожиданных ощущений, познав усталость, наслушавшись многословной брани, то злой, то добродушной, познав всю простоту солдатских желаний и нравов, познав суровую власть сержанта и старшины, он ощутил, что его духовный мир не развалился, а продолжал существовать, устоял. Все, что дала ему школа, учителя, товарищи, все полученное от жизни и от чтения книг — уважение к труду, правдивости, свободе, — все это не рухнуло в буре войны, захватившей его семнадцатилетний ум и сердце. Странно было представить себе седую голову Мостовского, строгие глаза и белый воротничок бабушки здесь, среди дорожной пыли, криков команды и ночных солдатских разговоров. Но линия духовной жизни, которой он следовал, не поломалась, не согнулась, а, наоборот, напряжилась, сохранила свою прямизну.

По мере приближения к фронту быстро менялись ополченские знаменитости и авторитеты. В первые бестолковые дни, когда ополченцев поселили в казармы, и занятия не были налажены, и день заполнялся составлением и проверкой списков, суетливыми разговорами и хлопотами об увольнительных записках, — развязный, житейски умелый и ловкий Градусов заслонил собой всех.

С первого часа после записи в ополчение и прихода в казарму Градусов веско повторял:

— Я в роте долго болтаться не буду, откомандируюсь.

И действительно, со спокойным умением он стал добиваться откомандирования из роты; знакомые у него оказались всюду — и в ополченском штабе, и в штабе округа, и в хозяйственной, и в санитарной части. [Он добыл, отпросившись на четыре часа в город, хорошую писчую бумагу и карандаши для канцелярии штаба полка. Заместителю командира полка привез подарок от домохозяек Бекетовского района — хромовые сапоги.] Вероятно, он бы и добился перевода в хозяйственную или санитарную часть, если бы не упорство командира роты Крякина — тот не отпускал его, дважды писал объяснительную записку комиссару полка. Командир полка, хотевший взять разбитного Градусова порученцем, махнул

рукой и сказал:

— Ладно, пусть остается в роте.

Градусов возненавидел ротного до того, что уже не думал ни о войне, ни о семье, ни о будущем. Он мог часами говорить и думать о Крякине, и когда Крякин перед строем раскрывал планшет, некогда подаренный ему Градусовым, у Градусова мутнели глаза.

Градусов соединял в себе, казалось, несоединимые вещи. Он работал до последнего времени в областном жилищном строительном управлении и с гордостью рассказывал о своих успехах в работе, вспоминал о своих речах на заседаниях и общих собраниях и тут же любил рассказывать о том, как доставал костюм бостоновый, железо кровельное, шубу жене, он хвастал, как умно и выгодно жена, ездившая к родным в Саратов, продала помидоры со своего огорода, купила кремни для зажигалок и мануфактуру и, вернувшись, с выгодой продала эти дефицитные промтовары. И, слушая Градусова, люди с насмешкой говорили: «Вот как некоторые жили, не то что мы с тобой». А сам Градусов, не понимавший насмешки, подтверждал:

— Да, были, что красиво жили. [Или в ямку сесть, или рыбку съесть.]

После, когда началось военное обучение, когда дело дошло до изучения пулемета и миномета, до политбесед и ополченцы вкусили от суровой военной дисциплины, Градусов стушевался, и на первое место в роте вышел аспирант механико-строительного института Ченцов.

С этим темноглазым сухощавым человеком Сергей Шапошников сошелся ближе, чем с другими. Он и по возрасту более подходил к Сергею, состоял в комсомоле и был кандидатом в члены партии.

Их объединила общая нелюбовь к Градусову, к его вечной поговорке: «Все убито, бобик сдох». Этими словами Градусов выражал свою внутреннюю свободу от обязательств морали.

Серёжа с Ченцовым подолгу разговаривали в вечерние часы. Ченцов расспрашивал Серёжу об учении и школе, иногда вдруг спрашивал:

— Как там, ждет тебя в городе дивчина?

Серёжа смущался, и Ченцов снисходительно говорил:

— Ну что ж, у тебя еще все впереди.

Он часто рассказывал о своей жизни.

В 1932 году он, окончив семилетку, мальчишкой-сиротой приехал в Сталинград из далекой деревни, поступил разносчиком в главную контору Тракторного завода. Потом он перешел на работу в литейный цех, стал учиться в вечернем техникуме, на третьем курсе держал испытания в институт и поступил на заочный факультет. При сдаче дипломной работы он предложил рецептуру шихты с отечественными заменителями, его вызвали в Москву — утвердили аспирантом в научно-исследовательском институте.

Серёже нравилась его спокойная, хозяйская рассудительность и уверенность, его манера вникать во все ротные дела, прямо, не стесняясь, высказывать людям свое мнение о них. Он хорошо знал технические вопросы и помогал веско и немногословно минометчикам при подготовке данных для стрельбы. Он очень интересно рассказывал Серёже о работе, которую вел в исследовательском институте, рассказывал о своем детстве, о деревне, о том, как оробел, впервые попав в литейный цех завода.

У него была замечательная память, он помнил все вопросы, которые ему задавали три года назад профессора при выпускных экзаменах. Незадолго до войны он женился. О своей жене он сказал:

— Она в Челябинске сейчас, кончает педвуз, идет первой отличницей по всем предметам.— Потом он рассмеялся и добавил: — Мы уже патефон купили, собрались учиться бальным и западным танцам, а тут — война.

Рассказывал он хорошо, но каждый раз, когда он говорил о книгах, Серёже становилось неинтересно. О Короленко Ченцов сказал: «Это замечательный писатель-патриот; он боролся за нашу правду в царской России». Серёже стало неловко: читая «Слепого музыканта», он ни о чем таком не подумал, а просто пустил слезу.

Серёжу удивляло, что начитанный Ченцов, знавший хорошо русскую классическую литературу и многих иностранных писателей, не читал детских книг Гайдара, не слышал о Маугли, Томе Сойере и Геке Финне.

— А где ж я успел бы их читать, в программе их не было, а ты попробуй поработай на заводе и институт одновременно закончи, пятилетнюю программу за три года... И так спал четыре часа в сутки,— сказал Ченцов.

В казарме и на учениях он был молчалив, исполнительен и никогда не жаловался на усталость.

Он сразу же выделился на занятиях и на вопросы командиров отвечал четко, быстро, ясно. Рабочие-ополченцы относились к нему хорошо, все с ним были по-простому, но однажды он доложил политруку, что писарь неправильно выдает увольнительные. После этого на него дулись, а портовый грузчик Галигузов, командир расчета, сказал ему насмешливым голосом:

— Живет в тебе, товарищ Ченцов, административная жилка.

— Я в ополчение пошел родину защищать, а не ерунду прикрывать,— ответил Ченцов.

— А мы что ж, не кровь проливать идем? — сказал Галигузов.

Незадолго до выхода в степь отношения между Сергеем и Ченцовым испортились. Резкость Сергея, мальчишеская, ошеломляющая прямота его суждений, странные и трудные вопросы, которые он задавал, раздражали и настораживали Ченцова.

[— Вы набили бы Крякину морду? — спросил Серёжа однажды и, не получив ответа, решительно сказал: — А я бы набил: по-моему, он сволочь.]

Ополченцы, слышавшие этот разговор, посмеивались, вечером один молодой рабочий сказал Сергею:

— Ты напрасно такие разговоры о комроте заводишь, за такие разговоры в штрафную роту могут отправить.

Ченцов сердито сказал:

— Надо действительно доложить политруку Шумило.

— Это было бы не по-товарищески,— сказал Сергей Ченцову.

Тот ответил:

— Ошибаешься, именно это по-товарищески, тебя следует продернуть вовремя; ты парень

довольно интеллигентный, а сознательности в тебе мало.

— А по-моему, это...— сердито и смущенно начал Сергей.

Ченцов вдруг, выйдя из себя,— Серёжа его никогда не видел таким злым и раздраженным,— крикнул:

— Воображаешь ты из себя много, а по сути дела — сопляк!

А в те дни, когда ополчение стало в степи, оказалось, что плотник Поляков — особо влиятельный человек среди ополченцев. Родные, вероятно, удивились бы, узнав, что Серёжа, по мнению Полякова, оказался совершенно невоспитанным парнем. Он с утра до вечера делал Сергею замечания...

— Что ж ты есть так садишься, пилотку хотьними... Не за водой пошел, а по воду, за водой пойдешь — не вернешься... Как ты хлеб кладешь, разве хлеб так кладут?.. Человек в блиндаж вошел, а ты на него мусор метешь... Куда ты мослы кидаешь, собак тут нет... Человек ест, а ты ему гимнастерку прямо в лицо трусишь... Что за «ну» такое, запрег меня, что ли... Спрашивать надо не «кто последний», а «кто крайний» — тут последних нет...

Полякову не приходило в голову, что Шапошников не знал правил поведения, известных всем мальчишкам-голубятникам в заводском поселке. Его простая, подчас грубоватая, но добрая философия жизни сводилась к тому, что рабочий человек достоин быть свободным, сытым и счастливым. Он хорошо говорил о пшеничном горячем хлебе, о щах со сметаной, о том, как хорошо летом выпить холодного пивца, а зимой с мороза прийти в чистую, вытопленную комнату и, садясь обедать, пропустить стаканчик белого: «Здравствуй, рюмочка, прощай, винцо».

Поляков любил свою работу и так же вкусно, как об обеде с выпивкой, весело блестя маленькими глазами, лежащими среди коричневых морщин и морщинок, говорил об инструменте, о дубовом и кленовом товаре, о ясеневых и буковых досках. Он считал, что работает ради людского удобства и удовольствия, для того, чтобы людям было приятней и легче жить. Он любил жизнь, и, видимо, жизнь его любила, была щедра к нему, не таила от него свою прелесть. Поляков часто ходил в кино и театр, развел перед домом сад, любил смотреть футбол, и его знали многие ополченцы как постоянного посетителя стадиона. У него имелась своя лодочка, и во время отпуска он на две недели уезжал ловить рыбу в заволжские камыши, наслаждался молчаливым азартом рыбной ловли и великим богатством волжской воды, золотистой, мягкой, как подсолнечное масло, в лунные ночи — прохладной и грустной в туманном молчании рассвета, сверкающе шумной — в яркие ветреные дни... Он удил, спал, покуривал, варил уху, жарил рыбку на сковородке, пек ее в листьях лопуха, прикладывался к бутылочке, пел. Возвращался он хмельной, пропахший рекой, дымом, и долго спустя то вдруг находил в волосах сухую рыбку чешуйку, то высыпал из кармана щепотку белого речного песка... Поляков курил особый душистый корешок и специально ездил за ним в станицу за пятьдесят километров, к знакомому старику. В молодые годы он многое повидал, служил в Красной Армии, участвовал в обороне Царицына, служил в пехоте, потом в артиллерии. Он показывал ополченцам заросшую травой, полузасыпанную песком канаву и божился, что это тот самый окоп, в котором он сидел двадцать два года назад и стрелял из пулемета по красновской коннице.

Политрук Шумило решил устроить вечер воспоминаний старого участника царицынской обороны, собрал народ из других подразделений, но беседа не получилась. Поляков смутился, когда увидел десятки людей, пришедших его послушать, стал заикаться, совсем замолчал... Потом, вдруг оживившись и придя в отчаянную бодрость, он сел на землю, перешел со слушателями на «ты», словно не доклад делал, а вел беседу с приятелем в пивной, понес совсем не то, что следует. С поистине поразительной памятью Поляков стал

рассказывать, радуясь улыбкам слушателей, о том, как в ту пору кормили, многословно и подробно заговорил он о каком-то Бычкове, укравшем у него двадцать один год назад из мешка новые сапоги.

Пришлось Шумило самому сделать подробный доклад, хотя политруку роты в пору обороны Царицына было никак не больше двух лет.

После этого вечера ополченцы насмешливо и дружелюбно оглядывали Полякова, а комиссар полка в веселую минуту спрашивал Шумило:

— Кого докладчиком, Полякова пустим? — И, подмигивая, добавлял: — Ох, бедовый старик...

После гражданской войны Поляков работал в Ростове и Екатеринославе {192}, в Москве и в Баку. Много у него было воспоминаний. О женщинах он говорил очень вольно, но с каким-то всем нравившимся восхищением, испуганным удивлением.

— Эх, ребята, дурачки вы,— говорил он,— разве вы это дело по-настоящему понимаете, женскую силу понимать надо, я и сейчас, увижу девку красивую — так в ушах зашумит и сердце холодеет...

Знали его в городе многие. На пятый день стояния ополченцев в степи пришли из города две легковые машины: одна черная, нарядная, вторая зеленая, «эмка». Это приехали члены Комитета Обороны и полковник, начальник сталинградского гарнизона. Они прошли в штаб, и ополченцы, оглядывая их, говорили: «Гляди, а вон в очках, а этот... Все с пистолетами, с планшетами, один полковник без пистолета...»

Вскоре приехавшие вышли из штабного блиндажа, стали осматривать окопы, землянки, блиндажи, беседовали с ополченцами. Полковник долго осматривал пулеметные гнезда и примерялся, целился, даже попробовал пулемет, дал очередь в воздух. Потом он перешел к минометчикам.

— Смирно! — закричал Крякин и отрапортовал. Сухощавый нарядный полковник махнул рукой: «Вольно». Увидев Полякова, он улыбнулся и подошел к нему:

— А, здравствуй, плотник, встретились.

Поляков вытянулся, ответил:

— Здравствуйте, товарищ полковник.

Затрепетавший комвзвода Брюшков с облегчением увидел, что сделано это было по всем правилам науки.

— Кем тут?

— Минометчик заряжающий, товарищ полковник.

— Ну как, славянин, будешь воевать немца, не подведешь кадровых?

— Лишь бы кормили,— весело ответил Поляков.— А где он, немец, близко?

Полковник рассмеялся и сказал:

— Ну, солдат, доставай свою железную банку.

Поляков вынул из кармана круглую жестяную коробку и дал полковнику закурить корешка. Полковник снял перчатки, свернул козью ножку, выпустил облако дыма. Адъютант полковника

негромко спросил у ополченцев:

— А Шапошникова нет между вами?

— Он за продуктами пошел,— ответил Ченцов.

— Тут письмецо для него просили из города родные передать,— сказал адъютант и помахал конвертом,— в штаб сдать его?

— А вы дайте мне, мы с ним в одном блиндаже,— сказал Ченцов.

После отъезда начальства Поляков объяснял товарищам:

— Я его давно знаю. Ты не смотри, что перчатки да полковник. Я перед войной в его кабинете паркет клал: он вышел, посмотрел работу, потом: «Дай-ка я, поциклевать охота». Понимает вполне... Он, говорит, вологодский, отец его плотник, и дед был плотник, и сам он лет шесть, говорит, был по плотницкому делу, потом уж по академиям пошел.

— «Шевроле» у него игрушечка, чудесный мотор, мурлычет только,— задумчиво сказал Ченцов.

— Сколько я домов в Сталинграде строил, это жутко сказать, двадцать лет... вот и в штабе паркет мой, щитовой, буковый, циклевочка — будь здоров...— проговорил Поляков. Когда он говорил о домах, где стлал полы, паркет, ставил двери, окна, перегораживал жилые комнаты, говорил о том, как строил клубные залы, школы и больницы,— ополченцам казалось, что вот вышел в степь веселый и сварливый старик, хозяин, поставил тяжелый миномет дулом на запад, а за спиной все его большое хозяйство, кому ж, как не ему, отбивать!

В штабах ополченских частей приезд полковника всех обрадовал и ободрил. Через день командующий Сталинградским фронтом приказал новой дивизии выйти на оборону города. Вечером над степью поднялись облака пыли, слышалось гудение машин: это полки дивизии выходили из города на назначенный им рубеж. По степным дорогам шли плотные колонны молодцеватой пехоты, подразделения автоматчиков и саперов, пэтээровцев, двигалась моторизованная артиллерия крупных калибров, дивизионы мощных тяжелых минометов, тяжелые пулеметы, противотанковые орудия, шли, оседающая под тяжестью грузов, трехтонные грузовики со снарядами и минами, погромыхивали полевые кухни, пылили крытые машины полевых радиостанций, санитарные фургоны.

Ополченцы, возбужденные и веселые, наблюдали, как растекаются по степи батальоны, роты, как связисты тянут провода, как занимают огневые позиции длинноствольные скорострельные пушки, обращенные жерлами на запад.

Всегда радостно видеть людям, готовящимся встретить врага, как рядом, бок о бок, держа с ними плотную, локтевую связь, становятся соседи и товарищи в надвигающемся бою.

21

Посыльный вызвал Градусова в штаб полка. Он вернулся перед вечером и молча, ни на кого не глядя, стал увязывать свой мешок. Ченцов, участливо усмехаясь, спросил:

— Что это у вас руки так дрожат? В парашютный десант?

Градусов оглядел лица ополченцев хмельными, веселыми глазами и ответил:

— Нашлись люди, не забыли. Получил вызов на строительство военного завода под Челябинском. Семью перевезу, все одним махом устраивается.

— А-а-а,— сказал Ченцов,— а я-то не понимал, отчего руки дрожат, думал, от страха, оказывается, от радости.

Градусов кротко улыбнулся, не сердясь на насмешку, ища во всех сочувствия своей удаче.

— Подумать,— говорил он, разворачивая сложенную вчетверо папиросную бумажку,— жизнь человека от бумажки зависит! Все! Вчера я мечтал писарем быть, а вот, пожалуйста, завтра на попутной доберусь до Камышина, оттуда на Саратов поездом, в Чкалов... {193} В Чкалове семья, беру жену, сынишку — и в Челябинск... Прощай, товарищ Крякин, тебе меня не достать.— Он снова рассмеялся, оглядел лица ополченцев, помахал бумагой, вложил ее в карман гимнастерки и застегнул карман на пуговицу, а потом для верности пришил большой английской булавкой, провел рукой по груди и сказал: — Так, порядок, оформился, культурка.

— Да, семью повидать — это большое дело,— сказал Поляков.— Пустили бы, и я бы к старухе сбегал на часок...

Охваченный щедростью и жалостью к остающимся, Градусов раскрыл мешок и сказал:

— Разбирай, ребята, мое военное имущество, я в гражданку иду,— и стал вынимать вещи.— На, бери портянки,— протянул он Ченцову свернутые портянки,— новенькие, салфеточки прямо.

— Не надо мне ваших салфеточек, обойдусь.

А Градусов, все больше хмелея от собственной доброты, вынул завернутую в белую тряпочку бритву, сказал:

— Бери, Шапошников, будет обо мне память. Хоть и точил ты меня.

Серёжа молчал.

— Бери, бери, не стесняйся,— проговорил Градусов и, чтобы подбодрить Серёжу, добавил: — Не бойся, у меня дома английская осталась, а сюда я старенькую взял, все равно, думал, ребята смылят, не углядишь...

Серёжа мгновение колебался, не решаясь сказать обидную резкость человеку, делавшему ему подарок. Он даже хотел сказать, что бритва ему не нужна оттого, что он еще не бреется,— признание не легкое в семнадцать лет; но сказал он совсем по-иному:

— Не надо, вы теперь... я считаю, вы вроде дезертира...

— Да брось ты,— сердито перебил Поляков,— мало что... Каждый по-своему живет, чего учишь. Давай, давай бритву, она нам на отделение будет, колхозная.

И Поляков, забрав из рук Градусова черный бритвенный футляр, сунул его в карман.

— Что вы, ребята, надулись? — весело спросил он.— Подумаешь, делов-то, один ополченец в тыл уходит. Я вот ходил на дорогу, смотрел — дивизия на позиции выходит. Вот где сила! Идут, идут, идут... Конца не видно и начала не видать! Обмундировка как на параде, сапожки у многих хромовые; ребята молодые, румяные, грудь колесом, богатыри! А вы надулись, что Градусов уходит.

— Вот это верно, папаша,— сказал Градусов.

— Куда тебе на ночь идти? — спросил Поляков, когда Градусов стал надевать на плечи мешок.— Еще заблудишься в степи, часовые подстрелят. Заночуй уж с нами, и кухня скоро

подъедет, зачем порцию терять, сегодня суп мясной, наваристый, утром пойдешь.

Градусов мгновение смотрел ему в лицо сощуренными глазами, помотал головой. Он не сказал при этом ни слова, но все ясно поняли его плутовскую, осторожную мысль: «Нет уж, ребята, извините, останешься с вами, а немцы возьмут да и подойдут, что тогда делать... еще убьют, пропадешь тут с вами и с вашим супом».

Градусов ушел, и казалось, хоть некоторые ему и завидовали, все до единого, и те, что завидовали, испытывали чувство превосходства над ним.

— Зачем ты, товарищ Поляков, подарок у него взял? — спросил Ченцов.

— А как же,— сказал Поляков,— пригодится, зачем ему, дураку, хорошую бритву.

— По-моему, напрасно,— сказал Сергей,— и руку ему напрасно подали, я не подал ему руки.

— Правильно сделал Шапошников,— сказал Ченцов, и Сергей дружелюбно поглядел ему в глаза, впервые со дня их ссоры.

Ченцов, почувствовав этот взгляд, спросил:

— Что ж тебе в письме написали? Ты, можно сказать, первый из всего ополчения письмо получил.

Сергей снова поглядел на Ченцова и ответил:

— Да, получил.

— А что у тебя с глазами?

— Болят, от пыли, наверно,— ответил Серёжа. * * *

Темная степь, два зарева в небе, дымные пожары за Доном и пламя заводов над Волгой. Тихие звезды и блудливые пришельцы — зеленые, красные, затмевающие небесный вечный свет немецкие ракеты. Смутно, неясно гудят в небесной мути самолеты, чьи — не поймешь... Степь молчит, и к северу, где нет зарева, земля и небо слились в угрюмой беспокойной тьме. Душно, ночь не принесла прохлады и полна тревоги — ночь степной войны: пугают шорохи, но пугает и тишина, в ней нет покоя, страшен мрак на севере и ужасает неверный далекий свет все надвигающегося зарева...

Семнадцатилетний мальчик с худыми плечами стоит с винтовкой в боевом охранении в степи, ждет, думает, думает, думает... Но не детский страх затерявшейся в мире пичужки испытывает он; впервые он ощутил себя сильным, и теплое дыхание огромной суровой земли, которую он пришел защищать, наполняло его любовью и жалостью; он казался самому себе решительным и суровым, нахмуренным, сильным среди малых и слабых, земля, которую он защищал, лежала во тьме израненная и притихшая.

Вдруг он вскинул винтовку, хрипло крикнул:

— Стой, стрелять буду! — и стал всматриваться в замершую, а затем зашуршавшую среди ковыля тень, присел на корточки и негромко позвал: — Трусик, трусик, зайка, иди сюда...

Ночью Ченцов закричал страшным голосом, переполошил десятки людей. Все повскакали, хватаясь за оружие. Оказалось, что к Ченцову на нары забрался желтобрюх и заполз к нему под гимнастерку. Когда Ченцов повернулся во сне и придавил желтобрюха, тот стал биться, вырываться, вползал то под ворот, то в брюки.

— Как ледяная пружина, страшная сила,— говорил Ченцов, держа дрожащими пальцами зажженную спичку, и, раздувая ноздри, с ужасом глядел в дальний угол, куда уползла змея.

— Погреться хотел, ночью холодно ему, голый,— зевая, сказал Поляков.

Оказалось, что желтобрюхи поселились во многих пустых блиндажах, а теперь, когда в блиндажи пришли люди, не собирались уходить.

Они шуршали за дощатой обшивкой, шумели, возились.

Городские их до судорог боялись, некоторые даже не хотели спать в блиндажах, хотя желтобрюхие полозы были безвредны, те же ужи. Больше вредили крошечные полевые мыши. Они стремились пробраться к солдатским сухарям, прогрызали мешки, добирались до кусочков сахара, заложенных в белые торбочки. Докторша объяснила, что мыши разносят печеночную болезнь: «туляремия»,— сказала она.

В годы войны этих мышей развелось великое множество, так как в местах боев зерно часто оставалось необраным, и урожай на полях собирали мыши. На рассвете ополченцы видели, как желтобрюх устроил охоту на мышей: он долго таился неподвижно, мышшь все ближе металась возле него, хлопотала над ченцовским мешком. Вдруг желтобрюх прынул, мышшь пискнула ужасным голосом, собрав в этот писк весь ужас кончины, и желтобрюх, шурша, ушел с ней за доски.

— Он у нас будет, вроде кота, мышшей ловить, вы его, ребята, не секите штыками,— сказал Поляков,— безвредная тварь, одна видимость, что гадина.

Желтобрюх сразу понял Полякова и поверил людям, он перестал таиться, ползал по блиндажу, приходил, уходил, а намаявшись, ложился отдыхать у стенки, за поляковским сундуком.

Вечером, когда в земляной полутьме блиндажа вспыхнули пыльные столбы косоого солнечного света и зажелтел янтарь смолы, выступавший из досок, ополченцы увидели необычайную вещь.

Сергей перечитывал в это время письмо. Поляков тихонько тронул его руку и шепнул:

— Гляди-ка.

Сергей поднял глаза и рассеянно огляделся. Он не утирал слез, так как знал, что в полутьме блиндажа никто не увидит его заплаканных глаз, в сотый раз напряженно вчитывающихся в строки письма.

Каска, висевшая в углу, покачивалась и звенела. Густой, сжатый столб света освещал ее. Сергей увидел, что каску раскачивает желтобрюх, он казался медным в свете солнца. Присмотревшись, Сергей увидел, что змея медленно, с тяжелым усилием, выползала из своей шкурки, и новая кожа на ней казалась потной, блестела, как молодой каштан. Не дыша, следили люди за работой змеи: вот-вот, казалось, она закричит, пожалуется — очень уж тяжело и медленно вылезать из крепкого, мертвого чехла. Этот тихий полусумрак, пронзенный светом, и это никем не виданное зрелище — змея, доверчиво, в присутствии людей, меняющая кожу,— все это захватило солдат.

Притихшие, следили [27] они, и казалось, в них вошел вечерний, пыльный, сухой свет, и все кругом было задумчиво, молчало. И вот в эту тихую минуту отчаянно крикнул часовой:

— Старшина, немцы!

И тотчас послышались один за другим два глухих удара, и блиндаж ухнул, вздрогнул,

заполнился серой пылью.

Это немецкая дальнобойная артиллерия начала пристрелку с левобережного донского плацдарма.

22

В пыльный, жаркий августовский вечер в просторной комнате станичной школы за большим конторским столом сидел командир немецкой гренадерской дивизии генерал Веллер {194}, тонкогубый человек с длинным лицом.

Он просматривал лежавшие на столе бумаги, делая пометки на оперативной карте и отбрасывая в угол стола прочитанные донесения.

Работал он с чувством человека, знающего, что главное дело им уже сделано и текущие доделки не могут ни повлиять на предстоящие события, ни изменить их ход.

Мысли генерала, утомленного разработкой подробностей предстоящей операции, то и дело обращались к общему ходу событий прошедших месяцев и складывались так, словно он уже подготавливал мемуары, конспектировал свои размышления для учебников военного дела.

Финальная картина драмы, разыгранной гренадерами, танкистами и мотопехотой на просторном театре степной войны, вскоре завершится на берегах Волги; и генерала не оставляло волнение при мыслях о последних днях невиданной в истории войн кампании. Он ощущал край русской земли, он видел за Волгой начало Азии. Будь генерал философом и психологом, он, вероятно, задумался бы над тем, что это ощущение, такое радостное для него, должно неминуемо породить в русских иное, грозное, мощное чувство.

Но он не был философом, он был пехотным генералом. Он хранил в душе некую сладостную мысль и сегодня дал ей волю. Удовлетворение он найдет не в наградах. Он тешил себя соединением двух полюсов — власти и подчинения, военного успеха и смиренного выполнения приказов, ефрейторской исполнительности. В этой игре всеислия и покорности, в единстве власти и подчинения была душевная утеха, сладость и горечь его жизни.

Веллер объезжал речные переправы и видел сожженные советские грузовики, разбитые бомбами и снарядами орудия, сожженные и развороченные танки. Он видел разбитые советские самолеты. Во вчерашней сводке верховного командования германской армии сообщалось, что «в колене Дона закончены окружение и разгром 62-й советской армии».

Ночью 18 августа Веллер донес штабу армии, что в северо-восточной петле большого колена Дона, несколько северо-западнее Сталинграда, силой передовых подразделений он форсировал Дон на участке Трехостровская, Акимовский и закрепился на захваченном плацдарме.

Дальнейший план, о котором ему сообщил на днях Паулюс, был прост. После сосредоточения танковых и скоростных соединений на этом левобережном плацдарме командование предполагало вырваться к Волге севернее Сталинграда, с ходу занять заводской район, отрезать переправу через Волгу. В месте предполагаемого прорыва расстояние от Дона до Волги составляло не больше 70 километров. Одновременно наносили мощный удар по городу с юга танковые дивизии армии Готта, наступавшие вдоль железной дороги от Плодовитое. Действию наземных сил должен был предшествовать удар воздушного флота генерала Рихтгоффена.

При взгляде на карту операция в целом иногда казалась Веллеру парадоксальной: ведь вся огромная Россия нависла с севера над немецкой армией, казалось, миллионы тонн земли, неисчислимые массы людей колоссальной тяжестью давили на левый фланг армии Паулюса.

Однажды на северном крыле русские, в дни наибольшего августовского успеха немецкой армии, неожиданно перешли Дон и смяли итальянскую дивизию, прикрывавшую растянувшийся левый фланг армии.

Но, по-видимому, они расценили успех как совершенно случайный и не придали своей вылазке на западный берег значения. Они даже не подняли шума в своих газетах по поводу того, что захватили дивизионную артиллерию итальянцев и угнали с собой за Дон около двух тысяч пленных. Правда, Советы с непонятым упорством обороняют плацдармы на западном берегу Дона в районах Серафимовича и Клетской. Но и это ведь практически бесцельно: многие важные операции германской армии проводились с открытыми флангами.

Веллер увидел, как мимо окна провели какого-то пленного, должно быть армянина или грузина, со светлым пятном от споротой комиссарской звезды на рукаве. Пленный был бос, необычайно грязен, зарос черной щетиной, он шел, припадая на раненую, обвязанную тряпкой ногу. В выражении его лица, казалось Веллеру, не было ничего человеческого — тупое, одновременно измученное и равнодушное. И вдруг человек этот поднял голову, посмотрел в сторону генерала; краткое мгновение они смотрели друг на друга, и Веллер увидел не мольбу, не просьбу о пощаде, а темную, тяжелую ненависть во взгляде оборванного пленного. Веллер посмотрел на стол, где лежала карта, обозначавшая движение германских дивизий.

Он думал, что разгадку войны нужно искать на этой карте, а не в ненавидящих глазах пленного комиссара.

Так, вероятно, топор, привыкший легко раскалывать лишнее сучков полено, склонен переоценивать свою тяжесть и остроту своего лезвия и недооценивать силы сцепления в кряжистом древесном стволе. Но вот топор, глубоко ворвавшись в суковатый ствол, вдруг останавливается, намертво схваченный силами напружившегося дерева. И кажется, вся черная земля, испытавшая лютые морозы, битая ливнями, жженая пожарами, изведавшая страшные июльские грозы и томление весны, передает свою силу этому стволу, глубоко ушедшему в нее корнями.

Веллер прошелся несколько раз по комнате, половица у двери каждый раз, когда он ступал на нее, поскрипывала.

Вошел дежурный офицер и положил на стол несколько донесений.

— Эта доска скрипит,— сказал Веллер,— нужно постелить здесь ковер.

Дежурный поспешно вышел, и доска у двери снова скрипнула.

— Was der F?hrer hat gesagt? [28] — спросил Веллер у запыхавшегося молодого денщика, пришедшего через несколько минут с большим, свернутым трубой ковром.

Тот пытливо посмотрел на строгое лицо генерала. Бог весть как, но денщик понял, какого ответа хотел от него Веллер.

— F?hrer hat gesagt: Stalingrad muss fallen! [29] — уверенно ответил денщик.

Веллер рассмеялся, он прошелся по мягкому ковру, и вновь половица под ногой упрямо и сердито скрипнула.

23

В этот же пыльный и жаркий вечер, сидя в своем штабном кабинете, командующий 6-й германской пехотной армией генерал-полковник Паулюс думал о предстоящем в ближайшие дни захвате Сталинграда.

Окна, выходявшие на запад, были завешены темными, тяжелыми шторами, и близившееся к закату солнце лишь кое-где пронзало плотную ткань сверкающими точками.

Тяжело ступая, вошел адъютант командующего Адам, высокий полковник со щеками упитанного мальчика, и доложил, что командующий воздушной эскадрой Рихтгоффен прибудет через сорок минут.

Переговоры генералов должны были касаться готовившейся совместной операции наземных и воздушных сил, грандиозный масштаб которой волновал Паулюса.

Паулюс считал, что в пятидесятидневной битве, которую он начал 28 июня, сосредоточив части 6-й армии между Белгородом и Харьковом, он достиг решающего успеха; подчиненные ему три армейских корпуса — 12 пехотных дивизий, две танковые и две моторизованные дивизии, пройдя просторы донских полей, вышли к Дону от Серафимовича до Нижней Чирской, стояли под Клетской, занимали Кременскую, стояли под Сиротинской, заняли Калач.

Командование группы армий полагало, что после того, как Паулюс захватил 57 тысяч пленных, 1000 танков и 750 орудий (такие цифры, к некоторому удивлению трофейного отдела штаба Паулюса, опубликовала ставка), сопротивление советских войск подорвано. И Паулюс знал, что именно ему обязана Германия этой победой. В эти летние дни он переживал редко достигающееся человеку в такой всеобъемлющей полноте чувство успеха.

Он знал: о предстоящем с нетерпеливым ожиданием думают сегодня в Берлине несколько человек, чье мнение для Паулюса было особенно важно. Полузакрыв глаза, он представлял себе: вот он, победитель, финишировавший в грандиозной восточной кампании, остановит машину перед подъездом, подыметя по ступеням, войдет в вестибюль и в своем простом солдатском мундире, подчеркнута простом, подчеркнута солдатском, пройдет мимо толпы штабных генералов, мимо высших чиновников, мимо наделенных властью людей.

Лишь одно раздражало его. Ему нужно еще пять дней, максимум пять дней, а ставка требует, чтобы он начал послезавтра.

Потом он подумал о Рихтгоффене. Этот самоуверенный генерал полагал, что наземные войска должны находиться в оперативном подчинении у авиации, его апломб был безграничен. Очевидно, он развращен легким успехом: Белград, Африка {195}. И эта манера носить фуражку, и по-плебейски закуривать потухшую папиросу, а не отбрасывать ее в сторону, и этот голос, и неумение выслушивать собеседника до конца, и страсть объяснять в тех случаях, когда самому следует послушать объяснения. Он кое-чем напоминает счастливчика Роммеля, чья популярность обратно пропорциональна знаниям, военной культуре и серьезности. И наконец, эта развязная манера, ставшая жизненным принципом, приписывать авиации успех, достигнутый тяжкими трудами пехоты.

Зепп Дитрих, Роммель и вот этот Рихтгоффен {196} — выскочки, недоучки, герои дня, люди дешевой политической карьеры, позеры, развращенные легким успехом, еще не помышлявшие об армии тогда, когда Паулюс уже кончал академию.

Так в этот знойный и пыльный вечер раздумывал Паулюс, глядя на карту, где могучим массивом Россия нависала над левым флангом его армии.

Рихтгоффен приехал весь запыленный, под глазами, на висках и возле ноздрей у него осело много пыли, и озабоченное лицо генерала, казалось, все в серых лишайных пятнах. По дороге ему встретилась танковая колонна, видимо продвигавшаяся к району сосредоточения. Машины двигались на большой скорости, лязг и скрежет заполняли воздух, пыль была столь густой и непроницаемой, что танки, казалось, вздымали не пыль, а самую землю, словно лемеха огромных плугов. Они плыли в клубящихся плотных, рыже-коричневых волнах, и

только башни и дула орудий видны были над тяжелым морем захлестывающей их пыли. Танкисты были утомлены и сидели сутулясь, держась руками за края люков, угрюмо оглядываясь. Рихтгоффен приказал шоферу съехать с дороги и, не дожидаясь, пока пройдет железная колонна, двигаться по целине. Приехав в штаб Паулюса, он, не помывшись, пошел к командующему армией.

Паулюс, с худым горбоносым лицом задумавшегося ястреба, вышел к нему навстречу. После первых слов о жаре, пыли, загруженности дорог и мочегонных свойствах русских арбузов Паулюс протянул Рихтгоффену телеграмму Гитлера. Ее деловое значение было не так уж велико, но Паулюс с внутренней, невидимой на лице улыбкой следил за тем, как генерал авиации, несколько подавшись телом вперед, уперся ладонями в стол и медленно переходил от строки к строке, очевидно обдумывая не прямой смысл, а общее значение этой телеграммы. Минувя фельдмаршала, Гитлер обращался к командующему армией по вопросам, имевшим отношение к использованию резервов, находящихся в глубине и подчинявшихся командующему фронтовой группой. В телеграмме имелось одно слово, в котором улавливалось недовольство Готтом, командующим 4-й танковой армией, оперировавшей южнее Паулюса: очевидно, Гитлер разделял взгляд командующего 6-й армией, что танковые дивизии двигались в темпах, не соответствующих плану, и несли чрезмерные потери из-за боязни Готта широко и смело применять маневр. Наконец, имелось несколько строк, лично неприятных Рихтгоффену: 6-й армии отдавалось предпочтение в предстоящих действиях, тем самым авиация как бы признавалась привязанной к наземному командованию, а не подчинялась командованию люфтваффе — рейхсмаршалу.

Прочтя телеграмму, Рихтгоффен бережно положил ее на середину стола и слегка развел руками, давая этим жестом понять, что документы такого рода не подлежат обсуждению и критике, а должны без всяких комментариев быть приняты к выполнению.

— Фюрер находит время руководить движением отдельных дивизий,— проговорил Рихтгоффен, указывая на телеграмму,— а не только определять общий ход войны.

— Да, это изумительно,— сказал Паулюс, немало слышавший жалоб на то, что фюрер лишил инициативы всех армейских командующих и что они не могут без разрешения фюрера сменить часового у входа в штаб пехотного батальона.

Они заговорили о форсировании Дона в районе Трехостровской. Рихтгоффен похвалил действия артиллерии, тяжелых минометов и храбрость солдат 384-й дивизии, первыми вступивших на восточный берег Дона. Эта операция создала плацдарм для предстоящего удара танковой дивизии и двух мотодивизий непосредственно по Сталинграду, их сосредоточение должно было закончиться к рассвету, и их-то движение на север задержало в дороге Рихтгоффена.

— Это можно было бы сделать и два дня назад, но я не хотел заранее настораживать русских,— сказал Паулюс и улыбнулся.— Они ждут удара от Готта, с юга.

— Пусть ждут,— сказал Рихтгоффен.

— Пять дней для меня достаточно,— сказал Паулюс,— а вам?

— Моя подготовка сложнее, я буду просить неделю. В конце концов, это ведь последний удар,— ответил Рихтгоффен.— Вейхс {197} все торопит, хочет выслужиться, продемонстрировать темп; рискуем мы, не он.

Он склонился над планом Сталинграда и, водя пальцем по аккуратным квадратам, показывал, каков порядок сожжения города, какова последовательность и интервал заходов разрушительных волн, каков будет характер бомбардировки жилых районов, переправ, пристани, заводов и как наилучшим образом воздействовать на то заветное место, северную

окраину города, где в заранее определенный час появятся тяжелые танки и мотопехота. Этот час он просил определить с возможной точностью. Их беседа была обстоятельной, и они ни разу не повысили голоса.

Затем Рихтгоффен нестерпимо обстоятельно, казалось Паулюсу, говорил о сложностях организации предстоящего налета, бессмысленно подробно объяснял методику звездного удара с десятков разно отстоящих от цели аэродромов. Ведь действия сотен машин разных конструкций и скоростей должны синхронно совпадать в пространстве не только с действиями тяжелых и медлительных танков, но и находиться все время в напряженной взаимосвязи между собой. Он говорил об этом, желая привести еще один довод в том тайном споре, который шел между ним и Паулюсом. Спор этот не проявлялся в открытом несогласии, но они оба ощущали неисчезающее взаимное раздражение. Причиной этому, считал Паулюс, была глубокая и совершенно демагогическая уверенность Рихтгоффена в том, что авиация прорубает военную дорогу Германии, а танки и пехота лишь закрепляют успех, достигнутый авиацией.

Генералы решали судьбу огромного города... Их тревожили возможные контрудары русских с земли и воздуха, мощь их зенитной обороны. Обоих волновало отношение к их действиям Берлина и оценка, которую получают наземные и воздушные силы при разборе операции в генеральном штабе.

— Вы со своим корпусом,— проговорил Паулюс,— великолепно поддерживали шестую армию, когда два года назад ею командовал покойный фон Рейхенау при бельгийском прорыве у Маастрихта. Надеюсь, что ваша поддержка шестой армии при моем сталинградском прорыве будет так же успешна.

Лицо его было торжественно, а в глазах мелькнула желчная усмешка.

Рихтгоффен, посмотрев на него, грубо ответил:

— Поддерживал? Не знаю, кто кого. Скорей Рейхенау поддерживал меня. И я не знаю все же, кто будет прорывать — вы или я.

24

Утром к Веллеру зашел проститься возвращавшийся в Берлин сотрудник оперативного управления полковник Форстер, седой и грузный мужчина лет шестидесяти. Их связывало долгое знакомство, начавшееся в ту пору, когда лейтенант Веллер служил в штабе того полка, которым командовал подполковник Форстер.

Веллер вниманием и особой приветливостью хотел подчеркнуть, что уважает прошлое старшинство своего седого гостя. Он знал, что Форстер в течение нескольких лет отказывался от службы в армии и разделял взгляды опального начальника генерального штаба Людвига Бека и даже участвовал в составлении Бекем меморандума о гибельности новой войны для Германии. В этом меморандуме Бек особенно предостерегал от войны с Россией, пророчил неминуемое поражение. Лишь в сентябре 1939 года Форстер написал письмо, в котором просил командование использовать его офицерский опыт, и благодаря поддержке Браухича {198} был призван из запаса.

— С каким впечатлением вы уезжаете? — спросил генерал.— Вы знаете, как важно для меня ваше мнение.

Форстер повел массивными плечами, глядя холодными старческими голубыми глазами в глаза Веллеру, ответил:

— Мое впечатление таково, что мне следовало бы в этот день приехать к вам, а не уезжать

от вас. Но то, что я видел, не оставляет никаких сомнений: мы на пороге достижения стратегической цели.— Он взволновался, взъерошил ладонью седой гинденбургский ежик над морщинистым лбом и, подойдя к Веллеру, торжественно сказал: — Скажу вам просто, как сказал бы восемнадцать лет назад: «Ты молодец, Франц».

— Превосходные солдаты,— сказал растроганный Веллер.

— Не только солдаты,— проговорил Форстер и улыбнулся командиру дивизии. Он не испытывал по отношению к Веллеру тяжелого и мучившего его постоянно раздражения, которое вызывали в нем преуспевающие молодые офицеры.

Когда-то, в решающие дни Германии, в 1933 году, они встретились на курорте. Они с брезгливостью рассказывали друг другу о лидерах новой партии: о наркомании и обжорстве Геринга {199}, о патологической натуре Гитлера, о его психопатической мстительности, истерии, соединенной с кровожадностью, о бешеном честолюбии, соединенном с трусостью, о его смехотворной «интуиции», о подозрительном происхождении его железного креста {200}. Форстер много говорил о обреченности любой попытки военного реванша, о безграмотности политических шарлатанов, понятия не имеющих о науке войны и пытающихся подменить демагогическим шумом и идиотской болтовней логику генеральских умов, умудренных опытом проигранной войны. Они оба помнили эти беседы, но неписанный кодекс суровой жизни в империи запрещал даже близким друзьям вспоминать такие опасные и ошибочные разговоры прошлого.

И вот сейчас, в ста километрах от Волги, в канун не виданной миром победы, Веллер, пожимая на прощание руку Форстера, вдруг спросил:

— Вы помните наши далекие разговоры в парке, там, на взморье?..

— Седина и годы не всегда бывают правы,— медленно проговорил Форстер.— Я всегда буду сожалеть о том, что не сразу понял свою ошибку. Время умнее меня.

— Да, в этой войне в стратегию введен новый элемент,— проговорил Веллер.— Размышления генерального штаба о том, что ширина русского пространства, выгодная для нас на первом этапе, будет бита глубиной пространства, выгодной для русских, оказались неверны.

— Теперь это понятно всем.

— Если вы приедете через две недели, вы найдете меня здесь,— сказал Веллер и указал пальцем на дом, помеченный крестиком на плане города.— Правда, Рихтгоффен объявил нашему командующему, что будет просить отсрочки не на пять, а на семь дней, он взял это на себя.— Он проводил Форстера до двери и спросил: — Вы мне говорили, что разыскиваете своего родственника, лейтенанта, удалось вам его повидать?

— Я разыскал его,— ответил Форстер,— лейтенант Бах, собственно, будущий родственник, жених моей дочери, но повидать его мне не удалось, он находится на плацдарме, на левом берегу Дона.

— О, значит, молодому человеку повезло,— сказал Веллер,— он увидит Сталинград раньше меня.

25

Летом 1942 года, после падения Керчи, Севастополя, Ростова, угрюмая сдержанность берлинской прессы сменилась радостными фанфарами победы. Успехи грандиозного донского наступления заставили забыть статьи, трактовавшие о суровости русской зимы, о

силе советских войск, о мощи советской артиллерии, о [фанатизме] {201} партизан, о каменно упорном сопротивлении русских под Севастополем, Москвой и Ленинградом. Успехи вытеснили воспоминания об ужасных потерях, о миллионах крестов над солдатскими могилами, о поездах с обмороженными и ранеными, день и ночь шедших с восточного фронта, и о пугавшей лихорадочной поспешностью кампании зимней помощи. Успехи донского наступления приглушили мысли о неудаче блицкрига, о силе русских, о безумстве восточного похода, о невыполненном обещании фюрера к середине ноября 1941 года захватить Москву, Ленинград и победно закончить войну.

Утром в Берлине начиналась жизнь, полная деловой суеты и грохота.

Телеграф, радио и газеты сообщали о все новых победах на восточном фронте и в Африке, о полуразрушенном Лондоне, об успехах союзной Японии, о действиях подводного флота, парализовавшего военные попытки Америки. Общественная атмосфера была напряжена — ожидалось новые, еще большие успехи, близость мира. Поезда и пассажирские «юнкерсы» каждодневно доставляли в Берлин десятки высокопоставленных лиц — знаменитых промышленников, королей, наследных принцев, премьер-министров, генералов. Из столиц Европы — Парижа, Амстердама, Брюсселя, Мадрида, Копенгагена и Праги, Вены, Бухареста, Лиссабона и Афин, Белграда и Будапешта — они ехали в Берлин. Берлинцы посмеивались, следя за лицами вольных и невольных «гостей» фюрера. Подъезжая на автомобилях к серому зданию Новой имперской канцелярии, охваченные трепетом школяров, они выдавали свои чувства: нервно оглядывались, ерзали, хмурились. Газеты непрерывно сообщали о дипломатических приемах, завтраках, обедах, беседах в рейхсканцелярии, в полевой ставке, Зальцбурге, Берхтесгадене {202}, о военных и торговых договорах и соглашениях. С приближением немецких войск к низовьям Волги и к Каспийскому морю в Берлине заговорили о бакинской нефти, о соединении с японцами, вспомнили о Субхас Чандра Босе {203}, предполагаемом гаулейтере {204} Индии.

Товарные поезда везли из славянских и романских стран рабочих, зерно, лес, гранит, мрамор, сардины, вино, руду, масло, металл...

Берлин торжествовал, гудел, и казалось, особенно пышно зеленели на улицах и в садах липы, каштаны, вился дикий виноград и плющ.

Иллюзия общности судьбы якобы идущего к победе тоталитарного империалистического государства с судьбой малых людей в ту пору была сильна в фашистской Германии. Многим казалась жизненной реальностью объявленная Гитлером истина: кровь, текущая в арийских жилах, объединяет всех немцев под знаменем славы, богатства и власти над миром. То была пора презрения к чужой крови и оправдания безмерных злодеяний и жестокостей власти. То была пора оправдания огромных потерь, сиротства, солдатских могил всенемецким, якобы народным, тотальным успехом. И все же с приходом вечера начиналась вторая жизнь. Наступал мрак, время воздушного минотавра {205}. Это были часы страха и слабости, часы разговоров шепотом в кругу семьи и близких, часы одиноких мыслей, усталости, слез по убитым на восточном фронте, время тоски, сетования на нужду[, изнурительный труд и несправедливость] {206}, время антигосударственных мыслей, сомнений, [время ужаса перед неумолимой силой империи,] время смутных предчувствий [и воющих английских бомб].

Эти два ручья текли через жизнь немецкого народа, через жизнь каждого немца — служащего, рабочего, профессора, девушки, ученика начальной школы. Необычайное раздвоение, и современникам трудно было тогда понять, к чему ведет оно[— к новым, невиданным формам жизни? — будет ли это раздвоение уничтожено после победы, сохранится ли].

В Новой имперской канцелярии начинался рабочий день. Несмотря на утренний час, солнце жарко нагрело серые стены и каменные плиты тротуара. Боясь опоздать, торопливо шли технические работники: машинистки, стенографистки, деловоды, архивариусы, женщины, обслуживающие «казино» — столовую и буфет, младшие сотрудники адъютантуры и приемной, секретариатов рейхсминистров. Костистые нацистки шагали быстро, размахивая руками, не отставая от молодых людей в военной форме; сотрудниц рейхсканцелярии можно было отличить от обычных берлинок той поры: они не носили с собой кошелек для провизии, так как имелось указание не приносить на работу никаких объемистых пакетов и сумок — это роняло достоинство служащих высокого учреждения. Распоряжение было отдано якобы после того, как Геббельс столкнулся с сотрудницей библиотеки, нагруженной сумками, полными капустой, банками с маринованными бобами и огурцами; библиотекарша растерялась и уронила сумку, просыпала горох из бумажного пакета, и Геббельс, пренебрегая болью в ноге, присел на корточки, положив рядом с собой пачку бумаг, и стал собирать рассыпавшиеся горошины. Сотрудница поблагодарила его и обещала хранить горошины, собранные с пола хромым доктором, как воспоминание о его простоте и добросердечности.

Сотрудники и сотрудницы, выходя в это жаркое утро из метро и трамваев и приближаясь к зданиям правительственного района со стороны Фридрихштрассе либо Шарлоттенбурга {207}, сразу же по множеству признаков определяли, что в этот день Гитлер приехал в Берлин и посетит рейхсканцелярию. Дисциплинированные седовласые служащие шли со строгими лицами, как бы не желая глядеть на то, что по штату им не положено замечать. Но молодые подмигивали друг другу, проходя мимо добавочных полицейских и военных постов, оглядываясь на многочисленных людей в штатском, странно похожих друг на друга внимательным выражением жестких глаз, проникающих, как рентгеновские лучи, сквозь кожу портфелей. Это зрелище развлекало молодых сотрудников — в последнее время Гитлер редко бывал в Берлине, большей частью он находился в Берхтесгадене либо на фронте — то есть в своей полевой ставке, расположенной в пятистах километрах от места боев.

Служебные пропуска у входа проверялись старшими сотрудниками бюро. За их спиной стояли чины личной охраны фюрера, медленным взором оглядывая проходящих.

Из-за полуоткрытых высоких застекленных дверей кабинета, выходящих в сад, доносился запах свежеспелой зелени. Кабинет был огромен, и прогулка из одного его конца, от камина, где стояли обитое розовым шелком кресло и письменный стол, до дверей приемной занимала немало времени. Путь гулявшего вел мимо массивного, величиной с пивную бочку, глобуса, мимо длинного мраморного стола, где были расположены карты, мимо стеклянных дверей, идущих на террасу и в сад. В саду негромко, сдержанно, точно боясь потратить силы, нужные для большого летнего дня, переговаривались в траве дрозды. Прохаживавшийся был одет в серый френч и бриджи. На нем была надета белая рубашка с отложным воротником, с черным галстуком, стянутым тугим узлом. На груди его были солдатский крест, знак ранения и почетный партийный значок с золотой полосой вокруг знака гакенкройца {208}. Вата, подложенная умелым портным, скрывала несоразмерную с почти женской шириной бедер покатошь [слабых] плеч. В его фигуре было нечто обычно не совмещающееся в одном человеке, — он был одновременно худ и упитан, костистое лицо, впалые виски, длинная шея, узкий затылок принадлежали худому человеку, а зад и толстые ноги были словно взяты от другого, толстого, упитанного.

Костюм его, железный крест — символ солдатской отваги, значок ранения — напоминание о перенесенном страдании, значок NSDAP со свастикой — расовой и государственной эмблемой Новой Германии — все это было известно по десяткам фотографий, рисунков, хроникальных кинофильмов, почтовых марок, значков, гипсовых, мраморных барельефов, по карикатурам Лоу {209} и Кукрыниксов {210}, по плакатам и листовкам.

И все же человек, десятки и сотни раз видевший Гитлера на портретах, невольно

заколебался бы, его ли он видит, взглянув в этот час на не нарисованное, а на живое, нездоровое лицо, с припухшими веками, с выпуклыми, воспаленными глазами, с высоким узким и бледным лбом, большим мясистым носом с большими ноздрями.

В эту ночь фюрер спал мало и проснулся очень рано. Утренняя ванна не вернула ему бодрости. Может быть, утомленный сонный взгляд и придавал ему необычное, не встречающееся на портретах выражение.

В часы сна, когда он лежал в длинной ночной рубашке под одеялом, бормотал, всхрапывал, плямкал губами, скрежетал большими зубами, поджимал колени, переворачивался с боку на бок, то есть проделывал все то, что проделывают во сне пятидесятилетние люди с расшатанной нервной системой, нарушенным обменом веществ и сердечными обмираниями, он, конечно, был больше похож на человека, чем в минуты бодрствования,— эти часы беспокойного, некрасивого сна, собственно, были часами его человекоподобия. Кривая человекоподобия падала по мере того, как, проснувшись, пожившись от утреннего озноба, он спускал ноги на ковер, шел в ванную, потом надевал приготовленное слугой белье, бриджи, зачесывал на покатый лоб справа налево темные волосы и проверял перед зеркалом, точно ли соответствует прическа и выражение лица с мешками под глазами принятому и узаконенному образцу, одинаково обязательному для фюрера Германии и для снимающих его фотографов.

Гитлер подошел к двери, ведущей в сад, оперся плечом о нагретую солнцем стену. Прикосновение горячего шершавого камня, видимо, было приятно ему, и он прижался к теплой стене щекой и ляжкой, стараясь телом перенять от камня солнечное тепло,— обычное инстинктивное стремление холоднокровных существ.

Так стоял он, нежась на солнце, закрыв глаза, распустив мышцы лица в сонную и довольную улыбку, растроганный и взволнованный своей девичьей, как ему подумалось, позой.

Его серый френч и бриджи сливались по цвету со светло-серым камнем имперской канцелярии, и нечто непередаваемо страшное было в тихом покое некрасивого, слабого существа со впалым затылком и опустившимися плечами.

Послышались негромкие шаги, Гитлер резко повернулся.

Но подошедший — высокий, статный, с обозначившимся брюшком, румянолицый, с сочным, немного выпяченным ртом и маленьким подбородком — был другом, а не врагом.

Они прошли в кабинет, и рейхсфюрер СС, министр полиции Гиммлер шел склонив голову, точно стесняясь того, что он ростом выше рейхсканцлера.

Гитлер поднял белую, казавшуюся влажной ладонь и отдельно произнес:

— Я не хочу объяснений... Я хочу от тебя одного слова: исполнено.

Он сел за стол и резким жестом пригласил Гиммлера сесть напротив себя. Тот, щурясь через толстые стекла пенсне, заговорил спокойным и мягким голосом.

Это был человек, знавший горький корень дружеских отношений на вершине государственного гранита. Он знал, что не способности, не ум, не знания привели его, служащего фирмы по производству искусственного азота и организатора птичьих ферм, к высоте власти.

Его страшная власть топора имела лишь один фундамент — страстное исполнение воли человека, которого он сейчас по-студенчески просто называл на «ты». Чем безмерней и бездумней была его послушная покорность в кабинете Гитлера, тем сильнее была его мощь

за пределами этого кабинета... Эти отношения складывались не просто: вечного напряжения требовала гибкая, темпераментная покорность, которая боялась не только свободы мысли, но и подозрений в угодливости, сестре лицемерия и измены; эти отношения жаждали лишь одного: беспредельной рабской преданности.

Эта преданность могла и должна была проявляться в сложных и разнообразных формах, не только в солдатском послушании — порой ей следовало быть ворчливой или угрюмой, иногда ей выгодно было спорить, и она становилась груба, противоречила, упрямылась, упиралась... Гиммлер говорил с человеком, которого знал в далекие, прошедшие годы, в темную пору жалкой слабости. Каждую минуту этот человек должен был чувствовать какой-то частью своей души эту давнишнюю, идущую через годы связь, которая, казалось, главней и важней сегодняшнего часа. Но одновременно этот человек должен был чувствовать совершенно противоположное — комичность, полную незначительность этой прошлой связи сегодня. Она, в сущности, ничего не значила, она подчеркивала колоссальность их неравенства и никогда, ни при каких обстоятельствах не могла намекнуть на равенство. И в каждом разговоре с фюрером он обязан был выразить эти две противоположности. То был мир, где нереальной была действительность, где единственной реальностью были минутное настроение, каприз фюрера.

И сейчас Гиммлер сказал о том, что интерес фюрера заставляет Гиммлера спорить с ним. Он, Гиммлер, знает желание Гитлера, которое было бы ужасно, не будь оно рождено давно прошедшим, но неизгладимым личным страданием, благородной в своей безотчетности ненавистью, страстным инстинктом самосохранения расы, выразителем которого является фюрер. Гнев, не знающий различия между вооруженным врагом и новорожденным, слабой девушкой-подростком и беспомощной старухой, опасный и страшный гнев... Должно быть, только он, Гиммлер, один из всех близких фюрера знает, сколько воли нужно для борьбы с внешне беспомощными и слабыми, как опасна такая борьба. Это восстание против тысячелетий человеческой истории, это вызов гуманистическому предрассудку человечества... Чем внешне беспомощней и слабей жертвы, тем тяжелей и опасней борьба. Только он, Гиммлер, единственный из всех друзей фюрера знает мощь подготовленной акции, которая на языке расслабляющего предрассудка тысячелетий называется организованным массовым убийством. И пусть фюрер верит, что Гиммлер горд разделить с ним страшную тяжесть этого груза. Но пусть никто, даже самые преданные друзья, не знают всей горечи его труда. Пусть лишь он один увидит те глубины, которые раскрыл ему фюрер, он один различит в них истину нового созидания...

Он говорил быстро, убежденным взволнованным голосом и все время чувствовал на себе тяжелый взгляд Гитлера.

Министр хорошо знал, что в ту минуту, когда Гитлер, казалось, вовсе не слушает докладчика и думает о чем-то своем, он совершенно непонятным образом подмечал какую-нибудь неуловимую тонкость в сочетании мыслей, даже в интонации, и своей внезапной усмешкой заставлял вздрагивать.

Гиммлер прикоснулся рукой к лежавшим на столе бумагам.

Фюрер знает проекты, а он, Гиммлер, видел своими глазами на пустынных землях востока строгую простоту газовых камер среди сосновых лесов, подъезды и ступени, украшенные цветами... Печальная музыка расставания с жизнью и высокий огонь кремационных печей среди ночи. Не каждому дано понять поэзию первозданного хаоса, смешавшего смерть и жизнь.

Это был сложный и трудный разговор. Гиммлер знал, что каждый такой разговор, затрагивает ли он будущее немецкого народа, ущербность французской живописи, либо совершенства подаренной ему фюрером молодой овчарки, или небывалое число яблок, снятое в саду

фюрера с молодой яблони, либо разоблачение «тайного еврейства» Рузвельта {211}, всегда преследует одну и ту же главную и тайную цель — приблизить его к фюреру ближе тех других трех-четырёх, которые вместе с ним делили призрачное доверие Гитлера.

Но движение к этой цели не было просто, и, когда фюрер был раздражен Геббельсом или подозревал Геринга, с ним следовало спорить и не соглашаться с его недовольством. Разговор с Гитлером был всегда сложен и опасен, его подозрительность была беспредельна, настроения подвержены быстрым изменениям, выводы почти всегда алогичны.

И сейчас Гитлер внезапно, перебив его, сказал:

— Я хочу слышать: исполнено! Я хочу слышать: исполнено! Я не хочу, закончив войну, возвращаться к этому вопросу... Зачем мне ступени, украшенные цветами, и все эти михельские профессорские проекты {212}. Мало, что ли, рвов в Польше, мало, что ли, бездельников в полках СС.

Он привстал, собрал со стола бумаги и некоторое время, точно накапливая раздражение, продержав их в воздухе, с силой швырнул обратно на стол.

— На кой черт мне ваши проекты и ваша дурацкая мистика с цветами и музыкой! Кто это сообщил тебе, что я мистик? Ничего этого я знать не желаю! Чего ты медлишь? У них танки? Пулеметы? Авиация? — Он тихо спросил: — Неужели ты не понимаешь? Неужели ты хочешь терзать меня, когда все силы мои собраны для войны?.. — Он встал из-за стола и подошел к министру. — Сказать тебе, откуда в тебе это стремление к оттяжке и к тайне? — Он посмотрел на розовую, просвечивающую среди поредевших волос кожу на голове Гимmlера и брезгливо усмехнулся. — Неужели ты не понимаешь этого? Ты лучше всех знаешь пульс народа, но неужели ты не понимаешь себя? Я-то понимаю, откуда это желание погрузить все в тьму лесов и в мистику ночей. Ты боишься! И это от неверия в меня, в мою силу, в мой успех, в мою борьбу! Ты не верил, я прекрасно помню, и в двадцать пятом, и в двадцать девятом, и в тридцать третьем, и даже тогда, когда я сокрушил Францию. Трусливые души, когда ж вы поверите? Неужели, когда любой остолоп в Европе уже знает, что в мире есть одна лишь реальная сила, ты узнаешь об этом последним? Теперь, когда я поставил Россию на колени, когда она простоит коленопреклоненной пятьсот лет, ты все еще не веришь? Мне незачем скрывать свои решения. Сталинград будет взят через три дня. Ключ победы в моих руках. Я достаточно силен для этого. Пора тайн миновала. То, что я задумал, я сделаю, и никто в мире не посмеет помешать мне...

Он сжал ладонями виски, откинул со лба волосы и, оглянувшись, несколько раз повторил:

— Я вам покажу цветы, я вам покажу музыку!

27

В приемном зале рейхсканцелярии ожидал прилетевший от Паулюса полковник Форстер.

Форстеру впервые в жизни предстояло видеть Гитлера с глазу на глаз, и свидание это радовало и страшило его.

Еще вчера в такой же утренний час он пил кофе и смотрел в окно на старуху в рваном мужском пиджаке, гнавшую по улице серую овцу. Вчера в этот утренний час он шел по пыльной, нелепо широкой улице казачьего поселения, именуемого станицей...

Вечером самолет сел на аэродроме Темпельгоф, но Форстер не смог сразу попасть домой — пассажиров нескольких снизившихся «юнкерсов» охрана не подпустила к выходу из воздушного вокзала. Среди ожидавших были генералы, они рассердились и требовали объяснения. Служащие аэродрома разводили руками... В это время, нарушая все правила,

по летному полю пронесся от севшего вдали самолета блестящий черный автомобиль и следом за ним три открытые машины. Один из пассажиров сказал:

— Гиммлер, он при нас вылетел из Варшавы.

И Форстер ощутил холодок страха перед силой, которая, казалось ему, была больше той, что в дыму и пыли, ломая сопротивление русских, рвалась к Волге. Он попал домой лишь поздно ночью.

Его встретили жена и дочь.

Форстер при радостных вскриках «ах, фати!» вынимал из чемодана привезенные подарки — маленькие сухие тыквы, именуемые в украинских деревнях «таракуцьки», глиняные горшочки для молока, деревянные деревенские солонки и ложки, вышитые полотенца, бусы — набор экзотических предметов, к которым питала страсть Мария, учившаяся в художественной школе. Все это тут же было присоединено к раритетам — тибетским вышивкам, пестрым албанским туфлям, цветным малайским циночкам.

— А письмо? — спросила Мария, когда отец вновь нагнулся над чемоданом.

— Письма нет, я не видел твоего студента.

— Разве Бах не в штабе? — спросила она.

— Нет, твой студент стал танкистом.

— Господи, представляю себе Петера на танке. Как же это, под конец войны?..

Именно в это время Форстера позвали к телефону. Негромкий голос предупредил, что за полковником утром заедут, просили подготовиться к докладу. Форстер понял, кому предстоит докладывать: с ним говорил старший сотрудник адъютантуры фюрера.

— Что с тобой? — спросила жена, заметив на раскрасневшемся после семейной встречи лице мужа иное, странное волнение.

Он молча обнял ее.

— Большой день в моей жизни,— тихо сказал он.

Она подумала, что лучше бы большой день наступил не сегодня, но ничего не сказала.

Произошла странная вещь: дважды за сутки Форстеру пришлось столкнуться с человеком, которого он до этого дня ни разу близко не видел за все годы своей жизни. Подойдя к длинному, растянувшемуся на квартал двухэтажному зданию рейхсканцелярии, он обострившимся от волнения и любопытства взором отмечал подробности, о которых расскажет жене и дочери,— черную небольшую доску с золотым орлом у входа, сосчитал высокие ступени, измерил площадь розового ковра, покрывающего, как ему показалось, три четверти гектара, коснулся ладонью серой, под мрамор, стены, сравнил бронзовые бра с бесчисленными ветвями деревьев, оглядел замерших у внутренней арки неподвижных, литых из стали, часовых в светлых серо-голубых мундирах с черными обшлагами. За открытым окном, ведущим на улицу, послышалась короткая, словно приглушенные выстрелы, команда, звяканье оружия, четкие негромкие приветствия.

Форстер увидел, как плавно остановился у подъезда огромный, блестящий лаком и стеклом автомобиль, тот самый, что несся накануне по бетонным плитам Темпельгофа, а две открытые машины, шедшие следом, почти не замедляя скорости, развернулись, и с привычной ловкостью на ходу из них выскочили чины охраны.

Через минуту мимо него под арку, ведущую к кабинету Гитлера, быстрым шагом прошел, улыбаясь пухлым ртом, рейхсфюрер СС в высокой массивной фуражке, в развевающемся сером плаще.

Форстер ожидал вызова, сидя в кресле, ощущая непроходящее, все нарастающее волнение. Минутами ему казалось, что у него вот-вот начнется сердечный припадок с удушьем и тупой, тяжелой болью под лопаткой. Его угнетали тишина и безразличное спокойствие секретарей — они были совершенно равнодушны к полковнику, прибывшему ночью из-под Сталинграда.

В таком ожидании прошло около часа.

Внезапно, по какому-то неуловимому движению в приемной, Форстер понял, что Гитлер остался один в кабинете. Он вынул платок и тщательно обтер ставшие влажными ладони. Казалось, с секунды на секунду его могут позвать. Но после этого прошло еще двадцать минут тяжкого напряжения. Форстер хотел подготовиться к возможным вопросам, но навязчивая мысль мешала ему, он в тысячный раз в уме репетировал удар каблука о каблук, слова приветствия. «Точно шестнадцатилетний кадет перед первым парадом», — подумал он и провел ладонью по волосам. Затем он подумал, не забыли ли о нем, он просидит так шесть часов, служащие начнут улыбаться, и кто-нибудь скажет ему:

— Пожалуй, вам нет смысла ждать, получена радиограмма, что фюрер прилетел в Берхтесгаден.

И ему захотелось позвонить домой, запретить домашним разглашать среди знакомых новость.

Зажегся рубиновый глазок на мраморном пульте.

— Полковник Форстер, — произнес чей-то тихий и словно укоризненный голос.

Форстер встал, вдруг задохнулся, хотел пойти медленным шагом, чтобы восстановить дыхание; он не видел человека, подводившего его к двери кабинета, он уже ничего не видел, кроме блестящей высокой дубовой двери.

— Быстрее, — шепотом окликнул его тот же голос, но сейчас он был грубый, властный.

Дверь открылась, и, конечно, все произошло не так, как рисовал себе Форстер.

Он думал сразу же после приветствия быстрым шагом подойти к письменному столу, а получилось, что он остановился у двери, а Гитлер сам шел к нему из глубины кабинета, бесшумно ступая по толстому ковру. Сперва он казался необычайно похожим на тысячи объединенных однообразием изображений на картинах, фотографиях, почтовых марках, и Форстер на миг ощутил себя не зрителем, а персонажем фильма, попавшим на экран при дневном освещении, — из глубины кадра бесшумно наплывала на него знакомая фигура. Но чем ближе Гитлер подходил, тем меньше лицо его казалось похожим на миллионы изображений, оно было живым, бледным, с большими зубами. Форстер увидел его влажные голубоватые глаза, редкие ресницы и темные отечные дуги под глазами.

Форстеру показалось, что большие малокровные губы фюрера усмехнулись, словно он понял нынешнее трепетное состояние старого полковника и вспомнил его прежние антигосударственные мысли.

— Фронтной воздух, видимо, пошел вам на пользу, — сказал Гитлер.

Форстера поразила обыденность интонаций негромкого голоса; казалось, что из этого рта мог исходить лишь острый, как осколки бутылки, фанатичный, зловецкий призыв, гипнотизирующий двадцать тысяч участников митинга в Спорт-Паласе {213}.

— Да, мой фюрер, я прекрасно себя чувствую,— ответил Форстер, и голос его задрожал от покорного волнения, а внутри словно эхо повторило: «Мой фюрер, мой фюрер, мой, мой».

Но, конечно, он сказал сущую неправду. В самолете он себя плохо чувствовал и, боясь припадка, принял таблетку нитроглицерина. А дома он не спал до утра, мучимый одышкой и сердечными перебоями, десятки раз смотрел на часы, подходил к окну, вслушиваясь, не пришел ли за ним автомобиль.

— Паулюс ночью просил у меня отсрочки на пять дней. А за час до этого мне доложили жалобу Рихтгоффена, он хочет начать, хотя его подготовка сложнее, а Паулюс настаивает на отсрочке. Я недоволен им.

Форстер вспомнил о том, что командующий воздушными силами обещал просить у Гитлера более длительный срок на подготовку операции,— очевидно, изменив слову, он пытался повредить Паулюсу. Но Форстер уж понимал, что говорить в этом кабинете правду ему не дано, да и есть ли такие смельчаки...

— Да, мой фюрер, подготовка пехоты куда проще,— сказал он.

— Пойдемте к карте...— негромко произнес Гитлер.

Он шел впереди Форстера, опустив руки, сутуля спину, его голова была выстрижена по солдатской манере, и анемичная полоса бледной, голой кожи с пятнами после недавней стрижки шла от шеи к затылку и ушам. В этот миг естественное равенство установилось между ними — два человека молча шагали по одному ковру. Это чувство было противоположно тому, что испытал Форстер, когда на параде в честь победы над Францией увидел фюрера Германии. Он шагал тогда вот этой же быстрой походкой — не властителя, а нервного обывателя,— и, отстав от него, шли десятки фельдмаршалов и генералов, в касках и нарядных фуражках, шли той нестройной толкающейся толпой властительных людей, которым не обязателен железный порядок военного парада. Казалось, пропасть отделяет Гитлера от всех окружавших его, не метры, а километры. А тут — плечо его касалось плеча Форстера.

В центре очень длинного стола, стоявшего параллельно окнам, была разложена карта восточного фронта, вправо от нее лежала другая. Форстер по большому количеству синей и желтой краски понял, что это Средиземноморский театр — Киренаика, Египет; он мельком заметил отмеченные карандашом Мерса-Матрух, Дерну, Тобрук {214}. Этот стол, зеркальные высокие двери и окна, глобус, камин с массивной решеткой, это кресло видел он на фотографиях в журналах, и сейчас он вновь узнавал все это со странным чувством: то ли он видел это когда-то во сне, то ли сейчас ему снится, что видит он все это наяву.

— Где вчера был штаб Паулюса? — спросил Гитлер.

Форстер указал на карте пункт и сказал:

— Сегодня с утра штаб должен был переместиться в Голубинское, на берег Дона, мой фюрер.

Гитлер оперся на стол руками.

— Полковник, я слушаю,— сказал он.

Форстер стал докладывать.

Волнение полковника не уменьшалось, а росло. Гитлер пристально и угрюмо смотрел на карту, нижняя губа его немного отвисла. Форстеру казалось, что все слова об обеспеченности темпов и коэффициентах ввода резервов, видимо, лишь раздражали фюрера своей

ненужностью и мешали ему думать. Форстер почувствовал себя ребенком, лепечущим перед рассеянным и озабоченным взрослым. Он в юности представлял себе истинных военных вождей внимательными к новостям войны, ищущими стратегических разгадок не только в докладах генералов, но и в простодушных рассказах солдат; они, казалось ему, заглядывали в глаза молодым лейтенантам и подстерегали тайну успеха в размышлениях стариков ветеранов и обозных солдат. Но, видимо, он в юности ошибался.

Форстер стал говорить тише, медленнее. Вовсе замолчать он не решался. Гитлер покашлял и, не поворачивая головы, спросил:

— Вам известно о том, что Сталин на Волге?

— Нет, таких данных нет, мой фюрер.

Гитлер улыбнулся.

— Данных нет?

Вчера Форстеру казалось, что приказ взять Сталинград 25 августа родился из знания обстановки, точного расчета, из проникновения в детали событий. Гитлер, казалось ему, учел неистраченные моторесурсы танков, знал подвижность тылов, количественные и качественные преимущества воздушных сил, ясно представлял динамическую силу каждой пехотной дивизии, темп движения к фронту резервов, боеприпасов, характер коммуникаций. Ему казалось, что информация фюрера бесконечно широка и богата, что, произнося: «Stalingrad muss fallen!», он учел и зависимость проходимости дорог в Донской степи от метеорологических условий, и потопленные английские транспорты, не дошедшие до Мурманска, и удар на Александрию, и события на Сингапуре {215}.

Сейчас он понял, что слова «Stalingrad muss fallen!» родились из иных оснований, более веских, чем действительность боевых полей. Так он хотел!

Форстер со страхом подумал, что Гитлер перебьет его, станет задавать вопросы. Он слышал о манере фюрера нетерпеливо и беспорядочно задавать вопросы, сбивая этим докладчика. При большой раздражительности фюрера это часто губило докладчиков, не знавших, каких ответов он ждет от них. Но сейчас Гитлер молчал.

Форстер не понимал, что видел фюрера в те минуты, когда ничье постороннее суждение его не интересовало; он в такие минуты не читал сводок и радиошифра: наступление армий не определяло хода его размышлений; единственно ход его мысли, казалось ему, определял движение событий и сроки свершений.

Инстинктивное чувство подсказывало Форстеру, что лучше говорить фюреру, с безразличным терпением слушавшему и молчавшему, как раз о той части проблемы, которая не находится в его, фюрера, воле и власти. Он заговорил о численности советских войск на юго-востоке, о русских резервах, обнаруженных последними данными воздушной и агентурной разведок, о ночном движении с севера к Саратову пехотных и танковых частей, о вероятном варианте обороны города, который примет Генштаб Красной Армии, об опасности флангового контрудара с северо-запада: кое-какие едва уловимые признаки такого намерения у русских он заметил. Он нарочно, чтобы заинтересовать фюрера, преувеличил значение таких опасений, хотя сам совершенно не верил в них. Он радовался своему дипломатическому чутью, хотя говорил именно то, что особенно раздражало и сердило Гитлера.

Гитлер вдруг с любопытством посмотрел на него.

— Вы любите цветы, полковник?

Опешивший Форстер, никогда не испытывавший интереса к красотам флоры, не колеблясь, ответил:

— Да, мой фюрер, я очень люблю цветы.

— Я так и думал,— сказал Гитлер,— ведь и генерал-полковник Гальдер увлекается ботаникой.

Возможно, он думал о том, что старым военным придется искать иных занятий... {216} Вероятно, он намекал на отставку показавшегося ему недалеким Форстера...

— Вопрос о Сталинграде решен, я не стану менять срок, данный мною,— сказал Гитлер, и в голосе его появилась скрипящая, жестяная нота, которую Форстер слышал при трансляциях его речей.— Мне неинтересно, что решили русские, пусть узнают, что решил я.

Форстер понял, что Гитлер не станет слушать главной мысли о прорыве внутреннего оборонительного обвода с выходом к Волге, которая Форстеру казалась особо обоснованной, совершенной. Гитлер раздраженным голосом сказал:

— Паулюс — способный генерал, но он не понимает, что значит для меня время, сутки, час... К сожалению, этого не понимают не только мои генералы.— Он подошел к письменному столу и брезгливо отодвинул мизинцем лежащие на нем бумаги, потом постучал по этим бумагам карандашом, несколько раз повторил: — Цветы, цветы, музыка среди сосновых лесов, мошенники.

Все большее напряжение, мучительный страх охватывали Форстера — таким чуждым и непонятным был тот, кто, казалось, забыв о нем, быстрой походкой зашагал, то удаляясь, то стремительно приближаясь к нему. Вдруг ему показалось, что Гитлер, внезапно вспомнив о нем, крикнет, затопает ногами. Форстер стоял опустив голову, шли секунды ужасной тишины.

Гитлер остановился и произнес:

— Ваша дочь, я слышал, слаба здоровьем. Передайте ей привет. Какие у нее успехи в художественной школе? Я был бы счастлив заняться живописью, будь у меня возможность... Время... Время... Я улетаю сегодня на фронт... Я теперь тоже гость в Берлине.

И он, улыбаясь серыми губами, протянул Форстеру свою холодную и влажную руку, сожалея, что не может продолжать с ним беседу.

Форстер дошел до угла, где ожидал его автомобиль. Он ощутил, казалось ему, силу фюрера, заставившую его трепетать. «Передайте ей привет, передайте ей привет»,— несколько раз повторил он. Садясь в машину, он почему-то вспомнил, что вчера днем самолет, летевший к Варшаве над сосновым лесом и желтыми песчаными пустырями, вдруг резко изменил курс. Форстер успел заметить ниточные рельсы одноколейной железной дороги, шедшей между двумя стенами сосновых деревьев к площадке, где среди досок, кирпича, белой извести копошились сотни людей. Несколько сигнальных запретительных ракет заставили летчика резко изменить курс. По-видимому, здесь шло секретное военное строительство {217}. Штурман, наклонившись к уху Форстера с той фамильярностью, какую позволяют себе в воздухе летчики в обращении к высокопоставленным пассажирам, сказал, указывая в окошко:

— Гиммлер в этом лесу строит храм для варшавских евреев, боится, что мы разгласим раньше срока радостный для них сюрприз.

Он почувствовал, что фюрер в своем стремлении к мировому господству утратил обычные житейские представления. В такой холодной высоте уже не было добра и зла, ничего не

значили страдания, не могло быть милосердия, упреков совести...

Но эти напряженные и непривычные мысли были трудны, и через несколько секунд Форстер отвлекся, стал смотреть на нарядных людей в машинах, на детей, стоящих с бидончиками в очереди, на толпу, выходящую из тьмы метро и идущую в тьму метро, на лица молодых и старых женщин, занятых заботами дня, несущих портфели, пакеты, сумки...

Нужно заранее решить, какие из своих ощущений и наблюдений следует рассказать в генеральном штабе, какие — знакомым, какие — близким друзьям. А ночью в спальне шепотом он расскажет жене о своем страхе и о том, что Гитлер не похож на свои фотографии — сутул, сер, с нездоровыми мешками под глазами.

Он мысленно повторял все свои ответы, каждую фразу своего доклада, и его поразила простая мысль: все, что он говорил, — касалось ли это его самочувствия, пятидневной отсрочки, которую просил Паулюс, положения русских армий, любви его к цветам, — все, от первого до последнего слова, было ложью, комедиантством. Он лгал и словами, и интонациями голоса, и выражением лица, он чувствовал, что какая-то огромная, непонятная сила заставляла его лгать. Почему? Он не мог понять этого.

Впоследствии Форстер вспомнил, как он, когда никто не думал об этом, предупреждал Гитлера о возможности контрудара. Он был искренне потрясен силой своего предвидения. Но он, конечно, забыл, искренне и невольно забыл, что сказал об этом, совершенно не веря в то, что говорит, а лишь рассчитывая заинтересовать фюрера в минуту, когда тому ничто в мире не казалось значительным, кроме того, что он сам задумывал и решал.

28

Захват Сталинграда для Гитлера означал не только достижение важных стратегических результатов: нарушение связи между севером и югом, нарушение связи между центральными областями России и Кавказом. Захват Сталинграда не только определял возможность широкого вторжения на северо-восток, в глубокий обход Москвы, и на юг, к достижению конечных целей геоз экспансии третьей империи.

Захват Сталинграда являлся задачей внешнеполитической — решение ее могло определить важные изменения в позиции Японии и Турции.

Захват Сталинграда являлся задачей внутривнутриполитической — падение его укрепило бы позиции Гитлера внутри Германии, явилось бы реальным знаком окончательной победы, обещанной немецкому народу в июне 1941 года; падение Сталинграда явилось бы искуплением несостоявшегося блицкрига, который должен был закончиться, по обещанию фюрера, через восемь недель после начала вторжения в Россию; падение Сталинграда явилось бы оправданием поражений под Москвой, Ростовом, Тихвином и ужасных зимних жертв, потрясших немецкий народ. Падение Сталинграда укрепило бы власть Германии над ее сателлитами, парализовало бы голоса неверия и критики.

И наконец, падение Сталинграда было бы торжеством Гитлера над скептицизмом Браухичей, Гальдеров, Рундшtedтов {218}, над сомнениями Муссолини в умственном превосходстве партнера {219}, над тайной кичливостью Геринга.

Поэтому Гитлер раздраженно отвергал все разговоры об оттяжке и промедлениях — на карте стояла судьба войны, будущее третьей империи, престиж фюрера.

Но существо происходивших на фронте событий было очень далеко от тех соображений, которые волновали Гитлера и которые он считал существенными.

29

В жаркое августовское утро командир немецкой моторизованной роты лейтенант Петер Бах, загорелый худощавый молодой человек лет тридцати, лежал в траве на левом берегу Дона и смотрел на безоблачное небо. Он недавно выкупался после тяжелого перехода и хлопотливой ночной переправы на левобережный плацдарм, надел свежее белье, и чувство покоя охватило его. Он привык к неестественно резким и быстрым изменениям самочувствия на войне, когда человек, только что изнывавший от зноя, грохота моторов, мечтавший о глотке болотной воды, вдруг в течение нескольких минут словно переносится в совершенно иной мир прохлады, чистоты, наслаждается купанием, запахом цветов и холодным молоком. Он привык и к другому — к внезапной смене покоя деревенского сада железным напряжением войны.

И все же, хоть Бах и привык к таким сменам, он блаженствовал и спокойно, без обычного раздражения думал о придирчивой инспекции командира батальона Прейфи и о сложных отношениях с эсэсовцем Ленардом, чья рота была недавно включена в состав полка. Сейчас все это его не волновало, словно он вспоминал о прошлом, а не думал о том, что определяет жизнь сегодня и завтра. Он по опыту знал, что после занятия плацдарма проходит не меньше трех-четырех суток, пока закончится сосредоточение сил перед новым ударом, и предстоящий отдых казался блаженно долгим. Не хотелось думать о солдатах, о ненаписанном рапорте, о недостатке боеприпасов, о порванных покрышках ротных грузовиков и о том, что его, Баха, могут убить русские. Лейтенанту вспоминался недавний отпуск, но он не испытывал сожаления, что провел время не так, как хотел, и что о новом отпуске нельзя было ни думать, ни мечтать.

Странное чувство презрения, жалости он испытывал к близким друзьям, даже к матери, когда был в отпуске. Его раздражал этот чрезмерный интерес к житейским тяготам, хотя он понимал, что людям в тылу жить нелегко и естественны разговоры о воздушных налетах, угле, сношенных ботинках, продовольственных талонах и карточках. Вскоре после приезда он пошел с матерью на концерт. Он почти не слушал музыки, а разглядывал публику, сидевшую в зале. Было много стариков и старух, молодежи не было, только тощий подросток с большими ушами и некрасивая девочка лет семнадцати. Уныние почувствовал он, глядя на морщинистые, старые шеи женщин, лоснящиеся пиджаки мужчин, — казалось, в зале стоит запах нафталина.

В антракте он здоровался со знакомыми. Тут был отец его школьного товарища, погибшего в концлагере, известный театральный критик, старик Эрнст. Его руки дрожали, глаза слезились, на морщинистой шее выступала синяя склеротическая жила. Он, видимо, сам занимался стряпней, чистил картошку, и пальцы его сделались коричневыми, как у старой крестьянки.

Он поговорил с Леной Бишоф, женой его гимназического приятеля Арнольда, поседевшей, некрасивой. У нее выросла на подбородке бородавка с закрученным волоском, одета она была неряшливо, в помятое платье с нелепым бантом на поясе. Лена шепотом рассказала, что она фиктивно разошлась с Арнольдом, так как дед его — голландский еврей, хотя он и сам забыл об этом; до начала восточной кампании Арнольд жил в Берлине, а в ноябре его отправили работать на восток, сперва в Познань, а затем повезли в Люблин, и с тех пор она не имеет от него писем, не знает даже, жив ли он, он ведь гипертоник, ему трудно переносить резкие изменения климата.

После концерта публика расходилась тихо, ни одного автомобиля не было у подъезда, старики и старухи, шаркая, торопливо шагали в темноте.

На следующий день к нему пришел его студенческий друг, сухорукий Лунц. Когда-то они затевали журнал, рассчитанный на избранных читателей: профессоров, писателей, художников. Лунц говорил утомительно многословно, но не расспрашивал Баха о войне и России, словно не было ничего значительней, чем разговоры о том, что он прилично устроен, получает улучшенный паек и талоны, которые даются избранным.

Бах завел разговор на общие темы, и Лунц отвечал неохотно, шепотом. Не то он потерял ко всему этому интерес, не то перестал доверять Баху. Какой-то тихий ужас чувствовался в людях, когда-то блестящих, интересных, сильных, а ныне покрывшихся пылью и паутиной, словно ненужные вещи в чулане. Будущего у них не было. Их мораль и щепетильная честность, старомодные знания никому не были нужны. Они остались на берегу. Он представил себе, что после войны, вернувшись, сам заживет той жизнью, какой жили эти бывшие люди.

Он ежедневно встречался с Марией Форстер, и в доме Марии ощущался тот же скучный и серый воздух обиды, недовольства, брюзжания... Самого полковника, до поздней ночи работавшего в генеральном штабе, он не видел, но Бах думал, что, будь он сотрудником гестапо, выводы о тайных мыслях полковника ему нетрудно было бы сделать — в семье Форстера постоянно посмеивались над армейскими порядками, над невежеством новых фельдмаршалов и командующих армиями, рассказывали анекдоты об их женах, и было совершенно ясно, что все эти истории домашние узнавали от старика Форстера.

Полковница, изучавшая в молодости литературу, говорила о том, что госпожа Роммель и госпожа Модель, видимо, не окончили гимназии и не умеют правильно говорить по-немецки, произносят ужасные жаргонные слова, хвастливы, грубы, невежественны, что их невозможно, невысказанно выпускать на официальные приемы... Едят они как жены лавочников, растолстели, не занимаются спортом, разучились ходить пешком, дети их грубы, избалованны, учатся плохо, интересуются только алкоголем, порнографией, боксом... Но во всем ее гневе и презрении чувствовалось, что, пожелай жена фельдмаршала дружить с женой полковника, та с радостью простила бы ей и невежество, и толстые руки, и даже неверное произношение {220}.

Мария тоже была недовольна. Она считала, что искусство в Германии захирело: актеры разучились играть, певцы — петь, в безграмотных пьесах и книгах — смесь безвкусицы, нацистской кровожадности и сентиментальности, написаны они все об одном и том же, и, беря новую книгу, она словно в сотый раз перечитывает то, что впервые прочла в 1933 году. В школе живописи, где она одновременно учится и преподает, — смертельная скука, безграмотность, чванство. Наиболее талантливые люди не имеют возможности работать, и если немецкая физика потеряла гениального Эйнштейна, то в каждой области науки и искусства произошло в меньших размерах то же самое.

Лунц, после того как они однажды изрядно выпили, сказал ему:

— Знаешь, покорность, бездумность и приспособление — высшая гражданская доблесть берлинца. Мыслить вправе лишь один фюрер, но он-то как раз предпочитает интуицию мышлению. Свободная научная мысль, титаны немецкой философии — все послано к черту. Мы отказались от общих категорий, мировой истины, морали и человечности. Вся философия, наука и искусство начинаются с империи, и все кончается империей. Дерзким и свободным умам нет места в Германии, их стерилизуют, подобно Гауптману {221}, либо они молчат, подобно Келлерману {222}; видишь, самые могучие — Эйнштейн, Планк — поднялись, как птицы, и улетели {223}, а подобные мне застряли в болоте, в камышах... — Потом он спохватился: — Только, пожалуйста, забудь, никому, даже матери, не передавай того, что я тебе сказал. Слышишь? Ты, видимо, не представляешь себе эту колоссальную, невидимую сеть, она улавливает все — невесомые слова, мысли, настроения, сны, взгляды. Эту сеть сплели железные пальцы.

— Ты говоришь со мной, словно я вчера родился, — ответил ему тогда Бах.

Лунц много выпил в этот вечер и не мог удержаться от разговоров.

— Я работаю на заводе, — сказал он. — Над станками висят огромные плакаты: «Du bist

nichts, dein Volk ist alles» [30]. Я иногда задумываюсь над этим. Почему я — ничто? Разве я — это не народ? А ты? Наше время любит общие формулы, их кажущаяся глубокомысленность гипнотизирует. А вообще ведь это чушь. Народ! К этой категории у нас прибегают, чтобы сказать людям — народ необычайно мудр, но лишь рейхсканцлер знает, чего хочет народ: он хочет лишений, гестапо и завоевательной войны.— Он подмигнул и сказал: — Ты знаешь, я уверен: еще год-два, и мы с тобой тоже не выдержим марки, духовно приобщимся к национал-социализму и будем себя ругать, что сделали это слишком поздно. Дело здесь в биологическом законе отбора — выживают те виды и роды, которые умеют приспособляться. Ведь эволюция — это приспособление. А раз человек стоит на вершине лестницы, царь природы, то он, значит, самая приспособляющаяся скотина из всех скотов. Тот, кто не приспособляется, погибает и, значит, падает с лестницы развития, ведущей к божеству. Но все же мы можем не успеть: меня могут посадить, а тебя — убить русские.

Все эти разговоры вспоминались Баху. Странное чувство вызвали они в нем тогда. То были его мысли и его чувства, он не спорил с ними.

— Мы последние могикане,— говорил Бах... Но одновременно он морщился и раздражался, эти мысли смешивались с тревожным и унижительным чувством бессилия. Взгляд озирающихся старческих глаз, вид поношенной старомодной одежды, бессильный шепот с оглядыванием на двери и окна. И тут же — он замечал это и в Марии, и особенно в брюзжании ее матери — самая элементарная зависть к тем, кто находится в фокусе событий, к тем, кто летает на конгрессы в Рим, Мадрид, гремит в «Фолькишер беобахтер» {224}, устраивает свои выставки, посещает виллу Геббельса, дружит с теми, кто охотится с Герингом. Пожалуй, получи Форстер большое назначение — и от семейной фронды не останется следа.

Он уехал в армию с чувством тоски. Как он мечтал об отпуске, о доме, покое, о беседах с друзьями, о вечернем чтении на диване, об исповеди всех своих сокровенных мыслей и чувств перед матерью! Он собирался рассказать ей о невообразимой жестокости войны, о каждочасной и полной зависимости от чужой грубой воли и приказов — чувство более мучительное, чем страх смерти.

И неожиданно оказалось, что он томился дома, не находил себе места, разговоры его раздражали. Он не мог себя заставить прочесть несколько страниц подряд, казалось, от книг идет запах нафталина.

Он уехал, испытывая облегчение, хотя ехать на фронт совершенно не хотелось и мысль о сослуживцах и солдатах была ему неприятна.

Он прибыл в моторизованный полк 26 июня, за два дня до начала наступления. Теперь на тихом берегу Дона ему казалось, что, собственно, и прошло всего двое суток со дня его возвращения из отпуска. С начала наступления он потерял чувство протяженности времени. Это был пестрый, плотный ком, жаркая путаница хриплых криков, пыли, воя снарядов, огня и дыма, ночных и дневных маршей, теплой водки и неразогретых консервов, отрывочных мыслей, крика гусей, звона стаканов, треска автоматов, мелькания женских белых платков, свиста «мессершмиттов» сопровождения, запаха бензина, тоски, пьяной удалы и пьяного смеха, страха смерти, воплей сирен бронетранспортеров и грузовиков.

Рядом с войной, с огромным дымящимся степным солнцем существовали отрывочные картины: яблонька-кривулька, отягощенная яблоками, мрачное небо в ярких южных звездах, блеск ручьев, луна над синей ночной травой.

В это утро он очнулся. Предстоял отдых перед последним прорывом к Волге. Сонный, спокойный, сохраняя на коже прохладу воды, он смотрел на ярко-зеленый камыш, на свои худые загорелые руки и вспоминал прошедший отпуск, охваченный потребностью связать

два мира, далекие и противоположные, отдаленные друг от друга огромной бездной пространства и все же живущие рядом в тесной груди одного человека.

Он поднялся во весь рост и притопнул ногой. Казалось, он ударил сапогом по небу. Тысячи километров чужой земли лежали за его спиной. Долгие годы он считал себя ограбленным, духовно нищим, одним из последних могикан немецкой свободы мысли. Почему он так кичился своим духовным богатством, так ли богат он? В миг, когда из пыли и дыма вдруг возникло ощущение чужого неба и огромной побежденной чужой земли, он всем телом ощутил мрачную силу дела, участником которого был. Он, казалось ему, кожей, всем телом почувствовал край пройденной им чужой земли. Быть может, именно сейчас он стал сильнее, чем в те дни, когда, оглядываясь на дверь, шепотом высказывал свои мысли. Ясно ли ему до конца, с кем великие умы прошлого — с этой гремящей победной силой или с шепчущимися, со всеми этими пропахшими нафталином старухами и стариками? И не пахнет ли нафталином весь девятнадцатый век, верным сыном которого он считает себя в двадцатом? И не казался ли девятнадцатый век ужасным и циничным тем людям, которые познали очарование и поэзию восемнадцатого?

Бах оглянулся на шум приближающихся шагов. Дежурный телефонист поспешно подошел к нему и сказал:

— Господин лейтенант, вас вызывает к телефону командир, батальона.

Солдат посмотрел на реку и незаметно для офицера чуть слышно присвистнул. Так и не придется выкупаться — он уже слышал от приятеля, батальонного телефониста, что отдых отменен: получен приказ готовиться к выступлению.

30

[Многokrатно люди пытались искать в характере Гитлера причину сыгранной им в истории роли. О характере этого человека известно многое, но ни мстительная злоба, ни любовь к пирожкам со взбитыми сливками, ни зловещее умение играть на низменных инстинктах толпы, ни любовь к собакам, ни соединение бешеной энергии с подозрительностью, ни страсть к мистике, ни ум и мощная память, ни капризная изменчивость в выборе фаворитов, ни жестокое вероломство и связанная с ним экзальтированная сентиментальность, ни десятки других обычных либо чрезвычайно отвратительных свойств и черт не могут сами по себе объяснить совершенного им.

Приход Гитлера к власти, конечно, в основном был определен не тем, что Германия пришла по характеру Гитлеру, а тем, что послевоенной фашизирующейся Германии {225} понадобился Гитлер.

Побежденная в империалистической войне Германия искала Гитлера, и она нашла его.

Но знакомство с характером Гитлера помогает понять механизм действия этой главной причины, определившей ему роль главы немецко-фашистского государства.

В его биографии, в его характере и в характере его поступков нужно отметить одну важную постоянную: неудачливость. И поразительная вещь — именно эта неудачливость стала основой его успеха. Неудачливый школяр и студент, дважды провалившийся в Вене и в Мюнхене на приемных испытаниях в художественное училище, неудачливый политик, начавший свою карьеру информатором разведки баварского корпуса и «освещавший» деятельность партии, которую он впоследствии возглавил, человек неудачливый и в отношениях с женщинами.

В глубине души он испытывал робость недоучившегося школяра, сохраняя мучительное воспоминание о том, что в условиях свободного соревнования талантов он не был допущен

даже в самые скромные провинциальные кружки художников.

Неудачливость гонит людей на разные дороги — одних она приводит к угрюмой покорности, соглашательству, других к религиозному мистицизму, третьи отчаиваются и опускаются, четвертые озлобляются и завидуют, пятые лицемерят и унижаются, шестые становятся мнительными, робкими и неуверенными, седьмые устремляются в истерическое прожектерство, восьмых питает бесплодное презрение, девятым маниакальное честолюбие, десятые вступают на путь злодейства и разбоя.

Гитлер в годы своего стремления к власти и в годы владычества над народами Европы сохранил характер неудачливого обывателя; колоссальность власти, оказавшейся в его руках, и особенности нацистского государства, возглавленного им, позволили ему отразить на всеевропейском экране проявления души озлобленной, мнительной, злопамятной и вероломной... И тогда черты и особенности характера руководителя фашистского государства стали роковыми для миллионов людей!

Поразительно, что, придя к власти, он продолжал ощущать свою неполноценность, настолько она ему была глубоко присуща. Ибо бешеное самомнение фюрера — лишь форма выражения его внутренней неуверенности.

Он был тем человеческим характером, который выразил и отразил особенности германского государства, разбитого в первой мировой войне.

Германское государство последних пяти-шести десятилетий — неудачливое государство. Его попытки стать мировым хозяином терпели крах. Германский империализм не мог мирным путем захватить рынки.

В 1914 году Германия вступила в войну за мировые рынки. Но в войне ее ожидали неудачи — ее армия была разбита, ее стратегия клещей и шлиффеновских молниеносных ударов {226} была опровергнута на полях сражений. А в это время Адольф Шикельгрубер совершал свой микроскопический, никем еще не замеченный, параллельный Германии путь неудач. В нем вызревала ненависть к идеям социального и расового равенства, свободы.

Он обратился к ницшевской идее о сверхчеловеке и сверхрасе в пору, когда неудачливая Германия стала растить идею разбойничьей сверхприбыли. Эти идеи шедшие своей микродорогой Гитлера понадобились потерпевшей военное поражение Германии. Теперь можно понять с большой очевидностью, что сверхчеловек порожден отчаянием слабых, а не торжеством сильных. Идеи свободы личности, интернационализма, социального равенства всех трудящихся — это идеи человека, уверенного в силе своего разума и в своей трудовой созидательной силе. Эти идеи признают лишь одну форму насилия — насилие Прометея над своими цепями.

В книге «Моя борьба» Гитлер говорит, что равенство нужно слабым, что один лишь истребительный отбор служит движению в мире природы и что основой человеческого прогресса должна быть расовая селекция, диктатура расы. Он смешал понятие насилия с понятием силы. Он выдал за силу свирепое отчаяние бессилия, он отверг понятие трудовой свободной силы, направленной на борьбу человека с природой. Он провозгласил, что пахарь, засеявший поле пшеницы, огромное как океан, слабее громы, бьющего ломом по затылку этого склонившегося над плугом человека.

Такова философия отчаявшегося неудачника, не способного добиться трудовой жизненной победы, но наделенного сильным умом, полного дикой энергии и жгучего честолюбия.

Эта философия внутреннего бессилия, возникшая во многих реакционных немецких головах, пересеклась с философией промышленного и государственного бессилия послевоенной Германии. Эта философия одинаково мила и приятна для подонков, не могущих трудом

завоевать жизненную победу, и для государства, начавшего войну во имя мирового могущества и закончившего ее Версальским миром.

Вот так из жизненного неуспеха Шикельгрубера, ставшего избранником германской реакции, рождался успех Гитлера, так внутренняя неудачливость этого человека стала предпосылкой его ужасной, краткой и бессмысленной власти над народами Европы. В стремлении к власти он просто, грубо и остро понял послевоенную обстановку, нашел в себе безрассудную энергию и бешенство демагога. Он старался связать частный аморализм неудачника послевоенной Германии — лавочника, офицера, кельнера, подчас отчаявшегося рабочего — с государственным аморализмом побежденной империалистической державы, готовой вступить на путь открытого промышленного и политического разбоя. Он часто, чаще, чем кто-либо в истории, апеллировал к самым низким инстинктам человека, так как сам был в их власти, был рожден ими и рождал их каждодневно. Но он знал о силе морали и добра, знал очень хорошо, так как сам был чужд ей. И он умел взывать к матерям и отцам, к чувству рабочего и земледельца. Он подавил сопротивление революционных сил немецкого рабочего класса, расправился с демократической интеллигенцией. Он заставил замолчать всех инакомыслящих, превратил Германию в зону интеллектуальной пустыни и мертвой тишины.

Он обманул многих из тех, кто был против него,— они приняли его истерию за искренность, его религию ненависти за любовь к Германии, его ложь за правду, мощь его зоологической логики за гений, его разбойничью диктатуру за свободу.

Придя к власти над всеми теми, кто был выше и сильнее его, он инстинктивно почувствовал, что и безраздельно владея жизнью и свободой многих ненавистных ему людей, он все же остается слабее их. Он знал, что трудовые, созидающие, творческие силы немецкого народа не с ним, хотя он сумел обмануть многих и многих. Он видел, что ни голод, ни рабство, ни бесправие, ни лагеря не способны дать ему чувство превосходства над силой тех, кто был повержен его насилием. Тогда, охваченный самой мощной ненавистью, когда-либо рожденной на земле, ненавистью победителя по отношению к неистребимой силе побежденных, он стал лишать жизни миллионы тех, кого ненавидел.

Но его бессилие сказалось не только в этом. Он обманул немецкий народ, внушив ему, что хочет бороться с последствиями несправедливого Версальского мира, в то время как готовил несправедливую войну. Он сумел обмануть два миллиона безработных, дав им работу на строительстве военно-стратегических дорог, и убедил их, что начинается эра мирного процветания. Послевоенная Германия была подобна расстроенному механизму башенных часов, где сотни зубчатых колес передач, рычагов без смысла и без цели вертелись, щелкали, раскручивались и болтались. Гитлер стал тем злым колесиком, которое связало воедино все части механизма: отчаяние голодных, аморализм подонков, жажду военного реванша, кровоточащее и воспаленное после поражения националистическое чувство, всегерманскую ненависть к несправедливостям Версальского мира. Он начал с того, что, подобно щепке, плыл по течению, подхваченный волной — послевоенной милитаристической мечтой о реванше.

Восьмидесятилетний старый дьявол Эмиль Кирдорф, король рейнско-вестфальского угля, отвалил Гитлеру в 1923 году первый куш. Это было в пору, когда вся национал-социалистская партия вместе с Гитлером могла уместиться в зале мюнхенской пивной или в камере мюнхенской тюрьмы.

Трагично, что на службу его разбойничьему делу пошли многие обманутые, считавшие, что, служа Гитлеру, они служат Германии. Насилием, вероломством и обманом он заставил работать на себя германскую науку, технику и энтузиазм молодежи. Он объединил и привел в действие весь огромный национальный механизм, объявив немецких капиталистов, не имеющих рынков, и немецких рабочих, не имеющих работы, сверхрасой, стремящейся к могуществу и славе. Его характер глубоко и полно выразил характер фашистского

государства.

Так произошло то, что неудачливость Гитлера стала причиной его успеха и именно он, Гитлер, был вынесен волной событий на арену мирового действия, возглавил фашистское государство. Сперва он был орудием отдельных людей, затем орудием отдельных мелких и мельчайших провинциальных групп, потом орудием германского генштаба и хозяев Рура, наконец он стал орудием главных реакционных сил мировой политики; пришел час, когда он почувствовал себя мечом в руках Провидения.

Но в летние дни 1942 года он тайно, не делясь ни с кем, стыдясь и радуясь, сознался себе, что он сам есть свободная и всесильная воля. Иногда ему казалось, что он бессмертен. Он мог все. Он отвергал мысль о том, что отношения его с миром подчинены закону взаимодействия. Он не понимал и не видел тех огромных сил, которые определяли ход событий. Он не понимал, что в минуту своего высшего успеха и кажущейся свободы действий, когда лишь его воля могла решить — обрушить таран на Запад либо на Восток, он был лишен всякой свободы. И именно в эти августовские дни 1942 года, казалось ему, осуществлялась его воля, его решение, принятое 29 апреля в Зальцбурге, когда он объявил Муссолини о своем намерении нанести смертельный удар Советской России на юге. Но он не мог понять и уж никогда не понял, что не свобода его воли, а полная обреченность ее заставила его принять это решение о походе, где каждый километр, победоносно захваченный его войсками, приближал фашистскую империю не к торжеству, а к гибели.

Физики в своих практических расчетах считают правом науки пренебрегать той бесконечно малой величиной, что выражает силу притяжения земного шара к камню, и учитывают лишь притяжение камня к земному шару, хотя физики не отрицают, что эти силы действуют по законам взаимности.

Гитлеру в часы своего высшего успеха хотелось начисто пренебречь той силой, что притягивает к земному шару камень, песчинку, он, песчинка, решил подчинить и перестроить мир по законам своей воли и интуиции.

Единственное средство, которым он осуществлял свою цель, было насилие. Насилие применялось к государствам и народам, в воспитании детей, к мысли и труду, к чувству, искусству и науке. Насилие было объявлено божеством: насилие человека над другим человеком, народа над народом, расы над расой.

В обожествленном насилии Гитлер искал высшую власть, оно обрушило Германию в пропасть бессилия.

Никогда почти в истории не было подобного обожествления расы и чистоты крови. Защита чистоты германской крови была объявлена священной и высшей задачей. И никогда в истории Германии не было подобного всенационального кровосмешения, как в годы третьей империи, когда массы иностранных рабов наводнили германские заводы и германские деревни.

Гитлер верил, что созданное им государство, построенное на не виданном миром насилии, просуществует тысячу лет.

Это было в ту пору, когда жернова истории начали перемалывать в прах его идеи, его армии, его империю, его партию, его науку и жалкое искусство, его фельдмаршалов и гаулейтеров, его самого и будущее его Германии. И самой страшной из его неудач был его успех. Он стоил человечеству великих страданий.

Все, что провозглашал он, опровергалось ходом истории. Все, что обещал он, не было достигнуто. Все, против чего он боролся, не погибло в борьбе с ним, а усилилось и укоренилось.

В чем признаки действительной, истинной исторической личности? Люди разными путями выходят на арену истории и остаются в памяти человечества. Не все проходят через главные ворота, дорогой гения, труда и разума. Некоторые незаметно проскальзывают через приоткрытые боковые двери, другие взламывают их ночной порой, третьих поднимает волна событий и выносит на арену мирового действия.

Мерой величия исторической личности является ее способность понять, предугадать и выразить еще скрытую, еще неясную главную линию развития человеческого общества, линию, определяющую на многие поколения движение общества. В тысячелетней истории классового господства немногих над многими взаимодействие между обществом и подлинной исторической личностью обычно складывалось однообразно. Первая пора действия такой личности подобна движению опытного пловца, плывущего против течения: чем дальше плывет он, тем ясней становится, что силы, мешавшие его движению, были ложными силами прибрежных водоворотов, омутов, поверхностных течений, гонящих воду в сторону, обратную главному, не видимому с берега, подводному движению. Пловец, преодолев ложные силы обманных, неистинных движений, выбивается на стрежень, и тут его сила и могучая подводная сила, выйдя на поверхность, сливаются в едином могучем и свободном движении.

И не скоро, через десятки, сотни верст-лет, избранное им и теми, кто с ним, течение становится второстепенным и новый пловец будет пробиваться, искать рожденное в глубине молодое, могучее движение.

Так в преодолении ложного, в борьбе с ложным движением и в союзе с подлинным, истинным и действительным складывается взаимодействие исторической личности с историей. Такой пловец не щепка, влекомая течением. Его движет, но и он движет. Он плывет в направлении, сознательно избранном им, осознав и поняв необходимость открывающегося ему течения; со временем истинность этого течения становится очевидной для огромного большинства людей.

Но не таков путь слепцов и безумцев истории.

Назовем ли мы истинной исторической личностью существо, чья деятельность не принесла ни единого атома добра, разума, свободы в жизнь людей, в их труд?

Назовем ли мы истинной исторической личностью преступное существо, оставившее после себя развалины, пепел, запекшуюся кровь, зловонный туман расизма, нищету и несчетные могилы убитых им детей, женщин, стариков и старух?

Назовем ли мы истинной исторической личностью существо, чей незаурядный ум, умевший разыскать и возглавить все темное, реакционное, может сравниться с фантастической вирулентностью [31] чумной бактерии?

Двадцатый век — самая грозная, самая ответственная пора человечества. Людям труда и мысли нужно в эту пору полностью уничтожить то бездумное, кретиническое, благословляемое Гегелем добродушие историков прошлого, склонных любоваться разбойниками, если их разбой имеет своим объектом человечество, восхищаться поджигателями, если они поджигают не деревенскую избу, а столицы мира, мириться с демагогом, если он обманывает и очаровывает не деревенского парня, а народы, прощать убийц, если они убивают не одного, а миллионы.

Таких злодеев нужно уничтожать как бешеных волков, нужно клеймить жгучим отвращением, испепелять их память ненавистью, разоблачать до конца их гадючью сущность.

И если силы тьмы породят новых гитлеров, замысливших новый разбой против человечества, задумавших сыграть на низких инстинктах, на отсталости и предрассудках, пусть ни один человек не подумает искать в них черты величия.

Разбой против человечества совершают разбойники, они не перестанут ими быть оттого, что память об их разбое сохранится в истории, память об их опустошительных делах сохранится на века. Они не герои истории, они палачи и проходимцы, порождение темных и слепых сил.

Героями истории, истинными историческими личностями, вождями человечества есть и будут лишь те, кто осуществляет свободу, в свободе видит силу человека, народа и государства, борется за социальное, расовое и трудовое равенство всех людей, народов и племен мира.]

31

Этот день начался так же, как и все другие дни. Дворники гнали облака пыли от середины площади к тротуару. Прошли старухи и девочки в очередь за хлебом. Сонные повара в общественных, госпитальных и военных столовых с грохотом двигали кастрюли по остывшей плите, присаживаясь на корточки, раскапывали теплую золу, надеясь найти уголек для прикурки утренней папиросы. Мухи на стене, где проходил горячий дымоход, лениво взлетали и сердились на мешавших нежиться в тепле, рано проснувшихся поваров.

Девушка со спутанными волосами, придерживая рукой сорочку на груди, распахнула окно, хмурясь и улыбаясь, глядела на ясное утро. Рабочие шли с ночной смены, не чувствуя прохлады, находясь все еще во власти грохота железных цехов. Шоферы военных грузовых машин, ночевавших в городских дворах, просыпались, протяжно зевали, растирая замлевшие плечи и бока. Коты после ночных бесчинств смиренно мяукали под дверями, прося впустить их в комнаты.

[Тысячи людей, ожидавших переправы у речного вокзала, просыпались, жевали хлеб, гремели чайниками, ощупывали в карманах заветные деньги, документы, продовольственные рейсовые карточки. Прошла восковая старуха, как обычно, по воскресеньям навещавшая на кладбище умершего мужа.] Старики рыболовы с кошелками и удочками шли к Волге. Няньки в госпиталях готовили раненых к перевязкам, выносили белые ведра.

Солнце поднялось выше. Женщина в синем халате наклеивала на стену «Сталинградскую правду». Возле желтых каменных львов у входа в городской театр встретились актеры. Они шумно смеялись, обращая на себя внимание прохожих. В кино прошла кассирша продавать билеты на фильм «Светлый путь». Прежде чем зайти в кассу, она поговорила с уборщицей и просила ее взять у билетерши бидончик, данный ей под пайковое постное масло. [Они осудили заведующего, задержавшего зарплату и на глазах у коллектива зажавшего двадцать литров солодового молока, привезенного в буфет для детского утренника.]

И весь большой город, полный тревоги, объединивший в себе черты военного лагеря и черты мирной жизни, задышал, заработал.

Машинист на СталГРЭСе, неторопливо прожевав кусочек хлеба, склонил ухо к турбине, прислушиваясь к мерному гудению,— его худое лицо с прищуренными глазами было одновременно спокойно и напряженно.

Девушка-сталевар, нахмурившись, глядела через кобальтовые очки на белоснежную метелицу, бушевавшую в мартеновской печи; потом она отошла в сторону, провела рукой по лбу, увлажненному капельками пота, вынула из нагрудного кармана своего брезентового комбинезона круглое зеркальце, погляделась в него, поправила прядку светлых волос, выбившихся из-под красного, запачканного копотью платочка, рассмеялась, и вдруг суровое темное лицо ее преобразилось, сверкнули белые зубы, сверкнули глаза...

Группа рабочих, человек десять, устанавливала тяжелый бронеколпак на окраине завода «Красный Октябрь». Молодые и старые лица были напряженны. Когда же массивная машина, подчиняясь дружному, слаженному усилию рабочих, стала на положенное ей место, один протяжный вздох одновременно вырвался у десяти людей, и на молодых и старых лицах

появилось общее выражение удовлетворения и облегчения. И пожилой рабочий сказал соседу:

— Теперь закурить можно, дай-ка твоего, покрепче вроде.

За Вишневой балкой у завода «Красный Октябрь» послышалась протяжная воинская команда: «Пулемету огневая позиция на краю оврага, на катках вперед!» — и среди кустарников замелькали согнутые спины ополченцев, подтягивающих на боевую позицию учебный пулемет; утреннее солнце пятнало их темные пиджаки и гимнастерки.

В районном комитете партии на углу Баррикадной и Клинской беседовали две женщины; молодая, секретарь партколлектива маленькой типографии, негромко рассказывала седой и морщинистой женщине, члену бюро райкома:

— Вот, Ольга Григорьевна, вы говорите, народ мобилизовать на оборонные работы... А наши типографы сами мобилизовались. Кто в ночной смене — днем на окопах, кто в дневной — тот ночью... Со своими лопатами в типографию приходят, а одна работница, Савостьянова, муж у нее на фронте, та прямо на работу с мальчишкой своим приходит. Тут его кормит и с ним же на окопы ходит. Он, бедняжка, бомбежки боится, ни за что не хочет дома один оставаться <...> {227}.

На скамеечке у парадных дверей четырехэтажного белого дома уселись две молодые, миловидные женщины. Одна из них, жена управдома, штопала детское платице, другая — вязала носок. Одна из них любила рассказывать сплетни, другая была молчалива, но по тому, как она улыбалась, поднимая глаза на рассказчицу, чувствовалось, что ей интересно слушать.

— Я их всех через стеклышко вижу,— говорила жена управдома.— Все их штуки: кто что делает, кто с кем амурит, кто пользуется. Вот вам, пожалуйста, на втором этаже — Шапошниковы живут. О мамаше я ничего не скажу. Правда, она всегда домоуправление критикует, то не так, это не так. Я все ж таки считаю ее порядочной, только, конечно, полная предрассудков, старозаветная старуха. Ну а дочки ее, вы уж меня извините, это прямо невозможно! Младшую, Женю, даже муж бросил. Ну, она землю рыла, чтобы его вернуть. Это уж, извините, такая женщина... А гордость в ней какая! Так мне иногда хочется ей прямо в глаза сказать: ты думаешь, я не видела, как ты на этой скамеечке ночью с полковником сидишь. Я тут дежурю в подъезде по противовоздушной обороне, так иногда такого наслушаешься, что уходишь в лестничную клетку, только бы не слушать. Ну а напротив живут Мещеряковы — о своем удобстве думают. Я и не знаю, когда он работает. Только и знает, что паркет перестилает, то обои клеит, а продуктов, сахару, крупы, жиры...

Жена управдома, современница великих и грозных дней, вела свой разговор, уверенная в том, что она знает истину, считая человека существом двоедушным, слабым и лживым.

Люди, подобные ей, хотят и могут видеть лишь пороки и слабости человеческие. Им непонятно, кто же совершил победу, перенеся поистине огромные страдания и совершив великие подвиги. Но позже, спустя годы, когда люди оглядываются на великое, грозное время, когда уже отшумела жизнь кровавых лет мировых потрясений, когда они видят мрачные курганы — памятники дел, которые по плечу богам,— им начинает казаться, что в ту пору жили одни лишь титаны, герои, великаны духа. Но нет истины и в этом благородном, но наивном взгляде на прошлое.

Немцы занесли топор над Сталинградом. То был топор, занесенный над человеческой верностью свободе, над мечтой о справедливости, над радостью труда, над верностью родине и детям, над материнским чувством, над святостью жизни.

[Последний час Сталинграда, того Сталинграда, который был до войны, шел так же, как и все

часы и дни его. Везли на тележках картошку, стояли в очереди за хлебом, говорили о промтоварных карточках, и так же на базаре меняли и продавали молоко, хлеб, желтый сахар, и так же работали на заводах люди, чьим делом был подвиг труда...] И те люди, которых принято называть простыми, обыкновенными людьми, скромными тружениками,— девушка-сталевар, машинист со СталГРЭСа, рабочие-ополченцы, служащие, врачи, студенты, рядовые партийные работники — еще не знали о том, что через несколько часов многие из них с той же естественной простотой, с которой трудились они день ото дня, совершат дела, которые грядущие поколения назовут бессмертными.

Разве любовь к свободе, радость труда, верность родине, материнское чувство даны одним лишь героям? И разве не в этом надежда людского рода: поистине великое совершается обыкновенными простыми людьми. * * *

По ту сторону фронта немецкие офицеры вскрыли пакеты с боевыми приказами. «От винта!» — закричали мотористы на полевых аэродромах; танки заправились горючим, завывали моторы, башенные стрелки сели у орудий; моторизованная пехота, придерживая автоматы, садилась в бронетранспортеры, радисты в последний раз проверили аппаратуру. Фридрих Паулюс, как механик, запустивший сотни колес и колесиков, откинулся от стола и закурил сигару, ожидая, когда опустится на Сталинград тяжкий топор немецкой войны.

32

Первые самолеты появились около четырех часов дня. С востока, из Заволжья, к городу на большой высоте шла шестерка бомбардировщиков. Едва немецкие машины, пройдя над хутором Бурковским, стали приближаться к Волге, как послышался свист и тотчас же загрохотали разрывы — дым и меловая пыль поднялись над пораженными бомбами зданиями. Самолеты были ясно видны в прозрачном воздухе. Солнце светило, в его лучах сверкали тысячи оконных стекол, и люди, подняв головы, наблюдали, как быстро уходили на запад немецкие самолеты. Чей-то молодой голос громко крикнул:

— Это шальные, отдельные прорвались, видите, даже тревоги не объявляют.

И тотчас с унылой силой завывали сирены, пароходные и заводские гудки. Этот вопль, вещающий беду и смерть, повис над городом, он словно передавал тоску, охватившую население. Это был голос всего города — не только людей, но всех зданий, машин, камня, столбов, травы и деревьев в парках, проводов, трамвайных рельсов — вопль живого и неодушевленного, охваченного предчувствием разрушения. Железное ржавое горло одно могло породить этот звук, равно выражающий ужас животного и тоску человеческого сердца.

А затем пришла тишина — последняя тишина Сталинграда.

Самолеты шли с востока, из Заволжья, с юга, со стороны Сарепты и Бекетовки, с запада, от Калача и Карповки, с севера, от Ерзовки и Рынка,— их черные тела легко двигались среди перистых облачков в голубом небе, и, словно сотни ядовитых насекомых, вырвавшихся из тайных гнезд, они стремились к желанной жертве. Солнце в своем божественном неведении прикослось лучами к крыльям тварей, и они поблескивали молочной белизной — и в этом сходстве крыльев «юнкеров» с белыми мотыльками было нечто томящее, кощунственное.

Гудение моторов становилось все сильнее, тягучей, гуще. Все звуки города сникли, сжались, и лишь густел, наливался, темнел гудящий звук, передающий в своем медлительном однообразии бешеную силу моторов. Небо покрылось искорками зенитных разрывов, седыми головками дымных одуванчиков, и среди них быстро скользили разъяренные летучие насекомые. Навстречу им с аэродромов волжского правобережья и левобережья поднимались стремительные советские истребители. Немцы шли в несколько этажей, заняв весь голубой объем летнего неба. Могучий огонь зенитной артиллерии, удары красноразветренных истребителей на время смешали строй германской авиации. Подбитые

бомбардировщики, разматывая длинные дымы, вспыхивая, валились, ломаясь в воздухе на куски. Над степью запестрели купола немецких парашютов. Но немцы продолжали рваться к городу.

Встретившись над городом, самолеты, пришедшие с востока и с запада, с севера и с юга, пошли на снижение, и казалось, они снижались оттого, что летнее небо провисло, осело от тяжести металла и взрывчатки, тянувшейся к земле. Так провисают небеса под тяжелыми тучами, полными темным дождем.

И новый, третий звук возник над городом — сверлящий свист десятков и сотен фугасных бомб, оторвавшихся от плоскостей, визг тысяч и десятков тысяч зажигательных бомб, ринувшихся из разверстых кассет. Этот звук, длившийся три-четыре секунды, пронизал все живое, и сердца сжались в тоске, сердца тех, кому суждено было умереть через миг с этой тоской, и сердца тех, кто остался в живых. Свист нарастал и накалялся. Все услышали его! И женщины, бежавшие по улице из растаявших очередей к своим домам, где их ждали дети. И те, кто успел укрыться в глубокие подвалы, отделенные от неба толстыми каменными перекрытиями. И те, кто упал на асфальт среди площадей и улиц. И те, кто прыгал в щели в садах и прижимал голову к сухой земле. И раненые, лежавшие в этот миг на операционных столах, и младенцы, требовавшие материнского молока. Бомбы достигли земли и врезались в город. Дома умирали так же, как умирают люди. Одни, худые, высокие, валились набок, убитые наповал, другие, приземистые, стояли, дрожа и шатаясь, с развороченной грудью, вдруг обнажив всегда скрытое: портреты на стенах, буфетки, ночные столики, двуспальные кровати, банки с пшеном, недочищенную картофелину на столе, покрытом измазанной чернилами клеенкой.

Обнажились согнутые водопроводные трубы, железные балки в межэтажных перекрытиях, пряди проводов. Красный кирпич, дымящийся пылью, громоздился на мостовых. Тысячи домов ослепли, и оконные стекла замостили мелкой, блестящей чешуей осколков тротуары. Под ударами взрывных волн массивные трамвайные провода со звоном и скрежетом падали на землю, зеркальные стекла витрин вытекали из рам, словно превращенные в жидкость. Трамвайные рельсы, горбясь, вылезали из асфальта. И по капризу взрывной волны нерушимо стоял фанерный голубой киоск, где торговали газированной водой, висела жестяная стрела-указатель «переходи здесь», блестела стеклами хрупкая будочка телефона-автомата. Все, что от века недвижимо — камни и железо,— стремительно двигалось, и все, во что человек вложил идею и силы движения,— трамвай, автомобили, автобусы, паровозы,— все это остановилось.

Известковая и кирпичная пыль густо поднялась в воздухе, туман встал над городом, пополз вниз по Волге.

Стало разгораться пламя пожаров, вызванных десятками тысяч зажигательных бомб... В дыму, пыли, огне, среди грохота, потрясавшего небо, воду и землю, погибал огромный город {228}. Ужасна была эта картина, и все же ужаснее был меркнувший в смерти взгляд шестилетнего человека, задавленного железной балкой. Есть сила, которая может поднять из праха огромные города, но нет в мире силы, которая могла бы поднять легкие ресницы над глазами мертвого ребенка.

Только те, кто находился на левом берегу Волги, в районе хутора Бурковского, Верхней Ахтубы, Ям, Тумака и Цыганской Зари, могли увидеть всю картину пожара в целом, измерить огромность несчастья, постигшего город. Сотни бомбовых разрывов слились в однообразный гул, и чугунная тяжесть этого гула заставляла дрожать землю в Заволжье, стекла деревянных домиков позванивали, и листва на дубах шевелилась. Известковый туман, вставший над городом, белой простыней покрыл высокие здания, Волгу, растянулся на десятки километров, пополз к СталГРЭСу, судоремонтному заводу, к Бекетовке и Красноармейску. Постепенно белизна тумана исчезла, смешиваясь с желто-серой дымной мглой пожаров.

Издали было ясно видно, как огонь, горевший над одним зданием, соединялся с соседним огнем, как горели целые улицы и как под конец огонь горящих улиц слился в одну стену, живую и движущуюся. В отдельных местах над этой стеной, вставшей над правым берегом Волги, поднимались высокие, как башни, столбы, вздувались купола и огненные колокольни. Они сверкали красным червонным золотом, дымной медью, точно новый город пламени вырос над Сталинградом. Волга у берегов курилась. Черный копотный дымок и пламя скользили по воде — то пылало вытекавшее на воду из разбитых цистерн горючее. А дым поднялся темной тучей. Туча эта разрослась и, размытая степными ветрами, стала расплзаться по небу, и много недель спустя дым висел над десятками степных верст вокруг города, и опухшее, бескровное солнце шло своим путем среди белой мглы.

В сумерках пламя горящего города увидели бабы, шедшие с юга в Райгород {229} с мешками зерна, и паромщики на переправе в Светлом Яре. Отблески пожара заметили старики казахи, ехавшие к Эльтону на телегах; их верблюды, выпятив слюнявые губы и вытягивая грязные лебединые шеи, оглядывались на восток. С севера увидели свет рыбаки в Дубовке и Горной Пролейке. С запада наблюдали пожар выехавшие на берег Дона офицеры из штаба генерал-полковника Паулюса. Они курили и молча глядели на светлое пятно, кругло мерцавшее в темном небе.

Много людей увидело зарево в ночи.

Что вещало оно, чью гибель, чье торжество?

А телеграф, океанский кабель и радио уже разносили весть о решающем ударе немцев по Сталинграду: в Лондоне, Вашингтоне, Токио и Анкаре политики не спали, и трудовые люди с белой, желтой, черной кожей напряженно вчитывались в телеграммы, где на тысячах первых газетных полос появилось новое слово — Сталинград.

Сила бедствия была огромна, и все живое, как бывает это во время лесных и степных пожаров, землетрясений, горных обвалов и наводнений, стремилось покинуть гибнущий город.

Первыми покинули город птицы — врассыпную, низко прижимаясь к воде, перелетали галки на левый берег Волги; обгоняя их, серыми, то упруго растягивающимися, то сжимающимися стайками летели воробьи.

Большие крысы, должно быть годами не выходившие из тайных глубоких нор, почувствовав жар огня и колебания почвы, вылезали из подвалов продовольственных складов и пристанских хлебных амбаров, несколько мгновений растерянно металась, ослепленные и оглушенные, и, гонимые инстинктом, волоча хвосты и жирные серые зады, ползли к воде, карабкались по доскам и канатам на баржи и полузатопленные пароходы, стоящие у берега. Собаки с безумным, мутным взором выскакивали из дыма и пыли, скатывались с откоса и бросались в воду, плыли в сторону Красной Слободы и Тумака.

Но белые и сизые голуби, силой, еще более могучей, чем инстинкт самосохранения, прикованные к своему жилью, кружились над горящими домами и, подхваченные током раскаленного воздуха, гибли в дыму и пламени.

33

Варвара Александровна Андреева с невесткой и внуком должны были уехать в воскресенье. Наташа упростила заведующую детским домом Токареву взять ее сына и свекровь на катер, предоставленный для эвакуации детей. Вещи, зашитые в мешки и узлы, еще в пятницу отвезли на ручной тележке и сложили вместе с упакованным имуществом детского дома.

Утром Варвара Александровна пришла с внуком к условленному месту на пристань. После

прощания с мужем, ушедшим с утра на завод, после расставания с домом и садом она чувствовала себя подавленной и разбитой. До часа отъезда десятки тревожных мыслей заполняли ее голову: о дровах, которые заперты на плохонький замок; о доме, который будет стоять без призора в то время, как муж уходит на завод; об огороде, где без присмотра будут созревать помидоры; о яблоньке, усыпанной недозревшими яблоками, — бери, кто хочет; о недоштопанном, недошитом, невыстиранном, невыглаженном; о недополученных по карточкам жирах и сахаре; о том, что брать с собой, чего не брать — ей вдруг все показалось необходимым: и уют, и мясорубка, и вышитый коврик над кроватью, и старые, подшитые валенки...

Андреев проводил ее и внука до угла, и она все просила его смотреть, проверять, не забывать десятка мелких и важных вещей... Но в тот миг, когда она поглядела на широкую, сутулую спину мужа, в последний раз оглядела зеленую вершину яблони и серую крышу, — все малые мысли и малые тревоги оставили ее. И с чувством, подобным испугу, она поняла, что нет для нее на свете дорожке и ближе человека, чем старый ее товарищ и спутник. Он оглянулся в последний раз и скрылся за углом.

На пристани она увидела сотни людей: заросших седой бородой стариков в зимних пальто, девушек, матерей с детьми на руках. Казалось, одни лишь глаза оставались на лицах молодых женщин; к поясам их модных пальто были подвешены чайники и фляжки; бледнолицыми и слабенькими были их ребятишки.

Увидела она пятнадцатилетних девушек-подростков, в синих лыжных шароварах, с ногами, обутыми в тяжелые походные ботинки, на их худенькие плечи были надеты мешки с брезентовыми и веревочными лямками. Увидела она старух, они сидели, опустив руки на колени, и смотрели, как маслянистая темная вода несет от пристани разбухшие арбузные корки, дохлую белоглазую рыбу, гнилые поленья, промасленные клочья бумаги.

Когда она, живя в своем доме, видела этих иногородних людей, расспрашивающих, где баня, пристань, карточное бюро, базар, ее иногда охватывало раздражение против них, точно они несли с собой беду, заражали тревогой землю, по которой ступали. И женщины в очередях, да и она сама, сердито говорили: «Ох, „выковыренные“, одно беспокойство, цены гонят». Удивительно, но именно они, эти горькие люди, утешили ее казавшуюся неутешной болью. Все они покинули родные дома, оставили запасы дров и картошки, неостывшие теплые печи, несжатые поля, неснятые овощи в огородах.

Она поговорила со скуластой старухой из Харькова и подивилась, как схожи их судьбы: муж собеседницы был цеховым контролером, уехал осенью 1941 года с заводом в Башкирию, она поехала к родителям своей невестки, жены старшего сына, в Миллерово, пожила там полгода, а теперь с невесткой и внуком едет к мужу, двое ее сыновей ушли на фронт. И сидевшая рядом молодая женщина, жена командира, рассказала: она с двумя детьми и матерью мужа едет к сестре в Уфу. И старик еврей, зубной техник, рассказал, что он уже третий раз поднимается с места — сперва из Новоград-Волынского в Полтаву, из Полтавы в Россось, там он похоронил жену, а теперь едет в Среднюю Азию с двумя внучками, мать их, его дочь, умерла от желтухи перед войной, а отца девочек, инженера на сахарном заводе, убило во время бомбежки. И пока старик рассказывал, девочки держались руками за его пиджак и смотрели на него, как на богатыря, а вид у него был такой, что, кажется, дунь на него — и он свалится.

Люди собрались на волжскую пристань из городов и сел, о которых она не слыхала, и уезжали в разные стороны — в Красноводск, Белебей, Елабугу, в Уфу, <...> {230} Барнаул, а судьба у всех была одинакова. Казалось, что Россия одна повсюду, как и судьба ее людей. И это чувство общности судьбы народа и страны, в которой жил народ, впервые ощутилось Варварой Александровной с такой же простотой и силой, как судьба и жизнь семьи в только что покинутом ею доме.

А время все шло. От пристани отходили покрашенные зелеными и серыми пятнами пароходы с увядшими ветвями вокруг труб. «Словно на Троицу»,— подумала она. Володя нашел себе на пристани товарищей, она каждый раз теряла внука из виду, начинала звать его. Синее небо тревожило, и она всматривалась в ясную синеву. Только мысль о муже отвлекала ее от растущего беспокойства.

Здесь, на пристани, она все думала, почему муж не хотел ехать с ней, решил остаться работать до последнего дня. Все сильней становился ее страх и нетерпение, и одновременно все больше крепло ее умиленное чувство к своему старику. Ей хотелось хоть на минуту увидеть его. Но потом вновь захлестывало ожидание беды. На небе появились кучевые облачка. Темная вода плескала и урчала, шумели колесные пароходы, медленно выгребая против течения. Во всем чудилась тревога.

Лишь около двенадцати дня из-за тюков багажа выскочил возбужденный Володя и закричал:

— Идут, бабушка! Идут! И мама идет!

Варвара Александровна, торопясь, собрала кошелки, пошла следом за внуком. По крутому булыжному спуску к набережной сходил детский дом: дети шли парами, впереди рослые, у некоторых были надеты красные галстуки, у всех за плечами были мешочки и тючки, руководительницы кричали и размахивали руками, десятки торопливых детских ног стучали по булыжнику, точно копытца.

— Куда же нам? — заволновалась Варвара Александровна.— Ой, Володя, где же ты, а то ототрут нас при посадке и останемся.

Ей показалось, что заведующая — толстая, большегрудая женщина с сердитым лицом — откажется в последнюю минуту взять ее, и она все твердила:

— Ой, господи, да я в дороге ребятам помогу и все, что нужно, пришью и залатаю...

Течение сносило катер, и он, точно усмехаясь нетерпению Варвары Александровны, промахивался, проскальзывал мимо пристани, механик снова включал машину, и катер долго-долго подбирался против течения к берегу. Так повторялось раза два, пока рассердившийся капитан, морщинистый, низкорослый старичок в выцветшей фуражке, не заругался через медную трубу матом и на матросов, и на механика, и на самый катер — после этого все вдруг наладилось, и Варвара Александровна подумала: «Эй, старый, давно бы ты так».

Положили трап с веревочными перильцами, два матроса и милиционер с винтовкой начали посадку, застучали по палубе детские, обутые в сапоги и ботинки, ноги, зашуршали тапочки.

— А ты куда, бабка? — спросил милиционер, но заведующая с палубы крикнула:

— Эта бабушка с нами.

На носу было удобное местечко возле ящиков, но Варвара Александровна решила устроиться на корме: к корме была подвязана лодочка, а неподалеку у борта висел спасательный круг.

— Бабушка, а может быть, мне с дедом остаться? — сказал Володя.

— Вот я тебя привяжу, как козла,— ответила она.— Пойди лучше машину посмотри, сейчас поедем.

Но отчалил катер не скоро.

Грузовик, который должен был перевезти на пристань больных ребят и посуду, белье и продукты, запоздал, пришел лишь в четвертом часу. Водитель объяснил задержку тем, что лопнул коренной лист у рессоры. [Но это было не так. С лопнувшей рессорой он ездил уже неделю. День его начался с левых, как он говорил, дел,— за три стакана легкого табаку он подвез с базара к дому мешок ячменя, заехал заправиться и, позевывая, долго (минут сорок) обсуждал с приятелем положение, а затем они выпили по сто граммов. Он пришел в благодушие, купил помидоров, воблы и лишь после этого поехал в детский дом — грузить в машину имущество и двух больных ребят. При погрузке вещей на катер водитель положил под сиденье выпавшее из мешка, забытое вафельное полотенце и пожелал заведующей счастливого пути.]

Погрузив вещи на катер, он помахал рукой своей знакомой, Клаве, стоявшей на борту катера.
— Пиши, Клава! — крикнул он ей.— Я до тебя в Саратов в гости приеду.

Она рассмеялась, сверкнула белыми зубами.

Он не стал дожидаться отправления катера, завел мотор и поехал в гору. На подъеме заглух мотор, и он минут пять возился, пока наладил карбюратор.

Водитель ехал вверх, слушая, как пыхтит мотор.

Вдруг возник нарастающий вой бомбы, он прижал голову к баранке, ощущая всем телом конец жизни, с ужасной тоской подумал: «Хана!» — и перестал существовать.

34

Катер был нагружен, суета на берегу сменилась суетой на палубе. Возбужденные отъездом дети не хотели уходить с палубы, и только самых маленьких да некоторых девочек усадили в каюты.

Мария Николаевна провожала ребят до Камышина, где у нее были дела в райкоме и районо.

Она присела в каюте возле больных — Славы Березкина и всегда молчавшего украинца Серпокрыла — и обмахивала платочком лицо.

— Ну, как будто едем,— сказала она подошедшей Токаревой, гордясь тем, что ее хлопотами был получен катер.— Теперь бы до Камышина без приключений добраться.

— Без вас я бы не справилась,— сказала Токарева,— просто помираю, жарко так, может, на воде легче будет.

— Я только теперь сообразила,— задумчиво сказала Мария Николаевна,— что все мое семейство могло бы с вами поехать. Какая досада! В Камышине пересели бы с вами на пароход и добрались так до Казани.

— Пойдемте наверх,— сказала Токарева,— сейчас будем отправляться, капитан обещал ровно в четыре. Хоть посмотрю в последний раз на Сталинград!

Когда женщины ушли, Слава Березкин потрогал своего всегда молчавшего товарища за плечо и сказал:

— Гляди.

Но немой украинец не повернул стриженной бугристой головы к квадратному окошечку, под которым плескалась вода.

Мокрый столб, поросший зеленой плесенью, стоявший под самым окном каюты, медленно поплыл назад, и тотчас стал наплывать второй, стали видны толстый настил пристани, ноги людей, стоявших у перил, потом и самые перила, коричневая рука матроса с синими жилами и с синим якорем, борт баржи в смоляных натеках, и вдруг открылся обрывистый берег, крутые улицы; а через минуту весь город с запыленной зеленью, каменными и дощатыми стенами высоких и малых домов медленно поплыл вниз. Из правого угла оконца появились глинистый осыпающийся откос, зелено-желтые бензобаки, красные вагоны на железнодорожном пути и огромные, затянутые дымом заводские корпуса. Под окном шумно, вразной заплескалась волна, и весь пароходик стал дрожать и поскрипывать от шума мотора.

Впервые в жизни Слава Березкин ехал пароходом; страстное желание говорить и спрашивать охватило его. Ему хотелось знать, сколько узлов делает пароход, ему представлялись огромные, с кошачью голову, узлищи, навязанные на толстой веревке, протянутой вдоль всего течения реки. Хотелось обсудить, имеется ли киль у парохода и может ли он выдержать морскую бурю. И одновременно совсем не детская тревога владела им: он все надеялся и мечтал, что мать и сестра поедут с ним вместе, он все собирался говорить об этом с заведующей и Марией Николаевной; сестра не займет лишнего места, пусть спит на его кровати, он с удовольствием ляжет на полу, а мать будет стирать белье и готовить... Она вкусно готовит и очень быстро. Папа всегда удивлялся, приходя с полковых занятий домой: едва он успевал почистить сапоги, помыться, сменить гимнастерку, а обед был уже на столе. Притом ведь мама очень, очень честная, она не возьмет ни кусочка масла, ни ложечки сахара, все будет класть в детскую еду. Он обдумал все доводы, которые приведет Токаревой. Он будет помогать матери чистить картошку, крутить мясорубку, и ему в ночь отъезда мечталось, что все уже совершилось по его желанию — Люба спит на его кровати, он лежит на полу, входит мать — он чувствует тепло ее рук и говорит ей: «Не надо, не плачь, папа жив, он вернется». Но он уже знает, что это не так. Отец лежит среди поля, раскинув руки... И потом мать, совсем седая, и Люба живут в эвакуации в Сибири, и Слава входит, стуча обмерзшими, тяжелыми сапогами, говорит: «Немцы разбиты, теперь я вернулся к вам навсегда» — и начинает доставать из своего солдатского мешка печенье, жиры, банки варенья, несколькими ударами топора он валит сосну, нарубает груды дров — в избе тепло, светло (он привез с собой электричество), большая кадушка полна воды, в печи жарится дикий гусь, убитый Славой на берегу Енисея. «Мамочка, я не женюсь, я всю жизнь буду с тобой», — и он гладит мать по седым волосам и укутывает ей ноги своей шинелью...

А волна стучит в тонкий дощатый борт костяным пальцем, пароходик поскрипывает, серая, мутная вода, морщась, бежит мимо окна... Он один... Как найдет его мать, где отец, где конец этой мутной реки?... Руки сжали раму с такой силой, что ногти стали белыми, от них отлила кровь. Он искоса посмотрел на соседа — видит ли немой, что слезы ползут по Славиным щекам... Но сосед повернулся к стене, его голова и плечи вздрагивали, он тоже плакал.

Слава, подтягивая сопли, спросил:

— Чего ты плачешь?

И впервые он услышал заикающийся голос Серпокрыла:

— Убылы батьку.

— А мама? — спросил Слава, поражаясь, что немой отвечает на вопросы.

— И маты убылы.

— А сестра у тебя есть?

— Ни.

— Ну так чего ж ты плачешь? — спросил Слава, хотя понимал, что у «немого» было достаточно оснований, чтобы плакать.

— Бою-усь,— глухо в подушку ответил Серпокрыл.

— Чего?

— Бою-усь на свити жить.

— Ты не бойся,— сказал Слава, и чувство любви заполнило его сердце,— знаешь, ты не бойся, теперь ты будешь со мной, я тебя никогда не оставлю.

Он торопливо, не завязывая шнурков, а засунув их под пятки, надел тапочки и пошел к двери.

— Я сейчас скажу Клаве, чтобы тебе сухой паек дали, там ситный, две конфеты и пятьдесят грамм сливочного масла.

Вернувшись к Серпокрылу, он сказал:

— Вот. Возьми,— и вынул из кармана маленький красный бумажник, в котором лежал листочек с записанным крупными буквами довоенным адресом Славы.

На палубе одни смотрели на город и пристани, двое мальчиков — орловец Голиков и татарин Гизатулин — забросили в воду заранее налаженную бечевку с кусочком жести и булавочным крючком — ловили щуку на блесну. Широкогрудый, черноволосый Зинюк, страстно любивший машины, пробрался к механику и смотрел на дизель-мотор.

Несколько детей стояли за спиной у курносого, рыжего мальчика, рисовавшего в тетрадку сталинградский берег. Младшие девочки взялись за руки и с серьезными, суровыми лицами, широко открывая рты, запели:

Гремя огнем, сверкая блеском стали,

Пойдут машины в яростный поход...

Непередаваемо трогательным было это пение девочек. Пичужьи тоненькие голоса дрожали, а слова песни были мужественны и суровы... И кругом плескалась, блестела на солнце стремительная волжская вода.

Мария Николаевна с нежностью глядела на поющих девочек.

— Милые {231} мои, хорошие,— сказала она, и слова эти относились к детдомовским детям, к дочери, мужу, матери, и к старухе Андреевой, вяжущей чулок на корме катера, и к людям на берегу, и к домам, и улицам, и деревьям родного города.

Не желая давать волю чувству, она нарочно, преодолевая душевную неловкость, сказала Токаревой:

— Все-таки тянете с собой эту Соколову, посмотрите, как она на глазах у детей зубоскалит с матросом. И на Андрееву это дурно влияет, видите, и она к ним присоединилась.

С берега доносились крики, и одновременно Мария Николаевна различила сквозь шум машины и плеск воды низкий, монотонный гул, словно черной сеткой вдруг прикрывший реку.

Она увидела, как толпа на пристани кинулась к причалам, услышала пронзительный крик, и тотчас пыль заволокла берег и поползла в воду, а толпа вдруг отхлынула от пристани, рассыпалась по железнодорожным путям и по береговому откосу.

Из воды бесшумно, как во сне, вырос мутно-зеленый стройный столб с кудрявой белой головой и, обдав катер брызгами, развалился и втек обратно в реку. И тотчас по всей поверхности воды, впереди и за кормой, стали взлетать, рушиться и рассыпаться в брызгах и пене высокие, точеные столбы воды — то рвались в Волге немецкие фугасные бомбы.

Несколько мгновений все молча смотрели на воду, на берег, на гудящее, почерневшее небо, потом над Волгой раздался крик:

— Мама!

Ужасен был этот призыв сирот к погибшим, убитым матерям.

Токарева схватила за руку Марию Николаевну и спросила:

— Что делать?

Ей казалось, что суровый, всегда деятельный и решительный старший инспектор, непримиримый к человеческим слабостям, поможет спасти детей.

Растерявшийся капитан поворачивал катер то к заводским пристаням, то к луговому берегу. Заглох мотор, и катер, поворачиваясь боком к течению, лениво и сонно пополз к речному вокзалу. Капитан сорвал с себя в отчаянии фуражку и хлопнул ею о палубу.

Мария Николаевна видела все вокруг, но ни один звук почему-то не доходил до нее, словно внезапная глухота поразила ее; она видела няnek, лица детей, лысую голову капитана, открытые рты кричащих что-то матросов, столбы воды, лодки, мечущиеся по Волге, но все происходило в какой-то страшной тишине. Она не могла заставить себя посмотреть вверх — как будто чья-то железная рука легла на ее затылок.

Из тридцатилетней, давней глубины всплыла забытая картина — девочкой она ехала с матерью по Волге, пароход сел на мель, и пассажиры лодкой добирались до берега, матрос подвел ее, маленькую, тоненькую, в большой соломенной шляпе, к борту, поднял и ласково сказал: «Не бойсь, не бойсь, вот и маменька твоя тут». И показалось — то не ее поднял над бортом ласковый матрос, а Веру, и, забыв о себе, она подумала о судьбе дочери. И муж, который, казалось, всегда нуждался в ее опеке, вдруг представился ей сильным, решительным. О, если б он был здесь!.. Но нет, нет, хорошо, что здесь нет Веры, матери, Степана, сестер. Пусть, пусть, раз суждено... Но хоть миг посмотреть на них...

Потом она стояла на корме. Нянька Соколова грузила детей в лодку.

— Куда ты? — кричала Соколова матросу. — Больных раньше, давай сюда немного, вот этого. Березкин, сюда иди, теперь девчонку эту.

Глаза ее блестели, она казалась уверенной, вдохновенно мужественной оттого, что ничто ей не страшно, оттого, что она кричит на матроса, оттого, что столько глаз с просьбой и доверием смотрит на нее, оттого, что она сильна среди широкой Волги под вой бомбежки.

Она помогла Марии Николаевне сесть в лодку и крикнула:

— Вот инспектор с вами! Не бойтесь!

Мария Николаевна очутилась в лодке, совсем близко от воды, дохнувшей немой глубиной и сыростью. Притихшие дети вцепились руками в борта, озирались, вглядывались в мутную

воду. И вдруг Маруся ощутила уверенность, надежду.

Ей хотелось поцеловать борт лодки — здесь было спасение. Она совершенно ясно, как в прозрении, представила себе все: лодка пристанет к берегу, она спрячет детей в лозняке, они переждут бомбежку и той же лодкой вернутся в город.

На дне лодки сидели два мальчика. Того, которого Соколова называла немым, обнимал за плечо Слава Березкин. Он почему-то был босиком и твердил:

— Не бойся, не бойся, я тебя не оставлю.

Володя Андреев хотел прыгнуть за борт катера, мать удержала его:

— Что ты делаешь, окаянный!

Соколова сказала:

— Садись, Наташка, с сыном вместе.

Наташа посмотрела на белое, бумажное лицо свекрови, державшей в омертвевших руках вязание.

— Садитесь вы, будете ему, сироте, заместо матери,— сказала она.

И Варвара Александровна с судорожной силой обняла невестку.

— Наташа! — сдавленным голосом произнесла она и вложила в это слово столько любви, столько раскаяния, столько нежности, что Наташа оглянулась, словно оно было произнесено не губами свекрови, а вытолкнуто кровью, судорогой сердца.

Но матрос не пустил в лодку Варвару Александровну и Володю: мест не было.

— Отчаливай! — закричали матросы.— Гребите к луговому, на Красную Слободу!

Лодка, черпая бортом, пошла наискось к левому берегу, а катер медленно понесло к страшным сталинградским пристаням.

Неожиданно застучал вновь налаженный мотор, несколько голосов радостно закричали, капитан поднял фуражку и, отряхнув ее, надел на голову, дрожащими пальцами стал налаживать сигарку. «Хоть затянусь разок»,— пробормотал он.

Над Волгой свистнуло железо, и толстый пузырчатый столб зеленой воды, поднявшись под самым носом лодки, вышедшей на середину реки, рухнул над ней. С катера видно было, как мягко на солнце, среди закипевшей белой воды, блеснуло черное просмоленное дно...

35

Александра Владимировна дописала предотъездное письмо Серёже, промокнув страницу, перечла ее, сняла очки и тщательно протерла стекла платочком. С улицы слышались шум и крики.

Александра Владимировна вышла на балкон, увидела движение гудящей черной тучи немецких самолетов, шедшей к городу.

Она торопливо вернулась в комнаты, подошла к ванной, откуда доносились плеск воды и довольное кряхтение Софьи Осиповны, пришедшей полчаса назад после двухсуточного дежурства в госпитале. Постучав в дверь, она отдельно произнесла:

— Соня, немедленно одевайся, грандиозный налет на город!

Софья Осиповна ответила:

— Может быть, не так страшно?

— Немедленно, ты знаешь, я не паникерка.

Софья Осиповна, шумно всплескивая, стала вылезать из ванны, сердито приговаривая:

— Лезешь, словно бегемот из бассейна...— И, вздыхая, прибавила: — А я собиралась завалиться спать до завтра, двое суток не спала!

Ей показалось, что Александра Владимировна ответила ей, но уже не слышала ответа — раздались первые разрывы бомб. Она распахнула дверь и крикнула:

— Беги вниз, я нагоню тебя, только ключи оставь!

Ухо уже не различало разрывов, один долгий, плотный звук заполнил пространство. Когда Софья Осиповна через несколько минут вошла в комнату, пол был покрыт осколками стекла, кусками обвалившейся штукатурки, опрокинутая настольная лампа раскачивалась, как маятник, на шнуре.

Александра Владимировна стояла перед раскрытой дверью в зимнем пальто и берете. Она смотрела на книжные полки, пустые постели дочерей и внука, на столы, на Женины картины, висевшие на стенах. Софья Осиповна, торопливо надевая шинель, невольно заметила этот долгий взгляд.

— Идем, идем, зачем ждала меня! — крикнула Софья Осиповна.

Александра Владимировна повернула к ней печальное, бледное лицо и, вдруг улыбнувшись, сказала:

— Табачок захватила? — И, широко махнув с каким-то лихим отчаянием рукой, сказала: — Эх, ладно, пошли!

Сильный, короткий удар потряс землю, и дом задрожал крупной живой дрожью, словно охваченный предсмертной икотой. Куски штукатурки посыпались на пол.

Они вышли на лестницу, и Александра Владимировна, закрывая за собой дверь, сказала:

— Я думала, что это только жилье, квартира, а теперь говорю: прощай, родной дом!

На площадке Софья Осиповна вдруг остановилась.

— Дай ключ, я хочу забрать Марусин чемодан, Женечкины туфли и платье.

— Да ну их, вещи, плевать,— проговорила Александра Владимировна.

Они спускались по пустой лестнице, и когда грохот затихал, становились слышны их медленные, шаркающие шаги. Софья Осиповна шла, держась за перила, поддерживая Александру Владимировну.

Они вышли из дому и в растерянности остановились. Двухэтажный дом напротив был разрушен; часть фасадной стены вывалилась на середину мостовой, крышу снесло, и она прикрывала забор и деревца в палисаднике. Потолочные балки обрушились в нижние комнаты, оконные и дверные рамы были начисто высажены силой взрывной волны. Глыбы камня и битый кирпич покрыли улицу. В воздухе стояла белым туманом пыль и курился

желтый, остро пахнувший дымок.

— Старухи, ложись, опять кидает! — отчаянно крикнул мужской голос, и тотчас ударило несколько разрывов. Но старые женщины шли молча, медленно и осторожно ступая среди камней, сухая известка поскрипывала под их ногами.

В бомбоубежище пол был завален узлами и чемоданами, и лишь небольшое число людей сидело на скамьях, остальные примостились на полу либо стояли, сбившись в кучу. Электричество погасло, и фитильки свечей и масляных светильников горели тусклыми, усталыми языками. А народ все прибывал; едва на несколько минут стихала бомбежка, в подвал вбегали запыхавшиеся, ищущие спасения жильцы. Это были те ужасные минуты, когда люди в множестве своем не видят своей силы, а лишь новую опасность, когда человек, затерянный в толпе, понимает, что вокруг него такие же беспомощные, как и он, существа, и в этой множественной слабости еще острее чувствует свою беспомощность.

Темноглазая женщина, одетая в серую каракулевую шубу, вытирая платочком виски, проговорила:

— Такая толпа при входе, что мой муж не мог пробиться, а в это время десятки бомб... Еще мгновение — и он был бы убит.

Муж женщины в шубе, потирая руки, точно с мороза, сказал:

— Самое главное, если пожар начнется, тут Ходынка будет в полном смысле слова, все передадим друг друга, ни один человек не выйдет! Надо хоть выход расчистить.

Мещеряков, сосед Шапошниковых по дому, вдруг раскатисто произнес:

— Я сейчас наведу тут порядки. Наше бомбоубежище всю улицу не обслуживает. [У нас дом ученых и командиров производства.] Управдом! Василий Иванович!

Пришельцы — некоторые только что вбежали в подвал и еще тяжело, быстро дышали, глядя на хозяев бомбоубежища, — стали подбирать вещи, озирались, куда бы незаметней отойти в сторону.

Какой-то пожилой человек в военной гимнастерке произнес:

— Верно, мы тут все заняли, давайте, граждане, в сторону уберемся.

На мгновение сделалось тихо, и, казалось, еще более душным, тяжелым стал воздух, еще тусклей светили дымные фитильки.

— Послушайте, — басом проговорила Софья Осиповна, — ведь это потоп, тут нет нашего и вашего. Бомбоубежище не по карточкам, а для всех...

Александра Владимировна, прищурившись, глядела на Мещерякова; вот этот самый человек, который месяц тому назад обвинял ее в слюнтяйстве и малодушии, заявил, что во время войны не должно быть мыслей о вредностях на работе, о здоровье.

[— Товарищ, — сказала Александра Владимировна Мещерякову, — мои дочери тоже забежали в первое попавшееся убежище, их, значит, сейчас выгонят оттуда?

— Оставьте, гражданка Шапошникова, демагогию, теперь она никому не нужна, — поморщился Мещеряков.

— Ей хорошо, — сказала жена управдома, — дочек всех за Волгу отправила, непрописанную рядом посадила, а те, что скамейки своими руками ставили, им сесть негде... Ведь

нахальство, непрописанная женщина... Они всегда так, эти самые, мы их уж знаем, форму носят, только на фронте их не видно...]

Мещеряков спросил:

— Чьи это вещи? Чей узел? Убрать!

Александра Владимировна быстро поднялась и тихим голосом, который бывает слышен среди самого громкого шума, столько в него вложено злой душевной силы, произнесла:

— Прекратите немедленно, иначе я сейчас позову красноармейцев и вас самого вышвырнут отсюда вон.

Женщина с блестящими в полутьме глазами, державшая в руках мальчика, закричала:

— Правильно, верно, [над детьми издеваться] нет такого закона у советской власти!

И вдруг весь подвал словно посветлел, осветился, загудел человеческими голосами, и они на время заглушили грохот бомбежки.

— Собственный, что ли, его дом, дом советский... все здесь равны, все советские люди...

Александра Владимировна дернула за рукав женщину, державшую мальчика.

— Да успокойтесь вы, садитесь, вот местечко для вас...

Мещеряков, отодвигаясь в сторону, стал оправдываться:

— Товарищи... да вы меня не поняли... никого я не собирался выгонять, я только чтобы для общего блага проход расчистили...

И, желая стать незаметным, он присел на чей-то чемодан. Стоявший подле водопроводчик, служивший в домоуправлении, злобно сказал ему:

— Куда садишься, продавишь, чемодан-то фанерный.

Мещеряков оглянулся на человека, еще два дня назад чинившего у него в квартире кран в ванной и благодарившего за чаевые деньги.

— Послушайте, Максимов, надо повежливей.

— Встань, говорю!

Мещеряков поспешно встал.

— Бог мой,— сказала Александра Владимировна сидевшей рядом с ней женщине,— зачем вы так судорожно прижимаете ребенка, ведь ему дышать трудно, посадите его.

Женщина наклонила к ребенку голову и стала целовать его. Глаза на ее еще злом и возбужденном лице стали полны печали и нежности.

Едва грохот бомбежки возрастал, приближался, все замолкали, старухи крестились...

Но когда хоть на минуту стихало грохотанье, возникали разговоры и иногда слышался смех, тот ни с чем не сравнимый смех русского человека, могущего с чудесной простотой вдруг посмеяться в горький и страшный час своей судьбы.

— Гляди-ка на Макееву-старуху,— говорила соседке широколицая женщина, сидевшая на

тюме.— До войны всем во дворе уши прожужжала: «Зачем мне в восемьдесят лет на свете жить, хоть бы смерть скорее». А только бомбить начал, я смотрю, она впереди всех в подвал чешет, и я от нее отстала!

— Ой,— сказала соседка,— как ударили бомбы, я сомлела, бежать хочу, а ноги затряслись, а потом как кинусь и над головой фанерку держу, я как раз зеленый лук на ней крошила, от самолетов фанеркой прикрылась.

— Да, пропало мое барахло,— сказала широколицая,— только я кушетку перебила, покрыла крепоном, все в минуту, как только сама успела выскочить.

— Да чего уж про барахло говорить, живые люди в огне горят. Что проклятый делает, паразит, каторжанин.

И хотя, казалось, никто не выходил из подвала и долгое время никто новый в убежище не входил, каким-то удивительным образом становилось известным все, что делалось в небе и на земле: где горит дом, с какой стороны налетают новые бомбардировщики, куда упал подбитый зенитчиками немецкий самолет.

Военный, стоявший на верхних ступенях лестницы, у входа в подвал, крикнул:

— С Тракторного слышно пулеметную стрельбу!

Второй военный спросил:

— Может, зенитные по самолетам бьют?

— Нет, наземный бой,— ответил первый и вновь прислушался.— Да вот, пожалуйста, ясно слышно, и минометы, разрывы, артминогонь. Ясно! Слышишь?

Но новая волна немецких самолетов потопила все звуки грохотом разрывов.

— О господи,— промолвила женщина в шубе,— хоть бы какой-нибудь конец...

Военный сказал товарищу:

— Пошли, а то накроют нас в подвале, как мышей!

Софья Осиповна, вдруг наклонившись к Александре Владимировне, поцеловала ее в щеку, поднялась и, накинув на плечи шинель, сказала:

— Я тоже пойду, может быть, доберусь до своего госпиталя. Вот только сверну папироску.

— Иди, иди, Сонюшка,— сказала Александра Владимировна и, торопливо отстегнув под пальто брошку, стала прикалывать ее к гимнастерке Софьи Осиповны.— Пусть будет с тобой,— тихо произнесла она.— Помнишь, я тогда жила у Ани, она мне подарила... две эмалевые фиалочки, как раз в ту весну, когда я замуж вышла...

И мелькнувшее воспоминание о далекой весне, о юности было странно трогательно и мучительно печально в этом темном подвале. Они молча обнялись и поцеловались, и прямой взгляд, которым они посмотрели друг другу в глаза, подтвердил, что близкие люди расстаются, быть может, надолго, а быть может — навсегда.

Софья Осиповна пошла к выходу[, и жена управдома сказала ей вслед:

— Побегала... они все бегут, знают — при немцах им конец... Только удивляюсь, как русская женщина крест свой отдала ей.

— Это не крест, это брошечка,— сказала стоявшая рядом женщина].

Александра Владимировна, привстав с места, нахмутив брови, пристально глядела на широкие плечи Софьи Осиповны, пока она была видна в полумраке, ощутив с удивительной ясностью, что уж никогда в жизни не увидит своего друга.

36

Евгению Николаевну бомбежка застала на набережной. Удар поразил землю, и ей показалось, что Хользунов, глядевший бронзовыми глазами в небо, вздрогнул и шагнул с гранитного пьедестала. Снова ударил гром от земли в небо, вселенная пошатнулась, и угловое здание, где находился знакомый галантерейный магазин, задымившись струями и облаками известковой пыли, поползло на мостовую. Теплый и плотный удар воздуха толкнул ее в грудь. На разные голоса закричали люди на набережной, побежали... Двое военных легли на клумбу, и один из них закричал:

— Ложись, дура, убьет...

Матери хватали детей из колясок и бежали, одни к реке, другие от реки... Странное спокойствие овладело Женей — она ясно видела все вокруг: рушащиеся дома, короткое, геометрически прямое пламя взрывов, черный и желтый дым, она слышала торжествующий визг стремящихся к земле бомб, видела толпу, заматавшуюся по пристаням, бросившуюся к паромам и лодкам...

Но все это воспринималось ею, словно глаза ее и сердце были погружены в воду и она наблюдала бушующий мир, глядя вверх со дна тихого и глубокого пруда.

Парень с полевой сумкой на плече, бежавший мимо нее через улицу, упал, и его зеленая фуражка покатила к тем воротам, к которым он хотел добежать. Он лишь мелькнул перед глазами Жени, и тотчас она забыла о нем.

[Лысый, толстый мужчина, без пиджака, со спущенными подтяжками, размахивая пачкой тридцатирублевки, показывал их небу, хулил бога, предлагал ему деньги — он был безумен.]

Она видела парня, бежавшего по улице с желтым чемоданом: движения его были мягкие, хищные, словно он бежал лапами, а не человеческими ногами. Она видела, как красноармейцы выносили из огня раненую женщину. Потом, вспоминая пережитое, она поняла, что время спуталось в ее мозгу — человека с полевой сумкой она видела не в первые часы, а на третий день бомбежки. У нее было странное ощущение — будто что-то слово перенесло ее в пору величественных и мрачных потрясений прошедших веков.

Все видевшие в тот час высокую молодую женщину, идущую среди бегущих людей, считали ее безумной — невыносимыми были эта медлительная походка, задумчивое выражение спокойных глаз...

Случается, что душевно потрясенные люди, застигнутые страшной вестью, продолжают методично дохлебывать щи либо медленно, сосредоточенно наводят глянец на сапоги, хитро сощурившись, дошивают прорешку, дописывают строчку...

Но не пламя горевших домов и пыль над ними, не удары обезумевшего молота, с размаху бившего по камню, железу и человеку, вдруг связали ее с истинным и ужасным смыслом происходившего... Она увидела лежавшую посреди бульвара старую, бедно одетую женщину, с волосами, склеенными кровью, а рядом с ней на коленях стоял полнолицый человек в нарядном сером плаще и, поддерживая старуху, говорил:

— Мама, мама, да что с вами, мама, скажите, мама, мама!

Старуха погладила по щеке стоящего на коленях мужчину, и Женя, точно в мире не было ничего, кроме этой морщинистой руки, увидела все, что выражала она: и ласку матери, и просьбу младенчески беспомощного существа, и благодарность сыну за любовь, и слезы, и утешение сыну за то, что он, достигший силы, так слаб и беспомощен, и прощение ему в том, в чем он виноват, и расставание с жизнью, и желание дышать и видеть свет.

Женя, подняв руки к жестокому, рычащему небу, закричала:

— Что вы делаете, злодеи, что вы делаете?

Человеческое страдание! Вспомнят ли о нем грядущие века? Оно не останется, как останутся камни огромных домов и слава генералов; оно — слезы и шепот, последние вздохи и хрипы умирающих, крик отчаяния и боли — все исчезнет без следа вместе с дымом и пылью, которые ветер разнесет над степью.

И только в эту минуту ощутила она страх. Она побежала к дому, пригибаясь при каждом взрыве, и ей казалось — вот выйдет Новиков и выведет ее из огня и дыма. И она искала его, спокойного и сильного, среди бегущих, хотя знала, что Новиков не может быть здесь. Но мысль о нем, именно о нем, именно в эти минуты и была, быть может, тем признанием, которого он ждал и хотел услышать от нее. Потом, вспоминая об этом, она удивлялась, почему даже мысли о Крымове не возникло у нее — ведь он был в городе в час пожара; ей казалось, что только о нем она думала эти дни и что мысли о нем будут волновать и тревожить ее до конца жизни. А оказалось другое — после, думая о Крымове и о несостоявшемся свидании с ним, она испытывала к нему спокойное безразличие.

Она подошла к своему дому. Из вышибленных окон всех пяти этажей выбивались цветные и белые занавески, и она еще издали заметила белую, обшитую синим шелком занавеску, которую сама вышивала. В одном окне стояли цветочные горшки — пальмы и фуксии. Странная пустота была вокруг. Но здесь, возле родного дома, особенно страшен казался гул самолетов и грохот бомбежки.

И Жене, с постоянно присущей ей способностью художника сравнивать и выражать предметы через необычные, внутренние, а не внешние сходства, дом этот представился огромным пятиэтажным кораблем, выходящим из туманного и дымного порта в бушующее, ревущее море.

Она остановилась, озираясь, — как пробраться среди камней и опустившихся к земле проводов. Ее окликнули со двора, указали дорогу, и она вошла в бомбоубежище. Сперва тьма была непроницаемой, тяжелая духота зажала дыхание. Потом Женя различила вдали огоньки коптилок, бледные пятна человеческих лиц, полотно подушек, увидела блестящую влагой водопроводную трубу. Сидевшая на земле женщина сказала:

— Куда вы, наступите на ребенка!

Когда с силой ухали взрывы и вздрагивали над головой пять тяжелых этажей камня и железа, шелест проходил по подвалу, а затем вновь становилось тихо в душной тьме, словно порожденной этими сотнями молчаливых, склоненных голов.

В подвале звуки бомбежки были слышны не так громко, но звуки эти казались особенно страшными, соединенные с тихой, бесшумной дрожью железобетонных сводов. Ухо различало просверливающий гул моторов, грохот разрывов, звенящие удары зенитных пушек... Когда зарождался сперва зловеще тихий, а затем тяжелевший вой бомбы, все задерживали дыхание, а головы пригибались в ожидании удара... И в эти воюющие секунды, каждая из которых делилась на сотни бесконечно длинных, отличных одна от другой долей, не было ни дыхания, ни желаний, ни воспоминаний, а одно лишь эхо этого слепого железного воя заполняло все тело. Тихонько ощутив пальцами темноту, Женя отыскала свободное

место и села на землю. Казалось, и камень, нависший над головой, и водопроводные трубы, и глубина подземелья — все таит опасность, угрозу, и минутами подвал казался не убежищем, а могилой. Ей хотелось разыскать мать, начать расталкивать людей, пробираться сквозь мрак, называть всем свое имя, нарушить свое одиночество среди людей, чьих имен она не знает, чьих лиц не видит, людей, которые не видят ее лица...

Но минуты, каждая из которых казалась последней, медленно складывались в часы, и напряжение постепенно сменялось терпеливой тоской...

— Идем домой, идем домой,— монотонно повторял детский голос,— мама, пойдем домой...

Женщина сказала:

— Сидим и ждем конца, униженные и оскорбленные.

Женя тронула ее за плечо:

— Оскорбленные, но не униженные...

— Тише, тише, кажется, опять летят,— произнес из-за спины мужской голос.

— О господи,— пожаловалась Женя,— как в мышеловке.

— Бросьте курить, и так люди задыхаются!

С внезапной надеждой Женя громко крикнула:

— Мама, мама, здесь ли ты?

Сразу отозвались десятки голосов:

— Тише, тише... Разве можно кричать!

Словно подтверждая истинность нелепого опасения, что враг может услышать человеческий голос из подземелья, над головой возник тонкий, едва слышный звук, стремительно усиливающийся... И хриплый рев, прижимая всех к земле, заполнил пространство. Земля хряснула {232}, стены заколебались от удара шестидесятипудового молота, павшего с двухверстной высоты, посыпались камни, и со стоном ахнула шарахнувшаяся во мраке толпа.

Казалось, навеки тьма хоронит всех в подвале, но именно в этот миг зажегся электрический свет, осветил ринувшихся к выходу людей. Стены и беленый потолок были целые, видимо, бомба не повредила здания, а разорвалась рядом. Свет зажегся лишь на несколько мгновений, но в этом ярком, ясном свете самое страшное — чувство заброшенности и одиночества в подземелье — оставило людей, они уже не были оторванными, затерявшимися в огне песчинками. <...> {233}

Женя увидела мать, она сидела, сгорбленная, седая старуха, у стены подвала.

Женю захлестнуло радостью встречи. <...> {234} И, целуя руки, плечи, волосы матери, она говорила:

— А ведь это наш Степан Фёдорович, мамочка, я уверена, именно он дал свет со СталГРЭСа... Как мне хочется, чтобы и Маруся, и Вера скорей узнали — дал свет в ужасную минуту, самую ужасную! Нас не согнут, мамочка, наших людей не могут согнуть!

Думала ли Женя, когда, охваченная страхом уничтожения, бежала по улице к дому, что именно в этот день ощутит она не один лишь ужас, но и любовь, и веру, и гордость.

Вера остановилась на лестнице между третьим и четвертым этажами.

Все здание госпиталя вздрогнуло, стекла звонко посыпались, где-то ухнула штукатурка. Вера закрыла лицо руками, сжалась — вот сейчас на нее посыплются стекла, изрежут щеки, губы, изуродуют ее лицо. Послышались один за другим несколько взрывов, они все приближались — ясно, что через несколько секунд бомбы накроют госпиталь. Чей-то голос крикнул сверху:

— Дым откуда?

И сразу несколько голосов отозвалось:

— Дым, дым! Зажигательная попала... горим!..

Вера бросилась вниз. Казалось, что среди грохота сейчас рухнет лестница и крыша, что кричащие люди зовут ее, что ее ловят, хотят задержать.

А по лестнице вместе с ней спускались уборщицы, санитарки, заведующий клубом, две девушки из аптеки, десятки раненых из различных палат. С верхнего этажа раздавался властный голос комиссара госпиталя.

Двое раненых бросили костыли и скользили на животах по перилам, казалось, они затеяли игру или сошли с ума.

Хорошо знакомые лица были совершенно другими, она с трудом узнавала их, и ей казалось, что она не узнает эти побелевшие лица оттого, что у нее мутится в голове и темнеет в глазах.

Внизу она остановилась на мгновение. Все бежали вдоль стены, на которой была прибита стрела с надписью «бомбоубежище».

В это время грохот раздался совсем рядом. Вера сильно ударилась плечом о стену.

«Если спрятаться в убежище,— подумала она,— начальник отделения обязательно пошлет наверх, на последний этаж, может быть, даже на крышу». И она не зашла в убежище, выбежала на улицу. То была улица, где находилась ее школа, когда она училась не на СталГРЭСе, а в городе, в пятом, шестом, седьмом классе, улица, где она покупала ириски, пила «газировку» с сиропом, воевала с мальчишками, шепталась с подругами, бежала рысью, размахивая сумкой, боясь опоздать на первый урок, или шла особой походкой, подражая тете Жене.

Битый кирпич лежал на мостовой, дома, где жили ее подруги и знакомые, стояли без стекол. Она увидела горящую посреди улицы машину и обгоревшее тело военного — ноги на тротуаре, голова на мостовой.

Знакомая тихая улочка — то была ее маленькая жизнь, растоптанная и сожженная. Вера бежала к бабушке, к маме и знала: не для того, чтобы помочь им, чтобы спасти их, а для того, чтобы прижаться к матери и кричать: «Мамочка, что это, за что это?» — и заплакать так, как никогда она не плакала.

Но Вера не дошла до своего дома. Остановившись, стояла она среди пыли и дыма. Никого не было рядом с ней: ни бабушки, ни матери, ни начальников ее. Ей одной было решать. Что заставило эту девочку повернуться и пойти назад к пылавшему госпиталю? Прозвучал ли в ушах ее жалобный крик, раздавшийся из палаты, где лежали ожидавшие операции раненые? Охватила ли ее ребячья злость на свою трусость, на бегство, и не проснулись ли в ней такое же ребячье упрямство и желание победить эту трусость?

Или она вспомнила о дисциплине, о позоре дезертирства? Было ли то случайное, мгновенное движение? Или, наоборот, поступок, закономерно сложивший в одну равнодействующую все то добро, которое вкладывали в ее душу? Она пошла назад по горячей улочке своей жизни.

Вере не показалось странным, что сердитая уборщица Титовна и близорукий доктор Бабад вынесли на носилках раненого, положили его на дворе и вновь ушли в горящее здание.

Спасением раненых были заняты многие люди: комиссар госпиталя и санитар Никифоров, обычно малоподвижный, угрюмый человек, и красивый, веселый политрук из палаты выздоравливающих, и старшая медицинская сестра Людмила Саввична, тратившая много денег на одеколон и пудру в тщетном, смешившем Веру стремлении сорокапятилетней женщины нравиться мужчинам.

И [кладовщица Анна Аполлоновна, подозреваемая в распитии натурального коньяка, и выздоравливающий техник-интендант Кваснюк, которого собирались выписать до срока, поскольку он продал казенное одеяло, и] разговорчивая и добрая докторша Юкова из терапевтического отделения, и молодой доцент, консультант Виктор Аркадьевич, которого сестры считали холодным, кичащимся своим мастерством гордецом и столичным франтом, и многие, многие санитары, врачи, фельдшеры, всегда казавшиеся Вере неинтересными, обыкновенными людьми. Все эти совершенно различные люди сейчас — Вера ясно поняла и увидела это — имели в себе нечто общее, важное, что связывало их.

Ее даже удивило, как она раньше не замечала этого общего, объединяющего и комиссара, и санитары Никифорова, и доцента-консультанта с перстнем на пальце.

Так же не удивило ее отсутствие некоторых, кто, казалось раньше, обязательно должен быть здесь.

Те, кто в дыму, под вой и взрывы бомб спасал раненых, тоже не удивились, когда к ним присоединилась Вера. А они ведь знали худое о ней: она читала роман Дюма и, когда раненый позвал ее, сказала: «Ох, отстаньте, честное слово, дайте хоть главу дочитать». Она однажды съела чужую порцию второго; она несколько раз уходила без разрешения; у нее был роман с летчиком, находившимся на излечении, она была девушкой довольно-таки вздорной, дерзкой и упрямой.

Людмила Саввична, вытирая пот с грязного лица, сказала ей:

— А [начальник госпиталя и] дежурный врач как в воду канул[и]!

Вера вошла в горящее здание, и ей на третьем этаже кричали:

— Выше не поднимайся, бесполезно, там уже никого нет живых!

Она пошла выше, по той самой лестнице, с которой в ужасе сбежала полчаса назад. Она прорвалась через горячий дым на четвертый этаж. И это она сделала из желания доказать тем, кто не боялся смерти, что она тоже ничего не боится, мало того, она — ловчее, отчаяннее их всех. Но когда она ощупью, кашляя и жмурясь, вошла в комнату с разрушенным потолком, полную быстрого жгучего дыма, и худой, свалившийся с койки человек посмотрел ей в глаза и протянул к ней руки, белые среди белого дыма, она испытала такое сильное, потрясшее ее чувство, что даже на миг удивилась, как сердце ее могло вместить его.

В этой палате, где лежало трое смертников, двое еще жили.

Она поняла по взгляду, встретившему ее, что люди эти испытывали чувство более страшное, чем предсмертную муку. Им казалось, что они брошены, и они ненавидели и проклинали род людской, забывший того, кого нельзя предать и забыть: беспомощного человека,

младенчески слабого, смертельно раненного солдата.

Девушка поняла, что испытали эти люди, увидев ее. И чувство материнства, то чувство, что согревает всю жизнь человека на земле, наполнило все ее существо!

Она потащила одного, и второй спросил ее:

— Вернешься?

— Конечно,— сказала она. И она вернулась.

Потом и ее снесли вниз, и она слышала, как врач, мельком посмотревший ее, сказал:

— Жалко девочку, щека, лоб, подбородок обожжены. Да боюсь, что правый глаз у нее поврежден. Надо ее эвакуировать...

Когда бомбежка на время утихла, Вера, лежа в садике, видела своим уцелевшим глазом, как старый и привычный мир вновь заслонил мир, открывшийся ей в огне. Люди, выйдя из убежища, стали шуметь, распорядиться, и она то и дело слышала начальственный покрикивающий басок, к которому привыкла за время работы в госпитале.

38

Всем, не только бывшим на левом берегу Волги, но и тем, кто находился в самом городе, казалось, что на заводах в эти часы происходило нечто ужасное, разгул разрушения.

И никому не приходило в голову, что все три завода — Тракторный, «Красный Октябрь» и «Баррикады» — продолжали работать, и нормальным ходом шел ремонт танков, выпуск пушек и тяжелых минометов.

Все те, кто в эти часы направлял ход станков, сваривал автогеном, бил молотком заевшую деталь в поставленном в ремонт танке, управлял молотами и прессами,— всем им было трудно, но легче и лучше, чем ждущим в подвалах и бомбоубежищах свершения судьбы. В работе легче переносить опасность. Это хорошо знают чернорабочие войны — пехотинцы, саперы, минометчики, артиллеристы. Они знают это по опыту своей рабочей мирной жизни, где труд — смысл и радость бытия, утешение в лишениях и потерях.

Никогда Андреев не испытывал подобного чувства... Оно было не сравнимо ни с тем, что он переживал, когда вернулся вновь на работу, ни с теми часами беспричинного счастья, которые выпадали ему в пору молодости.

Он переживал свое прощание с женой, вспоминал тот недоумевающий, робкий взгляд не старухи, а ребенка, каким она в последний раз посмотрела на задернутые занавеской окна, на запертую дверь опустевшего дома и на лицо человека, с которым прожила сорок лет. Он вновь видел затылок и смуглую шею внука, шедшего к пристани рядом с Варварой Александровной, и слезы застилали ему глаза, в тумане исчезал дымный полусумрак цеха...

Тяжело перекатывали волны взрывов по гулким цехам, цементный пол и стальные перекрытия тряслись, от исступленного рева зенитной артиллерии вздрагивали каменные чаши-печи, полные стали.

И рядом с горечью расставания, с мучительным для старого человека чувством гибели привычного строя жизни жило совсем иное хмельное чувство — чувство силы и свободы, быть может, пережитое два века назад каким-нибудь волжским стариком, бросившим дом и семью и пошедшим со Степаном Разиным добывать свободу.

И в утреннем тумане представлялся высокий пахучий камыш и бородатое бледное лицо

человека, глядевшего на сводивший с ума волжский простор...

И хотелось крикнуть пронзительно, со всем горем, со всей силой мастерового человека: «Вот он я!» — так, как уж не раз кричали над этой рекой, идя на смерть, мужики и мастеровые.

Он поглядел на высокую, закопченную стеклянную крышу. Голубое летнее небо казалось через эти стекла серым, дымным, словно и небо, и солнце, и вся вселенная закоптились в заводской работе. Он посмотрел на рабочих, своих товарищей,— то были последние часы последнего свидания перед разлукой. Здесь прошли годы его жизни, здесь щедро отдавал он работе свои силы, свою душу.

Он посмотрел на печи, на кран, осторожно и послушно скользивший над головами людей, на маленькую цеховую контору, оглядел весь кажущийся хаос огромного цеха, где не было хаоса, а царил разумный, рабочий порядок, такой же привычный и понятный ему, как порядок в доме под зеленой крышей, заведенный и покинутый Варварой Александровной...

Вернется ли она в этот дом, где прожили они долгие годы? Суждено ли ему увидеть ее, сына, внука? Суждено ли ему вновь прийти в этот цех?

39

Как всегда в момент катастрофы и высшего испытания душевных сил, многие повели себя неожиданно, не так, как вели себя в привычной жизни. Издавна принято рассказывать, что во время стихийного бедствия пробуждается слепой инстинкт самосохранения и человек ведет себя не по-людски.

Действительно, и в Сталинграде [можно было увидеть людей, расхищающих то, что им доверено было охранять,] можно было увидеть грубую толкотню и драки на переправе, можно было увидеть, как переправлялись на левый берег некоторые из тех, кому долг и обязанность велели остаться в городе. Некоторые люди, кичившиеся в обычное время перед другими своим воинственным видом, в этот день выглядели жалкими и растерянными.

Издавна все эти вещи принято рассказывать печальным шепотом, как некую скверную, но неизбежную правду о человеке. Но эти ограниченные наблюдения над людьми — лишь [часть] {235} правды.

Среди дыма и грохота разрывов сталевары на «Красном Октябре» стояли у мартенов, на Тракторном без минуты перерыва работали горячие, сборочные и ремонтные цехи; на СталГРЭСе машинист котла не покинул поста, даже когда его осыпало с головы до ног кирпичной крошкой и стеклом и половина штурвала была вырвана осколком тяжелой бомбы. Немало было в Сталинграде милиционеров и пожарных, ополченцев и красноармейцев, тушивших огонь, который нельзя было потушить, и гибнувших в огне. Можно рассказать о чудесной смелости детей, о чистой и спокойной мудрости стариков рабочих. Можно рассказать о коммунистах и комсомольцах, о военных руководителях и командирах, сделавших все, что было в их силах, для спасения горящего города и населения.

В такие часы рушатся ложные оценки, и именно в этом — то истинное и новое, что дают нам суровые испытания в понимании человека. Истинная мера человека, видим мы, должна быть совершенно чужда внешнего и случайного. <...> {236}

Эта мера человека была проверена на улицах пылавшего Сталинграда.

40

В восьмом часу вечера к полемому немецкому аэродрому вблизи запыленной и чахлой дубовой рощицы стремительно подъехала штабная машина и резко затормозила у

двухмоторного военного самолета. В тот момент, когда автомобиль пересекал границу аэродрома, пилот включил мотор. Из автомобиля вышел командующий Четвертым воздушным флотом Рихтгоффен, одетый в летный комбинезон, и, придерживая фуражку, не отвечая на приветствия техников и мотористов, широким шагом подошел к самолету и стал взбираться по лесенке. Его крепкие пружинившие ляжки и широкая, мускулистая спина спортсмена обозначались при каждом энергичном движении. Заняв место стрелка-радиста, он привычно, по-пилотски, надел шлем с наушниками, рассеянно, как все готовящиеся к полету летчики, оглядел людей, остающихся на земле, поерзал, плотно примаскиваясь на твердом низком сиденье.

Моторы завывали, заревели, седая трава затрепетала, огромный шлейф белой пыли, словно раскаленный пар, вырвался из-под самолета. Самолет оторвался от земли и, набирая высоту, пошел на восток.

На высоте двух тысяч метров его нагнали, посвистывая моторами, «фокке-вульфы» и «мессершмитты» сопровождения.

Пилотам истребителей хотелось по-обычному позубоскалить на короткой волне, но они молчали, зная, что их разговор услышит генерал. Через тридцать минут машина шла над горящим городом.

С высоты четырех с половиной тысяч метров видна была освещенная заходящим солнцем картина огромной катастрофы. Раскаленный воздух поднимал ввысь белый дым, очищенный от сажи; этот отбеленный высотой дым стлался в вышине волнистой пеленой, его трудно было отличить от легких облаков; ниже дышал, вздымался, кипел тяжелый, вихрастый, то черный, то пепельный, то рыжий дымовой ком — казалось, сам Гауризанкар [32] медленно и тяжело поднимался из чрева земли, выпячивая миллионы пудов раскаленных, плотных пегих и рыжих руд. То и дело жаркое, медное пламя прорывалось из глубины колоссального котла, выстреливало на тысячи метров искрами, и казалось, глазам представлялась космическая катастрофа.

Изредка становилась видна земля, метание мелких черных комариков, но плотный дым мгновенно поглощал этот вид.

Волгу и степь затянуло мгlistым туманом, и река и земля в тумане казались седыми, зимними.

Далеко на восток лежали плоские степи Казахстана. Гигантский пожар пылал почти у самой границы этих степей.

Пилот, насторожившись, слушал в телефон тяжелое дыхание пассажира. Пассажир отрывисто произнес:

— ...Увидят на Марсе... Вельзевулова работа...

Фашистский генерал своим каменным, рабским сердцем в эти минуты чувствовал власть человека, который привел его к этой страшной высоте, дал в руки факел, которым германская авиация зажгла костер на последнем рубеже между Востоком и Западом, указал путь танкам и пехоте к Волге и огромным сталинградским заводам.

Эти минуты и часы казались высшим торжеством неумолимой «тотальной» идеи, идеи насилия моторов и тринитротолуола над женщинами и детьми. Эти минуты и эти часы, казалось фашистским летчикам, пересекавшим страшную стену зенитного огня и парившим над котлом дыма и пламени, знаменовали обещанное Гитлером торжество немецкого насилия над миром. Навечно поверженными казались им те, кто, задыхаясь в дыму, в подвалах, ямах, убежищах, среди раскаленных развалин обращенных в прах жилищ, с

ужасом прислушивался к торжествующему и зловещему гудению бомбардировщиков, царивших над горящим городом.

Но нет! В роковые часы гибели огромного города свершалось нечто поистине великое — в крови и в раскаленном каменном тумане рождалось не рабство России, не гибель ее; среди горячего пепла и дыма неистребимо жила и упрямо пробивалась сила советского человека, его любви, верности свободе, и именно эта неистребимая сила торжествовала над ужасным, но тщетным насилием поработителей.

41

К 23 августа немецкое командование переправило на левый берег Дона в районе хутора Вертячий две танковые и одну моторизованную дивизии, а также несколько пехотных полков.

Эти заранее сосредоточенные на плацдарме войска были брошены в сторону Сталинграда как раз в те часы, когда немецкая авиация всей мощью своей обрушилась на жилые кварталы города.

Танковые войска немцев, прорвав советскую оборону, стремительно двинулись к Волге по коридору шириной примерно в восемь—десять километров. Прорыв был стремителен и развивался успешно; немцы, минуя оборонительные укрепления, шли прямо на восток, к городу, истерзанному тысячами фугасных бомб, задыхавшемуся в дыму и огне.

Немецкая «панцирная» группа двигалась, не обращая внимания на встречные советские грузовые колонны и обозы, на пешеходов, убежавших при виде немцев в степь либо кидавшихся к волжскому обрыву. Во второй половине дня немецкие танки появились на северной окраине города, в районе рабочего поселка Рынка и деревни Ерзовки, и вышли на берег Волги.

Таким образом, в 4 часа дня 23 августа 1942 года Сталинградский фронт был перерезан на две части узким коридором. В этот коридор немецкое командование тотчас же, вслед за танками, пустило пехотные дивизии. Опасность положения усугубилась тем, что немецкие войска оказались на западном берегу Волги, в полутора километрах от Тракторного завода, в тот момент, когда главные силы 62-й армии еще вели напряженные бои на восточном берегу Дона.

Потрясенные пожаром, советские люди на широкой наезженной дороге, идущей вдоль Волги к Камышину, вдруг увидели немцев на марше: впереди шли тяжелые танки, за ними тянулись в пыли колонны мотопехоты.

За движением колонны напряженно следили немецкие офицеры штаба танковой группы прорыва. Все радиogramмы, шедшие с командирских машин, открытым текстом немедленно передавались генерал-полковнику Паулюсу.

Напряжение царило во всех звеньях цепи. Все вещало успех. Вечером в Берлине знали уже, что Сталинград представляет собой море огня, что танки, не встречая сопротивления, вышли к Волге и ведут бой на Тракторном заводе. Еще одно усилие, еще нажим — и вопрос о Сталинграде, казалось немцам, будет решен.

42

На огородах и изрытом ямами пустыре на северо-западной окраине Тракторного завода группы красноармейцев-минометчиков отведенной в тыл противотанковой бригады вели учебные занятия.

Со стороны завода доносилось низкое и сдержанное гудение, подобное шуму осеннего леса,

сквозь муть закопченных окон время от времени легко пробивались огни, цехи наполнялись голубым трепетом электросварки.

Старший лейтенант Саркисян, командир дивизиона тяжелых минометов, медленно, по-хозяйски прохаживался среди минометчиков, присматривался к движениям, прислушивался к словам и шел дальше. Его синевато-смуглое лицо было полно важности и удовольствия, целлулоидовый подворотничок франтовски выглядывал из-под ворота новой габардиновой гимнастерки, жесткие волосы черными кольцами выбивались из-под новой артиллерийской фуражки с черным околышком, на которую он, уйдя с переднего края, сменил свою фронтовую пилотку. Он был плотен, широк в плечах и очень мал ростом и, как все люди малого роста, старался казаться выше — отпустил шевелюру, стоящую дыбом, и в условиях тыла, если позволяла обстановка, летом носил фуражку с высоким верхом, а зимой кубанку.

Он прислушивался к тому, как сутулый красноармеец-наводчик ответил младшему лейтенанту, командиру взвода, и темно-карие глаза его с ослепительными белками посмотрели косо и сердито.

— Неправильно, ерунда,— сказал он и пошел дальше.

Занятия шли лениво: люди отвечали рассеянно, невпопад выкрикивали данные прицела, особенно неохотно окапывались и, едва отходил командир дивизиона, зевали и поглядывали, нельзя ли присесть и покурить.

После многосуточного лихорадочного напряжения командиры и солдаты испытывали ту сонную, томную разрядку, которая охватывает обычно выведенных из боя людей; не хотелось двигаться, вспоминать прошлое, думать о будущем. Но африканский темперамент юного старшего лейтенанта не терпел покоя, и когда Саркисян отходил, красноармейцы сердито поглядывали на его толстую шею и оттопыренные уши. Ведь в этот воскресный день отдыхали и занимались своими хозяйственными делами расчеты противотанковой артиллерии, и рота пэтээровцев, и зенитчики, и боепитание, и штаб. Было известно, что командир и комиссар дали бригаде полный отдых и не требовали проведения занятий. Но Саркисян с утра вывел свой дивизион на огороды, заставил рыть учебную оборону, перетащить к месту занятий у глубокой балки тяжелые минометы и часть боеприпасов. Старший сержант Генералов, довольный, выспавшийся, помывшийся в бане, попивший жигулевского пива, больше по движению губ, чем по звуку, угадывал негромкий разговор красноармейцев, добродушно покрикивал:

— Отставить матерки!

К Саркисяну подошли гулявшие под руку лейтенант Морозов с забинтованной рукой, только что освободившийся от дежурства по штабу бригады, и командир батареи зенитного полка, охранявшего завод. Они вместе учились в военном училище и неожиданно встретились на заводе.

— Ну, товарищ старший лейтенант, теперь мы надолго с фронтом простились,— сказал Морозов.— Пришло сегодня из штаба округа отношение, здесь не оставят, уйдем на переформирование куда-то северней Саратова, и пункт указали, я только забыл какой.

Он рассмеялся, и Саркисян тоже рассмеялся и потянулся всем телом.

— Отпуск могут дать,— сказал Свистун, лейтенант-зенитчик,— особенно тебе, товарищ лейтенант, у тебя ведь незаживающее ранение.

— Свободно могут, отпуск не проблема,— ответил Морозов,— командование не против, я разведал.

— Мне-то уж не дадут,— сказал Свистун.— Тракторный завод — объект всесоюзного значения,— и вздохнул.

Саркисьян подмигнул Морозову, посмотрел на краснощекое лицо Свистуна.

— А зачем вам отпуск, тут тебе не жизнь, а курорт: Волга рядом, каждый день на пляж ходишь, купаешься, арбузы кушаешь.— Он насмешливо относился к Свистуну, служившему в зенитном полку, охранявшем тыловой объект.

— Да ну их, эти кавуны [33],— сказал Свистун,— обрыдли.

— А девочки-зенитчицы, ты видал, у них какие? — спросил Морозов.— Полный комплект: дальномерщицы, прибористки, все почти десятилетку кончили, чистенькие, причесанные, завитые, подворотнички беленькие, я пришел на батарею и обмер прямо. Зачем тебе, Свистун, отпуск? Ты еще в училище отличался.

Свистун посмеялся коротеньким смешком и со сдержанностью удачливого мужчины, не желающего хвастать, опустил глаза и сказал:

— Ну, это бросьте заливать!

Морозов повернулся к Саркисьяну, понизив голос, проговорил:

— Отдыхать так отдыхать. Вот сдам дежурство и поедем в город. Товарищ старший лейтенант, зачем вы тут в глубоком тылу занятие затеяли? Все поехали. Подполковник с адъютантом рыбу ловят, комиссар письма пишет.

— Пиво должны в заводскую столовую привезти,— сказал Саркисьян.— Мне заведующая объяснила.

— Это толстая? — спросил Морозов.

— Хорошая женщина Мария Фоминична, всегда предупредит, когда пиво,— сказал заводской старожил Свистун.— Вы имейте в виду, тут бочковое лучше бутылочного, а ценой дешевле.

— Марусенька,— кивнул Саркисьян, и зубы, и белки его глаз засверкали.— В восемнадцать ноль-ноль она освободится, гулять пойдём, а пока я принял решение занятия проводить.

— Она совсем пожилая, товарищ старший лейтенант, а вам лишь бы толстая,— сказал с укором Морозов,— ей не меньше как тридцать лет.

— Та еще с добрым гаком,— добавил Свистун.

Разговор этот происходил в три часа пополудни жаркого и спокойного воскресного дня, и могли ли предполагать участники этого разговора, что через час именно им, и никому иному, суждено будет первыми встретить удар немецкой танковой колонны, что тяжелые минометы Саркисьяна и длинноствольные зенитные пушки Свистуна возвестят начало великого Сталинградского сражения.

Поговорив еще немного, они разошлись, условившись встретиться через два часа в заводской столовой, попить пива и на машине поехать в город смотреть кино; машину давал Саркисьян, а горячее для поездки имелось у Свистуна.

— Проблему горячего здесь не трудно решить,— сказал Морозов, любивший еще в училище употреблять ученые обороты.

Но Саркисьяну уже не пришлось встретиться с Морозовым и Свистуном. Вечером этого же

дня убитый лейтенант Морозов лежал полузасыпанный землей с разmozженной головой и развороченной грудью, а Свистун держал тридцатичасовой бой: часть могучих длинноствольных и скорострельных зенитных пушек била по немецким танкам, а остальные, раскаленные боем, среди пыли, дыма и пламени отражали налеты бомбардировщиков. В этом бою батарея потеряла связь со штабом, и командиру зенитного полка подполковнику Герману казалось, что скрытые в черном дыму пушки Свистуна давно уже погибли со всеми расчетами; он лишь по слуху, сквозь дым и земной туман, узнавал, что батарея Свистуна продолжает драться. В этом бою были убиты многие девушки — прибористки и дальномерщицы, о которых днем говорили лейтенанты, и самого Свистуна выволокли на плащ-палатке с тяжелой раной в живот и с обгоревшим лицом...

Но в ту минуту, когда старые друзья, Морозов и Свистун, обнявшись, пошли к заводу, посмеиваясь, вспоминали училищную старину, а Саркисян продолжал с довольным и важным лицом прохаживаться между ведущими занятиями минометными расчетами, мир и тишина царили в небе и на земле.

Подносчики мин первыми заметили немецкие самолеты.

— Гляди, гляди! — закричал один. — Как мураши! Все небо, и с Волги, и отовсюду.

— На нас идут, ну, накрылись мы!

Завыли заводские сирены, но их пронзительный вой заглох в густом, заполнившем небо гуле моторов.

Красноармейцы, подняв головы, следили за движением черной тучи. Опытные глаза фронтовых солдат определили в хаосе движения, что главный удар немцы наносят по городу.

— Во, во, разворачиваются, гады... Пошли вниз, пикирует, пикирует... Пускают, пускают!

И действительно, послышался безрадостный, ледяной свист — и глухие утробные взрывы слились в один мощный звук, от которого заходила земля.

Пронзительно крикнул живой молодой голос:

— Эй, смотри, смотри, часть сюда заворачивает, эти на нас идут!

Красноармейцы врассыпную побежали по щелям, ямам, овражкам, залегли, прикрывая головы, придерживая пилотки, точно в пилотках и было спасение от фугасных бомб. Зенитные пушки открыли огонь.

Загремели вразнобой падавшие между цехами бомбы.

Тотчас за первым заходом на заводы самолеты совершили второй, за вторым — третий.

Саркисян, так внезапно перешедший от тыловых мыслей о пиве и вечерней прогулке в город к суровой действительности войны, несколько мгновений озирался по сторонам. Он в душе боялся бомбовозов и всегда терялся во время воздушных налетов, с тяжелой сердечной тоской глядел на немецкие самолеты — где высмотрели себе жертву, куда прянут? Он говорил о немецких воздушных бомбежках: «Это не война, это хулиганство».

Бой на земле! В таком бою он чувствовал себя сильным, злым, хитрым, в борьбе с наземным врагом не было отвратительного чувства обнаженной головы...

— По местам! — крикнул он, гася в сердитом крике тревогу сердца.

Немецкие эскадрильи, отбомбившись, ушли, а новые еще не подходили, лишь дым быстро сносило ветром к Волге. С юга слышался то нараставший, то утихавший гул зенитной артиллерии, и все небо над городом было в облачках зенитных разрывов, и в полупрозрачной дымке нарождавшихся пожаров сотни разъяренных и ядовитых двухмоторных насекомых высокой, беспорядочной тучей кружились над Сталинградом. Их атаковали советские истребители. Красноармейцы вылезли из ям, пошли к минометам, не отряхивая с себя земли, зная, что через несколько минут снова придется кидаться к щелям. Все головы были повернуты к городу, все глаза были устремлены на небо... Саркисьян, оттопырив губы и еще больше округлив глаза, несколько раз тревожно оглянулся. К рычащему грохоту, стоящему в воздухе, казалось, примешивалось чуть слышное, хорошо знакомое ему железное, жесткое мурлыканье.

— Ты не слышишь? — спросил он нахмуренного, но неизменно румяного сержанта Генералова.

Генералов мотнул головой и, матеря авиацию противника, указал на небо:

— Вот летят опять сюда, на заводы.

Но Саркисьян уже не глядел вверх, не слушал плотной и дружной, вновь поднимавшейся пальбы зенитных орудий, оборонявших завод. Вытягивая шею, становясь на носки, он всматривался в противоположную городу сторону — на северном крае широкого оврага, шедшего к Волге, среди серых, пыльных лап густого кустарника, казалось ему, шевелился угрюмый и низкий лоб тяжелого танка...

— Товарищ старший лейтенант, хоронитесь, разворачиваются, — указывая на небо, предупредил его Генералов.

Саркисьян отмахнулся рукой.

— Послушай, дорогой, — сказал он, — беги к оврагу, посмотри, что за машины, — и толкнул легонько Генералова в спину. — Только быстро, быстро слетай, как орел!

Он приказал командирам взводов приготовиться к боевой стрельбе по краю оврага, а сам полез по лесенке-стремянке на крышу старенького, брошенного жильцами домика.

С этой поросшей зеленым мхом крыши хорошо были видны сараи, огороды, пустая дорога, многочисленные тропки, ведущие к оврагу, да и сам овраг и все, что было по другую сторону его. Саркисьян видел, как танки, их было не меньше тридцати, показалось ему, шли колонной по широкой желтой дороге в сторону завода.

Они были далеко, и он не мог различить ни их окраски, ни знаков, изображенных на них, — видимо, пыль густо лежала на броне, да и пыль, поднятая гусеницами при движении, набегала, подхваченная ветром, и закрывала машины.

Он видел, как Генералов то бегом, то скорым шагом приближался к оврагу... Конечно, то шли из Камышина наши танковые резервы! Ведь утром командир бригады, приехав из штаба фронта, рассказывал при Саркисьяне, что немцы стали на Дону и, видимо, не скоро соберутся с силой форсировать широкую водную преграду... И все же он испытывал недоверие к вышедшим к оврагу машинам.

Им владело то постоянное недоверчивое, напряженное чувство человека переднего края, в чью кровь уже вошло всегда и всюду прислушиваться к шорохам ночных шагов и едва различимому шуму моторов, с живой любознательностью всматриваться в пылящий по проселку грузовик, пытливно разглядывать контуры одиночного самолета, низко летящего над железной дорогой, вдруг остановившись, затаив дыхание, смотреть на идущих по полю людей.

Со стороны деревушки Лотошинские Сады, куда накануне Саркисян ходил есть виноград, поднималась пыль, а из садика у берега речушки Мокрая Мечетка, где располагались истребительный батальон и отряды заводского народного ополчения, слышались частые, но неясные винтовочные выстрелы и несколько коротких пулеметных очередей. Видимо, заводские ополченцы открыли огонь. По ком это стреляли они?

Внезапно Саркисян увидел среди кустарника и бурьяна на той стороне оврага сверкающий, прерывистый огонь пулемета, до уха его дошла пунктирная скрежещущая очередь, и этот огонь и звуки сразу связались с Генераловым: тот замахал руками, исчез в овраге и через минуту, уже пригнувшись, бросаясь то вправо, то влево, припадая на миг и вновь вскакивая, бежал по тропинке. Он остановился на секунду и раскатистым голосом закричал:

— Противник!

Его слова уж не были нужны, весь вид его, каждое движение говорило о том, что к Тракторному заводу подходили немецкие танки.

И тотчас Саркисян, стоя на своей замшелой крыше, маленький и величественный, приветствуя свою суровую судьбу, хриплым, ликующим голосом заорал команду, не предусмотренную никаким уставом:

— Дивизион, по фашистским бл... огонь!

На этом окончилась короткая тыловая жизнь выведенного на отдых дивизиона: он снова начал войну.

Пулеметный и винтовочный огонь ополченцев и внезапный залп тяжелых минометов остановили движение немцев, искавших перехода через овраг. Этим была проложена {237} первая линия советской обороны на приволжском северном участке Сталинградского фронта... * * *

Крымов писал брату письмо, задумываясь время от времени и переносясь мыслями на Урал, где он никогда не был. В его воображении рисовались картины, составленные из всего того, что он читал и слышал об Урале. В этих картинах наличествовали гранитные горные склоны, поросшие начинавшей желтеть березкой, тихие озера, окруженные вековыми соснами, залитые светом цехи машиностроительных гигантов, асфальтированные улицы Свердловска, пещеры, где среди темных масс породы поблескивали всеми цветами радуги самоцветы. Домик, в котором жил брат, представлялся ему расположенным в таком месте, где одновременно были и озера, и горные пещеры, и асфальтированные улицы, и огромные заводские цехи.

Крымову представлялось, что место, где живет брат, необычайно хорошее, тихое, спокойное.

— Товарищ комиссар, противник! — крикнул вбежавший в комнату политрук. И сразу комнатка комиссара, которую ординарец старался обставить поуютней, и мысли об уральских лесах и озерах исчезли, испарились, как испаряется легкая капля, упавшая на раскаленный чугун!

Возвращение к войне было просто и естественно, как естественно утреннее пробуждение.

Через несколько минут Крымов был уже на пустыре, где завязался бой с немецкими танками.

Резким голосом он крикнул Саркисяну:

— Доложите, что происходит!

Саркисян, разгоряченный удачной стрельбой по немецким танкам, налитый красно-синим

румянцем, ответил:

— Товарищ комиссар, веду огонь по прорвавшейся танковой группе противника. Подбил две тяжелые машины!

Он подумал, что неплохо было получить справку от адъютанта бригады о том, что танки подбиты его дивизионом. Ведь на Дону был случай, когда за подбитую Саркисьяном самоходку благодарность получил сосед — командир артбатареи...

Но, поглядев на лицо Крымова, он забыл сразу про свои житейские мысли, — никогда, даже в самые трудные боевые времена, не видел он такого лица у комиссара.

Немцы вышли на берег Волги, на окраину Сталинграда, да не на окраину, они вторглись в сердце города, — заводы были сердцем Сталинграда! Над Волгой во всю ширь неба выли моторы немецких самолетов, их унылое и грозное гудение заполняло пространство, и ужасная связь возникла между ними и скрежещущими на земле танками. Эта связь врагов в воздухе с врагами на земле ширилась, множилась, крепла. Не было задач важней, чем эта: остановить немцев, порвать их связь!

В эти минуты Крымова охватило состояние высшего напряжения всех душевных сил <...> {238}

— Протяните провод вон к тому домику, — указал Крымов помощнику начальника штаба и тут же спросил Саркисьяна: — Сколько у вас боеприпасов?

Он выслушал Саркисьяна и ответил:

— Очень хорошо. Расстояние до склада велико. Мы ведь не будем оттягиваться, значит, подтянем к огневым боеприпасы.

Красноармеец-заряжающий мельком поглядел на Крымова и сказал:

— Верно, товарищ комиссар, оттягиваться вроде некуда, — и махнул рукой в сторону Волги.

Быстрые взгляды, короткие слова, которыми Крымов обменивался с красноармейцами-минометчиками, подтверждали связь, общность между комиссаром и бойцами.

Он обратился к подбежавшему к нему адъютанту штаба бригады и сказал:

— Немедленно поднимите всех работников штаба, хозчасть на подноску мин, подносчики не справляются.

Он улыбнулся красноармейцу-минометчику и сказал ему:

— На посту, Сазонов?

— Не хотелось мне оставаться на Дону, помните, товарищ комиссар?

— Помню, как же, — ответил Крымов. <...> {239}

Красноармеец что-то еще сказал Крымову, но тот не услышал. В хаосе звуков смешивались выстрелы, разрывы немецких снарядов и близкий грохот разрывов авиационных бомб.

Крымов приказал связному передать записку командиру зенитного полка. В этой записке он писал, что в непосредственной близости от завода появились немецкие танки и зенитчикам нужно немедленно ввязаться в наземный бой, установить связь с противотанковой бригадой. Но не успел связной добежать с запиской до штаба зенитного полка, как могучие, быстрые

удары зенитных пушек оповестили о том, что расчеты и командиры батарей заметили наземные цели, открыли огонь по танкам.

Десятки людей видели комиссара, быстро переходящего от одного минометного расчета к другому, десятки, сотни красноармейских глаз по-разному, мельком, медленно, возбужденно, спокойно, задорно встречались с глазами Крымова.

Наводчик взглянет после удачного выстрела, подносчик, еще не разогнув спины, посмотрит снизу вверх, утрет пот, разогнется, командир расчета торопливо козырнет и ответит на быстрый вопрос комиссара, старшина-связист оторвется от телефонной трубки, протянет ее комиссару.

Минометчики вели бой с немецкими танками на окраине Тракторного завода. Они переживали близость смерти, страх и напряжение боя, их радовала меткость и скорость стрельбы, которую они вели; они следили за поведением немцев, начавших пристреливать из орудий их огневые позиции, следили за движением самолетов в сторону заводов; их тревожили ненадежность неглубоких учебных щелей, неполадки в стрельбе; минометчики не заглядывали вперед и не задумывались о далеком будущем — пролетел бы мимо немецкий снаряд, успеть бы упасть на землю при разрыве. Но было в этом внезапном бое что-то отличавшее его от прошедших степных боев. То не было чувство досады людей, жаждавших хотя бы короткого отдыха и вновь, не отдохнув, начавших воевать. Война не выпускала их, она настигла их снова здесь, на берегу Волги, у стен огромного завода. Враг настиг их на границе казахских степей, в низовьях Волги.

Крымов чувствовал крепость связи между людьми, ответственными за первые минуты и часы Сталинградского боя. Распоряжения, которые он отдавал, слова его были направлены на установление не только боевого взаимодействия между расчетами, между огневиками и управленцами, между штабом и отдельными подразделениями, между бригадой, зенитчиками, ополченцами, штабом фронта, — но и того внутреннего человеческого взаимодействия, человеческой связи, которые важны и нужны в бою и без которых немыслим счастливый исход боя. Крымов знал это на опыте успехов и тяжелых неудач в пору отступления.

Вскоре, проведенный по указанию Крымова, телефонный провод соединил штаб бригады со штабом зенитного полка, наладилась связь со штабом заводского ополчения, учебным танковым батальоном.

Телефонист то и дело передавал Крымову телефонную трубку, и комиссара слышали в минометных, артиллерийских, танковых подразделениях.

— Товарищ комиссар! — говорил, вбегая в штаб бригады, командир пулеметного взвода Волков. — У меня ленты на исходе, ведь в резерв уходили, не думали даже, что придется в бой ввязываться.

— Пошлите людей в штаб полка ополчения, я договорился с командиром, дадут вам патронов.

Звонил телефон, и Крымов говорил в трубку:

— Окапывайтесь основательно, никаких временных укрытий, дело завязалось всерьез, надолго.

Да, боевая связь, которую немцы думали нарушить и парализовать внезапным ударом с воздуха и с земли, не была нарушена, не ослабела. * * *

Немецкие танкисты на своем пути к Волге внушали ужас всем случайным встречным. Они

были уверены, что на переправах и на заводе вблизи объятых пламенем города их внезапное вторжение вызовет еще больший ужас и растерянность. Но их самих поразило внезапно плотный, дружный и мощный огонь тяжелого дивизиона. Когда после прямых попаданий загорелись две выведенные из строя машины, командованию группы прорыва стало ясно: советские войска не были застигнуты врасплох, они, видимо, задолго уже знали о движении немецкой танковой группы, угадали место выхода танков к Тракторному заводу и северным переправам, заранее подготовив мощный огневой заслон.

Командующий немецкой танковой группой тотчас же радировал в высший штаб. Обдумав обстановку, он отдал приказ танкам и мотопехоте закрепиться, завязать огневой бой с советскими войсками.

Очевидно, что некоторые события в мирной жизни или на войне содержат в себе элементы случая, счастливого или несчастного. Но значение всякого события может быть правильно понято и оценено тогда, когда из него извлекают сущность, выражающую основную закономерность времени, а случайности, счастливые или несчастные, отводятся на второй план — они не в состоянии влиять на общий ход вещей, они не определяют главного значения происходящего.

Для немцев подходила пора, когда закон жизни и войны перестал складываться в победную, сокрушающую противника ударную силу миллионы усилий немецкого тыла и немецкой армии. Для немцев подходила пора, когда счастливые случайности уже не вели к успеху, а бесследно исчезали, подобно дыму, тающему в воздухе, когда несчастные случайности, как бы мелки они ни были, влекли за собой тяжелые и длительные последствия. <...> {240}

43

Странно жил город после дней воздушных налетов. Станным выглядело все изменившееся, и странным казалось оставшееся неизменным. Станными казались семьи, обедающие на улице, сидящие на ящиках и узлах рядом с развалинами домов, и странно было видеть старуху у открытого окна уцелевшей комнаты с вязанием в руках, подле фикуса, и дремлющего пышно-шерстного сибирского кота. Все казавшееся людям невероятным, невысказанным — все это свершилось.

Изменение совершилось: исчезли пристани, остановились трамваи, не звонили телефоны, прекратилась работа многих советских учреждений.

Не стало сапожных и портняжных мастерских, не стало многих амбулаторий, аптек, школ, часовщиков, библиотек, замолчали радиорепродукторы, не стало театра и кино, не стало привычных магазинов, рынков, прачечных, бань, газированной воды, пивных.

В воздухе стоял запах гари, и горячий печной дух шел от раскаленных стен сгоревших домов, они еще дышали жаром.

Все ближе слышались орудийная стрельба и разрывы немецких снарядов, по ночам со стороны Тракторного доносились пулеметные очереди и сухой треск рвущихся малокалиберных мин. Стало непонятно, что законно в городе: безумная женщина, деловито раскидывающая кирпич и грохочущие листы кровельного железа, под которыми погребено тело ее погибшего ребенка, или чинная очередь у хлебной лавки, дворник, метущий улицу... Горожане знали, что на северных окраинах засели немецкие войска. Город томился предчувствием все новых стремительных неожиданностей, казалось невысказанным жить сегодня так, как вчера, а завтра так, как сегодня. Неподвижность стала невысказанной.

Единственно неизменной осталась жизнь штаба, еще так недавно бывшая для города незаконной, кочевой, изменчивой. По-прежнему бежали к кухне, грохоча котелками, бойцы из батальона охраны штаба. По-прежнему связные мчались на мотоциклетах по улицам, а

фронтные в грязи и пыли «эмки» с лучеобразными трещинами на стеклах и с вмятыми боками останавливались на площадях, возле регулировщиков с красными и желтыми флажками.

И с каждым днем среди развалин старого мирного города рос новый город — город войны. Его строили саперы, связисты, пехотинцы, артиллеристы, ополченцы; оказалось, что кирпич — это строительный материал для баррикад, что улицы нужны не для движения, а для того, чтобы мешать движению, и их пересекали окопами, заседали минами; оказалось, что в окнах домов нужно ставить не цветочные горшки, а станковые пулеметы, что дворы и ворота созданы для пушек и танковых засад; оказалось, что закоулки меж домами созданы для снайперских гнезд, для засад автоматчиков и гранатометчиков.

44

Вечером на пятый день после пожара Мостовской встретил возле своего дома Софью Осиповну Левинтон.

В шинели с обгоревшей полрой, с изможденным лицом, Софья Осиповна совсем не походила на ту веселую, громкоголосую толстуху, с которой Мостовской сидел за обеденным столом в день рождения Александры Владимировны.

Мостовской не сразу узнал ее. Насмешливые и острые глаза Софьи Осиповны, запомнившиеся Мостовскому, сейчас то рассеянно и тревожно оглядывали лицо собеседника, то следили за серым дымом, стелющимся среди развалин.

Женщина в пестром купальном халате, подпоясанная солдатским ремнем, и пожилой мужчина в белом плаще, с заношенной солдатской пилоткой на голове прошли мимо ворот, толкая перед собой двухколесную тележку, груженную домашними вещами.

Люди с тележкой оглядели Мостовского и Софью Осиповну, разговаривавших возле ворот. В любом другом месте и в иное время эти двое с тележкой показались бы существами странными и необычными. Но, может быть, более странным казался в этот час старик Мостовской, спокойный, такой же внимательный ко всему окружающему...

Сколько писалось людьми о запахах леса и лугов, увядших листьев, молодой травы и свежего сена, моря и речной воды, горячей пыли и живого тела...

Дым и запахи военных пожарниц!

Много различий в их кажущемся угрюмом и горестном однообразии. Дым пожара в сосновом лесу, легкий хвойный туман, голубой пеленой плывущий среди высоких медных стволов... Горький и сырой дым пожара в лиственном лесу, жмущийся к земле, холодный и тяжелый... Чадное пламя созревшей пшеницы, тяжелое, медленное, жаркое, как горе народа; быстрый, широкий пожар в сухой августовской степи. ... Ревущий огонь заскирдованной соломы, жирный, округлый дым горящей нефти...

Тяжело и жарко дышал в этот вечер сожженный город. Воздух был необычайно сух, от стен домов несло жаром, пресыщенный огонь вспыхивал то здесь, то там, лениво дожирая остатки всего того, что могло гореть. Внутри зданий курился дым, медленно, струйками выползал через пустые окна, поднимался в провалы крыш.

Раскаленные груды обрушившихся кирпичей и штукатурки, лежавшие в полутьме подвалов, рдели темным, мерцающим светом. Пятна вечернего солнца, ложившиеся на стены и просвечивавшие в проломах, красно-фиолетовые облака казались частью пожара и были неотделимы от огня, зажженного человеком.

Запах раскаленной извести и камней, чад горелых перьев и залитого водой угля, запах горелой масляной краски, смешавшись вместе, тревожили душу.

Странная пустая тишина стояла над вечно шумным и говорливым городом, но небо, нависшее над ним, казалось почему-то не таким далеким и оторванным от земли, как в обычное мирное время. Оно сблизилось с улицами, площадями, сблизилось с городом так, как сближается небо в вечерний час со степью, тайгой, полями, морем.

Михаил Сидорович очень обрадовался встрече с Софьей Осиповной.

— Удивительная вещь,— сказал он,— в моей комнате уцелел потолок и даже стекла не выбиты, возможно единственные в городе, пойдёмте ко мне.

Дверь им открыла бледная, с заплаканными глазами старуха.

— Знакомьтесь с Агриппиной Петровной, заведующей моим хозяйством,— сказал Мостовской.

Они вошли в комнату, прибранную и подметенную, разительно противоположную хаосу, царившему вокруг.

— Прежде всего расскажите мне о наших общих друзьях,— сказал Мостовской, усаживая Софью Осиповну в кресло.— Я узнал от соседки по дому, Мельниковой, что в первый день бомбежки погибла Мария Николаевна. Но что с остальными, как Александра Владимировна? Дом их разрушен, я подходил к нему, и никто не знает об их судьбе.

— Да, бедная Маруся погибла,— сказала Софья Осиповна.

И она рассказала Мостовскому, что Женя увезла мать в Казань к Штрумам, что Вера, дочь погибшей Марии Николаевны, отказалась ехать с бабушкой, не хотела оставлять отца одного, поселилась с ним на СталГРЭС; у нее легкий ожог лба и шеи; к счастью, глазу ее опасность не грозит.

— А сердитый юноша, Серёжа, кажется? — спросил Мостовской.

— Представьте, вчера совершенно случайно встретила его на Тракторном заводе, он шел в строю, и я ему успела сказать лишь несколько слов о родных, а он мне сказал, что пять дней был в бою, он минометчик, и сейчас их снова направили занимать оборону на окраине Тракторозаводского поселка.

Потом, нахмутив брови, Софья Осиповна рассказала, что за эти дни сделала более трехсот операций и перевязок раненым военным и гражданским людям, что много пришлось ей оперировать детей.

Она сказала, что сравнительно мало ранений осколками бомб, больше всего переломов конечностей, повреждений черепа и грудной клетки обломками рухнувших зданий.

Госпиталь, в котором работала Софья Осиповна, ушел за Волгу и должен был вновь развернуться в Саратове, Софья Осиповна осталась на день в городе: ей нужно было закончить кое-какие дела, побывать в заводском районе, где находилась часть госпитального имущества,— его предстояло переправить на хутор Бурковский, в Заволжье.

Одним из дел ее было свидание с Мостовским. Александра Владимировна взяла с нее слово повидать Михаила Сидоровича и передать ему приглашение приехать в Казань.

— Спасибо,— сказал Мостовской,— но я не думаю об отъезде.

— Пора, я могу помочь вам доехать до Саратова на нашей госпитальной машине,— сказала Софья Осиповна.

— Мне предлагали товарищи из обкома,— ответил Мостовской,— но я пока не собираюсь ехать.

— Когда же? — спросила Софья Осиповна.— Зачем вам сидеть здесь, ведь все гражданское население стремится уйти за Волгу.

Но по тому, как сердито и недовольно закашлял Михаил Сидорович, Софья Осиповна поняла, что он не склонен продолжать разговор об отъезде и о соображениях, по которым решил оставаться в городе.

Агриппина Петровна, слушавшая разговор, так громко и тяжело вздохнула при этих словах военной докторши, что оба собеседника оглянулись на нее.

Обращаясь к Софье Осиповне, она просительным голосом проговорила:

— Скажите, гражданка, нельзя мне с вами поехать? Мне как раз до Саратова, там у меня сестра. Вещей у меня самая малость — корзинка да узелок.

Софья Осиповна подумала и сказала:

— Что ж, пожалуй, посажу вас в один из наших грузовиков, только я с утра в заводской район поехать должна.

— Господи, переночуете у нас, выспитесь. Где вы такой дом найдете целый, один на всю улицу. Народ в подвалах живет. Подвалы народом забиты.

— Заманчиво,— проговорила Софья Осиповна.— Моя главная мечта — выспаться. За четверо суток часов шесть проспала.

— Пожалуйста,— сказал Мостовской,— буду рад, устрою вас как можно удобней.

— Зачем его стеснять,— вмешалась Агриппина Петровна,— и вам будет неудобно, я вам свою комнату уступлю, у меня и выспитесь, а утром поедем.

— Вот на чем только поедем,— сказала Софья Осиповна,— наши машины за Волгой, до заводского района придется на попутных добираться.

— Доберемся, доберемся,— говорила обрадованная Агриппина Петровна,— до заводов недалеко, нам бы до Саратова. Самое трудное — через Волгу переправиться!

— Да, товарищ Мостовской,— проговорила Софья Осиповна,— вот вам и двадцатый век, вот вам и человеческая культура. Невиданное зверство! Вот вам и Гаагские конвенции о гуманных методах ведения войны, о защите гражданского населения. Все к черту! — Софья Осиповна махнула рукой в сторону окна.— Товарищ Мостовской, вы посмотрите на эти развалины. Какая уж тут вера в будущее, техника прогрессирует, но этика, мораль, гуманность — никак, это какой-то каменный век. Фашизм возродил первобытные зверства, прыжок в прошлое на пятьдесят тысяч лет...

— Ох, вот вы какая,— сказал Мостовской.— Отдохните, поспите-ка, пока не началась ночная бомбежка, может быть, это прибавит вам оптимизма.

Но и в эту ночь Софье Осиповне не пришлось выспаться. Когда начало темнеть и в туманном, дымном небе заняли моторы немецких ночных бомбардировщиков, послышался резкий стук в входную дверь.

Молодой красноармеец вошел в комнату и сказал:

— Товарищ Мостовской, я за вами приехал. От товарища Крымова. Вот письмо для вас.— Он протянул Мостовскому конверт и, пока тот читал письмо, спросил у Агриппины Петровны:

— Напиться не найдется у вас, мамаша? Как я вас тут нашел — даже не понимаю.

Мостовской прочел письмо и обратился к Софье Осиповне:

— Понимаете, какая штука, меня зовут на завод, там сейчас секретарь обкома, а мне необходимо видеть его.— Он, волнуясь, спросил красноармейца: — Поедем сейчас? Можно?

— Конечно, пока совсем не стемнело, а то я не местный, час вертелся, пока вас нашел.

— Ну, а фронт как? — спросил Мостовской.

— Вроде потише. Товарища Крымова из бригады в Политуправление фронта отзывают.— Водитель взял кружку у Агриппины Петровны, выпил воду, вытряхнул оставшиеся капли на пол и сказал: — Пойдемте, а то я за машину беспокоюсь.

— Знаете что? — сказала Софья Осиповна.— И я с вами поеду, а то как завтра добираться? Выплюсь я уж после войны.

— Тогда и меня берите,— плачущим голосом заговорила Агриппина Петровна,— я одна в квартире не останусь. Я вам мешать не буду, а когда поедете на тот берег, и меня захватите. Разве я добьюсь сама переправы?

Михаил Сидорович спросил у водителя:

— Как ваша фамилия, товарищ?

— Семёнов.

— Сумеете троих захватить, товарищ Семёнов?

— Резина плоховата. Но как-нибудь довезем.

Выехали они в сгустившихся сумерках, так как Агриппина Петровна замешкалась со сбором вещей и, задыхаясь от спешки, волнения, все объясняла Михаилу Сидоровичу, где оставляет она картошку, керосин, соль, воду, кастрюли, переносила в комнату Мостовского перину, подушки, узел с бельем, валенки, самовар.

Михаил Сидорович сел рядом с Семёновым, женщины — на заднем сиденье. По городу ехали они очень медленно — улицы были преграждены грудями камней. Догоравшие пожары, невидимые при дневном свете, светились в темноте подвижными пятнами, раскаленные камни в подвалах рдели угрюмым красным огнем. Эти огни среди безлюдных улиц в пустых выгоревших каменных коробках производили тревожное и угнетающее впечатление.

Огромность бедствия, постигшего город, становилась ощутимой и реальной при движении по этим пустынным улицам, мимо сотен мертвых домов. Казалось, кладбищенский покой должен стоять над сожженным городом, но это не было так: и на земле, и в небе чувствовалось молчаливое напряжение военной грозы. Над развалинами вспыхивали звездочки разрывов зенитных снарядов, подвижным шатром шевелились лучи прожекторов, артиллерийские и бомбовые разрывы светились розовыми зарницами.

Сидевшие в автомобиле люди молчали. Даже Агриппина Петровна, все время причитавшая и

всхлипывавшая, примолкла.

Мостовской, приблизив лицо к стеклу, всматривался в темные контуры сожженных строений.

— Вот, кажется, дом Шапошниковых,— сказал он, поворачиваясь к Софье Осиповне.

Но она не ответила, ее тяжелое тело грузно покачивалось при толчках автомобиля, голова опустилась на грудь. Софья Осиповна спала.

Вскоре автомобиль выехал на асфальтовое полотно, свободное от обломков, замелькали маленькие домики, окруженные деревьями, то и дело из темноты возникали фигуры красноармейцев, движущихся в сторону заводов. Семёнов свернул налево в одну из боковых улиц и объяснил Михаилу Сидоровичу:

— Вроде здесь свернуть надо. Угол срежем — и короче, и дорога удобней.

Они выехали на обширный пустырь, проехали через жиденькую рощицу, потом снова замелькали домики. Какой-то человек, отделившись от темноты, вышел на дорогу и замахал руками.

Семёнов, не сбавляя хода, проехал мимо него.

Михаил Сидорович сидел, полузакрыв глаза. Мысль о предстоящем свидании с Крымовым радовала его. Удивительная все же будет эта встреча!

Потом Михаил Сидорович подумал о предстоящем разговоре с секретарем обкома: «Нужно по-деловому договориться обо всех возможных подробностях работы. Не исключено, что немцы захватят город, часть города». Его решение остаться в подполье непоколебимо. О, он еще поучит молодых искусству конспирации, умению сохранять спокойствие, умению добиваться цели в любых условиях, перед лицом любой опасности. Удивительно все же, что испытания и лишения последних дней словно омолодили его — он давно уж не помнил себя таким внутренне уверенным, бодрым, здоровым.

Потом он задремал: мирное и быстрое мелькание теней перед глазами, мягкий ход автомобиля успокаивали. Внезапно он открыл глаза, точно чья-то рука сильно встряхнула его. Но автомобиль по-прежнему ехал по дороге. Семёнов, видимо взволнованный чем-то, негромко сказал:

— Не слишком ли влево я взял?

— Может быть, спросить? — сказала Агриппина Петровна.— Я хоть и здешняя, и то дороги не знаю.

Где-то рядом у придорожной канавы громко и четко стал стрелять пулемет.

Семёнов, оглянувшись на Михаила Сидоровича, пробормотал:

— Вроде заехали.

Женщины, сидевшие на заднем сиденье, зашевелились, Агриппина Петровна закричала:

— Куда ты нас завез, на самую передовую?

— Да какая там передовая,— сварливо ответил ей Семёнов.

— Надо обратно повернуть,— сказала Софья Осиповна.— А то еще завезете к немцам.

— Не назад, вправо надо сворачивать. Я слишком круто влево взял,— сказал Семёнов,

всматриваясь в темноту и притормаживая машину.

— Назад поворачивай! — властно сказала Софья Осиповна.— Баба ты, а не фронтовой водитель.

— Вы не командуйте, товарищ военврач,— сказал Семёнов,— я машину веду, а не вы.

— Да вы уж не вмешивайтесь, пусть шофер сам решает,— сказал Мостовской.

Семёнов свернул в боковую улочку, и снова замелькали заборы, серые стены домов, невысокие деревца.

— Ну как? — спросила Софья Осиповна.

Семёнов пожал плечами:

— Вроде так, но мостика не должно бы быть, или я запамятовал.

— Надо остановиться,— сказала Софья Осиповна.— Как только увидите кого-нибудь, затормозите и расспросите хорошенько.

Семёнов некоторое время вел машину молча, потом с облегчением сказал:

— Правильно едем, узнаю район, свернем еще разок вправо и к заводу выедем.

— Вот видите, беспокойная пассажирка,— наставительно сказал Мостовской.

Софья Осиповна сердито засопела и не ответила.

— Давайте, следовательно, так сделаем: сперва меня отвезут на завод, а потом уж вас к переправе,— предложил Мостовской.— Мне обязательно нужно секретаря обкома, а то он уедет с завода обратно в город.

Семёнов резко затормозил автомобиль.

— Что случилось? — вскрикнула Софья Осиповна.

— Сигналят остановиться, вон фонариком светят,— сказал Семёнов, указывая на людей, стоявших посреди дороги, один из них поднял красный карманный фонарь.

— Боже мой! — сказала Софья Осиповна.

Несколько человек с поблескивающими автоматами окружили машину, и один из них с расстегнутым на груди кителем, направив на помертвевшего Семёнова оружие, негромко и властно сказал:

— He, ruki werch! Sdawajsia!

Мгновение длилась ужасная, каменная тишина, та тишина, во время которой задержавшие дыхание люди осознали, что малые случайности, определившие эту поездку, вдруг превратились в непоправимый и ужасный рок, решивший всю их жизнь.

Вдруг заголосила Агриппина Петровна:

— Вы меня не трогайте, я в прислугах жила, я у него, вот у этого, за кусок хлеба в прислугах жила!

— Still, Schweineh?nde! [34] — крикнул немец и замахнулся автоматом.

Через десять минут после грубого обыска задержанных отвезли на командный пункт немецкого пехотного батальона, чьим боевым охранением была задержана заблудившаяся машина.

45

Новиков в Москве остановился у товарища по академии, полковника Иванова, служившего в оперативном управлении Генерального штаба.

Иванова он видел редко: тот работал дни и ночи, случалось, что по три-четыре дня не приходил домой, спал в своем служебном кабинете.

Семья Иванова находилась в эвакуации в Шадринске, на Урале.

Когда Иванов приезжал с работы, Новиков первым делом спрашивал его: «Что слышно?»,— а затем они вместе рассматривали карту, обсуждали невеселые новости.

Когда Новиков узнал о массированном налете немецкой авиации на Сталинград, погубившем многие тысячи мирных людей, и о прорыве к заводам немецких танков, им овладела мучительная тревога.

Он не спал всю ночь: то ему представлялись на берегу Волги черные немецкие гаубицы и самоходные орудия, ведущие огонь по пылающему городу, то он видел Евгению Николаевну, бегущую среди дыма и пламени. Ему хотелось броситься на Центральный аэродром и полететь на скоростном самолете в Сталинград.

До рассвета Новиков не спал; он подходил к окну, шагал по комнате, подолгу стоял над картой, расстеленной на столе, пытался разгадать ход и судьбу начинающегося городского сражения.

Рано утром он позвонил по телефону Штруму. Он надеялся, что Штрум скажет: «Уж несколько дней, как Евгения Николаевна приехала со всей семьей в Казань». Но телефон молчал, видимо, Штрум уехал.

В такие дни, как этот, особенно тяжело было бездеятельное ожидание, а Новиков не работал.

В Наркомате обороны, в Управлении командных кадров, куда он пришел в день приезда в Москву, ему велели оставить номер своего телефона и ждать вызова. Время шло, а его не вызывали. Какое состоится решение, Новиков не представлял. Его фронтовой начальник Быков, не объясняя причин, по которым Новиков должен был выехать в Москву, вручил ему засургученный пакет с личным делом.

Новиков почувствовал, что в одиночестве и бездеятельности этот бесконечно длинный день он не в состоянии провести,— надел новый китель, начистил сапоги и отправился в Наркомат обороны.

Он долго прождал в прокуренном, многолюдном бюро пропусков, наслушался историй о превратностях майорских и подполковничьих судеб и, наконец, был вызван к окошечку, получил пропуск.

Принял его награжденный медалью «За боевые заслуги» капитан административной службы, тот, что в день приезда в Москву ставил штамп на командировочном предписании Новикову. Капитан расспросил Новикова о том, как он устроился, и сказал:

— Зря вы, однако, сегодня пришли, ничего для вас нет пока. По-моему, о вас еще не докладывали начальнику управления.

В комнату вошел худощавый капитан и, поздоровавшись, подвинул флажок на школьной карте, висевшей меж окон.

Затем оба капитана обронили по словцу о положении под Сталинградом[, видимо, не только карта на стене была школьной, но и представление канцелярских капитанов о войне тоже было школьным].

Капитан, сидевший за столом, посоветовал Новикову зайти к подполковнику Звездюхину, который будет докладывать его дело, подполковник может точнее сказать о сроках.

Капитан позвонил по телефону, подполковник оказался на месте, и капитан объяснил Новикову, как пройти к нему.

Подполковник Звездюхин, сутулый человек с бледным лицом, быстрым движением белых длинных пальцев перебрал картонки в картотеке и сказал:

— Составление доклада, товарищ полковник, я еще не закончил, потому что не прибыли запрошенные мною из штаба фронта бумаги, боевые характеристики.— Он посмотрел на карточку и добавил: — Тут у меня помечено — запрос послан тотчас же, на следующий день после вашего прибытия, следовательно, дней через пять документы будут получены... Тогда, не теряя часа, доложу начальнику.

— А быть может, меня начальник сегодня примет? — спросил Новиков.— Вы не могли бы посодействовать мне в этом?

— С удовольствием, товарищ полковник,— ответил Звездюхин и усмехнулся: — С удовольствием, если б это имело смысл, но ведь на основании словесных объяснений вопрос не может решиться, нужны документы, документы.

Слово «документы» он произнес особо веско, сочно, оно сразу выделилось среди его монотонной и вялой речи.

Новиков понял, что ему не ускорить [трудного] движения колес, простился со Звездюхиным, который обещал его вызвать, как только будут новости.

Когда Звездюхин поглядел на часы и подписал Новикову пропуск, тот почувствовал сожаление, что так быстро закончил разговор. Будь это в какой-нибудь другой день, Новиков, вероятно, стал бы сердиться на Звездюхина, поспорил бы с ним, но сегодня ему таким тяжелым казалось одиночество, что он был благодарен и Звездюхину, и часовому, проверявшему пропуск, и дежурному, выписывавшему пропуск, за одно то, что они нарушили его тревожное одиночество.

Выйдя на улицу, он снова позвонил по телефону-автомату Штруму, и опять никто не ответил. Несколько часов ходил Новиков по улицам. Со стороны можно было подумать, что он спешит по неотложному делу, никому бы не пришло в голову, что полковник гуляет. До этого дня он мало выходил на улицу, ему казалось стыдным гулять по Театральной площади, сидеть на бульваре; женщины, встретив его, подумают: «Вот какой огромный полковник по бульварам гуляет, а наши-то в это время на переднем крае оборону держат».

Когда Иванов спросил его, почему он не сходит в кино развлечься либо не съездит за город подышать свежим воздухом, Новиков ответил:

— Что ты, разве мыслимо во время войны на дачу ездить?

— Ох, а я мечтаю хоть один вечерок подышать прохладой, пивка на воздухе выпить,— сказал Иванов.

Новиков зашел к Штруму на квартиру и спросил у сидевшей у подъезда старухи швейцарши, дома ли жилец квартиры № 19.

— Нету, уехал,— ответила старуха и почему-то рассмеялась.— Дней десять, как улетел.

После этого Новиков пошел на почту и послал телеграмму Александре Владимировне, но он чувствовал, что ответа на телеграмму не получит. Тут же на почте он написал открытку Штруму в Казань, просил сообщить, известно ли ему что-нибудь о судьбе сталинградских родных.

Он понимал, что в взволнованном тоне этой открытки невольно высказал ту сердечную тайну, которую Штрум, вероятно, заподозрил при первом их свидании.

Дел у него больше не было, возвращаться в пустую квартиру не хотелось, и он до вечера скорым шагом ходил по улицам, прошел, вероятно, километров двадцать — от Калужской улицы до центра, потом к Краснопресненской заставе, вышел на Ленинградское шоссе к аэропорту, глядел на транспортные самолеты, поднимающиеся в воздух, наверное, некоторые из них шли в район Сталинграда... От Ленинградского шоссе он через Петровский парк пошел к Савеловскому вокзалу, а оттуда вернулся по Каляевской в центр.

Он шел не останавливаясь, быстрая ходьба немного успокаивала напряженные нервы. Минутами ему вспоминалось чувство, пережитое им в начале войны; он понимал, что жизнь готовит ему тяжелые испытания, и внутренне напрягался, чтобы пережить трудное время. И ощущение, испытанное им, когда он ночью под грохот бомбежки в штабе авиационного полка заставлял себя медленно застегнуть пуговицы на гимнастерке, затянуть поясной ремень, ощущение решительности и готовности пройти через все, что положит судьба, вновь возникло в нем.

Ночью его разбудил телефонный звонок. Он снял трубку, готовый произнести фразу, которую уже не раз произносил: «Полковник Иванов не ночует сегодня дома, звоните ему на работу». Но оказалось, что к телефону вызывают Новикова.

И с первых же слов этого разговора Новиков понял, что вопрос о его дальнейшей работе будет решаться не на том этаже, где подполковник Звездюхин рассматривал карточку с датами о посылке запросов... Новикова вызывали в Генштаб.

Впоследствии он не раз вспоминал этот минутный ночной разговор.

В Генштабе он узнал о счастливом и торжественном событии, происшедшем в его жизни. Его записка была доложена Главнокомандованию, ее признали дельной.

В течение двух дней с Новиковым беседовали ответственные работники Бронетанкового управления. На третий день, около полуночи, за Новиковым прислали автомобиль: его вызвал начальник Бронетанкового управления Красной Армии генерал Федоренко {241}.

Сидя в автомобиле, Новиков подумал: неужели в эти определяющие всю его судьбу дни может постичь его горе, тяжкий сердечный удар; какое счастье было бы получить именно в эти дни телеграмму о том, что семья Шапошниковых спасена, что Евгения Николаевна жива. Но ответ на его телеграмму не пришел, а из Казани тоже не было вестей.

Генерал разговаривал с ним около двух часов, и Новикову казалось, что они знакомы уйму времени, столько общего было в их взглядах и мыслях. Генерал, оказывается, знал не только о службе Новикова в бронетанковых войсках, он знал и о последних месяцах работы Новикова.

Минутами становилось странно, что этот добродушный, круглолицый пожилой человек и есть

начальник грозного и могущественного рода войск, которому суждено сыграть такую важную роль в войне, и что имена Рыбалко, Катукова, Богданова он называет с такой интонацией, с какой заведующий школой называет имена преподавателей истории, естествознания и родного языка.

Однако Новиков понимал, что этот разговор, который так легко и приятно ему было вести, затеян не зря, что не зря в разгар войны, среди ночи, начальник Управления бронетанковых войск Красной Армии проявляет к нему столько внимания и, слушая его, ни разу не посмотрел на часы. Но Новиков, понимая все значение этого разговора для своей судьбы, не произнес ни одной фразы, ни одного слова, которое могло бы в излишне выгодном свете представить его в глазах собеседника.

После разговора с генералом прошло восемь дней, и о Новикове словно забыли. Никто не звонил ему и не вызывал его. Ему уже казалось, что встреча произвела на генерала неблагоприятное впечатление. Ночью, проснувшись, он глядел на голубевшие в темном небе лучи прожекторов и вспоминал беседу с генералом, обдумывал какую-нибудь казавшуюся сейчас особенно «вредной» свою фразу, вроде: «Нет, об этом я не думал, этого я не знаю... пытался понять, но не мог». Особо запомнился ему разговор о тактике массированного применения танков; генерал вдруг спросил:

— Как вы понимаете основу подготовки новых танковых формирований?

Новиков ответил:

— Мне кажется, в ближайшем будущем первоочередная задача — массированное применение танков в активной обороне.

Генерал рассмеялся.

— Совершенно не так! Массированное применение танков — в наступлении! Вот стержень боевой подготовки танковых рот, батальонов, полков, бригад, корпусов, армий! Вот практические задачи завтрашнего дня.

И Новиков, волнуясь, вспоминал все подробности этого разговора, а лучи прожекторов, точно подтверждая его волнение, колыхались, вздрагивали, шевелились, бесшумно перебежали от одного края широкого неба до другого.

За эти дни Новиков послал еще две телеграммы в Сталинград и телеграмму в Казань, но ответа не было. Его тяжелая тревога все росла.

На девятый день после разговора с генералом к дому подъехал автомобиль, из которого вышел худенький, узкоплечий лейтенант. Новиков, видевший в окно, как лейтенант вбежал в подъезд дома, вдруг понял, что сейчас узнает решение своей судьбы. Он, не дожидаясь звонка, пошел открывать дверь — и действительно, лейтенант в эту минуту позвонил, улыбнувшись, спросил:

— Ждали меня, товарищ полковник?

— Ждал,— ответил Новиков.

— Вас срочно вызывают в Генштаб. Я за вами на машине приехал.

В Генштабе ему дали прочесть приказ о том, что полковнику Новикову П. П. поручено приступить к формированию танкового корпуса в одном из районов Уральского военного округа.

На миг ему даже показалось, что речь идет не о нем, настолько просто и кратко было

выражено в приказе то, о чем он часто мечтал, то, к чему и относился как к мечтанию, а не как к практической жизненной перспективе. Собственная фамилия показалась ему в этот миг какой-то чужой, не своей.

Новиков вновь перечел приказ. Через два дня он самолетом должен был вылететь по месту новой службы... И вместе с волнением он ощутил желание немедленно рассказать Евгении Николаевне об этом, чтобы она, именно она, первой поделила с ним эту новость, рассказать ей для того, чтобы она поняла его любовь к ней, неизменность его любви к ней, одинаково сильной и ровной в час гордости и успеха и в час испытаний и неудач.

Впоследствии, вспоминая этот день, Новиков подивился тому, как просто и быстро привык он к событию, казавшемуся ему недавно несбыточным.

Через два часа после получения приказа Новиков вел уже деловые переговоры в Бронетанковом управлении, созванивался с одним из заместителей генерала Хрулёва {242}, улавливался о встрече с начальником танкового училища, и голова его была полна множеством деловых мыслей и соображений, а в блокноте появились десятки записей, пометок, вопросов, телефонных номеров, телеграфных адресов, цифр. И десятки вопросов, еще вчера бывшие для него вопросами теоретическими, общими, вдруг превратились в жгучую, важную действительность, ту, что требовала всех сил разума и души.

Вопросы комплектования личного состава в батальонах, полках, бригадах, темпы поступления боевой техники, радиооборудования, средств связи, нормы горючего и финансирования, поступление обмундирования, продовольствия, методические указания, учебные планы, обеспеченность жильем, да и еще десятки и сотни других — крупных и малых, сложных, простых, первостепенных и второстепенных — вопросов...

Накануне отъезда из Москвы он до позднего вечера разговаривал в кабинете генерала, возглавлявшего технический отдел, с военными инженерами, знатоками танкового топлива и смазочных масел. К двенадцати ночи его должен был принять начальник Бронетанкового управления.

Во время разговора с инженерами о зольности солянки {243} Новиков попросил у генерала разрешения позвонить по телефону и набрал номер телефона Иванова. Тот оказался дома и спросил:

— Что, брат, паришься?

Новиков сказал Иванову, что приедет с ним проститься на рассвете, и спросил, заранее предполагая отрицательный ответ:

— Писем или телеграмм для меня нет?

— Пстой,— сказал Иванов,— есть открытка...

— А кто подписал, посмотри...

Иванов помедлил, видимо, разбирая незнакомый почерк, и сказал:

— Не то Штурм, не то Штром, вот так.

— Прочти мне открытку, пожалуйста,— быстро сказал Новиков.

— «Дорогой товарищ Новиков, вчера вернулся с Урала, куда был срочно вызван...» — начал читать Иванов, покашлял и сказал: — Доложу тебе, почерк жуткий. «Пишу вам печальные вести... из письма Александры Владимировны мы узнали, что в первый день бомбежки погибла Мария Николаевна...» — Иванов запнулся, видимо не сразу разобрав следующие

слова открытки, а Новикову показалось, что он колеблется, прежде чем прочесть о гибели Евгении Николаевны...

Сдержанность изменила Новикову в эти минуты. Он забыл о том, что говорит из служебного кабинета генерала-танкиста, что четыре малознакомых человека, продолжая деловую беседу, невольно прислушиваются к телефонному разговору... Резким, внезапно дрогнувшим голосом он вскрикнул:

— Да читай же ты, ради бога!

Сидевшие в комнате внезапно примолкли, посмотрели на него.

— «Евгения Николаевна с матерью доехала до Куйбышева, задержится там, от нее вчера получена телеграмма»,— прочел Иванов, и примолкшие собеседники снова заговорили о своих делах — так ясно преобразилось лицо Новикова. Да и сам он заметил: в тот миг, когда он услышал о том, что Евгения Николаевна выехала в Куйбышев, стиснувший сердце обруч лопнул, и, казалось, без всякой связи мелькнула мысль: «Надо не забыть до отъезда поговорить о назначении Даренского».

Далее Штрум писал, что о судьбе Веры и Степана Фёдоровича ничего не известно, а Новиков, слушая медленное чтение, думал: «На корпусной штаб Даренского уж очень хлопотно определить, не поставить ли его на бригаду для начала...» — и тотчас же усмехнулся и вновь подумал: «О брат, проснулась в тебе административная душа...»

Он поблагодарил Иванова, шутливо сказавшего ему под конец: «Передача телефонограммы окончена, передал полковник Иванов».

— Принял Новиков,— проговорил он и, кладя трубку, уже был спокоен, уже привык к минуте назад полученному известию, и ему уже казалось: «Да разве могло быть иначе»; но он понимал, что могло быть и иначе...

Новиков спросил у пожилого майора, сотрудника технического отдела, который должен был лететь вместе с ним к месту формирования танковых бригад:

— Мы каким маршрутом полетим, вы уж летали?

— На Киров,— ответил майор,— можно бы и на Куйбышев, да там, случается, не заправляют, есть риск, что застрянем, недавно мне там пришлось больше суток на аэродроме просидеть.

— Понятно,— сказал Новиков,— рисковать не следует, надо на Киров.— И подумал: «Ох и влетело бы мне, услышь она эти мои слова».

В полночь Новикова должен был принять начальник Бронетанкового управления. Ожидая, Новиков поглядывал на дежурного секретаря, сидевшего за столом, уставленным телефонами, прислушивался к негромким разговорам в приемной.

За эти дни Новиков как-то по-особому начал ощущать события и людей, и когда он думал о делах прошедших, то и они по-новому представлялись ему, по-новому связывались между собой.

Цепь тяжелых, трагических событий привела отступающие войска к Волге, а рядом война проложила другую дорогу: идя по ней, рабочие и инженеры подготовляли день, в который советские танковые заводы выпустят танков больше, чем танковая промышленность противника.

Почти в каждом разговоре, в каждом телефонном звонке, в каждой инструкции и докладной записке он ощущал нечто отличное от того, что ощущал он в своей оперативной работе на

фронте.

Военный инженер говорил по телефону с директором расположенного в тылу танкового завода. Морщинистый, лысый генерал-майор звонил на полигон, уточнял с начальником организацию исследовательской работы; на заседаниях люди говорили о предстоящем росте программы сталелитейных заводов, о планировании производства, о предстоящих зимой выпусках командиров из Академии имени Дзержинского и об изменениях в программе танковых училищ в новом учебном году.

Сидевший сейчас рядом с Новиковым в приемной инженерный генерал сказал своему соседу:

— Придется второй жилой поселок строить, к зиме негде будет людей селить, а когда в марте сорок третьего года пустим два сборочных цеха, этот поселок должен будет превратиться в город.

И Новикову казалось, что он понимал, в чем было новое, волновавшее его ощущение. Весь этот год главной реальностью войны была для него линия фронта, ее движение, изгибы, разрывы, и он воспринимал войну как бы линейно; реальностью, действительностью войны являлась узкая полоса фронтовой земли, узкая полоса времени, нужного для сосредоточения и выхода на передний край расположенных в этом фронтовом и прифронтовом пространстве резервов; единственной реальностью войны было соотношение сил на линии фронта в строго ограниченный отрезок времени.

Но вот здесь, в эти дни Новиков по-иному, по-новому ощутил войну — она оказалась объемна! Ее действительность определялась не десятками километров, не часами, днями и неделями. Война планировалась в многотысячной глубине часов. Действительность войны угадывалась в том, что в уральском и сибирском тылу зрели, росли, кристаллизовались танковые корпуса, артиллерийские и авиационные дивизии. Реальностью войны был не только сегодняшний день, а и тот желанный час, который сверкнет через полгода, может быть, через год. И этот скрытый в глубине пространства и во тьме времени час подготавливался десятками и сотнями путей, в десятках и сотнях мест; истинный ход войны угадывался не в одном лишь сегодняшнем боевом дне, определялся не одним лишь исходом вчерашнего боя... Конечно, Новиков и на фронте знал обо всем этом, но тогда знание это было каким-то академическим, не касалось каждодневной, каждочасной практики боев.

Это будущее, эти битвы 1943 года подготавливались в совершенствовании учебных программ военных школ и училищ, в разработке новых поточных способов производства, в сегодняшних спорах и догадках конструкторов, технологов, профессоров-теоретиков, в отметках, которые получали слушатели танковой, артиллерийской, воздушной академий, в расширении выемочных полей в карьерах и шахтах.

Что знал Новиков о будущих боях? Где, на каких рубежах произойдут они?

Будущее было скрыто пеленой фронтовой пыли и фронтового дыма, оно тонуло в скрежете и лязге битвы над Волгой.

Но Новиков понимал, что становится ныне одним из тех тысяч командиров, кому Верховное Главнокомандование поручает судьбу завтрашнего дня войны, ее будущее.

Нынешний прием у командующего бронетанковыми войсками был совершенно отличен от первого — Новиков сразу же почувствовал это. Генерал был по-деловому краток и сух, сделал несколько довольно сердитых замечаний, недовольным голосом сказал: «Я считал, что вы больше успели, набирайте темпы». Но именно в этом Новиков видел радостное и приятное для себя: командующий не относился к нему «вообще», Новиков уже вступил в семью танкистов.

Во время разговора вошел адъютант и доложил, что приехал Дугин, командир прославленного танкового соединения.

— Через несколько минут приму его,— сказал начальник управления и удивленно посмотрел на улыбнувшегося Новикова.

Новиков объяснил:

— Мой старый сослуживец, товарищ генерал.

— А,— ответил генерал, не проявив желая говорить о былой службе Новикова и Дугина,— давайте, давайте, что там у вас еще,— и посмотрел на часы.

Под конец разговора Новиков попросил о назначении Даренского в корпус. Генерал задал ему несколько быстрых вопросов, именно те, которые следовало задать, и, на мгновение задумавшись, сказал:

— Пока отложим. Ставьте передо мной вопрос перед выходом из резерва.— Они вскоре коротко простились, и начальник управления на прощание не спросил Новикова, справится ли он и не робеет ли: поздно уж было об этом говорить — Новикову предстояло справиться и не робеть.

В приемной он несколько минут говорил с Дугиным; оба они обрадовались друг другу.

Дугина Новиков помнил по службе мирного времени, тот был великим знатоком грибного дела: любил собирать грибы и мастерски солил их. А ныне был он грозным командующим, героем, отразившим штурмовые колонны немцев, двигавшиеся на Москву. И Новикову странно было смотреть на худое, бледное лицо Дугина, соединившего в себе милого товарища мирных времен и героя войны.

— Ну, как сапоги? — вполголоса спросил Новиков. Он слышал от одного товарища, что Дугин решил носить одну и ту же пару сапог, не сменяя ее до дня победы.

— Ничего, пока без ремонта,— улыбнувшись, ответил Дугин.— А ты уж слышал?

— Как же, слышал.

В это время адъютант проговорил:

— Товарищ генерал, вас просит командующий.

— Иду, иду,— сказал Дугин и спросил у Новикова: — Значит, на корпус?

— На корпус,— ответил Новиков.

— Женат?

— Нет пока.

— Ну ничего. Еще встретимся, повоюем.— И они простились.

В шесть часов утра Новиков приехал на Центральный аэродром. Когда автомобиль въезжал в ворота, Новиков приподнялся на сиденье, оглядел пепельную полосу Ленинградского шоссе, утреннюю, темную зелень деревьев, оглянулся на оставшуюся за плечами Москву, припомнил в один миг, с каким смутным неуверенным чувством вышел из ворот аэровокзала три с половиной недели назад. Мог ли он думать, ожидая очереди у окошечка в бюро пропусков наркомата, объясняясь с подполковником Звездюхиным, что именно в эту пору заветное желание его сделаться строевым танковым командиром станет действительностью.

Машина въехала в ворота, в светло-сером свете летнего рассвета белела статуя Ленина. В груди Новикова стало горячо, сердце сильно забилося.

Когда он с группой летевших вместе с ним военных подходил к самолету, взошло солнце. Широкое бетонное взлетное поле, пыльная желтая трава, стекла в кабинах самолетов, целлулоидовые планшеты у пилотов и штурманов, шедших к самолетам,— все вдруг вспыхнуло, улыбнулось в ярком солнечном свете.

Пилот зеленого «Дугласа» подошел, шаркая сапогами, к Новикову и, лениво козырнув, сказал:

— Погода есть по всей трассе, товарищ полковник, можем лететь.

— Что ж, давайте лететь,— сказал Новиков и ощутил на себе тот любопытствующий, чуть-чуть напряженный взгляд, которым всегда исподтишка оглядывают младшие командиры командармов, комкоров, комдивов. Новиков часто видел такой взгляд, знал его, но впервые этот взгляд был обращен к нему. Теперь, он понял это, многие люди станут запоминать и наружность его, и одежду, и шутку.

Да, что ни говори о скромности, но когда тебя первый раз в жизни усаживают в двухмоторный, могучий, специально тебя ожидающий самолет, когда первый раз в жизни тебя оглядывают любопытствующие, когда бортмеханик, козырнув, говорит: «Товарищ полковник, вам тут солнышко в глаза будет, не пересядете ли вот на это местечко?» — то невольно приятный холодок пробежит по груди, защекочет где-то между ребер.

В самолете Новиков принялся читать документацию, переданную ему в управлении. <...> {244}

Несколько раз поглядывал он через окошечко на сверкающую нить реки, ищущей путь к Волге, на спокойную зелень дубовых и хвойных лесов, на осенние березовые и осиновые рощи, на яркую зелень озими, зажженную утренним солнцем, на клубящиеся облака и на серую, математически плавно скользящую по земле пепельную тень самолета.

Он сложил бумаги в портфель и задумался. Почему-то вспомнилось ему детство: кричащие женщины, белье, сохнувшее на веревках во дворах шахтерского поселка <...> {245}.

Вспомнилось то чувство восторга и зависти, которое испытал он, когда старший брат Иван пришел после своей первой упряжки в шахте и мать вынесла на двор табурет, жестяную миску, ведро горячей воды и Ванька намыливал черную шею, а мать лила из кружки воду, и лицо у нее было растроганное и печальное.

Ах, почему нет ни отца, ни матери, почему не могут они погордиться сыном, летящим сейчас на самолете принимать танковый корпус! Он подумал, что, вероятно, сможет на денек съездить к брату: ведь рудник его не так уж далеко от места формирования корпуса. Он приедет, а брат будет мыться во дворе, миска стоит на табурете, жена его уронит кружку, крикнет:

— Ваня, Ваня! Брат к тебе приехал!

Вспомнилось ему смуглое, худое лицо Марии Николаевны. Почему он так равнодушно отнесся к ее гибели? Узнав, что Евгения Николаевна жива, он забыл о ее погибшей сестре. А сейчас при воспоминаниях о ней появилась щемящая жалость, но тотчас вновь исчезла, исчезло воспоминание о Марии Николаевне, и мысль его побежала дальше, то опережая самолет, то возвращаясь к недавно и давно прошедшим временам.

Штрум вернулся из Челябинска в Казань в конце августа: он провел на заводе не три дня, как предполагал, а около двух недель.

Эти челябинские дни прошли в напряженном труде, и в другое время понадобилось бы не две недели, а два месяца, чтобы проделать такое множество работ, дать столько консультаций, проверить столько сложных схем, провести столько бесед с инженерами, руководителями лабораторий.

Штрум все время удивлялся тому, что знания его оказались нужны десяткам практических работников и так просто и естественно приложимы к практической работе инженеров, техников и электриков, а также физиков и физико-химиков в заводских лабораториях. Вопрос, по которому вызывали Штрума, был решен на второй день после его приезда, но Семён Григорьевич Крымов уговорил его не уезжать, пока не будет проверена предложенная Штрумом схема.

Все эти дни он остро ощущал свою связь с огромным заводом. Чувство это хорошо знакомо всем, кому пришлось работать в Донбассе, в Прокопьевске, на Урале.

Не только в цехах, не только на заводском дворе, откуда, погромыхая, уходит на широкую колею рожденный металл, но всюду — в театре, в убранной коврами столовой главного инженера, в парикмахерской, в роще у тихого пруда, по которому плавают опавшие осенние листья, в магазинах, на улицах, в домиках-коттеджах, в инженерном поселке, в длинных бараках — все вокруг всегда и всюду дышит и живет заводом.

Завод определяет, улыбаются или хмурятся лица инженеров, он определяет труд, достаток, нужду рабочих, время обеда и отдыха, он определяет приливы и отливы людской толпы на улицах и расписание местных поездов, решения горсовета; к нему обращены, тянутся улицы, магазины, скверы, трамвайные и железнодорожные пути... О нем думают, о нем говорят, идут к нему или от него.

Он всюду, везде и всегда — в мыслях, в сердцах, в памяти стариков, он — будущее и судьба молодежи, он — причина тревог, радости, надежд... Он дышит, он шумит; всюду его гром, запах, тепло; он в ушах, в глазах, в ноздрях, на коже. <...> {246}

Штрум предложил заводу упрощенную схему монтажа новой аппаратуры.

Когда заканчивалась сборка перед пуском и испытанием всей цепи приборов и аппаратов, Штрум провел на заводе двое суток. Он отдыхал урывками на маленьком диванчике в цеховой конторе: напряжение металлургов и электриков, участвовавших в монтаже, захватило его.

В ночь перед опробованием собранных по новой схеме аппаратов Штрум вместе с директором завода и главным инженером обошел цехи для последней проверки уже законченного монтажа.

— Вы, я вижу, совершенно спокойны,— сказал ему Крымов.

— Что вы, какое там спокоен,— ответил Штрум,— я чертовски волнуюсь, хотя расчет и представляется мне бесспорным.

Он отказался поехать с Крымовым ночевать домой и остался до утра в цехе.

Вместе с парторгом цеха Кореньковым и длиннолицым молодым монтером в синем комбинезоне Штрум забрался по железной лестнице на верхнюю галерею цеха, где был смонтирован один из распределительных узлов цехового электрохозяйства.

Этот парторг Кореньков, казалось Штруму, никогда не уходил с завода. Проходил ли Штрум

мимо красного уголка, он видел в полуоткрытую дверь, как Кореньков читал вслух газету рабочим. Заходил ли Штрум в цех, он видел небольшую сутулую фигуру Коренькова, освещенную пламенем печей. Видел он парторга и в лаборатории, и возле заводского магазина, когда там собиралась толпа и Кореньков, размахивая руками, объяснял что-то столпившимся у прилавка женщинам, устанавливал очередь... <...> {247} И в эту ночь Кореньков не уходил из цеха.

Сверху цех выглядел как-то по-особому интересно: чеканно ясно выступали ребра огромных огнедышащих вулканов-печей, разливочный ковш, полный металла, представлялся поверхностью солнца в языках атомных взрывов, в яркой гриве подвижных протуберанцев и искр, солнцем, на которое человеческие глаза впервые смотрели не снизу, а сверху вниз. <...> {248}

После проверки, сборки схемы трансформаторного устройства, включений и переключений, оказавшихся правильными, Кореньков предложил Штруму спуститься вниз.

— А вы? — спросил Штрум.

— А я хочу посмотреть проводку на крыше, полезу вместе с монтером,— сказал Кореньков и указал на железную лестницу, штопором ввинчивающуюся в крышу цеха.

— И я с вами полезу,— предложил Штрум.

С высокой крыши был виден не только завод, но и рабочий поселок, окрестности.

В ночном мраке зарево над заводом было красно-розовым, а тысячи фонарей мерцали, и казалось, ветер то задувал электрический свет, то, наоборот, заставлял его разгораться.

Этот изменчивый свет касался воды в пруду, соснового леса, облаков, и вся природа была словно охвачена тем напряжением и тревогой, которые внесли люди в спокойное царство ночной воды, неба, деревьев.

Не только свет, но и пронзительные гудки паровозов, свист пара, грохот металла вторгались в ночную тишину природы.

И это острое ощущение связывалось с другим, противоположным, испытанным Штрумом в вечер приезда в Москву, когда, казалось ему, тихие сумерки, рожденные над равнинами, засыпающими лесами и сельскими водами, опускались над затемненными улицами и площадями мирового города.

Кореньков сказал Штруму:

— Вы подождите здесь, а я помогу монтеру закрепить конец, контакт плохой.

Штрум держал на весу провод, а Кореньков размахивал рукой, издали объяснял ему:

— На меня, на меня!

И так как Штрум, не расслышав, стал тянуть провод к себе, Кореньков сердито закричал ему:

— Ведь говорят, на меня, на меня давай!

Закончив работу, он вновь подполз к Штруму и, улыбнувшись, сказал:

— Шум сильный, вам не слышно было, что я кричал. Давайте, пошли вниз спускаться.

Штрум спросил Коренькова о возможности провести опытную плавку. Кореньков сказал, что сделать это нелегко, и стал спрашивать, для каких целей нужен новый сорт стали. Штрум

коротко рассказал ему о своей работе, назвал технические условия, которым должна удовлетворять сталь, идущая для конструирования задуманного им аппарата.

Штрум прошел в заводскую лабораторию, оттуда в цеховую контору. То был сравнительно тихий час перед сдачей смены.

Молодой сталевар, работу которого Штрум несколько раз наблюдал в цехе, сидел у стола, записывая что-то в толстую конторскую книгу, поглядывая на запачканный листок бумаги.

Когда Штрум вошел в контору, он отодвинул на край стола свои брезентовые рукавицы и продолжал писать.

Штрум уселся на деревянный диванчик.

Сталевар, кончив писать, начал свертывать папиросу.

Штрум спросил:

— Как сегодня работали?

— Ничего, нормально,— ответил сталевар.

В это время вошел Кореньков.

— А, Громов, здорово,— сказал он сталевару,— покурить зашел?

Он заглянул в книгу на запись, сделанную Громовым, и проговорил:

— Ох ты, Громов.

— Да, можно покурить,— сказал Громов,— танка два или три лишних на фронт пойдут.

— Вряд ли они лишние,— Кореньков рассмеялся.

Завязался разговор. Громов стал рассказывать Штруму, как он впервые приехал на Урал.

— Я ведь не здешний, в Донбассе родился. Приехал сюда за год до войны. Мне показалось все не так! Жалел, что приехал. Ужас прямо! Писал письма в Макеевку, в Енакиево — все просил, чтобы меня обратно в Донбасс вызвали. И знаете, товарищ профессор, когда я Урал этот полюбил? Когда по настоящему горя хлебнул тут. Приехал до войны ведь, условия сносные были, комната, снабжение в общем не плохое. Словом, условия были. А я ни в какую — смотреть ни на что не могу. Тянет меня обратно в Донбасс, и только! А вот пережил со всем своим семейством осень и зиму в сорок первом году, наголодался, наголодался и привык как-то к этим местам.

Кореньков поглядел на Штрума и сказал:

— И я за зиму сорок первого года много пережил. Брата на фронте убили, мать с отцом на оккупированной территории остались. Жена заболела. А тут такая беда — кругом эвакуированных полно. Холод. С питанием плохо. А стройка день и ночь идет, новые цехи ставят, оборудование с Украины привезли, на улице лежит. И люди в землянках. А меня мысли все одолевают: как мои старики в Орле, что с ними? То думаю, живы, увидимся, то вдруг как ножом по сердцу — куда! Их на свете нет, разве такие старики переживут такое, отцу в этом году семьдесят, а мать на два года моложе. Еще я уезжал, время мирное, а она уж сердцем болела. И ноги у нее от сердца опухать стали. Вот какое дело. Горюешь, печалишься, а все время на ходу, присесть некогда. <...> {249}

Штрум слушал молча. В глазах его было выражение тоски и боли, выражение такое явное,

что Кореньков вдруг сказал:

— Да что вам рассказывать, и вам, верно, пришлось пережить за этот год.

— Пришлось, товарищ Кореньков,— ответил Штрум,— да и приходится.

— Вот только у меня пока обошлось,— сказал Громов,— все родные мои тут, все живы, все здоровы.

Кореньков проговорил:

— Вы мне обязательно, товарищ Штрум, свой адрес оставьте. Я вам писать буду насчет этой опытной плавки. Дайте мне самые подробные технические условия. Мы проведем, директор и Крымов возражать не будут, думаю, наоборот. А я уж на себя это дело возьму. Так вы и запишите, как на технических совещаниях записывают: «Ответственный Кореньков».

— Вот какой вы,— сказал растроганный Штрум.— Я вам рассказал, думал, вы тут же забыли.
<...> {250}

— Да уж он забудет,— усмехнулся Громов и не то одобрительно, не то неодобрительно покачал головой.

В утреннюю смену были проведены испытания контрольной аппаратуры — они дали хорошие результаты. В 11 часов ночи испытания были вновь повторены, к этому времени удалось устранить все замеченные при первом испытании небольшие дефекты. Через день аппаратура была введена в нормальную эксплуатацию.

Штрум остановился у главного инженера завода Семёна Григорьевича Крымова, но виделись они мало. Крымов приезжал домой глубокой ночью, а при встречах они больше всего говорили о деле. Писем с фронта от старшего брата Семён Григорьевич не получал и беспокоился о нем.

Ольге Сергеевне, жене инженера Крымова, худенькой, миловидной женщине с большими глазами и бледным лицом, Штрум доставлял много огорчений. Она старалась повкуснее его кормить, а он почти ничего не ел, был рассеян и неразговорчив, и она решила, что профессор — человек сухой, узкий, всецело поглощенный своей работой.

Однажды ночью, проходя мимо комнаты, в которой спал Штрум, она на мгновение задержала шаги, ей послышался негромкий плач. Ольга Сергеевна растерялась, решила разбудить мужа, пошла к себе в комнату, потом, поколебавшись, захотела проверить, не показалось ли ей это: уж очень не вязалось с ее представлением о Штруме всхлипывание, услышанное ею среди ночи. Она вновь подошла к комнате Штрума и прислушалась — все было тихо. Ольга Сергеевна подумала, что, видно, ей это померещилось, и пошла к себе. Но ей не померещилось — была на свете сила еще большая, чем сила завода.

Штрум вернулся в Казань в конце августа. Самолет поднялся с аэродрома утром, и штурман сказал, усмехаясь: «Прощай, Челябинск»,— и зашел в кабину к пилоту, а в два часа дня штурман вышел из кабины пилота и вновь усмехнулся, сказал: «Вот и Казань»,— и все это произошло так быстро и просто, словно штурман, как уверенный фокусник, в один рукав вложил Челябинск, а из другого вынул Казань. Штрум из квадратного окошечка увидел город. Глаз одновременно охватил всю Казань: теснину многоэтажных, красных и желтых домов в центре, пестроту крыш, главные улицы и окраинные деревянные домики, людей, автомашины, огороды с пожелтевшей листвой, бегущих коз, вспугнутых ревом моторов низко над землей идущего самолета, вокзал, серебряные жилки подъездных железнодорожных путей, путаную сеть грунтовых дорог, уходящих от города в плоские равнины и туманные леса... И оттого, что глаза видели город одновременно весь — пестроту его и

ограниченность, — он показался скучным, разгаданным, и Штрум подумал: «Странно, что в этом нагромождении камня и железа живут самые дорогие для меня существа на свете».

Они встретились с женой в передней. В полутьме лицо ее казалось бледным и помолодевшим. Несколько мгновений они молча смотрели друг на друга. Печаль и радость этой встречи смешались, и одно лишь молчание, а не слова, могло выразить, что испытывали они.

Им нужно было видеть друг друга не ради счастья, не для того, чтобы утешить, и не для того, чтобы утешаться. И, глядя в это короткое мгновение на лицо жены, Штрум почувствовал все, что должен чувствовать человек, который умеет любить, может ошибиться и согрешить, может забыть обо всем ради сильного, горестного чувства, потрясшего его душу, и одновременно продолжать свою повседневную жизнь.

Все, что происходило в его жизни, касалось Людмилы — и горе, и успех, и забытый дома носовой платок, и неудачная реплика во время научной дискуссии, и отсутствие аппетита за обедом, и его размолвки с друзьями...

Вся жизнь его звучала как-то особо и значительно именно потому, что даже самые малые события ее, коснувшись Людмилы, как бы теряя ному, начинали звучать и значить.

Потом они вошли в комнату, и Людмила Николаевна стала рассказывать о сталинградских родных: Александра Владимировна и Женя приехали в Куйбышев, от Жени вчера было письмо, она задержится в Куйбышеве, а мать поедет парохомом в Казань, возможно, через два-три дня придет. Вера осталась с отцом в Сталинграде, и с ними нет никакой связи, письма туда не идут. Потом она сказала:

— Толя пишет довольно регулярно, вчера получила письмо от двадцать первого августа, находится там же, ест арбузы, здоров, скучает... А Надя сегодня или завтра должна вернуться из колхоза, видишь, я оказалась права, она очень довольна, окрепла, хорошо работала... Да, вот еще Женя пишет, от Серёжи ни слова, как в воду канул...

Штрум спросил:

— Соколова ты давно видела?

— Позавчера заходил, он был поражен, узнав, что ты в Челябинске.

— Неприятности?

— Нет, все, говорит, хорошо. Просто соскучился по тебе. Постоев заходил на днях, смеялся над твоей приверженностью к дому, рассказывал, что ты в Москве не хотел и дня прожить в гостинице, как же ты питался — все время всухомятку?

Он пожал плечами:

— Вот видишь, не погиб.

— Ты расскажи мне о Челябинске, как там, интересно тебе было?

Штрум стал рассказывать. И за все время разговора ни он, ни она не заговорили о Марии Николаевне и Анне Семёновне, но думали о них, о чем бы ни шел разговор, и каждый знал и чувствовал это.

И только поздно ночью, когда Штрум, вернувшись из института, подошел к жене, она сказала:

— Витенька, нету Маруси... и твое письмо об Анне Семёновне я получила.

Он ответил ей:

— Да, надежды нет у меня больше. И почти одновременно узнал о Марусе.

— Знаешь мой характер, не хотела распускаться, а вчера перебирала вещи, нашла в чемодане деревянную коробочку, которую Маруся мне подарила, когда я в четвертый класс перешла, а ей лет девять было. В ту пору мы все выжиганием увлекались, она выжгла листья кленовые и надпись: «Люде от Маши». И меня как ножом полоснуло по сердцу, ревела всю ночь.

Тяжесть, неотступно давившая на сердце Штрума, стала, казалось, еще больше после возвращения в Казань. Мысль о матери возникала постоянно, вне всякой связи с тем, что он делал в это время.

Садясь в самолет, летевший в Челябинск, он подумал: «Ее уже нет, нет, вот лечу на восток, я буду дальше от того места, где она лежит». Возвращаясь из Челябинска и подлетая к Казани, он подумал: «А она уже никогда не узнает о том, что мы в Казани». Когда он увидел жену, то и в эту минуту радости и волнения возникла мысль: «Людмилу я видел в последний раз, когда считал, что после войны увижусь с матерью».

Мысль о матери, словно прочная, корневая нить, выросла, включилась во все большие и малые события его жизни. Вероятно, так было и раньше, но раньше эта корневая нить, питавшая с детских лет его душу, была прозрачна, эластична, податлива, и он не замечал ее, а теперь он видел и ощущал ее постоянно, днем и ночью.

Теперь, когда не он впитывал в себя то, что давала ему материнская любовь, а отдавал все это в тоске и смятении, когда его душа уже не всасывала соль и влагу жизни, а отдавала их солью и влагой слез, он испытывал постоянную, непроходившую боль.

Когда он перечитывал последнее письмо матери, когда между спокойными, сдержанными строками этого письма он угадывал ужас обреченных уничтожению беспомощных людей, согнанных за колючую проволоку гетто, когда его воображение дорисовывало картину последних минут жизни Анны Семёновны в день массовой казни, о которой она догадывалась по рассказам людей, чудом уцелевших в окрестных местечках, когда он с безжалостным упорством заставлял себя мерить страдание матери, стоящей в толпе женщин и детей над ямой перед дулом эсэсовского автомата,— ужасное по своей силе чувство охватывало его. Но невозможно было изменить то, что произошло и навек забетонировано смертью.

У него не было потребности рассказать о том, что он чувствует, жене, дочери, друзьям, он ни с кем не хотел делиться тем, что переживал.

В своем письме мать не вспоминала ни о Людмиле, ни о Наде и Толе, оно было все обращено к сыну, и только в одном месте была фраза: «Сегодня ночью видела во сне Сашеньку Шапошникову».

Штруму не хотелось показывать это письмо никому из близких. По несколько раз на день проводил он ладонью по груди, по тому месту, где лежало письмо в боковом кармане пиджака. Однажды, охваченный приступом нестерпимой душевной боли, он подумал: «Если б спрятать его подальше, я постепенно успокоился бы, оно в моей жизни как раскрытая и незасыпанная могила».

Но он знал, что скорей уничтожит самого себя, чем расстанется с письмом, чудом нашедшим его.

Штрум перечел письмо много раз. Каждый раз при чтении он испытывал чувство первопознания, которое испытывал в тот вечер на даче.

Может быть, его память инстинктивно сопротивлялась, не хотела и не могла включить в себя то, что своим постоянным наличием сделало бы жизнь невыносимой.

Казалось, все вокруг было таким же, как прежде, как и до отъезда его,— и почему-то все изменилось.

Так тяжело больной человек, перенося на ногах свою болезнь, продолжает работать, разговаривать с людьми, есть, пить, даже шутить и смеяться, но все вокруг кажется ему иным — и работа, и лица людей, и вкус хлеба, и запах табака, и тепло солнца.

И люди вокруг тоже замечают и чувствуют, что этот человек как-то по-иному работает, разговаривает, спорит, смеется, курит, словно он отдален от них легким и холодным туманом.

Как-то Людмила спросила у него:

— Ты о чем задумываешься, когда разговариваешь со мной?

— Да ни о чем, думаю о том, о чем говорю.

И в институте, когда он рассказывал Соколову о своих московских успехах, о неожиданных перспективах расширения работы, о деловых встречах с Пименовым, о беседах в отделе науки и об удивительной быстроте, с которой тут же осуществлялись все его предложения, Штрума не оставляло чувство, будто кто-то усталыми и грустными глазами смотрит на него и, слушая, покачивает головой.

И когда Штрум вспоминал о своей московской жизни, о красивой Нине, сердце его не начинало биться сильнее и ему казалось, что все то было не с ним, а с кем-то другим и что все это не интересно... Нужно ли писать ей, думать о ней? * * *

Александра Владимировна приехала в Казань вечером. О приезде своем она не предупредила, дверь ей открыла Надя, вернувшаяся накануне из колхоза.

Увидев бабушку в мужском черном пальто с маленьким узелком в руке, Надя бросилась к ней на шею.

— Мама, мама, бабушка приехала! — громко звала она и, целуя Александру Владимировну, скороговоркой спрашивала: — Как ты себя чувствуешь? Здорова? Где же Серёжа, где тетя Женя, а как же Вера?

Людмила Николаевна поспешно вышла навстречу матери, молча, так как от волнения у нее перехватило дыхание, стала целовать ей руки, щеки, глаза.

Александра Владимировна, сняв пальто, вошла в комнату, поправила волосы и, оглянувшись, сказала:

— Ну вот, приехала, принимайте гостью... а Виктор где?

— В институте, он сегодня поздно вернется,— ответила Надя.— Нашей бабушки Анны Семёновны уже, наверно, нет, немцы убили, папа получил письмо.

— Аню? — вскрикнула Александра Владимировна.

Людмила, увидев, как побледнело лицо матери, произнесла:

— Надя, что ты вдруг, как обухом.

Александра Владимировна некоторое время молча стояла у стола, потом стала ходить по

комнате и остановилась перед маленьким столиком, сняла деревянную коробочку и стала рассматривать ее.

— Я помню эту коробочку, Маруся тебе подарила ее,— сказала она.

— Да, Маруся,— ответила Людмила.

Некоторое время мать и дочь, одинаково нахмутив брови и сжав губы, смотрели друг на друга.

— Вот как пришлось нам встретиться, Люда,— сказала Александра Владимировна.— Вот и Марусю потеряла, вот и Аню Штрум, а сама все живу. Но раз жива, то надо жить.

Она повернулась к Наде и вдруг спросила:

— Ты в каком классе, колхозница?

— Перешла в десятый,— плача, ответила Надя.

— Мама, ты как хочешь, раньше чаю попить или помыться, горячая вода есть.

— Помоюсь, а потом уж будем чай пить.— Александра Владимировна развела руками и добавила: — Яко наг, яко благ {251}. Ты мне дай белье, платье, полотенце и мыло — у меня все сгорело.

— Все, все, мамочка, есть, все будет. Почему Женя не приехала, ведь и она в чем была из огня вышла?

— Женя поступила на работу. После этих страшных дней она сказала мне: «Пойду работать, как Маруся советовала». Встретила в Куйбышеве знакомого, он ее устроил в военно-конструкторское бюро старшим чертежником, она ведь прекрасно чертит. Знаешь Женю. Все запоем делает — начала работать, так уж по восемнадцать часов в сутки. Да и я не буду у вас на хлебах, завтра же начну устраиваться на работу. У Виктора есть связь с заводами?

— После, после,— сказала Людмила Николаевна, вынимая из чемодана белье,— тебе надо отдохнуть, оправиться после потрясения.

— Пойдем, покажи, где помыться мне,— сказала Александра Владимировна.— Надя как загорела, выросла и удивительно на Аню стала похожа, у меня есть фотография, снята, когда Ане было восемнадцать лет. И глаза, и рот, и общее выражение.

Она обняла Надю за плечи, и все пошли на кухню, где на плите стоял бак с горячей водой.

— Какая роскошь, море кипятку, на пароходе чашечка кипяточку — это целое событие было,— проговорила Александра Владимировна.

Пока Александра Владимировна мылась, Людмила готовила ужин. Она накрыла стол скатертью, той, что клалась лишь несколько раз в год — на праздники и в день рождения детей. Она вынула все запасы свои, поставила на стол пироги, испеченные из детской муки к приезду мужа и дочери, отсыпала половину конфет, спрятанных для сына.

Потом она принесла из передней сверток Александры Владимировны и развернула его. Как-то по-особому трогательно рядом с убраным столом выглядел этот узелок, привезенный матерью: надломленная половина кирпичика солдатского хлеба, побелевшего от черствости, словно тронутого сединой, соль в спичечной коробке, три вареные картофелины «в мундире», вялая луковка, детская простынка, видимо служившая матери в дороге

полотенцем.

В истертую на сгибах газету был завернут пакет старых писем. Людмила быстро перебрала их и, не читая, узнавала на пожелтевших от времени страницах детский почерк сестер, косой, мелкий почерк покойного отца, увидела страничку из Толиной тетрадки, исписанную прямыми ровными буквами, два письма от Нади, открытку, писанную рукой свекрови. Среди писем лежали фотографии близких, и странно, больно и тревожно стало ей при взгляде на родные лица. Все они: и ушедшие из жизни, и живые, разбросанные судьбой по великой суровой земле,— здесь были собраны вместе.

Людмила с какой-то особой, никогда не испытанной силой почувствовала нежность и благодарность к матери, заботливо вынесшей из сталинградского огня эти старые письма и фотографии, к матери, бережно и навечно объединившей в своей душе всех близких, память об ушедших, тревогу о живущих.

Любовь матери была так же драгоценна, проста и нужна, как этот кусок солдатского хлеба, лежащий в раскрытом узелке.

Александра Владимировна вышла из кухни. В домашнем платье дочери, оказавшемся для нее слишком просторным, она выглядела особенно худой. Ее порозовевшее, с капельками пота лицо казалось помолодевшим и одновременно приобрело выражение грусти и усталости.

Она оглядела накрытый дочерью стол и проговорила:

— Вот и попала с корабля на бал.

Людмила обняла мать и подвела ее к столу.

— Ты на сколько старше Маруси? — спросила мать и сама ответила: — На три года и шесть месяцев.

Садясь за стол, Александра Владимировна сказала:

— Кажется, вчера это было: на мой день рождения Женя затеяла пироги печь, сели за стол — Маруся, Женя, Серёжа, Толя, Вера, Степан, друзья наши, Андреев, Соня Левинтон, тесно было за столом, а сегодня... и дом сгорел, и стол, за которым мы сидим, сгорел. Вот и все мы: Надя, ты да я... Маруси нет, не верю! — громко произнесла она.

Они долго молчали.

— Папа скоро придет,— сказала Надя, которой невыносимо стало молчание.

— Ах, Аня, Аня,— тихо проговорила Александра Владимировна,— одна жила, одна умерла.

— Мама, ты не представляешь даже, какое это счастье — тебя видеть,— сказала Людмила Николаевна.

После чая Людмила уговорила мать лечь в постель, села возле нее, и они разговаривали вполголоса до двенадцати часов.

Виктор Павлович вернулся из института во втором часу ночи, когда все спали.

Он подошел к постели Александры Владимировны и долго смотрел на ее седую голову, прислушивался к негромкому мерному дыханию. Ему вспомнилась фраза из письма матери: «Видела сегодня во сне Сашеньку Шапошникову».

Лицо Александры Владимировны поморщилось, углы рта дрогнули, но спящая не застонала, не заплакала, а едва заметно улыбнулась.

Виктор Павлович тихо прошел к себе в комнату и начал раздеваться. Ему казалось, что встреча с матерью Людмилы будет для него очень тяжела, что, увидев старую подругу матери, он ощутит новый приступ боли и тоски. Но оказалось не так — умиленное чувство охватило его. Так после невыносимо мучительного, сухого мороза, сковавшего своей железной жестокостью землю, стволы деревьев и даже самое [35] солнце, тускло багровеющее в ледяном воздушном тумане, вдруг дохнет прелесть жизни, и чуть влажный, кажущийся теплым снег тихо коснется земли, и кажется, что и в январской тьме вся природа охвачена предчувствием весеннего чуда.

Наутро Виктор Павлович долго разговаривал с Александрой Владимировной; она была полна беспокойства о своих друзьях и знакомых, судьба которых ей не была известна.

Александра Владимировна стала подробно рассказывать о пожаре, о налете немецких бомбардировщиков, о бедствии, постигшем десятки тысяч людей, оставшихся без крова, о погибших, о своих разговорах с рабочими, с красноармейцами на переправе, о раненых детях, о том, как она и Женя шли пешком по заволжской степи вместе с двумя женщинами-работницами, которые несли на руках грудных детей; какие звездные ночи, рассветы, закаты видела она в степи и как горько и трудно, но в то же время мужественно переживает народ бедствия войны, сколько веры в торжество правого дела видела она в людях в эти дни.

— Вы не будете сердиться, если к вам вдруг приедет Тамара Березкина, я дала ей ваш адрес? — спросила Александра Владимировна.

— Это ваш дом, вы здесь хозяйка, — ответил Штрум.

Он видел, что гибель дочери, потрясая все ее существо, не вызывала в ней душевной подавленности и слабости. Она была полна сурового и воинственного человеколюбия, все время тревожилась о судьбе Серёжи, Толи, Веры, Степана Фёдоровича, Жени и многих людей, которых Штрум не знал. Она попросила Виктора Павловича узнать адреса и номера телефонов предприятий, где бы она могла устроиться на работу.

Когда он сказал, что лучше бы ей успокоиться, отдохнуть некоторое время, она ответила:

— Что вы, Витя, разве можно отдохнуть от всего пережитого мною? Я уверена, что ваша мама работала до последнего дня.

Потом она начала расспрашивать о том, как идет его работа, и он оживился, увлекся, стал рассказывать.

Надя ушла в школу. Людмила пошла по делам: ее утром просил прийти комиссар госпиталя, а Штрум все сидел с Александрой Владимировной.

— Я пойду в институт после двух, когда Людмила вернется, не хочется вас одну оставлять, — сказал он. Но ему самому не хотелось уходить.

Поздно вечером Штрум остался один в своей лаборатории, ему нужно было проверить фотозапись на одной из чувствительных пластинок.

Он включил ток индуктора, и голубоватый свет вакуум-разряда, мерцая, пробежал по толстостенной трубке. В этом неясном, похожем на голубой ветер свете все привычное и знакомое казалось охваченным волнением и живым трепетом: и мрамор распределительных досок, и медь рубильников, и тусклые наплывы кварцевого стекла, и темные свинцовые

листы фотозкранов, и белый никель станин.

И Штруму внезапно показалось, что и он сам весь изнутри освещен этим светом, словно в мозг его и в грудь вошел жесткий, сияющий пучок всепроникающих лучей.

Какое волнение, какое предчувствие! О, то не было ожидание счастья, то было чувство еще большее, чем счастье, чувство жизни.

[Все, казалось, слилось: и мечты детских лет, и его труд, и жгущая день и ночь тоска, и ненависть к темным силам, вторгшимся в жизнь, и рассказы Александры Владимировны о беде, бушевавшей на Волге, и горестные, молящие о помощи глаза колхозницы на вокзале в Казани, и его вера в счастливое и свободное будущее своей родины.

Он почувствовал, что в этот трудный час народной жизни, в этот трудный час своего сердца он не бессилен, не покорен судьбе.

Он чувствовал и понимал, что силы для жизни труда недостаточно черпать в одном лишь упорстве и целеустремленности исследователя.] {252}

И видение свободного счастливого человека — разумного и доброго властителя самой могучей энергии, хозяина земли и неба — на миг мелькнуло перед ним в голубоватом, похожем на порыв ветра свете катодной лампы.

47

Шахтер-проходчик Иван Павлович Новиков шел с ночной смены домой.

Семейные бараки, где Новиков получил квартиру, находились в полутора километрах от рудника. Дорога от шахты проходила по топкому месту, его загатили. Под тяжелыми сапогами вздыхала земля, и кое-где темная, болотная жижа выступала между белыми поваленными березками.

Осеннее солнце пятнало землю, побуревшую траву, березовые и осиновые листья светились и улыбались утру, и вдруг, хотя в воздухе не было ветра, пестрая, яркая листва то на одном, то на другом дереве начинала трепетать, и казалось, что это тысячи тысяч бабочек-лимонок, красных крапивниц, адмиралов, махаонов, трепеща крыльями, вдруг вспорхнут и заполнят своей невесомой красотой прозрачный воздух. В тени, под деревьями, краснели зонтики мухоморов, среди пышного, влажного мха, словно рубины на зеленом бархате, рдели ягоды брусники.

Странной казалась эта лесная утренняя прелесть, которая и десять, и сто, и тысячу лет назад создавалась из тех же красок, из тех же сырых, милых запахов, соединенная теперь с гудением завода, с белыми облаками пара, вырывавшимися из надшахтного здания, с желто-зеленым густым дымом, стоявшим над коксовыми печами.

На лице Ивана Павловича лежал несмываемый след подземной работы, и от этого лицо казалось суровым и угрюмым: с насупленными бровями, с темными, густо подчеркнутыми сланцевой пылью ресницами, с морщинками в углах рта, прочерченными въевшимися в кожу осколками каменного угля. И только с его светло-голубыми, приветливо и радушно глядевшими на мир глазами ничего не могла поделать тьма подземной работы, угольная пыль и пыль силикатных пород.

Когда-то мальчишкой он работал помощником конюха в подземной конюшне, потом заправлял бензинки в ламповой, потом таскал санки по низким и жарким ходкам шахты, разрабатывавшей пласты малой мощности, потом работал коногоном на коренной продольной, гнал к стволу поезда вагонеток, груженных коксующимся, жирным углем; года

два работал он на поверхности, в копровом цехе юзовского завода, рвал динамитом ржавое железо и чугун, шедшие на загрузку мартеновских печей. Из копрового цеха пошел он в цех мелкосортного проката, стоял у стана, похожий на древнего витязя — в кольчуге и металлическом забрале.

Но еще задолго до войны он окончательно вернулся на подземную работу. Стал он бригадиром по проходке новых шахтных стволов, новых штолен, бремсбергов, квершлагов {253}, околоствольных выработок — насосных, бункерных камер, работал и по палению шпуров {254} и по глубокому бурению.

Младший брат его к началу войны окончил военную академию. Многие сверстники его вышли в большие люди: один, Смиряев, мальчишкой, лет восемнадцать назад на шахте 10-бис вместе с ним колбасивший вагонетки, стал даже заместителем министра, другой вышел в директора рудоуправления, третий стал заведовать пищевым комбинатом в Ростове-на-Дону. Лучший друг детской поры Степка Ветлугин выдвинулся по профсоюзной линии и сделался членом ЦК профсоюза горняков, жил в Москве; Четверников, работавший в смену с Иваном Павловичем, закончил заочно металлургический институт и теперь где-то не то в Томске, не то в Новосибирске.

Многие ребята, которые учились у Новикова, говорили ему «дядя Иван», тоже пошли по широким и просторным дорогам: один был депутатом Верховного Совета, другой работал в ЦК комсомола и как-то приезжал навестить Ивана Павловича на легковой зисовской машине... Всех не упомнишь и всех не перечислишь. Но вот если вспомнить встречи, которые были у Ивана Новикова с братом, со сверстниками и однокашниками, ушедшими из цехов и забоев на высокое выдвижение, ни разу и никто не помыслил сказать Новикову: «Эх, брат, что ж это ты, все в забое да в забое». И ведь у самого Ивана Павловича всю жизнь было не покидавшее его ощущение удачливости, силы, жизненного успеха...

При мыслях о брате и товарищах у Ивана Павловича возникало какое-то дружелюбное и в то же время чуть-чуть снисходительное отношение к ним. Он всегда и неизменно ощущал свой труд как самое главное и основное дело в жизни. И он уже привык к тому, что, рассказывая о своей жизни и работе, брат ли, старый ли товарищ, живший теперь в Москве, поглядывали на него, ища одобрения и совета...

Иван Павлович стал подниматься по косогору и, чтобы сократить путь к дому, пошел тропинкой, срезавшей угол между двумя витками дороги, поднялся на вершину холма, остановился на мгновение передохнуть после крутого подъема.

С высоты хорошо видна была окрестность, и Новиков стоял, глубоко и шумно дыша, оглядываясь на лежавшие в далекой котловине заводские цехи, на рудничные постройки, отвалы породы, на поблескивавшие рельсы ширококолейной железнодорожной ветки, подходившей к заводу и к шахте. [Он невольно залюбовался жемчужным дымом над коксовыми печами, клубами пара, которые, подобно откормленным белогрудым гусям, тяжелой стаей взвивались в небо в лучах утреннего солнца...] {255} Могучий товарный паровоз, зеркально сверкая на солнце своей выпуклой грудью, неторопливо подавал негромкие сигналы, маневрировал на подъездных путях, и Иван Павлович с внезапной завистливой тревогой поглядел на машиниста, сердито машущего стрелочнику.

«Вот бы на таком Илье Муромце поработать», — подумал он и представил себе на миг огромный товарный состав, груженный пушками, танками, боеприпасами... Ночь, ливень, а Иван Павлович ведет состав со скоростью семьдесят километров в час, дождь сечет по ветровому стеклу, а паровоз режет воздух, и вся широкая степь дрожит от его могучего хода.

В Иване Павловиче жила жадность к работе, и он знал в себе эту черту, не ослабевавшее с годами любопытство к труду самых различных рабочих профессий. То представлялось ему

интересным поехать в Восточную Сибирь, поработать на золотых приисках, то прикидывал он, как бы попробовать свою силу на медеплавильных печах, то представлял он себя механиком на морском пароходе.

Ему хотелось поглядеть, как живут и работают люди на всей земле. Но он не мог представить себя живущим без работы, праздно путешествующим, праздно разглядывающим города, леса, поля, заводы. И должно быть, поэтому мечта о странствовании всегда соединялась в его душе с мечтой о работе машиниста, пароходного механика, бортмеханика на самолете. Да это и не было одной лишь мечтой: ему много удалось повидать в жизни. Повезло прежде всего в том отношении, что жена его, Инна Васильевна, была очень легким на подъем человеком, ей ничего не стоило сняться с насиженного места и поехать с мужем в далекие места. Правда, всегда через год-два их тянуло на родину, и они возвращались в Донбасс, в свой поселок, на свою шахту.

Побывали они на Шпицбергене, где Иван Павлович, завербовавшись на два года, работал в угольной шахте, а Инна Васильевна учила ребят советской колонии русскому языку и арифметике. Прожили они пятнадцать месяцев в пустыне Каракумы, где Иван Павлович работал по проходке серных рудников, а Инна Васильевна преподавала в школе для взрослых. Поработали они и в горах Тянь-Шаня на свинцовом комбинате, где Иван Павлович работал по бурению, а жена его заведовала школой ликбеза.

Правда, перед войной о путешествиях они перестали думать: родилась у них дочка, болезненная, слабенькая девочка. И, как часто бывает у супругов, которые долго не имели детей, они с какой-то особой, почти болезненной любовью относились к ребенку, боялись за его здоровье.

Иван Павлович поглядел на поселок, лежавший по восточному склону холма, и к сердцу его прилило тепло: он представил себе Машу, с легонькими, светлыми волосиками, с бледным белым личиком... Он войдет в дом, и она побежит в трусиках ему навстречу, незагоревшая, чуть-чуть даже голубенькая, закричит:

— Папа пришел!

Кто поймет его чувство! Он берет ее на руки, проводит ладонью по мягким, теплым волосам, осторожно понесет в дом. А она, болтая босыми ногами, оттолкнется кулачками от него, оглядит его лицо, склонит набок голову, захохочет. И почему он вдруг станет сам не свой... Эти ладошки, полные живого тепла, эти крошечные пальцы с ноготками, похожими на чешуйку у самого маленького карасика, как-то удивительно, как-то странно соединялись в душе его с силой ревущих доменных печей, со скрежетом и воем бурильного станка, с глухими выбухами [36] динамита, с красным, дымным огнем, вспыхивающим над коксовыми печами... Это теплое, чистое дыхание, эти ясные глаза каким-то странным образом соединялись в его душе с тревогой войны, с изможденными лицами эвакуированных женщин и стариков, с пожарами, горевшими в ту ночь, когда он с женой и дочерью грузился в эшелон, покидал родной поселок...

48

Он вошел в дом, когда Инна Васильевна, торопливо прибрал со стола, собиралась на работу — занятия в школе начинались через двадцать минут. Оглядев мужа быстрым, внимательным взглядом, укладывая в портфель детские тетради, которые она взяла накануне на проверку, а в сумку — бидончик и стеклянную банку, так как после занятий рассчитывала зайти в распределитель, она скороговоркой произнесла:

— Ваня, чайник горячий под подушкой, хлеб в тумбочке, хочешь кашу — кастрюля в сенях...

— А Маша где?

— Маша у соседей. Ей Доронина-старуха в обед суп разогреет. Я часам к пяти приду.

— Ох, а письма все нет,— вздохнул Новиков.

— Я уверена, что в ближайшие дни будет письмо от Петра,— сказала Инна Васильевна.

Она направилась к двери, но неожиданно повернулась, подошла к мужу, положила руки на его широкие плечи, и ее утомленное, тронутое морщинками лицо стало миловидно и молодо от нежной улыбки.

— Ванечка, спать ложись, такой работы и с твоей силой не выдержать,— тихо произнесла она.

— Ничего,— ответил он,— мне нужно в рудоуправление пойти. С Машей вместе сходим.

Она приложила его большую шершавую ладонь к щеке и рассмеялась.

— В чем дело, рабочий класс? — громко, с нарочитым задором спросила она.— Не забуришься? Ванька мой, Ванечка.

Он проводил жену до дверей и смотрел ей вслед: она шла по улице рядом с девочками-школьницами, размахивающими клеенчатыми портфелями, и тоже размахивала сумкой и портфелем. Издали, невысокая, с узкими плечами, быстро шагавшая, Инна Васильевна тоже походила на школьницу. И Иван Павлович вспомнил ее, какой знал долгие годы: девочкой с косичкой, сердито и бесстрашно спорившей с разбушевавшимся в получку отцом, соседом Новиковых по балагану; и студенткой педагогического техникума, читавшей Новикову вслух «Тараса Бульбу» возле ставка; и в снегах Шпицбергена, в меховых унтах и кухлянке, с пачкой тетрадей, прижатых к груди, при дивном свете северного сияния, смешавшегося с режущей ясностью рудничных фонарей; и читающей сводку Совинформбюро в товарном вагоне, в бесконечном, голодном эвакуационном пути на восток.

«Ох и повезло мне в жизни»,— подумал он.

А в это время за спиной его раздался чуть слышный шорох, точно мышонок метнулся, и ногу его обхватили руки дочери.

Он быстро нагнулся, подхватил ее на руки, и голова у него закружилась, то ли от радости встречи, то ли от напряжения ночной подземной работы.

Попив чаю, Новиков посадил Машу себе на плечи и, выйдя с ней на улицу, пошел в сторону рудоуправления.

Печать войны, военных лишений, тяжелого труда лежала не только на землянках, вырытых по склону холма, на длинных приземистых бараках, но и на домиках-коттеджах, в которых жили инженеры, мастера, ведущие стахановцы. Какое-то равенство между военным трудом и бытом красноармейцев на переднем фронтовом крае и жизнью их братьев и отцов в трудовом уральском тылу ощущалось с выпуклой ясностью.

Рабочий поселок возник в калящие зимние морозы 1941 года с той быстротой, с какой в одну ночь возникали среди таких же холмов и лесов в снегах и вьюгах блиндажи, землянки, окопы стрелковых дивизий и артиллерийских полков.

Провода, висевшие меж стволов деревьев, воздушные телефонные линии, тянувшиеся от домика директора, главного инженера, секретаря рудничного партийного комитета к надшахтным постройкам, к конторе, цехам, диспетчерской, напоминали линии полевых военных телефонов, связывающих командиров и начальников штабов дивизий с полками, батареями, тыловыми мастерскими, продовольственными складами. И многотиражка,

повешенная у входа в шахтный комитет, с короткими статейками и заметками о подземной работе, напоминала дивизионную газету, боевой листок, выпускаемый на фронте в дни жестоких оборонительных боев.

И так же, как дивизионная газета призывала новое пополнение изучать гранату, автомат, противотанковое ружье, листок, выпускаемый парткомом и шахткомом, торопил колхозников, домохозяек, пошедших на работу в шахту, постичь тонкости работы врубовок, бурильных молотков, легких ручных и тяжелых колонковых перфораторов, следить, не греется ли корпус электросверла, не гудит ли ненормально мотор, не бьет ли кабель, не выпадает ли при работе резец.

Много было сходства между этим поселком и фронтовой частью, вышедшей на линию огня. И должно быть, поэтому так трогательно милы были белоголовые и чернявые дети, игравшие возле землянок, среди осенних деревьев на взрытой земле, на отвалах породы, над песочным карьером... <...> {256}

Этот поселок был частью войны, и дети, матери с детьми на руках, старухи, развешивающие белье,— все говорило о том, что война народная, что рабочие участвуют в ней — и с ребятами, и со стариками.

Иван Павлович остановился возле вывешенной газеты.

— Вот, уже успели,— сказал он, прочитав, что старший проходчик Новиков перевыполнил сменное задание, что бригада его в составе проходчиков Котова и Девяткина и крепильщиков Викентьева и Латкова вышла из прорыва, догнала передовые бригады по всем показателям.

Он внимательно читал статейку, придерживая Машу за ноги, то и дело терпеливо говоря:

— Маша, Маша, что это ты? — так как девочка все норовила попасть носком ботинка по газетному листу.

Разок ей удалось это сделать, удар пришелся прямо по напечатанной крупным шрифтом фамилии отца.

В статейке все описывалось правильно, но все же о главном корреспондент не рассказал. А главное состояло в том, что очень уж трудно было наладить работу, что народ в бригаде подобрался на редкость тяжелый, неумелый, что Котов и Девяткин попали в шахту из трудового батальона {257} и хотели освободиться от подземной работы, перейти на поверхность, что Латков оказался бузотером, однажды пришел на работу выпивши. Вот Викентьев, тот был кадровым шахтером, понимал и любил подземную работу. Но и с Викентьевым было нелегко: характер у него оказался плохой, и он все придирался к откатчицам, впервые попавшим на работу в шахту. Одну эвакуированную из Харькова домашнюю хозяйку он довел до отчаяния, а делать этого никак не следовало: у нее муж, служивший экономистом в харьковском тресте, погиб на фронте, и она старалась работать как можно лучше.

Но, пожалуй, и сам Новиков не сумел бы рассказать, каким образом получилось, что не жадный до работы Девяткин, то и дело садившийся пожевать хлебца, и озорной Латков, и обрусевшая полька-откатчица Брагинская с грустными глазами стали вытягивать норму на тяжелой, а подчас и опасной работе. Само собой, что ли, это получилось? Или Новиков добился этого? Конечно, увеличили глубину шпуров с полутора до двух метров, наладили бесперебойную доставку к началу смены крепежного леса и порожняка, вентиляцию в общем наладили...

Он сердито оглянулся на проходивших мимо рабочих — что ж это народ не почитает газетку, неграмотные, что ли?

Когда Новиков подходил к бараку, где помещалась шахтная контора, ему повстречалась откатчица Брагинская, худая и длинноносая женщина.

— Чего ж не отдыхаете? — спросил Новиков.

Странно она выглядит на поверхности — в берете, в туфлях на высоких каблуках. А в шахте совсем по-обычному — в резиновых сапогах, в брезентовой куртке, повязанная платочком. Там казалось естественно крикнуть ей:

— Эй, тетя, давай сюда порожняк!

А сейчас, пожалуй, невозможно назвать ее на «ты».

— Ходила в амбулаторию сына записать на прием,— объяснила Брагинская,— замучилась я с ним, просила вчера у Язева записку, чтобы его в город взяли, в школьный интернат с трехразовым питанием, а он мне отказал. Вот и приходится на два фронта — на работе и дома.

Она помахала листком многотиражки:

— Читали?

— Читал, как же,— сказал Новиков,— зря вашу фамилию не напечатали.

— Зачем мое имя,— сказала она,— достаточно, что напечатали про бригаду, а впрочем, конечно, прочитав было б свое имя еще приятней.— Она смутилась от этого признания, погладила Машу по руке и спросила: — Дочка ваша?

Маша, обняв отца за шею, громко, с вызовом произнесла:

— Да, я его дочка, он подземный, никому его не отдам, никуда его не отпущу.— И, помолчав немного, увещевающе спросила: — Тетя, зачем вы сердитая? Что вас в газете не напечатали?

Брагинская пробормотала:

— А мой Казик отпустил своего папу, никогда он к нам не приедет.

— Дура ты, Машка,— сказал Новиков и добавил: — Хватит на мне верхом ездить, ходи своим ходом.

И он снял девочку с плеч и поставил ее на землю.

49

Новиков поглядел на три запыленные легковые машины, стоявшие у входа в контору, одна из них, «эмочка», принадлежала начальнику шахты, на второй, «ЗИС-101», ездил секретарь обкома, а третья, иностранной марки, кажется, принадлежала директору военного завода, расположенного у соседней железнодорожной станции.

— Зря пришел, хоть и вызывали, начальство собралось,— сказал Иван Павлович, обращаясь к шоферу шахтной машины, с которым был знаком.

— Чего зря, раз вызывали?

Новиков объяснил:

— Знаешь, если уж три машины собралось, значит, начальство заседание устроило. Увидят

друг друга — и заседать, уж без этого не могут. Сами не рады. Притяжение.

Знакомый шофер рассмеялся, девушка, сидевшая у руля заграничной машины, тоже улыбнулась, а водитель обкомовского «ЗИСа» неодобрительно нахмурился.

В это время из открытого окна конторы выглянул начальник шахты и сказал:

— А, Новиков, зайдите к нам сюда.

В коридоре, увешанном объявлениями, Новиков узнал от встретившегося ему начальника участка Рогова, что на шахту приехал уполномоченный ГОКО, провел техническое совещание.

— Он сейчас у начальника шахты,— сказал Рогов и, подмигнув Новикову, добавил: — Не робей, брат.

— Эх, куда же мне Машу девать,— растерянно оглянулся Новиков.— Я думал, на минутку меня вызывают, акт подписать.

А Маша ухватила крепко отца за руку и предупредила:

— Папа, ты меня не оставляй, я крик подниму.

— Чего кричать, посидишь с бабушкой-уборщицей, тетя Нюра, ты ж ее знаешь,— просительным шепотом сказал Новиков. Но в это время открылась дверь кабинета, и юная секретарша начальника шахты нетерпеливо и грубо сказала:

— Где же вы там, Новиков?

Иван Павлович подхватил на руки Машу, зашел в кабинет.

Начальник шахты Язев, красивый тридцатипятилетний человек с четко сомкнутыми губами, одетый в щегольскую гимнастерку, подпоясанную широким поблескивавшим кожаным поясом, ходил по кабинету, приятно поскрипывая хромовыми сапогами. У письменного стола сидели несколько человек. Один из сидевших, в поношенном генеральском кителе, был мужчиной богатырского роста, с широкими пухлыми плечами, со спутанными волосами, нависшими над широким лбом, с набрякшими под глазами мешками. Второй, сидевший в кресле начальника шахты, в очках, с тонкими губами и желтоватым бледным лицом не спящего по ночам человека, был одет в светло-серый летний пиджак и светло-голубую рубаху без галстука. Перед ним на столе лежали раскрытый портфель, пачки бумаг, широкие мятые полотна синей кальки. У стен на стульях сидели желтозубый, нахмуренный директор угольного треста Лапшин и секретарь шахтпарткома Моторин, сидящий, кареглазый, обычно подвижный и громкоголосый, сейчас лицо его казалось озабоченным и смущенным.

У окна стоял знакомый Новикову по областному совещанию, проходившему в мае месяце, секретарь обкома партии по промышленности — худощавый, высокий человек в черной куртке с отложным воротником.

— Вот, Георгий Андреевич, это и есть Новиков, проходчик,— сказал Язев, обращаясь к сидевшему за столом бледному человеку в очках.

Поморщившись, он вполголоса сказал:

— Зачем вы с ребенком явились? Ведь вызывал вас начальник шахты, а не заведующая яслями.

Он сделал ударение на втором «я» — ясля?ми, и слово от этого показалось каким-то

обидным и смешным.

— Да она, пожалуй, переросла для яслей,— сказал секретарь обкома по промышленности.— Тебе сколько лет, девочка?

Маша ничего не ответила; округлив глаза, загадочно смотрела в окно.

— Ей четвертый год,— сказал Новиков,— я думал, меня на минутку вызвали, подписать акт о неисправности в подводке сжатого воздуха... А что касается яслей, то ведь закрыты и ясли и детский сад, у них карантин.

— Вот оно что! — сказал очкастый.— А по какому поводу карантин?

— Несколько случаев кори было,— сказал Моторин и виновато покашлял.

А Новиков добавил:

— Уж девятый день закрыты.

— Вот оно что, уж девятый день,— сказал очкастый Георгий Андреевич, покачал головой и спросил: — А что это за неисправность с подачей сжатого воздуха? Зачем протоколы подписывать, не проще ли исправить то, что неисправно?

Поглядев на Новикова, он сказал:

— Садитесь, в ногах правды нет!

Новиков, чувствуя все нараставшее раздражение против Язева, проговорил:

— Как же садиться, хозяин не приглашает.

— Что ж хозяин... вы тоже хозяин.

Новиков поглядел на Язева, покачал головой и так недобро и умно усмехнулся, что все невольно рассмеялись.

Новиков не любил начальника шахты. Ему помнились первые часы приезда на проходку — жесткий морозный вечер, люди, выгрузившиеся из эшелона на пронзительно скрипящий снег, Инна с ребенком на руках, сидящая на узлах, закрытая с головой ватным одеялом, костры, разведенные в котловине у железнодорожного полотна, толпа, окружившая Язева, стоявшего возле легковой машины в белом полушубке, в высоких белых бурках... На недоуменные вопросы рабочих, успевших узнать, что бараки недооборудованы: «Где же печи в общежитиях, о которых сообщил в дороге Язев, как без транспорта ночью доставить детей за восемь километров», — он стал говорить о трудностях, о фронтовиках, о необходимости приносить жертвы, не считаться ни с какими лишениями. Не этому самодовольному, равнодушному человеку произносить такие слова. Как-то не ладилась она с его расшитыми елочкой варежками, с его красивыми, холодными, прищуренными глазами, с легковой машиной, в которой лежали аккуратные, завернутые в бумагу пухлые свертки.

Когда под утро с двумя тяжелыми узлами, перекинутыми через плечо, поддерживая жену, несущую на руках завернутую в одеяло девочку, Новиков подходил к недостроенным длинным баракам, мимо проехала груженная мебелью и домашней утварью трехтонка. Он сразу догадался, чья это мебель.

С тех пор с Язевым у него долгое время не было прямых столкновений, но чувство нелюбви к нему не проходило, и он собирал в памяти все подтверждавшее эту неприязнь: черствость его к людям, жалобы рабочих на то, что к начальнику не добиться, а если добьешься, все

равно толку не будет — откажет и еще нашумит, крикнет секретарше:

— Зачем по мелким бытовым вопросам ко мне пускаете, война, что ли, кончилась? Почему вы не приходите посоветоваться, как производительность труда повысить?

На производстве, известно, есть малый процент людей, которые любят без дела морочить начальников своими пустыми просьбами, а большинство уж если пойдет просить о чем-нибудь заведующего цехом или директора, то по самой уж крайней необходимости. И человек, понимающий рабочую жизнь, знает, как важны эти пустые с виду просьбы: дать записку в детсад, чтобы приняли ребенка, перевести из холостого общежития в семейное, разрешить пользоваться кипятком в котельной, помочь старухе матери перебраться из деревни в рабочий поселок, открепить от одного магазина и прикрепить к другому, который поближе от квартиры, разрешить не работать день, с тем чтобы отвезти жену в город на операцию, приказать коменданту дать угольный сарайчик. Кажутся эти просьбы действительно мелкими и нудными, а от них ведь зависит и здоровье, и спокойствие души, а значит, и производительность труда.

[Новиков, вглядываясь в красивое, спокойное лицо Язева, все побряхтывал: может быть, и толковый он начальник, а душа не лежала к нему.] {258}

И сейчас Новиков тихонько сказал Маше:

— Сядь с этой стороны,— и пересадил девочку таким образом, чтобы светлые, холодные глаза Язева не видели ее.

Уполномоченный ГОКО Георгий Андреевич проговорил:

— Товарищ Новиков, кое-какие вопросы к вам будут.

Генерал очень шумно вздохнул и произнес:

— Вопрос один — нужно возможно быстрее вскрыть новый пласт и пустить в эксплуатацию.

Он навалился грудью на стол и, глядя в упор на Новикова, произнес:

— Мы досрочно закончили строительство завода, определяющего выпуск бронепроката, выпуск танков. По плану уголь и кокс должны нам давать вы. А вы не даете. Ваш уголь нам нужен сегодня, а вы еще не ввели шахту в эксплуатацию. Опоздали.

Язев проговорил:

— Мы не отстали от плана, мы перевыполняем его. Шахта будет сдана в эксплуатацию в намеченный планом срок. Так ведь я говорю, Илья Максимович? — обратился он к директору треста Лапшину.— Я от вас план получил, я по плану работал, я план выполняю.

Лапшин утвердительно кивнул:

— Работы идут в рамках графика. Шахта план не сорвала,— и раздраженно сказал генералу: — Так ставить вопрос нельзя, товарищ Мешков! Есть объективная документация, утвержденная директивными органами. Как будто так, Иван Кузьмич?

И он вопросительно посмотрел на секретаря обкома по промышленности.

Секретарь обкома ответил:

— Так-то так, но вот получилось — от Мешкова отстали, ему кокс действительно сегодня нужен.

— Я прекрасно это понимаю,— сказал Лапшин,— кто же виноват, однако? То мы перевыполнили план, то, выходит, не выполнили.

— Кто виноват? — переспросил Мешков и тяжело поднялся во весь свой богатырский рост, развел руками и сказал: — Выходит, что Мешков виноват! Так, что ли? Кругом я виноват! А со мной вместе виноваты и землекопы, что рыли котлованы, и бетонщики, и каменщики, и монтажники, и наладчики, и штамповщики, и клепальщики, и сварщики — весь рабочий класс, так, что ли, выходит? Что же смотреть, товарищ Язев и товарищ Лапшин, под суд нас и отдавайте, раз мы виноваты в том, что завод построили вдвое быстрее, чем предусмотрено планом!

Язев поморщился, глядя на лица участников заседания, и проговорил:

— Товарищ генерал, вы, может быть, Героя Соцтруда получите, а с нового пласта угля вам шахта сегодня все же дать не может. Вот рабочий, старший бригадир, проходчик, спросите его, люди вкладывают себя целиком в работу, а больше дать они не могут, потому что они все же люди. Не может шахта дать сегодня уголь.

— А когда сможет? Я сегодня и не прошу.

— В соответствии с планом — ввод в эксплуатацию в конце четвертого квартала сорок второго года.

— Нет, это не пойдет,— сказал секретарь обкома.

— Тогда скажите, что делать? — спросил Лапшин.— План не с потолка взят, в соответствии с ним построен весь график работ, обеспечение рабочей силой, материалами, снабжением! Я с Язева спрашиваю, но ведь я не смогу обеспечить его квалифицированными кадрами. Это надо прямо сказать. А где он их сам возьмет? В тайге? Нет у треста бурильщиков, врубмашинистов, крепильщиков. А если бы и были они, Язев их не обеспечит перфораторами, электросверлами. А были бы перфораторы и электросверла добавочные, его все равно будет лимитировать недостаточная мощность компрессора и электростанции. Вот и скажите, что тут делать?

Георгий Андреевич снял очки и, прищурившись, посмотрел на стекла.

— Вы тут, товарищи угольщики,— сказал он,— вы тут все время ставите вопросы, которые уж ставились властителями дум революционной интеллигенции в девятнадцатом веке: «Кто виноват?», «Что делать?»

Он надел очки, оглядел всех вдруг ставшим хмурым острым взглядом и сказал:

— О том, кто виноват, в нынешнее время нам говорит прокуратура, а чтобы зря не беспокоить ее, давайте определим новые сроки ввода нижнего горизонта шахты в эксплуатацию. План у нас один и очень прост: отстоять независимость Советского государства.— Серdito, злым голосом он добавил: — Вам понятно это? Простой план. Не с потолка взят. Извольте в соответствии с ним перестроить свой график.

В это время вошла, громко скрипя кирзовыми ботинками, старуха уборщица, внесла чайник и стаканы.

Георгий Андреевич, обращаясь к секретарю парткома Моторину, неожиданно сказал:

— Накурили мы здесь жутко,— и спросил: — Может, пойдешь, девочка, с тетей?

Маша совсем затосковала, слушая споры о горизонтах, перфораторах, электросверлах и компрессорах... Сколько уж раз слышала она разговоры отца с приятелями обо всем этом:

«Где возьмешь крепильщиков... в компрессоре нет мощности... по такой породе нужно тяжелым перфоратором работать...»

Она протянула руку уборщице, пошла с ней, но в дверях остановилась, мгновение глядя на отца, словно усомнилась в своих правах и желала вновь утвердить их.

Со странным чувством слушал Новиков шедший в кабинете Язева разговор. Казалось, что Язев как раз и говорил о том, о чем хотелось самому Новикову сказать. Но сейчас Новиков не соглашался с тем, что говорил Язев. Он понимал, что Язев, говоря о тех усилиях, которые тратят рабочие для выполнения плана, по существу имел в виду лишь свой спор с генералом, директором военного завода[, до измученных рабочих ему не было дела].

Язев вдруг повернулся к нему и сказал:

— Давайте спросим товарища Новикова, одного из лучших наших проходчиков, каково ему работается, имея в помощниках и сменщиках колхозников, никогда не работавших на шахтах, а тем более на шахтных проходках, домашних хозяек и парнишек — учеников ремесленного училища? Давайте спустимся в шахту, посмотрите, как работает вот такой Новиков, ведь он чудеса теперь делает, чудо в полном смысле слова! Поглядели бы вы на уборщиков породы, на откатчиц, вот одна из них ко мне приходила — жена погибшего на фронте совслужащего, горожанка, никогда в жизни, видимо, не работавшая не то что в шахте, а на огороде, в саду! Что с нее спросишь? Все это надо учесть, Георгий Андреевич. Вы сами дали высокую оценку моей работе, и ГОКО отметил ее. Если я берусь выполнить план, то я его выполняю. Вот поэтому я и не боюсь снова поставить перед вами этот вопрос. Пусть наш передовой рабочий скажет.

Новиков увидел, что Георгий Андреевич нахмурился, слушая Язева, а тот вдруг резко добавил:

— И скажу вам прямо, Георгий Андреевич, меня агитировать не надо. Я-то уж знаю, какая война сейчас идет. В первый же день, когда в декабре сорок первого года в жестокий мороз на снег разгрузился здесь первый эшелон, я прямо и ясно сказал людям, что война требует от них жертв. И я-то уж умею со всей непоколебимостью напомнить об этом людям.

Мешков тоже повернулся к Новикову и сказал с какой-то новой интонацией, которая бывает в разговорах людей, связанных давней дружбой, определяющей простоту этих отношений:

— Ох, товарищ Новиков, но ведь наши-то цехи такие же люди строили: и кадровые, и вербованные, и домохозяйки. Да касайся это меня лично, стал бы я так волноваться и добиваться. Ведь новые танковые корпуса формируются! Приезжал ко мне недавно командир такого нового формирования! — И совсем уж неожиданно, протяжно произнес: — Ведь это, боже мой, боже мой, что зависит от этого, а мне директивные органы говорят: добейся! Разве я не понимаю, что Язев веские, правильные вещи говорит. Но ведь нужно!

Георгий Андреевич сказал:

— Давайте, товарищ Новиков, слушаем вас.

[В это мгновение Иван Павлович вспомнил, казалось, десятки важных вещей, которые хотелось ему сказать. И раздраженное желание высказать Язеву свои упреки: почему же он отказал откатчице Брагинской в содействии, чтобы устроить мальчика в интернат, а сегодня так жалостно говорит о ней; почему сказал рабочим, что можно жить и в нетопленных общежитиях, а у себя на квартире печи поставил кафельные; хотелось сказать, что паек недостаточен, что многие живут в сырых землянках, что люди к концу смены на ногах еле держатся; хотелось рассказать, как он видел на уральском разъезде похороны умершего в санитарном поезде молоденького паренька-красноармейца, как вынесли его, словно

птенчика, на носилках и закопали в мерзлую землю; хотел сказать он и о том, как любит он свою дочку, как болеет она здесь, не переносит местного климата; хотел сказать, как отец умирал, все ждал приезда младшего сына из армии, а тот не смог приехать, что не пришлось брату проститься с могилой отца и матери, теперь там немцы топчутся!] {259}

Забилось сердце, кажется, долго бы говорил он и эти люди слушали б его.

А сказал он негромко, медленно:

— Я считаю, пробуемся, давайте нам план.

50

Ночью Иван Павлович, получив наряд, помахивая тяжелой аккумуляторной лампой, шел к надшахтному зданию. Как удивительно! Сказала как-то на днях Инна, что будет известие от брата,— и принес сегодня почтальон телеграмму. Все мучился мыслью — жив ли Пётр, а он, оказывается, где то тут, недалеко, да еще грозитя в гости приехать...

Пятно света от аккумулятора, покачиваясь, плыло рядом с ним, и сотни таких светлых пятен плыли из бани, нарядной, ламповой, по широкому двору в сторону надшахтного здания, а навстречу им шел другой поток покачивающихся огней — то клеть качала на поверхность отработавших смену. Было тихо. В этот час, когда шахтеры уходили с земли в шахту, не возникало громких разговоров, сосредоточенно, молча двигались люди, каждый по-своему переживая минуты расставания с землей. И как бы ни любил человек подземную работу, всегда в эти минуты, перед спуском, вдруг охватывает шахтера молчаливое, сосредоточенное состояние, в нем и тревога, и привязанность к прекрасному миру, в котором он живет и к расставанию с которым даже на несколько часов все же нельзя привыкнуть.

Покачивающиеся огоньки плыли по воздуху, и видно было по ним: вот созвездье, пять вместе, наверное, бригадой идут, как и работают, один огонек немного впереди, это и есть бригадир, три тесно сбившись, а пятый юлит — то отстанет немного, то, наоборот, опередит всех, то снова отстанет — наверное, паренек-ремесленник в больших сапогах зазеваается, потом спохватится, побежит вперед, догонит бригадира... Пунктиром тянутся одиночки, мелькают пары, пары, пары: друзья идут рядом, перекинутся словом, опять замолчат. Вместе в клеть войдут, под землей разойдутся в разные стороны, а после смены снова встретятся на подземном рудничном дворе, сверкнут зубы, блеснут белки глаз. <...> {260}

Вот светящееся облако вываливает из ламповой, медленно растекается, дробится и плывет, все ускоряя движение, а там, у надшахтного здания, новое густое облако шевелится, дышит, втекает потоком в невидимые в темноте двери... А над головой в осеннем небе мерцают, переливаются звезды, и кажется, какая-то связь, милое живое сходство объединяет огни шахтерских ламп с бледным мерцанием звезд во мраке осеннего неба. Не затемнила война этих огней.

Много лет назад Иван Павлович мальчишкой шел душной летней ночью следом за отцом и матерью, державшей на руках младшего брата, на соседний рудник; отец помахивал шахтерской лампой, освещая путь. А когда мать пожаловалась: «Ой, руки не держат, устала», отец сказал ему: «Ваня, на-ка понеси лампу, а я Петьку от матери возьму». И вот уж давно нет на свете матери и отца, а Петька, которого несли родители на руках, стал высоким, молчаливым человеком с полковничьими «шпалами» на шинели, и уж не может Иван Павлович вспомнить, почему они тогда ночью всей семьей шли на рудник — то ли свадьба была, то ли дед умирал... А вот воспоминание о первом прикосновении к шершавому крючку лампы-бензинки, ощущение тяжести ее и живого, тихого света, шедшего от нее, навек сохранилось в нем.

Тогда был он так мал ростом, что руку пришлось согнуть в локте, а то на вытянутой руке

лампа ударялась о землю.

Человека не видно в темноте, только лампочка плывет, покачивается. И каждый рабочий, сосредоточенный, молчаливый перед спуском под землю, быть может, на миг неясно вспомнит что-то далекое, свое, объединит это с военной тревогой сегодняшнего дня, чувствует ту связь, что охватывает и воспоминания детства, и могилы близких.

Новиков подошел к клетки, и душное, мягкое, влажное дыхание шахты коснулось его лица, пришло на смену свежести осенней ночи.

Люди молча наблюдали, как скользит жирный, поблескивающий при свете электричества канат, бесшумно выбегает из черного мрака шахтного ствола. Вот бег его плавно замедлился, стали видны коричнево-желтые натеки масла, белизна крутых витков металлических нитей. Клеть медленно выплыла из мрака, и кажущиеся особо возбужденными глаза людей в грязных, мокрых брезентовых шахтерках встретились с глазами тех, кто ждал спуска.

Ноздри поднявшихся на поверхность ощутили примешавшуюся к влажной духоте воздуха струю ночной свежести, и люди нетерпеливо поглядывали, когда же стволовой выпустит их, даст ступить на землю, не будет держать на весу над бездной.

— Восемь парней, восемь девок,— сосчитал стоящий рядом с Новиковым Девяткин, а Латков засмеялся и крикнул:

— Прямо в загс их, венчать!

Новиков замечал, что и обстоятельный Девяткин, и Латков, и угрюмый, морщинистый Котов — все недавно работавшие в шахте никак не могли спокойно относиться к минуте погрузки в клеть и каждый по-своему выдавал свое волнение: Латков громко, громче, чем следовало спокойному веселому человеку, шутил, а Котов молчал, стоял полуопустив веки, и на лице его было выражение: «Э, глаза б мои не глядели, добра я от всего этого не жду».

Женщины при спуске в первый раз обычно пугались больше, чем мужчины, некоторые даже ахали и вскрикивали, зато привыкали быстрее — и Новикова даже сердило, что они, входя в клеть, продолжали тараторить о своих житейских делах на поверхности — про карточки, про мануфактуру, а молодые про кинокартины и про то, что «я ему сказала, а он мне сказал, а Лида спросила, а он только засмеялся, закурил, ничего не ответил...». Иван Павлович считал, что женщины не чувствуют подземной работы вот так, как он чувствует,— все же торжественное что-то в ней есть.

Но вот загремела цепь, стволовой, тоже донбассовский эвакуированный, подмигнул Новикову и дал сигнал машинисту к спуску.

— Ох, мамынька, парашют давайте! — дурашливым голосом закричал Латков и обнял за плечи, точно ища защиты, лебедчицу Наташу Попову.

— Не дури, Колька,— сердито закричала она, ругнулась, откинула его руку.

Но Латков не только дурил — все же он побаивался в душе, а вдруг именно на этот раз и оборвется канат, как-никак хоть и не на фронте, а лететь по стволу сто восемьдесят метров.

От быстроты спуска чуть-чуть кружилась голова, хотелось заглотить какой-то всегда появляющийся в эти минуты комок в горле, да и в ушах хотелось ковырнуть — закладывало их. А клеть погромыхивала, и, сливаясь в серую слюдяную ленту, стремительно мчалась мимо глаз каменная обшивка ствола, все усиливался капеж, и тяжелые теплые брызги падали на лицо и одежду.

Вот клеть замедлила ход, стала приближаться к первому горизонту, где шла добыча угля, и

слюдянистая обшивка ствола стала превращаться в четкую мозаику, состоящую из обтесанных камней разной формы, разного цвета.

На первом горизонте сошли, кивнув Новикову, забойщик и машинист электровоза, две девушки-лебедчицы, крепильщик, машинист врубовой машины, живший по соседству с Новиковым.

Стволовой дал сигнал к дальнейшему спуску — и клеть пошла на нижний горизонт, где проходчики прорубали путь к четырехметровому пласту коксующегося угля.

По проходке этой части ствола в течение трех зимних месяцев работал Новиков, и теперь, когда клеть шла до нижнего горизонта, он оглядывал новую обшивку — нет, что ни говори, поработали здесь люди на совесть.

Ему казалось, что здесь и клеть идет мягче, интеллигентнее, и что капеж какой-то приятный, вроде теплого, цыганского дождя, когда и радуга, и солнце светит, и на подземном рудничном дворе воздух суше, чище, чем на первом горизонте.

Но уж действительно поработал он здесь, попотел! Зимой что тут делалось: работал на входящей струе, мокрый как мышь, а по разгоряченной, потной спине бил ледяной дождь и холодная входящая струя по телу резала... До сих пор тяжело вспомнить — душный, грязный туман стоял все время в проходке, пар, едкий дым от отпаленных шпуров... Подымаешься на поверхность мокрый, разомлевший, лицо, спина в поту, бежишь от надшахтного здания к бане, а метель воеет, пока добежишь до ламповой, инструмент так остынет, что пальцы к нему липнут, жжет металл, словно его в горне раскалили.

И вдруг вспомнилась ему работа по проходке серного рудника: вот уж где мечтал о морозах. Ох и Каракумы... Люди лежат на глиняном полу, в домах двери и окна закрыты, завернется человек в мокрую простыню, пьет горячий кок-чай, и все равно нет спасенья, задыхается. А в это время работать под землей — жара, пыльно, вентиляция пшиковая, а тут еще подорвут породу, напустят дыму — и совсем дышать нечем! Подымешься после смены — из одной печки в другую: кругом темные скалы, вдали песок белеет, и кажется, что вся земля в тифу. Но ночью посмотришь вокруг: небо черное, антрацитовое, а звезды большие, крупные, как весенние цветы сон, белые, голубые... Вот, кажется, ударишь кайлом по антрациту — и упадет цветок с неба. Нет, все же интересно там.

А бригада уж идет по квершлагу. Девяткин постукивает по стойкам крепления, поблескивают тоненькие рельсы...

Латков с веселым, но не добрым сокрушением говорит:

— Ох и порода здесь, кремень, набрал наш товарищ Новиков обязательств, а до угля ой далеко!

Котов сиплым басом поддерживает:

— Я днем слышал, маркшейдер говорил, хорошо б к декабрю, особенно при таком питании. Обещать, конечно, все можно!

— Ясно, почему не обещать. У нас на заводе до войны поляк работал, у него поговорка была: «Обецянка-цацанка, дурному радость», — подтверждает Девяткин.

— Откуда поляк? — спрашивает Брагинская.

— Думаешь, землячок?

— Нет, просто это у моего дяди такая поговорка была.

— А у моего дяди...— мечтательно произносит Латков, и, когда договаривает до конца, Брагинская вздыхает:

— О господи.

Девяткин смеется.

— Глупый ты все-таки, Латков,— говорит Иван Павлович.

Пока они идут по коренному штреку, он видит все происшедшее за дневную смену... Вот тут бы надо подкрепить кровлю, верхняк подломился, в таких местах случается — купола выпадают... на разминовке перекосяк получился, а здесь боковое давление большое — ножка у рамы сломалась... ну конечно, обещал начальник подвести в соседний квершлаг сжатый воздух, а труб не нарастили за дневную смену, где вчера остановились, там и стоят, да и не привезли труб с поверхности, правда, и на складе их не было, но обещали со станции привезти, может быть, грузовика не дали? Так. Зато кабель протянули, да что в нем толку, когда до сих пор не включили добавочную мощность, а энергии едва хватает для механизированных работ на первом горизонте — врубовки одни сколько энергии забирают...

Они сворачивают в квершлаг, и Девяткин говорит:

— Вот тут уж мы работали.

— Конечно,— говорит Латков,— крепили на совесть, забутовка полная, рамы, как гвардия, стоят... вот где-то в этом месте меня чуть породой не присыпало. Помнишь, Котов, как бурки отпалили, я и полез ремонтину ставить...

— Не помню,— отвечает Котов, чтобы позлить Латкова, хотя отлично помнит этот случай.

Он поворачивает к Новикову свое худое, злое лицо и говорит с одышкой:

— Вишь, я думал, сжатый воздух соседу подведут, а трубы даже по коренной не прошли, и не видно, чтобы подвели ни на поверхности, ни на рудничном дворе. И соседям плохо, и нам ерунда.

Новиков отвечает ему:

— А, замечаешь.

Но Котов только нахмурился. Ему казалось, что не тем делом пришлось ему сейчас заняться: заведовал он приемным пунктом в конторе «Заготптицы», вел конторскую запись и в шахту попал... Вот Девяткин, тот до войны был рабочим на галалитовой {261} фабрике, точил корпуса для вечных ручек, потом на заводе пластических масс прессовщиком работал, штамповал технические детали. Кадровый рабочий, и тоже ведь в общежитии сказал:

— Ка-ак посмотрю я на эту кровлю, ка-ак подумаю, что над головой дома стоят, сосны растут, как подумаю, что мне туда спускаться, ох, Котов, не говори!

Котов, любивший говорить людям наперекор, ответил ему тогда:

— Боишься шахты, попросись на фронт добровольцем.

— Ну и что ж,— сказал Девяткин,— я не против.

Сейчас они шагали рядом и оба поглядывали на широкую спину Новикова, бесшумной походкой идущего к забою. Странное чувство вызывал Иван Павлович в людях, работавших вместе с ним. В нерабочее время, казалось, не было человека добродушной. Вот и сейчас

Латков все время задирает его, спрашивал:

— Слышь, Новиков, ты вчера в конторе подписал, что к первому числу вроде до угля дойдешь. А нас ты спрашивал? Сам хочешь дойти? Или как, ты с Моториным, секретарем парткома, вдвоем будете бурить?

И Новиков не сердился на приставания Латкова, лениво отвечал:

— С кем дойду до угля? Вместе с вами.

— А у нас по восемь рук, по четыре шкуры? — спросил Девяткин.

— Посмотри, что я в распределителе вчера получил, а потом обязательства давай, — добавил Котов.

— Чего мне твой паек смотреть, — отвечал Новиков, — карточки у нас одинаковые.

— Нет, все-таки есть в тебе, Новиков, административная струя, — сердито сказал Котов.

— Почему во мне административная струя, — обиженно сказал Новиков, — это ты ведь все мечтаешь в контору перейти. А я всю жизнь рабочий. <...> {262}

Латков посмотрел на два огонька, мерцавшие вдали, и проговорил:

— Гляди, Нюрка Лопатина и Викентьев уже в забой пришли. Вот уж сознательные, дальше некуда, вроде бригадира.

51

Близость угольного пласта все больше чувствовалась во время работы проходчиков. То и дело во время бурения происходили легкие выбросы газа, и вода, которой промывались бурки, с шумом выплескивалась в забой, иногда выбросы были так сильны, что вместе с водой выстреливало кусочки породы.

В кровле образовалось суфлярное выделение {263}, и невидимая струя рудничного газа с легким, тревожащим душу свистящим шорохом вырывалась на штрек. Когда к этому месту рабочие подносили аккумулятор, видно было, как стремительно вылетают из трещины поблескивающие чешуйки сланцевой пыли. Когда Нюра Лопатина приблизила к этой трещине свой белокурый волос, он затрепетал, словно кто-то подул на него. Седоусый газовый десятник перед началом работы пришел в забой замерить газ, и пламя в его индикаторной бензиновой лампе зловеще набухало, росло; шахтеры переглядывались, а десятник веско спросил:

— Видишь, товарищ Новиков?

— Отчего ж не видеть, вижу, — спокойно отвечал Новиков, — есть там уголек, дышит.

— Понимаешь?

— Отчего ж не понимать, на верном направлении бурим. Вот что, — проговорил он, обращаясь к Девяткину и Котову, — прежде чем бурить шпур, зададим мы глубокую разведывательную бурку на ручном станке, дренажик сделаем, а там уж пойдём бурить для отпалки. Так вернее будет.

Вентиляционный десятник сказал:

— Правильно, так и начальник вентиляции велел. Спешить — людей смешить.

— Смешить бы ничего,— сказал Новиков,— а вот губить зря людей совсем даже глупо.

Брагинская спросила:

— Это опасно, Иван Павлович?

Он пожал плечами. Всяко бывает. Вот работал он на западном уклоне жаркой и тяжелой шахты Смолянка-11, там случались внезапные выделения газа, при которых забой засыпало на десятки метров, под самые верхняки сотнями тонн угольной пыли и штыба. Конечно, опасно. Засыплет, откопают через неделю. Такие забои охрана труда закрепляла, прекращала в них работу. Работал он на проходке шахты 17-17-бис в Рутченковском рудоуправлении. Вот уж где были суфляры! Газ был так, что человеческого голоса не слышно! Выбросы при бурении такие были, что щит у бурильного станка в щепки разбивало! И ничего ведь — пробурился на пласт. А тут, что ж сказать, ручаться нельзя, может вдруг так ударить, что стойку выбьет, не то что белокурый Нюрин волос шевельнет. Ведь все-таки подземная работа, недра земли, а не конфетная фабрика. «Это опасно?» Ну что ответишь? Там, где младший брат, похуже. А она, точно поняв по неохотному пожатию плеч, по молчаливой усмешке Новикова ход его мыслей, смущенно сказала:

— Правда, где муж мой был, не спрашивали — опасно или не опасно.

Новиков оглядел лица притихших рабочих, каждый задумался о своем в эти минуты подземной тишины, оглядел незакрепленную часть забоя, нависшую кровлю, поблескивавшую недобрым графитным блеском породу, поглядел на бурильный станок, на порожняк, подогнанный для откатки породы на штрек, на заготовленный, пахнущий сыростью и смолой крепежный лес, сказал негромко и точно нерешительно:

— Ну что ж, пожалуй, придется нам поработать.

Неслышно, тихо, медленными, как будто неохотными движениями, подошел он к бурильному станку, стал проверять ход механизма. <...> {264}

Есть прелесть в этом первом мгновении работы, в этом первом движении рабочего, принаравливающегося, преодолевающего инерцию покоя, словно еще не до конца знающего свою силу и в то же время верящего в нее, еще не охваченного напряжением, напором, скоростью, но ощущающего, предчувствующего приход их.

Это первое мгновение труда переживает машинист, выводящий из депо товарный паровоз и ощущающий своим сердцем первый легонький толчок поршня, предшествующий стремлению паровой машины по рельсовому пути; это ощущение знает токарь, следящий за плавным зарождением движения в запущенном в начале смены станке. Это ощущение знают и водители самолетов, когда их первое, как бы задумчивое и тихое движение порождает сонный, еще неуверенный оборот воздушного винта.

И все рабочие люди: горновые на доменных печах, и машинисты врубовых машин, и водители тракторов, и слесари, берущиеся за гаечный ключ, и плотники, прихватывающие половчей топориче, и бурильщики, включающие тяжеловесный ручной перфоратор,— знают, любят и ценят прелесть этих первых движений, рождающих ритм, силу, музыку работы.

В эту ночь работа была особенно трудной. Вентиляция действовала плохо, барахлил вентилятор, установленный для дополнительного проветривания на входящей струе, жара, соединенная с влажностью, расслабляла. А когда в соседнем забое запальщик подорвал бурки, маслянистый, едкий дымок заполз в квершлаг, лампы горели в голубоватом тумане, и работать стало еще тяжелей, минутами духота казалась нестерпимой. Першило в горле, пот выступал на теле, хотелось присесть, отдышаться; мысль о далеком свежем воздухе на поверхности была подобна миражу путника, мечтающего о ключевой воде.

Первое время Новиков проходил в породе глубокую разведывательную скважину, бур шел сравнительно легко, его не зажимало, и мерный скрежет станка успокаивал, казался сонным, недовольным, точно и металл разморили жара и духота.

Латков помогал Викентьеву прилаживать пихтовые стойки, подтаскивать обаполы для затяжки кровли.

— Что же ты мне даешь незаделанную ножку? — спросил Викентьев и показал на незатесанный, незакругленный нижний конец стойки. — Ослеп, что ли?

— Это от жары, — объяснил Латков и убежденно добавил: — Нет на свете хуже жары, мороз для русского человека лучше.

— Ох, не скажи, — проговорил Викентьев, — я вот эту зиму поработал на вскрышных работах в Богословском районе, мороз сорок градусов, туман такой густой — сметана мерзлая, неделями стоит... а есть разрезы, ветер из Челябинской степи прихватывает, да, вот там уж поймешь мороз. Ну их, открытые работы. Вот застудил в зиму легкое! Нет, под землей лучше.

А Котов и Девяткин, помогавшие Новикову, все поглядывали, когда он перестанет наращивать штанги. Девяткин, не вытирая пота, темными каплями выступавшего у него на висках и на лбу, сказал томным, прерывающимся голосом:

— Только смена началась, а надо бы отдохнуть.

— Крути, крути, Гаврила, — сказал Котов, которому самому не легко было вращать ручку станка, и, улучив мгновение, обтер рукавом лицо.

Новиков оглянулся на подручных и сказал:

— Боюсь, штангу зажмет, попотей уж. Ну и мокрый ты, Девяткин.

— Слава богу, идет тихо, — сказал Котов.

— Зачем слава богу, когда тихо — скучно.

В минуты, когда Новиков, склонившись, сосредоточенно следил за ходом станка, ему представилось, что он работает на родине, в Донбассе: и свита пород здесь напоминала свиту Смоляниновского пласта, и влажный, душный воздух походил на воздух нижних продольных западного уклона Смоляниновской шахты. И на миг показалось — нет войны, он выедет из шахты и пойдет к дому, где прожил многие годы жизни. И он вдыхал душный, жаркий воздух, и пот, выступавший у него на лбу, был ему приятен.

Внезапный выброс воды, смешанной с кусками породы, ударил его по груди и по плечам с такой силой, что Новиков пошатнулся, у него перехватило дыхание. Подручные с напряженным выражением глядели на него, и он, перехватив их взгляд, глубоко вздохнул, хрипло крикнул:

— Давайте не останавливайтесь, зажмет нам штангу!

Там, в темной глубине каменных пород, таился угольный пласт, острие новиковского бура нащупывало дорогу к нему, и вот завязалось дело — кто одолеет.

Здесь во всей полноте ощущал он в себе ту силу, не обманную, а самую истинную силу, какая только была на земле, — силу рабочего человека. Он тратил ее с щедростью, не жалея, не оглядываясь.

Вот тут и началось то, что каждый из работавших объяснял по-своему, в душе удивляясь тому, что происходило. Тихий и деликатный Новиков, добродушно отшучивавшийся, когда Латков приставал к нему, редко-редко поднимавший голос, всегда деликатно становившийся в очередь и при подъеме из шахты, и в магазине, когда отоваривались карточки, чинно гулявший с дочкой по земляной улице поселка, выполнявший в отсутствие жены бабью работу — то чистивший картошку на пороге дома, то щупавший висевшее на веревке белье — просохло ли,— внезапно преображался. Точно лицо его становилось другим, и точно светлые глаза темнели, а мягкие, спокойные движения сменялись напряженными, резкими, и даже голос сразу менялся, становился хриплый, быстрый, содержащий в себе тяжелую повелительную силу.

Латков насмешил всех, когда, разгоряченный работой, оговорившись, крикнул бригадиру:

— Эй, товарищ атаман, гляди присыпет!

Но и Нюра Лопатина, пришедшая в шахту из дальнего саратовского колхоза, выкатывая вместе с Брагинской на штрек тяжелую, полную породы вагонетку, оглянувшись на освещенного лампами, мокрого, забрызганного водой, облепленного черной грязью Новикова, неожиданно сказала:

— Как Емельян Пугачев какой-то!

— Да уж,— согласился Девяткин,— с ним не покуришь.

Хмурый, худой и покашливающий Викентьев, в первое время сердившийся, что он, коренной сибиряк, попал в бригаду к донбассовскому приезжему, проговорил:

— Надо уж прямо сказать, настоящий подземный, понимает шахту...

Новиков подошел к сидевшим и сказал:

— Что ж, товарищи, забой проветрен, дренаж провели, давайте немного поработаем.

Удивительно! Казалось, каждый из работавших делал свое особое, отдельное от других дело.

Брагинская и Лопатина выносили из забоя отбитые глыбы угля, с грохотом наваливали их в вагонетки, медленно, преодолевая сопротивление неохотно вращающихся колес, отгоняли груженные вагонетки на штрек. Викентьев перебирал пихтовые стояки, поднесенные Латковым, то бил топором, то укорачивал пилой обапол, сшивал оклады. Девяткин и Котов помогали Новикову, отбивали кайлами подорванную после паления шпуров породу.

Казалось, каждый из работавших был отъединен от других своими мыслями, не сходными с мыслями, надеждами, опасениями других... Викентьев думал о том, что жена с детьми живет в Анжеро-Судженском рудоуправлении и долго нельзя будет ей перебраться к нему, нет семейной комнаты в общежитии; а вчера она прислала письмо, пишет, что ей невозможно жить порознь... Викентьев думал, что пласты, на которых он работал в Кузбассе — Горелый, Мощный, Спорный, Садовый,— куда богаче тех, Смоляниновских да Прасковеевских, о которых рассказывал Новиков, и нечего Новикову все вспоминать эти донбассовские маломощные да зольные пласты, подумаешь, чем решил удивить. А что ни говори — хорош бригадир! С ним не скучно, душа в работе есть. Викентьев думал о том, что старшего сына, пожалуй, осенью призовут, ведь ходит уж на занятия при военкомате, неужели ж не придется повидать его — отпусков-то нет... «Эх, была бы Лиза здесь, она бы мне банки на ночь ставила».

А Латков думал о том, что зря он поссорился с Нюрой Лопатиной и что зря он не попросил

прикрепительного талона в столовую номер один, ребята говорят, заведующий там не ворует. И зря он обменял на барахолке сапоги на кожанку, ребята смеются, говорят, обдурили его... Вот поработал с кадровым крепильщиком Викентьевым и стал понимать, как соединять оклады при креплении в лапу, в паз, в шип, в стык... Вот захочу и выйду на Доску почета! И зря не записался на вечерние курсы машинистов врубовых машин... Эх, вот так бы, как Новиков, — даешь, и ни в какую! И почему он, Латков, делает все зря, да не так, сгоряча, не подумавши, а потом сам жалеет, а потом опять сделает не так...

«Ну и ладно, подумаешь, не нужна мне эта Нюрка колхозная, ни эти сапоги, пойду в военный стол, скажу: „Сдаю вам броню, отправляйте меня на оборону Сталинграда“».

А Девяткин думал: «Эх, попал неудачно под землю, надо бы на прессах работать, вот проберусь на попутной в поселок военного завода, поговорю с людьми, наверное, нужна там моя специальность, а тут схожу в отдел найма и увольнения, попрошусь, человек я, в конце концов, одинокий, общежитие не так уж важно, устраюсь... да не отпустит, очень уж вредна эта баба — инструктор отдела кадров, бюрократка, а без нее что ж... надо отцу в деревню рублей двести послать, ну и ладно, пошлю, разве я говорю, что не пошлю... Тут я не выдвинулся, а вот если на заводе, меня бы сразу отметили, стаж довоенный. На поверхности я, может, не хуже Новикова буду, начну давать детали — ахнет вся промышленность. Эх, если б не война, я женатым был бы... не захотела, в сестры пошла, разве она помнит про меня, кругом гвардия, ребята — будь уверен! Был и я до войны в кружке гитаристов... Ну, в общем ничего — война, все же холостому легче... нет... развалилось мое счастье — забыла меня она, и гитары той нет...»

А Брагинская вспоминала в тысячный раз день своего прощания с мужем, харьковский вокзал... «Да нет, не может быть — это ошибка, просто однофамилец. Нет уж, какая ошибка. Вдова я, вдова, нельзя привыкнуть к этому слову: вдова, вдова, вдова, и Казимир сирота. А он лежит там, один, под ракушкой в земле... Кто бы мог подумать весной прошлого года, что все так будет — его нет, а я где-то за тысячи верст, в забое под землей в брезентовой куртке... Собирались летом в Анапу поехать, перед отъездом хотела завиться и маникюр сделать, Казик должен был поступить в школу для музыкально одаренных детей... А минутами все забываешь — нет ничего важнее, кажется, этой лопаты и угля! И опять это утро на харьковском вокзале, душное, теплое, солнце и дождь, лужи блестят, и эта последняя его улыбка, такая милая, растерянная, ободряющая, и десятки рук машут из окон: „Прощайте, прощайте...“ Да было ли все это? Две комнаты, тахта, телефон, на столе хлебница, много, много хлеба — белый, сеяный, сушки и опять белый, вчерашний, черствый, его никто есть не хотел... А теперь забутовка, разрез, забурилась вагонетка, обаполы, навалотбойщики, шпурь, бурение... Как он говорит: „Пробуримся?“ — и улыбнется как-то особенно».

А Котов, хмурясь, думал: «Эх, где ж ты, моя родина, город Карачев, Орловской области... как утром встаешь, подует ветерок с лесной стороны, от Брянского леса, воздух такой богатый... мамаше восемьдесят второй год пошел, осталась в деревне, фашисты там ходят, нет уж, не увижу... Даша разве понимает — вчера, говорит, Викентьев в получку девятьсот рублей принес, а ты четыреста восемьдесят шесть... Что ж я, шахтер? Дура ты, дура была, дура и есть. Вот скажу — сама поработай, в очередях стоять, язык чесать — это не работа по военному времени. Слава богу, здоровье есть, поработай на откатке. Жизнь со мной прожила, горя не знала... Ох, но и борщ же она варила в Карачеве! А то поедешь в Орел — сел в кабину, шофер Петя, выехали на шоссе, сады кругом, яблони, небо-то какое... нет лучше родной стороны!»

А Нюра Лопатина думала: «Ну пусть, ну и пусть, подумаешь... очень Латков этот мне нужен... и маманя правильно говорила... верно, лучше наших деревенских парней нет, хамло он такое. Не пойму, чего стонут, что под землей, что на земле... Девочки в общежитии хорошие, раз в неделю кино, радио, журналы... нет, лучше Саши моего нету и не было... а этот шумит, а сам небось к броне прижат... А Саша Сталинград защищает, крови не жалеет своей. А

какой тихий, какой принципиальный, чтоб при девушке выразился... Латков, подумаешь, сразу видно — из детского дома... А мне что,— отцу с матерью каждый месяц посылаю, на курсы пойду, выучусь на электромонтера, сколько хочешь, вчера ходила тут одна девушка из комсомола, обещала записать... Вот только бы братик, да Саша, да дядя Иван, да дядя Пётр, да Нюрин Алеша домой пришли живые... Да где уж, всех не дождемся, мама писала — Рукина Люба похоронную получила, Сергеева — на двоих сразу... А тут, конечно, в глубоком тылу, вот такие Латковы, а сам шахты боится до сих пор, по глазам видно. А на язык он скорый — городской паренек...»

Каждый как будто работает свою отдельную, особую работу, а в душном воздухе точно зазвенит пчелой высокая струна, тревожная, радостная, волнующая и молодое и старое сердце. И вот уже все люди в забое связаны между собой этой прочной, звенящей связью: и труд, и движения их, и тяжелая поступь откатчиц, и глухие удары кайла, и скрежет лопат, и шип пилы, и гулкий удар обухом топора по упрямой стойке, не желающей принять на себя тяжесть кровли, и мерное дыхание бурильщика — все связывалось между собой в прочную, единую, неразрывную, живую силу, все живет одной жизнью, дышит одним дыханием.

А человек с добрыми глазами, широкоскулый и светловолосый, с большими темными руками, которые могут поднять многопудовую железную балку и приладить волосок в часах, не поворачивая головы в сторону работающих, ощущает своим нежным чувствительным нутром эти нити, что натянулись между ним и всеми, кто работает рядом.

А потом, когда идут люди к ламповой, каждый кряхтит от усталости, думает о доме, о нелегкой жизни и никак не поймет, в чем оно есть, это самое чувство своей разумной, доброй силы, которую только и поймешь, когда она сплелась с общей силой; чувство своей свободы, которую отдал другим людям, связал с ними, а в этом и есть свобода; чувство подчинения власти бригадира Новикова и ясное ощущение того, что в этом всем вдруг взяло да раскрылось лучшее, что доступно человеку.

52

Ночью на шахтном дворе состоялся короткий митинг. Шахтеров ночной смены предупредили днем, чтобы они пришли в нарядную на двадцать минут раньше обычного. Клеть беспрерывно качала из-под земли людей, отработавших смену: на подземном рудничном дворе секретарь парткома Моторин предупреждал о предстоящем собрании.

Когда кто-нибудь говорил: «Где ж тут собрание после работы, устал народ», — Моторин отвечал:

— Ничего, товарищи, осенняя ночь длинная, успеете отоспаться, всех, кого надо, во сне увидите.

Ночь была темная, беззвездная, ветреная; слышался шорох листвы на деревьях и ровный далекий шум соснового леса. Несколько раз начинал накрапывать дождь, и в холодных мелких каплях, падавших на лица и руки людей, словно таилось напоминание об осеннем ненастье, распутице, о надвигающейся зиме с метелями, заносами. Свет прожектора над шахтным копром косым лучом освещал небо, и казалось, что не листва деревьев, не лес шумит, а шуршат по небу рваными боками тяжелые, шершавые облака.

На сколоченном из досок помосте стояли партийные и технические руководители, а вокруг негромко гудела толпа шахтеров, и черные лица выехавших из шахты людей сливались с чернотой ночи.

Там и здесь вспыхивали десятки огоньков-цигарок, и с какой-то почти физической осязаемостью ощущалось, как выехавшие после смены шахтеры с удовольствием вдыхали вместе с сырой ночной прохладой теплый, горький махорочный дым.

Что-то было в этой картине особое, и при взгляде на нее человека охватывало волнение: холодная, осенняя ночь, дождик, тьма небес и тьма на земле, ниточные пунктиры электрических огней на соседнем руднике и железнодорожной станции, едва заметные розовые мерцающие пятна, шевелящиеся в облаках,— отсветы разбросанных по широкому пятидесятиверстному кругу заводов и рудников, влажное живое приглушенное гудение леса, в котором таились и угрюмое пыхтение столетних древесных стволов, и шелковый шорох влажных сосновых игл, и скрип смоляных ветвей, и постукивание шишек, бьющихся на ветру друг о дружку...

В этой раме тьмы, гула, холодных капель дождя сияло огромное скопление света, какого не видело небо в самые свои звездные ночи. <...> {265}

Первым говорил Моторин. Странное чувство испытывал он в эти минуты. Сколько раз приходилось ему выступать — на рабочих собраниях, на слетах стахановцев, на митингах, на коротких летучках, под землей, на рудничном дворе! Так привычно стало ему произносить речи, делать доклады, выступать в прениях... С улыбкой вспоминал он свое первое выступление на областной конференции комсомола: шахтерский паренек, взойдя на трибуну, растерялся, увидев сотни оживленных, внимательных лиц, запнулся, услышал свой дрогнувший голосишко, отчаянно, растерянно махнул рукой и под добродушный смех и снисходительные аплодисменты вернулся на свое место, так и не договорив. Когда Моторин рассказывал об этом своим детям, то сам же с недоверием думал: «Неужели могла произойти такая штука?» И вот сейчас он ощутил, как комок подкатывался к горлу, сердце бьет неровно, мешает дыханию.

То ли нервы сдали — сказалось переутомление, бессонные ночи, а может быть, расстроил его разговор с военным, что прилетел на самолете из-под Сталинграда и рассказывал в парткоме о тяжелых боях на юго-востоке, о сожженном городе, о немцах, вышедших в двух местах к Волге, кричащих прижатым к воде красноармейцам: «Эй, русь, буль, буль!» Расстроила ли его сводка Совинформбюро, прочтенная накануне собрания... <...> {266}

И когда он сказал слабым, дрогнувшим голосом:

— Товарищи... — ему показалось, что он не сможет больше произнести слова, что волнение, перехватившее дыхание, не даст ему говорить. Из глубины памяти неожиданно, непонятно почему встал перед ним отец, заросший седой бородой, в синей рубахе, с воспаленными жалобными глазами, босой, прощавшийся на прииске с товарищами по работе; он поднял руку и сказал: — Дорогие рабочие и друзья...

Моторин с той же жившей в нем отцовской интонацией, по-сыновьи, покорно и старательно повторил:

— Дорогие рабочие и друзья... — помолчал и снова негромко произнес: — Дорогие рабочие и друзья...

И затерявшийся в толпе, стоявшей вокруг помоста, проходчик Иван Новиков тихонько вздохнул и шагнул вперед, чтобы лучше слышать, чтобы лучше рассмотреть лицо начавшего говорить человека; ему показалось что-то очень давно знакомое в этом голосе.

И точно так же шагнули десятки шахтеров, стоявших рядом с Новиковым, чтобы получше услышать; чем-то взбудоражил людей этот неясно слышный под шум леса, сквозь шелест близко стоящих деревьев голос.

Шагнули Девяткин, Котов, шагнули Латков, и Брагинская, и Нюра Лопатина...

А Моторин увидел, как враз колыхнулись сотни ламп, и оттого, что сгрудилась толпа вокруг помоста, ему показалось, свет стал ярче, горячее...

Та речь, что приготовил он, речь о сменной выработке, о необходимости повысить процент добычи и в полтора раза ускорить проходку в погонных метрах, исчезла, растворилась в тумане, и он, уж совсем не думая о том, что будет говорить, не зная, что скажет, произнес:

— Вспомнил я, когда был еще совсем мелким мальчишкой... Отца моего хозяин прогнал с прииска, выкинули вещи из квартиры на улицу, а в этой квартире родились две мои сестры и я родился, и время было под осень, вот как сейчас... Пришли стражники, собрались рабочие... надо уходить, а куда, ведь родной дом, здесь жили, здесь работали, здесь деда с бабкой схоронили. Посмотрел я на отца, как он стал прощаться, услышал его слова, и вот уже голова седая, а не могу забыть, не могу, да разве возможно...

Моторин поглядел на горевшие кругом огни: это же все люди стояли вокруг, а он словно сам с собой разговаривал. И удивленным голосом спросил:

— Товарищи, вам ясно, к чему я это говорю...

И он уж не удивился, когда услышал ответ многих голосов:

— Ясно...

А он, как будто уверенно и как будто спокойно, а на самом деле это спокойствие и уверенность и были проявлением волнения, владевшего им, продолжал свою речь, посветил аккумулятором, порылся в кармане, вытащил смятый листок бумаги и стал читать сводку Совинформбюро:

— «На северо-западной окраине Сталинграда продолжались ожесточенные бои. Противник, стремясь любой ценой сломить сопротивление защитников города, непрерывно атакует наши части. Отдельным отрядам гитлеровцев ночью удалось проникнуть на некоторые улицы города. Завязались тяжелые уличные бои, переходившие в рукопашные схватки...»

Теперь он не спросил у шахтеров, ясно ли им, почему говорил он об отце и вдруг стал читать про бои в Сталинграде.

И он говорил медленно, казавшимся негромким, но всем слышным голосом, и чувство, что испытывал он, произнося первые слова речи, не покидало его; говорил словно с самим собой и в то же время, казалось, говорил он не от себя, а только рассказывал то, что пришло к нему от людей.

Высоко в темном осеннем небе, на быстрых облаках отражались едва заметные, дрожащие розовые тени — след дыхания заводов и рудников, лежащих окрест, напоминание о сотнях и тысячах и десятках тысяч заводов, фабрик, шахт, железнодорожных мастерских, лежавших от Великого океана до волжской воды, напоминание о тех рабочих, что так же, как и Новиков, и Брагинская, и Моторин, и Котов, думали о погибших, о пропавших без вести, о тяжелой, нелегкой военной жизни, напоминание о тех миллионах людей, что так же, как и Новиков, и Брагинская, и Моторин, и Котов, и старик Андреев в горящем Сталинграде, верили, что их рабочая сила все переборет, все преодолет.

Часть третья

1

Двадцать пятого августа немцы стали наступать на Сталинград от Калача, с запада. К этому времени немецкие танки и пехота, прорвавшиеся на юге, у Абганерова, достигли Дубового оврага за озером Сарп.

На севере немецкие войска закрепились в поселке Рынок, вблизи Тракторного завода. Таким образом, кольцо немецких войск сжималось с юга, с запада и севера.

Тридцать первого августа немцы начали новое наступление на Бассаргино—Варапоново. Части 62-й армии под ударами противника отошли на средний оборонительный обвод вокруг города, но новые концентрические удары немцев по обескровленным дивизиям 62-й армии заставили их ко 2 сентября отойти на внутренний обвод, последний из оборонительных обводов.

Линия обороны прошла через хорошо известные всем горожанам пригородные поселки: Рынок, Орловку, Гумрак, Песчанку.

Удары восьми немецких дивизий, наступавших суженным фронтом на город, поддерживались пробивной силой пятисот танков и активной мощностью тысячи боевых самолетов. Среди степи, на открытой местности, налеты немецкой авиации были особенно тяжелы для наших войск.

Немецкая артиллерия имела выгодные позиции: местность у города заметно понижалась с запада на восток, и немцы свободно просматривали не только передний край, но и тылы советской обороны, контролировали огнем своих батарей подходы и подъезды к советским боевым линиям.

Подступы к городу для немецких пехотных полков облегчались обилием балок, оврагов, русел высыхающих летом речушек, в том числе Мечетки и Царицы, тянувшихся из степи к Волге.

В эти дни в бой втянулись не только все дивизии 62-й армии, но и те резервы, которыми располагал командующий фронтом. <...> {267}

Рядом сражались части ополчения — рабочие и служащие, превратившиеся в пулеметчиков, танкистов, минометчиков и артиллеристов.

Но, несмотря на упорство оборонявшихся, немцы медленно и неуклонно подходили к городу; слишком велико было неравенство сил: трем немецким солдатам противостоял один русский, двум немецким пушкам — одна русская {268}. <...> {269}

5 сентября началось большое наступление советских армий, расположенных северней и северо-западной Сталинграда и отделенных от защитников города коридором, прорубленным немцами от Дона к Волге.

Бои эти были жестоки и кровопролитны. Наступавшие по открытой местности советские войска несли большие потери, немецкая авиация с утра до ночи темной тучей висела над шедшими в бой советскими дивизиями, огневые позиции артиллерии и места сосредоточения танков подвергались жесточайшим бомбежкам.

Казалось, наступление советских войск кончилось неудачей: немецкий коридор не был прорван, бои за отдельные степные высоты не принесли решительного успеха, незначительное продвижение, купленное дорогой ценой, было постепенно ликвидировано контратаками немецких танков, поддержанных пикирующей авиацией. Однако немцы вынуждены были повернуть значительную часть своих сил на север, сняв их с главного для них сталинградского направления. В отвлечении немцев от главной их цели был выигрыш советского командования.

Но был еще один выигрыш, которого не понимали люди, участвовавшие в казавшемся им неудачным кровопролитном наступлении: выигрыш времени. Эти бои помогли защитникам города продержаться до середины сентября.

Время — всегдашний враг авантюристов, всегдашний друг истинной силы. Оно за тех, за кого история, оно против тех, у кого нет будущего. Время всегда разоблачает мнимую силу, всегда несет победу силе истинной.

Но драгоценная сила времени проявляется лишь тогда, когда люди видят в нем не щедрый дар судьбы, а сурового и требовательного союзника.

Резервные дивизии Красной Армии, смешав день с ночью, стремясь выиграть каждый час, двигались к Сталинграду.

Среди дивизий, вступивших впервые в бой 5 сентября у деревни Окатовки, на высоком берегу Волги, была та, в которой служил лейтенант-артиллерист Анатолий Шапошников. Среди частей, форсированным маршем шедших левым берегом Волги к осажденному городу, находилась дивизия генерал-майора Родимцева, в которой проходили службу командир стрелковой роты Ковалев и красноармеец Вавилов. Родимцевской дивизии приказ Ставки определил первой вступить в осажденный город {270} и навек связать свою славу со славой Сталинграда.

2

Едва орудия были вытащены по каменистому, крутому откосу на холм, поросший виноградником, прибежал связной и передал приказ занять огневые позиции: в садах и виноградниках у расположенной на ближайших холмах деревни сосредоточились немцы.

Толю Шапошникова, пыльного, потного, разгоряченного — он только что помогал втаскивать орудия по крутой глинистой осыпи, — командир дивизиона послал наладить доставку боеприпасов на гору.

Грузовики со снарядами стояли у воды, подняться по откосу они не могли.

Толя стремительно сбежал по мшистому и травянистому холму, теплый ветер засвистел в ушах, потом так же стремительно в красном облаке пыли Толя стал спускаться по обрыву к берегу.

У воды под крутым откосом лежала тень, и после ослепительного степного солнца, казалось, пришел вечер. Волга там, где не было тени, сверкала живой упругой ртутью.

Расставив цепь красноармейцев, передававших снаряды вверх по откосу, Толя взобрался на грузовик и принялся помогать разгрузке. «Пусть не думают, что я только командовать умею», — повторял он про себя, ворочая ящики со снарядами и подтягивая их к борту грузовика.

Ему казалось, что он сделал ошибку, кончив артиллерийскую школу: проще было бы воевать рядовым красноармейцем. Большой, плечистый, с угрюмым лицом, он казался с виду парнем жестким и грубым, но вскоре все — и начальники его, и красноармейцы — поняли его добрую, застенчивую и стыдливую натуру. Он был нерешителен и терялся, когда ему приходилось отдавать приказания. В таких случаях он путался в длинных «будьте добры, пожалуйста», начинал говорить невнятной скороговоркой, и командир батареи Власюк сердито и сострадательно подбадривал его:

— Опять вы, Шапошников, забубнили, не можете завоевать авторитет. Забываете, что артиллерия — бог войны. Ты пойми, ты артиллерист!

Толя охотно оказывал своим товарищам и начальникам разные услуги — подменял приятеля на дежурстве в штабе, переписывал отчет, ходил за письмами.

Склонные к юмору командиры-артиллеристы говорили:

— Эх, жалко, Шапошникова нет, порадовал бы парня, он бы за тебя подежурил... Попроси Шапошникова, он сходит... — И, улыбаясь, добавляли: — Шапошников любит дежурить... Шапошников обожает по припеку в штаб ходить.

Но отношение к Толе было не только насмешливым и снисходительным. Его выдающиеся технические способности ценились сослуживцами, а особенно хорошо о них знали красноармейцы-артиллеристы. С уверенностью и быстротой разбирал он все дефекты и неполадки, случавшиеся в работе. Шапошников умел просто и коротко объяснить самым непонятливым людям суть сложного и отвлеченного закона, умел быстро нарисовать чертежик, который, освобождая от зубрежки, разъяснял, почему надо при прицеливании по такой-то движущейся на таком-то расстоянии цели, да при таком-то ветре вести расчеты этак, а не так.

Но все же как было не посмеиваться над Шапошниковым — едва заходил разговор о девушках, он начинал кашлять, краснел. Сестры из медсанбата, считавшие артиллеристов-командиров самыми культурными в дивизии, с усмешкой спрашивали лейтенантов из артдивизиона:

— Что ж это ваш товарищ такой гордый, «воображала», никогда не поговорит, а встретит на дороге — обойдет стороной, спросишь его, он — «да», «нет» — и побежит?

Шапошников как-то сказал командиру батареи Власюку:

— В штабе о вас спрашивала одна молодая особа противоположного пола.

С тех пор товарищи дали Шапошникову прозвище: «особа противоположного пола».

Красноармейцы называли его между собой «Лейтенант будьте добры». * * *

В этот час все вокруг было величественно и грозно. Огромная пустынная река блестела на солнце. Казалось, вечная тишина должна стоять над этой вечной рекой, а воздух был полон грохота, скрежета.

По узкой прибрежной полосе, под высоким обрывом, отпихивая глыбы рыхлого песчаника, ползли тягачи, волоча орудия и прицепы с боеприпасами. Пехота, подразделения с противотанковыми ружьями, пулеметчики, стиснутые между водой и высоким откосом, уходили оврагами от берега, поднимались вверх на холмы в степной простор, а следом шли все новые и новые батальоны и роты.

Прекрасное небо, где от века стояла величавая синяя тишина, раскалывалось грохотом воздушных боев, среди пушистых беленьких облачков выли моторы, печатали скорострельные пушки, рычали пулеметы. Иногда самолеты проносились низко над водой и вновь взмывали: воздушные бои шли во всех этажах неба.

Из степи доносился рокот начинавшейся наземной битвы: то резервные полки Красной Армии с ходу вступали в бой с частями северной группировки армии Паулюса.

Станным казалось людям, стоящим внизу, в тревожной тени, что именно там, в теплой степи, где так безудержно и беспечно светит солнце, происходит кровавое сражение.

А люди с оружием все поднимались от берега в степь. На всех лицах было то напряженное выражение волнения и решимости, странное соединение страха, испытываемого солдатом, вступающим в свой первый бой, и страха опоздать, отстать от своих, чувство, заставляющее идущих на передовую не замедлять шаг, а ускорять его.

Вот и подошел Толя к главному дню своей жизни...

Час назад дивизион проходил по прибрежному грейдеру через поселок Дубовку. Здесь впервые ощутил Толя фронт, услышал свист и грохот бомб, сброшенных налетевшими самолетами, увидел разбитые дома, улицы в осколках стекол. Мимо него проехала телега, на которой лежала женщина в желтом платье, и кровь ее быстрыми каплями падала на песок; пожилой мужчина без пиджака, громко плача, шел, держась за борт телеги. За заборами колыхались, скрипели от ветра десятки колодезных журавлей, и казалось,— то мачты охваченных тревогой суденышек.

А утром он пил молоко в тихой деревушке Ольховке, где на широкой сырой площади, поросшей свежей, ярко-зеленой травой, паслись молодые гуси.

Ночью во время короткой остановки он, шурша сапогами по сухой полыни, отошел на несколько десятков метров от дороги и лег на спину, всматриваясь в звездное небо; издали доносились голоса красноармейцев, а он все смотрел в мерцающую звездную пыль.

Вчера днем было душное бензиновое тепло в кабине грузовика, горячее пыльное смотровое стекло, тарахтенье мотора. Год назад был в Казани крытый клеенкой письменный столик, тетрадка дневника, раскрытая книга, мать клала теплую ладонь ему на лоб и говорила: «Спать, спать».

Два года назад Надя, худая, в трусиках, взбежала босыми ногами по ступенькам дачной террасы, пронзительно крикнула: «Толька, болван, украл мой волейбольный мяч». А еще раньше был детский авиаконструктор, чай с молоком и конфета перед сном, санки с твердым матерчатым сиденьем, обитым бахромой, елка на Новый год. Седая мать Виктора Павловича держала Толю на коленях и тихо пела: «В лесу родилась елочка»,— и его тоненький голосок подтягивал: «В лесу она росла».

Теперь все это сжалось в тесный, плотный, как орешек, крошечный комок, да и было ли все это?

Встала единственная реальность — идущий издали, все нарастающий грохот битвы.

Он чувствовал, что смятение охватывает его. Это не был страх перед смертью или перед страданием. Это был страх перед главным жизненным испытанием — выдержит ли он, справится ли? Страшно было по-разному — и по-серьезному и по-ребячьему. Сумеет ли он командовать в бою? Вдруг сорвется, задрожит голос, пискнет по-заячьему? Вдруг командир дивизиона крикнет: «Девчонка, маменькин сынок!» Вдруг он станет пригибаться и красноармейцы сострадательно начнут поглядывать на него? Пушки-то он хорошо знает — за это он не боится, вот если б себя знать.

Быстрые мысли о матери, о доме не вызывали в нем умиления и любви,— наоборот, он сердился на мать. Разве она не знала, что жизнь подведет его к этому часу? Зачем она баловала его, охраняла от тяжелой работы, дождя, мороза? Зачем были конфеты, печенье, новогодние елки? Надо было закаляться с первых дней жизни — ледяная вода, суровая грубая пища, работа на заводе, экскурсии в горы, мало ли что. Курить надо было научиться.

И он все поглядывал наверх, откуда несло тяжелое грохотанье и где ярко, бешено светило солнце. Где ему, робкому, теряющему от волнения голос, командовать сильными, побывавшими в боях людьми!

Толя постучал по крышке кабины и крикнул выглянувшему из оконца водителю:

— Товарищ водитель, отъезжайте в сторонку, сейчас вторую машину будем разгружать.

Он стал спускаться с грузовика,— в самом деле, ведь разгрузка и доставка снарядов важная, ответственная работа,— и увидел, как с откоса, прыжками, бежит сержант из штаба

дивизиона. Он громко кричал красноармейцам, подтягивающим в гору снаряды:

— Где лейтенант?

Через минуту он стоял перед Шапошниковым:

— Товарищ лейтенант, командира батареи только что с самолета пулеметной очередью ранило. Товарищ майор вам приказал принять командование батареей.

Толя взбирался по откосу, слушая задыхающуюся речь сержанта: у соседей пехота уже пошла, есть раненые в дивизионе, налетели истребители, бомб не бросали, но стреляли из пулеметов, в степи бело — столько немцы листовок с воздуха побросали, а немецкая передовая — километра четыре отсюда.

Толя, слушая его, глядел, как клубится красная пыль под ногами, оглянулся: Волга была внизу.

Они поднимались по крутому, скользкому от мха и мелких камешков холму: сержант впереди, нажимая ладонями на надколенники, чтобы веселей шли ноги, Толя следом. Казавшийся жестоким солнечный свет коснулся его лица, ударил ослепительно по глазам.

Он так и не понял, когда, в какой миг и отчего стал он спокоен и уверен. Случилось ли это тогда, когда он подошел к орудиям, чьи мощные и беспощадные стволы, прикрытые прядями сухой травы и плетями винограда, были обращены в сторону занятых немцами высот; тогда ли, когда он увидел радость на лицах красноармейцев — вот командир, теперь все будет хорошо; тогда ли, когда поглядел на степь, покрытую белой сыпью немецких листовок, и его поразила простая ясная мысль, что все ненавистное ему, смертельно враждебное его родине, земле, матери, сестре, бабушке, их свободе, счастью, жизни находится рядом, видимо, осязаемо и что в его силах бороться с этой вражьей ордой; или же тогда, когда, получив боевую задачу, он с внезапным задором, быстро, почти весело задумал смелый план — выдвинуть далеко вперед орудия, занять огневые позиции на гребне откоса: «Я левый край всего фронта, уперся в Волгу, я впереди всех, мой фланг прикрыт самой Волгой...»

Он так и не понял, как же случилось, что тяжелая неуверенность с такой простотой сменилась легким радостным чувством.

Никогда он не ощущал себя таким сильным, нужным людям, как в этот жестокий и страшный день. Да он и не знал, что может с такой решительностью идти вперед на риск, он не знал, что смелые, дерзкие решения радостно и весело принимать, что голос его может звучать так громко и уверенно.

Когда красноармейцы дружно выкатывали орудия на гребень волжского откоса, а лейтенант Шапошников указывал старшине, где устанавливать их, подъехал на «виллисе» подполковник из штаба дивизии. Он быстрыми шагами подошел к Шапошникову и спросил:

— Кто приказал так далеко выдвигать орудия?

— Я приказал,— ответил Шапошников.

— Вы что же, хотите к немцам в лапы попасть, прикрытия у вас нет.

— Нет, товарищ подполковник, я хочу, чтобы немцы в мои лапы попали,— ответил Толя.

И он коротко, в нескольких словах, показал, как удобно расположатся орудия на виноградном холме, прикрытые небольшой рощицей, защищенные с востока Волгой, с юга крутым обрывом, идущим к Волге, держа под огнем ту часть степи, по которой могут пойти немецкие танки.

— Вон за теми садами немцы сосредоточены, я господствую над ними, товарищ подполковник, прямой наводкой могу вести беглый огонь.

Подполковник, прищурившись, посмотрел на выбранные Шапошниковым огневые позиции, потом на овраг, тянущийся к Волге, потом на степь, где, пыля, врассыпную шла советская пехота и беспорядочно вздувались облачка разрывов немецких мин.

— Толково,— сказал он и, перейдя на «ты», спросил: — Что, лейтенант, с первого дня воюешь, видно?

— Нет, товарищ подполковник, мой первый день сегодня.

— Значит, родился артиллеристом,— сказал подполковник.— Связь с дивизионом не теряйте, где провод, не вижу?

— Я его велел по откосу провести, меньше шансов, что перешибут осколки.

— Толково, толково,— одобрил подполковник и пошел к машине.

Вскоре позвонил по телефону командир дивизиона и приказал Шапошникову не открывать огня до распоряжения, предупредил, что справа могут появиться танки противника, их надо сдерживать любой ценой, так как, прорвавшись, они устремятся в тыл всем перешедшим в наступление хозяйствам.

Слушая ответы командира батареи, майор вдруг усомнился в том, действительно ли Шапошников с ним говорил,— очень уж бодро звучал голос растяпистого лейтенанта. Не немец ли подключился?

— Шапошников, это вы на проводе?

— Я, товарищ майор.

— Вы кого замещаете?

— Старшего лейтенанта Власюка, товарищ майор.

— А вас как звать?

— Толя, то есть Анатолий, товарищ майор.

— Так, так, я как-то голос не сразу узнал. У меня все пока.

И, положив трубку, майор подумал, что лейтенант, видимо, хлебнул для храбрости.

Какой удивительный, какой бесконечно длинный и полный событиями был этот день! Казалось, об этом дне Толя мог бы рассказать больше, чем обо всей своей прошедшей жизни.

Величаво прозвучал первый залп батареи над Волгой. Это не был обычный артиллерийский залп, и все вокруг замерло, прислушиваясь; русская степная земля, огромное небо и синяя река подхватили пушечные выстрелы, стали множить их многоголосым эхо. Степь, небо, Волга вложили, казалось, свою душу в это эхо — оно гроыхало, торжественное, широкое, подобно грому, полное печали и угрюмого гнева, соединяя в себе несоединимое: бешенство страсти и величавое спокойствие.

Невольно артиллеристы притихли на миг, потрясенные и взволнованные, слушая рожденный их орудиями звук,— он грохотал в небе, то глухо гудел над Волгой, то перекатывал над степью.

— Батарея, огонь!

И снова Волга, степь, небо, теряя немоту, заговорили, зашумели, грозя, жалуясь, печалась, торжествуя, и голос их сливался с той угрозой, печалью и торжеством, которые жгли сердца красноармейцев.

— Огонь!

И батарея рождала огонь. В бинокль было видно, как серый дым застилал виноградники и деревья, как суетились серо-голубые фигурки и, словно потревоженные жуки и мокрицы, расплзались замаскированные в виноградниках и между молодыми тополями немецкие танки. Сверкнуло белое пламя, короткое, жесткое, прямое, и сразу же черные потоки дыма, крутясь, сливаясь, поползли над занятыми немцами садами, поднялись в небо, вновь тяжело опустились к земле, заволокли степь, и видно было, как вырывалось пламя, распарывая своим белым лезвием плотную дымовую пелену.

Скуластый наводчик-татарин оглянулся на Шапошникова и улыбнулся. Он ничего не сказал, но короткий, быстрый взгляд его выразил многое: и то, что он счастлив удаче, и то, что меткий огонь ведет не он один, а все товарищество артиллеристов, и что Шапошников хороший командир батареи, лучшего и не надо, и что нет на свете лучшей пушки, чем русская дивизионная.

Зазуммерил телефон; на этот раз уже Шапошников не узнал измененный волнением, радостный голос командира дивизиона:

— Молодец, умница, ты ему поджег склад горючего... Только что звонил командир дивизии, велел благодарность передать. Пехота пошла, есть продвижение, смотри не накрой своих.

По фронту от Волги до Дона атаковали немцев стрелковые полки Красной Армии, поддержанные артиллерией, танками, авиацией.

Пыль стояла над степью. Дым разрывов смешивался с пылью. Смешались грохот артиллерии, гудение танков, протяжное «ура» бегущих на немецкие позиции красноармейцев, командирские свистки, пронзительный вой пикировщиков, треск автоматов, сухие разрывы мин.

Одновременно с наземным сражением все шире разворачивались бои в воздухе. Бывали мгновения, когда земля замирала и тысячи глаз следили за стремительным бешенством воздушных схваток. Моторы истребителей ревели и выли, советские самолеты то взмывали вертикально в небо, то, подобные сверкающему ножу, устремлялись через всю ширь неба на шедших к полю битвы «юнкеров», врывались в зловещую карусель пикировщиков.

Над Волгой завязывались мгновенные схватки «Яков» и «ЛАГов» с «мессершмиттами» и «фокке-вульфами». Быстрота этих схваток была так велика, что глаз не успевал отмечать столкновений, мгновенных ударов и маневров, даже мысль не поспевала за бешеной скоростью сложнейших воздушных комбинаций, то возникающих, то разряжающихся напряжений. Скорость, быстроту, бешенство этих схваток, казалось, не могли породить сила моторов, летные качества самолетов, мощь тяжелых пулеметов и авиационных пушек — сердца советских юношей, летчиков-истребителей, их страсть, их боевое вдохновение определяли немыслимую скорость и смелость маневра самолетов, где в кажущемся безрассудстве и безумии проявлялся разум боя. Самолет, еще мгновение назад казавшийся трепещущей светлой точкой, затерянной в воздушном море, вдруг превращался в мощную ревущую машину, и люди на земле видели голубоватые крылья с красными звездами, цветное пламя пулеметных трасс и голову летчика в шлеме, а через мгновение машина, брошенная круто вверх, таяла в огромности воздушной толщи. Иногда радостный гул голосов проносился над степью, и пехотинцы, забывая об опасности, вскакивали, махали пилотками,

радуясь победе советского летчика, а случилось — протяжное, горестное «о-о-ох» вырывалось у сотен людей, когда из охваченного пламенем истребителя выбрасывался советский летчик и на вздувающийся хрупкий пузырек его парашюта накидывались «мессершмитты».

Удивительный случай произошел на батарее Шапошникова. Советский летчик-истребитель, потерявший ориентировку, принял батарею Шапошникова за немецкую; возможно, его смутило то, что пушки Шапошникова были выдвинуты значительно дальше на юг, чем остальные советские батареи. Пролетая над обрывом, самолет пустил очередь по скрытым среди тополей и виноградных холмов орудиям. Три «мессершмитта», заметив советский истребитель, отогнали его и стали барражировать над откосом. Больше двадцати минут кружили они над батареей. Когда же в баках вышло горючее, немецкие летчики, видимо, вызвали по радио себе смену, которая деловито и добросовестно кружила над батареей, зорко следя, чтобы никто не нанес ущерба замаскированным среди деревьев орудиям. Сперва артиллеристы не поняли, для чего над ними кружат немецкие самолеты, и опасливо поглядывали — вот-вот немцы обрушат осколочные бомбы и начнут сечь землю орудийными залпами и пулеметными очередями. Когда же лейтенант крикнул: «Товарищи, не демаскироваться, они нас за своих приняли, взяли под охрану», — среди красноармейцев поднялся такой оглушительный хохот, что казалось, немцы в воздухе услышат его.

Но и этот случай, который в другое время занял бы мысли на долгий срок и долго служил бы темой разговоров и смеха, вскоре был забыт и вытеснен напором новых боевых событий.

Успех стрельбы по немецким танкам и пехоте создал то настроение счастливого подъема, которое на фронте часто с резкой внезапностью сменяет состояние тревоги и подавленности. Видимо, не только немецкие летчики, но и наземные наблюдатели были обмануты тем, что батарея, находившаяся на гребне волжского откоса, выдвинулась так далеко вперед. Ее никто не засек, по ней не вели огня. И эта долгая удача и легкий бескровный успех способствовали настроению уверенности, насмешки и презрения к противнику, охватившему всех людей на батарее. Как всегда в таких случаях, люди бессознательно расширяли свой частный успех на все окружающее, и им казалось, что по всему фронту наступления дела идут превосходно, немецкая оборона прорвана, что с часу на час придет приказ продвигаться вперед, что через день-два армии, начавшие наступление северо-западнее Сталинграда, соединятся с защитниками города и общими силами погонят немцев на запад. И, как всегда в таких случаях, нашлись люди, якобы лично говорившие с лейтенантом либо раненым капитаном, пришедшим с того участка фронта, где немцы бегут без оглядки, бросая оружие, боеприпасы и «шнапс».

3

Вечером пришел час тишины. Толя Шапошников присел у телеграфного столба, наспех поел хлеба и консервов. Губы стали шершавые, словно не свои, и казалось, слышно, как шуршит сухой хлеб, касаясь пересохшего рта. Чувство изнеможения от пережитого за день было приятно. В ушах шумело, и слегка туманилось в голове от выстрелов орудий. В памяти вспыхивали короткие слова команды, словно Толя продолжал выкрикивать их, щеки горели, и хотя он полулежал, спокойно прислонившись к телеграфному столбу, сердце билось быстро и сильно.

Он поглядел на песчаную полосу у воды: немыслимо короткий срок отделял его от часа, когда, охваченный смятением, стоял он там, внизу, в кузове грузовика. Сейчас его не удивляло, что первый боевой день был так успешен: он получил благодарность от командира дивизии, он уверенно и легко разбирался в быстро менявшейся обстановке, голос его впервые в жизни звучал громко и уверенно, люди слушали его команду, ловили каждое его слово. Оказывается, он не верил в свою силу, потому что не понимал ее и не подозревал ее. Сейчас он не удивлялся своему успеху — как же могло быть иначе? Ведь его сила,

способности, ум, воля — все это было в нем, они постоянно существовали в его мозгу, душе, он ведь не нашел их случайно, не воспользовался чужим, все это было его собственным, все это и было Толей, Анатолием Шапошниковым. Если уж удивляться, то тому, что вчера, и позавчера, и год назад, и сегодня утром он не знал этого.

Действительно, лейтенант Шапошников оставался самим собой. Если кому-нибудь кажется — знакомый человек внезапно изменился и преобразился,— то это неверно. Тот, кто по-настоящему знал и понимал человека, никогда не скажет, разведя руками: «Как внезапно изменился человек», а всегда скажет: «Внезапно изменились обстоятельства, и в человеке проявилось то, что и должно было проявиться».

И все же это всегда удивительно!

Толя Шапошников лежал под телеграфным столбом и представлял себе, как он пойдет с товарищами к девушкам в медсанбат и будет самым остроумным, самым веселым рассказчиком, затмит всех...

Надю спросят в школе: «Это о твоём брате сегодня писали в газете?» Виктор Павлович придет в институт, будет показывать газету сотрудникам...

А сестры в медсанбате скажут: «Вот вам и лейтенант Шапошников, а как танцует, а как остроумен...»

Если долго лежать под телеграфным столбом в степи, то услышишь музыку — очень разнообразную и сложную музыку. Столб наливается ветром и поет. Словно вскипающий самовар, он тихонько шкварчит, гудит, свистит, булькает. Столб аспидно-серый, продутый ветром, прожаренный солнцем, прокаленный морозом. Он как скрипка, струны в нем — провода. И вот степь завела себе такую скрипку, играет на ней. Хорошо лежать, прислонившись затылком к столбу, и слушать скрипку, дышать, думать...

Вечером Волга окрасилась в великое богатство красок, она стала синей, розовой и вдруг покрылась легкой жемчужной пылью, заблестела серым шелком. От воды шла вечерняя прохлада, покой, а степь дышала теплом.

Берегом, у воды, брели на север раненые в окровавленных бинтах, над шелковой, розовой водой сидели полуголые люди, стирали портянки, зорко просматривали швы на белье, рядом ревели тягачи, скрежеща по прибрежным камням.

— Во-о-оздух! — протяжно кричит часовой, а воздух, ясный, теплый, пахнет полынью...

Как хорошо жить на свете!

Едва стемнело, немцы перешли в наступление. Зловеще осветилась земля, и все вокруг стало неузнаваемо и страшно. Самолеты развесили высоко в небе огни; покачиваясь, как тяжелые медузы, висели они, немые, внимательные, загасив тихий свет звезд и месяца, подробно освещая Волгу, степную траву, овраги, виноградники и молодые тополи над береговым обрывом.

Угрюмо загудели в небе мощные «хейнкели», затарахтели итальянские воздушные таратайки «макки» {271}; заколебалась земля от бомбовых разрывов, дрогнул воздух от зловещего свиста тяжелых снарядов. Вскоре поднялись сигнальные цветные ракеты, в их зеленом свете степь и Волга окрасились ядовитым анилином, стали похожи на мертвый, раскрашенный макет из папье-маше, да и люди, их лица, руки вдруг стали картонными, неживыми. Станным казалось, что над землей, превратившейся в генштабовский макет, где уж не было холмов и долин, живой реки, а лишь занумерованные высоты, пересеченная с запада на восток местность, идущая с севера на юг водная преграда, по-прежнему стоял нежный, горький и

сладостный запах полыни.

Завыли моторы немецких танков, зашуршала в ковыле немецкая пехота.

Видимо, немцы сумели нащупать батарею Шапошникова, определили, что ее огонь будет мешать их продвижению. Снаряды стали рваться один за другим на виноградных холмах, слышались стоны раненых, люди забегали, ища укрытий. А в это время пошли немецкие танки, и голос лейтенанта вызывал людей из укрытий. Орудия открыли огонь. Жестоко заплатила батарея за легкий дневной успех. К огню немецкой артиллерии вскоре присоединились минометы. Они стреляли с холмов, расположенных по ту сторону оврага. Пулеметные очереди, как внезапный грозовой ливень, ударили по виноградникам. Свалился, срезанный снарядом, певучий телеграфный столб.

Толе Шапошникову казалось, что ночному бою не будет конца. Душная ночь рождала врагов. Протяжно свистели авиационные бомбы, и вся округа вздрагивала от взрывов, вновь и вновь подходили танки, стреляли из пушек, били из пулеметов, внезапные огневые налеты оглушали и ослепляли, поднимали тучи земли, листьев, мелких камней.

А через несколько минут вновь слышалось ноющее гудение бомбардировщиков...

Во рту пересохло, земля скрипела на зубах. Толе хотелось сплюнуть, избавиться от противного ощущения, но слюны во рту не было. Голос его стал хриплым, и мгновениями он сомневался — неужели это он кричит так сипло и басовито?

Яркий режущий свет в небе погасал, тьма становилась непроницаемо плотной, люди рядом угадывались по тяжелому дыханию. Белым пятном на черном фоне мутнела церквушка в Заволжье. А через минуту сухой, мертвый свет вновь разгорался над степью, и казалось, это от него першит в горле и пересыхает гортань.

Стрельба занимала все силы без остатка. Лишь одно чувство, одна смутная мечта жила в душе — додержаться до утра, увидеть солнце. И Толя Шапошников увидел его.

Оно поднялось над заволжской степью, над нежно-розовым, пепельным и жемчужным волжским туманом.

Юноша, широко открывая запекшийся рот, прокричал слова команды, и рев орудий, отбивших все ночные атаки немцев, приветствовал восход.

...Толе показалось, что земля в двух шагах от него ослепительно сверкнула, тяжелый кулак толкнул его в грудь, и он споткнулся о стреляную гильзу и упал. Он слышал, как чей-то голос кричал:

— Давай, санитар, сюда, лейтенанта ранило.

Он видел склоненные над собой лица красноармейцев и не мог понять, почему они смотрят на него с выражением жалости и заботы,— вероятно, они ошиблись, ранило не его, а какого-то другого лейтенанта, а он сейчас поднимется на ноги, отряхнет с себя пыль, спустится к Волге, умоется чудной, холодной и мягкой речной водой и вновь примет команду над батареей.

4

Возле шлагбаума контрольно-пропускного пункта на перекрестке степных дорог ожидали попутных машин несколько командиров и красноармейцев.

Каждый раз, когда вдали показывалась машина, все ожидающие, подхватив свои мешки, подходили к регулировщику, и он недовольным голосом говорил:

— Ну чего же вы снова в кучу сбиваетесь, ведь сказано было: всех посажу. Отойдите в сторону, нельзя работать.

Майор средних лет, в многократно стиранной, но опрятной гимнастерке, усмехался словам регулировщика с видом человека, много уже испытавшего в жизни и давно знающего, что учить вежливости кладовщиков продовольственных складов, иных генеральских адъютантов, писарей АХО и регулировщиков, сажающих в машины,— дело безнадежное.

На перекрестке был вбит большой столб со стрелками-указателями: «Саратов», «Камышин», «Сталинград», «Балашов».

Дороги казались одинаковыми, куда б ни был повернут указатель — на восток, на запад, на север, на юг.

Желтая пыль лежала на сухой, серой траве, коршуны сидели на телеграфных столбах, когтистыми лапами охватив белые изоляторы. Но люди, стоявшие у шлагбаума, знали различие дорог — той, что бежала на восток и на север, и той, что вела на юго-запад и к Сталинграду.

У шлагбаума остановился грузовик, в кузове его сидели раненые, обвязанные потемневшими от пыли бинтами с проступающими черными пятнами высохшей крови.

Регулировщик сказал майору:

— Садитесь, товарищ майор.

Майор закинул в кузов мешок, стал ногой на колесо и полез через борт. Когда грузовик тронулся, майор махнул рукой оставшимся случайным спутникам своим — капитану и двум старшим лейтенантам, с которыми недавно лежал на траве, ел хлеб и рыбные консервы и которым показывал фотографии жены, дочери и сына.

Он оглядел новых спутников — серых от пыли, бледных от потери крови красноармейцев — и, позевывая, спросил одного с рукой на перевязи:

— Под Котлубанью?

— Точно,— ответил раненый,— вели нас по передовой, ну он и обрадовался, давай молотить.

— А нас по-над Волгой,— сказал второй раненый,— народу покалечило! Ребята говорили — ночью бы надо подойти, а так по степу ему ж все видно. Думали — конец, никто не поднимется.

— Минами немец бил?

— Ну а чем же? Ясно. У него миномет отвратительный.

— Что ж, теперь отдыхать будете,— сказал майор.

— Да нам что,— сказал раненый и, указав на лежащего на соломе человека, добавил: — Вот лейтенант отвоевался.

— Надо бы его удобнее положить,— сказал майор.— Санитар!

Лежащий посмотрел прямо в глаза майору долгим взором, страдальчески поморщился и снова закрыл глаза.

Он лежал со строгим лицом, с запавшими щеками, с плотно сошедшимися, слипшимися

губами. Лицо его показывало, что он не хочет смотреть на свет, что ему не о чем говорить, что ему нечего спросить. Ему уж не было дела до пыльной огромной степи и до сусликов, перебегающих дорогу, его не интересовало, скоро ли привезут его в город Камышин, покормят ли горячим, можно ли отправить из госпиталя письмецо, наш или немецкий самолет гудит в воздухе.

Он лежал и угрюмо следил, как остывало внутри него тепло жизни — единственной драгоценности, принадлежавшей ему и утерянной им на веки веков.

О таких людях, хотя они еще дышат и стонут, санитары говорят:

— Этот уже готов.

Ночью немцы налетали на Камышин, и раненые с беспокойством оглядывали дома с вышибленными оконными рамами, жителей, смотревших все время вверх, блестящую стеклом мостовую, ямы, вырытые упавшими с неба тридцатипудовыми бомбами, которые немцы нацеливали с верстовой высоты на маленькие домики под зелеными и серыми крышами.

Раненые волновались и говорили, что хорошо бы сразу, не останавливаясь здесь, сесть на пароход и поехать в Саратов. Они бережно подносили свои обвязанные руки и ноги к борту, точно это были дорогие, очень ценные, не им принадлежащие предметы, и спускались вниз, кряхтя и охая, доверчиво глядя на подходившего военного врача в куцем белом халатике с короткими рукавами и в кирзовых сапогах.

Майор, слезая с грузовика, оглядел тяжелораненого. Тот лежал с железным темным лицом и снова посмотрел глубоким взором прямо в глаза майору.

Майор махнул рукой своим случайным спутникам и пошел по центральной улице.

«Почему-то умирающие всегда в глаза смотрят», — подумал он.

Он шел не торопясь, оглядывая дома, скверики охваченного военной тревогой городка, и вспоминал, что жена его училась тут в гимназии. И ему стало грустно от мысли, что по этим улочкам когда-то худенькой девочкой с длинной тонкой косой, обмотанной вокруг головы, ходила его Тома и что за ней ухаживали тут гимназисты и, наверно, назначали ей свидания в этом садике над Волгой, где теперь толпились беженцы, щетинились в небо зенитные пулеметы, а раненые в серых халатах с возбужденными, озорными лицами меняли хлеб и сахар на водку и самосад.

Потом он вспомнил, что ему следует получить по продовольственному аттестату продукты, и спросил регулировщика, где находится продпункт.

— Не знаю, товарищ майор, — ответил регулировщик и махнул флажком.

— Так-с, — сказал майор, — а где расположен комендант?

— Не знаю, товарищ майор, — ответил регулировщик и, чтобы обезопасить себя от сердитого замечания, добавил: — Мы тут недавно, ночью только пришли.

Майор пошел дальше. Его опытный армейский глаз определил, что, очевидно, несколько часов назад в город пришел корпусной или армейский штаб.

Возле домика с колоннами стоял автоматчик, а у калитки несколько командиров, ожидавших пропусков, оглядывались на плавно идущую официантку, подпиравшую своей высокой грудью поднос, прикрытый белой салфеткой.

Щеки официантки были румяны и круглы, икры ее сильных больших ног белы, глаза черные, дерзкие, веселые.

— Да-а-а,— протяжно сказал майор. И все командиры в зеленых пилотках и пыльных сапогах, обвешанные планшетами и полевыми сумками, услышав это многозначительное «да-а-а», улыгнулись.

Майор шел по улице. Из-за фруктовых деревьев в саду видна была мачта рации, слышался четкий стук движка, связисты, оглядываясь, тянули провода. Возле облупившегося малинового здания с наполовину выбитыми пыльными стеклами и с вывеской над входом «Кино „Коминтерн“» стояли тяжеловесные машины-фургоны, и капитан в роговых очках, размахивая руками, кричал на шоферов.

Майор сразу понял, что это типографская техника армейской газеты. Больше того, он по многим признакам определил, что армия эта пришла из резерва, никогда в боях не была. Он понял это и по нервозной суетливости людей, и по их новому обмундированию, и по тому, что штабные командиры лихо носили на плече совершенно ненужные им здесь автоматы с тяжелыми патронными дисками, и по тому, как были тщательно камуфлированы грузовики, и по тому, как шоферы, часовые, командиры, связисты все время посматривали на синее августовское небо.

Майор, вначале оробевший от близости большого начальства, почувствовал себя весело.

Он со снисходительным спокойствием и с чувством превосходства оглядывал пришедших из тыла.

Майор воевал летом 1941 года в лесах Западной Белоруссии и Украины, прошел через испытания первых дней войны и знал все и видел все. Все рассказы о войне майор, человек молчаливый и скромный, выслушивал с тихой сдержанной улыбкой, теша себя мыслью: «Эх, братцы, о том, что я знаю, не расскажешь и не напишешь».

И только встретив такого же, как он сам, все испытавшего и через все прошедшего тихого и застенчивого майора и сразу узнав его по тысяче ему одному известных примет, затевал с ним сердечный разговор.

[— Э, а помните вы генерала Н., который в мундире, при орденах, шел из окружения и вел на веревке козу? Его на болоте два лейтенанта спросили: «По азимуту идете?» Он махнул рукой и говорит: «Да какой там компас, коза выведет».]

Майор вышел на обрыв над Волгой и сел на зеленую скамейку. Он считал, что торопиться в военном деле не следует, война ведь не на месяц и не на два. Он никогда не забывал пообедать, любил посидеть на солнышке с трубочкой, предаваясь воспоминаниям и тихой грусти; в дороге пропускал чрезмерно перегруженные составы и, становясь на ночевку, отыскивал квартиру с приветливой хозяйкой, у которой кстати была бы корова. Козьего молока майор с детства не любил.

День стоял жаркий и безветренный. Волга была видна на многие версты, сияла под ясным полновесным солнцем. Было очень жарко, и даже от скамейки, от крыш домов, от темных бревенчатых стен, от булыжника мостовой, от пыли, лежавшей на выгоревшей траве, шел запах, словно старое мертвое дерево, камень, жесть, сухой прах земли потели как живые. Левый берег, поросший ивами и камышом, был хорошо виден — светлый, должно быть, необычайно горячий песок украшал его, и малюсенькие военные люди тяжело брели от переправы по этому песку. Тут бы голышом полежать и — в воду: поплавать полчаса, а потом залечь в тени и пить пиво из бутылок, опущенных на веревочках на дно холодного ключика.

А даль казалась чуть туманной, словно в голубоватый воздух осторожно капнули молока. Волга текла неторопливая, большая к Луговой Пролейке, к Дубовке, Сталинграду, к Райгороду, к Астрахани. Казалось, ей грустно и она утомлена пышностью этого горячего августовского дня. Волга ведь знала, что торопиться ей некуда.

Майор оглянулся, нет ли поблизости высшего начальства, и тихонько расстегнул три пуговики на своей гимнастерке.

«Дынь и арбузов тут много,— подумал он,— сходить бы на базар, да неловко менять на сахар. На деньги ведь колхозники не любят продавать. Эх, Томочки тут нет, она бы это дело устроила».

Он с печалью подумал о семье, пропавшей без вести в пограничном городке, вынул из кармана карточку и долго смотрел на нее.

Мимо проходил босой мальчишка с сиреневой латой на брезентовых штанах.

— Эй, мальчик, подойди-ка сюда,— позвал его майор. Мальчик, как всякий тринадцатилетний человек, у которого на душе всегда есть несколько грехов, остановился и недоверчиво смотрел на майора.

— Ну, чего? — спросил он.

— Как бы купить арбуз, а? — приветливо сказал майор.

— На табак,— ответил мальчик и подошел к майору.— Полпачки.

— Ну что ж, давай. Ты притащи его сюда, только смотри, чтобы косточки черные, у меня табак знаешь какой!

— «Боомское ущелье» {272}, верно. Я сейчас, товарищ майор.

Мальчик пошел по тропинке, а майор вынул кисет, аккуратно нарезанную папиросную бумагу, исписанную фиолетовыми цифрами, свернул толстую папиросу, продул прозрачный мундштучок, сделанный из авиационного стекла, поглядел на свет в дырочку и закурил.

«Ох, ох, ох, камушек на исходе»,— озабоченно подумал он, пряча в карман зажигалку.

В это время проходивший по дорожке румяный и полнолицый техник-интендант 2-го ранга вдруг остановился и посмотрел на майора. Он сделал шаг вперед, но снова оглянулся.

— Извините, товарищ майор, ваша фамилия не Березкин? — И тут же, вскрикнув: — Иван Леонтьевич, ясно! — подбежал к майору.

— Постой, постой,— произнес майор,— ну точно — Аристов, сколько же это я тебя не видел? Ты ведь у меня начальником хозчасти был.

— Точно, Иван Леонтьевич, одиннадцатого февраля сорок первого года был откомандирован в распоряжение Белорусского военного округа.

— А теперь где воюешь?

— Я, товарищ Березкин, теперь начальник продотдела армейского, все время в резерве были.

— О, брат ты мой, начальник продотдела,— сказал майор и внимательно посмотрел на Аристова.— Садись, чего ж стоять, закуривай.

— Ну, что вы, зачем крутить — пожалуйста папиросу.— И Аристов, смеясь, спросил: — А помните, как гоняли меня в Бобруйске, когда не запрашивал сено, что в колхозе взял?

— Ну как же,— сказал майор,— помню.

— Вот было время, вот была жизнь,— сказал Аристов.

Майор посмотрел на его щеки и подумал, что Аристову и теперь неплохо живется. Он был одет в габардиновый костюм, на голове была щегольская защитная фуражка, на ногах — отменные сапожки.

И все предметы, принадлежащие ему, были хороши: зажигалочка с сиреневой аметистовой кнопкой, ножичек в замшевом чулочке — Аристов вынул его из кармана и, поиграв им, снова спрятал,— хорош был и планшетик необычайно добротной красной кожи, висевший на боку.

— Пойдемте ко мне,— сказал Аристов,— у меня квартира тут рядом, прямо два шага.

— Мне надо мальчишку подождать,— сказал Березкин,— я его снарядил арбузик принести, на полпачки табаку выменять.

— Что вы, ей-богу,— с возмущением сказал Аристов,— нужен вам мальчишка этот.

— Ну, неловко же, условились, лучше минуточку подожду,— сказал майор.

— Да пойдемте, съест он этот арбуз за ваше здоровье.

И Аристов подхватил зеленый майорский мешок.

Майору за его долгую военную жизнь приходилось не раз обижаться на АХО и военторги.

— Ох, Иванторг,— любил говорить он и покачивать головой.

Но надо сказать, шел он сейчас за Аристовым не без удовольствия.

По дороге он рассказывал свою историю. Воевать он начал на границе в пять часов утра 22 июня 1941 года. Он успел вывести свои пушки и даже прихватить две оставленные соседом батареи стопятидесятидвухмиллиметровых орудий и несколько грузовиков с горючим. Шел он через болота и леса, дрался на сотнях высоток, на десятках больших и малых речек, под Брестом, Кобрином, под Бахмачом, Шосткой, Кролевцом, под Глуховом и хутором Михайловским, под Кромами и Орлом, под Белёвом и под Чернью. Зимой воевал он на Донце, наступал на Савинцы и на Залиман, прорывался на Чепель, наступал на Лозовую.

Потом его ранило осколком, потом его лечили, потом снова ранило, но уж не осколком, а пулей, теперь он нагоняет свою дивизию.

— Така работа,— сказал он и усмехнулся.

— Иван Леонтьевич,— спросил Аристов,— как же это вы столько воевали и ничего такого? — и он указал на грудь выцветшей, словно поседевшей гимнастерки Березкина.

— Э-э-э,— протяжно сказал майор,— четыре раза представляли, а пока представят, заполнят наградные листы, меня в другую армию переведут. Я вот никак подполковника не получу, тоже, пока надумают аттестовать, меня на новое место переводят. Известная вещь мотострелковая часть — цыганам по фронту. Нынче здесь, а завтра там. Така работа.— Он снова усмехнулся и притворно-равнодушно сказал: — Мои все приятели, которые училище со мной в двадцать восьмом кончили, теперь дивизиями командуют, дважды, трижды

орденоносцы, а один, Гогин Митька, тот уже генерал, в Генштабе, что ли, к нему теперь: «Ваше приказание, товарищ генерал, выполнено, разрешите идти!» Лапу к уху, повернулся и пошел. Солдатское дело, така работа.

5

Они вошли в чистенький дворик, и красноармеец с заспанным лицом, торопливо оправляя смявшуюся гимнастерку и отряхивая солому, прилипшую к брюкам, лихо приветствовал их.

— Спишь? — сердито сказал Аристов.— На стол накрывай.

— Есть! — крикнул красноармеец и, взяв из рук Аристова мешок, пошел в дом.

— Вот, черт, первый раз вижу толстого бойца,— сказал майор.

— Жук он,— сказал Аристов с уважением,— в АХО писарем был, требования выписывал, но оказался повар мировой. Переводить будем в столовую Военного совета, испытываю его теперь.

В проходной полутемной комнатке с дощатыми стенами, выкрашенными по волжскому обычаю голубой масляной краской, их встретила хозяйка — приземистая, плечистая старуха с седеющими усиками.

Она хотела поклониться гостю, но так как была очень мала ростом и очень широка, поклониться ей не удалось, и ее словно шатнуло вперед.

Здороваясь с хозяйкой, майор вежливо козырнул и оглядел покрытый вышитой скатертью стол, кусты китайской розы, двуспальную кровать, закрытую опрятным белым одеялом.

Он вынул из полевой сумки мыльницу, полотенце и попросил хозяйку слить ему воды на руки.

— Как же ваше имя и отчество, мамаша? — спросил Березкин, сняв с себя гимнастерку и намыливая крепкую, красную шею и лысеющую бритую голову.

— Вот до сих пор звали Антониной Васильевной,— протяжно, певуче ответила старуха.

— И дальше так будут звать, Антонина Васильевна, поверьте уж мне,— сказал майор.— Лейте, лейте, не бойтесь.

Он зафыркал, зафукал, заохал, закряхтел, нежась от удовольствия, подставляя голову под холодную струю воды, хлопая себя ладонями то по щекам, то по затылку.

Потом он прошел в комнату и сел в кресло, полуприкрыв глаза, молчал, охваченный внезапным чувством покоя и уюта, которое с особой силой приходит к военным, вдруг попавшим из пыли, ветра, шума, вечной полевой жизни в мирный полумрак человеческого жилья.

Аристов тоже молчал. Вместе наблюдали они, как накрывал на стол толстый боец.

Старуха принесла большую тарелку крепеньких коралловых помидоров.

— Ешьте на здоровье. А скажите, товарищи начальники, когда оно, горе, кончится?

— Вот разобьем немца, тогда и кончится,— зевая, сказал Аристов.

— Тут у нас старичок есть один,— сказала Антонина Васильевна,— по книге гадает он, потом петухи у него — один черный, другой белый, они у него дерутся, и по тому, как Волга весной

разливалась, по всему, словом, говорит этот старичок, выпадает, что двадцать восьмого ноября войне конец.

— Вряд ли он знает,— сказал боец, ставя на стол бутылку водки.

Майор, с детской улыбкой глядя на водку и тарелки с закусками — были тут грибы маринованные, и холодная баранина, и студень,— сказал:

— Вы, Антонина Васильевна, этим старичкам шарлатанам не верьте. Они больше всего курами да яичками интересуются.

— Мне вот шестьдесят четвертый год пошел,— проговорила Антонина Васильевна.— Отец мой восемьдесят четыре года жил, а отца отец — девяносто три, и все мы коренные волжские люди, но не помним, чтобы немца или француза пускали до волжской воды. А вот этим летом пустили его, дурачки, до коренной земли. Говорят — техника какая-то у него, самолеты очень тяжелые против наших; будто у него еще порошок такой есть, насыпет в воду — и в машины заливает вместо бензина. Не знаю я. Вот только утром на базаре из Ольховки старуха одна приезжала, муку меняла и говорила, будто у них в избе пленного немецкого генерала держали, так он прямо всем говорит: «У меня такой приказ от Гитлера, возьмем Сталинград — вся Россия наша будет, а не возьмем — обратно к своей границе вертаться станем». А вы как считаете? Сдадим Сталинград или удержим?

— Нет, будь уверена, не сдадим,— сказал Аристов.

— Дело военное,— сказал майор,— тут трудно наперед гадать. Постараемся, конечно, Антонина Васильевна.

Аристов хлопнул рукой по лбу:

— Да у меня ведь завтра идет к фронту машина. С ней едет подполковник Даренский из штаба фронта, он в кабину сядет, а сзади только два человека — мой кладовщик и лейтенант, мальчик, из школы едет, просили его подбросить. Вы у меня заночуете, а утром они прямо заедут за вами.

— Вот чудесно,— сказал майор,— вот чудесно, это я знаю — к фронту всегда раньше срока попадешь.

Они сидели несколько минут молча — состояние, хорошо знакомое всем готовящимся выпить: говорить уже хочется о вещах в некотором роде сокровенных, до выпивки разговор этот не клеится, и потому собутыльники благоразумно ждут первой рюмки, когда можно будет приступить к настоящей беседе.

— Готово, товарищ начальник,— сказал боец.

Майор подсел к столу, оглядел его и с весельем произнес:

— Ох и молодец вы, товарищ лейтенант!

Он хотел польстить Аристову и его звание техника-интенданта перевел на строевое. Майор Березкин знал политичное обращение, неписанные армейские законы. Если подполковник командует дивизией, то политичные подчиненные никогда не обращаются к нему: «товарищ подполковник», а всегда «товарищ командир дивизии»; если капитан командует полком, то к нему обращаются: «товарищ командир полка». Ну конечно, обратно, если человек с четырьмя шпалами командует полком, то все обращаются: «товарищ полковник» и уж никогда не скажут: «товарищ командир полка», чтобы не подчеркнуть досадного несоответствия между званием и должностью.

Майор посмотрел на Аристову и сказал:

— Слушай, ты мою жену и ребят помнишь?

— Ну конечно, в Бобруйске вы ведь на первом этаже жили в доме начальствующего состава, а я во флигельке — каждый день их видел. Супруга ваша с кошелкой синей ходила на базар.

— Точно, с синей. Это я ей во Львове купил,— сказал майор и сокрушенно покачал головой.

Ему хотелось рассказать Аристову о своей жене, о том, как они купили за день до войны зеркальный шкаф, как жена хорошо готовила украинский борщ и какая она была образованная — брала много книг в библиотеке и знала по-английски и по-французски. Ему хотелось рассказать, каким хулиганом и драчуном был старший, Славка, и как он пришел и сказал: «Папа, выпори меня, я кошку укусил!»

Но хозяин, перебив Березкина, заговорил сам.

К таким людям, каким был его бывший начальник, Аристов относился со сложным чувством снисходительного, насмешливого недоумения перед святой деревенской простотой и жизненной неумелостью их, а с другой стороны,— со страхом и уважением. «Эх, брат ты мой,— думал он, оглядывая выцветшую гимнастерку и кирзовые сапоги майора,— эх, брат ты мой, отвоевал бы я хоть ноль целых две десятых того, что ты, я бы здесь не сидел. Я бы... Уох! Я бы...»

И он, угощая майора, сам завладел разговором:

— Командующий курит трубку,— есть, товарищ генерал, «Золотое руно»! Дня не сидел без «руна»! Начальник штаба болеет язвой, состоит на диете. Есть, товарищ начальник, диета,— удивляется даже. В степи ни колхозов, ни совхозов — получает полную молочную диету! «Где ты берешь сметану, опасный человек?» — спрашивает. Вызвал меня специально, интересовался. В чем же главная суть? Будем ждать по нарядам, пока доставят, ничего не дождешься. А тут нужна инициатива, размах большой, смелость. Вот завтра гоню машину в Сталинград — ясно, винный завод, после пожара, эвакуация, всего не вывезешь. А ждать, пока привезут,— ничего никогда не дождешься. А если тебе что-нибудь нужно, пожалуйста, я такой человек — бери, оформлю, не пожалею, машины дам, на риск пойду. Но уж если мне нужно, давай, как первый друг дает. И меня знают люди и говорят: «Аристову слово крепче всех нарядов и накладных». — Он посмотрел на собеседника и спросил: — Может, пива, товарищ майор?

— Ты, я вижу, себя в общем не ущемляешь,— сказал майор, показывая на стол.

— Я себе ничего не позволяю,— ответил Аристов. И он поглядел своими ясными голубыми глазами прямо в глаза Березкину.— Ни в какой мере! Для себя — нет! Я ведь живу у всех на виду: тут и комиссар штаба, я от него не хоронюсь!

Майор выпил и покачал головой:

— Хороша!

Он начал было ощупывать помидоры, выискивая достаточно зрелый, но не вошедший в мягкость, и смутился, с печалью вспомнив про жену — она всегда была недовольна, если он щупал помидоры или огурцы, лежавшие на общем блюде.

В это время зазуммерил полевой телефон, установленный на комод.

Аристов взял трубку:

— Техник-интендант второго ранга Аристов слушает.

Очевидно, говорило высокое начальство, так как во время разговора Аристов стоял прямо, с напряженным лицом и левой рукой поправлял гимнастерку, счищал крошки еды. С его стороны весь разговор заключался в том, что он четыре раза произнес: «Есть, есть, есть... понятно, есть...» Он положил трубку и сразу кинулся к фуражке.

— Извините, вы тут ешьте, ложитесь отдыхать, если хотите, меня вызывают по срочному делу...

— Ладно, пожалуйста,— сказал майор,— только насчет машины давай не забудем.

— Сделаем, сделаем,— и Аристов кинулся к двери.

Майор находился на том градусе, когда человеку совершенно немыслимо оставаться без собеседника. Он подошел к двери в маленькую комнатку, где сидела хозяйка, и позвал:

— Мамаша, а мамаша, пойдите-ка сюда.

Старуха вышла к нему.

— Садитесь, Антонина Васильевна,— пригласил майор,— может быть, рюмочку выпьете со мной за компанию?

— Можно,— ответила старуха,— с удовольствием. Это раньше, знаете, считалось бог весть что. Тоска-то какая!

Она выпила рюмку, закусила помидором.

— Ну как он вас тут, бомбит? — начал разговор Березкин так же, как тысячи майоров, лейтенантов, бойцов начинали разговор со старыми и молодыми женщинами в фронтовых деревнях и городах.

Она ответила ему так же, как отвечали тысячи старух и молодых на этот вопрос:

— Бомбит, бомбит, дюже бомбит, милый.

— Что ты скажешь,— сокрушенно произнес майор и спросил: — А вы не помните, мамаша, в старое время тут у вас в Камышине проживал такой Сократов?

— Ну как же, господи, не помнить,— сказала старуха,— мой ведь старик рыбачил, и я всегда рыбу им носила.

— И семейство его знали?

— Знали, конечно, знали, сама-то хозяйка еще в ту войну умерла, а дочери у них — Тамара — та помоложе, а Надя, старшая, болела все — за границу ездили с ней.

— Скажите пожалуйста, скажите пожалуйста,— сказал майор.

— А вы здешний, знаете их? — спросила Антонина Васильевна.

— Нет, я их не знаю,— подумав, сказал майор.

Старуха выпила вторую рюмку, налитую майором.

— Дай вам бог живым домой вернуться,— проговорила она и вытерла губы.

— Ну а как, что за люди были? — спросил майор.

— Это кто же?

— Сократов этот самый.

— О, он вредный был. Его тут все боялись. Генерал настоящий, не дай бог прямо. А она душевной женщиной была, и пожалеет, и расспросит, многим даже помогала, и в приюте сиротском всегда от нее подарки богатые были.

— А дочки, верно, в нее пошли характером, не в отца? — спросил майор.

— Дочки да, дочки тоже хорошие были, обе худенькие такие, простенькие, платьица на них коричневые, гулять ходили по Саратовскому проспекту или на Тычок, над Волгой садик у нас такой был.

Она вздохнула и сказала:

— Тут кухарка их старая жила, Карповна, по соседству с нами, ее убило в прошлое воскресенье, когда днем налетел он. Шла с базара, меняла платок на картошку, и прямо около нее бомба упала. Карповна эта про них все рассказывала. Надя померла в революцию, а младшенькую на службу нигде не брали, в союз не принимали, а потом нашелся будто хороший человек такой, из простых совсем, плотником он, что ли, раньше был.

— Вот оно что,— сказал майор,— плотником?

— Вот видишь. И будто женился он на ней и имел неприятности, ему товарищи советовали: «Брось ты ее, мало, что ли, в России девок да баб», а он ни в какую: «Я ее полюбил, и все тут». А потом уж они хорошо жили, спокойно, и дети у них стали.

— Что ты скажешь,— говорил майор,— что ты скажешь.

— Да, теперь жизнь рассыпалась,— продолжала хозяйка,— народу-то, народу пропало! На старшего сына я похоронную получила, а младший вот уж год не пишет,— считают, без вести пропал. [Вот так и живу, то на базаре меняешь, то около военных постояльцев кормишься.]

— Да, кровь наша льется,— сказал майор.

Он отсел от стола к окну, вынул из полевой сумки белую металлическую коробочку, разложил на коленях полный портновский набор и стал выбирать нитку по цвету, чтобы залатать продравшийся в дороге локоть гимнастерки. Шил он умело и быстро, каждый раз, прищурившись, оглядывал свое творчество.

— Ох и ловок ты шить, сынок,— сказала старуха, переходя с майором на «ты».

Без гимнастерки этот человек в опрятной рубаше, с лысеющей головой, с серо-голубыми глазами, с немного скуластым загорелым лицом очень был похож на волжского рабочего, и ей неловко и обидно показалось говорить ему «вы».

— Шить я умею,— с улыбкой вполголоса сказал он,— надо мной в мирное время товарищи смеялись, говорили: «Наш капитан — портниха». Я могу покроить, и на машине прострочить, и детское платье могу сшить.

— Что ж, ты до службы портным был?

— Нет, я с двадцать второго года солдат.

Он надел гимнастерку, застегнул воротничок и прошелся по комнате.

Старуха, вновь переходя на «вы», сказала:

— Я вас вполне вижу, настоящего человека сразу понимаю, на ком держава стоит, кем держится.— И, хитро прищурившись, шепотом сказала: — А вот этот приятель ваш, это уж воин. Такой разве понимает? Для него все государство на спиртах стоит. Что государство, что контора — одно слово.

Майор рассмеялся и сказал:

— Ох, мать, умна ты, видно.

Она сердито сказала ему:

— Нешто дура?

Майор вышел погулять по улице, прошел к домику напротив и спросил у девчонки, развешивающей на веревке желтое солдатское белье:

— Где тут Карповна жила, старуха?

Девочка оглянулась и сказала:

— Нету. И квартира заколочена, и вещи ее в деревню невестка повезла.

— А где тут Тычок? — спросил майор.

— Тычок? — переспросила девочка.— Не знаю такого.

Он пошел дальше и слышал, как девочка за его спиной смеялась и объясняла кому-то:

— Карповну спрашивает, за наследством жених приехал. И еще «тычок» какой-то.

Майор прошел до угла, вынул фотографию из кармана гимнастерки, посмотрел на нее, потом послушал тонкие жалобные голоса гудков, вещавшие о новом налете немцев, и пошел обратно на квартиру отдыхать.

Ночью пришел Аристов, он подошел к Березкину и спросил, светя ему в лицо электрическим фонариком:

— Отдыхаете?

— Нет, я не сплю,— ответил майор.

Аристов наклонился к Березкину и зашептал:

— Ну и гонка мне была, завтра генерал армии из Москвы прибывает на «Дугласе», подготовлял все к приезду.

— О-о, шутка ли,— сочувственно сказал майор,— шутка ли, ты бы все ж и мне продукты кое-какие устроил на дорогу.

— Машина в девять утра сюда за вами заедет,— сказал Аристов.— Насчет продуктов будьте спокойны. Не такой я человек, чтобы старого начальника не уважить.

Он стал стаскивать сапог, застонал, завозился, затих.

За перегородкой слышалось не то всхлипывание, не то вздох.

«Что такое, что за звук такой,— подумал майор и сообразил: — А, это хозяйка».

Он поднялся, подошел в носках к двери маленькой комнаты и строго спросил:

— Ну, чего плакать, а?

— Тебя жалею,— сказала старуха,— одного похоронила, второй не пишет. А сегодня тебя увидела, жалею — в Сталинград едешь, а я знаю, там крови будет... хороший ты человек.

Майор смутился и долго молчал, потом он походил по комнате, повздыхал и лег на постель.

6

Подполковник Даренский возвращался после лечения в тылу в резерв штаба фронта.

Лечение не принесло ему пользы, и он чувствовал себя не лучше, чем перед отпуском.

Его тревожила мысль о возвращении в резерв, где ждало его тяжелое ничегонеделание.

Даренский остановился в Камышине, куда накануне пришел штаб выходившей из резерва на фронт армии. В штабе артиллерии нашелся знакомый, обещавший устроить Даренского на попутную машину, которая утром должна была пойти левым берегом Волги к Сталинграду.

После обеда Даренский, как это часто с ним бывало, почувствовал признаки начинающегося приступа желудочных болей и отправился на квартиру. Он лег и попросил хозяйку согреть на керосинке воды и дать ему горячую бутылку. Приступ оказался слабым, но все же уснуть он не мог. К нему постучался адъютант его приятеля Филимонова, заместителя начальника штаба артиллерии, и предложил зайти к полковнику.

— Передайте Ивану Корнеевичу,— сказал Даренский,— что у меня приступ, не смогу прийти. И напомните ему, пожалуйста, о машине на завтра.

Адъютант ушел, а Даренский лежал с закрытыми глазами, прислушивался к разговору женщин под окном. Женщины осуждали некую Филипповну, пустившую ядовитую сплетню, будто Матвеевна поссорилась со своей соседкой Нюрой «через старшего лейтенанта».

Подполковник морщился от боли и скуки. Чтобы развлечься, он представлял себе фантастическую картину, как войдут к нему начальник штаба и командующий, сядут возле постели и станут трогательно и заботливо расспрашивать.

«Ну как, Даренский, дорогой, что ж это ты,— скажет начальник штаба,— даже побледнел как-то».

«Надо врача, обязательно врача,— пробасит командующий, оглядит комнату и покачает головой: — Переходи ко мне, подполковник, я велю вещи перенести, чего тебе здесь валяться, у меня веселей будет».

«Что вы, это все пустое, мне бы только завтра утром выехать».

[Его ведут под руки командующий и начальник штаба, сзади адъютанты несут его чемодан и вещевой мешок. А навстречу им попадают люди, когда-то вредившие и досадившие Даренскому. Вот подлый человек, написавший на него донос. Вот Скурихин, который раскопал, что отец Даренского, инженер, автор учебника по сопротивлению материалов, имел звание действительного статского советника, и подложивший ему этим открытием, о котором сам Даренский забыл, немалую свинью. Вот старший инспектор жилищного отдела Моссовета, лысый еврей, отказавший ему в квартире и сказавший: «Ну, дорогой товарищ, у нас и не такие люди по два года очереди ждут».

А вот сегодняшней румяный техник-интендант из продотдела армии, отказавший ему в обеде

в столовой начальников отделов и давший ему талоны в общую столовую. Все они смотрят на сияющую орденами грудь командующего, который тревожно спрашивает, не тяжело ли Даренскому, удобно ли поддерживают его под руки генералы. Да, черт подери обидчиков, на лицах у них жалкие улыбочки. А балерина Уланова спрашивает: «Кто этот подполковник, он, видно, тяжело ранен, каким бледным кажется его смуглое лицо».]

Однако время шло, а генералы в комнате Даренского не появлялись. Зашла хозяйка и, оглянувшись, спит ли постоялец, стала перебирать глаженое белье, сложенное на столике швейной машинки.

Начало темнеть, настроение у подполковника совершенно испортилось. Он попросил хозяйку зажечь свет, и та сказала:

— Сейчас, сейчас зажгу, вот только маскировку раньше сделать надо, а то ведь налетит, антихрист.

Она завесила окна платками, одеялами, старыми кофтами так старательно, словно «юнкерсы» и «хейнкели», подобно клопам и мухам, могли пролезть в щели стареньких, разошедшихся рам.

— Давайте, давайте, мамаша, поскорей — мне работать надо.

Она пробормотала, что керосину не напасешь: и воду греть, и свет жечь.

Даренский сердился и обижался на хозяйку. Она, видимо, жила неплохо, имела кое-какие запасы, но была необычайно скупа — потребовала с Даренского за квартиру, а за молоко спросила такие деньги, что даже в Москве было оно дешевле.

И к тому же весь вчерашний день приставала, чтобы он дал ей грузовую машину съездить за семьдесят километров в деревню Климовку — привезти муку и дрова, запасенные осенью прошлого года. Откуда у него машина?

Он стал просматривать записи, сделанные им в начале войны.

[«Один вольнонаемный доказывал мне, что отступление Кутузова не стратегическое, а было вынужденным драпом. Может быть, потом и наше отступление обрядят в стратегические белые одежды. Все вдруг поумнели... Только и слышишь разговоры по стратегическим вопросам. Достается романистам, стихотворцам всяким, кинорежиссерам и кое-кому повыше... Один майор вчера в оперотделе потрясал в воздухе книжкой и спрашивал: „Вот так и воюем, как этот писатель предсказал: полный разгром немцев за первые десять часов...“ Читал про Гастелло — вот русская душа!.. Но раз мы выдержали такой удар, нам уж ничего не страшно... Франция — та за смертью упала и только ножками дрыгнула. А ведь Франция отобилизовала армию, заняла оборону, наступать собралась... Значит, слава нам. Нокаут не удался, по всему видно, русский выстоит...»

«Наблюдаю большую подавленность. Люди боятся ракет больше, чем снарядов. Все говорят об окружении, о ракетчиках, о немецких воздушных десантах, о мотоциклистах, проникших в тыл. Я верю, что эта мистика рассеется со временем и что наш солдат и наш командир еще покажут и немцу и всему миру, почем сотня гребешков!.. Песен нет! Красноармейцы равнодушны к женщинам. Кажется, только повара и штабные писаря не забыли, что они мужчины. Армия отступает молча. Слышал о добровольной сдаче в плен К. Помахал платочком. Вдруг вспомнил, как отца провожали на войну в 1915 году. Мама была в черной вуали, поехали на пролетке, извозчик — женщина... Прочел сегодня в одной армейской газете: „Сильно потрепанный враг продолжал трусливо наступать!“ Оригинальная формула... Что будет зимой? За десять недель они хотят справиться с Россией. Да никогда этого не будет, не верю! Но до чего ловко маневрируют, подлецы...»

«Прочел фельетон: ругают немецких офицеров, которые возят с собой в машине породистых собак... Не плохая штука, завидная самоуверенность!»

«Как ни верны разговоры о штыковых атаках, нужно другое, моторизованный маневр, танки, подвижная артиллерия!»

«Сегодня был приглашен к высокому столу — командира корпуса, тема за обедом одна: ругают командиров, боящихся окружения...»

«Куда нацелил танки Гудериан?.. Встреча с Клейстом?»

«Красноармейцы идут пешком, а пленных везут на машинах. Остановил машину, велел пленным топтать пешком. Они совершенно искренне удивились, убеждены, что «высшая раса» в плену должна ездить, а русские, взявшие их в плен, пешком ходить. Ох, немцы, немцы...»

«Убежден, что старая русская армия рухнула бы вместе с царским режимом от таких ударов. А мы выдерживаем — значит, выдержим, значит, победим!»

«Вот и вспомнил Александра Невского, Суворова, Кутузова... Ах, жил бы папа!..»

Он отложил тетрадь и подумал:

«Умный я, ей-богу, умный!»]

Чувство обиды поднялось в нем при мысли о несправедливом снятии с должности. «За что в резерв,— думал он,— за то, что я был прав, правильно оценивал обстановку, когда эта оценка не была нужна Быкову? Эх, где-то мой защитник, полковник Новиков? Выходит, мол, ошибка в том, что я был прав. Нет уж, я не такой, я ценность человека понимаю с первого взгляда, людей понимаю и умею ценить».

[Ему вспомнился 1937 год, вспомнилось время, проведенное в заключении, ночные допросы, следователь — и потрясающий, светлый час, когда, в сороковом году, его внезапно привезли из лагеря в Москву и, после пересмотра дела, была доказана его невиновность.] {273}

Вспомнился тот месяц, когда бумаги его не были оформлены и он работал на разгрузке барж в Космодемьянске {274}. Вспомнился торжественный день, когда он вновь надел военную форму.

«Эх, дали бы мне полк,— думал он,— я бы полком стал командовать, доверили дивизию — я бы дивизию повел. Надоела мне вся эта третьестепенная работа военного архивариуса».

И, засыпая, он представлял себя сидящим на [фронтовом] командном пункте. Входит Быков, пониженный в звании — майор: «Прибыл в ваше распоряжение, товарищ генерал». И вдруг бледнеет, узнает Даренского.

Тут уж десяток поступков — на выбор любой.

Но почему-то больше всего нравился Даренскому и отвечал его душевной потребности такой разговор:

«А-а, старый знакомый, вот где довелось встретиться! — Помолчать, улыбнуться: — Садись, садись, знаешь, как говорится, кто старое помянет, тому глаз вон. Пей чай, закусывай, проголодался, верно, с дороги... А ну, скажи, какую бы должность хотел получить, сейчас вместе сообразим...»

И увидеть, как дрогнет от волнения и душевной признательности лицо бывшего его

начальника...

Он сам дивился тому, что человек, причинивший ему зло, сейчас не казался врагом.

Он был честолюбив и тщеславен, вероятно, не больше других людей, но так как в жизни часто ущемлялось его честолюбие и тщеславие, он страдал, раздражался, постоянно думал об этом. И случалось, что он, серьезный тридцатипятилетний подполковник, устраивал ребячьи воображаемые пиршества для своего тщеславия.

7

Утром к переправе из Камышина на Николаевку подъезжали одна за другой грузовые машины, подходила пехота.

Августовский горячий воздух, мерцая, переливался над рыжей щетиной скошенных пшеничных полей, над увядшими листьями бахчей.

Регулировщики прятались от солнца под стены домиков и, отгоняя флажками подъезжавших, кричали:

— Стой, куда прешь, не видишь, баржа ушла, рассредоточивайся!

Шоферы с лицами, покрытыми пепельной и желтой пылью, в зависимости от того, по черноземной или по глинистой дороге они спускались к переправе, выглядывали из кабин — куда бы укрыть машины. Зенитчики лежали в окопчиках возле поднявших свои худые рыльца пушчонок, отгораживались от солнца плащ-палатками. Сидевшие в кузовах грузовиков красноармейцы, ощупывая черные тела авиационных бомб, зевая, говорили:

— Еще бомбы начнут рваться, горячие, яишню на них жарить.

А полуторки с авиационными бомбами шли одна за другой, пыля колесами,— транспорт двухсоток переправлялся на заволжские аэродромы.

Один из водителей, озорно вскрикнув, дал газ. Машина, тяжело оседая под страшным грузом, съехала с помоста и пошла к берегу, подсакивая и стуча рессорами. Регулировщики побежали ей наперерез, крича:

— Стой, назад!

Первым добежал к грузовику высокий регулировщик; он замахнулся прикладом на радиатор, водитель объяснял что-то, показывая на задние скаты, размахивал руками.

Подбежали еще два регулировщика, и все они сразу зашумели. Казалось, шуму этому не будет конца, но шофер вынул из кармана железную банку, и регулировщики, обрывая куски газетки, полезли в банку за табаком и закурили. Машину отвели к самой воде, чтобы она не мешала встречному транспорту, который придет с баржей с левого берега. Шофер лег на камни в тень.

— Первым пойдешь,— сказали регулировщики и затаились.

На берег въехал черный новенький «пикап», возле шофера сидел подполковник с худым лицом и такими сердитыми и холодными глазами, что регулировщики только вздохнули и не стали придирааться.

В кузове на скамеечке сидел майор, куривший «готовую» папиросу, и лейтенант — красивый мальчик с болезненными глазами, одетый во все новое, видимо недавно выпущенный из школы. А рядом сидел начальник в нарядной шинели внакидку, которого солдаты сразу

определили как «представителя».

Регулировщики отошли на несколько шагов и услышали, как подполковник сказал из кабины:

— Наблюдайте за воздухом, товарищи.

Один из регулировщиков насмешливо заметил:

— Вот живут! Папироски курят готовые, чай пьют из термосов!

К самой воде подошел отряд красноармейцев. Шедшие впереди озирались, ища глазами командира, замедляли шаги — приказания остановиться не было, лейтенант в эту минуту прикуривал от папироски регулировщика и спрашивал, бомбит ли немец переправу.

— Стой! — закричал издали лейтенант.— Стой!

Красноармейцы опускались на прибрежные камни, складывали мешки, винтовки, скатки шинелей, и сразу над Волгой встал запах потного тела, пропотевшего белья, махорочного дыма, словом, тот особый запах, который бывает у войска, шагающего по той дороге, что кончается на переднем крае.

Каких только лиц не было здесь: худые горожане, не привыкшие к походам; посветлевшие от усталости широкоскулые казахи; сменившие халаты и цветные тюбетейки на гимнастерки и пилотки узбеки с бархатным взором, полным задумчивой печали; заводские молодые ребята; отцы семейства, колхозники, люди могучего, тяжелого труда — их жилистые шеи и мышцы, игравшие под мокрыми от пота гимнастерками, еще крепче и чеканней выступали, подчеркнутые аскетической тяжестью солдатской жизни; был плечистый и поворотливый солдат, такой румяный и улыбающийся, словно вся тяжесть похода не касалась его, как не касается промасленного жесткого крыла молодого селезня речная вода.

Некоторые сразу же пошли к воде, присев на корточки, черпали котелками, один стал стирать платок, и черный клуб грязи пошел в светлую воду, другой мыл руки и плескал горстью себе на лицо. Иные, сидя, жевали сухари, крутили папиросы. Большинство же легло, кто на бок, кто на спину, и лежало, закрыв глаза, так неподвижно, что можно было их принять за мертвых, не будь на их лицах выражения усталости.

И лишь один — плечистый, худой, смуглый красноармеец лет сорока с лишним — не сел, не лег, а остался стоять и долго смотрел на реку. Поверхность воды была совершенно гладкой — она лежала ровной, тяжелой плитой, и казалось, весь зной неподвижного августовского дня идет от этого огромного зеркала, врезавшегося в берег, бархатно-черного там, где падала на него тень от песчаного обрыва, аспидного, голубоватого там, где било по нем наотмашь могучее солнце.

Красноармеец долго и пристально оглядывал луговой берег, откуда тащилась баржа, посмотрел вверх по течению, посмотрел вниз, оглянулся на своих товарищей...

Шофер вышел из «пикапа» и подошел к лежавшим красноармейцам.

— Откуда вас, ребята, гонят? — спросил он.

— То на окопы, то на подсобные посылали, — ответил боец с тайным намерением расположить к себе шофера и попросить у него покурить, — так вот идем, солнышко такое, что с ног людей валит. Покурить нету ли, товарищ механик, газетки за тонкое число?

Водитель достал из кармана кисет, свернутую газетину и дал красноармейцу закурить.

— Под Сталинград, что ли? — спросил шофер.

— Кто его знает — куда. Сейчас обратно в Николаевку — там дивизия наша в резерве.

Второй красноармеец, досадовавший на себя, что не догадался попросить у водителя табачку, сказал:

— Вот так маршируем, хуже нет от своей части уйти, горячей пищи не видим. Табаку второй день не получаем.— И, обращаясь к тому, что курил, попросил: — Оставь, что ли, покурить.

[И тогда третий, лежавший неподвижно, с обнажившимися белыми зубами, сказал, не открывая глаз:

— Вот направят в Сталинград, там ты свою кровь горячую увидишь.

— Да, кровь там так и прыщет,— сказал второй.]

Едва на баржу были погружены «пикап» с командирами, машины с авиабомбами, несколько колхозных подвод, запряженных волами, и едва начальник переправы дал команду к погрузке людей, как в небе над Волгой началась необычайная суета. Несколько истребителей барражировало над Волгой и заволжскими песками, наполняя воздух высоким пронзительным гулом моторов. Красноармейцы оглядывались, замедляли шаги, ожидая, не отменят ли приказание о погрузке в связи с начавшейся в воздухе тревогой, но начальник переправы замахал рукой, перехваченной красной перевязью, и закричал:

— Давай! Давай!

Может быть, ему хотелось поскорей отогнать от причала огромную баржу, груженную тяжким весом двенадцатипудовых авиационных бомб, либо он привык к воздушным налетам и вовсе не придавал им значения.

Людей на барже собралось несколько сотен, все они инстинктивно старались пройти подальше от места, где скопились машины, пробирались к носу и к корме, озирались на решетчатые цилиндрические ящики с бомбами, смотрели на два спасательных круга, висевших на мостике, и, может быть, думали, кто раньше успеет в миг удара схватиться за круг и кинуться в воду.

И правда, нет хуже чувства нового страха: так для людей, привыкших к земле, особенно невыносимым казался страх на воде. Его, видимо, испытывали все — и командиры в машине, и красноармейцы. И должно быть, действительно вся суть состояла в непривычке к новому страху — ведь тут же матросы ели, подхлебывая обильный сок, помидоры, мальчишка, меланхолично отвесив губу, следил за поплавком удочки, а пожилая рыжая женщина, сидя возле рулевого, вязала не то чулок, не то варежку.

— Ну как, товарищ лейтенант, самочувствие? — спросил майор, продувая мундштук.— Плавать умеете? Спасательный кружок надо?

Вышедший из машины подполковник усмехнулся и сказал, указывая на тесно стоявшие один к другому грузовики с авиабомбами:

— Я думаю, если противник угодит по нашей барже, то лейтенанту больше понадобится парашют, чем спасательный круг.

Он сразу же сделал строгое лицо, чтобы после этой шутки майор не вздумал с ним фамильярничать.

Лейтенант, вопреки правилам душевного поведения людей юного возраста, сказал с откровенностью:

— Я прямо сознаюсь, жутко. И почему это столько истребителей в воздух поднялось?

— Да дело ясное, оповестили по радио, идут немецкие бомбардировщики. Как раз застанут на середке,— сказал майор и бережно погладил свой мешок, вспомнив о помидорах, данных ему перед отъездом старухой — квартирной хозяйкой.

А истребители продолжали неистовствовать.

Баржа скользила томительно медленно, силы маленького буксира, казалось, вот-вот иссякнут, правый берег отходил дальше и дальше, левый все казался бесконечно далеким, недостижимым. Красноармейцы напряженно следили за движением баржи, вглядывались в западную часть неба, откуда должны были прийти немецкие бомбардировщики.

— И чего это их носит, и чего это их носит,— бормотал молодой красноармеец.

— Бахчу стерегут,— отвечал ему пожилой боец, тот, что не присел отдохнуть на берегу,— тут бахча очень богатая, понял?

— Да ну вас,— сказал молодой,— вам бы смеяться, а еще человек семейный. Вот потопят нас, тогда вам смеху не будет.

Никто на барже не знал, да и не мог знать, что истребители подняты в воздух, чтобы прикрыть на посадке пассажирский самолет, вышедший с московского аэродрома.

8

[На рассвете приехала из авиагородка на Центральный аэродром команда «Дугласа». Командир корабля, майор, с полным помятым и капризным лицом, и бледнолицый, сутулый штурман шли рядом, огромные планшеты на длинных ремнях, небрежно переброшенных через плечо, били по их ногам.

— Что ни говори, мировая женщина,— сказал командир.

— Я и не говорю ничего,— ответил штурман,— но пьет, я тебе скажу.

Сзади шел радист, дальше два старших сержанта. Ответственный дежурный вышел навстречу командиру корабля и, улыбаясь, сказал:

— А, товарищ майор.

— Здравствуйте, подполковник,— сказал майор и прошел, скрипя сапогами, по каменному плиточному полу.

Он привык, что суета, заботы, возникавшие по отношению к его пассажиру, все это в какой-то мере касалось и его.

Командир осмотрел мягкие кресла, обтянутые крепко прокрахмаленными чехлами, одернул ковер, лежавший в проходе между креслами, протер рукавом кителя стекло возле того места, где имел обыкновение садиться его пассажир, хотя стекло было чисто, и прошел к себе в кабину.

И наконец после двадцати минут ожидания пришел автомобиль заместителя наркома обороны.

Самолет пошел на юго-восток. Сидевшие сзади молчали и смотрели на стриженный большой затылок заместителя наркома. О чем думал он, рассеянно глядя в окно?

Долго сидел он, не поворачивая головы, и лишь когда самолет подошел к Волге, похожей на

голубую длинную шаль с разорванными краями, он повернулся и показал рукой, спросил у сидевшего за спиной генерала:

— Ну как, стерлядью меня угостишь?

— Еще бы, товарищ генерал армии,— быстро привстав, сказал генерал,— да еще какой стерлядью. У Малиновского в шестьдесят шестой как раз великолепно ловится стерлядь.

Жуков отвернулся и стал смотреть в окно. Ему часто приходилось смотреть на мир сверху, видеть его рельефы, и эта картина реки среди желтых пятен песка, голубоватых затонов, зеленых продолговатых мазков камышей, деревень и малых городов, расчерченных улицами на угольники и квадраты, эти медные прямоугольники сжатых полей, чередующихся с малахитовыми прямоугольниками озимых, нити проселочных и грейдерных дорог,— вся эта удивительная геометрическая картина, видимая с самолета, была для него знакомой и не менее привычной, чем подлинный мир в огромном, мешающем вождению войск, разнообразии трав, кривых, дуплистых ветел, плачущих сопливых мальчишек, мечущихся птиц, коров, овец, пыли, оврагов, дыма, крика.

Внизу лежали камыши. Сколько в них было уток, какое тут раздолье для охоты!

Самолет пошел на снижение — истребители, шедшие за ним в хвосте от Балашова, то плавно поворачивали, то на стремительных виражах поднимались вверх. «Дуглас» прошел низко над Волгой. Жуков увидел ползущую по берегу пехоту, посреди реки огромную баржу, уставленную машинами, сотни красноармейцев, поднявших вверх головы и следивших за самолетом, у переправы застыл длинный хвост ожидающих очереди машин.

Невеселая схема снабжения рисовалась для отходивших на внутренний сталинградский обвод дивизий.

И тут же вспомнился разговор в Генштабе о подготовке контрудара. Он закрыл глаза и увидел генштабовскую карту — две разворачивающиеся с юга и севера огненно-красные стрелы.

Он громко закричал, поморщился, представил себе сегодняшнее удовольствие фельдмаршала Бока, отмечающего на карте прорывы к Волге немецких войск.

Да, вот уже перерезана последняя сухопутная коммуникация.

Он повернулся к генералу, сидевшему за его спиной, и сварливо сказал:

— На Дону технику бросили, а на Волге стерлядь варите? — И выругался крепким словом.]

Красноармейцы на барже вдруг увидели низко идущий над Волгой двухмоторный самолет. Следом за ним шли истребители; те истребители, что были над Волгой, ринулись вверх, в сторону, прикрывая казавшуюся медленной по сравнению с ними транспортную машину.

— Глянь-ка, глянь-ка, Вавилов,— крикнул молодой парень, указывая на плавно движущийся «Дуглас»,— кто бы это прилетел?

И второй красноармеец, окинув взором мечущиеся вокруг «Дугласа» истребители, прислушался к ржанию и топоту, свидетельствовавшему, что действительно силы моторов поднятых на воздух машин равны силе табуна в пятнадцать тысяч лошадей, грохоча бегущих по небу, этот второй с лукавой серьезностью все понимающего человека ответил:

— Должно быть, ефрейтор, что отстал вчера на продпункте, прилетел.

Ночевали они в Верхне-Погромном. Майор Березкин и лейтенант пошли спать в сарай, подполковнику Даренскому постелили в избе, а представитель начпрода и водитель легли спать в машине, поближе к вырытому во дворе окопчику-щели.

Это был очень душный и жаркий вечер. За Волгой слышалась орудийная стрельба, и небо на юге было в светящихся клубах дыма. Снизу по реке все время слышался гул, словно Волга валилась со скал в преисподнюю, и вся плоская громада степного Заволжья дрожала, подчиненная этому тяжелому гулу: позванивали стекла в избе, тихонько скрипела на петлях дверь, шуршало сено, и с чердака сыпались кусочки глины. Где-то рядом вздыхала корова, ворочалась, приподнималась и снова ложилась — ее, видимо, тревожил гул, запах бензина и пыли.

По деревенской улице шли войска, двигались пушки, грузовики. Автомобильные фары мутно освещали колеблющиеся спины идущих, в клубах пыли блестели дула винтовок, вороненые стволы противотанковых ружей, широкие, как самоварные трубы, минометы. Ночная пыль стлалась вдоль дорог, тяжело клубилась черными облаками у ног. Не было конца потоку людей, они двигались в глубоком молчании. Иногда мигающий свет порождал во тьме голову в железной каске, худое лицо, темное от пыли, с блестящими зубами. А через мгновение машина проносилась мимо, и следующая за ней на миг ловила фарами сидящую в кузове мотопехоту, в касках, с ружьями, с черными лицами, с развевающимися за плечами плащ-палатками.

Свистя, проносились могучие трехосные грузовики, буксируя за собой семидесятишестимиллиметровые пушки с еще теплыми от дневного зноя стволами.

Ошалевшие от ярких фар мохнатые совушки метались в воздухе. Ужи и желтобрюхи, потрясенные гулом и грохотом, пытались уйти далеко в степь, переползали сотнями прибрежную дорогу, и их раздавленные колесами тела темнели среди белого песка.

Ночное небо было полно гудения, среди звезд ползали «юнкерсы» и «хейнкели», по нижним этажам неба, потрескивая, шли на бомбежку «кукурузники», и где-то высоко-высоко глухо ревели медлительные четырехмоторные мамонты — «ТБ-3».

Все небо было охвачено гулом. Тем, кто был внизу, казалось, что они стоят под пролетом огромного, украшенного звездами, темно-синего моста, слушают грохотание движущихся над головами железных колес.

Маяки-прожекторы на аэродромах Заволжья, плавно поворачиваясь вокруг оси, намечали ночные дороги, и на дальней периферии неба светящийся километровый карандаш с молчаливым бешеным усердием вычерчивал голубой круг.

По военно-автомобильной дороге двигались без конца и без начала машины и люди, вспыхивали фары и гасли мгновенно, вспугнутые злым криком пехоты:

— Туши свет, летит!

Черная пыль клубилась над дорогой, и высоко в небе стояло зарево. Это мерцающее, светлое зарево уже несколько ночей стояло над Волгой. И его увидело все человечество. Зарево влекло и ужасало тех, кто шел к нему.

[А навстречу спешившим к Сталинграду войскам проселком, с юга на север, степными тропинками шли бойцы разбитого в боях на Дону Юго-Западного фронта.

В ушах красноармейцев все еще стояли крики раненых, их давило небо, провисшее от тяжести немецких бомбардировщиков. Они еще чувствовали на своих щеках горячий воздух пожаров.]

А в степи под теплым августовским небом лежали беженцы: женщины и девушки, одетые в меховые шубы, с фетровыми ботиками на ногах, в теплых кацавейках, в пальто, вытасканных в последнюю минуту из сундуков. Дети спали, лежа на узлах. Запах нафталина, шедший от вещей, смешивался с запахом вянущей в степи полыни.

А еще дальше — в оврагах и ярах, вымытых весенней водой, неясно горели огоньки: то шедшие на переформирование бойцы рабочих дорожных батальонов, пастухи, переправившие стада в Заволжье, сидя у маленьких костров, варили сорванную на огородах тыкву, латали одежду.

Возле ворот стояли представитель прототдела, водитель «пикапа», старуха хозяйка.

Все они молча глядели на войска, спешившие к Сталинграду среди ночи. Минутами казалось, что в стремительном людском потоке нет отдельных людей, что движется одно огромное существо с огромным сердцем и устремленными вперед глазами.

Вдруг от пешей колонны отделился человек в каске и подбежал к воротам.

— Мамаша,— крикнул он, протягивая аптечную бутылочку,— налей воды!

Пока старуха лила из кружки воду в узкое горло бутылочки, боец стоял, оглядываясь то на осанистого представителя, то на уже прошедшее мимо отделение.

— Фляжку тебе нужно,— сказал представитель,— какой ты солдат без фляжки.

— Зачем мне фляжка, и бутылочка хороша,— сказал боец.

Он поправил брезентовый пояс. Голос у него был тонкий и в то же время хриплый, какой бывает у птенца. И худое лицо его с острым носом, и молодые глаза, блестящие из-под широкой, нависшей надо лбом каски, напоминали глядящую из гнезда пичугу.

Он закрыл бутылочку пробкой, допил воду из кружки и неловко побежал, бормоча:

— Вот этот с противотанковым, двое с минометами, а следующая наша шеренга,— и исчез во мраке.

[Представитель, ехавший в Сталинград за вином, сказал:

— Этого франта убьют скоро.

— Факт,— сказал водитель,— такие долго не воют.]

10

Подполковник Даренский зашел в избу и велел перестлать себе постель — он ляжет не на кровати, а на лавке, головой к образам, ногами к двери.

Молодая женщина, невестка хозяйки, равнодушно сказала:

— Твердо, товарищ командир, спать на лавке.

— Боюсь блох,— сказал Даренский.

— У нас блох нет,— обидчиво сказал сидевший у порога [оборванный] старик, похожий не на хозяина избы, а на странника, пущенного ночевать.[— Воши случаются.]

Даренский оглядел избу — все в ней было сурово и бедно при плохом свете лампы без стекла.

«А ведь есть человек, который сейчас, сидя на переднем крае, вспоминает этого старика, [тощую] женщину, эту духоту, этот дощатый [черный] потолок, оконца — и нет для него ничего дороже на свете», — подумал Даренский.

Ему не хотелось спать: зарево в небе, гудение самолетов, могучий ночной поток войск волновали его. Он понимал значение того, что происходило. Возбуждение, охватившее его, все росло — недавно он хотел высказать майору, случайному спутнику, свои соображения о предстоящих боях на сталинградском рубеже. Поэтому Даренский и зашел в избу, чтобы не говорить с майором: человек скрытный, он всегда страдал после случайно возникшего откровенного разговора с малознакомыми. Да к тому же этот майор чем-то раздражал его, чем — он и сам не мог понять.

Молодая женщина, собрав одеяла, ушла из избы.

— Где бабушка? — спросил Даренский.

— Бабка в окопе, — сказал старик, — бояться женщины в доме спать. Начнет бомбить — бабка, как суслик, из окопа выглядывает, то спрячется, то выглянет.

— А ты, старик, бомб не боишься?

— Чего их бояться, — сказал старик, — я на японской был, потом на германской. От меня двенадцать человек в Красной Армии представлены — пять сыновей, семь внуков. Где мне в окоп хорониться? Два сына полковники — шутишь? А моя старуха без отказа все бы раненым отдала. Он у меня, кошкин сын, коробок спичек смылил, а она ему молоко, кашу тыквенную, что на ужин, отдает и плачет. Вот какое дело. Совсем бабка ослабела, — кто ни войдет, только она и знает: «Сыночек, сыночек...» [Тут один среднеазиат овечку у соседа увел.] А вот вы мне объясните, товарищ командир, так полагается? Пригнали в наши степи из-за Волги скот эвакуированный, и эти самые сопровождающие каждый день телок режут, а корова — тысячи стоит. А? Это по правилу, что ли, — один смертью умирает, а другим от войны полное удовольствие. А? Как вы понимающий?

— Надо спать, — сказал Даренский, — завтра я с рассветом в Сталинград.

В это время послышался сильный взрыв — очевидно, пролетающий немец уронил над дорогой бомбу. Изба вздрогнула. Старик поднялся, подхватил тулуп.

— Куда? — смеясь, спросил Даренский.

— Куда, куда — в окоп. Слышишь, бомбит, — и старик, согнувшись, выбежал из избы.

Даренский лег на скамью и вскоре заснул.

11

Всю ночь шли войска под гул далекой артиллерии, шли среди трепещущей голубой колоннады прожекторов, шли в сторону, где светилось пламя невиданного по размерам пожара, — справа была Волга, слева — солончаковая степь, Казахстан.

Мрачно, торжественно и сурово выглядело это движение тысяч людей. Казалось, все идущие охвачены значительностью происходящего, не думают о своем страхе, о своей жизни, о своей усталости и жажде.

Здесь, на границе казахских степей, шли войска, и казалось, и степь, и небо, и звезды, к которым летели трассирующие снаряды, понимали, что тут будет решаться судьба народа.

Как видение вставали в воспоминаниях советских людей бронзовые памятники Львова,

приморский бульвар в Одессе, пальмы на набережной Ялты, каштаны и тополи Киева, вокзалы, сады, площади, улицы Новгорода, Минска, Симферополя и Харькова, Смоленска и Ростова, белые украинские хаты, поля подсолнечника, виноградники Молдавии, вишневые сады Полтавщины, воды Дуная, Днепра, яблони Белоруссии, пшеница Кубани.

Верблюды, впряженные в телеги, мерно шевелили длинными губами, прищурившись, смотрели на идущее войско, совы, попадая в свет автомобильных фар, слепли и метались, ударяя по лучам темными крыльями, разбуженные ужи шумели в сухом бурьяне, ползли, осыпая песок.

И в эти дни [без помощи агитаторов] народ, стоявший у пушек, тащивший на себе противотанковые ружья и пулеметы, и народ, работавший на заводах, на полях,— все увидели простую истину: война дошла до Волги, за Волгой начинались степи Казахстана. Эта истина, как и все истины великого значения, была необычайно проста и понятна всем без исключения.

Войска видели, что по холмистому правому берегу Волги уже нельзя ходить: прямо к волжской воде вышли немцы. Войска видели, что на левом степном берегу жевали колючку верблюды, начинались солончаки. И вооруженные советские люди смотрели на правый берег, на ветлы, на дубы, на рощицы, на деревню Окатовку, Ерзовку, Орловку через простор волжской воды: простор этот ширился, все дальше уходили рощи, деревня Окатовка, колхозы, рыбаки, мальчишки, оставшиеся под немцами, вся громада Кубани, Дона.

А Украина с этого плоского берега казалась далекой и недосыгаемой. И только грохот пушек и пламя сталинградского пожара были горестным приветом, который тревожил сердца ушедших за Волгу людей, звал их.

12

Даренский проснулся незадолго до рассвета. Он прислушался — грохот и гудение продолжались. Обычно предрассветный час — это тихий час войны. Час, когда тьме и страху ночи подходит конец, задремывают ночные часовые, тяжелораненые перестают кричать и лежат закрыв глаза; это час, когда у больных спадает жар, испарина выступает на коже, спящие птицы неторопливо приподнимают пленку с глаз, шевелят отдохнувшими крыльями, младенцы тянутся во сне к груди спящих матерей; это последний час сна, когда солдаты не ощущают комковатой земли под ребрами и тянут на головы шинели, не чувствуя инея, белой пленочкой покрывшего пуговицы и пряжки ремней.

Но в эти дни война не знала тихого часа. По-прежнему в предрассветной мгле гудели в небе самолеты, шло войско, хрипло кричали машины и издали доносились взрывы и пушечная стрельба.

Охваченный беспокойством, Даренский стал готовиться в дорогу. Пока он брился, мылся, чистил зубы, подправлял пилочкой ногти, совсем уже рассвело.

Он вышел во двор. Водитель спал, упершись головой в угол сиденья и выставив разутые ноги в окно кабины. Даренский постучал по ветровому стеклу и, так как водитель не проснулся, нажал на клаксон.

— Давайте собираться, выводите машину,— сказал он, пока занемевший от сна водитель извлекал свое тело из кабины.

Даренский прошел мимо окопа, где на соломе, укрывшись тулупами, спали хозяева избы, и вышел на огород.

Вдали поблескивала сквозь узор желтеющей прибрежной листвы Волга. Лучи восходящего

солнца, едва лишь оторвавшегося от горизонта, шли параллельно земле, облачка в небе были розовые и лишь некоторые — еще не освещенные — несли на себе голубовато-пепельный холод ночи.

Обрыв горного берега вышел из сумрака, и известняк, подобно молодому снегу, светился на солнце. С каждой минутой света становилось больше. В лучах солнца по кочковатой рыжей земле двигалось овечье стадо. Белые и черные овцы шли плотной толпой, тихонько блея, и легкий розовый дымок пыли выбивался из-под их ног.

Пастух шел с большим посохом на плече, за плечами развевался плащ.

Даренский невольно залюбовался — в широких косых лучах восхода стадо, шедшее по рыжей, растрескавшейся земле, среди кочек, похожих на валуны, и пастух с посохом, в плаще напоминали ему рисунок Доре {275}. Когда стадо подошло ближе, он увидел, что у пастуха на плечах брезентовая плащ-палатка, а тяжелый посох оказался однозарядным противотанковым ружьем. Он шел по обочине, и, видимо, до этого мирного стада ему не было никакого дела.

Даренский вернулся к машине.

— Готово? — спросил он.

Лейтенант, худощавый, робкий юноша, проговорил:

— Майора нет, товарищ подполковник.

— А где же майор?

— Он пошел молоко искать, чтобы позавтракать перед отъездом. Тут у хозяев корова не доится.

Даренский прошелся по двору и сказал:

— Черт знает что, спешу, времени нет, а тут, оказывается, корова не доится!

Несколько минут он ходил молча, охваченный внезапным раздражением.

— Долго я буду вашего дояра ждать? — спросил он.

— Да он с минуты на минуту должен прийти, — сказал виноватым голосом лейтенант и, оробев, бросил на землю свернутую папироску.

— В какую сторону он пошел?

— Вот по этому порядку, — сказал лейтенант. — Разрешите сбегать поискать?

— Не надо, — ответил Даренский.

Его раздражение против майора росло все сильнее. С ним случалось, как обычно это бывает с нервными людьми, что всю желчь и злость свою он внезапно обращал против совершенно случайного человека.

И когда Даренский увидел майора с арбузом под мышкой и литровой темной бутылкой, ставшей светло-зеленой от налитого в нее молока, он задохнулся от злости.

— А, товарищ подполковник, — сказал майор и положил арбуз на сиденье машины, — как спали? Я вот молочка парного достал.

Даренский молча смотрел на него и тихим голосом, которым обычно и произносятся самые злые слова, сказал:

— Вместо того чтобы беречь каждую минуту, вы бегаєте по избам и занимаетесь товарообменом.

Лицо майора стало темным от крови, прилившей под загорелую кожу; несколько мгновений он молчал, потом негромко произнес:

— Виноват, товарищ подполковник. Лейтенантик наш всю ночь кашлял, я решил его парным молоком угостить.

— Ладно, ладно,— сказал, смутившись, Даренский,— давайте все же собираться.

Ему казалось, что он слишком медленно приближается к фронту, а в действительности он нервничал оттого, что ехал слишком быстро.

Даренский посмотрел на майора — лицо его, раздражавшее своим, казалось, невозмутимо-спокойным выражением, сейчас было напряженно, рот полуоткрыт, а в глазах было нечто такое растерянное и в то же время напряженное, почти безумное, что Даренский невольно оглянулся, посмотрел в ту сторону, куда смотрел майор. Казалось, какая-то ужасная сила готовилась обрушиться на них, может быть, парашютисты, десант?

Но дорога, искромсанная колесами и гусеницами, была пуста, лишь вдоль домов плелись беженцы.

— Тамара, Томочка! — сказал майор, и молодая женщина в тапочках, подвязанных веревками, с мешком за плечами и девочка лет пяти с маленьким, сшитым из наволочки мешочком остановились.

Майор пошел к ним навстречу, держа в руке бутылку молока.

Женщина, недоумевающая, смотрела на военного, идущего к ней, и вдруг крикнула:

— Ваня!

И так страшен был этот крик, столько в нем было жалобы, ужаса, горя, упрека и счастья, что все слышавшие его зажмурились и невольно поморщились, как морщатся от внезапного жара и от боли.

Женщина бросилась к майору, беззвучно и без слез рыдая, обхватила его шею руками.

А рядом стояла девочка в босоножках и, широко округлив глаза, смотрела на бутылку с молоком, которую сжимала большая, с надувшимися под коричневой кожей жилами, рука ее отца.

Даренский почувствовал, что его затрясло от волнения. И после вспоминалась ему эта минута, и казалось, что он понял именно тогда всю горечь войны — это утром в песчаном Заволжье, запыленная, бездомная женщина с худенькими девичьими плечами стояла рядом с широколицым сорокалетним майором и громким голосом говорила:

— А Славочки нет больше, не уберегла я его.

И тоска при воспоминании вновь сжимала его сердце, как в ту минуту, когда двое людей смотрели друг на друга, и лица их и глаза выражали и лютое горе, и бездомное счастье той ужасной поры.

Через несколько минут майор провел женщину с ребенком в избу, тотчас вышел и, подойдя к Даренскому, сказал:

— Простите, товарищ подполковник, я вас задерживаю, вы езжайте без меня. Я семью встретил.

— Мы подождем,— проговорил Даренский.

Он подошел к машине и сказал представителю:

— Да, скажу вам, будь это моя машина, я бы попутчиков ссадил, а женщину бы доставил до Камышина.

— Нет уж, давайте ехать,— сказал представитель,— у меня задание командования, а им тут до завтрашнего утра разговору.

И, оглянувшись на молчавшего шофера и лейтенанта, в эту минуту с обожанием смотревшего на Даренского, он подмигнул и рассмеялся.

Даренский понял, что действительно лучше поскорей уехать, не мешать майору бесполезной, ненужной заботой, и сказал:

— Ладно, заводите машину, а я сейчас возьму вещи.

Он вошел в избу и, опустив голову, стал нашаривать в полумраке свой чемодан. Он слышал, как старуха хозяйка, всхлипывая, что-то говорила, увидел расстроенное лицо старика хозяина, стоявшего с шапкой в руках, увидел бледное, возбужденное лицо невестки — видимо, внезапная встреча разволновала всех.

Он старался не смотреть на майора и его жену, ему казалось, что им нестерпимо тяжело присутствие и внимание посторонних.

— Мы, значит, поехали, товарищ майор,— громко сказал он,— разрешите пожелать всего хорошего. Вы, видно, задержитесь тут.

Он пожал майору руку и, подойдя к его жене, снова почувствовал волнение. Она протянула ему руку. Даренский низко склонил голову и бережно поднес к губам ее тонкие, как у девочки, с черными следами от кухонного ножа, пальцы.

— Простите нас,— сказал он и поспешно вышел из избы.

13

Какая выворачивающая душу была эта встреча! Горе, цепкое, как бурьян и чертополох, было сильнее радости, и каждое радостное чувство тотчас забивалось горем.

Встреча ужасала своей кратковременностью — ведь больше дня она не могла продлиться.

Лаская дочь, Березкин испытывал страшное, страстное горе по сыну. Люба не понимала, почему у отца каждый раз, когда он брал ее на руки, гладил ее по голове, лицо вдруг хмурилось, словно он злился. Она не могла понять, почему мать, горевавшая столько об отце, теперь, встретив его, то и дело начинала плакать.

Однажды ночью матери приснилось, что отец вернулся, и Люба слышала, как она смеялась, разговаривала с ним, но теперь, когда эта встреча произошла наяву, а не во сне, она два раза повторяла:

— Нет, нет, я не буду плакать, какая я дура.

Она не понимала, почему сразу же после встречи они заговорили о расставании, стали записывать адреса, отец сказал, что посадит их на попутную машину до Камышина, стал спрашивать, нет ли у мамы фотографии на память, так как старые фотографии за год почти совсем истерлись.

Он принес из сарая свои вещи и разложил на столе угощение, какое Люба видела однажды в гостях у Шапошниковых. Тут было сало, и консервы, и сахар, и сливочное масло, и красная икра, и колбаса, и даже шоколадные конфеты.

Мама сидела за столом, как гостья, а отец все готовил сам. А потом мама быстро стала отламывать кусочки хлеба и вылавливать консервы из банки, а Люба все спрашивала: «А колбасу мне можно?.. И сала можно ломтичек?» — «Можно», — говорил папа. Он протянул ей кусок хлеба с маслом, и она положила наверх кусочек печенья и стала есть — это было очень вкусно, так вкусно, что Люба начала смеяться. Люба посмотрела на отца и увидела, что он смотрит на быстро жующую маму, на ее дрожащие пальцы, а на глазах его — слезы. Неужели ему жалко продуктов и он заплакал от этого? На мгновение она замерла от обиды, но тут вдруг ощутила своим маленьким сердцем все, что чувствовал отец в эту минуту. И не радость найденной опоры, а желание утешить и защитить отца в его беспомощности и горе почувствовала она. Посмотрев в темный угол избы, где, казалось ей, притаились силы зла, она суровым голосом произнесла:

— Не трогайте его!

Мама рассказала, как ей помогали Шапошниковы, как она пережила пожар. Когда сгорела квартира, она пять дней не ходила туда, а Шапошниковы приходили за ней, а ее с Любой не было, и Шапошниковы уехали грузовой машиной в Саратов, а оттуда пароходом в Казань, оставили адрес и письмо, из которого она все узнала. Она перебралась на пароме и пошла с Любой пешком.

А потом мама стала рассказывать с самого начала, и Любе стало скучно, она все это знала: и о том, что у них не было зимних пальто, и что их четыре раза бомбили, и пропала корзинка с хлебом, и что зимой они ехали двенадцать дней в теплушке, и хлеба не было, и что мама шила, стирала, копала грядки, и что хлеб стоил сто рублей кило, и что сахар и сливочное масло, которое им выдал однажды комендант, мама обменяла на хлеб; в деревне с хлебом лучше, чем в городе... Когда они жили три месяца в деревне, дети были сыты и имели не только хлеб, но и пили молоко. А колечко и брошку она хотела обменять на ржаную муку, но их украли, и после этого ей пришлось отдать Славу в детский дом, там он хоть поел хлеба. Хлеб, хлеб, хлеб. В свои четыре года Люба хорошо знала значение этого великого слова.

— Мама, — сказала она, — оставим конфеты для Славки, можно?

Но тут опять маму затрясло каким-то новым, без слез, неизвестным Любе беззвучным плачем, и потом у нее сделалась икота, а папа странным, сонным голосом говорил:

— Что же делать, война, война, не мы одни.

Он начал рассказывать маме о своей жизни и о старых знакомых, которых мама иногда вспоминала, и Люба заметила, что в папином рассказе все время, как в мамином «хлеб», повторялось слово «убит».

— Убит, убит, убит, — говорил папа. — Мутьян убит на второй день, еще под Кобрином, а Алексеенко, ты помнишь, его под Тарнополем видели в лесу, лежал раненный в живот, а немцы уж совсем рядом чиркали из автоматов; а Морозов, не Василий Игнатьевич, а тот, что играл в спектакле с тобой, убит во время контратаки под Каневом на Днепре прямым попаданием мины. А Рубашкин, мне говорили, уже под Тулой был убит, «мессер» обстрелял, как раз когда он с батальоном через шоссе переходил, в голову из крупнокалиберного пуля

попала; хороший был человек Рубашкин. Моисеев застрелился в прошлом году в июле, мне человек один рассказывал, сам видел, вынул наган — и все, на болоте немцы их окружили, он в ногу ранен был, не мог двигаться. Если посчитать, то по нашей дивизии из командиров полков я один остался. А вчера знаешь кого я встретил? Аристова помнишь, завхоза моего? Я тебе адрес дам и записку. Он парень хороший, все сделает и на машине до Саратова отправит, он мне говорил — у них машины грузовые каждый день на Саратов идут.

— А ты, ты? — спросила мама.— Господи, сколько я писала. Сколько запросов, ты о всех знаешь, а о тебе никто не знал.

— Ну что я,— ответил папа и махнул рукой,— стрелял, стрелял, да видишь, где фронт проходит. Главное — не терять друг друга, как мы потеряли.

Он рассказал маме, что возвращается в свой полк, дивизия стояла в запасе, «полнокровная», сказал он,— он вернулся, а дивизии нет, ушла к фронту. Теперь нагоняет ее. Потом папа сказал:

— Тамара, давай я тебе белье постираю, а ты отдохни.

И мама вдруг сказала:

— Господи, ты столько пережил и совершенно тот же, чудный ты мой, добрый кремень,— и они оба улыбнулись: так мама называла его до войны.

Потом Люба стала засыпать, и отец сказал:

— Она устала.

А мать сказала:

— Мы бредем уже десять дней, она очень боится самолетов, узнает немецкие по звуку, ночью все время просыпается, кричит, плачет, кроме того, она плотно поела, а ей непривычно.

Люба сквозь сон помнила, как отец взял ее на руки и отнес в сарай, где пахло сеном... Вечером она просыпалась, снова ела, и хотя в небе летали немцы и все время грохотали бомбы, ей не было страшно, она лишь подошла к отцу и положила его большую ладонь себе на голову, стояла спокойно, внимательно прислушиваясь к гудению в воздухе.

— Спи, спи, Люба,— сказала мама, и она уснула.

Какая это была странная, счастливая, горькая ночь.

— Встретились... неужели ты воскрес для меня, чтобы завтра расстаться и уж навсегда?

— Да ты как-то неудобно сидишь, выпей еще молока, ей-богу, и похудела ты, я смотрю: ты и не ты...

— А его нет, лежит на дне этой ужасной реки, ночью, в темноте, холод, и нет, нет в мире силы помочь...

— Я тебе отдам свое белье, все же лучше, чем ничего, сапоги хромовые, парадные, я их два раза надевал только, мне ведь совершенно не нужны... Я тебе намотаю две пары портянок, ведь к зиме дело...

— А в последний раз, когда я его видела, он все спрашивал: когда ты меня заберешь? Но откуда я могла знать, радовалась, дура,— поправляется.

— Знаешь, дай-ка я адрес со своей полевой почтой пришью к платью, а не к жакету, вдруг жакет пропадет, а платью верней.

— Какая я страшная стала, одни кости, тебе не стыдно, что я такая?

— Ножки худенькие, до крови стертые, сколько они исходили.

— Ну что ты, целовать ноги зачем, хороший мой, я все мечтала от пыли их отмыть.

— А обо мне он вспоминал?

— Нет, нет, не могу я одна остаться, гони меня палкой — я все равно пойду за тобой. Я не могу, слышишь, не могу!

— Да ты подумай о Любе.

— Я знаю, знаю. Сяду завтра в грузовик и поеду с Любой в Камышин.

— Да что ты не ешь ничего, вот печенье это съешь, молоком запей, хоть глоточек.

— Неужели это ты, господи, я не верю, и такой же, совершенно такой. Вот и тогда просил: хоть глоточек...

— Это я теперь стал, а вот в прошлом сентябре посмотрел на себя как-то: ну, подумал, Тамара на меня глядеть не захочет. Щеки ввалились, зарос щетиной, голову не брею.

— Все летят, летят, ноют в воздухе, опять бьют, день и ночь, целый год. Тебе, верно, часто смерть грозила?

— Нет, что ты, обычное, да и ничего особенного.

— Чего он хочет, проклятый?

— В деревнях бабы детей пугают: не плачь, слышишь, Адольф летит терзать.

— Франт ты мой милый, голову бреешь, воротничок белый, ногти подстрижены. Увидела тебя — мне показалось, тысяча пудов с души упала. А через минуту все стала выкладывать. Ты не думай, я молчу, кому охота слушать — только тебе ведь. Только ты, на всем свете ты.

— Ты мне обещаешь питаться лучше, аттестат теперь будет. Слышишь, молоко пей. Каждый день.

— Господи, до чего хорошо. Неужели ты?

— А я знал, что встречу. Еще вчера знал.

— Ты помнишь, как Слава родился? Машина испортилась, ты меня из родильного пешком вел, а его на руках нес. Нет, я знаю, это наша последняя встреча, уже не увидимся, а ее подберут в детский дом.

— Ну что ты, Тамара!

— Слышишь, как ударило?

— Ничего, это в реку.

— Боже мой, а он лежит в реке... Ты плачешь, Ваня, да? Не плачь, не надо, вот увидишь, будет хорошо. Мы встретимся, обещаю тебе, и молоко буду пить. Бедный ты, что в твоей

душе, а я только о себе да о себе. Ну, посмотри на меня, посмотри, хороший мой, ну дай я тебе глаза вытру. Ах ты, глупый мой, слабенький, как это ты без меня...

А утром они расстались...

14

Левым берегом Волги, через Верхне-Погромное, проходили из Николаевки к фронту полки 13-й гвардейской стрелковой дивизии.

Марш был моторизован, и лишь несколько подразделений двигались пешком. Командир батальона Филяшкин, узнав, что для части его людей не дают машин, позвал к себе в избу командира 3-й роты Ковалева и объявил ему, чтобы он двигался своим ходом: он употребил даже более сильное выражение по поводу того, какого рода энергию должен использовать в движении Ковалев.

— А Конаныкин на машинах? — спросил Ковалев.

Филяшкин кивнул.

— Ясно,— сказал Ковалев.

Он не любил командира 1-й роты Конаныкина и завидовал ему: все события своей служебной жизни он связывал с Конаныкиным.

Если поступал приказ командира полка, выражавшего Ковалеву благодарность за отличные результаты учебной стрельбы, он справлялся у полкового писаря:

— А Конаныкин как?

Если ему выдавали хромовые сапоги, он спрашивал:

— А Конаныкину какие? Кирзовые?

Если ему был нагоняй за потертость ног у красноармейцев после марша, то его прежде всего занимало, какой процент потертости в роте Конаныкина.

Красноармейцы-украинцы называли Конаныкина «довготелесым» — у него действительно ноги и руки были длинные.

Ковалеву было неприятно, что только он со своими людьми будет пылить пехом, когда вся дивизия едет на машинах; Конаныкин, конечно, тоже двигался на машинах — мог бы длинноногий и пошагать.

Получив маршрут и сведения о конечном пункте движения, он сказал, что своим ходом поспеет не намного позже машин.

— Только уж это всегда так, товарищ командир батальона,— добавил он, когда официальная часть беседы была кончена.— Если пешком — так мне, а на машинах — то Конаныкину.

— Видишь,— переходя с официального тона на товарищеский, объяснил Филяшкин,— ты с людьми вернулся с того берега, ты отсутствовал здесь, под тебя не дали машин, а у Конаныкина весь состав в наличии был. Как они у тебя пойдут, не потерли ног?

— Пойдут,— сказал Ковалев,— если надо, то пойдут.

Он пошел в роту и приказал старшине готовить людей к маршу, сам забежал на минутку на квартиру собрать вещи и проститься с хозяйкой, а потом еще забежал в санчасть

перекинуться словцом с отъезжавшей санинструктором Еленой Гнатюк.

Стоя перед личным составом санчасти, уже погрузившейся на машину, он сказал:

— Сталинград — городок знакомый, я в июне, когда из госпиталя возвращался, гостил там в семействе одного моего друга.

Лена Гнатюк сказала, наклоняясь через борт грузовика:

— Нагоняйте нас скорее, товарищ лейтенант.

Машина тронулась, все стали смеяться и говорить в один голос, и Лена замахала рукой в сторону серых домиков и крикнула:

— Прощайте, кавуны и дыни!

Команда, переправившаяся через Волгу, подоспела за два часа до начала марша, и люди только успели закусить и перемотать портянки, как снова пришлось выступать. Некоторые в спешке не успели получить табак и сахар.

Прошагав свыше сорока километров, они уже не мечтали о прохладе и питье, шагали молча.

К вечеру колонна растянулась на несколько сот метров. Троице бойцам лейтенант разрешил держаться за край обозной повозки, а двоих захромавших он приказал ездovому посадить на ротное имущество.

Сидевшие на телеге все время побряхтывали и угощали ездovого табаком, а те, что шли, припадая то на одну, то на другую ногу, сердито смотрели на них [и время от времени говорили:

— Слышь, ездovый, не видишь, они симулируют, ссади их.

— Мне что, пусть будет распоряжение лейтенанта,— говорил ездovый].

Над узким мостиком висела надпись «10 тонн» и большая фанерная стрела указывала: «Объезд для танков».

Водитель трехосного грузовика напрасно сигналил, требуя дороги,— бойцы шагали, почти безразличные к происходящему вокруг. Водитель, нагнав колонну, приоткрыл дверцу и высунулся, чтобы поразить матюгом глухих пехотинцев, но, поглядев на утомленные лица, пробормотал: «Царица полей, пехота» — и свернул на объезд.

Впереди колонны шли Вавилов и Усуров.

Усуров время от времени оглядывался на растянувшуюся в пыли колонну и усмехался — он испытывал удовольствие, чувствуя свое превосходство над теми, кто, далеко отстав, ковылял позади. Он не жалел отставших — все были равны в тяжелой доле.

Лейтенант Ковалев, шедший по обочине дороги, похлопывая себя прутиком по пыльному голенищу, бодро, как полагалось командиру, спросил:

— Ну как, папаша, дела? Шагаете?

— Ничего, товарищ лейтенант,— отвечал Вавилов,— дойдем.

Подошел старший сержант Додонов и сказал:

— Товарищ лейтенант, Мулярчук этот всю роту терроризирует, пытается привалы делать.

— Передайте политруку, пусть с ним поработает,— сказал Ковалев.

Усуров посмотрел на верблюдов, впряженных в подводы, стоявшие возле дороги, и громко, но не глядя в сторону лейтенанта, проговорил:

— Довоевались, до верблюдов дошли. [Как змеи лысые. Эх, кальхозы...]

— Да, этот скот — страшное дело,— сказал Вавилов.

В хвосте колонны шли двое — эти не говорили, не смотрели по сторонам. Глаза их были красны, шершавые губы потрескались. Они не испытывали усталости, потому что усталость была чрезмерно велика, заполняла их кости, жилы, просверливала мозг костей.

И вот один из них усмехнулся и сказал второму:

— А мы, бачь, не последние, якись герой за мостом кульгае... [37]

Второй сказал:

— Это трепило наш, Резчиков, я думал, он отстал совсем.

— Ни, тянется.

Они снова пошли молча.

К вечеру Ковалев объявил привал. Он сам еле держался на ногах. Команда расположилась у самой дороги.

Со стороны города шли беженцы: мужчины в шляпах, в пальто; дети волокли на себе подушки, некоторых женщин пошатывало под тяжестью ноши.

— Куда, гражданка, идешь? — спросил боец у проходившей женщины. У нее на спине был тючок, на груди висели ведро и кошелка. Следом за ней шли три девочки с мешочками за плечами.

Она остановилась, некоторое время смотрела на него, отвела рукой прядь волос со лба и сказала:

— В Ульяновск.

— Так тебе не донести,— сказал боец.

— А есть детям нужно? — сказала она.— Денег-то у меня нет.

— Это все жадность,— сказал молодой боец, вспомнив, как он ночью кинул в канаву терший ему плечо противогаз,— нахватают вещей, а бросить жалко!

— Дурак ты,— проговорила женщина. Голос у нее был глухой, безразличный. Боец, которого она назвала дураком, вынул из вещевого мешка большой кусок обкрошившегося сухого хлеба.

— На, возьми, гражданка,— сказал он.

Женщина взяла хлеб и заплакала. И три большеротые, бледнолицые девочки молча и серьезно смотрели то на мать, то на лежащих бойцов.

Так они и пошли, и бойцы видели, что мать свободной рукой разделила хлеб и раздала его девочкам.

— Себе не взяла,— сказал бухгалтер Зайченков.

— Мать,— веско объяснил кто-то.

[Потом бойцы видели, как девочки подошли к головастому мальчику лет трех, стоявшему у дороги. Он стоял на толстых ножках и ел огромную нечищеную морковь, сплевывая землю. Девочки, словно сговорившись, остановились, и одна из них толкнула мальчика в бок, а вторая забрала у него морковку. Они пошли дальше, семена тоненькими ножками, а мальчик молча сел на землю и смотрел им вслед.

— Смычка,— объяснил Усуров.]

Люди разулись, и сразу запах казармы пересилил запах вянущей полыни, согретой солнцем.

Они лежали молча. Мало кто дождался, пока закипела вода в котелках. Одни сосредоточенно жевали концентрат, макая его в теплую воду, другие сразу уснули.

— Отставшие все подошли, старшина? — спросил Ковалев.

— Вон последний подтягивается,— ответил старшина Марченко,— Резчиков — песенник наш.

Казалось, Резчиков только и может закричать да пожаловаться, но он неожиданно весело сказал:

— Прибыл, мотор исправен, гудок работает!

Ковалев поглядел на подошедшего бойца и сказал политруку Котлову:

— Все ж таки крепкий народ, товарищ политрук. Мотопехота час назад проехала,— вровень почти с машинами идем.

Котлов отошел в сторону и, присев, стал стягивать сапоги — он натер ноги.

Ковалев присел рядом с ним и вполголоса спросил:

— Что ж ты не проводишь политработы на марше?

Котлов, разглядывая свои окровавленные портянки, сердито ответил:

— Мне все бойцы говорят: «Садитесь, товарищ политрук, на подводу, у вас, видно, до кости ноги стерты», а я иду пешком и еще песню запеваю — вот это моя политработа на марше.

Ковалев поглядел на портянку в черных кровавых пятнах и сказал:

— Я тебе говорил, товарищ политрук, бери сапоги на номер больше, а ты не захотел.

— Ну это что,— сказал Рысьев, оглядываясь на сидевших командиров,— налегке, а вот такой марш, да еще пуда два снаряжения, когда на горбу — и бронебойки, и минометы, и патроны,— и тоже ничего.

Те, что сперва не спали, уже заснули; те, что сразу же уснули, постепенно стали просыпаться, ворошить свои мешки, доставать хлеб.

— Сальца бы,— сказал Рысьев.

— Эх, сало! Тут не Украина {276},— проговорил старшина Марченко,— я як подывлюсь, ой. Села, ну як черна хмара, хаты вси черны, земля як вуголь, та ще верблюды. Як згадаю наше

село, ставок та й ричку, садки, як дивчата на левади [38] спивалы, и подывлюсь на цей степ та на хаты, як могылы, черные, то сердце холоне — дошли до кинця свиту.

К красноармейцам подошел старик беженец с клеенчатой ярко-красной кошелкой, в пальто и калошах. Он расправил белую бороду и спросил:

— Вы откуда, ребята, отступаете?

Рысьев сказал:

— Мы не отступаем, папаша, к передовой идем.

— Мы наступаем,— сказал старшина Марченко.

— Видели мы,— сказал старик,— да куда ж дальше отступать. Немец дальше сам не пойдет. Зачем ему сюда ходить? — и старик показал рукой на серую и рыжую землю.

Он вынул из кармана тощий кисет и стал сворачивать тоненькую папиросу: бумаги в ней было больше, чем табаку.

— Табачку нема у вас свернуть? — спросил Мулярчук.

— Нету,— спокойно ответил старик и спрятал в карман кисет.

[Желтоглазый Усуров рассердился и спросил:

— А вы кто такой будете, документ есть?

— Да ну тебя, это в городе ты меня мог спросить. А в степи документ ни к чему иметь.

— Документ должен быть. Без документа не может быть человека.

— А ну тебя к шуту, вон козы ходят, пойди у них документ спроси,— сказал старик и пошел — высокий, неторопливый — прямо в степь, шаркая по пыли калошами. Потом обернулся и сказал красноармейцам: — Горе живущим на земле.]

— А курить не дал,— сказал кто-то.

Все рассмеялись.

— Он тронутый старик. В калошах.

— Чего ж он тронутый. Он правильно говорит.

— А я слышал: драться наши стали сильно, на Дону, что ли. Дрались — прямо, говорят, удивление. Только он обошел.

— Идешь по этой степи — сердце болит.

— И не пойму я, что за место. Солнце встало, а [39] гляжу: что такое — вроде снег, а это соль. Вот уж правда, горькая земля.

— Немец — шутишь, что ли.

— Что немец. Видел я этих немцев. Как даванули мы его за Можаем, бегал получше нас. Ты дома был, вот и боишься его.

— С такого похода жить не захочешь, а помирать, обратно, неохота.

— Тебя не спросят — охота или нет.

— Ну, давай, что ли, Резчиков, расскажи чего-нибудь.

— Раньше закурить дайте!

— Ты сперва расскажи, а то знаешь, как солдат говорил: дайте, мамаша, напиться, бо так есть хочется, что даже ночевать негде.

Но Резчиков вдруг сказал:

— Эх, ребята, не время теперь рассказы рассказывать. Помяните одно мое слово: отобьем! Вот увидите, наша возьмет! Мы еще с вами блины печь будем!

— Так, ясно,— сказал серьезный голос,— нам блинов не есть. Давай хоть поспим, гляди, что делают.

И все посмотрели в сторону Сталинграда. Там во все небо стоял тяжелый, мохнатый дым. Огонь и заходящее солнце окрасили его в красный цвет.

— Это кровь наша,— сказал Вавилов.

15

Холодный предутренний ветер шевелил траву, поднимая облака пыли на дороге. Степные птицы еще спали, нахохлившись от рассветной прохлады, непривычной после душного дня и теплой ночи...

Небо на востоке стало светло-серое, и нельзя было понять — то ли всходит солнце, то ли закатывается луна. Слабый свет казался жестким, холодным, идущим от железа,— то не был еще свет солнца, а лишь отражение света от облаков, и потому он походил на мертвый свет луны.

Все в степи в эту пору было недобрым. Дорога лежала серая, неприветливая, и казалось, никогда не шли по ней босые ножки детей, не скрипели мирные крестьянские телеги, никогда не ездили по ней люди на свадьбы и на веселые воскресные базары, а лишь гремели пушки да грузовики с ящиками снарядов. Телеграфные столбы и стога сена почти не отбрасывали тени в этом рассеянном свете и стояли как будто очерченные твердым резким карандашом.

Цвета терялись, не было ни пыльной и бурой зелени травы, ни пожелтелости и зелени сена, ни неясной, мутной голубизны речной воды, а лишь темное и светлое, как бывает во мгле, когда черные предметы видимы лишь оттого, что они чернее ночи. Особо выглядели в этот час лица людей: бледные, с обострившимися носами, с темными глазами.

Проснувшиеся курили, перематывали портянки. Сквозь улегшуюся усталость проступала тревога, предчувствие скорого боя. Это предчувствие не только томит душу, но холодным комом то зашевелится в груди, то жаром дохнет в лицо.

К отдыхающим, бесшумно ступая, подошла высокая женщина с узкими плечами и худым лицом, поставила на землю плетеную корзинку.

— Угощайтесь, ребята,— сказала она и стала раздавать красноармейцам помидоры.

Никто не благодарил ее, никто не удивлялся, откуда она появилась среди степи, все молча брали помидоры, словно получали продукты по аттестату на продпункте.

Женщина стояла и тоже молчала, смотрела, как красноармейцы едят помидоры.

Подошел Ковалев и сказал, пошарив рукой в корзине:

— Все разобрали мои орлы.

— Тут моя изба недалеко, ее за холмиком не видать, пойдем — еще помидоров принесешь, — сказала женщина.

Ковалев усмехнулся простоте женщины, не понимавшей, что лейтенант не может ходить с корзиной помидоров, и крикнул Вавилову:

— [Слышьте, друг] {277}, пойдите с гражданкой.

Идя рядом с женщиной, касаясь плечом ее плеча, Вавилов разволновался и расстроился, — вспомнилась ему последняя ночь, проведенная дома, вспомнилась Марья, провожавшая его в таких же предрассветных сумерках. Женщине было лет сорок — сорок пять, она и ростом, и походкой, и даже голосом напоминала Вавилову жену.

Женщина негромко говорила ему:

— Вчера прилетел немецкий самолет, а у меня в избе легко раненные бойцы стояли, он, как копье, пошел вниз, прямо на мою избу, тут его и бить, а бойцы в бурьян полегли. А я стою посреди двора и кричу им: «Вылазьте, я его сейчас кочергой собью».

— Что ж ты нас кормишь? — спросил Вавилов. — Видишь, как мы воевали, довели немца до самой Волги, прямо к тебе домой. Таких вояк кормить не нужно, таких вояк этой самой кочергой гнать.

А когда они вошли в теплый и душный сумрак избы и с дощатых нар приподнялась светлая детская голова, Вавилов почувствовал, как дрогнуло сердце от волнения — таким родным, близким показались ему и запах, и тепло, и печь, и стол, и лавка у окна, и полаты, и светлая голова ребенка, и лицо женщины, глядевшей ему в глаза.

Он заметил вышибленную доску в нижней части двери и спросил:

— А хозяин где?

Мальчик таинственным шепотом ответил:

— Не нужно спрашивать, не расстраивайте маму.

Женщина спокойно проговорила:

— Отвоевался, он в феврале убит под Москвой... Тут немца пленного недавно вели, я спрашиваю: «Когда пошел воевать?» — «В январе...» — «Ну, значит, ты моего мужа убил», — замахнулась я, а часовой не пускает... Пусти, говорю, я его двину, а часовой: «Закона такого нет...» — «Пусти, я его двину без закона». Не пустил...

— Топор у тебя есть? — спросил Вавилов.

— Есть.

— Дай-ка его, я тут хоть тебе доску в двери забью, а то выдует тебя зимой.

Его цепкий глаз заметил лежавшую под стеной доску. Он взял топор, и все, что было в топоре схожего с его собственным топором, вызвало в нем печаль. И все, что оказалось несхожего — топор у женщины был куда легче, а топорище тоньше и длиннее, — тоже вызвало в нем печаль, вновь напомнило, как далеко до его дома.

И она, поняв его мысль, сказала:

— Ничего, будешь еще дома.

— О-о,— ответил он,— от дому до фронта близко, а от фронта домой далеко.

Вавилов стал обтесывать доску.

— Гвоздей у меня нет.

— А мы без гвоздя,— ответил он,— приладим на шипе.

Он работал, а она накладывала в корзину помидоры и говорила:

— Я рассчитываю, мы с Серёжей тут до зимы проживем. Зимой Волга замерзнет, и если немец на нашу луговую сторону перейдет, мы с Серёжей бросим все, в Казахстан уйдем... У меня в жизни он один теперь. При советской власти он у меня в большие люди выйдет, а при немцах ему пастухом умирать. <...> {278}

Вавилову показалось, что за спиной слышны шаги лейтенанта, и он отложил топор, распрямился. В этой запретности труда было нечто тяжелое, нехорошее, оскорбительное.

«Вот немец до чего довел, полный переворот жизни»,— подумал он и, оглянувшись, снова взялся за топор.

Когда он шел назад, чувство волнения не оставляло его, он подошел к начавшим строиться бойцам, лейтенант спросил его:

— Вы что там, заснули?

Марченко похабно пошутил, но никто не поддержал его шутки.

Вскоре дана была команда к маршу. В это время подъехал конный, помощник начальника штаба полка, весь увешанный сумками и планшетами, и стал выговаривать лейтенанту:

— Кто вам велел отдыхи устраивать? Не дотянули всего восемнадцать километров!

— Мне командир батальона приказал,— ответил Ковалев.

Он хотел было сказать, что люди устали, но постеснялся: заподозрят его в мальчишеском слабодушии.

— Вот доложу подполковнику,— он вам жизни даст. Расселись тут, теперь догоняй. Чтобы в десять ноль-ноль прибыл без опоздания.

Покричав немного, всадник заговорил самым мирным образом. Он был старый приятель Ковалева; рассказал, что ночевали хорошо, все спали в избах, на ужин ели яичницу с салом, только разбудили его рано — в два часа ночи комдив приказал подогнать отстающих.

Дружелюбно и насмешливо глядя на Ковалева, он сказал:

— Зашел к Филяшкину уточнить твой пункт, а у него знаешь кто ночевал? — санинструктор Лена...

Ковалев пожал плечами.

А над степью опять встала пыль. То там, то здесь поднимались серые и желтые облачка, вскоре слились они в пелену, соединились вместе, заволкли огромное пространство, как

будто новый пожар из Заволжья шел навстречу сталинградскому пожару.

Земля, пропитанная солью, была жесткой и сухой, и чугунное солнце в небе палило огнем, поднятая недобрым, сухим ветром пыль била в глаза.

Вавилов оглянулся на своих товарищей, на степь, на дым в небе и вслух, как бы подводя итог, сказал самому себе:

— Нет, все равно мы его завернем.

Над сгоревшим городом белела пелена дыма, и этот дым соединился в небе над Волгой с пылью, поднятой в Заволжье.

К десяти часам утра рота Ковалева подходила к дощатому городу — Средней Ахтубе.

Давно уж вся вода из фляг и бутылок была выпита. Предполагавшийся маршрут внезапно изменили — дивизию двинули к Волге.

Мимо уплотнившихся колонн пехоты промчались два легковых автомобиля, мелькнули нахмуренные лица командиров, рядом с водителем на шедшей впереди «эмке» сидел молодой генерал.

Проезжая мимо колонн, он все время держал руку у околышка фуражки, приветствуя красноармейцев.

Вскоре промчался на мотоцикле связной в синем комбинезоне, с болтавшимися ушами кожаного шлема. Проехал на тарантасе командир батальона и крикнул лейтенанту:

— Ковалев, следуй по новому маршруту форсированным маршем!

И словно по рядам прошел ветер — ветер предчувствия.

Часто люди дивятся, как это солдаты умеют правильно и точно узнавать новости войны. Ведь не к солдатам, а к командиру дивизии генералу Родимцеву подъехал на броневике офицер связи с запечатанным пакетом — боевым приказом командующего фронтом: дивизии форсированным маршем двинуться по маршруту Средняя Ахтуба — хутор Бурковский, выйти к Волге в районе Красная Слобода и немедленно приступить к переправе в город.

А красноармейцы уже знали, что ночью немцы прорвались с окраин города к центру, что в двух местах они вышли к Волге, что пушки немцев бьют через Волгу и обстреливают ту самую Красную Слободу, откуда должна происходить переправа.

Десять тысяч солдат идут по дороге. Они не пропустят мимо себя ничего. Они успеют спросить и женщин с узлами, идущих от Волги, и рабочего, толкающего по песчаной дороге тележку, на которой среди узлов сидит раненый мальчик с перевязанной головой, и штабного связного, остановившегося на обочине наладить забарахливший мотор мотоцикла, и раненых с палочками, идущих от Волги, с шинелями внакидку, и детей, стоящих у дороги. Они уже все успели заметить и рассмотреть: какое лицо было у генерала, мелькнувшего среди пыли на быстрой машине, и в какую сторону тянут связисты штабную шестовку, и куда свернул известный им грузовик с ящиками фруктовой воды и десятью курами в клетке, и в какую сторону пикируют немецкие самолеты, разворачивающиеся высоко в воздухе, и какими бомбами немец бомбил этой ночью дорогу, и по какой причине сжег немец машину (видимо, включил водитель фары, чтобы проехать по разбитому мостику), и какой глубины колея, идущая к Волге, и насколько глубже колея, идущая от Волги. Чего ж удивляться, что солдаты все знают, когда они хотят что-либо узнать.

— Шире шаг! — кричали командиры, и на их лица легла та же тревога, что на лица солдат. И

странно: казалось, легче стало шагать, не так болели плечи, не так резал стертую ногу проклятый, ссохшийся в степи ботинок.

[У дороги стояла женщина в платке, держа в руке кружку, у ног ее стояло ведро с водой. Красноармейцы выходили из рядов, другие соскакивали с машин, подбегали к женщине.

Из дальних рядов было видно, что выбегавшие, перекинувшись с женщиной словом, не напившись, уходили обратно.

Лицо у женщины было напряженное, казалось, все оно окаменело. Кто-то из задних рядов крикнул:

— Эй, что ж ты не напился?

Сердитый, обиженный голос ответил:

— Поди-ка, напейся, она рубль за кружку воды просит,— и добавил матерное слово.

Из рядов выбежал высокий, с запыленной щетиной красноармеец.

— Торгуешь? — задыхаясь, спросил он и ударил сапогом по ведру так, что оно взлетело вместе с водой и, опрокинувшись, упало по ту сторону канавы.

— Ты, что ли, детей моих накормишь? — закричала женщина.

— Убью, паразитка! — крикнул солдат, и женщина, вдруг вскрикнув, побежала, не оглянувшись, не подняв ведра.

— Ну, Вавилов! А я считал — он тихий, вот это тихий! — сказал Рысьев.— Зря он ее пугнул. Она ж для детей, слышал?

Шедший рядом Зайченков ответил:

— А мы умирать ради чего идем? Тоже за детей.] * * *

Гвардейская дивизия генерал-майора Родимцева стремительно двигалась к Сталинграду.

Дивизия получила первоначальный приказ выйти к берегу Волги намного южнее города. Но так как в последние часы обстановка в самом городе резко ухудшилась, Родимцев получил новый приказ — не теряя ни минуты, изменить направление движения и прибыть в Красную Слободу, что напротив Сталинграда.

В штабе Родимцева были раздосадованы новым приказом — уже дважды дивизии меняли маршрут.

Никто из командиров и рядовых не знал, что этот новый марш назавтра приведет гвардейскую дивизию на улицы города, с которым людская молва навеки свяжет ее имя.

16

Штаб фронта ушел на левый берег Волги и разместился в деревушке Ямы, в восьми километрах от города.

Немецкие тяжелые минометы достигали до Ям, и все отделы штаба находились под постоянным беспокоящим огнем противника. В таком расположении штаба не имелось, казалось, никакого смысла.

Действительно, раз командующий фронтом принял решение сняться из Сталинграда и

переправиться на левый берег, было уже безразлично — расположится ли штаб в восьми или двадцати километрах от Волги. Неудобств от столь близкого размещения штаба имелось множество. Из-за обстрелов часто нарушалась связь. Самые спокойные и трудолюбивые сотрудники штаба много времени тратили на разговоры — когда, где, кого ранило, как и когда разорвался снаряд, куда влепило осколок.

Часть сотрудников искала в этих рассказах смешного: повар управлял штабной кухней на расстоянии и заправлял еду, сидя в щели, официантка при свисте снаряда вздрогнула и вылила на майора тарелку супа, воинственный полковник все время доказывал, что его отдел должен находиться при первом эшелоне, теперь начал доказывать, что его отдел должен находиться во втором эшелоне.

Другие охали, говорили о ненужности пребывания штаба под огнем.

И все же в этом размещении в деревне Ямы большого военного учреждения с отделами, подотделами, отделениями, машинистками, писарями, топографами, стенографистками, интендантами, официантками, вестовыми, секретарями,— во всем этом был свой смысл и своя логика.

[Ерёменко держал штаб в городе до последней возможности.

Противник завязал бои на окраине города. Волга находилась под огнем, переправы бомбились день и ночь и обстреливались из пулеметов «мессерами». Совершенно очевидно было, что война входит в город, а штаб не уходил.

Штурмовые отряды немецких автоматчиков ночами врываются на городские улицы, в штабе часто слышалась пулеметная стрельба. Однажды вечером полковник Сытин, командир дивизии внутренних войск, которого Ерёменко назначил в конце августа комендантом сталинградского укрепленного района, доложил командующему, что немецкие автоматчики в двухстах пятидесяти метрах от штаба фронта.

— Сколько их? — спросил Ерёменко.

— До двухсот,— ответил Сытин.

— Подсчитайте лучше,— сказал Ерёменко,— а когда подсчитаете, опять мне доложите.

Сытин, всегда сохранявший подтянутый вид, щелкнул каблуками, сказал:

— Слушаюсь,— и вышел.

Вскоре Сытин вернулся, такой же подтянутый и спокойный, и подтвердил свое первое донесение.

— Ну что ж,— сказал Ерёменко.

И штаб остался в городе.

Все трудней становилась связь штаба с южной армией Шумилова, прикрывающей Сарепту.

Ставка поручила Ерёменко командовать одновременно Юго-Восточным и Сталинградским фронтами. Сидя в городе, поддерживать связь с северной группой армии было очень трудно. И, несмотря на это, Ерёменко продолжал оставаться со штабом в городе.

И все же пришел момент, когда дольше оставаться на правом берегу штаб фронта уже физически не мог. Тогда Ерёменко перевел штаб в Ямы.

Казалось, что, уйдя на левый берег, штаб мог разместиться на восемь—десять километров восточней. Но не в этом была логика и разум самых тяжелых дней войны.]

Из всех блиндажей в Ямах были видны дымящиеся пожарища Сталинграда, ведь штаб ушел на левый берег для того, чтобы лучше организовать защиту города, а не для того, чтобы отступать. Опасность от снарядов и мин в Ямах была не меньше, чем в городе.

Командиры и комиссары дивизий приезжали в штаб, делали свои дела, возвращались на правый берег, их спрашивали товарищи — начальники штабов, комиссары полков, командиры батальонов, спрашивали с усмешечкой, с которой всегда фронтовой народ, стоящий ближе к смерти, говорит и думает о народе, стоящем дальше от смерти:

— Ну как там штаб фронта на левом берегу, культурно устроился, отдышались после Сталинграда?

А приехавшие из штаба отвечали:

— Ну, брат ты мой, какой черт, пока я от оперативного до АХО добежал, четыре мины немец положил. А город весь как на ладони оттуда виден...

Думали ли обо всем этом люди, принимавшие решение о перемещении штаба в Ямы, а перед тем державшие его в городе до самой последней возможности? <...> {279}

17

[Адъютанты командующего фронтом, переговариваясь вполголоса, работали за столом.

В отдаленном углу обширного, обитого белыми, свежими сосновыми досками блиндажа в ожидании приема сидел хмурый генерал с тремя звездочками на вороте кителя.

Один из адъютантов, любимец командующего, высокий и румяный молодец, майор Пархоменко, с двумя орденами на гимнастерке, откинув на затылок новенькую фуражку с ярким красным околышем, просматривал пачку желтых телеграфных бланков. Второй адъютант, Дубровин, склонив светловолосую курчавую голову, сидя под яркой электрической лампой, наносил новую обстановку на карту-двухверстку; в двух местах — в центре города у Царицы и северней Тракторного завода — синева карандаша, обозначавшая передний край противника, сливалась с синевой Волги.

Дубровин приподнялся и, заглядывая через плечо товарища на телеграммы, шепотом спросил:

— Кто это ждет?

— У Шумилова группой командовал, фамилия — Чуйков, получает назначение в Сталинград, командовать шестьдесят второй,— продолжая переключать донесения, шепотом ответил Пархоменко.

Генерал почувствовал, что адъютанты говорят о нем: гулко откашлялся и почистил ладонью рукав кителя. Он медленно повернул свою большую голову и медленно оглядел обоих адъютантов.

Он оглядел адъютантов тем специальным взглядом, которым обычно смотрят военные, привыкшие к беспрекословному повиновению своих подчиненных, на заносчивых адъютантов высших начальников. Этот взгляд содержит в себе усмешку и некоторую философскую грусть. «Какого бы хорошего, расторопного, шелкового майора я сотворил бы из вас, испорченный молодой человек...»

В это время из-за дощатой двери послышался тонкий, сиплый голос:

— Пархоменко!

Адъютант прошел через низкую дверь в кабинет командующего, спустя минуту вернулся и, щелкнув каблуками, сказал почтительно и в то же время недостаточно почтительно:

— Товарищ генерал-лейтенант, вас.

Генерал встал, повел сильными, массивными плечами и прошел в блиндаж к командующему быстрой и мягкой походкой.

Ерёменко сидел за столом. На столе стояли никелированный чайник и недопитый стакан чая, пустая фруктовая вазочка, лежало нетронутое печенье в раскрытой пачке. На другой половине стола лежал испещренный стрелками, кружками, треугольниками, цифрами, надписями план города.

Вошедший генерал, стоя у двери по-солдатски вытянувшись, напряжив шею, глухим басом отпартовал:

— Товарищ командующий фронтом, генерал-лейтенант Чуйков...

— Ладно,— морщась и посмеиваясь, прервал его Ерёменко,— думаешь, не узнал Чуйкова?

Тогда вошедший улыбнулся, сказал обыденным голосом:

— Здравствуйте!

— Садись, пожалуйста, садись, Чуйков,— сказал Ерёменко.

Он отодвинул от места, где сел Чуйков, пепельницу с огрызками яблок, с вдавленными в них папиросными окурками и, привалившись грудью к столу, дунул, чтобы очистить скатерку от табачного пепла.

Ерёменко знал генерала Чуйкова в довоенное время. На маневрах Белорусского округа он наблюдал порывистую натуру Чуйкова, его резкость, его стремительные и решительные поступки.

В конце июля, еще до приезда Ерёменко, Чуйков командовал группой на Южном направлении. Успеха группа его не имела и была 2 августа влита в армию Шумилова. Но эти неудачи Чуйкова не смущали командующего фронтом. Он знал, что в долгой военной работе бывают не одни лишь удачи.

Люди, объединенные общностью судьбы, они, не встречаясь, постоянно знали друг о друге, и Ерёменко слышал и знал, как воевал Чуйков во время финской войны, каковы были его успехи и неудачи, знал о его дипломатической работе в Китае. В душе он всегда удивлялся, как это Чуйков занимался дипломатией; казалось, натуре Чуйкова никак не подходила роль дипломата. Он считал Чуйкова человеком, рожденным для жестоких испытаний войны, наделенным непоколебимой решительностью, выносливостью, сильной волей, упорством и мужеством. В грозные дни осени 1942 года Ерёменко поддерживал перед Ставкой кандидатуру Чуйкова на командование 62-й армией. Верховное Главнокомандование утвердило Чуйкова командармом.

— Ну так, придется вместе поработать,— сказал Ерёменко и положил свою большую ладонь на план города,— погляди на свое хозяйство.— Он усмехнулся и добавил: — Ты, я знаю, дипломатом был, у нас тут без дипломатии обходится: вот немец, а вот мы.

Ерёменко посмотрел на план города, потом на Чуйкова и вдруг сердито спросил:

— Что ж это ты, гимнастику каждое утро делаешь, толстеть не хочешь?

— А командующий немного того,— улыбнувшись глазами, сказал Чуйков и отвел руки от живота.

— А что делать,— жалующимся голосом сказал Ерёменко.— Характер спокойный — раз, возраст — два, работа такая — сидишь день и ночь в подземелье, ранение — это четыре, ходить пешком трудно.

Ерёменко с прозаической обыденностью пожилого председателя колхоза стал объяснять Чуйкову, каковы ресурсы армии, что требуется от нее и от самого Чуйкова.

— Видишь, какое дело,— говорил он, водя пальцем по карте и рассказывая Чуйкову о положении на фронте,— ты сам все посмотришь, сам познакомишься, во всем убедишься. Воевать будешь в городе, а не в степи. Подготовь себя к этому. Ты забудь, что у Волги два берега. Один берег только и есть у Волги — правый. Понятно? А? Я советую тебе — левый берег забудь!

Ерёменко не любил громких и красивых слов. Он считал: люди шли на войну, захватив с собой весь свой житейский груз. И потому нравился красноармейцам Ерёменко. Перед замершим строем, в грозную минуту, когда молодые капитаны и майоры ожидали раскатистых и выпренных слов генерала, он вдруг, морща нос и усмехаясь, заводил с солдатами разговор о табаке, сапогах и оставшихся дома верных и неверных женах.

Ерёменко уставился на Чуйкова и сказал:

— Понятно в общем, что от тебя нужно? Я храбрость твою знаю. Ты панике не поддашься. Это я тоже знаю.

Чуйков слушал выпрямившись, нахмурившись, пристально глядя перед собой, кровь прилила к его сильной шее, щекам, немного потемневшему лбу. Он ощутил, почувствовал вдруг забившимся сердцем, что речь идет о вещах бесконечно более важных, чем оборона рубежа.

Тряхнув головой, Чуйков проговорил:

— Могу заверить Военный совет фронта и в его лице весь советский народ: сумею умереть с честью!

Ерёменко, сняв очки и снова морща лоб, сказал тонко и сердито:

— Умереть, умереть. На войне умереть очень просто. Сам знаешь. Не умирать тебя пригласили, а воевать пригласили.

Чуйков упрямо тряхнул курчавой головой, сказал:

— Буду держать Сталинград, а понадобится умереть — умру с честью.

Когда пришла минута прощания, они слегка смешались.

Ерёменко, поднявшись, сказал протяжно:

— Чуйков, смотри...

И показалось, он сейчас обнимет Чуйкова, благословит на трудный, страшный подвиг. Но Ерёменко, наоборот, в эту минуту с раздражением подумал: «Другой стал бы просить под такое дело и людей, и танки, и артиллерию, выжал бы из меня черт-те что, а этот и не

попросил ничего».

Ерёменко сказал:

— Хочу предупредить тебя: не принимай решений сплеча. Сперва человек отрубит, потом человек жалеет. Верно ведь?

Чуйков усмехнулся, отчего лицо его стало еще суровей, и ответил:

— Постараюсь, но ведь натура.

Когда Чуйков проходил через подземную приемную, оба адъютанта, глянув на темное лицо его, точно по команде вскочив, стали смирно.

Он прошел мимо них не обернувшись и поднялся из блиндажа по крутым деревянным ступеням, задевая широкими плечами земляные стены.

Несколько времени он, жмурясь от яркого дневного света, оглядывался вокруг — перед ним лежали дубовые рощи, поля Ахтубинской поймы, серые деревянные дома.

А вдали, за блестящей на солнце Волгой, белел Сталинград — разрушенный город казался радостным, живым, мраморным, белым, величаво стройным и грациозным.

Но он знал, что город мертв и разрушен.

Чуйков смотрел на город исподлобья, приложив ладонь к бровям. Почему такими живыми казались эти развалины? Было ли то видение прошлого, мираж, а быть может, видение будущего? Что ждало его среди этих развалин? Какая судьба?

Обернувшись лицом к востоку, он раскатисто крикнул своему адъютанту:

— Федька, машину сюда!

Этот голос услышали в блиндаже.

Адъютант Дубровин серьезно и протяжно проговорил:

— Да, такому Фёдору ох и сильно достается! А еще некоторые говорят: «Адъютанты настоящей войны не видят!»]

18

Подполковник Даренский приехал в штаб Юго-Восточного фронта в деревню Ямы.

Почти все его бывшие сослуживцы по Юго-Западному фронту находились не здесь, а в деревне Ольховка на правом берегу Волги; там создавался новый фронт — Сталинградский.

Повсюду люди были новые, и лишь к вечеру Даренский встретил подполковника — сослуживца по оперативному отделу Юго-Западного фронта; тот ему рассказал, что обоими фронтами пока командует Ерёменко {280}, но уже известно, что Ерёменко станет командовать одним Юго-Восточным; этот фронт объединяет армии Шумилова и Чуйкова, непосредственно прикрывающие город, и армии, расположенные в степном и межозерном районе от Сталинграда до Астрахани. На фронт, расположенный севернее города, едет новый командующий, будто бы Рокоссовский {281}, тот, что зимой 1941 года командовал под Москвой армией.

О положении на фронте он не стал рассказывать, а только махнул рукой и сказал:

— Плохо, совсем плохо...

Знакомому Даренского не нравилось на новом фронте, и он жалел, что ему не удалось перейти в штаб, стоявший северо-западнее города.

— Там хотя бы в Камышин можно съездить, а при удаче и в Саратов, а тут, в Заволжье, верблюды да колючки. И люди здесь мне не нравятся, какие-то они... да вы сами увидите, там я всех знал и меня знали...

Даренский спросил, там ли Новиков, и подполковник ответил:

— Как будто нет, в Москву отозвали,— и, подмигнув, добавил: — Быков зато там...

Он спросил Даренского, есть ли у него квартира, и обещал его устроить в избе, где разместились офицеры связи. В избах жили кто пониже званием и должностью, а в землянках — те, кто поважней. В избе офицеров связи Даренский провел первую ночь, в ней и остался жить, ожидая назначения.

Офицеры связи (старший из них был в звании майора, остальные лейтенанты и младшие лейтенанты) вели однообразную жизнь. Они вообще-то были ребята хорошие и относились к Даренскому с почитательностью и фронтовым гостеприимством: уступили ему лучшую постель, в первый вечер принесли кипятку.

Впоследствии, случайно просматривая список офицеров связи, выбывших из оперативного отдела, Даренский заметил, что многие его тогдашние соночлежники были убиты при исполнении служебного долга. Но в те дни Даренский постоянно злился на офицеров связи.

Один из них мог после работы спать четырнадцать часов подряд. Со спутанными волосами, он изредка шел во двор, возвращался и вновь ложился на постель. Остальные в часы отдыха играли в подкидного и грохотали ненавистными Даренскому костяшками домино. А когда за кем-нибудь из офицеров прибежал связной, причем речь шла о смертельно опасной поездке в горящий город, вызванный, уходя, наказывал получить на него продукты и выходил с таким лицом, словно идет не на смерть, а по обычному, пустому делу.

Товарищи, не прерывая игру, пока он натягивал сапоги, надевал портупею и, наконец, шел к двери, продолжали свое:

— Трефонку не любишь, сейчас получишь трефоночку... у меня полный отбой в вальтах... а винового тузика не хочешь?

Даренскому казалось, что они живут как пассажиры в поезде дальнего следования: погаснет свет, все сидят, вздыхают, потом спят. Зажегся свет — садятся на койку, раскроют чемоданчики, просматривают имущество: один потрогает лезвие бритвы, второй поточит карманный нож, опять сыграют в подкидного или в морского козла. Они внимательно читали газеты, подолгу и молча, но Даренского сердила их манера называть большие очерки «заметками», а трехколонные сочинения в пол газетной полосы — «статейками».

О своей работе они почти не говорили, а ведь каждое путешествие в город под обстрелом через ночную Волгу, вероятно, было полно раздирающих душу переживаний.

Даренский спрашивал:

— Как съездили?

Ему кратко отвечали:

— Хреново, бьет все время.

Когда к офицерам связи приходили свободные от дежурства приятели, разговор у них шел примерно такой:

— Здорово, ну как?

— Ничего, полковник в командировку сегодня поехал, ты зайди в АХО, там жилеты меховые привезли, в первую очередь, сказал майор, оперативному давать будут.

— А насчет дополнительного пайка ничего не слышно?

— Вроде ничего, со второго эшелона еще не привезли.

Один из офицеров связи, Савинов, красивый, плечистый лейтенант, любил рассказывать о том, как хорошо живут строевые командиры рот, отдельных стрелковых, танковых, саперных батальонов.

— К награждению представляют сразу же после боя — и тут же ордена выдает командир дивизии или командарм, а у нас пока представляют к звездочке, да пройдет через фронтовой наградной отдел, да подпишет командующий, да член Военного совета... На передовой у тебя и парикмахер свой, и повар сготовит, чего захочешь,— хочешь, студень, хочешь, печеночку зажарит, и портной тебе pošьет френч по мерке, и жалованье гвардейское, будь здоров, не то что наше...

Но Савинову почему-то никогда не приходило в голову, что все эти мнимые и действительные преимущества командиров переднего края связаны с величайшим сверхнапряжением сил, страданиями от холода, жары, огромными переходами, кровью, ранами, смертью...

Даренского сердило, что офицеры связи мало говорят о женщинах, а если говорят, то скучно, обыденно. Сам Даренский всегда готов был удивляться, восхищаться женщинами, осуждать их легкомыслие и коварство. Как все истинно женолюбивые люди, он мог увлечься самой серенькой, некрасивой и неинтересной девушкой, все женщины казались ему хороши, в присутствии любой женщины он становился оживленным, острил.

Ему казалось, что в мужской компании нет интересней разговора, чем разговор о женщинах...

Несмотря на подавленное настроение, он уже два раза ходил на узел связи полюбоваться милыми личиками бодисток, телефонисток, приемщиц корреспонденции... А красавец Савинов добудет из чемоданчика коробку рыбных консервов, долго повертит в руках, потом вздохнет, откроет ее карманным ножиком и тем же ножом, как гарпуном, вылавливает кусочки рыбы, съест все содержимое банки, возмет зазубренную крышечку, скажет: «Так, порядок», постелит газетку под сапоги и ляжет на койку.

Даренский понимал, что раздражение его против офицеров связи несправедливо. Ведь он их видит лишь в часы отдыха после смертельно опасной работы. А главное, у него самого было плохо на душе, волнение и жажда деятельности сменились тоской и безразличием.

Разговор с начальником отдела кадров штаба фронта сильно расстроил его. Это был рыжеватый, плотный полковник с медленной, певучей украинской речью, внимательным взглядом небольших, с рыжими искорками глаз.

Разговаривая, он бережно перекладывал листы лежавшего перед ним дела, разглядывал пронумерованные, украшенные красными и синими пометками листы. Казалось, он ищет оценку сидящего тут же, в двух шагах от него, человека не в напряженных, живых его глазах, не во взволнованной речи, а в отстуканных на машинке или писанных спокойным писарским почерком строках послужного списка, характеристик, биографических и прочих справок,

опросников.

Слушая Даренского и поглядывая в дело, он вдруг то покачивал головой, то слегка поднимал бровь, то глаз его чуть-чуть задумчиво прищурился.

Даренский, видя это выражение полковничьего лица, волновался, старался угадать, какой страницей его служебной жизни вызвано сомнение и недоумение начальника отдела кадров.

Начальник отдела кадров задавал ему вопросы, все те вопросы, какие обычно задают начальники отдела кадров.

Отвечая, Даренский волновался и сердился; он хотел объяснить полковнику, что ведь дело совсем не в том, почему он не был допущен, и не в том, почему он был отчислен и не зачислен, и почему недостаточно отражено то или иное служебное обстоятельство, и почему об этом он указал там-то, но не указал там-то.

Даренскому казалось, что все это не имеет отношения к самому важному, что решает оценку человека. Почему полковник не интересуется его душевным состоянием, его желанием отдать все силы работе?

Было похоже, что ему предложат работу в управлении тыла, где-нибудь во втором эшелоне, а его любимую штабную оперативную работу ему не доверят.

Начальник отдела кадров спросил:

— А где жена ваша, здесь это не отражено? — и он постучал пальцем по бумаге.

— Ведь мы, собственно, разошлись перед войной. Когда со мной была эта[, мягко выражаясь,] неприятность. [Когда я сидел.] Собственно, тогда у нас и разладились отношения,— он усмехнулся,— не по моей, конечно, инициативе.

Этот разговор мирного времени происходил в блиндаже начальника отдела кадров под грохот разрывов, гул дальнобойных пушек, цоканье зениток на берегу и тяжелые глухие удары авиабомб.

Когда начальник отдела кадров спросил, в каком году был вновь арестован [40] Даренский, где-то поблизости крикнуло так сильно, что оба собеседника невольно пригнулись и посмотрели на потолок — не рухнет ли сейчас на них земля и дубовые бревна; но потолок не рухнул, и они продолжали беседу.

— Придется вам обождать,— сказал начальник отдела кадров.

— Что так? — спросил Даренский.

— Да кое-что уточнить надо тут.

— Что ж, подождем,— сказал Даренский,— только об одном прошу, не давать мне назначения во второй эшелон, я оператор. И уж очень прошу вас не затягивать с назначением.

— Учтем, учтем,— сказал начальник, но голос его не мог особенно обнадежить Даренского — наоборот, мог лишить надежды.

— Мне как, наведаться к вам? — спросил Даренский вставая.

— Зачем зря беспокоиться. Где вы остановились?

— У офицеров связи.

— Я помечу у себя, когда понадобится — за вами пришлем. У вас как с питанием? Аттестат, все в порядке?

— В порядке,— отвечал Даренский.

Он шел обратно в избу офицеров связи и глядел на туманный город, белевший за Волгой. Все, казалось ему, складывается плохо. Он просидит в резерве многие месяцы. Офицеры связи перестанут замечать его; он сам будет проситься сыграть в подкидного. В столовой девушки-официантки с сострадательной насмешкой за спиной его будут говорить: «А, это безработный подполковник из резерва».

Придя в избу, он, не глядя ни на кого, не снимая сапог, лег на койку, повернулся к стене, плотно зажмурил глаза.

Он лежал и медленно вспоминал все подробности разговора, выражение лица собеседника. Все сложилось неудачно — в штабе оказались новые люди, никто его не знает по работе... А по бумагам — что можно сказать... [да и плохие бумаги.]

Его осторожно толкнули в плечо.

— Товарищ подполковник, идите на ужин,— тихо сказал чей-то голос,— сегодня каша рисовая с сахаром, а то скоро столовая закроется.

Даренский продолжал лежать неподвижно.

Второй голос сердито сказал:

— Зачем ты товарища подполковника беспокоишь, видишь — отдыхает. А если утром окажется — заболел, ты пойдешь в санчасть и врача приведи.— И совсем тихо тот же голос добавил: — А еще лучше, принеси подполковнику ужин на квартиру, может, в самом деле болен, в столовую метров шестьсот, все-таки трудно. Я бы сам сходил, да мне сейчас на тот берег переправляться, пакет Чуйкову. Мой ужин возьми сухим пайком, сахар особенно.

Даренский узнал голос — это был Савинов. Он вздохнул и почувствовал, что слезы внезапного умиления выступили у него сквозь плотно сжатые веки.

Утром, когда офицеры связи, не вызванные ночью, подшивали воротнички, умывались, чистили сапоги, вошел, запыхавшись, посыльный и, быстро оглядевшись, с опытностью тертого штабного солдата сразу определив старшего званием, выговорил скороговоркой, без точек и запятых:

— Товарищ подполковник, разрешите обратиться, кто здесь товарищ подполковник Даренский? Вас полковник срочно вызывает в отдел кадров, велел до завтрака прийти. Разрешите быть свободным, товарищ подполковник?

В отделе кадров Даренскому сообщили о назначении на большую и ответственную работу в штаб артиллерии — о такой он и не мечтал, даже не помышлял.

— Надо явиться завтра в штаб артиллерии к полковнику Агееву, он велел в четырнадцать,— строго глядя на Даренского, сказал начальник отдела кадров.

— Есть явиться завтра в четырнадцать,— ответил Даренский. Тот, точно поняв новые мысли Даренского, сказал:

— Вот видите, оказалось, что все без задержки, а вы, верно, думали: замотают бюрократы меня,— и, рассмеявшись, добродушно добавил с протяжным украинским выговором: — Бюрократы мы, верно, но на войне треба торопиться.

В последний вечер Даренский впервые по душам разговорился с офицерами связи и был искренне удивлен, что не видел до сих пор, какие они чудесные парни: скромные, мужественные, простые, начитанные, работающие, расположенные к людям...

Он допоздна разговаривал с ними и открывал в них все новые и новые добродетели. Казалось, достоинствам офицеров связи не было конца.

Он все не верил себе — так хорошо ему было, так радостно, свободно дышалось в этой избе в унылых солончаках Заволжья, среди угрюмого грохота артиллерии, среди гудения боевых самолетов. Мечта его свершилась: он получил ответственную, большую работу, его начальником станет человек талантливый, опытный и умный; его будущие сослуживцы — артиллеристы, люди поистине замечательные: умницы, трудолюбивые, остроумные, и ему невольно стало казаться, что вокруг все вдруг стало светло и легко.

Так бывает с человеком в пору успеха,— собственная жизнь стала казаться Даренскому необычайно значительной, удачливой, а грозное положение на фронте уже не представлялось таким мучительным, сложным и тяжелым.

19

Агеев был человек уже совсем седой, но очень подвижный и деятельный. Его помощники, шутя, говорили о нем:

— Если б нашему полковнику дать волю, он внедрил бы артиллерию и в цветоводство, и в скоростное дачное строительство, и в Московский художественный театр.

В 1939 году он был глубоко уязвлен, узнав, что сын его решил учиться на филологическом факультете. А когда спустя год после этого дочь, которую он возил по воскресным дням на полигон «слушать настоящую музыку», вышла замуж за кинорежиссера, Агеев сказал жене:

— Вот плоды твоего воспитания, погубили девочку.

У него имела теория артиллерийского характера и физической конституции артиллеристов: «Наш русский артиллерийский народ с большим черепом, с большим мозгом, ростом большой, в плечах широкий, костистый».

Сам он был болезненный, хрупкого сложения и небольшого роста; ноги у него были такими маленькими, что жена покупала ему «мальчишковые» ботинки в детском отделе Военторга — страшная тайна, известная, как думал Агеев, лишь ему одному, но в действительности разглашенная по штабу артиллерии его адъютантом, участником этих покупок.

Агеев считался хорошим артиллерийским командиром, его уважали и ценили за большие знания и живую, всегда молодую и смелую голову.

Но некоторые, ценя достоинства Агеева, не любили его за плохой характер.

Он бывал резок, насмешлив, часто невоздержанно перечил и спорил.

Он больше всего не любил карьеристов и политиканов и однажды на Военном совете наговорил своему сослуживцу, которого подозревал в угодничестве, столько обидных слов, что произошел конфликт, дошедший до Москвы.

Даренский ожидал решения своего вопроса как раз в то время, когда у Агеева происходили большие служебные волнения. Речь шла о решении исключительно ответственном — переводе тяжелой артиллерии из города на левый берег.

Агеев объездил песчаные, поросшие густым лозняком и молодым лесом прибрежные районы

и нашел, что бог создал Заволжье, чтобы удобней разместить в нем артиллерию больших калибров.

Затем он перебрался на моторной лодке в город, побывал на батареях, в штабах тяжелых артиллерийских дивизионов и полков, разместившихся на площадях и среди развалин, и, понаблюдав условия их работы, понял, что тяжелая артиллерия на правом берегу работать не сможет.

Немцы вплотную подошли к городу. Снайперы и небольшие подразделения немецких автоматчиков проникали ночью в центральные районы города, пробирались среди развалин и стреляли по огненным позициям тяжелой артиллерии и по артиллерийским штабам.

Достойных объектов для тяжелых калибров в таких условиях отыскать было нельзя, и приходилось вести огонь по мелким, подвижным группам, по отдельным пулеметным и минометным гнездам.

Усилия артиллеристов дробились по мелочам, и главной их заботой было оборонять от внезапных наскоков драгоценные пушки.

Связь все время нарушалась. Подвоз тяжелых снарядов к огненным позициям по заваленным улицам был необычайно сложен, а часто и вовсе невыполним.

Агеев доложил обо всем этом командующему фронтом с раздражающей прямолинейностью, произнося множество своих любимых слов: «благоглупость», «перестраховочка», «я ответственности не боялся и бояться не буду» — и стал требовать срочного перевода тяжелой артиллерии на левобережье Волги.

Он пришел на доклад в самый для себя неудачный момент. Донесения с фронта поступали тревожные и тяжелые, войск было мало, немцы подошли к городским окраинам и, по последним данным, несколько часов назад начали штурм города. Гвардейская дивизия Родимцева была еще на подходе.

Двигались массы противотанковой артиллерии, полки гвардейских минометов, тяжелая артиллерия Ставки Верховного Командования; для подвоза войск и боеприпасов был выделен гигантский парк резерва Ставки.

Немцы, явно учуяв движение резерва к Сталинграду, поторопились начать последний штурм.

Тревога и напряжение нарастали: командиры некоторых частей то и дело обращались в штаб фронта с просьбами о переводе под всевозможными предлогами штабов на левый берег.

Вот в это-то время и явился Агеев с разговорами о немедленном выводе тяжелых пушек на левый берег.

Среди десятков просьб такого же рода эта была продиктована интересами дела. Среди десятков неправильных предложений предложение Агеева явилось объективно нужным и важным.

Десяткам людей генерал [Ерёменко] {282} справедливо отказывал в их просьбах, но просьбу Агеева диктовала сама необходимость.

Однако свет устроен не так уж совершенно, ошибаются все люди, даже командующие. Командующий по инерции заподозрил Агеева в эвакуаторстве.

Никто из работников штаба не присутствовал на докладе Агеева. Известно было лишь, что доклад не был особенно продолжителен и что, вернувшись в свой блиндаж, Агеев швырнул папку на стол, издал странный носовой звук, дважды за ночь принимал валерьяновые капли и

перекопал всю свою походную библиотеку в поисках душевного успокоения.

Потом уж адъютанты командующего рассказывали приятелям из оперативного отдела, что никому из эвакуаторов не влетело так сильно, как Агееву.

На языке адъютантов это называлось «дать дрозда».

В том, что проделал Агеев на следующий день, сказалась его самопожертвованная и чистая любовь к общему делу и к артиллерии.

Он вновь поехал в город и на свой страх — а страх был нешуточный — приказал переправить на самодельных плотках два тяжелых дивизиона на левый берег. Всем управленцам и командованию полка он строго велел оставаться в городе. Связь управления с огневиками первое время поддерживалась через Волгу проволокой, которую Агеев до замены специальным кабелем посоветовал обмазать смолой.

После дня работы подтвердилась польза перевода тяжелой артиллерии на левый берег — пушки работали неутомимо, опасность им не угрожала, вопрос о доставке тяжелых снарядов решился сам собой.

Телефонная связь ни разу не нарушалась, огневики перестали думать о немецких автоматчиках, а занимались лишь стрельбой, управленцы, командование, развязав себе руки и перестав бояться за пушки, ушли к пехоте и сообщали на огневые о движении больших масс противника, достойных внимания бога войны.

Нервная, лихорадочная стрельба на авось сменилась сокрушительным прицельным огнем.

Стало ясно, что уход тяжелой артиллерии за реку — не отступление, а жизненная необходимость. Это была первая заявка артиллерии на одну из ведущих ролей в обороне города, первый образец бесценной братской помощи заволжской артиллерии сталинградской пехоте.

Агеев вновь отправился к командующему.

Он доложил о том, что все наличные минометы, батальонные, полковые артиллерийские средства перебрасывает в город; одновременно он послал в город многих сотрудников штаба артиллерии; затем уж сказал о двух тяжелых дивизионах на левом берегу и живописал их отличную работу, подчеркнув, что управление и командование остаются в городе — «на самом что ни на есть переднем крае».

Ерёменко, получивший донесения, что наконец-то долгожданная гвардейская дивизия Родимцева подходит к Красной Слободе, надел очки и стал читать вновь положенный перед ним Агеевым проект приказа о занятии тяжелой артиллерией огневых позиций на левом берегу Волги.

— А как эти дивизионы сюда попали? — спросил он тонким, почти девичьим голосом и ткнул пальцем в приказ.

Агеев закашлялся, утерся платочком, но, так как еще мать приучила его говорить только правду, ответил:

— Я перевел их, товарищ генерал.

Генерал снял очки и посмотрел на докладчика.

— В виде опыта, Андрей Иванович,— поспешно добавил Агеев.

Генерал молча смотрел на лежащий перед ним проект приказа,— он дышал с хрипотцой, губы его надулись, морщины собрались на лбу.

Сколько труда, волнения было вложено в эти короткие строки, в этот тоненький листок бумаги...

Артиллерия дальнего действия, сосредоточенная на левом берегу Волги и подчиненная командующему фронтом! Большие калибры, тяжелые минометы, реактивная артиллерия — «катюши»! Какой сокрушительный кулак, какая плотность огня, какая маневренность, какая быстрота сосредоточения!

Агеев стал считать про себя секунды. Он досчитал до сорока пяти, а Ерёменко все молчал.

«Старик под суд меня отдаст»,— подумал Агеев, мысля командующего стариком, хотя был на восемь лет старше его.

Он снова вынул платочек, внимательно и грустно посмотрел на вышитую женой оранжевую шелковую меточку.

В этот момент Ерёменко подписал приказ.

— Дельно,— сказал он.

— Товарищ генерал-полковник, вы сделали большое дело,— волнуясь, проговорил Агеев,— ручаюсь честью, в этом решении залог нашего несомненного успеха. Мы создадим невиданной силы артиллерийский кулак.

Командующий молча отодвинул приказ и потянулся к папиросам.

— Разрешите идти, товарищ генерал? — меняя голос, спросил Агеев и пожалел, что не поговорил о «перестраховочке» одного из штабных генералов.

Ерёменко откашлялся, посвистел ноздрями и, неторопливо кивнув головой, сказал:

— Выполняйте, можете идти! — Потом он окликнул Агеева: — Сегодня Военный совет баню пробует на новом месте, приходите часиков в девять, попаримся.

— Обошлось,— с некоторым удивлением сказали адъютанты, когда Агеев, улыбаясь, помахал им рукой на прощание и стал подниматься по земляным ступеням.

Вот в эту удачную пору Агеева и пришел к нему на службу Даренский.

20

Ночью Даренского, назначенного на работу в штаб артиллерии, дважды вызывал начальник.

Беспокойный Агеев всегда огорчался, когда его сотрудники ночью спали, обедали в обеденный перерыв или отдыхали после работы.

Он поручил Даренскому на рассвете выехать на правый фланг, проверить, как прошла переправа орудий, какова маскировка их на новых огневых позициях, переговорить по телефону с командирами полков и дивизионов в городе, проверить связь — провололочную и по радио, обеспечение боеприпасами, побывать на дивизионных обменных пунктах.

Отпуская Даренского, Агеев сказал:

— Все время меня информируйте, каждые три-четыре часа докладывайте, связь со мной у них через второй эшелон шестьдесят второй армии. Если кого-нибудь из старших командиров

обнаружите на огневых, немедленно выгоняйте в город. Имейте в виду, разведотдел донес о крупном сосредоточении противника в южном районе, напротив Купоросной балки. Завтра нам предстоит держать первый серьезный экзамен — командующий хочет нанести массированный артиллерийский удар.

До рассвета оставалось еще часа два, но Даренскому не хотелось ложиться, он не спеша пошел к своему блиндажу.

Над Волгой стояло неяркое зарево пожара, и стекла в деревенских домах розовели. Прожекторы освещали небо, гудели самолеты, из города доносилась пушечная стрельба, иногда слышались пулеметные очереди. Часовые вдруг выходили из тьмы и для порядка спрашивали:

— Кто идет?

Даренский мечтал последнее время об усталости, о бессонных трудовых ночах, об опасности и большой ответственности — и вот все это свершилось.

Пройдя в блиндаж, он зажег свечу, положил перед собой на столик часы, вынул из сумки бумагу и конверт с заранее написанным адресом и стал писать матери письмо.

Он писал и поглядывал на часы — скоро ли зашумит перед блиндажом автомобиль.

«...Это, может быть, первое послание, в котором не будет мечтаний, просто оттого, что мечты осуществились. Не стану описывать своего путешествия, такое же, как и все военные путешествия — не в меру много пыли, духоты, тесноты, ночных тревог. Был у меня, как полагается, в пути приступ, но, уверяю тебя, не вру,— самый пустяковый. Не стал бы вспоминать о нем, если б не связал себя словом писать обо всем, не скрывая. Прибыл на место. Началось у меня из рук вон плохо. Я пал духом, решил, что придется либо в резерве болтаться, либо загонят в тыловую дыру. Но тут, видно, воздух и все как-то иначе. Пренебрегли формальностями, и я работаю теперь день и ночь на ответственной, оперативной должности, как пьяный, вот и эту ночь не спал, пишу тебе перед рассветом, а сейчас вновь выезжаю. Я даже не знаю, с чем сравнить свое состояние. Артиллеристы, сослуживцы мои, люди замечательные, умные, культурные, сердечные, чудесный народ. Начальник принял меня сердечно. Тут произошло одно дело, и он вел себя изумительно, ты ведь знаешь, что военному человеку можно быть героем и не под пулями.

Словом, у меня, как говорят, каждая жилка играет, ощущение непередаваемой радости, значительности всего, что делаю. Дела идут превосходно, люди дерутся как львы, настроение у всех отменное, бодрое, никто не сомневается в победе.

Между прочим, мне тут рассказывали, что в армии вводятся погоны, уже шьют их в тылу на фабриках,— золотые будут для строевых, а серебряные для интендантов.

Да, кстати, вчера выпил водки, закусил жирной свининой с черным хлебом, и язва моя даже не поморщилась — вдруг стал совершенно здоров.

В общем, готов писать бесконечное письмо, которое в конце концов тебе наскучит читать... Я очень прошу тебя — береги себя, не волнуйся, не мучь себя тревогами обо мне. Пиши — моя полевая почта на конверте, пиши обо всем, как у тебя, запасла ли топливо на зиму... И еще раз, не волнуйся обо мне. Помни, что мне никогда не было так радостно и хорошо на душе, как сейчас...»

Он запечатал конверт, пододвинул к себе лист бумаги и задумался — писать ли на Донской фронт, старшей машинистке Ангелине Тарасовне, или написать молодому врачу из терапевтического госпиталя, Наталии Николаевне, провожавшей его две недели назад на

вокзал.

Но в это время слышался шум автомобиля, и Даренский, отложив бумагу, встал и надел шинель.

21

Подхода дивизии гвардии генерал-майора Родимцева с мучительным нетерпением ожидали в штабе фронта.

Но это мучительное нетерпение и напряжение все же не шло ни в какое сравнение с тем, что испытывали военные люди, находившиеся на правом берегу Волги, в самом Сталинграде...

10 сентября немцы начали общий штурм города. Две немецкие армии, 6-я и 4-я танковая, при поддержке бомбардировочной авиации, наступали на город с юга, с запада и севера.

В наступление на город немцами было брошено свыше ста тысяч человек, пятьсот танков, около полутора тысяч артиллерийских орудий, тысяча самолетов.

На севере наступавшие немецкие войска были прикрыты 8-й итальянской армией, с юга — дивизиями 6-го армейского корпуса.

Главный удар по городу наносился с юга, со стороны Зеленой Поляны, Песчанки и Верхней Ельшанки, и с запада, со стороны Городища и Гумрака. Одновременно немецкие войска усиливали давление с севера на Тракторный завод и поселки завода «Красный Октябрь».

Под сильными ударами с юга и запада, которые с нарастающей мощью наносил в эти ясные сентябрьские дни немецкий наступательный молот, медленно сплющивалась, отходила к Волге оборона 62-й армии.

Немецкие атаки с юга были отражены, но во второй половине дня 13 сентября немцы, наступавшие с запада, прорвались в центральный район города.

Улица за улицей в центральной части города переходили в руки немцев.

Пространство, отделяющее немцев от берега Волги, таяло с каждым часом. Яростная контратака на несколько часов приостановила продвижение противника.

В руках 62-й армии, если глядеть от севера к югу, находились три завода: Тракторный, «Баррикады» и «Красный Октябрь»; затем прибрежная полоса длиной в десяток километров и шириной не более двух-трех, отделявшая заводы от центральной части города.

В этой полосе, сильно пересеченной балками и оврагами, идущими перпендикулярно к течению реки, находились мясокомбинат, несколько рабочих поселков, железнодорожные пути и насыпи, ведущие вдоль Волги к заводам, нефтехранилища, измазанные огромными рыжими, зелеными и черными запятыми, отчего они казались еще заметней в прозрачном осеннем небе.

На этом же участке находилась господствующая над городом и Волгой высота 102. Военные называли ее высотой 102, сталинградцы — Мамаевым Курганом. Через несколько недель сталинградцы, наглядевшись на военные карты, стали звать этот курган высотой 102, а военные, породнившись с городом, говорили — Мамаев Курган.

Если смотреть дальше на юг, туда, где находился центр города, то полоса земли, занятая 62-й армией, все суживалась; часть центральных улиц уже находилась в руках немцев, и постепенно от района пассажирских пристаней, памятника Хользунову, к устью Царицы и элеватору полоса эта сходилась на нет — там немцы вышли к самой Волге.

Просторные южные промышленные районы города — СталГРЭС, «Завод 95», поселок Бекетовка, Красноармейск, прикрытые 64-й и 57-й армиями, были отрезаны в начале второй декады сентября от центральной части города.

С севера немцы еще 23 августа в районе Ерзовка—Окатовка отрезали 62-ю армию от войск, стоящих северо-западнее Сталинграда.

Таким образом, 62-я армия находилась как бы в сплюснутой пятидесятикилометровой подкове; за спиной у нее с востока была Волга, с севера, запада и юга — немецкие дивизии.

Командный пункт 62-й армии за эти дни трижды менял свое местоположение. С высоты 102, после того как враг завязал бои за нее, штаб перекочевал в штольню на реке Царица. После этого враг вновь вплотную подошел к новому командному пункту, и командарм переселил штаб на волжский обрыв, недалеко от завода «Красный Октябрь», под нефтяными баками.

Не надо обладать ни военными знаниями, ни особым воображением, чтобы, взглянув на карту, представить чувства и состояние командования армией внутри этой сжимавшейся с каждым часом железной подковы.

Истощенные, обескровленные стрелковые дивизии, измотанные танковые бригады, подразделения морской пехоты, курган ты военных училищ, отряды народного ополчения — вот все, что мог до подхода подкреплений противопоставить в эти дни Чуйков стотысячному гитлеровскому войску, начавшему штурм города.

14 сентября с утра советские части вновь контратаковали немцев на центральном участке фронта. Немцы были несколько потеснены. Однако мощной силой танков и авиации они нейтрализовали успех советских частей и продолжали штурм центральной части города.

К трем часам дня немцы захватили вокзал Сталинград 1-й и значительно расширили зону прорыва в центре города.

22

С утра блиндаж командующего армией Чуйкова сотрясился от грохота авиационных бомб.

Командарм сидел на койке, застеленной серым одеялом. Он сидел, опершись локтями о маленький столик, запустив пальцы в волосы, красными от бессонницы глазами тяжело смотрел на лежавший перед ним на столе план города. Курчавые, спутанные волосы, большой мясистый с горбинкой нос, небольшие, темные, но яркие глаза, засевшие под выпуклыми надбровными дугами, толстые губы — все это придавало смуглому и полнокровному лицу его выражение особое, угрюмое, властное и привлекательное.

Командарм вздохнул, переменил положение тела и подул на кисть руки — кожа мучительно зудела: обострившаяся нервная экзема не давала ему покоя ни днем, в часы оглушающих налетов немецкой авиации, ни ночью, в пору упорной и лихорадочной работы.

Электрическая лампа, подвешенная над столом, покачивалась, белые сыроватые доски, обшивавшие стены и потолок блиндажа, страдальчески вздыхали и скрипели. Висевший на стене револьвер в желтой кобуре то начинал раскачиваться, подобно маятнику, то вздрагивал, собираясь сорваться с гвоздя. Ложечка на блюдце рядом с недопитым стаканом чая позванивала и дрожала, зараженная дрожью земли. Оттого, что лампа покачивалась, тени предметов шевелились по стенам, вздрагивали, то набегали к потолку, то сбегали к полу.

Минутами этот тесный блиндаж напоминал каюту парохода во время морской качки, и чувство тошноты подкатывало к горлу.

Отдельные звуки разрывов за толстым сводом и двойными дверями сливались в нечто гудящее и вязкое, ноющее, имеющее, казалось, тяжелую массу. Этот звук давил на темя, царапал мозг, вызывал резь в глазах, обжигал кожу. Этот звук проникал в самое нутро, мешал сердечному ритму и дыханию. Он, видимо, не был лишь звуком, с ним сливалась и смешивалась лихорадочная дрожь земли, камня, дерева...

Так обычно начиналось утро — немцы с рассвета и до заката долбили авиационными бомбами то один, то другой участок прибрежной земли.

Генерал провел языком по пересохшим от бесконечного ночного курения деснам и губам и, продолжая глядеть на карту, вдруг зычно крикнул адъютанту:

— Сколько сегодня?

Адъютант, хотя и не расслышал вопроса, но, уже зная, каков бывает первый утренний вопрос, ответил:

— До двадцати семи одномоторных,— и склонился над столом, проговорив над ухом командующего: — Пашут, паразиты, одни приходят, другие уходят, волнами до самой земли пикируют. Метров сто пятьдесят отсюда рвутся.

Чуйков посмотрел на часы — было без двадцати минут восемь. Уходили пикировщики обычно в девятом часу вечера, оставалось терпеть бомбежку «всего» еще часов двенадцать-тринадцать... «Минуток восемьсот»,— сосчитал он и крикнул:

— Папирос!

— Чай пить будете? — переспросил, не расслышав, адъютант, но, поглядев на нахмуренное лицо командующего, поспешно прибавил: — Понятно, папирос.

В блиндаж вошел плотный, большелобый, с лысеющей головой человек, с петлицами дивизионного комиссара. Это был член Военного совета армии Гуров. Он обтер платком лоб и щеки, отдуваясь, сказал:

— Меня с койки сдуло, немецкий будильник опять ровно в половине восьмого начал.

— Сердце у тебя не в порядке, товарищ член Военного совета,— крикнул командующий, покачав головой,— дышишь тяжело! {283}

Политработники, некогда знавшие Гурова по Военно-педагогическому институту {284} и вновь встретившие его в грозные дни волжской обороны, находили, что прежний Гуров и член Военного совета Гуров похожи друг на друга. Но самому Гурову казалось, что он совершенно изменился за войну, и ему иногда хотелось, чтобы дочь поглядела на него, «папочку», в те минуты, когда он весной 1942 года выходил на танке из-под Протопоповки {285} или теперь пробирался в сопровождении автоматчика на командный пункт дивизии, выдерживающей немецкие удары с земли и воздуха.

— Эй,— закричал в сторону полутемного коридора командующий,— скажи, пусть дадут чаю!

Когда девушка в кирзовых сапогах, уже знавшая, что? такое «чай» в такое утро, как это нынешнее, внесла селедку с луком, икру и копченый язык, дивизионный комиссар сказал, глядя, как она ставит на стол две граненые стопки:

— Три давайте, сейчас начальник штаба придет.— Он показал рукой, что у него в голове все смешалось от бомбежки, и спросил: — Сколько часов мы не виделись, часа четыре?

— Поменьше, в пятом часу кончил заседать Военный совет, а начальник штаба еще минут

сорок у меня сидел, латали тришкин кафтан,— проговорил командующий.

Член Военного совета сердито посмотрел на раскачивающуюся электрическую лампочку и, подняв ладонь, остановил ее.

— Бедность не порок,— сказал он,— тем более что скоро будем богаты, очень, очень будем богаты.— Он улыбнулся.— Вчера пробрался в штаб пехотного полка к командиру майору Капронову. Сидит командир под землей в магистральной подземной трубе со своими людьми, ест арбузы и говорит: «Поскольку они мочегонные, я сижу в водопроводной трубе, далеко ходить не нужно». А кругом ад кромешный. Хорошо, что смеется. Счастливое свойство. Пришел с заседания от тебя ночью — меня ждал Кузнецов, комиссар дивизии НКВД. Пять их полков растянулись от заводов до центра. Двести шестьдесят девятый полк отходит, непрерывные атаки — танки и пехота. Потери огромные, в двести семьдесят первом полку сто десять человек осталось, а из них сорок человек в партию подали! О чем это говорит? В двести семьдесят третьем сто тридцать пять человек осталось. А какие у них полки были полнокровные! <...> {286}

Командующий ударил кулаком по столу, закричал не для того, чтобы пересилить внешний шум, а от внутренней ярости и боли:

— Я от командиров и солдат требую всего невозможного, сверхчеловеческого! А дать что могу им? Роту охраны штаба в подкрепление, штабную батарею, легкий танк, что ли? А какие люди дерутся, какие люди! — Он снова ударил кулаком, да так, что привычная к бомбежке посуда подскочила, и налился темной краской.— Если не подоспеют подкрепления, вооружу штаб гранатами и поведу! Черт с ним! Чем в мышеловке этой сидеть или в воде барахтаться. Хоть вспомнят тогда! Не оставил, скажут, без подкрепления вверенные войска.

Он исподлобья, нахмутив брови, поглядел, положив руки на стол. Молчание длилось долго, потом по его лицу от углов глаз {287} пошла лукавая улыбка.

Улыбка, медленно, с трудом преодолевая угрюмую складку губ, осветила все его лицо, и оно, потеряв свое грозное выражение, посветлело, засмеялось.

Он погладил дивизионного комиссара по плечу:

— Вы тут похудеете, ты то есть (они накануне, торжественно расцеловавшись, перешли на «ты» и еще сбивались, не привыкли). Похудеешь, похудеешь!

— Я знаю,— сказал Гуров и улыбнулся командующему,— похудею не только от немцев.

— Вот-вот, и от меня, от моего тихого характера. Да это ничего, похудеешь, для сердца полезно.— Он зычно позвал в телефон: — Второго! — И тотчас проговорил: — С утренней бомбежкой вас, что ж вы опаздываете? Или отдыхаете? Давайте, давайте, а то чай стынет.

Дивизионный комиссар прижал ладонью ложечку, звеневшую на блюде, и увещевающе сказал ей:

— Да перестанешь ты дрожать,— и, подняв руку, снова остановил начавшую вновь качаться лампочку.

В это время вошел начальник штаба Крылов {288}. Все в нем дышало неторопливым, необычайным в этой обстановке покоем. Большая голова с приглаженными, смоченными водой волосами, и чистый, без морщин, лоб, и большое лицо с крупным носом, и усталые большие карие глаза, и полные свежесбрившие щеки с несколько ноздреватой кожей, пахнущие одеколоном, и белые руки с овальными ногтями, и белая полоска над воротничком френча, и мягкие движения, и внимательная улыбка, с которой он взглянул на накрытый

стол,— все принадлежало человеку непоколебимо, принципиально спокойному.

Негромкий голос его был почему-то слышен среди гула и грохота, и ему не приходилось кричать, как другим. То ли он умел произносить слова именно в те мгновения, когда несколько смолкал гул бомбежки, то ли научился выбирать какой-то особый тембр голоса, не заглушаемый громом войны, то ли спокойствие его было настолько сильно, что оно не смешивалось с раскатами штурма и всплывало, как масло на поверхности гремящих вод.

Вся война прошла для него в грохоте осады, и он привык к нему — молотобоец, привыкший к грому молота.

Осенью 1941 года он был начальником штаба армии, оборонявшей Одессу, затем — начальником штаба армии, оборонявшей двести пятьдесят дней Севастополь, сейчас он стал начальником штаба армии, оборонявшей Сталинград.

Член Военного совета, улыбаясь,— видимо, ему доставляло большое удовольствие смотреть на спокойное лицо начальника штаба,— спросил:

— Что в южной части?

— Артиллерия выручает из-за Волги, намолотила и наворотила немцев. Толково ее там расставили. Весь день «эрэсы» и тяжелые работали по южной окраине. Мои сотрудники подсчитали, что немцы за вчерашний день произвели тысячу сто самолето-вылетов.

Чуйков недовольно пожал плечами:

— Мне-то что, от такого подсчета ни холодно ни жарко.

Начальник штаба юмористически сказал:

— Что дурни робят, воду меряют. Наши КВ [41] отбили танковую атаку. Потери за вчерашний день меньше позавчерашних, но, я думаю, оттого, что машин меньше осталось. Картина ясная. Но оттого что она ясная, нам не легче. Выжигают с воздуха Ворошиловский район. Бесперывно атакуют с воздуха и с земли с прежних направлений: Гумрак, Городище, Бекетовка. По солдатским книжкам убитых видно, что со вчерашнего дня появились две новые дивизии. А на юге держим! Ночью замечено сосредоточение в районе Тракторного — танки, пехота. Видимо, противник считает задачу по городу практически выполненной и перегруппировывает силы. Много самолето-вылетов на заводы, очевидно, подготовку начали.

— А мне-то, мне-то,— проговорил командарм,— когда противник перегруппировывается для решающей атаки, мне-то где взять людей для перегруппировки, надавать ему по зубам?! Спросят-то с меня! Я сам с себя спрошу! Вот потеряли вокзал, элеватор, дом Госбанка, Дом специалиста... {289}

На некоторое время они замолчали — взрывы, стремительно нарастая, подкатывали к блиндажу. Тарелка, стоящая на краю стола, упала и, казалось, беззвучно, как на немом киноэкране, разбилась.

Начальник штаба отложил вилку, полуоткрыл рот, сощурился, вибрация земли и воздуха стала нестерпимой, раскаленная игла входила в мозг. Лица сидевших стали неподвижны. Вдруг блиндаж весь затрясся, заскрипел, все заходило, словно в гармошке, лихо растянutoй и снова сжатой грубым рывком чьих-то пьяных рук.

Все трое за столом распрямились, подняли головы: вот она и смерть!

И вдруг наступила оглушительная, дурящая тишина.

Дивизионный комиссар вынул платок и помахал им около лица. Начальник штаба приложил большие белые ладони к ушам.

— А я уж вилку поскорей отложил,— сказал Крылов,— подумал еще — откопают меня с вилкой в руке, смеяться будут.

Командарм искоса посмотрел на него и спросил:

— Все ж таки сознайтесь, в Севастополе ведь такого не было, там ведь не так бомбили?

— Трудно сказать, но, пожалуй...

— Ага-а, пожалуй,— сказал командующий, и в этом «ага» была радость, горькая гордость, торжество: он, должно быть, ревновал начальника штаба к Севастополю, ему, видимо, хотелось, чтобы ничто на войне не могло сравниться с той тяжестью, что он принял на свои плечи. Но, кажется, так и было.

— Нет, в Севастополе не так было. Куда Петрову до нас,— отдуваясь и лукаво улыбаясь, сказал Гуров, и командарм, увидя, что его чувство разгадано, рассмеялся.

— Что ж, как будто притихло,— сказал Чуйков,— давайте выпьем за Севастополь.

И едва он произнес эти слова, вновь сверху послышался воющий звук, и страшный удар потряс блиндаж, затрещало крепление, сквозь лопнувшие доски посыпались на стол пыль и труха.

В пыли на мгновение потонули все предметы и лица людей, и лишь слышались взрывы то справа, то слева, сливающиеся в один потрясающий барабанный звук.

Когда пыль стала оседать, командующий армией, кашляя и чихая, посмотрел на стол, на чудом уцелевшую и продолжавшую гореть лампу, на опрокинутый, упавший на пол телефон, на ставшую вдруг пепельно-серой подушку, на побледневшие, напряженные лица своих товарищей и вдруг с какой-то необычайной простотой улыбнулся и сказал:

— Ну и попали мы с вами в Сталинград, за какие грехи?

И столько детского удивления было в его улыбке, и такой человеческой, солдатской простотой прозвучали его слова, что все, слышавшие его, невольно усмехнулись.

Адъютант, растирая ладонью ушибленную голову, доложил:

— Товарищ командующий, один сотрудник штаба убит, двое ранено, разрушен блиндаж коменданта штаба.

А командарм, вновь суровый и напряженный, посмотрел на растерянное лицо адъютанта и резко сказал ему:

— Связь, связь мне немедленно восстановить!

— Нет, здесь круче, чем в Севастополе,— повторил дивизионный комиссар понравившуюся ему фразу.

— А что же, конечно, круче,— подтвердил командующий,— и оборону трудней строить, все улицы к Волге идут; прямые, короткие, простреливаются насквозь, от первого номера дома до последнего.

В блиндаж вошел дежурный по штабу.

— Покажи-ка,— и командующий протянул руку к пачке донесений и шифровок, не давая дежурному доложить по форме.— Тринадцатая гвардейская поступила в мое распоряжение, выходит к Волге,— торжественно и внятно сказал он.

Все склонились над телеграммой.

— Черт! — сказал командарм и вскочил на ноги.— Сегодня приступим к переправе. Эх, если бы вчера! Не пустил бы я его так далеко в город! Оставшимися танками выйду на набережную, обеспечу переправу. С передовой, из боевых частей ни одного человека не сниму! На танки посажу работников штаба.

— Дивизия полнокровная,— проговорил начальник штаба,— она, думаю, восстановит положение, которое минуту назад я считал совсем скверным.

— Родимцев меня спасать пришел,— усмехнулся командарм. * * *

Три события были весьма важны в первой половине сентября 1942 года для Сталинградской обороны: наступление советских армий северо-западной города, массирование тяжелой артиллерии на левом берегу и переправа на правый берег новых дивизий, в первую очередь родимцевской дивизии.

Бои, завязанные по приказу Ставки северо-западной Сталинграда, отвлекли от города большие силы немцев и итальянцев. Это и дало возможность продержаться до подхода подкреплений в те раскаленные минуты, когда немецкое командование готовилось объявить о занятии Сталинграда.

23

Дивизия Родимцева переправлялась через Волгу с ходу. Батальоны сгружались с машин, и тут же на берегу, у самой воды, старшины взламывали патронные ящики, вспарывали мешки с сухарями, разбивали прикладами ящики с консервами, раздавали людям патроны, гранаты, запалы, сахар, концентраты.

И тут же на берегу политруки рот и полковые агитаторы по указанию комиссара дивизии зачитывали приказ Военного совета № 4: «Стоять насмерть!», раздавали газету «Красная звезда» от четвертого сентября с передовой статьей «Отбить наступление немцев от Сталинграда» {290}, проводили короткие пятиминутные беседы о фактах героизма, рассказывали о бронбойщиках Болоте, Олейникове, Самойлове, Беликове, уничтоживших пятнадцать танков в одном бою {291}.

И тотчас же повзводно, поротно красноармейцы грузились на катера, баржи, паромы, и шуршание шагов по мокрому песку сменялось дробным сухим тархтением сотен тяжелых сапог по палубным доскам — казалось, погрузка людей идет под негромкую, тревожную дробь барабанов.

Рваный желтый туман стлался над водой — это у причалов жгли дымовые шашки. А сквозь дымку виден был город, освещенный солнцем; он стоял над обрывом — белый, узорчатый, зубчатый, издали нарядный и живой; казалось, нет в нем хижин, одни дворцы... Но было в нем что-то необычайное и страшное: город стоял онемевший и слепой, стекла не блестели на солнце, и сердца солдат тревожно угадывали пустоту за белым узором безглазого, ослепленного камня.

День был светел, солнце с беспечной щедростью и весельем дарило своим богатством все малое и большое на земле.

Тепло солнца входило в шершавые борта лодок, в мягкие натеки смолы, в зеленые звездочки

пилоток, в диски автоматов, в стволы винтовок. Оно грело кобуры командирских пистолетов, глянцевую кожу планшетов, пряжки ремней. Оно грело быструю воду, и ветер над Волгой, и красные прутья лозы, и печальную желтую листву, и белый песок, и медные снарядные гильзы, и железные тела мин, ждущих переправы.

Едва первый эшелон достиг середины реки, у причала загремели зенитки, и тотчас с юга на север, отвратительно каркая пулеметными очередями, с воем пронеслись над самой Волгой меченные черным крестом желто-серые «мессеры».

Поворачивая тощее желтое пузо, ведущий самолет круто развернулся и снова, воя, каркая, устремился к рассыпавшимся по реке понтонам и баржам. А вскоре в воздухе зашелестели, запели на разные голоса снаряды и мины и зачмокала вспаханная разрывами вода.

Тяжелая мина угодила в небольшой понтон, его на мгновение закрыло грязным дымом, огнем, сеткой брызг, и на других понтонах и баржах увидели, когда рассеялся дым, как молча тонут оглушенные и искалеченные взрывом люди: подвязанные к поясу гранаты, набитые патронные сумки тянули ко дну.

Потрясенные красноармейцы смотрели на гибнущих, а понтоны, баржи, катера все шли к правому берегу.

Дивизия приближалась водой к Сталинграду, и как передать то, что чувствовали и о чем думали тысячи людей, вступив на баржи, глядя на увеличивающуюся текучую полосу воды между плоским берегом Заволжья и бортом, слушая тревожный плеск волны и пение мин, всматриваясь в выплывавший из дымки белый город.

В эти долгие минуты переправы люди стояли молча, редко кто-либо произносил слово. В эти минуты люди бездействовали, они не могли ни стрелять, ни окапываться, ни кинуться в атаку. Люди думали.

Можно ли передать чувства этих многих тысяч людей? Можно ли передать то, что объединяло хаос надежд, страха, воспоминаний, любви, сожалений, привязанностей этих тысяч таких различных людей, многодетных отцов и юношей, горожан и крестьян, собравшихся сюда из сибирских деревень, с украинских и кубанских полей, из городов и заводских поселков?

24

Когда баржи отчалили, Вавилов пробрался к борту — инстинктивное чувство, заставившее его стать в том месте, которое было поближе к берегу.

После непрерывных гудков, гула грузовиков, тяжелого топота и криков команды странной казалась вдруг наступившая тишина, лишь вода чуть слышно хлюпала у борта да минутами ветер доносил стук мотора буксирного катера.

Ветерок обдувал разгоряченное лицо, прохладная влага касалась сухих, растрескавшихся губ и воспалившихся от пыли век.

Вавилов оглядел реку, близкий, рукой подать, берег. Кругом молчали красноармейцы, озирались, как и он. Томительно медленно ползла баржа, а расстояние от берега, казалось, увеличивалось быстро — вот уж не видно песка на дне, и вода стала серой, железной. А город в белой дымке все был далеким, кажется, и за день до него не доползет баржа.

Течение сносило баржу, канат вздрагивал, постреливал от напряжения, а при развороте он ослабел и ушел в воду, и казалось, сейчас буксир резко дернет и канат оборвется, баржа поплывет вниз по течению все дальше от молчаливого города, пойдет среди тихих берегов,

где лишь белый песок, птицы... Берегов не станет видно, баржа уйдет в море, и кругом будут лишь синяя вода, да небо в облаках, да тишина. И на минуту захотелось уплыть, выскользнуть в тишину, в покой, в безлюдье. Хоть на день, хоть на час отдалить войну.

Сердце вздрогнуло, буксир натянул канат, но баржа все ползла и ползла.

Стоявший рядом с Вавиловым Усуров тряхнул своим вещевым мешком и сказал:

— Пустой, пара белья, мыла кусочек, ниточка да иголочка: в кулак все имущество зажать можно. Все побросал в дороге.

Он впервые заговорил с Вавиловым после происшествия с платком, и Вавилов мельком оглядел Усурова: чего это он завел разговор — мириться надумал?

— Тяжело, что ли, нести? — спросил он.

— Нет. Шел на службу, так сидор нагрузил, жена поднять не могла. А теперь бросил, ни к чему эта жадность, что в гражданке у меня была.

Вавилов понял, что Усуров заговорил с ним не просто так, лишь бы поговорить, — разговор был серьезный. Он кивнул в сторону правого берега и насмешливо сказал:

— Там барахолки нет, зачем же барахло?

— Верно, зачем барахло, — согласился Усуров и оглядел огромный, на десятки километров вдоль Волги раскинувшийся город, в котором не было ни базаров, ни пивных, ни бань, ни кинокартин, ни детских садов, ни школ.

Он придвинулся к Вавилову и сказал шепотом:

— В свой смертный бой вступаем, нам полагается без всякой этой ерунды, — и он тряхнул пустым мешком.

Слова эти, произнесенные на тихой барже посреди Волги, произнесенные не безгрешным человеком, как-то странно подействовали на Вавилова, словно ветерок прошел по груди. И стало ему как-то не по-обычному печально и спокойно.

А Сталинград стоял под безоблачным небом — город, где беда ходила по пустым улицам и площадям, где не шумели, не дымили заводы, не торговали магазины, не спорили мужья с женами, не ходили дети в школы, где не пели под гармонику в саду на заводской окраине.

Вот в эту минуту и налетели немецкие самолеты, стали рваться в воде снаряды и мины, заголосил, зашелестел воздух, разодранный осколками.

И странное произошло с Вавиловым. Он сперва вместе со всеми кинулся на самый край кормы, хоть на шаг ближе быть к берегу, от которого отчалил, стал всматриваться, мерить расстояние — удастся ли доплыть? Жарко и душно сделалось, так тесно сгрудились люди на корме. Запах пота, быстрое человеческое дыхание сразу перешибли волжский ветер, словно над головой была крыша красного вагона, а не небесный простор. Некоторые переговаривались, а большинство молчало, только глаза у всех были воспаленные, быстрые.

На минуту отталкивающим показался город, к которому тянул буксир, и таким сладостным и привычным — спокойный заволжский песок.

Мелькнула в памяти дорога, сперва последние минуты пути до Волги, разгрузка машин, а потом дорога встала вся, без края, темным, угрюмым видением — крутящаяся пылица,

горячие глаза на залепленных пылью лицах, как будто глядящие из земли, степь в бледных шершавых пятнах солончаков, змеиные шеи верблюдов, седые головы старух беженок, отчаянные лица матерей, склоненные над вопящими, подопревшими грудными ребятами.

Вспомнилась молодая украинка с помутившимся разумом — она сидела у дороги с котомкой на плечах, смотрела безумными глазами на клубящуюся над степью желтую, крутую пыль и кричала:

— Трохыме! Земля горыть... Трохыме! Небо горыть! — И старуха, видимо мать безумной, хватала ее за руки, не давая рвать рубаху.

Дорога все тянулась дальше, и снова он увидел спящих детей, лицо жены в тот час, когда шел со двора навстречу красному рассвету.

Дорога тянулась все дальше — мимо кладбища, где похоронены мать, отец, старший брат, шла среди поля, где стояла веселая, зеленая, как его ушедшая молодость, рожь, уходила в лес, к реке, к городу, и он шел по ней, сильный, веселый, и рядом шла Марья, и поспевал на кривых ножках младший сынок Ваня...

Тоска ожгла его, все дорогое ему — жизнь, земля, жена, дети — было там, впереди, куда тащил буксир, а за спиной остались сиротство, желтая пыль. По тем заволжским дорогам он уж не выйдет к дому, навек потеряет его. Здесь, на этой реке, сошлись и вновь навсегда, навек, разбегались, как в слышанной в детстве сказке, две дороги.

Выйдя из толпы, сгрудившейся на корме, Вавилов пошел вдоль борта, глядя на всплески воды, поднятые взрывами снарядов.

Немец не хотел пускать его домой, отгонял в заволжскую степь, бил изо всех сил снарядами и минами, налетал с воздуха.

Город был уже близок, ясно виднелись пустые глазницы окон, полуобвалившиеся, в трещинах, стены, свисавшая с крыш покоробленная жесь. Видна была мостовая в каменных обвалах, провисшие балки межэтажных перекрытий, остатки обуглившихся стропил. На набережной у самой воды стоял легковой автомобиль с открытыми дверцами, он словно собрался въехать в реку и раздумал в последнюю минуту. А людей не было видно.

Город все рос, ширился, увеличивался, выступал во все новых подробностях, в строгой, печальной тишине и покое, втягивал в себя...

Вот уже косая тень высокого обрыва и стоящих на нем домов лежит на воде — в этой широкой, сумрачной полосе вода тихая, снаряды с размаху перелетают ее.

Буксир стал разворачиваться вверх по течению, а баржу занесло и сильным током быстрой прибрежной воды погнало к берегу.

За это время многие перешли с кормы на борт и на нос, и строгая, холодная тень от сожженных домов легла на лица людей, и они стали еще более печальны, задумчивы, спокойны.

— Вот и дома,— негромко сказал кто-то.

И Вавилов ощутил, что вот здесь в его солдатские руки попадает ключ от родной земли, ключ к родному дому, ко всему святому и дорогому для человека.

Может быть, это сокровенное, глубоко скрытое ощущение, вдруг ясно и просто осознанное Вавиловым, и было общим для тысяч молодых и старых человеческих, солдатских сердец.

Переправа 13-й дивизии закончилась на рассвете 15 сентября. В донесении командующему Родимцев сообщал о незначительных потерях. Переправа, несмотря на сильный минометный и артиллерийский огонь, прошла успешно.

Днем генерал сам переправился на правый берег. В нескольких метрах от его лодки шла лодка с бойцами батальона связи.

Рябь, поднятая ветерком в спокойной воде затона, и волна на стрежне, там, где течение выходило из-за Сарпинского острова, «Золотая звезда» и ордена на груди молодого генерала, желтая банка от консервов, брошенная на дно лодки для отчерпывания воды,— все сияло и сверкало. Это был ясный и легкий день, богатый теплом, светом, движением.

— Ох и проклятая погода,— сказал сидевший рядом с командиром дивизии седой и рябоватый полковник-артиллерист.— Если не дождь, хоть бы дымка была, а то воздух как стекло; одно хорошо, что солнышко немцу в глаза светит, он ведь с запада бьет.

Но, видимо, солнце не мешало немецкому артиллеристу. Со второго выстрела снаряд врезался прямо в шедшую рядом с родимцевской лодку.

В этой лодке лишь один человек, сидевший на самом носу и свалившийся при взрыве в воду, уцелел и поплыл обратно к левому берегу. Остальные пошли ко дну.

Когда уцелевший боец-связист подплыл к берегу, на песок вылетел маленький автомобиль и представитель Ставки генерал Голиков, соскочив с него, подбежал к воде и крикнул:

— Командир дивизии цел, жив?

Боец, оглушенный взрывом и весь захваченный чудом своего спасения, махнул тяжелыми, полными воды рукавами и дрожащими губами ответил:

— Один я остался. Только я подумал, обязательно бить будет, он и ударил, сам не знаю, как жив остался, плыву и не понимаю куда.

Лишь через час Голикову сообщили, что Родимцев благополучно высадился на сталинградский берег и находится на своем командном пункте.

Временный командный пункт дивизии помещался в пяти метрах от берега, среди глыб кирпича и обгоревших бревен, в неглубокой яме, прикрытой листами кровельного железа.

Родимцев и комиссар дивизии Вавилов, полнотелый, бледнолицый москвич, спотыкаясь о камни, подошли к яме, у которой стоял красноармеец в рыжих сапогах с автоматом на груди.

— Есть связь с полками? — спросил командир дивизии, наклонившись над ямой.

Этот вопрос тревожил его еще на том берегу и во время переправы, и первые его слова в Сталинграде были именно о связи с полками.

Из ямы выглянул начальник штаба майор Бельский. Он поправил пилотку, сбившуюся на затылок, и отрапортовал, что связь имеется с двумя полками, третий, выброшенный северней, пока отрезан от управления дивизии.

— Противник? — отрывисто спросил Родимцев.

— Жмет? — спросил комиссар и присел на камень, чтобы отдышаться. Глядя на спокойное, деловито будничное лицо Бельского, он удовлетворенно кивнул головой — комиссар в душе

восхищался работягой Бельским, неизменно спокойным и добродушным. Шутя рассказывали, что однажды, когда немецкий танк въехал на штабной блиндаж и, елозя гусеницами, старался смять перекрытие, полупридавленный Бельский, светя ручным фонариком, поставил на карте с обстановкой аккуратный ромбик: «Танк противника на командном пункте дивизии».

«Вот бюрократ»,— шутили о нем.

И теперь, стоя по грудь в яме и отгибая рукой лист кровельного железа, он смотрел на Родимцева своими спокойными, неулыбающимися глазами совершенно так же, как неделю назад в кабинете, докладывая о наличном вещевом довольствии.

«Золотой вояка»,— с умилением подумал комиссар, слушая Бельского.

— Новый командный пункт оборудую в трубе,— сказал Бельский,— там почти в полный рост стоять можно. Вода по дну течет, я велел саперам деревянный настил сделать. А главное, метров десять земли над головой — условия есть.

— Да, условия,— задумчиво повторил Родимцев, рассматривая план города, только что переданный ему Бельским,— на плане были помечены позиции, занятые дивизией.

Командные пункты полков разместились в двух-трех десятках метров от берега. Командиры батальонов и рот, полковые пушки, батальонные и ротные минометы расположились в ямах, в овраге, в развалинах домов, стоящих над обрывом. Тут же неподалеку разместились стрелковые подразделения.

Бойцы, не лентясь, рыли в каменистой почве окопы, ячейки, строили блиндажи и землянки — все чуяли опасность, напозавшую с запада.

Не надо было смотреть на план города — прямо с воды открывалось расположение двух стрелковых полков и огневых средств дивизии.

— Что ж, затеяли здесь долговременную оборону строить без меня? — и Родимцев показал рукой вокруг.

— Тут и проволочной связи не нужно,— сказал Бельский,— команду голосом можем передавать из штадива в полки, а из полков в батальоны и роты.

Он посмотрел на Родимцева и замолчал. Молодое лицо генерала было сердито, нахмурено; редко Бельский видел его таким.

— Кучно очень лепитесь к воде и друг к другу, чувствуется, что боитесь,— сказал он и, отойдя от ямы, стал прохаживаться по берегу.

Вдоль берега валялись каменные глыбы, обгорелые бревна, листы кровельного железа.

Обрыв, ведущий к городу, был крутой и каменистый, множество тропинок вело вверх, где белели высокие городские дома с выбитыми стеклами.

Было довольно тихо, лишь изредка рвались мины да с воем и свистом, заставляя всех низко пригнуться, пронесся над Волгой желто-серый «мессер», хрипя пулеметными очередями и нахально постукивая скорострельной пушчонкой.

Но чувство тревоги возникало не от привычных для многих выстрелов, по-настоящему жутко становилось в минуты тишины. Все люди в дивизии, от генерала до солдат, понимали, что они сейчас стоят на главной дороге немецкого наступления. Так тревожно и тихо бывает на рельсах — кажется, можешь и прилечь, и присесть, но знаешь, пройдет время, и с грохотом налетит огромный и стремительный состав.

Вскоре подошел комендант штаба и лихо отрапортовал, что оборудован новый командный пункт.

Родимцев все с тем же нахмуренным, злобным выражением сказал ему:

— Почему в кубанке? На свадьбу в деревню приехали? Надеть пилотку!

Улыбка исчезла с широкого молодого лица коменданта.

— Слушаюсь, товарищ генерал-майор,— сказал он.

Родимцев молча пошел на новый командный пункт, сопровождаемый штабом.

Он поглядел на красноармейцев, несущих к окопам и блиндажам бревна, доски, куски железа, и, покосившись на тяжело дышащего комиссара дивизии, насмешливо сказал:

— Видал? Как бобры, прямо на воде долговременную оборону строят.

Жерло трубы темнело в десяти метрах от берега.

— Ну вот и дома, кажется,— сказал комиссар.

Видимо, очень страшен был сталинградский берег в этот сияющий, веселый день, если, уходя от ясного неба, от солнца и прекрасной Волги в черную трубу, выложенную заплесневевшим камнем, в затхлую духоту, люди с облегчением вздыхали и выражение напряженной суровости в их лицах сменялось успокоением.

Бойцы комендантской роты вносили в трубу столы и табуреты, лампы, ящики с документами, связисты налаживали провода телефонных аппаратов.

— Мировой у вас КП, товарищ генерал,— сказал немолодой связной, который еще на Демиевке, в Киеве, передавал в батальоны приказы Родимцева.— Тут и для вас вроде особое помещение — вот на ящиках, и сено есть, отдохнуть, полежать.

Родимцев хмуро кивнул ему и ничего не ответил.

Он прошелся по трубе, постучал пальцем по камню, прислушался к журчанию воды под ногами и, повернувшись к начальнику штаба, спросил:

— Зачем телефоны тянем? Голосом будем команду передавать, все рядом на пляже, в купальнях сидим.

Бельский видел, что командир дивизии недоволен, но так как спрашивать у начальника о причинах и поводах недовольства не полагалось. Бельский с почтительной грустью помолчал.

Комиссар дивизии, наблюдая хмурое и злое лицо Родимцева, и сам начал хмуриться.

Никто, пожалуй, в дивизии не знал столько о людской силе и людских слабостях, как комиссар Вавилов. Он знал, что десятки глаз пылливо смотрят на Родимцева. Он знал, что через штабных, связных, телефонистов, посыльных, адъютантов и вестовых в штабах {292} полков и батальонов скоро будут передавать о генерале: «Все ходит, не присел ни разу», «На всех сердится, даже Бельского обложил — нервничает, сильно нервничает!»

И думая об этом, комиссар дивизии сердился на Родимцева: надо было помнить, что в этих необычных, тяжелых условиях в штабах полков и батальонов начнут переглядываться, шепотом говорить: «Ну ясно, дело худо, нет уж, отсюда не выберемся». А ведь Родимцев знал о том, что именно так будут говорить. Не раз комиссар восхищался его умением

усмехнуться под тревожными взглядами и, слушая донесение: «Немецкие танки ползут к командному пункту»,— спокойно проговорить: «Выкатить гаубицы для стрельбы прямой наводкой, а пока давай обед кончать!»

Когда наладили связь, Родимцев позвонил командарму и доложил о переправе дивизии.

Командарм сказал ему:

— Имейте в виду, передышки после марша не будет, надо наступать.

— Есть, товарищ командующий,— ответил Родимцев и подумал: «Какая уж тут передышка».

Родимцев вышел на воздух. Он присел на камень, закурил, поглядел на далекий левый берег, задумался.

На душе у него было тяжело и спокойно — знакомое ему чувство, приходившее в самые трудные часы войны.

В солдатской пилотке, с накинутым на плечи зеленым ватником, сидел он поодаль от общей суеты человеческого муравейника.

Он казался значительно моложе своих тридцати шести лет, и посторонний, поглядев на худощавого, светловолосого военного с юношескими чертами лица, не подумал бы, что этот кареглазый миловидный человек, рассеянно и грустно глядящий вокруг себя, и есть командир дивизии, первой высадившейся в осажденном и наполовину занятом немцами городе.

За те часы, что Родимцев был оторван от дивизии, жизнь тысяч людей, подобно воде, ищущей удобного и естественного русла, уже пошла своим чередом.

Люди, где бы они ни находились — на узловой станции, в ожидании пересадки, на льдине, плывущей по Северному океану, и даже на войне,— всегда стараются поудобней улечься, усесться, потеплей укрыться.

Это естественное стремление всякого человека. Часто на войне это естественное стремление не противоречит целям боя. Солдаты выкапывают ямы и рвы, чтобы укрыть свои тела от стальных осколков, и стреляют по противнику. Но иногда инстинкт сохранения жизни побеждает все остальные помыслы в бою.

Сидя на камне, Родимцев равнодушно, мельком просматривал донесения полков об успешном строительстве обороны на берегу.

Он видел, что все эти меры внешне были как будто совершенно разумны с точки зрения самосохранения дивизии, самосохранения полков и батальонов. Но вот оказалось, даже умница Бельский не мыслит, что в этот час речь идет не об обороне дивизии, расположившейся у самой волжской воды.

— Бельский! — позвал Родимцев.— Погляди-ка, меня тут не было, и вы затеяли на берегу оборону строить. Давай все же подумаем...— И он помолчал, приглашая Бельского подумать.— Что мы имеем? Один полк от нас оторван, связь с ним ерундовая. Сидим мы тут в пяти метрах от воды, начнем обороняться, что будет? А? Нас всех, как кутят, немцы в Волге утопят. Обмолотят минометами и утопят. Вы знаете, какие у них силы?

— Что ж делать, товарищ генерал? Какое вы принимаете решение? — с тихим спокойствием спросил Бельский.

— Что делать? — задумчиво спросил Родимцев, на мгновение поддаваясь спокойствию Бельского, и тут же громко и раздельно проговорил: — Наступать! Штурмовать! Врываться в

город! Вот что надо делать. У нас одно преимущество — внезапность, а у них преимуществ сто да еще сто.

— Правильно,— сказал комиссар дивизии, и ему показалось, что именно об этом он думал все время,— правильно, не ямки копать нас сюда прислали.

Родимцев посмотрел на часы.

— Через два часа я доложу командарму, что готов наступать... Вызовите ко мне командиров полков. Я нацелю их на новую задачу: с рассветом наступать! Разведданные у вас слабенькие очень. Немедленно поставьте задачу дивизионной разведке. Свяжитесь с разведотделом армии, выжмите все данные о противнике, уточните его передний край, расположение огневых средств. Проверьте связь с огневыми в Заволжье. Готовьте своих людей наступать, а не обороняться. План города вручить всем командирам и комиссарам. Они через несколько часов будут воевать на этих улицах. Действуйте.

Говорил он негромко, но властно, точно легонько толкая Бельского в грудь.

Вавилов крикнул своему ординарцу:

— Немедленно вызвать ко мне комиссаров полков!

Командир и комиссар переглянулись и одновременно улыбнулись друг другу.

— В эту пору мы обычно после обеда в степь гулять ходили,— сказал Родимцев.

Поток человеческих действий зарябил, заволновался. Родимцев положил первый камень плотины, чтобы по-новому заставить работать духовную и физическую силу людей. Этот человек еще несколько минут назад сидел на камне, отчужденный от общей суеты и работы. Вскоре давление его воли чувствовали не только в штабе, не только командиры полков и батальонов — оно сказало во взводах, его ощутили красноармейцы. Рытье окопов и блиндажей на берегу уже не казалось самым спешным и важным делом.

Все чаще в полках и батальонах говорили: «генерал отменил», «генерал не велел», «генерал приказал», «первый одобрил», «первый торопит», «первый сейчас проверять будет».

А среди красноармейцев уже шел свой разговор — по десяткам признаков стало ясно, что произошло нечто новое, совершенно иное, не то, что было час назад.

— Шабаш, откладывай лопату, старшина дополнительно патроны выдает.

— А бутылки с горючкой вам выдавали? Еще по две гранаты дают. А пушки на откос выкатывают...

— Родимцев приехал, наступать на город будет.

— Нашего майора, связные говорят, позвал: «Ты что думаешь, я тебя сюда привел ямки копать?»

— В первом взводе бойцам по сто граммов водки раздают и шоколаду по две плитки.

— Да, брат, [если солдату шоколад — плохо дело,] будет нам шоколад.

— По пятьдесят патронов дополнительно выдали.

— В темноте, наверное, пойдем, заблудим еще тут, ох страшно тут ночью.

По вызову комиссара дивизии первым явился комиссар полка Колушкин — в довоенное

время известный в Сталинграде комсомольский и партийный работник.

Ему хотелось рассказать комиссару дивизии о том, что он ходил на развалины дома, где жил когда-то, щупал рукой теплые от пожара стены и в пустой коробке дома нашел куски штукатурки, покрытой голубой краской, которой перед Майским праздником в 1940 году отделал одну из комнат в своей ныне разрушенной квартире. Но комиссар дивизии был нахмурен и озабочен.

Вскоре пришли еще один старший батальонный комиссар и три батальонных.

— Берите блокноты, вот вам задача,— сказал комиссар дивизии,— нацеливайте политсостав на политработу в наступательном бою.

И он стал диктовать пункт за пунктом.

— А как с планом лекций? — спросил один из писавших.

— Отменим. Живая короткая беседа! Оборона Царицына — оборона Сталинграда, обобщение боевого опыта. Знакомьте с планом города.— И, обратившись к ординарцу, сказал: — Теперь комиссара тыла и редактора мне вызови.

Вскоре в штабах полков и батальонов, на батареях и в минометных ротах, в отдельном саперном батальоне забелели блокноты старших и младших политруков; агитаторы пошли в роты и в отделения проводить беседы.

В сумерки комдив в сопровождении двух автоматчиков пошел берегом, вдоль самой воды, на доклад к командующему.

Было тихо, лишь изредка слышались одиночные винтовочные выстрелы, должно быть, боевое охранение старалось рассеять вечернюю жуть, заглушить поскрипывание жести и шорох обваливающихся камней.

Вернулся Родимцев через полтора часа, уже в темноте, с подписанным приказом о наступлении.

Наступил час тишины. Ночь встала над Волгой в дивном богатстве своем, в синеве и мягком плеске волны, в прохладе и тепле многоструйного ветра, несущего то жар степи, то мертвую духоту улиц, то живое, сырое дыхание реки.

Миллионы звезд смотрели на город, на реку, слушали журчание воды в прибрежных камнях, слушали шепот, покряхтывание, негромкие вздохи людей.

Работники штаба вышли из трубы, глядели то на реку, то на небо, то на силуэты командира дивизии, комиссара и начальника штаба, сидевших у воды на полузасыпанном песком бревне.

Всем было тревожно, и все думали об одном и том же, поглядывая на широкую водную преграду, вглядываясь в ту сторону, где едва темнело Заволжье.

Командир дивизии вынул папиросу, закурил, затянулся несколько раз.

Начальник штаба негромко спросил:

— Как, товарищ генерал, наш новый командующий?

Видимо, Родимцев не расслышал вопроса, и Бельский не стал повторять его.

Родимцев еще несколько раз затянулся, бросил папиросу в воду.

Вавилов негромко проговорил:

— Вот и новоселье.

Родимцев, видимо думая о своем, сказал:

— Да, вот именно. Так вот и живем.

Казалось, каждый из них говорил о своем, не отвечая собеседнику, но это было не так: они понимали настроение и ход мыслей друг друга.

Все они начали войну в июне 1941 года и вместе пережили столько тяжелого, так часто видели смерть, столько холодного осеннего дождя и горячей июльской пыли, зимних метелей выпало на их долю, столько было говорено и рассказано, что они с первого слова, иногда с полуслова, а иногда и без слов понимали друг друга.

Родимцев молчал и вдруг сказал, отвечая на вопрос Бельского:

— Начальство есть начальство. Или оттого, что немец раздражил, пикировал на него весь день, но, видать, характер есть.

Они долго слушали тишину в предчувствии, что больше тишины в этом городе им не слышать.

[Командир дивизии проговорил, всматриваясь в Волгу, слова, которые не положено слышать подчиненному от начальника перед наступлением:

— Грустно, Бельский, никогда так грустно мне не было, ни при сдаче Киева, ни под Курском. Пришли мы сюда умирать.]

По Волге томительно медленно скользил какой-то темный предмет, и нельзя было понять, лодка это без весел, раздутый труп лошади или обломок взорвавшейся баржи.

А за спиной молчал сожженный город, и люди, глядевшие на Волгу, вдруг оглядывались, точно ловя на себе давящий, тяжелый взгляд, наблюдающий за ними из тьмы.

26

Вечером командарм уже знал о подробностях переправы. В двадцать два часа ему представился Родимцев, и командарм отдал приказ о наступлении. В полночь он принял начальника особого отдела и председателя армейского трибунала, доложивших дела командиров, самовольно переправивших свои штабы на Зайцевский и Сарпинский острова. Командарм тяжело задышал и, взяв карандаш, пододвинул к себе бумаги.

— Все,— сказал он,— можете быть свободны.

После он долго ходил по блиндажу. Лицо его потемнело, тяжелые брови насупились, взор был угрюм. Он сел на стул, взъерошил волосы и, выпятив нижнюю губу, стал пристально разглядывать карандаш, которым только что подписал бумаги, принесенные трибунальцем и особистом; вздохнул и снова заходил по блиндажу, расстегнул ворот, ощупал пальцами шею, провел ладонью по груди и по затылку. В прокуренном блиндаже нечем было дышать.

Командарм прошел к выходу, по штольне, где спал его адъютант.

Лейтенант лежал полуприкрытый шинелью, сползшей до пола. Командарм посветил фонариком — бледное детское лицо с полуоткрытыми губами казалось болезненным.

Генерал поднял шинель и прикрыл худые плечи спящего.

— Мама, мама, мама,— сдавленным голосом позвал спящий.

Генерал всхлипнул и, тяжело ступая, поспешно вышел из блиндажа.

27

В предрассветной мгле неясно мелькали тени людей, позвякивало оружие — полки 13-й дивизии, поднятые по тревоге, готовились к выступлению. Политруки негромко окликали людей, сзывали на короткую беседу, светя электрическими фонариками, указывали дорогу.

Над откосом на грудах кирпича сидели красноармейцы, слушали комиссара полка Колушкина. Он говорил негромко, и сидевшим в задних рядах приходилось напрягать слух, чтобы расслышать. Это собрание на волжском откосе, среди развалин, при слабом свете едва наметившейся на востоке светлой полосы зари, вещавшей приход жестокого дня, было каким-то особым, будоражащим душу.

Колушкин не стал говорить по плану, который наметил себе заранее, а начал рассказывать красноармейцам о своей жизни в Сталинграде, о том, как работал на стройке завода, рассказал, как перед войной ему дали квартиру неподалеку от того места, где он сейчас сидит на обгоревшем бревне, рассказал, как болела его старуха мать, как она просила, чтобы постель ее поставили у окна, из которого видна Волга... Красноармейцы слушали в молчании <...> {293}.

Когда Колушкин кончил говорить, он вдруг различил массивную фигуру комиссара дивизии, прислонившегося к выступу кирпичной стены.

«Ох,— с тревогой подумал Колушкин,— чего я наплел такого, все не на тему... вот он, придира, мне даст, разве это политработа в наступлении?»

Комиссар дивизии пожал ему руку и проговорил:

— Спасибо, товарищ Колушкин, хорошее слово сказал.

28

Когда германская ставка сообщила по радио, что Сталинград занят немецкими войсками и сопротивление Красной Армии продолжается лишь в районе заводов, немцы сами были убеждены в полной объективности этого сообщения.

Вся центральная административная часть города, ее площади, улицы, вокзал, театр, банк, школы, центральный универсальный магазин, здание обкома партии, горсовет, редакция газеты и сотни полуразрушенных жилых многоэтажных зданий, собственно и составляющих новый город, находились в руках немцев. В этой части города советские войска занимали лишь узкую полосу набережной.

По мнению немецкого командования, сопротивление красных на северных заводах и на юге, в предместье Бекетовке, не имело никакой перспективы.

Линия советской обороны была рассечена и нарушена, центр отъединен от севера и юга, взаимодействие армий представлялось немыслимым, коммуникации были полупарализованы.

Убежденность в победном решении сталинградской задачи была у всех немецких офицеров и солдат; никто не предполагал закреплять захваченное, настолько ясной казалась прочность завоевания. Многие штабные немцы считали, что уход Красной Армии за Волгу — вопрос дней, даже часов.

Поэтому одной из причин успеха первого наступления дивизии Родимцева была внезапность. Немецкое командование не ждало этого наступления.

Правофланговый полк дивизии Родимцева завязал бои за Мамаев Курган, господствовавший над городом, после чего все три полка соединились и вновь восстановили непрерывную линию фронта.

Были захвачены десятки больших зданий. Полк, наступавший в центре, особенно далеко продвинулся на запад и одним из своих батальонов захватил вокзал и прилегавшие к нему постройки. Наступление немцев в южной части города было приостановлено.

Родимцев отдал приказ занять оборону и драться: в полуокружении, в окружении — драться до последнего патрона.

Он объявил командирам, что будет рассматривать малейшее отступление как самое тяжелое воинское преступление. Об этом ему объявил командарм. И то же самое объявил командующий фронтом командарму.

И кроме пути, которым спускался этот приказ сверху, был и другой путь его: он выражал душевное решение красноармейцев. И кроме того, хотя успеху родимцевского наступления способствовала внезапность, имелась вторая, более веская причина этого успеха — закономерность.

29

Наибольший успех выпал на долю батальона старшего лейтенанта Филяшкина.

По узким улочкам, по пустырям батальон продвинулся к западу от Волги на тысячу четыреста метров, вышел к вокзалу и, почти не встретив сопротивления, занял полуразрушенные станционные постройки, будки стрелочников, сараи с углем, полуразваленные склады, пол которых был густо припудрен мукой и усыпан кукурузными зернами.

Сам Филяшкин, рыжеватый человек лет тридцати, с небольшими, покрасневшими от бессонницы глазами, расположился над [42] насыпью в бетонированной будке с выбитыми стеклами.

Утирая пот и ковыряя пальцем левой руки в ухе (ему заложило ухо при разрыве мины), он писал на линованной конторской бумаге донесение командиру полка. Он был одновременно обрадован успехом — шутка ли занять Сталинградский вокзал — и раздосадован тем, что соседние батальоны далеко отстали и, открыв фланги батальона Филяшкина, не дали ему возможности продвинуться дальше на запад.

Комиссар батальона Шведков, со следами солнечного ожога на лице, возбужденный своим первым боем — он до последнего времени работал в гражданке, был инструктором райкома партии в Ивановской области,— громко говорил Филяшкину:

— Зачем останавливаться? Бойцы рвутся вперед, надо развивать успех!

— Куда рвутся? Я прошел вперед на запад дальше всех! — перебил Филяшкин, тыча пальцем в план города.— Куда мне развивать — на Харьков? Или прямо на Берлин?

Он произносил «Берлин» с резким ударением на первом слоге.

Подошел лейтенант Ковалев, командир третьей роты — вихор выбивался у него из-под заломленной на ухо пилотки. Каждый раз, когда он резко поворачивал голову, вихор этот подскакивал, словно витой из тугой проволоки.

— Ну что? — спросил Филяшкин.

— Порядок,— стараясь не прокашливаться и говорить сиплым басом, ответил Ковалев,— лично положил девять,— и улыбнулся глазами, зубами, всем существом, как умеют улыбаться лишь дети.

Потом Ковалев доложил, что политрук роты Котлов примером личной храбрости воодушевлял бойцов в бою, ранен и эвакуирован в тыл.

Начальник штаба батальона, седой лейтенант Игумнов молча рассматривал карту. Он работал до войны в районном совете Осоавиахима и не уважал молодых командиров за легкомыслие и бахвальство, страдал оттого, что комбат был по годам сверстником его старшего сына.

Подошел Конаныкин, командир первой роты, темноволосый, плечистый, длиннорукий, с очень резкими и быстрыми движениями. Один кубик на петлице его гимнастерки был вырезан из красной резины.

Игумнов сердито пробормотал:

— Открыли клуб, а кругом противник.

— Докладывай, товарищ Конаныкин,— сказал Филяшкин.

Конаныкин, доложив об успехах роты и понесенных ею потерях, передал написанное крупным почерком донесение.

— Ох и дал я сегодня немцу,— сказал Филяшкин и позвал Игумнова: — Начальник штаба, пойдите сюда, закусим кое-чем.

Ковалев, указывая пальцем в сторону молчаливых городских построек, занятых немцами, сказал:

— Вот тут я летом с одним моим другом лейтенантом на квартиру заезжал, ох и погуляли мы... Теперь уж могу признаться, товарищ старший лейтенант: лишний день прогулял. Одна тут была, хозяйкина дочь, уж лет ей, верно, двадцать пять, незамужняя, но, скажу, красота прямо, я таких не видел. Культурная, красивая...

— Общее развитие есть, это самое главное,— сказал Конаныкин.— Достиг у хозяйкиной дочки тактического успеха?

— Будь спокоен. Точно.— Ковалев сказал эти неправдивые слова для Филяшкина, пусть знает — не очень его интересует санинструктор Елена Гнатюк. Верно, в резерве он ходил с инструктором гулять в степь и подарил ей фотографию, но это делалось от скуки.

Филяшкин зевнул и сказал:

— Э, что вы мне про Сталинград этот рассказываете. Был и я тут проездом, когда училище кончил, ничего особенного нет, зимой ветра такие, жуткие прямо, чуть не пропал.

Он протянул Ковалеву кружку.

— Спасибо, товарищ старший лейтенант, я не буду,— отказался Ковалев.

Филяшкин и Конаныкин выпили, как говорится, по сто граммов и заспорили, чья квартира в резерве была лучше.

Сталинград за эти несколько часов не стал для них еще тем, что можно вспоминать, и они

продолжали жить воспоминаниями о месяцах заволжского резерва. Для них и для многих пришедших после них Сталинград не смог стать воспоминанием, он сделался высшей и последней реальностью, сегодняшним днем, за которым не наступил завтрашний.

Вернулся связной с запиской командира полка. Подполковник приказывал готовить оборону. По многим данным, враг собирался контратаковать.

— А как же продовольствие, у нас с собой две суточных дачи? — спросили в один голос начальник штаба и комиссар.

Конаныкин глянул на Филяшкина и усмехнулся. В его рассеянной, беспечной усмешке было столько готовности встретить судьбу и такое понимание простоты своей судьбы, что седой Игумнов содрогнулся, почувствовав себя мальчишкой перед этим лейтенантом. Филяшкин наметил на карте участки обороны, командиры рот пометили их на своих картах, записали в блок-книжки указания.

— Разрешите идти? — спросил Ковалев и вытянулся.

— Идите,— отрывисто ответил Филяшкин.

Ковалев пристукнул каблуками и круто повернулся, приложив пальцы к виску под борт пилотки.

Так как почва, усыпанная кусками битого кирпича и алебаstra, не была приспособлена для таких эволюций, Ковалев споткнулся и едва не упал. Он смутился и, видимо желая скрыть свою неловкость, подпрыгнул, побежал, словно он не споткнулся за секунду до этого, а стремительно выполнял приказание начальника.

— Поворачиваться не умеете! — сердито крикнул Филяшкин.

Мгновенный переход от приятельских отношений к необычайной строгости казался неестественным и часто напоминал игру. Но, по-видимому, это было неминуемо среди молодых людей, обладающих противоречивыми склонностями к совместным приключениям, читке семейных писем, хорошему пению и к суровой власти над подчиненными.

Мягкость, прикрывающая превосходство, снисходительность сильных, приходит к людям лишь после долгих лет командования[, приходит с предрассудком, что командирская власть естественная и неотъемлемая участь некоторых, а подчинение привилегия многих].

Филяшкин повертел регулятор бинокля, висевшего на груди, и сказал:

— Надо в штаб полка сходить кому-нибудь из командиров, там наше хозяйство осталось, да и роту мою забрал себе в резерв командир полка, разбазарит он ее.

Он оглянулся на начальника штаба и старшего политрука — и они поняли, что он выбирает, кому из них пойти.

И оба невольно изменились в лице, такой ясной стала зависимость целой жизни от коротенького слова Филяшкина.

Обманчивая тишина предсказывала надвигающийся бой, лукавый покой вещал смерть. Штаб передового полка казался мирным, тыловым пристанищем.

«Пустите уж меня, папашу»,— хотелось сказать Игумнову, сказать смеясь, сказать в шутку. Он с отвращением почувствовал, как неестественно прозвучит его смешок, как криво усмехнется он, и нахмурился, с безразличным видом склонившись над раскрытым планшетом.

А Шведков уже понял, что успех первого наступления батальона обманывал своей легкостью. Недавние слова его о дальнейшем движении были сплошным неразумием, они и так в тылу у рвущихся к Волге немцев.

Но и он, конечно, молчал, рассматривая свой пистолет.

Филяшкин к людям относился с подозрением: не хитрят ли они. Шведкова он невзлюбил сразу же — он не уважал людей, пришедших из запаса в армию, а Шведков получил ни за что высокое звание, носил «шпалу», когда Филяшкин многие трудные годы выслуживал свои три кубика. Начальника штаба он считал пустым стариком. Конаныкина, командира первой роты, он признавал: тот окончил трехлетнюю нормальную школу и служил действительную рядовым, но Конаныкина он не любил за нежелание хоть в чем-либо уступить начальству.

— Смотрите, однако, Конаныкин,— сказал ему как-то, обозлившись, Филяшкин.

— А что мне смотреть,— ответил, тоже обозлившись, Конаныкин,— пусть смотрит, кто боится, а мне все равно. Думаете, солдат в бой водить легче, чем самому солдатом быть? Хуже мне не станет.

Подумав, Филяшкин сказал:

— Шведков, сходи ты в полк, что ли? — И, усмехнувшись, добавил: — А то еще отрежет нас противник, и в политотделе не смогут выговор тебе сделать за непредставленный отчет.

Отправив Шведкова в полк, он надел поверх полевой сумки и планшета шинель, чтобы немецкий снайпер не взял его тотчас на мушку, прихватил автомат и сказал Игумнову:

— Обойду боевые порядки.

Игумнов, изнемогая от тишины, нарочно громко проговорил:

— Товарищ комбат, под зданием вокзала глубокий подвал, там бы устроить склад боеприпасов, а роты по убываемости припасов смогут оттуда пополняться.

Филяшкин мотнул головой.

— Какие там склады,— сказал он,— вы проследите, чтобы все патроны и гранаты попали в отделения и были розданы бойцам. Какие уж тут склады!

Тихо было, немцы не стреляли, и тем страшней казался далекий, угрюмый гул, шедший с севера. Филяшкин не любил тишины и боялся ее, как всякий опытный вояка. Он помнил тишину за Черновицами {294} ночью 21 июня 1941 года. Он вышел тогда из душного помещения штаба полка покурить на воздухе. Как было тихо, как блестели стекла при спокойном свете луны; сменщик должен был принять дежурство в шесть часов утра — и Филяшкину теперь казалось, что он уже пятнадцать месяцев все не может сдать своего дежурства.

Эта пустынная, аспидно-серая сталинградская площадь, пошатнувшиеся столбы с болтающимися проводами, поблескивающие, еще не тронутые ржавчиной рельсы, затихшие подъездные пути, трудовая, пролетарская земля, лоснящаяся от черного масла, земля, исхоженная сцепщиками и смазчиками, земля, всегда гудевшая и вздрагивавшая от тяжести товарных составов,— все молчало, казалось от века спокойным и сонным. И станционный воздух, обычно просверленный и изодранный свистом кондукторов, дудками сцепщиков, гудками паровозов, был сегодня цельным и просторным. И весь этот тихий день напоминал ему те последние часы мира, и в то же время напоминал о родном доме, когда семилетний Филяшкин Павел, сын путевого обходчика, ускользнув из-под материнского надзора, шлялся по путям.

Укрывшись под станционной стеной, он раскрыл планшет и сквозь мутную желтизну целлулоида перечел записку командира полка. Чтение этой записки не принесло ему душевного утешения. И командир полка понимал: покой на вокзале обманчивый, временный.

Вот, казалось, повторится все так же, как в ту лунную ночь: тишину внезапно сменит рев самолетов, огонь. И Филяшкин подумал, что бывшее пятнадцать месяцев назад уже никогда не повторится — сегодня его уж не застанут врасплох, сегодня он ждет, сегодня он другой, чем тогда, на границе. Может быть, это не он стоял, покуривая, той лунной ночью, а какой-то другой, вислоухий лейтенант... А он ведь сильный, хитрый, умелый: по разрыву различит любой калибр, до прочтения донесения, до телефонного разговора с командирами рот он уж знает, что делают пулеметы, куда бьют минометы, на чью роту сильнее всего жмет противник.

Ему стало досадно за свое томление.

— Хуже нет,— сказал он шагавшему рядом вестовому,— чем из резерва опять на передний край выходить. Воевать, так без отдыха.

30

Батальон принял круговую оборону...

Как обманчиво предчувствие! Хлебнувшие войны люди опасаются его коварной, вкрадчивой лживости. Человек вдруг проснется ночью с предчувствием близкой смерти, настолько ясным, что, кажется, все до последней строки прочел в суровой и короткой книге своей судьбы. Печальный, хмурый либо примиренный и растроганный, пишет он письмецо, глядит на лица товарищей, на родную землю, не торопясь перебирает вещи в походном мешке.

А день проходит тихий, спокойный, без выстрелов, без немецких самолетов в небе...

А иногда, и как часто, легко, уверенно, с надеждой, с мыслями о далеком послевоенном устройстве начинает человек спокойное утро, а к полудню день захлебывается в крови,— и где он, начавший этот спокойный день человек? Лежит засыпанный, только ноги в обмотках видны из земли.

Весело и хорошо, дружно и смешливо настроились красноармейцы батальона, занявшего станционные постройки и вокзал.

— Ну, теперь домой поедем,— говорил один, оглядывая холодный паровоз,— пар подыдем, сам вас поведу, бери номерок на посадку у коменданта.

— Вот и угля сколько, хватит мне до Тамбова доехать,— шутиливо поддержал второй.— Поедем [43], что ли, на станцию, буфет открыт, пирожков в дорогу купим.

Ломиками и топорами прорубали люди бойницы в стенах и устраивались поудобней... «сена бы, соломки сюда». А хозяйственный боец даже приспособил полочку в стене и сложил на ней свой мешок и котелок. Двое сидели и рассматривали жестяную смятую кирпичом кружку, советуясь, стоит ли отклепывать от нее цепочку.

— Мне кружечка, а тебе цепочка,— говорил один.

— Ты добрый, спасибо,— говорил второй,— ты уж и цепочку бери.

А третий приспособился на вокзальном подоконнике, поставил зеркальце и стал снимать пыльную, скрипящую под бритвой бороду.

— Дай мыльца побриться,— сказал ему товарищ.

— Какое у меня мыльце, видишь, осталось...— И, посмотрев на обиженное лицо товарища, добавил: — На вон, докури, только затяжечку мне оставь.

На участке, где стало штрафное отделение, приданное конаныкинской роте, не слышно было руготни, воцарилось настроение добродушия — люди размещались обдуманно, обживали место, считали, что здесь придется стоять долго.

Один говорил, оглядывая полуразрушенные перегородки и проломанный потолок:

— Видишь, нам, штрафным, досталось, а гвардейские роты — в первом классе да в комнате матери с ребенком.

Другой, узкоплечий, с вьющимися волосами, бледным, не поддающимся загару лицом, установил противотанковое ружье, прищурившись, примерился, приложился и, мягко картавя, с ленивой усмешечкой, обращаясь ко второму номеру, произнес:

— Жора, отойди-ка, ты у меня стоишь в самом секторе обстрела, может произойти случайный выстрел.— Он не выговаривал «р», и у него получалось: «Жога», «выстгел».

И там, где разместилась рота Ковалева, шел под трудную работу свой разговор. Топоры вырубали кирпич, лопаты долбили землю, начиненную битым, рыхлым от влаги кирпичом, белыми черепками, кружевной, истлевшей жостью.

Желтоглазый Усуров, стоя по пояс в окопчике, спросил:

— Слышь, Вавилов, что ты шоколат свой не съел? Надоело тебе кушать? Сменяй мне на полпачки махорки. Мне очень понравился шоколат.

— Не сменяю,— ответил Вавилов,— девчонке и мальчишке своим спрячу[, они не видели, какой этот шоколад есть].

— Пока ты ее увидишь, девчонку-то, он к тому времени скиснет.

— Ничего. Пускай[, она и кислый съест].

— А то смотри, Вавилов.

Усуров отставил лопату, повернулся к Вавилову. Глядя на большие руки Вавилова и на его спокойные движения, на мощные, неторопливые и умные удары, под которыми камень отваливался легко и охотно, точно был в договоре с Вавиловым, Усуров, забыв обиду, почувствовал нежность к этому большому, суровому человеку, он чем-то напоминал ему отца.

— Ох и люблю я деревенскую работу,— проговорил он, хотя деревенской работы не любил, да и вообще больше любил зарплату, чем работу.

Там, в Заволжье, казалось, глядя на красное зарево, что и часу не прожить человеку в городе, а попали в Сталинград — и увидели вдруг: есть тут и каменные стены, за которыми можно хорониться, есть окопчики, есть тишина, есть земля и солнце в небе. И все развеселились, успокоились. От мрачного ожидания перешли люди к задорной уверенности, к вере в счастливую судьбу...

— Как дела, орлы? — спросил командир роты.— Смотри не ленись — противник, вот он.

Нос Ковалева с облупленной кожей был местами нежно-розовым. Снисходительно и спокойно оглядывал Ковалев работавших людей.

Только что командир батальона обошел с ним пулеметные гнезда, окопы, поглядел на боевое охранение и сказал, прощаясь:

— Правильно построена оборона.

Ковалев чувствовал себя опытным и сильным. Он разместился на своем КП, в кирпичной берлоге, отрытой под полуобвалившейся стеной товарного склада. КП находился в глубоком тылу, по крайней мере в пятнадцати—двадцати метрах от передовой. Устройство обороны уже заканчивалось, патроны, гранаты, бутылки с горючкой розданы, пулеметы проверены, ленты заряжены, противотанковые ружья установлены, сухари и колбаса разделены, связь с батальоном проложена под укрытием развалин, боевое охранение выставлено, командиры взводов инструктированы... Старшему сержанту Додонову, попросившемуся по нездоровью в санчасть полка, сделано грозное предостережение...

Ковалев раскрыл полевую сумку и предался рассмотрению своего походного имущества. Чтобы обезопасить себя от насмешливых взглядов, он разложил карту-двухкилометровку и, якобы изучая ее, стал вынимать содержимое сумки. Здесь хранились свидетели его жизни, короткой, бедной и чистой. Кисет с красной звездой, сшитый старшей сестрой Таей из пестрых лоскутков, из рукава ее некогда нарядного платья. Это платье он помнил, когда был восьмилетним ребенком. Тая в нем праздновала свою свадьбу со счетоводом Яковом Петровичем, приехавшим к ним в деревню из районного центра.

Когда Ковалева спрашивали: «Ого, брат, откуда у тебя такой кисет богатый?» — он отвечал: «Да так, мне сестренка подарила, когда еще в школе лейтенантов был».

Затем посмотрел он маленькую тетрадь в коленкоровом переплете, с потертыми краями и со стертой, когда-то золотой надписью: «Блоккнижка», подаренную ему учителем при переходе в седьмой класс сельской школы. В тетрадку были вписаны великолепными овальными буквами стихи и многие песни. Были тут и «Знойное лето», и «Гордая любовь моя», и «Идет война народная, священная война», и «Катюша», и «Душе моей тысячу лет» {295}, и «Синенький, скромный платочек», и «Прощай, любимый город», и «Жди меня».

Были в эту книжечку вложены четыре билета на метро, билеты в Музей Революции и в Третьяковку, билет в кино «Унион», билет в Зоопарк, память о двухдневном посещении Москвы в ноябре 1940 года.

Первую страницу занимало аккуратно переписанное стихотворение Лермонтова, и слова «на время не стоит труда, а вечно любить невозможно» {296} были жирно и аккуратно подчеркнуты синим и красным карандашами.

Затем он вынул вторую тетрадку, в нее он вписывал конспекты по тактике, тактические задачи. По тактике он шел отличником, единственный в группе, и этой тетрадкой гордился.

В целлофановую бумагу была завернута фотография скуластенькой девушки с сердитыми глазами, со вздернутым носом и мужским ртом. На обороте имелась надпись чернильным карандашом: «Не в шумной беседе друзья узнаются, друзья узнаются с бедою, коль горе нагрянет и слезы польются, тот друг, кто заплачет с тобою» {297}. На долгую память от Веры Смирновой». А в правом углу был очерчен четырехугольник и в него вписано мелкими печатными буквами: «Место марки целую жарко».

Ковалев снисходительно усмехнулся, вновь завернул фотографию в целлофановую, похрустывающую бумагу. Затем он извлек из сумки материальные ценности: бумажник с пачкой красных тридцаток, сиреневый кошелечек, в котором хранились два запасных кубаря для петлиц, немецкую трофейную бритву, трофейную зажигалку, красный галалитовый карандаш, металлическое круглое зеркальце, компас, массивный складной нож, имеющий вид плоского танка, невскрытую коробку папирос.

Он посмотрел вокруг, прислушался к далекому гулу и близкой тишине, разрезал ногтем бандерольку на коробке и закурил, потом оглянулся на подошедшего старшину Марченко, ставшего теперь, после ранения политрука, его ближайшим помощником, и сказал:

— На-ка закури,— и, покосившись на разложенное добро, добавил: — Вот, затерял запалы для гранат, всю сумку перерыл.

— А чего их шукать, вон их полно принесли,— сказал Марченко, осторожно взял двумя пальцами папиросу и, прежде чем закурить, повертел ее, оглядев со всех сторон.

31

Только придя в Сталинград, Пётр Семёнович Вавилов во всей глубине понял и почувствовал войну. <...> {298}

Огромный город был убит, разрушен. Некоторые дома после пожара сохранили тепло, и Вавилов в сумерках, стоя на часах, ощущал жар, еще дышавший в глубине камня, и ему казалось, что это — тепло людей, недавно еще живших в этих домах.

Ему не раз приходилось бывать до войны в городах, но только здесь, в разрушенном Сталинграде, обнаружился и стал виден огромный труд людей, строивших город.

Как нелегко было в деревне во время войны добыть малое оконное стекло, шпингалеты для окон, навесы для дверей, железную балку, понадобившуюся при ремонте мельницы. Гвозди при стройке давались счетом, а не по весу, так мало их было. Сколько труда потратили в колхозе, когда настелили в школе новый пол, как радовались, когда покрыли железом школьный дом!

Развалины города раскрыли огромное богатство, затраченное при стройке домов: тысячи листов смятого огнем кровельного железа валялись на земле, дефицит — кирпич — мертвыми холмами загораживал улицы на сотни сажен, тротуары блестели в стеклянной чешуе. Казалось, таким количеством стекла можно было наново остеклить всю колхозную Россию. Перегоревшее, сжеванное пожаром железо, мягкие, потерявшие в пьяном огне силу гвозди, шурупы, дверные ручки валялись тысячами; огромные, погубленные стальные рельсы и балки, прогнутые, порванные, закругленные злодейской силой немецких бомб...

Сколько пота затратили люди, чтобы из горной породы, песка, из руды извлечь стекло, камень, железо, стальные балки, медь. Тысячи и тысячи артелей каменщиков, плотников, маляров, стекольщиков, слесарей десятки лет с утра до заката работали здесь...

Какое мастерство видно было в кладке кирпича, как хитро, сложно выкладывались лестничные клетки, какая силища была в капитальной кладке треснувших стен. Гладкий асфальт был разрыт — темнели бомбовые ямищи, такие, что в них можно было сложить стог сена. Эти ямы разъели гладь площадей и улиц, и обнажился второй город, подземный,— толстый телефонный кабель, водопроводные трубы, котлы парового отопления, выложенные бетоном колодцы, переплетения подземных проводов.

Сокрушение величайшего труда! Казалось, пьяные мордастые злодеи издевались над тысячами рабочих людей. А те, кто жил в этих домах, встретились Вавилову в заволжской степи: обессилевшие старухи, женщины с младенцами, сироты, старики. А сколько их лежало под кирпичными холмами!

— Вот это Гитлер,— произнес протяжно вслух Вавилов, и все время эти три слова звучали в его ушах: «Вот это Гитлер...»

[Для Гитлера сила оказалась в насилии человека над человеком. Это понятие силы было

враждебно и чуждо Вавилону и миллионам таких, как он.

Понятия силы, справедливости, добра, труда определяют законы народной души. Когда говорят: «Народ это осудит», «Народ этому не поверит», «Так думает народ», «Народ на это не согласится», то подразумевается именно обычное общее чувство и простая мысль, живущие в сердце, в разуме народа. Такие простые чувства и простые мысли касаются самых основных, а значит, особо важных черт человеческого бытия — они-то и есть те духовные, ядерные силы, которые связывают единую ткань жизни и судьбы народов.

Эти чувства и мысли как бы присущи народу в целом, но живут они и в каждом отдельном человеке, дремлют, когда человек себя чувствует один на один с жизнью, просыпаются, когда человек ощущает себя как часть большого целого, когда человек говорит: «Так это я и есть народ».

И всем тем, кто говорит, что народ любит силу и уважает силу, следует основательно подумать, как народ эту самую силу понимает, и какую силу народ уважает, признает, и перед какой силой снимает шапку, и какую он не уважает, не признает, и никогда не пойдет за ней, и никогда не смирится перед ней.]

32

Мерцающее облако с утра стояло в воздухе — прах искромсанных снарядами кирпичей, серая пыль, поднятая с неметеных городских площадей взрывами мин, снарядов и тяжким шагом подкованных сапог.

В полуденном, струящемся воздухе немецкие солдаты-наблюдатели, взобравшиеся на верхние этажи разбитых домов, увидели через пустые глазницы окон реку, поразившую их своей красотой: Волга голубела, отражая безоблачное небо; широкий, напоминавший море простор ее сверкал на солнце. Влажное, чистое и нежное дыхание реки обдувало потные лица солдат.

А по улицам, среди горячих, пустых каменных коробок шли германские войска; самоходные пушки, броневые автомобили, танки со скрежетом делали на углах крутые повороты; мотоциклисты в распахнутых мундирах, без фуражек и пилоток кружили по площади, охваченные веселым пьяным безумием.

Пыль смешалась с дымом походных кухонь, запах гари — с запахом горохового супа.

Автоматчики, покрикивая и весело замахиваясь, вели пленных в кровавых, грязных бинтах, перегоняли на западную окраину бледных, растерянно озирающихся жителей: женщин, детей, стариков.

Пехотинцы-офицеры то и дело щелкали фотографическими аппаратами и, не доверяя памяти, вытаскивали записные книжки, делали пометки — каждая из этих книжек должна была стать семейной реликвией, памятью славного дня для внуков и правнуков.

Солдаты с серо-каменными, пыльными щеками, облизывая сухие губы, входили в дома, гулко ступая по уцелевшим паркетным полам брошенных квартир, стучали прикладами автоматов в стены, заглядывали в шкафы, встряхивали одеяла.

И как не раз это происходило — солдаты совершенно непонятным, чудесным способом находили среди развалин бутылки русской водки и сладких вин.

Улицы огласились пронзительной музыкой сотен губных гармошек, из-за выбитых стекол слышалось ухающее хоровое пение и топот солдатской пляски, хохот, крики; одиноко и печально звучали среди картавых немецких выкриков, среди волюнок и гармошек звуки

советских патефонов, найденных в брошенных квартирах: тенор Лемешева, бас Михайлова.

«И кто его знает, чего он моргает...» {299} — пел печально и удивленно девичий голос.

Солдаты выходили из домов, запихивая на ходу в ранцы из телячьих шкур чулки, кофточки, мотки ниток, полотенца, граненые рюмки, чашки, разливные ложки, ножи. Солдаты похлопывали себя по оттопыренным, туго набитым карманам. Некоторые, озираясь, бежали через площадь: прошел слух, что за углом находится фабрика дамской модельной обуви.

Шоферы наваливали в грузовики рулоны мануфактуры, сложенные ковры, мешки муки, ящики макарон, танкисты и водители броневиков запихивали в люки боевых машин ватные одеяла, сорванные с окон гардины, занавески, снятые с постелей покрывала, дамские пальто.

А с прилегавших к Волге улиц слышался треск автоматов, разрывы мин, пулеметные очереди, но к ним не прислушивались.

На балконе четырехэтажного здания, обращенного к Волге, стоял унтер-офицер наблюдатель в маскировочном балахоне, расцвеченном желтыми, коричневыми и зелеными овалами, с вуалью, украшенной мохнатыми, лоскутками, и кричал картаво и повелительно в трубку: «Feuer!.. Feuer!.. Feuer!..» [44], взмахивал рукой — и из-под деревьев на бульваре оглушительно послушно рычали пушки и из черных жерл молниеносно, как из змеиной пасти, выбрасывало желтые и белые раздвоенные языки.

Быстро проехал бронированный штабной автомобиль, сделал разворот среди площади и остановился; худой генерал с желтыми крагами на кривых ногах, с горбатым носом, с лицом, пересеченным несколькими шрамами, вышел из автомобиля и, поблескивая стеклом монокля, оглядел небо, площадь, дома, нетерпеливо указывая рукой в перчатке, сказал несколько слов подбежавшему офицеру и, снова сев в машину, уехал в сторону вокзала.

Вот таким и должен был быть последний день войны — таким он представлялся, и таким он пришел.

Казалось, жаркий туман стоял не в небе, а в раскаленных головах. Запах гари, прокаленного камня, жилья, мягкого асфальта опьянял после долгих недель, проведенных в степи.

Волга, столько раз виденная на карте бесплотной голубой жилой, сейчас, живая и подвижная, плескала о каменную набережную, шуршала, колыхала на себе плоты, понтоны, бревна, лодки. И немцы поняли: вот она — победа!

А там, где края клина, вбитого Паулюсом в центре города, граничили с районом, еще не очищенным от советских войск, все еще продолжалась война — там пока не думали о трофеях. Танки били прямой наводкой по воротам и окнам, расчеты, пригибаясь, тащили пулеметы к развалинам на волжском обрыве, ракетчики сигналили цветными ракетами, автоматчики пускали очередь за очередью в темные подвалы, по краям оврагов ползли снайперы, двухфюзеляжные самолеты-корректировщики висели в воздухе, и картавый вопль наблюдателей, шедший {300} к командирам немецких дивизионов и батарей, многоэтажным эхом врвался в уши сидевших в Заволжье на приеме советских радистов: «Feuer!.. Feuer!.. Gut!.. Sehr gut...» [45]

33

Командир пехотного гренадерского батальона гауптман [46] Прейфи разместил свой штаб в нижнем этаже уцелевшего двухэтажного дома.

С востока штаб был прикрыт массивным остовом полуразрушенного строения, и Прейфи рассчитал, что, вздумай русские вести артиллерийский огонь из-за Волги, штаб окажется

защищенным от прямого попадания снарядов.

Батальон первым вошел в город, и рота лейтенанта Баха в ночь на одиннадцатое, двигаясь по руслу реки Царицы, достигла набережной Волги. Бах донес, что боевое охранение роты закрепилось у самой воды, держит под огнем крупнокалиберных пулеметов дорогу на левом берегу Волги.

Не первый раз входил гренадерский батальон в завоеванный город, и солдаты привыкли к тому, что улицы, по которым они ступают, пустынные, что под сапогами скрипит битый кирпич и осколки стекол, что ноздри ловят горячий запах гари, что при виде первого серо-зеленого пехотного мундира жители столбенеют.

Ведь они всегда были первыми немцами, которых видели русские. И им казалось, что в них самих жил пафос завоевательской силы, повергавший в развалины дома? и железные мосты, вызывавший ужас в глазах женщин и детей.

Так было по всему пути гренадеров моторизованной дивизии.

И все же приход в Сталинград был особым, отличным от других приходов. Перед атакой в полк приезжал заместитель командира корпуса, беседовал с офицерами и солдатами, а представитель отдела пропаганды производил киносъёмку и раздавал обращение. Известный армии журналист, корреспондент «Фолькишер беобахтер», деливший с войсками всю тяжесть восточного похода, знаток солдатской жизни, взял интервью у трех старых участников русской кампании. Прощаясь с ними, он сказал:

— Дорогие друзья, завтра я буду свидетелем, а вы участниками решающей битвы с Россией; войти в этот город — значит кончить войну. За Волгой кончается Россия, там мы не встретим сопротивления.

Газеты, привозимые на самолетах из далекой Германии, и свои, армейские, выходили в эти дни с огромными шапками: «Der Führer hat gesagt: ‚Stalingrad muss fallen!‘» [47] Жирным шрифтом газеты печатали цифры колоссальных потерь Советов, перечисляли трофеи: живая сила, танки, пушки, захваченные на аэродромах самолеты.

В уме солдат и офицеров, в сознании армии сложилось убеждение, что пришел решающий день войны. Правда, такое убеждение рождалось уже не раз, но теперь стало очевидно, что ложность того, прошлого убеждения подтверждала истинность этого, нынешнего.

— После Сталинграда можно ехать домой,— говорили все.

Передавались слухи, что верховное командование наметило дивизии, которые после войны останутся в оккупационной армии.

Когда Бах сказал своему командиру батальона, что ведь не заняты еще колоссальные пространства, держится еще Москва, есть Урал, Сибирь, есть запасные советские армии, Прейфи ответил:

— Все это чепуха. Если мы возьмем Сталинград, неразбитые армии побегут и рассыплются, а Англия и Америка немедленно заключат с нами мир. Мы поедем домой, а здесь останутся лишь части для несения гарнизонной службы и борьбы с партизанами. Важно не попасть в такую часть, а то мы скиснем в каком-нибудь вонючем русском городке.

Ночью Бах подполз к Волге и зачерпнул каской воды. На рассвете, когда позиции были закреплены и стрельба утихла, он принес эту воду в штаб батальона и угостил ею гауптмана Прейфи.

— Знаете,— сказал Прейфи,— так как вода сырая и в ней могут заключаться микробы

азиатской холеры, мы смешаем ее со сталинградским спиртом.— Он подмигнул и добавил: — Поменьше воды и побольше спирта.

Они так и сделали, чокнулись, выпили, и Бах, подняв руку, сказал:

— Вот что: пять минут тишины, пусть каждый напишет сейчас же коротенькую открытку домой, все мы пили волжскую воду.

— Это правильная, настоящая немецкая мысль,— сказал Прейфи.

Бах написал невесте о том, как южные звезды стояли над черной рекой, и что влажное дыхание Волги казалось ему дыханием истории.

Капитан Прейфи написал, что, поднимая кружку волжской воды, он уже видел себя в кругу семьи, уже чуял запах парного молока, которое принесет ему жена в ясное весеннее утро; какое счастье думать о своих милых в эти великие дни.

Начальник штаба Руммер, считавший себя глубоким стратегом, написал старику отцу о грандиозном прорыве на восток, в Персию, Индию, о соединении с японцами, идущими из Бирмы и Индокитая, о стальном поясе, который закует на десять веков земной шар.

«Пал последний рубеж,— писал он,— я поднял тост за встречу с союзниками».

А Фриц Ленард, обер-лейтенант с нежным, молодым лицом, с маленьким розовым ртом, высоким белым лбом и немигающими голубыми глазами, командир роты, коллега Баха, никому не писал; он, усмехаясь, ходил по комнате среди собранных хозяйственным Прейфи трофеев, встряхивал кудрями и бормотал вполголоса стихи Шиллера.

Этого Ленарда побаивался сам Прейфи, картавый гигант с громким голосом и могучей хозяйственной энергией.

Ленард до войны был пропагандистом, затем он служил в звании штурмфюрера в войсках СС, а когда началась война с Россией, его перевели в штаб моторизованной дивизии.

Шепотом передавали, что по его доносу арестовали двух офицеров: майора Шиммеля он обвинил в сокрытии еврейской крови со стороны отца, а о другом, Гофмане, Ленард якобы раскопал длинную историю о тайных связях с интернационалистами, заключенными в лагере; оказалось, Гофман не только переписывался с ними, но и ухитрялся с помощью родных, живущих в Дрездене, пересылать им из армии деньги и вещевые посылки. Однажды Ленард, по-видимому, забыл, что находится в армии, и недостаточно вежливо ответил командиру дивизии Веллеру. Генерал откомандировал его в роту. На передовых Ленард держался хорошо, получил несколько благодарностей от командира полка, был представлен к железному кресту.

[Он много беседовал со своими солдатами, читал им наизусть стихи и был внимателен к их нуждам, редко пользовался легковой машиной, на маршах садился с солдатами в грузовик.]

Офицеры полка знали, что Ленард дважды участвовал со своей ротой в акции — раз при сожжении партизанского села на Десне, второй раз при массовом уничтожении пяти тысяч евреев в местечке на Украине.

В полку и в батальоне офицеры не любили Ленарда, но все же многие искали его дружбы, даже и те, кто был старше его чином, должностью, годами.

Бах чуждался Ленарда, хотя тот был, видимо, умнее других офицеров в батальоне. С командиром батальона Прейфи, охваченным хозяйственным пылом, нельзя было говорить о предметах, не имевших прямого отношения к вещевым и продовольственным посылкам.

Всякий разговор он сводил к тому, что следует руководствоваться комбинированным методом при организации посылок. Вначале он считал, что надо домой посылать полотно и шерсть, потом он решил посылать продовольствие: натуральный кофе, мед, топленое масло. Лишь перейдя Северный Донец, он осознал, что многообразные потребности семьи следует удовлетворять гармонично, комплексно.

Он любил показывать офицерам свое походное производство: денщик в белом халате переливал через химическую воронку с фильтром топленое масло в большие металлические банки. Тут же банки герметически запаивались. Денщик умел мастерски паять, шить плотные мешки, компактно, с ловкостью фокусника укладывать десятки метров мануфактуры в немыслимо маленькие пакеты. Все эти дела тешили великана Прейфи, занимали его мысли в свободное от войны время.

Начальник штаба батальона алкоголик Руммер раздражал Баха своей многоречивостью. Как и все недалекие люди, он был необычайно самоуверен, а напившись, любил, авторитетно поучая собеседника, говорить о международной политике и стратегии.

Молодые офицеры не склонны были к беседам. Их интересовали простые радости: пьянка, женщины. А Баху в этот необычайный день страстно хотелось поговорить, поделиться с умным собеседником мыслями.

— Недели через две,— сказал Прейфи,— мы попадем в самую настоящую Азию, в царство шелковых халатов, бухарских и персидских ковров кустарной выделки, им нет цены.— Он рассмеялся.— Нет, что ни говори, но в этом Сталинграде мне досталось кое-что, чего вам не удалось достать.— Он приподнял край плащ-палатки, прикрывавшей рулон серой материи.— Чистая шерсть, я пробовал жечь нитку на спичке, краешек нитки спекается. Кроме того, я вызывал эксперта — полкового портного.

— Это настоящая ценность,— сказал Руммер,— метров сорок.

— Ну, какие сорок, не больше восемнадцати,— сказал Прейфи.— Если б я не взял эту материю, ее взял бы другой, ведь это ничье, как воздух.

Он не любил в присутствии Ленарда говорить о крупных масштабах своих операций.

— Где женщины, которые жили в этом доме? — вдруг спросил Ленард.— Одна из них красивая, настоящий северный тип.

— Их переправили вместе с другими на западную окраину, есть распоряжение начальника штаба дивизии,— ответил Руммер,— он предполагает возможность контратаки.

— Жаль,— сказал Ленард.

— Вы хотели побеседовать с ними?

— С толстой старухой, конечно?

— Ну ясно, красавица его не интересуется.

— Толстуха не так уж стара, у нее восточный тип лица,— сказал Прейфи, и все засмеялись.

— Совершенно верно, господин гауптман,— сказал Ленард,— я и подумал: не еврейка ли она.

— Там разберут,— сказал Руммер.

— Вот что, отправляйтесь в роты,— сказал Прейфи и прикрыл плащ-палаткой рулон

шерсти,— и не лезьте зря под пули. Сегодня я стал трусом: быть убитым русскими под конец войны — нет ничего глупей!

Бах и Ленард вышли на улицу. Их командные пункты разместились в одноэтажном длинном здании — Бах в южной части, Ленард — в северной.

Ленард сказал:

— Я к вам приду посидеть, тут можно пройти от меня внутренним коридором, не выходя на улицу.

— Заходите, у меня есть спирт,— сказал Бах,— меня раздражают бесконечные разговоры о трофеях.

— Если мы высадим десант на Луне,— сказал Ленард,— то первый вопрос нашего гауптмана будет: есть ли тут мануфактура, потом уж он спросит, есть ли кислород в атмосфере.— Он постучал пальцем по стене.— По-моему, эта стена возведена в восемнадцатом веке.

Стены поражали ненужной толщиной, такой толщины стены могли бы выдержать восемь этажей надстройки, а дом был одноэтажный.

— Русский стиль, бессмысленный и пугающий,— сказал Бах.

Телефонисты и вестовые помещались в большой комнате с низким потолком, офицеры уселись в маленькой комнатке. Из окошечка они видели набережную, памятник какому-то советскому герою и кусочек реки; из второго окошечка виднелись высокие серые стены городского элеватора и заводские постройки в южной части города.

Почти половину первого сталинградского дня они провели вместе, пили и разговаривали.

— Удивительное свойство немецкой природы,— сказал Бах,— всю войну я тосковал по дому, а сегодня, когда я наконец поверил, что войне подходит конец, мне стало грустно.

Я не берусь вам сказать, какие часы были самыми приятными в жизни: не эти ли, минувшей ночью, когда я подполз с гранатами и автоматом к черной, дикой Волге, зачерпнул каской воды, вылил ее себе на разгоряченную голову и посмотрел на черное азиатское небо, на азиатские звезды, и капли воды были на стеклах очков, и я вдруг понял — это я, я прошел своими ногами от Западного Буга до Волги, до азиатских степей.

Ленард проговорил:

— Мы победили не только большевиков и русское пространство — мы избавили самих себя от бессилия гуманизма.

— Да,— сказал Бах, охваченный умилением,— вот такой разговор, как мы сейчас ведем с вами в завоеванном городе, на командном пункте роты, могут вести только немцы. Страсть обобщать факты — это наша привилегия. И вы правы: эти две тысячи километров мы прошли без помощи морали.

Ленард дружелюбно, по-товарищески, нагнувшись через стол, сказал:

— И я бы хотел видеть человека, который бы с берега этой Волги упрекнул Гитлера, что он повел Германию по неправильному пути.

— Такие люди, вероятно, есть,— сказал весело Бах,— но они, естественно, молчат.

— Есть, правильно, но разве это имеет значение? Разве на историю влияют

сентиментальные старухи учительницы, интеллигентские слюнтяи и всякие там специалисты по детским болезням? Не они выразители немецкой души. Важна не сопливая добродетель, важно быть немцем. Это главное.

Они снова выпили, и туман застлал голову Баха, он ощутил непреодолимое желание завести откровенный разговор. Где-то в глубине сознания Бах понимал, что, будь он трезв, он не стал бы говорить того, что скажет сейчас, что, протрезвившись, пожалеет о своей болтливости, будет испытывать нудный страх и беспокойство. Но здесь, на Волге ничто не казалось недозволенным, даже откровенный разговор с Ленардом.

Ленард варился в армейском котле, он не тот, что был. В его светлых глазах с длинными ресницами было что-то притягивающее.

— Видите ли,— сказал Бах,— я долгое время считал, что Германия и национал-социализм — это различные вещи. Я воспитывался в такой среде: мой отец, учитель, вылетел со службы, он говорил школьникам не то, что нужно. Правду говоря, меня всегда интересовали другие идеи. Я не был сторонником расовой теории, откровенно скажу, я сам вылетел из университета. Но вот я дошел до Волги! В этом марше больше логики, чем в книгах. Человек, который провел Германию через русские поля и леса, который перешагнул через Буг, Березину, Днепр и Дон,— теперь-то я знаю, кто он. Вот это я понял... То, что дремало в туманных страницах: «По ту сторону добра и зла», в «Закате Европы», в Фихте {301},— все это сегодня марширует на земных полях...

Он говорил и не мог остановиться. Он сам понимал — сказались бессонница, напряжение последних боев, четыреста пятьдесят кубиков крепкой русской водки.

— Вот, Ленард, я все думал, должен вам сознаться в этом, что народ не хочет акций против детей и женщин, стариков и безоружных. И только в этот час победы я понял: эта битва идет по ту сторону добра и зла. Идея германской силы перестала быть идеей, она стала силой. В мир пришла новая религия, жестокая, яркая, она затмила мораль милосердия и миф интернационального равенства.

Ленард подошел к Баху, утер платочком с его лба капельки пота, положил ему руки на плечи.

— Вы говорите искренне,— медленно произнес он,— это главное, но вы все же ошибаетесь. Это наши враги приписывают нам отрицание любви. Но это чепуха! Эти слюнтяи выдают за любовь дрожь бессильных. О, вы еще увидите, как мы нежны, чувствительны. Не думайте, что мы только жестоки. Мы тоже знаем любовь. Но миру нужна лишь любовь сильных. Я хотел бы дружить с вами, милый Бах!

Бах увидел внимательный и ждущий взгляд. Он снял очки — и лицо Ленарда расплылось, стало светлым, безглазым пятном.

— Это настоящее,— сказал Бах, пожимая руку Ленарда,— я ценю настоящее. Послушайте, давайте выкупаемся в Волге, а? Здорово! Напишем домой — два немца купались в Волге, а?

— Купаться? Глупо, нас подстрелят,— сказал Ленард и добавил: — Вам надо просто смочить голову холодной водой, вы очень сильно хватили.

Бах, трезвея, с тревогой посмотрел на него.

В голове его быстро мелькнула хитрая мысль: если Ленард вздумает придирааться к его словам, лучше всего сослаться на опьянение — шутка ли, такой день?

— Я действительно здорово напился,— пробормотал он.— Наутро я обычно не помню ни слова из чепухи, что болтал накануне.

Ленард, видимо, понял его и рассмеялся:

— Что вы, вы не говорили чепухи! Вы говорили замечательно, все это хоть завтра можно напечатать в газете.— Вдруг перейдя на «ты», он сказал: — Эх, слушай, дружище, как это я прозевал эту красивую женщину? Но я попытаюсь найти ее. Как живая перед глазами стоит.

— Я ее не видел,— сказал Бах,— но мне говорили о ней солдаты.

— Это единственный вид трофеев, который я признаю,— сказал Ленард.

Ночью при свете ярко-белой электрической лампочки Бах, морщась и вздыхая от головной боли, записал в свой дневник:

«...Мне кажется, я начинаю понимать суть. Не в отрицании человечности тут дело. Дело в высшем понимании... Сегодня Германия, фюрер решают главную задачу. Категории добра и зла способны взаимно превращаться, они формы одной сущности, они не противоположны, они условные знаки, противопоставление их наивно. Сегодняшнее преступление — фундамент завтрашней добродетели. Национальный импульс проглатывает, объединяет в себе добро и зло, свободу и рабство, мораль и аморализм в едином всегерманском порыве. Может быть, сегодня на Волге эта задача нашла свое окончательное и простое решение».

34

Роты Баха и Ленарда ушли из верхних этажей большого дома и разместились в просторном и прохладном подвале. Сквозь выбитые стекла проникал свет и свежий воздух. Солдаты трудолюбиво притащили в подвал мебель из несгоревших квартир. Подвал напоминал не военный бивак, а склад мебельного магазина.

У каждого гренадера имелась своя кровать, прикрытая одеялом либо периной. Были принесены кресла с затейливыми тонкими ножками, столики и даже трельяж.

Любимец батальона старший солдат Штумпфе устроил себе в углу подвала нечто вроде спальни. Он приволок из квартиры верхнего этажа двуспальную кровать, застелил ее голубым одеялом и положил в изголовье две подушки в вышитых наволочках, по обе стороны кровати он поставил ночные столики, прикрытые салфеточками, а на каменном полу постелил ковер. Он принес два ночных горшка и две пары стариковских туфель, обшитых мехом. На стене он повесил с десятков семейных фотографий в рамках, добытых в различных квартирах.

Он специально подобрал смешной семейный типаж. На одной фотографии были изображены старик и старуха, по-видимому рабочие, снятые в торжественной праздничной одежде: старик в пиджаке и галстук сурово и смущенно нахмурился, старуха в черном платье с большими белыми пуговицами и с вязаной шалью на плечах сидела, кротко опустив глаза, руки ее лежали на коленях.

На другой очень старой фотографии были сняты молодожены, те же старик и старуха (эксперты определили это); она в белой подвенечной фате, с восковыми букетиками флердоранжа, миловидная и печальная, готовая к тяжелой и долгой жизни, а молодожен стоял рядом с ней, опершись локтем о спинку высокого черного стула, в лакированных сапогах, в черной тройке, с цепочкой на жилете.

На третьей фотографии был изображен дощатый гроб, обклеенный бумажными кружевами, в нем лежала мертвая девочка в белом платьице, а вокруг, взявшись за борт гроба, стояли смешные люди: старичок в ситцевой рубаше без пояса, бородатый мужчина, мальчик с открытым ртом и несколько пожилых женщин в платочках — все с каменными, торжественными лицами.

Когда Штумпфе в сапогах, не снимая с шеи автомата, повалился на одеяло и, дрыгая ногами, тонким жеманным голосом, считая, что подражает русской женщине, позвал:

— Либер Иван, ком цу мир,— всю казарму охватили корчи смеха.

Потом он и ефрейтор Ледеке сели по обе стороны кровати на ночные горшки и вели шуточный диалог, подражая пожилым деревенским супругам.

Слушать это представление пришли солдаты из других полков, а вскоре явился подвыпивший Прейфи в сопровождении Баха и Ленарда.

Штумпфе и Ледеке показали офицерам всю программу и необычайно насмешили Прейфи, тот стал растирать ручищами свою гигантскую грудь и загудел:

— Хватит, хватит, я сейчас умру, если вы не перестанете!

Вечером солдаты занавесили окна платками и одеялами, зажгли большие лампы под зелеными и розовыми абажурами, залив в них бензин с солью, уселись за стол.

Не многие из них были участниками русского похода с первых дней — всего лишь шесть человек. Остальные прибыли из дивизий, стоящих в Германии, из Польши, из Франции, двое были из африканских роммелевских частей.

В роте имелись солдаты-аристократы и солдаты-парики. Немцы насмехались над австрийцами. Но иногда немцы зло посмеивались и друг над другом. Родившихся в Восточной Пруссии называли мужланами. Над берлинцами смеялись баварцы, они говорили, что Берлин — еврейский город, где смешалось множество всякой швали: итальянской, румынской, мексиканской, польской, чешской, венгерской, бразильской, и что в Берлине нельзя найти ни одного настоящего немца. Пруссаки, южане, берлинцы презирали эльзасцев, считали их свиньями и чужаками. Репатриированных из Латвии, Литвы и Эстонии называли «четвертью немца». Фольксдойче {302} вообще не считались за немцев — имелась инструкция не очень-то им доверять, присматривать за их поведением.

Аристократами в роте считались Штумпфе и Фогель, они служили в войсках СС и по известному приказу фюрера были переведены в числе многих тысяч в обычные армейские части для упрочения духа в войсках.

Признанным столпом роты был затейник Штумпфе. Высокий, полнолицый, что редко встречается среди ефрейторов и рядовых, он радовал и восхищал солдат своей удачливостью, смелостью, умением быстро, быстрее всех, организовать полноценную посылку в полусожженной деревне; стоило ему поглядеть на русского крестьянина — «восточника», — и вдруг возникали мед и сало.

Он любил жену и детей, брата, непрерывно писал им письма, сооружал калорийные посылки не хуже офицерских; его бумажник был полон фотографий, и все в роте пересмотрели по многу раз фото: худенькая жена Штумпфе с горкой тарелок у обеденного стола, она же в пижаме, облокотившись на камин, она же в лодке, подняв весла, она же улыбается, держа в руках куклу, она же на прогулке в деревне.

На многих фотографиях были сняты дети Штумпфе — высокий мальчик и хорошенькая шестилетняя девочка со светлыми волосами до плеч.

Разглядывая фотографии, солдаты говорили протяжно и задумчиво: «Да-а-а», и сам Штумпфе, прежде чем положить их в бумажник, долго всматривался в дорогие лица, и выражение у него было торжественное и сосредоточенное.

Он умел хорошо рассказывать о своих детях, и обер-лейтенант, как-то послушав его, сказал,

что с такими данными можно выступать на сцене. У него имелся один рассказ — подготовка к рождественской елке, в нем были десятки смешных и милых словечек, вскрикиваний, всплескиваний руками, ребячьего лицемерия, ребячьей хитрости, ребячьей зависти к чужим подаркам. В этом рассказе было какое-то удивительно противоречивое свойство — слушая его, все хохотали, а выслушав до конца, расстраивались, некоторые даже до слез.

Но и в самом Штумпфе соединялись, казалось, несоединимые, противоречивые черты. У него случались периоды бесшабашной жестокости и буйства, тогда никто не мог его удержать, он превращался в совершенного черта.

Однажды в Харькове он, напившись пьяным, вылез из окна пятого этажа и обошел весь дом по узкому карнизу, ухитряясь при этом стрелять из пистолета.

В другой раз он поджег дом, влез на крышу, пел среди дыма и пламени, размахивая руками, дирижировал причитанием и плачем женщин и детей, движением огня и дыма.

В третий раз он разбушевался лунной майской ночью в деревне, бросил ручную гранату в гущу цветущих деревьев — граната застряла в ветвях и разорвалась в четырех метрах от Штумпфе; его засыпало ворохом белых лепестков, листьев, и один осколок гранаты распорол голенище его сапога, второй — пробил погон. Штумпфе после этого два дня плохо слышал: взрыв контузил его.

В его лице, в больших спокойных глазах, в светлой глубине которых вдруг мелькал блеск стекла, было нечто внушавшее ужас «восточникам». Когда он входил в избу и медленно, насмешливо осматривал хату, брезгливо, подозрительно нюхая воздух, а затем приказывал почище протереть белым полотенцем табуретку, обомлевшие старухи и бабенки сразу догадывались, что перед ними нешуточный человек.

— Я упростил русский словарь,— говорил он,— в моей грамматике есть лишь одно наклонение: повелительное.

Товарищи любили его рассказы о прошлой жизни — ему многое пришлось испытать, многое повидать.

Юношей он служил в спортивном магазине; потеряв службу, два сезона был сельскохозяйственным рабочим, работал на молотилке; в 1926 году он работал три месяца в Руре на шахте «Кронпринц». Он окончил курсы и стал шофером — возил молоко на грузовике, затем работал на легковой машине — возил известного гельзенкирхенского дантиста; через год он стал шофером такси в Берлине. Внезапно он оставил эту профессию и стал помощником портье в гостинице «Европа», а еще через год он получил должность наблюдающего за кухней в небольшом ресторане, который посещался деловыми людьми — промышленниками и юристами.

Ему нравилось, что руки у него стали белыми и нежными, он ухаживал за ними, чтобы согнать с них последние следы изуродовавшей кожу прошлой работы.

Он подошел вплотную к той жизни, которая всегда привлекала его. Как-то он высчитал, что покупка акций, идущих от понижения к внезапному повышению, принесла одному посетителю ресторана доход, равный прошлой заработной плате Штумпфе за сто двадцать лет, или за тысячу четыреста сорок месяцев, или за сорок тысяч дней, или за триста тысяч часов, или за девятнадцать миллионов минут. Покупка акций была произведена по телефону, стоящему на ресторанном столике, и заняла минуты полторы-две.

Это соотношение казалось Штумпфе выражением дивной силы, она-то и влекла его.

Пребывание в атмосфере чужого богатства, разговоры всеведущих кельнеров о том, кто из

клиентов приобрел автомобиль «испано-сюиза», кто построил виллу, кто купил актрисе кулон,— все это доставляло Штумпфе томительное наслаждение.

Младший брат Штумпфе — Генрих, такой же рослый, с таким же холеным лицом, в 1936 году поступил работать в политическую полицию. Он часто говорил брату: «Мы увидим с тобой настоящую жизнь».

Генрих шепотом рассказывал старшему брату об игре еще более смелой и крупной, чем та, которую вели посетители ресторана. То была настоящая работа — один удачный и дерзкий ход возносил человека.

Иногда Штумпфе останавливался перед трюмо в полутемном вестибюле ресторана, придав лицу утомленное, брезгливое выражение, которое подмечал у некоторых клиентов. Его фигура была хороша: рост — 177, вес 80 кило, мягкие волосы, кожа на теле белая, чистая, бесшерстная.

И Штумпфе с волнением думал: «В самом деле, неужели я не достоин лучшей участи?»

А в газетах, в журналах, брошюрах, по радио, на собраниях и лекциях, в выступлениях фюрера, в речах Геббельса, рейхсмаршала, Розенберга, Штрайхера {303} доказывалось, писалось, провозглашалось, что мудрость мудрецов, труд великих тружеников — все ничто по сравнению с величайшей драгоценностью — кровью, текущей в жилах немцев. И кружилась голова, посаженная на жадное до еды и питья ленивое туловище.

Но чем ближе шло дело к концу войны, тем ясней становилось для Штумпфе, что у него нет возможности по-настоящему реализовать свое племенное превосходство — он оставался солдатом, все его имущество умещалось в вещевом мешке. Посылки уже не тешили его.

Товарищи уважали Штумпфе. Унтер-офицеры замечали, что солдаты в беседе больше всего любили слушать Штумпфе, а если происходила ссора или возникал спор, обычно он становился судьей. Он был храбр, и его часто посылали в разведывательные поиски, ходить с ним в разведку нравилось солдатам, говорили, что с ним ходить верней, чем с унтером Мунком, окончившим специальную школу.

Товарищам нравилась веселая насмешливость Штумпфе, он почти всем присваивал прозвища, умел подмечать в людях смешные черты и точно копировал их. У него был целый набор походных рассказов: «Фогель организует скромный завтрак — яичницу из двадцати яиц и жарит небольшую курочку», «Бабник Ледеке домогается любви русской крестьянки в присутствии ее маленьких детей», «Очкастый Зоммер выслушивает внушения командира батальона», «Майергоф втолковывает еврею, что ему выгодней покинуть сей свет несколько раньше того срока, который ему отпустил еврейский бог» {304}. Но самыми разработанными были обширные программы, посвященные Шмидту. Этот Шмидт старанием Штумпфе превратился не только в ротную, но и в полковую знаменитость, предмет постоянных насмешек.

Штумпфе демонстрировал множество сценок, посвященных Шмидту: «Шмидт женится, но, работая в течение года в ночной смене, никак не соберется переспать с женой», «Шмидт получает значок за двадцатилетие своей слесарской работы на механическом заводе и пытается обменять этот значок на килограмм картофеля», «Шмидту торжественно перед строем зачитывают приказ о разжаловании его из унтер-офицеров в рядовые» — событие, действительно происшедшее в прошлом году.

Внешне Шмидт не производил впечатления комической фигуры: большой, сутулый, такого же роста, как и Штумпфе, он обычно был мрачен и молчалив. Но Штумпфе умел подмечать самые незначительные его особенности: манеру шаркать на ходу подошвами, шить с полуоткрытым ртом, внезапно задумываться и сопеть при этом.

Шмидт был самым пожилым солдатом в роте, он участвовал в первой мировой войне. Рассказывали, что он в восемнадцатом году был сторонником дезертирского движения.

Какой-то раздражавшей, унылой тупостью веяло от этого допотопного болвана Шмидта. Штумпфе не мог спокойно смотреть на него. Шмидт был неудачлив, в армию попал как унтер-офицер — рядовым бы его не взяли по возрасту, но после разжалования его не демобилизовали, хотя он обладал квалификацией рабочего, дающей право вернуться в тыл. Словом, он влип, и неудачливость Шмидта всех смешила и раздражала. Его всегда посылали на тяжелые работы. Он обладал талантом попадаться на глаза как раз в ту минуту, когда нужен был человек для реконструкции офицерской уборной или для закапывания нечистот. Работал он с тупой и молчаливой добросовестностью, с какой-то идиотской неутомимостью. Разжалован в рядовые он был в самом начале восточной кампании, когда рота, еще не дойдя до фронта, охраняла тюрьму и лагерь военнопленных. Шмидт отлынивал от несения конвойной службы, пытался симулировать болезнь, и полковой врач обнаружил это — видимо, дезертирство жило в его крови. После разжалования он не проявлял трусости, был исправен, неплохо стрелял. Когда рота уходила на отдых в тыл, он усердно отправлял домой продовольственные посылки. И все же он был смешон. Штумпфе называл его Михель.

35

За круглым столиком при свете семейной лампы под розовым абажуром сидели три друга: Штумпфе, Фогель и Ледеке.

Их связывали узы трудов, опасностей, веселья, у них было мало тайн друг от друга.

Фогель, высокий, сухопарый юноша, учившийся до войны в гимназии, оглянулся на дремавших в полутьме людей и спросил:

— А где же наш приятель Шмидт?

— Он в охране, — ответил тонкогубый Ледеке.

— Похоже на то, что война кончается, — проговорил Фогель. — Огромный город все же, я пошел в штаб полка и заблудился.

— Да, — сказал Ледеке, — все хорошо, что хорошо кончается. Вы знаете, сейчас я стал трусом; чем ближе к концу войны, тем страшней быть убитым.

Фогель кивнул:

— Скольких мы похоронили, действительно глупо после всего погибнуть.

— Даже не верится, что я снова буду дома, — сказал Ледеке.

— Будет чем похвастать, особенно если заболеешь под конец веселой болезнью, — сказал Фогель, не одобрявший женлюбцев. Он осторожно провел ладонью по орденским ленточкам. — У меня их меньше, чем у штабных героев, но я их честно заработал.

Молчавший Штумпфе усмехнулся и сказал:

— На них ничего не написано — и те, что выданы в штабе, выглядят так же, как те, что заработаны в бою.

— Штумпфе неожиданно впал в унынье, — сказал длиннолицый Ледеке, — не хочет рисковать перед концом.

— Непонятно, — сказал Фогель.

— Тебе непонятно,— сказал Штумпфе,— еще бы, ты вернешься к папеньке на фабрику бритвенных лезвий и заживешь как бог.

— Ну, ну, ты тоже не прибедняйся! — сказал раздраженно Ледеке.

— Что? — сердито спросил Штумпфе, хлопнув ладонью по столу.— Посылки?

— А мешочек на груди? — насмешливо спросил Ледеке.

— Ну и что в этом мешочке — дуля? [48] Я только теперь, под конец, понял, оказался полным болваном. Как мальчишка, плясал на крыше во время пожара, а толковые люди занимались делом.

— Все зависит от удачи,— сказал Фогель.— Я знаю человека, которому достался в Париже брильянтовый кулон. Когда он был в отпуску и принес его ювелиру, тот спросил: «Сколько вам лет?» — «Тридцать шесть».— «Ну вот, если вы проживете до ста и ваша семья будет все расти, то, продав эту штуку, вы не будете нуждаться». А досталась ему вещь шутя.

— Хоть бы посмотреть на такую штуку,— сказал Ледеке,— у русских мужиков не найдешь брильянтовых кулонов, в этом Штумпфе прав, конечно. Попал не на тот фронт. Будь я танкистом, я мог бы возить с собой ценности: сукно, меха. Не тот фронт и не тот род оружия, в этом причина.

— И не то воинское звание,— добавил Фогель,— будь он генералом, он бы не хмурился сегодня. Они гонят грузовик за грузовиком. Я разговаривал с денщиками, когда был прикомандирован к охране штаба армии. Вы бы послушали их споры: чей хозяин вывез больше мехов.

— В штабе прямо в воздухе висит с утра до вечера: Pelze... Pelze... [49] Теперь мы подходим к Индии и Персии — пахнет коврами.

— Вы дураки,— сказал Штумпфе,— к сожалению, сегодня, под конец, я понял, что был не умнее вас. Тут дело идет о совершенно ином. Дело идет не о шубах и коврах.— Он оглянулся, не прислушивается ли кто-нибудь к их разговору, и перешел на шепот: — Дело идет о будущем семьи, детей. Вот эти безделки: золотая монета, часики, колечко мне достались при еврейской акции, в жалком, нищем местечке. А представь себе, что получают люди из эйнзатцгрупп [50] {305} при ликвидациих в Одессе, Киеве, в Варшаве? А?

— Ну, знаешь,— сказал Фогель.— Ну их к черту, эти дела в эйнзатцгруппах, у меня не те нервы.

— Пфенниг с каждого переставшего дышать иудея,— сказал Штумпфе,— не больше.

— Ты не останешься внакладе,— сказал Ледеке,— фюрер взялся за это дело, тут пахнет вагонами пфеннигов.

Они рассмеялись, но Штумпфе, самый веселый из них, остался серьезен.

— Я не такой идеалист, как ты,— сказал он Фогелю,— и не собираюсь скрывать это. Ты человек прошлого века, вроде лейтенанта Баха.

— Не у всякого богатая родня,— сказал Ледеке,— будь у меня папаша фабрикант, и я бы говорил лишь о долге, душе и дружбе.

— Видишь ли,— сказал Штумпфе,— вот в чем дело: я решил просить обер-лейтенанта. Пусть откомандирует меня, пока не поздно, я наверстаю потерянное. Я скажу ему, что это мой внутренний голос зовет меня. Он ведь любит такие вещи. Поглядите-ка,— и Штумпфе достал

из толстой пачки семейных фотографий открытку. На фотографии изображалась огромная колонна женщин, детей, стариков, идущих меж рядами вооруженных солдат. Некоторые смотрели в сторону фотографа, большинство шло опустив головы. На переднем плане стояла открытая легковая машина, в ней сидела молодая женщина с черной лисицей на шее, резко оттенявшей ее светлую кожу и белокурые волосы. Подле машины стояли офицеры и глядели на идущих. Женщина полными белыми руками приподняла над бортом машины большеголовую, толстоносую собачку с лохматой черной шерстью. Дама, по-видимому, показывала собачке идущих, так матери поднимают на руки несмышленых детей, чтобы потом через много лет напомнить им о виденном в младенчестве зрелище.

Фогель долго рассматривал фотографию.

— Это скотч-терьер,— сказал он,— у нас дома есть такой же, мама в каждом письме шлет мне привет от него.

— Да, вот это женщина,— со вздохом сказал Ледеке.

— Это жена моего брата,— сказал Штумпфе,— а брат — вот этот, оперся на раскрытую дверцу.

— Он похож на тебя,— сказал Ледеке,— я сперва подумал, что это ты. Но у него отвороты СС и чин не твой.

— Это снято в Киеве, в сентябре сорок первого, у кладбища, я забыл, как называется это место {306}. Брат после этого пурима {307} может твоему папаше одолжить несколько грошей, если ему понадобится построить новый цех.

— Дай-ка я на нее посмотрю еще,— проговорил Ледеке,— особенно на фоне этого шествия смерти, что-то притягивающее в ней есть.

— Встретил бы ее до войны, когда брат был актером в оперетте, а она работала билетершей. Ты бы посмотреть на нее не захотел. У женщины восемьдесят процентов красоты зависит от того, как она одевается, как завита, шикарная ли вокруг обстановка. И я хочу, чтобы моя жена выглядела после войны не хуже. Брат пишет, он сейчас в генерал-губернаторстве, и намекает, словом, я понял: ими организована солидная еврейская фабрика. Киев — это игрушечки... И он мне пишет: «Если тебя откомандируют, устрою тебя на своем предприятии». Поверь уж, Ледеке, у меня нервы выдержат.

— А по-моему, свинство,— вдруг крикнул Фогель,— кроме всего этого, существует ведь товарищество. После четырнадцати месяцев, связавших нас, взять да удрать, это все же подлость! Так не поступает солдат!

Ледеке, который легко поддавался влиянию чужих мнений, поддержал Фогеля:

— Еще бы, если вспомнить все, что было. Смысл сомнителен. Там не берут с улицы, попадешь ли, никто наверное не скажет. А здесь-то, уж будь уверен, ордена за этот самый Сталинград мы получим. Нет немцев, которые кончили бы войну в пункте восточней нашего. Это раз. А два — будет особый золотой знак за Сталинград и Волгу, по которому мы получим не только почет.

— Замок в Пруссии? — спросил Штумпфе и высморкался.

— Ты опять не о том, Ледеке,— сказал Фогель,— я говорю о чувстве, а ты как мужик, который возит свеклу на рынок. Такие вещи не надо смешивать.

И тут внезапно друзья поссорились. Штумпфе сказал:

— Пошел ты к чертям со своими чувствами! Ты буржуйская морда, а я боюсь после войны остаться голодным.

Фогель, пораженный выражением ненависти на лице товарища, растерянно сказал:

— Ну, милый мой, моего отца так прижали промышленные комиссары государства, он выглядит обычным трясущимся служащим, а не капиталистом.

— Какого черта прижали, надо прижать по-настоящему, надо после войны всем вам кишки выпустить, паразиты! Фюрер вам еще покажет! Он им скажет словцо, Ледеке!

Но Ледеке, всегда соглашавшийся с одним из спорящих, на этот раз, шепелявя от злого волнения, проговорил:

— Если уж сказать под конец войны правду, то все эти разговоры об единстве народа — дурацкая болтовня. Буржуи будут жрать и наживаться на победе, нацисты и эсэсовцы, вроде Штумпфе и его брата, тоже нажрут хорошо, а если уж кому выпустят кишки, так это мне, болвану рабочему, и моему отцу в деревне. Нам-то покажут единство! И ну вас к чертовой матери — вам после войны со мной не по пути.

— Товарищи, что с вами? — испуганно произнес Фогель.— Что с вами, я не узнаю вас, точно другие люди?

Штумпфе пристально посмотрел на него.

— Ну, ладно, ладно, хватит,— примирительно сказал он.— И знаете, ребята, если я действительно не сделаю того, что задумал, и кончу войну дураком, то это только ради вас.

В это время вошел сменный караульный, стоявший у входа в подвал.

— Что это за стрельба была? — спросил из полумрака сонный голос.

Караульный с грохотом положил автомат и, потягиваясь, ответил:

— Мне сказал вестовой обер-лейтенанта {308}, что какой-то русский отряд занял вокзал. Но это не на нашем участке.

Кто-то из солдат рассмеялся:

— Они от страха заблудились, хотели пойти на восток, а пошли на запад.

— Наверное,— сказал Ледеке,— все они нетвердо знают, где восток, а где запад.

Караульный сел на постель, стряхнул рукой мусор с одеяла и сказал раздраженно:

— Ведь я просил два раза. Ей-богу, завтра перед дежурством положу под одеяло гранату. Поразительно, что у людей нет уважения к чужим вещам. Ведь это одеяло я собираюсь отвезти домой, а кто-то шагал по нему в сапогах.

Он стащил с ног сапоги и, став добродушным от мысли о предстоящем сне, проговорил:

— Там подняли пальбу, а у Ленарда веселье: патефон, шум, гости, притащили плачущих девиц и, представляешь, наш Бах тоже там, видимо, решил потерять невинность под конец войны. Там палят, а у нас музыка.

Голос из темноты подвала сказал:

— Пахнет капитуляцией. Ах, сердце замирает, когда думаю, что нас скоро повезут домой.

Солдат Карл Шмидт стоял на часах у выходившей во внутренний двор стены здания, в котором разместился штаб стрелкового батальона. Худое, тронутое морщинами лицо Шмидта казалось особо хмурым и недобрим при мерцающем свете пожара.

По карнизу, тревожно озираясь, шла рослая белая кошка.

Солдат оглянулся, не наблюдает ли его кто-нибудь, и сипло позвал:

— He du, K?tzchen, K?tzchen... [51] — Но, видимо, сталинградская кошка не понимала по-немецки, она на мгновение остановилась, соображая, насколько опасен для нее человек, стоящий у стены, и, быстро дернув хвостом, прыгнула на загремевшую железную крышу сарая, исчезла в темноте.

Шмидт посмотрел на ручные часы — до смены караула оставалось еще полтора часа. Его не тяготило стояние в карауле у этой стены, в тихом внутреннем дворе, — Шмидт в последнее время любил одиночество.

Дело тут было не в том, что Штумпфе избрал его предметом своих насмешек, дело было серьезней.

Шмидт посмотрел, как по стене, словно на экране, ползли бесшумные тени — розовые блики принимали странные формы лепестков, полукружий, овалов — это пожар по соседству запылал ярче, видимо, огонь добрался до деревянных перекрытий.

Удивительное дело! Как меняется натура человека. Лет десять назад жена сердилась на него, что он не сидит по вечерам дома — едва придет с завода, переодевается, обедает и уходит на собрание, в пивную, и так каждый вечер — споры, слушание докладов. А теперь попади он домой, кажется, запер бы дверь и просидел бы год, не выходя на улицу. В чем тут дело? Прежде всего нет тех людей, с которыми он встречался, — вся верхушка профсоюза, все активисты из завкома кто в лагере, кто постарался подальше уехать, кто перекрасился в коричневый цвет. А с теми, кто остался, нет особого интереса встречаться — люди стали бояться друг друга, разговаривать можно о погоде, о покупке в рассрочку «народного автомобиля», обсуждать, что соседка варит на обед, кто из знакомых скуп, кто угощает гостей настоящим чаем, а кто желудевым кофе... Да и при этом страшновато: если зачистит к тебе приятель, то уж обязательно блокварт {309} начнет совать нос в щели твоей двери и прикладывать ухо к стене твоей комнаты — какого черта они сидят и болтают, читали бы «Майн кампф».

Но вот что действительно интересно понять — изменились ли люди?

Черт его знает — это вопрос не простой. Кого спросишь, с кем поспоришь? Вот разве что кошку, да и она не захотела знакомства.

А может быть, эта скотина Штумпфе действительно прав — он, Шмидт, глуп как бревно? Всегда глуп был? Или теперь при наци поглупел? Или глуп для наци, а кое для кого и не так уж глуп? Было время, когда Шмидт считался заводилой в цехе, да не только в цехе, ведь он ездил в Бохум на съезд профсоюзов, его избрали делегатом от десяти тысяч человек. А теперь он ротное посмешище — «Михель».

Шмидт отбросил ногой кусок кирпича и зашагал вдоль стены. Дойдя до угла дома, он постоял, посмотрел на пустынную улицу, на мертвые, выгоревшие глазницы окон, и чувство жестокой тоски, холода, одиночества сжало его сердце. Он хорошо знал это ужасное чувство, когда казалось, что глубина неба, и сияние звезд, и солнечный свет, и воздух полей давят, мучат. Оно с особой силой приходило к нему весной — почему-то весной, когда молодая зелень,

шум ручьев, мягкий, ласковый ветер, звезды в небе — все говорило о свободе.

Когда-то сын читал ему из учебника ботаники, что есть такие бактерии — анаэробы, не нуждающиеся в кислороде, они дышат азотом, отлично, весело и сытно живут на корнях бобовых растений. Видимо, есть и такие люди — анаэробы, дышат гитлеровским азотом! А вот он задыхается, не привык, ему нужна свобода, кислород!

Над хаосом бесчестия и невинной крови, над победной, сверкающей медью оркестров, над лающим криком команды, над пьяным хохотом, над воплями гибнущих старух и детей как странное видение вставало перед Шмидтом бледное лицо, высокий скошенный лоб человека, объявившего, что он и есть Германия, что Германия — это он.

Как же это случилось, что он, солдат Карл Шмидт, немец, сын немца и внук немца, любивший свою родину, не радовался победам Германии, а ужасался им? <...> {310}

Почему же такую тоску испытывал он сегодня ночью, когда стоял на часах в разрушенном городе, на берегу Волги и смотрел, как светлые тени огня шевелятся на стенах домов с выжженными, мертвыми глазницами окон?

Как ужасно одиночество!

Иногда ему начинает казаться, что он разучился думать, что мозг его окаменел, перестал быть человеческим мозгом. А иногда он пугается своих мыслей, ему кажется, что Ледеке, Штумпфе, эсэсовец Ленард могут, взглянув ему в глаза, вдруг понять, прочесть все, что происходит в его мозгу, в его душе. Иногда его охватывает ужас, что ночью в казарме он может проговориться, начнет бормотать во сне и сосед подслушает его, начнет будить товарищей, скажет: «Послушайте, послушайте, что говорит о [нашем вожде] {311} этот красный Шмидт».

Вот здесь, в темном дворе, где за все время его дежурства не прошел ни один человек, он чувствует себя спокойно, здесь ни Ленард, ни Штумпфе не заглянут ему в глаза, не прочтут в них его мыслей.

Он снова посмотрел на часы: пришло время смены.

Но ведь он знает, чувствует, что не он один думает так. Есть ведь в армии такие же «михели». Но пойдти поищи их! Все же они не болваны, чтобы открыто затевать разговоры на такие темы. Они живут, они мыслят, они, быть может, действуют! Как найти их?

Приоткрылась дверь, и на пороге появился караульный начальник. Свет пожара упал на его распахнутый мундир, нижняя рубаха его казалась нежно-розовой в этом свете.

Всматриваясь в сумрак, он позвал негромко:

— Эй, часовой Шмидт, пойдти-ка сюда.

Когда Шмидт подошел к двери, караульный начальник, дыша на него водочным духом, проговорил необычайно ласковым голосом:

— Слушай, друг, тебе придется постоять здесь. Твой сменщик Гофман справляет свой день рождения и несколько утомлен, неважно себя чувствует сейчас. А? Ведь теперь лето еще, ты не замерз?

— Ладно, подежурю,— сказал Шмидт. * * *

Утром Штумпфе прошел к приземистому дому, где ночевали офицеры. Часовой у двери был знаком ему.

— Ну как? — спросил Штумпфе.— В каком настроении сегодня командир, годится для разговора? Я принес важное заявление.

Часовой покачал головой.

— Тут было дело,— сказал он,— а в самый, что называется, момент всех офицеров срочно вызвал полковник, и до сих пор они не вернулись.

— Может быть, капитуляция Москвы?

Часовой, не расслышав, подмигнул в сторону двери:

— Девицы-то здесь, я их охраняю, обер-лейтенант Ленард сказал: «Нам предстоит маленькая получасовая операция, надо очистить вокзал»,— и велел их постеречь, обещал вернуться к полудню.

Вскоре батальон подняли по тревоге, одновременно в сторону вокзала потянулись танки и артиллерия.

37

В два часа дня немцы атаковали вокзал. Командир полка подполковник Елин писал в это время итоговое донесение командиру дивизии о боевых действиях за последние дни и рассеянно слушал негромкий спор между адъютантом штаба и начальником санчасти полка, какой арбуз слаще — камышинский или астраханский.

Елин узнал об атаке сразу, на слух, еще до донесения командира батальона, по грохоту внезапного обвала авиабомб и шквальной артиллерийской и минометной стрельбе.

Он выбежал из блиндажа и увидел, как бледное облако известковой пыли и масляный, жирный дым, поднимаясь над вокзалом, смешивались в темную, медленно колышущуюся, цепляющуюся за развалины хмару.

Вскоре стрельба послышалась на левом фланге и в центре обороны дивизии.

«Началось»,— подумал Елин, и так же подумали тысячи людей, ждавших неминуемого.

Чувство ожидания удара было особенно томительно и остро у переправившихся в город. Казалось, переправа полков с левого берега подобна действию человека, ставшего грудью навстречу катящемуся с откоса груженому составу. Удар должен был быть неминуемым и жестоким.

Елин многое видел и испытал на своем веку и считал, что волосы его поседел не только от боевых трудов, но и от требовательности некоторых начальников и от нерадивости некоторых подчиненных.

«И далось им именно по Филяшкину со всей силой ударить,— подумал он,— по самому слабому моему звену, по недавно приданному батальону, где и людей я порядком не знаю».

В это время связной позвал его в блиндаж — звонил по телефону Филяшкин, доложил, что началось: немец обрабатывает его с земли и воздуха, он слышит гудение танковых моторов, он несет потери и готовится отразить атаку.

— Да, я сам слышу, что началось,— крикнул в трубку Елин,— береги пулеметы, не думай отступать, я тебя поддержу. Слышишь? Огнем поддержу! Слышишь? Слышишь?

Но Филяшкин не слышал обещания командира поддержать его огнем — связь порвалась.

Елин позвонил командиру дивизии, доложил, что противник начал наступление, главный удар наносит по Филяшкину.

— Приданный мне батальон, тот, что у Матюшина был,— сказал он.

Закончив разговор с Родимцевым, он сказал начальнику штаба:

— Вот велит любой ценой вокзал удерживать, обещает нас дивизионной артиллерией поддержать. Слышите, что немец выкамаривает? Как бы он нас не искупал в Волге.

«Да, лодку не мешало бы для маневра иметь»,— подумал начальник штаба, но вслух не высказал своей мысли.

Елин стал вызывать командиров своих батальонов — проверять их готовность к активной обороне.

Быстрый успех начавшегося немецкого наступления грозил тяжелыми последствиями. Дивизии, брошенные на оборону Сталинграда, находились на подходе, на правом берегу была одна лишь дивизия Родимцева; спихнув ее в Волгу, немцы могли воспрепятствовать переправе в город главных сил, брошенных Ставкой на оборону города.

Родимцев позвонил командиру правофлангового полка, вызвал начальника артиллерии дивизии и командира саперного батальона, проинструктировал их, велел Бельскому лично проверить танкоопасные направления. После этого он позвонил по телефону Чуйкову:

— Докладываю, товарищ генерал-лейтенант. Противник перешел в атаку, навалился на мой левый фланг. Бомбит. Ведет артогонь, сосредоточил танки. Стремится занять вокзал.

Родимцев понимал серьезность положения: правый фланг дивизии был открыт; если противник быстро и легко решит задачу на левом фланге, он тотчас активизируется на правом, и тогда под удар попадет вся дивизия в целом.

Он слушал отрывистый, тяжелый голос Чуйкова и поглядывал на темный каменистый свод трубы, на светлевший вдали выход. «Неужели здесь, в трубе, суждено кончить жизнь?»

— Держаться! Не отступать ни на шаг! Побегут — буду судить! — отрывисто говорил Чуйков.— Вам слышно? Через два часа начну переправу Горишного, он прикроет вам правый фланг. Линия фронта станет устойчива, положение коренным образом изменится. Слова «отход», «отступление» забудьте!

Но Родимцев не собирался отступать — он хотел вновь активизироваться, ударить по немцам.

Чуйков был сильно встревожен начавшимся наступлением: не удержать фронт теперь, когда в город пришла новая дивизия, когда через считанные часы должна была начать переправу вторая дивизия, когда на подходе находились силы резерва Главного Командования!

О, если б только завязавшийся бой затянулся, если б он сковал силы немцев! Ведь уже был известен обычай немцев — не начинать новой операции, пока не закончена предыдущая. Затяжка боя на левом фланге дивизии Родимцева сулила множество выгод для армии. Едва немцы нажали слева, как на правом крыле, в районе заводов, стало легче дышать, сделалось тише, ушли пикировщики, давление ослабело.

Но если оборона окажется нестойкой, если немцы отсекут дивизию Родимцева, сомнут ее, не дадут укрепить намеченную пунктиром и еще не вчekanенную в землю линию фронта, если немцы реализуют свой перевес в силах, все свои преимущества, дающие возможность широкого маневра... Как тяжело все еще не иметь резервов для действенного

вмешательства. И ведь Чуйков ждал этого наступления с минуты на минуту, а в душе была надежда, что немец замешкается.

Командующий армией позвонил по телефону Ерёменко.

— Докладывает Чуйков,— отрывистым, хмурым голосом сказал он.— Противник после воздушной обработки перешел в атаку против моего левого фланга, ввел в бой артиллерию, минометы, сосредоточил танки. Предполагаю: противник имеет намерение оторвать Родимцева, вырваться к Волге, рассечь мою оборону.

— [Надо меньше предполагать.] Контратаковать надо, артиллерией поддерживайте! — сказал Ерёменко и невнятно зашумел.

— Все смешалось, дым сплошной, сейчас отдаю приказ артиллерии.

— Действуйте,— сказал Ерёменко, и по паузе Чуйков понял, что Ерёменко закуривает.— Только своих не накройте в дыму. Если Родимцев не устоит, худо нам будет; на правый фланг два больших хозяйства идут и еще два, сразу переправлять начну. Действуй!

— Слушаюсь, товарищ генерал-полковник,— сказал Чуйков. Он положил трубку и тотчас взял ее.— Пожарского,— зычно сказал он и, пока к телефону подходил командующий артиллерией Пожарский, оглянулся на сидевшего рядом Гурова, проговорил: — Сюда доносится, волтузят [52] крепко, а у нас тише стало, но лучше бы уж нас.— Сразу же повысив голос, он сказал: — Пожарский, карта перед вами? Так... теперь отмечайте у себя...

А в это время по ту сторону Волги Ерёменко наклонился над картой.

Немцы начали наступать после двухдневной тишины, но все же слишком рано. Частная это операция или начало общего наступления? Он не успел закончить перегруппировку дивизий армии Шумилова. По мысли Ерёменко, Шумилов должен был оказывать нажим каждый раз, когда немцы начнут атаковать Чуйкова,— этим он надеялся ослабить удар по левому флангу и центру стоявшей в Сталинграде армии. Кроме того, новые дивизии, переброшенные к нему Ставкой с Донского фронта, еще не подошли к Волге, и он опасался, как бы немцы, расправившись с левым флангом и центром, тотчас бы не предприняли решительной атаки в районе заводов.

Он сказал начальнику штаба:

— Вот далось ему, сукиному сыну, сегодня наступать. Тут и артиллерией трудно помочь. Не мог подождать до завтра, пока я Горишного переправлю. Ведь может шибануть. А? — переспросил Ерёменко молчавшего начальника штаба.— Чувствую, что немец пошел сегодня серьезно. Даже сюда слышно.

Спустя минуту Ерёменко говорил по телефону начальнику артиллерии:

— Надо левый фланг и центр поддержать... Что, трудно нащупать? Конечно, нащупать трудно.— И командующий произнес насмешливое, соленое словцо.— Но надо, обязательно немедленно!

Донесение на листе блокнота, писанное от руки, из штаба полка пошло в штаб дивизии. Донесение, перепечатанное под три копирки, повез офицер связи из штаба армии через Волгу в штаб фронта. А оттуда в Москву зазвонил телефон высокой частоты, застучали аппараты Бодо на фронтовом узле связи, на пункте сбора донесений сургучили пятью печатями толстый пакет для фельдъегеря, летящего на рассвете «Дугласом» в Генеральный штаб: немцы начали после короткого затишья наступать.

Елин, оглохший от грохота, уже ясно понимал, какая ответственность ложится на него,

крикнул телефонисту:

— Давай мне немедленно, слышишь, немедленно Филяшкина!

Телефонист упавшим голосом ответил:

— Нет связи, даже слова нельзя передать.

В блиндаж спустился адъютант командира полка. Он прошел мимо бледных, напряженно глядевших на него, ожидающих вызова связных.

— Товарищ подполковник, третьего связного убивает, нельзя пробиться к нему, перерезали все пути, вокзал обложен кругом. Филяшкин своим батальоном круговую оборону занял.

— Радио? — отрывисто спросил Елин и закричал: — Радио?

— Не отвечает, товарищ подполковник.

— Значит, ясно,— сказал Елин,— разбило ему передатчик.

Батальон был отрезан от полка, дивизии, армии, фронта. Может быть, Филяшкина уже убило, может быть...

Когда по всей линии фронта на минуту стихал огонь немецкой артиллерии и минометов, особенно явственно слышалась пальба со стороны вокзала. Там огонь был непрерывен и не ослаблялся, видимо, немцы хотели во что бы то ни стало раздавить окруженный батальон. В эти короткие минуты перерыва вся дивизия, напрягшись, слышала мрачный и страшный гром, шедший со стороны отрезанного батальона.

Елин, жалуясь, сказал комиссару полка:

— Вот и Филяшкин. Мы-то отбили атаку, а он как? Поможем ему всеми средствами — и огнем, и контратакой! Но разве я могу за него отвечать, если мне его недавно передали.

Комиссар сказал:

— Только я отправил Шведкова обратно в батальон с подарками американскими — и началось. Хорошо, что комиссар в бою будет — он крепкий коммунист. А у них еще в роте одной штрафники до сих пор не выделены, я Филяшкину успел нагоняй сделать — приказал составить списки, перевести.

Елин позвонил по телефону соседу, командиру полка Матюшину, и они договорились об усилении обороны на стыке полков. После этого Елин спросил:

— Батальон Филяшкина, как ты его расцениваешь? Ведь твои люди фактически.

— Нет, это ты брось,— сказал Матюшин, сообразив, куда клонит разговор Елин,— батальон твой, я уже к нему отношения не имею. Обыкновенные люди, все зависит, как ими руководить будут.

38

Филяшкин, подготовив оборону, смущаемый лукавством жизненной жадности, понадеялся, что немцы не станут на него нападать; он отойдет к Волге, конечно, не самовольно, а по приказу командира полка, поскольку для командира полка станет очевидна бессмысленность обороны батальона с открытыми флангами. Он рисовал себе, как будет отходить с боем и командир полка выведет батальон в резерв. Рисовалось ему и такое — он, легко раненный, в сопровождении батальонного санитаря Елены Гнатюк, эвакуируется на левый берег,

госпитали оказываются переполнены, и он поселяется в рыбацкой хате. Гнатюк ходит за ним, делает ему перевязки, а на рассвете он идет на речку Ахтубу и ловит удочкой рыбу.

Каждый по-своему думали триста человек о будущем, о счастливом для каждого конце войны, о работе и о жизни, которая будет, конечно, лучше после войны, чем была до войны. Одни думали о переезде в районный центр, другие о переезде в деревню, думали о женах — надо помягче с ней быть, когда вернусь, а сейчас пусть продаст мой пиджак, вернусь — на новый заработаю; думали о детях — посмотреть бы, учить буду Машу на докторшу!

Филяшкин первым понял, как рухнули в полчаса все его мечтания пожить на свете. Немцы нанесли основной удар прямо по Филяшкину, и сразу все стало ясным. Связь с полком нарушилась, немецкие танки, а потом и пехота прорвались в тыл батальону. Разрывы мин и снарядов ложились необычайно кучно — и не то что перебежки делать и ползти, но выглянуть из укрытия нельзя было. Он вынул пистолет и ввел патрон в ствол, отжал предохранитель. После этого ему стало беспечней на душе.

— Связи нет,— крикнул Игумнов,— отрезали с востока.

— Все! Сами хозяева,— ответил он и вместо обычной напряженности и озабоченности увидел на лице Игумнова улыбку. Кровь отлила с побледневшего морщинистого лица начальника штаба, и оно, словно омытое, стало белее и моложе.

Филяшкин увидел, что Игумнов вытащил из кармана гимнастерки несколько писем, стал рвать их на мелкие клочки, разбрасывать по полу. Он даже не задумался над тем, что делает Игумнов, понял сразу — начальник штаба не хочет, чтобы немцы, обшарив его мертвым, стали бы лапать письма от жены и детей.

Игумнов вынул расческу и провел ею по седому ежику.

— Да мать ее... жизнь! — крикнул, внезапно рассердившись, Филяшкин.— Командовать надо.

Он послал связиста найти порыв {312} провода, ведущего в полк. Он связался с командирами рот, велел укрыть пулеметы и противотанковые ружья, чтобы их не разбило до атаки (он был уверен, что атака будет), велел получше укрыть людей и рассредоточить их по мере возможности, чтобы до атаки не терять батальону человеческой силы. Велел командирам рот приберечь связных, спросил, как люди, не понизилось ли их моральное состояние, посулил комротам и комвзводам, что, если кто из людей вздумает драпать, суд будет тут же на месте.

На мгновение вдруг заговорил телефон, Филяшкин связался с Елиным, тот обещал поддержать батальон всеми огневыми средствами полка, но они не успели договорить: связь тут же порвалась и уже больше не восстанавливалась — либо ее перешибли, либо немец, зашедший в тыл батальону, перекусил проволоку.

Он приказывал, объяснял, облизывая сухие губы и похлопывая себя по лбу и по затылку,— оглушило немного, и все, что он говорил, основывалось на одном, необычайно простом и ясном чувстве: его батальон во время немецкой атаки не сдвинется с места, не будет отступать, не попытается прорваться к Волге на соединение с полком, а будет драться до конца: вздумаешь, Филяшкин, отходить — весь полк немцы утопят в Волге.

И люди, переправившиеся с ним несколько дней назад через Волгу, хотя многие из них впервые попали в бой, а остальные давно уже не были в бою,— казалось ему, испытывали такое же чувство решимости. Все сомнения, вместо того чтобы усилиться, исчезли, перестали его тревожить: отступать некуда, отступать невозможно, под обрывом вода, и все они дружно вцепились в этот край земли и уж, черта, не слезут с него, не дадут себя утопить в реке. Но все же Филяшкин склонился к Шведкову, вернувшемуся перед самым началом огневого

налета из штаба полка, и крикнул ему:

— Хорошо бы пробраться к Конаныкину, у него в роте штрафники есть, как их самочувствие?

39

В роте Конаныкина первая мина упала на край окопчика, в котором сидели трое бойцов. Их осыпало землей. Двое в миг разрыва склонились над котелками и замерли пригнувшись, точно чья-то рука продолжала их прижимать к земле. Третий, сутулый, худой, спокойно сидел, привалившись плечом к стенке окопа.

— Вот, паразит, что делает, поесть не дает,— сказал один из бойцов, разглядывая засыпанный землей котелок, словно по условию войны полагалось не стрелять во время еды.

Второй, стряхивая землю с плеч и растерянно обтирая ладонью ложку, пробормотал:

— А я думал: ну, все!

Третий вдруг молча лег на землю, навалившись тяжестью тела и мертвой головой на ноги товарищей.

Тотчас вновь послышался ужасающий своей невинной нежностью шелест, и несколько мин шлепнулось, перелетев через окоп.

Из грохота и дыма разрывов родился пронзительный стон человека, и два голоса закричали:

— Тащи...

И снова свист и разрывы.

«Накрыло огнем»,— эти слова точно выражают происходящее при внезапном огневом налете; людей накрывает огнем, как накрывает сеть, мешком.

Осколки вlepялись в кирпич, рождая красненькие облачка пыли, и тут же, потеряв свою убойную силу, с безобидным плоским постукиванием плюхались на землю. Каждый осколок шумел по-своему, согласно своему весу, скорости, форме. Один словно во всю силу играл на гребешке, у него, наверное, были кудрявенькие, зазубренные края. Второй дудел, выл, видимо вспарывая воздух большим стальным когтем, третий пыхтел, мокро шлепал, его, должно быть, свернуло в трубочку, и он кувыркался, с бешенством расплескивая сухой воздух.

А брюхатые мины свистели с переливом — такой звук только и могло родить металлическое веретено, сверлящее тоненьким носиком круглую дырочку в воздухе, а затем силой своих плотных плеч ловко расширяющее эту дырочку.

И все эти пискливые, шепелявые, визгливые, скрипящие, пустяковые звуки невидимого глазами железа и были голосом смерти.

Отдельные, то здесь, то там возникающие рыжие и серые дымки слились в один дым. Отдельные облачка кирпичной, известковой, земной пыли слились в одну серую муть. Дым и пыль, смешавшись, отделили землю от неба, закрыли батальон, стоявший среди развалин.

Шла подготовка немцев к танковой атаке, и главное острие этой подготовки было нацелено совсем не на то, чтобы перебить всех людей в батальоне,— военный опыт показал, что и самым плотным огнем не удастся истребить сотни людей, зарывшихся в землю, схоронившихся в каменные норы, залезших в глубокие щели; законы вероятности

опровергали возможность такого полного истребления.

Главная мощь огня была направлена против солдатской души, против солдатской воли. Сила огня врывается в душу каждого человека, проникала в нее, как бы удачно, как бы глубоко ни зарылся человек в землю, она просверливала те нервные узлы, до которых не добраться ножу самого хитрого хирурга, она врывается в человека через ушной лабиринт, через полузакрытые веки, через ноздри, она потрясала его череп и мозг.

Сотни людей лежали в дыму и тумане, каждый сам по себе, каждый, как никогда в жизни, чувствуя свое тело как нечто бесконечно хрупкое, могущее в любой миг безвозвратно, навечно исчезнуть. Сила огня и была направлена на то, чтобы человек сосредоточился в своем одиночестве, оторвался от других людей, уже не слышал в грохоте слов комиссара, не видел в дыму командира, не ощущал связи с товарищами и в страшном своем одиночестве познал свою слабость. Не секунды, не минуты, а два часа длился огонь, отшибавший память, путавший мысли.

Люди, на миг приподнимая головы, озирались, видели неподвижные тела товарищей: жив ли, мертв? А затем вновь лежали с одной мыслью: я-то пока жив, вот свищет, скрипит, моя ли смерть?

В этом воздействии на оставшихся в живых и был главный смысл огня, накрывшего и прижавшего к земле батальон.

Огонь внезапно оборвался, когда, по расчету сил человеческой природы и по закону сопротивления духовных материалов, напряжение и страстное ожидание должно было смениться подавленностью и покорным безразличием.

О, какой недоброй, какой жестокой была эта тишина! Она позволяла собрать воедино все прошедшее, она позволяла робко порадоваться сохраненной жизни, она будила надежду, но и страшила безнадежностью, она подсказывала: пришел миг покоя перед будущим, более безжалостным, чем только что прошедшее,— отползи, спрячься, через минуту будет поздно. [«Да, завели нас, все пел политрук, все пел, а теперь вот и пропадешь, как последний».]

Для таких мыслей нужно лишь краткое мгновение, и столь же краткой была отпущенная опытным противником тишина. В такой тишине и рождается решение. Послышался негромкий, угрюмый, хриплый и лязгающий звук металла, скрежещущего по камню, выхлопы газа, нарастающее подвывание моторов, дающих большие обороты,— шли немецкие танки. И тотчас откуда-то издали донеслись уверенные разбойничьи голоса.

А батальон молчал, молчал, и казалось, опытный и сильный противник достиг своей главной цели, подавил, ошеломил, прижал, распластал волю, душевную силу красноармейцев.

И вдруг треснул винтовочный выстрел, громоподобно ударило противотанковое ружье, за ним второе, и затрещали сотни винтовочных выстрелов, пулеметные очереди, ударили взрывы гранат. Живые были живы.

Немцы хотели разрезать оборону окруженного батальона. Они знали — разрезанная оборона теряет свою силу, как теряет жизнь разрезанное живое тело. Уверенные, что после жестокого огня упругость обороны нарушена, ткань ее омертвела, стала вялой и податливой, немцы направили удары в те стороны, где, мнилось им, легче легкого достичь быстрого успеха. Но танковое острие не вошло в живое тело батальона, а зазвенело бесцельно, отвалилось, затупленное и зазубренное.

Вавилову казалось, что он первым выстрелил по атакующим немцам. Но каждому из многих десятков людей казалось, что именно он, а не кто другой, первым нарушил тишину, сковавшую батальон.

Вавилову казалось, что не винтовочный выстрел раздался, а сам Вавилов отчаянно крикнул, и тотчас его голос подхватили сотни других голосов — и все вокруг загремело, запестрело вспышками огня. Он видел заметавшихся немцев, и, хотя он редко ругался, залегшие рядом с ним люди слышали, как он длинно выматерился.

Его поразило, что маленькие жужжащие козьяки, бегущие следом за танками, и были причиной тех страшных горестей, разорения и мучений, которые он видел и о которых слышал.

Тревожное, дикое несоответствие между огромностью беды и маленькими суетливыми существами, принесшими эту беду.

40

Конаныкин был опытен в деле войны, и когда немцы, окружив батальон, открыли огонь, он сказал вслух, обращаясь к самому себе:

— Вам ясно, товарищ лейтенант?

Вместе с вестовым он дополз к ящику с гранатами, ставшему главной ценностью мира, и подтащил его на командный пункт.

Проползая мимо красноармейцев из штрафного отделения, он добродушно и спокойно сказал им:

— Ну, держитесь, ребята, сейчас для всех амнистия будет.

И эта грубая, но добродушная шутка, произнесенная с немислимым спокойствием, ободрила людей.

Конаныкин во время огневого налета наблюдал за штрафниками, он заранее разместил их поближе к командному пункту. Он видел, как один все поглаживал рукой зеленое тельце гранаты, второй судорожно вытаскивал из кармана сухари, пихал их в рот, видимо, жевание утешало его; третий то дергался всем телом, то обмирал в неподвижности, четвертый стучал носком сапога по кирпичу, словно хотел раздолбить его, пятый разевал рот и затыкал пальцами уши, шестой все время быстро шептал — не то молился, не то ругался.

«Так и не взяли их у меня, пришлось с ними в бой вступать,— думал Конаныкин,— такое мое счастье, герои один в один».

В штрафном отделении были красноармейцы — частые нарушители военной дисциплины, а один, штрафник, белокурый, картавый, с прищуренными светло-голубыми глазами, Яхонтов, был необычайно нахальный и упрямый тип. Штрафники всегда держали Конаныкина в раздраженном состоянии, всегда с ними происходили нелады — один потерял красноармейскую книжку, второй попался командиру полка без поясного ремня, третий отстал на марше; а нахальный Яхонтов умел жалобить деревенских женщин, и они его поили самогоном. Командир взвода писал о нем в рапорте: «Яхонтов шибкого поведения насчет вина».

Но сейчас Конаныкин не мог почему-то вызвать в себе раздражения ни против них, ни против Филяшкина, замешкавшегося с откомандированием штрафников; он подумал об их судьбе — и ему стало жалко их.

Кто-то тронул его за плечо — он оглянулся и не сразу узнал в потном, перепачканном землей человеке комиссара батальона Шведкова.

— Какие потери, как моральное состояние людей? — спросил комиссар, жарко дыша в ухо

Конаныкина.

— Состояние здоровое, драться будем до конца,— ответил Конаныкин и выругался — снаряд разорвался совсем рядом.

Необычайную, несвойственную ему уверенность в людях и дружбу к людям чувствовал Конаныкин. Он обычно делил все мужское население Советской страны на две половины: первые — люди, служившие в кадрах до войны, вторые — никогда не служившие в кадрах.

Служившим в кадрах до войны он отдавал все преимущества... И здесь, среди развалин, деление это исчезло.

Когда Шведков, расспросив его, сказал: «Ну, желаю тебе» — и пополз в роту Ковалева, Конаныкин умиленно подумал: «Ой, славный, боевой орел, хотя в кадрах и не служил».

И ему показалось естественным, что комиссар Шведков, ушедший перед атакой в штаб полка, очутился снова в батальоне и ползал под огнем по переднему краю, уверенно, душевно говорил с командирами и бойцами.

Но Конаныкин не смог по-новому ощутить, проверить свое чувство к людям — он был убит за несколько минут до начала немецкой атаки.

41

Серый граненый танк с черным крестом на широком покато и низком лбу рывком всполз на невысокий кирпичный вал, замер в неподвижности, но чувствовалось, он дышал, озирался.

Казалось, не люди правят его осторожными и недоверчивыми движениями, бесшумным медленным вращением орудийной башни, шевелением хищного пулеметного зрчка в прищуренном стальном глазу. Казалось, это живое существо, со своими глазами, мозгом, ужасными челюстями, когтями и не знающими усталости мускулами.

Леденя от волнения, белокурый наводчик противотанкового ружья изготовился для стрельбы. Медленно, невероятно медленно приподнял он приклад — и дуло противотанкового ружья опустилось, затыльник приклада вжался в плечо, и это прикосновение немного успокоило стрелка. Он прижался щекой к прохладному прикладу, и его глаз увидел через овражек прорези прицела припудренный розовой кирпичной пылью, низкий, покатый, обезьяний лоб танка, закрытый прямоугольный люк, потом медленно выплыла боковая броня с бугристым пунктиром клепки, сверкающая серебром гусеница, натеки масла. Подушечка пальца, едва касавшаяся спускового крючка, стала плавно нажимать, и крючок мягко подался. Испарина выступила у наводчика на груди, инстинктом он понял, что дуло ружья устремлено в эту секунду на самую незащищенную часть стальной серой шкуры.

Танк шевельнулся, башня медленно поплыла, и орудие плавно повернулось в сторону лежащего под кирпичной горкой человека,— оно словно ноздрей вынюхивало жертву.

Боец, не дыша, продолжал жать на спусковой крючок, и вдруг курок сорвался с боевого взвода, мощная отдача ударила по плечу и по груди, как кулаком встряхнула его.

Всю свою силу, все напряжение страсти вложил боец в этот выстрел, но он промахнулся.

Танк весь вздрогнул, точно рыгнул, белый, ядовитый огонь мелькнул из орудийного дула. За спиной, справа, взорвался снаряд. Наводчик подал затвор вперед, дослал черноносый бронебойный патрон, снова прицелился и выстрелил — и снова промахнулся,— он видел, как взлетело облачко вокруг разбитого камня в нескольких метрах от танка. Танк пустил пулеметную очередь, железная стая, скрежеща, пронеслась над припавшим к земле

наводчиком. В отчаянии, уже напрягая все без остатка духовные силы, он вновь дослал патрон и снова выстрелил.

На серой броне мелькнул яркий синий огонь; наводчик, вытянув шею, смотрел, не показалось ли ему,— яркий василек вспыхнул на танковой стали и сразу же исчез. Но вот потек жиденький желтенький дым из люка и башни, послышался грохочущий, хрустящий треск — то, видимо, рвались внутри танка заряженные пулеметные ленты. Вдруг быстрое черное огненное облако взлетело над танком, и раздался оглушительный взрыв.

Боец в первый миг не понял: он ли причина этого взрыва, связано ли это черное облако с синим огоньком, блеснувшим на броне... Потом он зажмурился, приложил голову к противотанковому ружью, долгим поцелуем, губами и зубами, прижался к широкой, пахнущей пороховым газом, вороненой стали.

Когда он поднял голову, то увидел дымящийся, развалившийся от взрыва боекомплект танк: развороченный бок, съехавшую на танковый лоб башню, поникшую пушку, уткнувшуюся хоботом в землю.

Забыв об опасности, наводчик привстал, страстным шепотом повторяя:

— Это я, я, я!

Потом он снова лег, картаво крикнул соседу:

— Прошу вас, обойму БС {313} заимообразно!

Никогда, пожалуй, за всю свою многосложную, пеструю жизнь не испытал он такого счастья, как в этот миг. Сегодня дрался он не за себя, а за всех. Мир, обманывавший его, и мир, который он хотел обмануть, исчез.

Шла смерть, и боец сразился с ней один на один. Его подручный Жора был убит, его командира Конаныкина убило осколком за несколько минут до танковой атаки, его командир отделения умирал, придавленный многопудовой кирпичной глыбой, не мог приказывать и не мог даже хрипеть. А боец остался со своим ружьем. Кого вспомнил он в эти минуты? Вспомнил он отца, мать? Он и не знал их.

[Отец его, чиновник адмиралтейства, и мать погибли от сыпного тифа на станции Мелитополь во время гражданской войны, пробирались из Петрограда на юг. Он, двухлетним ребенком, попал в детский дом. Однажды, когда он учился в железнодорожной профшколе, ему приснился в общежитии нелепый сон: он в обшитою кружевом передничке стоит на скользком паркетном полу, держит руками длинные теплые собачьи уши, и прямо в глаза ему смотрят мутные собачьи глаза, шершавый язык лижет его щеку. Потом женщина всплеснула руками, унесла его, прижимая к скользкому на груди шелку, а он дрыгал ногами и кричал.] {314} Он учился, потом бросил учение, начал работать, женился, потом бросил жену, оставил работу, свихнулся, стал пить. Война застала его в трудовом исправительном лагере. Он написал заявление — и его отправили на фронт, дали возможность заслужить себе прощение.

В этот день он подбил танк и был ранен в ногу осколком — знал, что после этого с него снимут судимость. Но он не думал об этом, когда увидел среди развалин второй танк.

Спокойный, уверенный в своей силе, очастливленный успехом, стал он, заранее торжествуя, готовить выстрел, но пулеметная очередь опередила его. Санитары, найдя его еще живого, с перешибленным позвоночником и развороченным животом, уволокли на шинели.

проще подсчитать наличный состав.

Командиров в живых, кроме Филяшкина, остались лишь Шведков, ротный Ковалев и взводный — татарин Ганиев.

— В рядовом составе потерь процентов шестьдесят пять,— сказал Филяшкин комиссару, вернувшемуся после обхода окопов,— я команду передал старшинам да сержантам. Ничего, народ боевой, без паники.

Будку их разбило в первые минуты боя, они сидели в яме, прикрытой бревнами, принесенными из станционного сарая. Лица их за эти часы почернели, щеки словно присохли к лицевым костям, на губах напеклась темная корка.

— Как с убитыми быть? — спросил старшина, заглядывая в яму.

— Я сказал уже,— проговорил Филяшкин,— сложить в подвал станционной,— и с досадой добавил: — Я знал: гранат «эргэде» и «эф один» маловато окажется.

— Командиров отдельно? — спросил старшина.

— Зачем отдельно,— раздраженно сказал Шведков,— вместе убиты, рядом пусть лежат.

— Правильно,— сказал старшина.

— Два станковых пулемета мне разбил, пять ружьев пэтээр, три миномета из строя вывел,— озабоченно проговорил Филяшкин.

Старшина уполз, поскрипывая и позванивая по стреляным гильзам, лежавшим возле ямы.

Шведков раскрыл школьную тетрадь и стал писать. Филяшкин выглянул из ямы, осмотрелся и снова полез обратно.

— Раньше утра не начнет,— сказал он.— Чего это ты пишешь?

— Политдонесение комиссару полка,— сказал Шведков.— Описал факты героизма, начал убитых перечислять да при каких обстоятельствах убиты и запутался: начштаба Игумнова пулей, а Конаныкина осколком? И кого раньше, я уж не помню. Как будто семнадцать часов было, когда Игумнова убило.

Они оба покосились на темный угол, где недавно лежало тело Игумнова.

— Брось ты летопись писать,— сказал Филяшкин.— Все равно не доставишь в полк. Отрезаны.

— Это верно,— согласился Шведков, но не закрыл тетрадку и продолжал писать.

— До чего глупо погиб Игумнов: приподнялся связного позвать — его и срезало,— сказал Шведков.

— Знаешь что,— сказал Филяшкин,— ты имей в виду, комиссар, умно никого не убивает, всех по-глупому.

Ему не хотелось говорить об убитых товарищах, он знал суровое и спасительное чувство душевной замороженности в бою. Потом уж, если останешься жив, начнешь вспоминать товарищей, и придет боль... В тихий вечер подкатит под сердце, и слезы польются из глаз, и скажешь: «Какой был начальник штаба, простой, хороший, как сегодня помню — только немцы начали атаку, он достал письма и порвал, точно чувствовал, а потом гребешок вынул, причесал волосы, посмотрел на меня».

А в бою сердце деревенеет, и не нужно его размораживать, не время, да и не может оно вместить всю кровь и смерть боя.

Шведков, просматривая написанное, вздохнул и сказал:

— Народ наш золото, не зря политраблоту проводили. Бойцы — спокойные, мужественные; один боец, Меньшиков, мне сказал: «Не сомневайтесь, товарищ комиссар, у нас все отделение коммунисты, мы свое дело исполним, для меня смерть лучше, чем фашистский плен», а второй: «Не такие, как мы, помирали». — Шведков снова заглянул в тетрадку и прочел: «Красноармеец Рябоштан заявил: „Я сейчас выкопал окоп, и никакой огонь меня не заставит уйти отсюда. Тяжело сдавать родную землю, если бы скорее наступать“... «Боец Назаров вытащил двух тяжелораненых из огня, а затем убил десять фашистов, одного ефрейтора и одного офицера, а на мои слова: „Ты герой“, — ответил: „Что это за героизм? Вот Берлин взять — это героизм“. Он заявил: „С политруком Чернышевым в бою не пропадешь. Он в разгар боя подполз ко мне, засмеялся и развеселил меня“. «Боец Назаров погиб смертью храбрых»...

— А командир полка слово сдержал, — сказал Филяшкин, — чем только мог помогал — и огнем, и в атаку переходил. Да потом на него самого немец навалился — пришлось отбиваться, я уж на слух понял. <...> {315}

Вблизи слышались один за другим два взрыва.

Шведков поднял голову.

— Начинают?

— Нет, это он до утра будет методическим, чтобы спать не давать, — снисходительно к понятному намерению врага проговорил Филяшкин. — Ох, но и бой жестокий был, в шестом часу я лично из пулемета штук тридцать уложил, густо шли!

— Давай твой личный подвиг запишем, — сказал Шведков и послюнил карандаш.

— Брось ты, — сказал ему Филяшкин, — для чего это нужно?

— А чего ж? — ответил Шведков и стал писать.

— Чернышев убит, — сказал Филяшкин, — принял команду после Конаныкина, минут через тридцать и его убило.

— Хороший парень, коммунист настоящий. И боец и агитатор. И бойцы его любили, — сказал Шведков и вдруг вспомнил: — Да, товарищ комбат, я ведь утром подарок принес для наших девушек-героинь.

Он подумал, что, не будь этого чертова подарка, его бы так срочно не послал обратно комиссар полка и, быть может, он бы сейчас в блиндаже политотдела пил бы чай и писал отчетное политдонесение. Но мысль эта не вызвала сейчас в нем ни сожаления, ни досады. Он вопросительно посмотрел на Филяшкина и сказал:

— Кого наградим подарком? Пожалуй, Гнатюк? Она сегодня героически поработала.

— Что ж, можно, — лениво растягивая слова, ответил Филяшкин.

Шведков окликнул автоматчика и велел ему позвать санитарного инструктора.

— Если только живая, — прибавил он.

— Ясно. Зачем она, если не живая,— угрюмо сказал автоматчик.

— Живая, живая, я проверил,— усмехнулся Филяшкин и, стряхнув с рукава пыль, утер лицо. Он все время потягивал носом: в воздухе круто пахло свербящим горьким дымом, жирной сажой, сухим известковым прахом — тревожный, хмельной дух переднего края.

— Выпьем, что ли? — неожиданно спросил непьющий Шведков.

— Нет, неохота,— ответил Филяшкин.

Все переменялось за эти часы: деликатные стали грубыми, а грубые помягчели, бездумные задумались, а погруженные в заботы с веселым отчаянием сплевывали, говорили громко, смело, как пьяные.

[— Ну как, ты доволен своим прожитием? — спросил вдруг Филяшкин.— Итог ведь подходит, может, по партийной линии не все в порядке. Ты скажи, может быть, имеешь на себя материал, спишу тебе грех.

— Брось, товарищ Филяшкин, я таких разговоров не понимаю, особо от командира подразделения.]

— Чудак, что это ты все пишешь, пишешь,— проговорил Филяшкин,— будто тебе (он подумал и назвал срок, казавшийся ему огромным в этой яме) еще полгода жить? Давай лучше поговорим. Ты как, осуждаешь меня за санинструктора?

— Осуждаю. Не знаю, может быть, и неправильно,— сказал Шведков,— пусть меня парткомиссия поправит, материал разберут. Я считаю, что командиру не нужно это.

— Ну, правильно, я и говорю, правильно. Чего ждать, пока разберут. Я тебе сейчас прямо скажу: виноват я в этом деле.

Охваченный дружелюбием, Шведков сказал:

— Э, давай примем сто граммов наркомовских по уставу, пока обстановка позволяет.

— Нет, неохота туманить себя,— ответил Филяшкин и рассмеялся. Его смешило, что комиссар, всегда осуждавший его за склонность к выпивке, сам сейчас просил его хлебнуть.

Над краем ямы показалось лицо санитарного инструктора.

— Разрешите залезть, товарищ комбат? — спросила девушка.

— Давай, давай, скорей, а то убьют,— ответил Филяшкин. Он отодвинулся в угол.— Вручай, комиссар, я посмотрю.

Девушка, прежде чем пойти на командный пункт, несколько минут приводила себя в порядок. Но вода из фляжки не смыла черной копоти и пыли, осевшей на коже. Она тщательно терла нос платочком, но и нос не стал от этого белее. Она обтерла сапоги куском бинта, но сапоги не блестели от этого. Она хотела заложить растрепавшуюся косу под пилотку, но запыленные волосы стали жестки и непослушны, полезли из-под пилотки обратно на уши и на лоб, как у маленьких деревенских девчонок.

Она стояла смущенная и неловкая в своей слишком тесной для полной груди гимнастерке, измазанной черной кровью, увешанная сумками, в просторных суконных штанах, свисавших на ее бедрах, в больших тупоносых сапогах.

Она прятала свои большие руки с черными короткими ногтями, руки, отработавшие за этот

день великий урок милосердия и добра. Она в эту минуту чувствовала себя некрасивой и неловкой.

— Товарищ Гнатюк,— громко сказал Шведков,— по поручению командования, за самоотверженную службу вручаю вам этот подарок. Это дар американских женщин нашим девушкам, сражающимся на Волге. Посылки доставлены на фронт прямо из Америки на специальном самолете.

Он протянул девушке большой продолговатый пакет, завернутый в хрустящую пергаментную бумагу, обвязанный шелковым витым шнурком.

— Служу Советскому Союзу,— сипло ответила девушка и взяла из рук комиссара пакет.

Шведков совсем иным, вернее не иным, а обычным своим голосом сказал:

— Да вы разверните его, интересно ведь и нам посмотреть, что вам женщины прислали.

Она сняла шнурок и стала разворачивать бумагу. Бумага потрескивала, топорщилась, посылка раскрылась, девушка, присев на корточки, чтобы не растерять предметов и предметцев, стала в ней разбираться. Чего тут только не было! Шерстяная кофточка, расшитая пестрым красивым узором, зеленым, синим, красным; мохнатый купальный халатик с капюшоном; две пары кружевных панталон и рубашек с лентами; три пары шелковых чулок; крошечные носовые платочки, обшитые кружевами, белое платье из отличного батиста, с машинной прошвой; баночка душистого крема, флакон духов, обвязанный широкой лентой.

Девушка подняла глаза и посмотрела на командиров взором, полным женственности, душевной грации, и, казалось, мгновенная тишина наступила над вокзалом, чтобы не смутить и не согнать с ее лица этого выражения. Все было в этом взоре: и печаль о не данном ей судьбой материнстве, и чувство своей суровой участи, и гордость своей участью.

Она стояла в больших солдатских сапогах, в штанах, в гимнастерке, и странно, удивительно, но, может быть, женщина никогда не была так прелестно женственна, как в этот миг, когда Елена Гнатюк отказывалась от красивых, милых вещиц.

— Зачем мне это все? — спросила она.— Я не возьму, мне это теперь не нужно.

И мужчины смутились, поняв, что чувствовала в эти минуты девушка, сознавая себя такой неуклюжей, некрасивой и такой гордой.

Шведков потер между пальцами край дареной узорной кофточки и смущенно сказал:

— Шерсть хорошая, это не бумажная ткань.

— Я здесь их оставлю, куда ж мне брать,— сказала она и, положив посылку в угол, отерла ладони о гимнастерку.

Филяшкин, разглядывая вещи, сказал:

— Чулочки так себе, два раза надень и поползут, но выделка тонкая: паутина, бальные чулочки.

— Зачем мне бальные? — сказала девушка.

И Шведков вдруг рассердился, это помогло ему решить сложный, впервые ему в жизни встретившийся «дипломатический» вопрос, сказал:

— Не хотите, ну и не берите. Правильно! Что они думают, мы тут на курорте? Смеются, что

ли? Купальные халаты посылают — вот уж действительно! — Он оглянулся на Филяшкина и проговорил: — Я пойду, посмотрю людей, побеседую.

— Ладно, походи, а я после тебя пойду,— поспешно сказал ему Филяшкин,— я только перед тобой проверял оборону, осторожно ходи, снайперы метров сто пятьдесят от нас сидят, зашумишь — все.

— Разрешите быть свободной? — спросила девушка, когда Шведков выполз на поверхность.

— Зачем, подождите немного,— сказал Филяшкин. У него всегда был миг неловкости, когда он оставался наедине с девушкой, переходил от тона начальника, говорящего с подчиненным, на тон, обычный между возлюбленными.— Слушай, Лена,— сказал он,— давай вот что. Прости ты меня, что я так нахально держался на марше. Оставайся, простимся. Чего уж, война спишет.

— Мне списывать нечего, товарищ комбат,— сказала она и тяжело задышала.— И, во-первых, вам никто не должен прощать: я не маленькая, сама знала, сама отвечаю, отлично все понимаю, и когда к вам пошла, понимала; и, во-вторых, я не останусь тут у вас, а пойду, куда мне положено по долгу службы. А в-третьих, подарки мне эти ни к чему, у меня все обмундирование есть. Разрешите быть свободной? — И эти слова: «Разрешите быть свободной» — прозвучали совсем не по-воинскому, не по уставу.

— Лена,— сказал Филяшкин,— Лена... ты разве не видишь...— И голос его был такой странный и необычный, что девушка удивленно посмотрела на комбата. Он поднялся на ноги, хотел, видно, сказать что-то важное, но вдруг усмехнулся: — Ладно, чего уж,— и уже спокойным глуховатым голосом закончил: — В случае чего,— он показал рукой на запад,— ты в плен не сдавайся, держи наготове трофейный пистолетик, что я тебе подарил.

Она пожала плечами и сказала:

— И в случае чего я могу застрелиться из своего нагана.

И она ушла, не оглянувшись на старшего лейтенанта, на бесполезные нарядные тряпки, лежавшие на земле.

43

В сумерках, пробираясь на медпункт, Лена Гнатюк зашла на КП третьей роты.

Автоматчик резко окликнул ее, но тут же узнал и сказал:

— А, старший сержант, проходи.

Ее вдруг поразила мысль: неужели она, старший сержант, и есть та самая Лена Гнатюк, которая два года назад в деревне Подывотье, Сумской области, работала бригадиром по сбору свеклы и вечером, возвращаясь с поля, входя в хату, капризно и весело говорила:

— Ой, мамонько, давайте кушать, я ужинать хочу!

Ковалев спал сидя, прислонившись спиной к балке, подпирившей перекрытие подвала. На полу горела свеча, припаянная стеарином к поставленному на попу кирпичу. Рядом беспорядочно, навалом, лежали ручные гранаты, словно заснувшая рыба, вытащенная сетью и брошенная на землю.

У Ковалева на коленях лежал автомат, руками он прижимал к животу свою полевую сумку.

Спотыкаясь о гремящие пустые автоматные диски, девушка подошла к нему.

— Миша, Миша! — позвала она и тронула лейтенанта за рукав, взяла за руку, по привычке пощупала пульс.

— А? — спросил он и открыл глаза, но не пошевелился.— Это ты, Лена?

— Устал? — спросила она.

— Нет, не устал, отдыхал немного,— ответил он, словно оправдываясь,— старшина дежурит, я отдыхаю.

— Миша,— позвала она негромко.

— Ну?

— Ты, Миша, не понимаешь ничего.

— Иди лучше, Лена, ей-богу,— проговорил он.— Чего нам разговаривать об этом всем. Меня девушка дома ждет.

Она вдруг прижалась к нему, положила голову ему на плечо.

— Мишенька, ведь нам, может, час жизни остался,— быстро заговорила она,— ведь все это глупость была, неужели ты не чувствуешь? Сегодня несут, несут раненых, а я только смотрю: нет ли тебя? Да ты пойми, мало ли что находит на человека, и на меня нашло, ты кого хочешь спроси, девчат из санчасти полка спроси, они все знают, как я к тебе отношусь. Вот и на КП была, я даже смотреть на него не хотела. Я тебя одно прошу: поверь мне только, слышишь, поверь! Вот ты всегда такой! Почему ты понять не хочешь?

— Пускай, товарищ Гнатюк, я ничего понять не умею, зато вы слишком много понимаете. Я к девушкам подхожу без замыслов. Вы и понимайте, а я не обязан людей обманывать, как некоторые.

И как бы ища поддержки в своем трудном решении, он прижал к себе полевую сумку, погладил ее ладонью.

Несколько мгновений они молчали, и он вдруг сказал громким голосом:

— Можете идти, товарищ старший сержант.

Именно эти слова пришли ему в голову, чтобы окончательно и бесповоротно закончить разговор с девушкой, и он ощутил всем телом, спиной, затылком, как нехорошо прозвучали эти деревянные слова.

Два красноармейца, спавшие на полу, приподнялись одновременно и посмотрели сонными глазами, чей это рапорт принял командир роты.

44

Боец Яхонтов лежал на груди шинелей, снятых с убитых. Он не стонал, а настойчиво и жадно, потемневшими от страдания глазами, смотрел в рябое звездное небо.

— Уйди, уйди,— шепотом прокричал он санитару, пробовавшему его подвинуть.— Больно, у тебя руки каменные, не трогай меня!

Над ним наклонилось лицо женщины, на него пахнуло ее дыхание. Слезы упали на его лоб и щеку, ему показалось, что с неба упали капли дождя.

И он внезапно понял: то слезы, и они горячи и горяча рука, погладившая его, оттого что жизнь

от него отходит и касание живого тела кажется ему горячим, как горячо оно для холодного куска железа или дерева. И ему вообразилось, что женщина плачет над ним.

— Ты добрая, не плачь, я поправлюсь еще,— сказал он, но она не слышала его слов. Ему казалось, что он произносит слова, а он уже «булькал», как говорят санитары.

До утра не спала Лена Гнатюк.

— Не кричи, не кричи, немцы рядом,— говорила она бойцу с перебитыми ногами и гладила его по лбу, по щекам,— потерпи до утра, утром отправим тебя в армейский госпиталь, там гипс тебе наложат.

Она перешла к другому раненому, а боец с перебитыми ногами снова позвал ее:

— Мамаша, пойди сюда, я спросить тебя хочу.

— Сейчас, сынок,— ответила она, и ей, и всем вокруг казалось естественным, что человек с седой щетиной назвал ее мамашей, а она, двадцатитрехлетняя женщина, звала его сыном.

— Это как — гипс, без боли, усыпляют? — спросил он.

— Без боли, потерпи, потерпи до утра.

На рассвете прилетел одномоторный «юнкерс», крылья и нос его стали розовыми, когда он пошел в пике над вокзалом. Фугасная бомба попала в ту яму под стеной, где находились раненые, Лена Гнатюк, два санитары,— и не стало там живого дыхания.

Пыль и дым, поднятые взрывом, восходящее солнце окрасило в рыжеватый цвет, и легкое облако долго висело в воздухе, пока ветер с Волги не погнал его на запад и не рассеял над степью.

45

В 6 часов утра советская тяжелая артиллерия открыла огонь из Заволжья по немецким позициям. В утреннем воздухе натянулись невидимые струны, и воздух над Волгой запел. Казалось, что серебристая рябь на воде поднимается вслед летящим над Волгой советским снарядам.

Над немецким расположением на западной окраине города и у вокзала вздымались черные и рыжие комья земли, древесная щепка, каменная крошка и пыль.

В течение часа ревела советская тяжелая артиллерия, выли снаряды и пелена желтого и черного дыма висела над замершими, заползшими в землю немецкими солдатами.

Как от эпицентра землетрясения, волнами расходились содрогания почвы, вызываемые разрывами советских снарядов. В блиндажах, у самого берега, позванивали металлические каски, штыки, автоматы, развешанные на стенах.

И тотчас, едва кончилась артиллерийская подготовка и вспотевшие от работы заволжские артиллеристы отошли от раскаленных стволов орудий, двинулись в атаку стрелковые подразделения, стала вскипать вода в кожухах советских пулеметов, гулко заахали гранаты «Ф-1» — «феньки», разогрелись от огневой дрожи ППШ.

Но советская атака захлебнулась, пехота, действовавшая мелкими группами, не сумела развить успех. * * *

К 11 часам вокзал представлял собой картину поистине ужасную.

Среди пыли и дыма, поднятых сосредоточенным огнем минометов и орудий, среди черных разрывов авиационных бомб, под вой авиационных моторов и секущий хрип мессершмиттовых пулеметных очередей батальон, вернее остатки его, продолжал отбиваться от немцев.

Голоса раненых, стоны тех, кто с темным от боли рассудком лежал в крови либо ползал, ища укрытия, смешивались с командой, очередями пулеметов, стрельбой противотанковых ружей. Но каждый раз, когда после шквального огня наступала тишина и немцы, пригнувшись, бежали к искромсанным развалинам, эти казавшиеся окончательно мертвыми и немymi развалины вновь оживали.

Филяшкин, лежа на груди стреляных гильз, нажимая на спусковой рычаг пулемета, быстро оглянулся на Шведкова, старательно и плохо стрелявшего из автомата.

Немцы снова шли в атаку.

— Стой! — закричал самому себе Филяшкин, увидя, что пулемет нужно перенести на новое место. Он крикнул подручному, молодому красноармейцу, с преданностью и обожанием глядевшему на командира батальона: — Тащи на руках, вот под эту стенку,— и ухватился за хобот пулемета.

Пока они устанавливали пулемет на новом месте, Филяшкину обожгло левое плечо, рана пустячная, не рана, а порез, он не почувствовал ее смертельной глубины.

— Перевяжи мне скоренько плечо, комиссар,— крикнул он, раскрыв воротник гимнастерки,— и тут же отмахнулся от бинта: — Потом, потом, полезли...— И он стал наводить пулемет.— Начал срочную пулеметчиком и сегодня пулеметчиком,— бормотал он.— Ленту, ленту давай,— закричал он подручному.

Он подавал себе команду и сам исполнял ее,— он был командир подразделения, и наблюдатель, и пулеметчик.

— Противник прямо и слева триста метров! — закричал он за наблюдателя.

— Пулемет к бою... по атакующей пехоте, непрерывным, пол-ленты, огонь! — закричал он за командира и, ухватившись за ручки затыльника, медленно повел пулемет слева направо.

Серо-зеленые немцы, внезапно выскочившие из-за насыпи, вызывали у него удушливое бешенство; у него не было чувства, что он обороняется и что бегущие в его сторону увертливые, хитрые немецкие солдаты нападают,— ему казалось, он нападает, а не отбивается.

В нем все время, как эхо скрежещущего непрерывного пулеметного огня, жила одна заполнявшая его мысль. В этой мысли находил он объяснение всему, что было в жизни: досаде, удачам, снисхождению к тем из сверстников, кто отстал в лейтенантах, и зависти к тем, кто, обогнав его, ушел в подполковники и майоры. «Начал срочную пулеметчиком и кончаю пулеметчиком». Простая, ясная мысль отвечала на все, тревожившее его в последние часы. Эта мысль слилась с чувством и говорила ему о том, что все плохое и тяжелое, случившееся в жизни, перестало значить для него, пулеметчика Филяшкина.

Шведков так и не перевязал его: Филяшкин вдруг, теряя сознание, с размаху ударился подбородком о затылок пулемета и мертвый повалился на землю.

Немец, артиллерист-наблюдатель, давно уже заметил пулемет Филяшкина, и, когда тот вдруг притих, немец заподозрил хитрость.

Шведков не успел поцеловать комбата в мертвые губы, не успел оплакать его, не ощутил

тяжкого бремени командования, легшего на него со смертью Филяшкина,— и он был убит снарядом, всаженным немецким наводчиком в самую амбразуру его укрытия. * * *

Старшим в батальоне остался Ковалев, но он сам не знал об этом,— связи с Филяшкиным у него во время немецкой атаки не было.

Ковалев уже не походил на того вихрастого и светлоглазого юношу, который два дня назад перечитывал стихи, записанные в тетрадке, и надписи на фотографиях. И мать не узнала бы в этом хриплоголосом человеке с воспаленными глазами, с прилипшими ко лбу серыми прядями волос — родного мальчика, сына.

От сильной контузии у него в ушах стоял звон и цоканье, голова горела от боли, кровь текла из ноздрей на грудь, маслянисто щекотала подбородок, и он размазывал ее рукой.

Ходить ему было трудно, и он несколько раз валился на колени, полз на четвереньках, потом снова вставал.

В его роте, несмотря на то что она подвергалась непрерывным атакам и многочасовому обстрелу, потери были несколько меньше, чем в других подразделениях батальона.

Ковалев стянул в узкий круг остатки роты, и ему самому минутами казалось странным и удивительным, что огонь его роты по-прежнему был густым и плотным, словно в минуты немецких атак мертвые снова брались за оружие и стреляли вместе с живыми.

Он видел в тумане напряженных мрачных людей, они били из автоматов, прижимались головой к земле, пережидали разрывы, то вскакивали и снова стреляли, то вдруг притихали, глядя, как косо и рассыпчато набегают серо-зеленые существа.

В эти минуты наступала тишина — сложное, томное чувство одновременного страха и радости от приближения врага.

И все спины, руки, шеи напряживались, а пальцы, сдвинув предохранительную чеку, сжимали рукоятки гранат, вкладывали в это пожатие все напряжение, охватывавшее красноармейцев при приближении немцев.

Воздух сразу застилало пылью, и туман вставал в голове. Звук разрывов советских осколочных и фугасных гранат так ясно отличался в ушах Ковалева от немецких, как отличались для него окающие голоса нижегородцев от картавых выкриков берлинцев и баварцев. И хотя крики отбивающих нападение не были слышны, но всем, имеющим уши, чтобы слышать, русским и немцам, казалось, что гранаты-жестянки, «феньки», противотанковые гулко над местом побоища, над всем городом и над Волгой выкрикивают грозные русские слова.

Затем пыль рассеивалась, снова выползали из каменного тумана постылые развалины, мертвые тела, подбитые немецкие танки, поваленная набок пушка, провисший мост, необитаемые, безглазые дома, мутное небо над головой, и снова немцы с новым неутомимым усердием начинали молотить людей и камень, готовить новую атаку.

Ковалев в эти минуты переживал многое.

То в тумане гасло сознание, и оставалось лишь чувство быстроты и отчаянности, словно ничего уже не было в мире, кроме серых бегущих фигур и скрежета танков. Немцы бежали в атаку косо, рассыпчато. Иногда казалось, что они лишь мнимо бежали вперед и действительной их целью было бежать назад, а не вперед,— их кто-то сзади выталкивал, и они бежали, чтобы освободиться от этого невидимого, подталкивающего их, а затем уж, опередив, оторвавшись от него, начинали юлить, рассыпаться по кривой и поворачивали

обратно. И тогда, разгадав их, хотелось помешать им вести лукавую, обманную игру, не дать им повернуть, и движения Ковалева становились спокойными, разборчивыми, он выбирал. В такие мгновения глаза видели многое, быстро старались подметить, залег ли враг, укрылся ли, рухнул ли убитый, упал ли подраненный.

То казалось, бегут не люди — фанерки, безразличные, жалкие, не опасные, то он с ясностью видел перед собой людей, полных ужаса перед смертью. То вдруг делалось понятным не только для мозга, но для всего тела, ног, рук, плеч, спины, что немцы, сколько их ни есть, бегут с яростным и страстным желанием достичь той ямы перед выступом стены, где притаился контуженый, перепачканный в крови Ковалев, с ноющей от тугого спускового крючка косточкой указательного пальца. И тогда волнение взрывало его, дыхание становилось прерывистым, исчезало все, кроме счета патронов автомата, мыслей о патронном диске, лежащем рядом,— мысли: вот он будет перезаряжать автомат, а бегущие достигнут наклоненного столба с обрывками проволоки, а может быть, доберутся и до будки со снесенной крышей.

Он кричал, и голос его сливался с пальбой автомата. Казалось, что оружие разогревалось от его рук, от той ярости и жара, которые были в нем.

А потом неожиданно напряжение обрывалось, проглядывало ясное голубое небо, приходила тишина, не угарная, большая тишина начала атаки, а спокойная, здоровая, румяная — та, которой хотелось надолго, а не та, что мучила и давила больше грохота.

И внезапно мелькало воспоминание, случайное, быстрое, а может быть, совсем не случайное, лишь кажущееся случайным. Девушка, с розовой рябью оспенной прививки на обнаженной белой руке, ранним утром полощет белье на берегу реки, замахивается мокрой, свернутой жгутом простыней, и сильный удар по темной и скользкой доске многократным ступенчатым эхом разносится вокруг, и вода искристо морщится от вкусного, сочного удара, а девушка краткое мгновение смотрит на Ковалева, и полуоткрытые губы ее улыбаются ему, а глаза сердятся. Он видит, как колыхнулись ее груди, когда она нагнулась и разогнулась, и от нее пахнет молодой травой, и прохладой воды, и милым живым теплом. И она понимает, что он жадно смотрит на нее, и ей приятно и неприятно это, и он нравится ей, и ей смешно и странно, что он так молод и она молода...

И тотчас другое... Губастый, бледный лейтенант Анатолий, его дорожный спутник, лежит на полке в вагоне и, кашляя, неумело курит, подставив под папиросу ладонь, чтобы пепел не падал на сидящих внизу... И вот они за большим столом, в городской квартире, в этом же Сталинграде, где-то на северо-восток от стеночки, где он сейчас лежит, и насмешливые, сердящие его глаза смотрят, спрашивают. И два старика, один хмурый, черный, другой лобастый, с толстым носом, и толстая военврач с майорскими «шпалами», и темноглазый, дергающийся парень, у которого он списывал стихи, смотрят на него.

И тревожное чувство раздраженного и неуверенного превосходства над этими привлекательными, милыми людьми коснулось его.

Ах, если бы та красивая, с белой шеей, поглядела сейчас, она бы поняла, почему он так затосковал, затомился, стал ругаться — ведь о смерти, ни о чем другом разговор, зачем же эти насмешечки и шуточки; «такой приказ — защищать — давно есть». Эти взгляды, словно он мальчик, эти вопросы, чтобы ему удобней и приятней отвечать... Конечно, он жил в деревне, он только школу лейтенантов кончил, он еще молодой совсем.

Его чистая душа была воистину детской душой, ведь возраст его, и опыт жизни, и ясная вера, и сомнения, и мечты, и тревоги, и грубость — все в нем было отроческим, юным. И в эти минуты он переживал горькое, безжалостное исполнение своей мечты, ощутил, что не только перед самим собой, перед своими земляками, перед мамой и девушкой, писавшей «место

марки целую жарко», но перед всем огромным светом, перед миром всех людей, и не только друзей, но и врагов, он — тот самый суровый и сильный, каким хотел видеть себя, когда, нахмутив белые брови и загадочно сощутив глаза, смотрелся перед сном в маленькое карманное зеркальце, обклеенное красной шершавой бумагой...

И для того чтобы поделиться с кем-нибудь своим чувством и сохранить его среди людей, Ковалев вытащил из сумки тетрадь, пощупал пальцами фотографию, завернутую в целлофановую бумагу, мельком взглянул на стихи, записанные красивым, жемчужным почерком, записанные каким-то другим человеком, а не им. Он вырвал лист бумаги и стал писать донесение.

«...Время 11.30.

Донесение.

Гвардии ст. лей-ту Филяшкину. 20.9.42 г. Доношу — обстановка следующая.

Противник непрерывно атакует, старается окружить мою роту, заслать в тыл автоматчиков, два раза пускал танки через боевые порядки моей роты, но все его попытки не увенчались успехом. Пока через мой труп не перейдут, не будет успеха у фрицев. Гвардейцы не отступают, решили пасть смертью храбрых, но противник не пройдет нашу оборону. Пусть узнает вся страна 3-ю стрелковую роту. Пока командир роты живой, ни одна б... не пройдет. Тогда может пройти, когда командир роты будет убит или совсем тяжело ранен. Командир 3-й роты находится в напряженной обстановке и сам лично физически нездоров, на слух оглушен и слаб. Происходит головокружение и падает все время с ног, происходит кровотечение с носа; несмотря на все, 3-я гвардейская рота не отступает назад. Погибнем героями за город Сталинград. Да будет им могилою советская земля. Надеюсь, ни одна гадина не пройдет. 3-я рота отдаст всю свою гвардейскую кровь, будем героями освобождения Сталинграда».

Подписав донесение и сложив листочек вчетверо (пока он писал, беленькая бумажка стала черно-рыжей от мазавшей по ней ладони), Ковалев подозвал бойца Рысьева и сказал:

— Снеси комбату!

Потом он вынул металлический медальон, повешенный ему на грудь заботой старших, на случай тяжелого ранения или смерти, и поверх официальных сведений о фамилии, звании, должности, части, адреса и составе крови написал:

«Тот, кто осмелится изъять содержимое этого медальона, того прошу направить по домашнему адресу. Сыны мои! Я на том свете. За кровь мою отомстите врагу. Вперед к победе и вы, друзья <...>! {316}»

Он не знал, зачем написал сыновьям, которых нет, ведь он и женат не был. Но так нужно было. Память о нем — суровая, честная память — должна надолго остаться, он не хотел считаться с тем, что война оборвет его жизнь, что он не узнал и не узнает отцовства, не станет мужем своей жены. Он писал эти слова за несколько минут до смерти, он боролся за свое будущее время, он не хотел подчиниться смерти в двадцать лет, он и здесь хотел поупорствовать, победить.

Рысьев вернулся с командного пункта батальона. Он сам не понимал, как его не убило.

— Никого там нет, товарищ лейтенант, некому вручить донесение, все убитые, и связного ни одного не осталось,— сказал он.

Но и Ковалев не принял у него обратно донесения, он лежал мертвый, навалившись грудью на свою полевую сумку, заряженный автомат лежал у него под рукой.

Рысьев лег рядом с ним, взял автомат, немного отодвинул плечом тело Ковалева; видно, немцы опять готовились, собирались кучками, перебежали за сгоревшими танками, махали руками, а где-то сбоку уже к звукам разрывов примешивалось тырканье их автоматов.

Рысьев подсчитал гранаты и оглянулся на Ковалева: между бровями на лбу его видна была короткая темная насечка... ветер шевельнул его светлые волосы, а легкие ресницы, чуть опущенные, прикрывали глаза; он глядел в землю мило и лукаво, улыбался тому, что? знал он один, тому, что? уж никто, кроме него, не узнает.

«По переносью... сразу»,— подумал Рысьев, ужаснулся быстрой смерти и позавидовал ей.

46

Из командиров, пришедших два дня назад на вокзал, Ковалев был убит последним.

Младший командный состав был также почти целиком выведен из строя.

Старший сержант Додонов, подавленный страхом, отлеживался, на него никто не смотрел, никто не обращался к нему.

Старшину Марченко тяжело контузило тем же снарядом, которым был убит Ковалев; он лежал неподвижно, и кровь текла у него из носа и ушей.

Но и после гибели Ковалева красноармейцы продолжали вести огонь по немцам. В бою, шедшем до этого часа, Конаныкин, Филяшкин, Шведков, Ковалев, политруки, комвзводы стреляли как рядовые красноармейцы — и это было естественно и законно. После их гибели принял команду рядовой красноармеец — и это также было естественно и законно.

В обычной жизни немало людей являются скромными, непроявленными вожаками. Об их душевной силе знают те, кто соприкасается с ними в труде, ее чувствуют, на нее оглядываются, но часто о ней и забывают. Есть две ценности человеческого характера — одна в умении быстро, толково и правильно понять изменения жизненной поверхности, вторая ценность — в духовной, неизменной и упрямой глубине.

В те времена, когда драма раскрывается не на поверхности, а в глубинах человеческих душ и сердец, такие люди выступают вперед, и их скромная сила становится явной.

В бою с завоевателями горсти окруженных красноармейцев, людей, для которых в грозный час единственной действительностью стало простое в жизни добро мирных, трудовых людей и ополчившееся на это добро кровавое зло поработителей, для людей, ответственных в этом простом и главном перед своей собственной совестью, Вавилов стал человеком не менее сильным, чем сам командующий армией.

Вавилову и в мирные времена приходилось в работе становиться старшим, приказывать, указывать и советовать; случалось это и на пахоте целины, и в лесу, когда артель лесорубов валила сосновые стволы, и в ветреный осенний день, когда отбивали от огня горевшую деревню.

Само собой получалось, что бойцы стали оглядываться на него, а потом лепиться к нему. Никто не таил сухарей в карманах и воды в баклажках, когда он велел поделить их.

Вавилов разбил красноармейцев на группы, и так как он знал слабость и силу людей, с которыми вместе шагал и ел хлеб, людей, не таивших от него ни своей силы, ни слабости, он безошибочно поставил вперед тех, кому надлежало по праву быть старшим.

Он еще больше сузил, сжал круг обороны и посадил людей там, где стены прикрытия были особенно толсты и откуда видней всего были немцы.

Сам он остался с Резчиковым, Усуровым, Мулярчуком и Рысьевым в центре обороны и выбежал на поддержку к тем, на кого немцы оказывали главный нажим.

Он оставил резерв патронов, дисков, гранат и запалов, посадил пулеметные расчеты за толстым бетонированным брандмауэром, который прошибало лишь самым тяжелым снарядом.

За эти короткие дни красноармейцы постигли жестокую мудрость городского боя, они поняли смысл штурмовой боевой артели, как понимали трудовую артель, определили размеры ее и закон ее силы. Сила была в каждом отдельном бойце, но отдельная сила имела значение лишь в артельности бойцов.

Люди взвесили и измерили ценность своего оружия и на первом месте утвердили ручную гранату «Ф-1», автомат, ротный пулемет. Они узнали боевую силу саперной лопатки.

Резчиков, ставший на марше мрачным и унылым, сейчас, непонятно отчего, снова ободрился. Рассудительный и ни разу не поддержавший похабного разговора Зайченков проявил злое, безрассудное озорство и матерился после каждого слова. Усуров, готовый поскандалить по любому поводу, жадный до еды и до предметов, стал покладистым, щедрым, отдал половину табака и хлебный паек Рысьеву. Но особо резко, казалось, изменился Мулярчук. Квельый и, как многим представлялось, бестолковый человек стал неузнаваем. Даже лицо его изменилось, морщины на лбу, придававшие ему выражение недоумения, залегли сердитой складкой, поднятые белые брови стянулись к переносице, потемнели от пыли и копоти. Дважды зажал его в окопе немецкий танк, дважды выполз он из окопа и с немислимо короткого расстояния сокрушил врага фугасной противотанковой гранатой.

Некоторые из тех, кто, скупясь, берег от других свое духовное достояние, щедро стали раздавать его. А из тех, кто жил щедро, весело, бездумно, некоторые вдруг заскупились, задумались, нахмурились.

Но Вавилов остался таким же, каким был, каким его знали жена, родичи, соседи, каким сидел он после работы в избе, макая хлеб в кружку с молоком, каким был он на работе в поле, в лесу, в дороге.

Война научает различать законы поведения человека. Слабые духом, обманывая других, но прежде всего самих себя, умеют в тихие времена казаться душевно наполненными и сильными. В трудный час войны такие люди неожиданно не только для других, но и для себя обнаруживают свою немощь. Вторые — это люди не всегда удачливые, застенчивые, тихие, их считают слабыми, и они ошибочно сами верят в свою слабость, такие чаще всего преодолевают и сбрасывают в тяжелый час свою мнимую слабость, показывая настоящую силу. О таких людях на войне говорят: «Кто бы мог подумать...» И наконец, третьи — высокая духовная порода, это люди, чей облик остается неизменным в часы величайших испытаний; их спокойные голоса, их суровость и дружелюбие, ясность их мысли, маленькие привычки и главные законы их духа, улыбка, движения остаются такими же в грозу, какими были в дни покоя.

Ночью сон оглушил людей. Они засыпали во время разговора, под выстрелы и разрывы.

В два часа в полной темноте началось совсем новое, страшное и незнакомое, — ночная атака.

Немцы не жгли ракет. Они ползли со всех четырех сторон. Всю ночь шла резня. Не стало видно звезд, их закрыло облаками, и казалось, тьма пришла, чтобы люди не глядели в остервенелые глаза друг другу.

Все пошло в ход: ножи, и лопаты, и кирпич, и кованые каблуки сапог.

В темноте раздавались вскрики, хрип, пушечные выстрелы, одиночные удары винтовок, короткое карканье автоматов.

Немцы ползли кучами, давили тяжестью: всюду, где начинался шум, драка, они появлялись десятками против одного или двух, во мраке били ножами, кулаком, подбирались к горлу. Их охватило остервенение.

Они осторожно перекликались между собой, но тотчас по немецкому голосу ударял выстрел скрывавшегося в развалинах красноармейца. Едва пытались они осветить условным зеленым либо красным светом электрического фонарика, как быстрые вспышки выстрелов заставляли их гасить огонь, прижиматься к земле. А через минуту вновь возникала возня, тяжелое дыхание, скрежет металла.

Но, видимо, у немцев был план, они не ползли кто куда.

Постепенно все сужался круг обороны, и там, где недавно еще лежали в боевом охранении красноармейцы, становилось совсем тихо, затем ухо ловило чужой шепот, воровато перемаргивались зеленые и красные огоньки. А вскоре в новом месте раздавался злой, отчаянный крик, шумел камень, ударял выстрел. А через минуту уже на новом месте быстро мелькал зеленый свет тайного фонарика...

Мелькнула желтая зарница, одиноко ударила ручная граната, поднялось смятение, пронзительно залился командирский свисток, потом сразу стало тихо, и снова мелькнул зеленый огонек, а ему подмигнул на секунду красный и погас... Стало совершенно тихо, и опять мелькнуло красно-желтое пламя, точно кто-то на миг открыл дверь деревенской кузницы и вновь захлопнул ее, ударила граната, и голос протяжно затаил: «А-а...» — и вдруг живой крик оборвался, бултыхнул в тишину. И еще ближе мелькнул настороженный зеленый свет...

Все, кто издали прислушивался к звукам ночного побоища, поняли, что борьбе батальона подходил конец.

Но на вокзале еще слышался шепот русской речи, и несколько человек бесшумно укладывали камни, приращивали стены, готовились на рассвете продолжать бой.

Место, где лежали красноармейцы, было окружено ямами и воронками. Во мраке к ним нельзя было добраться.

Рысьев лежал на боку и, шумно дыша, шептал привалившимся к нему товарищам:

— Как волка, окружили, еле вырвался, только подранили, ничего — в левое плечо... а Додонов к немцам уполз, я слышал.

— Может быть, убили? — спросил Резчиков.

— Не убили, я все проверил, автомат оставил, гранаты с себя сложил, а самого нет,— проститутка!

Он в темноте нащупал руку Вавилова и сказал:

— С вами хорошо, вы верные люди...

— Не бойся... не оставим,— сказал Резчиков.

— Вот, вот, меня раненого не оставьте...

Голова у Рысьева кружилась от потери крови, минутами он забывался, бормотал, потом

затих.

— Вера, пойдй сюда,— спокойным ясным голосом позвал он и добавил после молчания: — Ну, чего ждешь?

Его удивило, что жена замешкалась, не сразу подошла к нему. Он долго молчал, потом в воспаленном мозгу его возникла новая мысль: «Семёныч... Пётр... ты как считаешь, скоро второй фронт откроется?»

— Молчи, молчи, тише,— сказал Вавилов.

— Я спрашиваю: откроют фронт? — сердито зашептал Рысьев и закричал во весь голос: — Не слышно? Эй, я вас спрашиваю: вас не касается? Или не видите?

Резчиков зажал ему рот ладонью:

— Брось, дурак!

— Оставь, оставь, оставь...— задыхаясь, отбиваясь от него, бормотал Рысьев.

Но услышали его немцы. Несколько светящихся кровью очередей провыли над головами, послышалась тревожная переключка немцев, они звали друг друга по именам. Потом стало тихо, видимо, немцы решили, что кричал в бреду умирающий. Да так оно и было.

— Кто? — резко спросил Вавилов и поднял голову.

В темноте зашуршал обваливающийся камень — полз человек.

— Я-я-я,— быстро проговорил голос Усурова,— живы, а я думал, немцы кончают вас,— и попросил: — Дайте покурить!

— Прикройся шинелью, покуришь,— сказал Вавилов. Усуров лег рядом с Рысьевым и долго натягивал на голову шинель, сопел, отхаркивался.

— Как я их в темноте признаю?? — недоумеая, сказал Усуров, высовывая голову из-под шинели. Видимо, потребность говорить с товарищами была сильнее, чем желание курить. Он погасил папироску, быстрым шепотом заговорил: — Ползет он, а я чую, не по-нашему словно, и шум от него какой-то не тот, как от зверя, я стрелять боялся, я руками.

Мулярчук складывал стены, работал молча, быстро.

— Силен ты камни класть,— шепнул Резчиков, ему не хотелось прислушиваться к страшным словам Усурова.

— Так я ж печником был,— ответил Мулярчук.— Кладу и вспомнил: вот жизнь была, отработал — и домой; в районном центре, печником.

— Тихо стало,— сказал Вавилов,— теперь уж, видно, до рассвета. Ребята, только не шумите.

— Женатый? — строго спросил Усуров у Мулярчука.

— Не, я у матери жил, в Полонном, в районном центре,— ответил Мулярчук, радуясь, что интересуются им, и торопливо добавил: — У меня мать хорошая. И я до нее добрый был, все ей отдавал. Но уж она беспокоилась: чуть собрание или чуть задержусь — встречать шла. Я горилки не пил и с девчатами не ходил. Я в районном коммунхозе печником был.

— А я вдовый был, и детей не было,— сказал Резчиков, тоже, как и Мулярчук, говоря о себе в

прошедшем времени.— О, брат, водочку я любил, как собачка молочко, и от женщин обиды мне не было.

— Слушайте,— сказал Усуров,— я вас вот что прошу. Часик до свету посидим. Мы отсюда никуда, а утром к нам полк пробьется — увидите, пробьется!

Мулярчук отдельно, чтобы запомнили, сказал:

— Мою мать звали Мария Григорьевна, а меня Микола Мефодьевич.

Охваченный беспокойством, что товарищи так и не поймут и никогда уж не узнают, если он не расскажет, как летом красиво в районном центре Полонном, и какие кругом сахарные заводы, и какой хорошей женщиной и умелой портнихой была его мать,— Мулярчук, смешивая русские и украинские слова, рассказывал:

— Моя маты усе могла пошить, но больше для силянства шила, пиджак, чи фуфайку дядьки зимой носят, сачки — на зиму бабы одивають, и корсет — така кофта без рукав, и лыштву — юбка вышита, на свято ее носят, и спидныцю [53], и жакетик легкий, она все умеет... а я по печному дилу — и пичь, и грубу — по-вашему подтопок, и припечек — лежанку, и в Полонном, и в Ямполи, и по селам, восемь рокив робыв, я считался добрый печник.

Вавилов спокойно, не боясь немцев, зажег спичку, прикурнул, и все увидели, как по грязным щекам его текут две черные слезы.

— Ты рассказывай, Мулярчук, рассказывай,— сказал он,— я тоже хотел на то лето у себя печь переложить.

Усуров наклонился прикурить, и огонек осветил его огромные ладони.

— Ранен в руки, что ли?

— Это не моя кровь, я двоих лопатой порубал. Пока ползал,— ответил Усуров и всхлипнул.— До чего осатанели, а? — с жалостью к себе, изумляясь, сказал он и тяжело задышал, прислушался.— Притих Рысьев,— сказал снова Усуров,— не дышит.— Он встал, потом снова сел, стал оглядываться.— Небо как шуба, так в июле в Самарканде не бывает.— Он тревожно тронул Резчикова.— Не спи, не спи, хоть посиди.

— Ты не томись, Усуров,— сказал Вавилов,— не такие, как мы, умирали. Дома побывать хоть минуточку... А там что, там сон...

— Шоколад дочке передать,— усмехнулся Резчиков.

Над Волгой поднялась советская ракета. Она вызревала, словно пшеничный колос, стала восковой, молочно-белой, пожелтела, поникла, поблекла, осыпалась... И после этого ночь сделалась еще черней.

До рассвета люди молчали, редко-редко перебрасывались словом. О чем думали они? Дремали? Потом, насторожившись, они жадно, покорно и тревожно наблюдали, как в тишине из тьмы, равно наполнившей небо и землю, рождался свет.

Земля вокруг стала слитно-черной, а все еще темное небо отделилось от нее, словно земля оттянула немного тьмы от неба, и тьма оседала бесшумными хлопьями, отслаивалась книзу. В мире уже была не одна тьма, а две: ровная спокойная тьма неба и исступленный, густой мрак земли.

А потом небо словно тронуло теплом [54], оно чуть-чуть посветлело, а земля все наливалась мраком. Ровная черта, отделявшая небо от земли, стала ломаться, терять прямизну, стали

прочерчиваться отдельные зазубрины, неровности на земной поверхности. Но это еще не был свет на земле, это тьма делалась видимой благодаря посветлевшему небу. А вскоре стали видны облака, и одно из них, самое высокое, самое маленькое, словно вздохнуло, и легкий, едва видимый румянец живого тепла прилил {317} к его бледному холодному личику.

Дремавшие в прибрежных зданиях бойцы 13-й дивизии услышали со стороны вокзала, где засел окруженный батальон, пулеметную очередь, взрывы ручных гранат, крики немцев, пальбу, разрывы мин, гудение танка.

— Ох, ну и народ, до чего крепок,— изумляясь, говорили красноармейцы.

Но никто не видел из прибрежных зданий, как на вокзале над темной ямой поднялся освещенный косым солнечным светом пожилой человек с запавшими щеками, поросшими черной щетиной, занес гранату, оглянулся светлым, внимательным взглядом.

Автоматы жадно, перебивая друг друга, застрочили по нему, а он все стоял в светло-желтом пыльном облаке, и когда не стало его видно, казалось, он не рухнул мертвым кровавым комом, а растворился в пыльной, молочно-желтой, клубящейся в лучах утреннего солнца туманности.

47

До вечера похоронные команды армии Паулюса собирали и складывали на грузовики трупы немецких солдат и офицеров, погибших при взятии вокзала.

На пустынной возвышенности, расположенной на западной окраине Сталинграда, планировщики намечали места для отрытия могил; специализированные отряды подготавливали гробы, кресты, дерн, гальку, кирпич, везли песок для посыпания дорожек на новом кладбище.

Кресты поднимались в строгом равнении, в точной дистанции — могила от могилы, ряд от ряда. А грузовики все шли и шли, пылили, везли тела убитых, гробы, кресты добротной фабричной выделки, сделанные из аккуратных, проваренных в химическом составе, предохраняющем дерево от гниения, стандартных брусьев.

На прямоугольных дощечках отряд маляров выписывал с помощью трафареток черным готическим шрифтом имена, фамилии, звания, дни, месяцы, годы рождения захороненных.

И среди сотен различных дат рождения, различных имен, фамилий молодых и старых немецких солдат, убитых при штурме вокзала, во всех надмогильных надписях была одна совпадающая дата — дата смерти. * * *

Ленард и Бах бродили среди развалин, разглядывая тела мертвых красноармейцев.

Ленард, любопытствуя, трогал носком ладного сапожка убитых. Где она, в чем она скрыта, тайная причина, породившая ужасное, мрачное упорство этих ныне мертвых людей? Они лежали маленькие, серолицые и желтолицые, в зеленых гимнастерках, грубых ботинках, в черных и зеленых обмотках.

Одни лежали раскинув руки, другие свернулись калачиком и словно поджимали мерзнущие ноги, третьи сидели. Многие были присыпаны камнем и землей. Из одной воронки торчал кирзовый сапог со сбитым каблуком, в другом месте, навалившись грудью на выступ стены, лежал сухонький человек, его маленькая рука сжимала рукоятку гранаты, а череп и лицо были раздроблены — видимо, он поднялся из-за укрытия, чтобы бросить гранату, и в этот момент был убит.

— Смотрите, тут целый склад мертвецов,— сказал Бах,— очевидно, вначале они стаскивали

сюда убитых. Как клуб: одни сидят, другие лежат, а один словно речь произносит.

В другой яме, оборудованной наподобие блиндажа, по-видимому, размещался командный пункт. Офицеры нашли среди раздробленных балок разбитый радиопередатчик и расщепленный зеленый ящик полевого телефона.

Упершись головой в смятый, с погнутым стволом пулемет, лежал убитый командир, рядом с ним лежал второй, с комиссарской звездой на рукаве, у входа, скорчившись, сидел мертвый красноармеец, видимо телефонист.

Ленард брезгливо, двумя пальцами поднял полевую сумку, лежавшую возле комиссара, и велел солдату снять планшет с командира, обнимавшего разбитый пулемет.

— Захватите это, снесите в штаб, пусть посмотрит переводчик,— проговорил он.

Бах сказал:

— Вокруг наших брошенных окопов обычно лежат целые груды газет, иллюстрированных журналов, а тут вокруг окопов ничего этого нет.

— Это глубокое наблюдение,— насмешливо сказал Ленард,— но все же интересно сейчас не это. Здесь явно был командный пункт; судя по виду трупов, эти командиры были ликвидированы в первый день атаки. Выходит, что красноармейцы сами без командиров дрались с таким звериным упорством. А мы их считаем безынициативными...

— Пойдемте,— сказал Бах,— я не выношу этот сладкий запах, после того, как надышусь им, два дня не могу есть мясных консервов.

Поодаль бродили солдаты.

— Да, хорошая штука — солдатская дружба,— сказал Бах,— посмотрите.

Он указал Ленарду, как солдат Штумпфе обнял солдата Ледеке и, шутя, толкает его на труп красноармейца с поднятой скрюченной рукой.

— Вы все же сентиментальный болван,— с внезапным раздражением вдруг сказал Ленард.

— Почему? — спросил пораженный Бах.

Ему казалось, что Ленард посмеивается над тем, что он затеял с ним откровенный и сложный разговор; действительно, надо быть болваном для этого,— с нацистом, эсэсовцем, с человеком, о котором все говорят, как о явном работнике гестапо.

— Почему, я не понимаю вас, разве солдатская дружба плохая вещь? — спросил он снова.

Но Ленард молчал — он ведь не имел права сказать, что этот самый веселый и всеми любимый солдат Штумпфе три дня назад передал ему написанный в полевую жандармерию донос об опасных разговорах, которые ведут его друзья Ледеке и Фогель.

Офицеры ушли, а солдаты продолжали бродить среди развалин.

Ледеке заглянул в полуподвал с проломанным потолком.

— Видимо, здесь был перевязочный пункт,— сказал он.

— Гляди-ка, Ледеке, женщина, это по твоей части,— сказал Фогель.

— Ужасный вид.

— Ничего, сейчас пригонят жителей, они все это закопают.

Ледеке, рассеянно оглядывая мертвые тела, сказал:

— По-моему, искать тут нечего, имущества нет, тут и приличного полотенца или платка не подберешь.

Лишь Штумпфе продолжал трудолюбиво перетряхивать тощие вещевые мешки, сердито отбрасывая сапогом котелки и кружки.

В одном мешке он нашел обернутую в чистую белую тряпочку плитку шоколада, в полевой сумке убитого лейтенанта среди тетрадок, бумажек, писем он обнаружил ножик, зеркальце, довольно приличную бритву. Подумав немного, он все это бросил.

Но под конец его трудолюбие было вознаграждено.

Когда офицеры ушли из командирского блиндажа, Штумпфе забрался туда и нашарил в углу полузасыпанный глиной пакет.

Он даже запел от удовольствия, увидев, что ему достались прелестные, ни разу не надеванные дамские вещи.

— Ребята! — крикнул он. — Поглядите-ка, вот неожиданность! Купальный костюм! Сорочка с кружевами! Шелковые чулки! Флакон духов!

48

Марья Николаевна Вавилова проснулась в пятом часу утра и негромко окликнула дочь:

— Настя, Настя, вставай!

Настя, потягиваясь, терла глаза, потом стала одеваться и расчесывать гребнем волосы, плачущим голосом бормотала:

— Ой, не выспалась я. — И она, нарочно сердито морщась, дергала гребень — от этого проходил сон.

Марья Николаевна нарезала хлеба для спавшего на постели Вани, налила в кружку молока, прикрыла все это полотенцем, чтобы кошка не позавтракала раньше, чем сын проснется. Потом припрятала в сундук спички, хлебный нож, шило — все опасные предметы, к которым Ваня в свои одинокие утра проявлял особый интерес, погрозила кошке пальцем, выжидающе поглядела на допивавшую молоко Настю.

— Пошли, что ли, — проговорила она.

— О господи, — со вздохом, по-старушечьи раздраженно сказала Настя, — хоть хлеб дайте дожевать. Стали вы бригадиром, так прямо спасения от вас нет.

Марья Николаевна подошла к двери, окинула взглядом комнату, вернулась, открыла сундук и, вынув оттуда кусок сахара, положила его под полотенце, где лежал приготовленный для Вани завтрак.

— Ну, чего надулась? — сказала она дочери, не поглядев на нее, но уж зная, что Настя обиделась. — Ты-то не маленькая, обойдешься.

Когда они вышли во двор, Марья Николаевна, глядя на дорогу, негромко проговорила:

— Полгода сегодня, как отец наш ушел.

Настя, видимо поняв ход материнских мыслей, сказала:

— Да я разве жалею сахар для Вани, пусть ест, мне-то что, я сахара и не люблю совсем.

Хорошо шагать после душной избы по непыльной, смоченной холодной росой дороге, поглядывать на милые с детства картины, разминая в ходьбе вчерашнюю затаившуюся в теле усталость, растворяя в ходьбе не прошедший еще сон.

Как хороша была густая, подвижная, шелковистая зелень озимой пшеницы, освещенная косыми лучами раннего сентябрьского солнца; она шевелилась от прохладного восточного ветра, и казалось, это огромное живое и молодое существо легонько дышало, проверяя свою силу, радуясь жизни, свету, незлой прохладе воздуха. Нежные перья всходов пропускали через себя косые солнечные лучи и становились полупрозрачными. Зеленоватый свет переливался и мерцал над всем полем...

Сколько нежной, ребячьей, несмелой прелести было в каждом верхковом растении и какая упрямая, могучая сила чувствовалась в беловатом, толстом, прямом, стрелкой брошенном стебельке, сколько тяжелой, черной работы проделали они, чтобы пробиться сквозь землю, раздвинуть зеленым плечиком комья земли, для них подобные тяжелым глыбам гранита.

И в утренней зеленой прелести озими, в ее промытой чистоте, в ее ребячьей молодости все казалось противоположно печали осенних полей, побуревшей траве, поблекшим красным и желтым листьям осин и берез, эта сияющая пронзительная зелень была единственно молодой, начинающей жизнь в увядающем осеннем мире прохладного воздуха, безжизненных, седых нитей бабьего лета, холодных, таящих в себе рассыпчатую белизну снега облачков, кое-где плывущих в голубой пустоте небосвода. Разве могла с ее молодостью сравниться задымленная, пыльная зелень угрюмых старых елей, протянувших над проселком свои тяжелые ветви-ласты?

И все же эта сентябрьская озимь, дружно и широко взошедшая на поле, чем-то да отличалась от беспечной молодости цветущих весенних садов и лугов. В ее плотном строе, в ее тугой густоте была не только веселая молодость, была готовность вскоре, еще не повзрослев, встретить суровость зимних метелей, была настороженность, серьезность.

В этой сомкнутой, упругой, плечо к плечу стоявшей дружине ощущалась приготовленность к трудной судьбе, крепкая силенка. И когда зазевавшееся облачко набежало на солнце и широкая тень бесшумно поплыла по скошенным и нескошенным полям и вдруг пошла по озимым всходам, они стали не то что темно-зелеными, а почти черными, хмурыми, и вся их серьезная, настороженная сила сделалась особо очевидна.

А люди, работавшие в этот ранний час в поле, ощущали не только пустоту осеннего пространства и прохладу ветра, вещающую близость зимы,— они ощущали и печаль военной поры.

Девушки-подростки, женщины и старухи, повязанные платочками, жали серпами пшеницу, а по соседству на сжатом уже поле старики укладывали просохшие снопы на подводы, покрикивали на помогавших им мальчишек...

Казалось, миром и покоем была полна эта картина уборки хлеба под нежарким утренним солнцем, под ясным простором осеннего неба.

Привычно шумела на гумне молотилка, негромко шуршало дышащее холодком скользкое веское зерно, оживленно выглядели потные лица девушек, такими знакомыми и обычными были и серо-голубой пыльный туман, и душный, сухой запах, шедший от нагретых снопов, и перламутровый блеск легчайших соломенных чешуек, вившихся в воздухе, и хруст соломы под ногами...

Но Марья Николаевна Вавилова видела, чувствовала, знала, что все в этой казавшейся мирной картине дышало войной. Женщины в мужских сапогах, старик в солдатских штанах и старой гимнастерке, этот четырнадцатилетний подросток в выцветшей пилотке с тенью звездочки, обозначенной на не обгоревшей от солнца и мороза материи, два малыша в штанишках со шлейками, пошитых из старых маскировочных халатов в оливковых и черно-коричневых овалах,— все это была солдатская родня: жены, матери и сестры, отцы и дети солдат. Эта одежда словно была знаком той постоянной связи, что продолжалась между народом в деревнях и народом на войне.

Ведь так же в мирное время жена надевала иногда мужнин пиджак, а сын — отцовские валенки, и ныне народ, ставший на работу войны, нет-нет да и делился своей одеждой с семьей, когда на смену старому, поношенному получал новое обмундирование.

И если б не война, разве было бы в поле и на молотье столько стариков и старух, многим из них уж давно пора отдыхать. И разве б работали пареньки и девчонки, которым в эту пору надо сидеть за партой в шестых и седьмых классах,— это война отсрочила им на месяц начало школьных занятий... Не слышно гудения тракторов. Где грузовики, обычно выходившие в эту пору в поле? Ушли грузовики и тракторы на войну...

И разве вместо лихого слесаря, механика Васи Белова, служившего теперь башенным стрелком, стояла бы сейчас у молотилки семнадцатилетняя сестра его Клава, с тоненькой шейкой ребенка, с неуверенными, коричневыми от машинного масла пальцами. Вот нахмурилась она и крикнула своему помощнику, седоусому старику Козлову:

— Дай-ка ключ, заснул, что ли...

И разве не потому, что война, Дегтярева, та, что стояла часами у ворот, все ждала писем от мужа и сыновей, разогнула сейчас спину, отерла потный лоб, поглядела с тоской на сжатые колосья, бессильно и густо лежащие на земле?

Плачь, плачь, Дегтярева, есть тебе о ком плакать.

Думала ли Марья Николаевна, что придется ей в эти полгода, что прошли со дня ухода мужа на войну, принять на свои плечи такую большую заботу?

Сегодня, в это ясное осеннее утро, представилось ей, вспомнилось прошедшее время.

Уходил муж на войну, и в этот час сердце ее было полно тоски, представлялась жизнь без хозяина в доме, мучила тревога: что ж с детьми, прокормлю ли, сумею ли...

А случилось, что не за одну свою семью, не за свою избу и дрова для своей печи приняла она ответ...

С чего началось? То ли с собрания, когда она первый раз в жизни заговорила перед десятками людей и все слушали ее, и она с внезапно пришедшей уверенностью и спокойствием, следя за выражением лиц, проверяла правду и вес своих слов.

То ли началось это в поле, где она жестоко, медленно произнося слова, отчитала председателя, пришедшего навести критику на работу женской бригады.

Конечно, трудно, очень трудно было, но и себя она не жалела в работе — не найдется человека, который мог бы ее упрекнуть.

Старик Козлов подошел к ней и сказал насмешливо:

— Видишь, Вавилова, бригадир-бомбардир, были бы наши сыновья да младшие братья, были бы шофера да механики, тракторы да грузовики — к Покрову бы закончили и уборку, и

обмолот. А в вашей бабьей конторе шуму много, а что толку? Снег пойдет, а вы все еще жать да молотить будете.

Марья Николаевна оглядела узкоглазого, кадыкастого Козлова, хотела сказать ему грубое слово, но сдержалась,— он ведь сердился оттого, что приходится ему работать подручным у девчонки; ведь и старуха жена вечером, стоя у ворот, встречает его насмешливо:

— Что, Клашкин кочегар, домой пришел, отпустил тебя механик?

А когда однажды он стал придирается к жене и внукам, младшая девочка, косоглазая Люба, сказала ему обиженным басом:

— Ты, дедушка, не очень, а то мы Клаше на тебя пожалуемся.

И, подумав об этом всем, Марья Николаевна усмехнулась, негромко ответила:

— Что смогли, то сделали, больше не сумели.

А ведь сумели много. Вышел в горячее время из строя трактор, тракториста забрали в армию, прислали другого, раненого, он стал ремонтировать мотор, неловко повернул блок, понатужился излишне, у него открылась рана,— ну что ж, вспашку не остановили, пахали на коровах, а были дни — сами плуг таскали на себе.

Вот стоит озимая пшеница, засеяли, не пустует земля. Что ж, надо продолжать работу, а то и в самом деле снег ляжет на необмолоченный хлеб.

Привычной рукой захватывала Вавилова пшеницу, сжимала хрустящие стебли, пригибала их, гнула на серп, подрезала, кладя на землю. Ее быстрые, одновременно скупые и щедрые, размеренные движения объединялись, сливались с шершавым шорохом зажатых в руке колосьев, и в голове, словно сопровождая этот однотонный печальный звук, все повторялась и повторялась одна и та же мысль: «Ты сеял, а я вот жну, что ты посеял... ты сеял, ты, а я твой урожай собираю, ты посеял, ты...» И какая-то тихая печаль возникала в душе от ощущения связи, объединявшей ее с человеком, пахавшим это поле, сеявшим эту пшеницу, шурша ложившуюся под ее серпом на землю...

«Вернется ли? Вот Алеша ведь долго не писал, а теперь присылает письма — жив, слава богу, здоров. Будет и от Петра письмо. Вернется! Вернется он!»

Пшеница зашумела, зашептала, затревожилась и опять притихла, ждет, задумалась.

А серп позванивает, шуршат колосья...

Солнце уже поднялось, припекает по-летнему затылок и шею... Даже под кофтой плечи чувствуют его тепло. Тоненьким сверлящим голосом зазвенела быстрая осенняя муха.

«Что ж, придешь — спросишь. Я работала, со здоровьем не считалась. Настю и ту не пожалела, никто не скажет, плакала даже, бедная, в другую бригаду просилась... С тобой честно жили и без тебя по-честному — я в глаза тебе прямо посмотрю...»

Серп тихонько позванивает, и искорка радости в душе вдруг разгорается, обжигает надеждой, верой в счастливую встречу.

И снова под шелест колосьев, зажатых в руке и падающих на землю, повторяется мысль: «Ты ведь, ты это поле засеял...»

Марья Николаевна, не разгибаясь, из-под руки поглядела на зеленевшую вдали озимь: «Вот придешь, будешь косить то, что я сеяла». И вера в эту простую, естественную, прочную,

прочней, чем жизнь и смерть, связь заполнила ее всю. Кажется, жала бы так до вечера, не разогнувшись, и не почувствовала бы, что болит поясница, ломит плечи, в висках стучит кровь.

Кругом белеют платочки жней, поотстали от нее, вровень с ней только Дегтярева идет.

Ох, Дегтярева, Дегтярева, трудно тебе...

Вдруг ударил холодный ветер, снова зашумела, загудела пшеница, пригибаясь, заметались колосья, словно охваченные ужасом и тоской.

Она распрямилась, поглядела кругом — на сжатые и несжатые поля, на темневший вдали широкой полосой лес... Пронзительный серо-синий простор воздуха был прозрачен и холоден, и красота освещенных ярким солнцем полей и рощ не радовала душу теплом и покоем.

49

Люди филишкинского батальона уже никому не встретятся в жизни, все они погибли.

Погибшие люди — имена большинства их забыты — продолжали жить во время сталинградских боев.

Они были одними из основателей сталинградской традиции, той, что передавалась без слов, от души к душе.

Трое суток слушали полки грохот битвы на вокзале, этот угрюмый гул сказал солдатам правду предстоящего.

И когда, долгие недели спустя, люди из пополнения переправлялись ночью через Волгу, числом, а не по списку, тут же на берегу распределялись по полкам и иногда этой же ночью погибали в бою, они в короткие свои сталинградские часы знали не меньше Хрущёва, Ерёменко, Чуйкова о законах Сталинграда и сражались по строгому, никем не писанному закону, который вызрел в народном сознании и был провозглашен в сентябре погибшими на вокзале людьми.

50

Командир полка Елин донес Родимцеву, что его батальон трое суток дрался в окружении, не отступил ни на шаг и погиб весь до последнего человека.

Елин не заметил, что в первом донесении три дня назад он назвал батальон «приданным накануне подразделением из хозяйства Матюшина», а в донесении о стойком сопротивлении и героической гибели батальона трижды написал «мой батальон».

За эти дни в город переправилась дивизия полковника Горишного и стала на правом фланге у Родимцева. Один из полков Родимцева был передан Горишному и участвовал в атаке его дивизии на высоту 102 — Мамаев Курган.

Сперва действия этого полка не были удачны, он нес потери и не продвигался вперед, и Горишный сердился на его командира и говорил, что полк недостаточно подготовлен к наступательным боям в сложных городских условиях.

— Вечная беда: передадут в последнюю минуту полк — и отвечай за него, — сказал Горишному его начальник штаба.

Горишный — высокий, полнотелый человек с протяжным украинским выговором, спокойный и

медлительный, снедаемый тоской по пропавшим без вести родным,— в этот же день говорил начальнику штаба:

— Разве с полком на эту высоту вот так лезть, тут не полком, а корпусом не прорвать, такое пекло.

А в трубе, где размещался штаб Родимцева, начальник штаба Бельский сказал своему командиру:

— Потери большие в полку у Горишного, и с артиллерией взаимодействия не наладил.

Но в штабах обеих дивизий не знали, что именно в эту минуту полк под ураганным огнем поднялся в атаку и вырвался на гребень высоты 102.

В ту пору мало кого занимал вопрос о подчиненных или переподчиненных подразделениях и какими подразделениями, переподчиненными или подчиненными, был достигнут успех.

Да и сам спор честолюбий занимал ничтожное место во вскипевшем по несколько раз в сутки огромном котле Сталинградской битвы.

Этот котел поглощал все душевные силы командиров дивизий и полков, всю их волю, все их время, весь их разум, а часто и жизнь.

И лишь потом, в конце ноября — в начале декабря, когда всепоглощающее напряжение душевных сил несколько прошло, стали за обедом и ужином судить да рядить, кому досталось больше немецкого железа и огня, чей рубеж был важнее, кто отступил на метр, а кто не отступил ни на метр, чей отрезанный «пяточок» был меньше, гороховский или людниковский, кому и на какой срок был переподчинен или подчинен тот или иной полк, батальон.

Вспоминали и о первых атаках на высоту 102 и заспорили, кто в сентябре занял знаменитый курган.

В родимцевской дивизии справедливо считали, что успех достался родимцевскому полку.

Соседи резонно считали, что высоту 102 заняла дивизия Горишного, которой в этот час был переподчинен полк 13-й гвардейской дивизии.

Но тем, кто занял Мамаев Курган, и без спора было ясно, они-то и заняли, ведь, кроме них, и не было никого на гребне высоты. Молчали мертвые, а их было немало, и каждый из них мог бы сказать слово в этом споре. Но спорщики делили славу между живыми.

Часто, особенно после войны, приходилось слышать еще один спор участников Сталинградского сражения. Те, кто был в городе, утверждали, что главный успех обороны достигнут штурмовой пехотой, гранатометчиками, пулеметчиками, снайперами, саперами и минометчиками. Артиллерия, конечно, поддерживала их, говорили они, но случалось, запаздывала, била не всегда точно, а иногда даже накрывала своих, не она решила исход обороны.

Те, кто был в Заволжье, утверждали, что пехота при всем своем мужестве не смогла бы отбить чудовищный натиск главных сил немецкой армии, что особенно к концу обороны пехота истощилась и лишь обозначала передний край, а натиск фашистских дивизий был остановлен и отбит мощью организованной артиллерии.

Волга, легшая между пехотой Сталинграда и артиллерией Заволжья, Волга, отделившая резкой и глубокой чертой пехоту от пушек, создала мнимую значительность этого спора. Он возникал и на других этапах войны, но там отсутствие резкой черты не давало возможности

прочно обосновать его. Здесь, по одну сторону широкой реки, находилась пехота, снайперы, автоматчики, пэтээровцы, легкая полковая артиллерия, батальонные и ротные минометы, саперы с минами и толлом; по другую сторону реки находились сотни дивизионных пушек, гаубицы, тяжелая и тяжелейшая артиллерия резерва Главного Командования, дивизионы и полки тяжелых минометов, полки сокрушительной реактивной артиллерии.

Здесь вырос левобережный огнедышащий город, сведенный в дивизионы, полки, дивизии, армейские и фронтовые артиллерийские группы, здесь орудия стояли так густо, что командиры батарей спорили между собой из-за места среди лозняка, из-за нескольких аршин песчаной земли.

Здесь вырос стальной лес зенитной артиллерии. Здесь в заводах маскировались бронированные суда волжской военной флотилии, вооруженные морскими орудиями.

Здесь возникли аэродромы истребительной авиации, и сотни «Яков», «ЛАГов» устремлялись отсюда через Волгу. Отсюда летали на бомбежки немецких тылов и коммуникаций «петля-ковы» и, ревя, поднимались в ночное небо тяжеловесные «ТБ-3».

Именно здесь была достигнута поразительная концентрация и централизация всей мощной техники современной войны. Здесь после радиодонесения о начавшейся атаке немецких дивизий по короткому молниеносному приказу командования «огонь по указанному квадрату» весь огнедышащий город в течение нескольких секунд оживал и рушил тысячи снарядов на квадрат, обозначенный одним и тем же номером на картах командиров артиллерийских, минометных и эрзовских полков, поднимал на воздух и вдальблывал в землю все живое и неживое, что находилось на этом участке.

Волга не разъединяла оба крыла великого сражения. Зримость резкой и глубокой черты была кажущейся, это не была разделительная черта, а, наоборот, линия спайки. Волга не разъединяла, а соединяла терпение и мужество правого берега с артиллерийской мощью левого.

Не будь мужества пехоты, напрасна была бы чудовищная сила артиллерии на левом берегу. Артиллерия смогла проявить всю свою мощь, всю быстроту сосредоточения своего огня оттого, что пехота держалась в городе.

Но бесспорно и то, что пехота смогла держаться потому, что щит артиллерии заслонял ее во время атак немецких пехотных и танковых дивизий. Без заволжской поддержки борьба сталинградских дивизий привела бы их к трагической гибели, ибо и при отсутствии этой поддержки они бы не захотели отступить. Главная суть этих боев и была в том, что боевая, духовная сила сталинградской пехоты слилась воедино с возросшей материальной мощью.

51

В середине сентября немцы подвергли артиллерийскому обстрелу СталГРЭС.

Это произошло в часы работы станции — в прозрачном воздухе ясно были видны белые клубы пара над котельной и дымок, поднимавшийся из трубы.

Когда первые снаряды из 103-миллиметровых орудий стали рваться на станционном дворе, в градирнях, а один из снарядов прошиб стену машинного зала, из котельной запросили, следует ли прекращать работу. Директор СталГРЭСа Спиридонов, находившийся в это время у главного щита, приказал продолжать подачу мазута. Станция обслуживала ток Бекетовку, командный пункт и узел связи 64-й армии, производила зарядку аккумуляторов, снабжала энергией фронтовые рации, да, кроме того, ток нужен был для ремонта танков и «катюш», налаженного в мастерских СталГРЭСа.

Одновременно Спиридонов позвонил дочери в здание конторы и сказал ей:

— Вера, немедленно отправляйся в подземное убежище.

Вера голосом, очень напоминавшим директорский голос отца, ответила:

— Глупости, никуда я не отправлюсь,— и добавила: — Суп скоро сварится, приходи обедать.

В этот день начался удивлявший даже сталинградских военных турнир упорства и мужества, затеянный инженерами и рабочими СталГРЭСа против немецкой артиллерии и немецкой бомбардировочной авиации.

Едва над трубами СталГРЭСа появлялся дымок — немецкие батареи открывали огонь. Снаряды крушили капитальные стены, иногда осколки со свистом летали по машинному и турбинному залам. Выбитые стекла дробились на каменном полу, а упрямый дымок, подрагивая, вился над станцией, точно посмеиваясь над немецкими орудиями. Правда, люди на станции не смеялись, смешно им не было, но все же изо дня в день рабочие упрямо и трудолюбиво поднимали давление в котлах, зная, что этим они вызывают на себя огонь немецких тяжелых батарей. Иногда рабочие, стоя у топок, у штурвалов, у распределительных щитов и у устройств, регулирующих уровень воды в котлах, видели, как на гребне окрестных холмов появлялись немецкие танки, двигаясь в сторону Обыдинской церкви. Бывали минуты, когда казалось, вот-вот танки прорвутся к СталГРЭСу, и тогда директор отдавал приказ держать наготове «ящики с туалетным мылом» — так окрестили электрики запасы тола, которым были заминированы главные агрегаты. Эти ящики испортили много крови тем, кто вспоминал о них в часы артиллерийских налетов: вдруг угодит снаряд, ворон костей не соберет!

Семьи инженеров и рабочих, оставшихся на СталГРЭСе, уехали за Волгу, и все люди, обслуживающие станцию, жили не на своих квартирах, а при станции, на военном положении. Это объединение привычного труда с холостой, солдатской жизнью, это соединение давно знакомых людей, знавших друг друга по цехам, по производственным совещаниям, партийным собраниям, заседаниям завкома, в новой, грозной, боевой обстановке,— соединение людей мирного труда под завывание немецких самолетов и разрывы немецких снарядов по-новому повернуло отношения и душевные связи.

Каждый человек, какое бы незаметное место он ни занимал, стал в новой обстановке необычайно значителен для всех других людей, интерес к человеку не ограничивался работой, а расширялся, усложнялся, охватил десятки скрытых в обычных производственных отношениях особенностей характера.

В Сталинграде, где выяснилось, как хрупко и непрочно бытие человека, ценность человеческой личности обрисовалась во всей своей мощи.

Дружество и братское равенство, внимательная почтительность человека к человеку сказывались и проявлялись во многом — и в мелочах, и в главном.

Парторг ЦК Николаев понимал ответственность, легшую на его плечи. Но именно в эти раскаленные, трагические сентябрьские дни парторг ЦК мог с особым интересом говорить о том, что инженеру Капустинскому, больному язвой желудка, не следовало бы курить натоцкак; что монтер Суслов много пережил в жизни тяжелого и что у него душа глубокая и добрая; что рядовой военизированной охраны Голидзе — человек вспыльчивый, но веселый и отзывчивый, внимательный товарищ; что техник Парамонов, дежуривший на третьем этаже, хорошо знает художественную литературу и что ему следовало, может быть, учиться в гуманитарном вузе, а не заниматься трансформаторами; что у бухгалтера Касаткина несчастно сложилась личная жизнь и это наложило отпечаток на его рассуждения о семье и браке, а по существу он человек не злой, склонный к шутке и очень любит детей.

Именно в эти дни различие производственных профессий, различие возраста и общественного места, иногда мешающие тесному личному объединению людей, словно исчезли, и все работавшие на СталГРЭСе ощутили главные связи жизни — человеческие связи — и были объединены в одну большую, дружную семью.

Иногда Степану Фёдоровичу казалось: не месяц, а годы прошли со дня гибели жены, столько произошло напряженных событий, изменений, смертей, столько чрезвычайного напряжения душевных сил легло за это время на его душу. Каждый день, каждый час возникали острые, напряженные положения, забывалось все на свете, и казалось, что этот день и есть последний в жизни. А иногда вдруг мысль о жене, как пламя, обжигала его, и он вынимал из кармана фотографию Марии Николаевны и, потрясенный, не понимал, не верил: неужели ее нет в живых, неужели никогда он не увидит ее, неужели навсегда он остался одинок, не будет говорить с ней, советовать, обсуждать поступки дочери, шутить, кипятиться, спешить домой, чтобы увидеть ее, гордиться ее статьями в газете, приносить ей в подарок материю на платье, говорить: «Не сердись, подумаешь, какие траты большие», ходить с ней в театр и ворчать: «Маруся, опять мы опоздаем, придем после третьего звонка».

Здоровье Веры поправилось, следы ожога почти исчезли, только на скуле осталось небольшое розовое пятно, зрение же восстановилось полностью, и лишь при внимательном взгляде заметны были зарубцевавшиеся швы — следы операции в области века.

В эти дни у него установились с Верой особенные отношения, трогавшие и радовавшие его.

Степан Фёдорович не говорил с Верой о том, что он переживает, и она с ним почти никогда не разговаривала о матери, но человек, знавший обоих при жизни Марии Николаевны, сразу бы увидел, что именно в этом изменении отношений между отцом и дочерью и высказаны были их чувства.

Изменение это выразилось прежде всего в том, что Вера, всегда безразличная к домашним делам, насмешливо недоброжелательная к семейным разговорам о здоровье, отдыхе, питании, бытовом устройстве, стала необычайно внимательна и заботлива к отцу. Она постоянно и неотступно следила за тем, сыт ли он, вовремя ли пил чай, спит ли хоть сколько-нибудь ночью, стелила ему постель, готовила воду для умывания. Совершенно исчез у нее тот часто присущий детям по отношению к родителям тон обличительной насмешливости, внутренняя суть которого сводится к такой мысли: «Учить нас вы всегда рады, но вот смотрю — и в вас полно несовершенства, слабостей и грехов...» Теперь, наоборот, она охотно не замечала слабости Степана Фёдоровича и с товарищеской мудростью говорила ему: «А ты выпей, папа, водки, ведь такой тяжелый день был у тебя».

Ей все стало казаться в нем хорошим, замечательным, она гордилась тем, что, несмотря на немецкие обстрелы, он приказывает не прекращать работу станции, а наряду с чертами душевной героической силы она открыла в нем совершенно новые черты — житейской беспомощности.

А Степан Фёдорович, чувствуя заботу и постоянное внимание дочери, незаметно для себя также изменил свое отношение к ней. Еще недавно каждый поступок ее вызывал у него отцовскую тревогу, она казалась ему неразумным ребенком, готовым наделать множество ошибок, ложных шагов. А теперь он относился к ней как к разумной и взрослой женщине — спрашивал ее совета, рассказывал о своих сомнениях и ошибках.

Жили они не в своей просторной квартире, а в маленькой комнатке в полуподвале станционной конторы, где стены были особенно толсты, окна выходили не на запад, откуда били немецкие пушки, а на восток, во внутренний двор электростанции.

Первые дни после пожара Спиридонов поселил Веру в нескольких километрах от станции, в домике одного из сотрудников сталгрэсовской бухгалтерии. Домик стоял в безопасном месте,

почти над самой Волгой, вдали от заводских корпусов и шоссейной дороги. Спиридонов упрашивал дочь не возвращаться на СталГРЭС, но Вера не послушала его. Отец часто возобновлял этот разговор — настаивал, чтобы Вера поехала к тетке в Казань. Эти настойчивые просьбы отца были приятны ей — сладко и больно было вдруг вновь ощутить себя маленькой девочкой безвозвратно ушедшей мирной поры.

Иногда ей самой хотелось поехать в Казань к Людмиле Николаевне — увидеть бабушку, Надю, не слышать пальбы и взрывов, не просыпаться ночью, с ужасом вслушиваясь, не появились ли немцы, но что-то в душе говорило ей: в Казани будет еще тяжелей. Казалось, что, уехав, она покинет погибшую мать, навеки потеряет надежду на встречу с Викторовым — он либо приедет на СталГРЭС, либо напишет письмо, либо с оказией через товарища командира передаст поклон. Когда в небе появлялись советские истребители, сердце Веры замирало — может быть, он?

Она просила отца дать ей работу на станции, но он боялся, что Вера попадет под немецкий обстрел, и все оттягивал.

Она сказала ему, что если он не устроит ее на работу, то она пойдет в санчасть расположенной поблизости дивизии и попросится на передовую, в полковой медпункт, и Степан Фёдорович обещал через день-два определить Веру в один из цехов.

Однажды утром Вера пошла в опустевший дом инженерного персонала, поднялась на третий этаж в свою брошенную квартиру с распахнутыми дверями и выбитыми окнами. Она вошла в комнату Марии Николаевны, присела на остов кровати с металлической сеткой, смотрела на стены, где остались светлые следы от картин, фотографий, ковра. Ей стало так невыносимо тяжело на душе от чувства сиротства, от мыслей о матери, от чувства вины за свою грубость с матерью в последние дни ее жизни, от синего неба, от грохота артиллерии, что она быстро поднялась и побежала вниз.

Вера прошла через площадь к сталгрэсовской проходной, и казалось, отец сейчас выйдет, обнимет ее, скажет: «Вот хорошо, что пришла, тут с оказией письмецо с фронта для тебя прибыло». Но стоявший у входа боец военизированной охраны сказал ей, что директор уехал на машине с каким-то майором в штаб армии. И треугольного письмеца для нее не было...

Она прошла через проходную во двор СталГРЭСа к главному зданию, навстречу шел парторг ЦК Николаев, светловолосый человек в солдатской гимнастерке и рабочей кепке.

— Верочка, Степан Фёдорович еще не приехал? — спросил Николаев.

— Не приехал,— сказала Вера и спросила: — Случилось что-нибудь?

Но Николаев успокоил ее:

— Нет, нет, все в порядке,— и, указав на дымок, поднимавшийся над станцией, наставительно добавил: — Вера, нет дыма без огня, не гуляйте по двору, сейчас немцы стрелять начнут.

— Ну и что ж, пусть, я не боюсь обстрела,— ответила она.

Николаев взял ее под руку и полушутя-полусердито сказал:

— Пойдем, пойдем, в отсутствие директора отцовские обязанности и отцовская ответственность ложатся на меня.— Он повел ее к станционной конторе и у двери остановился, спросил: — Что это у вас на душе, я по глазам вижу, мучит вас.

Она не ответила на его вопрос и проговорила:

— Хочу начать работать.

— Это само собой. Но такие глаза не от отсутствия работы.

— Сергей Афанасьевич, неужели вы не понимаете,— сказала печальным голосом Вера,— вы ведь знаете.

— Знаю, конечно, знаю,— сказал он,— но мне кажется, что не только это. Растерянность, что ли, у вас какая-то?

— Растерянность? — переспросила она.— Вы ошибаетесь, никакой растерянности я не чувствую и никогда не буду чувствовать.

В это время протяжно засвистел снаряд и с восточной стороны станционного двора послышался звенящий звук разрыва.

Николаев поспешно пошел к котельной, а Вера осталась стоять у входа в контору, и ей казалось, что станционный двор во время обстрела весь вдруг изменился. И все в нем: земля, железо, стены цеховых строений — стали такими же, как души людей — напряженными, нахмуренными.

Поздно вечером вернулся Степан Фёдорович.

— Вера! — громко сказал он.— Ты не спишь еще? Я гостя привез к нам дорогого!

Она стремительно выбежала в коридор, ей на мгновение показалось, что рядом с отцом стоит Виктор.

— Здравствуйте, Верочка,— сказал кто-то из полутьмы.

— Здравствуйте,— медленно ответила она, стараясь вспомнить, чей это знакомый голос, и вспомнила: это был Андреев.— Павел Андреевич, заходите, заходите, как я рада! — говорила она, и в голосе ее слышались слезы, столько волнения, разочарования пережила она за это короткое мгновение.

Степан Фёдорович возбужденным голосом стал рассказывать, как встретился с Андреевым,— тот шел от переправы к СталГРЭСу по шоссе, и Спиридонов узнал его, остановил автомобиль.

— Неукротимый старик,— говорил Степан Фёдорович,— ты подумай, Вера. Два дня назад рабочих перевезли с завода на левый берег, под немецким пулеметным огнем переправляли, отправили в Ленинск, а он не поехал, а ведь жена, и внук, и невестка в Ленинске. Пошел пешком до Тумака, сел с бойцами в лодку и снова сюда приехал.

— Работа у вас найдется для меня, Степан Фёдорович? — спросил Андреев.

— Найдется, найдется,— ответил Спиридонов,— приспособим, дела хватит. Вот это старик, и не похудел даже, и выбрит чисто.

— Боец один утром перед переправой брился и меня побрил. Как он вас тут, бомбит?

— Нет, больше артиллерией, как только дымить начнем — и он молотить начинает.

— На заводах жутко бомбит, головы не подынешь.

Андреев смотрел, как Вера ставила на стол чайник, стаканы, и проговорил негромко:

— Хозяйкой у вас стала Верочка.

Спиридонов улыбнулся дочери и сказал:

— Вот все воевал с ней, требовал, чтобы к родным в Казань поехала, но капитулировал, ничего с ней не поделаешь. Дай-ка ножик, я хлеба нарежу.

— Помните, Павел Андреевич, как папа пирог делил? — спросила Вера и подумала: говорил он уже с папой о смерти мамы?

— Ну как же, помню,— кивнул головой Андреев и добавил: — Тут у меня в мешке хлеб белый есть, почерствел, надо его покушать.— Он развязал мешок, положил на стол хлеб и со вздохом сказал: — Довел нас фашист до края, но мы его согнем, Степан Фёдорович.

— Вы снимите ватник, у нас тепло здесь,— сказала Вера.— Знаете, бабушкин дом сгорел дотла.

— Я слышал. И мой домик на второй день налета немец начисто снес, тяжелая бомба прямым попаданием — и деревца сокрушил в саду, и забор снесло... Вот все имущество в мешке, да ничего, голова еще не седая...— Он улыбнулся и добавил: — Хорошо, что Варвару Александровну свою не послушал, она меня уговаривала на завод не ходить, квартиру стеречь, в доме бы меня эта бомба и похоронила.

Вера налила чай в стаканы, придвинула стулья к столу.

— А я ведь про вашего Серёжку слышал,— сказал Андреев.

— Что? Что? — одновременно спросили отец и дочь.

— Как же это я забыл! Раненый один ополченец с завода со мной переправлялся через Волгу — он с моим другом Поляковым, плотником, в минометной батарее вместе воевал, вот я и расспрашивал, кто еще вместе с ними. Он перечислил и назвал, Серёжка Шапошников, городской парнишка он, ваш, словом.

— Ну и что же наш Серёжка? — нетерпеливо спросила Вера.

— Ничего. Жив, здоров. Так про него специально не рассказывал, только сказал: боевой паренек и очень с Поляковым подружился, так что смеялись даже на батарее — старый и малый всегда вместе.

— А где они теперь, где батарея их? — спросил Степан Фёдорович.

— Он рассказывал так: сперва в степи стояли, там первый бой приняли, потом под Мамаевым Курганом, а в последнее время отступили в поселок завода «Баррикады», в доме позицию заняли, прямо из подвалов бьют, стены, говорит, такие в этом доме, что их бомбы не прошибают.

— Ну а Серёжа, Серёжа-то? Как он выглядит, как одет, как настроен, что говорит? — спросила Вера.

— Не знаю, что говорит, а одежда у всех одна, красноармейская.

— Да, конечно, это я глупости спрашиваю, но, значит, совершенно здоров, не ранен, не контужен, ничего?

— Вот это он сказал: жив, здоров, не ранен, не контужен.

— Ну вы еще раз повторите, Павел Андреевич: значит, боевой парень, так он сказал, с Поляковым дружит, не ранен, не контужен. Ну повторите, пожалуйста, очень прошу вас,

Павел Андреевич,— волнуясь, говорила Вера.

И Андреев, улыбаясь, медленно растягивая слова, чтобы рассказ получился подлинней, снова повторил все то, что слышал от раненого ополченца о Серёже.

— Вот бы бабушке поскорей сообщить, она, верно, ночи не спит, о нем тревожится,— сказала Вера и подумала: конечно, они уже говорили о маме.

— Я попытаюсь, попрошу в штабе армии, может быть, удастся телеграмму дать в Казань,— сказал Степан Фёдорович.

Он достал из ящика письменного стола флягу и налил две большие рюмки — себе и Андрееву, а третью, поменьше,— Вере.

— Я не буду,— быстро и решительно сказала Вера.

— Что ты, Вера, за встречу,— сказал отец,— полрюмки хотя бы.

— Нет, нет, не хочу, то есть не могу.

— Вот все меняется,— сказал Спиридонов,— девчонкой была — самое большое удовольствие на именинах рюмку вина выпить; смеялись, говорили, «пьяницей будет». А тут вдруг не хочу, то есть не могу.

— Как я рада: Серёжа жив, здоров! — сказала Вера.

— Ну что ж, давай, Павел Андреевич,— сказал Спиридонов и посмотрел на часы.— А то мне на станцию нужно.

Андреев встал, взял рюмку своей большой, недрожащей рукой.

— Вечная память Марии Николаевне,— громко произнес он.

Степан Фёдорович и Вера поднялись, глядя на суровое и торжественное лицо старика...

Андреев, несмотря на уговоры, не захотел остаться ночевать в комнате у Спиридонова и устроился на ночь в общежитии военизированной охраны. Степан Фёдорович на первое время предложил ему дежурить в проходной, проверять проходящих на станцию, выписывать пропуска.

Степан Фёдорович вернулся домой поздно ночью, на цыпочках подошел к своей постели.

— Я не сплю,— сказала Вера,— можешь зажечь свет.

— Нет, не нужно, я отдохну часок, раздеваться не буду, под утро опять пойду на станцию.

— Ну, как сегодня?

— В стену котельной снаряд попал, а два во дворе разорвались, в турбинном зале несколько стекол вышибло.

— Никого не ранило?

— Нет. Ты почему не спишь?

— Не хочется, не могу. Душно очень.

— Мне в штабе сказали: опять немцы продвинулись к Купоросной балке, надо тебе уезжать,

Вера, надо. Боюсь за тебя. Ты одна теперь у меня. Я перед мамой за тебя отвечаю.

— Ты ведь знаешь, я не поеду, зачем говорить об этом.

Они некоторое время молчали, оба глядели в темноту, отец, чувствуя, что дочь не спит, она, чувствуя, что отец не засыпает, думает о ней.

— Чего ты вздыхаешь? — спросил Степан Фёдорович.

— Я рада, что Павел Андреевич к нам пришел,— сказала Вера, не отвечая на вопрос отца.

— Меня сейчас Николаев спрашивает: «Что это с Верочкой нашей? Что с ней творится?» Ты о летчике своем волнуешься?

— Ничего со мной не творится.

— Нет, нет, я и не спрашиваю.

Они снова замолчали, и опять отец чувствовал, что дочь не спит, лежит с открытыми глазами.

— Папа,— вдруг громко сказала Вера,— я должна тебе сказать одну вещь.

Он сел на постели.

— Слушаю, дочка.

— Папа, у меня будет маленький ребенок.

Он встал, прошелся по комнате, покашлял, сказал:

— Ну что ж.

— Не зажигай, пожалуйста, свет.

— Нет, нет, я не зажигаю.— Он подошел к окну, отодвинул маскировку и проговорил: — Вот это да, я даже растерялся.

— Что ж ты молчишь, ты сердишься?

— Когда ребенок будет?

— Не скоро, зимой...

— Да-а-а,— протяжно проговорил Степан Фёдорович,— давай выйдем во двор, душно действительно.

— Хорошо, я оденусь. Иди, иди, папа, я сейчас приду, оденусь.

Степан Фёдорович вышел на станционный двор. Стояла прохладная, безлунная, звездная ночь. В темноте светлели большие белые изоляторы высоковольтных кабелей, идущих к трансформатору. В сумрачном просвете между станционными постройками виден был темный, мертвый город. Далеко на севере, со стороны заводов, время от времени мерцали белые зарницы артиллерийских и минометных залпов. Вдруг широкий неясный свет вспыхнул над темными улицами и домами города, казалось, сонно взмахнула розовым крылом огромная птица — то, видимо, взорвалась тяжелая бомба, сброшенная ночным бомбардировщиком.

В небе, полном звуков, движения, мерцающих зеленых и красных нитей трассирующих снарядов, в той непостижимой, непонятной человеку высоте, которая одновременно объединяет в себе и высоту, и ужасную глубину бездны, светили осенние звезды.

Степан Фёдорович услышал за спиной легкие шаги дочери, она остановилась возле него, и он ощутил на себе ее спрашивающий и ожидающий взгляд.

Быстро повернувшись к Вере, он всматривался в ее лицо, потрясенный глубиной и силой охватившего его чувства. В ее печальном, похудевшем личике, в ее темных, пристально глядевших на него глазах была не только слабость беспомощного существа, ребенка, ждущего отцовского слова, в ней была и сила, та удивительная и прекрасная сила, которая торжествовала над смертью, бушевавшей на земле и в небе.

Степан Фёдорович обнял худенькие плечи Веры и сказал:

— Не бойся, доченька, маленькому не дадим пропасть.

52

Две недели шли бои на южной окраине и в центре города. 18 сентября 62-я армия по приказу Ерёменко контратаковала немцев, чтобы сорвать переброску немецких войск на север. Одновременно наступали наши войска, расположенные северо-западнее города.

Оба эти наступления успеха не имели, северный клин немцев, по-прежнему упираясь в Волгу, разделял фронты.

21 сентября немцы силами пяти дивизий — двух пехотных, двух танковых и одной мотодивизии — атаковали центр города. Главный удар пришелся по дивизии Родимцева и двум стрелковым бригадам. 22 сентября бои в центре города достигли высшего напряжения. Дивизия Родимцева отбила двенадцать атак, но все же немцы потеснили ее и заняли центр города. Родимцев ввел в бой свой резерв и удачной контратакой заставил немцев несколько отступить. С этого дня 13-я гвардейская дивизия, оставив центр, прочно удерживала восточную часть города вдоль побережья Волги.

Эпицентр битвы медленно перемещался с юга на север, от городских улиц, где засел Родимцев, к заводам. В октябре вся мощь немецкого удара обрушилась на заводы.

А новые дивизии все шли и шли в Сталинград. Следом за Родимцевым пришел Горишный, за Горишным Батюк {318}. Горишный стал вправо от Родимцева. Батюк стал вправо от Горишного; в их районе стал Соколовский. Дивизии Горишного и Батюка занимали оборону в центре у Мамаева Кургана, мясокомбината, под напорными баками.

Влево от них, на юг, вниз по течению Волги, в центральной черте города осталась дивизия Родимцева. Вправо от центральных дивизий, на север, вверх по течению Волги, на заводах заняли оборону новые части: дивизии Гурьева, Гуртьева, Желудева, следом за ними пришел Людников.

Еще севернее, на крайнем правом фланге, стояли бригады полковника Горохова и Болвинова.

Плотность обороны все увеличивалась, да так, что полнокровная дивизия обороняла один лишь завод. Гвардейская дивизия генерала Гурьева расположилась на «Красном Октябре»; стрелковая сибирская дивизия полковника Гуртьева — на заводе «Баррикады»; гвардейская дивизия генерала Желудева — на Тракторном, туда же несколько позже пришла дивизия генерала Людникова.

Эти огромные массы войск пришли из-за Волги и заполнили оборону, расположенную в узкой

полосе прибрежных городских строений и на заводах, прилегавших к Волге. Лишь в отдельных местах расстояние от переднего края обороны до волжской воды превышало тысячу — тысячу двести метров, в большинстве полоса обороны была шириной в триста—пятьсот метров.

Войска снабжались через Волгу, так как они были отрезаны от Большой земли и с севера, где на фланге стоял Горохов, и с юга, где стоял Родимцев.

Северный немецкий клин отделял защитников города от Донского фронта. Южный немецкий клин отделял сталинградцев от 64-й армии генерала Шумилова.

Войска были вооружены всеми видами легкого оружия, поворотливыми подвижными пушками и минометами малых калибров, пулеметами, автоматами, обычными и снайперскими винтовками, ручными гранатами, противотанковыми гранатами, бутылками с горючей жидкостью. Саперные батальоны располагали большим количеством тола, противопехотных и противотанковых мин. Вся полоса обороны превратилась в единое инженерное сооружение, покрылась густой сетью окопов, ходов сообщений, блиндажей, землянок.

Эта прочная сеть, этот новый город окопов, подвалов, подземных туннелей и труб, водопроводных и канализационных колодцев, логов, оврагов, идущих к Волге, лестничных клеток, авиационных воронок был густо населен военными людьми. В этом новом городе находился штаб армии, штабы дивизий, штабы многих десятков стрелковых и артиллерийских полков, десятков пехотных, саперных, инженерных, пулеметных, химических, медико-санитарных батальонов.

Все эти штабы были связаны с войсками и между собой телефонной связью, радиопередатчиками, системой посыльных и делегатов связи.

Штаб армии и штабы дивизий держали беспроволочную радиосвязь со штабом фронта, с тяжелым оружием, расположенным на левом берегу Волги.

Электромагнитные волны, шедшие от радиопередатчиков к радиопередатчикам, выражали не только связь переднего края с глубиной Сталинградской обороны, простиравшейся далеко на восток, захватывающей не только огневые позиции артиллерии средних и тяжелых калибров, не только аэродромы истребительной авиации, не только аэродромы бомбардировочной авиации, но и домны Магнитогорска, но и танковые заводы Челябинска, но и коксовые печи Кузнецка, но и колхозы и совхозы Урала и Сибири, но и военные базы и рыболовецкие промыслы Тихоокеанского побережья.

Определились ритм и размеры Сталинградского сражения.

Размах битвы стал огромен. Это видели, чувствовали и те, кто не имел прямого причастия к боям,— сотрудники тыловых учреждений и баз, железнодорожники, работники отдела снабжения горючим, питавшего бензином поток машин; работники артснабжения, доставлявшие на ДОПы астрономические количества снарядов, пожираемых тысячами пушек, миллионы патронов для винтовок, автоматов, противотанковых ружей, десятки тысяч ручных гранат и мин.

Мощь огня свидетельствовала о мощи моральной, духовной энергии, затрачиваемой на борьбу. Миллионы пудов снарядов, гранат, патронов находились в прямой связи с напряжением воли, трудом, самопожертвованием, яростью, терпением тех сотен тысяч людей, которые потребляли эти горы стали и взрывчатки.

Размеры битвы ощущали жители заволжских деревень в тридцати—сорока километрах от Волги: зарево стояло в небе, грохот, то нарастая, то стихая, не прекращался днем и ночью.

Напряжение этой битвы передалось токарям, наладчикам на заводах боеприпасов, железнодорожным грузчикам, диспетчерам, шахтерам на рудниках, доменщикам и сталеварам. <...> {319}

Напряжение битвы ощущалось в газетных типографиях, в работе радио и телеграфа, оно ощущалось в сотнях и тысячах выходивших в стране газет, его ощущали в лесной глуши и на далеких полярных зимовках, его чувствовали старики, инвалиды и старухи колхозницы, сельские школьники и знаменитые академики.

[Битва стала реальностью не только для людей, но и для диких птиц, летавших в дымном воздухе, для рыб, жавшихся к волжскому дну,— истерзанная бомбами, торпедами и снарядами, вода сотрясалась, оглушала мощную белугу, громадных сомов, вековых ямных щук, толстоголовых великанов осетров.

Муравьи, жуки, осы, кузнечики и паучки, жившие в степи вокруг города, узнали об этой битве, изрытая норками и ходами земля дрожала день и ночь, потрясенная, на аршины вглубь. Полевые мыши, зайцы, суслики много дней привыкали к запаху гари, к новому цвету неба, к дрожанию почвы, от которого осыпались комки глины в их норах.

Домашние животные в Заволжье волновались, как во время пожаров,— у коров пропадало молоко, верблюды кричали, упрямылись и капризничали, собаки выли ночами, ели без аппетита, растерянные, опустив головы, бродили вокруг домов, а заслышав ноющий звук моторов немецких самолетов, лезли, скуля, в щели. Кошки не выходили из квартир, недоверчиво наставив ушки, прислушивались к круглосуточному позвякиванию стекол.

Многие робкие животные и птицы покинули эти места, переселились к озеру Эльтон, ушли на юг, в калмыцкие степи и к Астрахани, поднялись на север, к Саратову...]

Напряжение этой битвы ощущали миллионы людей в Европе, Китае, Америке, оно стало определять мысли дипломатов и политиков в Токио и Анкаре, оно определяло ход тайных бесед Черчилля со своими советниками, оно определило дух воззваний и приказов, выходивших из Белого дома за подписью Рузвельта.

Напряжение битвы ощутили советские, польские, югославские, французские партизаны, военнопленные в страшных немецких лагерях, евреи в варшавском и белостокском гетто — огонь Сталинграда был для десятков миллионов людей подобен огню Прометея.

Пришел грозный и радостный час человека.

53

[В сентябре 1942 года по указанию Ставки была расформирована противотанковая бригада, первой встретившая прорвавшиеся на северную окраину города немецкие танки.]

Николай Крымов, побыв около двух недель в фронтовом резерве, получил к концу сентября временное назначение — ему поручили делать доклады по политическим и международным вопросам и прикрепили к сталинградской армии.

Крымов поселился в Средней Ахтубе, пыльном городке, застроенном деревянными дощатыми домиками, где расположился отдел агитации и пропаганды фронтового политуправления.

Жизнь в Средней Ахтубе с первого же дня показалась ему томительной, скучной и пресной...

Вечером Крымова вызвали в политуправление, ему предстояла первая поездка в город.

С запада, со стороны Волги, раздавалось то нараставшее, то затихавшее грохотание,

ставшее привычным за эти дни; оно слышалось беспрерывно — и в ясные утренние часы, и во мраке ночи, и в задумчивую пору заката. На серых дощатых стенах, на темных стеклах затемненных окон мелькали блики сталинградского военного огня, на ночном слюдяном небе пробегали красные бесшумные тени, а иногда яркое белое пламя, подобное короткой молнии, рожденной не небом, а человеком на земле, вдруг вызывало [55] из тьмы холм, облепленный маленькими домиками, рощицу, подступавшую к плоскому берегу реки Ахтубы.

У ворот углового дома стояло несколько ахтубинских девушек; подросток лет четырнадцати негромко играл на гармонии. Две парочки, девушка с девушкой, танцевали, остальные молча наблюдали за танцующими, освещенными неясным мерцающим огнем. Что-то непередаваемое было в этом соединении отдаленного грохота битвы с негромкой, робкой музыкой, в этом смертном огне, освещающем кофточки, руки и светлые волосы девушек.

Крымов остановился, невольно забыв на несколько мгновений о своих делах. Какая горестная прелесть, какая непередаваемая печаль и поэзия были в этих негромких звуках гармошки, в сдержанных, задумчивых движениях танца! Это не было легкомысленное и эгоистичное веселье молодости!

Лица танцующих девушек, бледные в неясном свете далекого огня, казались сосредоточенными и серьезными. Они то и дело обращались в сторону города, и в этих девичьих лицах выражалась и связь с теми парнями, что лили свою молодую кровь в Сталинграде, и печаль одиночества, и робкая, но нерушимая надежда на встречу, и вера в свою молодую прелесть, в счастье, выражалась и горесть разлуки, и еще что-то настолько великое и простое, по-женски сильное и по-женски беспомощное, что уже не было ни слов, ни мысли, чтобы выразить это, а лишь душа, сердце могли это выразить — растерянной улыбкой, вздохом... И Крымов, так много переживший и передумавший за год войны, смотрел, смотрел, забыв обо всем, на танцующих.

Готовясь к докладам, которые ему предстояло сделать перед командирами и бойцами 62-й армии, Крымов просмотрел много иностранных газет, присланных из Москвы. Слово «Сталинград» стояло в огромных шапках на первой полосе газет всего мира; оно заполняло сводки и передовые статьи, оно было в телеграммах, в заметках... Всюду — в Англии, в Австралии, в Китае, в Северной и Южной Америке, в Индии, в Мексике, на Шпицбергене, на острове Куба, в Южной Африке, в Гренландии — люди говорили, писали, думали о Сталинграде. И школьницы, покупавшие карандаши, тетрадки и промокательную бумагу со сталинградскими эмблемами, и старики, зашедшие выпить кружку пива в пивную, и домашние хозяйки, собиравшиеся у бакалейных и овощных лавок, под всеми широтами, на всех материках и островах земного шара,— все судили и рядили о Сталинграде, судили и рядили о нем не потому, что было интересно или модно, ново говорить об этом, а потому, что Сталинград стал элементом жизни каждого человека на земле, потому, что Сталинград вплеся в жизненную ткань, в каждодневный быт, в школьные занятия детей, в расчет бюджета рабочих семей, в расчет покупок картофеля и брюквы, в мысль о будущем, без которой трудно жить разумному человеку на земле.

Крымов делал выписки из иностранных сообщений о том, как дипломатические позиции нейтральных держав, как многозначительные речи, произносимые премьерами и военными министрами, как действие международных договоров определяются пламенем и громом Сталинграда. Он знал, что слово «Сталинград» появилось, написанное углем и рыжей охрой — черными и красными чернилами толпы, на стенах домов, на стенах рабочих казарм, на стенах лагерных бараков в десятках оккупированных фашистами городов Европы, что это слово произносят партизаны и десантники в Брянских и Смоленских лесах, что это слово помнят солдаты [китайской революционной армии] {320}, что оно будоражит умы и сердца, зажигает надежду и волю к борьбе в лагерях смерти, где, казалось, нет места надежде... Обо всем этом и еще о многом знал Крымов, собираясь делать доклады в 62-й армии о всечеловеческом значении жестоких боев, которые вели солдаты этой армии... Все это

волновало его, и, думая о предстоящих докладах, Крымов заранее в душе предчувствовал сильные и суровые слова свои.

Но в эти минуты, слушая голос гармошки, глядя на девушек, по-пичужьи сбившихся в кучу у дощатой стены маленького ахтубинского дома, он испытал волнение, пережил чувство, которое не выразить в словах.

54

В ту минуту, когда Крымов сел в кабину грузовой машины и, привычно примащиваясь, отодвинул на бок раздутую полевую сумку, мешавшую привалиться к спинке, он почувствовал, что сейчас начинается нечто новое, еще не пережитое им за все время войны, и ему придется увидеть то, чего он не видел никогда.

И с этим чувством, совсем не легким и не радостным, он оглядел беспокойное, нахмуренное лицо шофера и сказал, как говорил обычно Семёнову:

— Ну что ж, поехали...

Вздыхнув, он подумал: «Нет Мостовского, нет Семёнова... Оба без вести, как в воду».

В небе всходила полная луна. Улица и городские домики были освещены тем сильным, ровным небелым светом, который столько раз пытались передать художники и поэты и который не удастся, видимо, передать потому, что он неясен, странен не только в тех ощущениях, которые вызывает в человеке, но и в самом своем существовании; в нем противоречие между силой жизни, всегда связанной с ощущением света, и силой смерти, выраженной в каменной светлой холодности ночного небесного мертвеца...

Машина спустилась по довольно крутому спуску к скучной, похожей на канал, реке Ахтубе, проехала по понтонному мосту и, миновав тонкоствольную жидкую рощицу, вышла на широкую дорогу, идущую в сторону Красной Слободы.

Вдоль дороги стояли высокие щиты с надписями: «За Волгой земли для нас нет!», «Мы не сделаем ни шагу назад!», «Отстоим Сталинград!», щиты с перечислением подвигов красноармейцев, уничтожавших немецкие танки, самоходные орудия, штурмовую пехоту и штурмовую артиллерию.

Дорога лежала широкая, прямая, дорога, по которой прошли десятки и сотни тысяч людей. Стрелы-указатели, обведенные широкой черной полосой, указывали: «К Волге», «На Сталинград», «На 62-ю переправу». Не было в мире дороги прямой и проще, чище, суровой и тяжелее этой дороги.

Вот такой прямой, думал Крымов, она останется и в лунные послевоенные ночи, и повезут по ней люди на переправу зерно, арбузы, мануфактуру, повезут детишек в гости к бабушкам. И Крымову захотелось разгадать чувства послевоенных путников, что поедут по этой дороге. Станут ли думать они о тех, что шли по дороге от Ахтубы до Волги в сентябрьские и октябрьские дни 1942 года? Может быть, и не станут думать, может быть, и не вспомнят. Но боже мой! Почему же захватывает дыхание, почему кажется, что вечно уж будут холодеть от волнения руки у тех, кто глянет на эти ветлы и деревца?.. Да посмотрите! Вот здесь, здесь, по этой дороге, шли они, шли батальоны, полки, дивизии, блестели на солнце винтовочные дула, блестели при луне вороненные стволы противотанковых ружей, погромыхивали минометы.

И только осенние деревца, притихшие рощицы видели людей, оставивших за спиной родные дома, людей, идущих к переправе через Волгу, на горькую землю.

Никто, никто не шел им навстречу; никто, никто не видел этих молодых и старых лиц, этих светлых и темных глаз, тысяч и тысяч людей, живших в городах и селах, в степях и лесах, у Черного моря и на склонах Алтая, в Москве, в дымном Кемерове и мрачной Воркуте...

Они шли, построенные в походные колонны,— молодые лейтенанты шагали по обочине дороги... старшины, сержанты оглядывали ряды, батальонные и полковые командиры шагали в ногу с солдатами... пробежал, придерживая болтающуюся полевую сумку, адъютант лейтенантик передать приказание...

Какая тяжесть на сердце и какая сила, какая печаль, сколько живых трепещущих сердец, как пустынно кругом, и вся Россия следит за ними глазами...

Через пятьдесят—шестьдесят лет проедут под выходной день к Сталинграду из ахтубинской степи на полutorке с пением и шутками парни и девушки. Может быть, шофер на минуту остановит машину, выйдет из кабины, чтобы продуть подачу или подлить в радиатор воды. И вдруг станет тихо в машине. Что такое? Словно не ветер поднял пыль над дорогой, зашумел в высоких вершинах деревьев, словно вздохнула чья-то грудь, словно слышен гул шагов. Идут... И тихо-тихо станет, и никто не поймет, почему так сжалось сердце, почему так тревожно глаза глядят на пустую, прямую дорогу... Мысли ли то были, грезы ли! И сегодняшние ощущения и мысли Крымова смешались, сплелись с теми чувствами и мыслями, с которыми, казалось ему, оглянется на прошедшее послевоенный путник.

...Скажи, отчего ты так плачешь? Зачем так печально

Слушаешь повесть о битвах данаев, о Трое погибшей?

Им для того ниспослали и смерть и погибельный жребий

Боги, чтобы славною песней были они для потомков... [56]

Может быть, через восемьсот, через тысячу восемьсот лет, когда не будет уж этих деревьев, не будет и этой дороги, и сама эта земля навек уснет, прикрытая другой толсто и плотно нарощей на ней новой землей, и будет на этой новой земле жизнь, о которой нам не дано знать, и не станет сел и городов, где жили потомки наших потомков, пройдет по этим приволжским местам седой, неторопливый человек. Он остановится и подумает: «А ведь в этих самых местах когда-то были раскопки, где-то здесь шли к Волге солдаты далекой поры Великой революции, народных строек, грозных нашествий». И вспомнится ему картинка из детской книжки учебника: идут по степи воины с простыми, добрыми лицами, в старинной одежде, в старинной обуви, с красными звездочками на головных уборах. Старик остановится, прислушается... Что такое? Словно вздохнула чья-то грудь, словно слышен гул шагов... Идут... И не поймет он — почему так сжалось сердце...

55

Когда машина дошла до стоящих вразброс домиков хутора Бурковского, шофер свернул на узкую дорожку, идущую среди густого молодого леса.

— Бьет день и ночь по главной дороге, поедем в обход! — сказал он.

Выехав на плохую лесную дорогу, он не уменьшил, а, наоборот, увеличил скорость, и грузовик скрипел и кряхтел, подсакивая на корнях, пересекавших колею, либо попадая колесом в рытвину.

Грохот стрельбы становился все сильнее, его уж не мог заглушить шум мотора. Ухо уверенно отличало сильные удары советских артиллерийских батарей от разрывов немецких снарядов и мин, да, собственно, даже не ухо, а человеческое нутро само определяло различие звуков. Спокойно и дружелюбно безразличные к близкому, оглушающему удару своих пушек, сердце, нервы вдруг при немецких разрывах напрягались, замирали, а мозг разбирался — недолет или перелет, снаряд или мина, да каков калибр, да не в вилку ли попала трясущаяся на лесном объезде машина.

Вскоре стало заметно, что лес делался ниже, деревья, словно подстриженные огромными ножницами, стояли без ветвей, без листвы, не лес, а частокол, десятки тысяч воткнутых в землю палок, кольев, оглобель, жердей. Это наработала немецкая артиллерия, — десятки тысяч немецких снарядов, разрываясь, порождали миллионы гранатных осколков, шрапнельных пуль, которые обдирали кору, стригли листву, ветки и веточки заволжского леса. Он стоял прозрачный, просвечивающий и казался при лунном свете не живым лесом, а скелетом леса, недвижимым, недышащим. Видно было, как вспыхивали огни выстрелов, видны были навалы земли, полянки, расчищенные для огневых позиций, белели дощатые двери землянок, замаскированные грузовики стояли по грудь в земле, в отрытых убежищах. И чем ближе к Волге, к шестьдесят второй переправе, тем большее напряжение чувствовали приближающиеся к ней люди, и им казалось, что тревога возникла не в них, а растет, увеличивается во всем окружающем мире — в трепете звезд, в дрожании лунного света, в песчаной бледности земли, в немоте безлиственного леса.

Машина вдруг выехала на опушку леса, шофер резко затормозил и, торопливо протягивая заранее подготовленные бумагу и карандаш, сказал:

— Подпишите мне путевку, товарищ батальонный комиссар, я поеду.

Видимо, ему не хотелось лишнюю секунду оставаться на переправе. И он действительно лишней секунды не пробыл на переправе.

Крымов прошел несколько шагов и огляделся. Он увидел высокий земляной вал, под которым в естественной котловине были сложены штабеля дощатых ящиков со снарядами, бумажные хлебные мешки, груды консервов в деревянной таре, кипы зимнего обмундирования, увидел десятки людей, которые переносили эти ящики и мешки к длинному деревянному помосту.

Он увидел Волгу, блестящую при луне в узком просвете между окончанием земляного вала и густыми зарослями прибрежных ветел. Он подошел к красноармейцу-регулирующему и спросил:

— Где тут расположен комендант переправы?

В это время со стороны леса сверкнул огонь и раздались сильные взрывы. Красноармеец, повернув к Крымову свое большое немолодое лицо, переждав грохот, ответил:

— Вон под теми деревцами, где часовой стоит, земляночка. — И дружелюбно спросил: — В город, товарищ командир?

Новые разрывы, показавшиеся еще более сокрушительными, оглушающе ударили справа, слева, за спиной.

Крымов оглянулся — никто не ложился, не бежал, люди под земляным валом продолжали свое дело, красноармеец, стоявший рядом, не оглянулся даже, ожидая ответа. И, подчиняясь его спокойствию, Крымов так же неторопливо и дружелюбно проговорил:

— Да, в Сталинград. Тут уж обо мне звонили по телефону.

— Должно быть, на моторке пойдете, — сказал красноармеец, — баржу сегодня не погонят. Очень уж ясная ночь, хоть иголки собирать.

Крымов пошел к землянке коменданта, и, пока он шел к ней, в воздухе свистели и подвывали снаряды, перелетавшие над головой, в лесу слышались разрывы; внезапно густой дым метнулся меж деревьев, и все кругом захрустело, затрещало, показалось, что мохнатый дымовой медведь встал на дыбы, взревел, завертелся, стал крушить деревца. А люди продолжали свое дело, точно их все это не касалось, точно жизнь их не была хрупка и не могла оборваться вдруг, как стеклянная ниточка.

И Крымов, еще не понимая своего нового чувства, не понимая возвышенного настроения, которое постепенно захватывало его, не сознавая до конца своего удивления перед деловитой и благородной величавостью движений, походки, речи встреченных им людей, жадно, радостно, напряженно всматривался, сравнивал.

Вот с этим хмурым, всю дорогу курившим шофером, круто развернувшим грузовик и нажавшим на железку, чтобы поскорее удрать от переправы, казалось, прекратились люди, которых он нередко встречал все это время. Тревожные, быстрые взоры, внезапный смешок, внезапное молчание, а иногда крикливая грубость, прикрывающая растерянность... Сутулящиеся плечи усталых людей, идущих по пыльным грейдерам сорок первого года, расширенные глаза, всматривающиеся в небо, — не летит ли гад? — хриплый, замученный лейтенант с пистолетом в руке, комендант донской переправы... Разговоры: «он пошел», «он пустил ракету», «он сбросил десант», «он перерезал дорогу», «он взял в окружение»... Разговоры о клиньях, о танковых клещах, о мощи немецкой авиации, о приказах немецких генералов, где предусмотрен и день и час падения Москвы, и каждодневная чистка зубов солдатами на марше, и питье на стоянках газированной воды...

Потом он часто вспоминал первый свой взгляд на работающих при лунном свете солдат шестьдесят второй переправы.

Крымов вошел в землянку, сотрясаемую разрывами. Широкогрудый, видимо, обладающий большой физической силой, белокурый человек в меховой безрукавке, сидевший на беленьком, новеньком табурете, за беленьким, новым столиком, представился ему:

— Перминов, комиссар шестьдесят второй переправы {321}.

Он пригласил Крымова сесть и сказал, что баржа в эту ночь не пойдет и Крымов вместе с двумя командирами, которые вскоре приедут из штаба фронта, отправится в город на моторке.

— Чайку не хотите ли? — спросил он и, подойдя к железной печурке, снял с нее сверкающий белый чайник.

Крымов, попивая чай, расспрашивал комиссара о работе на переправе.

Перминов, отставив в сторону маленькую чернильницу и отодвинув от себя несколько листов разграфленной бумаги, видимо подготовленной для писания отчета, отвечал немногословно, но охотно.

Он с первых же мгновений разглядел в Крымове бывалого, боевого человека, и потому беседа их шла легко и немногословно.

— Закопались основательно? — спросил Крымов.

— Устроились ничего. Своя хлебопекарня. Банька неплохая. Кухня налажена. Все в земле, конечно.

— Как немец, авиацией главным образом?

— Днем обрабатывает. Скрипуны «Ю-семьдесят семь», эти да, вредны, а двухмоторные, знаете, кидают без толку. Большею частью в Волгу. Конечно, днем ходить у нас невозможно. Пашут.

— Волнами?

— Всяко. И одиночные, и волнами. Словом, от рассвета до заката. Днем проводим беседы, читки. Отдыхаем. А немец пашет.

И Перминов снисходительно махнул рукой в сторону непроизводительно {322} пашущих в небесах немцев.

— Ну а ночь напролет — артминогнем, слышите?

— Средними калибрами?

— Большею частью, но бывает и двести десять. А то вдруг сто три запустит. Старается, ничего не скажешь, вовсю. Но толку нет. Мы свой промфинплан выполняем. Ничего он сделать не может. Бывают, конечно, случаи — не доходят баржи.

— Процент потерь большой?

— Только от прямых попаданий — закопались мы хорошо. Вот вчера кухню разнес — сто килограмм запустил.

Он перегнулся через стол и сказал, несколько понизив голос, как человек, желающий погордиться своей хорошей дружной семьей перед близким знакомым:

— Люди у меня спокойные до того, что бывает, сам не понимаю — что такое? Большею частью волгари, ярославцы, народ в годах, сами знаете, саперы: лет под сорок большей частью. Работают под огнем — точно у себя в деревне школу строят. Мы тут штурмовой мостик делали, на Сарпинский остров его заводили. Ну, знаете немцев, конечно,— и он снова усмехнулся и махнул рукой в сторону Волги,— заметили, что мы плотничаем и открыли ураганный огонь. А саперы работают. Надо бы вам посмотреть, товарищ комиссар! Удивительно даже! Не торопясь, подумает, закурит. Без халтуры, без спешки. Стоит один сапер, подобрал бревнышко, сощурился, примерился, нет, покачал головой, откатил, подобрал второе, вынул веревочку — померил, пометил ногтем, стал обтесывать. А кругом, боже мой, ну накрыли весь квадрат сосредоточенным, сами знаете.

Он, словно сокрушаясь, покачал головой, а затем, вдруг спохватившись, проговорил:

— Да мне, да нам что особенно рассуждать: мы шестьдесят вторая переправа, вроде курорта. Вот в Сталинграде, там уж действительно война! И саперы постоянно говорят: «Нам что, вот в Сталинграде, там действительно война...»

Вскоре приехали командиры, которым предстояла переправа в город — подполковник и капитан. В третьем часу ночи пришел дежурный сержант и сказал, что моторка готова, ждет пассажиров. Вместе с ним зашел молодой высокий красноармеец, держа в руках два больших термоса, и попросил у Перминова разрешения переправиться на тот берег.

— Нашу лодку потопили в десятом часу, а я командиру молоко везу свежее, ему доктор прописал. Через день возим.

— Из какой вы дивизии? — спросил Перминов.

— Тринадцатой гвардейской,— ответил красноармеец и покраснел от гордости.

— Езжайте, можно,— сказал Перминов.— А каким образом лодку потопили?

— Светлая уж очень ночь, товарищ комиссар, луна полная. На самой середине Волги миной достал. И не доплыл никто. Я ждал, ждал, а потом подумал — схожу-ка на шестьдесят вторую.

Перминов вышел из землянки вместе с отъезжающими и, оглядев светлое небо, сказал:

— Облака есть, да небольшие, правда. Ничего, доедете, моторист опытный, сталинградский паренек, рабочий.

Прощаясь с Крымовым, он сказал:

— Обратно будете ехать, может быть, у нас докладик сделаете?

Отъезжающие молча пошли следом за красноармейцем-связным, который повел их не туда, где лежали штабеля припасов, а по опушке леса. Они прошли мимо разбитой машины-трехтонки, мимо могильных холмиков с небольшими деревянными обелисками и звездочками. Было так светло, что ясно виднелись написанные чернильным карандашом фамилии и имена погибших саперов и понтонеров, рабочих переправы.

Красноармеец с термосами на ходу прочел:

— Локотков Иван Николаевич,— и добавил: — Отдыхать пошел, тезка мой...

Крымов чувствовал, как растет в душе тревога. Казалось, что через Волгу в эту светлую ночь ему живым не перебраться. Еще сидя в землянке, он думал: «Не последний ли это табуретик, на котором мне пришлось сидеть?.. Не свою ли последнюю кружку чая в жизни допиваю?..»

И когда меж густой лозы засветлела Волга, он подумал: «Ну, Николай, дошагай положенное тебе на земле».

Но спокойно дошагать Крымову не пришлось. Тяжелый снаряд разорвался в лозняке — красный, рваный огонь засветился в огромном клубе дыма, и оглушенные люди, кто где стоял, попадали на холодный сыпучий прибрежный песок.

— Сюда, в лодку давайте! — крикнул сопровождавший связной, точно в лодке было безопасней, чем на земле.

Никто не пострадал, только в оглушенной голове шумели, шуршали, позванивали пузырьки. Громко стуча по дощатому дну сапогами, люди прыгали в лодку.

К Крымову наклонилось худое, молодое лицо человека в замасленной телогрейке, и голос, полный непередаваемого спокойствия и дружелюбия, произнес:

— Вы здесь не садитесь, запачкаетесь маслом, на той скамеечке вам удобнее будет.

Тот же необычайно спокойный человек обратился к стоящему среди лозняка связному:

— Вася, ты ко второму рейсу принеси сегодняшнюю газетку, я ребятам в Сталинграде обещал, а то к ним только завтра она попадет.

«Удивительный парень»,— подумал Крымов, и ему захотелось сесть поближе к мотористу, расспросить его — как зовут, какого он года, женат ли.

Подполковник протянул мотористу портсигар и сказал:

— Закуривай, герой, какого года?

Моторист усмехнулся:

— Не все ли равно, какого года? — и взял папиросу.

Застучал мотор, ветки лозы похлопали по борту, распрямляясь с шуршащим шумом, и лодка стала выходить из затона на волжский простор. Запах бензина и горячего масла заглушил речную свежесть, но вскоре спокойное и ровное дыхание ночной воды пересилило все другие запахи.

56

Крымов напряженно вслушивался в похлопывание мотора — не барахлит ли, не заглохнет ли. Он слышал уж несколько рассказов о том, как катера с внезапно испортившимися либо разбитыми снарядным осколком моторами прибывало к центральной пристани, прямо в лапы к немцам.

И, видимо, спутники его думали о том же.

Капитан спросил:

— А весел у вас, на всякий случай, нету?

— Нету,— ответил моторист.

Подполковник, поглядывая на худое лицо моториста, на его длинные тонкие пальцы, запачканные в масле, ласково сказал:

— Видать, наш механик спец, зачем ему весла?

Моторист кивнул:

— Вы не беспокойтесь, мотор хороший.

Крымов посмотрел вокруг. И картина, которую он увидел, так захватила его, что он забыл о своих тревогах.

На широком волжском плесе дышало и переливалось продолговатое, суживающееся к югу, серебристое поле. Волны, поднятые моторной лодкой, как дивные, голубоватые подвижные зеркала, струились за кормой. Огромное небо, светлое и легкое, в звездной пыли, стояло над рекой и широкими землями, лежащими на восток и на запад.

Картина ясного ночного неба, торжественно блещущей реки, могучих, светлых в ночной час, холмистых и равнинных земель обычно связывается с ощущением величавого покоя, тишины, плавного, медлительного движения. Но не была тиха русская волжская ночь! Раскаленный отсвет боевого огня дрожал над холмами Сталинграда, над белыми, залитыми лунным светом зданиями, раскинутыми на десятки километров вдоль Волги.

Как мрачные крепости, высились черные заводские цехи. Медленный грохот, сотрясая небо, воду и землю, шел из Заволжья,— то вела огонь советская артиллерия. Голубизна осенней ночи была прошита тысячами красных нитей, это двигались трассирующие снаряды и пули, то одиночные, то густым роем, то вонзающиеся коротким копьём в землю и стены домов, то плавно растягивающиеся на половину ясного небосвода. Глухо гудели, кружа над Сталинградом, тяжелые ночные бомбардировщики. Пучки цветных, красных и зеленых нитей, прорезая воздух расходящимся конусом, плыли к самолетам от земных зенитных полуавтоматов, причудливо скрещивались с теми расходящимися конусами трассирующих

пуль и снарядов, которыми ночные бомбардировщики пытались подавить зенитную оборону на земле.

Разрывы тяжелых бомб розовыми зарницами вспыхивали среди залитых лунным светом улиц и мгновенно растворялись в светлом воздухе. А над Волгой свистело и выло железо, мины рвались в воде, и сиреневые, синие куски пламени вспыхивали и гасли среди бегущей воды, среди вдруг вскипавшей золотисто-белой пены.

В первый миг казалось, что эту гремящую, раскинувшуюся на десятки километров кузницу, полную огня и движения, нельзя объять, нельзя понять. Но это не было так. Наоборот, с удивительной рельефностью выступали, становились видны не только главные силы — два молота и две наковальни битвы,— но и отдельные быстро текущие схватки между домами, между двумя окнами, между кружащим в небе бомбардировщиком и зенитной батареей на земле, все это вдруг делалось понятным, ощущалось в своем движении, развития, напряжения. Это был дышащий, живой чертеж войны, где пунктирные огненные трассы, огни взрывов и пулеметных очередей прочерчивали на темно-синей кальке лунного неба контуры и силовые узлы огромной битвы.

Один из холмистых участков северней заводов особенно ярко и густо рдел вспышками артиллерийских залпов, они возникали то длинной чеканной цепочкой, то отдельными пучками, то вдруг весь кусок земли мерцал, пылал переливающимися огнями. Видимо, это было место сосредоточения немецких артиллерийских средств, подготавливающих ночную атаку в районе заводов.

И вот из Заволжья поднялись сотни огненных, искрящихся парабол, они широким фронтом вознеслись над темным лесом, поползли к Волге, красной, широкой дугой встали над ней. В этот миг до сидевших в лодке достиг протяжный, воющий звук, который трудно с чем-либо сравнить, кроме оглушающего свиста пара, одновременно выпущенного десятками, а может быть, сотнями паровозов.

Светлые параболы, достигнув высшей точки над Волгой, плавно устремились вниз, вонзились в землю, и огневое кипение поднялось на холмах, как раз там, где немцы сосредоточили тяжелые калибры своей артиллерии. И тотчас затрещали железные барабаны, забив все звуки битвы,— это воздух, судорожно сжимаясь и растягиваясь, передавал грохотанье того града, каждая градина которого способна сокрушить железобетонную стену...

Когда рассеялся светящийся туман, земля на холмах уже более не рдела ядовитыми вспышками немецких артиллерийских залпов, их выбило сводным залпом нескольких гвардейских дивизионов реактивных минометов — «катюш».

Как ясно глаза, уши и радостно холодевшее сердце Крымова поняли все, что происходило в эти секунды. Он точно увидел и быстроглазых наблюдателей, кричащих данные для прицела, и радистов, передающих через Волгу эти данные, и нахмурившихся командиров дивизионов и полков, ждущих приказа, и седенького артиллерийского генерала в блиндаже, следящего за стрелкой часов-хронометра, и гвардейцев-минометчиков, отбегающих от запущенных «катюш».

В моторке все заговорили, стали закуривать, только красноармеец, везущий молоко, сидел молча, не двигаясь, прижимая к груди термосы, похожий на кормилицу, держащую на руках младенцев.

Когда моторная лодка вышла на середину Волги, началась борьба между темными бастионами заводских цехов. Издали казалось, что высокие стены цехов расположены очень близко одна от другой. Вот на одной из них вспыхнул огонек, и короткая трасса вонзилась в стену соседнего цеха. Очевидно, немецкий артиллерист выстрелил прямой наводкой по цеху, в котором засели красноармейцы. Тотчас от темной стены советского бастиона отделилось

быстрое огненное копье и вонзилось в стену немецкого цеха. А через несколько мгновений десятки таких огненных копий и стрел, пучки трассирующих очередей, раскаленные, светящиеся мухи трассирующих винтовочных пуль замелькали в воздухе. Темные стены стояли, подобно грозovým тучам, и молнии сверкали между ними...

Крымову подумалось, что ведь действительно эти цехи полны электричества, что миллионы миллионов вольт определяют огромное напряжение двух противоположных энергий, двух стихий.

В эти минуты Крымов забыл о том, что каждую секунду хрупкая моторка могла погибнуть, забыл, что он не умеет плавать, забыл о своем предчувствии в ожидании переправы. Его удивило, что спутники его сидели пригнувшись, а один из них лежа [57] прикрыл глаза ладонью. А ведь удивляться тут было нечему — вокруг густо и грозно гудели невидимые стальные струны, натянутые над самой водой.

И было в этой потрясающей картине нечто, что делало ее не только величественной и суровой, а и трогательной — это то, что рваное пламя и гром ночной битвы не тушили красок лунной осенней ночи, не осыпали колышущейся на волжском просторе белой пшеницы, не дробили задумчивую тишину неба и печали звезд.

Удивительным образом этот тихий и высокий мир русской приволжской ночи слился с войной, и то, что не могло существовать рядом и вместе, существовало, объединяя в себе всю ширь боевой страсти, дерзости и страдания с покоем, примиренной печалью.

Крымов вспомнил девушек, танцевавших накануне в Ахтубе, вспомнил то волнение, которое он ощутил, глядя на них, и вчерашнее почему-то связалось в его памяти с другим, далеким воспоминанием: это было в день, когда он сказал Жене о своей любви и она долго и молча смотрела ему в глаза... Но сейчас эти мысли уж не вызывали в нем печали.

Когда моторка приблизилась к правому берегу, на воде стало спокойней — снаряды и мины переносило высоко над головой.

Вскоре лодка с выключенным мотором уперлась носом в прибрежные камни. Пассажиры вышли на берег и стали подниматься по тропинке, ведущей к штабным блиндажам.

После напряжения, пережитого на воде, особенно приятно было вновь ощутить ногами землю, неровность камней, комки глины — и невольно хотелось поскорей подальше отойти от реки.

А за спиной послышался негромкий стук мотора, лодка вновь шла через Волгу к левому берегу, выходила на стрежень, где кипела изодранная взрывами вода.

Крымов подумал, что, поспешно выскакивая из лодки, он и спутники его забыли проститься с мотористом. Наверное, моторист потому и усмехнулся, когда подполковник перед переправой спросил, какого он года рождения. Вот так же и с мотором — вначале прислушивались к малейшим перебоям, а стали приближаться к берегу — и перестали замечать, работает ли мотор или выключен вовсе.

А в это время новые впечатления охватили Крымова — он шел по земле Сталинграда.

Конец первой книги

Общий комментарий

(Libens)

Роман «За правое дело» впервые опубликован в журнале «Новый мир» в 1952 г. Этому предшествовало расторжение договора на его издание в журнале военно-литературного профиля «Знамя» (где, как считает биограф и исследователь творчества Гроссмана А. Бочаров, роман был «непроходим» [58],— впрочем, еще и потому, что накануне в «Знамени» была опубликована впоследствии признанная «философски порочной» пьеса Гроссмана «Если верить пифагорейцам»). Этому предшествовала также трехлетняя работа автора по совместному редактированию романа с Твардовским, А. Тарасенковым, С. С. Смирновым, Фадеевым и другими членами редколлегии журнала. Основные замечания идеологического свойства к неоднозначно воспринятому роману, как отмечает А. Бочаров, были устранены.

За рядом положительных рецензий последовала разгромная статья одного из членов редколлегии журнала, писателя-фронтовика М. Бубеннова в «Правде», а затем и в других периодических изданиях. Несомненно, добавляла масла в огонь и набравшая к этому времени обороты антиеврейская кампания. Намеченная публикация романа в «Воениздате» оказалась под угрозой.

Однако Гроссман, проявляя готовность к дальнейшим компромиссам, взялся за дальнейшую переработку романа; с другой стороны, со смертью Сталина можно было ожидать снижения уровня критических замечаний к книге. Вопрос о том, каковым оказался объем этой переработки, требует специального исследования; здесь отметим лишь некоторые касающиеся этого моменты. Например, 17 ноября 1953 г. писатель отметил в своем дневнике: «Сдал Крутикову [представителю «Воениздата»].—

L.] роман с новыми страницами — спор Штрума с Чепыжиным [59], Крымов — участник военных действий, Новиков более глубоко судит о событиях войны» [60]. (И все же многие эпизоды с Крымовым в романе подходят на описание сентиментального путешествия рефлектирующего джентльмена.)

Так или иначе, 2 августа 1954 г. верстка была подписана к печати (так указывает Бочаров; в выходных же данных книги проставлена дата: 17.07.54).

А в 1956 году в «Советском писателе» вышло, по словам Бочарова, «более полное издание, уже без тех уступок, которые Гроссман сделал в угоду побаивавшемуся Воениздату» [61].

По-видимому, вышедшая в 1989 г. в издательстве «Советский писатель» (и представленная в этом электронном издании) редакция романа воспроизводит именно это издание 1956 г. (К сожалению, издательство не утрудило себя указанием источника публикации.)

Наиболее существенные (как содержательно, так и по объему) отличия, присутствующие в тексте по сравнению с версией 1954 г., помечены в электронном варианте книги или приведены в затекстовых примечаниях. Комментировать каждое из таких отличий, как правило, нет нужды: они говорят сами за себя. Многочисленные начальные варианты отличий стилистического характера не приведены.

Большинство уступок, сделанных автором в издании 1954 г., носят идеологический характер. Несколько особняком в их числе — изъятые из книги главы о Гитлере и генезисе немецкого фашизма в своеобразной авторской, местами психоаналитической, трактовке. Удалены многие из фрагментов, несущих в себе негативную характеристику советского общества и простого человека,— такие, которые могли быть основанием для якобы произнесенной Шолоховым реплике: «роман Гроссмана — плевок в лицо русского народа». Сведены к минимуму упоминания о попавших к этому времени в опалу Ерёменко и Жукове.

Но и «оттепельная» редакция книги носит следы подобного цензурирования,— преимущественно конъюнктурного свойства. Автор (а скорее, редакция) старательно избегает упоминания имени Сталина: вместо «Сталинград» — «город»; вместо направления на Сталинград — «к городу» или «к Волге»; «Верховный Главнокомандующий» заменен, где это возможно, «Верховным Главнокомандованием». (Вспомним, что в этом же году состоялся XX съезд КПСС, отвергший культ личности Сталина.) Даже одно-единственное в тексте, косвенное, упоминание имени Мао Цзэдуна заменено эвфемизмом «солдаты китайской революционной армии».

На этом лимит компромиссов Гроссмана со властью (а может быть, и с народом? — вспомним приведенные выше слова, приписываемые Шолохову) был исчерпан. Далее, во второй части диалогии — романе «Жизнь и судьба»,— в антисоветчине Гроссман себя уже не ограничивал...

Libens

Подстрочные примечания

1

В квадратные скобки заключены фрагменты текста, отсутствующие в издании 1954 г.—

L .

2

Война, мир, мировая история, религия, политика, философия, немецкая душа...

3

Многоточие в угловых скобках обозначает фрагмент текста изд. 1954 г., отсутствующий или измененный в изд. 1989 г. (мелкие и незначительные правки не помечены). Знак выноски при этом обозначении отсылает к затекстовому примечанию, в котором приведен такой фрагмент.—

L .

4

Так в оригинале. По-видимому, следует: «...он докладывал...». Исправления несомненных опечаток оригинала внесены без каких бы то ни было уведомлений подстрочными (как это сделано для не исправленных вероятных ошибок) либо затекстовыми (сопровождающими исправленные с уверенностью ошибки) примечаниями.—

L .

5

заквашено (от

укр . розчиняти [розчин`яты]).—

L .

6

Р е о л о г и я — (от

греч. ρησος — течение, поток и ...логия) — наука о деформациях и текучести вещества.—

L .

7

Пусть (

укр .).—

L .

8

Солдат (от

польск . żołnierz).—

L .

9

Тут и неоднократно далее в тексте книги используется это ошибочное название реки Северский Донец.—

L .

10

мелом (

укр .).

11

Административно-хозяйственный отдел.—

L .

12

Международная организация помощи борцам революции.—

L .

13

«Германия, Германия превыше всего!»

14

За мной... прямо... наводи огонь... Наводи прямой наводкой...

15

Так в оригинале. В изд. 1954 г.: «...генеральный...».—

L .

16

«Мы болотные солдаты».

17

«Старая, но вечно новая история» — стихи Г. Гейне.

18

Так в оригинале. По-видимому, как и в изд. 1954 г., следует: «...бодрым...». —

L .

19

Отдел снабжения горючим.—

L .

20

Боекомплект.

21

Вспомогательный пункт управления.—

L .

22

Городской отдел народного образования.—

L .

23

работы... зачем (от

укр. праця — работа, труд, занятие; от

искаж. укр. нащо — зачем, для чего, к чему).—

L .

24

пасхальное яйцо (от

укр . кра?шанка).—

L .

25

красивы... нарядны (

укр .).—

L .

26

бус (

укр .).—

L .

27

Так в оригинале. В изд. 1954 г.: «...сидели...».—

L .

28

Что сказал фюрер? (

нем.)

29

Фюрер сказал: Сталинград должен пасть! (

нем.)

30

Ты — ничто, твой народ — все (

нем.).

31

В и р у л е н т н о с т ь (от

лат. *virulentus* — ядовитый) — степень болезнетворности (патогенности) данного микроорганизма.—

L .

32

Г а у р и з а н к а р (Гауришанкар) — одна из вершин Гималаев.—

L .

33

К а в у н — арбуз (

местн. ,

укр.).—

L .

34

Тихо, собачьи свиньи! (

нем.)

35

Так в оригинале и в изд. 1954 г.—

L .

36

взрывами (от

укр . вибух [в`ыбух]).—

L .

37

хромает, ковыляет (от

укр . кульгати [кульг`аты]).—

L .

38

Л е в а д а — береговая лиственная роща в пойме реки.—

L .

39

Так в оригинале. По-видимому, как и в изд. 1954 г., следует: «...я...».—

L .

40

Так в оригинале. По-видимому, как и в изд. 1954 г., следует: «...аттестован...».—

L .

41

К В — тяжелый танк «Клим Ворошилов».—

L .

42

Так в оригинале. По-видимому, как и в изд. 1954 г., следует: «...под...».—

L .

43

Так в оригинале. По-видимому, как и в изд. 1954 г., следует: «...пойдем...».—

L .

44

Огонь!.. Огонь!.. Огонь!.. (

нем.)

45

Огонь!.. Огонь!.. Хорошо!.. Очень хорошо!.. (

нем.)

46

капитан (от

нем . Hauptmann).—

L .

47

Фюрер сказал: «Сталинград должен пасть!» (

нем.)

48

Д у л я —

здесь : кукиш, шиш.—

L .

49

Меха... меха... (

нем.)

50

Отряды полиции, СС, СД, производившие массовые истребления мирного населения.

51

Эй, ты, кошечка, кошечка... (

нем.)

52

Русифицированное от

ук

р

. вовтузиться — возиться, ёрзать; или от

диалект

н

. валтузить, волтузить — избивать;

здесь : мнут, давят. Ср. запись в дневнике Гроссмана из лексикона А. И. Ерёменко, уроженца востока Украины: «„Волтузка“, „волтузить“».

53

юбку (

укр .).—

L .

54

Так в оригинале. По-видимому, как и в изд. 1954 г., следует: «...пеплом...».—

L .

55

Так в оригинале и в изд. 1954 г. По-видимому, следует: «...вырывало...».—

L .

56

Г о м е р. Одиссея. Песнь восьмая, 577—580 (Пер. В. А. Жуковского). Цитата неточна: в источнике — «Боги, чтоб славною песнею были они для потомков».—

L .

57

Так в оригинале. По-видимому, как и в изд. 1954 г., следует: «...даже...».—

L .

58

Б о ч а р о в А. Василий Гроссман: Жизнь, творчество, судьба. М.: Сов. писатель, 1990. С. 164.

59

В первоначальной версии романа Чепыжина не было вовсе — задачу философского осмысления исторических событий автор возлагал на Штрума.—

L .

60

Цит. по: Б о ч а р о в А. С. 175.

61

Там же. С. 176.

Затекстовые комментарии и примечания

(Libens)

1

Вместо этого фрагмента в изд. 1954 г.:

«Много он тут потрудился! Это он со своими односельчанами возводил плотину, строил мельницу, бил камень на постройку инвентарного сарая и скотного двора, возил лес для новой школы, рыл котлованы для фундаментов. А сколько он вспахал колхозной земли, накосил сена, намолотил зерна! А сколько он со своими товарищами по бригаде наформовал кирпича! Из этого кирпича — и больница, и школа, и клуб, и даже в район его кирпич возили. Два сезона он проработал на торфе — от комаров на болоте такое гудение, что дизеля не слышно. Много, много он бил молотом, и рубил топором, и копал лопатой, и плотничал, и стекла вставлял, и точил инструмент, и слесарил.»

2

В изд. 1954 г. далее: «Вавилов не любил председателя. Тот, случилось, гнул свой личный интерес, хитрил. Он, видно, считал, что главное в жизни не работа, а умение обращаться с людьми, говорил одно, а делал другое».

3

В изд. 1954 г. далее:

«В колхозе Вавилова многие побаивались — бывал он резок и прям. Но ему верили и уважали его».

4

В изд. 1954 г.: «...пропал...».

5

«Катюшей» называли кресало — приспособление для прикуривания, состоящее из патронной гильзы с хлопчатобумажным шнуром, стальной пластинки для выбивания искр и куска кремня или кварца.

6

Лиски — крупный железнодорожный узел и районный центр в Воронежской области, с 1928 г. носил название Свобода; в 1943 г. ему возвращено название Лиски. В 1965 г. переименован в Георгиу-Деж, по фамилии деятеля румынской компартии Г. Георгиу-Деж (1901—1965), а в 1991 г. городу опять возвращено название Лиски.

7

В изд. 1954 г. далее: «Но именно в том, что путь этот стал незаметен, и заключалась его потрясающая человечество новизна».

8

Московская область.

9

Из арии Джильды из оперы «Риголетто» итальянского композитора Джузеппе Верди (1813—1901).

10

В изд. 1954 г. далее: «...как перед войной, говоря о нашей силе, Сталин привел...».

11

Мы бои вели от самой Касторной .— Касторное — железнодорожный узел в Курской области, в 75 км к западу от Воронежа. Через Касторное проходил рубеж обороны советских войск к началу наступления противника на воронежском направлении 28 июня.

12

Вместо этого фрагмента в изд. 1954 г.: «Посмотрел бы я на этих, что пальцами тычут, если б в окружение попали. Тот, кто на передовой, у того душа живет!»

13

Обуховский сталелитейный завод; в 1922 г. был переименован в Петроградский Государственный Орудийный Оптический и Сталелитейный завод «Большевик».

14

Металлургический завод «Красный Октябрь».

15

В оригинале ошибочно: «...и...».

16

Имеется ввиду (не засвидетельствованное в известных фрагментах его сочинений) изречение древнегреческого философа-материалиста

Гераклита Эфесского (ок. 544—483 до н. э.), в общей, еще наивной форме сформулировавшего ряд диалектических принципов бытия и познания: «На входящих в те же самые реки притекают в один раз одни, в другой раз другие воды».

В оригинале ошибочно: «...геологическом...». Исправлено по изд. 1954 г.

В изд. 1954 г. далее: «Вновь была открыта Сибирь, и в этом суровом краю росли города, рождались рудники, заводы, гигантские нефтепроводы; шоссейные дороги легли в тайге и тундре, электричество взорвало полярную ночь, освещая рудные богатства, миллионы лет спавшие в зоне вечной мерзлоты. Были вырыты геологические количества земли, взорваны горы гранита, каналы соединили Балтику и Белое море, Москву и Каспий. Родились новые моря и озера. От гула больших домен Магнитогорска и Кузнецка, от рева воды на Днепровской плотине, от ударов паровых молотов нового Урала, от шума станков в Харькове, Сталинграде, Челябинске, от пульсирующего напора газа в агрегатах Березников и Сталиногорска (Имеются виду первенцы химической индустрии СССР — химкомбинаты в г.

Березники (ныне Пермский край) и Тульской области;

Сталиногорск — название г. Новомосковска в 1934—1961 гг.—

L.), казалось, подрагивала вся безмерная земля, шевелилась листва на могучих дубах, и рябь шла по зеркалу степных прудов и горных озер».

В изд. 1954 г. далее:

«Сила рождавшейся жизни была колоссальна, и жизнетворящее, создающее новый мир движение было неумолимо в своей, отрицающей старое, мощи».

В изд. 1954 г. далее: «Она вела эту игру уверенно и легко, хотя нигде не училась ей в свои восемнадцать лет».

В оригинале ошибочно: «...у Александры Владимировны...».

Вместо этого фрагмента в изд. 1954 г.:

«Сын Дмитрий гимназистом ушел на колчаковский фронт, потом учился в Свердловском университете. В начале тридцатых годов он стал управляющим крупного треста.

За несколько лет до войны жизнь Дмитрия вступила в тяжелый период. У него началась сердечная болезнь, случился приступ грудной жабы. В эту пору у него на работе произошли крупные неприятности. Дмитрий волновался, отказался от отпуска, несмотря на требования врачей, не поехал лечиться. Однажды утром его нашли мертвым в служебном кабинете — он умер от разрыва сердца.

Вскоре после этого жена его, Ида Семёновна, уехала вместе с сыном из Москвы к брату, работавшему на одной из крупных северных строек.

Для здоровья Серёжи жизнь на Севере оказалась вредна — он за короткий срок дважды болел воспалением легких, начал температурить; врач категорически советовал переехать на юг. И Александра Владимировна уговорила Иду Семёновну отпустить в Сталинград двенадцатилетнего Серёжу...»

В изд. 1954 г. далее: «...для них было лишь одно высокое, дивное дело. Мощь советской индустрии жила и торжествовала в этих цехах».

«Баррикады» — в прошлом Царицынский оружейный завод, с 1930-х гг. — многопрофильное машиностроительное предприятие.

Красноармейск — поселок под Сталинградом (впоследствии присоединен к городу в качестве отдельного района) при судостроительной верфи (ныне Волгоградский судостроительный завод).

В изд. 1954 г. далее:

«Как-то по-новому увидев этого человека, растроганный Степан Фёдорович подумал: „Вот он, мой партийный товарищ!“

Пряхин, поняв догадку Степана Фёдоровича, пожал ему руку, молчаливо поблагодарив за сдержанность, за то, что Спиридонов не стал объяснять: „Ага, волнение охватило, хочется вам посмотреть те места, где вся ваша жизнь прошла, где всю свою жизнь проработали“.

Ведь бывает такая плохая манера у некоторых людей: без спросу залезть в чужую душу и громогласно объяснять все, что видно в чужой душе. Должно быть, поэтому Пряхин и пожал так крепко руку Степану Фёдоровичу, что тот не проявил этой плохой манеры».

27

В изд. 1954 г. далее: «И ведь вся тонкость в том и была, что Спиридонов ни разу не удивился этому, ни разу не подумал, что партийный работник Пряхин мог говорить с ним не о самом важном, что волновало, наполняло сердце чувством радости и тревоги в часы пуска нового цеха».

28

В изд. 1954 г. далее:

«И все эти случайные воспоминания, внезапные, мимолетно возникшие мысли объединились вокруг большого и важного, самого главного и значительного. Партия посылала на трудную работу знакомого Спиридонову человека, партийного товарища, большевика! И те великие связи, которые определяли жизнь страны, с какой-то особой силой вдруг ощутил в душе своей Степан Фёдорович, с той особой силой, с которой всегда ощущается самое главное, сокровенное в дни тяжелых испытаний.

Партия организовывала батальоны, полки, дивизии!

Партия организовывала военно-промышленную мощь страны! Партия напутствовала сыновей своими словами правды, суровой, как сама жизнь. Сколько веры в победу в этих суровых словах правды!»

29

В изд. 1954 г. далее: «Он ощущал всю силу тех связей, которые годами, десятилетиями росли, ширились, укреплялись партией в каждодневном труде Сталинграда. И он чувствовал, верил, что связи эти выдержат, не порвутся в ту страшную пору, когда война рушит стены домов, гнет железные балки и дробит камень».

30

В изд. 1954 г. далее: «А он ведь, он дитя поколения».

31

В изд. 1954 г. далее: «...родиной...»

32

Неточная цитата из стихотворения А. Н. Майкова (1821—1897) «Весна» (1854). Ср.:

Выставляется первая рама —

И в комнату шум ворвался,

И благовест ближнего храма,

И говор народа, и стук колеса.

33

Смоляниновский рудник (один из старейших на Донбассе) и сопутствующий ему поселок (ныне микрорайон Смолянка г. Донецка, в 1924—1961 гг. носившего название Сталино,) уже в 1926 г. вошли в городскую черту. Обращение к этому топониму для Гроссмана, в молодые годы работавшего на шахте Смолянка, возможно, связано (но не получило дальнейшего развития, как и многие другие сюжетные нити в романе) не только с фактами его биографии: во время немецкой оккупации шурф одной из шахт Смоляниновского рудника (4/4-бис) стал местом массовой казни гражданского населения, вторым по массовости местом захоронения жертв фашизма после Бабьего Яра.

34

В изд. 1954 г. далее: «Он просматривал свои короткие, отрывочные записи, точно эти записи, следы военных событий и душевных тревог, могли успокоить волнение сердца».

35

В изд. 1954 г. далее: «Это оттяжка на год, на два!»

36

«Платон Кречет» — пьеса (1934) украинского советского драматурга и общественного деятеля А. Е. Корнейчука (1905—1972), в которой выведен образ нового советского интеллигента-гуманиста, неумолимого искателя правды.

37

В изд. 1954 г. далее: «...полк был обречен».

38

В изд. 1954 г. далее:

«И все же этот уход советских людей из пограничной полосы нельзя было назвать паническим. Паника — сестра безумия, а в жестокий день 22 июня 1941 года самым разумным для всех этих тысяч мирных советских людей было именно это: взять на руки детей и уходить на восток из прилегавших к границе мест, куда через считанные часы врывались немецкие танки».

39

...

в Берёзе Картузской .— Берёза-Картуская (таково правильное название) — железнодорожная станция неподалеку от райцентра Берёза Брестской обл.

40

Название г. Тернополя до 1944 г.

41

...

в Святошине, в Голосеевском лесу, на Ирпене ...— На рубеже р.

Ирпень (15—20 км от Киева), вблизи пригорода

Святошино (ныне городской район) 11—14 июля войскам Юго-Западного фронта удалось остановить первую попытку врага овладеть Киевом — с запада. В

Голосеевском лесу, на юго-западной окраине города, 10—16 августа противник вновь был остановлен и отброшен.

42

...

бои ~ в Броварах, Пирятине, Борисове, Прилуках, Полтаве и жестокие октябрьские бои под Штеповкой, сдача Харькова ...— велись войсками киевской группировки Юго-Западного фронта (21-я, 5-я, 37-я и 26-я армии) уже после того, как в середине сентября немецко-фашистским войскам удалось ударами двух танковых групп окружить войска Юго-Западного фронта восточнее Киева. Отход войск, оборонявшихся на правом берегу Днепра, в Киевском укрепленном районе, начался в ночь на 19 сентября и проходил через Борисполь (в тексте ошибочно — Борисов), уже занятый противником. Вначале вражеский заслон в районе Борисполя был опрокинут, но к 20 сентября путь через Борисполь для арьергарда отходивших войск был отрезан немецкими танками. Из-за нарушения связи и управления выход из окружения происходил неорганизованно и привел к тяжелым потерям. 18 сентября основная группа штаба Юго-Западного фронта во главе с Военным советом, продвигавшаяся на

Пирятин вместе с 289-й стрелковой дивизией, при переправе через реку Удай подверглась сильным ударам вражеской авиации и понесла большой урон. Части 5-й и 21-й армий, находившиеся примерно в это же время в районе

Прилук, перемешались и в значительной мере утратили боеспособность. Войска 37-й армии, не имея связи с фронтом, не получили указаний выходить из окружения и до 19 сентября продолжали упорную борьбу за Киев, к 20 сентября рассечены противником и оказались в нескольких котлах окружения, один из которых находился северо-западнее Киева (в связи с чем, по-видимому, и упоминаются Бровары). В результате поражения Юго-Западного фронта была потеряна почти вся Левобережная Украина. На фоне этих поражений выделялись ожесточенные и успешные для советских войск бои 1—2 октября 1941 г. за село

Штеповка (ныне Лебединский район Сумской обл., Украина) с танковыми и моторизованными дивизиями Гудериана, окончившиеся разгромом 9-й танковой дивизии немцев и освобождением 35 населенных пунктов.

43

В изд. 1954 г. далее: «Немцев выкуривали из жилья на мороз, выбивали из деревень, истребляли в снежных полях».

44

В изд. 1954 г. далее: «...и в тысячах сердец радостно, тревожно, робко и уверенно просыпалась надежда на скорое свидание с Украиной».

45

Вместо этого фрагмента в изд. 1954 г.: «Но немцы, хотя и с потерей темпа, все же перешли в наступление. Гитлер, воспользовавшись отсутствием второго фронта, начал осуществлять задуманный им прорыв на Востоке. Уверенный в том, что второй фронт не будет открыт, он сконцентрировал на Востоке более 70 процентов своих сил. Пала Керчь, захлопнулись ворота, распахнутые наступавшими на Харьков войсками маршала Тимошенко. Пал Севастополь».

46

В оригинале ошибочно: «...отдела...». Исправлено по изд. 1954 г.

47

...

четвертый флот «африканца» Рихтгоффена ...— Рихтгофен (н е м. Richthofen), Вольфрам фон (1895—1945), генерал-фельдмаршал немецкой авиации, командовал 4-м воздушным флотом с 20 июля 1942 по 4 сентября 1943 г. Зоной ответственности 4-го флота, в котором было до 1200 самолетов, был весь южный фланг Восточного фронта; неоднократно все его силы (или, по крайней мере, силы его IV полевого корпуса, действовавшего совместно с группой армий «Б») были брошены на Сталинград.

Что касается прозвища «африканец», то каких-либо сведений о том, что Рихтгофен его имел, нет, а из послужного списка Рихтгоффена затруднительно найти и основания для подобного прозвища. Известно, однако, прозвище «африканский Рихтгофен»: его носил воевавший в Эфиопии и погибший в 1941 г. итальянский летчик Марио Вицитини, летавший на самолете красного цвета,— как и знаменитый ас Первой мировой войны Манфред фон Рихтгофен («Красный барон»), дальний родственник Вольфрама.

48

...

на малой земле Хакко и Ханко ...— Топоним Хако — мыс Хако, или Мысхако (не Хакко) — получил название «Малая земля» в связи с образованием, в результате десантной операции, плацдарма в районе Новороссийска позже — в феврале 1943 г. Оборона полуострова Ханко на юго-западной оконечности Финляндии, который был предоставлен Советскому Союзу в аренду по Советско-финляндскому мирному договору 1940 г. (и находившейся на нем советской военно-морской базы), проходила в июле—декабре 1941 г. Таким образом, к событиям летней кампании 1942 г., о которых размышляет Новиков, эти эпизоды отношения иметь не могли. Скорее всего, в основе соединения этих топонимов, определяющих крайние рубежи фронтов войны, лежат их созвучность и географическое противоположение образов (ср. с употребленным во второй книге дилогии Гроссмана выражением «солдаты под солнцем и под снегом»,— так, потворствуя мечтам немцев о мужественных национальных героях, назвал Гитлер Роммеля, воевавшего в Африке, и Дитля участника боевых действий в Заполярье).

49

Эльтон — соляное бессточное озеро в 160 км восточнее Сталинграда.

50

В изд. 1954 г. далее: «Степные железные дороги находились под воздействием авиации, в последние дни немецкие самолеты начали минировать Волгу».

51

Дивизионный обменный пункт,— подразделение, осуществляющее распределение грузов по частям дивизии, направление грузов в части, прием от частей, эвакуацию имущества и легкораненых порожняком транспорта.

52

В оригинале ошибочно: «...подобно...».

53

В изд. 1954 г. далее: «...от Чугуева и Балаклеи до Сталинграда и Райгорода...».

Райгород — село юго-восточнее Сталинграда, близ которого упирался в Волгу внешний оборонительный обвод города. Очевидно, автору или кому-то из редакторов издания 1956 г., тщательно вычищавших из текста всюду, где это возможно, имя Сталина и название «Сталинград» (вспомним, что в этом же году состоялся XX съезд КПСС, осудивший культ личности Сталина), сочетание двух последних топонимов цитаты показалось неприемлемым.

54

Вместо этого фрагмента в изд. 1954 г.: «Люди, блаженно кряхтя, смывали наждачную, острую и сухую пыль, выросшую на теле».

55

В оригинале ошибочно: «...два...».

56

Отдых — подмосковный дачный поселок по Минскому шоссе.

57

...

факультетский Робеспьер ...— имя виднейшего деятеля Великой французской революции Максимилиана Робеспьера (1789—1984) стало нарицательным, означая приверженность крайним революционным взглядам.

58

Дарница — тогдашнее предместье Киева (ныне находится в городской черте).

59

Нарын — город в Киргизии, областной центр.

60

Телецкое озеро (Алтынколь, Золотое озеро) — одно из красивейших озер России; находится на северо-востоке Алтая.

Ойрот-Тура — ныне г. Горно-Алтайск.

61

...

в Барвихе, в Узком ~ подмосковных, лужских и сестрорецких дачах .—

Барвиха — правительственный санаторий в Подмосковье, по Рублёво-Успенскому шоссе; ранее — дача-замок баронского семейства Мейендорф из прибалтийских немцев.

Узкое — историческая усадьба на юго-западной окраине Москвы, принадлежавшая в разное время представителям нескольких дворянских семейств (Гагариных, Стрешневых, Толстых, Трубецких); после революции 1917 г. используется как санаторий для научной элиты.

Луга и

Сестрорецк — пригороды Ленинграда, в окрестностях которых расположены многочисленные исторические усадьбы, а со второй половины XIX в. — также и дачные поселки.

62

«...»

какие клятвы я давал ...» — Контекст приведенной строки из стихотворения «На Волге» (1860) следующий:

О, горько, горько я рыдал,

Когда в то утро я стоял

На берегу родной реки,

И в первый раз ее назвал

Рекою рабства и тоски!..

Что я в ту пору замышлял,
Созвав товарищей-детей,
Какие клятвы я давал —
Пускай умрет в душе моей,
Чтоб кто-нибудь не осмеял!

63

...

чувство, которое потрясло на Воробьёвых горах подростков — Герцена и Огарёва .— В 1927 г. 15-летний А. И. Герцен и его друг, 14-летний Н. П. Огарёв на Воробьёвых горах принесли клятву пожертвовать жизнью для борьбы за освобождение русского народа.

64

В оригинале ошибочно: «...Петровича...».

65

Перетрум — пиретрум (ромашник), лекарственное растение, обладающее противовоспалительными свойствами.

66

«Sturm und Drang» — «Буря и натиск» (н е м.) — период в истории немецкой литературы (1767—1785), объявивший войну аристократической культуре. Выражение «буря и натиск» приобрело в культурном обиходе и метафорический смысл — как обозначение эпохи решительной ломки отживших норм и традиций.

67

Вместо этого фрагмента в изд. 1954 г.: «Среди негромкого потрескивания он услышал торжественный, настойчивый и медленный голос диктора:

— Говорят все радиостанции Советского Союза.

Штрум, понимая, что сейчас произойдет нечто чрезвычайное, бросился к лестнице.

— Людмила, Людмила! — звал он, поспешно поднимаясь по ступеням и отмахиваясь от яркого утреннего солнца.

Но в это время опять послышался голос диктора, и Штрум быстро спустился вниз. Он вошел в комнату и вдруг услышал медленный голос и с первого слова узнал его: говорил Сталин.

— Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота!

Голос звучал ровно, негромко, но то не был спокойный голос. И именно в негромкой, ровной и сдержанной неторопливости его сказывалось высшее волнение, владевшее мужественным и сильным человеком.

— К вам обращаюсь я, друзья мои! — сказал Сталин. И вдруг стало тихо, и такое напряжение было в этой тишине, какого, вероятно, никогда не знала Россия за всю историю свою. Ясно было слышно, как Сталин наливал воду в стакан.

Сталин начал говорить.

— Вероломное военное нападение гитлеровской Германии на нашу Родину, начатое 22 июня, — продолжается, — сказал он. — Несмотря на героическое сопротивление Красной Армии, несмотря на то, что лучшие дивизии врага и лучшие части его авиации уже разбиты и нашли себе могилу на полях сражения, враг продолжает лезть вперед, бросая на фронт новые силы.

— Гитлеровским войскам удалось захватить, — говорил Сталин, — Литву, значительную часть Латвии, западную часть Белоруссии, часть Западной Украины... — И Сталин медленно, негромко перечислял все тяжкие потери первых десяти дней войны, как бы соединил вместе, обвел чертой те цветные стрелки, кружочки, крестики, которые Штрум расставлял на карте после утренних и вечерних оперативных сводок, которые он рассматривал ночью, вскакивая с постели.

— Над нашей Родиной нависла серьезная опасность... — сказал Сталин и вдруг спросил: — Как могло случиться, что наша славная Красная Армия сдала фашистским войскам ряд наших городов и районов? Неужели немецко-фашистские войска в самом деле являются непобедимыми войсками...

Штрум сам сотни раз задавал себе этот вопрос, себе и близким своим. Он никогда не верил в силу фашизма. Но эти страшные десять дней, эти круглосуточно идущие на запад эшелоны с войсками и орудиями, эти огромные силы, брошенные на врага, и, несмотря на это, потеря Литвы и многих областей, районов, сотен городов и сел. Неужели немцы сильнее, неужели непобедимы?

И Сталин прямо задал этот вопрос:

— Неужели немецко-фашистские войска в самом деле являются непобедимыми войсками, как об этом трубят неустанно фашистские хвастливые пропагандисты?

На мгновение у Штрума захватило дыхание, он еще ближе придвинулся к репродуктору. Что скажет сейчас Сталин, как ответит на этот вопрос? И именно в этот миг Сталин сказал:

— Конечно, нет! История показывает, что непобедимых армий нет и не бывало.

«Конечно, нет!» — сказал Сталин, выразив в этих словах всю силу своей душевной убежденности.

Эти просто произнесенные слова помогали взглянуть в будущее сквозь густую пыль, поднятую миллионами сапог вторгшихся в Советский Союз фашистских солдат. И в этой убежденности было не только понимание закона войны, не только презрение к авантюристу, вздумавшему преградить пути человеческой истории, — в этой убежденности была вера в силу народной воли к свободе, в ту боевую и трудовую силу, которая и определяла будущее мира.

Штрум оглянулся, испытывая желание разделить с кем-нибудь свое чувство, и увидел, что он не один. В дверях стояла Людмила Николаевна, а с улицы к открытому окну подошли несколько человек: сторож Семён, водитель Василий Николаевич, два молодых парня — рабочие военного завода с противогазами на боку — и отец этих парней, сурового вида седой человек, председатель поселкового совета, и красноармеец с зеленым мешком за плечами, видимо, спешивший к утреннему поезду, и пожилая колхозница с молочным бидоном в руке.

И у них у всех — и у сурового, седого человека, и у Людмилы, и у старухи-колхозницы, и у широколобых молодых рабочих, и у красноносого старика Семёна, и у рослого светлоглазого красавца красноармейца — было одно и то же напряженное и сосредоточенное выражение лица.

Сталин сказал:

— Дело идет, таким образом, о жизни и смерти Советского государства, о жизни и смерти народов СССР, о том — быть народам Советского Союза свободными или впасть в порабощение.

Он заговорил о том, какие задачи стоят перед армией, перед летчиками, перед рабочими и колхозниками, перед интеллигенцией. Он призывал бороться с паникерами и дезертирами.

Он обратился с призывом уводить скот, вывозить паровозы, вагоны, горючее, хлеб из угрожаемых районов и уничтожать, сжигать все, что не удастся вывезти.

И то, что он говорил, было жизненно необходимо и для старухи-крестьянки, проводившей вчера на фронт сына, и для тех, кто слушал его в колхозе за Днепром, под приближающийся грохот немецкой артиллерии, и для жены профессора, стоявшей у входа на дачную террасу, и для красноармейцев, высаживающихся из эшелона на вокзале в Смоленске, и для молодых матерей в родильном доме, и для маршалов Ворошилова, Тимошенко, Будённого, командовавших войсками на северо-западе, западе и юге, и для старика сторожа Семёна.

Сталин сказал:

— Войну с фашистской Германией нельзя считать войной обычной. Она является не только войной между двумя армиями. Она является вместе с тем великой войной всего советского народа против немецко-фашистских войск...

И он назвал эту войну всенародной Отечественной войной...

Теперь, через год, сидя у окна в скором поезде, Штрум вспоминал это утро. За этот год Штруму пришлось испытать многое — и тоску, и тревогу, и душевную боль. Но после сталинской речи он уже ни разу не переживал душевного смятения, силу которого познал в первые десять дней войны».

Цитируемая выше речь Сталина прозвучала 3 июля. К этому времени упомянутые в

приведенном отрывке направления «Ворошилова, Тимошенко, Будённого» — три Главных командования (впоследствии в разные сроки расформированные) — Северо-Западного, Западного и Юго-Западного направлений во главе соответственно с Маршалами К. Е.

Ворошиловым , С. К.

Тимошенко (с 1 февраля 1942 г. — генералом армии Г. К. Жуковым) и С. М.

Будённым (с 13 сентября 1941 г. — С. К. Тимошенко) для координации действий фронтов и флотов и объединения усилий войск на основных стратегических направлениях — еще не были созданы (это произошло 10 июля 1941 г.).

68

Карточки, устанавливающие нормы потребления основных продовольственных товаров, дифференцировались по категориям населения; в данном случае речь идет о категории научных сотрудников.

69

...

Разгуляя, Черёмушек, Садовников ~ Тимирязеву ...— Перечисленные топонимы (вместе с другими упомянутыми рядом, не нуждающимися в комментариях), возможно, призваны указать на разнообразие социокультурных символов Москвы: это площадь

Разгуляй , название которой дано по располагавшемуся на ней знаменитому трактиру (злачное место, прибежище простонародья);

Садовники (крестьянская слобода, соседствующая с торговой Немецкой слободой);

Черёмушки , известные богатыми усадьбами, в конце XIX в. ставшими средоточием образованного купечества и буржуазии. Памятник Тимирязеву — первый памятник ученому, установленный в Советской России (4 ноября 1923 г.); в октябре 1941 г. скульптура была опрокинута взрывной волной от фашистской бомбы. Через несколько часов ее установили на прежнем месте, но в нижней части до сих пор сохранились следы от осколков.

70

В изд. 1954 г. далее: «В ней остались те, чьи заводы и учреждения не эвакуировались, остались рабочие, ополченцы, дружинники ПВО, бойцы рабочих истребительных батальонов.

Сильные, самоотверженные рабочие люди, защитники Москвы продолжали работу.

Сила Москвы оказалась неисчерпаемой, вновь задымили заводские трубы, ожили заводские

цехи. Рабочая сила москвичей словно удвоилась, еехватило на то, чтобы пустить новые корни на суровой земле новостроек, и на то, чтобы из мощных корней, оставшихся на московской земле, вновь поднялась и зашумела заводская жизнь».

71

В изд. 1954 г. далее: «Чудовищный шовинизм...».

72

Имеется ввиду книга разносторонних публикаций о жизни Парижа Г. Гейне «Лютеция» (так по-латыни называлось древнее поселение на одном из островов Сены, положившее начало будущему Парижу) с подзаголовком «Письма о политике, искусстве и народной жизни» (1854), в которой (заметка «Голос логики») он писал: «...второй из этих повелительных голосов, которыми я очарован, еще могущественнее и демоничнее, ибо это голос ненависти, возбуждаемый во мне партией, страшнейшим противником которой является коммунизм и которая поэтому также наш общий враг. Я говорю о партии так называемых националистов Германии, об этих лжепатриотах, патриотизм которых состоит в отвращении ко всему иноземному и к соседним народам...»

73

Оствальд Вильгельм Фридрих (1853—1932) — балтийский немец, физико-химик и философ-идеалист, лауреат Нобелевской премии по химии 1909 г. После начала первой мировой войны в числе девяноста трех видных ученых и деятелей искусства подписал шовинистическое воззвание «К цивилизованному миру» с призывом отдать все силы для победы Германии. После войны отказался от шовинистических убеждений и в последние годы жизни оставался безучастным к политическим событиям в мире.

74

В изд. 1954 г. далее: «...в пору империализма...».

75

Вместо этого фрагмента в изд. 1954 г.: «...не соотношение, а лишь положение...».

76

В изд. 1954 г. далее: «...в особенностях германского империализма...».

77

В изд. 1954 г. далее: «...Розы Люксембург, Либкнехта, Тельмана».

78

В изд. 1954 г. далее: «Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ и немецкое государство остаются... Надо в эти слова вдуматься, это слова Главнокомандующего той армии, которая воюет под лозунгом „Смерть немецким оккупантам!“»

79

В изд. 1954 г. далее: «...субъективные ощущения и...».

80

В изд. 1954 г. далее: «...схема ваша все же неверна, ведь ее принцип чисто механический, мне кажется, совершенно не применим к объяснению общественных явлений».

81

В изд. 1954 г. далее: «...понимаю ваше благородство, ясное, сильное, и я...».

82

В изд. 1954 г. далее: «...в общественной жизни нет возврата к прошлому, это не клавиатура, на которой можно играть много раз одну и ту же песенку. Наша сила в одном — мы преобразуем общество и идем вперед! И...».

83

...

боев в районе Кантемировка .— Бои в районе Кантемировка (на юге Воронежской области, на Ростовском направлении; примерно в 70 км к северо-востоку — правый берег Дона) начались 26 июня 1942 г. и носили тяжелый характер. Участвовавший в них 17-й танковый корпус впоследствии был преобразован в 4-й гвардейский (а затем переформирован в дивизию) и получил почетное наименование Кантемировского.

84

В изд. 1954 г. далее:

«— И верно — удачно остановились».

85

Вместо этого фрагмента в изд. 1954 г.: «Высоко в небе прошли на запад советские скоростные бомбардировщики — должно быть, на бомбежку немецких аэродромов».

86

В этом эпизоде в ред. 1954 г. фигурирует не «пожилой красноармеец», а «крестьянин-беженец».

87

В изд. 1954 г. далее: «...на дальние подступы к Сталинграду...».

88

20 июля немецкие войска перешли в наступление .— Началом оборонительного периода Сталинградской битвы принято считать 17 июля, когда войска 6-й немецкой армии генерала Паулюса вошли в соприкосновение с войсками 62-й армии генерал-майора В. Я. Колпакчи и

64-й армии генерал-лейтенанта В. Н. Гордова на рубеже рек Чир и Цимла. Директива № 45 немецкого командования о наступлении на сталинградском направлении датируется 23 июля.

89

В изд. 1954 г. далее:

«Решительные меры Ставки Верховного Главнокомандования Красной Армии, усилившей советскую оборону крупными резервами и мощной техникой, тотчас же сказались».

90

Немецкие танки и мотопехота, прорвавшись в районе Верхнебузиновки, были задержаны сильным контрударом.— Контрудары 1-й и 4-й танковых армий Сталинградского фронта в районе хутора Верхняя Бузиновка (таково его правильное название), около 100 км западнее Сталинграда, были нанесены 27 июля.

91

В изд. 1954 г. далее:

«А в это время Верховное Главнокомандование Красной Армии выдвинуло новые, отлично обученные, резервные дивизии. В это время заканчивалось строительство обороны на ближних подступах к Сталинграду».

92

Демиевка — рабочий район на юго-западной окраине Киева, граничащий с Голосеевским лесом (см. коммент. 41).

93

В изд. 1954 г. далее: «...и деловое спокойствие».

94

...

вам надо было от оврага, Бабьего Яра, влево, а вы пошли к Подолу ~ мимо еврейского кладбища, по улице Мельника, потом по Львовской ...— Здесь Гроссман, проживший в Киеве в общей сложности около семи лет, не избежал топографических неточностей. Вступая в город с Черниговского направления (по улице Вышгородской) и свернув влево от оврага Бабий Яр (как подсказывает Крымову встречная женщина), пешеход, напротив, попадет скорее всего именно на Подол.

Улица Мельника — это искаженное название улицы Мельникова (названной по имени одного из организаторов марксистских кружков в Киеве в 1883 г., бывш. Большая Дорогожицкая); Львовская улица в 1926 г. (т. е. уже после переезда Гроссмана в Москву) получила название по имени революционера Артёма.

95

Командующий Юго-Западным фронтом с начала Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1940) Михаил Петрович

Кирпонос (1892—20.9.1941) после оставления Киева во время выхода из окружения был смертельно ранен.

96

В изд. 1954 г. далее:

«Но вся тяжесть мокрой земли была легка по сравнению с той, что легла на душу».

97

В изд. 1954 г. далее: «...и любви...».

98

В изд. 1954 г. далее: «В их терпении, в их мужестве, в их вере, в их способности смеяться посиневшими губами была его сила и его вера в коммунизм».

99

Шляпин. — С членом Военного совета 50-й армии Н. А. Шляпиным Гроссман познакомился в сентябре 1941 г. на Брянском фронте, куда был откомандирован редакцией «Красной звезды» (вообще, описываемые в этой главе события основываются на впечатлениях Гроссмана об этих поездках), и тогда же записал его рассказ о выходе в июле—августе из окружения в Белоруссии, сюжет которого лег в основу повести «Народ бессмертен» (1942). Несколько дней спустя, оказавшись в окружении, Н. А. Шляпин и командующий армией М. П. Петров (см. коммент. 102) погибли.

100

...вместе с генералом Болдиным, взломав немецкий фронт ...— Болдин Иван Васильевич (1892—1965) в первые месяцы войны — заместитель командующего Западным фронтом. Командуя группой войск, отрезанной от основных сил Западного фронта, успешно вывел ее из окружения. С ноября 1941 г. командовал 50-й армией, которая героически обороняла Тулу, участвовала в контрнаступлении под Москвой, в Курской битве, в освобождении Белоруссии и в Восточно-Прусской наступательной операции.

101

Вместо этого фрагмента в изд. 1954 г.: «...щей...».

102

Вскоре вошел в сарай командующий армией генерал-майор Петров ~ с Золотой Звездой на потертом генеральском кителе .— Михаил Петрович Петров (1898 — 10 октября 1941), участник Гражданской войны (ср. ниже: «А вы не помните, товарищ батальонный комиссар, командира кавалерийского взвода, которого вы в партию принимали <...> в двадцатом году?»). Золотой звезды и звания Героя Советского Союза М. П. Петров, участник гражданской войны в Испании 1936—1939 г., удостоен в 1937 г. В августе 1941 г. назначен командующим 50-й армией, 7 октября того же года — командующим Брянским фронтом. При выходе из окружения был тяжело ранен и умер 10 октября 1941 г., похоронен у деревни Голынка (Карачевский район Брянской области,— невдалеке от тех мест, где Крымов застал штаб фронта: «в лесу между Брянском и Карачевом»).

103

Петров сказал, что в двух местах части его армии форсировали Десну, заняли восемь деревень и вышли на Рославльское шоссе .— Сведения о контрударах 50-й армии во время Орловско-Брянской оборонительной операции в современной историографии не обнаружены.

104

В изд. 1954 г. в последующем эпизоде пребывания Крымова в штабе Брянского фронта реального персонажа — А. И. Ерёменко замещает анонимный «генерал-майор»; соответственно, отсутствуют фрагменты текста, характеризующие Ерёменко. Связанные с этим замены в тексте не обозначены.

105

В изд. 1954 г. далее:

«Серые рваные облака шли низко над землей, и куски синего неба казались холодными, недобрыми, как зимняя вода».

106

...

один из них генерал-майор, второй — дивизионный комиссар .— Скорее всего, имеются ввиду реальные исторические лица: генерал-майор, командующий — это Георгий Фёдорович Захаров (1897—1957), а дивизионный комиссар — член Военного совета фронта Пётр Иванович Мазепов (1900—1975). Судя по записным книжкам Гроссмана, с командованием Брянским фронтом он не встречался, а установить личности этих персонажей по другим источникам затруднительно, поскольку хронология смены командования Брянского фронта в октябрьские (1941 г.) дни весьма динамична и запутанна: на коротком отрезке времени в качестве командующего фигурируют и генерал-майор Г. Ф. Захаров, и упомянутый выше генерал-майор М. П. Петров, и генерал-полковник А. И. Ерёменко. В частности, Ставка, получив радиogramму о разгроме штаба фронта и посчитав Ерёменко погибшим, назначила командующим фронтом М. П. Петрова.

107

Вместо этого фрагмента в изд. 1954 г.: «...присаживаясь на скамейку, добавил: — Садись, садись, видимо, не весело тебе было, похудел очень,— словно видел Крымова и до окружения».

108

Гудериана встречал? Танки его видел? — Подготовка начавшегося 30 сентября генерального наступления немецко-фашистских войск на Москву предусматривала сосредоточение танковых соединений. В частности, оборона 50-й армии была сломлена 1 октября вследствие глубокого прорыва 2-й танковой группы Гейнца Вильгельма Гудериана (1888—1954), одного из пионеров моторизованных способов ведения войны, неоднократно достигавшего успеха путем прорыва и охвата танковыми клиньями,— как во время вторжения во Францию, так и на Восточном фронте (взятие Минска, Смоленска, «Киевский котел»).

109

Вместо этого фрагмента в изд. 1954 г.: «...армия Петрова завязала бой с крупными танковыми силами».

110

Орджоникидзеград — название г. Бежицы в 1936—1943 гг.; в 1956 г. объединен с г. Брянском.

111

В изд. 1954 г. далее:

«И здесь он видел будущих командиров партизанского народного войска: городских и сельских коммунистов, председателей колхозов, трактористов, колхозных конюхов, сельских учителей...»

112

Из стихотворения А. Н. Плещеева (1825—1893) «Скучная картина»:

Скучная картина!

Тучи без конца,

Дождик так и льется,

Лужи у крыльца...

Чохлая рябина

Мокнет под окном;
Смотрит деревушка
Сереньким пятном.

113

Барабинская степь — лесостепная равнина в южной части Западной Сибири, на Обь-Иртышском водоразделе, в пределах Новосибирской и Омской области.

114

Сапожковская площадь — площадь, расположенная у Троицких ворот Кремля, получила название в XXVII в. по трактиру «Под сапожком», который, в свою очередь, стал именоваться так по храму Николы с сапожком (на храмовой иконе святой Николай был изображен в одеянии, из под которого выглядывал носок его сапожка). Площадь впоследствии вошла в состав ул. Воздвиженки, превратившись в площадь без названия.

115

Катаяма Сэн (1859—1933) — деятель японского и международного рабочего движения, основатель и руководитель Коммунистической партии Японии.

Коларов Васил Петров (1877—1950) — деятель болгарского и международного рабочего движения, один из основателей и руководителей Болгарской Коммунистической партии.

Торез Морис (1900—1964) — деятель французского и международного рабочего и коммунистического движения. С момента образования Французской коммунистической партии (1920) стал одним из видных ее деятелей.

Тельман Эрнст (1886—1944) — деятель германского и международного рабочего движения.

116

В изд. 1954 г. далее:

«Все друзья-коммунисты знают, где Крымов,— он борется не только за себя, не только за русскую землю. Борьба идет за пролетарское дело во всем мире! Пусть друзья завидуют ему

— он русский коммунист.

Но чем больше он узнавал о зверствах гитлеровских армий, тем напряженней, тем с большей страстью искал он вокруг себя все, что можно противопоставить националистическому бешенству, охватившему Германию. Мысленно сзывал он своих друзей, немецких коммунистов, смотрел им в глаза, расспрашивал их».

117

...

наступление немцев от Орла на Мценск и Чернь задержано мощным ударом танкового соединения полковника Катукова ...— Это наступление маршевых танковых колонн противника вдоль шоссе Орел—Тула 4 октября было остановлено огневыми ударами из засад 4-й и 11-й танковых бригад, входивших в состав 1-го гвардейского стрелкового корпуса, которые вынудили немецкие танки сначала остановиться, а затем развернуться в боевой порядок. Не имея ясного представления о количестве наших танков и неся потери, часть танковых соединений врага повернула назад, а другая начала обходить позиции танковых засад с флангов. Короткие, но сильные контратаки ударной группы 4-й танковой бригады под командованием полковника М. Е. Катукова сорвали и этот маневр противника. Впоследствии Михаил Ефимович Катуков (1900—1976) — участник боев под Москвой, Курской битвы, освобождения Правобережной и Западной Украины, Польши, Висло-Одерской и Берлинской операций, дважды Герой Советского Союза.

118

В изд. 1954 г. далее: «...уходили на восток эшелоны, день и ночь...».

119

Каланчёвская площадь — название до 1932 г. Комсомольской площади, на которой расположены три вокзала: Ленинградский, Ярославский и Казанский.

120

В оригинале ошибочно: «...возите...».

121

В изд. 1954 г. далее:

«Вечером шестого ноября он слышал по радио речь Сталина.

В час, когда гитлеровские войска стояли у стен Москвы, Сталин уверенно и спокойно объявил о крахе гитлеровского плана молниеносной войны против советского народа, предсказал гибель гитлеровского государства. Он сказал о причинах отступления и временных неудачах Красной Армии, об отсутствии второго фронта, о временном преимуществе немцев в танках и авиации.

Сталин говорил о том, что Красная Армия ведет справедливую и освободительную войну, назвал лидеров гитлеровской партии и гитлеровского командования людьми, потерявшими человеческий облик, павшими до уровня диких зверей. Под бурные рукоплескания и крики «ура» он говорил о решимости, вызревшей в сердцах самого великодушного народа в мире. „Немецкие захватчики хотят иметь истребительную войну с народами СССР. Что же, если немцы хотят иметь истребительную войну, они ее получат“».

122

В изд. 1954 г. далее: «...и вспоминал парады прошлых лет, октябрьские и майские, веселые, возбужденные лица людей, спешащих с детьми к трибунам у Кремлевской стены.

Он пришел на трибуну и огляделся».

123

В изд. 1954 г. далее:

«Но чем суровой, чем угрюмой была картина этого темного утра, тем все же прекрасней и трогательней была она. И самое прекрасное — люди!»

124

В изд. 1954 г. далее:

«Внутреннее чувство Крымова с силой и ясностью рождало одно воспоминание, особенно дорогое и близкое ему. В дни гражданской войны, голода шли на Театральную площадь нестройные шеренги людей в шинелях и в кожаных куртках, в солдатских фуражках, кепках — рабочие полки, уходящие на польский фронт, отцы, дяди, старшие братья тех, что сегодня стояли перед Ленинским мавзолеем. И на наскоро сколоченном деревянном помосте — Ленин! Ленин, с открытой головой, подавшись вперед, приветствовал и напутствовал их! И множество глаз, взволнованных, напряженных, обращенных к нему...»

125

Вместо этого фрагмента в изд. 1954 г.: «Все замерло в тишине. Сталин оглядел построенные перед ним полки, высокие башни Кремля, посмотрел на темное небо.

Сталин приблизился к микрофону, заговорил. Издали Крымов с трудом мог разглядеть его лицо — туман и утренняя мгла мешали смотреть. Но неторопливые слова Сталина отчетливо доходили до него...

— Бывали дни, когда наша страна находилась в еще более тяжелом положении. Вспомните 1918 год, когда мы праздновали первую годовщину Октябрьской революции,— и он заговорил о том времени, о тех годах, которые только что вспоминал Крымов, заговорил о трудностях, об интервентах, о голоде, о нехватке оружия...

Сталин вспоминал трудные годы революционной борьбы народа, он о них думал, глядя на стены Кремля, на темное зимнее небо, на громадную, многовековую Красную площадь. И когда он, немного наклонившись вперед, произнес: „Дух великого Ленина вдохновлял нас тогда на войну против интервентов“, волнение перехватило дыхание Крымова.

А Сталин сравнивал положение народа, боровшегося за свою свободу в первую годовщину революции, с нынешним временем. Не повышая голоса, едва заметно наклоняя в такт словам голову, он сказал о нынешней силе советского народа, которая решит победоносный исход войны. Торжественно в тишине Красной площади прозвучали слова:

— Дух великого Ленина и его победоносное знамя вдохновляют нас теперь на Отечественную войну так же, как двадцать три года назад.

Он смахнул ладонью с лица снег тем же жестом, каким делали это стоявшие на площади красноармейцы, и, оглядев всю ширь Красной площади, спросил:

— Разве можно сомневаться в том, что мы можем и должны победить немецких захватчиков?

Крымов не первый раз слышал Сталина, но теперь, казалось ему, он особенно ясно понял, почему так просто, не применяя никаких ораторских приемов, говорит Сталин. „Его спокойствие,— подумал Крымов,— основано на том, что он убежден в разумности миллионов людей, с которыми он говорит, к которым он обращается“.

— Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, партизаны и партизанки! На вас смотрит весь мир, как на силу, способную уничтожить грабительские полчища немецких захватчиков. На вас смотрят поработанные народы Европы, подпавшие под иго немецких захватчиков, как на своих освободителей. Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. Будьте же достойными этой миссии! Война, которую вы ведете, есть война освободительная, война справедливая,— говорил Сталин, обращаясь к стоявшим на Красной площади.

Крымов гордился и радовался в эти минуты, что честно прошел через испытания войны. Он был коммунистом, и он гордился своими товарищами-коммунистами.

В тяжелые месяцы отступления эти боевые организаторы и духовные руководители вооруженного народа говорили: в этой войне надо знать не только тактику и уставы, в войне надо руководить душой человека... Мы участники справедливой, освободительной битвы...

Волнение людей на площади все росло...

Сталин заканчивал речь:

— Смерть немецким оккупантам!

Он произнес эти три слова быстрым, сильным, гневным и молодым голосом.

— Да здравствует наша славная Родина, ее свобода, ее независимость!

Под знаменем Ленина — вперед к победе!

Так закончил свою речь Сталин в день, когда гитлеровские полчища стояли под Москвой».

126

По-видимому, имеется ввиду командующий 95-й пехотной дивизией (потерпевшей тяжелое поражение под Ельцом) генерал-лейтенант Ганс-Генрих

Сикст фон Армин (1890—1952). Военная карьера генерала (в должности командующего 113-й пехотной дивизией) закончилась в Сталинградском котле, в связи с чем его фамилия (в варианте, который в немецких источниках считается ошибочным,— «Арним») встречается во второй части диалогии.

Как это часто бывает у Гроссмана (в особенности во второй книге диалогии), появление имен тех или иных исторических лиц на страницах книги связано с их отношением к еврейству. Так, по приказу Сикст фон Армина в июле 1941 г. были расстреляны 200 гражданских лиц (в основном, евреев). Вероятно, на его совести были и другие военные преступления, известные Гроссману, работавшему над составлением так называемой «Черной книги» — сборником свидетельств о холокосте, ибо генерал был осужден не украинскими органами правосудия, а военным трибуналом войск МВД Минской области и приговорен к 25 годам исправительно-трудовых лагерей; умер от паралича сердечной деятельности в режимном лагере военнопленных № 476 (г. Асбест, Свердловская область) в 1952 г.

Любопытно, что американский историк Брайен Марк Ригг в своей книге «Еврейские солдаты Гитлера» указывает на еврейское происхождение Сикст фон Армина.

127

...

освобожденных подмосковных городов: Рогачёва, ~

Сталиногорска ...— Имеется ввиду деревня (ныне поселок) Рогачёв

о в Дмитровском районе. Включение Рогачёва наряду с более крупными населенными пунктами во фронтовые сводки контрнаступления под Москвой (а затем и в военно-исторические хроники) обусловлено тем, что эта деревня была превращена противником в крупный опорный пункт.

Сталиногорск — название г. Новомосковска в 1934—1961 гг.

128

В изд. 1954 г. далее: «...прежде всего...».

129

В изд. 1954 г. далее: «Причины отступления и в том, что фашистская Германия неожиданно и вероломно нарушила пакт о ненападении».

130

В изд. 1954 г. далее: «...и отчасти...».

131

В изд. 1954 г. далее:

«В первые месяцы войны, несмотря на то, что советская танковая промышленность работала очень хорошо и вырабатывала немало превосходных танков, лучших по качеству, чем немецкие, немцы вырабатывали гораздо больше танков, ибо они имели в своем распоряжении не только свою танковую промышленность, но и промышленность Чехословакии, Бельгии, Голландии, Франции».

132

Вместо этого фрагмента в изд. 1954 г.: «Партия, ее Центральный Комитет, комиссары дивизий и полков, политруки рот и взводов, рядовые коммунисты организовывали боевую мощь, моральную силу Красной Армии. Партия вела в бой танковые корпуса и пехотные дивизии, большевики, Коммунистическая партия организовывали день ото дня великую оборону, ковали дисциплину, техническую выучку, боевое умение войск».

133

В изд. 1954 г. далее: «Эти мысли основывались на естественном и казавшемся в ту пору логическим взгляде — ведь и камни не могли остаться равнодушными к великим жертвам и страданиям народа, отстаивавшего свою независимость и свободу на залитой кровью,

горящей, истерзанной земле.

И пулеметчик, обвязанный окровавленным бинтом, на мгновение отрываясь от раскаленного пулемета, оглядывая подползающего к нему политрука воспаленными от бессонницы и пороховых газов глазами, спрашивал:

— Как там насчет второго фронта? Ничего не слышно?

А газета «Нью-Йорк таймс» публиковала в это время слова сенатора Гарри Трумэна: «Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России, а если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии и, таким образом, пусть они убивают как можно больше». А ведь и камни, казалось, не могли остаться равнодушными в эту тяжелую, страшную пору.

Если бы летом 1942 года американцы и англичане по-настоящему включились в борьбу и открыли второй фронт в Европе, война, вероятно, закончилась бы гораздо быстрее, и сотни тысяч, а может быть, миллионы жизней были сохранены.

Зимние победы Красной Армии создали предпосылки для быстрого разгрома немецко-фашистских войск при войне на два фронта.

Но люди, определяющие стратегию англо-американских вооруженных сил, во что бы то ни стало хотели, чтобы Советский Союз вышел из войны возможно больше ослабленный, обескровленный. «Пусть убивают как можно больше...»

Борьба советского народа с немецко-фашистскими захватчиками продолжалась один на один».

134

...

Цимлянская, Клетская, Котельниково — места, прилегающие к Сталинграду и слитые с ним .— Клетское находится в 120 км северо-западнее Сталинграда, Котельниково — примерно в 140 км на юго-запад. Немного далее (и уже за пределами Сталинградской области, на правом берегу Дона) расположено Цимлянское.

135

Зимовники — поселок в Ростовской области; как и Котельниково, находится на железнодорожной линии Сталинград—Тихорецкая.

136

В изд. 1954 г. далее: «...не ведающим страха и счастья страстей».

137

Чехонинские чашки .— Чехонин Сергей Васильевич (1878—1936) — российский живописец и график; занимался росписью по фарфору. Один из создателей «агитационного фарфора» с росписями на революционные мотивы.

138

Барбюс Анри (1873—1935) — французский писатель и общественный деятель, член Французской компартии. Участник Первой мировой войны, автор антивоенных романов «Огонь» и «Ясность».

139

Буш Эрнст (1900—1980) — немецкий певец (баритон) и драматический актер; выдающийся пропагандист революционной песни, антифашист.

140

В изд. 1954 г. далее: «...была охвачена общим торжественным чувством. Она...»

141

В оригинале ошибочно: «...взошло...».

142

Г. Г е й н е. Книга песен (1927).

143

Слова Онегина (А. С. Пушкин. Евгений Онегин. Гл. 4, XIV).

144

Хользунов Виктор Степанович (1905—1939) — командир эскадрильи бомбардировщиков в войсках республиканской Испании, Герой Советского Союза, уроженец Царицына (впоследствии Сталинград).

145

Искаж. слова из рождественского христианского гимна «Тихая ночь, дивная ночь» (1818), одного из самых известных и широко распространенных по всему миру рождественских песнопений (текст викарного священника церкви святого Николая Йозефа Мора, музыка органиста Франца Грубера).

146

Тристан и Изольда — легендарные персонажи французского рыцарского романа о трагической любви рыцаря и жены корнуэльского короля, о конфликте между чувством и долгом. Роман известен с XII в. в многочисленных вариантах на основных западноевропейских языках.

147

В изд. 1954 г. далее: «Но и наша артиллерия наворотила их. Противотанковые артиллерийские полки, «иптап» называются. Немецкие танки пойдут тучей, рванут вперед, а «иптап» уж перед ними стоит! Огонь страшный от нашей пушки! Дорого немцу это дело обходится. Но и нам, скажу, не даром!»

148

Государственный Комитет Оборона — созданный 30 июня 1941 г. чрезвычайный орган, получивший всю полноту партийной и государственной власти в стране.

149

Кинофильм «Леди Гамильтон» (Великобритания, 1941) — историческая мелодрама, один из шедевров кинематографа 40-х годов. Адюльтерный сюжет этой киноленты, повествующей о любви адмирала Нельсона и провинциальной красавицы Эммы Гамильтон, в некотором смысле ассоциируется с историей Штрума и Нины.

150

Вместо этого фрагмента в изд. 1954 г.: «...взял ее за руку».

151

В изд. 1954 г. далее: «Войска Красной Армии проявили железную стойкость».

152

МТС — машинно-тракторная станция,— государственное предприятие, в котором сосредотачивались сельскохозяйственные машины для обслуживания колхозов.

153

В изд. 1954 г. далее: «...— первый хозяин, восемь лошадей держал, четыре батрачки зимой и летом на него работали —...»

154

Каймак (м е с т н.) — здесь: сыр из топленого молока.

155

...

на станции Дно ...— Долгое время считалось, что отречение Николая II от престола состоялось во время остановки царского поезда на станции Дно (эта версия упоминается

также, в частности, в «Белой гвардии» М. Булгакова). На самом деле отречение произошло на следующий день во Пскове.

156

Вместо этого фрагмента в изд. 1954 г.:

«На полу лежали уложенные вещи. Чернобородый широколобый человек, видимо отец женщины, сидевшей у окна, укладывал в мешок шубы, валенки.

— Когда едете? — спросила молодая, приведшая Крымова.

— На рассвете завтра,— ответил чернобородый и махнул рукой.— Твои-то, небось, не едут?

— Да ну их, пауки, какие они мои. День у них прожила, не дождусь завтрава, чтобы уехать. И ребенок такого у них наслушался за этот день, что за всю жизнь не слышал.

Чернобородый завязал мешок, распрямился, оглядел комнату.

— Ну, вроде все,— и добавил: — На переправе, верно, придется побросать имущество. Все равно — решил. Пешком пойдем, не останемся под германом.

Пожилая женщина с заплаканными глазами накрыла на стол и сказала:

— Ну, что ж, садитесь. Поужинаем у себя дома в последний раз. Садитесь и вы с нами, товарищ военный.

Чернобородый был, видимо, пьян. От вина и духоты, стоявшей в протопленной комнате с завешенными окнами, со лба на глаза ему набегал пот, он его снимал то рукавом, то ладонью.

Ходил он тяжело, словно откованный грубыми, сильными руками деревенского кузнеца, и при каждом шаге его вздрагивал стоящий у стены шкаф и дребезжала посуда на столе.

Садясь за стол, он сказал Крымову:

— Эх, ребята, не удержали вы Дона, наделали вы нам делов. Разорение всего народа!

А молодая, приведшая Крымова, все смотрела на него, и он то и дело замечал ее печальный и суровый спрашивающий взгляд.

— Спой нам, Анюта,— сказала она, обращаясь к подруге.

— Что ты, какое пение,— ответила та.

— Спой, Анюта, старинную песню, сердце болит, спой, легче будет! — сказал чернобородый.

— Правда, спойте,— попросил Крымов.

Анюта усмехнулась, вздохнула, поправила волосы, кофточку, положила руки на стол, посмотрела на завешенное окно и запела. Молодая стала негромко помогать ей, с серьезным лицом, бережно, внимательно...

Заглушавший всех в разговоре чернобородый едва слышно подпевал, старательно,

по-школьному кося глазами на звенящую голосом, запевавшую дочь».

157

...

увидеть Волгу во всем ее течении от сокровенных ручьев Селигера ...— На самом деле исток Волги с озером Селигер не связан. Вытекающая из Селигера р. Селижаровка впадает в Волгу примерно в 100 км от истока последней.

158

В изд. 1954 г. далее глава:

«Ночью, приведя дивизион в Сталинград, Крымов пошел на квартиру к командиру бригады...

— Ну как, ждали меня, наловили волжских стерлядей, ухой угостите? — спросил Крымов.

Но командир бригады, любивший шутки и поддерживавший в разговорах с комиссаром насмешливый тон, на этот раз даже не улыбнулся.

— Читайте, товарищ комиссар,— сказал он и вынул из планшета вдвое сложенный лист папиросной бумаги.

То был приказ Сталина.

Крымов читал слова, обращенные к отступающей армии. Они звали к суровой борьбе, они говорили о смертельной опасности, они гласили, что дальнейшее отступление — это гибель и, значит, нет высшего преступления в мире, чем отступление: судьба страны и народа, судьба мира решаются в эти дни.

В этих словах были не только скорбь и гнев, в них была вера в победу...

— Вот, сказано слово,— проговорил Крымов и обеими руками взял со стола приказ, передал командиру бригады. Ему показалось, что тревожно и гулко ударил набатный колокол».

159

...

недалеко от Николаевки ...— По-видимому, имеется ввиду поселок Николаевский (ныне г. Николаевск), расположенный в 200 км к северо-востоку от Сталинграда.

160

Вместо этого фрагмента в изд. 1954 г.: «Нерушимо присуща нашим людям мера советской морали, убежденность в человеческом праве на трудовое и национальное равенство. Ее...»

161

Вместо этого фрагмента в изд. 1954 г. (дополнения взяты в угловые скобки):

«Выгребая против тугого течения быстрой реки, <слыша веский глухой удар поваленного дубового ствола, от которого вздрагивает листва молодого подростка,> оглядываясь на вспаханное поле, на высокие скирды хлеба, глядя на гору выброшенного из траншеи торфа, слушая звенящий треск лопнувшего под давлением вогнанного клина суковатого плечистого бревна, <разглядывая десятки мощных ременных корней вывороченного пня,> меря глазом глубину ямы, длину канавы, прямую высоту возведенной стены,— всегда испытывал он одновременно спокойное и стыдливое чувство своей силы. Труд был одновременно и тяжестью и <главной> радостью его жизни. Этот постоянный труд щедро и каждодневно вознаграждал его тем, чем богаты ученые, <полководцы,> художники, реформаторы жизни,— напряжением борьбы, удовлетворением победы.

В годы колхозной жизни ощущение своей личной силы, своего умения слилось с ощущением единства силы народа и <величия> той доброй цели, которую ставил себе всенародный труд. В дни общей колхозной пахоты, в дни жатвы и молотбы Вавилов чувствовал то новое, что было внесено в жизнь размахом колхозной работы. От края до края широкого поля трудились десятки и сотни людей. Гул автомобилей, рев тракторов, мерное движение <мощного> комбайна, усилия трактористов, шоферов, бригадиров — все сливалось в <едином,> направленном к одной цели, общем <и разумном> труде. Все эти десятки и сотни рук — девичьих, мужских, старушечьих, одни темные от загара, другие темные от машинного масла, вместе <напряженно и дружно преодолевали огромность работы,> поднимали пласты земли, скашивали, обмолачивали колхозное поле. И всякий работающий чувствовал свою силу в <живой,> трудовой связи, объединявшей волю, умение, сноровку каждого отдельного колхозника <во всенародной воле,> сноровке труда».

162

В изд. 1954 г. далее: «Она велась не только на учениях, в политбеседах, на стрельбах и в боевых перебежках. Она велась каждодневно и ежечасно...»

163

В изд. 1954 г. далее:

«И эта наука — чувство войны — была важной, значительной, полной смысла для умов и сердец; такой важной, такой значительной, что люди часто не отдавали себе в этом отчета».

164

Гебитскомиссар в структуре оккупационных властей — глава округа.

165

Вместо этого фрагмента в изд. 1954 г.:

«9 августа Сталин дал директиву командующим фронтами: «Оборона Сталинграда и разгром врага, идущего с запада и юга на Сталинград, имеет решающее значение для всего нашего Советского фронта. Верховное Главнокомандование обязывает вас не щадить сил и не останавливаться ни перед какими жертвами для того, чтобы отстоять Сталинград и разбить врага».

Верховный Главнокомандующий подчинил Сталинградский фронт генералу Ерёменко. Членом Военного совета Сталинградского фронта был назначен Хрущёв».

166

В изд. 1954 г. далее: «Сталинградский час был часом великого праздника победы, предсказанного Сталиным народу и армии».

167

В изд. 1954 г. далее:

«Огромна была мощь накопленных Верховным Главнокомандованием резервных дивизий и армий, мощь моторов, артиллерийских стволов, потенциальная мощь авиационных бомбовых и штурмовых ударов».

168

«Светлый путь» — жизнеутверждающая советская музыкальная кинокомедия 1940 года о работающей девушке, которая прошла светлый путь от золушки до передовика труда, о необыкновенных для трудового человека возможностях в стране Советов.

169

В тесной подземной приемной командующего Сталинградским фронтом генерала Ерёмenko ...— Описываемая здесь встреча журналистов со штабным командованием датируется автором не позже 5 августа (см. ниже: присутствующий на ней «Болохин ощутил, насколько ошибочны были его представления о начавшемся утром 23 июля крупном наступлении северо-восточной и юго-западной немецких армий», и «в штабе совсем по-иному оценили результат этих

почти двухнедельных (курсив мой.—

L .)... боев»). Однако к этому времени у Сталинградского фронта был другой командующий: 5 августа Ставка разделила Сталинградский фронт на два фронта: Сталинградский — под командованием генерал-лейтенанта В. Н. Гордова (который ранее, 22 июля, был назначен командующим еще единого Сталинградского фронта вместо С. К. Тимошенко, находившегося в этой должности со дня создания фронта —12 июля), и Юго-Восточный — под командованием генерал-полковника А. И. Ерёмenko. Ход событий показал, что разделение фронта в момент напряженных боев было неправильным, и уже 10 августа Сталинградский фронт был переведен в оперативное подчинение, а 13 августа полностью подчинен командующему Юго-Восточным фронтом генерал-полковнику А. И. Ерёмenko.

170

В изд. 1954 г. в следующей ниже сцене встречи журналистов с командованием фронта Ерёмenko заменен неким генерал-майором Рыжовым.

171

В изд. 1954 г. далее:

«Рыжов — небольшого роста седеющий человек,— судя по бронзово-красному загару, больше времени проводил под степным солнцем, чем в штабных кабинетах.

— Простите, товарищи, задержал вас,— сказал он,— сами понимаете: вызвал командующий, Военный совет».

172

В оригинале ошибочно: «...Андреаполем...». Имеется ввиду село в Перевальском районе Луганской области.

173

...

о бое на семьдесят четвертом километре ...— В ходе наступления соединений 4-й танковой армии противника против левого фланга 64-й армии, начавшегося утром 6 августа, немецкие танки не раз прорывались в глубину ее обороны, однако во взаимодействии с соединениями 57-й армии войска 64-й армии встречными контратаками отбрасывали противника на исходные позиции. Разъезд «74-й километр» неоднократно переходил из рук в руки.

174

Бубнов Николай Матвеевич (1904 — 2 августа 1943) — полковник, в ходе Сталинградской битвы — командир 133-й отдельной танковой бригады, впоследствии Герой Советского Союза (посмертно). Погиб в Курской битве. Опыт боевых действий танковой бригады в обороне Бубнов обобщил в статье «Танковые бои под Сталинградом», опубликованной 27 сентября 1942 года в газете «Красная звезда».

175

Единственный источник сведений об

Утвенко в записных книжках Гроссмана — слова члена Военного совета 62-й армии К. А. Гурова: «Лучшая из всех дивизия Утвенко. Она шла на „свежего противника“».

176

Сарепта — название Красноармейска (см. коммент. 25) до 1920 г. (с 1931 г. в черте Сталинграда).

177

...

воевал еще в восемнадцатом году под Бекетовкой .— Бекетовка — пригород Царицына, куда белоказаки армии генерала Краснова прорвались в во время обороны Царицына советскими войсками (1918—1919).

178

В изд. 1954 г. далее: «...потому что причиной и основой счастья является вдохновение борющихся за свободу, а...».

179

Вместо этого фрагмента в изд. 1954 г.: «...щучьими глазами».

180

Вместо этого фрагмента в изд. 1954 г.: «Покинув Москву, Ида Семёновна сперва жила у брата, потом работала в Казахстане, потом на Урале, а Серёжа поселился у бабушки».

181

Осоавиахим (Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству) — массовая общественно-политическая организация граждан Советского Союза, существовавшая в 1927—1948 гг.

182

Вместо этого фрагмента в изд. 1954 г.: «Один паренек подрался с товарищем во время игры в футбол — наставил ему синяков».

183

В оригинале ошибочно: «...замечательнее...».

184

Вместо этого фрагмента в изд. 1954 г.: «А дверь уже открылась, и в комнату вошел сидящий генерал, с лицом, бронзовым от загара. Это был представитель командования фронта генерал Рыжов». В следующем ниже эпизоде совещания в обкоме вместо Ерёменко также действует Рыжов.

В изд. 1954 г. реплике генерала предшествуют слова автора:

«Генерал говорил о тяжелом положении на фронте не общими словами, а совсем особым, точным языком военного человека.

Он говорил обо всем этом не „вообще“, а конкретно, потому что грозное и тяжелое положение на заводах, в городе, на Волге было соединено и связано именно со Сталинградским фронтом.

Положение на фронте! Генерал говорил с той откровенной резкостью, которую определяла и которой требовала война. Перед жестокой действительностью могла жить одна лишь правда, такая же жестокая, как и действительность».

В изд. 1954 г. далее: «...заселили две тысячи двести новых домов рабочими семьями, сто пятьдесят двухэтажных школ построили в области...».

В изд. 1954 г. далее: «Будущее у судьбы вырывали, строили институты и библиотеки! Россию подняли! Мыслью, взором не охватить огромность нашей работы».

В изд. 1954 г. далее:

«Вот, Николай, выдвинули меня на работу в обком, собрался я уходить из своего района, где долгие годы поработал. Вышел я как-то из райкома и пошел пешком до города, долго шел, полдня, наверно. И вот, понимаешь ли, иду я час и другой, иду по нашей земле, по нашей жизни. Как-то собралось все вместе — и заводы, и огромные, на километры цеха, и десятки, сотни новых домов, и новые улицы, и новые площади, и бульвары, и скверы, и сады, и асфальтированные дороги. И я вот иду, иду и час и два, и вижу, чувствую всей душой, всем сердцем своим понимаю,— ведь партия, партия наша дышит, живет во всем этом — и в этих садах, и в этих цехах, и в жарких этих заводских печах. Она начинала! Она была запевалой, она подняла миллионы людей, она всколыхнула старую Россию, она повела тракторы на поля, повела борьбу за коллективный крестьянский труд.

Вот, мыслимо ли, Николай, себе представить старую, дореволюционную русскую армию, миллионы малограмотных и неграмотных солдат, управляющих сложнейшими машинами, приборами, орудиями современной войны. Учителя и учительницы в сельских и городских семилетках и десятилетках подготовили наших танкистов, бомбардиров и наводчиков,

башенных стрелков, механиков-водителей, наших радистов, пилотов, штурманов... Нет, Николай, то, что в нашей кузнице большевистской отковано, того металла, что большевики ковали, никто не разобьет. Нет такой силы!»

189

В оригинале ошибочно: «...фронте...». Исправлено по изд. 1954 г.

190

Строфант — настойка из семян одноименного растения, употребляемая в медицине как средство при сердечных болезнях.

191

Солнцем палимые (иносказательно о тех, чьи расчеты не оправдались) — перефразировка слов из стихотворения «Размышления у парадного подъезда» (1858) Н. А. Некрасова (1821—1877):

И захлопнулась дверь. Постояв,
Развязали кошли пилигримы,
Но швейцар не пустил, скудной лепты не взяв,
И пошли они солнцем палимы,
Повторяя: «Суди его бог!»,
Разводя безнадежно руками,
И, покуда я видеть их мог,
С непокрытыми шли головами...

192

Екатеринослав — название г. Днепропетровска до 1926 г.

193

Чкалов — название г. Оренбурга в 1938—1957 гг.

194

...

командир немецкой гренадерской дивизии генерал Веллер ...— Франц Веллер — по-видимому, лицо вымышленное; реальный Отто Вёллер — начальник штаба группы армий «Центр».

195

...

он развращен легким успехом: Белград, Африка .— Во время гитлеровского вторжения на Балканы весной 1941 г. 8-й авиационный корпус Вольфрама фон Рихтгофена (см. о нем и в связи с Африкой коммент. 47) совершил налет на Белград, применив «ковровое бомбометание», практиковавшееся авиацией под его командованием еще при уничтожении Герники (Испания) в 1937 г.

196

...

Зепп Дитрих, Роммель и вот этот Рихтгоффен ...— принадлежали к числу наиболее известных генералов вермахта и фаворитов Гитлера.

Йозеф («Зепп»)

Дитрих (1892—1966), участник «ночи длинных ножей» (уничтожения по приказу Гитлера руководства штурмовых отрядов НСДАП в 1933 г.), во время Второй мировой войны — командующий 1-й дивизией СС «Адольф Гитлер»,— убежденный нацист; после Второй мировой войны был осужден как военный преступник.

Военачальник Эрих

Роммель (1891—1994) приобрел репутацию национального героя Третьего рейха в результате тактически блестящих, но зачастую авантюрных и не всегда успешных операций, осуществленных им во Франции (1940) и в Северной Африке (1941—1943). См. также коммент. 214.

О

Рихтгофене см. коммент. 195.

197

Вейхс Максимилиан фон (1881—1954) — с июля 1942 г. командующий группой армий «Б» вермахта.

198

Браухич Вальтер фон (1881—1948) — генерал-фельдмаршал; с 1938 г. — главнокомандующий сухопутными войсками вооруженных сил Германии. Участвовал в разработке и осуществлении планов войны на Западе и против СССР. После провала наступления на Москву (1941) уволен в запас.

199

...

о наркомании ~ Геринга ...— Раненый при подавлении мюнхенского путча в 1923 г., Геринг бежал за границу. Из-за позднего начала лечения его раны плохо заживали. В течение двух лет он принимал морфий и стал им злоупотреблять.

200

...

о подозрительном происхождении его железного креста .— Версия о том, что в Первую мировую войну Железный крест I степени Гитлер получил за захват в плен вражеского офицера и 15-ти солдат, и по сей день подвергается сомнению.

201

В изд. 1954 г.: «...фанатическом мужестве...».

202

...

в ~ Зальцбурге, Берхтесгадене ...— У читателя романа в издании 1954 г., не знакомого с отсутствующими в нем главами (эти главы впервые опубликованы в изд. 1956 г. и описывают встречу Гитлера с Муссолини в Зальцбурге), но знающего историю Третьего рейха, не без оснований складывается впечатление, что имеется ввиду не австрийский город Зальцбург, а прилегающая к горе Оберзальцб

е рг одноименная курортная местность в Верхней Баварии. Там находилась резиденция Гитлера Бергхоф, а также виллы Бормана, Геринга и ряд других объектов. Именно Оберзальцберг, а не Зальцбург стал средоточием и символом внешней политики Третьего рейха, поскольку сюда совершали визиты видные европейские (и не только) политические деятели. Значительно ниже Оберзальцберга, на расстоянии 5—6 км от него, находятся долина и городок Берхтесгаден; последний зачастую ассоциируют с резиденцией Гитлера.

203

Бос ,

Субхас Чандра (1897—1945) — один из лидеров Индийского движения за независимость. Для борьбы с английскими колонизаторами пошел на сотрудничество с немцами, а затем с японцами, возглавив так называемый Индийский легион в составе вермахта (затем — войск СС), воевавший против англичан как в Европе, так и в Бирме.

204

Гаулейтер (га?уляйтер, н е м. Gauleiter) — лицо, осуществлявшее всю полноту партийной и административной власти в административно-территориальной единице Германии или захваченной ею территории.

205

Минотавр (г р е ч., от соб. им. Минос и ??????? — бык) — баснословное чудовище, получеловек и полубык, принадлежавшее царю острова Крита Миносу, который держал его в лабиринте и кормил мясом юношей и дев, получаемых в дань.

206

В изд. 1954 г.: «...и голод...».

207

...

приближаясь к зданиям правительственного района со стороны Фридрихштрассе либо Шарлоттенбурга ...— т. е. с охраняемых направлений, по которым мог приезжать сюда прибывший самолетом из своей резиденции в Баварских Альпах или из главной ставки в Восточной Пруссии в Берлин Гитлер и отправляться обратно. Фридрихштрассе, основная магистраль Берлина в направлении север — юг, находится в нескольких кварталах восточнее правительственного района, в котором располагалась новая Рейхсканцелярия и бункер Гитлера. На нее выходят подъезды к правительственному району от аэродромов Тегель (на северо-западе) и Темпельхоф (на юге). Расположенный к западу от правительственного района Шарлоттенбург находится на направлении к аэродромам Гатов и Штаакен.

208

Hakenkreuz — дословно: кровавый крест (н е м.); свастика.

209

Лоу Дэвид Александр Сесил (1891—1963) — популярный в 30—40-е гг. XX в. художник — мастер политической карикатуры. Будучи уроженцем Новой Зеландии, Лоу на протяжении многих лет жил и работал в Великобритании. Беспощадно высмеивал личности и политику Гитлера, Муссолини, Сталина и др.

210

Кукрыниксы — псевдоним творческого коллектива графиков и живописцев М. В. Куприянова, П. Н. Крылова и Н. А. Соколова,— художников-сатириков, получивших широкую известность благодаря работам, созданным в годы Великой Отечественной войны, сочетающим в символически-обобщенных образах убийственный сарказм и героизм.

211

...

«тайного еврейства» Рузвельта ...— Пришедший к власти в годы подъема антисемитских настроений в США, Ф. Рузвельт не только не афишировал своих еврейских корней, но и в

проводимой им политике всячески дистанцировался от еврейского вопроса, стремясь избежать возможных упреков в превалировании еврейских интересов в политическом курсе страны.

212

...

михельские ~

проекты .— Михель у немцев — дурак, простофиля; остолоп, увалень. Прозвище происходит от имени простака — слуги Зигфрида, героя германской и скандинавской мифологии.

213

...

участников митинга в Спорт-Паласе .— Имеется ввиду берлинский Дворец спорта (построен в 1910 г., снесен в 1973 г.) — многоцелевой конференц-зал, известный по выступлениям на митингах нацистских деятелей, в частности Гитлера и Геббельса.

214

...

это Средиземноморский театр — Киренаика, Египет; он мельком заметил отмеченные карандашом Мерса-Матрух, Дерну, Тобрук .— Киренаика — историческая область в Ливии (тогдашней итальянской колонии), с территории которой разворачивались военные действия сначала итальянских, а затем немецко-итальянских (с участием немецкого экспедиционного корпуса под командованием генерала Э. Роммеля) войск в ходе Северо-Африканской кампании, имевшей целью взятие под контроль в соседствующем с Киренаикой на востоке Египте британской военно-морской базы в Александрии и Суэцкого канала. В целом военные действия на этом театре характеризовались неоднократными попеременными успехами противоборствующих сторон, в центре которых находился

Тобрук (в Киренаике). Египетский город

Мерса-Матрух (в 200 км от границы с Ливией) был занят в результате очередного наступления немецко-итальянских войск 28 июня 1942 г., которые затем, к 30 июня, достигли рубежа Эль-Аламейна — последнего крупного населенного пункта в направлении на Александрию. Однако 4 июля 1942 г. Роммель был вынужден отказаться от продолжения наступления, нуждаясь в пополнении сил и средств, но не получил его, поскольку почти все имевшиеся в Германии стратегические резервы были брошены на советско-германский фронт. Появление в ряду этих топонимов присредиземноморской Дерны, расположенной к западу от Тобрука, вблизи которой находилась немецко-итальянская авиабаза, можно

пояснить, пожалуй, лишь ее известностью по пропагандистским фотоснимкам репортеров «Ассошиэйтед пресс» (напр.: «Британские солдаты рассматривают портрет Муссолини. Дерна, Ливия, 3 февраля 1941 г.»).

215

События на Сингапуре. — Результатом военных действий в феврале 1942 г. явилась крупнейшая капитуляция британских войск в истории. Во время Второй мировой войны Сингапур являлся символом мощи Запада на Дальнем Востоке.

216

...

Гальдер ~ старым военным придется искать иных занятий ...— Франц Гальдер (1884—1972) — в 1938—1942 гг. начальник Генерального штаба сухопутных войск, руководил разработкой планов фашистской агрессии. В связи с неудачами на Восточном фронте осенью 1942 г. отстранен, а в январе 1945 г. уволен в отставку.

217

...

самолет ~ вдруг резко изменил курс ~ здесь шло секретное военное строительство. — Лагерь уничтожения Треблинка II в Варшавском воеводстве был построен весной 1942 г. В очерке «Треблинский ад» (1944) Гроссман пишет: «Существование этого лагеря должно было, по замыслу Гимmlера, находиться в глубочайшей тайне, ни один человек не должен был живым уйти из него. И ни одному человеку не разрешалось приблизиться к этому лагерю. Стрельба по случайным прохожим открывалась без предупреждения за один километр. Самолетам германской авиации запрещалось летать над этим районом».

218

...

скептицизмом Браухичей, Гальдеров, Рундштедтов ...— О Браухиче см. коммент. 198, о Гальдере — коммент. 216; оба были противниками гитлеровской агрессивной политики. Генерал-фельдмаршал Герд фон

Рундштедт (1875—1953), также с самого начала возражавший против нападения на СССР, был, тем не менее, назначен командующим группы армий «Юг» и пребывал в этой должности до 28 ноября 1941 г., когда его войска оставили Ростов-на-Дону.

219

...

сомнениями Муссолини в умственном превосходстве партнера ...— Еще в 1934 г. Муссолини заявлял: «...если немцы хотят избежать непростительных ошибок, то они должны смириться с тем, что правильный путь указывать им буду я. Нет никаких сомнений, что в политике я разбираюсь лучше, чем Гитлер...»

220

...

посмеивались над армейскими порядками, над невежеством новых фельдмаршалов и командующих армиями ~ Госпожа Роммель и госпожа Модель ~ пожелай жена фельдмаршала дружить с женой полковника ... — Роммель (см. коммент. 196) и Вальтер

Модель (1891—1945) принадлежали к числу наиболее успешных военачальников вермахта. Звание генерал-фельдмаршала было присвоено Роммелю 22 июня 1942 г.,— накануне описываемых событий. Модель впервые был назначен на пост командующего армией в январе 1942 года, а звание генерал-фельдмаршала получил 1 марта 1944 года.

221

Гауптман Герхарт Иоганн Роберт (1862—1946) — немецкий драматург, лауреат Нобелевской премии по литературе за 1912 г. Оставшись в Германии после 1933 г., не высказывал своего отношения к национал-социализму и был официально признан живым классиком; его пьесы ставились в нацистской Германии, поэтому политические воззрения Гауптмана продолжают вызывать споры.

222

Келлерман Бернхард (1879—1951) — немецкий писатель. Приветствовал Великую Октябрьскую социалистическую революцию и Ноябрьскую революцию 1918 г. в Германии. В годы фашизма оставался в Германии. Романы этих лет написаны в духе критического реализма. После 1945 г. — активный участник демократического обновления немецкой культуры.

223

После прихода к власти нацистов начались гонения против неугодных ученых, вследствие чего в 1933 г. Эйнштейну пришлось переехать в США; Планк же Германии не покидал.

224

«Völkischer Beobachter» («Народный обозреватель») — немецкая газета, с 1920 года — печатный орган Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП).

225

В оригинале ошибочно: «...Германия...».

226

...

стратегия шлиффеновских молниеносных ударов ...— Автор разработанного к 1905 году плана ведения войны Германией на два фронта против Франции и России, начальник германского генерального штаба Альфред фон Шлиффен (1833—1913) развивал теорию окружения и уничтожения противника путем молниеносного сокрушительного удара по его флангам (или одному из них) с последующим выходом в тыл. Стратегические взгляды Шлиффена оказали большое влияние на формирование военной доктрины Германии в Первой и Второй мировой войнах.

227

В изд. 1954 г. далее: «...и в детсад не хочет, только с матерью.

— На всех предприятиях люди про себя забывают в такое время,— сказала седая женщина.— Надо людям по возможности облегчить тяжесть, что на себя взяли. Вот Тихомиров, на номерном, организовал отоваривание карточек у входа в цеха, после работы, перед работой и в перерыв — быстро, без шума, без очередей, и людям большое облегчение».

228

В оригинале ошибочно: «...народ...».

229

Райгород — см. коммент. 53.

230

В изд. 1954 г. далее: «...Молотов...».

Молотов — название г. Перми в 1940—1957 гг.

231

В оригинале ошибочно: «Милый...».

232

В оригинале ошибочно: «...хрястнула...» (хрястать — есть, громко жуя или хрустя).
Исправлено по изд. 1954 г.

233

В изд. 1954 г. далее: «Чья-то мысль, чьи-то трудовые руки продолжали упрямо борьбу и работу, и этот свет в подвале с полузасыпанным выходом радостно потряс каждого человека, ощутившего живую связь, объединившую его с несметным числом советских людей. В этот миг они уж не были замершей в тоске толпой, они ощутили себя частью сильного, непобедимого народа...»

234

В изд. 1954 г. далее: «Она ощутила, как круг любви, дружбы в этот миг стал широк, и ей хотелось закрыть своим телом не только своих близких, но всех людей в Сталинграде, казавшихся ей братьями».

235

В изд. 1954 г.: «...видимость...»

236

В изд. 1954 г. далее:

«Пусть же сохранится и будет передана грядущему простодушная мера ценности и значимости человека, откованная в честной кузне трудовой советской демократии».

237

В оригинале ошибочно: «...продолжена...».

238

В изд. 1954 г. далее: «...состояние, подобное вдохновению. Дело было не только в решимости отдать свою жизнь, дело было в страстном, трудовом порыве вложить с наибольшим смыслом все свои силы в борьбу».

239

В изд. 1954 г. далее:

«Красноармеец, слышавший разговор комиссара с заряжающим, ответил:

— Оттягиваться, товарищ комиссар, некуда, надо подтягиваться».

240

В изд. 1954 г. далее:

«Труд советского народа и его армии, организующая воля Коммунистической партии подготавливали остановку чугунного, весящего миллионы тонн колеса войны, катившегося с

запада на восток по советской земле».

241

Федоренко Яков Николаевич (1896—1947) в 1940—1942 гг. занимал должность начальника Автобронетанкового управления Красной Армии; был представителем Ставки Верховного Главнокомандования в Московской, Сталинградской и Курской битвах и многих других крупных операциях.

242

Хрулёв Андрей Васильевич (1892—1962) — советский военный и государственный деятель. С августа 1941 г. — зам. наркома обороны СССР — начальник Главного управления тыла Красной Армии, с марта 1942 г. одновременно нарком путей сообщения СССР.

243

...

о зольности солярки ...— Зольность топлива — количество золы, остающееся после полного его сгорания. С увеличением зольности уменьшается теплота сгорания топлива и увеличивается его расход.

244

В изд. 1954 г. далее: «В воздухе он по-прежнему напористо и устремленно думал о том же, о чем думал на земле, в ночных канцеляриях и приемных, в бессонных кабинетах, ярко освещенных сухим электрическим светом».

245

В изд. 1954 г. далее: «...ватага ребят, взбирающаяся на курящуюся серо-голубым сернистым дымком глеевую гору, вспомнилось то чувство, с которым он глядел с вершины этой горы на лежащий внизу шахтный копер, на темно-красный дым, подобно жерновам, крутящийся над кауперами доменных печей, на волнистую степь в тумане, пыли, заводском дыму».

В изд. 1954 г. далее:

«И во все дни своего пребывания на уральском заводе Виктор Павлович остро ощущал и чувствовал, что его мысли, его знания — все это принадлежало заводу, служило ему, имело смысл и ценность лишь оттого, что понадобилось заводу. И именно здесь, где он, забыв о том, что было содержанием его каждодневной жизни, все силы свои напрог для службы заводу, именно здесь Штрум просто и ясно почувствовал, насколько важна, душевно необходима эта возникшая у него связь с десятками трудовых людей».

247

В изд. 1954 г. далее: «И, очевидно, Кореньков крепко вошел в жизнь завода, так как Штруму часто приходилось слышать: „А ты посоветуйся с Кореньковым... ведь Кореньков предупреждал... помнишь, Кореньков сказал...“»

248

В изд. 1954 г. далее: «А люди с высоты не казались маленькими и затерянными в этой громаде цеха, они, уверенные хозяева, заправляли всем тяжелым и могучим движением, огнем, рождавшим сталь».

249

В изд. 1954 г. далее:

«— Да, уж наш парторг и сам не отдыхает, но уж никому не даст схалтурить,— сказал Громов».

250

В изд. 1954 г. далее: «Дел-то у вас миллион примерно».

251

Яко наг, яко благ, яко нет ничего (опричь простоты) — пословица; означает: бедный, ср.:

Безъ уплаты въ долгахъ, какъ въ шелку молодець,
Что изъ фатовъ ли фать, фатовства образецъ,
А надеждъ-то надеждъ — и не счесть у него...
Яко нагъ, яко благъ, яко н?тъ ничего!

252

Вместо этого фрагмента в изд. 1954 г. (дополнения взяты в угловые скобки): ««Не усталость, не изнеможение были в нем, а живая сила.»

Все, казалось, слилось «вместе в суровом и дивном единстве»: и мечты детских лет, и «каждодневный упорный» труд «исследователя. Все слилось: и его душевная боль», и жгущая день и ночь тоска, и ненависть к темным силам, вторгшимся в «мирную» жизнь «советских людей, и величественная мощь всенародного труда, к которому он приобщился на Урале», и рассказы Александры Владимировны о беде, бушевавшей на Волге, и горестные, молящие о помощи глаза колхозницы на вокзале в Казани, и его вера в счастливое и свободное будущее своей Родины, и его желание служить народу».

Он почувствовал, что в этот «грозный» трудный час народной жизни, в этот «грозный» трудный час своего сердца он не бессилен, не покорен судьбе, а готов напрячь все свои силы для тяжкого и упорного труда».

И он чувствовал и понимал, что силы для этого труда недостаточно черпать в одном лишь упорстве и целеустремленности исследователя, что силы для этого труда нужно искать в кровной и неразрывной связи своей души с душой народа, в страстном желании народного счастья, которое ощутила его подавленная горем душа»».

253

Бремсберг — наклонный ствол в шахте, предназначенный для спуска полезных ископаемых в следующий горизонт.

Квершлаг — горизонтальная или наклонная подземная выработка, идущая по пустым породам под углом к месторождению полезных ископаемых и служащая для транспортировки грузов, передвижения людей, стока вод.

254

Шпур — цилиндрическое узкое отверстие, пробуриваемое в горных породах и наполняемое

взрывчатым веществом для взрыва массива породы.

255

Последующие главы второй части, начиная с этой, посвященные теме промышленности тыла и связанных с ней производственных конфликтов, нацеленные на создание достойного эпосеи образа самоотверженного рабочего человека и поэтизации его труда, несут следы весьма скрупулезной переработки,— не только идеологического, но и художественно-стилистического характера. Не приводя всех многочисленных дополнений текста, далее ограничусь только несколькими примерами. В частности, отмеченный фрагмент в изд. 1954 г. предваряется словами: «Для него картина завода и шахты была всегда прекрасна, и...».

256

В изд. 1954 г. далее:

«Должно быть, поэтому так трогали вывески над белеными известкой бараками, оповещавшие, что в бараках находится школа-семилетка, рудничные ясли, консультация для кормящих матерей».

257

Трудовые батальоны периода Великой Отечественной войны — военизированная форма принудительной трудовой повинности представителей определенных категорий советских или иностранных граждан, как правило, депортированных,— не индивидуально в порядке уголовного наказания, а в административном порядке.

258

Вместо этого фрагмента в изд. 1954 г.:

«Ивана Павловича вроде как бы и огорчало, что у этого сухого и недоброго человека работа шла хорошо. Язев не только администрировал, он был сведущим инженером, отлично разбирался в технических вопросах, связанных с проходкой новых выработок, с эксплуатацией крутопадающих пластов, его считали знатоком и по механизации отбойки и откатки и по скоростным методам нарезки лав; в Наркомате угольной промышленности Язева ценили, часто премировали, а недавно даже наградили орденом.

А Новиков, взглядываясь в его красивое, спокойное лицо, все покряхтывал: может быть, и дельный он инженер, и толковый начальник, а душа не лежала к нему».

Вместо этого фрагмента в изд. 1954 г. (дополнения взяты в угловые скобки): «В это «короткое» мгновение Иван Павлович вспомнил, казалось, десятки важных вещей, которые хотелось ему сказать. И раздраженное желание высказать Язеву свои упреки: почему же он отказал откатчице Брагинской в содействии, чтобы устроить мальчика в интернат, а сегодня так жалостно говорит о ней; почему «так сурово» сказал рабочим, что можно жить и в нетопленых общежитиях, а у себя на квартире печи поставил кафельные; хотелось сказать, «что действительно ведь трудно приходится,» что паек «вправду» недостаточен, что многие живут в сырых землянках, что люди к концу смены на ногах еле держатся; «хотелось сказать и про брата, который с первых дней на фронте, и про то, как сердце болело, когда покидал он оставленный немцам Донбасс, так болело, что он, сильный и спокойный человек, шахтер, мучился, стонал, словно тяжелораненый, в вагоне, прижавшись лбом к стеклу, и глядел при свете далеких пожаров на те шахты, где он работал, где шла его жизнь;» хотелось рассказать, как он видел на уральском разъезде похороны умершего в санитарном поезде молоденького паренька-красноармейца, как вынесли его, словно птенчика, на носилочках и закопали в мерзлую землю; «хотелось сказать об огромной народной беде, которую он чувствовал, сам пережил, о том, что он думал о Гитлере, о проклятом фашистском войске, дошедшем сегодня до чистой волжской воды, о том, что нет на свете дела лучше, чем шахтерская работа;» хотел сказать он и о том, как любит он свою дочку, как болеет она здесь, не переносит местного климата, как вечером читают они с женой Некрасова, поглядят друг на друга украдкой — и у обоих слезы на глазах; хотел сказать, как отец умирал, все ждал приезда младшего сына из армии, а тот не смог приехать, что не пришлось брату проститься с могилой отца и матери, теперь там немцы топчутся!»

В изд. 1954 г. далее: «И так ведь всюду: и на Сучанах, и на Тыргане, , и в Восточной Сибири, и на среднеазиатских рудниках, и на Урале — блестят, сверкают, покачиваются шахтерские лампочки...» (

Сучаны ,

Тырган — поселки при горнодобывающих предприятиях соответственно в Приморском крае и Кемеровской области.)

Галалит — пластмасса из казеина (продукт створаживания молока). Применялся для изготовления пуговиц, гребней, ручек, рукояток для зонтиков и тростей, для имитации слоновой кости, янтаря и рога.

В изд. 1954 г. далее: «Вот вы б послушали, как рассказывал директор военного завода, надо танковые части формировать, а завод на полную мощность не могут пустить: угля не хватает. Ждут нашего.

— Это мы понимаем, вчера уже слышали,— сказал Котов и спросил у Брагинской: — А страшно в шахте, вдруг завалит? Останется у тебя сирота.

Брагинская ничего не ответила».

263

Суфляр — струя природного газа, внезапно выбивающаяся из толщи пород.

264

В изд. 1954 г. далее: «И все находившиеся в забое оглянулись на него, словно он, их запевала, потихоньку окликнул их, не голосом окликнул,— приглашал подтянуть удивительную, без слов и без звука песню, самую простую, самую старинную народную песню — хоровую, артельную работу».

265

В изд. 1954 г. далее:

«И должно быть, этот большой свет, эти тысячи шахтерских ламп, горевших вокруг, говорили о тысячах глаз, умов, о тысячах рабочих рук, о людях, восставших на гитлеровскую тьму, нависшую над Советской страной...»

266

В изд. 1954 г. далее:

«То ли оттого, что он по-особенному остро, по-особенному глубоко ощутил под этим мелким, холодным дождем в эту мрачную осеннюю ночь ту связь, что соединяла его с невидимыми во тьме рабочими, и на секунду показалось, что все эти тысячи огней жгут ему грудь, горят где-то в нем, заполнили его всего».

267

В изд. 1954 г. далее:

«Большую тяжесть немецкого удара приняла на себя дивизия НКВД, ее полки один за другим вступали в кровавые, изнурительные бои, сперва на северной окраине города, а затем на западном направлении».

Речь идет о 10-й дивизии НКВД под командованием полковника А. А. Сараева, выдвинутой из резерва, находившегося в городе, на позиции на внутреннем городском оборонительном обводе.

268

...

трем немецким солдатам противостоял один русский, двум немецким пушкам — одна русская .— По официальным источникам, в боях на ближних подступах к Сталинграду на направлениях главных ударов немецкие войска имели почти полуторное превосходство в людях, двойное — в орудиях и минометах и многократное — в танках.

269

В изд. 1954 г. далее:

«3 сентября Сталин передал по прямому проводу Маленкову и Василевскому:

„Сталинград могут взять сегодня или завтра, если северная группа войск не окажет немедленной помощи. Потребуйте от командующих войсками, стоящих к северу и северо-западу от Сталинграда, немедленно ударить по противнику и прийти на помощь сталинградцам. Недопустимо никакое промедление. Промедление теперь равносильно преступлению. Всю авиацию бросьте на помощь Сталинграду“».

А. М. Василевский, начальник Генерального штаба и Г. М. Маленков, как представитель ГКО, с начала немецкого наступления действительно находились (отвлекаясь вызовами в Москву) в районе Сталинграда. Однако 3 сентября Ставка направила директиву своему представителю в штабе Сталинградского фронта генералу армии Г. К. Жукову.

270

Родимцевской дивизии приказ Ставки определил первой вступить в осажденный город ...— В ночь на 15 сентября в Сталинград с левого берега переправились первые два полка 13-й гвардейской дивизии, которой командовал генерал майор А. И. Родимцев.

271

«макки» — одноместный истребитель.

272

На основе ирригационного строительства 30-х гг. в Чуйской долине (Киргизия), соединяемой Боомским ущельем с расположенным в высокогорной котловине озером Иссык-Куль, создано весьма продуктивное земледелие, одной из основных культур которого был табак.

273

Вместо этого фрагмента в изд. 1954 г.:

«Ему вспомнился человек, написавший на него пять лет назад донос. Даренский пережил много тяжелого, пока, наконец, не была доказана ложность обвинения. Оклеветавший его человек был разоблачен, а Даренский вновь был возвращен в армию».

274

...

работал на разгрузке барж в Космодемьянске .— Вероятно, имеется ввиду приволжский город Козьмодемьянск в тогдашней Марийской автономной области, вблизи которого, в Килемарском районе, находился исправительный трудовой лагерь.

275

Французский график Гюстав

Доре (1832—1883) прославился живописно-динамичными, полными фантазии и юмора работами; к их числу относится и гротескный рисунок «Волк-пастух».

276

В оригинале ошибочно: «...на Украине...».

277

В изд. 1954 г.: «Товарищ боец...».

278

В изд. 1954 г. далее:

«Так же говорила Вавилову и Марья, и другие матери в деревне».

279

В изд. 1954 г. далее:

«Люди приняли это решение потому, что всем сердцем не хотели уходить на левый берег, приняли его от желания доказать самим себе свое равнодушие к опасности в эти роковые часы и дни».

280

...

обоими фронтами пока командует Ерёменко ...— См. коммент. 169.

281

...

Ерёменко станет командовать одним Юго-Восточным ~ армии Шумилова и Чуйкова ~ На фронт, расположенный севернее Сталинграда, едет новый командующий, будто бы Рокоссовский ...— 28 сентября приказом Ставки Верховного Главнокомандования фронты, действующие в районе Сталинграда, были реорганизованы: бывший Сталинградский фронт стал Донским, Юго-Восточный — Сталинградским. Командующим Донским фронтом был назначен генерал-лейтенант К. К. Рокоссовский, членом Военного совета фронта — корпусной комиссар А. С. Желтов. Командующим Сталинградским фронтом остался генерал-полковник А. И. Ерёменко, членом Военного совета фронта — Н. С. Хрущёв. Генерал-майор М. С. Шумилов вступил в командование 64-й армией 4 августа; генерал-лейтенант В. И. Чуйков стал командующим 62-й армии 11 сентября.

282

Тут и далее в этой главе в изд. 1954 г. вместо «Ерёменко» — «генерал».

283

Сердце у тебя не в порядке, товарищ член Военного совета,— крикнул командующий, покачав головой,— дышишь тяжело! — Намек на обстоятельства, которые вызвали последовавшую вскоре после описываемых событий смерть Кузьмы Акимовича Гурова (1901—25.09.1943) от закупорки сердечной артерии.

284

...

некогда знавшие Гурова по Военно-педагогическому институту ...— К. А. Гуров с 1940 г. и до начала войны руководил Военно-педагогическим институтом Красной армии в Калининне (Тверь).

285

...

весной 1942 года выходил на танке из-под Протопоповки ...— Имеются ввиду бои под Харьковом, во время которых Гуров был членом Военного совета Юго-Западного фронта.

286

В изд. 1954 г. далее: «Вот в их двести восемьдесят втором потери поменьше; Кузнецов говорит,— тысяча сто штыков. Шестьдесят два человека в полку в партию подали! Нет, нас с таким народом никто не побьет!»

287

В оригинале ошибочно: «...глаза...». Исправлено по изд. 1954 г.

288

Крылов Николай Иванович (1903—1972) — во время Сталинградской битвы генерал-майор, впоследствии дважды Герой Советского Союза, Маршал Советского Союза.

289

Дома специалистов — монументальные жилые здания, предназначенные для проживания семей руководящих работников разных отраслей экономики, науки, культуры, городского хозяйства и др. и выделявшиеся прогрессивным жилищно-коммунальным обеспечением — размещением в одном архитектурном объеме, вместе с жилыми помещениями, также и объектов бытового обслуживания и социально-культурного назначения; строились в крупных городах СССР в 30-х гг. XX в.

290

...

с передовой статьей «Отбить наступление немцев от Сталинграда» ...— Передовая статья в указанном номере газеты имела название «Отбить наступление немцев на Сталинград!».

291

...

о бронейщиках Болоте, ~ Беликове ...— В боях в конце июля в районе Клетской, на дальних подступах к Сталинграду, четверо бронейщиков 33-й гвардейской дивизии 62-й армии во главе с П. О. Болото, имея всего два противотанковых ружья, вступили в бой с 30 немецкими танками и за один день уничтожили 15 из них, не пропустив врага через свои позиции. Их подвигу была посвящена передовая статья в газете «Красная звезда» от 13 августа 1942 г.

292

В оригинале ошибочно: «...штабе...».

293

В изд. 1954 г. далее: «...и какое-то удивительное чувство близости, родства установилось между людьми, сидевшими среди каменных развалин».

294

Черновицы — название г. Черновцы до 1944 г.

295

По-видимому, имеется ввиду песня «Перебиты, поломаны крылья» из кинофильма Евгения Червякова «Заключенные» (1936), посвященного перевоспитанию преступников на Беломорканале (композитор фильма — Юрий Шапорин, автор текстов песен — Сергей Алымов), получившая популярность в уголовной среде и заканчивающаяся словами:

Я хожу, все хожу и не знаю,

Что конца этой песенке нет...

Я девчонка еще молодая,

А душе моей тысяча лет!

296

Из стихотворения «И скучно и грустно» (1840). Ср.:

Любить... но кого же?... на время — не стоит труда,

А вечно любить невозможно.

297

Стихи неизвестного автора, распространенные в рукописных альбомах (преимущественно девичьих) в 1920-е — 1940-е гг.

298

В изд. 1954 г. далее:

«То, что слышал он от красноармейцев, и то, что выпросил он у беженцев, и то, что рассказывал на политбеседах политрук, и то, что вычитал он в газетах, которые читал день за днем,— все это, существовавшее в его сознании не слитно, соединилось теперь в единое целое.

Все это было связано с его жизнью, с постелью, на которой он спал, с хлебом, который он косил, с его женой, детьми, с его родной землей, с его любовью к труду, с его судьбой».

299

«И кто его знает, чего он моргает...» — пел ~ девичий голос . — Цитируется окончание первого куплета популярной песни «И кто его знает...» (1938) лауреатов Сталинской премии (полученной, в том числе, и за эту песню) композитора В. Г. Захарова (1901—1956) на слова М. В. Исаковского (1900—1973), автора знаменитой «Катюши». Приведем первые куплеты песни:

На закате ходит парень

Возле дома моего,

Поморгает мне глазами

И не скажет ничего.

И кто его знает,

Чего он моргает.

Как приду я на гулянье,

Он танцует и поет.

А простимся у калитки —

Отвернется и вздохнет.

И кто его знает,

Чего он вздыхает.

.....

Наиболее широкую известность песня получила в исполнении популярнейшей певицы Л. А. Руслановой (1900—1973). Авторская ремарка об анонимном «девичьем голосе» могла быть вызвана тем фактом, что в 1948 г. певица была репрессирована, и с января 1949 г. до реабилитации в июле 1953 г. существовал запрет на ее песни.

300

В оригинале ошибочно: «...шедших...».

301

«По ту сторону добра и зла» (н е м. *Jenseits von Gut und B?se*, 1886) — труд немецкого философа Фридриха Ницше (1844—1900). Производит переоценку гуманистических убеждений, утверждая, что жажда власти, присвоение и причинение боли слабому не являются абсолютно предосудительными.

«Закат Европы» (н е м. *Der Untergang des Abendlandes*, 1918) — произведение немецкого философа-идеалиста Освальда Шпенглера (1880—1936). Движение истории, по Шпенглеру, ее логика — это развитие и закономерные превращения (юность, расцвет, упадок) предельно обобщенных культурно-исторических форм. Если у Ницше культ «силы» связан с желанием усилить личность против обезличивающего отчуждения, то у Шпенглера — с мечтой о сильной государственности. По Шпенглеру, завоевательная политика цивилизованного Запада исторически детерминирована; на смену органическому ритму развития во времени приходит голый пафос пространства.

Фихте Иоганн Готлиб (1762—1814) — один из крупнейших представителей немецкого идеализма (немецкой классической философии). В условиях французской оккупации Германии Фихте обратился со своими речами «К германской нации» (1808), в которых призывал к моральному возрождению немцев и впадал во многие националистические преувеличения.

302

Фольксдойче (н е м. *Volksdeutsche*) — этнические немцы; по нацистской классификации — лица, принадлежавшие к германской расе и проживавшие в странах Европы.

Розенберг Альфред (1893—1946) — немецкий государственный и политический деятель, один из наиболее влиятельных членов и идеолог Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП). Занимал посты начальника Внешнеполитического управления НСДАП, уполномоченного фюрера по контролю за общим духовным и мировоззренческим воспитанием НСДАП, руководителя Центрального исследовательского института по вопросам национал-социалистической идеологии и воспитания, рейхсминистра восточных оккупированных территорий. Считается автором таких ключевых понятий нацистской идеологии, как «расовая теория», «окончательное решение еврейского вопроса» и др.

Штрайхер — Штрейхер (Штрайхер; н е м. Streicher) Юлиус (1885—1946) — главный редактор антисемитской и антикоммунистической газеты «Дер Штюрмер» («Штурмовик»), идеолог расизма.

«Майергоф втолковывает еврею, что ему выгодней покинуть сей свет несколько раньше того срока, который ему отпустил еврейский бог» .— Расшифровать эту фразу затруднительно. Можно, однако, предположить, что тут присутствует игра слов, и носитель упомянутой здесь фамилии — это немецкий биохимик, лауреат Нобелевской премии (1922) Отто Мейергоф (1884—1951), который, опасаясь нацистских преследований, бежал из Германии сначала в Швейцарию, затем во Францию, и, наконец, вовсе покинул сей (т. е. Старый) свет, эмигрировав в США.

Айнзацгруппы (от н е м. Einsatzgruppen — группы действия) — мобильные карательные отряды специального назначения службы безопасности (СД), перемещавшиеся на оккупированные территории вместе с армейскими соединениями и предназначенные для проведения массовых казней гражданских лиц, считавшимися враждебными Рейху.

...

в Киеве , ~

у кладбища ...— Имеется ввиду Бабий Яр — урочище в северо-западной части Киева. Бабий Яр получил всемирную известность как место массовых расстрелов гражданского населения, главным образом евреев, цыган, киевских караимов, а также советских военнопленных,

осуществлявшихся немецкими оккупационными войсками и украинскими коллаборационистами в 1941 году. Всего было расстреляно свыше ста тысяч человек.

Вблизи Бабьего Яра находилось Новое еврейское кладбище (закрыто в 1937 г. и окончательно уничтожено во время Великой Отечественной войны), а на его территории — Лукьяновское (закрыто в 1962 г.).

307

Пуризм (от древнееврейск. пур — жребий) — в иудаизме праздник в память избавления евреев Эсфирью, женой персидского царя Артаксеркса (Ксеркса), от истребления (Есф. 9:26). Сопровождается играми и представлениями.

308

В оригинале ошибочно: «...обер-лейтенант...».

309

Блокварт (от нем. Blockwart) — должностное лицо нацистской партии, отвечавшее за работу местных (квартальных) ячеек НСДАП. Одновременно являлся главным информатором гестапо о настроениях среди населения.

310

В изд. 1954 г. далее:

«Ведь по-прежнему не было для Шмидта дома милей, чем его родной дом, по-прежнему радовал его звук родной речи, по-прежнему в дни отпуска, глядя в окно поезда на знакомые с детства поля, домики предместий, стоящие среди деревьев, на огромные цехи завода с задымленными стеклами, в котором он работал юношей, Карл Шмидт испытывал радостное сердцебиение».

311

В изд. 1954 г.: «...фюрере...».

312

В оригинале ошибочно: «...прорыв...».

313

Наиболее близкая контексту расшифровка аббревиатуры — «броневой снаряд». Однако боеприпасом противотанкового ружья является не снаряд (применяемый в артиллерии), а патрон с большой дульной энергией пули.

314

Вместо этого фрагмента в изд. 1954 г.: «Он двухгодовалым ребенком попал в детский дом».

315

В изд. 1954 г. далее: «— Ничего, может быть, завтра пробьется к нам,— сказал Шведков».

316

В изд. 1954 г. далее: «...за Родину, за славные сталинские дела».

317

В оригинале ошибочно: «...пролил...».

318

Следом за Родимцевым пришел Горишный, за Горишным Батюк .— Имеются ввиду дивизии в составе 62-й армии — 95-я (командир — полковник В. А. Горишний) и 284-я (подполковник Н. Ф. Батюк).

319

В изд. 1954 г. далее:

«Невидимая, но прочная связь установилась между яростным ритмом битвы и ритмом работы военной промышленности.»

320

В изд. 1954 г.: «...Мао Цзэдуна...».

321

Реальное историческое лицо, комиссар понтонного батальона. Описан Гроссманом в сталинградском очерке «Власов» (1942).

322

В оригинале ошибочно: «...непроизвольно...». Исправлено по изд. 1954 г.